

Яков Петрович Полонский

Стихотворения Поэмы Проза

Яков Петрович Полонский (1819–1898) — замечательный лирик, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал "чистым элементом поэзии". В его творчестве отразилась история всей русской классической поэзии XIX века: Полонский — младший современник Жуковского и старший современник Блока.

Яков Петрович Полонский — как бы живая история русской поэзии XIX века. Его творчество захватило своими краями всю классическую русскую поэзию: первые стихотворные опыты гимназиста Полонского заслужили одобрение Жуковского, и вместе с тем имя Полонского еще было живым поэтическим именем, когда начал писать Блок, для которого поэзия Полонского была «одним из основных литературных влияний». Среди поэтов конца века, с их духовным и стилевым разладом, Полонский занимает особое место — в его лирике воплотилось то лучшее, что дал поэзии XIX век: неразложимая цельность и глубина содержания, свобода и естественность выражения, благородство и прямотушие, твердая ясность идеала.

Хотя Полонский писал и поэмы, и рассказы, и воспоминания (особенно замечательны — о Тургеневе, с их подкупающим сочетанием простодушия и проница-

тельностью), все же он, конечно, прежде всего — лирический поэт, обладающий в наивысшей степени тем, что Белинский в статье о нем назвал «чистым элементом поэзии». Пожалуй, ни о ком другом этого нельзя сказать с такой определенностью, как о Полонском: никакая другая жизненная роль «не подходила» ему, кроме роли поэта.

В каком-то смысле Полонский был центром, точкой пересечения множества литературных, общественных, личных отношений своего времени. Место это принадлежит ему не по размаху и мощи поэтического гения, не по резкости и оригинальности общественной позиции, но по особой, одному Полонскому в такой мере свойственной поэтической отзывчивости, живого и как бы неизбежного отклика на все совершающееся вокруг него. Органическое, «стихийно певческое» начало в сочетании с постоянной готовностью души к отклику и создают в первую очередь своеобразие поэтической личности Полонского.

Содержание

СТИХОТВОРЕНИЯ	0005
1840–1845	0005
1846–1851 Закавказье	0046
1850-е годы	0114
1860-е годы	0193
1870–1880-е годы	0256
КОНЕЦ 1880-х — 1890-е ГОДЫ	0340
ПОЭМЫ	0401
Кузнечик-музыкант	0401
МЕЧТАТЕЛЬ	0443
СВЕЖЕЕ ПРЕДАНЬЕ	0467
Братья	0628
ПРОЗА	0800
Делибаштала	0800
Квартира в татарском квартале	0827
Тифлиссские сакли	0888
Статуя весны	1001
Груня	1042
Дом в деревне	1113
Медный лоб самого низкого сорта	1248
Рассказ вдовы	1436
КОММЕНТАРИИ	1485
МЕМУАРЫ	1489
СТАРИНА И МОЕ ДЕТСТВО	1489
ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ	1617

МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ . . .	1697
Мой дядя и кое-что из его рассказов	1771
Я. П. Полонский о Ф. М. Достоевском	1789
И. С. ТУРГЕНЕВ У СЕБЯ В ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД НА РОДИНУ	1814

СТИХОТВОРЕНИЯ

1840–1845

ЖНИЦЫ

Пой, пой, свирель!.. Погас последний луч
денницы...

Вон, в сумраке долин, идут толпами жни-
цы,

На месяце блестят и серп их и коса;

Пыль мягкая чуть-чуть дымится под нога-
ми,

Корзины их шумят тяжелыми снопами,

Далеко звонкие их слышны голоса...

Идут... прошли... чуть слышно их...

Бог с ними!

Я жду ее одну, с приветом на устах,

В венке из полевых цветов, с серпом

в руках,

Обремененную плодами золотыми...

Пой, пой, свирель!..

1840

СОЛНЦЕ И МЕСЯЦ

Ночью в колыбель младенца
Месяц луч свой заронил.
"Отчего так светит Месяц?"
Робко он меня спросил.
В день-деньской устало Солнце,
И сказал ему господь:
"Ляг, засни, и за тобою
Все задремлет, все заснет".
И взмолилось Солнце брату:
"Брат мой, Месяц золотой,
Ты зажги фонарь — и ночью
Обойди ты край земной.
Кто там молится, кто плачет,
Кто мешает людям спать,
Все разведай — и поутру
Приходи и дай мне знать".
Солнце спит, а Месяц ходит,
Сторожит земли покой.
Завтра ж рано-рано к брату
Постучится брат меньшей.
Стук-стук-стук! — отворят двери.
"Солнце, встань — грачи летят,
Петухи давно пропели
И к заутрене звонят".
Солнце встанет, Солнце спросит:

"Что, голубчик, братец мой,
Как тебя господь-бог носит?
Что ты бледен? что с тобой?"
И начнет рассказ свой Месяц,
Кто и как себя ведет.
Если ночь была спокойна,
Солнце весело взойдет.
Если ж нет — взойдет в тумане,
Ветер дунет, дождь пойдет,
В сад гулять не выйдет няня:
И дитя не поведет.

1841

БЭДА-ПРОПОВЕДНИК

Был вечер; в одежде, измятой ветрами,
Пустынной тропею шел Бэда слепой;
На мальчика он опирался рукой,
По камням ступая босыми ногами,
И было все глухо и дико кругом,
Одни только сосны росли вековые,
Одни только скалы торчали седые,
Косматым и влажным одетые мхом.
Но мальчик устал; ягод свежих отведать,
Иль просто слепца он хотел обмануть:
"Старик! — он сказал, — я пойду отдохнуть;
А ты, если хочешь, начни проповедать:

С вершин увидали тебя пастухи...
Какие-то старцы стоят на дороге...
Вон жены с детьми! говори им о боге,
О сыне, распятом за наши грехи".
И старца лицо просияло мгновенно;
Как ключ, пробивающий каменный слой,
Из уст его бледных живою волной
Высокая речь потекла вдохновенно
Без веры таких не бывает речей!..
Казалось — слепцу в славе небо являлось;
Дрожащая к небу рука поднималась,
И слезы текли из потухших очей.
Но вот уж сторела заря золотая
И месяца бледный луч в горы проник,
В ущелье повеяла сырость ночная,
И вот, проповедуя, слышит старик
Зовет его мальчик, смеясь и толкая:
"Довольно!.. пойдём!.. Никого уже нет!"
Замолк грустно старец, главой поникая.
Но только замолк он — от края до края:
"Аминь!" — ему грянули камни в ответ.
1841

К ДЕМОНУ

Я погибал -
Мой злобный гений

Торжествовал.

Полежаев

И я сын времени, и я

Был на дороге бытия

Встречаем демоном сомненья;

И я, страдая, проклинал

И, отрицая провиденье,

Как благодати ожидал

Последнего ожесточенья.

Мне было жаль волшебных снов,

Отрадных, детских упований

И мне завещанных преданий

От простодушных стариков.

Когда молитвенный мой храм

Лукавый демон опрокинул,

На жертву пагубным мечтам

Он одного меня покинул;

Я долго кликал: где же ты,

Мой искунитель? Дай хоть руку!

Из этой мрачной пустоты

Неси хоть в ад!

....

И вот, среди мятежных дум,

Среди мучительных сомнений
Установился шаткий ум
И жаждет новых откровений.
И если вновь, о демон мой,
Тебя нечаянно я встречу,
Я на привет холодный твой
Без содрогания отвечу.
Весь мир открыт моим очам,
Я снова горд, могуч, спокоен -
Пускай разрушен прежний храм.
О чем жалеть, когда построен
Другой — не на холме гробов,
Не из разбросанных обломков
Той ветхой храмины отцов,
Где стало тесно для потомков.
И как велик мой новый храм -
Нерукотворен купол вечный,
Где ночью путь проходит млечный,
Где ходит солнце по часам,
Где все живет, горит и дышит,
Где раздается вечный хор,
Который демон мой не слышит,
Который слышит Пифагор.
И, чу, в ответ на эти звуки
Встают. . .

....

....

Все Гении земного мира
И все, кому послушна лира,
Мой храм наполнили толпой;
Гомера, Данте и Шекспира
Я слышу голос вековой.
Теперь попробуй, демон мой,
Нарушить этот гимн святой,
Наполнить смрадом это зданье.
О нет! с могуществом своим,
Бессильный, уходи к другим,
И разбивай одни преданья -
Остатки форм без содержанья.
1842

ДОРОГА

Глухая степь — дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман — мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.
Как кони ни бегут — мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж
Все степь да степь, за нивой снова нива.

— Зачем, ямщик, ты песни не поешь?
И мне в ответ ямщик мой бородатый:
— Про черный день мы песню бережем.
— Чему ж ты рад? — Недалеко до хаты
Знакомый шест мелькает за бугром.
И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды. — Знакомая лачужка,
Жива ль она, здорова ли с тех пор?
Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал — покой давно мне нужен;
Но нет его... Меняют лошадей.
Ну-ну, живей! Долга моя дорога
Сырая ночь — ни хаты, ни огня
Ямщик поет — в душе опять тревога
Про черный день нет песни у меня.
1842

Пришли и стали тени ночи

Пришли и стали тени ночи
На страже у моих дверей!
Смелей глядит мне прямо в очи
Глубокий мрак ее очей;
Над ухом шепчет голос нежный,
И змейкой бьется мне в лицо

Ее волос, моей небрежной
Рукой измятое, кольцо.
Помедли, ночь! густою тьмою
Покрой волшебный мир любви!
Ты, время, дряхлую рукою
Свои часы останови!
Но покачнулись тени ночи,
Бегут, шатаясь, назад.
Ее потупленные очи
Уже глядят и не глядят;
В моих руках рука застыла,
Стыдливо на моей груди
Она лицо свое сокрыла...
О солнце, солнце! погоди!
1842

НА МОГИЛЕ

Сто лет пройдет, сто лет; забытая могила,
Вчера зарытая, травкою порастет,
И плуг пройдет по ней, и прах, давно остыв-
лый.

Могущественный дуб корнями обовьет -
Он гордо зашумит вершиною густою;
Под тень его любовники придут
И сядут отдохнуть вечернею порою,

Посмотрят вдаль, поникнув головою,
И темных листьев шум, задумавшись, пой-
мут.

<1842>

К NN

Кто поневоле оторвал
От сердца с болью нестерпимой
Любимых дум предмет любимый,
Кто постепенно разрушал
Свои святые убежденья
И, как ночное привиденье,
На их развалинах стонал -
Пускай надменно презирать,
Негодовать и отрицать
Он грустным пользуется правом;
Он дорого его купил:
Ценою напряженных сил,
Ценой труда в поту кровавом.
И пусть ему с тоской в очах
Внимает молодое племя,
Быть может, в злых его речах
Таится благ грядущих семя.
А ты, что видел жизнь во сне,
И не насытился вполне,

И не страдал святым страданьем!
Не потому ли осмеять
Ты рад любовь — святыню нашу, -
Что сам не в силах приподнять
И смело выпить эту чашу?
Поверь — затерянный в толпе,
Ты скоро наконец судьбе
Протянешь руку; постепенно,
В тревоге мелочных забот,
Твой голос дерзкий и надменный
Неповторяемо замрет.
<1843>

ВЕЧЕР

Зари догорающей пламя
Рассыпало по небу искры,
Сквозит лучезарное море;
Затих по дороге прибрежной
Бубенчиков говор нестройный,
Погонщиков звонкая песня
В дремучем лесу затерялась,
В прозрачном тумане мелькнула
И скрылась крикливая чайка.
Качается белая пена

У серого камня, как в люльке
Заснувший ребенок. Как перлы,
Росы освежительной капли
Повисли на листьях каштана,
И в каждой росинке трепещет
Зари догорающей пламя.

ТИШЬ

Душный зной над океаном,
Небеса без облаков;
Сонный воздух не колышет
Ни волны, ни парусов.
Мореплаватель, сердито
В даль пустую не гляди:
В тишине, быть может, буря
Притаилась, погоди!
<1843>

ЦВЕТОК

Блуждая по саду, она у цветника
Остановилась, и любимого цветка
Глазами беглыми рассеянно искала,
И наконец нашла любимца своего,
И майским запахом его,
Полузажмурившись, медлительно дышала
И долго, долго упивалась им. Потом,

Играя сорванным цветком,
Она его щипала понемножку,
И уронила на дорожку,
И той порой румяное дитя,
Кудрявый мальчик, не шутя
Влюбленный в резвую богиню,
Нашел цветок и поднял, как святыню.
Он долго тихими глазами провожал
Ее воздушную, игривую походку,
И потихоньку целовал
Неоцененную, случайную находку.
Так чувство нежное, когда оно проснется
Впервые, — трепетно следит за красотой,
И все, к чему она случайно прикоснется.
Животворит послушною мечтой.
<1844>

УЗНИК

Меня тяжелый давит свод,
Большая цепь на мне гремит.
Меня то ветром опашнет,
То все вокруг меня горит!
И, головой припав к стене,
Я слышу, как больной во сне,

Когда он спит, раскрыв глаза,
Что по земле идет гроза.
Налетный ветер за окном,
Листы крапивы шевеля,
Густое облако с дождем
Несет на сонные поля.
И божьи звезды не хотят
В мою темницу бросить взгляд;
Одна, играя по стене,
Сверкает молния в окне.
И мне отраден этот луч,
Когда стремительным огнем
Он вырывается из туч...
Я так и жду, что божий гром
Мои оковы разобьет,
Все двери настежь распахнет
И опрокинет сторожей
Тюрьмы безвыходной моей.
И я пойду, пойду опять,
Пойду бродить в густых лесах,
Степной дорогою блуждать,
Толкаться в шумных городах...
Пойду, среди живых людей,
Вновь полный жизни и страстей,
Забуть позор моих цепей.

1844

В ГОСТИНОЙ

В гостиной сидел за раскрытым столом
мой отец,

Нахмутивши брови, сурово хранил он мол-
чанье;

Старуха, надев как-то набок нескладный
чепец,

Гадала на картах; он слушал ее бормота-
нье.

Немного подальше, тайком говоря меж со-
бой,

Две гордые тетки на пышном диване сиде-
ли,

Две гордые тетки глазами следили за мной
И, губы кусая, с насмешкой в лицо мне гля-
дели.

А в темном углу, опустя голубые глаза,
Не смея поднять их, недвижно сидела
блондинка.

На бледных ланитах ее трепетала слеза,
На жаркой груди высоко поднималась ко-
сынка.

1844

РАССКАЗ ВОЛН

Я у моря, грусти полный,
Ждал родные паруса.
Бурно пенились волны,
Мрачны были небеса,
И рассказывали волны
Про морские чудеса.
Слушай, слушай: "Под волнами
Там, среди гранитных скал,
Где растёт, сплетясь ветвями,
Бледно-розовый коралл;
Там, где груды перламутра
При мерцающей луне,
При лучах пурпурных утра
Тускло светятся на дне,
Там, среди чудес природы,
Током вод принесена,
Отдыхать от непогоды
На песок легла она.
Веют косы, размываясь,
Чуден блеск стеклянных глаз.
Грудь ее, не опускаясь,
Высоко приподнялась.
Нити трав морских густою
Сетью спутались над ней
И нависли бахромою,

Притупляя блеск лучей.
Высоко над ней горами
Ходят волны, и звучит
Над кипящими волнами
Звонкий голос nereid.
Но напрасно там, в пространстве,
Слышны всплески, крик и стон
Непробуден в нашем царстве
Вашей девы сладкий сон..."
Так рассказывали волны
Про морские чудеса,
Бурно пенились волны,
Мрачны были небеса,
И глядел я, грусти полный:
"Чьи мелькают паруса?!"
1845

В ГОСТИНОЙ

В гостиной сидел за раскрытым столом мой
отец,
Нахмутивши брови, сурово хранил он мол-
чанье;
Старуха, надев как-то набок нескладный
чепец,

Гадала на картах; он слушал ее бормотанье.

Немного подальше, тайком говоря меж собой,

Две гордые тетки на пышном диване сидели,

Две гордые тетки глазами следили за мной
И, губы кусая, с насмешкой в лицо мне глядели.

А в темном углу, опустя голубые глаза,
Не смея поднять их, недвижно сидела
блондинка.

На бледных ланитах ее трепетала слеза,
На жаркой груди высоко поднималась ко-
сынка.

1844

ЗИМНИЙ ПУТЬ

Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей.
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
А ямщик погоняет коней.

За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов.
Мне мерещатся странные сны.
Мне все чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.
И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.
Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой
воды

И не веришь и веришь очам.
А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,

И ямщик погоняет коней.

1844

ВСТРЕЧА

Вчера мы встретились; — она остановилась

Я также — мы в глаза друг другу посмотре-
ли.

О боже, как она с тех пор переменилась;
В глазах потух огонь, и щеки побледнели.
И долго на нее глядел я молча строго -
Мне руку протянув, бедняжка улыбнулась;
Я говорить хотел — она же ради бога
Велела мне молчать, и тут же отвернулась,
И брови сдвинула, и выдернула руку,
И молвила: "Прощайте, до свиданья".
А я хотел сказать: "На вечную разлуку
Прощай, погибшее, но милое созданье".
<1844>

КУМИР

Не сотвори себе кумира;
Но, верный сердцу одному,
Я был готов все блага мира
Отдать кумиру моему.
Кумир немой, кумир суровый,

Он мне сиял как божество,
И я клялся его оковы
Влачить до гроба моего.
Полубезумен и тревожен,
С печатью скорби на челе,
В цепях я мнил, что рай возможен
Не в небесах, а на земле, -
Так, чем свобода безнадежней,
Чем наши цепи тяжелей,
Тем ярче блеск надежды прежней
Иль идеал грядущих дней.
Но я разбил кумир надменный,
Кумир развенчанный — упал,
И я же, раб его смиренный,
Его обломки растоптал.
И без любви, без упования,
Не призывая тайных сил,
Я глубоко мои страданья
В самом себе похоронил.
<1844>

Посмотри — какая мгла

Посмотри — какая мгла
В глубине долин легла!
Под ее прозрачной дымкой

В сонном сумраке раки
Тускло озеро блестит.
Бледный месяц невидимкой,
В тесном сонме сизых туч,
Без приюта в небе ходит
И, сквозя, на все наводит
Фосфорический свой луч.
<1844>

НОЧЬ В ГОРАХ ШОТЛАНДИИ

Спишь ли ты, брат мой?
Уж ночь остыла;
В холодный,
Серебряный блеск
Потонули вершины
Громадных
Синеющих гор.
И тихо, и ясно,
И слышно, как с гулом
Катится в бездну
Оторванный камень.
И видно, как ходит
Под облаками
На отдаленном

Голом утесе
Дикий козленок.
Спишь ли ты, брат мой?
Гуще и гуще
Становится цвет полуночного неба,
Ярче и ярче
Горят планеты.
Грозно
Сверкает во мраке
Меч Ориона.
Встань, брат!
Из замка
Невидимой лютни
Воздушное пенье
Принес и унес свежий ветер.
Встань, брат!
Ответный,
Пронзительно-резкий
Звук медного рога
Трижды в горах раздавался,
И трижды
Орлы просыпались на гнездах.
1844

ЛУННЫЙ СВЕТ

На скамье, в тени прозрачной
Тихо шепчущих листов,
Слышу — ночь идет, и — слышу
Перекличку петухов.
Далеко мелькают звезды,
Облака озарены,
И дрожа тихонько льется
Свет волшебный от луны.
Жизни лучшие мгновенья
Сердца жаркие мечты,
Роковые впечатленья
Зла, добра и красоты;
Все, что близко, что далеко,
Все, что грустно и смешно,
Все, что спит в душе глубоко,
В этот миг озарено.
Отчего ж бывшего счастья
Мне теперь ничуть не жаль,
Отчего былая радость
Безотраднa, как печаль,
Отчего печаль былая
Так свежа и так ярка?
Непонятное блаженство!

Непонятная тоска!

1844

Уже над ельником

Уже над ельником из-за вершин колючих
Сияло золото вечерних облаков,
Когда я рвал веслом густую сеть плавучих
Болотных трав и водяных цветов.
То окружая нас, то снова расступаясь,
Сухими листьями шумели тростники;
И наш челнок шел, медленно качаясь,
Меж топких берегов извилистой реки.
От праздной клеветы и злобы черни свет-
ской

В тот вечер, наконец, мы были далеко
И смело ты могла с доверчивостью детской
Себя высказывать свободно и легко.
И голос твой пророческий был сладок,
Так много в нем дрожало тайных слез,
И мне пленительным казался беспорядок
Одежды траурной и светло-русых кос.
Но грудь моя тоской невольною сжима-
лась,

Я в глубину глядел, где тысяча корней
Болотных трав невидимо сплеталась,
Подобно тысяче живых зеленых змей.
И мир иной мелькал передо мною
Не тот прекрасный мир, в котором ты жи-
ла;

И жизнь казалась мне суровой глубиною
С поверхностью, которая светла.
1844

МАГОМЕТ ПЕРЕД ОМОВЕНИЕМ

О благодатная, святая влага!
Со всех сторон,
С востока солнца до заката солнца,
Объемля мир,
Из облаков на жаждущие нивы
Не ты ль дождем
Серебряным, при звуках грома,
Шумишь — как дух,
Когда по воздуху, очам незримый,
Несется он,
По сторонам разбрасывая складки
Своих одежд!
О благодатная, святая влага!
Из недр земных

Тебя сосет змееобразный корень;
Тобой живут
И рис, и терн, и виноград, и фи́га;
Не ты ль поишь
Усталого среди степей верблюда -
И в знойный день
Он весело бежит, напрягши силы.
Когда вдали
Заслышит тихое, под диким камнем,
Журчанье струй!
Земля сторит, и лопнет камень,
И упадут
На рубежах поставленные горы...
Лишь ты одна
Кипящими зальешь волнами
Развалины
Пылающего мира, и густой,
Горячий дым
Прокатится, гонимый ветром,
Из края в край.
О благодатная, святая влага!
Обмой меня -
И освежи меня, и напои
Того, кто жаждет!

<1844>

ПРОГУЛКА ВЕРХОМ

Я еду городом — почти
Все окна настежь — у соседки
В окошке расцвели цветы,
И канарейка свищет в клетке.
Я еду мимо — сквозь листы
Китайских розанов мелькает
Рукав кисейный, и сверкает
Сережка; а глаза горят,
И, любопытные, глядят
На проходящих.
Вот нараспашку полупьяный
Бурлак по улице идет;
За ним измученный разносчик
Корзину тащит; вон везет,
Стуча колесами, извозчик
Купца с купчихой! — Боже мой,
Как все пестро!
Но что за вой?
Какого бедняка в могилу
Несут на четырех плечах?
О ком, ступая через силу
С младенцем спящим на руках,
Рыдает женщина — не знаю,

И шляпу перед ним снимаю
И мимо еду; — вот стоит
И косо на меня глядит
Толпа старушек богомольных,
А мальчики бумажный змей
Пускают выше колокольных
Крестов на привязи своей;
Взвился — трещит — мой конь пугливый
Прибавил рыси торопливой;
Скачу — навстречу инвалид -
Старик бездомный и бродяга
Безногий — тяжело стучит
По тротуару костылями -
Он оглянулся на коня,
Он с ног до головы меня
Окинул мутными глазами
И, на костыль дубовый свой
Повиснув раненой рукой,
Стал думу думать.
Вот застава.
Мелькает часовой с ружьем -
И зеленеет степь направо,
Налево, прямо и кругом...
Скачу.
Над головою облака

Плывут, сплываются — слегка
Их тронул пурпур золотистой
Авроры вечной; а вдали
На севере, из-под земли,
Встают и тянутся волнистой
Грядой вершины синих гор
И серебрятся. Жадный взор
Границ не ведает, и слышит
Мой чуткий слух, как воздух дышит,
Как опускается роса
И двигается полоса
Вечерней тени, -
Где я? куда меня проворно
Примчал мой конь, как добрый дух
Покорный талисману — ух!
Как сердцу моему просторно!..
<1844>

ВЫЗОВ

За окном в тени мелькает
Русая головка.
Ты не спишь, мое мученье!
Ты не спишь, плутовка!
Выходи ж ко мне навстречу!

С жаждой поцелуя,
К сердцу сердце молодое
Пламенно прижму я.
Ты не бойся, если звезды
Слишком ярко светят:
Я плащом тебя одену
Так, что не заметят!
Если сторож нас окликнет
Назовись солдатом;
Если спросят, с кем была ты,
Отвечай, что с братом!
Под надзором богомолки
Ведь тюрьма наскучит;
А неволя поневоле
Хитрости научит!
1844

ТЕНИ

По небу синему тучки плывут,
По лугу тени широко бегут;
Тени ль толпой на меня налетят
Дальние горы под солнцем блестят;
Солнце ль внезапно меня озарит
Тень по горам полосами бежит.

Так на душе человека порой
Думы, как тени, проходят толпой;
Так иногда вдруг тепло и светло
Ясная мысль озаряет чело.

1845

РАССКАЗ ВОЛН

Я у моря, грусти полный,
Ждал родные паруса.
Бурно пенились волны,
Мрачны были небеса,
И рассказывали волны
Про морские чудеса.
Слушай, слушай: "Под волнами
Там, среди гранитных скал,
Где растет, сплетясь ветвями,
Бледно-розовый коралл;
Там, где груды перламутра
При мерцающей луне,
При лучах пурпурных утра
Тускло светятся на дне,
Там, среди чудес природы,
Током вод принесена,
Отдыхать от непогоды
На песок легла она.

Веют косы, размываясь,
Чуден блеск стеклянных глаз.
Грудь ее, не опускаясь,
Высоко приподнялась.
Нити трав морских густою
Сетью спутались над ней
И нависли бахромою,
Притупляя блеск лучей.
Высоко над ней горами
Ходят волны, и звучит
Над кипящими волнами
Звонкий голос nereid.
Но напрасно там, в пространстве,
Слышны всплески, крик и стон
Непробуден в нашем царстве
Вашей девы сладкий сон..."
Так рассказывали волны
Про морские чудеса,
Бурно пенились волны,
Мрачны были небеса,
И глядел я, грусти полный:
"Чьи мелькают паруса?!"
1845

ПРОЩАЙ

Прощай!.. О да, прощай! Мне грустно.
Моих страданий передать
Я не могу тебе изустно,
И не могу, как раб, молчать.
Мы не привыкли лицемерить -
Не доверяя ничему,
Мы не хотели слепо верить
Больному сердцу своему.
И в час прощального привета,
Сгорая пламенем святым,
Друг другу вечного обета
Мы легковерно не дадим.
Быть может — грустное мечтанье! -
На длинном жизненном пути,
В час равнодушного свиданья
Мы вспомним грустное прости.
Тогда мы улыбнемся оба,
Друг другу отдадим поклон -
И вновь простимся, чтоб до гроба
Нас не тревожил счастья сон.
1845

МАЯК

Вон светит зарево над морем! за скалой
Мелькают полосы румяного тумана -

То месяц огненный, ночной товарищ мой,
Уходит в темные пучины океана.

Прости!.. Я звезд ищу, их прежнего следа

Ищу я, — по распутьям ночи ясной

Я видел в сонме звезд красавица звезда

Текла — но, видно, луч ее потух в напрас-

ной

Борьбе с туманами, которых путь ненаст-

ный

По небу тянется, как черная гряда.

Лучи небесные, прощайте!.. Взор блуждает.

Где берега? — где море? — где восток!..

Как в сумрачной степи пустынный огонек,

Один маяк вдали — и нет ему затмения,

И светится вдали, как огненный глазок.

Один маяк вдали — нет ему затмения,

И дела нет ему до мрачных облаков,

Как будто видит он ночное приближенье

К нему издалека идущих парусов.

Горит — а на меня наводит утомленье

Печальный шум невидимых валов.

1845

ВАЛЬС "ЛУЧ НАДЕЖДЫ"

Надежды вальс зовет, звучит -
И, замирая, занывает;
Он тихо к сердцу подступает,
И сердцу громко говорит:
Среди бесчисленных забав,
Среди страданий быстротечных -
Каких страстей ты хочешь вечных,
Каких ты хочешь вечных прав?
Напрасных благ не ожидай!
Живи, кружась под эти звуки,
И тайных ран глухие муки
Не раздражай, а усыпляй!.
Когда ж красавица пройдет
Перед тобой под маской черной
И руку с нежностью притворной
Многозначительно пожмет, -
Тогда ослепни и пылай! -
Лови летучие мгновенья
И на пустые уверенья
Минутным жаром отвечай!

1845

ПОСЛЕДНИЙ РАЗГОВОР

Соловей поет в затишье сада;
Огоньки потухли за прудом;

Ночь тиха. — Ты, может быть, не рада,
Что с тобой остался я вдвоем?
Я б и сам желал с тобой расстаться;
Да мне жаль покинуть ту скамью,
Где мечтам ты любишь предаваться
И внимать ночному соловью.
Не смущайся! Ни о том, что было,
Ни о том, как мог бы я любить,
Ни о том, как это сердце ныло,
Я с тобой не стану говорить.
Речь моя волнует и тревожит...
Веселее соловью внимать,
Оттого что соловей не может
Заблуждаться и, любя, страдать...
Но и он затих во мраке ночи,
Улетел, счастливец, на покой...
Пожелай и мне спокойной ночи
До приятного свидания с тобой!
Пожелай мне ночи не заметить
И другим очнуться в небесах,
Где б я мог тебя достойно встретить
С соловьиной песнью на устах!

1845

УТРО

Вверх, по недоступным
Крутизнам встающих

Гор, туман восходит
Из долин цветущих;
Он, как дым, уходит
В небеса родные,
В облака свиваясь
Ярко-золотые
И рассеиваясь.

Луч зари с лазурью
На волнах трепещет;
На востоке солнце,
Разгораясь, блещет.

И сияет утро,
Утро молодое...

Ты ли это, небо
Хмурое, ночное?
Ни единой тучки
На лазурном небе!
Ни единой мысли
О насущном хлебе!
О, в ответ природе
Улыбнись, от века
Обреченный скорби

Гений человека!
Улыбнись природе!
Верь знаменованью!
Нет конца стремленью
Есть конец страданью!
1845

Ах, как у нас хорошо на балконе

Ах, как у нас хорошо на балконе, мой милый! смотри
Озеро светит внизу, отражая сиянье зари;
Белый там нежится лебедь, в объятьях стихии родной,
И не расстанется с ней, как и ты, друг мой милый, со мной...
Сколько ты мне ни толкуй, что родная стихия твоя
Мир, а не жаркое солнце, не грудь молодая моя!
1845

ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ НЕМАН

Вот Руси граница, вот Неман. Французы -
Наводят понтоны: работа кипит...
И с грохотом катятся медные пушки,
И стонет земля от копыт.

Чу! бьют в барабаны... Склоняют знамена:
Как гром далеко раздается: "Vivat!"
За кем на конях короли-адъютанты
В парадных мундирах летят?
Надвинув свою треугольную шляпу,
Все в том же походном своем сюртуке,
На белом коне проскакал император
С подзорной трубою в руке.
Чело его ясно, движенья спокойны,
В лице не видать сокровенных забот.
Коня на скаку осадил он, и видит -
За Неманом туча встает...
И думает он: "Эта темная туча
Моей светозарной звезды не затмит!"
И мнится ему в то же время — сверкая,
Из тучи перст божий грозит...
И, душу волнуя, предчувствие шепчет:
"Сомнет знамена твои русский народ!"
"Вперед! — говорят ему слава и гений. -
Вперед, император! вперед!"
И лик его бледен, движенья тревожны,
И шагом он едет, и молча глядит,
Как к Неману катятся медные пушки
И стонут мосты от копыт.

1845(?)

ПТИЧКА

Пахнет полем воздух чистый...

В безмятежной тишине

Песни птички голосистой

Раздаются в вышине.

Есть у ней своя подруга,

Есть у ней приют ночной,

Средь некошеного луга,

Под росистою травой.

В небесах, но не для неба,

Вся полна живых забот,

Для земли, не ради хлеба,

Птичка весело поет.

Внемля ей, невольно стыдно

И досадно, что порой

Сердцу гордому завидна

Доля птички полевой!

1845(?)

1846–1851 Закавказье

Развалину башни, жилище орла

Развалину башни, жилище орла,
Седая скала высоко подняла,
И вся наклонилась над бездной морской,
Как старец под ношей ему дорогой.
И долго та башня уныло глядит
В глухое ущелье, где ветер свистит;
И слушает башня — и слышится ей
Веселое ржанье и топот коней.
И смотрит седая скала в глубину,
Где ветер качает и гонит волну,
И видит — в обманчивом блеске волны
Шумят и мелькают трофей войны.
1845

ПРОГУЛКА ПО ТИФЛИСУ

(Письмо к Льву Сергеевичу Пушкину).
Как полдень — так у нас стреляет
пушка.

Покуда эхо гул свой тяжело по горам
Разносит, молча вынимая
Часы, мы наблюдаем: стрелка часовая
Ушла или верна по солнечным часам?
Потом до двух — мы заняты делами;

Но так как все они решаются не нами,
Спокойно можем мы обедать — есть плоды
И жажду утолять, не трогая воды.
В собранье пусто: членов неизменных
Четыре человека каждый день
Встречать наскучило; читать газеты лень;
Журналы запоздали; нет военных;
Все в экспедиции, — и там пока в горах,
Не дальше, может быть, как только в ста
верстах

Идет резня (Шамиль воюет),
Для нас решительно войны не существует.
После обеда мы играем роль богов,
И, неспособные заняться даже вздором,
Завесив окна коленкором,
Лежим...

Кто развалившись на диване,
Кто растянувшись на ковре...
Вообразать себя заснувшим в теплой бане
Приятно потому, что на дворе
Невыносимо жарко. — Мостовая,
Где из-под ног вчера скакала саранча.
Становится порядком горяча,
И жжет подошву. — Солнце, раскаляя
Слои окрестных скал, изволит наконец

Так натопить Тифлис, что еле дышишь,
Все видишь не глядя и слушая не слы-
шишь;

Когда-то ночь придет! — дождемся ли, тво-
рец! -

Вот ночь не ночь — а все же наконец
Пора очнуться. — Тихий, благодатный
Нисходит вечер, час весьма благоприят-
ный

Для той прогулки, от которой ждать
Отрады — первая в Тифлисе благодать.
Куда ж идти? Иду через Мухранский
Овражный мост, и прямо на Армянский
Базар являюсь — там народ,
Поднявшись на заре, для дел, нужды и ле-
ни,

На узких тротуарах ищет тени,
Гуляет, спит, работает и пьет. -
Народ особенный! Я здесь люблю толкать-
ся -

И молча наблюдать — и молча любоваться
Картинами, каких, конечно, никогда
Мне прежде видеть не случалось;
Их не видать — невелика беда,
Но видеть весело, пока не стосковалась

Душа по тем степям, которых вид один,
Бывало, наводил тоску и даже сплин.
Но... я не знаю что — привычка, может
статься,

Бродя в толпе, на лицах различать
Следы разврата, бедности безгласной
Или корысти слишком ясной,
Невежества угрюмую печать
Убавила во мне тот жар напрасный,
С которым некогда я рад был вопрошать
Последнего из всех забытых нами братии.
Я знаю, что нужда не в силах разделять
Ни чувств насыщенных, ни развитых по-
нятий,

Что наша связь давно разорвана с толпой,
Что лучшие мечты — источники страда-
нья -

Для благородных душ остались мечтой...
Итак, чтоб не входить в бесплодные мечта-
нья,

Я поскорей примусь за описанье. -
С чего начать?!. Представьте, я брожу
По улицам — а где, и сам не знаю,
Тифлис оригинальным нахожу,
По крайней мере, не скучаю;

Представьте, наконец, — я в улицу вхожу
Кривую, тесную — под старыми домами
Направо и налево лавок ряд -
Вот караван-сарай, восточными коврами
Увешан пыльный вход, узоры их пестрят -
Но я иду от них сквозными воротами
На низкий дворик, устланный плитами,
С бассейном без воды, и слышу, как шумит
Волна в Куре, — куда она спешит,
Неугомонная, живая?..

Не знает, что вдали от этих берегов
Ей не видать других цветущих городов,
Как не видать земного рая!

Что никогда оттуда, где шумят
Каспийские валы, гнилой камыш качая,
К решеткам караван-сарая
Не воротиться ей назад!

Спешу на улицу — и вижу виноград
Висит тяжелыми, лиловыми кистями,
Поспел — купите фунт — бакальщик рад...
Вот перец и миндаль, а вон табак турец-

кий

Насыпан кучами — кальяны — чубуки -
Кинжалы — кана_у_с — бумажные платки,
Товар персидский и замоскворецкий!

Дешевый все товар из самых дорогих!
Иду я дальше; множество портных
Сидят на низеньких подмостках в меховых
Остроконечных шапках, рукава утюжат,
Обводят обшлага черкески заказной
Иль праздничной чухи {*} тесьмою золо-
той,

{* Чуха — грузинский кафтан с откидными
рукавами. (Прим. авт.)}

Усердно шьют — и мне усердно служат:
Из медных утюгов огонь я достаю,
Чтоб тут же закурить потухшую мою
Сигару — здесь курить начальство позво-
ляет;

Пожаров никогда в Тифлисе не бывает,
В Тифлисе просто нечему гореть,
Здесь только можно загореть,
Что, вероятно, всякий знает.

Вот, вижу я, цирюльня, у дверей
Круглится голова; поджав босые ноги,
Сидит благочестивый на пороге
Татарин, голову его бородобрей
Нагнул поближе к свету — выбрил — по-
скорей

Тряпицей вытер — и к окошку

Сушить повесил грязную ветошку. -
Чего ж вам больше!.. Вот кофейня, два куп-
ца -

Два персианина играют молча в шашки,
Хозяин смотрит, сумрачный с лица,
А между тем бичо {*} переменяет чашки.
{* Бичо — по-грузински мальчик. (Прим.
авт.)}

В пяти шагах, желая аппетит
Свой утолить у небольшой харчевни,
Сошлись работники, грузины из деревни;
Котлы кипят — горячий пар валит -
Лепешек масляных еще дымятся глыбы,
Кувшин с вином под лавкою стоит,
А с потолка висят хвосты копченой рыбы.
Вот на полу какой-то кладовой
(Вы здешние дома, конечно, не забыли)
Два армянина, завязав от пыли
Глаза платком, натянутой струной
Перебивают шерсть. Насупротив, у лавки,
Где как-то меньше толкотни и давки,
Уселся на скамье худой, невзрачный жид
И на станке тесьму и позументы
Прилежно ткет; за ним, на сундуке,
Откинув рукава, сидит в архалуке

Меняла, в сладостной надежде на проценты!

Но вот базар еще теснее -

Разноплеменная толпа еще пестрее.

Я слышу скрип, илиум, и крики — хабарда!

{*}

{* Хабарда — берегись! (Прим. авт.)}

Вот нищий подошел ко мне, склоняясь на посох;

Вот буйволы идут, рога свои склоняя;

Тяжелая арба скрипит на двух колесах;

Вот скачет конь, упрямого коня

Стегает плеть; налево, с бурдюками,

Знать, из Кахетии с вином,

Дощатый воз плетется, и на нем

Торчит возница с красными усами {*}

{* На Востоке есть обычай красить себе бороду и усы. (Прим. авт.)}

А вон ослы вразброд идут,

В кошелках угля несут

И машут длинными ушами;

На одного из них уселись верхом

В лохмотьях два полунагих ребенка,

А третий сзади глупого осленка

Немилосердно бьет хлыстом...

Тифлис для живописца есть находка.
Взгляните, например: изорванный чек-
мень,

Башлык, нагая грудь, беспечная походка,
В чертах лица задумчивая лень,
Кинжал и странное в глазах одушевленье!

Вот, например, живое воплощенье

Труда — муша {*} по улице идет;

{* Муша — носильщик. (Прим. авт.)}

Огромный шкаф, перекрестив ремнями,

Он на спину взвалил и медленно несет,

Согнувшись в угол, пот ручьями

По загорелому лицу его течет,

Он исподлобья смотрит и дает

Дорогу... Не могу дорисовать картины! -

Представьте, что в глазах мешаются ослы,

Ковры, солдаты, буйволы, грузины,

Муши, балконы, осетины,

Татары — наконец я слышу крик муллы -

И наконец под минаретом

Свожу знакомство с новым светом -

И чувствую, что на чужом пиру...

Налево мост идет через Куру,

А вон крутой подъем к заставе Эриван-
ской;

Вот, вижу, караван подходит шемаханский;

Как великан, идет передовой верблюд,

За ним гуськом его товарищи идут -

Раздули ноздри и глядят спесиво;

Их шеи длинные навтыяжку стоят,

На них бубенчики нестройные звенят,

С горбов висит космами грива;

Огромные тюки качая на спине,

Рабы Востока тяжестию ноши

Гордятся и блаженствуют вполне;

А я глотаю пыль — иду — и в стороне

Вдруг слышу — деревянные подкоши {*

{* Подкоши — башмаки без задков. (Прим. авт.)}

Стучат — идет татарка в белой простыне;

Толпа грузинских жен спешит укрыться в бане,

А я спешу назад — спешу куда-нибудь,

Чтоб только чистым воздухомдохнуть,

Чт_о_невозможно на Майдане {*}.

{* Майдан — базарная площадь. (Прим. авт.)}

Где я — творец! — какие там сидят

Фигуры на стенах — перебирают четки -

И неподвижно вниз глядят;
Внизу овраг — на дне его шумят
Горячие ключи. — Неужели назад
Идти?.. Ого! над самой головою
Я слышу разговор, а может быть, и брань -
Но... пусть бранят! — теперь передо мною
Открылся чудный вид. Отсюда, из-за бань,
Мне виден замок за Курою...
И мнится мне, что каменный карниз
Крутого берега, с нависшими домами,
С балконами, решетками, столбами,
Как декорация в волшебный бенефис,
Роскошно освещен бенгальскими огнями.
Отсюда вижу я — за синими горами
Заря, как жертвенник, пылает и Тифлис
Приветствует прощальными лучами.
О, как блистательно проходит этот час!
Великолепная для непривычных глаз
Картина! Вспомните всю массу этих зда-
ний,

Всю эту смесь развалин без преданий -
Домов, построенных, быть может, из руин,
Садов, опутанных ветвями винограда,
И этих куполов, которых вид один
Напомнит вам предместья Цареграда,

И согласитесь, что нарисовать
Тифлис не моему перу. — К тому ж, при-
знаться.

Мне самому пришлось недолго любоваться;
ся;

Я как-то вздумал догадаться,
Что на чужом дворе невыгодно стоять:
Где улица, где двор, в иных местах Тифли-
са

Не разберешь...

Но вот уж сумерки сгущаются в глуши
Садов — и застилают переулки;
В глухие, дальние забрел я закоулки -
И ни одной мужской души!
Вот женщина взошла на низенькую кров-
лю;

Вдали звучит протяжная зурна -

Как видно, здесь крикливую торговлю

Семейная сменила тишина.

Вот у калитки две старухи...

Сошлись и шепчутся и городские слухи

Передают друг другу. Вон скамья

Стоит никем не занятая,

Меж тем как на земле почтенная семья

Сидит беспечно отдыхая...

Не стану женщин вам описывать наряд,
Их легкое, как воздух, покрывало,
Косицы черные и любопытный взгляд,
В котором много блеску, жизни мало...
Повсюду я спешу ловить
Рой самых свежих впечатлений;
Но, признаюсь вам, надо жить
В Тифлисе — наблюдать — любить -
И ненавидеть, чтоб судить
Или дожидаться вдохновений...
1846

ЗАТВОРНИЦА

В одной знакомой улице
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная

Меня туда влекла,
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала, бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне.
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она дрожа шептала мне:
"Послушай, убежим!
Мы будем птицы вольные
Забудем гордый свет...
Где нет людей прощающих,
Туда возврата нет..."
И тихо слезы капали
И поцелуй звучал
И ветер занавескою
Тревожно колыхал.
1846

ГРУЗИНКА

Вчера грузинку ты увидел в первый раз
На кровле, устланной коврами,

Она была в шелку и в галунах, и газ
Прозрачный вился за плечами.
Сегодня, бедная, под белою чадрой,
Скользя тропинкою нагорной,
Через пролом стены, к ручью, над головой
Она несет кувшин узорный.
Но не спеши за ней, усталый путник мой, -
Не увлекись пустым мечтаньем!
Мираж не утолит томящей жажды в зной
И не навевает снов журчаньем.

1846

ТАТАРСКАЯ ПЕСНЯ {*}

{* Татарская песня эта была доставлена покойным Абаз-Кули-Ханом одному польскому поэту, Лада-Заблоцкому. Он перевел эту песню по-польски, прозой; я, как умел, русскими стихами... (Прим. авт.)}

Посв. Г. П. Данилевскому

Он у каменной башни стоял под стеной;
И я помню, на нем был кафтан дорогой;
И мелькала, под красным сукном,
Голубая рубашка на нем...
Презирайте за то, что его я люблю!
Злые люди, грозите судом -

Я суда не боюсь и вины не таю!

Не бросай в меня к_а_мнями!..

Я и так уже ранена...

Золотая граната растет под стеной;

Всех плодов не достать никакою рукой;

Всех красивых мужчин для чего

Стала б я привораживать! Но

Приютила б я к сердцу, во мраке ночей

Приголубила б только его -

И уж больше любви мне не нужно ничьей!

Не бросай в меня к_а_мнями!..

Я и так уже ранена...

Разлучили, сгубили нас горы, холмы

Эриванские! Вечно холодной зимы

Вечным снегом покрыты оне!

Говорят, на чужой стороне

Девы Грузии блеском своей красоты

Увлекают сердца... Обо мне

В той стране, милый мой, не забудешь ли

ты?

Не бросай в меня к_а_мнями!..

Я и так уже ранена...

Говорят, злая весть к нам оттуда пришла;

За горами кровавая битва была;

Там засада была... Говорят,

Будто наших сарбазов {*} отряд
{* Сарбазы — персидские солдаты. (Прим.
авт.)}

Истреблен ненавистной изменою... Чу!
Кто-то скачет... копыта стучат...
Пыль столбом... я дрожу и молитву шепчу.
Не бросай в меня к_а_мнями!..
Я и так уже ранена...
1846

НИЩИЙ

Знавал я нищего: как тень,
С утра бывало целый день
Старик под окнами бродил
И подаяния просил...
Но все, что в день ни собирал,
Бывало к ночи раздавал
Больным, калекам и слепцам
Таким же нищим, как и сам.
В наш век таков иной поэт.
Утратив веру юных лет,
Как нищий старец изнурен,
Духовной пищи просит он.
И все, что жизнь ему ни шлет,

Он с благодарностью берет
И душу делит пополам
С такими ж нищими, как сам...
1847

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Когда душа твоя, страдая,
Полна любви, — а между тем
Ты любишь, сам не понимая,
Кого ты любишь и зачем.
Из глубины, откуда бьется
Пульс жизни сердца твоего,
Мой голос смутно раздается:
Услышь его! пойми его!
Кто я? — меня не видит око...
Но — близкий сердцу, как печаль.
Я, как мечта, ношусь далеко,
Зову и — увлекаю вдаль.
Я не доступный мыслям праздным,
Я тот, кто в благости своей
Законы дал звездам алмазным,
Свободу дал душе твоей.
Живой источник мыслей тайных,
Свой вечный свет вливая в них,
Мне мало дела до случайных

Тревог и радостей твоих.
Но, бесконечно всюду вея,
Хочу, чтоб жизнь была полна,
В твоей душе вопросы сея,
Дышу на эти семена -
И говорю: на почве скудной
Дай вызреть божьим семенам,
В день благодатный жатвы трудной
Я за дела твои воздам.

1847

ГОРНАЯ ДОРОГА В ГРУЗИИ

Вижу, как тяжек мой путь,
Как бесполезен мой повод!
Кони натужили грудь,
Солнце печет, жалит овод.
Что ты, лихой проводник,
Сверху кричишь мне: за мною!
Ты с малолетства привык
Рыскать с ружьем за спиною.
Я же так рано устал!
Скучны мне виды природы -
Остовы глинистых скал,
Рощей поникшие своды!
Глухо, безлюдно кругом...

Тяжко на эти вершины,
Вечным объятые сном,
Облокотились руины.
Спят!.. и едва ли от них
Странник дождется ответа!
Вряд ли порадует их
Голос родного привета!
Нет ли! — скажи, проводник, -
Нет ли преданья?! — Рукою
Шапку надвинул старик
И покачал головою.
Вижу — потоки бегут -
Книзу проносится пена,
Через потоки бредут
Кони, в воде по колена.
Рад бы и я утолить
Жажду — в тени приютиться.
Рад бы с коня соскочить -
Руки сложить и забыться.
Некуда спрыгнуть с седла!
Слева — отвесные стены,
Справа — деревья и мгла,
Шум и сверкание пены.
Рад бы помчаться стрелой!
Рад бы скакать! — невозможно!

Конь мой идет осторожно,
Пробует камни ногой.
И осторожность заслуга!
Конь мой собой дорожит
Вот поднимается с юга
Ветер, — пустыня шумит,
Мне же далекого друга
Голос как будто звучит.
"Друг мой! зачем ты желаешь
Лучших путей? путь один..."
Ну, конь! иди сам как знаешь -
Здесь я не твой господин!
1848

ГРУЗИНСКАЯ ПЕСНЯ

Всякий раз как под буркой, порою ночной,
Беспробудно я сплю до звезды заревой,
Три видения райских слетают ко мне -
Три красавицы чудных я вижу во сне".
Как у первой красавицы очи блестят,
Так и звезды во мраке ночном не горят;
У второй, как поднимет ресницы свои,
Очи зорко глядят, как глаза у змеи.
Никогда не была ночь в горах так темна,

Как у третьей темна черных глаз глубина,
И когда на заре улетает мой сон,
Не вставая, гляжу я в пустой небосклон -
Все гляжу да все думаю молча о том:
Кабы деньги да деньги, построил бы дом!
Окружил бы его я высокой стеной,
Заключил бы я в нем трех красавиц со
мною -
От утра до утра им бы песни я пел!
От зари до зари им бы в очи глядел!
<1848>

ГРУЗИНСКАЯ НОЧЬ

Грузинская ночь — я твоим упиваюсь дыха-
нием!

Мне как хорошо здесь под этим прохлад-
ным навесом,

Под этим навесом уютной нацваловой (1)
сакли.

На мягком ковре я лежу под косматою бур-
кой,

Не слышу ни лая собак, ни ослиного крику,
Ни дикого пенья под жалобный говор чин-
гури (2).

Заснул мой хозяин — потухла светильня в
железном

Висячем ковше... Вот луна! — и я рад, что
стгорело

Кунжутное (3) масло в моей деревенской
лампаде...

Иные лампы зажглись, я иную гармо-
нию слышу.

О боже! какой резонанс! Чу! какая-то пти-
ца

Ночная, болотная птица поет в отдале-
нья...

И голос ее точно флейты отрывистый, чи-
стый,

Рыдающий звук — вечно та же и та же
В размер повторенная нота — уныло и ти-
хо

Звучит. — Не она ли мне спать не дает! Не
она ли

Напела мне на душу грусть! Я смыкаю рес-
ницы,

А думы несутся одна за другой, беспрестан-
но,

Как волны потока, бегущего с гор по ущелью.

Но волны потока затем ли бегут по ущелью,

Чтоб только достигнуть предела и слиться
с волнами

Безбрежного моря! — нет, прежде чем моря
достигнуть,

Они на долину спешат, напоить виноградные
лозы

И нивы — надежду древнейшего в мире
народа.

А вы, мои думы! — вы, прежде чем в вечность

Умчитесь, в полете своем захватив мириады

Миров, — вы — скажите, ужель суждено
вам

Носиться бесплодно над этою чудной страной,

Так страстно любимую солнцем и — выжженной
солнцем!

1 Нацвал — деревенский староста. (Здесь и далее подстрочные примечания, кроме специально оговоренных, принадлежат Я. П. Полонскому.)

2 Чингури — струнный инструмент.

3 Кунжут — растение.

1848

ТАТАРКА

На коне, в тени черешни,
Я стою — смотрю, как вешний
Ветерок волнует рис;
По дороге ехать жарко -
Ни души — одна татарка
По оврагу сходит вниз.
Вот сошла — и у канавы
На обломок серой лавы
Ставит кованый кувшин;
Подбоченилась лениво
И косится боязливо:
Нет ли около мужчин.
Я заметил беспокойный
Взгляд — щеки румянец знойный -
Черный локон у виска.
О аллах! в твоей пустыне
Я подобного донине
Не видал еще цветка!
Но татарка встрепенулась
И пугливо завернулась

Руйбянды {*} своей концом.
{* Руйбяида или рубанда -
женская повязка, закрывающая
лицо до самых глаз. (Прим. авт.)}
Торопливо придержала
Свой кувшин и грубо стала
От меня назад лицом.
Неучтив обычай края!
Но, обычай проклиная,
Быть в долгу я не хочу.
(Может быть, догадлив был я),
Сам себе лицо закрыл я
Пыльной шапкой и — скачу.
Впрочем, как не обернуться!
Вижу (как не улыбнуться!) -
На меня она глядит -
И смеется — вот уловка!
Догадалась плутовка,
Что никто не сторожит!
<1848>

В ИМЕРЕТИИ

Царя Вахтанга {*} ветхие страницы
{* Царь Вахтанг — грузинский

летописец. (Прим. авт.)}
Перебирая в памяти моей,
Иду я в терем доблестной царицы,
В развалину — приют неведомых теней.
Уже заря, как зарево пожара,
На гребни темных скал бросает жаркий
свет!

Заря, леса и скалы!.. О Тамара!
Не здесь ли пел твой пламенный поэт!
Дыша, я чувствую, что здесь земля — клад-
бище,

А небеса — покров почиющих царей;
И между тем нигде природа, как жилище
Творца, не может быть ни лучше, ни пыш-
ней.

Кругом, как божия ограда.
Заоблачный хребет далеко манит взор,
Там спят леса под говор водопада;
А здесь миндаль, и лозы винограда,
И дикого плюща живой ковер.
О, здесь бы жить — любить и наслаждаться;
с;

Но по горам какой-то демон злой,
Блуждая, не дает ни сердцу забываться,
Ни бедный ум согреть мечтой. -

Незримый дух! Он всюду бьет тревогу;
Везде кричит: сюда, сюда!
Здесь нужно вам в скалах пробить дорогу!
Здесь реку запрудить! там строить города!
Никто не жнет плодов, не сея! -
Ужасный дух! от каждого пигмея
Готов он требовать гигантского труда!
Тамары нет... О Русь! еще ли ты не в силах,
Поднявши меч, и заступ, и топор,
Развить и жизнь и мысль на царственных
могилах,
Чтоб успокоить духа гор!
<1848>

НЕ ЖДИ

НЕ ЖДИ
Я не приду к тебе... Не жди меня! Неда-
ром,
Едва потухло зарево зари,
Всю ночь зурна звучит за Авлабаром (1).
Всю ночь за банями поют сазандари (2).
Здесь теплый свет луны позолотил балко-
ны,
Там углубились тени в виноградный сад,

Здесь тополи стоят, как темные колонны,
А там, вдали, костры веселые горят
Пойду бродить! — Послушаю, как льется
Нагорный ключ во мгле заснувших Салла-
лак (3),

Где звонкий голос твой так часто раздает-
ся,

Где часто, вижу я, мелькает твой личак (4).
Не ты ли там стоишь на кровле под чад-
рою,

В сиянье месячном?! — Не жди меня, не
жди!

Ночь слишком хороша, чтоб я провел с то-
бою

Часы, когда душе простора нет в груди;
Когда сама душа — сама душа не знает,
Какой любви, каких еще чудес
Просить или желать — но просит — но же-
лает

Но молится пред образом небес,
И чувствует, что уголок твой душен,
Что не тебе моим молениям отвечать,
Не жди! — я в эту ночь к соблазнам равно-
душен

Я в эту ночь к тебе не буду ревновать.

1 Авлабар — часть города Тифлиса.

2 Сазандар — певец.

3 Саллалаки — юго-западная часть Тифлиса.

4 Личак — головной убор грузинки, в виде длинной вуали, обыкновенно откинутой назад.

<1849>

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

Вчера к развалинам, вдоль этого ущелья,
Скакали всадники — и были зажжены
Костры — и до утра был слышен гул веселья

Пальба, и барабан, и вой зурны.

Из уст в уста ходила азарпеша (1),

И хлопали в ладоши сотни рук,

Когда ты шла, Майко, сердца и взоры теша,

Плясать по выбору застенчивых подруг.

Сегодня вновь безлюдное ущелье

Глядит пустыней, — мирная пальба

Затихла — выспалось похмелье

И съехала с горы последняя арба!

Не все же праздновать! — веселый пир народный

Прошел, как сон... Так некогда любовь
Моя прошла — пыл сердца благородный
Простыл, давно простыл; — но не просты-
ла кровь!

Как после праздника в глотке вина отраду
Находит иногда гуляка удалой,
Так рад я был внимательному взгляду
Моей Майко, плясуньи молодой!
Что ж медлю я... Бичо! ты, конюх мой про-
ворный!

Коня!! — Ее арбу два буйвола с трудом
Везут. — Догоним... Вот играет ветер гор-
ный

Катибы (2) бархатной пунцовым рукавом.

1 Азарпеша — чаша для вина.

2 Катиба — женская одежда с откидными
рукавами.

1849

КАХЕТИНЦУ {*}

{* Князю Д. А. Чавчавадзе, брату Н. А.
Грибоедовой. (Прим. авт.)}

Я знаю, там, за вашими горами,

По старине, в саду, в тени кудрявых лоз,
Ты любишь пить с веселыми гостями
И уставлять ковры букетами из роз!
И весело тебе, когда рабы собирают
Ваш виноград — когда по целым дням
В давальнях толкотня — и мутные стекают
Струи вина, журча по длинным желобам...
Ты любишь пулями встречать гостей
незванных -

Лезгин, из ближних гор забравшихся в са-
ды,

И любишь гарцевать, когда толпой на рья-
ных

Конях спешите вы на пир в Аллаверды.
И весело тебе, что твой кинжал с насечкой,
Что меткое ружье в оправе дорогой -
И что твой конь звенит серебряной уздеч-
кой,

Когда он ржет и пляшет под тобой.
И любишь ты встречать, неведомый доны-
не,

В теплицах Севера воспитанный цветок;
Она* у вас теперь цветет в родной до-
лине,

{* Княгиня А. И. Чавчавадзе, урожденная

княжна Грузинская. (Прим. авт.))
И не скрывается, чтоб каждый видеть мог,
Чтоб каждый мог забыть, смотря с благого-
веньем

На кроткие небесные черты,
И праздность — и вино с его самозабве-
ньем -

И месть — и ненависть — и буйные мечты.
<1849>

АГБАР

1 Крадется ночью татарин Агбар
К сакле, заснувшей под тенью чинар.

Вот миновал он колючий плетень;
Видит, на сакле колышется тень.

Как не узнать ему, — даром что ночь,
Как не узнать Агаларову дочь! {*}

{* Агалары — татары-помещики. (Прим.
авт.)}

Мрачно. В ауле огней не видать;
Лютые псы перестали ворчать.

Ясные звезды потупили взор -
Слушают звезды ночной разговор.

"Солнце мое! — стал Агбар говорить. -
Я за тебя рад себя погубить!"

"Что ж ты! зачем не украдешь меня?" -

"Рад бы украсть я, — да нету коня...
Завтра пошлю я к отцу твоему,
Бедный калым {*} предложу я ему.
{* Калым — подарки жениха отцу
невесты. (Прим. авт.)}

Двадцать последних монет серебра,
Пару волов, два узорных ковра..."

"Тише!.. Прощай!" — И во мраке чинар
Скрылся проворный татарин Агбар.

2

Солнце печет темя каменных гор.

Голову клонит на мягкий ковер.

И отдыхает под тенью чинар

В шапке косматой старик Агалар.

Неподалеку, в закрытых сенях,

Жены мотают шелки на станках.

Возле на камне старуха сидит,

Сдвинула брови и в землю глядит.

"Пару волов? У меня тридцать пар!

Что мне волы! — говорит Агалар. -

Мало ли есть у князей табунов!

Мало ли там дорогих жеребцов!

Пусть уведет он, хоть в эту же ночь,

Пару коней — я отдам ему дочь.

Знаю, недавно проехал в Ганжу {*}

{* Ганжа — гор. Елисаветполь. (Прим. авт.)}
Русский чиновник, а кто — не скажу.
Есть у него дорогое ружье...
Бели ружье это будет мое,
Если украдет хоть в эту же ночь,
Пусть принесет — я отдам ему дочь.
Мало того, есть купец армянин...
Деньги везет, — едет сдуру один..."
И усмехнувшись, лукавый старик
Начал дремать — головою поник.
Встала старуха, накрылась чадрой
И поплелась потихоньку домой.

3
Светит луна, как далекий пожар;
Ветер качает вершины чинар;
Листья чинар беспокойно шумят;
Лютые псы у соседа ворчат.
Вновь на свиданье Агбар удалой
Крадется к сакле знакомой тропой.
Жаркое сердце забилось в груди -
Кто мог шепнуть ей: красавица, жди!
Ясные звезды потупили взор -
Слушают звезды ночной разговор:
"Где пропадал ты? возлюбленный мой!" -
"Я не пропал — я пришел за тобой".

"Каждую ночь я ходила сюда...
Милый! — скажи мне — какая беда?"
"В эту неделю украл я коня;
Добрый товарищ нас ждет у плетня;
В эту неделю украл я ружье;
Да не в ружье все богатство мое!
Им я убил армянина купца...
Деньги достал по совету отца.
Им и отца я убью в эту ночь,
Если украсть помешает мне дочь..."
<1849>

В ИМЕРЕТИИ

Риона шум и леса тень,
Плющ, виноград и цвет граната,
Прохладный ключ и знойный день,
И воздух, полный аромата,
Кругом лесистые холмы,
Хребты, покрытые снегами, -
Надолго ль встретились мы?
Надолго ль я останусь с вами?
Или, как мимолетный сон,
Мелькнули вы передо мною -
И мне уже определен

Безвестный путь... или судьбою
Мне будет снова суждено
Сюда надолго возвратиться -
И тем, что временно дано,
Уже навеки насладиться?
И не того бы я хотел...
На лоне матери-природы
В труде разумном бы провел
Я увядающие годы,
И здесь иные семена,
Иные мысли б я посеял;
Тебя бы, дивная страна,
В уме и сердце я лелеял!
Когда же под безвестный кров
Взойдет земляк с страны родимой -
Его б в тени моих садов
Встречал я мыслию любимой;
Я б говорил: иди сюда -
Взгляни, как радостно слиянье
Природы дивной и труда
Без угнетенья и страданья!
Кутаис. Мая 23, 1850

НАД РАЗВАЛИНАМИ В ИМЕРЕТИИ

Когда на листья винограда
Слетала влажная прохлада
С недостигаемых вершин;
Когда вечерний звон Гелата
В румяных сумерках заката,
Смутив пустыни грустный сон,
Перелетал через Рион, -
Здесь, на кладбищах, позабытых
Потомством, посреди долин,
Во мгле плющами перевитых
Каштанов, лавров и раин {*},
{* Раина — дерево. (Прим. авт.)}
Мне снился рой теней, покрытых
Струями крови, пылью битв, -
Мужей и жен, душой сгоревших
В страстях — и в небо улетевших,
Как дым, без мысли и молитв...
Но тщетно посреди видений
Мой ум наставника искал:
В их тесноте народный гений
Лучом бессмертья не сиял!
И проносился рой духов,
Как бы ища своих следов,
Над прахом тел, давно истлевших,
Под грудями не уцелевших

Соборов, башен и дворцов.
В устах, для мира охладевших,
На все звучал один ответ:
"Здесь было царство — царство пало...
Мы жили здесь — и нас не стало...
Но не скорби о нас, поэт!
Мы пили в жизни полной чашей;
Но вам из гроба своего,
В усладу бедной жизни вашей,
Не завещали ничего!.."
И пронеслись... Но сквозь туманы
Протекших лет передо мной
Неотразимой красотой
Мелькает образ Дареджаны...1
В ее глазах — любовь и мгла,
Тоска на мраморе чела,
В груди огонь желаний скрытых -
И возмутительных страстей
Зараза — и коварный змей
В улыбке уст полураскрытых.
1850 (Кутаис)

СТАРЫЙ САЗАНДАР

Земли, полуднем раскаленной,
Не освежила ночи мгла.
Заснул Тифлис многобалконный;
Гора темна, луна тепла...
Кура шумит, толкаясь в темный
Обрыв скалы живой волной...
На той скале есть домик скромный,
С крыльцом над самой крутизной.
Там, никого не потревожа,
Я разостлать могу ковер,
Там целый день, спокойно лежа,
Могу смотреть на цепи гор:
Гор не видать — вся даль одета
Лиловой мглой; лишь мост висит,
Чернеет башня минарета,
Да тополь в воздухе дрожит.
Хозяин мой хоть брови хмурит,
А, право, рад, что я в гостях...
Я все молчу, а он все курит,
На лоб надвинувши папах.
Усы седые, взгляд сердитый,
Суровый вид; но песен жар
Еще таит в груди разбитой
Мой престарелый сазандар.
Вот, медных струн перстам касаясь,

Поет он, словно песнь его
Способна, дико оживляясь,
Быть эхом сердца моего!
"Молись, кунак (1), чтоб дух твой крепнул;
Не плачь; пока весь этот мир
И не оглох и не ослепнул,
Ты званный гость на божий пир...
Пока у нас довольно хлеба
И есть еще кувшин вина,
Не раздражай слезами неба
И знай — тоска твоя грешна.
Гляди — еще цела за нами
Та сакля, где, тому назад
Полвека, жадными глазами
Ловил я сердцу милый взгляд.
Тогда мне мир казался тесен;
Я умирал, когда не мог
На празднике, во имя песен,
Переступить ее порог.
Вот с этой старою чингури
При ней бывало на дворе
Я пел, как птица после бури
Хвалебный гимн поет заре.
Теперь я стар; она — далеко!
И где? — не ведаю; но верь,

Что дальше той, о ком глубоко
Ты, может быть, грустишь теперь...
Твое мученье — за горами,
Твоя любовь — в родном краю;
Моя — над этими звездами
У бога ждет меня в раю!"
И вновь молчит старик угрюмый;
На край лохматого ковра
Склонясь, он внемлет с важной думой,
Как под скалой шумит Кура.
Ему былое время снится...
А мне?.. Я не скажу ему,
Что сердце гостя не стремится
За эти горы ни к кому;
Что мне в огромном этом мире
Невесело; что, может быть,
Я лишний гость на этом пире,
Где собрались есть и пить;
Что песен дар меня тревожит,
А песням некому внимать,
И что на старости, быть может,
Меня в раю не будут ждать!

1 Кунак — друг, приятель, кум.
<1853>

КАЧКА В БУРЮ

(Посв. М. Л. Михайлову)
Гром и шум. Корабль качает;
Море темное кипит;
Ветер парус обрывает
И в снастях свистит.
Помрачился свод небесный,
И, вверяясь кораблю,
Я дремлю в каюте тесной...
Закачало — сплю.
Вижу я во сне: качает.
Няня колыбель мою
И тихонько запеваает
"Баюшки-баю!"
Свет лампы на подушках,
На гардинах свет луны...
О каких-то все игрушках
Золотые сны.
Просыпаюсь... Что случилось?
Что такое? Новый шквал?
"Плохо — стеньга обломилась,
Рулевой упал".
Что же делать? что могу я?

И, вверяясь кораблю,
Вновь я лег и вновь дремлю я...
Закачало — сплю.
Снится мне: я свеж и молод,
Я влюблен, мечты кипят...
От зари роскошный холод
Проникает в сад.
Скоро ночь — темнеют ели...
Слышу ласково-живой,
Тихий лепет: "На качели
Сядем, милый мой!"
Стан ее полувоздушный
Обвила моя рука,
И качается послушно
Зыбкая доска...
Просыпаюсь... Что случилось?
"Руль оторван; через нос
Вдоль волна перекатилась,
Унесен матрос!"
Что же делать? Будь что будет!
В руки бога отдаюсь:
Если смерть меня разбудит
Я не здесь проснусь.

1850

НОЧЬ НА ВОСТОЧНОМ БЕРЕГУ

ЧЕРНОГО МОРЯ

Чу! — выстрел — встань! Быть может, напа-
денье...

Не разбудить ли казаков?..

Быть может, пароход заходит в укрепление

Подать письмо с родимых берегов.

Открой окно! — Ни зги! Желанных парусов

Кто в эту ночь увидит приближение?

Луну заволокла громада облаков. -

Не гром ли? — Нет — не гром — игра вооб-
раженья...

— Зачем проснулись мы, увы, кто скажет
нам!

Одни валы шумят и плачут без ответа...

Так часто, в наши дни, в немой душе поэта

Проходят образы, незримые очам,

Но вожделенные — подобно парусам,

Идущим в пристань до рассвета.

Пароход "Тамань". 1850

НОЧЬ

Отчего я люблю тебя, светлая ночь,
Так люблю, что страдая люблюсь тобой!
И за что я люблю тебя, тихая ночь!

Ты не мне, ты другим посылаешь покой!..

Что мне звезды — луна — небосклон — облака

Этот свет, что, скользя на холодный гранит,

Превращает в алмазы росинки цветка,
И, как путь золотой, через море бежит?

Ночь! — за что мне любить твой серебряный свет!

Усладит ли он горечь скрываемых слез,
Даст ли жадному сердцу желанный ответ,
Разрешит ли сомненья тяжелый вопрос!

Что мне сумрак холмов — трепет сонный листьев

Моря темного вечно-шумящий прибой
Голоса насекомых во мраке садов
Гармонический говор струи ключевой?

Ночь! — за что мне любить твой таинственный шум!

Освежит ли он знойную бездну души,
Заглушит ли он бурю мятежную дум
Все, что жарче впотьмах и слышнее в тиши!

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь,
Так люблю, что страдая люблюсь тобой!

Сам не знаю, за что я люблю тебя, ночь,
Оттого, может быть, что далек мой покой!
1850

Не мои ли страсти

Не мои ли страсти
Поднимают бурю?
С бурями бороться
Не в моей ли власти?..
Пронеслася буря
И дождем и градом
Пролилася туча
Над зеленым садом.
Боже! на листочках
Облетевшей розы
Как алмазы блещут
Не мои ли слезы?
Или у природы,
Как у сердца в жизни,
Есть своя улыбка
И свои невзгоды?
1850

САТАР (1)

Сатар! Сатар! твой плач гортанный
Рыдающий, глухой, молящий, дикий
крик

Под звуки чианур и трели барабанной
Мне сердце растерзал и в душу мне про-
ник.

Не знаю, что поешь; — я слов не понимаю;
Я с детства к музыке привык совсем иной;
Но ты поешь всю ночь на кровле земля-
ной,

И весь Тифлис молчит — и я тебе внимаю,
Как будто издали, с востока, брат больной
Через тебя мне шлет упрек иль ропот свой.
Не знаю, что поешь — быть может, песнь
Кярама,

Того певца любви, кого сожгла любовь;
Быть может, к мести ты взываешь — кровь
за кровь

Быть может, славишь ты кровавый меч Ис-
лама

Те дни, когда пред ним дрожали тьмы ра-
бов...

Не знаю, — слышу вопль — и мне не нуж-
но слов!

1 Сатар — имя известного в Тифлисе пер-

САЯТ-НОВА {*}

{* Саят-Нова — аноним одного из армянских певцов прошлого столетия.

(Прим. авт.)

Много песков поглощают моря, унося их волнами,

Но берега их сыпучими вечно покрыты песками.

Много и песен умчит навсегда невозвратное время -

Новые встанут певцы, и услышит их новое племя.

Если погибну я, знаю, что мир мои песни забудет;

Но для тебя, нежный друг мой, другого певца уж не будет.

Если погибну я, знаю, что свет не заметит утраты;

Ты только вспомнишь те песни, под звуки которых
цвела ты.

Я просветил твое сердце — а ты, ты мой ум
помрачила;
Я улыбаться учил — а ты плакать меня на-
учила.

Так, если смолкну я, страстно любя тебя,
друг

благородный,
Где — разреши мне последний вопрос
мой, — где

будет холодный
Прах мой покоиться? там ли — в далеких
пределах

чужбины,
Здесь ли, в саду у тебя, близ тебя, под наве-
сом

раины?..
1851

ТАМАРА И ПЕВЕЦ ЕЕ ШОТА РУСТАВЕЛЬ

В Замке Роз {*}, под зеленою сенью плющей,
{* Замок Роз — по-грузински Вардис-ци-
хе -

развалины его невдалеке от Кутаиса.
(Прим. авт.)}

В диадеме, на троне Тамара сидит.
На мосту слышен топот коней;
Над воротами сторож трубит;
И толпа ей покорных князей
Собирается к ней.
О внезапной войне им она говорит -
О грозе, что с востока идет,
И на битву их шлет,
И ответа их ждет,
И как солнце красною блестит.
Молодые вожди, завернув в башлыки
Свои медные шлемы, — стоят -
И внимают тому, что отцы старики
Ей в ответ говорят.
В их толпе лишь один не похож на других -
И зачем во дворец,
В византийской одежде, мечтательно тих,
В это время явился певец?
Не царицу Иверии в сонме князей,
Божество красоты молча видит он в ней -
Каждый звук ее голоса в нем
Разливается жгучим огнем,
Каждый взгляд ее темных очей
Зарождает в нем тысячу змей,

И — восторженный — думает он:
Не роскошный ли видит он сон...
И какой нужно голос иметь,
Чтоб Тамару воспеть?..
Вдохновенным молчаньем своим
Показался он странен другим.
И упал на него испытующий взгляд,
И насмешки мучительный яд
В его сердце проник — и, любовью палим
И тоскою томим,
Из дворца удалиться он рад.
Отпустили толпу; сторож громко трубит;
На мосту слышен топот копыт;
На окрестных горах зажжены
Роковые сигналы войны -
И гонцы, улетаая на борзых конях,
Исчезают в окрестных горах...
С грустной думой Тамара на троне сидит -
Не снимает Тамара венца -
Провожает глазами толпу — и велит
Воротить молодого певца.
И слышался царственный голос жены:
"Руставель! Руставель! ты один из мужей
Родился не в защиту страны;
Кто не любит войны -

Не являйся мне в сонме князей.
Но ты любишь дела и победы мои:
Я готова тебя при дворе принимать.
Меньше пой о любви -
О безумной любви — и тебя награждать
Я готова за песни твои".
И, бледнея, поник Руставель головой
Перед гордой царицей обширных земель.
И, смутившись душой,
Как безумец, собой
Не владея, сказал Руставель:
"О царица! чтоб не был я в сонме князей,
Навсегда удалиться ты мне повели -
Все равно! — образ твой
Унесу я с собой
До последних пределов земли.
Буду петь про любовь — ты не станешь
внимать -

Но клянусь! — на возвышенный голос любви

Звезды будут лучами играть,
И пустыня, как нежная мать,
Мне раскроет объятия свои!
Удаляюсь — прости! Без обидных наград
Довершу я создание мое:

Но его затвердят
Внуки наших внучат -
Да прославится имя твое!"
12 февраля 1851

КН. С. А. Г-НОЙ

У нее, как у гитаны,
Взгляд как молния блестит;
Как у польской резвой панны,
Голос ласково звучит;
Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит.
Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей,
Но других любить решиться
Нет возможности при ней.
5 марта 1851

ВЫБОР УСТАБАША {*}

{* **У**ста-баш — то же, что голова или старшина. (Прим. авт.)}

Базары спят... Едва вошла
Передрассветная денница. -
И что за шум на той горе!
Тифлиссских нищих на заре
Куда плетется вереница?
Как будто на церковный звон
Слепца ведет его вожатый,
Как будто свадьбы ждать богатой
Или богатых похорон
К монастырю бредут босые
В косматых шапках старики,
Сложить на камни гробовые
Свои порожние мешки.
Не за копеечной добычей -
Чтоб завести иной обычай,
К монастырю, на этот раз,
Ватага нищих собралась.
Иная мучит их забота:
Забыв про медные гроши,
Они шумят: "Вай, вай! кого-то
Мы изберем в уста-баши!.."
Восстав от сна, Тифлис хохочет
Над их оборванной толпой;
Прослыть в народе головой
У нищих каждый нищий хочет, -

Бранятся, спорят и шумят...
Один Гит_о_ в дырявой шапке,
Прикрыв от ветра и дождей
Узлами обветшалой тряпки
Загар нагих своих плечей,
Стоит, свой посох упирая
В заржавый мох могильных плит,
И, грустно говорю внимая,
Молчанье мертвое хранит.
"Гит_о_, Гит_о_! скажи хоть слово...
И будь над нами уста-баш!.." -
"Нет, братья! — молвил он сурово: -
Спасибо вам за выбор ваш.
Пусть выбор наш решает счастье:
Я укажу вам дом один,
Где вечно мрачный, как ненастье,
Живет богатый армянин,
Как мы, такой же бессемеиный,
Похоронив недавно дочь,
Живет он жизнью келейной,
Считая деньги день и ночь.
Кто, братья, к празднику Христову,
Во имя божеских наград,
Хоть пол-абаза на обнову
Своих изорванных заплат

У скряги выплачет, — недаром,
Как самый счастливый из нас,
Он будет править всем амкаром {*},
{* Амкар — община, в состав
которой входят ремесленники,
торговцы и др. (Прим. авт.)}
И я послушаюся вас!"
И все в ответ сказали разом:
"Быть по совету твоему!
Навел ты нас на путь, на разум!"
И каждый взял свою суму...
Совет Гит_о_ пропал не даром:
Богатый армянин живет
И до сего дня за базаром,
Гоняя нищих от ворот -
Гит_о_ улегся на кладбище...
И вот, прошло уж много лет
С тех пор... Вай, вай! у братьи нищей
Уста-баши все нет как нет!..
1851

КАРАВАН

Отрывок из восточной повести
1

Какая ночь — не ночь, а рай!

Ночные звезды искры мечут.
Вставай, привратник, отворяй
Ворота в караван-сарай:
В горах бубенчики лепечут.

2

Луна светла, как трон аллы.
Как тени длинные, шагают
Верблюды по краям скалы;
На них ружейные стволы
То пропадают, то мелькают.

3

Вдали развалина стоит,
В туман серебряный повита.
Внизу клокочет и бежит
Ручей по склону черных плит, -
По дну ручья стучат копыта.

4

То едет сам Тамур-Гассан
В тени дремучего оврага.
И вот, к луке нагнув свой стан,
Он в гору скачет, как шайтан.
Куда, герой? куда, бродяга?

5

Поводья брошены — висят;
Ружье в чехле; подобно звеньям

Стальным, бренчит его булат;
Порывист конь, стуча скользят
Его копыта по каменьям.

6

Суровый всадник горд и смел.
Откуда и куда он скачет?
Что он, как хан, разбогател?
Или нажиться не успел -
И жизнь по-прежнему маячит?

7

Вставай, привратник, отвори
Ворота в караван-сарай!
Готовь ночлег для каравана,
И в гости жди, и угощай
Разбойника Тамур-Гассана!

8

Далеко слух идет о нем!
Тамур-Гассану нипочем
Отбить быков, связать чабана {*}.
{* Чабан — пастух. (Прим. авт.)}
Рука с нацеленным ружьем
Дрожит при имени Гассана.

9

Он может пулей влет пронзить
Орла; клыкастому кабану

Свиную морду раскроить,
Влететь в табун, коня скрутить
И покорить его аркану.

10

Широк руки его размах...
Как лев, взмахнув косматой гривой,
Храпит и, с пеной на губах,
Напрасно в двадцати шагах
Из петли рвется конь ретивый -

11

Как раз могучая рука
Смирит порыв его свободный,
И будет гнать его, пока
Следа копыт его река
Не захлестнет волной холодной.

12

На чёрте — а не на коне -
Гассан везде поспел; в огне
Он не горит, в воде не тонет;
Задумает о табуне -
Табун его — как раз угонит.

13

Он подползет к нему, как змей,
В дыму вечернего тумана,
С двумя из опытных друзей,

Он выстрелом спугнет коней,
Пасущихся среди бурьяна.

14

Вперед помчится и свистит -
И вот, гонимый слева, справа,
Табун, шарахнувшись, летит,
Летит как буря — степь дрожит...
Пропал табун — Гассану слава.

15

Молва недаром бережет
Его от пули и булата:
Он в двух империях живет
И с каждой в дань себе берет
Коней, оружие и злато.

16

Всем жутко от его проказ
От Каменки {*} до Арарата;
{* Каменка — военное
поселение. (Прим. авт.)}
И сам слышал я, как не раз
Давали казакам наказ:
"Словить его, связать, ребята!"

17

Хотя, конечно, весть о нем
Не доходила до султана;

Но... дорого была в одном
Ауле мстительным купцом
Оценена башка Гассана...

18

Давно завидя караван,
Его догнал Тамур-Гассан,
И вслед за ним поехал шагом,
И долго он пугал армян,
Пока не скрылся за оврагом.

19

Идет верблюдов длинный ряд,
Раздулись ноздри их, глотают
Окрестных рощей аромат;
На их горбах ковры висят,
Шесты торчат, стволы мелькают.

20

Весь караван вооружен;
Разбой он выстрелами встретит.
А где ж Гассан?! — Эге! уж он
На той горе, где разложен
Костер, как жертвенник, и светит.

21

Гассан узнал родимый край...
Он шепчет тексты из Корана.
Вставай, хозяин, отворяй

Ворота в караван-сарай!
Меджид, встречай Тамур-Гассана!

22

Меджид выходит из ворот;
Не суетится, не хлопочет;
Он гостя втайне узнает,
И руку на сердце кладет,
И, опустив глаза, бормочет:

23

"Аллас-алла! слезай с коня:
Его сведем мы к водопою.
Ему насыплем ячменя;
А ты у мирного огня
Свою главу склони к покою.

24

Костер мой сердце веселит;
Моя старуха плов сварит..."
Гассан ему в ответ: "Попоной
Накрой коня, возьми! Я сыт..."
И сел на бурке запыленной -

25

Сел и ослабил пояс свой,
И рукава назад откинул,
И стал вертеть перед собой
Кинжал с насечкой золотой,

Потом в ножны его задвинул.

26

Не так ли иногда вертит
Ребенок куклой расписною!
Ее заботливо хранит,
Тихонько с нею говорит
И даже спать кладет с собою.

27

Тамур нередко был душой
Далек от подвигов злодейских.
Но там, где дрябл закон немой,
Там, где народ привык разбой
Считать не хуже дел судейских, -

28

Там часто, местию горя,
Вдруг из ребенка-дикаря
Наездник грозный вырастает -
И что же? — песнь сазандаря
Его отвагу прославляет!

29

И он везде найдет друзей,
Под кровом каждого аула,
И не боится он цепей...
Все берегут его: злодей
Нигде не спит без караула.

30

В народе знают, что Гассан,
Хоть и в горах живет скитальцем.
Сам по себе такой же хан,
Возьмет червонцы у армян,
Но бедняка не тронет пальцем;

31

Даст богомольцу золотой
И с богом в путь его проводит.
И вот, в умах толпы слепой
Он — то разбойник, то святой,
То дух, который всюду бродит.

32

Молчанье робкое храня,
Меджид по сумрачной площадке
Повел Гассанова коня,
И конь, уздечкою звеня,
Плодил в уме его догадки.

33

"Узнал ли ты меня?" — спросил
Его Гассан, скрестивши руки.
И лик его спокоен был,
И тих был голос, но таил
В себе магические звуки.

34

И бледен стал Меджид седой.
"Ты гость мой: за тебя я душу
Готов отдать, клянусь аллой! -
Шептал Меджид. — Изменой злой
Гостеприимства не нарушу!

35

Тебя не выдам никому:
Глух буду — нем!.. клянусь пророком!
Доверься слову моему!"

И стал Гассан смотреть ему
В глаза спокойно-зорким оком

36

И молвил: "Вспомни! прошлый год
Тебя едва я не повесил...
Но, слушай, — караван идет...
Мне в эту ночь его дает
Судьба — он мой! молчи, будь весел!.."

37

Луна по-прежнему была
Светла, как лампа, и лила
Свой свет на каменные груды -
И ночь была, как день, светла -
И шли — все ближе шли верблюды...

1851 (?)

НА ПУТИ ИЗ-ЗА КАВКАЗА

И Непрístupный, горами заставленный,
Ты, Кавказ, наш воинственный край, -
Ты, наш город Тифлис знойно-каменный,
Светлой Грузии солнце, прощай!
Душу, к битвам житейским готовую,
Я за снежный несущу перевал.
Я Казбек миновал, я Крестовую
Миновал — недалеко Дарьял.
Слышу Терека волны тревожные
В мутной пене по камням шумят -
Колокольчик звенит — и надежные
Кони юношу к северу мчат.
Выси гор, в облака погруженные,
Расступитесь — приволье станиц -
Расстилаются степи зеленые -
Я простору не вижу границ.
И душа на простор вырывается
Из-под власти кавказских громад -
Колокольчик звенит-заливается...
Кони юношу к северу мчат.
Погоняй! гаснет день за курганами,
С вышек молча глядят казаки -
Красный месяц встает за туманами,
Недалеко дрожат огоньки -

В стороне слышу карканье ворона -
Различаю впотьмах труп коня -
Погоняй, погоняй! тень Печорина
По следам догоняет меня...

II

Ты, с которой так много страдания
Терпеливо я прожил душой,
Без надежды на мир и свидание
Навсегда я простился с тобой.
Но боюсь — если путь мой протянется -
Из родимых полей в край чужой -
Одинокое сердце оглянется
И сожмется знакомой тоской. -

Вспомнит домик твой — дворик, увешан-

ный

Виноградными лозами — тень -
Где твоим лепетаньем утешенный,
Я вдавался в беспечную лень.
Вспомнит роз аромат над канавою,
Бубна звон в поздний вечера час,
Твой личак — и улыбку лукавую
И огонь соблазняющих глаз.
Все, что было обманом, изменою,
Что лежало на мне словно цепь,
Все исчезло из памяти с пеною

Горных рек, вытекающих в степь.

10 июня 1851

1850-е годы

ВРЕМЕНИ

Зачем до сей поры тебя изображают
С седыми прядями на сморщенных висках,

Тогда как у тебя на юных раменах

Лишь только крылья отрастают?

О время, пестун наш! — на слабых помочах

Ты к истине ведешь людей слепое племя

И в бездну вечности роняешь их, как бремя,

И бремя новое выносишь на плечах.

Счастливый грек тебя, как смерти, ужасался,

Он в руки дал тебе песочные часы,

Косой вооружил и в страхе повергался

Пред лезвием твоей сверкающей косы.

А мы, среди своих попыток и усилий

Склонив перед тобой бесславное чело,

Твердим: когда-нибудь, авось, погибнет
ЗЛО

От веянья твоих неслышно-мощных кры-
лий!

Лети скорей, крылатое, скорей!

Нам в душу новыми надеждами повеи!

Иль уж губи всех тех, которым ты проро-
чишь

Один бесплодный путь, и делай все, что хо-
чешь!

Скорей мое чело морщинами изрой

И выветри скорей с лица румянец мой

И обреки меня холодному забвенью...

Что за беда! Другому поколенью

Ты наши лучшие надежды передашь,

Твердя ему в урок удел печальный наш.

Своекорыстие — и все, что сердце губит,

Невежество — и все, что гасит ум,

Мне беспрестанно в уши трубит:

"Живи без чувства и без дум!"

Вполне постигли мы бесплодные стремле-
нья

К добру, к отрадному сочувствию людей.

И, выстрадав одно лишь право на презре-
нье

Мы говорим в порыве нетерпенья:

"О время! улетай скорей!"

Ноябрь 1851

Когда я слышу твой певучий голосок,

Когда я слышу твой певучий голосок,
Дитя, мне кажется, залетный ветерок
Несет ко мне родной долины звуки,
Шум рощи, колокол знакомого села
И голос той, которая звала
Меня проститься с ней в последний час
разлуки.

1851

РЫБАК

Вольный перевод из Гете
(Посв. А. Н. Майкову)

Волна бежит, шумит, колышет
Едва заметный поплавок.
Рыбак поник и жадно дышит
Прохладой, глядя на поток.
В нем сердце сладко замирает -
Он видит: женщина из вод,
Их рассекая, выплывает
Вся на поверхность и поет -
Поет с тоскою беспокойной:

"Зачем народ ты вольный мой
Манишь из волн на берег знойный
Приманкой хитрости людской?
Ах, если б знал ты, как привольно
Быть рыбкой в холоде речном!
Ты б не остался добровольно
С холма следить за поплавком.
Светила любят, над морями
Склонясь, уйти в пучину вод;
Их, надышавшихся волнами,
Не лучезарней ли восход?
Не ярче ли лазурь трепещет
На персях шепчущей волны?
Ты сам — гляди, как лик твой блещет
В прохладе ясной глубины!"
Волна бежит, шумит, сверкает,
Рыбак поник над глубиной;
Невольный жар овладевает
В нем замирающей душой.
Она поет — рыбак несмело
Скользит к воде; его нога
Ушла в поток... Волна вскипела,
И опустели берега.

1852

ФИНСКИЙ БЕРЕГ

(Посв. М. Е. Кублицкому)

Леса да волны — берег дикий,
А у моря домик бедный.
Лес шумит; в сырые окна
Светит солнца призрак бледный.
Словно зверь голодный воя,
Ветер ставнями шатает.
А хозяйки дочь с усмешкой
Настежь двери отворяет.
Я за ней слежу глазами,
Говорю с упреком: "Где ты
Пропадала? Сядь хоть нынче
Доплетать свои браслеты" (1).
И, окошко протирая
Рукавом своим суконным,
Говорит она лениво
Тихим голосом и сонным:
"Для чего плести браслеты?
Господину не в охоту
Ехать морем к утру, в город,
Продавать мою работу!"
— "А скажи-ка, помнишь, ночью,
Как погода бушевала,

Из сеней укравши весла,
Ты куда от нас пропала?
В эту пору над заливом
Что мелькало? не платок ли?
И зачем, когда вернулась,
Башмаки твои подмокли?"
Равнодушно дочь хозяйки
Обернулась и сказала:
"Как не помнить! Я на остров
В эту ночь ладью гоняла...
И сосед меня на камне
Ждал, а ночь была лихая,
Там ему был нужен хворост,
И ему его свезла я,
На мысу в ночную бурю
Там костер горит и светит;
А зачем костер? — на это
Каждый вам рыбак ответит..."
Пристыженный, стал я думать,
Грустно голову понуря:
Там, где любят помогая,
Там сердца сближает буря...

1 В Финляндии девушки простого класса
плетут из волос цепочки,
шнурки, браслеты и продают их проезжа-

ЮЩИМ.
1852

ВЕСНА

Воротилась весна, воротилась!
Под окном я встречаю весну.
Просыпаются силы земные,
А усталого клонит ко сну.
И напрасно черемухи запах
Мне приносит ночной ветерок;
Я сижу и тружусь; сердце плачет,
А нужда задает мне урок.
Ты, любовь — праздной жизни подруга, -
Не сумела ужиться с трудом...
Со слезами со мной ты простилась -
И другим улыбнулась тайком...
1853

ПЕСНЯ ЦЫГАНКИ

Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет — и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,

Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой.
На прощанье шаль с каймою
Ты на мне узлом стяни:
Как концы ее, с тобою
Мы сходились в эти дни.
Кто-то мне судьбу предскажет?
Кто-то завтра, сокол мой,
На груди моей развяжет
Узел, стянутый тобой?
Вспоминай, коли другая,
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя!
Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету...
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
<1853>

ВОСПОМИНАНИЕ

Как быстро пароход летел, рулю послуш-
ный;

Как тяжело колебал в волнах он грудь свою
И как я долго ждал душой равнодушной,
Чтоб отворилась дверь твоей каюты душ-

ной,

Чтоб ты взошла на ют и села на скамью.

Дул ветер; сизыми грядами

Катились волны; небеса

Пурпурными светились облаками;

Труба хрипела; дым клоками

Летел, — и ты с кормы глядела вместе с на-

ми,

Как опускали паруса...

Я помню — ты была бледна, без покрыва-

ла;

Зловещая заря свой пламень отражала

В зрачках твоих глубоко-темных глаз...

Как вдруг ты на меня взглянула и сказала:

"Дай бог, чтоб буря поднялась!" -

"Зачем?" — с невольным изумлением

Тебя я шепотом спросил...

Но бог не внял твоим молениям

И море в ночь утомонил.

Над палубой луна сияла так приветно -

Я лунный свет ловил на пальцах рук тво-

их...

И ночь бессонная промчалась незаметно

Под мерный стук движений паровых.

Ты намекала мне на ранние сомненья,

На повесть грустную непонятой любви,
На бесполезные стремленья,
И на потребность утешенья,
И на страдания свои.
Случайный друг, друг только для одной
Прекрасной ночи, голос твой
Еще мне памятен; но где ты, я не знаю;
Года умчали молодость мою,
В житейском море я один блуждаю -
То к мирной пристани гоню мою ладью,
То снова парус поднимаю.
Увижусь ли когда-нибудь с тобой?
Узнаю ли тебя среди толпы людской?
Напомню ли тебе о нашей встрече?
К чему напоминать!.. Те пламенные речи,
Те призраки, что увлекали нас,
Давно их нет! И я не раз,
Над жизнью смеяться вслух не смея,
Смеялся внутренно, воображая час,
Когда на палубе сказала ты, бледнея:
"Дай бог, чтоб буря поднялась!"
1853

БРЕД

Твой светлый лик вчера являлся мне
В каком-то странном полусне.
Ты на меня смотрела с состраданьем,
Как будто перед расставаньем.
Лаская слух, звучал мне голос твой: ~
"Не умирай, о милый мой!
Не уноси с собой в поток забвенья
Твою любовь — твои стремленья.
Еще не все изведано тобой
Под этим солнцем и луной.
Ты погибал, в холодной тьме блуждая, -
Блуждал, любви моей не зная.
Дай сердце мне! Его я сберегу:
Здесь на земле я все могу...
Могу к труду твои направить руки,
Могу твои прославить муки.
Приди ко мне! Склонись на грудь мою!
Узнай, как я тебя люблю!.."
И в полусне, твоим речам внимая,
Я плакал, недоумевая...
Как счастья земного сон живой,
Ты, вся любовь, была со мной.
И нежные твои лобзал я руки -
И трепетал, боясь разлуки...
<1854>

ПОСЛЕДНИЙ ВЫВОД

Посвящается А. Нов. ву

Первоначальных лет неясные стремленья,
И все, чему найти не мог я выраженья;
Безумной юности неосторожный пыл,
И все, чем сердце я навеки отравил;
Возвышенных надежд несбыточные грезы,
И та действительность, к которой я при-
вык;

Смешным неверием осмеянные слезы,
И внутренней борьбы никем неслышный
крик;

Все прежние мечты, все страсти, все жела-
нья,

Все равнодушие к тому, чего уж нет, -
Все вместе как одно всецелое страданье,
Могло б в сердцах людей найти себе от-
вет...

Но я не жду его, я не прошу ответа;
И все, что скажут мне, я знаю наперед;
"Мы так же, как и ты, похожи на Гамлета;
Ты так же, как и мы, немножко Дон Ки-
хот".

КОЛОКОЛЬЧИК

Улеглася метелица... путь озарен...
Ночь глядит миллионами тусклых
очей...

Погружай меня в сон, колокольчика звон!
Выноси меня, тройка усталых коней!
Мутный дым облаков и холодная даль
Начинают яснеть; белый призрак луны
Смотрит в душу мою — и былую печаль
Наряжает в забытые сны.

То вдруг слышится мне — страстный голос
поет,

С колокольчиком дружно звеня:

"Ах, когда-то, когда-то мой милый придет
Отдохнуть на груди у меня!

У меня ли не жизнь!.. Чуть заря на стекле
Начинает лучами с морозом играть,
Самовар мой кипит на дубовом столе,
И трещит моя печь, озаряя в угле,
За цветной занавеской, кровать!..

У меня ли не жизнь!.. ночью ль ставень от-
крыт,

По стене бродит месяца луч золотой,

Забушает ли вьюга — лампада горит,
И, когда я дремлю, мое сердце не спит,
Все по нем изнывая тоской".

То вдруг слышится мне, тот же голос поет,
С колокольчиком грустно звеня:

"Где-то старый мой друг?.. Я боюсь, он войдет

И, ласкаясь, обнимет меня!

Что за жизнь у меня! и тесна, и темна,
И скучна моя горница; дует в окно.

За окошком растет только вишня одна,
Да и та за промерзлым стеклом не видна
И, быть может, погибла давно!..

Что за жизнь!., полинял пестрый полог
цвет,

Я больная брожу и не еду к родным,
Побранить меня некому — милого нет,
Лишь старуха ворчит, как приходит сосед,
Оттого, что мне весело с ним!.."

1854

СМЕРТЬ МАЛЮТКИ

Свою куклу раздела малютка
И покрыла ее лоскутком;
А сама нарядилась, как кукла,
И недетским забылася сном.

И не видит малютка из гроба
В этот солнечный день, при свечах,
Как хорош ее маленький гробик,
Под парчой золотою, в цветах.
А уж как бы она любовалась,
Если б только могли разбудить!
Милый друг, будем плакать, как дети,
Чтоб недетское горе забыть...
1854

В ГЛУШИ

Для кого расцвела? для чего развилась?
Для кого это небо — лазурь ее глаз,
Эта роскошь — волнистые кудри до плеч,
Эта музыка — уст ее тихая речь?
Ясно может она своим чутким умом
Слышать голос души в разговоре простом;
И для мира любви и для мира искусств
Много в сердце у ней незатронутых чувств.
Прикоснется ли клавиш — заплачет ро-
яль...

На ланитах — огонь, на ресницах — пе-
чаль...

Подойдет ли к окну — безотчетно-грустна,

В безответную даль долго смотрит она.
Что звенит там вдали — и звенит и зовет?
И зачем там в степи пыль столбами вста-
ет?

И зачем та река широко разлилась?
Оттого ль разлилась, что весна началась?
И откуда, откуда тот ветер летит,
Что, стряхая росу, по цветам шелестит,
Дышит запахом лип и, концами ветвей
Помавая, влечет в сумрак влажных аллей?
Не природа ли тайно с душой говорит?
Сердце ль просит любви и без раны болит?
И на грудь тихо падают слезы из глаз...
Для кого расцвела? для чего развилась?
1855

Свет восходящих звезд — вся ночь, когда она

Свет восходящих звезд — вся ночь, когда
она

Светла без месяца, без облаков темна,
Заключена в глазах твоих чудесных.
При них теряюсь я — и не могу понять,
И словом не могу понятным передать
Волнений, сердцу неизвестных.

Я верю иногда, что мне в глазах твоих
Читать любовь — была б отрада.
А иногда мне страшно возле них,
Как темной ночью возле клада.
Что выражает мне твой непонятный
взгляд,
Когда глаза твои глядят и не глядят
Из-под ресниц тяжеловесных?
Не так ли две звезды — две путницы небес-
ных,
Не зная, чьи мечты за ними вслед текут -
Горят — не греют — но... влекут.
<1855>
* * *

У АСПАЗИИ

Гость
Что б это значило — вижу, сегодня ты
Дом свой, как храм, убрала:
Между колонн занавесы приподняты,
Благоухает смола.
Цитра настроена; свитки разбросаны;
У посыпающих пол
Смуглых рабынь твоих косы расчесаны...

Ставят амфоры на стол.

Ты же бледна, — словно всеми забытая,
Молча стоишь у дверей.

А с п а з и я

Площадь отсюда видна мне, покрытая
Тенью сквозных галерей,

Шум ее замер — и это молчание

В полдень так странно, что вновь

Сердце мне мучит тоска ожидания,

Радость, тревога, любовь.

Буйных Афин тишину изучила я:

Это — Перикл говорит;

Если бледна и молчит его милая,

Значит весь город молчит...

Чу! шум на площади — рукоплескания

Друга венчает народ

Но и в лавровом венке из собрания

Он к этой двери придет.

1855

ПЧЕЛА

Пчела, погибшая с последними цветами,
Недаром чистыми янтарными сотами
Ты, с помощью сестер, свой улей убрала.
Ту руку, что тебя все лето берегла,

Обогатила ты сладчайшими дарами.
А я, собравши плод с цветов господней ни-
вы,

Я рано, до зари, вернулся в сад родной;
Но опрокинутым нашел я улей мой...
Где цвел подсолнечник — растут кусты
крапивы,

И некуда сложить мне ноши дорогой...

1855

Моя судьба, старуха, нянька злая,

Моя судьба, старуха, нянька злая,
И безобразная, и глупая, за мной
Следит весь день и, под руку толкая,
Надоедает мне своею болтовней.
Когда-то в карты мне она гадала
И мне сулила много светлых дней;
Я, как ребенок, верил ей сначала,
Доверчив был и уживался с ней.
То штопая, то делая заплаты,
Она не раз при мне ворчала на беду:
"Вот погоди! как будем мы богаты,
Я от тебя сама уйду..."
А между тем несутся дни и годы -
Старуха все еще в моем углу ворчит,
Во все мешается, хлопочет и, свободы

Лишая разум, сердце злит.
И жизнь моя, невольной, как-то странно
Слилась с ее житьем-бытьем,
И где бы ни был я, один ли — беспрестанно
Мне кажется: мы с ней вдвоем.
Проснусь ли я душою, озаренный
Внезапной мыслию иль новой красотой,
Плаксивое лицо старухи раздраженной
Как желтое пятно мелькает предо мной.
Хочу любить... "Нет, — говорит, — не впра-
ве,

Не смеешь ты, не должен ты любить".
Уединясь, мечтаю ли о славе,
Она, как мальчика, придет меня дразнить.
И болен я — и нет мне сил подняться,
И слышу я: старуха, головой
Качая, говорит, что вряд ли мне дождаться
Когда-нибудь судьбы иной.

1855

НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Отрадней сна, товарищ мой,
Мне побеседовать с тобой:
Сердитый вал к нам в люки бьет;
Фонарь скрипит над головой;

И тяжело стонет пароход,
Как умирающий больной.
Ты так же ранен, как и я...
Но эти раны жгут меня
И в то же время холодят:
Не спас меня хирурга нож,
Но ты меня моложе, брат,
И ты меня переживешь.
Едва ли, впрочем, этот Крым,
И этот гул, и этот дым,
И эти кучи смрадных тел
Забудешь ты когда-нибудь,
Куда бы ты ни полетел
Душой и телом отдохнуть.
На лоне мира и любви.
Ты вспомнишь — ужас! — ты в крови
Топтал товарищей своих,
Ты слышал их предсмертный хрип,
Ты, раненый, близ ран моих
Лежал, страдал и — не погиб.
Какой ценой, ты вспомнишь, брат,
Купили мы развалин ряд!
Для человеческих ушей
Гром неестественный гремел,
Когда мы лезли из траншей

На вал, скользя по грудам тел.
Но грянул взрыв — последний взрыв...
И я без чувств упал в обрыв.
Когда ж очнулся... Боже мой!
Какая тишь была вокруг!
И страшен город был немой,
И страшно нем был мой испуг.
Стена была обагрена...
Дым застилал, как пелена.
Небесный свод — и от земли
Тяжелый поднимался пар...
Вдали пылали корабли,
И отражал залив пожар.
Ликуйте, гордые умы!
Могилу храбрых взяли мы...
Коварной славы сладкий дым,
Ты горек нам, ты дорог нам!
Но — фимиам необходим
Кумиру и его жрецам.
Когда ты снова посетишь
Наш императорский Париж,
Смутит тебя победный крик,
Как пляска после похорон,
Как сумасшедшего язык,
Как смех, в котором слышен стон.

Пускай наш новый полубог
Вкушает славу!.. Я б не мог...
Я для иного был рожден,
Иные цели смел таить,
И был, как бурей, увлечен
Туда, где я не мог любить...
И где, казалось бы, не след
Мне умереть в чаду побед...
Но — умираю... Все, что я
Любил когда-то, в эту ночь
Как будто около меня
Стоит и не отходит прочь.
Я вижу — вот моя семья...
Вот мать... вот нежная моя
Подруга... дети... Боже мой!
А это кто?!. Иль это бред?..
Какой-то призрак роковой -
В блестящей мантии скелет...
Ужели смерть?.. Зачем она,
Грозя, кричит: "Пылай, война!
Враждуйте, племена всех стран!
Вот вам республика и трон,
И христианство, и Коран,
Мадзини, и Наполеон!"
Скажи, что значу я пред ней

Со всею гордостью моей?..
Ее десница мне на грудь
Легла — и я, как тряпка, смят!
Освободи, брат! дай вздохнуть!..
Ага! да ты уж умер, брат!
Июля 20 дня, 1855

Нет, нет! не оттого признаньем медлю я,

Нет, нет! не оттого признаньем медлю я,
Что я боюсь — она не отзовется
Мне на мою любовь, холодный смех тая,
Что старая печаль, как лютая змея,
Опять в душе моей проснется!
Друг! разрушать мечты уж я привык давно
И сердце у меня готово к новым ранам;
Не в первый раз мне суждено
Быть самому себе тираном.
Но... если я любим... но если с первых слов
Она сама мне бросится на шею!..
Сказать ли, отчего я медлю и робею?
Кто перед женщиной, рыдая, пасть готов.
Тот не готов еще назвать ее своею;
Кто с юных лет страстей обуздывал язык,
Кто приучен людьми не верить их уча-
стью,

Кто к лицемерию привык -
Тому нужна привычка к счастью.
Так, если б грешнику нежданно отворен
Был рай небесный — долго б он
Не мог войти в него, растерян и смущен.
Измученной душой как бы не доверяя
Гостеприимной сени рая.
1855

ПРОСТИ

Пора... Прости! Никто не ведал
Глубоких тайн моих страстей,
И никому я права не дал
Заплакать на груди моей.
Любви прекрасным упованиям
Рассудком положи предел,
Страдая сам, твоим страданиям
Я отозваться не хотел.
Искал я счастья, но поверить
Не смел я счастью своему;
Мне было легче лицемерить,
Чем верить сердцу твоему.
<1855>

ЗВЕЗДЫ

Посреди светил ночных,
Далеко мерцающих,
Из туманов млечными
Пятнами блуждающих
И переплывающих
Небеса полярные,
Новые созиждутся
Звезды светозарные.
Так и вы, туманные
Мысли, тихо носитесь,
И неизъяснимые
В душу глухо проситесь,
Так и вы над нашими
Темными могилами
Загоритесь некогда
Яркими светилами.
<1856>

**Мое сердце — родник, моя песня —
волна,**

Мое сердце — родник, моя песня — волна,
Пропадая вдали, — разливается...
Под грозой — моя песня, как туча, темна,

На заре — в ней заря отражается.

Если ж вдруг вспыхнут искры нежданной
любви

Или на сердце горе накопится

В лоно песни моей льются слезы мои,

И волна уносить их торопится.

<1856>

— **Подойди ко мне, старушка,**

— **П**одойди ко мне, старушка,
Я давно тебя ждала.

И косматая, в лохмотьях,

К ней цыганка подошла.

— Я скажу тебе всю правду;

Дай лишь на руку взглянуть:

Берегись, тебя твой милый

Замышляет обмануть...

И она в открытом поле

Сорвала себе цветок,

И лепечет, обрывая

Каждый белый лепесток:

— Любит — нет — не любит — любит.

И, оборванный кругом,

"Да" сказал цветок ей темным,

Сердцу внятным языком.

На устах ее — улыбка,

В сердце — слезы и гроза.

С упоением и грустью

Он глядит в ее глаза.

Говорит она: обман твой

Я предвижу — и не лгу,

Что тебя возненавидеть

И хочу и не могу.

Он глядит все так же грустно,

Но лицо его горит...

Он, к плечу ее устами

Припадая, говорит:

— Берегись меня! — я знаю,

Что тебя я погублю,

Оттого что я безумно,

Горячо тебя люблю!..

<1856>

И. С. АКСАКОВУ

Когда мне в сердце бьет, звеня, как меч ты
жельый,

Твой жесткий, беспощадный стих,

С невольным трепетом я внемлю невесе-
лой,

Холодной правде слов твоих.

В негодование души твоей вникая,

Собрат, пойму ли я тебя?

На смелый голос твой откликнуться же-
лая,

Каким стихом откликнусь я?

Не внемля шепоту соблазна, строгий гений

Ведет тебя иным путем,

Туда, где нет уже ни жарких увлечений,

Ни примирения со злом.

И если ты блуждал — с тобой мы врознь
блуждали:

Я силы сердца не щадил;

Ты — не щадил труда; и оба мы страдали:

Ты больше мыслил, я — любил.

Общественного зла ты корень изучая,

Стоял над ним с ножом, как врач;

Я выжал сок его, пил — душу отравляя

И заглушая сердца плач.

К чему оно влеклось, кого оно согрело?

Зачем измучено борьбой?

О брат! пойму ли я при звуках лиры, сме-
ло,

Законно поднятой тобой?

Быть может, знать добро не значит зла не
видеть,

Любить — не значит тосковать...

Что искренно нельзя и тьмы возненави-

деть

Тому, кто сам не мог сиять...

Вот почему, когда звенит, как меч тяжелый,

Твой жесткий, беспощадный стих,

С невольным трепетом я внемлю невеселой,

Холодной правде слов твоих.

Июнь 1856. СПб.

НА ПУТИ ИЗ ГОСТЕЙ

Славный мороз. Ночь была бы светла

Да застилает сиянье

Месяца душу гнетущая мгла -

Жизни застывшей дыханье.

Слышится города шорох ночной,

Снег подметенный скрипит под ногой...

Дальних огней вижу мутные звезды,

Да запертые подъезды...

Боже мой! боже мой!

Поздно приду я домой!

Что же в гостях удержало меня?

Или мне было привольно

В сладком забвеньи бесплодного дня

Мучить себя добровольно?

Скучно и глупо без цели болтать...
И не охотник я в карты играть, -
Даже, признаться, не радуется ужин;
Да и кому я там нужен!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!
Мери сегодня была весела
И грациозно-любезна;
Но хоть она и умна и мила -
Нравится ей бесполезно.
Слушать — так, право, на горе мое,
Бредит героями... но до нее
Мне далеко, потому что невеста
Ищет доходного места.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!
Олимпиада простее сестры...
Впрочем — глаза с поволокой,
Листа играет; во время игры
Пальцы взлетают высоко,
Клавиши так и стучат и гремят...
Все, будто в страхе каком-то, молчат...
Правду сказать, мастера ее руки
На музыкальные штуки!
Боже мой! боже мой!

Поздно приду я домой!
Виктор стихи нам сегодня прочел:
Дамы остались довольны;
Только старик отчего-то нашел,
Что чересчур мысли вольны.
Что молодежь нынче стала писать
Так, что не следует вслух и читать,
Вот и прочел я стихи эти снова, -
Ну, и не понял ни слова!
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!
Гости бывают там разных сортов:
В дом приезжают — вертятся,
И комплимент у них мигом готов,
Из дому едут — бранятся.
Что занимает их — трудно понять,
Всё обо всем они могут сказать;
Каждый себя самолюбьем измучил,
Каждому каждый наскучил.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!
В люди как будто невольно идешь:
Все будто ищешь чего-то,
Вот-вот не нынче, так завтра найдешь...
Одолевают зевота,

Скука томит... А проклятый червяк
В сердце уняться не хочет никак:
Или он старую рану тревожит,
Или он новую гложет.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!
Много есть чудных, прекрасных людей,
Светлых умом и вполне благородных,
Но и они, вроде бледных теней,
Меркнут душою в гостиных холодных.
Есть у нас так называемый свет,
Есть даже люди, а общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела.
Да и гуляет без дела.
Боже мой! боже мой!
Поздно приду я домой!
Вот, вижу, дворник сидит у ворот,
В шубе да в шапке лохматой:
Точно медведь; на усах его лед,
Снег в бороде, в рукавице лопата...
Спит ли он, так ли, прижавшись, сидит
Думает думу, морозы бранит.
Или, как я же, бесплодно мечтает,
Или меня поджидает?
Боже мой! боже мой!

Поздно приду я домой!

<1856>

СОЛОВЬИНАЯ ЛЮБОВЬ

В те дни, как я был соловьем,
Порхающим с ветки на ветку,
Любил я поглядывать зорким глазком
В окно, на богатую клетку.
В той клетке, я помню, жила
Такая красавица птичка,
Что видеть ее страсть невольно влекла,
Насильно тянула привычка.
Слезами во мраке ночей
Питал я блаженные грезы,
И пел про любовь я в затишье аллей,
И звуки дрожали, как слезы.
И к месяцу я ревновал...
И часто к затворнице сонной
Я страстные вздохи свои посылал
По ветру, в струе благовонной.
Нередко внимала заря
Моей серенаде прощальной
В тот час, как, проснувшись, малютка моя
Плескалася в ванне хрустальной.
Однажды гроза пронеслась...

Вдруг, вижу, — окно нараспашку,
И клетка, о радость! сама отперлась,
Чтоб выпустить бедную пташку.
И стал я красавицу звать
На солнце, в зеленые сени
Туда, где уютные гнезда качать
Слетаются влажные тени.
"Покинь золотую тюрьму!
Будь голосу бога послушна!"
Я звал... но к свободе, бог весть почему,
Осталась она равнодушна.
Бедняжка, я видел потом,
Клевала отборные зерна
Потом щебетала — не знаю о чем
Так грустно и так непритворно!
О том ли грустила она,
Что крылышки доля связала?
О том ли, что, рано промчавшись, весна
Навек мои песни умчала?
1856

ТУМАН

Какой туман! ни солнца нет, ни тучи!
Деревья облеклись в какой-то дым пла-
вучий;
И тянется сырой, бревенчатый забор

Вдоль грязной улицы, обманывая взор...
Вот нашей осени унылая картина!
Нет, что ни говори, здесь грустно без хлопот;

Меня здесь под ярмо сама природа гнет...
Недаром — эта блажь, бессонница, кручина,
на,

Холодный сон души, или страстей обман,
Иль робость школьника, который перед носом

Учителя стоит, запуганный вопросом;
Недаром иногда сквозь сеющий туман
Все, чем жила душа, мне кажется хаосом.
О, где ты? где, покинутая мной
В те дни, когда я жил не сердцем, а мечтой
И к подвигам себя берег в часы досуга? -
Откликнись! воротись, утешь названьем
друга! -

Но — я на севере, а ты под солнцем юга -
И мой тяжелый вздох к тебе не долетит.
1856

НА КОРАБЛЕ

Стихает. Ночь темна. Свисти, чтоб мы не
спали!..

Еще вчерашняя гроза не унялась:
Те ж волны бурные, что с вечера плескали,
Не закачав, еще качают нас.
В безлунном мраке мы дорогу потеряли,
Разбитым фонарем не освещен компас.
Неси огня! звони, свисти, чтоб мы не спа-
ли!

Еще вчерашняя гроза не унялась...
Наш флаг порывисто и беспокойно веет;
Наш капитан впотьмах стоит, раздумья
полн...

Заря!.. друзья, заря! Смотрите, как яснеет
И капитан, и мы, и гребни черных волн.
Кто болен, кто устал, кто бодр еще, кто пла-
чет,

Что бурей сломано, разбито, снесено
Все ясно: божий день, вставая, зла не пря-
чет...

Но — не погибли мы!.. и много спасено...
Мы мачты укрепим, мы паруса подтянем,
Мы нашим топотом встревожим праздных
лень

И дальше в путь пойдём, и дружно песню
грянем:

Господь, благослови грядущий день!

1856

She walks in beauty like the night

Вуron (1)

Тень ангела прошла с величием царицы:

В ней были мрак и свет в одно виденье
слиты.

Я видел темные, стыдливые ресницы,
Приподнятую бровь и бледные ланиты.
И с гордой кротостью уста ее молчали,
И мнилось, если б вдруг они заговорили,
Так много бы прекрасного сказали,
Так много бы высокого открыли,
Что и самой бы стало ей невольно
И грустно, и смешно, и тягостно, и больно...

Как воплощенное страдание поэта,
Она прошла в толпе с величием смиренья;
Я проводил ее глазами, без привета,
И без восторженных похвал, и без моления...

С благоговением уста мои молчали
Но... если б как-нибудь они заговорили,
Так много бы безумного сказали,
Так много бы сердечных язв раскрыли,

Что самому мне стало б вдруг невольно
И стыдно, и смешно, и тягостно, и больно...

Она идет, сверкая красотой подобно ночи.
Байрон (англ.). — Ред.
<1857>

НОЧЬ В КРЫМУ

Помнишь, лунное мерцанье,
Шорох моря под скалой,
Сонных листьев колыханье,
И цынцырны {*} стрекотанье
За оградой садовой;
{* Цынцырна — татарское слово,
то же, что цикада. Прим. авт.})
В полумгле нагорным садом
Шли мы, — лавр благоухал;
Грот чернел за виноградом,
И бассейн под водопадом
Переполненный звучал;
Помнишь, свежее дыханье,
Запах розы, говор струй -
Всей природы обаянье,
И невольное слиянье
Уст в нежданный поцелуй.

Эта музыка природы,
Эта музыка души
Мне в иные, злые годы,
После бурь и непогоды,
Ясно слышалась в тиши.
Я внимал — и сердце грелось
С юга веющим теплом,
Легче верилось и пелось...
Я внимал — и мне хотелось
Этой музыки во всем...

<1857>

А. Н. МАЙКОВУ

Ответ на стихи его:

"Полонский! суждено опять судьбою
злою..."

Как, ты грустишь? — помилуй бог!
Скажи мне, Майков, как ты мог,
С детьми играя, тихо глядя
Их по головке, слыша смех
Их вечно-звонкий, вспомнить тех,
Чей гений пал, с судьбой не сладя,
Чей труд погиб...
Как мог ты, глядя

На северные небеса,
Вдруг вспомнить Рима чудеса,
Проникнуться воспоминаньем,
Вообразить, что я стою
Средь Колизея, как в раю,
И подарить меня посланьем?
Мне задушевный твой привет
Был освежительно-отраден.
Но я еще не в Риме, нет!
В окно я вижу Баден-Баден,
И тяжело гляжу на свет.
Хоть мне здорово и приятно
Парным питаться молоком,
Дышать нетопленным теплом
И слушать музыку бесплатно;
Но — если б не было руин,
Плющом повитых, луговин
Зеленых, гор, садов, скамеек,
Холмов и каменных лазеек, -
Здесь на меня нашел бы сплин -
Так надоело мне гулянье,
Куда, расхаживая лень,
Хожу я каждый божий день
На равнодушное свиданье,
И где встречаю, рад не рад,

При свете газовых лампад,
Американцев, итальянцев,
Французов, англичан, голландцев,
И немцев, и немецких жен,
И всем известную графиню,
И полурусскую княгиню,
И русских множество княжен.
Но в этих встречах мало толку,
И в разговорах о ничем
Ожесточаюсь я умом,
А сердцем плачу втихомолку.
И эта жизнь меня томит,
И этот Баден, с этим миром,
Который вокруг меня шумит,
Мне кажется большим трактиром,
В котором каждый божий час
Гуляет глупость напоказ.
А ты счастливец! — любишь ты
Домашний мир. Твои мечты
Не знают роковых стремлений;
Зато как много впечатлений
Проходит по душе твоей,
Когда ты с дочкой своей,
Нетерпеливый, вдохновенный,
Идешь на лов уединенный.

Или, раздвинув тростники,
Над золотистыми струями
Стоишь — протер свои очки -
И жадными следишь глазами,
Как шевелятся поплавки.
И весь ты страстное вниманье...
Вот — гнется удочка дугой,
Кружится рыбка над водой -
Плеск — серебро и трепетанье...
О, в этот миг перед тобой
Что значит Рим и все преданья,
Обломки славы мировой!
Но, чу! свисток раздался птичий,
Ночь шелестит во мгле кустов:
Спеши, мой милый рыболов,
Домой с наловленной добычей!
Спеши! — уж божья благодать
На ложе сна детей приемлет,
Твои малютки спят, — и дремлет
Их убаюкавшая мать.
Уже в румянном полусвете,
Там, в сладких грезах полусна,
Тебя ждет милая жена
Иль труд в соседнем кабинете.
Труд благодатный! Труд живой!

Часы, в которые душой
Ты, чуя бога, смело пишешь
И на себе цепей не слышишь.
Люблю я стих широкий твой,
Насквозь пропахнувший смолою
Тех самых сосен, где весною,
В тени от солнца, меж ветвей,
Ты подстерег лесную фею,
И где с Каменою твоею
Шептался плещущий ручей.
Я сам люблю твою Камену,
Подругу северных ночей:
Я помню, как неловко с ней
Ты шел на шумную арену
Народных браней и страстей;
Как ей самой неловко было...
Но... олимпийская жена,
Не внемля хохоту зоила,
Тебе осталась верна,
И вновь в объятия природы -
В поля, в леса, туда, где воды
Струятся, где синеет мгла
Из-под шатра дремучей ели,
Туда, где водятся форели,
С тобою весело ушла.

Прости, мой друг! не знай желаний
Моей блуждающей души!
Довольно творческих страданий,
Чтоб не заплесневеть в глуши.
Поверь, не нужно быть в Париже,
Чтоб к истине быть сердцем ближе,
И для того, чтоб созидать,
Не нужно в Риме кочевать.
Следы прекрасного художник
Повсюду видит и — творит,
И фимиам его горит
Везде, где ставит он треножник,
И где творец с ним говорит.
Баден-Баден. Август 1857

НА ЖЕНЕВСКОМ ОЗЕРЕ

На Женевском озере
Лодочка плывет
Едет странник в лодочке,
Тяжело гребет.
Видит он по злачному
Скату берегов
Много в темной зелени
Прячется домов.

Видит — под окошками
Возле синих вод
В виноградном садике
Красный мак цветет.
Видит — из-за домиков,
В вековой пыли,
Колокольни серые
Подняли шпильи,
А за ними — вечные
В снежных пеленах
Выси допотопные
Тонут в облаках.
И душой мятежною
Погрузился он
О далекой родине
В неотвязный сон
У него на родине
Ни озер, ни гор,
У него на родине
Степи да простор.
Из простора этого
Некуда бежать,
Думы с ветром носятся,
Ветра не догнать.

<1859>

УТРАТА

Когда предчувствием разлуки
Мне грустно голос ваш звучал,
Когда смеясь я ваши руки
В моих руках отогревал,
Когда дорога яркой далью
Меня манила из глуши
Я вашей тайною печалью
Гордился в глубине души.
Перед непризнанной любовью
Я весел был в прощальный час,
Но — боже мой! с какою болью
В душе очнулся я без вас!
Какими тягостными снами
Томит, смущая мой покой,
Все недосказанное вами
И недослушанное мной!
Напрасно голос ваш приветный
Звучал мне как далекий звон,
Из-за пучины: путь заветный
Мне к вам навеки прегражден,
Забудь же, сердце, образ бледный,
Мелькнувший в памяти твоей,

И вновь у жизни, чувством бедной,
Ищи подобья прежних дней!
<1859>

НА БЕРЕГАХ ИТАЛИИ

Я по красному щебню схожу один
К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.
Ах! как млеют, вдали замыкая залив,
Выси горные!
Как рисуются здесь, уходя в тень олив,
Козы черные...
Пастухи вдали на свои жезлы,
С их котомками,
Опершись, стоят на краю скалы -
Над обломками.
Там, у взморья, когда-то стоял чертог
С колоннадами,
И наяды плескались в его порог
Под аркадами.
Там недавно мне снился роскошный сон -
Но... всегда ли я
Ради этих снов забывал твой стон,
О Италия!
Вдохновляемый плачем твоим, я схожу

К морю сонному,
Словно тучками, мглою далеких вершин
Окаймленному.
Там в лазурном тумане толпой встают
Тени бледные.
То не тени встают — по волнам плывут
Пушки медные.
Корабельный флаг отдаленьем скрыт.
Словно дымкою.
Там судьба твоя с фитилем стоит
Невидимкою...
1858

НОЧЬ В СОРЕНТО

Волшебный край! Соренто дремлет -
Ум колобродит — сердце внемлет -
Тень Тасса начинает петь.
Луна сияет, море манит,
Ночь по волнам далеко тянет
Свою серебряную сеть.
Волна, скользя, журчит под аркой,
Рыбак зажег свой факел яркий
И мимо берега плывет.
Над морем, с высоты балкона,
Не твой ли голос, примадонна,

Взвился и замер? — Полночь бьет.
Холодной меди бой протяжный,
Будильник совести продажной,
Ты не разбудишь никого!
Одно невежество здесь дышит,
Все исповедует, все слышит,
Не понимая ничего.
Но от полуночного звона
Зачем твой голос, примадонна,
Оборвался и онемел?
Кого ты ждешь, моя синьора?
О! ты не та Элеонора,
Которую Торквато пел!
Кто там, на звон твоей гитары,
Прошел в тени с огнем сигары?
Зачем махнула ты рукой,
Облокотилась на перила,
Лицо и кудри наклонила,
И вновь поешь: "О идол мой!"
Объятый трепетом и жаром,
Я чувствую, что здесь не даром
Италия горит в крови.
Луна сияет — море дремлет -
Ум колобродит — сердце внемлет -
Тень Тасса плачет о любви.

ХОЛОДЕЮЩАЯ НОЧЬ**(Фантазия)***(Посв. М. Ф. Штакеншнейдер)*

Там, под лаврами, на юге
Странник бедный — только ночь
Мог я взять себе в подруги,
Юга царственную дочь.
И ко мне она сходила
В светлом пурпуре зари,
На пути, в пространствах неба,
Зажигая алтари.
Боже! как она умела
Раны сердца врачевать,
Как она над морем пела!
Как умела вдохновлять!
Но, увы! судьбой на север
Приневоленный идти,
Я сказал подруге-ночи:
"Ненаглядная, прости!"
А она со мной расстаться
Не хотела, не могла
По горам, от слез мигая,

Вслед за мной она текла.
То сходила на долину
С томно блещущим челом
И задумчиво стояла
Над моим степным костром;
То со мною ночевала
Над рекою, у скирдов,
Вея тонким ароматом
Рано скошенных лугов.
Но чем дальше я на север
Шел чрез степи и леса,
Незаметно холодела
Ночи южная краса...
То, в туманы облачаясь,
Месяц прятала в кольцо;
То с одежд холодный иней
Отрясала мне в лицо.
Чем я дальше шел на север,
Тем гналась она быстрее,
Раньше день перегоняла,
Уходила все позднеей.
И молила и стонала...
И, дрожа, я молвил ей:
"Ты на севере не можешь
Быть подругою моей".

И, сверкнув, у синей ночи
Помутились глаза,
И застыла на ресницах
Накипевшая слеза.
И пошла она, — и белым
Замахала рукавом,
И завывала, поднимая
Вихри снежные столбом.
Сквозь метель на север хладный
Я кой-как добрел домой...
Вижу — ночь лежит в долине
Под серебряной парчой...
И беззвучно мне лепечет:
"Погляди, как я мертва!
Сердце глухо, очи тусклы,
Холодеет голова.
Но гляди — всё те же звезды
Над моею головой...
Красотой моею мертвой
Полюбуйся, милый мой.
И поверь, что, если снова
Ты воротишься на юг,
В прежнем блеске я восстану,
Чтоб принять тебя, мой друг!
С прежней негой над тобою

Я склоню главу мою
И тебе, сквозь сон, над ухом
Песню райскую спою" ...
<1858>

КОНЦЕРТ

Здесь Берлиоз!.. я видел сам
Его жидовско-римский профиль
И думал: что-то скажет нам
Сей музыкальный Мефистофель?
И вот, при свете ламп и свеч,
При яром грохоте оркестра,
Я из-за дамских вижу плеч,
Как тешит публику маэстро.
Трубят рога, гремит тимпан,
В колокола звонят над нами...
И над поющими струнами
Несется звуков ураган.
И адская слышна угроза...
И раздаются голоса...
И встали дыбом волоса
На голове у Берлиоза.
Поют!.. увы! не понял я,
Что значит хор сей погребальный?
И вдруг — тебя увидел я,
Знакомка милая моя.

Тебя, мой критик музыкальный.
К коленам уронив цветы,
К полудню сорванные нами,
Меж двух колонн сидела ты
Бледна, с померкшими очами.
Я угадал: страдала ты
Без мысли и без наслажденья,
Как от какой-то духоты
Иль в ужасе от сновиденья.
И думал: скоро на балкон
Мы выйдем... звезды видеть будем...
И эту музыку забудем
(Инструментальный гром и звон)
Забудем, как тяжелый сон.
1858

Чивита-векна

Встала над морем с казарменной скукою
Крепость, угрюмее моря сурового...
В милом лице я искал пред разлукою,
Нет ли для сердца чего-нибудь нового.

Долго смотрел я, как лодка качалась,—
Ты уплыла, — я остался над палубой,
И ничего для меня не осталось

Кроме неволи с бесплодною жалобой.

Снова помчуся я в море шумящее,
Новые пристани ждут меня, странника;
Лишь для тебя, мое сердце скорбящее,

Корабль пошел навстречу темной ночи...

Корабль пошел навстречу темной ночи...

Я лег на палубу с открытой головой;
Грустя, в обитель звезд вперил я сонны
очи,

Как будто в той стране таинственно-немой
Для моего чела венец плетут Плеады,
И зажигают вечные лампы,
И обещают мне бессмертия покой.

Но вот — холодный ветер дохнул над океа-
ном;

Небесные огни подернулись туманом.

И лег я ниц с покрытой головой,

И в смутных грезах мне казалось: подо
мной

Наяды с хохотом в лучинный мрак ныря-
ют,

На дне его могилу разгребают -

И обещают мне забвения покой.

<1859>

По горам две хмурых тучи

По горам две хмурых тучи
Знойным вечером блуждали
И на грудь скалы горячей
К ночи медленно сползали.
Но сошлись — не уступили
Той скалы друг другу даром,
И пустыню огласили
Яркой молнии ударом.
Грянул гром — по дебрям влажным
Эхо резко засмеялось,
А скала таким протяжным
Стоном жалобно сказалась,
Так вздохнула, что не смели
Повторить удара тучи
И у ног скалы горячей
Улеглись и обомлели...
<1859>

ПЕСНЯ

(Посв. Н. В. Гербелю)

Выйду — за оградой
Подышать прохладой.
Горе ночи просит,

Горе сны уносит...
Только сердце бредит:
Будто милый едет,
Едет с позвонками
По степи широкой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?
Ночь свежее дышит
Вербою колышет,
Дрожью пробирает.
Соловей рыдает.
Высыхайте, слезы!
Улетайте, грезы!
Дальний звон пронесся
За рекой широкой...
Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?
Зорька выплывает
Заревом играет.
Я через куртину
Проберусь в долину...
Я лицо умою
Водой ключевою...
Вон и домик виден
На горе высокой...

Где ты, друг мой милый,
Друг ты мой далекий?
<1859>

СУМАСШЕДШИЙ

Кто говорит, что я с ума сошел?!
Напротив... — я гостям радешенек... Садитесь!..

Как это вам не грех! неужели я зол!
Не укушу — чего боитесь!
Давило голову — в груди лежал свинец...
Глаза мои горят — но я давно не плачу
Я все скрывал от вас... Внимайте! наконец
Я разрешил мою задачу!..
Да, господа! мир обновлен. — Века
К благословенному придвинули нас веку.
Вам скажет всякая приказная строка,
Что счастье нужно человеку.
Народы поднялись и обнажили меч,
Но образумились и обнялись как братья.
Гербы и знамена — все надо было сжечь,
Чтоб только снять печать проклятья.
Настало царствие небесное — светло
Просторно... — На земле нет ни одной сто-
лицы,

Тиранов также нет — и все как сон прошло:
шло:

Рабы, оковы и темницы
Науки царствуют — виденья отошли,
Одни безумцы ими одержимы...
Чу! слышите — поют со всех концов земли
Невидимые херувимы.
Ликуйте! вечную приветствуйте весну!
Свободы райской гимн из сердца так и
рвется

И я тянусь, тянусь, как луч, в одну струну
Что, если сердце оборвется!..

1859

ЖЕНЩИНЕ

Когда во мне душа кипела,
Когда она, презрев судьбу,
Рвалась из тесного предела
На свет, на волю, на борьбу, -
Зачем тогда не укротила
Ты дух мой гордый и слепой,
Чтоб даром не погибла сила
В борьбе бесплодной и пустой?
Когда тоскливый, беспокойный,
Без цели — вдаль от суеты

То мчался я по степи знойной,
То лез на снежные хребты, -
Зачем звездою путеводной
Ты не сияла предо мной?
Быть может, гордый и свободный,
Нашел бы я мой путь прямой.
Когда, от жизни уставая,
В нетрезвом полузабытьи,
Я повторял: о, жизнь пустая!
О, силы прежние мои! -
Как луч востока благодатный,
Зачем тогда не разбудил
Меня твой голос, сердцу внятнй,
И падших сил не обновил?
Когда лампаду трудовую,
Как раб нужды, зажег я вновь
И проклинал страну родную
Без веры в славу и любовь, -
Зачем, когда лампада гасла,
Не ты пришла и в поздний час,
Как друг, спасительного масла
Не ты влила, чтоб свет не гас?
Когда, по слякоти шагая
В туман, я отличал едва
Себя от грязи — так больная

Была туманна голова, -
Зачем от этого ненастья
Ты разум мой не сберегла
И от постыдного участия
Своим участием не спасла?
Но кто же ты? — к кому упреки!..
Тебя я с юных лет не знал:
Не ты давала мне уроки.
Когда мой слабый ум блуждал,
Не ты любить меня учила,
Когда безумно я любил,
Не ты меня благословила
Бороться до утраты сил.
Шли годы. С упованьем тайным
Расстался я. — К чему ж теперь,
Виденьем светлым и случайным,
Ты к старику стучишься в дверь
И, слезы поздние роняя,
Мне шепчешь: о! как ты грешил!
Как низко падал! — но — святая,
Где ты была, когда я жил?

1859

ИНАЯ ЗИМА

Я помню, как детьми, с румяными щеками,
По снегу хрупкому мы бегали с тобой -

Нас добрая зима косматыми руками
Ласкала и к огню стоняла нас клюкой;
А поздним вечером твои сияли глазки
И на тебя глядел из печки огонек,
А няня старая нам сказывала сказки
О том, как жил да был на свете дурачок.
Но та зима от нас ушла с улыбкой мая,
И летний жар простыл — и вот, слышишь
вой

Осенней бури, к нам идет зима иная,
Зима бездушная — и уж грозит клюкой.
А няня старая уж ножки протянула -
И спит себе в гробу, и даже не глядит,
Как ты, усталая, к моей груди прильнула,
Как будто слушаешь, что сердце говорит.
А сердце в эту ночь, как няня, к детской
ласке

Неравнодушное, раздуло огонек
И на ушко тебе рассказывает сказки,
О том, как жил да был на свете дурачок.
<1859>

ДЛЯ НЕМНОГИХ

Мне не дал бог бича сатиры:
Моя душевная гроза

Едва слышна в аккордах лиры -
Едва видна моя слеза.

Ко мне виденья прилетают,
Мне звезды шлют немой привет-
Но мне немногие внимают -
И для немногих я поэт.

Я не взываю к дальним братьям
Мои стихи — для их оков
Подобны трепетным объятьям,
Простертым в воздух. Вещих слов
Моих не слушают народы.
В моей душе проклятий нет;
Но в ней журчит родник свободы
И для немногих я поэт.

Подслушав ропот Немезиды,
Как божеству я верю ей;
Не мне, а ей карать обиды,
Грехи народов и судей.
Меня глубоко возмущает
Все, чем гордится грязный свет...
Но к музам грязь не прилипает,
И — для немногих я поэт.
Когда судьба меня карала -
Увы! всем общая судьба -
Моя душа не уставала,

По силам ей была борьба.
Мой крик, мой плач, мои стенанья
Не проникали в мир сует.
Тая бесплодные страданья,
Я для немногих был поэт.
Я знаю: область есть иная,
Там разум вечного живет -
О жизни там, живым живая
Любовь торжественно поет.
Я, как поэт, ей жадно внемлю,
Как гражданин, сердцам в ответ
Слова любви свожу на землю -
Но — для немногих я поэт.
<1859>

КАЗАЧКА

Уж осень! кажется, давно ли
Цветущим ландышем дремучий пах-
нул лес,

И реки, как моря, сливались по воле
Весною дышащих небес!
Давно ль ладья моя качалась
Там, где теперь скрипят тяжелые возы;
Давно ли жаркая в разливе отражалась
Заря, предвестница грозы!

Я помню — облаков волокна
Сплывались, и ночь спускалася кругом
На крыльях ветра, а вдали сверкали окна,
И грохотал весенний гром.
И в блеске молний мне казалось
Волшебным островом знакомое село.
Я плыл — горела грудь — ладья моя кача-
лась,

И вырывалось весло.

Я правил к берегу разлива,

И хата, крытая соломою, с крыльцом,

Ко мне навстречу шла, мигая мне пугливо

Уединенным огоньком.

Стихало. Туча громовая

Отодвигалася за дальние плетни;

Пел соловей, а я причаливал, бросая

Весло свое на дно ладьи.

О ночка, золотая ночка,

Как ты свежа была, безлунная, в звездах!

Как ты притихла вдруг, когда ее сорочка

Мелькнула в темных воротах!

Казачка бедная, пугливой

Голубкой ты росла; но ты меня рукой

Манила издали; меня твой взор ревнивый

Мог узнавать во тьме ночной.

Не диво, корень приворотный
Мне за карбованец отец твой навязал,
И уж чего-чего старик словоохотный
Мне про него не наставлял.
Когда, последний шкалик водки
Хватив, он поклялся, хмельной, на образах
Ты вышла бледная из-за перегородки
И долго плакала в сенях.
И, недоступная дивчина,
Ты в эту ночь пошла, как тень пошла за
мною

Я помню, лес был тих и сонная долина
В росе белелась под луной.
Когда холодными руками
Ты обвила меня, и с головы платок
Скатился на плеча, — прильнув к устам
устами,

Я страсти одолеть не мог...
На самом деле оправдала
Ты знахарство отца: ни плеть его с тех пор,
Ни брань, ни кулаки, ничто не помогало;
Силен был вражий приговор...
На посиделках опустела
В кругу девчат твоя обычная скамья;
Ты мне лишь одному степные песни пела,

Свои предчувствия тая.

Бедняжка! в корень приворотный
Ты верила, а я, — я верил, что весна
Колдует и в гнезде у птички беззаботной
И у косящата окна.

1859

Недавно ты из мрака вышел,

Недавно ты из мрака вышел,
Недавно ты пошел назад,
И все ты видел, все ты слышал, -
И все ты понял невпопад...
Остановись! ужель намердни,
Безумец, не заметил ты,
Что потушил огонь последний
И смял последние цветы!..

<1859>

СНЫ

1 Затворены душные ставни,
Один я лежу, без огня
Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня.
Мне снилось, румяное солнце

В постели меня застаёт,
Кидает лучи по окошкам
И молодость к жизни зовет.
И — странно! — во сне мне казалось,
Что будто, пригретый лучом,
Лениво я голову поднял
И стал озираться кругом;
И вижу — толпа за толпою
Снует мимо окон моих.
О глупые люди! куда вы?
Я думаю, глядя на них.
И сам наконец я за ними
Куда-то спешу из ворот...
И жжет меня полдень, и пыльный
Кругом суетится народ.
И ходят послушные ноги,
И движутся руки мои;
Без мысли язык мой лепечет,
И сердце болит без любви.
И вот уж гляжу я на запад,
Усталую грудью дыша...
Когда-то закатится солнце!
Когда-то проснется душа!
Проснулся: затворены ставни,
Один я лежу, без огня

Не жаль мне ни ясного солнца,
Ни божьего белого дня!..

2

Мне снилось, легка и воздушна,
Прошла она мимо окна;
И слышу я голос: мой милый!
Спеши! я сегодня одна!..
Слова эти были так нежны
И так нетерпенья полны,
Что сердце мое вострепелось,
Как птичка навстречу весны.
И радостным сердца движеньем
Себя разбудил я... увы!
Глядела в окно мое полночь,
И слышались крики совы.
И долго лежал я — и дума
Была, как свинец, тяжела.
Неужели в это окошко
Она меня громко звала?
Неужели в это окошко
Другим я когда-то смотрел?
Был ветрен, и молод, и весел,
И многого знать не хотел?

3

Уж утро! — но, боже мой, где я?

В своем ли я нынче уме?
Вчера мне казалось так живо,
Что я засыпаю в тюрьме;
Что кашляет сторож за дверью
И что за туманным стеклом
Луна из-за черной решетки
Сияет холодным серпом;
Что мышка подкралась и скоблет
Ночник мой, потухший в углу,
И что все какая-то птичка
С надворья стучит по стеклу.
Уж утро! — но, боже мой, где я?
Заснул я как будто в тюрьме,
Проснулся как будто свободный,
В своем ли я нынче уме?

4

Подсолнечное царство
Клонит сон — стихи, прощайте!
Погасай, моя свеча!
Сплю и слышу, будто где-то
Ходит маятник, стуча...
Ходит маятник, и сонный,
Чтоб догнать его скорей,
Как по воздуху, иду я
Вдаль за тридевять полей...

И хочу я в тридесятom
Государстве кончить путь,
Чтоб хоть там свободным словом
Облегчить больную грудь.
И я вижу: в тридесятom
Государстве на часах
Сторожа стоят в тумане
С самострелами в руках.
На мосту собака лает,
И в испуге через сад
Я иду под свод каких-то
Фантастических палат.
Узнаю родные стены...
И тайком иду в покой,
Где подсолнечного царства
Царь лежит с своей женой.
Кот мурлычет на лежанке;
Светит лампа — царь не спит
И седая из подушек
Борода его торчит.
На глаза колпак напялив,
Шевелит он бородой
И ведет такие речи
Обо мне с своей женой:
"Сокрушил меня царевич;

Кто мне что ни говори,
А любя стихи да рифмы,
Не годится он в цари.
Я лишу его наследства".
А жена ему в ответ:
"Будет, бедненький, по царству
Он скитаться, как поэт".
"Но, — оказал отец, — дозволим
Мы за это, так и быть,
Нашей фрейлине с безумцем
Одиночество делить:
У нее в лице любовью
Дышит каждая черта
У него в стихах недаром
Все любовь да красота".
"Но, — ответила царица,
Наша фрейлина горда
И отвергнутого нами
Не полюбит никогда".
Ах! — кричу я им, — лишите
Вы меня всего, всего...
Все-то ваше царство вряд ли
Стоит сердца моего!..
Но ужель она, чьи очи
Светят раем, — так горда,

Что отвергнутого вами
Не полюбит никогда?..
Тишь и мрак
Я спал — и гнетущего страха
Волненье хотел превозмочь,
И видел я сон — Оудто светит
Какая-то странная ночь.
Дымясь, неподвижные звезды
В эфире горят, как смола,
И запахом ладана сильно
Ночная пропитана мгла.
И месяц, холодный, как будто
Мертвец, посреди облаков
Стоит "ад долиной, покрытой
Рядами могильных холмов.
Недвижно поникли деревья;
Далеко стоит тишина:
Природа как будто не дышит
В объятиях мертвого сна.
И весь я вниманье — и сердцем
Далеко я в ночь уношусь,
И жду хоть единого звука
И крикнуть хочу и — боюсь!
И вдруг с легким треском все небо
Подвинулось — звезды текут

И катится месяц, как будто
На нем гроб тяжелый везут.
И темные тучи печальным
Над ним балдахин висят.
И красные звезды, как свечи,
Повитые крепом, горят.
И катится месяц все дальше
И дальше в бездонную ночь
И звезды за ним в бесконечность
Уходят из глаз моих прочь...
Их след, как дымок от фосфора,
Как облачко, в черной дали
Расплылся — и мрак непроглядный
Одел мертвый череп земли.
И стал я блуждать в этом мраке
Один — как слепец. Не ночной
Могильный был мрак, и повсюду
Была тишина и покой.
Такой был покой и такая
Была тишина, что листок
В лесу покачнись — или капля
Скатись — я услышать бы мог.
То весь замирал я — и долго
Стоял неподвижно — то бил
Я в землю ногами, не видя

Ни ног, ни земли; — то ходил,
Кружась, как помешанный, — падал
Лежал — сам с собой говорил
Вставал — щупал воздух руками
И вдруг — чью-то руку схватил...
И мигом я понял, что это
Была не мужская рука,
У ней были нежные пальцы,
Она была стройно легка.
И так эту руку схватил я,
Как будто добычу поймал,
И так я был рад, что, казалось,
На время дышать перестал.
"Ага! не один я — не все мы
Пропали! — я думал. — Есть грудь
Другая, которая может
И закричать и вздохнуть".
"О, кто ты? — шептал я, — хоть слово
Скажи мне — хоть слово! — и мне
Оно будет музыкой в этой
Могильной, немой тишине...
Откуда ты шла? — Где застигла
Тебя эта тьма? — говори!
Мне звуки речей твоих будут
Сиянием новой зари".

Молчанье — молчанье — ни слова,
Ни вздоха... Одна лишь рука
Незримая руку мне жала
И трепетала слегка.
Напрасно порывисто, жадно
Уста я устами ловил,
Напрасно лобзал ее в очи
И плечи слезами кропил.
Она предавала все тело
Мучительным ласкам моим;
А я — я шептал: "Умоляю,
Порадуй хоть словом одним".
Молчанье, молчанье — и вот уж
Я сам перестал говорить,
Я помню, во сне, как безумец,
Готов был ее укусить!!
Но в эту минуту, рванувшись,
Как змей ускользнула она,
И стало опять — мрак во мраке
И в тишине — тишина...
С простертыми долго руками
Ходил я, рыдая, стеля,
Шатаюсь — и тьму обнимал я,
И тьма обнимала меня.
Споткнувшись на что-то, я поднял

Какую-то книгу — раскрыл
Страницы — и лег с ней на землю
И лбом к ней припал — и застыл.
Из книги, мне чудилось, буквы
Всплывали — и ярче огня
Сверкали и в жгучие строки
Слагались в мозгу у меня.
И страшные мысли читал я
В невидимой книге — как вдруг
На слове "проклятье" очнулся
И оглянулся вокруг
О боже мой! где я!! — сквозь щели
Затворенных ставень сквозят
Лучи золотые, то солнца
Глаза золотые глядят.
Глядят и смеются — и сердце
Очнулось — и, жизни привет
Почуя, взыграло, как будто
Впервые увидело свет...

<1856–1860>

Ты моя раба, к несчастью!

Ты моя раба, к несчастью!..
Если я одною властью,
Словно милость, дам тебе -
Дам тебе — моей рабе,

Золотой свободы крылья,
Ты неволю проклянешь
И, как дикая орлица,
Улетишь и пропадешь...
Если я, как брат, ликуя,
И любя, и соревнуя
Людям правды и добра,
Дам тебе, моя сестра,
Золотой свободы крылья,
Ты за все меня простишь
И, быть может, как голубка,
Далеко не улетишь?!

1850-е годы

1860-е годы

ЧАЙКА

Поднял корабль паруса;
В море спешит он, родной покидая залив,

Буря его догнала и швырнула на каменный риф.

Бьется он грудью об грудь

Скал, опрокинутых вечным прибоем морским,

И белогрудая чайка летает и стонет над ним.

С бурей обломки его

В даль унеслись; — чайка села на волны — и вот

Тихо волна, покачав ее, новой волне отдает.

Вон — отделились опять

Крылья от скачущей пены — и ветра быстрей

Мчится она, упадая в объятья вечерних теней.

Счастье мое, ты — корабль:

Море житейское бьет в тебя бурной вол-

ной;

Если погибнешь ты, буду как чайка стоять над тобой;

Буря обломки твои

Пусть унесет! но — пока будет пена блеснуть,

Дам я волнам покачать себя, прежде чем в ночь улететь,

<1860>

БЕЗУМИЕ ГОРЯ

(*Посв. пам. Ел. П...й*)

Когда, держась за ручку гроба,

Мой друг! в могилу я тебя сопровождал

Я думал: умерли мы оба

И как безумный — не рыдал.

И представлялось мне два гроба:

Один был твой — он был уютно-мал,

И я его с тупым, бессмысленным вниманием

В сырую землю опускал;

Другой был мой — он был просторен,

Лазурью, зеленью вокруг меня пестрел,

И солнца диск, к нему прилаженный, как бляха

Роскошно золоченая, горел.
Когда твой гроб исчез, заброшенный зем-
лею,

Увы! мой — все еще насмешливо сиял,
И озирался я, покинутый тобою,
Душа души моей! — и смутно сознавал,
Как не легко в моем громадно-пышном
гробе

Забиться — умереть настолько, чтоб за-
быть

Любви утраченное счастье,
Свое ничтожество и — жажду вечно жить.
И порывался я очнуться — встрепенуться
Подняться — вечную мою гробницу изло-
мать

Как саван сбросить это небо,
На солнце наступить и звезды разметать
И ринуться по этому кладбищу,
Покрытому обломками светил,
Туда, где ты — где нет воспоминаний,
Прикованных к ничтожеству могил.
1860

Я читаю книгу песен,

Я читаю книгу песен,
"Рай любви — змея любовь"

Ничего не понимаю
Перечитываю вновь.
Что со мной! — с невольным страхом
В душу крадется тоска...
Словно книгу заслонила
Чья-то мертвая рука
Словно чья-то тень поникла
За плечом — и в тишине
Тихо плачет — тихо дышит
И дышать мешает мне.
Словно эту книгу песен
Прочитать хотят со мной
Потухающие очи
С накипевшею слезой.

<1861>

**Когда б любовь твоя мне спутницей
была,**

Когда б любовь твоя мне спутницей была,
О, может быть, в огне твоих объятий
Я проклинать не стал бы даже зла,
Я б не слышал ничьих проклятий! -
Но я один — один, — мне суждено внимать
Оков бряцанью — крику поколений -

Один — я не могу ни сам благословлять,
Ни услышать благословений! -

То клики торжества... то похоронный звон,

Все от сомнения влечет меня к сомнению...
Иль, братьям чуждый брат, я буду осужден
Меж них пройти неслышной тенью!

Иль, братьям чуждый брат, без песен, без
надежд

С великой скорбию моих воспоминаний,
Я буду страждущим орудием невежд
Подпоркою гнилых преданий!

<1861>

Признаться сказать, я забыл, господа,

Признаться сказать, я забыл, господа,

Что думает алая роза, когда

Ей где-то во мраке поет соловей,

И даже не знаю, поет ли он ей.

Но знаю, что думает русский мужик,

Который и думать-то вовсе отвык...

Освобождаемый добрым царем,

Все розги да розги он видит кругом,

И думает он: то-то станут нас бить,

Как мы захотим на свободе-то жить...
Признаться, забыл я — не знаю, о чем
Беседуют звезды на небе ночном.
И точно ли жаждут упиться росой
Цветы полевые в полуденный зной.
Но знаю, о чем тайно плачет бедняк,
Когда, запирая свой пыльный чердак,
Лежит он, и мрачен, и зол оттого.
Что даже не смеет любить никого,
И зол он на звезды — что с неба глядят,
Как люди глядят — и помочь не хотят.
Я вам признаюсь, что я знать не могу,
Что думает птица, когда на лугу
Холодный туман начинает бродить,
А солнце встает и не смеет светить.
Но знаю — ох, знаю, что мыслит поэт,
Когда для него гаснет солнечный свет.
Ведь я у цензуры слуга крепостной,
Так думает он — и, холодной рукой
Сдавля свою голову, тихо поет,
Когда его музу цензура сечет.
Признаться, не знаю, что думает пес,
Когда птички крадут в навозе овес,
Когда кот пушистым виляет хвостом,
Не знаю, что думают мыши об нем,

Но знаю, что думают слуги царя,
Ближайшие слуги!
Усердьем горя,
Они день и ночь молят господу сил,
Чтоб он взволновать им народ пособил:
Дай, боже! царя убедить нам хоть раз,
Что плохо бы было престолу без нас;
Ведь эдакий глупый презренный народ:
Как хочешь дразни — ничего не берет.
20 марта 1861

БЕГЛЫЙ

— Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока:
Не сегодня-завтра свяжут молодца.
Не ушел ли ты от матери-отца?
Не гулял ли ты за Волгой в степи?
Не сидел ли ты в остроге на цепи?
"Я сидел и в остроге на цепи,
Я гулял и за Волгой в степи,
Да наскучила мне волюшка моя,
Воля буйная, чужая, не своя.
С горя, братцы, изловить себя я дал
Из острога, братцы, с радости бежал.
Как в остроге-то слышалось нам,

Что про волю-то читают по церквам,
Уж откуда сила-силушка взялась:
Цепь железная, и та, вишь, порвалась!
И задумал я на родину бежать;
Божья ночка обещалась покрывать.
Я бежал — ног не чуял под собой...
Очутился на сторонушке родной,
Тут за речкой моя матушка живет,
Не разбойничка, а сына в гости ждет.
Я сначала постучуся у окна
Выходи, скажу, на улицу, жена!
Ты не спрашивай, в лицо мне не гляди,
От меня, жена, гостинчика не жди.
Много всяких я подарков тебе нёс,
Да, вишь, как-то по дороге все растрёс;
Я вина не пил — с воды был пьян,
Были деньги — не зашил карман.
Как нам волю-то объявят господа,
Я с воды хмелен не буду никогда;
Как мне землю-то отмерят на миру
Я в кармане-то зашью себе дыру.
Буду в праздники царев указ читать...
Кто же, братцы, меня может забижать?"
— Ты куда, удалая ты башка?
Уходи ты к лесу темному пока.

Хоть родное-то гнездо недалеко,
Ночь-то месячна: признать тебя легко.
Знать, тебе в доме хозяином не быть,
По дорогам, значит, велено ловить,
<1861>

ОДНОМУ ИЗ УСТАЛЫХ

Ожесточила ли тебя людская тупость,
Иль повседневная сует их кутерьма,
Их сердца старческая скупость,
Или ребячество их гордого ума: -
Вся эта современность злая,
Вся эта бестолочь живая,
Весь этот сонм тиранов и льстецов,
Иль эта кучка маленьких бойцов,
Самолюбивых и в припадках гнева
Готовых бить направо и налево;
Устал ли ты науку догонять,
Иль гнаться по следам молодого поколения -
Не говори, что хочешь ты бежать,
В глуши искать уединенья.
К чему! — Прошли те дни, когда лесную
глушь

Преданье чудными духами населяло.
Когда отшельника незримо навеждала

Семья оплаканных им душ,
Когда, дитя фантазии народной,
Со дна реки на свет луны холодной
Всплывала и его дразнила наготой
Русалка бледная с зеленою косою;
Когда под шумный говор леса
Пустынник, тихую лампаду засветя,
Молился, а его, как малое дитя,
Хранитель-ангел блюл от беса,
И одиноким не был он,
Бесплотных сил толпой повсюду окружен,
А были для него, как мир, разнообразны
Неизъяснимые то страхи, то соблазны.
Ну, а тебя, товарищ старый мой,
Все эти чудеса займут едва ли!
Мы от мифических годов с тобой отстали
И унесем в пустыню за собой
На дне души разбитой, но живой
Невыносимые воспоминанья,
Неутолимые, законные желанья
И жажду жить и двигаться с толпой.
О! я б и сам желал уединиться,
Но, друг, мы и в глуши не перестанем
Злиться
И к злой толпе воротимся опять.

Не говори мне, что природа — мать:
Она детей не любит одиноких,
Ожесточенных, так же как жестоких,
Природа не умеет утешать.
И ничего не делает природа
С таким отшельником, которому нужна
Для счастья законная свобода,
А для свободы — вольная страна.
16 мая 1862

ДВОЙНИК

Я шел и не слышал, как пели соловьи,
И не видал, как звезды загорались,
И слушал я шаги — шаги, не знаю чьи,
За мной в лесной глуши неясно повторя-
лись.

Я думал — эхо, зверь, колышется тростник;
Я верить не хотел, дрожа и замирая,
Что по моим следам, на шаг не отставая,
Идет не человек, не зверь, а мой двойник.
То я бежать хотел, пугливо озираясь,
То самого себя, как мальчика, стыдил...
Вдруг злость меня взяла — и, страшно за-
дыхаясь,

Я сам пошел к нему навстречу и спросил:
— Что ты пророчишь мне или зачем пугаешь?

Ты призрак иль обман фантазии больной?
— Ах! — отвечал двойник, — ты видеть мне мешаешь

И не даешь внимать гармонии ночной;
Ты хочешь отравить меня своим сомнением,

Меня — живой родник поэзии твоей!..
И, не сводя с меня испуганных очей,
Двойник мой на меня глядел с таким смятением,

Как будто я к нему среди ночных теней
Я, а не он ко мне явился привидением.
<1862>

БЕЛАЯ НОЧЬ

ДЫМ потянуло вдаль, повеяло прохладой.
Без теня, без огней, над бледною Невою
Идет ночь белая — лишь купол золотой
Из-за седых дворцов, над круглой колоннадой,
Как мертвеца венец перед лампадой,
Мерцает в высоте холодной и немой.

Скажи, куда идти за счастьем, за отрадой,
Скажи, на что ты зол, товарищ бедный
мой?!

Вот — темный монумент вознесся над гра-
нитом...

Иль мысль стесненная твоя
Спасенья ищет в жале ядовитом,
Как эта медная змея
Под медным всадником, прижатая копы-
том

Его несущего коня...

<1862>

ЮБИЛЕЙ ШИЛЛЕРА

1862

С вавилонского столпотворенья
И до наших дней — по всей земле
Дух вражды и дух разъединенья
Держат мир в невежестве и зле.
Люди на людей куют во мраке цепи,
Истина не смеет быть нагой,
И с морями берега, с горами степи
Без конца ведут кровавый бой.
Отчего же вся Европа встала,
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала

Шиллера столетний юбилей?
У разноязычных, у разноплеменных
У враждебных стран во все века
Только два и было неизменных,
Всем сердцам понятных языка:
Не кричит ли миру о союзе кровном
Каждого ребенка первый крик,
Не для всех ли наций в роднике духовно
Черпает силу гения язык?
Не затем ли вся Европа встала
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала
Шиллера столетний юбилей!
Лучших дней не скоро мы дождемся:
Лишь поэты, вестники богов,
Говорят, что все мы соберемся
Мирно разделять плоды трудов;
Что безумный произвол свобода свяжет,
Что любовь прощеньем свяжет грех,
Что победа мысли смертным путь укажет
К торжеству, отрадному для всех.
Путь далек — но вся Европа встала,
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала
Шиллера столетний юбилей.

Но, вперед шагая с каждым веком,
Что мы видим в наш железный век?..
Видим — в страхе перед человеком
Опускает руки человек -
В побежденных сила духа воскресает;
Победитель, раздражая свет,
Не затем ли меч свой грозный опускает,
Что его пугает гром побед.
Меч упал, и вся Европа встала,
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала
Шиллера столетний юбилей.
Знаем мы, как чутко наше время,
Как шпион, за всем оно следит
И свободы золотое семя
От очей завистливых таит.
Но встает вопрос — народы ждут ответа...
Страшно не признать народных прав, -
И для мысли, как для воздуха и света,
Невозможно выдумать застав.
Встал вопрос — и вся Европа встала,
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала
Шиллера столетний юбилей.
Сколько раз твердила чернь поэту:

Ты, как ветер, не даешь плода,
Хлебных зерен ты не сеешь к лету,
Жатвы не собираешь в осень. — Да, -
Дух поэта — ветер; но когда он веет,
В небе облака с грозой плывут,
Под грозой тучней родная нива зреет
И цветы роскошнее цветут.
Дух повеял — и Европа встала,
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала
Шиллера столетний юбилей.
Шиллер!.. Чье полнее сердце было
Песен вечных, чистых и святых!
Чья душа сильнее людей любила,
И стояла горячей за них!
О, не ты ль смешал людей с полубогами -
В идеале видел божество,
Свету разума над мраком и страстями
Приготовил в мире торжество.
О, не ты ль? — и вся Европа встала,
Засветила тысячи огней,
И отпела и отликовала
Шиллера столетний юбилей.
О, Германии поэт всемирный!
Для тебя народы все равны.

Откликаюсь я на звон твой лирный
Тихим трепетом одной струны, и
Той живой струны, что в глубине сердеч-
ной,

Братия, у всех у нас звучит
Всякий раз, когда любви нам голос вечный
Божий голос громко говорит.

<1862>

Ползет ночная тишина

Е. *А. Штакеншнейдер*

Ползет ночная тишина
Подслушивать ночные звуки...
Травую пахнет и влажна
В саду скамья твоя... Больна,
На книжку уронивши руки,
Сидишь ты, в тень погружена,
И говоришь о днях грядущих,
Об угнетенных, о гнетущих,
О роковой растрате сил,
Которых ключ едва пробил
Кору тупого закосненья,
О всем, что губит вдохновенье,
Чем так унижен человек

И что великого презренья
Достойно в наш великий век.
А там — сквозь тень — огни за чаем,
Сквозь окна — музыка... Серпом
Блестит луна, и лес кругом,
С его росой и соловьем,
И ты назвать готова раем
И этот сад и этот дом.
Страну волков преображая
В подобие земного рая,
Здесь речка вышла из болот,
На тундрах дом возник — и вот
Трудом тяжелым, неустанным
Кругом все ожило: неожиданным
Паденьем безмятежных вод
Возмущены ночные тени,
И усыпительно для лени
Однообразно жернова
Шумят, — и лодка у плотины,
И Термуса из белой глины
Вдали мелькает голова...
Здесь точно рай, и ты привыкла
К благополучью своему.
Здесь рай. Зачем же ты поникла,
И вновь задумалась к чему?

Иль поняла, что рай твой тесен
Для гражданина и для песен,
Что мысли здесь займут луна,
Цветы, грибы, прогулки летом,
И новой жизни семена
Взойдут, быть может, пустоцветом;
Что в этом маленьком раю
Все измельчает понемногу.
Иные скажут: "Слава богу!"
А ты, — ты, голову свою
Повесив, будешь, как немая,
Сидеть и думать: "Боже мой!
Как хорошо бежать из рая
И окунуться с головой
В жизнь, поднимающую вой,
Как злое море под грозой..."
Мыза Ивановка. 1862

ПОЦЕЛУЙ

И рассудок, и сердце, и память губя,
Я недаром так жарко целую тебя
Я целую тебя и за ту, перед кем
Я таил мои страсти — был робок и нем,
И за ту, что меня обожгла без огня
И смеялась, и долго терзала меня,

И за ту, чья любовь мне была бы щитом,
Да, убитая, спит под могильным крестом.
Все, что в сердце моем загоралось для них,
Догорая, пусть гаснет в объятьях твоих.
<1863>

СТАРЫЙ ОРЕЛ

Еще на солнце я гляжу и не моргаю,
И вижу далеко играющих орлят
Отлет их жадными глазами провожаю,
И знать хочу — куда они летят...
Но я отяжелел — одрях — не без кручины
Сижу один я на краю стремнины,
У разоренного гнезда,
И только изредка, позабывая годы,
На отдаленный шум их крыл и клич свобо-
ды:

"Сюда, сюда! старик, сюда!"

Я поднимаю машущие крылья,
Хочу лететь насколько хватит сил.

Увы! напрасные усилья!

Я только с камней пыль сметаю взмахом
крыл

И, утомленный, вновь дремлю, сомкнув зе-
ницы,

И жду, когда в горах погаснет красный

день,

За мной появится блуждающая тень
Моей возлюбленной орлицы...

<1863>

Твой скромный вид таит в себе

Твой скромный вид таит в себе
Так много силы страстной воли,
Что не уступишь ты судьбе
Ни шагу без борьбы и боли.
Мгновенья счастья ты трудом
Или болезнями искупишь;
Но пред общественным судом
Ресниц стыдливо не потупишь.
Свет осужден тобою — он
Не может дать тебе закона;
Святая правда — твой закон,
Святая гордость — оборона.
Пускай поэта стих живой
В тебе отзыва не находит,
Поэт, отвергнутый тобой,
Тебя и встретит и проводит.
Осмеянный певец любви
Не осмеет твои порывы -
Откликнется на все призывы,

На все страдания твои.

<1863>

Все, что меня терзало, — все давно

Все, что меня терзало, — все давно

Великодушно прощено

Иль равнодушно позабыто,

И если б сердце не было разбито,

Не ныло от усталости и ран, -

Я б думал: все мечта, все призрак, все обман.

Надежды гибли, слезы высыхали,

Как бури, страсти налетали

И разлетались, как туман, -

И ты, которая, даря меня мечтами,

Была отрадой для души больной.

Унесена — исчезла за горами,

Как облачко с поднявшейся росой...

<1864>

Чтобы песня моя разлилась как поток,

Чтобы песня моя разлилась как поток,

Ясной зорьки она дожидается:

Пусть не темная ночь, пусть горящий восток

Отражается в ней, отливается.

Пусть чиликают вольные птицы вокруг,
Сонный лес пусть проснется-нарядится,
И сова — пусть она не тревожит мой слух
И, слепая, подальше усядется.

<1864>

ЧУЖОЕ ОКНО

Помню, где-то в ночь с проливным дождем
Я бродил и дрог под чужим окном;
За чужим окном было так светло,
Так манил огонь, что я — стук в стекло...
Боже мой! какой поднялся содом!
Как встревожил я благородный дом!
"Кто стучит! — кричат, — убирайся, вор!
Аль не знаешь, где постоялый двор!.."
Ваше сердце мне — тоже дом чужой,
Хоть и светит в нем огонек порой,
Да уж я учен — не возьму ничего,
Чтоб с отчаянья постучать в него...

<1864>

ВЕК

Век девятнадцатый — мятежный, строгий
век -

Идет и говорит: "Бедняжка человек!
О чем задумался? бери перо, пиши:

В твореньях нет творца, в природе нет души.

Твоя вселенная — брожение сил живых,
Но бессознательных, — творящих, но слепых,

Нет цели в вечности; жизнь льется, как поток.

И, на ее волнах мелькнувший пузырек,
Ты лопнешь, падая в пространство без небес, -

Туда ж, куда упал и раб твой, и Зевес,
И червь, и твой кумир; фантазию твою
Я разбиваю в прах... покорствуй, я велю!"
Он пишет — век идет; он кончил — век проходит.

Сомненья вновь кипят, ум снова колобродит, -

И снова слушает бедняжка-человек,
Чт_о_ будет диктовать ему грядущий век...
<1864>

ЧТО, ЕСЛИ

Что, если на любовь последнюю твою
Она любовью первой ответит
И, как дитя, произнесет: "люблю",

И сумеркам души твоей посветит?
Ее беспечности, смотри, не отрави
Неугомонным подозреньем;
К ее ребяческой любви
Не подходи ревнивым привиденьем.
Очнувшись женщиной, в испуге за себя,
Она к другому кинется в объятия
И не захочет понимать тебя,
И в первый раз услышишь ты проклятья,
Увы! в последний раз любя.

<1864>

ПОСЛЕДНИЙ ВЗДОХ

"**П**оцелуй меня...
Моя грудь в огне...
Я еще люблю...
Наклонись ко мне".
Так в прощальный час
Лепетал и гас
Тихий голос твой,
Словно тающий
В глубине души
Догорающей.
Я дышать не смел
Я в лицо твое,
Как мертвец, глядел

Я склонил мой слух...
Но, увы! мой друг,
Твой последний вздох
Мне любви твоей
Досказать не мог.
И не знаю я,
Чем развяжется
Эта жизнь моя!
Где доскажется
Мне любовь твоя!

<1864>

ПОЭТУ-ГРАЖДАНИНУ

О гражданин с душой наивной!
Боюсь, твой грозный стих судьбы не пошатнет,

Толпа угрюмая, на голос твой призывный
Не откликается, идет,
Хоть прокляни-не обернется...
И верь, усталая, в досужий час скорей
Любовной песенке сердечно отзовется,
Чем музе ропщущей твоей.
Хоть плачь — у ней своя задача:
Толпа-работница считает каждый грош;
Дай руки ей свои, дай голову, — но плача

По ней, ты к ней не подойдешь.
Тупая, сильная, не вникнет
В слова, которыми ты любишь поражать,
И к поэтическим страданиям не привыкнет,
Привыкнув иначе страдать.
Оставь напрасные воззвания!
Не хныкай! Голос твой пусть льется из груди,
Как льется музыка, — в цветы ряди страдания,
Любовью — к правде нас веди!
Нет правды без любви к природе,
Любви к природе нет без чувства красоты,
К Познанию нет пути нам без пути к свободе,
Труда — без творческой мечты...
<1864>

**Люби не боялась ты, сердцем
созревшая рано:**

Люби не боялась ты, сердцем созревшая рано:
Поверила ей, отдалась — и грустишь одиноко...

О бедная жертва неволи, страстей и обманна,

Порви ты их грязную сеть и не бойся упрёка!

Людские упрёки — фальшивая совесть людская...

Не плачь, не горюй, проясни отуманенный взор твой!

Ведь я не судья, не палач, — хоть и знаю, что злая

Молва подписала — заочно, смеясь — приговор твой.

Но каждый из нас разве не был страстями обманут?

Но разве враги твои могут смеяться до гроба?

И разве друзья твою душу терзать не устанут?..

Без повода к злу у людей выдыхается злоба...

И все, что в тебе было дорого, чисто и свято,

Для любящих будет таким же священным казаться;

И щедрое сердце твоё будет так же богато -

И так же ты будешь любить и, любя, улыбаться.

<1864>

Заплетя свои темные косы венцом,

Заплетя свои темные косы венцом,
Ты напомнила мне полудетским лицом
Все то счастье, которым мы грезим во сне,
Грезы детской любви ты напомнила мне.
Ты напомнила мне зноем темных очей
Лучезарные тени восточных ночей
Мрак цветущих садов — бледный лик при
луне,

Бури первых страстей ты напомнила мне.
Ты напомнила мне много милых теней
Простотой, темным цветом одежды твоей.
И могилу, и слезы, и бред в тишине
Одиноких ночей ты напомнила мне.
Все, что в жизни с улыбкой навстречу мне
шло,

Все, что время навек от меня унесло,
Все, что гибло, и все, что стремилось лю-
бить,

Ты напомнила мне. — Помоги позабыть!

<1864>

В АЛЬБОМ К. Ш...

Писатель, — если только он
Волна, а океан — Россия,
Не может быть не возмущен,
Когда возмущена стихия.
Писатель, если только он
Есть нерв великого народа,
Не может быть не поражен,
Когда поражена свобода.
1865

Рассказать ли тебе, как однажды

Рассказать ли тебе, как однажды
Хоронил друг твой сердце свое,
Всех знакомых на пышную тризну
Пригласил он и позвал ее.
И в назначенный час панихиды,
При сиянии ламп и свечей,
Вкруг убитого сердца толпою
Собралось много всяких гостей.
И она появилась — все так же
Хороша, холодна и мила,
Он с улыбкой красавицу встретил;
Но она без улыбки вошла.

Поняла ли она, что за праздник
У него на душе в этот день,
Иль убитого сердца над нею
Пронеслась молчаливая тень?
Иль боялась она, что воскреснет
Это глупое сердце — и вновь
Потревожит ее жаждой счастья -
Пожелает любви за любовь!
В честь убитого сердца заезжий
Музыкант "Marche funebre" {*} играл,
{* "Похоронный марш" (фр.)}
И гремела рояль — струны пели,
Каждый звук их как будто рыдал.
Его слушая, томные дамы
Опускали задумчивый взгляд, -
Вообще они тронуты были,
Ели дули и пили оршад.
А мужчины стояли поодаль,
Исподлобья глядели на дам,
Вынимали свои папиросы
И курили в дверях фимиам.
В честь убитого сердца какой-то
Балагур притчу нам говорил,
Раздирательно-грустную притчу, -
Но до слез, до упаду смешил.

В два часа появилась закуска,
И никто отказаться не мог
В честь убитого сердца отведать,
Хорошо ли состряпан пирог?
Наконец, слава богу, шампанским
Он ее и гостей проводил -
Так, без жалоб, роскошно и шумно
Друг твой сердце свое хоронил.
<1864>

Время новое повеяло — смотри

Время новое повеяло — смотри.
Время новое повеяло крылом:
У одних глаза вдруг вспыхнули огнем,
Словно луч в лицо ударил от зари,
У других глаза померкли и чело
Потемнело, словно облако нашло...
<1865>

Наплывает туча с моря,

Наплывает туча с моря,
Ночь и гром, чего я жду...
Ах! куда, зачем я в гору,
Тяжело дыша, иду!
Али бремя не по силам

Взял я на душу мою...
Холод мысли непреклонный,
Страсти жар неутоленный
И тоску, тоску-змею...
<1865>

И в праздности горе, и горе в труде...

И в праздности горе, и горе в труде...
Откликнитесь, где вы, счастливые, где?
Довольные, бодрые, где вы?
Кто любит без боли, кто мыслит без стра-
ха?

Кого не тревожит упрек или плач?
Суда и позора боится палач -
Свободе мерещится плаха...
Хоть сотую долю тяжелых задач
Реши ты нам, жизнь бестолковая,
Некстати к нам нежная,
Некстати суровая,
Слепая, — беспутно мятежная!..
<1865>

Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Ночной костер зимой у перелеска,
Бог весть кем запален, пылает на бугре,
Вокруг него, полны таинственного блеска,
Деревья в хрусталях и белом серебре;
К нему в глухую ночь и запоздалый пеший
Подсядет, и с сумой приляжет нищий брат,
И богомолец, и, быть может, даже леший;
Но мимо пролетит кто счастием богат.
К его щеке горячими губами
Прильнула милая, — на что им твой ко-
стер!

Их поцелуй обвеян полуснами,
Их кони мчат, минуя косогор,
Кибитка их в сугробе не увязнет,
Дорога лоснится, полозьев след визжит,
За ними эхо по лесу летит,
То издали им жалобно звенит,
То звонким лепетом их колокольчик драз-
нит.

Так и к тебе, задумчивый поэт,
К огню, что ты сберег на склоне бурных
лет,
Счастливец не придет. Огонь под сединою
ми
Не греет юности, летящей с бубенцами

На тройке ухарской, в тот теплый уголок,
Где ждет ее к столу кутил живой кружок
Иль полог, затканый цветами.
Но я — я бедный пешеход,
Один шагаю я, никто меня не ждет...
Глухая ночь меня застигла,
Морозной мглы сверкающие игла
Открытое лицо мое язвят;
Где б ни горел огонь, иду к нему, и рад
Рад верить, что моя пустыня не безлюдна,
Когда по ней кой-где огни еще горят...
1865

НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Кто этот гений, что заставит
Очнуться нас от тяжких снов,
Разъединенных мысли сплавит
И силу новую поставит
На место старых рычагов?
Кто упростит задачи сложность?
Кто к совершенству даст возможность
Расчистить миллион дорог?
Кто этот дерзкий полубог?
Кто нечестивец сей блаженный,
Кто гениальный сей глупец?

Пророк-фанатик вдохновенный
Или практический мудрец?..
Придет ли он как утешитель
Иль как могучий, грозный мститель,
Чтоб образумить племена;
Любовь ли в нужды наши вникнет,
Иль ненависть народам кликнет,
Пойдет и сдвинет знамена?
Бог весть! напрасно ум гадает,
А там предтеча, может быть,
Уже проселками шагает,
Глубоко верит и не знает,
Где ночевать, что есть и пить.
Кто знает, может быть, случайно
Он и к тебе уж заходил,
Мечты мечтами заменил
И в молодую душу тайно
Иные думы заронил.
<1865>

ПЛОХОЙ МЕРТВЕЦ

Схоронил я навек и оплакал
Мое сердце — и что ж, наконец!
Чудеса, наконец! — Шевелится,
Шевелится в груди мой мертвец...

Что с тобой, мое бедное сердце?
— Жить хочу, выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
Стану я умирать, что за вздор!
Мир с тобой, мое бедное сердце!
Я недаром тебя схоронил,
Для кого тебе жить! Что за радость
Трепетать, выбиваться из сил!
Никому ты не нужно — покойся!
— Жить хочу — выпускай на простор!
Из-за каждой хорошенькой куклы
Стану я умирать, что за вздор!
<1865>

Слышу я, моей соседки

Слышу я, моей соседки
Днем и ночью, за стеной,
Раздается смех веселый,
Плачет голос молодой
За моей стеной бездушной
Чью-то душу слышу я,
В струнных звуках чье-то сердце
Долетает до меня.
За стеной поющий голос
Дух незримый, но живой,
Потому что и без двери

Проникает в угол мой,
Потому что и без слова
Может мне в ночной тиши
На призыв звучать отзывом,
Быть душою для души.
1865

ПОЗДНЯЯ МОЛОДОСТЬ

Лета идут — идут и бремят -
Суровой старости в усах мелькает иней,

Жизнь многолюдная, как многогрешный
ад,

Не откликается — становится пустыней -
Глаза из-под бровей завистливо глядят,
Улыбка на лице морщины выгоняет.
Куда подчас нехороша
Улыбка старости, которая страдает!
А между тем безумная душа
Еще кипит, еще желает.
Уже боясь чарующей мечты,
Невольно, может быть, она припоминает,
При виде каждой красоты,
Когда-то свежие и милые черты
Своих богинь, давно уже отцветших, -
И мнит из радостей прошедших

Неслыханные радости создать,
Отдаться новым искушеньям -
Последним насладиться наслажденьем,
Последнее отдать.
Но страсть, лишенная живительной награды,

Как жалкий и смешной порыв,
Сменяется слезой отчаянной досады,
Иль гаснет, тщетные желанья изнузив.
Так музыкант, каким бы в нем огнем
Ни пламенели памятные звуки,
С разбитой скрипкой, взятой в руки,
Стоит с понуренным челом.
В душе любовь — и слезы — и перуны -
И музыки бушующий поток -
В руках — обломки, — порванные струны
Или надломленный смычок.
<1866>

СРЕДИ ХАОСА

Я не того боюсь, что время нас изменит,
Что ты полюбишь вновь или простыну
я.

Боюсь я — дряблый свет сил свежих не

оценит,

Боюсь — каприз судьбы в лохмотья нас оденет,

Не даст прохлады в зной, в мороз не даст огня...

Отдамся ль творчеству в минуты вдохновения! -

К поэзии чутье утратил гордый век:

В мишурной роскоши он ищет наслаждения,

Гордится пушками — боится разоренья,
И первый враг его — есть честный человек.

Наука ль, озарив рассудок мой, понудит
Сонливые умы толкать на верный след! -
Мой связанный язык, скажи, кого разбудит?

Невежество грозит, и долго, долго будет
Грозить, со всех сторон загородивши свет.
Вооружу ли я изнеженные руки
Пилой и топором, чтоб с бедною толпой
делить поденный труд, — ужели, боже мой!

Тебя утешит, в дни томительной разлуки,
Мечта, что я вернусь голодный иль боль-

ной?

Чудес ли ожидать без веры в тайны неба!

Иль верить нам в металл — как в высшее добро?

Но биржа голосит: где наше серебро?!

Богач клянет долги, работник ищет хлеба,

Писатель продает свободное перо.

Покою ль ожидать! — но там, где наши силы

Стремятся на простор и рвутся из пелен,

Где правды нет еще, а вымыслы постылы, -

Там нет желанного покоя вне могилы,

Там даже сон любви — больной, тревожный сон.

Случайность не творит, не мыслит и не любит,

А мы — мы все рабы случайности слепой,

Она не видит нас и не жалея губит;

Но верит ей толпа, и долго, долго будет

Ловить ее впотьмах и звать ее судьбой.

Повалит ли меня случайность та слепая?

Не знаю, но дай бог, чтоб был я одинок,

Чтоб ты не падала, мне руки простирая...

Нет — издали заплачь, и — пусть толпа, толкая

Друг друга, топчет мой, ненужный ей, ве-
НОК.

<1866>

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВРАГ

Господа! я нынче все бранить готов
Я не в духе — и не в духе потому,
Что один из самых злых моих врагов
Из-за фразы осужден идти в тюрьму...
Признаюсь вам, не из нежности пустой
Чуть не плачу я, — а просто потому,
Что подавлена проклятою тюрьмой
Вся вражда во мне, кипевшая к нему.
Он явил меня и в прозе, и в стихах;
Но мы бились не за старые долги,
Не за барыню в фальшивых волосах,
Нет! — мы были бескорыстные враги!
Вольной мысли то владыка, то слуга,
Я собирался беспощадным быть врагом,
Поражая беспощадного врага;
Но — тюрьма его прикрыла, как щитом.
Перед этою защитой я — пигмей...
Или вы еще не знаете, что мы

Легче веруем под музыку цепей
Всякой мысли, выходящей из тюрьмы;
Иль не знаете, что даже злая ложь
Облекается в сияние добра,
Если ей грозит насилья острый нож,
А не сила неподкупного пера?!.
Я вчера еще перо мое точил,
Я вчера еще кипел и возражал;
А сегодня ум мой крылья опустил,
Потому что я боец, а не нахал.
Я краснел бы перед вами и собой,
Если б узника да вздумал уличать.
Поневоле он замолк передо мной
И я должен поневоле замолчать.
Он страдает, оттого что есть семья
Я страдаю, оттого что слышу смех.
Но что значит гордость личная моя,
Если истина страдает больше всех!
Нет борьбы — и ничего не разберешь
Мысли спутаны случайностью слепой,
Стала светом недосказанная ложь,
Недосказанная правда стала тьмой.
Что же делать? и кого теперь винить?
Господа! во имя правды и добра,
Не за счастье буду пить я — буду пить

За свободу мне враждебного пера!
<1866>

ДЕТСКОЕ ГЕРОЙСТВО

Когда я был совсем дитя,
На палочке скакал я;
Тогда героем не шутя
Себя воображал я.
Порой рассказы я читал
Про битвы да походы -
И, восторгаясь, повторял
Торжественные оды.
Мне говорили, что сильней
Нет нашего народа;
Что всех ученей и умней
Поп нашего прихода;
Что всех храбрее генерал,
Тот самый, что всех раньше
На чай с ученья приезжал
К какой-то капитанше.
В парадный день, я помню, был
Развод перед собором -
Коня он ловко осадил
Перед тамбур-мажором.
И с музыкой прошли полки...

А генерал в коляске
Проехал, кончиком руки
Дотронувшись до каски.
Поп был наставником моим
Первейшим из мудрейших.
А генерал с конем своим,
Храбрейшим из первейших.
Я верил славе — и кричал:
Дрожите, супостаты!
Себе врагов изобретал -
И братьев брал в солдаты.
Богатыри почти всегда
Детьми боготворимы,
И гордо думал я тогда,
Что все богатыри мы.
И ничего я не щадил
(Такой уж был затейник!) -
Колосьям головы рубил,
В защиту брал репейник.
Потом трубил в бумажный рог,
Кичась неравным боем.
О! для чего всю жизнь не мог
Я быть таким героем!

<1866>

СПУСТЯ 15 ЛЕТ

Там, где на каменные мысы
Буруны хлещут, а в горах
Сады, плющи и — кипарисы
У светлых лестниц на часах,
Там, где когда-то равнодушный
К весне моих тридцатых лет,
Я не сносил ни лжи бездушной,
Ни деспотизма, ни клевет, -
Не благодатный ветер южный,
Не злого моря бурный вал
Остепенял мой жар недужный,
Мне раны сердца врачевал,
Нет, — я встречал людей с душою,
Счастливых, добрых и простых,
За них мирился я с судьбою
И сердцем счастлив был при них;
Я отдыхал в их тесном круге,
Их ласкам верил как добру,
Я видел брата в каждом друге
И в каждой женщине сестру.
Но и тогда, как будто скован
Их сладко дремлющим умом,
Я втайне не был очарован

Их счастья будничным венцом, ~
Иных людей я жаждал встретить,
Иные страсти испытать,
На зов их трепетом ответить,
Торжествовать иль погибать.
Пора титановских стремлений,
Дух бескорыстного труда
Часы горячих вдохновений,
Куда умчались вы, — куда!
Новорожденные титаны,
Где ваши тени! — я один,
Поклонник ваш, скрывая раны,
Брожу, как тень, среди руин...
В борьбе утраченные силы,
Увы! нескоро оживут...
Молчат далекие могилы, -
Темницы тайн не выдают.
<1866>

ОРЕЛ И ЗМЕЯ

На горах, под метелями,
Где лишь ели одни вечно зелены,
Сел орел на скалу в тень под елями
И глядит — из расселины

Выползает змея, извивается,
И на темном граните змеиная
Чешуя серебром отливается...
У орла гордый взгляд загорается:
Заиграло, зная, сердце орлиное,
"Высоко ты, змея, забираешься! -
Молвил он, — будешь плакать — раска-
ешься!.."

Но змея ему кротко ответила:
"Из-под камня горячего
Я давно тебя в небе заметила
И тебя полюбила, могучего...
Не пугай меня злыми угрозами,
Нет! — бери меня в когти железные,
Познакомь меня с темными грозами,
Иль умчи меня в сферы надзвездные".
Засветились глазки змеиные
Тихим пламенем, по-змеиному,
Распахнулись крылья орлиные,
Он прижал ее к сердцу орлиному,
Полетел с ней в пространство холодное;
Туча грозная с ним повстречалась:
Изгибаясь, змея подколотная
Под крыло его робко прижалась.
С бурей борются крылья орлиные:

Близко молния где-то ударила...
Он сквозь гром слышит речи змеиные -
Вдруг -
Змея его в сердце ужалила.
И в очах у орла помутилось,
Он от боли упал как подстреленный,
А змея уползла и сокрылася
В глубине, под гранитной расселиной.
<1866>

ЦЫГАНЫ

Скоро солнце взойдет...
Шевелися, народ,
Шевелись!.. Мы пожитки увязываем...
Надоело нам в зной
У опушки лесной -
Гайда в степь! Мы колеса подмазываем...
Куда туча с дождем,
Куда вихорь столбом,
И куда мы плетемся — не сказываем...
На потеху ребят
Мы ведем медвежат,
Снарядили козу-барабанщицу,
А до панских ворот

Мы пошлем наперед
Ворожить ворожейку-обманщицу.
Ворожейка бойка -
Воровская рука,
Да зато молода, черноокая!
Молода, весела...
Гей! идем до села...
Через поле дорога широкая.
Дождик вымоет нас,
Ветер высушит нас,
И поклонится нам рожь высокая...
23 ноября 1865

МУЗА

В туман и холод, внемля стуку
Колес по мерзлой мостовой,
Тревоги духа, а не скуку
Делил я с музой молодой.
Я с ней делил неволи бремя -
Наследье мрачной старины,
И жажду пересилить время -
Уйти в пророческие сны.
Ее нервического плача
Я был свидетелем не раз -

Так тяжела была для нас
Нам жизнью данная задача!
Бессилья крик, иль неудача
Людей, сочувствующих нам,
По девственным ее чертам
Унылой тенью пробегала,
Дрожала бледная рука
И олимпийского венка
С досадой листья обрывала.
Зато печаль моя порой
Ее безжалостно смешила.
Она в венок лавровый свой
Меня, как мальчика, рядила.
Без веры в ясный идеал
Смешно ей было вдохновенье,
И звонкий голос заглушал
Мое рифмованное пенье.
Смешон ей был весь наш Парнас,
И нами пойманная кляча -
Давно измученный Пегас;
Но этот смех — предвестник плача -
Ни разу не поссорил нас.
И до сего дня муза эта
Приходит тайно разделять
Тревоги бедного поэта,

Бодрит и учит презирать
Смех гаера и холод света.
<1867>

НАПРАСНО

Напрасно иногда взывал он к тени милой
И ждал — былое вновь придет и вос-
кресит

Все то, что мертвым сном спит, взятое мо-
гилой,

Придет — и усыпит любви волшебной си-
лой

Ту жажду счастья, что проснулась и — то-
мит.

Напрасно он хотел любовь предать забве-
нию,

Чтоб ясный свет ее, утраченный навек,
Не раздражал его, подобно впечатленью
Потухшего огня, который красной тенью,
Рябя впотьмах, плывет из-под усталых век.

Напрасно он молил, отдавшись страсти но-
вой:

Хоть ты приди ко мне с улыбкой на устах!
Чтоб с новой силой мог я к старости суро-

вой

На голове пронести вражды венец тернов-
вый

И крест — тяжелый крест на слабых раме-
нах.

Любовь не шла к нему, как месяц из тумана.

Жизнь в душу веяла, как ветер в зимний
день.

Сильней час от часу горела в сердце рана,
Но в новом образе в мир мрака и обмана
Не возвращалась возлюбленная тень.

<1867>

В МАЕ 1867

Э то — весна!

Небо глядит сентябрем,
Жутко сидеть у окна;

Мгла за окном.

Льдины плывут, — тучи, — холод,
Дышит миазмами город...

Это — весна!

Это — весна!

О, лихорадочный бред!

В поле трава чуть видна

Листика нет.

По саду чинно гуляя,

Дрогнут поклонники мая...

Это — весна!

Это — весна!

О! если русский народ

Так же встает ото сна,

Так же цветет!..

Прелесть такого расцвета

Не вдохновит и поэта...

Это — весна!

Это — весна!

Дайте ж тепла, чтоб порой

Веяло мне из окна

Свежей грозой,

Чтоб солнце, как сердце, горело,

Чтоб все говорило и пело:

Здравствуй, весна!

<1867>

ВЛЮБЛЕННЫЙ МЕСЯЦ

(Посв. М. Л. Златковскому)

Моя барышня по садику гуляла,

По дорожке поздно вечером ходила

С бриллиантиком колечко потеряла,

С белой ручки его, видно, обронила.

Как ложилась на кроватку, спохватилась;

Спохватившись, по коврам его искала...
Не нашла она колечка — обозлилась,
Меня, бедную, воровкой обозвала.
И не знала я с тоски, куда деваться;
Хоть бы матушка воскресла — заступи-
лась!..

Вышла в садик я тихонько прогуляться,
Увидала ясный месяц — застыдилась.
Слышу, месяц говорит мне — сам сияет:
"Не пугайся меня, красная девица!
Бедный месяц, как и ты, всю ночь блужда-
ет,

И ему под темным пологом не спится.
И не даром в эту ночь я вышел — светел:
Много горя, много девушек видал я,
А как барышню твою вечер заметил,
О каком-то тихом счастье возмечтал я.
Как вечер она по садику гуляла
Плечи белые, грудь белую раскрыла...
Ты скажи мне, не по мне ль она скучала,
На сырой песок слезинку уронила?.."
Встрепенулось во мне сердце ретивое...
Наклонилась я к дорожке — увидала
Не слезинку, а колечко дорогое,
И обмолвилась я — месяцу сказала:

"Мою барышню любовь не беспокоит,
Ни по ком она, красавица, не плачет,
Много денег ей колечко это стоит,
Имя ж честное мое не много значит...
И свети ты хоть над целою землею
Не дождешься ты любви от белоручки!.."
И закапали серебряной росой
Слезы месяца, и спрятался он в тучки.
С той поры, когда я, бедная, горюя,
Выхожу одна поплакать на крылечко,
Бедный месяц! бедный месяц! — говорю я,
Хоть с тобой мне перекинуть дай словеч-

ко...

<1868>

НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ

Мчится, мчится железный конек!
По железу железо гремит.
Пар клубится, несется дымок;
Мчится, мчится железный конек,
Подхватил, посадил да и мчит.
И лечу я, за делом лечу,
Дело важное, время не ждет.
Ну, конек! я покуда молчу...
Погоди, соловьем засвищу,
Коли дело-то в гору пойдет...

Вон навстречу несется лесок,
Через балки грохочут мосты,
И цепляется пар за кусты;
Мчится, мчится железный конек,
И мелькают, мелькают шесты...
Вон и родина! Вон в стороне
Тесом крытая кровля встает,
Темный садик, скирды на гумне;
Там старушка одна, чай, по мне
Изнывает, родимого ждет.
Заглянул бы я к ней в уголок,
Отдохнул бы в тени тех берез,
Где так много посеяно грез.
Мчится, мчится железный конек
И, свистя, катит сотни колес.
Вон река — блеск и тень камыша;
Красна девица с горки идет,
По тропинке идет не спеша;
Может быть — золотая душа,
Может быть — красота из красот.
Познакомиться с ней бы я мог,
И не все ж пустяки городить,
Сам бы мог, наконец, полюбить...
Мчится, мчится железный конек,
И железная тянется нить.

Вон, вдали, на закате пестрят
Колокольни, дома и острог;
Однокашник мой там, говорят,
Вечно борется, жизни не рад...
И к нему завернуть бы я мог...
Поболтал бы я с ним хоть часок!
Хоть немного им прожито лет,
Да не мало испытано бед...
Мчится, мчится железный конек,
Сеет искры летучие вслед...
И, крутя, их несет ветерок
На росу потемневшей земли,
И сквозь сон мне железный конек
Говорит: "Ты за делом, дружок,
Так ты нежность-то к черту пошли" ...
<1868>

МИАЗМ

Дом стоит близ Мойки — вензеля в коронах
Скрасили балкон.
В доме роскошь — мрамор — хоры на колонках
Расписной плафон.
Шумно было в доме: гости приезжали

Вечера — балы;
Вдруг все стало тихо — даже перестали
Натирать полы.
Няня в кухне плачет, повар снял передник,
Перевязь — швейцар:
Заболел внезапно маленький наследник
Судороги, жар...
Вот перед киотом огонек лампадки...
И хозяйка-мать
Приложила ухо к пологу кровати
Стонov не слышать.
"Боже мой! ужели?.. Кажется, что дышит..."
Но на этот раз
Мнимое дыханье только сердце слышит
Сын ее погас.
"Боже милосердый! Я ли не молилась
За родную кровь!
Я ли не любила! Чем же отплатилась
Мне моя любовь!
Боже! страшный боже! Где ж твои щедро-
ты,
Коли отнял ты
У отца — надежду, у моей заботы
Лучшие мечты!"
И от взрыва горя в ней иссякли слезы,

Жалобы напев

Перешел в упреки, в дикие угрозы,
В богохульный гнев.

Вдруг остановилась, дрогнула от страха,
Крестится, глядит:

Видит — промелькнула белая рубаха,
Что-то шелестит.

И мужик косматый, точно из берлоги
Вылез на простор,

Сел на табурете и босые ноги
Свесил на ковер.

И вздохнул, и молвил: "Ты уж за ребенка
Лучше помолись;

Это я, голубка, глупый мужичонко,
На меня гневись..."

В ужасе хозяйка — жмурится, читает
"Да воскреснет бог!"

"Няня, няня! Люди! — Кто ты? — вопроша-
ет.

Как войти ты мог?"

"А сквозь щель, голубка! Ведь твое жили-
ще

На моих костях,
Новый дом твой давит старое кладбище
Наш отпетый прах.

Вызваны мы были при Петре Великом...
Как пришел указ
Взвыли наши бабы, и ребята криком
Проводили нас
И, крестясь, мы вышли. С родиной про-
ститьсяся

Жалко было тож
Подрастали детки, да и колоситься
Начинала рожь...
За спиной-то пилы, топоры несли мы:
Шел не я один,
К Петрову, голубка, под Москву пришли
мы,

А сюда в Ильин.
Истоптал я лапти, началась работа,
Печали спешить:
Лес валить дремучий, засыпать болота,
Сваи колотить,
Годик был тяжелый. За Невою, в лето
Вырос городок!
Прихватила осень, — я шубейку где-то
Заложил в шинок.
К зиме-то пригнали новых на подмогу;
А я слег в шалаш;
К утру, под рогожей, отморозил ногу,

Умер и — шабаш!
Вот на этом самом месте и зарыли,
Барыня, поверь,
В те поры тут ночью только волки выли
То ли, что теперь!
Ге! теперь не то что... — миллион народу...
Стены выше гор...
Из подвальной Ямы выкачали воду
Дали мне простор...
Ты меня не бойся, — что я? — мужичонко!
Грязен, беден, сгнил,
Только вздох мой тяжкий твоего ребенка
Словно придушил..."
Он исчез — хозяйку около кровати
На полу нашли;
Появленье духа к нервной лихорадке,
К бреду отнесли.
Но с тех пор хозяйка в северной столице
Что-то не живет;
Вечно то в деревне, то на юге, в Ницце...
Дом свой продает,
И пустой стоит он, только дождь стучится
В запертой подъезд,
Да в окошках темных по ночам слезится
Отраженье звезд.

1868

Заря под тучами взошла и загорелась

Заря под тучами взошла и загорелась
И смотрит на дорогу сквозь кусты...

Гляди и ты,

Как бледны в их тени поникшие цветы

И как в блестящий пурпур грязь оделась...

<1869>

Когда октава за октавой

Когда октава за октавой
Неслась и голос твой звучал

Далекой, отзвучавшей славой, -

Верь, не о славе я мечтал!

Нет! воротясь к весне погибшей,

Моя мечта ласкала вновь

Цветущий образ, переживший

В душе погибшую любовь.

Опять остывшей скорби сила

Сжимала сердце — и опять

Меня гармония учила

По-человечески страдать...

<1870>

1870–1880-е годы

ЗИМНЯЯ НЕВЕСТА

Весь в пыли ночной метели,
Белый вихрь, из полутьмы
Порываясь, льнет к постели
Бабушки-зимы.
Складки полога над нею
Шевелит, задув огни,
И поет ей: "Вею-вею!
Бабушка, засни!
То не вопли, то не стоны,
То бубенчики звенят,
То малиновые звоны
По ветру летят...
То не духи в гневе рьяном
Поднимают снег столбом,
То несутся кони с пьяным,
Сонным ямщиком;
То не к бабушке-старушке
Скачет внучек молодой
Прикорнуть к ее подушке
Буйной головой;
То не к матушке в усадьбу

Сын летит на подставных
Скачет к девице на свадьбу
Удалой жених.
Как он бесится, как плачет!
Видно молод — невтерпеж!
Тройка медленнее скачет...
Пробирает дрожь...
Очи мглою застилает
Ни дороги, ни версты,
Только ветер развевает
Гривы да хвосты.
И зачем спешит он к месту?
У меня ли не ночлег?
Я совью ему невесту
Бледную, как снег.
Прихвачу летучий локон
Я венцом из белых роз,
Что растит по стеклам окон
Утренний мороз;
Грудь и плечи облеку я
Тканью легкой, как туман,
И невесты, чуть дохну я,
Всколыхнется стан,
Вспыхнут искристым мерцаньем
Влажно темные глаза,

И — лобзанье за лобзаньем...
Скатится слеза!..
Ледяное сердце будет
К сердцу пламенному льнуть.
Позабывшись, он забудет
Заметенный путь.
И глядеть ей будет в очи
Нескончаемые дни,
Нескончаемые ночи...
Бабушка, засни!.."

<1870>

ПОЛЯРНЫЕ ЛЬДЫ

У нас весна, а там — отбитые волнами,
Плывут громады льдин — плывут они в
туман
Плывут и в ясный день и — тают под луча-
ми,
Роня слезы в океан.
То буря обдает их пеной и ломает,
То в штиль, когда заря сливается с зарей,
Холодный океан столбами отражает
Всю ночь румянец их больной.
Им жаль полярных стран величья ледяно-
го,

И — тянет их на юг, на этот бережок,
На эти камни, где нам очага родного
Меж сосен слышится дымок.
И не вернуться им в предел родного края,
И к нашим берегам они не доплывут;
Одни лишь вздохи их, к нам с ветром доле-
тая,
Весной дышать нам не дают...
Уж зелень на холмах, уж почки на березах;
Но день нахмурился и — моросит снежок.
Не так ли мы вчера тонули в теплых гре-
зах...
А нынче веет холодок.
<1871>

Когда я был в неволе,

Когда я был в неволе,
Я помню, голос мой
Пел о любви, о славе,
О воле золотой,
И узники вздыхали
В оковах за стеной.
Когда пришла свобода,
И я на тот же лад
Пою, — меня за это

Клеветщут и язвят:

"Тюремные все песни
Поешь ты, — говорят. -
Когда ты был в неволе,
Ты за своей стеной
Мог петь о лучшей доле,
О воле золотой, -
И узники вздыхали,
Внимая песне той!..
Теперь ты, брат, на воле,
Другие песни пой, -
Пой о цепях, о злобе,
О дикости людской,
Чтоб мы не задремали,
Внимая песне той"

<1870>

О Н. А. НЕКРАСОВЕ

Я помню, был я с ним знаком
В те дни, когда, больной, он говорил с
трудом,
Когда, гражданству нас уча,
Он словно вспыхивал и таял как свеча,
Когда любить его могли

Мы все, лишённые даров и благ земли...
Перед дверями гроба он
Был бодр, невозмутим — был тем, чем со-
творен;

С своим поникнувшим челом
Над рифмой — он глядел бойцом, а не ра-
бом,

И верил я ему тогда,
Как вещему певцу страданий и труда.
Теперь пускай кричит молва,
Что это были все слова — слова — слова, -
Что он лишь тешился порой
Литературною игрою козырной,
Что с юных лет его грызет
То зависть жгучая, то ледяной расчёт.

Пред запоздалою молвой,
Как вы, я не склонюсь послушной головой;
Ей нипочем сказать уму:
За то, что ты светил, иди скорей во тьму...
Молва и слава — два врага;
Молва мне не судья, и я ей не слуга.

<1870>

КОРАБЛИКИ

Я, двух корабликов хозяин с юных дней,
Стал снаряжать их в путь: один кораб-
лик мой

Ушел в прошедшее, на поиски людей,
Прославленных молвой,
Другой — заветные мечты мои помчал
В загадочную даль — в туман грядущих
дней,

Туда, где братства и свободы идеал,
Но — нет еще людей.
И вот, назад пришли кораблики мои:
Один из них принес мне бледный рой те-
ней.

Борьбу их, казни, стон, мучения любви
Да тяжкий груз идей.
Другой кораблик мой рой призраков при-
нес,

Мечтою созданных, невидимых людей,
С довольством без рабов, с утратами без
слез,

С любовью без цепей.
И вот, одни из них, как тени прошлых лет,
Мне голосят: увы! для всех один закон, -
К чему стремиться?! знай — без горя жиз-

ни нет;

Надежда — глупый сон.

Другие мне в ответ таинственно звучат-

У нас иная жизнь! У нас иной закон...

Не верь отжившим, пусть плывут они на-

зад

Былое — глупый сон!

1870

ОТКУДА?!

Откуда же взойдет та новая заря
Свободы истинной — любви и понима-
нья?

Из-за ограды ли того монастыря,

Где Нестор набожно писал свои сказанья?

Из-за кремля ли, смявшего татар

И посрамившего сарматские знамена,

Из-за того кремля, которого пожар

Обжег венцы Наполеона?

Из-за Невы ль, увенчанной Петром,

Тем императором, который не жезлом

Ивана Грозного владел, а топором:

На запад просеки рубил и строил флоты,

К труду с престола шел, к престолу от тру-

да

И не чуждался никогда
Ни ученической, ни черновой работы? -
Оттуда ли, где хитрый иезуит,
Престола папского орудие и щит.
Во имя нетерпимости и братства,
Кичась, расшатывал основы государства?
Оттуда ли, где Гус, за чашу крест подняв,
Учил на площадях когда-то славной Праги,
Где Жижка страшно мстил за поруганье
прав,

Мечом тушил костры и, цепи оборвав,
Внушал страдальцам дух отваги?
Или от Запада, где партии шумят,
Где борются с трибун народные витии,
Где от искусства к нам несется аромат,
Где от наук целебно-жгучий яд,
Того гляди, коснется язв России?..

.....

Мне, как поэту, дела нет,
Откуда будет свет, лишь был бы это свет -
Лишь был бы он, как солнце для природы,
Животворящ для духа и свободы,
И разлагал бы все, в чем духа больше нет...
<1870>

Блажен озлобленный поэт,

Блажен озлобленный поэт,
Будь он хоть нравственный калека,
Ему венцы, ему привет
Детей озлобленного века.
Он как титан колеблет тьму,
Ища то выхода, то света,
Не людям верит он — уму,
И от богов не ждет ответа.
Своим пророческим стихом
Тревожа сон мужей солидных,
Он сам страдает под ярмом
Противоречий очевидных.
Всем пылом сердца своего
Любя, он маски не выносит
И покупного ничего
В замену счастья не просит.
Яд в глубине его страстей,
Спасенье — в силе отрицанья,
В любви — зародыши идей,
В идеях — выход из страданья.
Невольный крик его — наш крик,
Его пороки — наши, наши!
Он с нами пьет из общей чаши,
Как мы отравлен — и велик.

КАЗИМИР ВЕЛИКИЙ

(Посв. памяти А. Ф. Гильфердинга)

[1 Стихотворение "Казимир Великий" было задумано мною в 1871 году.

Покойный А. Ф. Гильфердинг просил меня написать его для второго литературного вечера в пользу Славянского комитета. — Тема для стихов была выбрана самим Гильфердингом, им же были присланы мне и материалы, выписки из Польского летописца Длугоша, с следующею в конце припискою: "Раздача хлеба в пору голода у летописца рассказана без всякой связи с другими фактами из жизни Казимира, потому тут у вас *carte blanche*..." — Стихи были набросаны, когда я узнал, что литературный вечер с живыми картинами в пользу Славянского комитета не состоялся и отложен на неопределенное время.

— Затем умер и наш многоуважаемый ученый А. Ф. Гильфердинг, самоотверженно собирая легенды и песни того народа, изучению которого, в связи со всеми ему соплеменными народами, с любовью посвящал он всю свою

жизнь.]

1

В расписных санях, ковром покрытых,
Нараспашку, в бурке боевой,
Казимир, круль польский, мчится в Кра-
КОВ

С молодой, веселою женой.

К ночи он домой спешит с охоты;

Позвонки бренчат на хомутах;

Впереди, на всем скаку, не видно,

Кто трубит, вздымая снежный прах;

Позади в санях несется свита...

Ясный месяц выглянул едва...

Из саней торчат собачьи морды,

Свесилась оленья голова...

Казимир на пир спешит с охоты;

В новом замке ждут его давно

Воеводы, шляхта, краковянки,

Музыка, и танцы, и вино.

Но не в духе круль: насупил брови,

На морозе дышит горячо.

Королева с ласкою склонилась

На его могучее плечо.

"Что с тобою, государь мой?! друг мой?"

У тебя такой сердитый вид...
Или ты охотой недоволен?
Или мною? — на меня сердит?.." "
"Хороши мы! — молвил он с досадой.
Хороши мы! Голодает край.
Хлопы мрут, — а мы и не слышали,
Что у нас в краю неурожай!..
Погляди-ка, едет ли за нами
Тот гусяр, что встретили мы там...
Пусть-ка он споет магнатам нашим
То, что спьяна пел он лесникам..." "
Мчатся кони, резче раздаётся
Звук рогов и топот, — и встает
Над заснувшим Краковом зубчатой
Башни тень, с огнями у ворот.

2

В замке светят фонари и лампы,
Музыка и пир идет горой.
Казимир сидит в полукафтанье,
Подпирает бороду рукой.
Борода вперед выходит клином,
Волосы подстрижены в кружок.
Перед ним с вином стоит на блюде
В золотой оправе турий рог;

Позади — в чешуйчатых кольчугах
Стражников колеблющейся строй;
Над его бровями дума бродит,
Точно тень от тучи грозовой.
Утомилась пляской королева,
Дышит зноем молодая грудь,
Пышут щеки, светится улыбка:
"Государь мой, веселее будь!..
Гусляра вели позвать, покуда
Гости не успели задремать".
И к гостям идет она, и гости
— Гусляра, — кричат, — скорей позвать!

3
Стихли трубы, бубны и цимбалы;
И, венгерским жажду утоля,
Чинно сели под столбами залы
Воеводы, гости короля.
А у ног хозяйки-королевы,
Не на табуретах и скамьях,
На ступеньках трона сели панны,
С розовой усмешкой на устах.
Ждут, — и вот на праздник королевский
Сквозь толпу идет, как на базар,
В серой свитке, в обуви ремянной.

Из народа вызванный гусляр.
От него надворной веет стужей,
Искры снега тают в волосах,
И как тень лежит румянец сизый
На его обветренных щеках.
Низко перед царственной четою
Преклонясь косматой головой,
На ремнях повиснувшие гусли
Поддержал он левою рукой,
Правую подобострастно к сердцу
Он прижал, отдав поклон гостям.
"Начинай!" — и дрогнувшие пальцы
Звонко пробежали по струнам.
Подмигнул король своей супруге,
Гости брови подняли: гусляр
Затянул про славные походы
На соседей, немцев и татар...
Не успел он кончить этой песни
Крики "Vivat!" огласили зал;
Только круль махнул рукой, нахмурясь:
Дескать, песни эти я слышал!
"Пой другую!" — и, потупив очи,
Прославлять стал молодой певец
Молодость и чары королевы
И любовь — щедрот ее венец.

Не успел он кончить этой песни
Крики "Vivat!" огласили зал;
Только круль сердито сдвинул брови:
Дескать, песни эти я слышал!
"Каждый шляхтич, — молвил он, — поет

их

На ухо возлюбленной своей;
Спой мне песню ту, что пел ты в хате
Лесника, — та будет поновей...
Да не бойся!"
Но гусяр, как будто
К пытке присужденный, побледнел...
И, как пленник, дико озираясь,
Заунывным голосом запел:
"Ох, вы хлопы, ой, вы божьи люди!
Не враги трубят в победный рог,
По пустым полям шагает голод
И кого ни встретит — валит с ног.
Продает за пуд муки корову,
Продает последнего конька.
Ой, не плачь, родная, по ребенку!
Грудь твоя давно без молока.
Ой, не плачь ты, хлопец, по дивчине!
По весне авось помрешь и ты...
Уж растут, должно быть к урожаю,

На кладбищах новые кресты...
Уж на хлеб, должно быть к урожаю,
Цены, что ни день, растут, растут.
Только паны потирают руки
Выгодно свой хлебец продают".
Не успел он кончить этой песни:
"Правда ли?" — вдруг вскрикнул Казимир
И привстал, и в гневе, весь багровый,
Озирает онемевший пир.
Поднялись, дрожат, бледнеют гости.
"Что же вы не славите певца?!
Божья правда шла с ним из народа
И дошла до нашего лица...
Завтра же, в подрыв корысти вашей,
Я мои амбары отопру...
Вы... лжецы! глядите: я, король ваш,
Кланяюсь, за правду, гусяру..."
И, певцу поклон отвесив, вышел
Казимир, — и пир его притих...
"Хлопский круль!" — в сенях бормочут па-

НЫ...

"Хлопский круль!" — лепечут жены их.
Онемел гусляр, поник, не слышит
Ни угроз, ни ропота кругом...
Гнев Великого велик был, страшен

И отраден, как в засуху гром!

<1874>

ИЗ БУРДИЛЬЕНА

"The night has a thousand eyes" 1

Ночь смотрит тысячами глаз,
А день глядит одним;
Но солнца нет — и по земле
Тьма стелется, как дым.
Ум смотрит тысячами глаз,
Любовь глядит одним;
Но нет любви — и гаснет жизнь,
И дни плывут, как дым.

1 У ночи тысяча глаз (англ.). — Ред.
<1874>

Мой ум подавлен был тоской,

Мой ум подавлен был тоской,
Мои глаза без слез горели;
Над озером сплетались ели,
Чернел камыш, — сквозили щели
Из мрака к свету над водой.
И много, много звезд мерцало;
Но в сердце мне ночная мгла
Холодной дрожью проникала,

Мне виделось так мало, мало
Лучей любви над бездной зла!
<1874>

НОЧНАЯ ДУМА

Я червь — я бог!
Державин

Ты не спишь, блестящая столица.
Как сквозь сон, я слышу за стеной
Звяканье подков и экипажей,
Грохот по неровной мостовой...
Как больной, я раскрываю очи.
Ночь, как море темное, кругом.
И один, на дне осенней ночи,
Я лежу, как червь на дне морском.
Где-нибудь, быть может, в эту полночь
Праздничные звуки льются с хор.
Слезы льются — сладострастье стонет
Крадется с ножом голодный вор...
Но для тех, кто пляшет или плачет,
И для тех, кто крадется с ножом,
В эту ночь неслышный и незримый
Разве я не червь на дне морском?!
Если нет хоть злых духов у ночи,
Кто свидетель тайных дум моих?

Эта ночь не прячет ли их раньше,
Чем моя могила спрячет их!
С этой жаждой, что воды не просит,
И которой не залить вином,
Для себя — я дух, стремлений полный,
Для других — я червь на дне морском.
Духа титанические стоны
Слышит ли во мраке кто-нибудь?
Знает ли хоть кто-нибудь на свете,
Отчего так трудно дышит грудь!
Между мной и целою вселенной
Ночь, как море темное, кругом.
И уж если бог меня не слышит
В эту ночь я — червь на дне морском!
1874

В ДУРНУЮ ПОГОДУ

Пусть говорят, что наша молодежь
Поэзии не знает — знать не хочет,
И что ее когда-нибудь подточит
Под самый под корень практическая ложь,
Пусть говорят, что это ей пророчит
Один бесплодный путь к бесславию, что ей
Без творчества, как ржи без теплых, ясных
дней
Не вызреть...

Выхожу один я в чисто поле
И чувствую — тоска! и дрогну поневоле.
Так сыро, — сиверко!..
И что это за рожь!
Местами зелена, местами низко клонит
Свои колосики к разрыхленной земле
И точно смята вся; а в бледно-серой мгле
Лохмотья туч над нею ветер гонит...
Когда же, наконец, дождусь я ясных дней!
Поднимется ль опять дождем прибитый
колос?

Иль никогда среди родимых мне полей
Не отзовется мне ретивой жницы голос,
И не мелькнет венки из полевых цветов
Над пыльным золотом увесистых снопов?!.
1875

В ПРИЛИВ

На заре, в прилив, немало
Чуд и раковин морских
Набросала мне наяда
В щели скал береговых;
И когда я дар богини
Торопился подбирать,
Над морским прибоем стала
Нагота ее сверкать.

Очи вспыхнули звездами,
Жемчуг пал дождем с волос...

"И зачем тебе все это?!"

Прозвучал ее вопрос.

"А затем, чтоб дар твой резать,

Жечь, — вникать и изучать..."

И наяда, подгоняя

Волны, стала хохотать.

"А! — сказала, — ты и мною

Не захочешь пренебречь!

Но меня ты как изучишь?

Резать будешь или жечь?.."

И наяды тело с пеной

Поднялось у самых скал,

На груди заря взыграла,

Ветер кудри всколыхал.

"Нет, — сказал я, вздрогнув сердцем,

Нет в науке ничего

Разлагающего чары

Обаянья твоего".

И пока зари отливы

Колыхал лазурный вал,

Я забыл дары богини

Я богиню созерцал.

1875

СЛЕПОЙ ТАПЕР

Хозяйка руки жмет богатым игрокам,
При свете ламп на ней сверкают бриллианты...

В урочный час, на бал, спешат к ее саням
Франтихи-барыни и франты.

Улыбкам счету нет. Один тапер слепой,
Рекомендованный женой официанта,
В парадном галстуке, с понурой головой,
Угрюм и не похож на франта.

И под локоть слепца сажают за рояль...

Он поднял голову — и вот, едва коснулся
Упругих клавишей, едва нажал педаль
Гремя, бог музыки проснулся.

Струн металлических звучит высокий
строй,

Как вихрь несется вальс — подбрякивают
шпоры,

Шуршат подолы дам, мелькают их узоры,
И ароматный веет зной...

А он — потухшими глазами смотрит в стену,
ну,

Не слышит говора, не видит голых плеч

Лишь звуки, что бегут одни другим на сме-
ну,

Сердечную ведут с ним речь.

На бедного слепца слетает вдохновенье,

И грезит скорбная душа его — к нему

Из вечной тьмы плывет и светится сквозь

ТЬМУ

Одно любимое виденье.

Восторг томит его — мечта волнует кровь:

Вот жаркий летний день — вот кудри золо-

ТЫЕ

И полудетские уста, еще немые,

С одним намеком на любовь...

Вот ночь волшебная, — шушукуют березы

Прошла по саду тень — и к милому лицу

Прильнул свет месяца — горят глаза и сле-

ЗЫ...

И вот уж кажется слепцу:

Похолодевшие, трепещущие руки,

Белеясь, тянутся к нему из темноты

И соловьи поют — и сладостные звуки

Благоухают, как цветы...

Так образ девушки, когда-то им любимой,

Ослепнув, в памяти свежо сберечь он мог;

Тот образ для него расцвел и — не поблек,

Уже ничем не заменимый.

Еще не знает он, не чувствует он, что та

Подруга юности — давно хозяйка дома
Великосветская — изнежена, пуста
И с аферистами знакома!

Что от него она в пяти шагах стоит
И никогда в слепом тапере не узнает
Того, кто вечною любовью к ней пылает,
С ее прошедшим говорит.

Что, если б он прозрел, что, если бы, друг в
друга

Вглядясь, они могли с усилием узнать
Он побледнел бы от смертельного испуга,
Она бы — стала хохотать!

<1876>

В дни, когда над сонным морем

В дни, когда над сонным морем
Духота и тишина,
В отуманенном просторе
Еле движется волна.
Если ж вдруг дохнет над бездной
Ветер, грозен и могуч,
Закипит волна грознее
Надвигающихся туч,
И помчится, точно в битву
Разъяренный шпорой конь,
Отражая в брызгах пены

Молний солнечный огонь,
И, рассыпавшись о скалы,
Изомнет у берегов
Раскачавшиеся перья
Прошумевших тростников.
<1876>

ДИССОНАНС

(Мотив из признаний Ады Кристен)

Пусть по воле судеб я рассталась с тобой,
Пусть другой обладает моей красотой!
Из объятий его, из ночной духоты,
Уношусь я далёко на крыльях мечты.
Вижу снова наш старый, запущенный сад:
Отраженный в пруде потухает закат,
Пахнет липовым цветом в прохладе аллея;
За прудом, где-то в роще, урчит соловей...
Я стеклянную дверь отворила — дрожу
Я из мрака в таинственный сумрак гляжу
Чу! там хрустнула ветка — не ты ли шагнул?!

Встрепенулася птичка — не ты ли спугнул?!

Я прислушиваюсь, я мучительно жду,
Я на шелест шагов твоих тихо иду

Холодит мои члены то страсть, то испуг
Это ты меня за руку взял, милый друг?!
Это ты осторожно так обнял меня,
Это твой поцелуй — поцелуй без огня!
С болью в трепетном сердце, с волнением в
крови

Ты не смеешь отдаться безумствам любви,
И, внимая речам благородным твоим,
Я не смею дать волю влеченьям своим,
И дрожу, и шепчу тебе: милый ты мой!
Пусть владеет он жалкой моей красотой!
Из объятий его, из ночной духоты,
Я опять улетаю на крыльях мечты,
В этот сад, в эту темь, вот на эту скамью,
Где впервые подслушал ты душу мою...
Я душою сливаюсь с твоею душой
Пусть владеет он жалкой моей красотой!
<1876>

В ПОТЕРЯННОМ РАЮ

Уже впервые дымной мглою
Подернут был Едемский сад,
Уже пожелкнувшей листвою
Усеян синий был Ефрат,
Уж райская не пела птица
Над ней орел шумел крылом,

И тяжело рычала львица,
В пещеру загнанная львом.
И озирает злой дух с презреньем
Добычу смерти — пышный мир
И мыслил: смертным поколениям
Отныне буду я кумир.
И вдруг, он видит, в райской сени,
Уязвлена, омрачена,
Идет, подобно скорбной тени,
Им соблазненная жена.
Невольно прядью кос волнистых
Она слегка прикрыла грудь,
Уже для помыслов нечистых
Пролег ей в душу знойный путь.
И, ей десницу простирая,
Встает злой дух, — он вновь готов,
Ей сладкой лестью слух лаская,
Петь о блаженстве грешных снов.
Но что уста его сковало?
Зачем он пятится назад?
Чем эта жертва испугала
Того, кому не страшен ад?
Он ждал слезы, улыбки рая,
Молений, робкого стыда...
И что ж в очах у ней? — Такая

Непримиримая вражда,
Такая мощь души без страха,
Такая ненависть, какой
Не ждал он от земного праха
С его минутной красотой.
Грозы божественной сверканье
Тех молний, что его с небес
Низвергли — не без содроганья
В ее очах увидел бес,
И в мглу сокрылся привиденьем,
Холодным облаком осел,
Змеей в траву прополз с шипеньем,
В деревьях бурей прошумел.
Но сила праведного гнева
Земного рая не спасла,
И канула слеза у древа
Познания добра и зла...

<1876>

ЦАРЬ-ДЕВИЦА

В дни ребячества я помню
Чудный отроческий бред:
Полюбил я царь-девицу,
Что на свете краше нет.
На челе сияло солнце,

Месяц прятался в косе,
По косицам рдели звезды,
Бог сиял в ее красе...
И жила та царь-девица
Недоступна никому,
И ключами золотыми
Замыкалась в терему.
Только ночью выходила
Шелестить в тени берез:
То ключи свои роняла,
То роняла капли слез...
Только в праздники, когда я,
Полусонный, брел домой,
Из-за рощи яркий, влажный
Глаз ее следил за мной.
И уж как случилось это
Наяву или во сне?!
Раз она весной, в час утра,
Зарумянилась в окне
Всколыхнулась занавеска,
Вспыхнул роз махровых куст,
И, закрыв глаза, я встретил
Поцелуй душистых уст.
Но едва-едва успел я
Блеск лица ее поймать,

Ускользя, гостья ко лбу
Мне прижгла свою печать.
С той поры ее печати
Мне ничем уже не смыть,
Вечно юной царь-девице
Я не в силах изменить...
Жду, — вторичным поцелуем
Заградив мои уста,
Красота в свой тайный терем
Мне отворит ворота...

<1880>

ПАМЯТИ Ф. И. ТЮТЧЕВА

Оттого ль, что в божьем мире
Красота вечна,
У него в душе витала
Вечная весна;
Освежала зной грозою
И, сквозь капли слез,
В тучах радугой мелькала,
Отраженьем грез!..
Оттого ль, что от бездушья,
Иль от злобы дня,
Ярче в нем сверкали искры
Божьего огня,
С ранних лет и до преклонных,

Безотрадных лет
Был к нему равнодушен
Равнодушный свет!
Оттого ль, что не от света
Он спасенья ждал,
Выше всех земных кумиров
Ставил идеал...
Песнь его глубокой скорбью
Западала в грудь
И, как звездный луч, тянула
В бесконечный путь!..
Оттого ль, что он в народ свой
Верил и — страдал,
И ему на цепи братьев
Издали казал,
Чую: — дух его то верит,
То страдает вновь,
Ибо льется кровь за братьев,
Льется наша кровь!..
1876

ПИСЬМА К МУЗЕ

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Ты как будто знала, муза,
Что, влекомы и теснимы
Жизнью, временем, с латынью

Далеко бы не ушли мы.
Вечный твой Парнас, о муза,
Далеко не тот, где боги
Наслаждались и ревниво
К бедным смертным были строги.
И, восстав от сна, ни разу
Ты на девственные плечи
Не набрасывала тоги,
Не слыхала римской речи,
И про римский Капитолий
От меня ж ты услышала
В день, когда я за урок свой
Получил четыре балла.
Вместе мы росли, о муза!
И когда я был ленивый
Школьник, ты была малюткой
Шаловливо-прихотливой.
И уж я не знаю, право
(Хоть догадываюсь ныне),
Что ты думала, когда я
Упражнял себя в латыни?
Я мечтал уж о Пегасе,
Ты же, резвая, впрягалась
Иногда в мои салазки
И везла меня, и мчалась

Мчалась по сугробам снежным
Мимо бани, мимо сонных
Яблонь, лип и низких ветел,
Инеем, посеребренных,
Мимо старого колодца,
Мимо старого сарая,
И пугливо сердце билось,
От восторга замирая.
Иногда меня звала ты
Слушать сказки бедной няни,
На скамье с своею прялкой
Приютившейся в чулане.
Но я рос, и вырастала
Ты, волшебная малютка.
Дерзко я глядел на старших,
Но с тобой мне стало жутко.
В дни экзаменов бывало,
Не щадя меня нимало,
Ты меня терзала, муза,
Ты мне вирши диктовала.
В дни, когда, кой-как осилив
Энеиду, я несмело
За Горациевы оды
Принимался, — ты мне пела
Про широку степь, — манила

В лес, где зорю ты встречала,
Иль поникшей скорбной тенью
Меж могильных плит блуждала.
Там, где над обрывом белый
Монастырь и где без окон
Терем Олега (1), — мелькал мне
На ветру твой русский локон.
И нигде кругом — на камнях
Римских букв не находил я
Там, где мне мелькал твой локон,
Там, где плакал и любил я.
В дни, когда над Цицероном
Стал мечтать я, что в России
Сам я буду славен в роли
Неподкупного витии,
Помнишь, ты меня из классной
Увела и указала
На разлив Оки с вершины
Исторического вала.
Этот вал, кой-где разрытый,
Был твердыней земляною
В оны дни, когда рязанцы
Бились с дикою ордою;
Подо мной таились клады,
Надо мной стрижи звенели,

Выше — в небе — над Рязанью
К югу лебеди летели,
А внизу виднелась будка
С алебардой, мост да пара
Фонарей, да бабы в кичках
Шли ко всенощной с базара.
Им навстречу с колокольни
Несся гулкий звон вечерний;
Тени шире разрастались
Я крестился суеверней...
Побледнел твой лик, и, помню,
Ты мне на ухо пропела:
"Милый мой! скажи, какая
Речь в уме твоём созрела?
О, вития! здесь не форум
Здесь ещё сердцам народа
Говорит вот этот гулкий
Звон церковный, да природа...
Здесь твое — *quousque tandem* (2)
Будет речью неуместной,
И едва ль понятен будет
Стих твой — даже благовестный!"
Время шло — и вот из школы
В жизнь ушел я, и объяла
Тьма меня; ни ты, о муза,

Друг мой, свет мой, не отстала.
Помнишь, — молодо-беспечны
И отверженно-убоги,
За возами шли мы полем
Вдоль проселочной дороги,
Нас охватывали волны
Простывающего жара,
Лик твой рдел в румянном блеске
Вечереющего пара,
И не юною подругой,
И не девушкой любимой
Божеством ты мне казалась,
Красотой невыразимой.
Я молчал — ты говорила:
"Нашу бедную Россию
Не стихи спасут, а вера
В божий суд или в мессию.
И не наши Цицероны,
Не Горации — иная
Вдохновляющая сила,
Сила правды трудовая
Обновит тот мир, в котором
Славу добывают кровью,
Мир с могущественной ложью
И с бессильною любовью"...

С той поры, мужая сердцем,
Постигать я стал, о муза,
Что с тобой без этой веры
Нет законного союза...

*1 Олегов монастырь над Окой, в 12 верстах
от Рязани.*

*2 Начало знаменитой фразы из речи Цицерона:
"Доколе, Катилина, будешь ты злоупотреблять доверием нашим?" — Ред.*

<1877>

НА ЗАКАТЕ

Вижу я, сизые с золотом тучи
Загромоздили весь запад; в их щель
Светит заря, — каменистые кручи,
Ребра утесов, березник и ель
Озарены вечереющим блеском;
Ниже — безбрежное море. Из мглы
Темные скачут и мчатся валы
С неумолкаемым гулом и плеском.
К морю тропинка в кустах чуть видна,
К морю схожу я, и
Здравствуй, волна!
Мне, охлажденному жизнью и светом,
Дай хоть тебя встретить теплым приве-

том!..

Но на скалу набежала волна
Тяжко обрушилась, в пену зарылась
И прошумела, отхлынув, назад:
— Новой волны подожди, — я разбилась...
Новые волны бегут и шумят,
То же, все то же я слышу от каждой...
Сердце полно бесконечною жаждой
Жду, — все темно, — погасает закат...
<1877>

У ОКНА

...И вижу я в окно, как душу холодящий
Отлив зелено-золотой,
В туманную лазурь переходящий,
Объемлет неба свод ночной.
Далекая звезда мелькает точкой белой -
И в небе нет других светил.
Громадный город спит, в беспутстве закос-
нелый,
И бредит, как лишенный сил...
Мысль ищет выхода — ее пугает холод,

Она мне кажется мечтой,
И не найдут ее, когда проснется город
С его бездушной суетой.
<1876>

БОЛГАРКА

Без песен и слез, в духоте городской,
Роптать и молиться не смея,
Живу я в гареме продажной рабой
У жен мусульманского бейя.
Одна говорит: "Ну, рассказывай мне,
Как ваше селенье горело;
И был ли твой муж, пригвожденный к стене,
Как жгли его белое тело..."
Другая, смеясь, говорит мне: "Ну да,
Недаром тебя пощадил:
Наш бей, уж конечно, был первым, когда
Твою красоту обнажили..."
"Ну что ж? — нараспев третья мне говорит,
Держа над лицом опахало, -
Хоть резать детей нам Коран не велит...
Но ты ли одна пострадала?!"
И злятся, что я так скупа на слова,

Внимая речам безучастным,
Глаза мои сухи, в огне голова,
Все небо мне кажется красным:
Как будто сады, минарет и дома
В кровавом стоят освещенье...
В глазах ли обман, иль схожу я с ума,
Иль это предчувствие мщенья!
Навеки тот душу отравит свою
Стыдом или жаждою битвы,
Кто в страшную душу заглянет мою
В часы безнадежной молитвы.
Прийди же, спаситель! — бери города,
Где слышится крик муэзина,
И пусть в их дыму я задохнусь тогда
В надежде на божьего сына!..
1876

СТАРАЯ НЯНЯ

Ты девчонкой крепостной
По дороге столбовой
К нам с обозом дотащилася;
Долго плакала, дичилася,
Непричесанная,
Неотесанная...

Чуть я начал подрастать,
Стали няню выбирать, -
И тебя ко мне приставили,
И обули, и наставили,
Чтоб не важничала,
Не проказничала.
Славной няней ты была,
Скоро в роль свою вошла:
Теребила меня за ворот,
Да гулять водила за город...
С горок скатывалась,
В рожь запрятывалась...
Иль, раздевшись на песке,
Ты плескалась в ручейке,
Выжимала свои косынки;
А кругом шумели сосенки,
Птички радовались...
Мы оглядывались...
Вот пришла зимы пора;
Дальше нашего двора
Не пускала нас с салазками.
Ты меня, не муча ласками,
То закутывала,
То раскутывала.
Раз, я помню, при огне

Ты чулки вязала мне
(Или платье свое штопала?),
К нам метель в окошко хлопала,
Песнь затягивала -
Сердце вздрагивало...
Ты ж другую песню мне
Напевала при огне:
"Ай, кипят котлы кипучие!.."
Помню, сказки я певучие,
Сказки всяческие -
Не ребяческие...
И, побитая не раз,
Ты любила, рассердясь,
Потихоньку мне отплачивать -
Меня больно поколачивать;
Я не жаловался,
Отбояривался.
А как в школу поступил,
Я читать тебя, учил:
Ты за мной твердила "Верую" ...
И потом молилась с верою,
С воздыханиями,
С причитаниями.
По ночам на образа
Возводила ты глаза,

Озаренные лампадкою;
И когда с мечтою сладкою
Сон мой спутывался,
Я закутывался...
Но пришли твои года...
Подросла ты — и тогда,
Знать, тебя цыганка сглазила:
Из окна ты ночью лазила,
Вся трепещущая,
С кем-то шепчущая...
Друг любил тебя шутя,
И поблекнув, не цветя,
Перестала ты пошаливать:
Начала свой грех замаливать;
Много маялася,
Мне же каялася!

....

Через тридцать лет домой
Я вернулся и слепой
Уж застал тебя старушкою,
В темной кухне, с чайной кружкою -
Ты догадывалась...
Слезно радовалась.
И когда я лег вздремнуть,
Ты пришла меня разуть,

Как дитя свое любимое -
Старика, в гнездо родимое
Воротившегося,
Истомившегося.
Я измучен был, а ты
Прожила без суеты
И мятежных дум не ведала,
Капли яду не отведала -
Яду мающихся,
Сомневающихся.
И напредила Христа
Ты страдальцу без креста,
Гражданину, сыну времени,
Посреди родного племени
Прозябающему,
Изнывающему.
Бог с тобой! я жизнь мою
Не сменяю на твою...
Но ты мне близка, безродная,
В самом рабстве благородная,
Не оплаченная
И утраченная.
1876(?)

В ТЕЛЕГЕ ЖИЗНИ

С утра садимся мы в телегу...
Пушкин

К моей телеге я привык,
Мне и ухабы нипочем...
Я только дрогну, как старик,
В холодном воздухе ночном...
Порой задумчиво молчу,
Порой отчаянно кричу:
— Пошел!.. Валяй по всем по трем.
Но хоть кричи, бранись иль плачь
Молчит, упрям ямщик седой:
Слегка подстегивая кляч,
Он ровной гонит их рысцой;
И шлепает под ними грязь,
И, незаметно шевелясь,
Они бегут во тьме ночной.
1876

АЛЛЕГОРИЯ

Я еду — мрак меня гнетет
И в ночь гляжу я; огонек
Навстречу мне то вдруг мелькнет,
То вдруг, как будто ветерок
Его задует, пропадет...
Уж там не станция ли ждет

Меня в свой тесный уголок?..
Ну что ж!.. Я знаю наперед
Возница слезет с облучка,
И кляч усталых отпряжет,
И, при мерцаньи ночника,
В сырой покой меня сведет
И скажет: ляг, родной мой, вот
Дощатый одр — засни пока...
А ну, как я, презрев покой,
Не захочу — не лягу спать,
И крикну: "Живо, хрыч седой,
Вели мне лошадей менять!..
Да слушай ты: впряги не кляч
Лихих коней, чтоб мог я вскачь
Опередивших нас догнать...
Чтоб мог прижать я к сердцу вновь
Все, что вперед умчал злой рок:
Свободу — молодость — любовь,
Чтоб загоревшийся восток
Открыл мне даль — чтоб новый день
Рассеял этой ночи тень
Не так, как этот огонек".

1876

И. С. ТУРГЕНЕВУ

Благословенный край — пленительный предел!

Там лавры зыблются...

А. Пушкин

Невесела ты, родная картина!..

Н. Некрасов

Туда, в Париж, где я когда-то

Впервые, искренне и свято,

Любим был женскою душой...

Туда, где ныне образ твой.

Еще живой, мне свят и дорог,

Не раз стремился я мечтой

Подслушать милой тени шорох,

Поймать хоть призрака черты...

Увы! поклонник красоты -

Я ей страдальческую службу

Давно усердно отслужил

И прозаическую дружбу

В своей душе благословил.

Но где друзья? — друзей немного...

Я их не вижу по годам;

Подчас глуха моя дорога...

В разброде мы: я — здесь, ты — там.

Донашивать свои седины
Нам порознь суждено судьбой!..
Тебе — в объятиях чужбины,
Мне — в кандалах нужды родной.
Устал я — лег — почти что болен,
Своей работой недоволен;
Не бросить ли? не сжечь ли? — Нет!
В моем уединеньи скучном,
Замкнувшись в тесный кабинет,
Не чужд я мысли о насущном,
Забот и будничных сует..
Устал я... разшышлять нет мочи, -
Не сплю... погас огарок мой..
В окно глядит и лезет в очи
Сырая мгла плаксивой ночи..
Осенней вьюги слышен вой..
И вот разнузданной мечтой
Я мчусь в Париж, туда, где свято
Впервые я любил когда-то
И был блажен — в последний раз!..

....

Вот позднего досуга час...
Париж недавно отобедал,
Он все, что мог, изжил, изведаль,
И жаждет ночи...

Чердаков

Окошки — гнезда бедняков -
Ушли под тучи в мрак печальный:
Там голод, замыслы, нахальной
Нужды запросы — бой с нуждой,
Или при лампе трудовой
Мечты о жизни идеальной...
Зато внизу — Париж иной,
Картинный, бронзовый, зеркальный;
Сверкают тысячи огней -
Гул катится по всем бульварам,
Толпа снует... Любуйся даром,
Дивись на роскошь богачей;
Вздохнув о юности своей,
Давай простор влюбленным парам...

....

Вот дом — громада. Из сеней
На тротуар и мостовую
Ложится просвет полосой;
Из-под балкона, головой
Курчавясь, кажут грудь нагую
Шесть статуй — шесть кариатид;
Свет газовых рожков скользит
Кой-где по мрамору их тела;
Полураскрыв уста, оне

Прижались к каменной стене,
И никому до них нет дела...
Вот — лестница осаждена...
Идут, сгибаются колена,
Ступенек не видать — одна
С площадки мраморной видна
Тебе знакомая арена:
Звездятся люстры; их кайма
Из хрусталей, как бахрома
Из радужных огней, сверкает;
Раздвинув занавес, ведет
В громадный зал широкий вход,
И тесную толпу стесняет.
Толпа рассыпалась — и вот
Шуршит атлас, пестрят наряды,
Круглятся плечи бледных дам -
Затылки — профили — а там,
Из-за высокой балюстрады,
Уже виднеются певцы,
Артисты-гении, певицы,
Которым пышные столицы
Несут алмазы и венцы.
И ты в толпе — уж за рядами
Кудрей и лысин мне видна
Твоя густая седина;

Ты искоса повел глазами -
Быть узнанным тщеславный страх
Читаю я в твоих глазах...
От русских барынь, от туристов,
От доморощенных артистов
Еще хранит тебя судьба...
Но — чу! гремят рукоплесканья,
Ты дрогнул — жадное вниманье
Приподнимает складки лба;
(Как будто что тебя толкнуло!)
Ты тяжело привстал со стула,
В перчатке сжатою рукой
Прижал к глазам лорнет двойной
И побледнел:
Она выходит...
Уже вдали, как эхо, бродит
Последних плесков гул, и — вот
Хор по струнам смычками водит -
Она вошла — она поет.
О, это вкрадчивое пенье!
В нем пламя скрыто — нет спасенья!
Восторг, похожий на испуг,
Уже захватывает дух -
Опять весь зал гремит и плещет...
Ты замер... Сладко замирать,

Когда, как бы ожив, опять
Пришла любовь с тобой страдать -
И на груди твоей трепещет...
Ты молча голову склонил,
Как юноша, лишенный сил
Перед разлукой...
Но — быть может -
(Кто знает?!) грустною мечтой
Перелетел ты в край родной,
Туда, где все тебя тревожит,
И слава, и судьба друзей,
И тот народ, что от цепей
Страдал и — без цепей страдает...
Повеся нос, потупя взор,
Быть может, слышишь ты — качает
Свои вершины темный бор -
Несутся крики — кто-то скачет -
А там, в глуши, стучит топор -
А там, в избе, ребенок плачет...
Быть может, вдруг перед тобой
Возникла тусклая картина -
Необозримая равнина,
Застывшая во мгле ночной.
Как бледно-озаренный рой
Бесов, над снежной пеленой

Несется вьюга; — коченеет,
Теряясь в непроглядной мгле,
Блуждающий обоз... Чернеет,
Как призрак, в нищенском селе
Пустая церковь; тускло рдеет
Окно с затычкой — пар валит
Из кабака; из-под дерюги
Мужик вздыхает: "Вот-те на!"
Иль "караул!" хрипит со сна,
Под музыку крещенской вьюги.
Быть может, видишь ты свой дом,
Забитый ставнями кругом, -
Гнилой забор — оранжерею -
И ту заглохшую аллею,
С неподметенною листвою,
Где пахнет детской стариной
И где теперь еще, быть может,
Когда луна светла, как день,
Блуждает молодая тень -
Тот бледный призрак, что тревожит
Сердца, когда поет она
Перед толпой, окружена
Лучами славы...

1877

ПОД КРАСНЫМ КРЕСТОМ

Посв. памяти баронессы Ю. П. Вревской

Семь дней, семь ночей я дрался на Балканах,

Без памяти поднят был с мерзлой земли;

И долго, в шинели изорванной, в ранах,

Меня на скрипучей телеге везли;

Над нами кружились орлы, — ветер сто-
нам

Внимал, да в ту ночь, как по мокрым пон-
тонам

Стучали копыта измученных кляч,

В плесканьях Думая мне слышался плач.

И с этим Дунаем прощаясь навеки,

Я думал: едва ль меня родина ждет!..

И вряд ли она будет в жалком калеке

Нуждаться, когда всех на битву пошлет...

Теперь ли, когда и любовь мне изменит,

Жалеть, что могила постель мне заменит!..

— И я уж не помню, как дальше везли

Меня то ухабам румынской земли...

В каком-то бараке очнулся я, снятый

С телеги, и — понял, что это — барак;

День ярко сквозил в щели кровли досчатой,

Но день безотраден был, — хуже, чем мрак...

Прикрытый лишь тряпкой, пропитанной кровью,

В грязи весь, лежал я, прильнув к изголовью,

И, сам искалеченный, тупо глядел
На лица и члены истерзанных тел.

И пыльный барак наш весь день растворялся:

Вносили одних, чтоб других выносить;

С носилками бледных гостей там встречался

Завернутый труп, что несли хоронить...

То слышалось ржанье обозных лошадок,

То стоны, то жалобы на распорядок...

То резкая брань, то смешные слова,

И врач наш острил, засучив рукава...

А вот подошла и сестра милосердия! -

Волнистой косы ее свесилась прядь.

Я дрогнул. — К чему молодое усердьё?

"Без крика и плача могу я страдать...

Оставь ты меня умереть, ради бога!"

Она ж поглядела так кротко и строго,
Что Дал я ей волю и раны промыть, -
И раны промыть, и бинты наложить.
И вот, над собой слышу голос я нежный:
"Подайте рубашку!" и слышу ответ, -
Ответ нерешительный, но безнадежный:
"Все вышли, и тряпки нестиранной нет!"
И мыслю я: Боже! какое терпенье!
Я, дышащий труп, — я одно отвращенье
Внушаю; но — нет его в этих чертах
Прелестных, и нет его в этих глазах!
Недолго я был терпелив и послушен:
Настала унылая ночь, — гром гремел,
И трупами пахло, и воздух был душен...
На грязном полу кто-то сонный храпел...
Кое-где ночники, догорая, чадились,
И умиравшие тихо молились
И бредили, — даже кричали "ура!"
И, молча, покойники ждали утра...
То грезил я, то у меня дыбом волос
Вставал: то, в холодном поту, я кричал:
"Рубашку — рубашку!.." и долго мой голос
В ту ночь истомленных покой нарушал...
В туманном мозгу у меня разгорался
Какой-то злой умысел, и порывался

Бежать я, — как вдруг, слышу, катится
гром,

И ветер к нам в щели бьет крупным до-
ждем...

Притих я, смотрю, среди призраков ночи,
Сидит, в красноватом мерцанье огня,
Знакомая тень, и бессонные очи,
Как звезды, сквозь сумрак, глядят на меня.
Вот встала, идет и лицо наклоняет
К огню и одну из лампад задувает...
И чудится, будто одежда шуршит,
По белому темное что-то скользит...
И странно, в тот миг, как она замелькала
Как дух, над которым два белых крыла
Взвились, — я подумал: бедняжка устала,
И если б не крик мой, давно бы легла!..
Но вот, снова шорох, и — снова в одежде
Простой (в той, в которой ходила и
прежде),

Она из укромого вышла угла,
И светлым виденьем ко мне подошла -
И с дрожью стыдливой любви мне сказала:
"Привстань! Я рубашку тебе принесла"...
Я понял, она на меня надевала
Белье, что с себя потихоньку сняла.

И плакал я. — Детское что-то, родное,
Проснулось в душе, и мое ретивое
Так билось в груди, что пророчило мне
Надежду на счастье в родной стороне...
И вот, я на родине! — Те же невзгоды,
Тщеславие бедности, праздный застой.
И старые сплетни, и новые моды...
Но нет! не забыть мне сестрицы святой!
Рубашку ее сохраню я до гроба...
И пусть наших недругов тешится злоба!
Я верю, что зло отзовется добром: -
Любовь мне сказалась под Красным Кре-
стом.

1878. Марта 6

УЗНИЦА

Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее доля проклятая
Спать не дает мне всю ночь!
Спать не дает, оттого что мне грезится
Молодость в душной тюрьме,
Вижу я — своды... окно за решеткою,
Койку в сырой полутьме...

С койки глядят лихорадочно-знойные
Очи без мысли и слез,
С койки висят чуть не до полу темные
Космы тяжелых волос.
Не шевелятся ни губы, ни бледные
Руки на бледной груди,
Слабо прижатые к сердцу без трепета
И без надежд впереди...
Что мне она! — не жена, не любовница,
И не родная мне дочь!
Так отчего ж ее образ страдальческий
Спать не дает мне всю ночь!
1878

Поэт и гражданин, он призван был учить

Поэт и гражданин, он призван был учить.
В лохмотьях нищеты живую душу видеть.

Самоотверженно страдающих любить
И равнодушных ненавидеть.
1878

ОПАСЕНИЕ

На праздник ты одна ушла, друг милый
мой,

Без горничной, без провожатых,
Ушла — порадовать своею красотой
Людей беспечных и богатых.

Уж поздно... тьма кругом... и напряжен
мой слух,

И ум мой полон смутных бредней:
Не твой ли шорох там, где газ давно потух?
Чу! что-то звякнуло в передней!..

Уж поздно... я не сплю — клянусь, не отто-
го,

Что горячо тебя люблю я
И что не мог бы я заснуть без твоего
Рассказа или поцелуя...

Нет, не из ревности я не смыкаю глаз
И жду тебя не как влюбленный:

Я праздника боюсь — мне страшен позд-
ний чай

И этот город полусонный.

Здесь каждый ждет беды, здесь каждый за-
пер дверь,

Здесь невидимкой между нами
Блуждает нищета, косматая, как зверь,

Дрожит и шарит за дверями.
Быть может, тень ее завистливо глядит
На яркий свет тех самых окон,
Где под напев смычка нога твоя скользит,
Где вьется твой летучий локон.
Ты не нуждаешься благодаря трудам, -
Но для нее и ты богата;
И то, что любишь ты, и то, что свято нам,
Для голодающих не свято...

.....

О, я б не ждал тебя с тревогой и тоской,
Об этом не было б и речи,
Когда б у каждого, в семье его родной,
Горели праздничные свечи!
<1878>

Н. А. ГРИБОЕДОВА

1 Не князь, красавец молодой,
Внук иверских царей,
Был сокровенною мечтой
Ее цветущих дней.
Не вождь грузинских удальцов
Гроза соседних гор

Признаньем вынудил ее
Потупить ясный взор.
Не там, где слышат валуны
Плеск Алазанских струй (1),
Впервые прозвучал ее
Заветный поцелуй.
Нет, зацвела ее любовь
И расцвела печаль
В том жарком городе, где нам
Прошедшего не жаль...
Где грезится сазандарам
Святая старина,
Где часто музыка слышна
И веют знамена.
1 Алазань — река в Кахетии.

2

В Тифлисе я ее встречал...
Вникал в ее черты:
То — тень весны была, в тени
Осенней красоты.
Не весела и не грустна,
Где б ни была она,
Повсюду на ее лице
Царила тишина.

Ни пышный блеск, ни резвый шум
Полуночных балов,
Ни барабанный бой, ни вой
Охотничьих рогов,
Ни смех пустой, ни приговор
Коварной клеветы,
Ничто не возмущало в ней
Таинственной мечты...
Как будто слава, отразясь
На ней своим лучом,
В ней берегла покой души
И грезы о былом,
Или о том, кто, силу зла
Изведав, завещал
Ей всепрощающую скорбь
И веру в идеал...

3

Я помню час, когда вдали
Вершин седые льды
Румянцем вспыхнули и тень
С холмов сошла в сады,
Когда Метех (1) с своей скалой
Стоял, как бы в дыму,
И уходил сионский крест (2)

В ночную полутьму.
Она сидела на крыльце
С поникшей головой,
И, помню, кроткий взор ее
Увлажнен был слезой.

О незабвенной старине
Намек нескромный мой
Смутил ее больной души
Таинственный покой.

И мне казалось, в этот миг
Я у нее в глазах
Прочел ту повесть — что прошла
Тайком в ее мечтах:

1 Замок и острог в Тифлисе.

2 Крест Сионского собора, самой большой
церкви в Тифлисе.

4

"Он русским послан был царем,
В Иран держал свой путь
И на пути заехал к нам
Душою отдохнуть.
Желанный гость — он принят был
Как друг моим отцом;
Не в первый раз входил он к нам

В гостеприимный дом;
Но не был весел он в тени
Развесистых чинар,
Где на коврах не раз нам пел
Заезжий сазандар;
Где наше пенилось вино,
Дымился наш кальян,
И улыбалась жизнь гостям
Сквозь радужный туман;
И был задумчив он, когда,
Как бы сквозь тихий сон,
Пронизывался лунный свет
На темный наш балкон;
Его горячая душа,
Его могучий ум
Влачили всюду за собой
Груз неотвязных дум.
Напрасно север ледяной
Рукоплескал ему,
Он там оставил за собой
Бездушную зиму;
Он там холодные сердца
Оставил за собой,
Лишь я одна могла ему
Откликнуться душой...

Он так давно меня любил,
И так был рад, так рад,
Когда вдруг понял, отчего
Туманится мой взгляд...

5

И скоро перед алтарем
Мы с ним навек сошлись...
Казалось, праздновал весь мир,
И ликовал Тифлис.
Всю ночь к нам с ветром долетал
Зурны тягучий звук,
И мерный бубна стук, и гул
От хлопающих рук.
И не хотели погасать
Далекие огни,
Когда, лампаду засветив.
Остались мы одни,
И не хотела ночь унять
Далекой пляски шум,
Когда с души его больной
Скатилось бремя дум,
Чтоб не предвидел он конца
Своих блаженных дней
При виде брачного кольца

И ласковых очей.

6

Но час настал: посол царя
Умчался в Тегеран.
Прощай, любви моей заря!
Пал на сердце туман...
Как в темноте рассвета ждут,
Чтоб страхи разогнать,
Так я ждала его, ждала,
Не уставала ждать...
Еще мой верующий ум
Был грезами повит,
Как вдруг... вдруг грянула молва,
Что он убит... убит!
Что он из плена бедных жен
Хотел мужьям вернуть,
Что с изуверами в бою
Он пал, пронзенный в грудь,
Что труп его — кровавый труп
Поруган был толпой
И что скрипучая арба
Везет его домой (1).
Все эти вести в сердце мне
Со всех сторон неслись...

Но не скрипучая арба
Ввезла его в Тифлис,
Нет, осторожно между гор,
Ущелий и стремнин
Шесть траурных коней везли
Парадный балдахин;
Сопровождали гроб его
Лавровые венки,
И пушки жерлами назад,
И пики, и штыки;
Дымились факелы, и гул
Колес был эхом гор,
И память вечную о нем
Пел многолюдный хор...
И я пошла его встречать,
И весь Тифлис со мной
К заставе эриванской шел
Растроганной толпой.
На кровлях плакали, когда
Без чувств упала я...
О, для чего пережила
Его любовь моя!

1 Записки А. С. Пушкина, т. 5, стр. 76. Изд
Анненкова.

И положила я его
На той скале, где спит
Семья гробниц и где святой
Давид их сторожит;
Где раньше, чем заглянет к нам
В окошки алый свет,
Заря под своды алтаря
Шлет пламенный привет;
На той скале, где в бурный час
Зимой, издалека
Причалив, плачут по весне
Ночные облака;
Куда весной, по четвергам,
Бредут на ранний звон.
Тропинкой каменной, в чадрах,
Толпы грузинских жен.
Бредут, нередко в страшный зной,
Одни — просить детей,
Другие — воротить мольбой
Простывших к ним мужей...
Там, в темном гроте — мавзолей,
И — скромный дар вдовы
Лампадка светит в полутьме,
Чтоб прочитали вы

Ту надпись и чтоб вам она
Напомнила сама
Два горя: горе от любви
И горе от ума".
1879

(ГИПОТЕЗА)

Из вечности музыка вдруг раздалась,
И в бесконечность она полилась,
И хаос она на пути захватила,
И в бездне, как вихрь, закружились свети-
ла:

Певучей струной каждый луч их дрожит,
И жизнь, пробужденная этою дрожью.
Лишь только тому и не кажется ложью,
Кто слышит порой эту музыку божью.
Кто разумом светел, в ком сердце горит.
1885

Любя колосьев мягкий шорох

Любя колосьев мягкий шорох
И ясную лазурь,
Я не любил, любуясь нивой,
Ни темных туч, ни бурь.
Но налетела туча с градом,
Шумит-гремит во мгле;

И я с колосьями, как колос,
Прибит к сырой земле...
К сырой земле прибит — и стыну,
Холодный и немой,
И уж не все ль равно мне — солнце
Иль туча надо мной?!.
<1882>

Глаза и ум, и вся блестишь ты,

Глаза и ум, и вся блестишь ты,
Невзгод житейских далека...
И молча взорам говоришь ты,
Как ночью пламень маяка...
Но я, пловец, завидя пламень,
Своим спасеньем дорожу
И, обходя подводный камень,
От блеска дальше ухожу...
Вот, если б я волной был шумной -
Ветрам послушною волной,
С какой бы страстью вольнодумной
Примчался я к твоим стопам,
Чтоб хоть на малое мгновенье
Взыграть — разбиться и — слезам
Дав волю, выплакать забвенье
Своим безумствам и страстям.

<1882>

Я умер, и мой дух умчался в тот эфир,

Я умер, и мой дух умчался в тот эфир,
Что соткан звездными лучами;

Я не могу к тебе вернуться в пыльный мир
С его пороком и цепями.

Прощай! Ты слышишь дня однообразный
гул,

И для тебя он скучно-светел;

Но день твой предо мной как молния
мелькнул

И в нем тебя я не заметил.

Ты видишь, ночи тень идет на смену дня;

Но я твоей не вижу ночи;

Какое ж дело мне, ты любишь ли меня

Или другому смотришь в очи...

Я на земле постиг изменчивость страстей:

Смерть погасила жар недужный...

Не бойся ж ревности и не проси моей

Взаимности, тебе ненужной...

<1882>

МОГИЛА В ЛЕСУ

Там, у просеки лесной,
Веет новою весной;
Только жутко под раkitой
Близ могилы позабытой.
Там, тревожа листьев тень,
Бродит тень самоубийцы,
И порхающие птицы,
Щебетаньем встретив день,
Не боятся тени этой,
Вешним солнцем не пригретой.
Но боюсь я, мой недуг
Рану сердца — разбередит
Дух, который смертью бредит,
Жажущий покоя дух.
Говорят, что жаждой этой
Он, когда-то неотпетый
И зарытый без креста,
Заражает тех, что бродит
Одиноким и заходит
В эти дикие места.
Или сердце, что устало
Ненавидеть и страдать,
Переставши трепетать,
Все еще не отстрадало?!

Или дух, земле чужой
И чужой для бестелесных,
Замкнутый в пределах тесных
Безнадежности глухой,
Жаждет, мучимый тоскою,
Нашей казни над собою?..
Чу! Поведай, чуткий слух,
Ветер это или дух?..
Это ветра шум — для слуха...
Это скорбный дух — для духа...
<1880>

А. С. ПУШКИН

Читано автором в Москве, в день открытия памятника Пушкину, в 1 заседании Общества Любителей Российской Словесности, 6 июня 1880 года.

1

Пушкин — это возрожденье
Русской Музы, — воплощенье
Наших трезвых дум и чувств,
Это — незапечатленный
Ключ поэзии, священный
В светлой области искусств.
Это — эллинов стремленье

К красоте и лицезренью
Их божеств без покрывал,
Это — голос Немезиды,
Это девы Эвмениды
Окровавленный кинжал... (1)
Это — вещего баяна
Струнный гонор... свист Руслана...
И русалок голоса...
Это — арфа серафима,
В час, когда душа жалима
Жаждой веры в небеса,
Это старой няни сказка,
Это молодости ласка,
Огонек в степной глуши...
Это — слезы умиленья...
Это — смутное влеченье
Вечно жаждущей души...

1 Он пел Маратовым жрецам кинжал и ле-
ву Эвмениду — строка Пушкина.

2

Свой в столицах, на пирушке,
В сакле, в таборе, в лачужке,
Пушкин чуткою душой
Слышит друга голос дальний,

Песню Грузии печальной...
Бред цыганки кочевой...
Слышит крик орла призывный,
Слышит ропот заунывный
Океана в бурной мгле,
Видит небо без лазури
И, — что краше волн и бури,
Видит деву на скале...
Знает горе, нам родное...
И разгулье удалое,
И сердечную тоску...
Но не падает усталый
И, как путник запоздалый,
Сам стучится к мужику.
Ничего не презирая,
В дымных избах изучая
Дух и склад родной страны,
Чуя русской жизни трепет,
Пушкин — правды первый лепет,
Первый проблеск старины...

3

Пушкин — это эхо славы
От Кавказа до Варшавы,
От Невы до всех морей,

Это — сеятель пустынный,
Друг свободы, неповинный
В лжи и злобе наших дней.
Это — гений, все любивший,
Все в самом себе вместивший
Север, Запад и Восток...
Это — тот "ничтожный мира",
Что, когда бряцала лира,
Жег сердца нам, как пророк.
Это — враг гордыни праздной,
В жертву сплетни неотвязной
Светом преданный, — враждой,
Словно тернием, повитый,
Оскорбленный и убитый
Святотатственной рукой...
Поэтический мессия
На Руси, он, как Россия,
Всеобъемлющ и велик...
Ныне мы поэта славим
И на пьедестале ставим
Прославляющий нас лик...
<1880>

НА ИСКУСЕ

Как промаюсь я, службы все выстою,
Да уйду на ночь в келью свою,
Да лампадку пред девой пречистою
Засветив, на молитве стою...
Я поклоны творю пред иконою
И не слышу, как сладко поют
Соловьи за решеткой оконною,
В том саду, где жасмины цветут...
Но когда, после долгого бдения,
Я на одр мой ложусь, на меня,
Сладострастием вея, видения
Прошлой жизни встают ярче дня.
Замыкаю ль ресницы усталые
Я тону в бездне сладостных грез:
Все-то вижу глаза ее впалые...
Плечи бледные... волны волос...
Начинаю ль дремать — тяжело дышится,
Я безумца в себе узнаю;
Мне сквозь сон ее жалоба слышится
На беспутную юность мою...
И в слезах призывая спасителя,
Крик ребенка я слышу — и в нем,
В сироте, чую вечного мстителя
За любовь, что покрыл я стыдом...
И нет сил одолеть искушение!

Забывая молитву мою,
У погибшей прошу я прощение,
Перед ней на коленях стою...

ХОЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Когда, заботами иль злобой дня волнуем,
На твой горячий поцелуй

Не отвечаю я таким же поцелуем,

Не упрекай и не ревнуй!

Любовь моя давно чужда мечты веселой,

Не грезит, но зато не спит,

От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,

Ударами избитый щит.

Не изменю тебе, как старая кольчуга

На старой рыцарской груди;

В дни непрерывных битв она вернее дру-
га,

Но от нее тепла не жди!

Не изменю тебе; но если ты изменишь

И, оклеветанная вновь,

Поймешь, как трудно жить, ты вспом-
нишь, ты оценишь

Мою холодную любовь.

<1884>

СТАРИК

Старик, он шел кряхтя, с трудом одолевая
Ступеньки лестницы крутой,
А чудо-девушка, наверх за ним взбегая,
Казалось, веяла весной.
Пронесся легкий шум шагов, и ветер скла-
док,
И длинный локона извив...
О, как тогда себе он показался гадок,
Тяжел, ненужен и ворчлив.
Вздохнув, поник старик, годами удручен-
ный;
Она ж исчезла вдруг за дверью растворен-
ной,
Как призрак, смеющийся любить,
Как призрак красоты, судьбой приговорен-
ной
Безжалостно любимой быть.
Постой, красавица! Жизнь и тебя научит
Кряхтеть и ныть, чтоб кто-нибудь
Мог перегнуть тебя, когда тебя измучит
Крутой подъем — житейский путь!..

1884

* * *

С колыбели мы, как дети,

С колыбели мы, как дети,
Вплоть до смертного одра,
Ждем любви, свободы, славы,
Счастья, правды и добра.
Но в любви мы пьем отраву,
Но свободу продаем...
Клеветой марая славу,
Мы добро венчаем злом!
Счастьем вечно недовольны,
Правдой вечно смущены,
В тишину мы просим бури,
В бурю просим тишины.

<1884>

Давным-давно ко мне не приходила Муза;

Давным-давно ко мне не приходила Муза;
К чему мне звать ее!.. К чему искать со-
юза

Усталого ума с красавицей мечтой!
Как бесприютные, как нищие, скитались
Те песни, что от нас на божий свет рожда-
лись,

И те, которые любили им внимать,
Как отголоску их стремлений идеальных,
Дремотно ждут конца иди ушли — витать

С теньями между ив и камней погребаль-
ных;

А те, что родились позднее нас, идут
За призраком давно потухшей в нас на-
дежды;

Они для нас, а мы для них — невежды,
У них свои певцы, они свое поют...
И пусть они поют... и пусть я им внимаю,
И радуюсь, что я их слезы понимаю,
И, чуя в их сердцах моей богини тень,
Молю бессмертную благословить тот день,
Когда мы на земле сошлись для песен бед-
ных,

Не побеждаемых, хотя и не победных.
1885

ХОЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ

Когда, заботами иль злобой дня волнуем,
На твой горячий поцелуй
Не отвечаю я таким же поцелуем,—
Не упрекай и не ревнуй.

Любовь моя давно чужда мечты веселой,—

Не грезит, но зато не спит,
От нужд и зол тебя спасая, как тяжелый,
Ударами избитый щит.

Не изменю тебе, как старая кольчуга
На старой рыцарской груди:
В дни непрерывных битв она вернее дру-
га,
Но — от неё тепла не жди.

Не изменю тебе; но если ты изменишь,
И, оклеветанная, вновь
Поймешь, как трудно жить... Ты вспом-
нишь, ты оценишь
Мою холодную любовь.

К ПОРТРЕТУ

Она давно прошла, и нет уже тех глаз,
И той улыбки нет, что молча выражали
Страданье — тень любви, и мысли — тень
печали.

Но красоту ее Боровиковский спас.
Так часть души ее от нас не улетела,
И будет этот взгляд и эта прелесть тела
К ней равнодушное потомство привлекать,
Уча его любить, страдать, прощать, мол-

чать.

Январь 1885

КОНЕЦ 1880-х — 1890-е ГОДЫ

ПАМЯТИ С. Я. НАДСОНА

(19 Я *нваря 1887 г.*)

Он вышел рано, а прощальный
Луч солнца в тучах догорал;
Казалось, факел погребальный
Ему дорогу освещал:
В темь надвигающейся ночи
Вперив задумчивые очи,
Он видел — смерть идет...
Хотел
Тревоги сердца успокоить
И хоть не мог еще настроить
Всех струн души своей, — запел.
И был тот голос с нервной дрожью,
Как голос брата, в час глухой
Подслушан пылкой молодежью
И чуткой женскою душой.
Без веры в плод своих стремлений,
Любя, страдая, чуть дыша,
Он жаждал светлых откровений,

И темных недоразумений

Была полна его душа.

И ум его не знал досуга:

Поэта ль, женщину иль друга

Встречал он на пути своем, -

Рой образов боролся в нем

С роями мыслей неотвязных.

....

Рассудку не хватало слов...

И сердце жаждало стихов,

Унылых и однообразных,

Как у пустынных берегов

Немолчный шум морских валов.

Томил недуг и — вдохновенье

Томило до изнеможенья:

Недаром, из страны в страну

Блуждая, он искал спасенья,

И, как эмблему возрожденья,

Любил цветущую весну.

Но паче всех благоуханий

И чужеземных алтарей

Поэт тревожных упований

И сокрушительных идей

Любил, среди своих блужданий,

Отчизну бедную свою:

Ее метелями обвеян,
Ее пигмеями осмеян,
Он жить хотел в ее краю,
И там, под шум родного моря,
В горах, среди цветущих вилл,
Чтоб отдохнуть от зол и горя,
Прилег — и в боге опочил.
Спи с миром, юноша-поэт!
Вкусивший по дороге краткой
Все, что любовь дает украдкой,
Отраву ласки и клевет,
Разлуки гнет, часы свиданий,
Шум славы, гром рукоплесканий,
Насмешку, холод и привет...
Спи с миром, юноша-поэт!

24 января 1887

Н. И. ЛОРАНУ

Друг! По слякоти дорожной
Я бреду на склоне лет,
Как беглец с душой тревожной,
Как носильщик осторожный,
Как измученный поэт.
Плохо вижу я дорогу;
Но шагая рядом, в ногу

С неотзывчивой толпой,
Страсти жар неуголенной,
Холод мысли непреклонной,
Жажду правды роковой
Я несу еще с собой.

Разливается по жилам
Жар и жгучий холодок...
Или ношу не по силам
Взял я на душу, — ходок?

Или ноша эта стала
Тяжелее и гнетет
От осенних непогод?
Ум тупеет, грудь устала,
Чувство стынет в этой мгле,
Что зари сиянье прячет,
И дождит, как будто ПЛЭЧРТ,
Расстилаясь по земле.

Но, поверь мне, ноша эта
Мне была бы нипочем,
Если б только было лето
И дышалось бы теплом.
Мне б казался путь не долог,
Если б солнечных небес
Голубой прозрачный полог
Окаймлял зеленый лес;

Если б в поле пели птицы,
А за пашней, на юру,
Полоса густой пшеницы
Колыхалась по ветру.
Не простыл бы жар сердечный,
Я б надеждою беспечной
Дух мой втайне веселил...
И меня б, с утратой сил,
По дороге к правде вечной
Холод мысли не знобил.

1887

ОРЕЛ И ГОЛУБКА

(**П**осв. Я. К. Гроту)

Вздымая волны, над заливом
Шла к ночи буря, — гром гудел...
За облака, навстречу ливня,
Орел с добычею летел:
В свое гнездо, не внемля грому,
Крылами рассекая мглу,
Он нес в когтях своих голубку
И опустился на скалу.
За ним мерцали на закате
Вершин незыблемых снега,
Под ним клубились тучи — пена

Посеребрила берега.
Ручьи скакали по камням,
Орлы кричали... Никому
Не откликался он и слушал,
Как жертва плакалась ему...
В его копиях, дрожа и жмурясь,
Она молила: "Отпусти..."
И внял мольбам великодушный
Орел и молвил ей: "Лети!"
И радостно, своей свободы
Почуя миг, как снежный ком,
С размаху брошенный, голубка
Рванулась вдаль, мелькнув крылом,
И полетела; — закружилась,
Ища родных ей берегов,
И погрузилась в водяную
Пыль между волн и облаков,
И сделалась добычей бури
Добыча мощного орла...
Увы, бездушная стихия
Ее молитв не приняла...
Как мотылек, дождем прибитый,
Едва мелькая в бурной мгле,
Она исчезла в серой пене
Валов, несущихся к скале;

На той скале все тот же мощный
Орел державно отдыхал,
Порой свой клюв точил, порою
Лениво крылья расправлял.
И думал он: авось под утро
Стихий угомонится вой,
И выпрыгнет на солнце серна,
И гуси взмоют над водой...
А там, где конь пылил дорогу,
Стада потянутся в кусты...
И мне потребную добычу
Господь укажет с высоты...
1887

А. А. ФЕТ

Нет, не забуду я тот ранний огонек,
Который мы зажгли на первом перевале,
ле,

В лесу, где соловьи и пели и рыдали,
Но миновал наш май — и миновал их срок.
О, эти соловьи!.. Благословенный рок
Умчал их из страны калинника и елей
В тот теплый край, где нет простора для
метелей.

И там, где жарче юг и где светлей восток,
Где с резвой пеною и с сладостным журча-

НЬЕМ

По камушкам ручьи текут, а ветерок
Разносит вздохи роз, дыша благоуханьем,
Пока у нас в снегах весны простыл и след,
Там — те же соловьи и с ними тот же Фет...
Постиг он как мудрец, что если нас с года-

МИ

Влечет к зиме, то — нам к весне возврата
нет,

И — улетел за соловьями.

И вот, мне чудится, наш соловей-поэт,

Любимец роз, пахучими листьями

Прикрыт, и — вечной той весне поет при-
вет.

Он славит красоту и чары, как влюблен-
ный

И в звезды и в грозу, что будит воздух сон-
ный,

И в тучки сизые, и в ту немую даль,

Куда уносятся и грезы, и печаль,

И стаи призраков причудливых и стран-
ных,

И вздохи роз благоуханных.

Волшебные мечты не знают наших бед:

Ни злобы дня, ни думы омраченной,

Ни ропота, ни лжи, на все ожесточенной,
Ни поражений, ни побед.
Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то,
Не гаснет для него и в сумерках заката,
Он видит призраки ночные, что ведут
Свой шепотливый спор в лесу у перевала.
Там мириады звезд плывут без покрывала,
И те же соловьи рыдают и поют.
1888

У ДВЕРИ

(**П**освящается А. П. Чехову)

Однажды в ночь осеннюю,
Пройдя пустынный двор,
Я на крутую лестницу
Вскарабкался, как вор.
Там дверь одну заветную
Впотьмах нащупал я
И постучался. — Милая!
Не бойся... это я...
А мгла в окно разбитое
Сползала на чердак,
И смрад стоял на лестнице,
И шевелился мрак.
— Вот-вот она откликнется,

И бледная рука
Меня обнимет трепетно
При свете ночника.
По-прежнему, на грудь ко мне
Склоняясь, она вздохнет,
И страстный голосок ее
Порвется и замрет...
Она — мой друг единственный,
Она — мой идеал!
И снова в дверь дощатую
Я тихо постучал.
— Прости меня,пусти меня,
Я дрогну, ангел мой!
Измучен я, истерзан я
Сомненьем и тоской.
И долго я стучался к ней
Стучался, звал и — вдруг
За дверью подозрительный
Почудился мне стук.
Я дрогнул и весь замер я,
Дыханье затая...
— Так вот ты как, — изменница!
Лукавая змея!
Вдвоем ты... но... безумец я!
Очнуться мне прра...

Здесь буду ждать соперника
До позднего утра.
Все, все, чему так верил я,
Ничтожество и ложь!
Улика будет явная
Меня не проведешь...
Но притаив дыхание,
Как сыщик у дверей,
Я не слышал ни шороха,
Ни скрипа, ни речей...
— О гнусность подозрения!
Искупит ли вину
Отрадная уверенность
Застать ее одну.
И, сердцем успокоенный,
Я понял, что она
Моим же поведением
Была оскорблена.
Недаром в час свидания
У лестницы, внизу,
Подметил я в глазах ея
Обидную слезу.
Не я ль — гордец бесчувственный!
Сознался ей, как трус,
Что я стыжусь любви моей,

Что бедности стыжусь...
Проснулась страсть мятежная,
Тоской изныла грудь;
Прости меня, пусти меня,
Слова мои забудь.
Но чу!.. Опять сомнение!..
Не ветер ли пахнул?
Не мышь ли? не соседи ли?
Нет! — Кто же так вздохнул?
Так тяжело, как мучительно
Вздыхает смерть одна
Что, если... счета с жизнью
Покончила она?
Увы! Никто не учит нас
Любить и уповать;
А яд и дети малые
Умеют добывать.
Мерещился мне труп ее,
Потухшие глаза
И с горькой укоризною
Застывшая слеза.
Я плакал, я с ума сходил,
Я милой видел тень,
Холодную и бледную,
Как этот серый день.

Уже в окно разбитое
На сумрачный чердак
Глядело небо тусклое,
Рассеивая мрак.
И дождь урчал по желобу,
И ветер выл, как зверь...
Меня застали дворники
Ломившегося в дверь.
Они узнали прежнего
Жильца и, неспроста
Хихикая, сказали мне,
Что комната пуста...
С тех пор я, как потерянный,
Куда ни заходил,
Все было пусто, холодно...
Чего-то — след простыл...
1888

ПАМЯТИ В. М. ГАРШИНА

Вот здесь сидел он у окна,
Безмолвный, сумрачный: больна
Была душа его — он жался
Как бы от холода, глядел
Рассеянно и не хотел
Мне возражать, — а я старался

Утешить гостя и не мог.
Быть может, веры в исцеленье
Он жаждал, а не утешенья;
Но где взять веры?! Слово "бог"
Мне на уста не приходило;
Молитв целительная сила
Была чужда обоим нам,
И он ко всем моим речам
Был равнодушен, как могила,
Как птица раненая, он
Приник — и уж не ждал полета;
А я сказал ему, чтоб он
Житейских дрызг порвал тенета,
Чтоб он рванулся на простор -
Бежал в прохладу дальних гор,
В глушь деревень, к полям иль к морю,
Туда, где человек в борьбе
С природой смело смотрит горю
В лицо, не мысля о себе...
Он воспаленными глазами
Мне заглянул в глаза, руками
Закрыв лицо и не шутя
Заплакал горько, как дитя.
То были слезы без рыданья,
То было горе без названья,

То были вздохи без мечты -
В сетях любви и пустоты,
В когтях завистливого рока,
Он был не властен над собой;
Ни жить не мог он одиноко,
Ни заодно брести с толпой.
И думал я: "Поэт! — больное
Дитя? Ужель в судьбе твоей
Есть что-то злое, роковое,
Неодолимое!.."

С тех пор прошло немало дней;
Я слышал от его друзей,
Что он в далекий путь собрался
И стал заметно веселей;
Но беспощадный рок дождался
Его на лестнице крутой
И сбросил...

Странный стук раздался...
Он грохнулся и разметался,
Изломанный, полуживой, -
И огненные сновиденья
Его умчали в край иной.
Без крика и без сожаленья
Покинул он больной наш свет;
Его не восторгал он — нет!..

В его глазах он был теплицей,
Где гордой пальме места нет,
Где так роскошен пустоцвет,
Где пойманной, помятой птицей,
Не веря собственным крылам,
Сквозь стекла потемневших рам,
Сквозь дымку чадных испарений
Напрасно к свету рвется гений,
К полям, к дубровам, к небесам...

28 марта 1888

ЛЕБЕДЬ

Пел смычок — в садах горели
Огоньки — сновал народ
Только ветер спал, да темен
Был ночной небесный свод;
Темен был и пруд зеленый
И густые камыши,
Где томился бедный лебедь,
Притаясь в ночной тиши.
Умирая, не видал он
Прирученный нелюдим,
Как над ним взвилась ракета
И рассыпалась над ним;
Не слышал, как струйка билась,

Как журчал прибрежный ключ,
Он глаза смыкал и грезил
О полете выше туч:
Как простор небес высоко
Унесет его полет
И какую там он песню
Вдохновенную споет!
Как на все, на все святое,
Что таил он от людей,
Там откликнутся родные
Стаи белых лебедей.
И уж грезит он: минута,
Вздох — и крылья зашумят,
И его свободной песни
Звуки утро возвестят.
Но крыло не шевелилось,
Песня путалась в уме:
Без полета и без пенья
Умирал он в полутьме.
Сквозь камыш, шурша по листьям,
Пробирался ветерок...
А кругом в садах горели
Огоньки и пел смычок.

1888

Для сердца нежного и любящего страстно

Для сердца нежного и любящего страстно
Те поцелуи слаще всех наград,
Что с милых робких губ похищены украд-
кой

И потихоньку отданы назад.

Но к обладанью нас влечет слепая сила,

Наш ум мутит блаженства сладкий яд:

Слезами и тоской отравленная чаша

Из милых рук приходит к нам назад.

Не всякому дано любви хмельной напиток

Разбавить дружбы трезвою водой,

И дотянуть его до старости глубокой

С наперсницей, когда-то молодой.

1888

В АЛЬБОМ Г... В...

И дождь прошумел, и гроза унялась,
А капли все падают, падают...

Смыкаю глаза я, ночник мой погас,

Но прежние грезы в полуночный час

Не радуют душу, не радуют...

И дрогнет душа, потому что она
Несет две утраты тяжелые:
Утрату любви, что была так полна
Блаженных надежд в дни, когда мать-вес-
на

Дарила ей грезы веселые;
Другая утрата — доверчивый взгляд
И вера в людей — воспитавшая
Святую мечту, что всем людям я брат,
Что знанье убьет растлевающий яд
И к свету подымет все падшее.

1888

**В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕГО
ЮБИЛЕЯ А. А. ФЕТА**

(1889 Г. *28-го января*).

Ночи текли, — звезды трепетно в бездну
лучи свои сеяли...

Капали слезы, — рыдала любовь, — и алел
Жаркий рассвет, — и те грезы, что в сердце
мы тайно лелеяли,

Трель соловья разносила, и — бурей шумел
Моря сердитого вал, — думы зрели, и — ре-
яли

Серые чайки...

?Игру эту боги затеяли...

В их мировую игру Фет замешался и пел...

Песни его были чужды сует и минут увлечения,

Чужды теченью излюбленных нами идей:

Песни его вековые, — в них вечный закон тяготения

К жизни — и нега вакханки, и жалоба фей...

В них находила природа свои отражения...

Были невнятны и дики его вдохновения

Многим, — но тайна богов требует чутких людей.

Музыки выпранный гений не даром любил сочетания

Слов его, спаянных в «нечто» душевным огнем;

Гений поэзии видел в стихах его правды мерцание, —

Капли, где солнце своим отраженным лучом

Нам говорило: «я солнце!» И пусть гений знания

С вечно пытливым умом, уходя в отрица-

ние,
Мимо проходит, — наш Фет — русскому
сердцу знаком.

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Вечерний звон... не жди рассвета;
Но и в туманах декабря
Порой мне шлет улыбку лета
Похолодевшая заря...
На все призывы без ответа
Уходишь ты, мой серый день!
Один закат не без приветов...
И не без смысла — эта тень...
Вечерний звон — душа поэта,
Благослови ты этот звон,
Он не похож на крики света,
Спугнувшего мой лучший сон.
Вечерний звон, и в отдаленье.
Сквозь гул тревоги городской,
Ты мне пророчишь вдохновенье,
Или — могилу и покой?..
Но жизнь и смерти призраки — миру
О чем-то вечном говорят,

И как ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонят.

Без них, быть может, даже гений
Людьми забудется, как сон,
И будет мир иных явлений,
Иных торжеств и похорон.

<1890>

Вечерний звон (вариант)

На все призывы без отзыва
Идет к концу мой серый день...
И дрогну я, и терпеливо
Жду... Приходи святая тень!

Я к ночи сердцем легковерней,
Я буду верить как-нибудь,
Что ночь, гася мой свет вечерний,
Укажет мне на звездный путь.

Чу! колокол... Душа поэта,
Благослови вечерний звон! —
Похож ли он на крики света,
Спугнувшие мой лучший сон!?

Вечерний звон!.. и в отдалении,
Сквозь гул тревоги городской,

Пророчь мне к ночи вдохновенье,
Или — могилу и покой.

Но жизнь и смерти призрак — миру
О чём-то вечном говорят, —
И как ни громко пой ты, — лиру
Колокола перезвонят.

Без них, в пыли руин забытых,
Исчезнут гении веков...
То будет ад зверей насытых,
Или эдем полубогов...

ЗИМОЙ, В КАРЕТЕ

Вот, на каретных стеклах, в блеске
Огней и в зареве костров,
Из бледных линий и цветов
Мороз рисует арабески;
Бегут на смену темноты
Не фонари, а пятна света,
И катится моя карета
Средь этой мглы и суеты.

Огни, дворцы, базары, лица
И небо — всё заслонено...

Миражем кажется столица,—
Тень сквозь узорное окно
Проносится узорной дымкой;
Клубится пар, и, — мнится мне,
Я сам, как призрак, невидимкой
Уселся в тряской тишине.

Скрипят тяжелые колеса,
Теря в мгле следы свои;
Меня везут, и нет вопроса:
Бегут ли лошади мои.
Я сам не знаю, где я еду,—
Заботливый слуга страстей,—
Я словно рад ночному бреду,
Воспоминанью давних дней.

И снится мне, — в холодном свете
Еще есть теплый уголок...
Я не один в моей карете...
Вот-вот сверкнул её зрачок...
Я весь в пару её дыханья,—
Как мне тепло на зло зиме!
Как сладостно благоуханье
Весны в морозной полутьме!

Очнулся — и мечта поблёлка,—
Опять, румяный от огней,
Мороз забрасывает стекла
И веет холодом. Злодей!
Он подглядел, как сердце билось,
Любовь и страсти, и мечты,
И вздох мой — всё преобразилось
В кристаллы, звезды и цветы.

Ткань ледяного их узора
Вросла в края звенящих рам,
И нет глазам моим простора,
И нет конца слепым мечтам!
Мечтать и дрогнуть не хочу я,
Но — каждый путь ведет к концу
И скоро, скоро подкачу я
К гостеприимному крыльцу.

ТЕНИ И СНЫ

И свечи загасил, и сразу тени ночи,
Нахлынув, темною толпой ко мне вле-
тели;

Я стал ловить сквозь сон их призрачные
очи

И увидел их тьму вокруг моей постели.

Таинственно они мигали и шептались:
"Вот он сейчас заснет, сейчас угомонится...
Давно ль мы страшным сном счастливица
любовались,

Авось, веселый сон несчастному приснится.
ся.

Глядите, как при нас, во сне, он свеж и молод!
лод!

Как может он, любя, и трепетать, и верить!..

А завтра вновь сожмет его житейский холод,
лод,

И снова будет он хандрить и лицемерить...

И снова белый день, с утра, своим возвратом
том

Раскроет бездну зол, вражды, потерь и горя,
ря,

Разбудит богача, измятого развратом,

И нищего, что пьет, из-за копейки споря...

А мы умчимся в ночь, обвеянные снами

И грезами живых и мертвых поколений,

И счастья призраки умчатся вместе с нами

Поблеклые цветы весенних вожделений"...

Полуночных теней уловленные речи

Встревожили мой сон и подняли с постеле-

ли;

Я руку протянул и вновь зажег я свечи;
И тени от меня ушли в углы и щели,
И к окнам хлынули, и на пороге стали
Я видел, при огне, их чуть заметный тре-
пет,

Но то, что я писал, они уж не видали,
А я записывал таинственный их лепет.

1891

Вот и ночь... К ее порогу

Вот и ночь... К ее порогу
Он пришел, едва дыша:
Утомился ли он медля?
Опоздал ли он спеша?..
Сел и шляпу снял, и, бледный,
К ней наверх в окно глядит;
И, прислушиваясь, тихо,
Точно бредит, говорит:
— Милый ангел! Будь покойна
Я к тебе не постучусь...
Вижу свет твоей лампы
И безумствую — молюсь...
За тебя ли, за себя ли
Я молюсь, не знаю сам.
Ни глазам твоим не верю,

Ни лампаде, ни звездам.
Ведь они, все эти звезды,
Как и твой небесный взгляд,
И горят, и в душу смотрят
И неправду говорят...
Ведь они, все эти звезды,
Никогда не скажут мне,
Кто сейчас твою лампаду
Погасил, мелькнув в окне.
Или это промелькнуло
Отражение луны?..
Или это — греза ночи,
Шорох знойной тишины?
Или это — у забора
Ветерок шуршит листвою?
Нет!.. Я слышу смех влюбленных
Над моей смешной слезой.
И, как тень, с ее порога
Поднялся он, чуть дыша...
Утомился ли он медля,
Опоздал ли он спеша?..
<1892>

Зной — и всё в томительном покое

Зной — и всё в томительном покое
В пятнах света тени спят в аллее...
Только чуткой чудится лилее,
Что гроза таится в этом зное.
Бледная, поникла у балкона
Ждет грозы, — и грезится ей, бедной,
Что далекой бури призрак бледный
Стал темнеть в лазури небосклона...
Грезы лета кажутся ей былью,
Гроз и бурь она еще не знает,
Ждет... зовет... и жутко замирает,
Золотой осыпанная пылью...
1890

Не то мучительно, что вечно-страшной тайной

Не то мучительно, что вечно-страшной тай-
ной
В недоуменье повергает ум,
Не то, что может дать простор для вдохно-
венья
И пищу для крылатых дум,
А то мучительно, что и в потемках ясно,
Что с детских лет знакомо нам, о чем
Мы судим сердцем так любовно, так при-

страстно,

И так безжалостно — умом...

Не мириады звезд, что увлекают дух мой

В простор небес, холодный и немой,

А искры жгутся, и одной из них довольно,

Чтоб я простыл, сторев душой...

1890

В ГОСТЯХ У А. А. ФЕТА

Тщетно сторою оконной
Ты ночлег мой занавесил, -
Новый день, румян и весел,
Заглянул в мой угол сонный.
Вижу утреннего блеска
Разгоревшиеся краски.
И не спрячет солнца ласки
Никакая занавеска...
Угол мой для снов не тесен
(если б даже снились боги...)
Чу! меня в свои чертоги
Кличет Муза птичьих песен.
Но как раб иной привычки,
Жаждающий иного счастья,
Вряд ли я приму участие
В этой птичьей перекличке!..

Д. Воробьевка. 12 июня 1890

Полонский здесь не без привета

Полонский здесь не без привета
Был встречен Фетом, и пока
Старик гостил у старика,
Поэт благословлял поэта.
И, поправляя каждый стих,
Здесь молодые музы их
Уютно провели все лето.
1890

НА ПУТИ

Хмурая застигла ночь,
На пути — бурьян...
Дышит холодом с реки,
Каплет сквозь туман.
Но как будто там — вдали,
Из-под этих туч,
За рекою — огонька
Взрагивает луч...
И как будто где-то там
Голоса в кустах...
Песня эта или звон
У меня в ушах?
В реку брошусь я — в кусты

Брошусь сквозь туман
Впереди тепло и свет,
На пути — бурьян...
<1890>

ПОДРОСЛА

1 Моя мать от нужды и печали
 Вся изныла, тая
Свое горе; а я
Подросла, и не знаю, мила ли
Мне семья?..
Как вечер я ушла за грибами...
Ничего не видать...
И я стала плутать,
И пришлось мне в слезах за скирдами
Ночевать...
Жарко пышет заря золотая;
Выползают ужи...
Никого вдоль межи...
А я песни пою, утопая
Вся во ржи...
И в прохладный поток я бросаюсь,
И ныряю, и рву
Водяную траву,
И пугливо в тростник забираюсь,
И — ау!..

Только эхо, как звонкая нота,
Замирает вдали,
И, спугнув на мели
Куличка, в камышах шепчет кто-то:
Не шали!
Ах, не скоро, усталая, злая,
Ворочусь я домой.
Что мне делать с родной?!
Как сказать ей: не знаю, родная,
Что со мной!

2

О вы, летние дни, золотые!
Я люблю солнца жар...
Полюби мой загар,
Полюби мои кудри густые,
Божий дар...
Не гроза ли идет мне навстречу?
За лесистым холмом
Глухо катится гром,
Но и в бурю тебя я замечу
Под дождем.
Не дразни только ты ретивое
Мое сердце, — оно
И досады полно,

И тревоги, и летнего зноя...

И смешно!..

"Угорел!" — на тебя намекая,

Мне шепнула сестра, — И ушла я вчера,

И бродила всю ночь, как шальная,

До утра.

И сама я не знаю, родная,

Для чего я ушла...

Не с ума ль я сошла

От того, что, тебя огорчая,

Подросла!..

Но, скажи, разве легче мне будет,

Если вдруг мой загар

Побледнеет от чар,

А он вдаль улетит и забудет

Свой угар?!

<1890>

СТАНСЫ

Не нужны божьим небесам

Явленья призрачные... Вечность

Одно спасет и сохранит,

Божественную человечность.

Земля земную втянет плоть,

В мрак унесет ее химеры,

Одна бессмертная любовь

Нам оправдает силу веры.
Но вера скудная моя
Могучих крыл не отрастила:
Страшна ей вечность впереди
И омерзительна могила.
Быть человеком не легко,
Труднее, чем создать поэму,
Сломить врага, воздвигнуть храм,
Надеть в алмазах диадему!..
<1890>

ОНИ

Как они наивны
И как робки были
В дни, когда друг друга
Пламенно любили!
Плакали в разлуке,
От свиданья млели...
Обрывались речи...
Руки холодели;
Говорили взгляды,
Самое молчанье
Уст их было громче
Всякого признанья.
Голос, шорох платья,
Рук прикосновенье

В сердце их вливали
Сладкое смятенье.
Раз, когда над ними
Золотые звезды
Искрами живыми,
Чуть дрожа, мигали,
И когда над ними
Ветви помавали,
И благоухала
Пыль цветов, и легкий
Ветерок в куртине
Сдерживал дыханье...
Полночь им открыла
В трепете лобзанья,
В тайне поцелуев
Тайну мирозданья...
И осталось это
Чудное свиданье
В памяти навеки
Разлученных роком,
Как воспоминанье
О каком-то счастье,
Глупом и далеком.
<1890>

Детство нежное, пугливое,

Детство нежное, пугливое,
Безмятежно шаловливое,
В самый холод вешних дней
Лаской матери пригретое,
И навеки мной отпетое
В дни безумства и страстей,
Ныне всеми позабытое,
Под морщинами сокрытое
В недрах старости моей,
Для чего ты вновь встревожило
Зимний сон мой, — словно ожило
И повеяло весной?

Оттого, что вновь мне слышится
Голосок твой, легче ль дышится
Мне с поникшей головой?!
Не без думы, не без трепета,
Слышу я наивность лепета:
— Старче! разве ты — не я?!
Я с тобой навеки связано,
Мной вся жизнь тебе подсказана,
В ней сквозит мечта моя;
Не напрасно вновь являюсь я,
Твоей смерти дожидаясь я,
Чтоб припомнило и я
То, что в дни моей беспечности,

Я забыло в недрах вечности,
То, что было до меня.
<1890>

В ОСЕННЮЮ ТЕМЬ

(Отрывок)
.....

.....
Вечера настали мгlistые -
Отсырели камни мшистые;
И не цветиками розовыми,
Не листочками березовыми,
Не черемухой в ночном пару,
Пахнет, веет во сыром бору -
Веет тучами сгустившимися,
Пахнет липами — свалившимися,
Или мокрых листьев ворохом;
Тишина пугает шорохом...
Только там, за речкой тинистойю,
Что-то злое и порывистое
С гулом по лесу промчалось,
Словно смерти испугалось...
Что со мной!.. Чего спасительного
Или хоть бы утешительного

Ожидать от лесу темного,
В сон и холод погруженного?
Пусть другой тут с горя топится!
Сердце жить еще торопится...
Чувство тайное, весеннее.
Будь смелей и откровеннее -
Выручай свою возлюбленную,
Злыми сплетнями погубленную!
Пусть ее — мою красавицу,
Сироту и бесприданницу -
Силой выдали за пьяницу...
Знаю я тебя, пиявицу,
Моего лихого ворога!!
Ты купил ее недорого, -
Только я возьму недешево -
Ничего не жди хорошего!..
<1890>

По торжищам влача тяжелый крест поэта,

По торжищам влача тяжелый крест поэта,
У дикарей пощады не проси, -
Молчи и не зови их в скинию завета
И с ними жертв не приноси.
Будь правды жаждущих невольным отго-

ЛОСКОМ,

Разнузданных страстей не прославляй
И модной мишуры за золото под лоском
Блестящих рифм не выдавай.

И если чернь слепа, не жаждет и не просит,

И если свет — к злу равнодушный свет
Надменно, как трофей, свои оковы носит, -
Знай, что для них поэта нет...

<1891>

ОТВЕТ

Ты спрашиваешь: отчего
Так пошло все и так ничтожно,
Что превосходства своего
Не сознавать нам невозможно?..

— Нет, я такой же, как и все
Такая ж спица в колесе,
Которое само не знает
И не ответит — хоть спроси,
Зачем оно в пыли мелькает,
Вертясь вокруг своей оси...
Зачем своей железной шиной,
Мирской дорогою катясь,
Оно захватывает грязь,

Марая спицы липкой глиной,
И почему не сознает
То колесо, кого везет?
Кто держит вожжи — кто возница?
Чье око видит с высоты,
Куда несется колесница?
Какие кони впряжены?

<1892>

В ПОТЕМКАХ

Один проснулся я и — вслушиваюсь чутко,
Кругом бездонный мрак и — нет нигде ог-
ня.

И сердце, слышу я, стучит в виски... мне
жутко...

Что если я ослеп! Ни зги не вижу я,
Ни окон, ни стены, ни самого себя!..

И вдруг, сквозь этот мрак глухой и безот-
ветный,

Там, где гардинами завешено окно,
С усилием разглядел я мутное пятно
Ночного неба свет... полоской чуть замет-
ной.

И этой малости довольно, чтоб понять,
Что я еще не слеп и что во мраке этом
Все, все пророчески полно холодным све-

ТОМ,

Чтоб утра теплого могли мы ожидать.

1892

В САДУ

Мы празднуем в саду прощальный наш до-
суг.

Прощай! пью за твое здоровье, милый
друг!

И солнцу, что на все наводит зной, не жар-
ко,

И льду не холодно, и этот пышный куст

Своих не знает роз, и даже эта чарка

Не знает, чьих она касалась жарких уст.

И блеск, и шорохи, и это колыханье

Деревьев — все полно блаженного незна-
нья;

А мы осуждены отпраздновать страданье,

И холод сознаем и пламенный недуг...

Прощай! пью за твое здоровье, милый
друг!

<1893>

СЕРЫЕ ГОДЫ

Все эти годы серые,

День изо дня,

Влачил почти без веры я

В сны бытия.
Не так и жить хотелось мне,
Как мне жилось,
И уж давно не пелось мне
Без прежних грез.
И все, чем сердце грелось,
Чтя красоту,
В мишурный блеск оделось
И в суету.
И суета наскучила,
И отошло
Все, что когда-то мучило,
И обожгло...
Один лишь крик подавленный
Оставил след,
Недугами отравленный
На склоне лет.
Лишь смерть, свой вечный лик тая,
Пока я жил,
Подслушает все то, что я
В груди таил.
Разбудит — безответного
На ужас снов.
И со всего заветного
Сорвет покров...

1895

НЕОТВЯЗНАЯ

О, что хочешь говори!

Я не дам себя в обиду...

Я верна тебе, — и я

От тебя живой не выйду.

Пусть бранят меня, — зовут

Невозможной, неотвязной!

Для меня любовь — клянусь!

Не была забавой праздной;

Я поверила твоей

Клятве вечной, непритворной,

И сопернице не дам

Разорвать союз наш кровный...

Закаленная нуждой,

Отрицаемая светом,

Я к распутным не пойду

За спасительным советом.

Пусть расчет их верен, — пусть

Им потворствуют законы,

Никому твоей любви

Не продам за миллионы!

Бей меня или — убей!

Я твоя, — твоей умру я,

С вечной жаждою любви,

Нежных ласк и поцелуя.
Где бы ты ни пропадал,
С кем бы ни был, — на пороге
Будет тень моя стоять,
Не сойдет с твоей дороги.
Сколько б ты ни изменял,
Что б ни делал, — друг мой милый!
До могилы ты был "мой",
Будешь "мой" и за могилой...

1895

ВДОВА

Уж не ты ли знаком
С чернобровой вдовой,
Что живет, без родни,
За Москвою-рекой?..
Что на утренний звон,
В темь и холод весь пост
Ходит слезы ронять
На церковный помост.
Страшно ей, говорят,
В образнице своей;
Где же ей замолить
Чары грешных ночей?..
Погляди, за толпой
Не она ли видна

Вся в кадильном дыму
У сырого окна?..
Бродит утренний свет,
Тускло светит свеча;
Но в кромешной ночи
Ее глаз — ни луча...
Много дум, гордых дум
В их застынувшей мгле;
Но смиренья печать
На лилейном челе...
Говорят, ее муж,
Хоть и скряга он был,
В шелк ее наряжал,
Бриллианты дарил,
Да на днях, говорят,
На своем сундуке
Умер, стиснув ключи
В посинелой руке.
От чего умер? — глух
Был обычный вопрос:
И в могилу его
Проводили без слез.
Но покойника дух,
Видно, сам над собой
В эту ночь простонал

За Москвою-рекой.
Его буря несла,
Он метелицу нес,
И недаром завыл
На цепи его пес.
Тень хозяйина шла,
К дому шла, яко дым,
А хозяйка его
Обнималась с другим...
С жемчугом на груди
И с кольцом на руке,
Целовалась она
На пустом сундуке.
Не спасли его вклад
Ни печать, ни зарок...
Для кого ж потайной
Отомкнулся замок?
Отчего вещей страх,
Словно жало змеи,
Присосался к ее
Беззащитной любви?..
Вдруг тревожнее стал
Молодой голосок,
Засверкал на руке
Бриллиант-огонек...

Она пряди волос
Оправлять начала...
В двери мертвая тень
Незаметно вошла.
И с тоской на душе,
С страшно бледным лицом,
Молодая вдова
Оглянулась кругом...
Мутно стало в очах,
Сжал ей сердце недуг,
И шепнула она:
"Уходи" милый друг!
Уж к заутрени звон
Прозвонил... Уж потух
Лунный свет... на дворе
Загорланил петух...
Уходи, милый мой!
Эти звуки кричат,
Что покойный мой муж
Принял медленный яд.
Отчего я дрожу,
Точно совесть моя
Нечиста?.. Уходи...
Я не выдам тебя...
Иногда слышу я

Над собой адский смех...
Кто мне душу спасет
Кто отмолит мой грех?!"
С этой скорбной душой,
С этой милой вдовой
Уж не ты ли знаком?
Не бледней, милый мой!

1895

ХУТОРКИ

(Русская идиллия)

Там, в желтеющем просторе
Колыхающихся нив,
Где в саду румяной сливы
Золотой сквозит налив;
Там, где вдоль холмистой балки
Сохнет русло ручейка,
Никнут, покрытые соломой,
Два соседних хуторка.
Оба в зной степного лета
От ключей недалеки,
Оба день и ночь друг друга
Наблюдают хуторки.
Знают все: что у соседа
В огороде зацвело,
Почему оторван ставень

Или выбито стекло;
Почему с утра так рано
Потянуло кизяком.
Пахнет луком, пахнет медом
Или сдобным пирогом...

"Куманек! У вас с крылечка
Черный кот из-за бадьи
Жадно смотрит, как у клетки
Копшатся воробьи..."

"А у вас сегодня ворон
Хрипло каркал на трубе,
Все ль у вас благополучно?
Все ли здравствуют в избе?"

"Ничего... Жену спровадил
Наш хозяин, говорят,
Далеко послал за Волгу
Навестить своих ребят".

"Не беда, кацап он ражий;
Вон он вышел на крыльцо,
Подбоченился, понурил
Загорелое лицо".

"А у вас хозяйки внучка
За цветами в огород
Побежала и, босая,
Села — песенку поет..."

Завтра бабушка лампадку
Перед образом зажжет,
А она цветы да ленты
В косу черную вплетет..."
"Вон, кацап пошел к арбузам
На зеленую бахчу,
Поднял дыню и — глазами
Провожает саранчу.
Ишь несется! нет конца ей...
Помутила небеса;
Но не села к нам, не съела
Ни пшеницы, ни овса..."
"Значит, все благополучно?"
"Слава богу, куманек!..."
Так они ведут беседу
С бугорка на бугорок...
Но проходит лето, — к югу
За дождем летят грачи;
Опустели огороды,
Обезлюдели бахчи...
Воротилась ли к кацапу
Беспокойная жена?
Не видать... Денек был серый,
Ночь дождлива и бурна.
Сквозь заплаканные окна

Тускло светят огоньки...
И, взъерошенные бурей,
Приуныли хуторки.
Да и на сердце неладно...
Что-то втайне их мутит,
Недовольны чем-то, — каждый
Подозрительно молчит.
Вот глядит один и видит
Ночью красное пятно...
Пригляделся, — у кацапа
Занавешено окно.
Лето целое ни разу
Не подумал он о том,
Чтоб к окну приладить ставень
Иль заткнуть стекло тряпьем.
Так зачем же занавеска?
Аль кацап, хоть и женат,
Позабыл семью и бога,
И боится — подглядят.
Вот другой глаза таращит
(Он, старик, дремал весь день)
И в потемках видит: кто-то
Перелез через плетень.
И за грядами, где бурый
Хмель оборван и повис,

У скамьи сошлись две тени
И любовно обнялись.
Хуторок не скоро понял:
"Что за черт!.. одни!. впотьмах!.."
Подошли, — скрипит ступенька
Спичка чиркнула в сенях...
Эге-ге! Дивчину вашу
Не сберег и домовою...
Вот каков наш астраханец!
И добро бы холостой!
"Ах, грехи, грехи!" И утром
Проболтался хуторок...
Ахнув, бросила старушка
Недовязанный чулок.
Видит, — внучка в новых бусах,
И с нечесаной косой...
"Ах, такая ты, сякая!
Что ты сделала с собой!.."
Внучка вспыхнула, бормочет:
"Я ли первая грешна!.."
То-то будет ад крошечный,
Как воротится жена!..
Хуторки видали виды,
Знают, правдой дорожа,
Что такой любви с похмелья

Недалеко до ножа.
И глядят уже сердито
Друг на друга хуторки,
Старикам такие шашни,
Очевидно, не с руки...
Иногда, назло им, ночью
Тут такая тишина,
Так ярка в холодном небе
Одинокая луна;
Так роса блестит на серых
Паутинках лебеды,
Что и ночью ясно видны
Им знакомые следы.
И не только вдоль тропинки
Слышен шелест резвых ног,
Видно, чья перебегает
Тень с порога на порог...
Иногда ж, назло им, тучи
Так туманят глушь степей,
Так дождит, что слышен гомон
Землю роющих ключей;
Так тоскливо, что уж лучше
Внучки дома не ищи;
Тут всю ночь одна старуха
Дрогнет лежа на печи.

Хуторки дрожат и жмутся,
Внемля гулу голосов,
Вою, свисту, бормотанью
Разгулявшихся ветров.
Чу! не ведьма ли промчалась,
Ухватясь за помело?
Что-то шаркнуло по кровле...
Клок соломы унесло.
Не бесов ли стая скачет,
Не телега ли стучит?
Не жена ли из-за Волги
К другу милому спешит?
Хуторки не спят — и в страхе
Чутко слушают впотьмах,
Не слышать ли ночью крика
Или стука в воротах?!

1895

Если б смерть была мне мать родная,

Если б смерть была мне мать родная,
Как больное, жалкое дитя,
На ее груди заснул бы я
И, о злобах дня позабывая,
О самом себе забыл бы я.
Но она — не мать, она — чужая,

Грубо мстит тому, кто смеет жить,
Мыслить и мучительно любить,
И, покровы с вечности срывая,
Не дает нам прошлое забыть.
<1897>

В НОВЫЙ ДОМ

Из храма, где обряд венчальный
Связал их жребий и сердца,
В свой новый дом, с зеркальной спальней,
Он вез ее из-под венца.
И колыхалася карета,
И жутко было им вдвоем:
Ей — в красоте полурасцвета -
Ему — с поблекнувшим лицом.
Не зимний холод, — желтый глянец
Ей непривычного кольца
Сгонял пленительный румянец
С ее "поникшего лица...
И колыхалася карета;
И, дар обычной суеты, -
Оранжевого букета
С ней дрогли пышные цветы.

— Мечты, куда вы улетели?! -
Злой дух ей на ухо шептал...
Колеса по снегу скрипели -
И ветер след их заметал.
Метель недаром разыгралась,
Недаром меркли фонари;
Он ласки ждал, — она боялась
Дожить до утренней зари.
И как надежда — как свобода
От позолоченных цепей,
Как смерть — предчувствие развода
Таилось на сердце у ней.
1893

МГНОВЕНИЯ

... **Н**еведомый и девственный родник,
Святых и чистых звуков полный.
М. Лермонтов

В дни ль уединения
Скучного, досужного,
Или в час томления, -
В час, когда надменное
И не откровенное

Сердце снова мается,
Редко, но случается,
Что наш ум подавленный
Жизнью подневольною,
Рабскою работою,
Или обесцвеченный
Суетной заботою,
Вдруг, как бы встревоженный
Искрой откровения,
Чутко ждет иль чувствует,
Что вот-вот подкрадется
То, что в нем отсутствует, -
Нечто вдохновенное,
В красоту повитое,
Всем сердцам присущее,
Всеми позабытое,
Нечто несомненное,
Вечно неизменное,
Даст нам успокоиться -
Промелькнет и скроется!
Ночью ль благодатною,
В сладкий час свидания,
В утро ль ароматное,
Свежее, согретое
Лаской расставания,

Как ни очарованы
Мы земной услугою,
Как мы ни спасаемся
В миг самозабвения
От самосознания,
Все ж мы просыпаемся,
Счастьем удрученные,
С чувством сожаления
Или сострадания:
То над нами носится
Тень воспоминания,
Или в душу просится
Смутное предчувствие
Близкого, обидного
Разочарования.
И тогда случается,
К сердцу приласкается
Чувство беспредельное,
Светлое, далекое,
Счастье неизменное,
Нечто беспечальное
Вечно идеальное,
Даст нам успокоиться -
Промелькнет и скроется!
Июль, 1897. Райвола

Я врагами богат и друзьями,

Я врагами богат и друзьями,
Стало быть, и вражда — не беда,
Но беда, что сильна, и криклива,
И смела боевая вражда.
А наивная дружба готова
Мне и денег, и славы желать,
Но робка, щекотлива и любит,
Молча мне сострадая, вздыхать.
И я, право не знаю, что лучше,—
Эта дружба иль эта вражда?
Поневоле, завидуя силе,
Я врагами горжусь иногда.

И любя и злясь от колыбели

И любя и злясь от колыбели,
Слез немало в жизни пролил я;
Где ж они — те слезы? Улетели,
Воротились к Солнцу бытия.
Чтоб найти все то, за что страдал я,
И за горькими слезами я
Полетел бы, если б только знал я,
Где оно — то Солнце бытия?..
<1898>

Еще не все мне довелось увидеть...

Еще не все мне довелось увидеть...

И вот одно осталось мне:

Закрыв глаза, любить и ненавидеть

Бесплодно, смутно — как во сне!

1898

ПОЭМЫ

Кузнечик-музыкант

Шутка в виде поэмы

ПЕСНЬ 1

Не сверчка-нахала, что скрипит у печек,
Я пою: герой мой — полевой кузнечик!
Росту небольшого, но продолговатый;
На спине носил он фрак зеленоватый;
Тонконогий, тощий и широколобый...
Был он сущий гений — дар имел особый:
Музыкантом слыл он между насекомых
И концерты слушать приглашал знако-
мых.

Под роскошной жатвой жил он в поле чи-
стом,

Оглашая воздух бесконечным свистом
Своего оркестра. Ветренное племя
Скакунов забыло, что в полях в то время
Музыки и вкуса был он представитель.
Все, что нынче летом деревенский житель
Слышит за окошком, лежа на кровати
Или на балкон свой выходя в халате, —

Этот свист трескучий, этот звон безбреж-
ный,

Разлитой повсюду, и сухой, и нежный, —
Если только в этом сумрачном концерте
Есть живая нега и восторг, поверьте, —
Это все былые, вечные созданья
Моего героя, или — подражанья.

Бедненький кузнечик! позабыт твой ге-
ний!

Но ты век свой прожил не без приключе-
ний.

Помню, ты недаром слыл идеалистом:
Сядешь ты бывало в свете серебристом
Месяца, под полог ночи на соломке,
Ветром сокрушенной. (Даром, что не лом-
ки

Гибкие колосья, все же в ниве шаткой
Много их подломит этот ветер гадкий.)

Сядешь ты бывало и во славу ночи
На своей скрипиче пилишь что есть мочи.
И тебя дразнили пискуны пустые,
Комары-злодеи, трубачи степные,
И в тебя влюблялись божи и коровки,
И мутила зависть многие головки,
С тем же, музыкальным то есть, направле-

нъем,

С тою же охотой, да не с тем уменьем.
И грозилась мошка с помощью науки
Умертвить тобою созданные звуки,
И тяжеловесный жук неоднократно
Уверял, что уши смачивать приятно
На твоих концертах, а не то-де уши,
Как трава, завянут от ужасной суши.

В частной жизни также к добреньким ко-
ровкам,

К мушкам и козявкам часто в пренеловком
Был ты положеньи: слушал их признанья,
Робко избегая тайного свиданья.

Но ничто, однако ж, не поколебало
Твоего покоя; никакое жало

Твоему таланту не казалось вредным:

В музыкальном мире был ты всепобедным.

Ты вполне блажен был! — но пришла
невзгода...

Слушайте! Однажды, в половине года,

В самый жар, быть может, в самые Петров-
ки,

В дни, когда на рынках потные торговки
Продают малину, вишенья, клубнику
И, маша платками часто не без крику,

С мухами заводят из-за ягод ссоры;
В дни, когда из праха созидают горы
Муравьи и роют скрытые туннели
Под корнями дуба иль смолистой ели;
Бабочка, танцуя, празднует свободу;
А пчела, с клубочком золотого меду,
Покидая липу, вся в пыли цветочной,
Так и льнет к жасмину белизны молочной;
Шмель, бичуя воздух, знойный и души-
СТЫЙ,

И кружась над морем нивы золотистой,
Пропадает в блеске солнца, как пылинка;
В дни, когда для мошки каждая былинка
Получает соки, сладость и значение,
И она вкушает те же наслажденья, —
Стало быть, в Петровки, около полудня,
Мой герой, кузнечик, понаевшись студня,
То есть за обедом начинив желудок,
Вышел насладиться видом незабудок
И, вдыхая запах алого горошка,
Лег, прищуря глазки, — и мечтал немнож-
КО.

Много пролетало мимо насекомых,
Ос, шмелей сердитых — трубачей знако-
МЫХ,

С разными вестями. Ни к кому с вопросом
Он не обратился. Все, что перед носом
У него вертелось, ползало, жужжало,
Было чуждо сердцу — и не занимало...
Моему герою, верно бы, вздремнулось,
Как и вам, читатель, если б не взгрустну-
лось.

Вдруг над ним порхнуло чудное виденье,
Бабочка — такая, что — мое почтение!
Белизны жемчужной крылышки с каем-
кой,
Глазки — изумруды, носик нежный, тон-
кий,
Бархатец на шейке, бантик на затылке.
Увидал кузнечик — затряслись в нем жил-
ки.

Бабочка все ниже и так близко вьется,
Что невольно сердце у артиста бьется.
Бабочка — не знаю, видела ль бедняжку
Или не видала, — только кушать кашку
Села — и, конечно, ничего не съела.
«Ах! — она сказала, — если б я умела
Так же петь отлично, как один известный
Всем артист-кузнечик! — Если бы небес-
ный

Голос я имела, — как бы я запела!

О, как я бездарна! о, как я...» —

«Напрасно...» —

Перебил кузнечик. (Он влюбился страстно
В милую болтунью.)

Бабочка украдкой

На него взглянула:

«Ах, какой он гадкий!» —

Думает... Однако ж улыбнулась мило,

Подняла свой носик и проговорила:

«Отчего ж напрасно?!» —

«Отчего!?» —

Смешался

Мой артист, однако рекомендовался.

«Очень, очень рада! — молвила кокетка
(Бабочки бывают без кокетства редко). —

Очень, очень, рада! Звуки вашей скрипки

Часто долетают даже к нам под Липки».

Покраснел кузнечик, начал завираться,

Умоляя гостью чаще с ним видаться.

Бабочка вспорхнула и, не давши слова

Прилететь вторично, прилетела снова

И заговорила:

«Даже в свете знают,

Что большой вы гений, — все вас изуча-

ЮТ...

Только я к вам с просьбой: сделайте такую
Божескую милость — напишите злую,
Злую эпиграмму на мою соседку,
Бабочку-кокетку, что недавно в сетку
К мальчикам попалась и с крылом помя-

ТЫМ

Ночью воротилась к братцам глуповатым.
Эти братцы также пребольшие фаты,
И воображают, что они богаты!

К эпиграмме можно сочинить любую
Музыку — такую, самую смешную».

Упорхнула гостья — а кузнечик бедный
Так был озадачен, что немой и бледный
Шел он, глядя в землю (так, видал я, в воду
Сунувшись, мальчишки ищут в речке бро-

ду),
Шел, повеся нос свой, чуть переступая
Длинными ногами и соображая:

ТЬфу! Да как же это? — разве эпиграммы
Можно класть на ноты? Ах, как глупы да-

МЫ!
Шел он, шел, и бредил: то ему казалось,
Что она хитрила и над ним смеялась,
То воображал он, что Сильфида эта

Захотела только испытать поэта
И ему такую задала задачу,
Что хоть плачь!

«Однако ж, что ж я время трачу! —
Думает кузнечик. — Разве не сумею
Я в смешном и жалком отразить идею».

И с таким решеньем за работу смело
Принялся он: мигом закипело дело —
И слова и звуки. Хоть и не бывал он
В обществе Жорж-Занда — вот что написал

он:

«К мальчику под сетку бабочка попалась

—

Краски полиняли, крылышко помялось.

Если враг лукавый расставляет сети,
Кто в них попадает? — попадают дети.

Боже! отчего же за поступок детский

Их казнит так страшно суд великосвет-
ский?»

Кончено! —

И начал сочинять он ноты;

И устал он, бедный, от такой работы.

Но любовь всеильна! Оставалось скли-
кать

Прочих музыкантов — и начать пиликать.

И народу куча собралась на пробу;
Даже жук навозный, начинив утробу
Всякой дрянью, смуглый, толстый и рога-
тый,

Уши от простуды затыкая ватой,
За толпой туда же пробрался сторонкой, —
Ничего не понял, но заметил тонкий
Хвост у музыканта и бочком поплелся
Рассказать соседям, что-де он сошелся
С молодым маэстро, что-де он невзрачен.
Что его фигурой был он озадачен...
Черная козявка, та, что бьет баклуши
И весь день вертится, наострила уши;
Божия коровка всех перепугала:
От восторга ныла — ныла и упала
В обморок... Спасибо, муравей, с шнуров-
кой

Под жилетом модным — малый очень лов-
кий —

Дал ей спирт понюхать в маленьком фла-
коне

Он встречал коровку у N. N. в салоне.
Где он появлялся, насурмивши бровки,
И, быть может, рад был услужить коровке.
Много было шуму: музыку хвалили,

Музыку бранили, спорили, судили. —
Бабочки ночные, в сереньких бурнусах,
В белых пелеринках и в гранатных бусах,
Просто побледнели от негодованья,
Раскусивши новой песни содержанье.
Но в тот день герой мой так уж был рассе-
ян,

Что и не заметил, кем он был осмеян.

ПЕСНЬ 2

Эос поднимала алыми перстами
Темные покровы ночи — и местами
В небе загорались огненные пятна.
Жизнь, полупроснувшись, слабо и невнят-
но

Бормотала в роще, бормотала в поле.
Поцелуй сливался с ропотом неволи
Всюду, где лишь только брачные оковы
Гименя были ржавы и не новы.
Поцелуй был звонче, ропот был нежнее —
Там, где эти цепи были поновее.
Лишь один герой мой этой сладкой муки
Не вкушал и, верно, умер бы со скуки...
Рано он проснулся — но не до зевоты
Было музыканту: нужно было ноты
На листочках розы написать как можно

Лучше, тоньше, чище. — Тихо, осторожно
Перышком водил он... Сочинил виньетку,
Где изобразил он миртовую ветку —
Миртовую ветку, а над ней с крылами
Огненное сердце, с надписью стихами:
«Я неуловима; но не унывайте!
Обожгитесь прежде, а потом поймайте!»
Даровитый малый был артист мой — мило
Сочинил он эти два стиха; в них было
Столько такта, столько нежности игривой,
Что в наш век холодный и самолюбивый
Ни один кузнечик не найдет в них смысла
И, быть может, даже улыбнется кисло.
Для кого ж на этих розовых листочках
Мой герой всю душу в линиях и точках
Выражает, сердцем страстно пламенея? —
Для тебя, Сильфида, праздничная фея,
Цветников роскошных милая жилица!
Но откликнись, где ты? где твоя светлица?
Спишь ли ты? Быть может, всякие обновки
Бог-Морфей готовит для твоей головки.
Для Морфея нет ведь никаких таможен.
Для твоей головки всякий сон возможен —
Глупая головка!
Солнце поднимает

Из-за сосен шар свой. Сильно припекает
Жатву. Сладко пахнет в воздухе гречихой
По ржаному полю утренничек тихий,
Ветерок, гуляя, росу отрясает,
Быть дождю иль вёдру — по росе гадает
И шуршит соломой, словно беспокоясь,
И ему колосья кланяются в пояс.
А лопух, высоко поднимая шишку
С веником, из листьев сделал точно крыш-
ку,

Так расположил их, что под их навесом
В жар всегда прохладно молодым повесам.
В сей харчевне много всяких насекомых;
Но на это время никого знакомых.
Вот сидит кузнечик, но не наш кузнечик,
А другой, — и курит, точно человек.
С нашим музыкантом он одной породы —
И скрипач, быть может, но не любит моды.
Лапками на шею повязал тряпицу,
В зубы взял сигару, да и корчит птицу.
Клопика заставить заплатить за водку,
Напоить козявку, осмеять коровку,
Муху одурачить, паука спровадить,
И при всем при этом с целым миром ла-
дить

Был он мастерище. — Страстно обожал он
Нашего артиста; редко покидал он
Друга, даже пьяный; перед целым светом
Защищал — и часто наделял советом,
Ибо, хоть и редко брал он книги в руки,
Знал он «Твердо», «Слово» и не верил в «Бу-
ки».

Под лопух в харчевню рано он забился,
Потому что утром не шутя бранился.
Больно было другу — больно и досадно,
Глядя на артиста, видеть, как нескладно
Он проводит время, вечно задыхаясь
От бесплодной страсти и ни в чем не каюсь.
Но пора вернуться к нашему герою!
Тот, кто болен сердцем, болен головою,
Так всегда бывает: тот не жди успеха,
Чье больное сердце голове помеха.
Бабочка гуляла — и кузнечик тоже
(Так и мы гуляли, бывши помоложе!);
Наконец, гуляя, встретились — и, ножки
Подогнув, кузнечик ей кивнул. — С дорож-
ки

Бабочка, виляя, села на цветочек.
Он прыг-прыг — и рядом сел на бугорочек.
«Ах! — она сказала. — Я не ожидала!

Я вас за другого приняла сначала!
Вашу эпиграмму нам вчера достали:
Вы мою соседку мило оправдали.
На нее за это все напали вдвое...
(Насекомых племя — племя очень злое!)
Впрочем, ваши мысли так всегда игривы,
Так всегда глубоки, так красноречивы
И так звуки сладки — точно земляника».
Лестное сравненье — было очень дико;
Но его артист мой даже не заметил —
И уж я не знаю, что он ей ответил.
«Ба! — его Сильфида громко теребила, —
Вы мне написали ноты?! Ах, как это мило!
Очень благодарна! очень благодарна!»
И она при этом тонко и коварно
Улыбнулась; глазки стали веселее,
Или — кто поймет их? — стали просто
злее.

Помолчав немного, бабочка вздохнула
И сказала: «Поздно я вчера заснула...
У моей кузины я была на бале...
То-то б вы влюбились, если б увидали!
Впрочем, извините! — я вас утомила
Болтовней. Прощайте!»
И она сложила

Крылышки (так точно бабушкины внучки,
Гостю приседая, складывают ручки),
И по-над дорожкой, тихо ковыляя,
Словно листик ветром сорванный, мель-
кая

Белизною крыльев, понеслась Сильфида...
Скоро мой кузнечик потерял из вида
Полевую фею, подскакнул, вцепился
В усики ржаного колоса — и злился,
Что проклятый ветер колос нагибает,
Нагибая колос, видеть вдаль мешает...
В этом положеньи шмель его увидел
И нескромным словом прыгуна обидел.
Бедненький кузнечик тут же спохватился,
Растопырил фалды и в траву свалился.

ПЕСНЬ 3

На глазах с повязкой, стало быть, слепая,
Едет где попало, день и ночь зевая,
Глупая Фортуна. Ею прихоть правит.
На одних наедет — колесом раздавит,
На других наткнется — вдруг начнет бро-
саться

Золотом, чтоб только поскорей умчаться,
Да забрызгать липкой грязью пешехода,
Да загнать в объяття красоты уroda,

Или так, без пользы и не для примера,
Сдернуть мимоездом маску с лицемера.
Рыская по свету, этот идол света
Не имеет сердца. — Прихотница эта
Никого не любит; и когда бросает
Деньги, звезды, ленты — денег не считает;
Звезд сама не носит, лент не покупает;
И когда счастливо влюбит двух несчаст-
НЫХ,

Их лица не видя, из речей их страстных
Верно заключает, что влюбиться значит:
И себя дурачить и других дурачить.
Так сама Фортуна, на глазах с повязкой,
Счастье в этом мире почитает сказкой.
Для такой богини целый мир — пустыня!
И не то, чтоб эта странная богиня
К нашему герою благосклонна стала:
Только улыбнулась и в него попала
Чем-то благовонным, проезжая мимо.
Здесь, поставив точку, мне необходимо
Вам сказать, что жертва тайного страда-
НЬЯ,

Мой герой, кузнечик, получил посланье,
Спрыснутое амброй. Бабочка писала:
«Приходите, жду вас!» — Счастлива немало

В себе заключало это выраженье —
«Приходите: жду вас!» Это приглашенье
Принял мой кузнечик с той надеждой тем-
ной,

При которой искра кажется огромной
Огненной звездой. Друг его, гуляка,
Принимал все к сердцу — много врал. Од-
нако,

Если только слушать мы его захочем,
Говорил такие речи между прочим:
«Ты, брат, рассуждаешь глупо и постыдно!
Буду правду резать: где же это видно,
Чтоб сверчок...» —

«Кузнечик», — перебил кузнечик.

«Чтоб сверчок...» —

«Кузнечик», — перебил кузнечик.

«Ну хоть и кузнечик! — ну, положим даже,
Ты сверчка немного чище и поглаже
И немножко больше чувствуешь свободы

—
Все ж ты, братец, с нею не одной породы.
Знаю я всех этих бабочек, бабошек!
Жить они не могут без цветных ветошек;
За женой бабошкой где ж тебе упрыгать?
Где ж тебе повсюду вслед за нею шмыгать?

В свете, где нередко всех умней — невежда,
На талант — плохая, братец мой, надежда».

«Слава — вот надежда». —

«Экой, брат, ты, право!

Рассуди же здраво и пойми, что слава

У людей бывает; а у насекомых

Что такое слава? — болтовня знакомых.

Мы не лавры носим — носим побрякушки,

То есть наша слава просто — финтифлюш-

ки,

Как сказал когда-то автор водевильный

Публике, пуская пузырьречек мыльный».

Тут гуляка, видно, утомившись спором,

Оглядел артиста мутно-строгим взором;

Выпил рюмку водки, пискнул, углубился

В созерцанье почвы и — утомонился.

Ну, и слава Богу! Не до возражений

Было музыканту. Как упрямый гений,

Он с хлыстом, наместо беспокойной скрип-

ки,

По меже зеленой поскакал под Липки.

Липки — это было нечто вроде парка:

В середине — прудик, а при въезде — арка

Из ветвей — такая, что была, бесспорно,

Чудом совершенства; так была просторна,
Что, вообразите, насекомых двести
В ряд могло бы въехать. Вы меня повесьте,
Если вру! Строитель, я и не скрываю,
Был — сама природа; только я не знаю,
Кто ей за работу заплатил; а впрочем,
Здесь мы о природе вовсе не хлопчем...
Так, чтоб журналисты нас не заклевали,
Признаюсь, что в доме бабочек едва ли
Описать возможно лестницу под желтым
Ковриком из моху, кое-где протертым;
Пасмурные сени, где с утра лакеи
Без сапог быть могут, но не без ливреи;
Залу, где гнилушки, точно сталактиты,
Облепив карнизы, зеленью повиты.
Мой один знакомый, архитектор русский,
Видел в этой зале черепок этрусский;
И я живо помню, хвастал, не краснея,
Как ему в той зале вдруг пришла идея
Украшать со вкусом барские покои,
Покрывая белой плесенью обои,
Впрочем, дом Сильфиды, если только стро-

го

Придираться к стилю, смахивал немного
На дупло.

Кузнечик так был очарован,
Или так был сердцем наэлектризован,
Что дрожал и таял — молча ждал Сильфи-
ды,

Подходил к окошку и глядел на виды.
А Сильфида с кем-то по саду порхала,
С милыми гостями весело болтала.
Гости эти были черви разных кличек
И в траве лежали в виде заковычек.
Чернокожий клопик, верно, сын швейцар-
ский,

Или внучек няни, крестничек боярский,
Доложил Сильфиде, что какой-то длинный
Господин изволит ждать ее в гостиной.
Приглашен герой мой; ему отвечали
На поклон улыбкой и пробормотали:
«Очень, очень рады!» Дамы оглядели
Всю его фигуру и едва сумели
Удержать свой хохот — только покосились
На мужчин; но черви не пошевелились,
Ибо ум их кто-то так ужасно сузил,
Что для них довольно бантик или узел
Галстуха заметить, чтоб на остальное
Не глядеть и в гордом пребывать покое.
Поприще артиста к разным столкнове-

НЬЯМ

Приучает душу; но к обыкновеньям
Милых насекомых высшего разряда
Не привык герой мой. Вдалеке от сада,
Беден, худ и бледен, с головы до пяток
На себе носил он поля отпечаток,
Поля, где лишь тучи подают свой голос,
Колосится жатва и серпа ждет колос.
Знаю, о кузнечик! как ты был отменно
Бабочкою принят. Ты себя надменно
Вел, как будто целый век торчал ты в свете,

С юных лет гуляя в собственной карете.
Но, скажи, в тот вечер, что с тобою случилось,
И каким безвестным чувством сердце сжалось,

И какие думы охватили жарко
Гениальный лоб твой, в час, когда из парка
Ты обратно в поле мчался через кочки?
Отвечать ли?.. или — мы поставим точки.

.....

(Будто бы цензура выклевала строчки.)
Но, злодей-кузнечик, что же ты ни слова
Не сказал гуляке в ночь, когда другого
Не имел ты друга, с кем бы поделиться

Снами, от которых часто плохо спится?
Ненавистник света, бабочек крылатых,
Гладеньких коровок и червей лохматых,
Он — едва вошел ты — спросил сердито:
«Что, брат, был ли ужин? накормили сыто,
Или и понюхать не дали съестного?
Что, брат, как делишки? Все ли там здоро-

во

И благополучно? Ты чему смеешься?
Эх-ма, ничего ты, братец, не дождешься».

«Спи», — сказал кузнечик.

«Сплю», — сказал гуляка

И, вздравши кверху ноги из-под фрака,
Захрапел.

ПЕСНЬ 4

Уходя, день ясный плакал за горою
И, роняя слезы, жаркою зарею
Из-за темной рощи обхватил край нивы.
Дню вослед глядела ночь — и переливы
Света отражались и дрожжа блуждали
По ее ланитам. Тихо начинали
Выходить светила, месяца предтечи,
Перед Божьим троном зажигая свечи.
Далеко стемнело море жатвы зыбкой.

Грустная береза обнялась с липкой.
Призатихла роща. Только дуб шушукал,
Только где-то дятел крепким носом тукал,
Только где-то струйки смутно лепетали,
Только роковые страсти не дремали,
Только насекомых мир неугомный
Голосил немолчно в тишине бессонной,
Стрекотали мухи; комары трубили;
На своих скрипичах весело пилили,
Лихо зная ноты, стало быть, без свечек,
Те, которых хором управлял кузнечик.
Впереди оркестра на своей скрипиче
Громче всех пилил он в честь своей цари-
цы.

Выходила замуж бабочки кузина,
И жених был славный с хоботком детина;
По уму, конечно, не был из проворных,
Но происходил он от червей отборных.
По словам невесты, он лишь был несносен
Тем, что без разбора запах старых сосен
Сравнивал с весенним запахом фиалок,
Уважал шиповник и боялся галок.
Но какое дело нам до этих вздоров.
Бал великолепный! Звуки льются с хоров;
Шпанских мух десятки в золотых ливреях

Курят ароматы в сумрачных аллеях.
Светляки, подобно шкаликам и плошкам,
Вспыхивая, блещут вдоль по всем дорож-
кам.

Копошатся гости. В месячном сиянье
Бабочки порхают в бальном одеянье.
Стрекоза, сцепившись с стрекозой, несется.
Пестрый вихорь вальса шелестит и вьется.
Жужелицы ходят около буфета;
Ползают козявки... И большого света
Жесткие особы — божиин коровки
Собрались друг другу показать обновки.
Молча, подбираясь к двум зеленым мухам,
Два жучка каких-то выступают брюхом
На коротких ножках. Муравей, с шнуров-
кой

Под жилетом модным, с желтенькой ко-
рourkeй

Важно и небрежно, приседая, пляшет.
Резвая Сильфида крылышками машет,
Глазки, носик, ножки, платьица узоры —
Все в ней поневоле привлекает взоры.
Мой артист кузнечик и душой пылает,
И очей не сводит, и как черт играет.
По ее же просьбе, сердцем неизменный,

Сочинил он этот танец вдохновенный,
Танец, под который скачут и поныне
Стаи насекомых на любой куртине
Вашего же сада, если, о читатель!
Сад иль хоть садишко дал тебе Создатель.
Но и насекомых бал не обошелся
Без скандала: в парке, говорят, нашелся
Злой паук, который, с веточки на ветку
Протянувши нити, невидимку-сетку
Сделал так канальски ловко и искусно,
Что тайком, быть может, и покушал вкус-
НО.

Говорят — вдобавок шлепнулась коровка,
И у ней от страха лопнула шнуровка.
Сам артист заметил, как его Сильфиду
Паучок какой-то, пренаивный с виду,
За крыло задевши чем-то вроде петли,
Притянуть старался, и глядел уж — нет ли
Где такого места в этом чудном саде,
Чтоб минут хоть десять провести в прохла-
де,

В тишине, в уюте, дальше от волненья...
Но артист ревнивый понял ухищренья,
Подскочил и порвал роковые нити.
Паучок надулся; а комар: «Смотрите, —

Пропищал артисту, — как вы замарались,
Точно в неприличном месте обретались!»

Покраснел кузнечик: видит — паутина
К рукаву прилипла.

«Экая скотина!» —

Проворчал и вытер. Бабочка ни слова
Не сказала, только выбрала другого
В танцах кавалера: кавалер крылатый
Был ее соседки братец глуповатый.

«Правда ли, — спросил он, — слух идет из
НИВЫ,

Будто бы в маэстро страстно влюблены
вы?

Будто бы кузнечик говорил, что хочет
Он на вас жениться — и о том хлопочет?»

—

«Что вы говорите? — молвила Сильфида,

—

Мой жених — кузнечик! Какова обида!
Кто такие в свете распускает слухи?

Или эту глупость выдумали мухи!» —

«Нет, совсем не мухи-с! Кто-то из оркестра
Говорил, что будто слышал от маэстро».

Фея над собою сделала усилие,

Чтоб не рассердиться, — и, встряхнувши

крылья,

Бросила холодный взгляд на музыканта,
А когда кричали в честь его таланта:

«Браво! фора! фора!» — делала гримаски
Или улыбалась, опуская глазки.

Бал под темным небом длился до рассвета.

Бабочка устала. — Вдруг за рощей где-то
Соловей защелкал.

Ей тогда сказали

(Можно ли без лести обойтись на бале!),

Ей сказали: «Фея! прекратите танец,
Слышите ли пенье? — это иностранец,
Соловей пролетный, вздумал серенаду
Вам давать».

И точно, по всему-то саду

Рассыпались звуки, страстно замирая
В бесконечных трелях. Бабочка, внимая
Соловью, мечтала.

В это время сзади

Подошел кузнечик.

«Фея! Бога ради!..

Что вы так печальны?..» —

«Ах! — она сказала, —

Вы мне помешали... Я воображала,

Что таланты наших не всегда приличных

Скакунов достойны тех певцов столичных,
Имена которых славны за границей.
Боги! отчего я рождена не птицей!
Будь я птицей... Впрочем, если захочу я
Соловья послушать, завтра ж полечу я...»

«О!» — сказал кузнечик...

«Жалкий музыкантик! —

Прошептала Фея, пощипавши бантик

На своем корсаже, — разве я не знаю...» —

«О, — сказал кузнечик, — я не понимаю,

Что вы говорите. Соловьи опасны,

И к тому ж, положим, песни их прекрасны

Все же не в народном духе».

Засмеялась

Бальная царица — и, как тень, умчалась.

Бедненький кузнечик тут же нос повесил

И один остался, бледен и невесел.

Вот упала слезка на листочек влажный,

С ветерком промчался чей-то вздох про-

тяжный,

Словно колокольчик звякнул в отдале-

нье...

Ничего герой мой не слышал: презренье

Было слишком явно... И глядел он мутно
В темный лес, откуда, сладко раздражая
Благовонный воздух и не умолкая,
Соловьиных песен раздавались трели,
И шептал он: «Боги, боги! неужели?
Что ж это такое? Отчего же это?..
Или для поэта миновало лето? —
Пойте, пойте, птицы!» Но сердца больные
Врачевать не могут песни не родные.

ПЕСНЬ 5

Плачь, родная Муза! Затяни ты песню:
Не о том, как «ходит молодец на Пресню»,
Не о том, как «пряха пряла — не лени-
лась»,

Не о том, как «Волга-матушка катилась», —
Спой нам песню так, чтоб туча разрази-
лась

Над широкой нивой, чтоб дождем шумя-
щим

Пробежала сила по листьям дрожащим,
Чтоб червей, враждебных зелени и лету
Ненавистных, падких к завязи и цвету,
Смыло, разнесло бы по крутым оврагам!
Туча дождевая, будь ты нашим благом!
Поднимая ветер, оборви ты сети

Паука с крестами, что гордится в свете
Тем, что иссушил он множество народу,
Из души и сердца высосав свободу!
Бабочкам грозю опали ты крылья,
Чтоб хоть их за это снова полюбил я! —
Так стонал кузнечик под наитьем бурной
И мятежной думы. А над ним лазурный
Василек качался, наливался колос,
И, жужжа, знакомый проносился голос:
«Слышишь ли ты грома дальние раскаты?
Погляди на тучки, что без крыл крылаты,
Мрачны без печали, без улыбки ясны,
Как гроза, могучи, как туман, бесстраст-
ны!»

Проносился голос, но в душе артиста
Раздавалось что-то вроде злого свиста.
Оскорбленный светом, огорченный балом,
Не на шутку мрачным стал он либералом.
В этом месте надо, в виде объясненья,
Маленькое к Липкам сделать отступление.
Бабочка, герою изменив, сначала
За его нескромность уколоть желала;
А потом — головка, видно, закружилась —
И она не в шутку в соловья влюбилась.
Иностранец этот в мире насекомых,

Говорят, был дерзок и клевал знакомых.
Отомстить любовью этой чудной птице,
Приковать к победной своей колеснице,
Песни и посланья сочинять заставить
И, быть может, в свете тем себя просла-
вить:

Вот что замышляла ветренная фея.
К нашему ж герою, просто, не краснея
И не церемонясь, клопика послала
И «блогодарю вас» ему написала.
Эта «блогодарность», вместо «благодар-
ность»,

Пуще огорчила моего героя.
А гуляка страшно хохотал и, строя
Разные гримасы, говорил, что блохи
Более полезны, чем пустые вздохи.
Может быть, артист наш, раз отдавшись
снова

Музам, позабыл бы, как любовь сурово
Обошлась с ним, то есть: позабыл бы эту
Ветреную фею; к будущему лету
Сочинил бы кучу гимнов и сонетов,
Был бы снова счастлив счастьем поэтов,
Сел бы на соломку, чтоб во славу ночи
На своей скрипиче пилить что есть мочи;

Но, к его несчастью, вдруг распространилась

Весть, что будто что-то с бабочкой случилось:

Говорили, будто бабочка бежала,
Бабочка погибла, бабочка пропала.
Прямо шли из парка эти злые слухи,
Стало быть, не ввали комары и мухи:
Была вероятность!

Долго этим слухам

Мой артист не верил. Вдруг, как бы обухом
Кто-нибудь героя съездил прямо в ухо,
Он поверил разом в достоверность слуха;
Только что успел он всех предать прокля-
тью,

Получил пакетик с маленькой печатью.

Вот письмо:

«Вы были к нам равнодушны —
Если правда, будьте хоть любви послуш-
ны:

Поищите нашу милую Сильфиду
И ее не дайте соловью в обиду.
Кто вам это пишет, сами угадайте.
Если ж будут вести, в Липки передайте».
Прочитав такое странное посланье,

Он в припадке страсти и негодованья
Начал просто хныкать... хныкал, долго
хныкал!

(Эдакое горе он себе накликал!)

Приближался вечер. — К счастью, гуляка
Был в харчевне, клюкнул и, краснее рака,
Постучался к другу. Он расставил ноги,
Увидавши слезы и следы тревоги
На лице артиста.

«Ба! Какие страсти!

Выпей, братец, клюкни! — будешь нашей
масти! —

Возгласил гуляка. — Плюнь ты на Сильфи-
ду —

И тебя не дам я никому в обиду». —

«Бедная Сильфида, что с ней? — не без пис-
ку

Отвечал кузнечик, — на! прочти записку».

—

«Ничего не вижу!» — пробурчал гуляка,
Ибо он не даром был краснее рака.

Тут ему кузнечик рассказал, в чем дело,
И они решились в путь пуститься смело.

Мой герой готов был с соловьем хоть
драться,

А гуляка вышел просто поразмяться.

ПЕСНЬ 6

Вечер был ненастный. Квакали лягушки;
Под налетом ветра зыбкие верхушки
Жатвы колыхались, словно волны; капал
Тихий дождь — и где-то перепел вавакал;
Пауки свернулись; пораскисли мушки;
Комары притихли.

Около опушки

Леса наш кузнечик шел сам-друг с гулякой.
«Слушай-ка, приятель! надо бы на всякой
Случай запастись нам фонарем», — шагая,
Говорил гуляка. Но, не возражая
На совет, кузнечик приостановился:
С ветром из тумана к нему доносился
Звук ему знакомый: два степных артиста
На дрянных скрипичах хрипло и нечисто
Выводили нотки... беспрестанно эти
Нотки обрывались.

«Ты имей в предмете, —

Продолжал гуляка, — что впотьмах на-
ткнуться

Можно на лягушку, или кувыркнуть.

Гей! — он свистнул. — Кто там? —

и, под подорожник

Заглянувши, крикнул: — Ну-ка, ты, пирожник,

Выходи!»

И вышел таракашек, смуглый,
Как медовый пряник, и, как булка, круглый.

«Что вам надо?» —

«Где тут к светляку дорога?» —

«Дальше, барин, дальше! поправей немно-
го,

Там, под божьей травкой, две еловых шиш-
ки,

Там спросите... Жаль, вот, спят мои маль-
чишки». —

«Э! — сказал гуляка, — мы идем не свищем,
А к еловым шишкам сами путь отыщем».

—

«Дали бы на водку, я пошел бы с вами». —

«Не ходи, любезный!» — шевеля усами,

Возразил гуляка.

«Больно ночь муруга!» —

«Ну, не ври, любезный!»

И пошли два друга

К двум еловым шишкам. Стук-стук! — «От-
воряй-ка

Двери!» —

«Кто там?» —

«Леший!» —

«Кто там?» —

«Вылезай-ка!»

И светляк с разбитым фонарем пустился
В лес казать дорогу. Клялся и божился,
Что совсем не знает, где там обитает
Соловей, что нужно, если кто желает
Знать его фатеру, допросить у Розы.

«Я, — сказал гуляка, — у такой занозы
Спрашивать не стану: и глупа ужасно,
И молчит, как рыба, и небезопасна». —

«Ну, так хоть улитку допросите». —

«Враки!

Ты совсем не знаешь, где зимуют раки.

Надо втихомолку пробираться влево,
К муравьиным кучам, дальше от посева».

Вдруг гуляки голос превратился в шепот:
В темноте раздался чей-то резвый топот,
В куст через дорогу проскакала мышка.

У гуляки тотчас началась одышка:

Он маленько струсил. Впрочем, от испуга
Скоро он очнулся, догоняя друга.

Ветер унимался, и луна в сквозные

Своды темной рощи словно золотые
Струны протянула. Мшистые корни
Просияли, словно дожидаясь пенья.
И, о чудо! в дебрях вдруг раздался голос
Соловья — и дрогнул мой артист, и волос
Дыбом на макушке стал от ощущенья
Страха и тревоги, гнева и смятенья.

«Вот он! вот!» — шепнул он, притаив дыха-
нье.

«Что это за пенье? Просто рокотанье, —
Тут ему заметил друг его гуляка, —
Все в одних руладах, все в одних...» —
«Однако, —

Возразил герой мой, — не бранись напрас-
но!

Плут едва ли может петь так сладкоглас-
но».

«Что вы тут? Зачем вы?» — харю выстав-
ляя

Из норы, спросила их оса лесная.

«Эх, оса голубка! что ты смотришь волком:
Мы не лиходеи, — отвечай нам толком:
Вышли мы на поиск...» И кузнечик смело
Выглянувшей харе объяснил, в чем дело.
«Нешто я не знаю, как она вертелась, —

Запищала харя, — пофиньтить хотелось...
Этому никак уж третий день, как минул...
Соловей-то клюнул, да потом и кинул.
Ползала бедняжка, ползала немало;
Если в муравейник сдуру не попала,
Где-нибудь у наших червяков спросите...
Я ж оса — и только, — ну и не взыщите!» —
С этим словом, как-то скорчась, опустилась
Харя эта в норку и в подвале скрылась.
«Так бы вот и съездил я по этой харе, —
Проворчал гуляка, — если б был в ударе».
Но артист-кузнечик горестным рассказом
Так был отуманен, что, казалось, разум
Потерял... И долго сладостные трели
Соловья так смутно для него звенели,
Как звенит порою в час ночной метели,
Глухо замирая, колокольчик дальний
В глубине пустыни снежной и печальной.

ПЕСНЬ 7

Долго, до полночи прыгуны блуждали,
Наконец на свежий след они напали.
Светлячок вертелся подле их недаром,
И Диана, тучку золотым пожаром
Охватив, недаром отклоняла ветки
И кой-где чертила яркие отметки;

Для моих героев бледный луч богини
Путеводным светом был среди пустыни.
Там, неподалеку спеющей брусники,
Под корнями красной полевой гвоздики,
Одиноким трупом бабочка лежала:
Ножки протянула, крылья распластала
И, казалось, лежа небесам молилась,
Вся окоченела, но не изменилась;
Тот же сохранился очерк милый, нежный,
Тою же сияли белизною снежной
Матовые крылья. Черная косынка
На груди раскрылась. Крупная слезинка,
Как алмаз, блестела около ресницы,
И как бархат были темные косицы.
Мертвая казалась сонной; но чернела
Маленькая ранка... Молча возле тела
Постоял кузнечик, сердцем надрываясь.
Молча с огонечком к трупу наклоняясь,
Светлячок, как будто сильно пораженный
Небывалым чудом, жмурился, как сонный,
У гуляки тоже хмель прошел. Сурово
Он глядел, и то, что видел, было ново
Для него. Он понял, что была б тут шутка
Вовсе неприлична. Даже как-то жутко
Становилось сердцу вечного гуляки,

Даже покривилась рожа забияки,
Потому что был он добрая скотинка.
Видя, как у мертвой на лице слезинка
Неподвижно светлой капелькой стояла,
Он шептал: «Бабошка! — Ты отпировала!
Так и мы у смерти дни свои воруюем;
Попадемся с кражей — да и отпируем!»
Впрочем, мой гуляка был такого сорту,
Что свое унынье вмиг отправил к черту
И, толкнув артиста, молвил: «Ну, конечно,
Жаль, да ведь нельзя же горевать нам веч-
но!

Сделаем носилки, и ее прилично
Отнесем под Липки. Все пойдет отлично.
Только ты напрасно, брат, не надрывайся,
Сил не трать и плакать после постарайся».
Сделали носилки, положили тело,
Подняли и долго поступью несмелой
Шли они по травкам, шли они по кочкам.
Впереди, мелькая ярким огонечком,
Шел светляк — и сотни разных насекомых,
Нашему артисту вовсе незнакомых,
Шумно просыпались в перелеске темном.
«А! ба! кто там? что там?» — слышалось в
сонном

Царстве. Вдруг во мраке жалкий писк раздался:

Муравей какой-то под ноги попался
Нашему гуляке — он его и тиснул.

Вслед за этим визгом — в роще кто-то свистнул.

Комары, проснувшись и поднявшись роем,
Затрубили в трубы, точно перед боем.

Но слетевшись кучей и увидев тело,
Взяли тоном ниже (поняли, в чем дело...)

И, трубя плачевно, в расстояньи дальном
Огласили воздух маршем погребальным,

К светляку другие светляки пристали:
Свечи их то гасли, то опять мелькали.

С жалобным жужжаньем поднимались мухи

И, жужжа, друг другу поверяли слухи.

Бабочка — Сильфиды прежняя подруга —
Высунула носик, бледная с испуга,

И потом, спустившись по листочкам, села
На холодный камень и — оцепенела.

Предрассветный ветер, невидимкой вея,
Думал, что воскреснет молодая фея:

Шевелил у мертвой легкими крылами,
И дышал в лицо ей влажными устами,

И потом далеким проносился стоном,
И по всем тропинкам отдавался звоном,
Чашечки лиловых цветиков качая.
И роса, как слезы, холодно сверкая,
Медленно стекала с усиков цветущей
Повилики, робко по стволам ползущей;
И благоухали тысячи растений;
И сквозь дым деревья в виде привидений
Головой кивали. — Тихо раздвигая
Облака, вставала зорька золотая, —
И когда все стало ясно от улыбки
Пламенной богини, принесли под Липки
Мертвую Сильфиду — там ее сложили,
Вырыли могилу и похоронили.
И когда над этой новою могилой
Думал злую думу мой артист унылый,
В жарких искрах солнца за лесной курт-
ной
Звучно раздавался рокот соловьиный.

МЕЧТАТЕЛЬ

(Юноша 30-х годов XIX столетия)
(Отрывки из поэмы)

Вера есть величайший акт человеческой свободы.

В. Жуковский

Мертвые суть невидимые, но не отсутствующие.

Отдадим справедливость смерти.

Виктор Гюго

I
Те образы, черты которых были
Так живы, так знакомы не одним
Моим глазам, и навсегда могилой
Заслонены и даже как бы смыты
Потоком лет — не призраки ли?..
Но они как бы вернулись и — зовут...
Или, безмолвствуя, мне указуют
На прошлое. И в этом прошлом я
Кажусь им тенью, мертвой для живых
Живой для них, — по существу такой же,

Как и они. И вижу я себя
С другим лицом, в кругу других, когда-то
Мне близких лиц...
И вот одно из них,
Которых тень иль дух неуловимый,
Никем не ведомый, никем не зримый,
В моей душе иль в памяти моей
Приемлет вновь и цвет и очертанья
И голос — это милое лицо
Ровесника и друга школьных лет,
Поэта-мистика, который мне вверял
Наивные мечты свои. Увы!
В тридцатые года романтик юный
Сгорел от них, и на моих глазах
Угас навеки...
Звали мы его
Вадимом, а фамилия его
Была Кирилин. Будь он жив, — быть мо-
жет,
Он так же бы боролся и с нуждой,
И с неотвязной музой.
Но его чело
Не знает терний, и он спит глубоко
В сырой могиле, и могилы этой,
Когда-то дорогой и орошенной

Слезами и увенчанной цветами
Из городских садов, теперь никто бы
И не нашел... Не долговечно наше
Посмертное жилище, как и все
На свете.

Но каким воскрес он
В моих воспоминаньях, как любимый
Товарищ, пусть таким и выплывает
На этот лист бумаги, для того,
Чтоб перейти в печать или в камин
Что иногда почти одно и то же...

.....

IV

В летний день, бывало,
По воскресеньям, уходил он в рощу,
Что примыкала к городскому валу,
И где паслись коровы. Звук свирели
Пастушеской и ржанье кобылицы
Стреноженной, и перекатный шум
Колеблемых дыханьем ветра листьев,
Как музыка, ласкали слух его;
И вдоль ручья он уходил далеко
От города; и как рыбак, который,
Закинув удочку, ждет целые часы
Улова, чтоб не даром голодая,

Прийти в свою семью с лещом иль щукой,
Так, походя, весь день, он ждал чего-то
Необычайного: прислушивался к ветру,
Приглядывался к искрам солнца в струй-
ках

Чешуйчатых, ласкающих камыш;
Или под тень развесистой ракиты
Ложился на песок, и напряженно,
Как бы подглядывая чей-то вечно
Теряющийся шаг, глядел он
На все далекое и близкое, как будто
Боялся проглядеть или проспять
Неведомое им в природе чудо
Или виденье... Сам не понимал он,
Что иногда таилось у него
В душе болезненной, готовой верить
И в красоту, и в бога, и в природу,
И в демона.

V

В двенадцати верстах
От города был монастырь. На берегу
Оки стоял он, заслонившись рощей
Березовой от столбовой дороги.
И летом он ходил туда — молиться.
Но что мудреного, что наш мечтатель

Любил крутой, высокий берег — вид
На луговую сторону реки,
Возобновленный, бедный монастырь
И те развалины, где находился
Великокняжеский когда-то терем.
Там, по преданью, жил когда-то
Или гостил великий князь Рязанский
(Олег, колеблющийся современник
Побоища на Куликовом поле).
Невзрачен был вид этих теремов
Или развалины: то был не замок,
И не дворец, а просто дом кирпичный,
Без потолка, с обрушенным карнизом
И маленькими окнами. (Без окон,
С подвальным входом, нижний был этаж).
Обломками старинных изразцов
И кирпичей засыпанные сени
Высокою крапивой заросли,
Тогда как на стенах, вверху, ютились
Березки и кудрявились кусты...

VI

Все проходили равнодушно мимо
Кирпичных стен неживописной этой
Развалины; один Вадим Кирилин
Любил там по часам стоять и слушать,

Как наверху весенний ветерок,
Порхая, шелестел листвою березок,
И как там пели птички... Это все
Невольно говорило сердцу и уму,
Что жизнь и знать не хочет ни о том,
Что было, ни о том, что будет. Всю
Природу удовлетворяет миг
Насущного... Но мы не таковы!
Без прошлого и будущего мы
Не можем жить, принадлежа всецело
Обоим, как растительная жизнь
Принадлежит корням, цветочной пыли
И завязи плодов. Между грядущим
И прошлым мы — таинственная точка,
Лучистая, которая нам светит
Или назад, или вперед... Кирилин
Любил, оглядываясь, рисовать
И нашу быль, и наши небылицы:
Немудрено, что стоя перед этой
Красноречиво-бедной стариной,
С ее нерадостно прожитым веком,
Мечтал он и, мечтая, домечтался
До лихорадочного бреда. Вот как сам
Описывал он мне свой странный бред,
Наверное прикрашенный его

Живой фантазией:

VII

"Всю ночь согреться

Не мог я; но, ты знаешь, я люблю
Простудою лечиться от простуды,

Прогулкой от бессонницы; и вот,

Не торопясь, дошел я до того

Монастыря, где схоронен отец мой

И где когда-нибудь меня зароят,

И там застал я позднюю обедню,

Заупокойную; но я заметил

У клироса Метелкина Захара,

А где Захар Кузьмич, там не могу я

Молиться — сам не знаю почему...

Быть может, оттого, что осуждаю,

А если осуждаю, то грешу,

И этот грех мешает мне молиться.

В приделе гроб стоял, и так сквозило

Тлетворной сыростью, что вышел я

На воздух, — голова кружилась, сердце

В виски стучало. Утро было тихо,

Тепло и пасмурно... Я был не в духе

И тосковал, и даже без причины

Готов был плакать... Незаметно, ежась,

Я подошел к обломкам, — сам обломок

Великого чего-то, может быть,
И беспредельного чего-то, — но чего?
Не ведаю... И вот невольно стал я
Глядеть в окно глухой, кирпичной
Развалины, и вдруг передо мной
Возник далекий век... В туманном
И пыльном полусумраке, в окне
Я увидал тесовую кровать
Под пестрым пологом; а там, за нею
В углу на гвоздике, ручник с каймою
Из деревенских кружев. — Протираю
Глаза и вижу: как во сне: к окошку
Подходит девушка и, пригорюнясь,
Одной рукой поддерживает локоть
Другой руки; камчатный сарафан
Еще не доверху застегнут; видно,
Не рано встала, подошла к окошку,
Задумалась и молча смотрит вдаль.
"Уж не княжна ли?.. — думаю. У ней
На голове жемчужная повязка
И с длинными подвесками сережки
Из серебра и бирюзы... Вздохнув,
Она меня заметила — и брови
Слегка приподнялись, и потемнели
Большие, влажно серые глаза;

И как-то странно: розовые пятна
На молодом лице ей не мешали
Казаться страшно бледной.

VIII

Все-то

Вдруг замерло во мне, когда она
Заговорила... Господи! Какой
Прерывистый и ласково-плачевный
Был это голос: "Мальчик! ты не знаешь,
Какая день и ночь змея-тоска
Сосет мне сердце! Не котлы кипят
Кипучие, — ножи точат булатные...
Что будет с Русью?.. Старший брат мой
В глухой степи тамбовской в плен к ногай-

цам

Попался и зарезан... Младший брат мой
Дремучими болотами, лесами
Куда-то пробирался — и о нем
Ни слуху нет, ни духу: или леший
Завел его и заморил, иль ночью
Русалки утащили в омут темный...
Старуха мамка ждет сынка родного
Из Золотой Орды, и день и ночь
Сидит в лесу на пне и молча
Повязанной качает головой,

Все что-то шепчет; выплакала очи
И помешалась... Мой родной к Мамаю
Поехал ублажать его дарами;
Жених сбежал в Москву. Что с нами будет?
Неужто и взаправду затевает
Димитрий Иоаннович — московский
Великий князь — недоброе: войну
С татарами!.. Как будто есть на свете
Такая силища, что одолеет
Их полчища несметные. О боже!..
Как глухо все кругом! Как будто
Все вымерло... И голод, и пожары,
А я все жду — все жду, все жду чего-то
Ужасного... все думаю: придут
И если не зарежут, свяжут руки
И на позор неслыханный меня
Сведут на рынок и сорвут с меня
Мои одежды, потешаться станут
Моим стыдом и ужасом смертельным.
Недаром я все ночи напролет
Не сплю и вся дрожу, как листик
Осиновый... Скажи мне, мальчик,
Какие вести ходят? Что пророчит Фо-
ма-юродивый?..
Что ж ты молчишь,

Мой милый, мой болезненный?"

IX

Помутилось

В глазах моих; забилося сердце;

Я бросился к окну, крапивой руку

Обжег и — в ужасе остановился...

В окне мерещился какой-то призрак,

Закутанный в лохматый саван... Но

Ударил колокол, и я очнулся" ...

XI

Он стал рассеян и меланхоличен.

А меланхолия — болезнь: она

Таится в нервах и боится смеха;

И если улыбнется, то такой

Натянутой улыбкою, что ей

Становится неловко. Юность

Не церемонится: я стал его

Расспрашивать, стал приставать к нему:

"Скажи, скажи, здоров ли? Что с тобою?

Иль ты опять влюблен в мечту, в царицу

Своих воздушных замков?" И однажды,

В вечерний час, и на него нашла

Минута откровенности.

XII

"На днях,

Сказал он, — праздник был в монастыре,
И, несмотря на зной, задумал я
Идти туда, и там застать обедню,
И с вынудой просфорой вернуться
К старухе няне; но, как ни спешил я,
Порядком запоздал. Застал толпу
На паперти и даже на погосте.
Чтоб протесниться в церковь, нужно было
Толкаться и давить мальчишек. Я
Пошел бродить по старому кладбищу;
Там видел я, как кое-где, накренясь
К сырой земле, подгнившие кресты
Линяли; каменные плиты были
Покрыты лишаями, желтовато
Оранжевого цвета, или мохом
Коричнево-зеленым. Письмена же
Славянские, которых уж давно
Никто не разбирает, истерты были
Ногами и засыпаны землей.
Все навело меня на мысль, не здесь ли
Покоятся останки той княжны,
Которая весной в окошке мне
Мережилась..."

Тут мой приятель, помню,
Пустился в рассужденья. Повторить

Их слово в слово нетлогу я; но
Таков, по крайней мере, был их смысл:
"Я знаю, прах ее давно исчез,
Рассыпался и с ветром, может быть,
Вокруг меня носился вместе с пылью...
Так если я спрошу тебя: куда
Осел дымок соломинки спаленной,
Ты без труда мне тотчас же ответишь:
На камни, на траву, на человека;
Но где рассеялось ее сознание?
В какую превратилась пыль — печаль?
Или на ком ее осело чувство
Любовь ли, ненависть ли — все равно?
Кто скажет? Даже ты не скажешь",
Добавил он наивно. — К нам не шло
Ни философствовать, ни задавать
Неразрешимые вопросы; мы
О них мечтали, и решали их
По-своему...
"Итак, вообрази,
Он продолжал, — вообрази, что если
России и теперь грозят враги,
И ежели беда не за горами,
То что мудреного, что то же чувство
Тревоги и печали, тот же страх

За родину проснулся в этой тени,
Что веет около развалин — или
Вокруг того гнезда родного, где
Так безотрадно в страхе и тоске
Прошла ее вся молодость?.. Иначе
Как это все понять?.." Тут он хотел
Еще добавить что-то, ко запнулся,
Потупился и покраснел,

XIII

"Ага!

Я, значит, прав был: ты влюблен
В свой глупый бред, в свою больную
Фантазию!" — "Фантазия ли это?
Сам рассуди, — воскликнул он, — я шел
С кладбища, среди старых теремов
Великокняжеских, — и уж хотел я
Пройти на ту лужайку, где тютюн
Курили кучера и поджидали
Своих господ, а возле экипажей
Помещичьих разнузданные клячи,
Маша хвостами и обороняясь
От оводов, щипали мураву
И в старых хомутах своих казались
Счастливее меня — так благодушно
Жевали и оглядывались. Шел я,

Задумавшись, и вдруг на перекрестке
Двух узеньких тропинок, где цвели
Акации, я поневоле дрогнул
И стал, как вкопанный. В пяти шагах
Передо мной была озарена
Сиянием полуденного солнца
Красавица. О, никогда еще
Глаза мои на свете не видали
Такой небесной, чистой красоты!
Я ею поражен был, как виденьем
И замер... Девушка была в простом
Суконном черном платье; бледный
Овал лица ее и белый лоб
Был оттенен приподнятой вуалью;
Глаза, большие, синие глаза,
Задумчиво из-под густых ресниц
В молитвенном каком-то настроенье
Куда-то вдаль глядели, и в чертах
Ее лица, казалось, грусть была
Незримая, а пряди пышных
Темно-каштановых волос ее вились,
И ветерок слегка ласкал их, словно
Остерегаясь смять их. Говорят,
Мадонна Рафаэля — совершенство;
Но совершеннее того, что дал мне бог

Увидеть — я не знаю... "Уж не сон ли?"
Подумал я... И мне хотелось
Заговорить; но у меня язык
Прилип к гортани...

XIV

Вдруг она очнулась
И тотчас же заметила меня.
Она заметила смешной восторг мой,
Мои с таким наивным изумленьем
Приподнятые плечи, улыбнулась,
Потупилась и, опустивши складки
Своей вуали, легкая, как тень,
Исчезла за стеной и, может быть,
У паперти вошла в толпу. А я?
Увы, я, как дурак, на том же месте
Стоял, как вкопанный, — был, как в чаду
Или в тумане. Мне хотелось плакать,
И ликовать, и славить бога.
Я все забыл... Когда же спохватился,
Уж было поздно.
Рассеянный, горячий,
Весь как в огне, напрасно я искал
Глазами образ, или хоть намек
На ту, которую я так безбожно,
Так глупо прозевал. В коляски,

В четырехместные кареты, в дрожки
Старинные заглядывал. — Нигде!
И так, порывисто дыша, я вышел
На пыльную дорогу. Несомненно
Своих знакомых я бы не узнал,
Когда б их на пути случайно встретил.
В моей душе все путалось, все было
Восторженно и глухо. Я не шел
Летел, как бы по воздуху, навстречу
Таинственной улыбке. Красота
Воочию явилась мне, меня
Заметила и даже улыбнулась,
Чего ж еще?
И, знойный весь, к обеду
Вернулся я домой и, может быть,
Впервые распахнувши душу, молвил:
"Есть в мире чудо — и не даром, братцы,
Я все искал его — теперь я знаю,
Что это чудо — красота".

Никто

Меня не понял. Только старший брат
Пробормотал: "Пожалуйста, любезный,
Садись и чепухи не городи"...

XVI

"Скажи, куда девалась красота?"

И если есть она на белом свете,
Зачем она скрывается, как клад,
Зарытый в землю скрягой? отчего,
Куда я ни гляжу, нигде не вижу
Божественного образа? Вот вы
Влюбляетесь... и знаю я, в кого...
И что же?., разве это красота?.."

Тут я не вытерпел — спросил Вадима:
Ужели он при всем своем блужданье
Кругом да около нигде не встретил
Той девушки?..

"Ни разу, — оборвал он,
Нигде, ни разу!..
Не напоминай!.."

Смеясь, я заглянул ему в лицо,
А он поник и опустил ресницы.
Мы помолчали...

"А княжну я видел,
Вдруг он проговорил, как бы очнувшись,
Ту самую княжну, что, помнишь,
Когда я в лихорадочном бреду
Стоял перед развалиной и грезил?.."

"Неужели?.."

"Ну да... не наяву, конечно,
Во сне... но это было так же ясно,

Как наяву. Мне снился, братец мой,
Какой-то тихий, летний вечер; далеко
Распространялись сумерки; заря
Из-за реки румянила туман,
И всенощная отошла в монастыре.
Монахи вышли в черных клобуках,
К ним подкатили тройки, и они
В какие-то телеги шумно сели
И с колокольчиками укатили...
Но хоть они меня и звали, я
Остался и в досаде на кого-то
Попал на монастырское кладбище.
Иду, жду месяца из-за тумана;
Но нет ни месяца, ни звезд; одна
Вдали лампада светит. Вдруг, направо,
От узенькой тропинки, мелким щебнем
Посыпанной, я вижу над могилой,
Или над черною, разрытой ямой,
Поникла девушка. Она стоит
Ко мне спиною так, что мне не видно
Ее лица; одну ее повязку
На голове да косу я заметил,
И тотчас же во сне подумал: "Ах,
Нельзя ли избежать мне этой встречи!..
Зачем она?" Я угадал чутьем,

Какая это девушка... она
Та самая, которая в бреду
Мне грезилась в окно кирпичной
Развалины... И странно, почему-то
Я и во сне ничуть не сомневался,
Что это — не живое существо,
Что это — призрак. Сердце у меня,
Как говорят, захолонуло; тайный ужас
Подсказывал: "Беги, беги, пока
Она не обернулась"...

Но она
Вдруг повернула голову и тихо
Проговорила: "Это ты, мой мальчик?"
Я так и замер; слышу в тишине,
Уже знакомый мне, певучий голос,
И нежно-ласковый, и горький... вижу,
Она меня рукою манит и лепечет:
"Уж я ждала тебя, ждала, мой милый!
И ждать устала!"
Я перекрестился.
Стою и слушаю:
"Жених мой пал
На Куликовом поле, пал в бою
С татарами... вернулся мой отец
И не нашел меня... придут баскаки

И тоже не найдут: я схоронилась,
Да и тебя сумею схоронить..."

От этих слов, признаться, у меня
Колючий холод пробежал по телу.

А я, как заколдованный, стою
И слушаю...

"Пока жила я, мне любить хотелось.

Бог не привел, и злые люди

Не захотели... я жила одна

У бабушки в высоком терему

И ныла сердцем; не с кем было

И поделиться мне мятежным горем.

И я ушла... и спряталась. Никто

И не заметит, как сойдемся

Мы в темноте; никто нас не осудит:

Ни бог, ни злые люди. Я люблю

Тебя, мой ненаглядный, мой желанный...

И в тесноте нам сладко будет спать,

И до людей нам дела нет. Ты — мой,

Навеки мой!.."

И очутился я

От этой страшной девушки так близко,

Что я уже не мог не ощущать

Ее неровного дыханья на своем

Испуганном лице. Она дрожит

От радости и страстного порыва,
И задыхается и уж не говорит —
Бормочет что-то... Серые, большие
Ее глаза горят; она руками
Охватывает стан мой и влечет
В то темное пространство, что зияет
У самых наших ног. Я вырываюсь
И не могу освободиться...

Няня

Услышала мой стон; из коридора
Вошла ко мне, перекрестила.

Я

Узнал ее не скоро; но очнулся
И поднял голову. Вот как я видел
Мою княжну".

"Эх! — выслушав его,

Подумал я, — не сочинил ли ты
Свой сон? Рассказываешь так красно.
Как будто ты и мог припомнить все,
Что слышал ты во сне!"

Мы помолчали.

"Все это пустяки, — сказал я наконец,
Глупейший кошмар! Гроша не стоит
В сравненье с тем, что испытал ты,
Когда блуждал по нашему уезду".

"Неужели, — сказал он, на прощанье
Пожав мне руку, — этот глупый сон
Без всякого, без всякого значенья?"

"Без всякого", — сказал я и ушел.

XVII

Смешон мечтатель мой, исколесивший,
Быть может, сотни верст, пешком, без де-

нег

И без спутника, с одной надеждой
Не нынче-завтра, где-нибудь, случайно
Увидеть ту, чья красота глубоко,
Как знойный луч, в его проникла сердце.
Ведь он пошел на поиски за ней
Не для того, чтоб ей в любви признаться,
Не для того, чтоб ею обладать,
А для того, чтоб видеть — только видеть,
И насладиться этим лицезреньем,
Как наслаждаются святые старцы
Или аскеты, созерцая образ
Мадонны — лик небесной красоты,
Что озаряет тихим светом их
Молитвами прославленную келью,
Он верил, что на свете существует
Божественная девушка, и верил,
Что за ее свободу он готов

Идти в огонь и в воду. Стих его,
Небрежный и подчас неловкий, стал
Певучее, и я, его судья
Неопытный и даже, может быть,
Пристрастно-невзыскательный, ему
Пророчил славу. Что такое слава
Он понимал по-своему. Быть может,
Под этим словом мой неисправимый
Мечтатель разумел триумф Торквато
Или Петрарки... может быть, ему
И снился русский Капитолий...
Будь жив он, как бы изменился он!
Из зла и блага, из противоречий
Того, чего он ждал и не дождался,
Какую б он блистательную соткал
Одежду для своей тревожной Музы!..
И эта Муза нам была б родная...
Но он не вынес их — противоречий этих...
И первый беспощадно нанесенный
Удар его мечтательному сердцу
Был для него ударом роковым.

90-е годы

СВЕЖЕЕ ПРЕДАНИЕ

Роман в стихах

ГЛАВА 1

Давно Таптыгин, князь известный
В Москве, как солнце в поднебесной, -
Затих, шампанского не пьет
И вечеров уж не дает.
Куда, злодей, он путь направил,
Где он следы свои оставил?
Зачем исчез, как метеор?
Кто князя помнит? — Но с тех пор
Богов российского Парнаса
Перевели на задний двор;
С тех пор в Москве, во имя спаса
Успели выстроить собор;
Прошла железная дорога;
Пал Севастополь; — в добрый час
Иная ломка началась...
И утекло воды так много,
Что, может быть, Таптыгин князь
Давно уж превратился в грязь.
Давно в Москве его забыли:
Забыл и тот, кто обыграл,

И те, которые трубили,
Что он невежда и нахал,
И та, которую любовным
Письмом он некогда сразил,
И тот, кто некогда грозил
Ему процессом уголовным.
Когда я прилетал в Москву,
Как юноша, когда-то праздный,
Любил я старую молву
Ловить за хвост немножко грязный,
И помню, как один приказный
С каким-то чувством говорил,
Как этот князь его побил,
И как он щедро наградил
За свой поступок безобразный.
Когда же я его спросил:
Как звали князя, где он жил,
Где он служил и куролесил,
Седой пьянюшка нос повесил
И повинился, что забыл:
"Забыл, сударь! забыл, признаться!
Забыл, — кажись бы и не пьян" ...
Так часто трудно добираться
До исторических имен.
Таптыгина не знал я лично:

Но, как его историк, я
В то время вел себя отлично.
Нельзя писать о нем шутя,
Писать подробно неприлично;
Мы _не дозрели_, говорят,
И может быть не без причины!
Разврата грязные картины
Нас потешают как ребят.
Жена Таптыгина, Ульяна
Ивановна, довольно рано
Покинула московский свет.
Я знал ее: она в разводе
Жила у брата на заводе.
(Теперь ее в живых уж нет;
Погребены ее страданья,
Что значит: вся погребена.)
Старушка бледная, она
Ходила в темном одеяньи;
Как у игуменьи, у ней
Был гордый вид, но не спесивой.
Глаза ее, когда на вас
Она глядела в первый раз
С какой-то грустью молчаливой,
Казалось, говорили вам:
Еще ты молод — по губам

Я это вижу; — что-то будет,
Как ты с мое-то поживешь;
Ума прибавится на грош.
А сердце на алтын убудет.
В руках она везде с собой
Носила бархатный мешочек.
Там было все: платок, клубочек,
Наперсток, ею начатой
Чулок, рогулька для вязанья,
Молитвенник и поминанье.
Порой черты ее лица
На юность навевали скуку.
Я помню два больших кольца
У ней на пальце; помню руку
Худую, бледную — она
Была действительно бледна,
Как старый воск, — не исчезает
Она из памяти моей:
И право странно — мне об ней
Всего скорей напоминает
Одеколон, когда его
Я слышу запах... отчего,
И почему? — сам черт не знает;
А черт не знает потому.
Что он не верит ничему

И Молешота изучает.
Старушка добрая, она
Была не нынешнего веку;
Я для нее ходил в аптеку,
Когда она была больна,
Пил чай у ней, всегда с вареньем,
Читал ей лучшие места
Из Филарета с умиленьем,
И даже гладил с наслажденьем
Ее любимого кота.

О муже темные преданья
Она могла бы пояснить,
Да мало было в ней желанья
Со мной об этом говорить.
Бывало, все молебны служит,
Чего-то ждет, о чем-то тужит;
Порой собирается в Москву,
Порой задумается, — бредит:
Отец помрет — она приедет -
Княжна с отцом теперь живет,
Но скоро будет мой черед -
У бога очередь ведется, -
Уж это так! что бог возьмет
У одного, — другим дается.
С старушкой было бы смешно

И даже глупо спорить, — но
Я часто в пост у ней обедал
И все-таки кой-что разведдал.
Не раз, хваля обед простой.
Да подливая суп грибной
В тарелку с гречневою кашей,
Я спрашивал: а где ваш муж?
И что княжна? от дочки вашей
Уж нет ли писем? почему ж
Она не пишет?

— Муж в именьи

И, говорят, стал нелюдим,
Моя княжна, конечно, с ним,
Она в большом уединеньи
Живет, почти что никого
Не видит, некого и видеть -
Степь, лес и больше ничего;
Бог милостив, и не обидит
Ее, бедняжку!..

Тут рука

Княгини явно начинала
Дрожать, и дело без платка
Не обходилось. Раз измяла
Она его и подняла
Как будто к носу, провела

Повыше перенося, словно
Так было нужно...
Из сего
Я заключил, что хладнокровно
Она допроса моего
Не может слышать. Так невольно
Я заставлял ее страдать;
Так ей, заметно, было больно
Мне отвечать.
И то сказать,
Приятно в старость принимать
В свой дом беспечного повесу,
Его кормить, ему внимать,
Но перед ним сорвать завесу
С той сцены, где судьба, смеясь,
Когда-то без пощады в грязь
Нас повалила и топтала,
Или, как с мышью кот, играла -
Увы! не всякому легко.
Не все, что скрыто глубоко
У нас в душе, легко всплывает;
Любовь погибшая, и та
На откровенные уста
Печать молчанья налагает.
То были дни моей весны,

И было у меня пророком
Мечтательное сердце; в сны
Его я верил; из княжны
Я создал по одним намекам
Тот чистый, грустный идеал,
Который спать мне не давал.
Тогда благоразумья оком
Еще глядеть я не умел...
Хоть я и не был яр и смел,
Как Дон-Кихот; хотя идея
Спасти княжну была смешна,
Но для меня моя княжна
Была такая ж Дульцинея...
Герой грядущего, я мнил
Сойтись с несчастной героиней;
Вот почему я говорил
Так часто с бедною княгиней,
В ней струны сердца шевелил,
И на лице ее следил
За каждой вздрогнувшей морщиной;
Я даже случай находил
С ее служанкой Катериной,
Кривою девкой в сорок лет,
Болтать о том, чего уж нет,
И, разумеется, читатель,

Был любопытен, как поэт,
Иль как уездный заседатель.
И я ей-богу не шутил.
Однажды, мучимый тоскою
(От лихорадки праздных сил),
Я вдруг старухе объявил,
Что сам поеду за княжною
И привезу ее.

Она
(Хоть и была изумлена)
Спокойно на меня взглянула
И равнодушно протянула
Мне руку с тем, чтоб я ее
Поцеловал, — прошу покорно,
Какая милость! Я проворно
Впился в нее губами. О!
Теперь и сам я начинаю
Смекать, зачем и отчего
Я эту руку вспоминаю
Живее вдвое, чем черты
Ее поблекшей красоты.

—
Тогда я жил, как подобает
Жить юношам холостякам,
Жил, где придется. — Куликам

Там и уютно, где к водам
Камыш болотный прилегает;
Где можно в тину запустить
Свой длинный нос и угостить
Себя на славу. — Не мешает
Сказать, что истинный кулик,
К какой бы кочке ни приник,
Нигде крыла не замазает.
Я помню — разгорался день,
Но облака ходили низко,
А на Москве лежала тень.
От нас Москва была не близко,
Хоть и мелькали с двух сторон
Ее макушки. Ранний звон
Колоколов ее в тумане
Носился смутно над землей.
На первом плане над рекой,
У ближней роци, на поляне
Сидели кучками цыгане;
Дымился табор кочевой.
В кустах посвистывали птицы;
Вдоль серых грядок свекловицы
Тянулся низенький забор;
За ним ряды фабричных зданий,
Сушильня, кузница, две бани

Глядели окнами на двор;
Косую тень бросали трубы
На дерн покатога двора;
Из темной пасти их с утра
Выбрасывались дыма клубы,
Столбом тянулись в облака,
Потом на запад уходили
И там терялись в тучах пыли.
За банями текла река;
Там раздавался стук валька;
Фабричные белье там мыли;
Налево — шел сосновый лес,
А я под небольшой навес
Присел на пыльные ступеньки
Избы, что с краю деревеньки,
Где я в то время нанимал
Чулан с окном и сеновал.
Что вам сказать о сеновале?
Он был мой маленький эдем,
И что там было — и зачем
Туда сквозь кровлю мне мигали
Ночные звезды, говоря:
Ты, брат, блаженнее царя, -
Зачем ты полуночной тенью
Следил мой глаз — и отчего

У изголовья моего
Так пахло свежую сиренью? -
О, пусть перо мое молчит!
К чему дразнить мне аппетит,
Когда желудок мой набит
Непереваренным обедом?
Мне только следует сказать,
Что я княгине был соседом -
И мог старушку навещать.
Старушка к своему соседу
Хоть недоверчива была,
Однако иногда звала
Меня по праздникам к обеду;
Но рано утром никогда
Ни для варенья, ни для чтенья
Не получал я приглашенья.
А в это утро, господа,
Ее посланница кривая
Явилась вдруг передо мной,
Как будто лист перед травой.
— А! вы уж встали! Вишь какая
Погода! Птички как поют!..
Она болтать со мной пустилась
И наконец договорилась:
— Вас просят на десять минут

Пожаловать.

— Что это значит!

Уж не больна ли?

— Нет, все плачет...

—

Княгиню я застал одну
В каком-то шлафоре, с букетом
Фиалок и в чепце, надетом
Немножко на сторону.

— Ну,

Любезный мой! — не осудите

Старуху — послужите ей,

— Все, что прикажете!

— Сходите

В Москву, мой милый. От моей

Княжны, вот видите ли, нету

Совсем известий. Я боюсь:

Он там сживет ее со свету...

Ей-богу толку не добьюсь...

Сходите, милый.

— Что ж, могу я...

Скажите...

Плача и тоскуя,

С лицом измятым, раза два

По комнате прошлась старуха:

У ней качалась голова,
У ней недоставало духа
Со мной беседовать...

— А вот.

Я дам вам адрес: он живет
Близ _Курьих ножек_... Вот... возьмите
Хоть это перышко... Пишите:

Дом Савиной — второй квартал...

Я взял перо; перо скрипело

И брызгало... Я записал...

— Вот видите — какое дело...

Чего я не могу постичь...

Но, впрочем, если Петр Ильич

Камков вас примет, то, быть может,

Расскажет вам. — Меня тревожит

Одно: не умер ли Камков?

Он был всю зиму нездоров;

Все кашлял — эдакое горе.

Спросите: — не было ли вскоре

После святой, как был Матвей,

Письма от дочери моей.

Пусть сходит справиться в конторе...

Мой друг, — утешьте вы меня -

Всю жизнь вам благодарна буду...

И вечером того же дня

Я шел Москвой. Не позабуду,
Как, после дождика с грозой,
Над Воробьевыми горами,
И над пустынными дворцами,
И над садами за рекой
Гас тихо вечер золотой; -
Как с теплотой боролся холод;
Как подрумянен был и молод
Маститый Кремль с его стеной...
Как горячо горели главы
Его соборов;. . . .

.

Как были зелены бульвары;
Как там заманчиво в тени
Влюбленные гуляли пары
(Так мне казалось в оны дни);
Как пахло хлебом из пекарен, -
И помню я, как в тишине,
Из-за гардин, в одном окне,
Я услышал: "Зайдите, барин..."
Я останавливался... и
Усталый, мокрый, весь в пыли,
Опять шагал, как некий странник,
Как тот, кому сам черт не брат,
И пробирался на Арбат.

—
Фантазии наивный данник,
Я представлял себе, каков
Собою должен быть Камков.
Об нем уже молва блуждала
В той бедной, маленькой среде,
Которая благословляла
Зародыши талантов, — где
Авторитеты колебали,
И критику исподтишка
Не громко, но рукоплескали;
Смотреть ходили из райка
Мочалова, — передавали
Кольцова стих из уст в уста,
И в "Наблюдателе" искали
Стихов под литерой в.
Итак, об нем слышал я прежде.
Я думал: гений и поэт -
Синонимы? и был в надежде,
Что славой он покроет свет,
Что на святой Руси он будет
Виднее солнца самого,
И мир, конечно, не забудет
Меня, как спутника его.
Я был настолько легковерен,

Настолько зелен был душой;
А потому и не намерен
Смеяться над моей весной
Почтенной публике в угоду.
(Пора оставить эту моду!)
Я и теперь, читатель мой,
Уверен в том, что будь вы гений, -
Не внемля крику пошлых мнений,
Я был бы раньше сам собой,
И был бы выше головой.
Но что об этом...

Близ Полянки
Камков жил у одной мещанки
Во флигеле. — К его сеням
Прошел я по сырým доскам
И стал стучаться. — Оказалось,
Что дверь была не заперта
И очень просто отворялась.
Вхожу — передняя пуста.
Тут, признаюсь вам, я смутился:
Вообразите вы, — что вдруг
Я у поэта очутился
С пустою вешалкой сам-друг.
Я думал: за перегородку
Идут следы Камен — и что ж

Увидел? — половую щетку
Да пару стоптанных калош!
Я кашлянул, как будто в глотку
Мне пыль засела; — я не знал,
Войти ли мне — и - не решался.
"Я дома — дома!" — отозвался
Мне тихий голос: он звучал
Каким-то детским нетерпеньем,
Как будто звал меня больной,
Капризный друг. — С благоговеньем
Вошел я в комнату.

Худой,
В халатишке, одной ногой
Поймавши тюфлю, он с дивана
Приподнялся, — то был Камков.
Я начал: "К вам меня Ульяна
Ивановна"... — "Я нездоров, -
Он перебил, — и поджидаю
К себе давно кого-нибудь.
Вообразите, — сам не знаю,
Что делать? — Собираюсь в путь,
И обречен на злую скуку.
Лежу весь день — совсем разбит.
Бока болят и грудь болит.
Садитесь".

Протянувши руку,
Он для меня подвинул стул,
И словно в душу заглянул
Большими серыми глазами.
Я не бывал знаком с орлами,
Но думаю, что на орла
Похож он не был... Над бровями
Его, заметной складкой, шла
Морщинка — знак упорной воли
Иль напряженья мысли. — Он
Был моложав, — но сокрушен,
Подавлен чем-то; поневоле
Я на него глядел — глядел,
И слушал, и понять хотел.
Казалось, был он бесконечно
Внимателен и добр; — конечно
С такими качествами кто ж
Бывает на орла похож?
А между тем и сам постичь я
Не в состояньи, отчего
Сначала мне в лице его
Почудилось что-то птичье,
Тогда как через час потом
Глядел он просто добряком: -
Улыбка мягкая скользила

По очертанью тонких губ
И прямо, ясно говорила:
Поверьте мне, Камков не груб,
Хоть и бывает зол и едок.
Я сел — он сел — и напоследок
Мы познакомились.

Друзья,
Пиши я в прозе, верно б я
Вам описал его каморку,
Стол, кресла, книги под столом
И на столе, да с табаком
Кисет; — но, господа, что толку
Нам в описании таком! -
Жилище моего Камкова
Теперь напомнило бы мне
Мое студенчество; другого
Сказать вам нечего.

Вполне
Довольный тем, что я с дороги
Напился чаю с калачом,
Тогда я думал, что мы боги -
Сошлись и судим обо всем.
Камков просил меня любезно
Ответ княгине передать,
Ничуть не думая скрывать,

Что было вовсе бесполезно.
И тут кой-что узнал я, — но
Одной страницы из романа
Мне не довольно... и смешно
Вам раскрывать ее — и рано.
Пусть подождет меня Ульяна
Ивановна, — пусть подождет
Меня княжна. — Пущу вперед,
Сиятельных не беспокоя,
Камкова, моего героя.
Друзья! Как друга моего,
Рекомендую вам его.
Простым и грустным разговором
Знакомство наше началось,
И тронул он меня до слез
Одним рассказом (о котором
Теперь умалчиваю). Спором
Мы заключили разговор.
О чем был сей великий спор?
Не помню. — Я уже порядком
От метафизики отстал;
Уже давно не поверял
Своих идей по тем тетрадкам,
В которых иногда писал
Дневник мой: тайно признавался,

Как я любил, как я терзался,
Как правды-истины искал,
И на себя наивно лгал.
Я только помню впечатленье, -
Я только помню — как, живой
Своею речью, молодой
Моей души святой покой
Он нарушал без сожаленья, -
Он не смеялся надо мной,
Не нападал, — но понемногу
Одoleвал, и в мир иной,
Не огражденный никакой
Стеною, стал казать дорогу...
Оставшись до другого дня
В его каморке, — помню, — я
Заснул под утро. Для меня
Камков действительно был гений,
Хоть он заметного следа
Среди общественных явлений
И не оставил, господа.
Увы! как Рудину, — тогда
Ему была одна дорога:
В дом богадельни иль острога.
Но между Рудиным и ним,
Как поглядим да посравним,

Была значительная разность.
Характеров разнообразность
Разнообразит вечный тип.
Идея, будь одна и та же,
В одном засядет как полип,
Другого выровняет глаже,
Или заставит с бородой
Ходить без галстука. — Иной,
Приняв ее в свои владенья,
Идет на гибель, как герой,
Иной напротив на покой
Отправится в уединенье
И сложит руки. — Мой Камков
Был с нею чем-то вроде Пери,
Блуждающей у райской двери,
Внимающей из облаков
Далекого блаженства звукам
И в то же время адским мукам,
Огню и скрежету зубов.
Он был далеко не ребенок;
Все понимал: и жизнь и век,
Зло и добро — был добр и тонок;
Но — был невзрослый человек.
Как часто, сам сознавшись в этом,
Искал он дела — и грустил;

Хотел ученым быть, поэтом,
Рвался и выбился из сил.
Он беден был, но не нуждался,
Хотел любить — и не влюблялся,
Как будто жар его любви
Был в голове, а не в крови.
Он по летам своим был сверстник
Белинскому. — Станкевич был
Его любимец и наперсник.
К нему он часто заходил
То сумрачный, то окрыленный
Надеждами, и говорил -
И говорил, как озаренный.
А то как над собой трунил -
Или приятелю твердил:
"_Как знал ты жизнь — как мало жил_" {*}.
{* Стих Веневитинова. (Прим. авт.)}

Какую роль играл он в свете,
И как он в высший свет попал,
Когда не ездил он в карете
И модных галстуков не знал?
Туда, сказать вам откровенно,
Попал он необыкновенно,
И вовсе роли не играл, -
Самарин там его встречал. -

Он появлялся бледный, скромный,
Всегда с улыбкою заемной,
Всегда один, — всегда вдали
От пышных дам, хоть эти дамы
И были как нельзя милей,
Вообразив, что на мужей
Он сочиняет эпиграммы.

Но не пора ли кончить мне
Беседовать наедине
С моей музой простодушной,
Чтоб за моим героем вслед
На время окунуться в свет,
Холодный свет, но не бездушный, -
Свет не бездушный, но с душой
Опутанной, немой, слепой,
Коварным идолам послушной, -
Свет, не ходящий без ходуль,
Но обладающий крылами
Могучими. — Друзья! найду ль
Я крылья там, — иль вместе с вами
Пройдусь в толпе, гордясь цепями?
Читатель! Если ты желал
В начале моего творенья
Найти ошибку, упущенье

Иль вялый стих, — и не зевал
Над этой первою главою, -
Ты ничего не потерял:
Я угощу тебя второю.
Но если ты не дотянул
До половины и — заснул,
Спи, милый мой! — Господь с тобою! -

с ГЛАВА 2

В Москве жил-был один барон.
Как все бароны, верно он
Был человеком не без веса:
Он был богат, играл в бостон,
Поутру делал моцион,
И — был дурак. Но баронесса...
Была особая статья!
О! будь я дама, — верно б я
Ей подражал, иль, уж поверьте.
Возненавидел бы до смерти.
(Пишу по слухам мой рассказ.)
Я к сожаленью только раз
И видел, как она в концерте
С тетрадкой нот сидела, и -
Ресницы длинные свои
Склоня к коленям, как маэстро,
Карандашом, под гром оркестра,

Чертила что-то.
Гордый Лист,
Известный вам фортепьянист,
Когда из Венгрии опальной
(Артистов модный идеал)
Он прилетел и взволновал
Наш север славой музыкальной, -
Ее недаром посетил:
Был пьян и гениально мил.
Недаром Щепкин знаменитый,
Поборник Гоголя маститый,
Ее гостям "Разъезд" читал,
Смешил, смеялся и рыдал.
Недаром зеленью, цветами
В мороз крещенский убрала
Она свой угол, и была
Всегда особенно мила
С московскими профессорами.
Стихи читала, как поэт,
Хоть и без лишних декламаций,
И на защиту диссертаций
Езжала в университет.
Недаром в обществе старались
Ей потихоньку подражать:
Хвалили, громко заступались,

Или за нравственность боялись,
И торопились клеветать.
Но ложь была такого рода, -
Такая радужная ложь,
Что ей завидовала мода
И восхищалась молодежь.
Барон был муж довольно вялый,
Не делал ни добра, ни зла;
Жена, конечно, не могла
При нем быть женщиной отсталой;
У ней был сын — неглупый малый,
Но недогадливый — в отца.
Когда он в зеркало гляделся,
Чертами своего лица
Он любовался и вертелся,
И этого-то молодца
Учил Камков. Воображаю,
Как он внушал, как прививал
Он философию к лентяю.
Однажды, право я не знаю -
Кто баронессе подсказал,
Что это — золото-учитель,
Что он магистр и сочинитель,
Что он, как древний Ювенал,
Не только знает по-латыне,

Но, что довольно редко ныне,
Прочел Гомера до конца,
И так же изучил глубоко
Язык богов и дух слепца,
Как баронесса Поль де Кока.
Такая новость не могла
Не изумить ее сначала;
Но баронесса отвечала
Спокойно, то есть солгала,
Не покраснев: — я это знала,
Для сына я его брала.
Потом как будто испугалась,
Пошла и села в уголок,
Когда Камков давал урок.
Через неделю оказалось,
Что он, хотя и латинист,
Но вовсе не семинарист,
И так же знает по-французски
И по-немецки, как по-русски.
Как говорит он! Боже мой.
Как мил!
Упала с глаз завеса: -
Он человек передовой, -
Вообразила баронесса.
Ему восторженно внимать,

Ему безмолвно поклоняться,
За ним карету посылать,
Задерживать и в свет толкать,
И за Камкова распинаться
Она повсюду, где была,
За первый долг себе сочла.
Не будь Гамлетом мой ученый,
Он натолкнулся бы на грех.
Решись он смело быть вороной
В павлиньих перьях, — и успех
Его завидный ждал бы в свете;
Но, — бедный, на чужом паркете
Он спотыкаться не желал,
Себя ценил и наблюдал.
Любил он юность, свежесть, стройность,
Наряды, штофы, зеркала,
Картины, мрамор, даже зла
Наружную благопристойность.
Не приглядевшись ни к чему,
Он все любил, — но не по страсти
К кумирам, и не потому,
Чтоб верил, — нет, Камков отчасти
По складу сердца был артист,
А по уму идеалист.
И не людей он ненавидел,

Нет! в них таинственной судьбы
Он временную жертву видел,
Непризванную для борьбы.
Конечно, к диким отношеньям,
От поколенья к поколеньям
Переходящим как завет,
Он чувствовал антипатию;
Но... как дитя, любил Россию,
И верил в то, чего в ней нет.
Всегда с протянутой рукою
Барон Камкова принимал;
Перед ученою женою
Он как-то смутно сознавал
Свое ничтожество; являлся
На полчаса, финтил, играл
С собачкою, — и пропадал.
Жене во всем он доверялся,
И о Камкове отзывался,
Что это _перл_. Что ж? может быть,
Он знал (недаром же учился),
Как неприлично походить
На петуха, который рылся
В навозе — и нашед зерно
Жемчужное: "К чему оно?" -
Воскликнул и распетушился.

А между тем мой старый друг,
В навозе рывшийся петух,
Как человек обыкновенный,
Был и понятней и сносней
(Хоть может быть и не умней)
Иной, глубоко современной
Нам критики: он не желал
Чудесного соединенья
Душеспасительных начал
С жемчужинами вдохновенья.
Нашед жемчужное зерно,
Он не желал, чтобы оно,
Не переставши быть жемчужным,
Могло быть для закуски нужным.
Он просто-напросто не знал
Ему цены, и браковал.
Конечно, столь же откровенных,
Фортуною благословенных,
Я знаю много петухов.
Они кричат нам: "Для голодных
Не нужно украшений модных,
Не нужно ваших жемчугов -
Изящной прозы и стихов.
Мы для гражданства не видали
От музыки никаких заслуг:

Стихи бесплодны, как жемчуг.
Прочь, — это роскошь!" Но, — едва ли
У этих бедных петухов,
Опровергающих искусство,
Изящное простыло чувство
Для _настоящих жемчугов_?
Итак, мой бедный друг Камков
Бароном не был забракован:
Он скоро был рекомендован
Всем знаменитостям, — иным
Он нравился умом своим
Оригинальным и живым,
Другими сам был очарован.
В те дни Тургенев молодой
Еще на пажитях чужой
Науки думал сеять розы;
Глядел на женщин, как герой:
Писал стихи, не зная прозы,
И был преследуем молвой
С каким-то юношеским жаром,
Что суждено ему не даром
Ходить с большою головой.
Аксаков был еще моложе,
Но — юноша — глядел он строже
На жизнь, чем патриарх иной.

Весь до костей проникнут верой
В туманный русский идеал,
Он счастье гордо отрицал
И называл любовь химерой.
Красноречивый Хомяков,
Славянства чуткий предвозвестник,
Камкову был почти ровесник.
Камков нередко с первых слов
Сходиллся с ними. Разговоры
Их часто до пяти часов
Утра тянулись. — Эти споры
Звал мой насмешливый Камков
Взаимным щупаньем голов.
Иные на него косились,
Потом как будто ничего
В нем не нашли, — и подружились.
Иные, раскусив его,
Тянули на свою дорогу,
Ему замазывали рот,
И льстили; — словом, понемногу
Заманивали в свой приход...
Иные... но мы только знаем,
Что он в сороковых годах
Был на виду, был приглашаем, -
И стал являться на балах.

Вот он на улицу выходит
В еноте, в шляпе и кашне,
Уж ночь. Все глухо. В стороне
Собака лает... кто-то бродит...
Метель, шумя по чердакам,
С дощатых кровель снег сдувает;
Фонарь таинственно мигает
Двум отдаленным фонарям;
Закрывают ставни у соседей;
Высоко где-то на стекле
Свет огонька дрожит во мгле.
— Вот подлинно страна медведей! -
Сам про себя Камков ворчит,
В карман свои перчатки сует,
Глядит, — ну так, платок забыт!
И мой герой с досады плюет.
Вот едет Ванька. Ванька — стой!
Не повали меня, он просит
И в сани ногу он заносит
И едет. — Нос его понику
В заиндевелый воротник;
Извозчик клячу погоняет;
Камков сидит и размышляет:
— Кой черт несет меня туда?
А впрочем, что же за беда!

Бал охраняет нашу личность,
Так как никто — и генерал -
И тот не скажет неприличность
Тому, кто приглашен на бал,
Хотя бы этот приглашенный
Был самый жалкий подчиненный.
Бал наших женщин обновил
И нас с Европой породнил.
Так едучи да размышляя
О том о сем, он у Тверских
Ворот очнулся. — Десять бьет
На монастырской башне. Вот
И Дмитровка. Освобождая
Свой нос, глядит он: у ворот
Четыре площадки, — в бельэтаже
Сияют окна. Экипажи
Пустые едут со двора;
Над их двойными фонарями
Торчат, как тени, кучера.
Один из них: "Куда ты, леший!" -
Кричит на Ваньку в воротах:
"Опешил, что ли?" Сам опешил,
Бормочет Ванька впопыхах
И барина благополучно
Подвозит по двору к сениям

На зло горластым кучерам.
Камков идет; — ему не скучно;
Он рад внезапному теплу;
Он всем доволен — завываньем
Оркестра, вазой на углу
Воздушной лестницы, сниманьем
Салопов, обнаженных плеч
Благоуханной белизною,
Блондинкою, что перед ним
Идет легко, шурша своим
Атласом, — стройная, — одною
Рукою платье приподняв,
Другую опустив с букетом.
Камков был прав, смеясь над светом,
Но, и любясь, был он прав,
Когда на все глядел поэтом.
Вот посреди толпы живой
Он озаренный зал проходит,
Тут, слава богу, мой герой
Два или три лица находит
Ему знакомых; — ухватил
За пуговицу, чуть не обнял
Его один славянофил,
И, милый спорщик, тут же поднял
Вопрос: чем вече началось

Новгородное? — Вопрос
Не бальный, но зато мудреный.
— Мирскою сходкой, — отвечал
Ему Камков. — Захотел
Славянофил; — но спор ученый
Был как-то скоро прекращен.
Их разлучили. — С двух сторон
Танцующих гремя подъемлет
Летучий вальс своим жезлом;
Толпа ему послушно внемлет;
Вот под его певучий гром
Несутся пары. — Вот кругом
Теснятся зрители. — Меж ними,
Засунув палец под жилет,
Стоит весь в черное одет,
С лицом задумчивым, с живыми
Глазами, с складкою на лбу,
Камков, как некий вождь, впервые
Вдали слышавший пальбу.
О чем он думает, — в какие
Мечты душою погружен?
Кого в толпе заметил он, -
За кем следит он так прилежно?
В числе танцующих была
Одна особенно мила.

Нежна, как ландыш самый нежный,
Свежа, как роза. — На плечах
У ней (не только на щеках)
Играл застенчивый румянец;
Играл он даже на локтях,
Когда ее, как деспот, танец
На середину увлекал.
В ее глазах огонь пугливый
То вспыхивал, то померкал;
Она переходила зал
То медленной, то торопливой
Походкой; — так была робка,
Так грациозно неловка,
Так непохожа на плутовку,
Что странно, кто решиться мог
Надеть вакхический венок
На эту детскую головку.
Она дитя, — но кто она?
Камков невольно знать желает.
— Кажись, — Таптыгина княжна,
Ему знакомый отвечает, -
А, впрочем, право, черт их знает, -
Я, может статья, и соврал, -
У ней, — он вяло продолжал,
Подняв лорнет, — недурен профиль!

Но я, товарищ старый мой,
На все гляжу, как Мефистофель.
Что делать? пожил, братец мой,
И вкуса в сливах недозрелых
Не вижу: — вяжут, черт возьми!
Люблю я барынь угорелых
Лет этак двадцати осьми...

.....

Камков немножко удивился
Таким речам, — посторонился,
И на знакомца своего
Взглянул с усмешкой. — Для него
Такого рода мненье было
Довольно ново — и смешило.
Вот, век живи, подумал он,
Да век учись, — прошу покорно, -
Как выражается задорно.
Камков был сам порой смешон
И странен, — но иначе он
Блохою жизни был укушен,
Иным фантазиям послушен,
Иною солью просолен.
Вот началась кадрили — одна,
Другая, третья, — кто их знает
Какая! — Бал не отдыхает.

В фигуры переплетена,
Толпа скользит; перебегает
Рука к руке; — по жемчугам,
По бриллиантам, по цветам,
По золоту огонь играет,
Тень бегаёт по рукавам,
И музыка гремя сливает
Людские речи в птичий гам.
Кто их послушает, — едва ли
С невольной грустью не вздохнет.
Да, — в нашем обществе на бале
Тот и умен, кто больше врет.
Но не люблю я тем любимых;
Из тысячи произносимых
Слов, вероятно, девятьсот
И девяносто девять были
На этом бале лишены
Значенья, десять зим смешили,
Забыты и повторены.
Греми же, музыка, сильнее,
Рычи, охрипый контрабас, -
Пускай никто не слышит нас;
Себя же слушать не краснея
Давно привыкли мы, — и нам
Недостает лишь только дам,

Чтоб быть подчас еще пустее.
Камков кадрилей не считал,
Но так глядел, и так вникал,
Как будто, право, каждый бантик
В нарядах дамских изучал.
Философический романтик,
Быть может, в танцах открывал
Он всенародное значенье;
Следя, быть может, за княжной,
Он девственной красотой
Проникнут был до умиленья.
Обираясь на этот бал,
Он, верно, Шиллера читал.
Но тот, кто вечно наблюдает,
Тот часто ходит как слепой.
Так скромный наблюдатель мой
Решительно не замечает,
Как от него близка гроза,
И чьи ревнивые глаза
За ним давно следят на бале.
Вот три часа. — В соседнем зале
По двум раздвинутым столам
Приборы ставят. — По углам
Сидят разрозненные пары.
Кому до танцев дела нет,

Идет в хозяйский кабинет
Куриль хозяйские сигары.
Вот и мазурка. — Пышный бал
Подходит к ужину. — Устал
Камков; — уж он спешит убраться,
Уж он спиной к дверям стоит,
Но баронесса оставаться
Ему до ужина велит.
Играя веером, вздыхая
Всей грудью, — словно отдыхая,
Она задумчиво сидит.
Он должен низко наклоняться,
Чтоб слушать; — дама говорит:
— Вы не хотели увлекаться,
И не хотели танцевать,
Я — надо правду вам сказать, -
Вас изучаю...
— Много чести.
— Нет... уверяю вас без лести,
Что вы предобрый человек,
Но, знаете! — больной наш век
Вам повредил, — ваш ум озлоблен
И сердце спит, — не грех ли вам?
— Нет, баронесса, я к балам
Был с юных лет не приспособлен:

Когда я гимназистом был,
Я все змейки пускать любил;
Когда в студенты поступил,
Я самого себя пустил
Под облака, и в них терялся,
Летал — пока не оборвался.
Так прозевал я жизнь и свет.
Танцмейстеру же в тридцать лет
Платить за резвые уроки
И прыгать в образе сороки
Смешно тому, кто учит сам -
Судить людей не по ногам.
— А знаете, что я желаю
Быть вашей ученицей, — и
Боюсь...
— Я вас не понимаю.
— Недавно с вами о любви
Я спорила... вы слишком строги;
Вы забываете, что мы
Простые люди, а не боги.
Конечно, жить в стенах тюрьмы
Я не хочу, — но и на воле
Нельзя всегда на свет без боли
Глядеть. — Вы хоть немножко тьмы
Нам дайте, — для отдохновенья, -

Ну... хоть немножко, — для меня...
Камков любил определенья; -
(Педант — не правда ли, друзья?!)
— Что значит ваша тьма? Позвольте
Спросить? — к роскошному плечу
Склонясь, бормочет он.

— Увольте

От объяснений, — не хочу
Я объясняться, — отвечает
Она поспешно. — На щеках
У ней румянец, — на губах
Усмешка, — тихо пожимает
Она плечом, — опять глядит
Ему в лицо и говорит:

— Что значит тьма? Да разве с вами
Был вечно свет? Да разве сами
Вы... не блуждали никогда?
Ни разу не были счастливы?

— Я, никогда!

— Ужели?

— Да!..

— Так что ж вы так красноречивы!
Вы убиваете меня...

— Но, баронесса, если я

В моих невольных увлечениях

Одно мученье почерпал,
Метался, путался в сомненьях,
Как будто выхода искал
Из лабиринта иль хаоса,
И если самая любовь
Глядела на меня так косо,
Что в жилах не кипела кровь,
А застывала, — неужели
За это надо вас просить
Меня, как варвара, казнить...
Прощайте! — накрывают ужин,
Как кавалер, — я вам не нужен,
К тому же... право — сплю давно -
И даже брежу...
— Уезжайте,

Бог с вами! Мне самой пора.
Итак, m-r Камков, прощайте...
И... до свиданья... до утра...

ГЛАВА 3

Ночь на исходе. Снежным комом,
Уединенна и бледна,
Висит над кровлями луна,
И дым встает над каждым домом,
Столпообразным облакам
Подобно; медленно и грозно

Он к потухающим звездам
Ползет.

Неужели так поздно?!

Лениво удаляясь прочь,
У башен спрашивает ночь.

Который час?

— Да уж девятый!

Звонит ей Спасская в ответ,

И ночь уходит. Ей вослед

Глядит, зардевшись, Кремль зубчатый
Сквозь призму неподвижной мглы.

Над серыми его зубцами

Кресты и вышки и орлы

Горят пурпурными огнями,

И утро с розовым лицом

Стучится в ставни кулаком:

"Вставай, лентяй! вставай, затворник!"

И просыпается Камков.

Уже к нему с вязанкой дров

Ввалился неуклюжий дворник.

Вот он на корточках сидит

Перед заслонкою; трещит

Под пальцами его береста,

И печка топится.

"Мороз-то

Какой бог дал, — такой лихой,
Что инда _жгет_.

— А что, большой?

— Да так себе, изрядный; галка,
И та, вишь, мерзнет на лету.

Камков (ему как будто жалко,
Что птицу вольную, и ту

Не пощадил мороз проклятый),
Облокотясь одной рукой

На край своей подушки смятой,
Хандрит, и кажется ему,

Что он похож на инвалида,
Что он не может ни к кому

Пристать, как каторжник без вида,
Тайком покинувший тюрьму;

Что предаваться увлеченьям
Не смеет он, и на себя

Глядит герой мой с сокрушеньем,
И мыслит: черт возьми тебя,

Камков! ты никуда не годен.

Вот, погляди: мужик, сей раб,

И так здоров, а ты свободен,

И непростительно так слаб.

Да я б дрова колоть, да я б

Таскать тебя заставил воду,

Чтоб ты здоровую свободу
Благословлял.
Ну, словом, мой
Герой встал левою ногой.
Так он хандрил. — Конечно, это
Хандра минутная была,
Но иногда она вела
Его к стихам; произвела
Его для многих в чин поэта,
Хоть элегических стихов
Своих терпеть не мог Камков.
Блажен, кто с раннею зарею,
Или к полуденной поре,
Проснувшись с свежей головою,
Не спросит: что-то на дворе?
Какая-то теперь погода?
Кому и счастье и природа
Равно всегда благоволят;
Кто сильно молод, иль богат;
Кому в минуты пробужденья
Мечта пророчит наслажденья,
Поет ему: ты мой жених,
Сердечный, милый, ненаглядный,
Тебя на крыльях золотых
Я унесу в чертог нарядный:

Там посреди зеркальных стен
Я проведу тебя украдкой
И положу в истоме сладкой
У трепетных ее колен.
Или поет: мой друг, сегодня
Лети на биржу, да бери
С собою акций пук, да ври
Бессовестней как можно, и
Авось для праздника господня
По-прежнему кого-нибудь
Я помогу тебе надуть,
И будешь ты богаче вдвое,
И разжиреешь на покое.
Или поет: начальник твой
Тебе сегодня улыбнется...
Недаром у тебя так бьется
Сердчишко; ты любимец мой;
Поверь, что у слепой Фемиды
Есть на тебя большие виды,
И накануне именин
К тебе слетит желанный чин.
Итак, друзья, блажен, кто грешен
Без ссоры с золотой мечтой;
Кто ласкою ее утешен,
Тот, верно, левою ногой

Не встанет с утренней постели,
Не скоро сбросит свой халат,
И ни морозы, ни метели
Его блаженства не смутят.
Камков не долго оставался
В своем халате, потому
Что было некогда ему.
Он брился, мылся, одевался:
Ну, словом, выехать спешил.
Едва-едва он не забыл,
Что ровно в десять начинался
Урок, что целый пансион
Девиц учить обязан он;
Что ученицы молодые
Нетерпеливы, что иные
С утра долбят: Платон, Сократ,
Перикл, Софокл, Алкивиад,
И так долбят, и так спешат,
Что даже, не доевши булки
За чаем, посоvalи их
В кармашки фартучков своих;
Камков, как вижу я, прогулки
В Афины с ними совершал,
Их юность в древность посвящал.
Вот мой герой напился чаю,

И не в Афины едет, — он
На ваньке едет к Ермолаю
В вышереченный пансион,
Туда, где, помавая бровью,
Не раз он с жаром говорил.
Где платонической любовью
Две-три шалуны заразил,
И тем заставил их смириться,
Сидеть прямее, не болтать,
За ним в Элладу улетать,
И чуть не взапуски учиться.
Увы! подснежные цветы,
Прощайте!., выросла крапива,
Дурман, цикорий, хмель для пива;
Деревья, травы и кусты
Уже блестят в нарядах лета, -
Прощайте, детские мечты!
Вы позабыты в шуме света
Под веяньем житейских гроз,
Страстей, борьбы, забот и слез.
Из пансиона к молодому
Барону едет мой Камков
(Хоть он и не совсем здоров);
Но к баронессе, даже к дому
Ее, невольно как-то он

Привык, заметно окружен
Предупредительным вниманьем
Хозяйки: — мог он там курить,
Входить в гостиную, — смешить,
Пугать хандрой, иль отрицаньем
Житейских всяких пустяков.
Так незаметно мой Камков
Стал баронессе тем приятен,
Что был и прост, и непонятен:
Ей нравится не прилагал
Он ни малейшего старанья,
А потому и привлекал.
Ее намеки иль признанья
Полушутливые (давно
Другой бы понял их: одно
Из них мы слышали на бале)
Его нисколько не смущали;
Ее приязнь он принимал
За симпатию убеждений,
Других же тайных побуждений
Покуда не подозревал.
Так ездя на урок с урока,
В науке жизни недалеко
Ушел ученый мой поэт;
Но, говорят, кто с юных лет

Немецкой мудростью напудрен,
Не может быть не целомудрен.
Попробуйте вообразить,
Положим, Гегеля — Фоблазом,
Иль Канта — Казановой, — разом
Поймете вы, что совместить
Такие типы высший разум
И тот не в силах. Только брак
И может сочетать с наколкой
Философический колпак;
И если кофе и табак
Сольются запахами, — смолкой
Их дух не выкуришь никак.
Не странно ль! — Эти замечанья,
Поздней, в час горького признанья,
От самого Камкова я
Подслушал. — Самого себя
Он не щадил нисколько. С этим
Глумленьем над самим собой
Он был (мы от себя заметим)
Гамлетом с русскою душой.
И вспомним кстати, что Гамлета
Тургенев громко освистал.
Но кто же, кто им не бывал
Из тех, кто мыслил и страдал,

Кто раболепно не склонял
Колен пред идолами света,
Кто сердце честное ломал
Об их железный пьедестал,
И кончил тем, что притворился
Юродивым, или смирился?..
От баронессы мой герой
Спешил обедать то в кофейной,
То у друзей, или домой
Летел забиться в угол свой,
Заняться новой книжкой Гейне,
Прочесть романа свежий том
Иль углубиться над трудом
Историка — Все, от Гиббона
До современного Прудона, -
Он все читал, как будто мед
Из них высасывал. — Но тот,
Кого считал он великаном,
Кто в черепе своем вмещал
Весь мир, хотя и прикрывал
Философическим туманом
Зерно идей своих, — чей взор
В границах отыскал простор;
Нашел, что дух всему основа,
Для малого и для большого,

Для зла и для добра, — и то,
Что абсолютное ничто
Всему есть вечное начало;
Ну, словом Гегель для него
Был первый друг и запевало.
Из отвлеченностей его
Он много разных истин вывел
И даже — чуть не оплешивел.
О! часто думал я, — родись
Камков мой в Мюнхене, в Берлине -
В философическую высь
Ушел бы мой герой, и ныне,
Быть может, в парике, в очках,
Шумел бы с кафедры — писал бы
Трактат ученый, — издавал бы
В ста двадцати пяти частях
Иль выпускал своих творенья;
В них разрешил бы все сомненья,
Доволен был бы сам собой,
Своей дешевою сигаркой,
Сантиментальною кухаркой,
Или кухаркою-женой,
Своим уютным, скучным домом,
И докторским своим дипломом,
И был бы счастлив.

Не таков
Был мой талантливый Камков.
Он рад был день и ночь трудиться,
Но уверял, что не годится
В московские профессора,
И уверял, что сам предвидит,
Как ничего из-под пера
Его хорошего не выдет.
"Я, — говорил он, — я похож
На скрипача. Едва начнешь
Играть в своей каморке тесной
Какой-нибудь концерт, — едва
Смычок, струна и голова
Сольются в музыке чудесной,
Как вдруг какой-нибудь сосед,
Больной подагрой иль чахоткой,
Стучится за перегородкой
И вам кричит: "Эх, мочи нет,
Мне ваша скрипка спать мешает!"
И вот чувствительный скрипач
От струн смычок свой отрывает
И в нежном сердце ощущает
Такую злобу, что хоть плачь.
Вот ночь проходит. Солнце всходит.
На скрипача опять находит

Охота к солнцу улететь -
И вот опять смычком он водит,
И вот уж гимны стал он петь.
"Чу! кто там?" — "От хозяйки Прошка". -
"Зачем ты?" — "Начали говеть
И просят погодить немножко,
Недельку эту не скрипеть".
И вспомнил он, что и наемни
Его просили не играть,
Затем, что поп прошел к обедни.
Что делать бедняку? Искать
Другое местопребыванье,
Иль оказать непослушанье?
А так как робость на него
Нашла, что выгонят его
С квартиры на мороз без денег, -
Карман-то, видно, был пустенек, -
То вы из этого всего
И выводите заключение".
Камков был мастер на сравненья;
Он, вероятно, испытал,
Что значат камни преткновенья,
И с видом остряка желал
Перед друзьями оправдаться,
Но он от этого, признаться,

Ни выиграл, ни проиграл.
Чудак! писал бы, да писал,
И верно бы не хуже многих
Судей решительных и строгих {*}
{* Стих А. Пушкина. (Прим. авт.)}

К нам в просветители попал.
Чего ему недоставало?
Знать, не было геройства? Да,
Такого свойства, господа,
В моем герое было мало,
А без геройства, черт возьми,
Как трудно ведаться с людьми!
Уроки, чтение, споры, боже!
Ужели все одно и то же?
Но дни бегут, как за волной
Волна, сказал бы я в сравненье,
Когда бы с русскою зимой
Могло мое воображенье
Себе представить волн теченье...
Стояли реки в берегах,
Но дни к весне текли, — и ночи
Заметно делались короче,
Хотя по-прежнему мороз
Знобил народ, и зябкий нос
Краснел порядком. Но едва ли

На то вниманье обращали
Все те, кому везде тепло,
Куда бы их ни занесло.
Пусть в берегах река застыла
И снегу много намело,
Москва по-прежнему кутила
Природе пасмурной на зло.
В сердцах, по милости лохматых
Шкур, содранных с лисиц, волков,
Медведей, котиков, бобров,
Зверей, ничем не виноватых,
По милости печей и дров,
Играла кровь, вставляли страсти,
Просили счастья, денег, власти,
И волновались зимой
Еще сильнее, чем весной,
Одним на смех, другим на горе.
И вот нечаянной волной
Страстей волнуемое море
Плеснуло даже на него...
Да-с, на героя моего
Оно плеснуло. Он забылся, -
Не остерегся и влюбился,
Как некий отрок. Но в кого?
Вопрос, — ужели в баронессу?

Что ж, разве это мудрено:
Ей двадцать девять с лишком, но
Она свежа, она повесу
Любого может вдохновить
И сон блаженства подарить.
И этому Бальзак нисколько
Не удивился бы. Отец
Тридцатилетних дам настолько
Знал глубину людских сердец,
Что зрелых женщин страсти зрелой
Он отдал пальму первенства
Перед волненьями едва
Не плачущей, в любви несмелой,
Неловкой девушки. Он знал,
Конечно, для кого писал.
Камков и сам был почитатель
Большой Бальзака, — для него
Он был с достоинством писатель,
Но не оракул; оттого
Быть может, что в его натуре
(Равно как и в его фигуре)
Вы не нашли бы ничего
Французского. Камков повесой
Увы! — ни разу не был, и
Поэтому, друзья мои,

Не мог плениться баронессой:
к ней привык и, так сказать,
Уж слишком начал уважать
В ней ум и сердце, а известно,
Как это чувство неуместно
Там, где великий самодур
Шалит и тешится Амур!
Амур — и мой Камков! признаться,
Довольно странная игра
Судьбы, но мне давно пора
Судьбе ни в чем не удивляться.

ГЛАВА 4

Судьба, ты русло жизни. — Ряд
Случайностей неуловимых,
Неровность почвы, цепь преград,
То шатких, то неодолимых -
Определяет вечный скат...
Жизнь русская не водопадом
Слетела с каменных вершин,
Не сыпалась жемчужным градом
И не спешила — средь долин,
Освободясь от пышной пены,
Под сенью дремлющих раин,
Плескаться в мраморные стены,
И не видала над собой

Протянутую в золотой
Короне листьев — роскошь сада,
Плетенку с кистью винограда.
Нет! наша жизнь текла иной
Дорогой, — тихою рекой;
Над ней таинственно шумели
Непроходимые леса,
И северные небеса
В ней отражались...

Помню мели
Песчаные, волнистой мглой
Подернутые, — сосны, ели,
Солому, копоть, волчий вой,
Песнь заунывную, далекий
Звон колокола, одинокий
Шалаш, костер, кой-где следы
Пожара, да из-под воды
Виднеющиеся пороги.
И долго я искал дороги,
И медленно, где только мог,
Я плыл, толкая мой челнок,
И верил я в существованье
Иных, счастливых берегов:
Мне говорил об них Камков,
Герой недавнего преданья.

Не раз в излучинах реки
Сходились наши челноки...
Он старше был, пловец усталый,
Я был пред ним ребенок малый,
И он учил меня веслом
Махать смелее. Вдруг пахнуло
На нас метелью... Все кругом
Вдруг побелело, и потом
Его чуть в тину не втянуло,
Меня чуть не затерло льдом.
И я мой челн разбитый бросил.
Порой на берег выхожу:
Там вижу я обломки весел
И пригорюнившись сижу...
Взломало лед — и те же волны
Стремятся вдаль, и по волнам
Плывут других другие челны
К обетованным берегам.
Привет вам, братья! Путь счастливый!
Я по пословице правдивой -
"Рыбак узнает рыбака",
Вас узнаю издалека.
Привет вам, братья! Но не знают,
Знать не хотят, не узнают
И на привет не отвечают -

И мимо берега плывут...

—
Пойду домой. Что ж делать дома?
Дремать ли? Пчелку ли читать, -
За Гарибальди улетать...

Или пародии писать,
Иль живописного альбома
Переворачивать листы,
Встречать неверные черты
Знакомых лиц. глядеть на виды
Кавказа дикого, Тавриды
Покинутой, степей пустых -
И вызывать воспоминанья,
И смутно чувствовать, что в них
Нет прежнего очарованья?
Ужель разочарован я?!
Давно ли!.. Да, мои друзья,
Кто в самого себя лишь верит,
И говорит, что вера в нем
Еще кипит живым ключом,
Тот или недалек умом,
Иль очень тонко лицемерит.
Что значит верить в самого
Себя... в себя, — в свою особу! -
Нулем быть, подвигаться к гробу

Отдельной точкой, ничего
Кругом не видеть, злою жаждой
Томиться вечно, ибо каждый
Из нас, каких бы ни был сил,
Один — ничтожество, и гений
Без дружных рук, без увлечений
Простынет, если не простыл.
Где сердце тухнет, где не светит
Сей факел гордого ума,
Там, может быть, вопросов тьма
Из жизни встанет; жизнь отметит
Их, может быть, но не ответит
Ни на один из них -
Любви!
Огня, огня побольше!.. . . .

.....

.....

.....

.....

.....

—
Давно один сижу я дома,
Не слышу прежних голосов...
И снится мне мой друг Камков,
Невольно снится!

Вам знакома
Его каморка — стало быть,
Начну короче говорить.
Что делает Камков? Читает -
Статью ли пишет? Нет, страдает.
Но — что за вздор! ужели он
Серьезно, не шутя влюблен!
Спросите. — Этого не знает
Пока никто, а за него
Я, право, не могу ручаться.
Он может вдруг опять приняться
За философию. Тогда
Мы будем с носом, господа,
И первый буду я сконфужен.
Скажите, без любви кому
Тогда роман мой будет нужен?
Конечно, другу моему
Не чужды были увлеченья,
Но — это были треволненья,
Похожие на вдохновенья;
Он как-то вспыхивал и — гас.
Я знаю, что Камков не раз
Пленился красотой женской,
То городской, то деревенской,
Пленился выраженьем глаз,

Пленялся милой простотою,
(Неужто более ничем?)
Но он до глупости был нем,
Суров до самоотречения,
До невозможности желать
Взаимности... Я размышленья
Его могу вам передать.
— Камков! он думал: — ты опять
За старое... тебе ли с рылом
Суконным да в гостиный ряд!
Ты в одиночестве унылом
Уже заплесневел, измят
Ты рано внутренней борьбою...
И ничему не поддался,
И ни за чем не погнался.
Тебе ль роскошничать! Что страсти?!
Ведь это роскошь жизни. Мне ль
Сгорать и млеть у них во власти?
Вон на дворе шумит метель...
В окошки дует... сыро, чадно...
Бюст Пушкина один парадно
Стоит и лоснится в угле.
Поэт! спасибо! (хоть за это,
Бедняк, благодари поэта!)
Вот — беспорядок на столе,

И старых лексиконов томы
Таковыми кислыми глядят,
Что, кажется, чихнуть хотят.
Увы! в такие ли хоромы,
К иным мечтам приучена,
Взойдет она — моя жена,
Иль хоть любовница?.. Быть может,
Любовь моя все превозможет.
(Все может стать на беду!)
Чем я отпраздную победу?
Вдвоем с ней к Печкину пойду
Или в Сокольники поеду?..

.....

Извольте видеть, господа,
Как размышлял он иногда.
И размышляй всегда он эдак, -
Я б убедился напоследок,
Что из героя моего
Не выйдет ровно ничего.
Байронствующий Подколесин,
Он был бы для меня несносен.
Но не любил он, а мечтал:
Неизъяснимый идеал
Неизъяснимой красотой
Его дразнил, манил и ждал.

Перед больной его душою
Он встанет тенью молодой,
Неуловимой, роковой,
И ум его не развенчает
Ее чела... Недаром он
Как бы предчувствием страдает -
Как будто чем-то огорчен.
Сердит, — и не подозревает,
Как он велик и как смешон.
Вот он на циферблат косится,
Семи часов зачем-то ждет -
Как будто опоздать боится,
И в то же время тайно злится,
Что стрелка медленно ползет.
У баронессы он обедал,
И хоть шампанского отведал,
Но был не весел, и домой
Пришел сердитый. -
— Боже мой!

Ему сказала на прощанье
Жена барона, — вас просить
Хотят, через меня, учить
Одно премилое создание, -
Княжну Таптыгину. Ей лет
Шестнадцать, и она уж в свет

Пустилась. Думаю, учиться
Ей некогда: к тому ж она
Собою очень недурна;
За нею станут волочиться,
И уж волочатся.

— Но я, -

Сказал Камков, — уж две недели
Хожу _к ним_ в дом, и вам меня
Просить не нужно.

— В самом деле!..

Уже?!

И взор ее скользнул
Куда-то в сторону. Минута
Прошла в молчанье. Почему-то
Герой мой фрак свой застегнул,
Вздыхнул и руку протянул
За шляпой.

— Признаюсь вам, — рада
Я за княжну, но не за вас...

— Во всяком случае мне надо
Спешить домой... Который час?

— Опять домой? Ну погодите,
Не важничайте. Расскажите...
Неужели не скучно вам
Сидеть с княжной и по складам

Ее учить! Княжну я знаю:
Она мне дальняя родня,
Хоть и бывает у меня
Довольно редко. Князь — отсталый
Помещик и гордец немалый.
Подчас хвостун и враль большой.
В разводе с бедною женой,
В долгах по горло, утопает
В шампанском и лакеев бьет.
Дочь с папеньки пример берет,
И маменьки не уважает:
Как та ее ни умоляет
Видаться с ней, — она как лед,
И нет в ней сердца. Гувернантку...
Ну, словом, эту англичанку...
Кто ей нашел, когда отец
Любимую свою цыганку
Прогнал из дома наконец?
Я и княгиня. — И ужели
Княжна умна! Вы две недели
Даете ей уроки — ну,
Как вы находите?
— Княжну
Я мало знаю... — Не успели
Вы раскусить...

— Да, — подтвердил
Камков: — еще не раскусил.
И баронессе показалось,
Что он надулся. Подошла
Она к роялю, провела
Рукой по клавишам, взяла
Аккорд и громко засмеялась:
— Ах, чтоб раскусывать, у вас
Недостает зубов подчас:
Вы только мастера кусаться!
Камков упрямо стал прощаться,
Сказал, что едет на урок.
— Я б заперла вас на замок,
Я посадила бы вас в клетку,
Когда б могла! Зачем вы редко
Являетесь? По четвергам
Зачем вас нет... И как же вам
Не грех, не стыдно?!
Так игриво,
И строго, и полушутливо,
С особенным уменьем дам
Великосветских баронесса
Его бранила и была
Любезна. Вдруг — оборвала
Поток речей, не подала

Руки, и вышла вон...

— Мила,

Как бес; но похитрее беса! -

Подумал про себя Камков...

Домой пришел он в шесть часов

И трубку закурил, и ходит,

Как будто места не находит

Или не знает, что начать;

Но вы, друзья, хотите знать,

Как мог Камков, от обожанья

Прелестной женщины, с таким

Умом и сердцем развитым,

Дойти до странного желанья

Противоречить ей, сердить

И даже иногда с ней быть

Ей-богу чем-то вроде буки?

Давно ли он почти без скуки

Мог с нею время проводить,

Смеяться, спорить, говорить

С ней об открытиях науки,

И об искусствах, и о том.

Куда мы наконец идем,

Какая всех нас ожидает

Судьба, — и прочее. — К тому ж

Жена мила, доверчив муж,

Сын туп — и все как подобает.
Давно ли странный мой герой
Был далеко не хладнокровен.
Когда Моцарт или Бетховен
Был оживлен ее игрой,
Когда рояль ее гремела,
Как божий гром, иль нежно пела
И слышался кристальный звук
Под пальцами искусных рук;
Когда у ней лицо горело,
И темные, как ночь, глаза
(Которых ни одна слеза
Не оросила) покрывались
Блестящей влагой и к нему
С заветной тайной обращались.
Когда — бог знает почему -
Она невольно любовалась
Своим влияньем... то терялась
В мечтах — была оживлена,
То становилась вдруг бледна,
Игру внезапно прерывала,
И говорила: "Что же вы
Молчите?" — и сама молчала,
Не поднимая головы.
Когда она его встречает

И руку нехотя дает,
И так же нехотя берет
Ее назад, — не отвечает,
Или глазами провожает,
Когда он хочет, не простясь,
Уйти домой в урочный час,
Ужели он не замечает
В ней перемены, и не льстит
Его такая перемена!
И он не ждет — не дорожит
Минутами!
Какая пена
Морская, взбитая волной,
Сравнится с млечной белизной
Ее роскошных плеч и шеи?
Чей голос мягче, взор смелей?
Что в свете может быть темней
Ее волос? Они, как змеи,
Крутятся — и Камков не раз
Их видел, издали косясь,
И перед поздним балом в бальном
Костюме он ее видал,
И утром иногда встречал
Ее у сына — в белом спальном
Наряде, в блузе и чепце,

С дремотной томностью в лице,
С тем тонким, неостывшим жаром
Постели, ночи и всего,
Что было тайной для него;
В том _неглиже_, в котором даром
Не любят женщины себя
Показывать: они любя
Или по дружбе позволяют
Собой пленить нас по утрам;
Лишь те, которые снимают
С них мерку, этого не знают;
Башмачник, например, для дам
Что значит? — ничего!..

.....

Тогда протянутая ножка
Бесчувственна — и стало быть
Башмачник может приходить
В тот ранний час, когда окошко
Еще завешено, и свет
Дневной из-за пурпурных складок
Скользя глядит на беспорядок
Счастливой спальни. Но поэт -
Философ — словом, мой ученый
Для баронессы был _персоной_,
А не ремесленником; с ним

Нецеремонность эта с детства
Была бы в ней не чем иным,
Как только шалостью кокетства
Или затеями любви.
Как баронесса умудрилась
В него влюбиться? чем пленилась?
Иль, может быть, у ней в крови
Везувий тлел! — К чему напрасно
Судить, рядить иль обвинять!
Природа — деспот: самовластно
Царит и любит направлять
Людей на собственные цели,
Чтобы не слишком разжирели,
Чтоб не застаивалась кровь -
И посылает нам любовь.
И все это герой мой видел
(Хоть и не скоро увидал).
За что ж природу он обидел?
За что, злодей, возненавидел
Ее кокетство? — Дурь нашла,
Или природа обожгла
Его за то, что он, случайно,
Как трус, ей в очи заглянул,
Иль по незнанью оттолкнул
Он чашу с нектаром, и тайно

Раскаивался в этом? — Да,
Была минута, господа...
И он домой пришел смущенный,
Почти всю ночь не спал и, сонный
Страдал, как будто кошмар
Его давил...

Что это значит?

Не то ли, что любви запрос
Того, кто в бедности возрос,
Всегда сначала озадачит?
Не то ли, что сердечный жар
Мог заразить его? Горячка
Не так прилипчива, как то,
Чего мы скрыть не в силах. Кто
Матрос, того морская качка
Не может не качать: унять
Ее по щучьему веленью
Нельзя: попробуйте придать
К любви сомненье, к увлеченью
Рассудок или долг — и вас
Начнет покачивать как раз.
И долго был обуреваем
Камков, и у него едва
Не закружилась голова.
Он устоял — мы это знаем.

Минервы зоркая сова
Спугнула голубей Венеры,
Он заглянул в лицо Химеры...
И не завидую ему
И не браню, а потому
И ставлю вместо восклицанья
Недоумения крючок?
Там, где блаженство, где страданье,
Там, где кипит страстей поток, -
Что добродетель? что порок?
Кого винить? чем восхищаться?
Кого безжалостно казнить?
Пред кем безмолвно преклоняться
Что значит в женщине губить
Покой души иль сердце, — быть
Любимым и не откликаться?
Или любя ее, не сметь
К ней прикоснуться? маску скинуть
И вовремя ее покинуть -
Или, напротив, не иметь
Довольно сил, чтоб с ней расстаться,
Когда мы знаем, что она,
Любя другого, нам верна?
Притворством удовлетворяться,
Иль недовольно притворяться?

Кто лучше, выше, наконец,
По мненью света в век наш зрелый
Ум пламенный, в развороте смелый,
Иль благороднейший глупец?
Та девушка, что отдавалась
Любви и счастью сполна
И, судьями оскорблена,
Наплакалась и настрадалась -
Или бездушная жена?
Все лицемерие отбросив,
Скажите — оттого ль смешон
Нам будет нынешний Иосиф,
Что он в разворот не посвящен
И что за это фараон
Его в темницу не посадит,
А бог казной не наградит?
Вопросов тьма. Кто с ними сладит,
Кто их обсудит и решит?
Любви и счастья кодекс верен
Старинным спискам, но давно
Кой-кем то здесь, то там похерен -
Справляться стало мудрено.
Различно каждый понимает.
Ужель Камков воображает,
Что философия должна

Другие сердцу дать уставы,
Что, наконец, решит она,
В чем наша воля, в чем мы правы?
Или намерен он создать
Теорию любви сначала.
Чтоб хоть _идея_ оправдала
Его любовь, чтоб он сказать
Мог смело, почему он любит -
И гибнет сам иль жертву губит? -
Или он думает: любя
Жену другого, подкупая
Лакеев, мужа надувая, -
Как он посмотрит на себя?
И если правде он изменит -
Чем он в душе ее заменит? -
Не правда ли, для многих он
И непонятен, и смешон?
А будь он просто человеком,
Таким как все, как вы да я.
Не спорь в душе с лукавым веком
И наконец не мучь себя
Пустой, но честною борьбою, -
Он был бы фронт во всей красе,
Ему б завидовали все.
Итак, Камкову не давалась

Любовь — он это видел сам
("Где тонко, там и рвется"). Вам
Самим, я думаю, случилось
Такие страсти испытать:
Их, право, можно доконать,
Перекрестившись, в две недели.
Я этот срок нарочно дал,
Ибо герой мой, в самом деле,
Их в две недели доконал.
За что ж, однако, баронессу
Он хитрой женщиной назвал
И даже уподобил бесу -
За что? За то ли, что она
К нему немножко ревновала?
Кто ж не ревнует? Что княжна
Ее немножко напугала,
Что бестолковый мой герой,
С тех пор, как занят стал княжной,
Все брови хмурит — уверяет,
Что он страдает головой,
Что он, быть может, ей мешает,
Когда заходит по утрам
К ней в кабинет — учтив и скучен,
И стал заметно равнодушен
К ее радушным четвергам?

(А четверги друзьям открыты -
Друзьям прогресса и молвы,
И летописцами Москвы,
Конечно, будут не забыты.)
Никто на этих вечерах
Не мог читать у ней в глазах,
И сдержанное нетерпенье
В ней истоцилось — перешло
В тревожный сон, недоуменье.
В желанье дерзкое — на зло
Всему, во что бы то ни стало,
Им овладеть... Она страдала.
Конечно, ей не привыкать
Страданье смехом прикрывать;
А кто привык — тому не надо
На это хитрости большой.
Так ошибался мой герой;
Но говорила в нем досада.
— А! — думал он, когда домой
Шел вечером: — вы не щадите
Княжны, вы рады клеветать
На девушку — и вы хотите,
Чтоб я был весел!.. Нет, пора
Мне отрезветь! Мне надоели,
Мне скучны ваши вечера:

Ни зла в них нету, ни добра.
Какая польза, в самом деле, -
Пред этой светскою толпой
Мешать науку с болтовней,
И, никого не убеждая,
Хозяев тешить ради чая?
И все, что вызвано трудом,
Нуждой, бессонными ночами,
И жаждой знанья, и слезами,
Нести, как дань, в богатый дом,
Где все так праздны, все так ложно?..
Но, признаюсь вам, невозможно
И передать всего того,
Что лезло в голову его.
На подмороженные лужи
Ступая всей своей ступней,
Не чувствуя вечерней стужи,
Он шел с поникшей головой.
Но... не забыл он об уроке...

Заря бледнела. На востоке
Туман лиловый холодел,
Над кровлями и над крестами
Ночь тихо двигалась. Блестел
Зенит вечерними звездами.

Москва подобно небесам
Спешила засветить другие,
Таинственные, но земные
Созвездия — и к фонарям
Послала буточников. Вам
Известно, что и с фонарями
В Москве, как в небе со звездами,
Порой так глухо и темно,
Что можно заблудиться; но,
Друзья, примите в рассужденье:
Чем пасмурнее освещенье,
Чем наши улицы грязней,
Тем вдвое больше наслажденья
Сидеть в семье иль у друзей,
Или с возлюбленной своей
Перед шипящим самоваром,
Вести приятную вдвоем
Беседу (ворковать), иль ром
В чай подливая, спорить с жаром,
И жизнь халатная тогда
Милее вдвое, господа.
Камков не ездил за границу,
Не видел газовых пучков
Огня при блеске зеркалов,
И нашу древнюю столицу

С материальной стороны
Считал тогда довольно сносной.
Теперешние крикуны
Тогда ходили с рожей постной,
И громко ни один из них
Не смел бесчестить мостовых...
Их фельетоны были слабы
(То были розы без шипов).
Но, господа, — бьет семь часов.
Куда стремится мой Камков
На подрезях через ухабы?
Вот площадь, вот гостиный ряд,
Огни, возы, крестьяне, бабы,
Кадушки, клетки... вот стоят
На хвостиках, развесив уши,
Свиной мороженые туши...
Капустой пахнет... вот висят,
Как бусы, пресные баранки;
Стоят мальчишки над лотком,
И сбитень пьет под фонарем
Приказный...
Ковыляют санки -
Камков не видит ничего.
Мир будничнй пред ним мелькает,
Он брызжет грязью на него,

Когда в ложбину попадает;
То ваньку за кушак хватает,
То упирается в задок.
Камков стремится на урок.
(Урок — обязанность святая...)
И едет он, не забывая,
Что ждет его семья друзей,
Стаканы с чаем, кренделей
Тарелка, трубка, разговоры
На тысячу ладов, мечты,
Приятельские остроты,
Философические споры,
И Б., и К., и Г. {*}, и тот,
Кого он скоро обоймет
В последний раз и вдаль проводит
И тот, кто Гейне переводит,
И тот, кто вечно всех смешит,
И тот, кто иногда грустит
О запертой на ключ невесте...
{* Бакунин, Кетчер, Герцен. (Прим. авт.)}
Когда они сбирались вместе -
Никто из них не козырял,
Не напивался: пьянство, карты
К иным из них — увы! — поздней
Пришли — уже на склоне дней,

Когда Баконьы и Декарты
и Гегели от нас ушли,
Как волны теплого тумана,
Что поутру, поднявшись рано,
Плывут с прозябнувшей земли
Через верхушки леса в небо,
Не зная сами, что весной
Под их волнистой пеленой
Для зерен будущего хлеба
Спасительная теплота
Была незримо разлита.
Друзья Камкова собирались
В тот вечер целою семьей
Затем, что мысленно прощались
Уже друг с другом; разлетались
Они с грядущею весной...
Но мы их общество покинем
И в новый, незнакомый дом
Отправимся.
Пора! — войдем.
Суконный занавес раздвинем.
Отворим лаковую дверь.
Посмотрим, где-то он теперь
Герой наш? Вот он, — новой сферой,
Как чародейством, окружен,

Как будто воодушевлен
Или проникнут новой верой
(Таков его вечерний вид),
В уютной комнатке сидит
Перед молоденькой княжною,
С раскрытой книгой под рукою.
И две свечи пред ним горят,
И девушки глаза блестят
Своей прозрачной глубиною -
В них от ресниц ее порою
Тень неподвижная стоит.
С наивным, робким изумленьем
Она ему в лицо глядит,
Как будто все, что говорит
Камков, каким-то странным пенъем
Ей кажется. Ее уста
Полураскрыты... грудь не смеет
Дышать, как будто тихо веет
Пред ней великая мечта
О жизни... Словно провиденье,
А не учитель перед ней
Сидит и разъясняет ей
Души святое назначенье.
На землю сводит небеса
И в этом видит чудеса.

То прозу, то стихи читает,
Не спрашивает ни о чем,
Вопросы сам подозревает,
Молчит с минуту — и потом
За ученицу отвечает
Так просто и с таким лицом
Спокойно-ясным, что, признаться,
Друзья, вам может показаться
При этом случае, что он
Порядочный хамелеон.
Куда девалась вся досада?
Где эта глупая хандра?
Но, господа, уже пора
Давно, чтоб с силами собраться,
Мне с этою главой расстаться.
Как змей, что, сбросив чешую,
Об ней уж больше не хлопчет,
Так я четвертую мою
Главу бросаю с плеч. Кто хочет
Поднять, пусть поднимает, кто
Желает затоптать, пусть топчет...

.....

Зоил бранит — поэт не ропчет.

ГЛАВА 5

Зачем стихи, зачем не проза?

Зачем не тополь, а береза?
Зачем не лето, а зима -
Не свет, а тьма, и вечно тьма.
Все покрывающая разом:
И тупоумие, и разум,
И честный подвиг, и обман,
И ваш протест, и мой роман?..
Когда стихи журчат и льются,
И свежи, как поток лесной,
Или как черти над водой
Поют и воют и смеются, -
Я вслед за ними уношусь
И ближе к жизни становлюсь,
И чувствую, что жизнь больная
Мне не чужая, а родная, -
Родная, кровная моя,
Что с ней невольно связан я
То ненавистью, то любовью,
Как чуткий нерв с живою кровью,
Как с морем зыбкая волна,
Или как с арфою струна.
Когда богиня песнопений
Не хочет знать моих сомнений,
Когда, свободная, она
Все то, что может, то и смеет,

К тому и льнет, кого жалеет;
Когда, не внемля никому,
Она свои меняет страсти -
Я как дитя у ней во власти...
Я сам не знаю почему
Она так дорожит Камковым.
(Увы, друзья, таким неновым,
Непоэтическим лицом!)
Иль старое все так же ново?
Иль новое не зрело слово?
Или у вечно-молодой
Камены умысел иной?..
Иль эта прихотница хочет,
Пускаясь за героем в путь,
Меня, и вас, и всех надуть?
Или она о том хлопочет,
Чтоб пищу дать моим врагам
И накормить их до упаду?..
Не знаю!.. Зажигаю вновь
Мою вечернюю лампаду
И вновь пою, врагам в усладу,
Камкова и его любовь.
Итак, в назначенные сроки,
А именно по середам
И пятницам (то вечерам),

Он стал княжне давать уроки.
Иных — поверьте, господа, -
Иных девиц учить беда
Тому, кто слишком деликатен.
Камков был вежлив, был приятен,
Уступчив, но и он подчас
Был раздражителен. Не раз
Больная желчь его страдала.
Кому приятно убеждать,
Что дважды два совсем не пять?
Он утомлялся — и, бывало,
С душой измученной спешил
Домой, ложился и хандрил.
Уж я не знаю, оттого ли
Камков взялся княжну учить,
Что и в тисках суровой доли
Не позабыл, не мог забыть
Ту ночь, тот бал, как сон минувший,
Тот образ девушки мелькнувший...
Тот образ ангела без крыл,
Который так его пленил.
Иль мой философ простодушный
Взялся за подвиг оттого,
Что оставалось у него
Довольно времени...

Признаться,
В последнем можно сомневаться.
Начав учить княжну, он был
Так вежлив, что не приступил
К экзамену; нашел, что поздно
Учить грамматике. Серьезно
Он это все сообразил,
Или, подкуплен красотой,
С своею совестью хитрил.
Еще не ведая, не зная,
Насколько милая княжна
И развита, и смышлена,
Он стал учить ее, читая
Любимых авторов своих.
Читая Пушкина, Кольцова,
Он разбирал их каждый стих.
Докапывался до живого,
До сердцевины — и потом
В теорию вплетал картины
Из русской жизни, без затей
Мешая были наших дней
Со временами пугавщины {*}.
Он стал беседовать с княжной
Как будто с очень развитой
Девницей — и негодованья

На общество, на ложь, на зло
Он не скрывал, и упованья
Свои высказывал (зело
Он верил, что заря мерцает,
Что грязь местами подсыхает
И что недаром Гоголь нас
Колол не в бровь, а прямо в глаз).

Он говорил не запинаясь
И уж, конечно, не стесняясь...

{* В Москве случилось мне
слышать "пугавщина" — вместо
пугачевщина. (Прим. авт.)}

Меж тем, в глубокой тишине,
Мисс Плэд сидела в стороне
И, свесив локон, наклоняла
Седую голову — читала,
Писала письма, иль вязала
Пред лампой с темным колпаком,
Филейным шевеля крючком.
Мисс Плэд — Ларисы гувернантка
Была отчасти пуританка,
Пять лет в Париже провела,
Перевела трактат о рабстве
И, говорят, сестрою в братстве
Евангелическом была;

Отлично знала по-французски,
Но... трудно говорить по-русски.
По-русски слов до десяти
Она могла произнести.
Когда же слушала Камкова -
Не понимала ни полслова,
Что не мешало ей подчас,
Немного щуря левый глаз,
Поглядывать с недоуменьем,
О чем Камков мой говорит
Княжне с таким одушевленьем
И почему она молчит.
Княжны суровая пугливость,
Задумчивая тишина
Ее лица, неторопливость
Ее движений, глубина
Очей лазурных, молчаливость,
"Да", "нет" и больше ничего -
Все это друга моего
Сначала трогало, и было
Ему _так ново и так мило_;
Потом сомненье вдруг нашло,
Как тень, на бледное чело
Доверчивого педагога.
Однажды — на грядущий сон -

"Уж не глупа ль?" — подумал он...
И думал он об этом много
И долго мучился. "Княжна
Такая странная! кто знает, -
Твердил он, — может быть, она
Меня совсем не понимает.
Но... господи! как хороша!
Мадонна в детских сновиденьях
Рафаэля!.. Что за душа
В глазах, во всех ее движеньях
Какая прелесть!.. Пусть она
Неразвита и не умна...
Зато... и не глупа же очень..."
В одну из пятниц, озабочен
Таким сомненьем: — "Нет же, нет! -
Он мысленно себе в ответ
Твердил упрямо, — нет, глазами
Такими тупость не глядит!
Она меня благодарит
И молчаливыми устами,
И этим взглядом. Боже мой!
Как я неправ перед княжной!"
И вот проклятый Мефистофель
(Московский, стало, без затей)
Ему над ухом шепчет: "Эй!

Не слишком вглядывайся в профиль
Княжны загадочной своей.
Ведь это не мечта поэта
И не мадонна, в бездне света
Меж ангелов по облакам
Грядущая, и не Психея
Из мрамора, среди музея
Поставленная знатокам,
Таким, как ты, на удивленье:
Нет, это смертное творенье -
Княжна Таптыгина... Простись
С надеждами — и отвернись!
Ведь ты и чижика под сетью
Держать не станешь; стало быть,
Тебе, мой друг, обуха плетью
Вовеки не перешибить!"
Так бес поддразнивал Камкова.
Он знал, с чего ему начать.
Другое на ухо другого
Он, верно, стал бы напевать.
В аристократку педагога
Влюбить — задача недурна,
Особенно для психолога.
Конечно, швейка и княжна,
Мещаночка и баронесса

Для любознательного беса
Все одинаково равны,
Все для него испечены
Из одного того же теста:
Но — у людей разряды есть,
У всякого свое есть место,
Своя особенная честь,
И надобно, чтоб грех попутал,
Чтоб кто-нибудь все это спутал...
Пусть говорят: "Попутал грех!"
Я, господа, греха не вижу
В том, что люблю и ненавижу,
Кого хочу... Но едкий смех,
Надменный тон, расчеты света,
Мертвящий холод этикета,
Сердце продажных маскарад -
Какой любви не охладят,
Кого не оттолкнут?
Далеко
От шума светского жила
Моя княжна. Она ждала,
Как развлечения, урока...
И тишина была кругом,
Когда Камков являлся в дом.
Сам князь в ту зиму был в отлучке.

Пустым казался бельэтаж,
Когда Камков касался ручки
Звонка. Дверей парадных страж,
Швейцар, являлся без ливреи;
Лакей в душе, как все лакеи,
Почуя носом бедняка,
Глядел немного свысока,
И молча принимал Камкова,
Как господина, нанятого
В известный час, в известный день,
Тревожить княжескую лень.
И как обычный посетитель,
Шел без доклада мой учитель.
Сперва по лестнице шагал,
Потом через холодный зал,
Покашливая, направлял
Свои шаги он к коридору
Довольно темному, к дверям,
Завешенным ковром, — и там
Встречал застенчивую Лору,
Или Ларису — у окна
Или у лампы с книгой. Станный
Был взгляд у ней, когда она
Его встречала. Так со сна
Глядит на вас ребенок, рано

Разбуженный и чем-нибудь
Приятно изумленный. Грудь
Прикрывши книжкой, подходила
Она к столу, не говорила
Ни слова и была бледна.
Она к уроку приступала
Как будто к таинству; она
Как будто молча изучала
Камкова. (Мой ученый друг
Стал унывать.) Она молчала,
Молчала три недели — вдруг
Пришла в себя, заговорила,
И так Камкова изумила,
Что он... и руку протянул,
И усмехнулся, и вздохнул
От радости... И боже мой!
С какою милой простотой,
С какою улыбкою приветной,
С какою искренней, заметной
Доверчивостью начала
Она с ним говорить!.. Призналась,
Как в первый раз она боялась
Его прихода; как была
Она тупа и как страдала,
Когда его не понимала.

— Я думала, что на меня
Вы будете кричать, — сказала
Она, ресницы опустья,
С зардевшимся лицом, — ведь я,
Сказать по правде, бестолкова.
Так например, что значит слово
"_Сосредоточенность_?.." Потом
Княжна, чертя карандашом
Какой-то нос в пустой тетрадке,
Сказала: "Не могу смекнуть,
Что значит "_личность_". Брань, нападки
Или другое что-нибудь?"
Не повторю вам объяснений,
Всех выводов и заключений,
Всего того, что говорил
Герой мой и чему учил:
Нет, вы сочли б за неприличность,
Когда б я стал вам объяснять
В стихах, как надо понимать
"Сосредоточенность" и "личность".
Все это нам давным-давно
Журналами объяснено.
Хоть личностью в толпе безличной
Из нас никто не знаменит,
Но каждый франт иль фат столичный

Вам все на свете объяснит.
Он летом, по дороге с дачи
На дачу, весело решит
Все философские задачи,
И уж конечно разберит
Идеалистов. В наше время
Другое выплывает племя -
Не любит слова "идеал".
Ах, это слово!.. это слово
Несчастное чуть дышит — и
Ждет как лекарства от Лаврова
Или от Страхова статьи!
В те дни, напротив, было внове
Оно, и каждый в этом слове
Глубокий смысл подозревал
И философствуя мечтал.
И, может быть, княжна мечтала,
Ждала чего-то впереди
И думала, что все возможно...
И сердце в девственной груди
Полнее билось; сон тревожный,
Смыкая очи, не смыкал
Горячих уст... Он рисовал
Не за пределами могилы,
А в жизни — разума и силы

И чести светлый идеал...
Камков ей часто намекал,
Что есть у всякого народа
Святая цель — его свобода.
По-своему он понимал
Свободу. Быть вполне свободным -
Он думал — значило связать
Себя во многом, сочетать
Свой личный идеал с народным.
Так отчего же мой Камков
Не сделался славянофилом?
Друзья! не тратя лишних слов
Скажу, что бедный мой Камков
Не верил потаенным силам.
"Нет! — часто думал он, — лака
Наш мужичок без языка, -
Славянофильство невозможно
И преждевременно, и ложно..."
Но что он думал, я писать
Подробно вовсе не намерен;
Я, господа, вполне уверен,
Что из подобных дум создать
Лицо — напрасный труд. Едва ли
И те, которые читали
Его статьи (осьмнадцать лет

Тому назад), воображали,
Что он _лицо_... Полупоэт,
Полуфилософ, часто с видом,
Насмешки над самим собой
Он говорил: "Э, боже мой!
Ни разу не вступивши в бой,
Каким гляжу я инвалидом!
Пора на лаврах отдыхать!
На содержанье поступать,
Пора усердно притворяться
Влюбленным в баронессу, стать
Ее собачкой, к ней ласкаться
И перед ней хвостом вилять..."
А баронесса начинала
Не в шутку волноваться: знала
Она, что с ней, но не могла
Понять, что с мим: он стал желтее,
Рассеяннее, холоднее,
Скорей придиричив, чем остер.
— Ужель княжна!.. Нет, это вздор!
Нет, это только под сомненьем
("Уж если я не увлекла!")...
И баронесса с нетерпеньем
Влюбленной женщины ждала
Развязки...

В мае за границу
Она с собой его звала.
Она звала Камкова в Ниццу,
В Венецию, в Неаполь, в Рим, -
Столицу папы, идиотов -
Попов, натурщиц, патриотов
И мраморных богов. Пред ним
Она хвастливо раскрывала
Большой с рисунками альбом,
Рассказывала, намекала
Где _можно умереть вдвоем_... {*}
{* Стих А. Н. Майкова. (Прим. авт.)}
Камков шутил, и бес лукавый
В ней колебал рассудок здравый,
На что уж, кажется, она
Была умна и учена!
В тот день, когда княжна Камкова
Так удивила, уж никак
Не ждал сюрприза он другого.
Домой вернувшись, мой чудак
Нашел записку; распечатал,
Прочел... еще прочел — и спрятал.
Писала женская рука,
Но не по женски коротка
Была записка. Лаконична

Насколько можно, и ясна
Насколько должно. Я отлично
Ее запомнил.

Вон она:

ЗАПИСКА БАРОНЕССЫ

"За что вы стали избегать
Друзей? Чудак вы!.. разве честно
Так с женщинами поступать?
Позвольте прямо вам сказать:
То, что изволит вас пугать,
Не может быть для вас нелестно.
Мне ваше сердце неизвестно.
Свое я не хочу скрывать,
К чему скрывать! ведь я страдаю
Не оттого, что я люблю,
А оттого, что я не знаю,
Любима ли? Я вас молю
Меня не мучить! Дайте слово,
Что завтра в _десять_ вы у нас.
Я для других больна: для вас
Я буду вечером здорова..."

—
И только!.. Если не считать
За этим — точек... Точки эти
Затем и выдуманы в свете,

Чтоб непонятно выразать
Понятное. Блажен, кто может
По ним о счастья гадать,
Кого их тайный смысл тревожит!
И эти точки мой герой
Невольно принял к сердцу близко.
Но откровенная записка -
Увы! не сердце, а покой
Больной души его смутила...

.....

.....

.....

.....

И вот, не без душевных слез,
Припал он жаркой головою
К своей подушке, не разделет
И не разут, точь-в-точь поэт,
Неумолимою судьбою
В темницу брошенный, и там,
На жертву крысам и мечтам
Покинутый...
Свеча горела
И догорала... Он лежал,
Лежал... потом лениво встал,
Разделся... Полночь прогудела

На дальней башне; он задул
Свечу и, наконец, заснул.
Герой мой спит. — Чу! зачиликал
На мокрой кровле воробей:
Не солнце, а весну он кликал.
Заря все шире, все теплей
Вставала... в полдень дождик капал
С дощатых кровель; рыхлый снег
Был смешан с грязью; санный бег
Каменья мостовой царапал;
Колес глубокие следы
Сплывались; не было езды
Ни на санях, ни на колесах,
Весна протягивала посох
И слышался со всех сторон
В Москве великопостный звон.

—

Еще довольно было рано,
Чтоб ехать в гости к холостым,
Но мы старушке извиним.
В ворота въехала Ульяна
Ивановна, спеша застать
Камкова, и была серьезно
Удивлена, что он так поздно
Еще изволит почивать.

Она приехала с служанкой,
С своим мешочком и с вязанкой
Баранок. — "А когда ж он встать
Изволит? скоро будет восемь
Часов; мы разбудить попросим".

Пошла кухарка отворять
Скрыпучий ставень. Встал с постели
Герой мой, и глаза протер,
И удивился:

— Неужели
Княгиня?.. где? с которых пор?..
Сейчас оденусь.

— "Не сердитесь.
Отец мой: еду из Москвы
Молиться к Троице..."

— Уж вы
И за меня там помолитесь, -
Сказал он, отворяя дверь.

Она вошла...
— "Ну да, конечно.
Мой милый Петр Ильич; теперь

Угоднику поклоны вечно
Я буду класть и за тебя".
— За что ж так долго за меня
Вы будете трудиться? Я

Таких молений недостоеин!
— "Ну, милый, ты уж будь покоен
На этот счет. Ведь это я
Уладила, что ты уроки
Даешь моей княжне. Была
У родственницы и дала
Твой адрес. Я тебя в пророки
Какие-то произвела:
Сказала... Ну, что я сказала,
Про то молчу. Ведь я слыхала,
Какой ты мастер: говоришь
Как книга — и не улетишь
Вслед за тобой, и не поймаешь:
Так высоко ты забираешь!
Недаром ты одну из дам
Приворожил; чуть не свихнула
С ума... ну да!" — И по губам
Старушки бледной проскользнула
Усмешка. Впрочем, не кольнуть
Камкова и не намекнуть
Хотелось ей на что-нибудь:
Напротив, бедная хотела
Ему польстить и не умела.
"О! — выслушав ее слова,
Камков подумал, — о, Москва,

Москва!.." (Вчерашнее посланье
Мелькнуло в голове его.)
Неужели твое призванье -
Все знать, не делать ничего
И сплетничать?..
Совсем иное
Происходило в голове
Старушки, и не о Москве
Напоминало ей больное
В душе местечко! Может быть,
Довольная своим вступленьем,
Она с заметным нетерпеньем,
Решилась вдруг его спросить:
"Что дочка? и чему ты учишь?
И скоро ли ее приучишь
Меня за ведьму не считать?
Ведь я люблю ее... я мать!"
Камков очнулся. Не с ума ли
Она сошла?.. — Что вы сказали?
Какая ведьма?..
— "Отчего ж,
Когда она меня встречает,
Ее, голубушку, бросает
Всю в лихорадочную дрожь?
Ты ей скажи, я не желаю

Пугать... не подойду... Я знаю,
Как тяжело и страшно ей
Встречаться с матерью своей.
Вот и на днях она каталась
С своей мадамой, и на ней
Был бархатный салопчик; ей
Остановиться б... Сильно сжалось
Во мне сердечушко, когда
Она как ветерок промчалась.
И то сказать, прошли года
С тех пор, как я с княжной рассталась!
Тогда еще и трех годков
Ей не было. Отец боялся,
Что я приду за ней: суров
Он был со мной и горьких слез
Моих не слушал. Богу клялся,
Что мне, как собственных ушей,
Не видеть дочери моей... -
Княгини голос оборвался.
Камков с усилием молчал.
— Ну вот, он клятву и сдержал!.. -
Она с тоской договорила
И с беспокойством поводила
Платком по подбородку...
— Зла

Я не желаю, — начала
Опять княгиня, — только знаешь,
Какие деются дела
На свете! и не разгадаешь,
Как поступать...
— Что ж было с вами?
Спросил Камков, моргнув глазами.
— "Не вынесла, мой друг. В наш дом
Князь поместил свою Любашу,
Цыганку. Заваривши кашу,
Хотел он скрыть ее — и скрыл!..
И где ж ее он поместил?
С княжною рядом — подле детской!!
"- Я няньку нанял, — говорит, -
Привез из слободы немецкой".
Да с этой нянькой и кутит...
Что будешь делать? Я ни слова,
Ни полсловечка... Я взяла
Да и ушла. Ну да, ушла,
В день воскресения Христова,
Из церкви прямо, как была,
В нарядном платье, наняла
Карету, да и покатила
Вон из Москвы — да и забыла
Про колыбельку!"

— Не могли

Вы поступить иначе — и
Недурно поступили.

— "Свято

Я исполняла долг мой... Но

Тут, извини: я виновата.

И не оправдывай!.. Грешно

Мне было в эдаком содоме

Покинуть дочку. Наказал

Меня господь!.. Всех в нашем доме,

Всех муженек мой разогнал;

И няню... и ее отправил

В деревню; при себе оставил

Двух поваров, да из людей

Каким-то чудом лишь Матвей

Мой уцелел — старик усердный.

Он недоимки собирать

Был послан. Любит куликать,

А впрочем, честности примерной.

Конечно, в дом меня пускать

И он не смел: за мной следили.

Я знаю, старика водили

В полицию за то, что он,

Вишь, от меня принес поклон

Малютке..."

— Как же поступили

С ним полицейские?

— "Ну, как!

Известно как — обыкновенно".

— Что ж он?

— "Да ничего, — смиренно

Ответила княгиня. — Так

Несчастливого и наказали

Из-за меня... С тех пор, мой друг,

Чтоб люди-то не пострадали,

И на меня нашел испуг;

В особенности за Матвея

Мне было тягостно..."

Краснея

До самых, так сказать, бровей,

Хозяин мой внимал своей

Печальной гостье. Ничего-то

Не знал он, хоть и жил в Москве.

В его горячей голове

Был мир иных идей — работа

Ученая... Мой педагог

Никак вообразить не мог

Своей наивной ученицы

В такой среде... среди такой

Житейской грязи. Так царицы

Иль нимфы посреди гнилой
Трясины мы никак не можем
Себе представить.

Но отложим
Фантазию, не утомим
Читателя и сократим
Рассказ княгини.

— "Я добиться
Хотела прав своих... мириться
Хотела — гордости своей
Не слушала — и что ж? меня же
За это обвинили! Даже
И репутации моей
Не стали верить... Он, злодей,
Не пощадил меня нисколько...
"... — Убью! — кричал... Попробуй только!"
Вот, начала и подрастать
Моя княжна, и стали мать
Ей людоедкой представлять.
Чего уж ей ни говорили,
Чем ни пугали, ни мутили
Рассудка детского!.. При ней
Хороших не было людей.
Еще не знаешь ты, как люди
Жестокосердны. Впрочем, буди

Его святая воля! Все
Перетерплю — и что мое,
То не уйдет. Ушло — вернется,
У бога очередь ведется..."

— Но, — перерывал ее Камков, -
Положим, трех — пяти годов
Ребенок был напуган вами!
— "Ну да, напуган. Он слезами
Меня встречал, рвался из рук,
Головку прятал..."

— Уверяю,
Княгиня, если б кто другой
Рассказывал... Но, боже мой!
Я все еще не понимаю:
Ребенок мог бояться вас,
Ну, а теперь?
"Теперь? — не знаю,
Отец мой! Только всякий раз,
Когда случайно я встречаю
Мою красавицу, — она,
Как плат, становится бледна,
Ну, словно видеть хладнокровно
Меня не может... ну... ну, словно
Я враг заклятый. Да и я
Сама к ней подступить не смею:

Что, если оттолкнет меня?.."

— А если бросится на шею?

Чего же вы боитесь?

— "Нет,

Боюсь я..." был ее ответ.

И бледная старушка стала

Еще бледней. Бог весть о чем

Она потупясь размышляла,

И в этот миг ее черты,

Которые года измяли,

Еще живей напоминали

Остатки прежней красоты;

И вглядываясь, можно было

Узнать в ней мать княжны (в сухом

Цветке мы узнаем с трудом

Его родню, что с ветерком

Весной льет аромат кругом).

И мысль свести их соблазнила

Камкова...

— Я вас помирю, -

Сказал он, — я вам говорю,

Как честный человек.

— "Неужто?"

Отозвалась она, — а муж-то

Мой благоверный, — разве он

Допустит!"

— Полноте бояться,

Он где-то рыщет.

— "Я, признаться,

Сама хотела... Ты поклон

Мой отнеси сначала. Еду

Сегодня к Троице; ну, да

Авось господь пошлет победу

Над сопротивными... Когда

Я ворочусь, — ты ей, мой 'милый,

Просвирку отнесешь: поверь,

Что это хорошо... Теперь,

Прощай пока!" -

И заспешила

Старуха и, перекрестясь,

Уехала.

Десятый час

Был на часах Камкова. Он

Невольно вспомнил вечер. Лег он

На свой диван между двух окон,

И, грустный, вслушивался в звон:

Колокола протяжно пели,

Тянули душу, но не грели.

Одна мечта была тепла,

И та — мучительна была...

ГЛАВА 6

Изведано, что хитрость есть
Ум дураков, и несвободных,
Добавлю я, — и всех, чья честь
Вращается среди природных
Ее врагов. Врагам же несть
Числа — их больше, чем голодных
Волков в лесу, чем хищных птиц
В степи; что шаг, то и возможность
Сгубить всю жизнь свою... В лисиц
Нас превращает осторожность...
Мы, люди с правилами, так
Искажены, так лицемерим,
Что поневоле только верим
Чистосердечию собак.
Муж баронессы был скорее
Баран, чем волк; но с ним хитрее
Она была, чем с кем-нибудь:
Она не слишком опасалась
Его рогов, — она боялась
Своей изменою кольнуть
Его достоинство баранье,
Утратить все свое влиянье
И быть осмеянной пустой
Великосветскою толпой,

К которой ни по состоянью,
Ни по связям, ни по призванью
Никак принадлежать не мог
Мой благородный педагог.
Но баронессе мало было
Хитрить с бароном: нет, она
Сама с собой осуждена
Была хитрить, и так хитрила,
Как никогда...

В условный день
Свиданья долго притворялась
Она поутру спящей; лень
Ей было встать. Она терялась
В своих сомненьях, зарывалась
В подушки... "Вечер все решит!"
Она мечтала.

Люди встали,
Скребли, мели и перестали.
Все думали, хозяйка спит.
А между тем она твердила,
Твердила: "Вечер все решит".
Но вот, одевшись, побранила
Она себя за этот бред
И за вчерашнее посланье
К Камкову. — Кажется, признанья

В нем не было... Конечно, нет!
Лукавый ей шепнул в ответ.
Потом за чаем рассудила
Она, что глупо поступила;
А впрочем, вряд ли он поймет -
В чем дело... Нечего напрасно
Тревожиться, и он прекрасно
Поступит, если не придет.
Да и она его не ждет,
Совсем не ждет и им не бредит:
Напротив, очень может быть,
Что и сама она уедет
На целый вечер. Заложить
Велит двухместную карету
И ко всенощной к Филарету
Отправится. Пускай придет
И не застанет дома... Боже.
Как он рассердится!

— За что же
Вы сердитесь, философ мой!
Могла ль я думать, что решитесь
Вы на свидание со мной?
Нет, вы сперва в меня влюбитесь.
Потом уже... О, вы чудак
Такой, каких на свете мало!

Что за беда, что я не стала
Вас дожидаться? Если так
Вас это сердит, — чем хотите
Я искуплю мою вину...
Желайте, требуйте, ищите -
И я... я вас не обману.
Отбросьте недоразуменья!
Так в области воображенья
Она беседовала с ним:
Герой был счастлив, и — незрим.
Она была боготворима
И так же, как и он, незрима...
Пускай глядят — пусть смотрит сын...
Пусть смотрит муж...
И за обедом
С одним помещиком-соседом
Она кокетничала; вин
Ему заморских предлагала,
Сама в стаканы наливала
И тешилась... пусть ни один
Из них не видит, что там бродит
У ней в мозгу, что происходит
В душе... В смеющихся глазах
У ней темнее было вдвое,
Чем ночью в черных облаках

Иль в омуте на дне. Какое
Намеренье скрывалось в ней,
Когда она своих гостей
Так угощала за обедом -
Кто понял?.. Но с ее соседом,
Едва из-за стола он встал,
Случилось диво: он повесил
Свой красный нос и задремал...
Потом привстал, поклон отвесил.
Потом, чтоб больше не дремать,
В гостиницу поехал — спать.
С утра болтающие гости
Ее терзали. Тайной злости
Полна, она лишь об одном
И думала и говорила
При всех, открыто, за столом,
Что хочет выехать; потом,
Когда она сам-друг осталась
С бароном, вдруг ей показалось.
Что в спину колет, что она
И простудилась, и больна...
Что ей так хочется к графине
Заехать... и... увы! должна
Скучать...
"Ах! — вспомнила она

При муже — буду по-латыне
Учиться... кажется, звала
Сегодня я Камкова. Зла
Я на него. Да, никакова
В нем такта нет: по четвергам
Зову, зову... дает мне слово -
И надувает! Вечно к нам
Придет не вовремя. Намедни
Пришел поутру; я к обедни
Сбиралась — вечно невпопад!
Такой чудак!"
— Ну что ж? я рад! -
Тряхнувши гладенькой головкой,
Сказал барон, — он малый ловкий
И, нечего сказать, учен,
Учен, собака!
Вот, рассталась
Она с супругом и пошла
В свой будуар. Уже смеркалось:
Заря по окнам пронесла
Огни свои и за гардиной
Куда-то спряталась. В гостиной
Часы пробили девять. Свет
Прощальный в сумерках печальных
Еще кой-где мелькал в зеркальных

Померкших стеклах. В кабинет
К барону лампу осторожно
Пронес лакей, но будуар
Был темен... Щек румяных жар
Не озарял его... тревожно
Она оглядывалась: слух
Ее был напряжен. — Возможно ль,
Чтоб время медленное вдруг
Подкралось к ночи! Не безбожно ль
Оно обманывает нас?
Неужели условный час
Так близок?.. Сдержанно и бурно
Дышала грудь ее... звонок -
И он войдет...
Чу! молоток
Позолоченного Сатурна,
У Гименея не спросясь,
Протяжно, с расстановкой, раз
Ударил... два... и сосчитала
Она удары: десять!.. Встала
И, бледная, пошла к дверям
Передней.
"Ты сегодня в клуб?"
— Ну, да, мой друг, конечно, там, -
Сказал барон.

Барон был в шубе
И ждал кареты; кучерам
Был послан нагоняй. Терпенье
В нем лопнуло. — "Какой подлец
Закладывает!" — в заключенье
Ворчал он под нос. Наконец,
К крыльцу карета подкатилась
И в клуб барона увезла.
Жена в переднюю вошла
И на швейцара покосилась;
Но не к швейцару обратилась,
А к камердинеру:

"Позвать
Мне сына".

— Он никак изволил
В концерт уехать...

"Кто позволил?
Барон? Как мальчика пускать
В такие лета одного! Спросите,
Кто из людей поехал с ним!
Какая мука!.. Доложите,
Коли придет Камков. Другим
Отказывайте: говорите,
Что я больна и спать легла".
Сказала, бровью повела -

И вышла.

Боги! нет страданья
Несноснее, как ожиданье
Влюбленных. Тот, кто испытал
Его, — тот медленно глотал
Сок приторный из чаши самой
Противной скуки. Надо быть
Не женщиной, не светской дамой,
Чтоб до конца ее допить
И на другой же день в постелю
Не слечь на целую неделю.
Еще довольно весела
Она была, когда вошла
В свой кабинет. Нашла, что мало
Огня в камине. Набросала
Туда щипцами угольков,
Подумала: придет Камков
И что-то скажет?.. — Не дожидаться
Ему признанья новых слов!
Нет, я вторично унижаться
Не стану. Нет! — И ей заняться
Хотелось. Спичкою зажгла
Она свечу, достала книжку,
Читать хотела — прилегла
И встала... Вспомнила Амишку,

Свою собачку, и пошла
Ее укладывать, а кстати
Узнать об горничной, об Кате,
Которая вчера слегла
От головной простудной боли.
Ей нужно к икрам привязать
Горчишники. Не худо знать,
Что делается... Словом, все ли
В порядке.

— Боже мой!.. Камков!
Ты, может быть, своих часов
Не заводил — или пропала
Моя записка... или... но
Мне совершенно все равно...
И баронесса повторяла,
Что никого она не ждет
И ждать не хочет. Пусть придет,
Пусть не придет, — ей дела мало,
Ей все равно!.. Из-за него
Она терзать себя не станет.
Что он такое? ничего!
Плебей, учитель! Вечно занят,
Чтоб хлеб насущный добывать...
Ему ль ценить! Ему ль понять!
И прочее, — Нет, нет! Вернее,

Всего вернее, что Камков
Не заводил своих часов,
И непременно он позднее
Придет... Не получить не мог
Он моего письма... У ног
Моих он выпросит прощенье
И за минуту промедленья,
Не только за десять минут!
А между тем часы бегут.
Заметно исчезают краски
С ее лица, глаза не лгут;
Они горят... Лицо без маски
Омрачено уже такой
Досадою, такой тоской,
Что... если ум с душою бедной
Еще по-прежнему хитрит,
— Ты, баронесса, — говорит
Ей зеркало, — такую бледной,
Такою смутной не была
С тех пор, как сына родила.
И, покачнувшись, отошла
Она от зеркала, и руки
Скрестила, и опять легла,
И долго вслушивалась в звуки
Иль в гул шагов, колес, саней

На улице... Войди он к ней
Сейчас, — она бы не сумела
Подняться: так оцепенела
Всем телом, так была она
Вся в чуткий слух превращена.
Войди он к ней сейчас, — и в зреньё
В такое ж чуткое, как слух,
Она бы превратилась вдруг.
И ни одно его движенье
Не ускользнуло бы; в одно
Неуловимое мгновенье
Все было б понято.

Грешно

Ему так медлить! Как! ужели
Одиннадцать?! Как бой часов
Далеко слышен! Прогудели
Удары... кончено! Камков
Не будет...

В залу устремила

Она свой взор — там тьма была,
И в темную она вошла
Гостиную, и показалось
Ей там, что будто помешалась
Она, что бредит наяву -
К невидимому существу

Идет навстречу... Испугалась
Она такой мечты; осталась
Однако же впотьмах, потом
К окошку подошла, и лбом
Прижавшись к темной раме, стала
Глядеть на улицу. С угла
От фонарей была светла
Большая улица. Мелькали
То здесь, то там, то вырастали,
То съеживались тени. Вот
Какая-то мамзель идет,
Какой-то кавалер за нею
Спешит, вытягивает шею -
Картуз клеенчатый блестит
И пропадает... Вон в овчинной
Шубейке баба штоф несет.
Вот едет рысью с пикой длинной
Казак и, может быть, везет
Депеши... Вот и неуклюжий
Фонарщик: с лестницей над лужей,
Должно быть, вздумал помечтать.
Остановился... и опять,
Опять все пусто... Вот из мрака
К столбу фонарному собака
Идет, за ней из-за угла

Другая, третья... и прошла
Собачья свадьба... Раздается
Задорный лай... Что это сон
Проклятый, или жизнь?! А он!..
Он, может быть, теперь смеется,
Иль начал Гегеля читать!
Увы! мечтою не догнать
Того, что в руки не дается!..
Чего ж ты ждешь? Какой любви,
Каких чудес из-под земли?
Поверь, никто в плаще не встанет
С гитарой под окном твоим
И серенады петть не станет!
Тут не Испания, не Рим!

.....

И баронесса воротилась
В свой кабинет и ухватилась
За колокольчик... Боже мой!
Какой нервической рукой
Она звонила, дозывалась
Кого-нибудь — и вот уж к ней
Идет по коврикам лакей.
— "Кто был у нас? мне показалось,
Что кто-то позвонил?"
— Чего-с?

— "Кто был за полчаса?"

— Никто-с.

— "Ступай".

Теперь пора сознаться,
Что никогда еще она
Так не была оскорблена.
Она хотела засмеяться
И стала плакать... (нежный пол
Красиво плачет). Огоньками
Сверкали на ее ушах
Алмазы; все лицо руками
Она закрыла, и с висков
На локти черными волнами
Сбегали косы... Не Камков
Уж был в уме у ней... Что значит
Камков? И не любовь в ней плачет,
А плачет гордость. Уж дотла
В ней догорела страсть; желанья
Потухли... баронесса зла -
И только!.. Тихие рыданья,
Истерики припадок...
Но
Что долго плакать! Уж давно
И спать пора! "Давно ль я стала
Такой нервической?" — сказала

Она, и локти отняла
От столика и подняла
Свечу, и в спальню отворила
Дверь полированную. — Спать,
Так спать! Другую засветила
Она свечу, но раздевать
Себя не кликнула ни Кати,
Ни Дуни; а замечу кстати,
Что баронесса никогда
Сама не раздевалась; это
Событье с нею, господа,
Случилось в первый раз... Ну да,
Событье! Впрочем, без корсета
Она была и, стало быть,
Ей не предвиделось большого
Труда себя разоблачить.
К тому же Катя нездорова,
А Дуня спит — к чему будить!
Неторопливо раздевалась
Она и наконец осталась
В одной сорочке. "Боже мой!
Какой однако же больной
Кажусь я в зеркале! — уныло
Подумала, — а прошлый год
Я так свежа была!.." И вот

Она вниманье обратила
На томные свои глаза,
На пятна слез (заметно было,
Что по лицу прошла гроза)...
Раздетая, она осталась
Перед трюмо; сперва созналась
С невольной грустью, что она
Без платья уж не так стройна,
Как в платье, что на пьедестале
Поставленную, может быть,
Ее не стали бы ценить
И восхищаться бы не стали.
И баронесса начала
Себя осматривать: нашла,
Что плечи пышны, грудь бела
И высока, и руки стройны,
И волосы роскошны, и
Все, все, что нужно для любви
И неги... Но благопристойны
Мы будем, и не скажем вам
Всего, что в зеркале предстало
При двух свечах, без покрывала,
Ее заплаканным глазам.
"Дурак Камков!" — Она сказала
Почти с презреньем, и в сердцах

Задула свечи. Вот, впотьмах
Отдернутая занавеса
Опять задернулась, и спать
Легла спокойно баронесса.
Ей тихой ночи пожелать
И мы не прочь: ведь ей досталась
Довольно трудная игра.
Она, несчастная, с утра
Страдала, вдоволь настрадалась, -
Пора заснуть!
Но не спалось
Ей, бедной: в жизнь ее былую,
Блистательную, молодую,
Воображенье унеслось,
И унесло с собой до слез
Обиженное сердце... Было
Над чем подумать! Но забыла
Она, как ветрено губила
Она сердца, когда была
Моложе. Память говорила
Ей о другом: она плыла
На пароходе за границу;
Была в Милане — как царицу
Ее встречали там: она
Всея тамошнею молодежью,

Как василек шумящей рожью,
С утра была окружена.
За ней ухаживал посланник,
И лорд в гороховом пальто,
И политический изгнанник,
И пламенный артист — и кто,
Кто был тогда ее избранник?
Кто был у ног ее? — Никто
И все до одного!.. И каждый
Из них, томясь ревнивой жаждой,
Готов был жертвовать собой
За миг любви, и — боже мой!
Все позабыть, и где ж влюбиться!
В Москве!.. И может это быть?
И может вздор такой присниться?
И кто поверит, что она
Была в Камкова влюблена?
Плебей! учитель — Нет, Россия!
Еще ты дикая страна!
Невеждами населена,
Медведями! И молодые
Как старики, и старики
Как дети... Можно от тоски
Здесь умереть. Пора в Тоскану,
В Милан, в Венецию. Не стану

Я больше медлить здесь; прощай,
Прощай, Москва! с тобой прощаться
Я рада, только пожелай
Мне никогда не возвращаться.
Конечно, можно кой-кого
Здесь уважать. Литература
Цвествь начинает; я не дура
И понимаю... для чего
Пристрастной быть? — уж за науки
Россия принялась от скуки,
И в этом можно принимать
Участье, но... но — не дышать,
Не жить!
Такие-то блуждали
В ней мысли и мешали спать.
И до нее не долетали
Ночные звуки: так она
Была в себя погружена.
Но вот Амишка заворчала,
И баронесса услышала,
Что кто-кто в спальню к ней вошел.
То был барон; он был в халате
И шаркал туфлями; на стол
Ночник поставил и к кровати
Придвинулся.

— "Ты спишь, друг мой?.."

Бледна, как мрамор гробовой,
Она в подушках чуть дышала.

"Ты спишь?" Она не отвечала,
И не хотела отвечать.

"А я хотел тебе сказать,
Что я сегодня двадцать тысяч
Привез из клуба; а тебя
И не разбудишь!" — "Если б высечь
Тебя могла я", — про себя

Она подумала, — признаться,
Была б от этого не прочь.

Как жаль, барон, что в эту ночь
Ты не изволил проиграться". -

Так, чуть дыша, в объятьях сна
Притворно-сладкого, она

Кипела. Видно, притворяться
Ей не наскучило... И он

Не разбудил ее... Барон
Был деликатен. Но закроем

Их ложе пологом: авось,
Соединив их, успокоим

Сердца их, бьющиеся врозь.

—

И на другой день в праздник (в будни

Для баронессы) ровно в час
Она проснулась пополудни.
Явилась Катя. — "Что ты?" — "Вас
Я разбудить не смела; надо
Вам в магазин; уже давно
Заложена карета". — "Но
Я нездорова... впрочем рада
Я выехать. А какова
Погода?.."

Баронесса встала
Усталой, впрочем, голова
Была свежа. И причесала
Ей Катя волосы. Корсет
Уж баронесса надевала,
Когда ей подали пакет
С печатью. Тихо положила
Она письмо на туалет.
Задумалась, но не спросила,
Откуда, от кого? Заныло
В ней сердце. Может быть, Камков
Вчера был очень нездоров,
Не мог приехать? — никакого
И оправданья нет другого.
Но если только умирать
Не вздумал он, я и читать

Не стану! Долго колебалась
Она: назад ли ей послать
Письмо, или прочесть? Осталась
Одна и — сорвала печать.

Послание Камкова

"Когда б в условный час свиданья,
Дав волю роковым мечтам,
Прочел я по твоим глазам
О тайнах твоего страданья, -
Клянусь, я б пал к твоим ногам,
И, сердцем нищий, все богатства
Его тебе бы обещал,
Твое бы сердце обокрал,
И совершил бы святотатство.
Клянусь! я б обманул тебя,
Себя, и бога, и природу,
Я б исказил свою свободу
И обладал бы, не любя.
Нет, перед любящей душою,
Перед страданием твоим
Я прохожу, склонясь главою,
Как перед чашею святою,
Глухим отчаяньем томим.
Запуган жизнью, я страдаю,
Когда люблю и не люблю,

Но о прощеньи не молю,
И ничего не принимаю
От тех, которым не даю.
Скажи — и справедливо будет,
Когда ты скажешь обо мне:
Несчастный! он меня не любит,
А мог бы счастлив быть вполне!.."
И баронесса прочитала
Стихи, и тут же разорвать
Хотела их, но воздержала
Себя от гнева, чтоб опять
Их на досуге прочитать...
Как вам понравились, читатель,
Стихи героя моего?
— Да что, помилуйте! мечтатель!
Мечтатель, больше ничего!
Писал он искренно, быть может,
Но... но и это не поможет.
В наш век в поэзии смешон
Восторженный какой-то тон...
К чему, прикидываясь птицей,
Парящей в небе, сознавать.
Что не умеем мы летать?
К чему нам язвы врачевать
Какой-то розовой водицей,

Тогда как нужен, может быть,
Нам яд, чтоб вышло все наружу
И кровь очистилась?.. — Ну да!
Согласен с вами, господа,
Но — яд глотая, вы на стужу
Не выходите: ревматизм
Получите и в прозаизм
Такой вдадитесь, что микстура
Да пластыри заменят вам
Все, чем могла б литература
Гордиться, жизнь цвести и греть
И двигать вас... Больного
Здоровым мы не назовем,
Но и на суд не позовем
Ничем невинного Камкова.
В те дни, когда он обитал,
Учил, учился и мечтал
И землю бременил, — едва ли
Друзья больным его считали:
Для них служил он образцом
Души и мысли непреклонной.
В среде холодной, дряблой, сонной
Он вырос — но глядел бойцом,
Когда его впервые встретил
Студент Белинский, и Камков,

Быть может, прежде всех заметил
В нем искру божью — и ответил
На первый пыл его идей
Живою дружбою своей...
Белинский долго оставался
К нему пристрастным (господа,
Скажу вам на ухо) тогда...
Наш первый критик восхищался
Стихами друга моего,
И даже видел в нем поэта...
Камков, напротив, на него
Нередко нападал за это.
Своих стихов он не ценил;
Когда же Лермонтова скорбный
Раздался голос — он почтил
Свою поэзию надгробной,
Без слез и жалоб... Не упал
Он духом, только раз, угрюмый
Поник над лермонтовской думой:
"Мы здесь пропущены", сказал.
Послание к Камкову одного
из учеников его в 1846 году
Ты был угрюм, но тих и бледен,
Приветлив, но невесел, — беден,
Но в людях счастья не искал;

А я был юноша-мечтатель,
Тщеславный, ветреный искатель
Удач, разгула и похвал.
Душой мельчая с каждым годом,
Тебе внимал я мимоходом;
Со мной ты мало говорил,
Наставник наш красноречивый!
Но и вне школы, — твой пытливый,
Твой светлый взор за мной следил.
Ты выжидал. — Настало время,
Жизнь на меня легла, как бремя:
Изныл я от пустых страстей,
От пересудов, пошлых мнений,
От вековых предубеждений,
Не сознавая их цепей.
И я пришел к тебе — невольно
Меня к себе ты влек — и больно
Признаться было мне... — но ты
Не дождался моих признаний:
Ты понял _суть_ моих страданий
И обновил мои мечты.
Тебя я слушал, как пророка;
Ты предо мной раскрыл широко
Иную жизнь, учитель мой.
Твой ум сиял — ты смело ставил

Иную цель, свободу славил...
Пылало сердце — факел твой...
Вникать я стал — и, как туманы,
Редели предо мной обманы
Всех стран земли и всех веков,
Кумиры падали — народы
Взимали голосу свободы
И выходили из оков.
И вот, в углу для всех сокрытом,
Как ты, я стал космополитом, -
Стал гражданином мировым:
Порою в лес иду — порою
Стою задумчив над рекою, -
Увы! что делать мне с моим
Никем не понятым гражданством?
Здесь, перед рабством и тиранством
Равно я жалок и смешон.
Пишу к тебе средь ночи бурной,
Средь копоти избенки курной,
Буграми снега занесен.
Хозяева мертвецки пьяны,
И тараканы — тараканы...
Средь обитателей степных
Они одни — хоть и трусливы -
Свободны, трезвы и счастливы,

И молча я гляжу на них.
Ползут на грудь, ползут за шею
И я — я силы не имею
Давить их на моей груди,
Так я гуманен! так доволен
Своим гражданством! но я болен...
Больной пишу — не осуди!

В напечатанных шести главах "Свежего преданья" не исчерпывается содержание задуманного мной романа. Тем измоих читателей, которые, пробежав эти главы, найдут в них хоть несколько страниц достойных их внимания, или не поглядят на посильный труд мой с высоты своего величия, намерен я в кратких словах досказать роман, мною когда-то задуманный, и таким образом познакомить их с его содержанием.

Вот план романа начиная с 6 главы до 20.

Камков относит княжие Лоре просвиру от ее матери, воротившейся с богомолья, и доказывает ей всю ненормальность ее отношений к матери, — отношений, созданных невежеством и грубой силой. Лора в первый раз от роду слышит, что мать ее добрая и честная женщина, что она любит и даже не перестает

о ней заботиться. Настает ночь светлого Христова воскресенья.

Описание этой ночи в московском Кремле. В эту ночь Лора уходит от своей гувернантки и, сопровождаемая Камковым, на паперти Чудова монастыря, первый раз встречается и обнимает мать свою. Камков становится ближе к Лоре — она подчиняется его нравственному влиянию. Мысли Камкова о религии.

Весна. — Сокольники. — 1 мая. — Камков решает сказать Лоре, что он ее любит; но без всяких претензий на взаимность — без всякой надежды на свое личное счастье. Он только просит позволения любить ее. Княжна не без волнений выслушивает его признания, но прямо говорит ему: вы не мой герой.

Тот, кого я люблю, должен походить на тот идеал мужчины и гражданина, который вы не раз рисовали передо мной, читая мне историю или толкуя великих поэтов. Я люблю вас, как друга, как брата. Впрочем, будущее зависит от вас — не теряйте надежды.

В мае баронесса уезжает за границу, не простясь с Камковым. Из деревни возвращается в Москву князь Таптыгин — отец Лоры.

Он приехал, вызванный судом по какому-то уголовному делу, от всех тщательно скрываемому, и отделяется от суда, давая взятки и пленяя всех своей благонамеренностью.

Это салонный герой со всеми утонченностями светской любезности, когда он во фраке и — беспощадный самодур, грязный кутила и развратник, когда он дома, в бархатных шароварах и в красной канаусовой рубашке с косым воротом.

Встретившись с Камковым, он сразу не полюбил его — смотрит на него высокомерно и с недоверием, подмечает его дружеские отношения к княжне — и возмущается. Камков впервые лицом к лицу встречается с силой, враждебной всем его убеждениям, враждебной науке, любви, прогрессу и проч. Кончается тем, что князь зовет его к себе обедать и хочет при дочери напоить допьяна ее наставника. Камков на это не поддается. Через несколько дней князь начинает грубить ему. — Как вы смеете, — говорит он, — воображать, что стоите на одной доске со мной или с моей дочерью. Кончайте урок — и гайда! Руки по швам! если не хотите, чтоб я вы-

гнал вас. Камков отвечает ему, что он и не ставит себя на одну с ним доску, потому что считает себя бесконечно выше его во всех отношениях. Взбешенный князь призывает людей и приказывает им вытолкать Камкова на улицу. Сцена возмутительная и безобразная.

Оскорбленный Камков чувствует вполне все свое бессилие. Он придумывает мщение и не может ничего выдумать. Знает, что жалоба в суд будет совершенно бесполезна; — его обвинят за непочтительность к князю — князя оправдают. Теоретик и философ Камков низко падает в собственных глазах своих; он считает себя уже недостойным не только любви, недостойным дружбы им любимой девушки. Он решается не видеть ее и в умственном труде ищет себе успокоения.

Князь Таптыгин увозит дочь свою в деревню. Камков случайно видит Лору в окне дорожной кареты. Лора выбрасывает ему платок свой. Слезы и отчаяние матери.

Сельпо Таптыгино. — Деревенская жизнь княжны. — Характер князя и его подвиги как богатого помещика. — Его пирушки. — Его отношение к крестьянам, к соседям-помещикам

и к своим любовницам. — Княжна изучает эту жизнь. — Пассивное, молчаливое непокорство. — Выплаканное уединение. — Тоска. Боязнь перед насильственным браком. Чтоб наполнить жизнь свою, она принимается за воспитание крепостного мальчика Илюши, сына ее бывшей няни, сосланной в деревню за привязанность к ее матери. — Мальчик, способный к развитию. — Княжна привязывается к нему, хотя и скрывает свою привязанность.

Выучив его грамоте, она рассказывает ему разные исторические события; толкует священное писание — и мало-помалу старается привить к нему чувство человеческого достоинства. Так проходят два года, Илюше наступает четырнадцатый год.

Князь находит Илюшу праздным и делает его своим казачком. Илюша прочищает и набивает трубки, гостям подносит водку; но по ночам читает и молится. Княжна затевает тайную переписку с Камковым. Из ее степного далека, среди вопиющего невежества, грубости и низкопоклонства, среди картежников и псарей, Камков кажется ей чуть не великим

человеком, чуть не гением. — "Если бон меня еще любит, — думает княжна, — он сжалится надо мной и увезет меня". Камков отвечает ей остроумными письмами, но ни слова не говорит о любви своей.

У Илюши есть сестра Маша, девушка лет семнадцати; она живет в селе у своего дяди, выборного — и ходит с дочерьми его на поденщину. Илюша встречается с сестрой своей на огореде и советует ей не попадаться на глаза барину. Но за Машу сватается кузнец Фома, и так как без позволения барина выйти ей замуж нельзя, то она и должна, по заведенному обычаю, идти к князю и просить его разрешения. Проходит месяц. Илюша узнает, что сестра его сильно понравилась его барину. Князь приказывает старосте к нему привести ее. Позволение на брак Маша должна прежде всего купить ценой своей невинности. Князь считает своим правом на известный срок обладать теми, то имеет счастье ему понравиться, и страшно наказывает тех парней, которые позволяют себе с ним соперничать.

Илюша худеет, молится, и в свободные минуты, когда князь спит после обеда, прокра-

дывается в комнату Лоры. Он допытывается у ней, что бы она сделала, если бы попалась в руки к разбойнику, Что если бы кто-нибудь насильно ее взял к себе вместо жены. — Я бы скорей утопилась, отвечает Лора.

Летняя ночь. Берег пруда. Илюша советует сестре своей утопиться. Та не хочет. — Моя, знать, такая судьба, говорит она. Чем я лучше других? Вон и

Матрена прошлого года целый месяц пожила с барином — не съел. Маше хочется, однако ж, тайно от барина хоть в овине повидаться с кузнецом Фомой. Она его любит и просит Илюшу помочь ей. — Нет, отвечает Илюша, не могу я помогать тебе. Кузнец Фома говорит, что лучше теперь в солдаты пойдет, чем на тебе женится, и барина, говорит, не послушаюсь, пусть делает со мной что хочет. Маша уходит опечаленная. Илюша мечтает о побеге.

Княжна пишет к Камкову, что если б не он, ей бы и в голову не пришло заняться воспитанием крепостного мальчика — что она при первой возможности заведет школу, и Илюша будет помогать ей, когда вырастет. Если

бы не вы, — пишет ему княжна, — мне кажется, я была бы не прочь плясать на пирушках моего отца в угоду его полуночных собеседников и вышла бы замуж за первого негодяя. Мне, впрочем, тяжело здесь. Отец подозрителен, беспрестанно меняет мою прислугу и ревниво стережет меня; но я сама виновата, я сказала ему: что найду средство бежать, если меня не оставят в покое. — В это время за окном она слышит голос Илюши: "Его секут!" — "Кого?" — спрашивает княжна. — "Фому, за то, что он не хочет жениться на сестре моей".

Князь Таптыгин имеет обыкновение после ужина прогуливаться за садом погати, откуда видна ему вся деревня. Он наблюдает, во всех ли избах погашен огонь и на везут ли снопы, тогда как после зари возить на гумно снопы князь запретил по каким-то своим собственным соображениям. Обыкновенно в это время в селе царствует мертвая тишина. По гати мимо барского дома никто не смеет ни ходить, ни ездить. Один Илюша имеет право приносить своему барину кiset, высекать огонь или с трубкой дожидаться его на конце плотины.

Описание темной ночи. Илюша выходит на плотину с топором под мышкой, видит, по гати ходит не один, а целых три барина, на него находит страх, и он убегает. Всю ночь до утра он молится. На другую ночь он опять выходит с топором. На этот раз он видит только двух вместо одного барина; но он опять уходит и опять всю ночь молится. На третью ночь он убивает князя Таптыгина.

(Сообщить подробности об этом уголовном деле мне было обещано... Галлюцинации мальчика мной также не выдуманы.)

Илюша на заре пошел по деревне и сам повинился в своем преступлении. Его связали, послали за становым и дали знать в ближайший город. Ужас княжны, когда на другой день, проснувшись, она увидела отца своего с разрубленной головой. — Панихиды. Сельский притч. Чтение псалтыря. Ночные прогулки княжны по саду. Ее душевное настроение. Толки по деревне. — Хорошо еще, что сознался, говорят крестьяне, что кабы не сознался? Сколько бы из нас просидело в остроге за одно подозрение. Илюшу везут в город. Его посадили в телегу, вся деревня сошлась

проводить его. Мать, рыдая, подбегает к телеге и обнимает сына. Кузнец также его целует. — Что ты сделал? — слышится голос княжны. Илюша молча смотрит на нее, но ничего не отвечает. Его увозят. "Благослови его, господи, отпусти ему прегрешение его", — слышится в толпе. Княжна чувствует в глубине души своей, что не может проклинать убийцы, и заболевает.

Спустя месяц, осенью, княжна приезжает в Москву и останавливается у матери. Тут автор в первый раз ее видит и провожает ее к Камкову в больницу. Камков заболел от уныния и усиленных занятий. Болезнь лишила его уроков и затем куска хлеба. Не видя ничего впереди, он заболел еще сильнее и хозяйкой своей квартиры отвезен в больницу. Княжна застаёт его в памяти, с письмом от одного из бывших учеников его. Она рассказывает ему о последних деревенских событиях. Камков говорит ей: "Бессильный я был человек; но вижу, слова мои были сильны. Через вас прошли они в душу какого-то деревенского мальчика и за меня он отомстил ему. Не мог я, за себя вступить, он за меня всту-

пился. Не мог я освободить вас, он вас освободил. Мой дух говорил с ним вашими устами. Убийца не этот мальчик, а я — бедный, слабый, умирающий; не он, а вы, потому что развивали в нем благородные чувства, тогда как кругом него была мерзость запустения и ничего человеческого. Придет время, и оно близко, когда крепостное право рухнет, и если царь не сокрушит его, оно сокрушит Россию. Я умираю, но знайте, что тень моя придет потревожить вас, если вы хоть одного человека назовете рабом своим".

Предсмертные слова Камкова потрясли Лору, поселили в ее совести такую тревогу, из которой она не находит выхода.

Старушка, мать ее, поселилась с ней в Москве. Она беспрестанно молится за упокой своего мужа и ездит на могилу Камкова молиться за упокой души его.

Княжна отделяется от женихов и поступает в сестры милосердия. Баронесса возвращается из-за границы с новым любимцем. Это какой-то француз-фортепьянист с артистическими ухватками. Она вводит его в свет и носит его на руках, рекомендует его как учителя

музыки и на его концерты сама развозит билеты. На вопрос же: "Жив ли еще Камков и что он делает?" отвечает: "Вероятно жив, но невидим, как идея совершенно отвлеченная".

Это "Свежее преданье", к счастью для нас, потеряло уже свою свежесть, и нужно слишком много условий для того, чтобы такое произведение в стихах могло в настоящее время приковать к себе внимание читающей публики. Начало же его (помещаемое в этом издании) не удалось мне. Я обременил его подробностями и, быть может, увлекся своими личными воспоминаниями.

Продолжать неудавшееся начало не имею сил... Зачем же я его печатаю? Печатаю из одного предположения, что некоторые черты тогдашнего московского общества, воспринятые моей юношеской впечатлительностью, мною довольно верно схвачены, но, разумеется, это только предположение.

Братья

ГЛАВА 1

1 Не стану я писать размером Данта,
Нет, — он тяжел для нас, как медный
шлем

Для головы теперешнего франта.
Писать октавами... Увы! зачем
Мне подражать венчанному Торквато!
(Наш Пушкин подражал ему когда-то,
Задумавши коломенский рассказ),
И стоит ли заботиться для вас
О тройственных созвучьях! Слух потерян:
Певучий голос Музы не пленит
Того, кто с колыбели был уверен,
Что любит современность и развит.

2
Терплю я современность, как больные
Свои недуги терпят, — любо им
Болтать об них, — недаром же иные
Здоровяки завидуют больным.
Но у людей (такая уж порода!)
На фразы и на те должна быть мода.

Так, например, не в моде презирать
Толпу; — но я могу толпе сказать:
Не нужно мне твоих рукоплесканий!
С меня довольно собственных моих
Страстей и дум, стремлений и страданий.
Чтоб ими отогреть мой бедный стих.

3

Пусть патриот, как некий частный при-
став,

Во мне подозревает нигилизм,
Пусть молодые свисты нигилистов
Преследуют во мне патриотизм.
В такой стране, где все грызут друг друга,
Недаром я, от севера до юга
Скитался, как непомнящий родства,
По всем векам, ища свои права;
Подслушивал Немврода, Магомета,
Был гостем у Аспазии, внимал
Речам Весталки и большого света,
Тревоги насекомых изучал.

4

Куда теперь? — Железная дорога
Умчит меня, или воздушный шар,
Иль ты, повсюду ищущая бога.
Мечта, рассудком сжатая, как пар?

Лети, мечта! Неси мои сомненья,
Мою любовь, мое ожесточенье
И голос мой неси везде с собой,
Как чайка крик свой носит над водой,
Повсюду, где шумят валы да бури.
Повсюду, где блуждают корабли,
То исчезая в глубинах лазури,
То уходя в объятия земли.

5

Гражданскую и всякую свободу
Свободой поэтической моей
Предупредив, я буду петь природу,
Искусство, зло, добро, — родник идей -
Все буду петь — и все, что человечно,
То истинно, — что истинно, то вечно.
Так разум мой — есть разум общий всем,
Единый, не смущаемый ничем, -
Как бог, он светит всем народам в мире.
И если есть народы на звездах,
И там — все те же "дважды два четыре",
И там — все тот же Прометей в цепях.

6

Сознательно капризам вдохновенья
Я отдаюсь — и упиваюсь им.
Чем больше сердце жаждет наслажденья,

Тем больше ум сомнением томим;
Чем больше я стихами упиваюсь,
Тем больше я страдаю, — но не каюсь.
Яснеет все, когда передо мной
Действительность озарена мечтой.
Вон, — вечный Рим выходит из тумана,
Я вижу храм Петра и Колизей,
Афины — галереи Ватикана -
И Палестину — фрески галерей.

7

Ночь южная, весенняя, немая.
Как вечность, вечно неизменный хор
Светил ведет по небу — золотая
Луна плывет и очертанья гор
Окрестных с синими сливаются тенями.
Верхушки пинн над ними веерами
Раскинулись по воздуху — стволы
Их тонкие не видны из-за мглы;
Та мгла, струясь, ложится над холмами
И над рекою; Тибр у берегов
Едва журчит и блещет полосами
В нем отраженных, красных огоньков.

8

Рим окружен стеной — трава сухая
На ней растет — на воротах запор.

Вот омнибус. — В столицу не въезжая,
Стоит и ждет. Чу! слышен разговор
У экипажа. — Носят чемоданы, -
Вот, головы над ними (точно раны
Осматривать позвали лекарей)
Склоняются при свете фонарей.
Таможенный чиновник отбирает
Бумаги, книги, листики газет -
И, как предмет опасный, не пускает
В столицу папы — детский пистолет.

9

Я очень рад, что я без чемодана,
(Фантазии не нужен чемодан.)
Я и забыл, что радоваться рано,
Что б мог я провезти из наших стран
Спасительно-опасного для Рима!
Не для него ль, как арфа серафима
Небесного — звуча, из тона в тон
Перелился и смолк вечерний звон? -
На этот раз последний звон вечерний.
Тут пассажир один шепнул другим:
— Пий молит бога Рим спасти от терний. -
И омнибус без книг проехал в Рим.

10

Все в Риме спало — люди и статуи.

(Статуи также ночью стоя спят.)
Все было тайной — вздохи, поцелуи,
Сны умирающих и сны ребят.
Одни фонтаны, пенясь, шумно били,
И этот шум их, — только отворили
Ворота Рима, с трепетом проник
Нам в душу, как призыв иль как язык
Пленительный какого-то виденья...
Шум этот звал нас... Кто-то уверял,
Что есть какой-то холод вдохновенья.
И я — я этот холод ощущал.

11

Мы двигались по площади безлюдной -
Какая площадь! в мире нет иной,
Подобной — камни и вода, и чудный
Фасад, и обелиск — все было — строй -
Гармония. — Широкою каймою
Шла колоннада — тени полосою
Зубчатой прятались между колонн,
Объемлющих простор со всех сторон;
Ступени серебрились, точно иней
Посыпал их — фонтаны вверх неслись -
Ночные радуги сверкали в них, и синий
Свод неба опирался на карниз

12

Всей площади. — Да, в мире нет подобной -
Здесь каждый камень гений положил,
Себе слагая мавзолеей надгробный,
Чтоб он об нем потомству говорил;
Чтоб дух его в грядущих поколениях
Витал и снился в райских сновиденьях;
Чтоб этих камней царственный язык
Мог останавливать земных владык.
И что ж! нет крепости сильней донине,
Как эта крепость: с кистью и резцом
Браманто, Рафаели и Бернини
Стоят здесь, точно с огненным мечом.

13

Вот сила! дух несчастного народа
Без подвига не мог спокойно жить:
Ему дана была одна свобода -
Мечтать о дальнем небе и — творить.
И отдался он творчеству — и сила
Росла, росла и наконец сложила
Твердыню неприступную — у ней
Ни рва, ни пушек — но сердца людей
Поверили в ее несокрушимость:
Ложь долго может с миром воевать
Из-за таких чудес. — Невозмутимость
Искусства здесь на все кладет печать.

14

Та жизнь погасла: — но ее могилы
Не трогайте, пока цела печать.
Здесь враг теряет половину силы,
И дерзкому здесь трудно устоять
В лучах такого кроткого сиянья...
Кому не жаль великого преданья!
Вот идеал чистейшей красоты!
Вот мученик с улыбкой! — Прочь, мечты
Суровые, мечты кровавой мести!
И терпеливо римлянин несет
Ярмо цепей — обман и — кражу чести -
И, молча негодуя, молча ждет.

15

Что, если эти краски полиняют?
Что, если эти камни упадут?
Недаром папы к Франции взывают,
Они в своем народе не найдут
Ни Рафаелей, ни Микель-Анжело.
Италия недаром прошумела
И поднялась, завидя новый путь,
И уж ничем нельзя ее свернуть
С того пути, ни силой, ни проклятьем,
Ни чудом, ни бессеменным зачатием,
Ни возведением падших в чин святых {*}.

{* Кунцевич, Японские мученики и т. д.
(Прим. авт.)}

16

Не оживить отравленного чувства
И не поднять давно упавших рук!
Вы, папы, звали гения искусства,
Теперь зовите гения наук.
Но звать его вы будете напрасно:
Он был не глух, когда вы громогласно
Как над врагом и неба и земли,
Над ним свое проклятье изрекли.
Не вам — ему поверил век — и гений,
Сломав оковы, из темниц ушел,
Подслушал вопли новых поколений
И медленно колеблет ваш престол.

17

Насмешливо глядит он на вериги,
Которые ваш ум изобретал,
И в ворота не пущенные книги
Невидимо по Риму забросал.
Но пассажиры те, что в Рим пробрались
Со мной, о книгах мало сокрушались.
Кто эти пассажиры — как сказать?
Не мудрено их абрис набросать.
Тут был какой-то ученик духовной

Какой-то школы, в сюртуке до пят,
Остриженный, круглоголовый, полный
Детина, словом, будущий аббат.

18

Как наша водка горькая — полынью,
Он был пропитан множеством цитат,
Риторикой, схоластикой, латынью,
И тем невежеством, которым рад
Он был делиться с каждым пассажиром.
(Конечно, папа был его кумиром.)

Ему какой-то немец возражал -
Он ежился, смеялся и мигал.

И хоть латынь из моды вышла ныне,
Один студент из Кракова, поляк,
Чтоб удивить нас, громко по-латыне
Стал рассуждать — заметно не дурак

19

Был этот малый — тайным порученьем
Уже снабженный — двадцати трех лет,
Он ехал к папе за благословеньем,
И вез к нему от маменьки пакет.

Таинственным казаться дипломатом
Уж он умел — и был аристократом
Таким лоценым с головы до пят,
Что, говоря с ним, будущий аббат

Пред ним заметно льстиво преклонялся,
Но на груди смиренно прижимал
Ладонь к ладони, — то приподнимался,
Чтоб отвечать, — то ухо выставлял.

20

Два англичанина — один ботаник,
Другой, не знаю, что-то починить
Был приглашен, как опытный механик,
К синьору Антонелли. — Может быть,
Дверь потайная или ванна с краном
Испортилась в той комнатке с диваном,
Куда ходил спасаться кардинал,
И где свои грехи он обмывал.
Еще тут было двое итальянских
Купцов из Пизы — да еще одна
Была Мадонна с парой глаз цыганских,
Какого-то табашника жена.

21

Еще тут были мы и вместе с нами
Один русак ("русак" же не всегда
Обозначает зайца — русаками
И земляков зовем мы иногда).
Итак, один из них был чисто русский.
Его картуз и выговор французский,
Особенный — когда он повторял:

Oh sacre bleu! {О, черт возьми! (фр.).} его
изобличал.

При слове "Roma" наострил он уши.
Он ехал к брату и направил путь
С намереньем не просто бить баклуши,
Но как-нибудь развлечься чем-нибудь.
22

И я (чтоб чем-нибудь и мне развлечься),
Я им займусь. Земляк мой не привык
Стесняться — хочется ему разлечься,
И он страдает... эдакий антик!
Глаза припухли и надулись губы.
Но — вообще черты лица не грубы
И даже не успели отцвести.
Земляк мой был лет тридцати пяти,
Но был на вид моложе. Без стеснений
И без борьбы любя игру страстей,
Он не старел; для глупых приключений
Сама судьба хранит таких людей.
23

Я знал его — таких кутил не много -
А мало ли их было на Руси!
Мы никогда их не судили строго
И не чуждались — боже упаси!
Мы даже думали: вот наши силы!

Иного нет исхода им — и милы
Нам были ухари богатыри:
Из них иные, что ни говори,
Хоть, может быть, и были самодуры
Одни осмеливались с пьяных глаз
Шуметь и выражаться без цензуры,
И молодежь им вторила, храбрясь.

24

И многое беспутникам прощалось,
За что вы думаете? — за скандал,
В котором изредка да проявлялось
Подавленное чувство: нас пленял
То цензор, пропустивший строчку с бра-
нью.

То удалец с невежливою дланью,
Которого за подвиг в часть вели.
Конечно, эти времена прошли...
Но москвича знакомая фигура
Мне их напомнила — ну, для чего
Ползешь ты в Рим, широкая натура!
Я думал, молча глядя на него.

25

Бесплодных мест не находил он раем
И к вечеру дорогою заснул.
"Мы спать медведю вовсе не мешаем", -

Поляк, смеясь, по-английски шепнул
И поглядел, что думает механик.
Механик думал то же, что ботаник,
А именно: не будь святой отец -
Такой святой — была бы наконец
Железная дорога, — потеряли
Мы целый день. — И эта мысль у них
Возникла разом. — Yes! {Да! (англ.)} — они
сказали

Друг другу и не слушали других.

26

Итак, он спал: но, наостривши уши
При слове "Рим" (как будто звук родной
Расшевелил Илюшина) Илюшин
Протер глаза. Ба! месяц над горой,
И в воздухе заметна перемена;
Картуз свалился, а его колено
Стучит в колено дамы, перед ним
Сидящей в экипаже. Одержим
Каким-то бесом, мой земляк в окошко
Уткнулся и никак понять не мог,
За что синьоры маленькая ножка
Его носком ударила в сапог.

27

Он извинился. Мастер волочиться

За юбками всех стран и всех племен,
На этот раз он не успел влюбиться
В синьору — был ужасно утомлен.
Прошедшей ночью он (прошу покорно
Вообразить), как ехал из Ливорно,
Совсем не спал — составился кружок,
Играли в карты, — он отстать не мог:
Шумели волны, — палуба качалась,
А он выигрывал — ему везло.
Вот почему весь день ему дремалось
И хмурилось румяное чело.

28

Бог знает, почему неравнодушен
К столице папы и его судьбам,
По стогнам Рима двигался Илюшин,
Как бы не веря собственным глазам.
И он молчал, и спутники молчали,
Но те и так давно уж сознавали,
Что нет у них ни общего добра,
Ни общей пользы, что, друзья вчера,
Они сегодня могут оказаться
Врагами, если о мечтах своих
Им как-нибудь случится проболтаться, -
Мечты одних враги мечтам других.

ГЛАВА 2

1

Мечты, мечты!., в них семя каждой страсти,
Любовь, — вражда, — гром пушек, — звуки

лир,
Политика и бред у них во власти,
Во власти весь волнующийся мир, -

Одни цветут — другие увядают

И — сильные бессильных вытесняют

Из царства жизни: — кто-то победит!

Дарвин! ты прав; смерть жизни не грозит,

Она грозит живущим, — применяя

Закон твой к нашим роковым мечтам,

Я вижу, как друг другу жить мешая,

Они подчас мешают жить и нам.

2

Они и мне мешают — это ясно.

Какой мечтою (черт ее возьми!)

Я с юных лет так часто, так напрасно,

Был увлекаем на борьбу с людьми?

Зачем ищу любви в ее отраве,

Зачем пишу, не доверяя славе,

Спокойствием зачем не дорожу?

Зачем опять с поэмой выхожу

На прежнюю унылую дорогу?
Ведь если братья не побьют меня
Каменьями, — и это слава богу!
Иль этого еще не знаю я?..

3

Один Илюшин это вряд ли знает,
Он так отстал, что никаких стихов
Ни на какой трактат не променяет.
Что делать! — и не глуп, да бестолков,
Хоть в русском государстве и не новость
В одном лице и ум и бестолковость.
— Вот, вспомнил он, писал мне бедный

брат

Из Рима — года два тому назад.
А я не отвечал — он, может статься,
Уж и не в Риме. В Лондон, может быть,
Откочевал... Ну, глуп же я, признаться -
Ну что бы написать... иль хоть спросить?

4

А улица все _у_же и все _у_же. -
Как темный коридор, она ведет
С площадки на площадку — неуклюжий,
Влекомый клячами стуча ползет
Казенный омнибус; кой-где мелькает
Огонь за сторон; месяц озаряет

То угол кровли, то стекло в окне,
То белую афишу на стене.
Вот чует нос, запахло гарью площадок...
Опять фонтан, — опять журча дугой
Бежит струя, — нечаянно двух кошек
Спугнув с крыльца, — кондуктор свищет:
стой!

5
Приехали. — Гостиница. Какая?
— "Минерва", говорят. — "Ну все равно,
Минерва так Минерва, — вылезая,
Сказал Илюшин, — мне давным-давно
Пора на боковую, да покуда
Глаза глядят и закусить не худо.
Синьора! Вы куда? Который час?"
— Одиннадцать. — "Я проводил бы вас,
Да города не знаю, — извините".
— Mersi, — прощайте! мне не далеко.
— "Прощайте, ну, а вы меня ведите
В буфет. А есть ли номер?" — Высоко

6
Под самой кровлей, — молвил самегіері,
Держа фонарь и освещаая им
На лестницу растворенные двери.
"Oh! sacre bleu! Что я за херувим,

Чтоб забираться на небо... Нельзя ли
Пониже". - No, signor {*}, вы опоздали...
{* Нет, синьор (ит.)}

— "А я чем виноват, что опоздал!"

— Ничем, синьор. — "Какой же это зал?"

— Столовая. — "Ну хорошо, а это?"

— А это номер очень дорогой,

Здесь граф живет. "И будет жить все лето?"

— А может быть. — "Ну, дуй его горой! -

7

А это?" — Это номер... но немножко

Он неудобен. — "Это отчего?"

— Да оттого что темный, без окошка.

Хотите взять, я отопру его.

"Так без окошка!" — Да, синьор, прохлада

В Италии, и говорить не надо,

Как дорога; за это за одно

Дают нам деньги, и зачем окно?

Писать хотите? — вот вам освещенье

Из коридора, только в коридор

Дверь отворите. -

"Сделай одолженье

Мой чемодан сюда". -

— Si, si, signor!.. {*}

{* Да, да, синьор!.. (ит.)}

8

Поужинав, как следует, в столовой,
И наконец пройдясь по хересам,
Земляк мой в номер свой ушел, готовый
Упасть в объятия Морфея, — там,
Немедленно раздевшись, он, нимало
Не думая, улегся; одеяло
Отбросил и накрылся простыней;
Но в этом странном номере был зной
Еще душнее. — Мысленно ругаясь,
Он сбросил все, что только сбросить мог,
И так лежал, в раздумье погружаясь,
Как гладиатор или полубог.

9

Но (выражаясь не высоким слогом)
Земляк мой, по телесной красоте,
И гладиатором, и полубогом
Мог показаться только в темноте.
Для гладиатора — помят немного,
И слишком пошловат для полубога.
Он мог бы, как герой, поездку в Рим
Назвать труднейшим подвигом своим,
Во-первых, жалуясь на поясницу,
Он, чтоб уехать, врал своим друзьям,
А во-вторых, уехать за границу

Не мог, не расплатись то векселям.

10

И вот достиг он цели. — Что же надо
На первый раз? — Какая быть должна
За этот подвиг первая награда?..

Конечно, ничего पहले сна

Не может быть, — а он заснуть не может,

То беготня людей его тревожит,

То он ворчит, что номер без окна,

То чем-то кислым пахнет, — то слышна

Как будто музыка: не то гитара,

Не то рояль, — то до утра

Бойтся он задохнуться от жара -

И в душу лезет глупая хандра.

11

Когда все стихло — мой неутомонный

Земляк с досады настезь дверь открыл,

И долго, полутрезвый, полусонный,

С самим собой о чем-то говорил.

И долго, взор свой упирая в стену,

Глядел, как на завешанную сцену.

Но вот настала тьма, — фонарь потух, -

Вдали ударил час, — пропел петух.

Вот наконец — впотьмах за дверью шорох

Почудился, — чу! — скрипнул башмачок...

Илюшин мой, конечно, был не промах,
Но к счастью порыв свой превозмог.

12

Черт с ней! подумал он — не до скандала...
(Он, может быть, и сделал бы скандал,
Да побоялся римского кинжала,
Иль тайного соперника). Нахал -
Он был не в духе — совесть обуяли
Воспоминанья, — думы погружали
Его не в сон, а в жизнь былую: — Рим
Был позабыт, — Москва плыла над ним
Во всей красе, — плыла, шумя садами,
Трактирами, фонтанною водой
И банями, — плыла, блестя крестами
И башнями, — и стал Илюшин мой

13

Чуть не стонать, — припомнилася Даша,
Погибшая ревнивица, — одна
Из многих тех, которым юность наша,
Неблагодарная, так неверна,
Которым за минуты наслажденья
Мы рано платим холодом презренья,
Или как вещь, наскучившую нам,
Передаем с рук на руки друзьям.
Плач этой Даши у его постели,

И этот лепет, что в ушах горит,
Как видно, в эти две иль три недели
Его поездки не был им забыт.

14

Припомнились прогулки, тройки, сани,
Гуляк полночных пьяная семья,
И хор цыган с гитарами, и Тани
Разбитый голос: "Ты коса ль моя",
И карты — и картежные несчастья,
И тот, который принимать участия
В его разгуле не хотел, не мог,
Как будто у него другой был бог,
Или ему капризная природа
Дала иное (с тем чтоб погубить), -
Ну, словом, брата — в эти два-три года
Житья-бытья не мог он позабыть.

15

И у Илюшина глаза горели,
И лепетал он: брата поскорей!
Давайте брата! — ну как в самом деле
Уехал он куда-нибудь, злодей!
А ну как скажут: с горя да с печали
Игнаша, брат ваш, — поминай как звали...
Отправился. — Куда? — Да как сказать!
Велел вам остальное промотать

И умер нищим. — Там его жилище
Посмертное. — Ищите — он зарыт
На старом католическом кладбище
И, как изменник, русскими забыт...

16

Забыт! И темнота его душила
И говорил он — то с самим собой,
То с невидимкой: — Друг мой — брат мой
МИЛЫЙ!

Что ты подельываешь? что с тобой?
Ведь ты талант... большой талант, Игнаша!
И верь мне, будет жизнь твоя, как чаша,
Полна любви и всяческих проказ;
Ведь ты не глуп, — умнее во сто раз
Меня, болвана. Ты сосредоточен,
А я горяч, — но есть душа у нас
Обоих, и тебя люблю я очень — очень -
Не может быть, чтоб ты в нужде угас.

17

Гляди, червонцы! — тетка отказала.
Четыре тысячи... в продажу лошадей
Пустил... дом заложил — играл, — сначала
Мне не везло. — Я целых пять ночей
Не спал, — потом фортуна улыбнулась
И знатный куш я выиграл, — проснулось

Желанье покутить — да вспомнил честь
И воздержался, — значит, воля есть...
Характер — братец! — Жизнью упиваться
Илюшину никто б не помешал!
Но — надо мне с тобою расквитаться,
Бери, что есть — пока не промотал.
18

На этом, разумеется, Илюшин
Не кончил бреда. Ясно, что мечтой
О позабытом брате был нарушен
Мечтательный души его покой;
Иной тоски душевные припадки
Бывают хуже всякой лихорадки,
Но так расчувствоваться, как земляк,
Способен всякий. — Ночь, вино, тюфяк,
Усталость, тишина, воспоминанья.
Расстроенные нервы и тепло,
Все это вместе с жаждою свиданья
Ему расчувствоваться помогло.

19
Иной давно уж ядом сожалений
Успел свои надежды отравить,
Без боли не выносит впечатлений,
Давно боится верить и любить,
Давно не спит — а утром, поглядите,

Какой веселый — и не подходите
К нему с душой, исполненной забот
Или тоски сердечной, — осмеет...
Что делать! скажет, мир уж так устроен,
Не вы один должны вращаться в нем;
Взгляните на меня, как я спокоен...
Да черт ли нам в спокойствии твоём!

20

Ну, а иной себя невольно спросит:
Зачем и почему на склоне лет
Он именно того и не выносит,
О чем мечтал когда-то, как поэт,
К чему стремился... Или надломилась
Душа в те дни, когда она стремилась,
Иль это счастье мнимое такой
Позорной было куплено ценой,
Что потеряло цену; — сердце сжалось
И высохло, как выжатый лимон,
И ничего от счастья не осталось,
Прошло как сон и — отравило сон.

21

У меланхоликов заметны эти
Страданья по лицу, по блеску глаз,
По медленной улыбке; — словно дети
Забитые, они смущают нас

Своим молчаньем; тихи и угрюмы,
Они весь день свои ночные думы
У сердца носят, и привыкли к ним,
Как к неизменным спутникам своим,
Но краснощекий здоровяк Илюшин
Поутру часто забывал о том,
К чему весь вечер был равнодушен,
И звал себя за это подлецом.

22

А мы как назовем его? — нельзя ли
Нам справиться — (от кумушек узнать)?
В тот день, когда его распеленали,
Чтоб окрестив... его назвать.
Приходский поп (на всех попов похожий!
Ему дал имя "Алексей, раб божий", -
Итак, он был раб божий Алексей
Впоследствии, среди своих друзей,
В Москве, он просто назван был Алешей
Тогда — я помню — он острить любил,
Был увлечен корсетницей Матрешей
И одного шута на ней женил.

23

Но мне советовал не увлекаться;
Нет, говорил он, лучше ты пиши,
Учи перо уму повиноваться.

Да куй стихи в огне своей души, -
Ну, и гордись потом стиха закалом,
Как боевой черкес своим кинжалом.
Что ж делать? Видишь, у быка — рога,
У волка — зубы, у коня — нога.
У короля — заряженная пушка,
А у тебя — твое спасенье — стих.
Стих, как булат, он — для одних игрушка
И меткое оружие для других.

24

Перо! назад! — заснул ли мой Илюшин?
Сейчас заснет, — уж начал он мечтать.
Что брат его все так же простодушен,
И, как ребенок, рад его обнять.
Вот, грезит он, большая мастерская...
Окно полузавешено — нагая
Натурщица, четырнадцать лет,
Откинув драпировку, на паркет
(Как будто перед ней ручей студёный)
Спускает ногу, — над ее плечом
Дрожит извив косы незаплетёной...
"Брат, по-зна-комь!" — уже с большим тру-

дом

25

Сознательно додумал наш приятель -

И захрапел. — Не осуди его,
О мой зоил — иль все равно, читатель!
Спроси меня, как друга твоего, -
И знаешь ли, что я тебе открою?
У всякого есть свой конек, зимою
И летом, часто едешь ты на нем,
То с наглостью, то ото всех тайком;
Но замечай — от тайных огорчений,
От явной неудачи, от тревог
И от бессонниц — в область сновидений
Тебя всегда уносит твой конек.

26

И все-таки, любезный, — будь ты гений
(В чем сомневаюсь), или знаменит
(И это отношу к числу сомнений)
И захрапи — как мой земляк храпит,
Не вынося и дружеского храпу,
Я на уши свою надвину шляпу,
Хлестну Пегаса по крутым бокам,
И марш! куда-нибудь! Какое нам
До сонных дело! пусть их почивают...
Другие люди ожидают нас -
Положим даже, и не ожидают,
Мы все-таки вплетем их в свой рассказ.

ГЛАВА 3

1

Каков Рим ныне — это все мы знаем.
Гостей разнохарактерной толпой
Он каждый год с поклоном навещаем.
Зато с июня, там, среди сухой
Растительности, нет гостям покоя
От духоты, от комаров и зноя.
Теперь июль, — но ты иди за мной
И не сердись, — Рим и в палящий зной
Такой же Рим. Вон те же капуцины
Бредут попарно с четками в руках,
Вон женщины широкие корзины
С бельем несут на стройных головах

2

И с пеною по раскаленным плитам
Вокруг бассейна катится вода;
Вон мальчик голову накрыл корытом,
Вон компаньол и целая орда
Ослов с кошелками цветной капусты
В пыли идут на рынок, и хоть пусты
Гостиницы и дремлет ветурин,
Один приезжий (старичок один)
Бредет к обедне с зонтиком. Слепые,
Безногие на лестницах сидят;
Закрывают окна: жалюзи сквозные

Кой-где раздвинуты, кой-где глядят,

3

Сквозь их раздвижки, очи огневые

Или мелькают, отражая день,

Нагие плечи.

Улицы глухие

И тесные прохладнее — там тень,

Там шорох, там продажа мелочная, -

Жида и крик факинов, — там сырая

Кофейня даже днем освещена

Лючерной; там как снасти от окна

К окну, до чердаков, идут веревки,

На них фуфайки, юбки, простыни,

Белье внучат и бабушек обновки, -

В них солнце бьет, а улица в тени.

4

Зато и вонь почти невыносима;

Вот мутный Тибр, над ним плывут пары

И лихорадки, пугалища Рима,

Холодные сопутницы жары.

Дома над этим Тибром, — точно каждый

И пытку вынес и томится жаждой, -

Друг друга подпирают и теснят,

И окна их без стекол так глядят,

Как будто впадины, как будто очи

Насквозь проткнутые... Как там живут?
Как люди там проводят дни и ночи
И как, дыша миазмами, не мрут?

5

Где есть такие жалкие кварталы,
Там часто жалки пышные дворцы;
Но этого не знают кардиналы,
Не ведают отечества отцы.
Где бедность вопиющая, там, верьте,
И вопиющая неправда. Мерьте
Невежество невольное другим
Невежеством, умышленно глухим.
И немощь одного вам окажет ясно,
Какую немощь прикрывает тот,
Кто нынче вас осудит самовластно,
А завтра стубит или оберет.

6

А где сам Пий? Французскими штыками
К престолу путь прочищен ли ему?
Прочищен. Бедный! въехал со слезами
Он в ворота столицы. Никому
Не отказал в воем благословеньи,
За всех молился, всем послал прощенье.
В особенности тем, кто мертвый пал.
Рим также со слезами подобрал

Своих сограждан, павших за свободу,
И перестал смеяться. Удино {*},
С республиканским знаменем, народу
Принес оковы — это ли смешно?!
{* Французский генерал, в 1849 году оса-
ждавший и взявший Рим приступом. (Прим.
авт.)}

7

Прибывший из Гаэты Пий Девятый
Уже на даче. Дача у него -
Такие же из мрамора палаты...
Там воздух чище, — чище оттого,
Что дальше от жидовского квартала,
От Тибра, Форума и Квиринала.
"Все укатили! Рим пустой стоит,
Остались только боли", — говорит
Страж Ватикана, старый антикварий,
В ливрее, в белом галстуке, в чулках.
(Зимой он получает гонорарий
На безобидной службе при богах).

8

Вот он, в очках и будничной ливрее,
Не чувствуя томительных жаров,
Прохладные обходит галереи
И обметает ноги у богов.

Все эти боли так же безучастны
К страданьям Рима. Так же сладострастны
Вакханки, так же ясен Аполлон,
И также славой гордо блещет он,
Остановясь в своем воздушном беге...
Все так же вакх над чашею поник,
И, ногу заложив, в усталой неге
Стоит Силен, осклабя юный лик.

9

Но страшного, болезненного стога
Того, которого с детьми скрутил
И давит змей, страданий Лаокона
Французский барабан не заглушил;
Минервы, в силу мысли облеченной,
Во всеоружии, как мысль, рожденной,
Спокойно поджидающей врагов,
Не испугал холодный блеск штыков;
Ни бомбы, ни картечь, ни лицемеры -
Ничто не помешало красотам
Стыдливо страстной и нагой Венеры
Сиять а отраду людям и богам.

10

Хвала вам, камни? Знаю, кто не знает.
Что ваша слава меркнет в наши дни.
Но кто вас любит, тот вас понимает,

Недаром вы всем гениям сродни.
Как и они, вы заодно с природой:
Как и они, вы созданы свободой,
Недаром Рим невежественный к вам
Почтительнее, чем к своим попам.
Свободно горды и свободно страстны,
Не вы ли без позора и оков
Прошли, рабов стыдя (хоть и безгласны),
Через мытарства двадцати веков.

11

Рим не был бы давно великим Римом
И вечным городом не мог бы слыть,
Когда б искусство не было любимым,
Когда б Европа гордая ценить
Его развалин гордых не умела,
Когда б она, как "наши", поумнела
И не искала б чудных образцов
Для современных кисти и резцов.
Без иностранцев, и без их усердья,
Бесплодным окруженный пустырем,
Под звук органов, в лоне милосердья,
Рим с голоду заснул бы вечным оном.

12

Без иностранцев Рим не мог бы видеть,
Не мог бы слышать, скоро, может быть,

Он разучился б даже ненавидеть,
Как разучился пламенно любить.
И грудь его была бы без отзыва
На эти крики братского "призыва
(Ибо ни слава правды написать
Не позволяет папская печать).
Рим был бы глуше старого Китая,
И этот католический Китай
Догнил бы наконец и, умирая,
Конечно перешел бы прямо в рай.

13

Где воля — дерзость, там всегда скандалы;
Где мало пишут — много говорят;
Где люди шепчутся, там радикалы
В народ пускают слухи и молчат;
А пасмурные реакционеры
Чем злей, чем строже принимают меры,
Тем сами больше трусят, — уж таков
Исход вещей, и вывод мой не нов.
О чем же толки в этой полудикой
Столице? в Риме что за разговор?
Не чудо ли свершил святой Маврикий?
Не пойман ли гроза Албанских гор,
14
Бандит, а с ним и вся лихая банда?

С французскими солдатами вчера
Не подралась ли папская команда,
И целы ли при этом кивера?
Пока не то. Не то, — так что ж такое?
Какая сплетня не дает покоя?
Чернь упивается какой молвой?
Да вот, какой-то, говорят, больной
(Не то помешанный), крестообразно
Сложивши руки на пруди, стоит
На каменном мосту и праздно
На замок Ангела весь день глядит.

15

Ну, что ж?! Да говорят, что из-под шляпы
Его глаза горят таким огнем,
Как будто он на эту крепость папы
С проклятьем накликает божий гром.
В его ж лице так много скорбной муки,
Так худы пальцы, и так бледны руки,
Так пылен плащ, повиснувший на нем,
Что кажется не быть ему жильцом
На этом свете... Словом, очень страстный
Какой-то господин, и кто такой?
Eh! che losa! {*} стоит как балаганный
{* Кто это знает! (ит.).}
Актер или трагический герой.

16

А между тем, замеченный толпою,
Он не спешит, напротив, всю дают
Бму дорогу. Многие рукою
Его приветствуют, иные "ру" у жмут.
Чудак несчастный... или понимала
Толпа, что нужно храбрости не мало.
Чтоб выбрать эту позу — и стоять,
Стоять, стоять и все молчать, молчать.
Трагическая поза не годится
Нигде, но только в Риме погубить
Способна поза: ложь (с)сего боится,
И злу нельзя (молчаньем угодить.

17

Кольми же паче угодить молчаньем
Отчаянья, с презреньем на устах.
И вот, донос, с подробным описаньем
Всей жизни чудака, уже в руках
Блюстителей священного порядка.
Для них все вздор: лень, голод, лихорадка,
Разбои по дорогам, но не вздор
Осмелившийся мыслить: это вор
Опасный, он у бога души крадет,
У бедных и богатых крадет он
Все то, что духовник в душе их садит

На пользу церкви, крадет веру, сон,
18

Доверье к иезуитам, безмятежность
И послушанье. Если уж карать
Таких воров, то всякая тут нежность
Некстати, надо их вязать, сажать,
Томить, пока у них не помутится
Рассудок. В Риме думать не годится,
Зато тайком позволено грешить,
Ибо святейший папа разрешить
Грехи всегда готов, по благодати
Ему дарованной, и так решил
Совет: не дураки мы, нам некстати
Щадить того, кто б нас не пощадил
19

На этот раз, к несчастью, опоздало
Святейшее судилище; скандал
Произошел ужасный, что не мало
Смутило даже граждан.

Жар спадал,

Заря, пронизанная облаками,
Обхватывала Рим, с его холмами,
И колокольни стройные церковей,
И куполы широкие на ней
Как силуэты резко вырезались;

Вдали пестрели выступы домов:
Над Тибром тени синие качались,
Предвестницы гнилых ночных паров.
20

Уж замок Ангела, всей шириною
И всей своей надхолмной высотой
В тени, казался массою сплошною,
Иль облаком лиловым, над землей
Осевшим в виде круглой цитадели;
Одни его края кой-где алели,
Да сверху ангел крылья простирал
И в золоте зари едва мелькал;
Статуи на мосту, как бы в припадке
Восторга, онемели, и на них
Как будто ветром мраморные складки
Крутились; но невозмутимо тих
21

Был вечер; пыль недвижимая стояла
Как золотой туман, кой-где колокола
Перекликались. В улицах не мало
Гуляющих толпилось, демон зла
Бродил как сумерки, знаком не всем он,
Лишь избранным понятен этот демон.
Он сам сейчас префекту диктовал
Такой приказ: "Альберти, что смущал

Народ своею неприличной позой,
Схватить, препроводить и допросить",
И, сам же тешась над такой угрозой,
Собирается начальству насолить.

22

Чудак, который так себя прославил
Тем, что, быть может, тронут головой,
Уж на мосту давно свой пост оставил
И шел один по темной мостовой,
Свои усы прикрыв плащом от пыли.
Но вот его заметили. Следили
Сначала издали, потом за ним
Столпились и пошли (таков уж Рим).
Он оглянулся — все остановились;
Навстречу сотням глаз он поднял взгляд.
И странным выраженьем озарились
Его черты: он был и зол, и рад.

23

В одно и то же время и презренье
Мгновенное мелькнуло на губах,
И радость гордости, и сожаленье,
И смелость, и какой-то дикий страх;
Он побледнел и вздрогнул.

"Вы идете

Зачем? — спросил он громко, — или ждете,

Что я спасу вас! Господи, прости!
Иль думаете вы меня спасти?"
Толпа сконфузилась... уже готова
Была и удалиться, и отстать,
И верно б удалась, если б снова,
Насупив брови, он не стал ворчать.
24

"За вас мне больно, римляне, но шляпы
Я пред рабами не хочу снимать".

— "Но кто же ты?".

— "Кто? у шпионов папы
Спросите, ежели хотите знать".

Толпа заволновалась.

"Я Стефано
Альберти, я миланец, из Милана,
Узнав, что брат мой, защищая Рим,
В бою был ранен, я пришел за ним,
Чтоб отвезти на родину. В больнице
Почти здоровым обнял я его,
Но сестры милосердия к темнице
Приспособляли брата моего.

25

"В неволе он за то, что враг неволи,
За то, что благороден он и смел,
За то, что Рим любил, любил до боли,

Любил до слез, за то, что прилетел,
Сочувствуя великому народу,
В воротах Рима биться за свободу
В те дни, когда французский генерал
Вас бомбами громил и осыпал.
Увы! затмивши солнце вашей славы,
Французских пушек дым принес вам ночь,
Где ж вам помочь Италии, когда вы
И одному не можете помочь!

26

"Брат без суда отправлен в крепость латы
И вот томится с лишком, с лишком год.
Как видно, те же когти, те же лапы
У инквизиции: кто попадет -
Прощай! пощады нет! в одно лишь чудо
Я верил в Риме: в подкуп. Да! покуда
Бряцали скуды, верил я в него,
Но тем не спас я брата моего,
Мне не дал бог такого миллиона,
Который бы донес мою мольбу
До высоты апостольского трона
И мог бы увенчать мою борьбу.

27

"Теперь я нищий, все мои посланья,
В которых я описывал мои

И нужды, и душевные страданья,
Не доходили до моей семьи.
Одни монахи ими потешались.
И мысли у меня не раз мешались,
Хотелось мне бежать домой, домой!
Но как явиться к матери родной
Без сына? К братьям как прийти без брата?
К невесте как прийти без жениха?
Во имя бога и всего, что свято,
Я кардинала умолял... ха, ха!

28

"Мне отвечали: ждите амнистии,
Тогда простят. Простят! за что прощать!
За то ль, что брат мой, по словам мессии,
Пришел сюда за братьев умирать?
Он стоит славы, а не истязанья.
В священных книгах есть одно сказанье,
Как ангел из тюрьмы освободил
Петра апостола, цепь сокрушил
И растворил врата, а вы, Петровы
Наместники, вам тюрьмы воздвигать!
Да все свободное сажать в оковы!
Как вас за это не благословлять!

29

"Ключи от рая! где они?! Мы знаем

Ключи от вечных тюрем. Кто видел их,
Ключи от рая?! Бели этим раем
Заведует палач друзей, родных,
Мучитель сына иль мучитель брата,
Заклятый враг всего, что сердцу свято,
Какой осел захочет в этот рай!
Нет, папа, нет, отец! не отвори
Мне неба! Там, где ты, нет бога,
Нет истины, нет разума, и лет
Любви. Довольно, граждане, не много
Осталось мне глядеть на этот свет.

30

"Беречь себя не стоит: передайте
Мои отчаянье и горе землякам.
Мы больше не увидимся. Прощайте!"
И он ушел, и по его следам
Никто не тронулся, хоть и звучали
Шаги толпы... иные молча сжали
Кулак, иные принялись свистать,
Остричь, смеяться, словно разогнать
Хотелось им обычную суровость.
Окошки отворялись, сверху вниз
Повисли головы, стараясь новость
Поймать, покуда все не разбрелись.

31

Ночь темная так быстро заливала
Равнины, и холмы, что фонарей
Столица зажигать не успевала,
И только пахло дымом фитилей.
В одном из переулков дальних, чадных
И тесных, посреди совсем нескладных
Каких-то зданий, втиснутый кой-где
В разбитые руины и нигде
Не освещенных, шел Альберти. Видно,
Воров он не боялся, как бедняк.
(Иному трусу-богачу завидно,
Что бедняку не страшны глушь и мрак.)

32

"Стой!" Резкий шепот в темноте раздался,
И жаркий вздох пронесся над плечом.
"Альберти?" — "Я. А ты откуда взялся,
Джузеп?" — "Синьор, я вас узнал с трудом,
И если б кто-нибудь другой попался,
Я б с ним теперь порядком расквитался
За глупую ошибку... Вы домой?"
— "Домой". — "Идите же скорей за мной,
Или сейчас поймают вас; лам надо
Таких, как вы, беречь". — "Беречь? Зачем?"
— "Молчите; тише! может быть, засада...
Тс! Будьте немы, и я буду нем".

33

И молча, светлые углы площадок
Минуя, улиц пять они прошли
И повернули к Тибру. Здесь осадок
Всех нечистот, которые текли
Из города, мог отравить дыханье,
Здесь над рекой ночное колыханье
Паров белесовато-голубых
Одно б могло навеять на иных
Тоску невыносимую. Верхушки
Деревьев низеньких из-за домов
Торчали, дальше квакали лягушки,
Как будто пели гимны в честь воров.

34

По темной лестнице они взобрались
На темный верх. Джузеп нащупал дверь
И так толкнул, что стены зашатались.
Дверь отворилась. "Ну, синьор, теперь
Вас никакой, ни друг ваш, ни собака,
Ни даже дьявол не найдет, per Вассо! {*}
{* Клянусь Вакхом! (ит.).}
Не только спрятать — можем и увезть.
Э! Вы не знаете, что значит месть
Отца и монсиньора Антонелли?
Не знаете?.. Так я когда-нибудь

Вам расскажу... Эге! Вы в самом деле,
Синьор, дрожите, — надо вам заснуть".

35

— "Джузеп! Я думал, что меня посадят
В одну темницу с братом, и тогда
Скорей заступятся, скорее сладят
С упрямством деспотизма, — да, да, да!
Я шел на это... Если здесь умру я
От лихорадки, чем, скажи, могу я
Полезен быть! А ежели я там
Умру, — о! может быть, я повод дам
К ужасным толкам, — этого боятся
В наш век и варвары". — "Ну вот, синьор,
Для этого и надо вам дожждаться
Зимы, тогда и будет разговор.

36

"А летом, — летом в Риме разговора
Вы не услышите. Да и тогда... все вздор,
Для папской власти в Риме нет отпора,
И если вам подписан приговор,
Вас не спасут ни письма, ни патенты,
Ни консулы, ни даже президенты.
А умирать вам рано, я не дам
Вам умереть, per Вассо! Завтра ж вам
Другое мы отыщем помещенье,

Здесь и сестра моя не может жить".

— "Спасибо, друг... А впрочем за спасенье
Не следует людей благодарить".

37

"Тот и не человек, кто не спасает
Невинных, при возможности спасать".
Но вот Джузеппе спичку зажигает
И начинает угли разжигать.
Вот смуглое лицо его кудрями
Нависло над жаровней, и губами
Такой пускает ветер на огонь,
Что иокры брызжут; (с)от, разжав ладонь,
Бросает он в огонь смолы щепотку,
Чтоб разогнать тлетворный пар ночной.
Дым тянется в окошко за решетку
И тучу мошек тянет за собой.

38

Джузеппе (иначе Жозеф) был малый
Лет двадцати, народный тип вполне:
Глаза — два угля, лоб немного впалый,
Орлиный нос, который по длине
Лишь одному грузинскому уступит,
И волосы, каких никто не купит
Себе на плешь, — лес вьющихся вихров,
Или с отливом черных завитков.

Он сухощав был, строен, одевался
То как простой факин, то надевал
Штиблеты, то в пальто являлся
На Монте-Пинчио, то пропадал.

39

Кто он такой? Откуда этот малый?
Узнаем после, а теперь едва
Его я вижу: сторбясь, как усталый,
Сидит он, опустилась голова.
Когда ж он дует, изредка бросая
В огонь пахучую смолу, большая
Тень от вихров его на потолке
Колеблется, а гость на тюфяке
В углу лежит, лицо плащом закрывши,
А ночь, с молвой о нем, плывет, плывет
И, может быть, вчера святым прослывши,
Он завтра чуть не чертом прослывет.

ГЛАВА 4

1
"Не бойся, милая! Никто не тронет,
Останься здесь". — "Тс! кто-то постучал".
— "Пускай стучат! нас дома никого нет..."
Так бормотал художник, он писал
Картину и сидел на табурете,
С кистями и с палитрой, в полусвете

Своей уединенной мастерской;
Лишь сверху от окошка голубой
Воздушный луч, спадая, отливался
Как золото на русых волосах
Хозяина, и молча он смеялся:
"Пускай стучат!"

— "Гей!" раздалось в сенях.

2

И вспыхнула в душе его досада,
И в этой безмятежной мастерской, -
Как будто с улицы или из сада,
В ее окно ворвался ветер злой
И закружил осенних листьев ворох -
Послышался внезапный, быстрый шорох:
Как серна, вдруг заслышавшая рог
Охотника, своих летучих ног
Скачок едва дает заметить глазу
И прячется в деревьях за горой,
Так юбку с платьем захвативши сразу
И распахнувши занавес рукой

3

И даже башмаков не подобравши,
За дверью скрылась девушка "Синьор!" -
Послышалось в сенях. — "Несносно!" —

вставши

Сказал художник; но его укор
Уже смягчался новым выраженьем,
Внимательностью и недоуменьем,
"Джузеппе: это ты?"

— "Я, я, синьор!"

— "И ты один?" — "Один". — "С которых
пор

Тебя не видно, голова лихая?
Войди". И гость, входя, как бы вздохнул -
То был не вздох: порог переступая,
Он только носом воздух потянул.

4

Уединенья пестрый беспорядок,
Пюпитр, картину, свежесть помазка
На подмалевке, колыханье складок
На занавеске, кончик башмака, -
Все оглядел он быстрыми глазами.
"Ты не один?" — спросил он и бровями
Пошевелил; потом прищурил глаз
И засмеялся. — "Да, на этот раз
Ты догадался. С лишком три недели,
Пока ты пропадал, существовать
Игнацио не мог без Грациелли
И если ты не знаешь, должен знать,

5

"Что в душном Риме мне она нужнее,
Чем свежий воздух. Да, твоя сестра
Здесь, у меня". Джузеппе стал мрачнее
На полминуты. — "Этого добра
Не жаль, синьор. Не до нее... — сказал он
И оглянулся. — Тайна! — продолжал он,
Понизив голос, и как дикий зверь
Прошелся по ковру, косясь на дверь.
"Подслушает проклятая девчонка", -
Подумал он, — у ней претонкий слух.
К тому же знаю, кто хохочет звонко,
Тот и болтлив". — "Ну, русский! Ты мне
друг.

6

Не измени нам, сделай одолженье!
Поберегись проклятого ножа;
Он на друзей не променяет мщенья,
Большой секрет".
И губы приложа
К его щеке, таинственно и с жаром,
Джузеппе стал шептаться с ним. Недаром
Художник притаил дыханье, — он
Заметно бледен был и удивлен.
Подумав, он ответил: — "Из одежды
Моей возьми что хочешь... Наряди

Его как знаешь... Не теряй надежды
И верь мне. Только... сам ты посуди,
7

Годится ли такое помещенье?"
— "Его, синьор, я знаю... место есть...
И знаешь ли, на случай посещения...
Там у тебя с террасы перелезть
На низенький забор у палисада
Одна минута, и притом не надо
Большой привычки прыгать".

— "А куда
Дней через пять его ты денешь?" — "Да,
Да, да, синьор, дня три или четыре,
И братья, что в горах, ему такой
Найдут приют, что лучше в целом мире
Он не найдет. Сестра! Идем домой!"

8
— "Постой, Джузеппе, caro mio {*}, лучше
{* дорогой мой (ит.).}
Возьми, вот, деньги, только не брани
Твоей сестры". — "За что? Э, э! Иллючи,
Я рад. Тяжелые настали дни...
Ты скуди ей даешь: она собирает
Себе приданое — кто ей мешает?
Но я зашел за ней", — и кулаком

Он постучался в дверь: — "Сестра! Идем!"
Дверь скрипнула, и, очи опустивши
И белой ткани узел головной
На темени красиво прикрепивши.
Явилась Грациелля. Боже мой!

9

Какие силы творческие были
Так стройно подняты из недр земных,
Чтоб сотворить все то, что сотворили
Они из этой римлянки! Каких
Античных статуй торс припоминала
Сама природа в дни, когда слагала
Такие формы, а ее чело
Кудрями убирала? Что могло
Зажечь такое звездное мерцанье
В ее как ночь темнеющих глазах!
Улыбки детской алое сиянье
Кто мог разлить так ярко на щеках!

10

Загар ее лица был нежной тенью;
То был не тот коричневый загар,
Который так мирится с южной ленью.
Иль с лицами транстеверинок, в жар
Идущих в город, рядом с женихами,
Да с братьями, на рынок с овощами,

Иль в студии художников — собирать
Себе приданое, а после отдыхать
На "Trinita del monte", поджидая
"Ave Maria". Нет, она была
Так хороша, что и ее морская,
Быть может, зыбь из пены родила.

11

А сколько было жизни в ней! Смущенье
Переходило в смелость. Громкий смех
В нахмуренную бровь. Повиновенье
В грозу в глазах и в слезы. Не у всех
Художников случаются такие
Натурщицы. Художники иные
Таких красавиц даже и во сне
Не видели; зато к кому она
Попали в студию, тот чуть ли не потерян,
По крайней мере, если сердце в нем
Не дремлет, он не может быть уверен,
Добром ли это кончится иль злом.

12

"Иди, иди!" — сказал ей брат, толкая
В плечо: — "Adieu, Signor!" Но рассердясь
На брата, Грациелля молодая
Вдруг вспыхнула. Из потемневших глаз
Сверкнули молнии.

— "Да погоди же.

Не торопи! Ты пропадад, и ты же
Меня домой торопишь, сатана!"

Нетерпеливо топнула она,
Из рук его рукав освобождая.

— "Дай мне проститься прежде чем ушла".

И ласково, от гнева простывая,

Она артисту руку подала.

13

Они ушли; хозяин вновь приняться

Хотел за кисти, но уже не мог.

Хотел на воздух выйти прогуляться

Вдоль по террасе, но его обжег

Луч солнца. Стал ходить он тихим шагом

По комнате и вдруг, как над оврагом,

Не зная, как овраг тот миновать,

Опять остановился и опять

Стал с выраженьем неопределенной гру-

сти

Глядеть куда-то вдаль. Потом он взял

Из шкафа книгу и из песен Джусты

Две-три страницы молча прочитал.

14

Не ждете вы поэзии от века

Бездушного, в той пагубной среде,

Где золото дороже человека,
Где ваша выгода в чужом вреде,
Где женщина в притворстве признается,
Где красота и совесть продается,
Где подлость уважаема, обман
Господствует, где золотой болван
Становится кумиром пьяной черни, -
Не ждете вы поэзии — и, вот,
Безумная идет по иглам терний,
Чего-то ищет, плачет и поет.

15

Бросайте же в нее комками грязи
Вы, загрязненные, вы, пошляки,
Которым нужны взятки, сплетни, связи,
Чины, покой, рога и колпаки!
И вы, аскеты, вы, идеалисты
Без идеала, или реалисты
Без знанья жизни, вы гоните прочь
Безумную, гоните с тем, чтоб ночь
Невежества была еще темнее.
Иль думаете вы, что ваш язык
Без языка поэзии слышнее?
Да, он слышней, как без набата — крик,
16
Как без раскатов грома — шум потока,

Как без оркестра — бальной пляски шум,
Итак, по-вашему (о! как глубоко
Реален ваш самолюбивый ум!),
Набат, и гром, и музыка — звук лишней,
Ненужный, потому что звук давнишний!
И если от паров стал душен зной -
Не надо грома! Если над толпой
Как бы зараза носится веселье -
Не надо музыки! Да, господа...
Не надо и стихов, пишу их от безделья,
За неимением лучшего труда.

17

И вот, беру художника в герои,
Хоть, может быть, и правда, что пора
Художников оставить нам в покое,
От них, дескать, ни пользы ни добра:
Но так как и от вас нам пользы мало,
То почему ж не взять кого попало.
Я знаю, что надменный Петербург -
Плохой художник, он скорее хирург,
Закладчик, немец, скрывший под халатом
Свое отечество, чиновник впопыхах,
Или фельетонист, над нашим братом
Смеющийся и в прозе и в стихах.

18

Итак, художника я здесь намерен
Вплести в рассказ, — он, кстати, брат род-
ной

Илюшину. Читатель! будь уверен,
Что этого туриста бред ночной
В гостинице с таким сердечным жаром
Я перекладывал в стихи не даром
(Хоть, может быть, и не совсем постиг
Я тайну облекать в прозрачный стих
Чужую совесть). Помните ли, брата
В бреду земляк Игнашей называл, -
Мы переделаем его в Игната.

А так как в Риме, где он обитал,
19

Соседями он прозван был Илюси,
То мы его и будем называть
Игнат Иллючи, чтоб на всякий случай
Его с приездом братом не мешать.

Игнат был человек иного строя,
Один из тех, которым нет покоя
От жажды счастья — счастья не того,
В котором вы кумира своего

Привыкли видеть — счастья не в богат-
стве,

Не в почестях, не в мелочной среде,

А в чем? Бог ведает! Быть может, в братстве

Со всеми, в общей славе и труде.

20

Один с враждой, один с своей любовью,

Один с своим безумьем, с детских дней

Чистосердечно только изголовью

Ночному он вверял тоску страстей,

Мечтаний свежесть, или пыл желанья.

Таких людей затеи и страданья

Неведомы, пока не протрубит

О них молва, пока не воскресит

Их юности жар общего участия;

Тогда всю жизнь подавленный в них крик

Отчаянья вдруг разрешится в счастье

Минуты и развяжет их язык.

21

Скачок в былое нашего Игната

До будущей главы оставляю я.

Теперь, во что бы то ни стало, брата

С сестрой догнать намереваюсь я.

И брат, и Грациелля торопливо

Шли через пыльный форум, и не диво,

Что привлекали взоры всех, кого

Встречали. Было ль это оттого,

Что Грациелля хоть и одевалась
Не вычурно, под солнечным лучом,
Вблизи классических руин, казалась
(Могла казаться) дорогим цветком;
22

Иль просто оттого, что и вниманья
Не обращая, громко спорила она
Все время, без малейшего желанья
Вести себя приличнее, — странна
(У нас бы даже грязной показалась)
Речь этой девушки; так выражалась
Она цинически наивно — то словцо,
Которое являться налицо
Не смеет в наших лексиконах, было
Произносимо ею наряду
С другими и ни разу не смутило
Джузеппе. Я его не приведу,

23

Не бойтесь, спор их повторю я
Не слово в слово. "Что ты говоришь!" -
Сердилась Грациелля, — докажу я
Чем хочешь, что невинна... ты грозишь
Кинжалом... дьявол ты! Нет, ты сначала
Узнай, коли не веришь. А кинжала
Я не боюсь — хоть бей, не замолчу.

Меня он любит, — ну! И я хочу,
Чтоб он любил, — хочу! И что твердишь ты
Обман! обман!.. Он десять тысяч раз
Пошел бы к алтарю со мной, да вишь ты,
Ведь патеры венчать не станут нас.

24

Что за охота им венчать — проклятым!
Нет — вон намедни исповедник мой
Плечо мне отдал шероховатой
Своей ладонью, — поняла, какой
Он исповедник! А Иллючи, бедный,
Целует руки мне и, бледный,
Не смеет горячо меня обнять!
Что делать! Я при нем, ни дать, ни взять,
Холодная статуя. Ты не любишь
Таких, как я. Э! Не беси меня.
Я знаю ту, которую ты губишь,
И дни проводишь с ней не так, как я.

25

Ты сердисься, зачем я позволяю
Себе с Мариной иногда ходить
К Иллючи, — для чего у ней бываю,
И у себя ей позволяю быть.
Ты говоришь, ее не высылают
Из города лишь потому, что знают,

С какими монсиньорами в связи
Она перебивалась; но в грязи
Распутства бедная не потеряла
Еще души. О! сколько раз она
При мне, упавши на кровать, рыдала,
И вся от горьких слез была красна,
26

И говорила мне: "Смотри, не падай!
Раз упадешь — не встанешь; лучше ты
За черта выходи, — не то с отрадой
Простись навеки. Нашей красоты
Девичьей года на два вряд ли станет, -
А кто ее сомнет, тот и обманет
И насмеется, и продаст тебя;
А выйдешь замуж, мужа не любя,
Обманывай, пожалуй! Не сумеешь -
Научат наши патеры". Так вот
Что говорит Марина: как же смеешь
Ты думать, что Марина продает
27

Мою невинность!.. Ты зачем к ней ходишь,
Когда из гор являешься домой?
Что ты у ней хорошего находишь?
И почему ты сам нейдешь к другой,
Которая честнее? Ты оставил

За что Памелу — и за что прославил
Ты дурую, и даже нагрубил
Той девушке, которую любил?
Нет, у тебя я спрашивать совета
Не стану, — нет..."

Джузеппе все молчал
Нахмутив брови, долго без ответа
Он резкие упреки оставлял.

28

И наконец откликнулся. — "Умна ты,
Я вижу, нечего сказать, умна!
Сама договорилась, как прокляты
Все наши связи. Будь ты холодна,
Коварна — и тебе дышать позволят,
Растай — к признанью пыткой принево-
лят,

Такое ли здесь место, чтоб любя
По-человечески, ты сберегла себя!
Любить, как ты — не значит ли свободу
Своей души предпочитать отцам...
Здесь властью смято все на зло народу,
Народом смыто все на зло властям.

29

Ходи на исповедь, авось в замужство -
Тебе вступить дозволит патер твой,

Но если он в твои проникнет чувства,
Подумай, как поступит он с тобой?
Ну, не безумная ли ты девчонка!
Ну, разве я не должен, как ребенка,
Угрозами тебя остерегать!
Он должен католичество принять,
Чтоб на тебе жениться!"

— "Ну так что же?"

Почем ты знаешь, может быть, судьба
Поможет..."

— "Замолчи ты! От него же
Я первый отвернусь, как от раба.

30

Простынешь ты к нему — и он простынет.
Иллючи нынче здесь, а завтра — где?
Он птица вольная, он Рим покинет
Когда захочет, — путь его везде,
Где ветер дует. Хлопчи о муже,
Чтоб после не раскаяться. Ему же
Другие женщины тебя забыть
Помогут: все охотницы любить,
Не ты одна. Марина говорила, -
Ты слушала. Я говорю, — и вот,
Ты злишься!"

— "Мне Марина не грозила..."

— "Молчи! Не то пусть черт тебя возьмет!"

31

И слезы у нее, как бриллианты,
Закапали с ресниц...

.....

32

"Ну хорошо!.. — она сказала, плача

И давши волю полную слезам

Сбегать и капать. — Если уж иначе

Себя вести... то право лучше нам

И не видаться". Брат на Грациеллю

С усмешкой покосился. — "Да, с неделю", -

Заметил он — ты дома будь, потом

Дождись меня, и будем мы вдвоем

Ходить к нему; Марина ж провожатой

Не может быть... э, э! Не знаешь ты,

Что значат сплетни в Риме. Рим прокля-

тый

Не думает о жертвах клеветы".

33

Тут молодые люди прекратили

Из осторожности свой разговор.

Они пришли домой и уж входили

Через калитку на покатый двор.

Вот старый дом и мыльная канавка

Из-под колодца; там, где тень, там травка
По трещинам растет меж старых плит,
Летают голуби, петух кричит,
В углу стоит коза на сорной куче;
Вот лестница и два окна без рам,
Кривой балкон, над ним висят онучи,
За ним в стене дверь в горницу, а там
34

Журчит веретено, прядет старуха -
Повязана седая голова;
Она хозяйка, прачка и стряпуха,
И тетка Грациелли, и вдова.
Откуда Грациелля добывает
Ей деньги, старая, конечно, знает;
Но каждый день на девушку ворчит,
Ворчит за то, что дома не сидит,
Завидя Грациеллю, непременно
Она ей погрозится кулаком,
Но как поэт, скажу вам откровенно,
Я с этою старухой незнаком.

ГЛАВА 5

1
Заря сгорела, а луна не встала:
Настал для Рима темный, жуткий час -
Союзник поцелуя и кинжала,

Час тайных слез и молодых проказ,
Соблазнов час и час беседы с богом.
Иллючи стук услышал за порогом,
И не прошло минуты — гость ночной,
В чужой одежде, бледный и худой,
Вошел к нему; но мы Альберти знаем.
Игнат — артист доверчивый — поил
Больного итальянца русским чаем,
И спать укладывал, и говорил

2

С самим собой: "Вот друг случайный,
Друг, на пять дней мне посланный судь-
бой..."

Не стану дорожить сердечной тайной...

Но... что за человек он? Боже мой!"

Альберти как фанатик выражался,

Дух независимости в нем сливался

С патриотизмом: Рим — иль ничего!

Свобода или папа... Отчего?

Вопрос напрасный. Оттого, быть может,

Что наша жизнь темна, когда в ней нет

Той цели, что и манит, и тревожит,

И впереди горит, как вещей свет.

3

Он не жалел, что отпустил он брата

Сражаться против папы, он и сам
Хотел сражаться; уверял Игната,
Что небо отомстит его врагам,
Французам, немцам, папе, клерикалам.
Его душа была таким закалом
Прокалена, что тысячи смертей,
Казалось, не могли бы сладить с ней;
Как Муций Сцевола, он сжег бы руку
На алтаре свободы; но злой рок
Ему послал совсем иную муку,
Он в Риме лихорадкой занемог.

4

Чудак отчаялся, и смерть в темнице
Была его последняя мечта.

Игнат хоть и смыкал свои ресницы,
Но спать не мог. Ночная духота,
Камин и чай, и спущенные сторы,
И этот гость, и эти разговоры,
Все это вместе прогоняло сон,
И тосковал и жаловался он.

Игнат

— А я — зачем пошел с французом драться?

Альберти

— Рим колыбель художников: восстать

За этот Рим не значит ли сражаться?

Игнат

— И навсегда отчизну потерять?..

5

Меня считают за головуреза,

Изменника, молва меня казнит...

Скажите, виновато ли железо,

За то, что притянул его магнит?

Я русский, и не смею воротиться

В свой дом, в свою семью, Москва мне
снится.

Утраченное стало дорогим,

И Рим любя, я проклинаю Рим...

Альберти

— Какие же причины вам мешали

Свой край, ну, хоть на время посетить?..

Игнат

— Увы, синьор, Игната вызывали,

Конечно, не за тем чтоб отпустить

6

В Италию обратно; это значит -

Прощай, любовь! Не мог я бросить Рим,

Не мог сказать: пусть сердце вечно плачет.

Альберти

— Там, где огонь, там непременно дым,

Но ежели и в Риме нет простора
Над вашей головой, поверьте, скоро
Увидите вы копоть над собой...
Нет! Я моей Италии родной,
Клянусь, на женщину не променяю.
Мечтая об Италии моей,
Я мысленно всех женщин обнимаю,
Сестер, любовниц, жен и матерей.

7

Игнат

— Я верю вам, я знаю, *ubi vita,
Ibi poesia* {*}. Когда ключом
{* Где жизнь, там поэзия (лат.)}
Кипит в народе жизнь, все позабыто
Для общих целей — и любовь и дом;
И женщины, как бы на зло природе,
Не о любви поют вам — о свободе.
Но мой удел покуда не таков,
Я рад уйти из ледяных оков
В оковы исключительного чувства;
Где я люблю, там и живу. У вас
Есть гении, есть слава, есть искусства,
Народные герои; а у нас...

8

Нет гениев, и славы нет народной,

Порывы гаснут, сдавлены умы,
И пищи нет для страсти благородной.
Одной войной прославились мы;
Победами грозна держава наша.
Как будто только в них спасенья чаша,
Как будто мы не чувствуем, что нет
У нас великих нравственных побед.
Спесь, ложь и мрак! Крепостники доволь-
ны,

И спит народ под сению знамен.
Невольно радуешься страсти знойной,
Чтоб как-нибудь стряхнуть проклятый сон.

9

Альберти

— Синьор, я рад, что в Риме влюблены вы.
Я буду вечно благодарен той,
Которую невольно предпочли вы
Холодной родине с ее Москвой;
Ведь не внуши она вам этой страсти,
Вы покорились бы суровой власти,
И я без вас, конечно бы, пропал,
Попавши в лихорадочный квартал.

Игнат

— Я благодарности не отнимаю
От той... от той, которая... et cetera {*}...

{* И прочее (лат.).}

Но сам ее от вас не принимаю,
Я не ценю случайного добра.

10

Альберти

— Но доброта у добрых не случайность.

Я одного лишь не могу понять:

Вы... влюблены... и что ж? Какая край-

НОСТЬ

Неволит вас любовь свою скрывать?

Игнат

— Помилуйте, синьор! За грех любовный

Сажает на цепь в области церковной,

А между тем скорей поднимут все вверх

ДНОМ,

Чем захотят ее венчать с еретиком,

И любящий, и... может быть... любимый,

Я не могу глубоко не страдать,

Как Тантал, жаждою в аду палимый:

Нет сил ни оставаться, ни бежать!

11

Альберти

— А!.. Так она не замужем?.. Не знал я.

Но если это девушка... ей-ей!

На вашем месте с ней бы убежал я

Подальше от монашеских сетей.

Игнат

— Куда бежать? Не позволяют средства;

Не знаю даже, получу ль наследство.

Отец мой был порядочно богат, -

Весною умер, — мачеха, да брат...

Господь их знает, как распорядятся.

Альберти

— Картины ваши можете продать.

Игнат

— Картины — нет! К сюжету их придраться

ся

Не мудрено: за них велют изгнать,

12

И что тогда? Отечество второе

Придется мне навеки потерять.

Теперь, синьор, пишу совсем иное,

Теперь, синьор, коли хотите знать,

Иную думу сердцем я взлелеял,

"Коринфскую невесту" я затеял.

пока с одной бедой не справлюсь я,

Мой идеал — натурщица моя.

И всякий раз, когда при мне сияет

Она, цветущая, роскошна и стройна,

Природа силу красок убивает,

И кисть моя становится бледна.

13

Альберти

— Тот идеал, в который влюблены вы,

Уже не идеал в моих глазах.

Вы знаете, что вкусы прихотливы.

Игнат

— Но красота во всех ее чертах

Есть красота...

Альберти

— Поверьте, для картины

Рафаэля был образ Фарнарины

Не больше как простой материал,

Который он для живописи брал.

Когда ему Мадонны лик являлся.

Натурщица могла ль его пленять?

И разговор их в спор перерожден

И за живое стал уж задевать...

14

Как вдруг Альберти притаил дыханье.

Почудилось ему, что к ним стучат:

Стук! стук! Молчат. Стук, стук! Опять мол-
чанье

Приподнялся и побледнел Игнат.

"Ужели ночь готовит нам измену?", -

Проговорил он шепотом. "Иль в стену
Стучал Джузеп? Иль спать мешаем мы?.."
И он к дверям, дрожа средь душной тьмы,
Подкрался, слух свой чутко напрягая.
Но вот опять настала тишина,
И лишь порой вздыхала, как живая,
В его алькове темная стена.

15

Игнат Иллючи трусил не изгнанья.
Не все ль равно, где жить и где страдать,
Где кофе пить и видеть звезд мерцанье.
Где наблюдать природу и писать?..
Везде есть рестораны и постели,
Но... не видать голубки Грациелли...
И знать, что нет надежды увидеть,
Как нет надежды мертвому восстать...
О! это было б хуже лютой смерти.
Не скоро лег он. Молодая кровь
Стучалась в сердце; струсив за Альберти,
Он вдвое струсил за свою любовь.

16

В поре страстей и молодых стремлений,
Он с ужасами жизни был знаком.
Средь разных зол, тревог и опасений,
Он дорожил любовью, как добром...

Он чуть не пал, когда за Рим сражался.
Чуть не сошел с ума, когда решался
Повесить над собой Дамоклов меч
И грозным повеленьем пренебречь.
О брате он скорбел, и в заключенье
Жар одуряющий переносить
Остался в Риме, ради наслажденья
Не издали мечтать — вблизи любить.

17

Он не вполне был искренен с Альберти,
И это мне понятно... Никогда
Признаниям влюбленного не верьте,
По крайней мере, верьте не всегда...
И Грациелля, брата упрекая,
Быть может, также не была святая, -
Недаром слезы капали из глаз.
Но... муза! мы, затеявши рассказ,
Спешим наверх; — поищем основанья,
Пойдем назад, волшебным фонарем
Владея, озарим воспоминанья,
Которые Игнат считает сном.

18

Не все ему родное нам родное,
Не все ему смешное нам смешно.
Свое незаменимое былое

Он назвал сном, а между тем оно
Покой души его порой тревожит.
Он от него отделаться не может.
Москва ему была родная мать,
Он помнил дом, откуда наблюдать
Он мог все божье и все человечье.
Там из окна сиял ему простор,
Был виден Кремль и все Замоскворечье
От Яузы до Воробьевых гор.

19

Он помнил сад, калитку близ колодца,
И стук бадьи, когда на водопой
В час утренний вели их иноходца.
И помнил он разлив реки весной,
И баню, даже запах этой бани,
И благовест ко всенощной, и няни
Старушки всхлипыванье, всякий раз
Когда она, пред образом крестясь.
Стучала лбом в ковер, и то кладбище,
Где мать его была схоронена,
И переезд их в новое жилище,
Потом другой мотив того же сна.

20

Вот он подрос и даже понимает.
Что мачеха его не то, что мать.

Алеша брат экзамены справляет.
Он любит о студенчестве мечтать.
В соседнем доме генеральша с внучкой,
Дитя уже умеет делать ручкой,
И из окна к нему воздушный шлет
Свой поцелуй, а там — сирень цветет,
Береза с листиками клонит ветки
Над узким тротуаром: солнце, тень,
Воркунья няня, локоны соседки,
Латинская грамматика и лень.

21

Он помнил, как из ватного халата
Отец его почти не выходил,
Как заставлял он вслух читать Игната
Акафисты, и как старик хандрил,
Когда его супруга молодая
В гостях засиживалась, забывая,
Что на столе семейный самовар
Клокочет, в две струи пуская пар;
Как привозили образ для молебна;
Как Лермонтов Алешу восторгал,
И как отец, любя его, враждебно
Глядел на все, чего не понимал.

22

Он помнил одинокие прогулки,

Старинные пруды, как озера,
Кривые, спутанные переулки,
Кануны праздников и вечера
В ограде Спаса — ряд огней во мраке
И пенье клироса, и "паки паки
Помолимся", и дымные столпы
От ладана, и шорохи толпы
Молящейся, — и много, много, много
Такого, что являло в звездной мгле
На небе восседающего бога
И умирающего на земле.

23

Игнат мой долго был религиозен,
Любил Христа в душе своей носить,
Не по летам был бледен и серьезен,
Хотел в иконописцы поступить,
По вечерам, зимой, при свете лампы
Срисовывал дешевые эстампы,
И если ночью долго спать не мог,
Читал тихонько "Да воскреснет бог!".
Потом он стал в гимназии известен,
Товарищей учиться понукал,
Итог баллов здесь был бы неуместен.
Но часто он пятерку получал.

24

А между тем отец его, хирея,
То сны записывал, то уверял,
Что роскошь — гибель мира, то, говея,
Своей жене наряды покупал,
Ворчал на сыновей, на их ученье,
И на себя за то, что позволение
Дал старшему в студенты поступить,
А младшему в гимназию ходить.
"Дворянское ли дело заниматься
Какой-то живописью, — что за вздор!"
Алеша ловко начал отгрызаться,
Игнат молчал, потупя грустный взор.

25

Брат стал кутить, завел себе голубку;
Игнат стал бойко рисовать, — и вот,
В какой-то праздник, завернувши в трубку
Свои рисунки, вышел из ворот.
Не зная жизни и не зная света,
Он у чужих пошел искать совета,
Спустился на Пречистенку, спросил
Там дом один и робко позвонил.
Дверь отперлась. Взволнованный, ни сло-

ва

Швейцару он не мог проговорить.
— Кого вам тут? — Игнат спросил Орлова

И побледнел. Приказано просить.

26

И помнил он, как встретил он участие

И в школу живописи принят был.

Как бедный мальчик, он дрожал от счастья

И скрыть его хотел; но плохо скрыл,

И в школу сел, заплаканный, с локтями

Протертыми. Там уносясь мечтами

И глаз не уставая напрягать,

Он рано подглядел в природе мать,

Кормилицу художников, и много

Она ему сулила. Не дремал

Его талант, — и сам ценитель строгий

Талантов труд его благословлял.

27

Он и меня благословлял когда-то,

Опальный муж, гражданственных тревог

Немая жертва! Щедро и богато

Природой взысканный, он превозмог

Свое отчаянье. И осужденный

На бесполезность, словно пригвожденный

К стенам Москвы титан, не подражал

Титану и богов не проклинал,

Умел к своим цепям приноровляться.

И на своей скале не мог никак

Лежать без дела. Кто же мог нуждаться
В таком лице? Художник да бедняк.

28

И лик его сиял для них приветом...

Орлова помнят, — и на гроб его
Не я один готов (конечно, летом,
А не зимой) от лавра своего

Принести хоть ветку в дань воспомина-
нью,

Неравнодушный к свежему преданью.

Я знаю, он неравнодушен был

К грядущим поколениям и любил

Россию в будущем. Спи мирно в гробе,

Наивный гражданин! Не жди чудес.

Народный гений все еще в утробе,

А лавров — сколько хочешь, целый лес!

29

О лаврах также думал мой Игнатий.

Что делать? Слава — звук, но не пустой.

Мечтанье, но не сон, — как из объятий

Развратницы, из жизни мелочной

И сладостной она зовет нас в поле, -

Где марширует смерть, меняя роли

Народов, полководцев и владык, -

Ведет на кафедру, раба язык

Вооружает жалом истин смелых,
В толпу заносит правды семена
И в глубину пустынь оледенелых
Людей заносит, — но не имена.

30

В домашний круг, в семейный пир Игната
Не проникала слава; для него
Она была действительно заплатата
На рубище — и больше ничего {*}.

Там о политике не заикались,
Науки торжеством не увлекались,
Поэзии не знали никакой,
Там каждой мысли новой иль живой
Боялись как холеры или черта,
Там есть и пить могли бы вы, — но жить
Не дай вам бог с людьми такого сорта.
Игнат мой стал особенно их злить.

{* Что слава? Яркая заплатата
На бедном рубище певца.

А. Пушкин. (Прим. авт.)}

31

Старик звал гордостью его молчанье,
И всякий раз, когда он пропадал
(К обеду не являлся), ждал признанья
И все его затеи проклинал.

Игнату было не легко искусство;
Но славы луч неразвитое чувство
Уже ласкал. Так ранний луч весны
Ласкает почки роз и белены.
Прошло семь лет. Он получил медали,
Патент из Академии, — и вот
С минуты на минуту все мы ждали,
Что он поднимет крылья и вспорхнет.

32

Но крылья, крылья! Что такое крылья?
Червонцами набейте мой карман,
И я помчусь без всякого усилья
Через какой хотите океан.
Вы удивитесь легкости чудесной
И скорости, когда тяжеловесный
Металл, который золотом зовут.
Мне как-нибудь (хоть за стихи) дадут.
Игнату также дали за картины
Рублей пятьсот; но вышло ничего:
Алеша, друг и брат, не без причины
Все эти деньги занял у него.

33

Уверил, что его посадят в яму.
Действительно, какой-то кредитор
Грозил ему за пиковую даму;

Но все свои долги за сущий вздор
Считал он и не все пустил в уплату,
Хоть и клялся встревоженному брату,
Что расплатился и ничуть не пьян,
А просто выпил, весел и румян.
А мой Игнат, чем дальше, тем труднее
Ему казался избранный им путь,
Чем больше размышлял он, тем больнее
Сомнение закрадывалось в грудь.

34

"Старуха с прялкой", "Юная крестьянка,
Сгребаящая сено", голова
Как лушь седого дворника, "Цыганка
С гитарой", — это все слова, слова...
Так говорил он, — далеко не слово
Горячее, способное иного
Толкнуть и разбудить, как будит нас
Набат в пожар, молитва в скорбный час,
Иль колокола звон в великий праздник.
— Нет, лучше ты на ложе деву мне
Изобрази, — сказал ему проказник
Алеша, — так чтоб грезилась во сне.

35

— Эх, брат! на краски нет давно ни гроша!
Сказал Игнат, опять в свою тоску

Впадая, как потерянный, Алеша
Задумался, и вот он к старику
Пришел и говорит: — Ты причищался?
— Сподобил бог. — А ты вчера признался
Попу, что губишь сына? — Это как?
— Да сам ты посуди. — Молчи, дурак!
— Послушай, отче! будь родному сыну
Родной отец, не то, вот те клянусь,
Что я тебя на старости покину
И в Питере в гусары запишусь.

36

— А я не дам ни гроша. — Ну, украду,
Тогда ты сам отправь меня в острог.
И буду я родному не в усладу
Преклонных лет, а в горе да в упрек.
Старик не ожидал такого слова
И хоть по-прежнему глядел сурово,
Но мялся и дрожал. "Вот, черт возьми,
Что делать мне с проклятыми детьми!
Ведь он, пострел, что если вдруг такую
Отколет штуку" ... — думал он, косясь;
И допил чай, и молча в образную
Отправился, вздыхая и крестясь.

37

И к мачехе явился наш Илюшин.

— Послушайте, сказал он, — не шутя,
Я вас люблю. Как рыцарь вам послушен,
Вы — милая... Но я уж не дитя,
Которое вы можете обидеть.
Я кое-что уж начинаю видеть...
Но я отца не стану огорчать...
Я промолчу... но только с уговором:
Вы, в качестве влиятельной жены,
За брата похлопочете, в котором
Талант и ум признать и вы должны.

38

И сделал дело Алексей Илюшин:
Всех напугал. Отец благословил
Игната в путь и вдруг равнодушен
К Игнату оказался, стал он мил
Родительскому сердцу; видно, тупость,
И часто неразлучная с ней скупость,
Когда их вдруг неожиданно поразят,
Дают-таки изрядный суррогат
Той теплоты, что скрыта в нас. И сына
Червонцами и образом святым
Снабжая, скудоумный старичина
Чуть не рыдал, когда прощался с ним.

39

Игнат, не ждавший этой благодати,

Был также чем-то смутно поражен;
Зато Алеша, кстати и некстати
Готовый деньгам задавать трезвон,
Пошел к приятелям; три сотни занял
И за Петровским парком дачу нанял;
Будь он богат, прощальный этот пир
Он задал бы на весь крещеный мир.
Чтоб на своем поставить, всем рискуя
Он был готов до ямы снизойти,
И говорил: — Игнаша! не могу я,
Не выпивши, сказать тебе: "прости!"

ГЛАВА 6

1
Для юношей-художников все мило -
И розы, и крапива: все они
Влюбляются; но сердцу их постыло
Однообразье, и хотя их дни
Случайными удачами богаты,
Они на вид унылы, простоваты,
То ненавидят всех, тр любят всех,
То с грустью смотрят на чужой успех,
То восторгаются. Есть исключенья, -
Но мой Игнат отчасти был таков:
В иные дни страдал он от сомненья,
В иные слепо верить был готов.

2

Порой не выносил он блеска, шума,
Порой балы в собраниях посещал;
Но и тогда томительная дума
Его не покидала: он блуждал
Рассеянно, на ветреные речи
Не отвечал, казалось, новой встречи
Искал глазами; но чего хотел?
Чего искал? сказать бы не сумел, -
Быть может, взгляда, полного вниманья,
Быть может, лучезарной красоты,
Достойной пламенного обожанья,
Быть может, воплощения мечты,

3

Мечты, и самому ему неясной.
Никем любим он не был, несмотря
На то, что юности его опасной
Для сердца женщин, жаркая заря
Сияла пробуждающим рассветом.
В Москве никто ни лаской, ни приветом
Его немой тоски не разогнал.
Недаром он мечтой перелетал
На дальний юг, за снежные вершины:
"Там, — думал он, — монументальный Рим
И лавры, и фонтаны, и руины,

И — бредил он, — там буду я любим...

4

"Там кисть Брюллова молнии с вулкана
Похитила, там Гоголь создавал
Нам типы мертвецов, там Иоанна
Крестителя Иванов созерцал...

Там, — думал он, — источник вдохнове-
нья...

Туда, туда! Создатель, дай терпенья!
Не выношу я жизни мелочной,
Холодной, грязной, вялой и тупой".
И вот уже отъезд его назначен,
И вот уж брат зовет его кутить.
Игнат мой рад, взволнован, озадачен,
На все готов, всем хочет угодить.

5

Кутить в Москве неловко показалось,
По случаю великопостных дней,
И за город по их следам, помчалось
Семь троек, семь ямских больших саней.
Минуя Триумфальные ворота,
Летит стремглав веселая забота,
И ночь, и вихрь навстречу ей летят,
На хомутах бубенчики звенят,
Разбрасывая снег, стучат подковы,

Под шапками торчат воротники,
И слышен смех и говор: "Что вы! что вы
Шалите!" — и в ногах лежат кульки.

6
Ночь белая на них сквозь сон глядела,
При лунном свете падала метель,
И у Игната (видно, кровь кипела)
Распахивалась теплая шинель.
Вот дача: в зале музыка играет,
Нетопленая зала помогает
Гостям резвее быть, вину пьяней.
Всех впереди шумит Алеша: Гей!
И множество свечей (местами солевых)
По ломберным столам кругом зажглось,
И, внемля завыванью скрипок бальных,
Слетели с дам салопы: началось!

7
Тут были две цыганки, две сестрицы,
И Даша, первой молодости цвет,
И Палагея, прямо из больницы
Махнувшая к Алеше на банкет;
Тут доктор медицины был, с гитарой
На алой ленте; тут, гуляя с парой
Румяных граций, толстый казначей
Забыл, что он трех взрослых дочерей

Плешивый папенька; тут полицейский
Какой-то шляпку женскую надел;
Студент орал: "Быть иль не быть!" армей-
ский

Корнет играл Офелию и пел...

8

Все было глупо, шумно и беспечно;
Игнат был в этом мире новичок;
Он, может быть, и тронут был сердечно,
Но предпочел забраться в уголок;
То улыбался он, то брови хмурил,
Какой-то балагур с ним балагурил,
Какой-то литератор под хмельком
Ему шептал с таинственным лицом:
"Ты гений, гений! Верь ты мне, все шансы
На стороне успеха — будем пить..."

Распущенность! в тебе есть диссонансы,
И музыкой их вряд ли заглушить,

9

И трезвая душа их чутко слышит,
И хочется заплакать ей, когда
Хрипливый смех в лицо ей спиртом ды-
шит

Или разврат, под маскою стыда.
Старается в любви ее уверить.

Как юноша, не мог он лицемерить.
Чтоб позабыться, лишнее он пил
И все-таки был, видимо, уныл.
Уже пред ним за бешеным канканом
Последовал трепак — гудел, дрожал
Паркетный пол. В азарте полупьяном
Иной плясал, иной рукоплескал.

10

Но в это время в залу проскользнула
Неведомая гостья; на нее
Одна лишь Даша искоса взглянула,
И мысленно спросила: "Это чье
Сокровище явилось?"... Гостья, вея
Ночною влагой, как ночная фея.
Попавшая к сатирам на банкет.
Дрожала, и не мудрено: паркет
Гудел, трещал, Алеша мчался, топал,
И развевались волосы его,
И страшный шум был, каждый выл и хлопал,
Лишь брат молчал, любуясь на него.

11

А гостья шла, и зимней ночи холод
Лежал румянцем на ее лице;
Румянец этот был, как утро, молод

И свеж, как роза в свадебном венце;
Прильнувшие к ее кудрям снежинки
Растаяли в алмазы; до косынки,
До самых плеч ее, со всех сторон
Спадали кудри, русые, как лен;
Ее глаза не изменяли цвета, -
И при свечах ясна была лазурь,
Лазурь, напоминающая лето
В дни жаркие без пыли и без бурь.

12

В лиловом платье, с лентой над пробором,
В надорванных перчатках, шла она,
Скользя по лицам беспокойным взором,
И постепенно делалась бледна.
Ее никто не знал; но что за дело
До незнакомых граций там, где смело,
Без всяких рассуждений, всякий мог
Девицу пригласить на вечерок?
В ее чуть подвижных и тонких бровках
Чуть-чуть сквозила... (как бы это вам
Сказать?..) та смелость, что в иных плутов-

ках

Так нравится печальным острякам.

13

В ней было артистическое что-то,

Какою-то умильной простотой
Прикрытое кокетство иль забота
Владеть другими так же, как собой.
Она была или актриса, или
Одна из тех, которых вы любили
С бессовестной надеждой на успех,
Толкали в грязь, и золотили грех
Наследственный наследственным карма-
НОМ.

Что привело ее на сей банкет?
Боязнь найти измену в друге пьяном,
Иль жажда веселиться в двадцать лет?

14

Игнат не мог не обратить вниманья
На эту гостью. Никого она
Не поражала; но очарованья
Невыразимого была полна.
Она его пронзила томным взглядом,
Прошла, сняла перчатку, села рядом,
С усиьем не глядела на него,
Задумалась, — бог знает отчего, -
С Алешей, кажется, переглянулась;
Тот молча отошел, шепнул двум-трем:
Студент вздохнул, цыганка улыбнулась,
И гости их оставили вдвоем.

15

Кто с кем заговорил, уж я не знаю.
Кокетливый, но скромный разговор
На прозу я легко перелагаю;
Но как поймать в размер невинный вздор!
Их разговор, однако же, по счастью,
Стал понемногу проникаться страстью.
К его плечу припавши головой,
Как голубок к стене ему родной,
Она его о чем-то умоляла.
Он долго, долго отвечать не мог;
Но все больней, в чаду и в шуме зала,
Звучал ее певучий голосок.

16

— "Глазам не верю: господи! ужели
Все это бред и больше ничего!.." —
И слушал он, ему над ухом пели:
"А помнишь, помнишь, мимо моего
Окна ты шел и я тебе кивала!"
— "Окна! какого?" — "Помнишь, я гуляла
С тобой по маскараду и любить
Клялась..." — "Когда?" — хотел ее спросить
Игнатий; но уж ум его терялся,
И замер на устах его вопрос:
Позвали к ужину, — он отказался,

И брат ему шампанское принес.

17

Шампанское! ты страсти убиваешь
У гастронома, да у старика,
Но в юности ты пламя раздуваешь,
И делаешь пожар из огонька.
Игнат мой пьет и чокается с нею.
И ей клянется, и зовет своею
Возлюбленной, душой души своей,
И плачет, и целует руки ей,
Благодарит ее, — весь пыл и трепет, -
За что?! за то, что в жизни в первый раз
Его души коснулся страсти лепет.

Заря любви ужели занялась,

18

И занялась пред самою разлукой?!
Все, все, о чем безумно он мечтал,
Ужель окончится безумной мукой?
Уж гаснут свечи, бледен дымный зал,
Зари играют золотые струйки
По отпотевшим стеклам; шубы, чуйки,
Салопы разбираются гостями...
Чу! Тройки скачут. "Где же, черт возьми,
Мои калоши?" — слышен голос сонный.
— "Прощай, Игнат!" — И стоя на крыльце,

Как призрак бледный, как дитя влюблен-
ный

Он утирает слезы на лице.

19

Стоит с открытой грудью... "Улетела!

И я — не полетел за ней вослед!

Влюблен, люблю, — и никому нет дела!

Любим, — и никакой надежды нет!

Разлуки ночь — в ночь первого свиданья!

За что, за что такое наказанье!"

Алеша мог утешить бы его,

Но сам глядел на брата своего,

Как сильно пьяный, мутными глазами,

И будь он трезв — кто знает? может быть,

Успел бы он двумя-тремя словами

Все рассказать и бездну обнажить...

20

Уж по снегам, следам ночной метели,

Давно струилась розовая мгла,

Вдали кресты церквей, как пламя, рдели,

И разносили звон колокола.

Они поехали... домой, конечно;

Веселие, как ночь, недолговечно,

Пора им выветрить хмельной угар,

Их дома ждет прислуга, самовар

И чемоданы. Но никто не знает
Своей судьбы, встречая новый день,
И, если счастье впереди сияет,
Несчастье следом гонится, как тень.

21

Навстречу нашим братьям, просыпаясь,
Встает Москва. Их пошевни летят,
Летят, то упираясь, то качаясь:

"Валяй!" — кричит спросонья старший
брат.

Игнатий свеж, но нравственно измучен
Его картуз сердито нахлобучен.

Вот брата обнял он одной рукой
И мысленно прощается с Москвой:

Вот он глядит вдоль серого забора
И видит угол дома своего, -

Но из Москвы он вырвется не скоро,
И дилижанс укатит без него...

22

Вот (помнил он), визжа, хвостом виляет
Барбоска; няня старая седой

Головушкой с любовью припадает
К его плечу: "Эх, ты, кормилец мой.

Всю ночь ждала... Беспутная башка-то.
Как нализался!.. Господи! когда-то

Увижусь я с тобой, дитя мое!
Забудешь, чай! А я твоё бельё
И платьё уложила — всё сдаётся:
И не увидимся — ох-хо, хо-хо!"
Но из Москвы не скоро он урвется,
И дилижанс укатит без него...

ГЛАВА 7

1

Игнат Москву конечно бы покинул -
И, так сказать, уж парус поднят был -
Как вдруг его ладью шквал на мель кинул
И темною волною окатил.

Игнат уже к отъезду уложился,
Рассеянно на образ помолился,
В последний раз облобызал отца,
Уж ждал его извозчик у крыльца,
Алеша провожать его собирался,
И освежал водой свой сонный лик.
Как вдруг, в передней, сабли стук раздался,
И замелькал жандармский воротник.

2

И свой арест Игнат мой помнит живо;
Но за него я должен вам сказать,
Что в оны дни никто б не счел за диво,
Что вздумали его арестовать.

То было время, — время роковое;
За старый строй, за право крепостное
Дрожа, одни представили себе,
Что на Козихе, или на Трубе,
Того гляди, затеют баррикады;
Других смутил осиротевший трон
Луи-Филиппа. Слухи и тирады
Газетные встревожили наш сон.

3

Париж кипел, народы волновались,
Одни лишь мы, вне всяких бурь и гроз,
И мыслями и чувствами сливались
Как бы в один бестрепетный колосс.
Святая Русь ни бури той, ни воя,
Не слушала, спиной к Европе стоя.
(Не все читал в газетах высший свет,
Народ же вовсе не читал газет.)

И вдохновясь бестрепетным колоссом,
Не ради рифм, не ради звучных строф,
Тогда поэт сравнил его с утесом
На рубеже бушующих валов {*}.

{* Но огненный змей преломил свое жало,
И весь невредимый грохочет утес.

Бенедиктов.

(Прим авт.)}

4

Поэта бред был многими проверен
С тем, что другие видят наяву,
Утес, как мощный образ, так был верен
Что умилял и радовал Москву.

(В одном лишь клубе кто-то очень тихо
Заметил: "Рад, что вздули Меттерниха".
Но и такой анти-австрийский дух
В те дни не смел бы радоваться вслух.)
И все-таки нашлись и повлияли
На все дела такие мудрецы,
Что наш колосс от комаров спасали
(То были все отечества отцы).

5

Был глупый случай (кой-кому желанный).
В одной кофейной кто-то кофе пил,
И на полях газеты иностранной
Карандашом три слова начертил
Весьма непозволительного свойства:
В порыве легковерного геройства
Он пожелал, безумец, чтоб Москва
Вдруг сделалась Парижем!! Какова
История! В Париже воем воеет
Не шквал, а ураган; разбит компас,
Оторван руль; а он гримасу строит,

И что же пишет? "Жаль, что не у нас".

6

И этот кто-то, — какова отвага!
Как и другие, вышел из дверей;
Но так как беспардонная бумага
Выносит все, что ни пиши на ней,
Не он попался, а она попалась -
И — караул! начальство заметалось -
Пошло писать! — погром и суета! -
Курьеры скачут! Мигом заперта
Кофейня. (Ставни, болты и печати...)
И сам кондитер — где тут рассуждать! -
Ужасно струсил; рад, как благодати,
Что подали надежду взятку взять.

7

Искали долго — и не нашли писаки;
Но тот, кто в это утро кофе пил
В кондитерской, записан в забияки,
И даже тот подозреваем был,
Кто карандаш с собой носил в кармане;
Какого-то враля поймали в бане.
Москва разахалась, — и наш Игнат
Попал не в дилижанс, а в каземат.
В то утро, как свершилось преступленье,
Он — донесли — кофейню посещал,

Купил себе какого-то варенья

И уходя кондитеру сказал:

8

"Я еду в Рим, у вас родных там нет ли?

Я отвезу, пожалуй, коробок".

Из этих слов сплели такие петли,

Что отлетающий попал в силок.

Его в кофейной знали как артиста

И не могли принять за афериста,

И, стало быть, смекнули, что при нем

Был карандаш с готовым острием.

Кого ж и взять?

Игнатий растерялся,

Клялся, божился, честью уверял,

Ну, словом, как преступник запирался,

Но тайный суд его не выпускал.

9

Пока Алеша по Москве метался,

Расспрашивал, куда девался брат,

Да в разных канцеляриях справлялся,

Да кланялся властям — увы! Игнат,

Не уличенный, но приговоренный,

Лишь мог в окно глядеть на двор казен-
ный,

На стойло для курьерских лошадей,

На караульню да на голубей,
Слетавших с кровли на помост досчатый...
Мог от порога до стола шагать,
Мог, наконец, к подушке на примятый
Матрац прилечь да с горя задремать.

10

Вот все, что мог на первый раз Игнатий!
Судьбу свою он проклинал иль нет, -
Не знаю, — не слышал его проклятий;
Но не без ужаса на божий свет
Взглянул Игнат. Москву возненавидел,
Был раздражен, суду конца не видел,
Просил пера, чернил, хотел писать...
Боялся свой рассудок потерять...
Подняв окно, протягивал он руки
На вольный воздух, и не раз сжимал
Холодную решетку, словно муки
Своей души железу поверял.

11

Он испытал допросы, рук сличенья,
И ласки те, в которых слышен был
Намек и на возможность снисхожденья,
И на возможность петли. Он забыл
Все это. Так, мы часто забываем
Наш кошмар, когда встаем и знаем,

Что незачем трудиться объяснять,
Как это мы не в силах были встать,
Придавленные призраком к постели:
Но помнил он, как пламенно ждала
Его душа свободы, как летели
Часы и дни, как наконец пришла
12

Ночь светлого Христова воскресенья.
В Кремле Иван Великий загудел.
Игнат не спал — смирял свои сомненья,
Молился; но все тот же мрак глядел
Из-за решеток в мутные окошки;
Казенный двор не озаряли плошки;
Но мрак гудел, лился полночный звон
Торжественно, и лежа слушал он,
Как колебались эти волны гула.
И в то же время слушал, как прошли
Солдатики на смену караула -
То были звуки неба и земли...
13

Он долго плакал... Вдруг "Христос воскресе
Из мертвых, смертью смерть попра" запел,
Привстав с постели, — точно в темном ле-
се
Раздался голос. Или он хотел

Своим безумным громогласным пенъем
К своей неволе отнестись с презреньем?
Иль голосом своим хотел тюрьму
Наполнить, чтоб откликнулись ему?
И точно кто-то, приложась губами
К его дверям, проговорил в замок:
"Воистину! Поговоримте с вами...
Я на дежурстве, верно вы дьячок?.."

14

Не понял узник шутки офицера,
Стал горячо его благодарить,
Сказал ему, кто он, где их квартера,
Просил его Алешу навестить,
Все сообщил ему, что нужно было,
И сердце в нем еще тревогу било,
А на душе уж сделалось светлей.
Фантазия, друг страждущих людей,
Плыла к нему незванная, ласкает,
И чудится ему: он улизнул...
Бежит, взбежал, _она_ его встречает...
Христос воскрес!.. и с этим он заснул.

15

Прошла святая, наступило лето,
И стал он чувствовать, что за окном
Железная решетка разогрета

Уже не им, а солнечным лучом.
А дело шло, неслышно разъяснялось,
И узнику, должно быть, улыбалось...
Ему позволили читать, писать
И от родных посылки получать.
Записки от Алеши присылались
Не иначе, как в нитяных носках,
Они его сердечных тайн касались,
И он читал их не при сторожах.

16

Впервые был он откровенен с братом,
И "кто _она_?" в письме его спросил.
Увы! Злой рок смеялся над Игнатом,
Мечтателя он в нем не пощадил.
Брат отвечал ему и, между прочим,
Вот что писал:
"Мы о тебе хлопочем,
Отец угрюм, я трачусь — толку нет;
Но ты желаешь знать, кто твой _предмет_?
И от меня всего скорей узнаешь...
Затеявши пикник, чтоб покутить,
Смекнул я, что ты в карты не играешь,
Бракуешь граций и не мастер пить.

17

Итак, чтоб не заснул ты на прощанье,

Я для тебя Раису пригласил, -
Погибшее, но милое созданье,
Которое когда-то я любил.
В своем кругу она аристократка,
Цветочки любит, и не без задатка
Быть некогда принцессой; ибо в ней
Сидит бесенок и толкует ей
С утра до вечера, как нарядиться:
Роскошно или бедно, что сказать,
С кем пококетничать, в кого влюбиться,
Чем кончить день, зевать иль не зевать?

18

Я пригласил, Раиса не сказала
Ни "да", ни "нет", и вот, любезный брат,
Чтоб все мое старанье не пропало,
Я вздумал с ней побиться об заклад.
И знаешь ли, о чем я с ней побился?
Что ты в нее никак бы не влюбился,
И что изящный вкус твой так развит,
Что надо быть богинею на вид,
Чтоб сразу заслужить твое вниманье.
Брани меня, голубчик, виноват,
Я подзадорил милое созданье.
— "Приеду, — говорит, — а в чем заклад?.."

19

"Фунт шоколаду". — "Хорошо, приеду!"
"И, черт возьми! чего не ожидал:
В метель примчалась одержать победу!..
И я фунт шоколаду проиграл.
Правдивая душа! Я понимаю.
Что я тебя немножко огорчаю,
Но ты меня, душа, не огорчай,
Люби ее, да только не страдай.
Она теперь с откупщиком в союзе,
Наивная и скромная на вид,
Я видел сам, в широкой ходит блузе,
И за двоих имеет аппетит.

20

Не спору, брат, изящная Раиса
Прелестна, как сто двадцать пять чертей!
Теперь она на даче. Из Тифлиса
Чудак один волочится за ней, -
Тот самый, что мороженую кошку
Одной сильфиде, приподнявшей ножку,
На сцену бросил; я б расцеловал
Его за это одолженье..."

Так писал

Алеша к брату. Мой Игнат смеялся,
Но горьким смехом, и когда в ответ
Писал к Алеше, сильно выражался,

Как ложью возмущаемый поэт.

21

В те дни одна поэзия спасала
От пустоты и пошлости, — она
Одна кой-что внушала, врачевала,
Хоть и сама подчас была больна.
Ее болезненные вдохновенья
Пророчили нам дни выздоровленья,
И каждый сразу понимать привык
Ее метафорический язык.
Никто не разумел под словом "лира"
Какой-то инструмент, а просто строй,
Известный строй души. Еще сатира
Не думала глумиться над душой...

22

Теперь рассудка мелочной анализ
Мы применили к языку страстей.
Мы поняли, что глупо выражались.
Погасни, сердце! Лирою моей
Не дорожу. Коли не нужно, к черту!
Но узник мой, принадлежавший к сорту
Художников, был юн и одарен
Живым воображеньем; вот как он
Писал к Алеше:
"Брат, отбрось сомненье!

Любовь моя мертва, погребена,
Отпета... но, как злое привиденье,
Преследует в минуты полусна...

23

Искал я вверх идущие ступени,
Грядущий образ истины, и что ж?!
Средь праздной роскоши, тоски и лени,
Тот образ ангелоподобный — ложь!
Ты тешишься, а я изныл от боли,
Не хлопочи, я рад моей неволе...
К чему свобода!.."

Так писал Игнат.

И это сущий вздор, чтоб он был рад
Неволе; но душевное расстройство

И в прозе выражается темно:

Что делать! у страстей такое свойство,
Таков язык, — и это ли смешно?

24

Смеялся ль я, когда встречал в журнальной
Полемике горячие места?

Смешон ли ты, поэта враг реальный,

Наш публицист, когда твои уста,

В пылу себялюбивых вдохновений

Полны чудесных олицетворений,

Когда "_лукошки_", "_мошки_" и "_стрижи_"

Так и мелькают? Тут холодной лжи
Нет ни на каплю, мелочное чувство
Так горячо, что _образно звучит_:
Ликуй, лиризм! журнальное искусство
Язвить врага с тобой вошло в зенит.

25

Прошел июнь, июль. Игнат обжился
В своих стенах, освоился, притих,
Кой с кем из полицейских подружился
И доставал при этом кучу книг:
Прочел Ламне, Капфига, Луи-Блана,
Фурье, Токвиля, Сю два-три романа,
Да запрещенных несколько брошюр, -
Соль политических карикатур
Стал ощущать: события в Париже
Впервые уяснились перед ним,
В своей тюрьме он стал к Европе ближе,
Чем дома; но мы это поясним.

26

К Игнату был приставлен полицейский,
По части наблюдений; хоть и брал
Он взятки, но такой уж такт житейский
Был у него, что многим угождал.
По чуткости и сметливости гений,
Из разных под рукою послаблений

Он мигом догадался, что Игнат
Окажется совсем не виноват,
И заключил, что надо приласкаться;
"Э! — думал, — мастер виды малевать...
Из дружбы даром должен постараться
С моей жены портретик написать".

27

Он разные любовные интрижки
Рассказывал Игнату, чай с ним пил,
И от своей жены в карманах книжки
Французские тихонько проносил
(То были все отобранные где-то
И у кого-то). Миновало лето,
Настала осень, и в один сырой,
Холодный день мой узник и герой
Почувствовал, что весь он на свободе,
С руками и ногами, — и,
Счастливейшее существо в природе,
Бежал, не слыша под собой земли.

28

Нашелся ли наивный сочинитель
Трех глупых слов, и праведный закон
Достиг ли цели, яко охранитель, -
Не знаю, но Игнатий был прощен.
Какие думы или впечатленья

Он вынес в голове из заточенья
(С весны до сентября), или каких
Идей понабрался из разных книг? -
Не знаю, но домой он воротился
Уже не тот... не вешал головы,
Когда старик отец его сердился
И говорил: "Попался! из Москвы
29

Не выпущу". — "Уеду!" — возражал он,
Спешил работать, в моду стал входить,
Уже Москва-старушка — замечал он -
Ему, как внучку, стала ворожить:
Таинственно соседка улыбалась,
Девицы встреч искали, собиралась
Атаковать его со всех сторон
Любовь эманципированных жен,
И недруги, и други руку жали,
Как будто он их чем-то одолжил:
"Сидел, несчастный!" — всюду повторяли,
"Чуть-чуть было в Сибирь не угодил!"
30

О, публика! как часто ты любила,
Прислушиваясь к музыке оков,
Творить героев; ты производила
Не раз в герои даже пошляков,

По глупости добившихся скандала!
Как истинных в тебе героев мало!
Игнат скандала вовсе не желал,
Нечаянно в герои он попал,
Не оттого ль, что горя иль страданья
Случайного фальшивый ореол
Невольно будит в нас воспоминанья
О каждом, кто на смерть за правду шел?

31

Так иногда напоминают стразы
Блеск настоящих бриллиантов. Так,
В отсутствии идей, иные фразы,
Которых искры наполняют мрак,
Обманывают нас и увлекают
Не тем ли, что иным напоминают
Могучий свет действительных идей,
Когда-то разбудивших нас? "Скорей,
Скорей на Запад!" — полный увлеченья
Наивного, твердил Игнат: "туда!
Dahin, dahin!.." стремился он — стремле-
нье,

Понятное в те юные года!

ГЛАВА 8

1

Чтоб не вводить в соблазн свой околотов

И чтоб врагом порядка не прослыть,
Игнат стал брить усы и подбородок
(Квартальный посоветовал их брить).
Подозревая тайную опеку,
Он вел себя, как надо человеку
Себя вести, когда за ним следят;
Быть может, ошибался мой Игнат,
Но это положило отпечаток
На все его поступки... Никогда
До этого он не носил перчаток -
Теперь без них почти что никуда.

2

"Артист Илюшин! это что за птица?"
Подумала одна графиня Z (зет),
Известная в московском свете львица,
И заказала юноше портрет.

"А-а! какая кисть! какая сила!"
Пришла в восторг и смело посулила
Игнату к ноябрю добыть паспорт.
Она была влиятельна, как черт,
Добра, как ангел; но не полагался
На милые слова ее Игнат,
И, как разочарованный, казался
В ее глазах немножко простоват.

3

Графиня Z Игнату в высшем свете
Хотела случай выискать; а он
В гостиной нем был, скучен в кабинете,
И явно не для света был рожден;
Он знал, что принят в качестве артиста,
Который чертит бойко, пишет чисто,
Что если сунуть под руку ему
Альбом, он не уступит никому,
Усядется в сторонке, злой, серьезный,
И выйдет у него из-под руки
Какой-нибудь рисунок грациозный:
"Головка нимфы", "бережок реки",

4

И прочее. Графиня Z желала,
Чтоб он кончал как можно поскорей
С нее портрет. Она воображала,
Что юноша равнодушен к ней,
Что несомненно в нем таится страстность
И, стало быть, предвидится опасность.
А между тем — открою вам секрет -
Графине было с лишком тридцать лет,
Что не мешало ей, хоть для портрета,
Хоть в сумерки, казаться молодой,
И грудь у ней дышала зноем лета.
На всем лежал тончайший пудры слой.

5

Глаза горели, или так казалось,
Когда в лицо ей падал полусвет.
Игнат писал, графиня рисовалась -
И выходил прелестнейший портрет!
Но с полотна какой-то бледной Нормы
Сияли строго-девственные формы.
Игнат краснел, как ни была мила
Графиня, — кисть отчаянно лгала...
Он знал ее по слухам, был послушен
Ее причудам, как усердный паж,
Но втайне был глубоко равнодушен,
И в голову не приходила блажь...

6

Вот, помнит он, отец его в халате
Глядит в окно и крестится, звонят
К вечерне, он, о загулявшем брате
Горюя, зябнет... в коридоре спят
Старуха-няня, на старухе кошка;
В гостиной мачеха, — она немножко
Посоловела и порасползлась, -
Гадает в карты. На подносе квас...
И пахнет мятой. Мерно в ту же ноту
Постукивает маятник, на всем
Лежит покой, на все свою дремоту

Кладет тоска, и тих семейный дом.

7

Но, чу!., звонок!., вот и покой нарушен...

— Кто там? — "Курьер с пакетом". — "Что за вздор!

Какой курьер?!" — кричит старик Илюшин.

Игнат встревожен (с некоторых пор Все, все его волнует). — Вы откуда? -

"С пакетом от графини". — Что за чудо!..

Неужели мой паспорт?! Боже мой!

Сейчас! сейчас! — Кто это за тобой?.. -

Ворчит отец, но сын его не слышит,

Он прочесть спешит наедине

Заветное письмо. Графиня пишет:

"Надеюсь, вы заедете ко мне..."

8

Так наши дамы часто сами любят

Тех, за кого хлопочут, иль того,

Кого они по всем приметам губят,

Наверное не зная ничего.

Графиня Z в Игнате не нуждалась,

Но у нее конечно б сердце сжалось,

Когда б Игнат, хоть он и не был князь

Иль знатный фронт, уехал не простясь.

Ей было б очень грустно усомниться
В его любви, и потому Игнат
Был должен непременно с ней проститься,
Чему он был, конечно, очень рад.

9

"Несчастный!" думала аристократка:
"Забудь меня!" и, не платя долгов
По разным векселям, как меценатка,
За несколько альбомных пустяков
Да за портрет с Игнатом расплатилась
Чуть не по-царски. Настежь отворилась
Дверь за границу, крылья отросли,
Кругом туман, сияние вдали.
При деньгах как-то легче верить в славу,
Чем верить в бескорыстную любовь.
— Прощай, Москва! — "А по какому праву?"

Спросил отец, приподнимая бровь.

10

И в спальню он ушел, где к половице
Привинчен был железный сундучок,
Сел на кровать, и на его реснице
Слеза повисла. Удружил сынок!..
Зашиб себе копейку, знать не хочет,
Что о его куске отец хлопочет,

И даже не стыдится ремесла!
Хорош сынок!., и грусть его взяла...
А мачеха Игнату на дорогу
Купила валенки, достала погребок,
Стаканы, ложки... "Так угодно богу", -
Решил старик и отпер сундучок.

11

Алеша незаметно пристрастился
К Игнату, он не мог не унывать,
На старый долг свой брату молча злился,
И пьяный возвращался ночевать.
Не много дней Игнату оставалось
Прожить в Москве, и эта жизнь слагалась
Так хорошо, так искренно тепло,
Что даже он подумал: в чем же зло?
Казалось, все добра ему желали,
Казалось, все заботились о нем,
Любили, верили ему, ласкали,
И с грустью озирался он кругом.

12

Товарищи по школе учинили
Подписку и затеяли обед,
И на обед прощальный пригласили
Поборников искусства прошлых лет.
Все пили за здоровье Игната,

Все целовали и его, и брата,
И Рамазанов весело острил,
И Щепкин анекдоты говорил,
Ну, словом, пообедали отлично.
Когда ж Игнат сошел на тротуар,
Двоились фонари, и фантастично
На всю Москву ночной ложился пар.

13

У Иверской, как бы в дыму, лампы
Мерцали, тени двигались; колес
Неровный гул катился; у ограды
Шарманка пела; у фонтана пес
Сидел и выл, и свет белесоватый,
От башни к башне, по стене зубчатой
Скользил, и теплились в лучах луны
Шпили и кровли, около стены
Деревья, вея осенью, шептались,
И чудилось Игнату, что они,
Оборванные ветром, с ним прощались
На долгие, неведомые дни!..

14

Не помнит он, как в сад они попали,
Но с ними случай был — один из тех,
Какие часто в жизни мы встречали
И так же часто превращали в смех.

В саду, близ грота, увидали братья,
Сидела дама в летнем белом платье
И дрогнула, закутавшись в платок.
Алеша разглядеть ее не мог,
И все-таки спросил: — Кого вы ждете?
"Муж запил, дом мой пуст, я голодна
И продаю себя, вы что даете?"
Алеша свистнул. "Как она бледна!

15

И как дрожит! поверь, тут нет обмана", -
Сказал Игнат. Он молча отдал ей
Все деньги, что нашел на дне кармана,
И вспыхнув сам от щедрости своей,
Сошел в аллею. Бедная смутилась,
Но вдруг потом за ним бежать пустилась
И за руку схватила: "Ангел мой!
Возьми меня, я куплена тобой!
Ты моего ребенка спас"... Уныло
При свете месяца она в лицо
Ему глядела и его молила
На память взять... ну, хоть ее кольцо!

16

И обручальное кольцо мелькнуло
На пальце у Игната в миг, когда
Она исчезла, точно утонула

В тени от облака, и никогда
Игнат мой не был так смешно взволнован.
"Ну, вот, — сказал он, — я теперь прикован
К родной Москве, не домом, не отцом,
Не братом, не друзьями, а кольцом
Несчастной женщины", — и он поклялся,
Когда богат он будет, с нищетой
Не разрывать союза. Брат смеялся
Над ней, над ним и над его мечтой.

17

И помнит он, куранты заиграли,
Пронесся звон, и раз, и два, и три...
Тот самый звон, которому внимали
И схимники, и грозные цари.
Он вздрогнул от неведомого чувства,
И никакое тонкое искусство
Не передаст вам страшной тонины,
Той девственной, сердечной той струны,
Которой не затрагивают страсти.
В последний раз услыша этот звон,
Игнат подумал: знать, не в нашей власти
Ни тайное предчувствие, ни сон.

18

Луна была уж в облаке, как в дыме,
И звездный пар кружился над землей.

— Послушай, брат Алеша, если в Риме
Иль на дороге что-нибудь со мной
Случится, ты из моего наследства
Во имя дружбы, нас связавшей с детства,
Хоть часть отдай на школу... да найди
Скульптора Ванина и огради
От нищеты, чтоб с горя он не запил...
"Молчи! — сказал Алеша, — бог с тобой!.."
И обнял брата (иначе, облапил),
И так они в ту ночь пошли домой.

19

Еще, еще одно воспоминанье:
Уж он совсем собрался в путь, как вдруг
Какой-то франт принес ему посланье, -
От ветреной Раисы: "Милый друг! -
Писала эта девушка к Игнату, -
Я вас хочу просить, не верьте брату.
Я вовсе не хотела вас надуть.
Назначьте мне свиданье где-нибудь".
Пленительной Раисы образ снова
В его воображеньи промелькнул,
Но "уже поздно!" молвил он сурово
И чемодан ремнями затянул.

20

Вот сели все, вот начали прощаться.

Отец — honni soit qui mal у pense {*} -
{* Позор тому, кто плохо об этом думает
(фр.).}

Отец рыдал, а сын спешил убраться,
Он прозевать боялся дилижанс.

Алеша позавидовал Игнату
И всю свою любовь, всю нежность к брату
Он в это утро в горечь превратил.
Он брата до Мясницкой проводил
И только раз, сквозь слезы, улыбнулся.
Вот дилижанс трубит — садись, Игнат!
Четверка тронулась, он оглянулся,
Ему хотелось броситься назад...

21

Алеша погнался, но вот застава,
Вот поле, вот в последний раз махнул
Игнат дорожным картузом. "А право,
Чего-то жаль! — подумал и вздохнул, -
Да, именно чего-то", — не домашних,
Не стен, не друга, не своих всегдашних
Привычек, дум и даже не ее;
Но что-то жаль, и в этом что-то все.
И много дней потом прошло, и много
Он думал про себя, про брата, про отца,
И скоро ли граница; но дорога

Шоссейная казалась без конца...

22, 23

Хоть он глядел привычными глазами
На бедную, безграмотную Русь,
Но за его дорожными мечтами
И думами следить я не берусь;
Он выехал в такое время года,
Такая хмурая была погода,
Что наводила сон или хандру.
Туманы расстилались поутру,
Потом всплывали тучи, моросило,
Потом морозило, потом заря
В прогалины густых лесов сквозила
И освещала слезы ноября.

24

Порою были светлые мгновенья,
Как для природы, так и для него,
И эти блески, эти впечатленья,
Еще мелькают в памяти его.
Он видел Киев — колыбель той веры,
Которая, воздвигнув Кремль, прошла
На отдаленный север и спасла
Всю Русь от папы и от Магомета.
Украина посреди своих садов
Ему сквозь осень улыбнулась; где-то,

Он помнит, угощал он чумаков

25

Горилкой. Помнит, о казацкой доле

Он где-то слышал песню кобзаря.

И сам мечтал все о какой-то воле,

И думал — с запада встает заря

(Не знал он, что славянские пророки

Зарю встречать привыкли на востоке)...

И двигался на запад.

Киев град,

Волынь, Варшава, все ушло назад...

Уж по дороге русского не слышит

Он говора, уже ямщик — поляк,

Кондуктор — немец, ночь теплее дышит;

Но нет луны... земли не видно... мрак.

26

И помнит он, как в этом мраке стали

Усталые глаза его встречать

Какие-то огни... они играли,

Качались, поднимались и опять

Кувыркались. То телеграфы были {*}.

{* Электрических телеграфов в

России еще не было. (Прим. авт.)}

И ум его впотьмах они дразнили:

Условные огни во все концы

Переносили вести, все дворцы
Их ожидали с жадным нетерпеньем;
А он дремал, глядел, опять дремал.
Хотел понять их и воображеньем
Газетные известья дополнял.

27

Недель пять-шесть Игнат мой был в дороге
(Уж он теперь границу миновал),
Был постоянно в нравственной тревоге,
Но к умственной свободе привыкал.
В политике он был не дальнозорок,
Но понимал, что наступивший сорок
Девятый — бурями чреватый год,
Что Франция по-прежнему поет,
На зло бонапартистам, марсельесу,
Италия шумит, Берлин — и тот,
Раздвинув политическую прессу,
Не устает дрессировать народ.

28

В гостиницах, где жить ему случалось,
Кокетничали Zimmermadchen {*} с ним.
{* Горничные (нем.).}

Одна из них, Луиза, добивалась,
Чтоб он увез ее с собою в Рим,
Но, не желая в Рим везти Луизы,

Игнат ее довез до ближней мызы
И с ней простился: в Дрезден он спешил,
Где ждал его один славянофил.
Сикстинская Мадонна Рафаэля
Художника глубоко потрясла.
Так в Дрездене прошла одна неделя,
Другая в Праге, третья унесла

29

В Тироль, туда, где каменные горы,
Блестящие снега по высотам,
Титанами воздвигнутые хоры,
Где вопли бури вторят голосам
Ревущих водопадов, где порою
Такой эфирной веет тишиною,
Что слышны далеко звонки коров,
Пасущихся в соседстве облаков,
Где в январе нередко засыпает
Дороги снегом; там Игнат ходил
С проводниками, но куда? бог знает.
Он дневника не вел, а я забыл.

30

Одно скажу: лицом к лицу с природой
Он отдохнул от разных встреч. Тогда
Бранить Россию было общей модой.
(Пройдет ли эта мода, господа?)

"Вы, вы враги свободы и прогресса!
Вы варвары!" так голосила пресса,
И ей везде сочувствовал народ
За наш последний в Венгрию поход;
И Австрии мы тем не угодили...
И много раз несчастный наш Игнат
Чуть не вопил, когда его язвили:
"Да я-то, я-то чем тут виноват!.."

31, 32

Патриотизм его был без защиты,
Он, так сказать, был в сердце поражен.
Но снова зацвели его ланиты,
И телом и душой воскреснул он,
Когда в горах, один, в часы свободы,
Играл с детьми, или писал с природы.
Железных много строилось дорог,
Но не везде по ним летать он мог,
И только в марте перед ним открылась
Италии смеющаяся даль.

Италия! она уже рядилась

В весенние гирлянды, цвел миндаль,

33

Цвели оливы, персики, и розы
Благоухали, и, свои узлы
И нити перебрасывая, лозы

Вились по белым стенкам, и теплы
Те были ветры, что сады качали;
И ящерицы резвые взбегали
На камни, яркой зеленью своей
Почти не отличаясь от плющей.
Флоренция, иль нет, всего вернее
Венера Медицейская, слегка
Склоня свой стан, как бы стыдясь и млея,
Ждала его к себе издалека.

34

Божественно-кокетливое тело
Недаром жило сотни две веков,
И хоть оно заметно потемнело
От ревности аскетов, от следов
Бесчинства и царапин, все же было
Богини тело и не позабыло,
Какой пред ним курился фимиам,
Когда народы верили богам.
И что же! (говорю без всяких шуток)
Игнат сию богиню созерцал
Довольно равнодушно трое суток
И Форнарину ей предпочитал.

35

Но иначе взглянул через неделю.
Он в ней постиг всю грацию стыда

И стал смекать, что даже Рафаэлю
Могла б она присниться иногда.
Потом Игнат взялся за диалоги,
А как произносить слова и слоги
По-итальянски, спрашивал порой
Он у одной певицы молодой,
Свое гнездо покинувшей в Милане;
Погром австрийский разгонял певцов;
Так хищной птицы крик в ночном тумане
Из гнезд выпугивает соловьев.

36

И мирное туристов настроенье
Нарушилось. В крови дымясь, Милан
Напрасно вопиял: vendetta! мщенье!
Италия изнемогла от ран.
В одних соборах панихиды пели,
В других молебны, патеры скорбели:
Народ приказывал молиться им,
А папа запрещал молиться. Рим
Свои победы праздновал без боя.
А Карл-Альберт, Сардинии король,
Уже в надорванном венке героя
Доигрывал трагическую роль.

37

Игнат все лето мог бы оставаться

Над Арно, в обществе знакомых, но
Взяла бессонница, и в Рим пробраться
К началу мая было решено.

Как этот Рим, средневековый, папский,
Сойдет с пути, и как из жизни рабской
Народный, новый Рим начнет вставать, -
Не он один хотел бы наблюдать.

Так иногда, во время извержений
Везувия, к Неаполю спешит

Иной искатель сильных ощущений
И думает: чудесный будет вид!..

38

До сей поры Игнат грустил, влюблялся,
Дружился, потешал себя, хандрил,
Таил свои надежды, колебался;

До сей поры он личной жизнью жил,
Для счастья тихого, я в том уверен,
Ему судьбой был тесный круг отмерен,
Теперь куда! наивный мой герой
Спешит верхом за конною толпой!

Зачем вооружен, пуглив и мрачен?!

Игнат мой, очевидно невзначай,
Волною исторической захвачен...

Уж близок Рим! Аркадия, прощай!

ГЛАВА 9

1

Чтоб описать затеи карнавала,
Вдоль Корсо бег невзнузданных коней,
Иль женщин веющие покрывала
При зареве бесчисленных огней,
В ту ночь, когда народ снимает маски -
В ночь *senza tоссоlі* — я мог бы краски...
Занять у многих — наконец, я сам,
В дни юности моей тревожной, там,
В одну неделю сотни три букетов
По окнам и балконам разбросал,
И знаю, — для фантазии поэтов
Дает не мало римский карнавал.

2

Но описать Рим, словно чародейством
В республику преображенный, Рим -
И папою, и всем его лакейством
Покинутый, — Рим, — знаменем своим
Луи-Наполеона испугавший,
Рим, бедный, беззащитный и поднявший
Вдруг три перчатки, брошенных ему
Тремя державами — Рим, никому
Без боя прав своих не уступивший -
Где краски?! — И споет ли голос мой,
Давным-давно на севере охрипший -

Тот гимн — увы! для Рима роковой...

3

Тот гимн, что протекал под знаменами,
И заглушал гул тысячи шагов,
Звуча, как море, мерными волнами
Его поющих, страстных голосов, -
Гимн, льющийся из потрясенной груди
Взволнованной толпы, в которой люди -
Все братья, — все одной родной семьи
Проснувшиеся дети, — гимн любви
Торжественной и ненависти львиной
К тому, кто ходит в стадо похищать
Овец, как волк, прикрывшийся овчиной,
Иль в пастыря переодетый тать.

4

Не без труда Игнат мой в Рим пробрался:
Когда же он услышал в первый раз
Народ поющий — побледнел, — прижался
К чужим воротам — потекли из глаз
Невольные, неведомые слезы -
И никакие творческие грезы
Так отозваться не могли бы в нем,
Как это пенье — это божий гром
В устах народа. — Так, во храм Софии,
Когда в него язычника ввели, -

Он содрогнулся, в пеньи литургии
Почуявши спасителя земли.

5

Игнат мой в Риме вел себя как скромный,
Из темного угла, провинциал,
Нечаянно попавший в зал огромный
При ярком освещении на бал.
Он чувствовал неловкость положенья -
Не знал, что делать: вера, страх, сомненье,
Восторги — все перемешалось в нем.
Не мог он, забирая свой альбом
И уходя с квартиры утром рано,
Сказать, что жив воротится домой;
Везде он видел скрытого тирана,
Готового спросить: кто ты такой?

6

Австриец ты? поляк? — иль их подобье?
Зачем приехал и куда идешь?!

Уже не раз глазами исподлобья
За ним следила чернь — как острый нож,
Ему в глаза сверкали эти взгляды,
И одинокий, часто без отрады,
Входил он в храм Петра — и храм порой
Был так громадно пуст, глядел такой
Могилою величия — что, право,

Казалось, жизнь оцепенела там -
Орган молчал и тенью величавой
Скользила смерть по мраморным плитам.

7

На лестнице, ведущей в галерею,
Сидела стража — и была пуста
Истопанная лестница — над нею,
При входе, надпись шла: "proprieta
Delia republica" {*}. — Она спасала -
{* "Собственность республики" (ит.).}
Та надпись все, что только прикрывала;
Дворцы Боргезе, Дориа — (князей,
Из Рима убежавших) только в ней
Нашли свою защиту. — Чернь щадила
Их древнее богатство — лето шло
Без грабежей: толпой руководило
Презренье к роскоши — врагам на зло.

8

Рим беден был; но жизнь текла богато;
Игнат мой был приятно поражен
Всеобщей дешевизной — у Игната
Хозяином был гробовщик — и он
Платил ему за комнату, за солнце
И мастерскую, в месяц два червонца
(За ту же плату, он и сам не знал,

Кто без него квартиру убирал);
— "С тех пор, как Пий — отец наш, уезжая
Из Рима, всех нас к дьяволу послал,
Ни одного нет в Риме негодяя,
И все подешевело", — уверял

9

Хозяин дома; — целый день, бывало,
Он в лавочке, то скоблит, то сверлит; -
Но спешная работа не мешала
Ему порой принять веселый вид, -
Соседа подозвать, мигнувши глазом,
Похвастаться, что он почтен заказом
Гробовщика, приятнее всего -
Правительства, что это для него,
Уже с утра визжал его подпилок,
С утра стучал он молотом своим,
Так к вечеру не мало он носилок
Сколачивал и был неутомим.

10

Он в эти дни ни за какую цену,
Ни для какого в свете мертвеца,
Не стал бы делать гроба. — За измену
Великую почел бы...

Вот жильца

Увидел он, под зонтом, в серой блузе,

И кличет: "Гей! зайдите о французе
Потолковать. — Что стали говорить
Газеты?! — О! О! надо нам спешить
С носилками. А что сказал Маццини
С трибуны — вы читали? — Я читал...
Божественно!.. Э!.. никакой Рубини
Так не споешь!.. Я губы измарал

11

Печатными чернилами, целуя
Газету — всю ее исцеловал -
И знаете ли, что вам доложу я,
Синьор Иллючи! Я всю ночь не спал -
Все думал: для чего им нужно папство, -
Когда оно и нам не нужно! Рабство
Проклятое и больше ничего!"

А иногда Игната моего
Хозяин озадачивал: "Смотрите, -
Он говорил таинственно, — беда!
Уж лучше вы, синьор, не выходите,
Пока того... Все выезжают — да!

12

Не даром же все выезжают... Даже
Намедни англичане собрались...
Наш Рим теперь стоит как бы на страже.
Все ждет чего-то, и в него сошлись

Защитники: — кто на большой дороге
Разбойничал, и тот теперь в тревоге, -
Беспечно жил, — теперь пришел стоять
За новые порядки. Как тут знать,
Что может быть?! Сидите лучше дома". -
— "Что я люблю Рим — это из альбома
Увидит всякий", — возражал Игнат.

13

Что этим он хотел сказать? — Признаться,
Не всякий вдруг поймет Игната; но
Встревоженный художник, может статься,
Воображал наивно, что смешно
В его любви к народу усумниться,
Что в этом всякий может убедиться,
Что стоит лишь раскрыть его альбом,
Чтоб увидеть, как он карандашом
Изобразил не мало сцен отваги
Народной. — Гарибальди на коне, -
Милицию, друзей народа, — флаги, -
И патера, прижатого к стене...

14

О! я б желал достать альбом Игната...
Но как достать! — Погиб он или нет?
Судьба вещей, которые когда-то
Нам были дороги (как тот портрет,

Который ваша бабушка снимала
В подарок дедушке), меня нимало
Не забавляет: то, что на столах
У вас блеснит, — без вас, в чужих руках,
Утратит блеск иль в сор преобразится,
И для далекого потомства, может быть.
Из тысячи рисунков сохранится
Едва один, чтоб редкостью прослыть.

15

Не праздник ли? однажды, просыпаясь,
Спросил Игнат — конечно, он спросил
Об этом у окна, со сна встречаясь
Глазами с поздним солнцем: он любил
Предупреждать зной утра; но был болен
И трусил лихорадки. — С колоколен
Неслись трезвоны всех колоколов.
Казалось, сотни медных языков
Кричали: встаньте, граждане!., спешите,
Настал великий день! — Но, может быть,
Идет процессия? — Тут, как хотите,
А надо встать, одеться и спешить.

16

Народ сновал — колокола звучали...
Вот увидал двух женщин наш Игнат. -
В свои платки закутавшись, стояли

Они в тени, как статуи стоят;
Но не было в лице их и намека
На праздничное чувство, — нет, широко
Раскрытые глаза их ничего
Кругом не замечали, — ни его -
Ни пробегающей толпы, — казалось.
Они прислушивались. — Мой Игнат
Почувствовал, как в нем вдруг сердце сжа-
лось.

Вдоль жаркой улицы он бросил взгляд.
17

Куда идти? хоть лица женщин этих
Ему сказали: уходи домой!

Он медлил, — он как бы не смел задеть их
Своим вопросом, и они с толпой

Вошли на паперть. Нищие шептались,
Стучали фуры, лавки запирались. -

Вот проскакал Россели {*}, горяча

{* Один из римских военначальников.

(Прим. авт.)}

Хлыстом коня, и поднял пыль, брэнча

Прицепленною саблей; — показался

Вдали отряд — он площадь проходил; -

Блеск стали под лучами загорался,

Бил барабан тревогу — рог трубил.

18

Колокола по-прежнему звучали; -
Но молчалив был подвижной народ,
Как будто для него часы настали
Особенных каких-нибудь забот.

Вот, с мрачным видом, взвод народной
стражи

Прошел под окнами, и бельэтажи
Раскрыли окна, — город запестрел
Цветными флагами, как бы хотел
Действительно отпраздновать, бог знает,
Какой счастливый день. Велик народ,
Который в день грозы не унывает! -
Пришла гроза — французы у ворот.

19

Грядущая империя штыками
Грозит республике — так вот зачем
Повсюду римляне идут толпами
Вооруженными, средь веющих эмблем
Своей свободы, вот зачем сверкают
У всех глаза и руки всех сжимают
Ружейные приклады; словно брат
Родной, им стал губительный булат,
Защитник сердца, родины и чести!
Вот почему, какая б ни была

Обида личная, нет личной мести,
Вот почему звонят колокола.

20

"К стенам, народ! — к стенам, граждане!"

Команда эта мигом разнеслась,
И в мирном Риме, как в военном стане,
У каждого в груди отозвалась.

Мясник, башмачник, ювелир, факины,
Купцы, виноторговцы, веттурины,
Художники — (и наш один гравер) {*},
{* Ф. И. Иордан. (Прим. авт.)}

И поселяне из окрестных гор,
И слуги из гостиниц, все бросают
Обычные занятия и дела,
Идут, грозят, оружием потрясают -
Вот почему звонят колокола.

21

Вот папские сады пестрят стрелками,
Вот Гарибальди двинулся вперед,
И на распутьях стал за воротами,
С ним красноблужники... Герой не ждет,
Спешит врага он пулями поздравить
С нашествием и не дает направить
Ему передовой свой батальон
На верх горы, откуда весь бастьон.

И вся почти защита Ватикана
Как на ладони. — Вот ружейный дым
Зардел на солнце: — из его тумана,
За куполом Петра, услышал Рим
22

Звук первого сраженья, — рокот ружей
И пушек, эхом повторенный гром. -
И вот, на Пинчио Игнат досужий
Взбирается, идет, дыша с трудом
От тайного волненья; с напряженьем
С горы следит он взором за сраженьем.
Но где же войско? — Косвенным столбом
Завихрившись, дым пушек над холмом
Ближайшим к Риму начал расстилаться -
Ружейный рокот словно замирал,
Стал уходить куда-то — стал теряться -
Что б это значило? — Никто не знал...

23
Кто победил? кого поколотили?
Вестей не приходило. Знойный Рим
Затих — колокола уж не звонили, -
Лишь женщины у алтарей в немых
Церквах толпой коленопреклоненной
Рыдали; — воздух, солнцем накаленный,
Всех собирал под своды, и пустым,

Судя по улицам, казался Рим,
Одни ослы по площадям бродили
Без всякого надзора, — за водой
Никто не шел; уединенно били
Фонтаны, — час прошел — настал другой.

24

Шло время к ночи — Рим не шевелился.
Ни старики, ни дети — ничего
Никто не знал; никто не торопился
Услышать весть, что все уже легло -
Все, что ушло на бой в числе любимых
Защитников, в числе непобедимых
Гарибальдийцев. Да, никто не знал,
Что первый батальон врага попал
В засаду — падал — и кричал: пощада!
Что часть сдалась — другая с Удино
Пошла назад в Кастель-де-Гвидо. — "Надо
Подумать — это вовсе не смешно..."

25

Сказал французский вождь, воображав-
ший,

Что римляне не смеют воевать. -
И тут скажу заранее: пославши
В Париж курьера, он решился ждать
От президента новых подкреплений,

Хотел он, чтоб победоносный гений -
Любимый гений Франции, у ног
Ее властителя, с размаху мог
Свободную республику увидеть
В оковах по рукам и по ногам -
Кто смеет честь французскую обидеть!
Шесть тысяч отступало — по пятам

26

Шли сотни сорванцов. — Победа! Где вы,
Служители святого алтаря!

"Te deum" пойте! Вы, святые девы,
Поблекшие в стенах монастыря.
Страдалицы за вечное спасенье
Своей души — несите облегченье
Страдающим за братьев! Где бинты
Для раненых, для падших — где цветы?!
И встал весь Рим, и огласились стоном
Его площадки, паперти церквей
И лестницы; — но с похоронным звоном
Сливалась музыка: — среди теней,

27

Над трупами склоняющихся, тени
Восторженно поющих провели
Французских пленных угощать в кофейни.
Вот ночь сошла, везде огни зажгли.

Героям дня толпы рукоплескали;
С носилок раненые поднимали
Повязанные головы; на их
Померкших лицах, холодно-немых,
Сквозь выраженье нестерпимой муки
Проглядывала сила — и стонать
Они переставали, свесив руки,
В надежде чью-нибудь в толпе пожать.
28

И было множество рукопожатий
Со всех сторон; — да, в эту ночь, весь Рим
Сносил свои страданья без проклятий
И был в своей любви неистоцим.
И Гарибальди имя повторялось
Впервые так, как никогда — рождалась
Неведомая слава — для венца
Нетленного, — и братские сердца
Народа колыбель новорожденной
Поставили высоко в эту ночь.
Чтоб видел мир, неправдой возмущенный,
Италии воинственную дочь.
29

Растроганным пришел домой Игнатий -
С таким же чувством он пришел домой,
С каким из первых, трепетных объятий

Давно любимой девушки — иной
Бедняк, иль труженик, людьми забытый.
В час ночи, месячным лучом облитый,
Юдин приходит к ложу своему,
И уж оно не кажется ему
Таким пустым, каким вчера казалось.
Нет! новая волшебница — мечта
С ним обнялась — тепло к нему прижалась
И к невидимке льнут его уста...

ГЛАВА 10

1

Так не давалось сразу водворенье
Святого папы с помощью штыков.
Луи-Наполеон был (нет сомненья)
Меж двух огней: — подачу голосов
(Suffrage universel) подготавливая,
Он должен был достать ключи от рая
И, стало быть, беречь карман попов...

.....

Не только папе, но и папской свите
Он должен был усердно угодить, -
Или готовиться к его защите,
Или уж императором не быть.

2

А что республиканцы скажут? Эти,

Готовые лезть прямо на штыки -
Трех революций уличные дети,
И наконец — такие чудачки,
Что им присяга, даже честь дороже
Наполеона. -

"Это не похоже
На то, к чему веду я мой народ;
Не я, сама история ведет..."

Так думал президент, сосредоточен
На мысли все прибрать к рукам своим,
Он тайным был расчетом озабочен,
И для начала выбрал вольный Рим.

3

Над ним в венцах орлы-мечты играли,
И страх паденья, ежась, ползал в нем...
Но ничего глаза не выражали
Своим как бы потускневшим свинцом.
Республика кой-что подозревала
И, гневная, уже едва скрывала
Свое негодование: рокотал
Подземный гром, над кратером вставал
Зловещий дым, — предтеча бури — пена
Уже катилась по морю с волной,
Как чайки крик, носился крик: измена!
Париж шумел пред новою грозой.

4

А он, грозой барышников пугая,
Являлся им в сиянии щита,
Спасаящего мир, и, обольщая
Солдат, тайком готовил *сoup d'etat* {*}.

{* Переворот (фр.)}

За ним стояла тень Наполеона,
Им вызванная, и ступеньки трона
Пред ним мелькали, так же, как порой
Сквозь сон мелькают рифмы предо мной.
(Пожалуйста, от этого сравненья
Ты не сгори, о муза! от стыда: -
Пусть критик наш придет в недоуменье
И разбранит — не велика беда!)

5

Так президент короны добивался -
Он в папу так же верил, как и я,
Не больше; но за папу ополчался
И, стало быть, похож был на меня
Так точно, как на правду ложь похожа. -
Стремленьем к власти дух свой не тревожа
Блажен я — мне до папы дела нет,
Меня не мучит красный дух газет,
Ни темный дух моей родни отжившей;
Я не давал присяги охранять

Республику и каждой, вновь возникшей,
Сочувственную руку подавать. -

6

В своей палатке, наконец, дождался
Ответа Удино — он застегнул
Сперва мундир свой (хоть и задыхался
От жару), а потом уж развернул
Письмо от президента.

"Подкрепление", -

Писал сей претендент, — без замедленья
К вам будет выслано; до той поры
Спасайте ваше войско от жары
И лихорадок. — Отступите в горы -
Республики не надо раздражать,
Пока Лесекс ведет переговоры,
Не начинайте бомбардировать.

7

Без штурма все уладить будет можно,
А если нет — да будет невредим
Алтарь Петра — громите осторожно,
Но с торжеством войдите в славный Рим
В ворота или просто через бреши".
Таков был смысл таинственной депеши.
В ней между строк еще кой-что вилось
И пряталось, как змейка между роз,

Как между водяных растений — рыбка.
Как на устах спокойного лица
Коварно проскользнувшая улыбка, -
Но Удино все понял до конца.

8

Французский лагерь гангренозным чирьем
На теле Римской области засел,
Опасный чирей! — Хитрым перемирьем
Спасая лагерь, Удино глядел
На Рим сквозь пальцы — ждал и лицемерил

Его французской чести Рим поверил
И быстро перенес на юг свой гром;
Едва король Неаполя тайком
Убрался из Валетри, — под командой
Россели, Гарибальди наскочил
И город взял с размаху — Фердинанда.
Как короля, он этим огорчил.

9

Разубедясь в чудесном предсказаньи,
Король смутился, и его полки
Уже на благородном расстояньи
Бросали ружья, сабли и мешки.
Завертывали ночью в одеяла
Колеса пушек, чтоб не грохотала

Их артиллерия, чтоб как-нибудь
Не разбудить врага и скрыть свой путь,
Благоразумный путь — путь отступленья!
Шесть тысяч римлян не могли никак
Склонить их тридцать тысяч на сраженье,
И Гарибальди занял их бивак.

10

Но воспевать его я не намерен -
Едва ль настало время воспевать
То, что само поет! Кто ж не уверен,
Что это имя будет вдохновлять
Италию — столетья! Нет, уж лучше
Без громких фраз вернемся мы к Иллючи
Или к Игнату, — к Риму он привык,
Стал лучше понимать его язык
И был спокоен до исхода мая,
Наивный человек! Он полагал,
Что Рим спасен, — так, каждый день читая
Газеты, он в политику вникал.

11

Увы! не он один, другой ребенок,
Маццини, триумвир, — воображал,
Что эта, вышедшая из пеленок,
Республика, прочна, как идеал -
Тот идеал, который никакие

Превратности судеб, ни бури злые
В его душе не в силах сокрушить.
Он думал Рим от ядер сохранить
Крестом распятого, щитом святыни -
Сияньем правды — словом, отрицал
Политику задумчивый Маццини,
И, как пророку, Рим ему внимал.

12

Когда с победным криком пробегала
По улицам горячая молва,
Казалось, в Риме все торжествовало,
Сердца мужали в блеске торжества,
И шумно победителей встречали:
"Зачем вы Фердинанда в плен не взяли?"
Один в народе слышится упрек.
"Французы! Мы и вам дадим урок,
Коли вы сами с честью не уйдете!"
Лесекс бесился (бедный дипломат!),
И Удино сказал ему: "Вы ждете,
А я так дождался, — Рим будет взят".

13

И вот, в лазури неба вещей птицей
Заклокотала — и, мерный полукруг
Чертя, спускаться стала над столицей
Дымящаяся бомба — ниже, ниже... вдруг

Над кровлями разорвалась, — осколки
Посыпались на черепицу, — с полки
У нашего Игната в мастерской
Слетели вместе с гипсовой ногой
Две стклянки с маслом — и кусочки глины
Посыпались, — куда уж тут писать!
Он быстро отшатнулся от картины
И бледный встал, не зная, что начать.

14

А! началось! — и грозное начало
Не предвещало доброго конца.
Игнат вставал с зарей, и что ж? бывало,
Одеться не успеет — ни лица
Водою освежить, как за лучами
Проснувшегося солнца, над домами
Уже летят чугунные шары -
Гремят, — и утра свежие пары
Уж пахнут порохом — невольно
Он выбегал на улицу, — народ,
Вооружась, на смерть шел добровольно
И, к счастью, не заглядывал вперед.

15

Рим перестал подозревать измену
В своих стенах, и на неравный бой

Шел с облегченным сердцем, — так на сцену

Идет смеясь трагический герой.
Но там, где служат вековые стены
Кулисами, — там не такие сцены,
И не такие ложи, — широко
Они расставлены, и высоко
Сидят там короли в венцах, — золотая
Тиара свесилась — мундир посла
Блестит, — министр, министра надувая,
Наивно спрашивает: как дела? -

16

На римской сцене совершалось много
Такого, что в наш меркантильный век
Напоминало дни, когда за бога
С богами шел бороться человек.
Вот, у крыльца, на каменной площадке
Два женских трупа: на груди их складки
Изорванной рубашки припеклись
К изорванному телу. Вот сошлись
Соседи, — маленькие дети жмутся
К подолам женщин, — старики намет
Хотят поставить — руки их трясутся -
Игнат мой за носилками идет.

17

За полчаса несчастные божились
Из бомбы вырвать трубку иль фитиль,
Заспорили и обе устремились
На подвиг, сквозь поднявшуюся пыль
Над мостовой, ударом потрясенной, -
Обеим захотелось им зажженный
Фитиль схватить — и вот над фитилем
Они бороться стали. — Грянул гром -
Не с неба грянул — небеса молчали
В тот миг, когда осколки чугуна
Ретивые сердца их разорвали
И выбили в кофейной два окна.
18

А вот одной из южных горожанок
Такой же подвиг удался вполне...
Художники! вы пишете вакханок,
Венер, Диан на вашем полотне,
Оставьте мифы-посмотрите: гордо
Подъемля кисти рук, походкой твердой.
Вся смуглая, под солнечным лучом
Она идет, сияя торжеством -
Толпа за ней — и все кричат ей "браво!"
У ней на голове чугунный шар...

На целый день ее бессмертит слава,
И эту славу празднует базар.

19

Но никогда еще Игнат мой смеха
Такого не слышал, как в день, когда
На улицах народною потехой
Был лист с проклятьем папы, — никогда
Он не слышал еще таких визжаний,
Таких гнусливых дудок, завываний -
Концерта не сравнимого ни с чем;
Я думаю, чертям в аду, и тем
От этих диссонансов было б тошно,
Сам сатана сгорел бы от стыда.
(Такой концерт придуман был нарочно:
Так пьяных в Риме водят иногда.)

20

Проклятье папы или отлученье
Прибито было к палке — и над ним
Несли дырявый зонтик, — без сомненья,
Сам Пий не ждал с проклятием своим
Такого всенародного почета.
Илюшин молча шел, — но сзади кто-то
Его толкнул и дал ему свечу:.,
"Неси!" — и он понес; — не умолчу,
Как покраснел сконфуженный Игнатий,

Как он рукой старался защитить
Огонь свечи, — как, не боясь проклятий,
Боялся он толпе не угодить.

21

А бомбы падали... О! бомбы эти
Не ты ли, добрый пастырь, мечешь в Рим,
И бьют они детей твоих — и дети
Хохочут над проклятием твоим.
Твоею гордою душой Христос не понят -
Ты храмы запер, — слушай, как трезвонят
Колокола... они благовестят,
Что дети выросли... и что навряд
Тебе их испугать своим проклятьем...
Так думал про себя Игнатий — он...
На этот раз был пресмешным Игнатъем,
Так гордо выступал, что был смешон.

22

Смешон не так, как иногда бывает
Смешон болван, когда в толпе гостей
Он на себя вниманье обращает,
Забавно-важной пошлостью своей.
Нет, в той толпе, где роль ему досталась,
Почти ни на кого не обращалось
Вниманья — каждый роль свою играл
По вдохновенью — каждый понимал,

Что это смех народа — смех притворный,
У многих на лице сквозь этот смех
Дрожали слезы — Рим в борьбе упорной
Не ждал и не желал таких потех.

23

Еще толпа была религиозна
И суеверна. — Можно доказать -
Так, например, однажды, после грозной
И жаркой канонады, чтоб занять
Народ, друзья народа учинили
Такое зрелище: они сложили
На площади del'Poro костры
И запалили. (Далеко с горы
Французы увидали сероватый
Столб дыму, — Удино вообразил,
Что город загорелся от гранаты -
И гром пальбы на время прекратил.)

24

На площади ж del'Poro — свершали
Ото-да-фе — как казнь новейших дней.
Кареты кардиналов сожигали.
Так точно, как когда-то жгли людей;
Те люди были в саваны одеты, -
Но не нуждались в саванах кареты.

В те дни, когда везде торжествовал
Дух инквизиции — стон землю оглашал -
Теперь же кардиналов экипажи
Трещали очень весело, когда
Со всех сторон огонь лизал их, — даже
И не вздохнули, — только иногда

25

Атласные подушки, слишком плотно
Обсиженные, покорясь нужде,
Горели как-то очень неохотно,
Шипели, как блины в сковороде,
Пока трещали кузова, и стекла
В них лопались, румяные, как свекла;
Народные ораторы порой,
Чтоб как-нибудь подняться над толпой,
На козла вспрыгивали, на запятки
Влезали... и орали, не боясь,
Что прогорят у башмаков их пятки,
Или шальная искра выжжет глаз.

26

Так за монашеские преступленья
Народ монашескую роскошь жег.
Свершая это жертвоприношенье,
Он, разумеется, никак не мог

Забить одну... преступную карету.
Карету папы, — колесницу эту,
Украшенную дорогой резьбой
И золотом — как жертву на убой
Уже везли, — кто уцепясь за дышло,
Кто за рессоры... все кричали: жечь,
Жечь греховодницу! — и что же вышло?
Ее спасла нечаянная речь -

27

Речь одного поклонника искусства.
Любуясь изумительной резьбой
Фигур и орнаментов, он, из чувства
К прекрасному, невольно крикнул: "Стой!
Стой! прежде выслушайте адвоката;
Я адвокат — карета виновата -
Она возила папу, — стало быть.
Ее нам также следует казнить;
Но слушайте, другое назначенье
Мы ей дадим... Взгляните на нее,
Какая прелесть, — эти украшенья,
Гирлянды... ангелы. — Нет! мнение мое -

28

Такое мненье... мы карету эту
Тому Христу-малютке подарим,
Который, гордому не внемля свету,

Так любит нас и нами так любим:
Как Пий он никогда не брезгал нами,
Стучался в двери к нам, когда слезами
Мы обливались — к бедным и больным
Он шел охотно, как родной к родным,
Как к братьям брат; везде, где умирали, -
Везде полупотухшие глаза
Его, как бога, с верою встречали,
И вспыхивала мутная слеза.

29

И что ж! пока в карете мы возили
Святейшего отца — как сироту
С открытою головкой в жар носили
Небесного младенца: мы Христу
Не посвятили даже балдахина;
Мы видели, как маленький (bambino)
Мок под дождем... и не жалели мы
Спасителя, когда во дни зимы
Он к нищим шел, как нищий, неодетый.
О, братья, мы должны загладить грех,
Загладить грех наш этою каретой,
Другого средства нет — пошлюсь на тех,
30

На тех пошлюсь, в ком вера не простыла
И, не замолкла совесть — ме дадим

Христа в обиду, — в нем вся наша сила..."

— "Так что ж нам делать?"

— "Вот что, подарим

Мы эту золоченую карету

Христу, пускай он ездит". -

И на эту

Простую речь откликнулся народ

Восторженно — к Христу, к Христу! — и

ВОТ

Пока одни, водой наполнив шляпы,

Гасили уголья, другие повезли

Великолепную карету папы,

Под звон колоколов, к царю земли,

31

Иль к детскому его изображенью. -

Так простодушной веры полон был

Народ, не верующий отлученью,

Так, ненавидя папу, Рим любил

Распятого, и так необычайно

Спаслась карета (этот факт — не тайна,

Его все знают) — только отнята

Теперь карета эта у Христа,

И в дни парадные в карете этой

Опять качается святой отец,

Любовью, правдой, разумом отпетый

И, стало быть, давно живой мертвец.

БОЛЬШАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ

Гроза росла; — но не извивы молний,
А выстрелы сверкали. Никогда
И сам Зевес с Олимпа в мир наш дольний
Не извергал таких громов, когда
С титанами боролся. Облаками
Клубился дым, их серыми волнами,
Как некий древний бог, со всех сторон
Вольнолюбивый Рим был окружен.
Гроза росла — к французам приливали
Те силы, что позднее шли стеной
На вольных парижан и запятали
Свой стяг братоубийственной враждой...
Они теперь над Римом упражнялись:
Зигзагами кой-где траншеи шли,
Кой-где росли, тянулись, приближались
Окопы и — мелькали фитили.
Окрестности от залпов содрогались,
Осадные орудья разгорались,
С холма на холм свинец дождем летел,
На груды тел валились груды тел;
Республика держалась за стенами;
Но этих стен кирпич за слоем слой
Срезали ядра, — мусор стен, местами

Заваливая рвы, лежал горой.
Рим стал дышать не воздухом, а дымом;
Однажды, из окна, на этот дым
Глядел Игнат — глядел, любуясь Римом,
И думал, злым отчаяньем томим:
"Неужели от этого пожара
Останется цела одна тиара!
Неужели враг мысли и труда,
Народа враг — не общий враг, когда
Он на своих чужое поднял знамя..."
И с ужасом воображал Игнат,
Как фрески Рафаэля лижет пламя,
Как, накалившись, мраморы трещат...
"С одним великим именем я связан
Был с ранних лет, и это имя — Рим;
Я лучшею мечтой ему обязан -
Обязан и погибнуть вместе с ним..."
Так юноша-художник волновался.
Уж под столом альбом его валялся,
Уж высохла палитра, уж давно
Пожухлое пылилось полотно.
Унылый скромник стал неузнаваем:
На перевязки рвал свое белье,
Иль, освежась поспешно русским чаем,
Двухствольное захватывал ружье

И выбежал.

.

<1866–1870>

ПРОЗА

Делибаштала

Г*рузинская сказка*
(Из путевых записок 1847 г.)

Ночевал я в одном грузинском селении. Остановились мы в сакле у сельского священника. В саклю провел меня дьячок, потому что сам хозяин был в отлучке. Жилье это показалось мне роскошным по сравнению с теми, в которых приходилось мне ночевать почти все лето. Между столбиками, подпирающими передовой навес, были плетеные стенки, обмазанные белой глиной; дверь запиралась на крючок, и два небольших квадратных окошечка, без рам и стекол, освещали комнату, в которой, к довершению моего благополучия, стояла кровать и помещался столик. Со мной ехал некто Моисей Соломонович, родом грузин, состоящий на службе при участковом заседателе. В этот вечер был я одолжен ему

многими интересными рассказами о поиске разбойников,-- вечер прошел незаметно. Часу в десятом услужливый дьячок принес мне закуску; ужин состоял из грузинской лепешки, грузинского сыру, бутылки кислого вина и пережаренного сухого цыпленка. Моисей Соломонович вместе с моим переводчиком из татар, есаулом, дьячком и деревенским старостой (нацвалом) предпочли ужинать в соседней сакле, расположившись вокруг огня, на котором готовился общий ужин наш.

После ужина я лег спать, проснулся далеко за полночь и удивился: свеча моя горела, дверь на двор была отворена, а мои спутники, которые должны были спать около моей комнаты в темной каморе, еще не возвращались. "Где они?" -- подумал я, накинул бурку, вышел на двор, или на улицу, что все равно, потому что в здешних деревнях нет собственно ни дворов, ни улиц, есть только промежутки между саклями да земляные кровли с отлогими со всех сторон скатами, по которым легко можно разъезжать верхом на лошади.

После утомительно-жаркого дня ночь была свежа и, несмотря на то, что месячный

серп светил на небе так темна, что в десяти шагах трудно было отличить кучу хвороста от задремавшего буйвола. По сторонам в сумраке лесистых гор, мелькали костры пастухов, тихий ветер дул со стороны Мухранской долины и доносил отдаленный лай собак, стерегущих виноградники.

Долго бы простоял я, прислушиваясь к звукам и шорохам ночи, если б не смех и не тихий говор в соседней сакле: это напомнило мне, что я вышел не с тем, чтоб зябнуть, а чтобы узнать, куда девались мои провожатые. Мне, сказать по правде, в эту минуту не было в них ровно никакой необходимости; но дверь в соседнюю саклю была полуотворена, и я заглянул туда.

И вот, я вижу, на циновках сидит порядочная кучка народу и, при свете потухающего пламени, курит трубки. Какой-то усач в шапке что-то рассказывает, остальные молчат и слушают. Знай я по-грузински, я, конечно, вместе с ними приютился бы у огонька, но мои спутники кое-как говорили по-русски, и я спросил их:

-- Неужели вы все еще до сих пор ужинае-

те? Рассказчик замолчал, слушатели зашевелились.

Моисей Соломонович первый вышел ко мне на чистый воздух.

-- Вы все еще ужинали? -- спросил я.

-- Нет, мы уже давно кончили -- мы так сидели. -- Что же вы делали?

-- Да так-с, нечего -- сказки сказывали друг другу,-- отвечал он и сконфузился, предполагая, что такое занятие я найду неприличным званию чиновника.

Как хотите, а это черта оригинальная. Между ними не было ни одного ребенка; все они были ребята дюжие, а у нацвала {Нацвал -- староста. (Прим. авт.)} так даже седина в бороде проглядывала, но ни лета, ни почетное звание, каково, например, звание дьячка и нацвала, ничто не помешало им, собравшись, засидеться далеко за полночь и, покуривая трубочки, рассказывать друг другу сказки.

-- Как после этого сомневаться в национальности грузинской литературы! От царя Вахтанга до царя Ираклия вся она переполнена сказками.

-- Что ж делать от скуки! -- сказал Моисей

Соломонович.

-- Досадно, что я не знаю по-грузински: я бы пришел послушать вас.

-- Неужели пришли бы! -- заметил он с недоверчивостью,-- вы, стало быть, охотник до сказок.

-- Да, и намерен просить вас хоть одну рассказать мне по-русски -- мы на это найдем время; не правда ли?

-- Совершенно правда-с.

Через четверть часа после этого разговора я уже спал.

-- Через три дня, с той же самой компанией, вечером, я ехал из осетинских деревень и был на половине дороги от Душета. Дорога извивалась лесом по направлению к Аргунскому ущелью -- была довольно живописна и напоминала Крым одному из моих спутников.

-- Моисей Соломонович! Он подъехал.

-- Начинайте сказку,-- вы обещали,-- мы едем шагом, лошади устали -- спешить незачем.

Он поправил на голове грузинскую шапку и сказал:

-- Как вам угодно.

-- Ну, начинайте. Он начал:

"У одного царя было три сына".

"Ну,-- подумал я,-- верно, двое умных, а третий дурак,-- непременно три сына; почему бы, кажется, не четыре?" Начало не обещало ничего оригинального.

"Царь был старик и уже чувствовал, что не долга пожить ему на свете. Позвал он к себе сыновей и объявил, что скоро умрет. Разделите, сказал он им, царство мое на три участка {Не потому ли, что Закавказские губернии разделены на участки. (Прим. авт.)}, и пусть каждый из вас владеет тем, что ему достанется.

Вот, сказавши, что он скоро умрет, он действительно скоро умер. Сыновья поплакали и похоронили его как следует. Поплакавши и похоронивши, поехали они обозревать все царство, и неизвестно, сколько времени они там ездили и долго ли обозревали, только, возвращаясь назад, неподалеку от города, от столицы то есть, видят; на одном поле стоит преогромная печь".

Тут все остальные мои спутники чутьем догадались, что -- сказка, кто был впереди --

поотстал, кто был позади -- приударил лошадь, и, таким образом мы поехали кучей, что очень редко случается; вечно вьюк отста-нет, вечно кто-нибудь уедет вперед благодаря случайно попавшейся шагистой кобыле или горячему жеребцу, которого трудно держать целый день на поводках и ехать шагом.

"Стоит на поле печь,-- продолжал Моисей Соломонович,-- и жарко топится, так и пышет полымя. Вот, слышат царевичи, что из печи кто-то зовет их на помощь и кричит:-- помогите, я сожигаяюсь!"

-- То есть горю,-- поправил я рассказчика,

"Да, то есть горю,-- помогите кричит,-- горю! и таким жалобным, плачущим голосом, что царевичи, не зная, что и подумать, подъехали к печи; видят -- горит, слушают -- ничего не слышать -- только огонь трещит да дым валит, а уж голосу и не слышно. Начали окликать -- никто не отзывается. Ну, видя, что делать нечего, решились ехать домой. Один только третий брат никак не хотел ехать, попросил братьев оставить с ним двух служителей, остался на поле и, когда те уехали, приказал таскать воду и заливать огонь. Долго

они заливали; наконец огонь потух. Царевич велел раскапывать уголья -- искать, нет ли там человека или по крайней мере костей человеческих, но ничего, решительно ничего не нашел. Что же делать! Поехал он себе домой и лег спать по обыкновению. Ночью видит он сон: приходит к нему старик в белом платье и говорит ему: царевич, слушай, когда вы разделите царство, продай свою часть и на вырученные деньги построй на большой дороге караван-сарай {Иначе гостиница или постоялый двор. (Прим. авт.)}. Слушайся меня, если хочешь быть счастливым; а я хочу наградить тебя за твое доброе сердце".

Сказка не без морали, подумал я и, соображая подробности рассказа, заключил, между прочим, что печь -- была грузинская печь, то есть круглая яма, выложенная кирпичами и гладко вымазанная внутри глиной.

"Только что царевичи успели разделить царство покойника отца, меньшей брат их продал все, что ему досталось, и на вырученные деньги на большой дороге построил огромный караван-сарай, с конюшнями, разным жильем -- комнаты чудесные отделал,

ячному накупил -- провизии; и все прохожие и проезжие стали у*него останавливаться -- ночуют---и на другой день, разумеется, как следует хотят расплатиться, только царевич ни за что ничего не хочет брать от них. Так прошел год, и в этот год ничего особенного не случилось. Вдруг однажды зашел в этот караван-сарай купец, бедный, усталый, и попросил позволения приютиться и отдохнуть. Царевич принял его очень ласково,-- угостил его,--спросил: откуда и куда он идет и нет ли чего-нибудь нового?

-- Я,-- говорит прохожий,-- был когда-то купцом первой гильдии".

-- Моисей Соломонович! пожалуйста, не искажайте вашей сказки своими прибавлениями. Какой первой гильдии? Просто богатый купец.

Моисей Соломонович покраснел и сказал мне, что точно, это был просто богатый купец.

-- Ну, теперь продолжайте.

"Первый, говорит, я был по богатству; поехал с миллионами, а возвращаюсь нищим.

-- Отчего же это с вами так случилось?--

говорит царевич.

-- Да так,-- говорит,-- услышал я, к несчастью моему, что в одном царстве, у одного царя есть дочь, необыкновенная красавица, какой никогда еще не было в белом свете. Влюбился я заочно, по одним рассказам, и захотелось мне посмотреть на предмет моей страсти. Вот собрался я в дорогу и поехал в тот самый город, где живет красавица -- царская дочь. Долго я там жил; но сколько стараний ни употреблял, чтоб увидеть ее, что ни делал -- истратил все свое богатство, все свои миллионы, и ничего,-- говорит,-- ничего не мог добиться,-- добился одного только, что достал портрет этой необыкновенной красавицы.

-- Покажите мне этот портрет,--сказал царевич

-- Извольте, я, пожалуй,-- говорит,-- вам покажу его.

Тут он вынул небольшой портрет, развернул его и показал царевичу.

Царевич упал в обморок".

-- Да отчего же? -- спросил я не без удивления.

-- Да уж так влюбился, что и на ногах не

мог устоять.

"Когда же очнулся, стал умолять купца уступить ему этот портрет и сказал, что не пожалеет за него отдать ему все свое состояние. Но купец ни за что не хотел расстаться с этой вещью. Ничего, говорит, мне не надобно, ничего, говорит, не возьму.

-- Ну, скажите мне по крайней мере, где и в каком царстве живет эта красавица?

Купец сказал, в каком царстве... и на другой же день рано утром отправился.

Царевич проснулся также рано, велел оседлать трех лошадей, взял с собой двух слуг и поехал.

Едет царевич, а сам даже и дороги не знает, позабыл спросить купца, а теперь и спросить некого. Едет наудачу,-- мудро ли заблудиться. Едет день-два; захотелось есть. Вот расположился он у подошвы одной крутой горы; сел у одного куста, а служители у другого; стали они закусывать. А гора-то была, как бы вам сказать, ну вот такая точно, как Алев-гора, на которой мы сейчас только что были,-- крутая и высокая. В горе пещера, а на горе здание построено. Вдруг видит царевич, с го-

ры идут к ним три девки -- то есть девушки, я хотел сказать, три прелестнейших девушки. Одна из них подошла к царевичу, а две другие подсели к служителям, стали их всячески обвораживать -- обнимать, знаете, и, наконец, упрашивать выпить по азарпеше вина, которое они принесли с собой. Вино было чудесное, лучше даже кахетинского самого лучшего: немудрено, потому что, надо вам сказать, это были три дьявола в виде девушек".

-- Что ж, верно, царевич догадался и не стал пить,-- сказал я, но, как видно, дело вышло гораздо правдоподобнее.

-- Помилуйте! -- заметил Моисей Соломонович,-- видит он, просят его выпить за здоровье -- нельзя же не выпить! Хоть бы вы, например,-- прибавил он в оправдание царевича,-- как бы вы отказались -- не выпили!.. нельзя! Царевич выпил, служители его также выпили,-- и только что успели опорожнить по одной какой-нибудь азарпешки, повалились и заснули крепким сном. Девушки вынули кинжалы и уже хотели было зарезать их, потому что, как я уже заметил вам, это были злые духи,-- дьяволы, а не девушки.

Только что вынули они кинжалы, как вдруг откуда ни возьмись является огромного роста человек, весь голый, только один башмак на одной ноге.. Выхватывает он у сонного царевича шашку и ну рубить девушек. Положил их всех на месте и стал будить царевича.

Царевич проснулся, и его служители также проснулись.

Все трое ужаснулись и чуть не заплакали, когда увидали, что все три девушки лежали изрубленными; а какой-то голый человек стоит, опершись на шашку, и смотрит на них как ни в чем не бывало. Царевич очень струсил; но голый человек подошел к нему и сказал: не бойся, я избавил вас от явной смерти. Эти девушки не что иное, как злые духи. Они, говорит, хотели погубить вас; но им не удалось, потому что я изрубил их.

-- Да кто же ты? -- спросил его царевич, -- что за человек? скажи, пожалуйста.

-- Я, -- говорит, -- Делибаштала, верный слуга твой. Все, что ни прикажешь, все, -- говорит, -- для тебя сделаю. Теперь я от тебя не отстану -- куда ты, туда и я.

-- Пожалуйста, мне тебя не нужно! -- ска-

зал царевич.-- Возьми за твое доброе дело все что хочешь, только отстань.

-- Нет,-- говорит,-- я от тебя не отстану; без меня тебе и дороги не найти. Знаю, зачем ты едешь, и непременно пойду в тот самый город, где живет царевна.

-- Помилуй, скажи, как же ты пойдешь со мной в город, да ты меня осрамишь,-- ты совсем голый, ничего на тебе не закрыто! На меня будут пальцем указывать. Я от стыда не буду знать, куда и деваться. Помилуй, Делибаштала, не ходи со мной!

-- Нет,-- говорит,-- я с тобой!

Ну, что делать? Поехал царевич, голый человек шагает подле,-- только один башмак на ноге хлопает. Как ни скачет царевич -- голый человек хоть и шагом идет -- не отстает, оттого, что, понимаете, ноги-то длинные; раз шагнет -- перегонит. Ничего нет невероятно-го".

Согласившись с Моисеем Соломоновичем, что в его сказке ничего нет невероятно-го, я попросил его продолжать, так как голый Делибаштала начинает интересоваться меня. Что-то будет...

"-- Посмотрите, что еще будет! это чудесная сказка,-- сказал Моисей Соломонович и поправил на голове грузинскую шапку.

"-- Я сам вижу, что чудесная,-- отвечал я.

-- А хотите, у меня есть еще другая сказка, я начну вам другую.

-- Нет, уж кончите сперва эту. Я хочу знать, что случилось с царевичем и приехал ли он в город. "Приехал он в город и остановился в одной гостинице. Голый человек решительно его сконфузил. Представьте себе, идет по улице -- голый! Все глядят -- останавливаются; а ему и горя нет. Царевич покраснел от стыда; но делать было нечего. Как он его ни упрашивал отстать хоть немного, голый Делибаштала все время шел возле лошади, до самой гостиницы.

В гостинице царевич стал расспрашивать о царской дочери. Никто ее не может видеть,-- отвечали ему проходящие,-- напрасно и приезжать! Это такая удивительная красавица, что такой красоты еще и под солнцем не было; ее взгляда одного никто не может вынести. Перед дворцом, на площади, сами увидите, как много несчастных, желающих ее

видеть.

-- Неужели? -- сказал царевич и вечером того же дня пошел на площадь. Видит, перед царским дворцом, против самого балкона, на площади вырыты ямы. В этих ямах, сказали ему, по несколько лет уже сидят влюбленные в царевну; сидят день и ночь, боятся пропустить случай увидеть ее, -и ждут, не выйдет ли она на балкон; но никто до сих пор не видал ее. Тут царевич подошел к одной яме, которая была всех ближе к балкону, и видит -- сидит в ней человек, бледный и худой, так и видно, что даже ночей не спит, сидит и плачет.

-- Пусти меня, пожалуйста,-- сказал ему царевич,-- уступи мне эту яму.

-- Нет,-- сказал ему незнакомый человек,-- много денег я прожил в этом проклятом городе, сидя в этой яме, прожил все, что имел, знаю, что мне никогда не увидеть царевны; но посуди сам, что за охота возвращаться мне без денег на родину! Заплати мне все, что я прожил, тогда,-- говорит,-- пожалуй, я пущу тебя.

Царевич обрадовался, заплатил ему день-

ги,-- полез в яму, сел на его место и стал смотреть на балкон.

Долго бы просидел царевич в этой яме, если б Делибаштала не отыскал его.

-- Что ты тут делаешь? ступай вон,-- сказал он царевичу,-- вылезай! -- Царевич вылез.-- Ступай себе в гостиницу и сиди там,-- я знаю, что делать.

-- Что же ты сделаешь?

-- Не твое дело.

Царевич пошел в гостиницу, а Делибаштала взобрался на царский балкон и ну ходить по балкону. Видит царь в окошко, что какой-то голый, с башмаком на одной ноге, ходит по балкону.

-- Какой там невежа осмелился ходить у меня на балконе? что за человек? послать, спросить его! --сказал царь, не шутя рассердившись. Пришли посланные от царя спросить Делибашталу, что он за человек. Делибаштала отвечал, что хочет видеть царя и что только царю скажет, что он за человек. Посланные испугались и воротились. Царь велел позвать его и спросил: кто ты такой? Разумеется, Делибаштала объявил ему, кто он (та-

кой, то есть назвал себя по имени и сказал, что прислан послом от такого-то царевича, который просит руки его дочери. Царь, посмотревши на голого, засмеялся.

-- Ну, хорошо,-- говорит,-- скажи твоему царевичу: если пришлет он мне пятьсот девушек и пятьсот мальчиков, так чтоб все они были одного роста и пятнадцати лет, ни больше ни меньше, да,-- говорит,-- если будут они одеты в богатое платье и принесут мне на головах золотые блюда с разными фруктами, тогда, пожалуй, я отдам за него дочь мою".

-- Ну, у этого царя, как я вижу, был чисто восточный вкус; зачем ему нужно было пятьсот мальчиков?

-- Такая уж это сказка! -- наивно возразил мне Моисей Соломонович.

В это время мы подъехали к оврагу; дорога стала спускаться вниз каменными, неровными уступами. Я вспомнил, что седло мое без подхвостника, что оно легко может съехать на гриву лошади, и так как голова немного дороже сказки -- я остановился и соскочил на землю. Все сошли с лошадей и, хватаясь за древесные сучья, под уздцы, осторож-

но стали сводить их под гору. Внизу шумел поток и пропадал в изворотах темной балки.

Переправившись и поднявшись на другую сторону, мы отдохнули немного, раскурили трубки и поехали. Из нас всех смешнее был мой переводчик из татар. В одной осетинской деревушке он прилег было заснуть на земле, под навесом сакли, как вдруг почувствовал озноб и головную, боль; испугавшись лихорадки, он взял мою старую серую студенческую шинель, уже без капюшона, и надел ее в рукава; сверх шинели повесил свою, никуда не годную, шашку, а горло обмотал моим же красным шарфом. Чтоб еще более разогреть себя, он начал скакать взад и вперед, выхватывал шашку, наскокивал, замахивался и делал вид, будто рубит нашим провожатым головы. Но как только услышал он, что сказка снова начинается, вложил свой победоносный меч в ножны, присмирел и поехал сзади. Солнце сияло ярким вечерним блеском, облака не мешали светить ему,— тихий ветер шелестел сухими буковыми листьями, и пахучие теплые пары едва заметно поднимались с увлажненной почвы. До Душета оставалось

не более семи верст. Едва заметные следы арбы сквозь лес указывали нам дорогу. Все были расположены молчать, ехать шагом и слушать.

"Делибаштала,-- начал Моисей Соломонович,-- Делибаштала, не сказавши ни слова царевичу, сейчас же пошел на ту гору, где, помните вы, он убил трех девушек.

Забрал там, в их пещерах, бесчисленное множество денег -- золота, серебра, камней драгоценных -- и пошел в соседние государства. Там, не жалея денег, накупил он 500 девушек и 500 мальчиков, нарядил их в богатое пурпуровое платье, велел им нести на головах золотые блюда и чаши, а вместо фруктов насыпал на них драгоценные камни и повел их в город, к тому царю, у которого дочь красавица. Царь, увидевши такие сокровища, сам не знал, верить ли ему глазам... и когда Делибаштала сказал ему, что все это ему в подарок прислал царевич, который сам остановился в гостинице отдохнуть с дороги -- и, между прочим, велел спросить, исполнит ли царь свое обещание и выдаст ли за него дочь свою, царь послал просить к себе царевича.

Делибаштала побежал в гостиницу.

-- Ну,-- говорит,-- царевич, так и так, одевайся скорей и иди к царю. Царевич не знал, что и подумать, оделся в богатое платье и поехал во дворец. Когда явился он во дворец, царь ласково его встретил, познакомился с ним, благодарил его за подарки (а за какие подарки, тот и сам не знал); потом велел позвать дочь свою, для того, разумеется, чтоб представить ее царевичу как невесту. Только что вошла царевна,-- царевич только что успел взглянуть на нее, как сейчас же упал в обморок".

-- Уж не оттого ли,-- спросил я,-- что вместо красавицы царевич увидел старуху? Ведь она точно так же могла состариться, как и те господа, которые всю свою жизнь сидели в ямах, дожидаясь ее выхода.

-- Нет-с, помилуйте, совсем не оттого. Это была такая удивительная красавица, что надо было иметь привычку, чтоб только смотреть на нее.

Эти слова Моисей Соломонович произнес с видом совершенного убеждения в несомненности сказочной красавицы, и, призна-

юсь вам, мне нравилось, что он рассказывал свою сказку не без охоты и даже не без некоторого увлечения. Не знаю, был ли с своей стороны он доволен моим вниманием, но думаю, что любить сказки способна только простая, бесхитростная душа и спокойная совесть. Любовь простого народа к сказкам намекает больше на хорошие, чем на дурные, черты его характера.

Моисей Соломонович, продолжая рассказывать о свадьбе царевича с царевной, упомянул, что венчать их позвали священника. Этот священник так же не-кстати является в восточной сказке, как и купец первой гильдии.

Я не мог не сделать этого замечания, потому что сказка может интересовать меня только как плод чистой народной фантазии, и притом настолько, насколько она намекает на свое первоначальное происхождение. Долговечные, подобно песням, сказки ближе песен к общему источнику всех поверий -- то есть к Востоку. Уцелевшие памятники, запустелые развалины знаменуют распри и борьбу народов; сказки же и поверья, напротив,

говорят нам о их дружественных, близких сношениях, о их влиянии друг на друга в мирное время. Но, извините, я вовсе не намерен писать рассуждения и потому в этих записках продолжаю припоминать себе рассказ любезного Моисея Соломоновича и записывать слова его.

-- Ну,-- сказал я,-- женился царевич, тем все и кончилось -- сказке конец. Не правда ли?

-- Нет еще, погодите! "Только что царевич обвенчался с царевной, вечером явился к нему Делибаштала и говорит:

-- Ну,-- говорит,-- вот что я для тебя сделал; благодарен ли ты мне за мою услугу?

Царевич стал благодарить его: очень, говорит, я тебе благодарен, не знаю, чем и отплатить мне за твою услугу! Проси у меня все, что хочешь, ни в чем, говорит, я не откажу тебе. Делибаштала сказал, что за услугу его, в благодарность, он должен уступить ему на некоторое время свою царевну, то есть. -- понимаете. Царевич никак сперва не хотел согласиться на такое предложение, плакал, упрашивал его не делать ему и ей такого бес-

честия; но Делибаштала никак не хотел уступить ему. Как ни сердился царевич, но принужден был согласиться. Когда пришла ночь и царица легла спать, Делибаштала первый вошел к ней в спальню, как вдруг выскочили из нее два злых демона, попросту -- два черта, и, полагая, что пришел царевич, хотели было задушить его; но Делибаштала начал с ними сражаться и убил их. Когда же он убил их, воротился к царевичу и сказал ему: теперь ступай -- твоя очередь, я свое дело сделал. Царевич пошел к царице и удивился. стал ее спрашивать; но царица думала, что это он входил к ней, и сама удивлялась, отчего царевич не хотел даже обнять ее. На другой или на третий день после свадьбы, не помню наверное, царевич с молодою женой простились с царем и поехали домой. Делибаштала с ними же отправился. Когда они въехали в один лес Делибаштала опять заупрямился и стал уверять царевича, что жена его принадлежит по праву обоим и что царевич должен разделить ее надвое. Ты себе бери одну половину, а я себе другую! Царевич и спорил, и плакал, и злился, но Делибаштала был

неумолим и на своем настаивал до тех пор, пока в отчаянии царевич не сказал ему: ну, делай, что хочешь!

Делибаштала привязал царевну к дереву, вынул шашку и объявил, что намерен разрубить ее надвое; одну половину себе оставить, а другую царевичу.

-- На что же, посуди сам, Делибаштала, на что же мне она мертвая! ведь ты убьешь ее! Как же это можно рубить надвое, или ты с ума сошел!

Но Делибаштала не слушался царевича, замахнулся шашкой,-- царевич от ужаса без чувств упал на землю, а царевне от испуга стало тошно и множество нечистых злых духов стали вылетать и выползать у нее изо рта. Делибаштала всех, одного за другим, убивал своей шашкой и, когда всех убил до последнего, развязал царевну и заставил очнуться царевича. Царевич, увидав жену свою живою, обрадовался и долго не верил глазам своим. Но Делибаштала показал ему на убитых дьяволов и сказал:

-- Только теперь я отблагодарил тебя за твою услугу; знай, что я тот самый, которого

ты спас из огненной печки. Помнишь ли,-- говорит,-- как ты остался на поле и стал заливать ее! Если б я теперь не замахнулся, чтобы убить царевну, знай, что эти черти остались бы навсегда жить в ней и непременно бы тебя погубили; но теперь ты можешь жить с ней спокойно и счастливо. Поезжай на ту гору, где убил я трех девушек, там есть пещера, где ты можешь набрать себе столько золота и разных сокровищ, сколько пожелаешь; меня же ты уже больше никогда не увидишь; прощай! -- Сказавши это, он пропал в одну минуту. А царевич поехал с женой на свою родину и там, разумеется, стал жить очень счастливо".

Тем сказка и кончилась. Кто знаком с русскими сказками, тому конец ее вовсе не покажется оригинальным. И в наших сказках точно так же нечистые Духи обитают в красавицах, на которых не только замахиваются, но даже и рубят их без церемонии, имея, разумеется, на этот случай в запасе по сткляночке живой и мертвой воды.

Сказка досказалась вовремя. Были уже поздние сумерки, за деревьями уже мелькали

стены и башни гостеприимного замка Ч-ых,-- мы спешили и, несмотря на неровности холмистой дороги, усеянной камнями, понеслись скорой рысью, прямо к замку. Потом, повернув налево, между садами и огородами, въехали в Душет и очутились на Миллионной улице.

Так, шутя, гг. душетские чиновники называют здесь главную улицу. Говорят, когда-то, во время оно, а может быть, и очень недавно, в Душет поздно вечером на перекладной въезжал какой-то прапорщик. Вообразив себе Душет огромным и красивым городом, он думал, что ямщик везет его околицей.

-- Пошел, болван, по главной улице! Я ж тебе говорю, мошенник, пошел по главной!--грозно кричал он, толкая в спину ямщика. Ямщик (из русских) обернулся и отвечал:

-- Помилуйте, ваше благородие! что вы! да это самая главная улица -- Миллионная!..

<1847>,

Квартира в татарском квартале

Это было в самый жаркий час едва ли не самого жаркого июльского дня в Тифлисе.

Солнце было неумолимо, а я без зонтика должен был идти с Авлабара на Эриванскую площадь {Мой рассказ относится к тому еще времени, когда на Эриванской площади не было театрального здания. (Прим. авт.)}. Как нарочно, ни одного извозчика! На старом деревянном мосту на одну минуту остановился я послушать шум Куры, полюбоваться быстротою волн, стесненных выступами береговых утесов, подышать свежим воздухом. Но на мосту показалось мне еще жарче, чем на улице; казалось, деревянный мост готов был подо мною вспыхнуть: так было горячо подошвам. По синему небу не проносилось ни одного облака. Ветер, который изредка поднимал пыль, вероятно, зарождался где-нибудь поблизости в ущельях, раскаленных солнцем, и не давал прохлады.

На Майдане {Майдан -- татарская базар-

ная площадь. (Прим. авт.))} было довольно пусто; кучки азиатов сидели на бурках, в тени домов, или стояли на тротуарах, под холстинными навесами. Запах копченой рыбы, нефти, шафрану, мыла и сальных свечей попеременно услаждал мое обоняние. Бакалейщики {Бакалейщик -- продавец овощей и фруктов. (Прим. авт.))} выливали на мостовую воду, в которой полоскали пыльную зелень и овощи, дабы полуденный жар их не высушил.

На Армянской улице мне пришла в голову мысль отдохнуть в табачной лавочке.

Забравшись под низенький холстинный навес, я кивнул головой табачному продавцу, вероятно арзерумскому или трапезонтскому турку, пасмурному на вид, желтому, как шафран, и толстому, как бурдюк В коричневой куртке, вышитой черными шнурами, и в чалме, он сидел на широком чистом прилавке, свернувши ноги так, что один только полосатый носок выглядывал из-под складок широких шаравар, и лениво покуривал трубку с янтарным мундштуком.

-- Здравствуй! -- сказал я турку.

-- Здравствуй,-- отвечал он мне сонным

голосом, и струйка дыму заволокла усы его.

-- Есть хороший табак?

-- Есть.

-- Хороший?

-- Дурной нет.

Я уселся подле него на прилавке, свесил ноги на улицу, снял фуражку и вытер лоб.

Купец молча предложил мне трубку, я молча взял ее и стал курить... Глаза его, черные и в то же время тусклые, как будто сквозь сон посматривали на меня с выражением совершенного равнодушия к моему присутствию.

Под навесом лавочки было так уютно и до того сносно жарко, что я готов был просидеть в ней до самого вечера.

На улице народу было мало; в жаркие дни тифлисская жизнь обыкновенно кипит или рано утром, или вечером; с полудня же до пяти часов едут и идут только из крайней необходимости. Против меня, на противоположном тротуаре, сидел нищий старик, сухой, длиннобородый и седой как лунь; голова была покрыта войлочной пыльной шапкой. Старик на проходящих не обращал ровно ни-

какого внимания и, как философ, весь был погружен в рассматривание своих собственных лохмотьев, скудно прикрывающих наготу его. Возле этого почтенного старца, упираясь головой в какой-то мешок, на голых, солнцем раскаленных кирпичах лежал мальчик, лет восьми; его била лихорадка: он дрожал и беспрестанно закрывал затылок своей коротенькой буркой; у обнаженных, посинелых ног его лежала косматая баранья шапка, из которой торчал заржавленный кинжал и кусок арбуза.

-- Как жарко! -- сказал я невольно вслух, всмотревшись в живописную группу нищих.

-- Гм! да!.. жарко,-- отозвался турок.

-- Правда ли, что здесь иногда в простом народе от лихорадки лечатся арбузами?

Купец или не понял меня, или не расслышал. -- Да,-- сказал он, после некоторого молчания,-- арбуз хорошо, и дыня хорошо...

-- Хорошо!.. отвесь же мне фунт хорошего табаку.

Турок потянул было ноги, чтоб пристать, вероятно для того, чтобы взять весы, но опять уселся; вставать ему решительно не

хотелось. Одной рукой стащил он с полки лист оберточной бумаги, другую погрузил в табак, насыпанный кучей. Две таких кучи, одна желто-коричневая, другая коричнево-желтая, возвышались тут же, на прилавке, в тесном пространстве между хозяином и его посетителем.

-- Что, любишь крепкий?.. А?

-- Люблю.

Турок свернул бумагу в трубочку и положил туда несколько горстей табаку, всякий раз захватывая его таким образом, что желтые, ароматические нити его со всех сторон висели и тянулись между толстыми, широко раздвинутыми пальцами.

-- На! -- сказал он после пятой горсти, -- фунт! Больше будет, сам мерь.

Завернул и подал.

Я очень хорошо понял, что если стану приставать к нему то нарушу кейф его. Честный турок, однако ж, подумал, что я сомневаюсь в нем, взял еще две горсти и забил в бумагу.

Я сказал, что тут больше фунта и что я не хочу больше.

-- Ничего. Ты знаком человек -- ты меня не знай -- я тебя знай,-- отвечал он, делая жест рукой и как бы выражая этим жестом следующее: я покоен, будь же, пожалуйста, и ты покоен; курю, и ты кури; я молчу, и ты молчи.

-- Что же стоит фунт?

-- Два абас.

Я отдал деньги и продолжал сидеть, жалея о тех, которых судьба, в такой нестерпимый жар, заставила идти по улице. Вдруг вижу, трое мушей {Муши -- особый класс людей в Тифлисе, занимающихся по найму переноскою вещей. (Прим. авт.)} несут чьи-то пожитки.

Мебелью, которая качалась на их согнутых спинах можно было бы превосходно убрать целую комнату. Крупный пот катился по коричневым от загара суровым лицам их и в буквальном смысле слова капал на мостовую... Казалось, они только что вылезли из бани Как теперь помню, на одном из них вся одежда состоя, на из грязных шаровар и истертой куртки, без обшлагов и пуговиц. На всклокоченных черных и пыльных волосах его едва держалась, подвязанная у подбород-

ка, плоская имеретинская шапочка.

Нужна большая привычка, чтоб решиться в такой жар тащить такую тяжесть. Не скажу, чтоб они, то есть муши, показались мне страдальцами, но мысленно я бранил того господина, который нанял их в такое время; отчего бы, думал я, не погодить ему до вечера!

Муши прошли, и вслед за ними явился страдалец в полном смысле слова. Это был человек довольно прилично одетый, низенький, худой, неловкий и бессильный; обе руки его были заняты: в одной он нес четыре чубука, в другой ружье. Это бы еще не велика беда, но у него под мышками был с одной стороны какой-то ящик, с другой -- мешок с сапогами; то мешок, то ящик ежеминутно готовы были выскользнуть! Потное лицо его делало такие жалкие гримасы, что я едва мог узнать его.

-- Филат! -- закричал я, соскользнув с прилавка и вставая на ноги.

Филат узнал меня и был в страшном затруднении, как ему снять картуз; он сделал пресмешное усилие -- поднять одну руку и в

то же время наклонить к ней голову.

-- Филат! Сделай милость, не хлопочи кланяться; скажи только, ради бога, неужели это твой барин переменял квартиру?

-- Барин-с.

-- Что это ему вздумалось в такой жар? Ты бы лучше взял ружье-то в одну руку с чубуками -- вот так,-- а ящички-то возьми вот этак.

-- Как?

-- Да, вот этак, братец! Легче нести... Да скажи, пожалуйста, где это твой барин совсем пропал -- нигде не видать его. Куда это вы перебираетесь?

-- В такое место, что сказать совестно, просто клетушка, а не квартира.

-- Гм! Как это странно!.. Постой немного, я сейчас напишу к нему записку.

Тут я достал в кармане карандаш и клочок бумаги, вошел в лавочку и написал:

"Хвилькин! чудак! где ты пропадаешь? куда перебираешься? Приходи ко мне непременно; завтра воскресенье, и я не пойду в канцелярию. Прощай".

-- На, отдай Михаилу Ивановичу!--сказал

я Филату, который кричал в это время мушам, чтоб они его погодили.

-- Дороги не знают, а лезут! -- говорил он с явным неудовольствием.

Я положил записку в его шапку и сказал, что я сам навещу его барина.

-- А как вы найдете нашу квартиру? Приходите сами, мне сказывать не велено,-- уныло проговорил Филат и пошел, шагая во всю длину коротких, жиденских ног своих, догонять мушей.

"Ба,-- подумал я,-- что это за таинственность! постой же, Хвилькин, мы тебя отроем".

II

Через неделю я узнал, где живет Михаил Иванович. Но, быть может, вам угодно знать, кто такой Михаил Иванович? -- Это, имею честь рекомендовать вам, был предобрый, пресмешной и премилый малый. Всего только два месяца, как он приехал в Тифлис с намерением найти себе какое-нибудь место, без всякого намерения когда-нибудь получить его. Хвилькин приехал с деньгами, мог уго-

стить шампанским с полдюжины приятелей, порядочно играл в преферанс, и наша молодежь сочла за нужное с ним сойтись и познакомиться.

Хвилькин был очень простой и в то же время какой-то мудреный человек. Не знаю, удастся ли мне хоть сколько-нибудь рельефно очертить его. В этом человеке, на первый взгляд, ничего не было рельефного. Все было на нем чинно, гладко, бледно и умеренно. Лицом он был не дурен и далеко не хорош. Оно было бесцветно; отлетающая молодость поспешила наложить на нем никем не видимое, но всем понятное, прощальное клеймо свое. Ему было на вид около тридцати лет, глаза его, болотного цвета, никогда почти не изменяли своего апатического выражения, зато маленькие светло-русые бровки нередко поднимались кверху, причем все морщины на лбу его приходили слегка в волнообразное движение; рот его также отличался необыкновенной подвижностью; каждый свой рассказ он умел, так сказать, характеризовать гримасой. Никто, быть может, не умел так неожиданно сделать глупо-равнодушной ми-

ны после им самим же сказанной остроты. Друзья называли его. чудаком, и, бог знает почему, нередко одно его появление заставляло всю нашу холостую компанию восклицать, трунить, вызывать на смех и громко хохотать от каждого его слова. Хвилькин потешал нас; он как нельзя лучше понимал роль свою, и, нисколько не теряя своего достоинства, старался ее поддерживать. Хвилькин был совершенно спокоен, когда все смеялись, и постоянно корчил улыбку, встречаясь с угрюмыми или просто молчаливыми лицами.

Одевался он не лучше и не хуже других. Днем соломенный картуз, вечером круглая черная шляпа и светло-гороховое пальто нисколько не отличали от других его невысокое и необъемистое туловище. Хвилькин был небольшого роста, и в умственном отношении умел казаться во плечу всем и каждому. Никто не хотел в нем видеть человека, на что-нибудь способного, и в этом, быть может, заключалась тайна, отчего никто серьезно не бранил его. Хвилькин сам никуда не совался и ни от чего не отказывался -- ни от попойки, ни от нового знакомства, ни даже от щепотки

табаку, если только кому-нибудь вздумалось поднести к нему раскрытую табакерку. Одна очень умная барыня уверяла меня, что лицо г-на Хвилькина лучшее лекарство от скуки и что чем он печальнее, тем веселее тому, кто на него глядит. Прошу покорно описать, такую физиономию!.. Очень веселым я никогда не видал его, точно так же, как ни разу не случилось мне видеть его сердитым: человек его, Филат, разбил у него кружку, пролил на стол чернила, забыл взять сухарей у хлебника, и Хвилькин преравнодушно говорил ему: ты очень глуп! или: что будет, если этими чернилами да вымажут лицо твое!

Прошедшая жизнь Михаила Ивановича для меня была покрыта мраком неизвестности, но я скоро сошелся с ним и полюбил его. Каждый считал его глупее себя, а он был умнее многих. Я это понял потому только, что выучился понимать движение губ и бровей его. В его тонких гримасах заключалась вся его философия. Хвилькин казался воплощенной беспечностью, но втихомолку любил не то грустить, не то размышлять о суете мира сего. "Гм! да!-- говорил он тогда, уставя на ме-

ня мутно-голубые глаза свои,— и я глуп, и все мы глупы. Живи, как живется, вот тебе и вся твоя философия!" Никто из нас не мог вообразить себе Хвилькина человеком разочарованным, и никто не мог себе вообразить его влюбленным. При мне один господин спросил его: правда ли, говорят, такая-то, тебе очень нравится?

-- Да,— отвечал он,— она вчера мне нравилась.

-- Ты и третьего дня за ней особенно ухаживал.

-- Как ухаживал?

-- Да ты смешил ее.

-- Да я и сам не знаю, чему она смеялась?

-- Она к тебе равнодушна.

-- А почему ты знаешь?

-- Я заметил.

-- Ну, и поздравляю тебя с твоим замечанием.

Одного только я не понимал в Михаиле Ивановиче,— зачем он приехал в Грузию! Что это была за фантазия? Хвилькин никого не уверял, что он приехал изучать нравы, видеть край, делать разные ученые или коммер-

ческие соображения; не говорил, что он влюблен в природу, не готовил себя ни в живописцы, ни в статистики. Он просто говорил: "Я приехал потому, что мне так вздумалось", а почему ему так вздумалось, кто его ведаёт: чужая душа потемки. Без всяких претензий глубоко понимать характеры, на этот раз расскажу вам просто небольшую повесть о том, в кого наконец влюбился Хвилькин и что из этого вышло.

Целую неделю я не встречался с ним, после нечаянной встречи с его Филатом. Наконец встретил, и то не его -- а Филата же. Поймай, говорю, ты теперь не уйдешь от меня, теперь, брат, не так жарко; кажи дорогу, веди меня к твоему барину, или я не отстану от тебя до самой полночи.

III

Уже заря золотила облака и приближались сумерки; но... еще не время утомлять вас описанием прекрасного летнего вечера. Я еще не восхищался им, во-первых, потому, что было душно; во-вторых, потому, что в тех

закоулках, куда я последовал за Филатом, была постоянная вонь, и, наконец, в-третьих, потому, что я поднимался на гору, беспрестанно поворачивая то направо, то налево, по тропинкам, ведущим с кровли на кровлю. У Филата лицо на этот раз, более нежели когда-нибудь искусанное мошками, так лоснилось, как будто он вымазал его постным маслом. Филат, как кажется, страдал за барина и печальным голосом сказал мне: "Пожалуйста!" По доскам, укрепленным в виде лестницы, между двумя грязными кирпичными стенами, взобрался я на плоскую квадратную земляную кровлю, которая служила террасой другому домику, примкнувшему задней стеной своей к обрыву той самой горы, на которой возвышаются всем известные в Тифлисе развалины.

На террасе был разостлан персидский ковер и стояли покойные кресла. Хвилькин тут! подумал я и низенькой дверью вошел к нему в комнату.

Хвилькин лежал в это время на диване, в красных канаусовых шальварах и в желтой шелковой рубашке. Когда я вошел, он поднял

брови и сказал мне: "Здравствуй! Что тебе надобно?"

-- Что мне надобно? Так-то ты встречаешь своих приятелей!

-- Гм! приятель! Ну, сделай милость, не смеши! Тебе, может быть, трубки хочется?

-- Трубки? Не хочу я трубки!

-- Чего ж тебе хочется? А?

-- Мне хочется разбранить тебя хорошенько, чтоб ты не делал глупостей.

-- Гм! разбранить! Сделай милость, отложи это до другого времени.

-- Где ты пропадал?

-- Не смеши! Скажи лучше, как ты нашел меня?

Тут, не отвечая на вопрос, я начал, по праву приятельства, его допрашивать: зачем, дескать, такую прекрасную, такую удобную квартиру, в лучшей части города, променял он на какую-то лачужку, состоящую из одной только комнаты, низенькой, душной, темной-претемной, с прескверными двумя-окошками и, что всего хуже, вероятно, с скорпионами; потом упрекнул его за то, что он совершенно забыл наше общество.

-- Гм! Да тебе-то какое дело? Ты-то что? -- отвечал Хвилькин, глядя в потолок.-- Я от приятелей-то и спрятался. Ну, да видно, от них на дне морском не спрячешься, и там найдут! Экой народ эти приятели! Собаки да и только!

-- Так ты, варвар, стало быть, и не рад, что я зашел к тебе?

-- Да ведь ты и сам не рад! Тебя здесь скорпион укусит, ну, что из этого выйдет -- сам посуди.

Спорить с Хвилькиным было напрасно, а вздорить глупо, потому что намек его на приятелей был действительно справедлив, и мне вовсе не хотелось своей придирчивостью обнаружить в себе желание, свойственное вообще всем приятелям,-- желание замечать, руководить, советовать и неисполнение таких советов принимать за личное оскорбление.

-- Хвилькин, -- сказал я, совершенно изменяя тон разговора, -- что за великодушные! Полно бояться за мою безопасность, по случаю скорпионов. Ты не рад моему приходу, при всем желании обнять меня; ты видишь, ты должен видеть наконец, что, не боясь выпач-

каться себе платья или ногу сломать, я пришел к тебе, отыскал тебя, навел на тебя!

-- Пришел, отыскал, навел! хорошо сказано! -- пробормотал мой Хвилькин: -- очень хорошо! Я тебе за это велю трубку набить. Филат! набей ему трубку.

-- Вот добрый хозяин! Дай же мне руку по крайней мере.

-- На -- хоть обе, на! -- сказал он, вставая с дивана и подавая руки. -- На! радуйся!

-- Ей-богу, я рад, что нашел тебя.

-- Ну, не божись. Пойдем на чистый воздух; возьми стул, вынесем стол и будем наслаждаться, курить, болтать и тому подобное... Пусти только -- я оденусь.

-- Зачем одеваться, и так жарко!

-- Да пусти хоть туфли-то надеть по крайней мере!

Тут я взял одной рукой трубку, раскуренную Филатом, а другою поднял стул и боком вынес его на кровлю.

IV

Терраса Хвилькина служила кровлей до-

мику, еще ниже построенному, или, лучше сказать, плоская кровля нижнего домика служила террасой... Кругом ее не было никакой решетки, и спуск был единственный по доскам, о которых выше упомянуто. Вид с этого места был удивительный, и не потому только, что мне пришлось его описывать, а потому что действительно, он был удивительный. Вообразите, почти весь противоположными берег Куры, до самого Навтлуга, перед глазами. Ярко освещенный заходящим солнцем, весь этот берег казался мне, начиная с белых стен Метеха, великолепной рамой картины, возможной только в Тифлисе и еще -- не знаю где.

Вправо от банного моста, из-за плоских кровель и неуклюжих труб, серых и пестрых стен, деревянных, со всех сторон к ним при-мыкающих галерей и точеных столбиков, светилась полоса Куры и зеленели непроглядные виноградники. Хребет горы, увенчанный полуразрушенными башнями, со стороны ботанического сада, покрывал их своею длинною, неровною тенью, и прозрачный пар висел над ущельем, где по каменистому ложу

скачут и льются горячие источники. Неподвижно стояли в садах темные, пирамидальные тополи, вытянувшись кверху, и как будто желая достать на воздухе все выше и выше поднимающийся блеск вечернего солнца.

Воздух был тих; город еще не спал. Над Авлабаром, как дым, поднималась пыль; группы женщин появлялись на кровлях, и со всех сторон раздавались звонкие голоса, детский плач, веселый звук дайры {Дайра -- бубен. (Прим. авт.)} и отдаленный топот пляски...

Хороший был вид! Но никакой вид не мог помирить меня со всеми неудобствами новой квартиры моего приятеля. Он медлил выходить из своей берлоги, и я, продолжая наблюдать ее окрестности, наконец перестал блуждать по отдаленным точкам и навел свое внимание на предметы самые ближайшие.

Первый предмет, который попался мне на глаза -- это была женщина; она вышла на соседнюю кровлю; угол этой кровли приходился против того угла, на котором я стоял в созерцательном положении.

Женщина, как и все женщины в этой части города, была в национальном костюме. Легкий белый тюль, как млечный туман, окружал ее голову и вместе с длинными, черными как смоль косами ниспадал во всю длину спины ее живописными складками. Простое синее платье, опоясанное красной лентой, обрисовывало высокий, стройный стан ее; черты лица были необычайно нежны, свежи и правильны; каждое движение было просто и благородно. Я стал наблюдать за ней -- но она не обратила на меня никакого внимания, только искоса бросила на меня любопытный взгляд, как бы желала удостовериться, люблюсь ли я красотой ее.

В моем уме зашевелилась догадка.

-- Михаил Иванович,-- сказал я,-- пооди сюда,

-- Сейчас.

Хвилькин вышел в новом архалукe -- и прекрасный янтарный мундштук дымился в руке его.

-- Поздравляю тебя с обновой! Давно ли ты сшил этот архалук?

-- Недавно... Филат, ставь самовар. Ну, что

ты звал меня? а?

-- Посмотри, как хороша эта женщина.

-- Где? -- И он поднял лицо свое выше и стал глядеть гораздо дальше, чем следует.

-- Если ты не видишь, я буду приходить сюда любоваться.

-- Пошел! Где тебе! Смешишь! -- отвечал он, сопровождая слова свои легким, принужденным смехом.

-- Ну, вот увидишь!

-- Право, смешишь!

-- Я говорю.

-- Да про кого же ты говоришь? покажи! --

И он поднял свои маленькие брови.

Я показал ему.

-- А! Знаю, видел.

-- Какова!

-- Видел! Филат, вынеси стол и все приготовь как следует -- да, пожалуйста, нельзя ли так сделать, чтобы чай был без грязи. Вода отстоялась ли, а?

-- С утра стоит,-- отвечал Филат и пошел за углями.

"Знаю, знаю, видел, видел", и несколько таких ненужных повторений, с явным намерением замять разговор о соседке, заставили меня сильно подозревать г. Хвилькина. Солнце уже село; поднимался месяц -- и тихий лампадный свет его, увлажненный парами ночи, преображал весь город, засыпающий на каменных холмах, в какое-то прекрасное фантастическое видение. Костры на окрестных горах, огни на Авлабаре, шум Куры, напоминающий шум столицы, когда, бывало, ночью откроешь окно и слушаешь; белые куполы горячих серных бань, темные тополи, теплый, неподвижный воздух, ясное ночное небо, звезды, месяц -- все это вместе было в таком гармоническом согласии, так хорошо, что остаться бы на кровле у Хвилькина, да и сидеть бы там целый век, если б только целый век могла продолжаться такая ночь. Но что я говорю? Трудно отдать отчет в своих желаниях, когда душе весело и уютно в груди человека; а между тем ей хочется вырваться на волю и улететь, искать чего-то и молиться там, а не здесь, но где же там? Кто ее ведает! Я по-

нял, что глубоко почувствовать красоту грузинской ночи и задремать душою для европейца нет возможности; им тотчас овладевает какая-то жажда, томительная, ему самому непонятная, жажда любви, возврата на родину, далекого пути или хоть обмена накопившихся впечатлений.

Хвилькин, усевшись в креслах, был молчалив и, казалось, напрасно искал в голове своей определенной мысли или определенно-го чувства.

Самовар начинал запевать, и красное пламя, которое поднималось иногда вверх из самоварной трубы, как бы желая поцеловать Филата в губы за его усердие, по временам на несколько минут освещало кровлю ' и некрасивое, но по своей оригинальности привлекательное лицо моего приятеля. Оно на этот раз, казалось, совершенно утратило свое насмешливо-плаксивое выражение, и ему, по видимому, хотелось сообщить мне что-то очень важное, и в то же время не хотелось насмешить меня.

На соседнюю кровлю вышла другая женщина, быть может, девушка, веселая, говор-

ливая, но ее разговорчивость прошла, и обе они стали блуждать по кровле, как будто ища удобного спуска, чтобы сойти с нее. Наконец первая из них стала на угол и наклонила голову, как бы, вслушиваясь в отдаленные звуки зурны. Та же ночь одевала ее своим туманным флером, тот же самый месяц придавал особенную чистоту и белизну ее откинутому покрывалу.

-- Ну, не рай ли здесь! -- сказал Михаил Иванович. -- Брани меня, что я забрался сюда. Рассказать ли тебе, как я сюда переехал? Это смешно; забавный случай! -- И он стал рассказывать, но из его рассказа не вышло ничего, смешного, никакого забавного случая, несмотря на всю его способность смешить.

-- Полно дурачить меня, -- сказал я очень серьезно. -- Ты просто влюблен здесь в кого-нибудь! Иначе я не могу понять твоей фантазии переехать в эту часть города. Ночь везде хороша, и здесь и там: у московской заставы точно так же любят эту ночью, как и мы с тобой у банных ворот. Не надувай меня.

-- Смешит! Отчего мне не надувать тебя, если я часто сам себя надуваю?

-- Это какими судьбами?! По-моему, ты менее, нежели кто-нибудь, способен себя обманывать.

-- Ну, если точно, я, по-твоему, не способен себя обманывать, ты прав, я влюблен.

-- Ты?

Пока Хвилькин не говорил мне ни слова, я был уверен, что он влюблен; а сказал Хвилькин, и мне стало не вериться.

-- В кого же?

-- В кого? Да вот в нее же, в эту самую женщину; она стоит от нас в пяти саженьях. Чудак, чему же ты смеешься? Если б ты всмотрелся в черты лица ее, ты бы сказал, что нет возможности, чтобы лицо женщины было прекраснее.

-- Послушай,-- сказал я,-- что ж из этого будет, что ты влюблен! В ней ничего и нет, кроме наружности.

-- А почему ты знаешь, молчи!-- перебил он в досадою. -- И сделай милость, не рассуждай. Я люблюсь ею каждый день и не могу найти в ней ничего такого, что бы мне не нравилось, и сам прихожу в отчаяние, что не могу найти в ней ничего, кроме истинно пре-

красного... Или я слеп, или... поживу здесь несколько еще недель и посмотрю, что будет.

-- Ты с ней не говорил ни слова?

-- Не смейся, пожалуйста! Я ни слова по-грузински, она ни слова по-русски. Сделай милость, поговори после этого!

-- Ты знаешь, как зовут ее?

-- Кажется, Майя, а впрочем, не знаю.

-- Ага! Ты уже и имя успел узнать! Майя!

Увы, я, верно, слишком громко произнес это имя: соседки оглянулись, и через минуту на соседней кровле не было уже никого, кроме кирпичной трубы, с одной стороны побелевшей от лучей месяца, а другой стороны темной, как одежда схимника.

VI

Месяц и звезды светили по-прежнему, но потухали огни за Курой, и шум реки становился слышнее посреди всеобщего безмолвия. Тепла была ночь; но уже давно остыли наши стаканы с чаем; потухший самовар перестал пицать и, покинутый Филатом, грустно стоял у двери, как единственный страж

квартиры, быть может, единственной по своим неудобствам. Не стану припоминать всего, что было переговорено нами в этот вечер: Хвилькин говорил мало, был в каком-то странном расположении духа и ни в чем почти со мной не соглашался.

Часу в двенадцатом я простился с ним, пожелав ему успеха...

На прощание Хвилькин дал мне совет -- взять провожатым Филата, причем было объяснено, где мне искать его, и когда приду домой, велеть получше вытереть сапоги свои.

Осторожно спустился я по доскам на площадку, которая служила перекрестком двух узеньких тропинок; тут, налево, увидел я низенькую дверь; она вела в саклю или чулан с престранными перегородками. В дверях показался Филат.

-- Что ты делаешь? -- спросил я Филата, заметив через плечо его, на прилавке, свечу, бумагу и чернильницу.

-- Ничего-с, -- отвечал Филат,

-- Отчего ты такой скучный?

-- Да так-с, я ничего.

-- У тебя славная передняя.

-- Дай бог всегда такую переднюю! -- отвечал он иронически.

-- А можешь ты проводить меня до первой улицы? Я боюсь забрести на чужой двор. Как ты думаешь?

-- Можно.

-- Что можно?

-- Можно и на чужой двор забрести и ногу переломить, все можно.

-- А проводить меня?.. Как ты думаешь...

-- Можно-с, я сейчас только схожу к барину наверх.

Филат ушел, а я тем временем уселся в его конуре... Спать мне не хотелось, и я попытствовал прочесть его каракули. Это было письмо; я помню его содержание, потому что оно меня тронуло.

Вот оно.

"Милостивому государю батюшке (такому-то) низжайше кланяюсь, милостивой государыне родной матушке низжайше кланяюсь. Слава богу, по милости божьей вашими молитвами жив и благополучен, чего и вам желаю, и прошу вашего родительского благословения, оно же вовеки ненарушимое. Писал

вам из города Ставрополя, ответа не получал. Плачу и молюсь Денно и ночью. На чужой стороне все не то, что дома.

В Тифлисе и лавки есть, и ширманка ходит, а все скуй но. Живем мы, слава богу, в какой-то клетке, на горе ни переулка, ни улицы, ни забора, ни кровли, ходи как знаешь; от пыли и жара места нет. Воду возят в кожаных мешках на лошади, по гривеннику мешок -- дороже пряников. Ходят здесь не по-нашему. Ржаного хлеба ни крошки, квасу также не спрашивай. Пей вино -- опьянеешь; а не пей -- от жажды измучишься. Квартира у нас, слава богу, хорошая, барин нашел такую что и в Тифлисе другой нет, -- конура собачья".

VII

Письмо Филата, быть может, давно уже летело на перекладных, в почтовом чемодане, и Филат с тех пор, быть может, решил уже утолить жажду свою дешевым грузинским вином; но все это может быть. Я знаю только то, и знаю несомненно, что небольшой кружок тифлисских моих приятелей за-

метил наконец отсутствие Хвилькина. Вообразили, что Миша Хвилькин не вынес летних жаров и, как человек свободный, переехал куда-нибудь в прохладные окрестности. Я молчал и моей скромностью рано или поздно думал приобрести его доверенность. Трудно было понять, скрываясь в собачьей конуре, -- как выразился Филат, -- боится ли он наших толков или просто не хочет, чтоб кто-нибудь на этот раз мешал ему. Чего доброго, как раз явятся соперники! Странная любовь к какой-то армянке, несомненно, должна была сделать кое-какие преобразования в его характере. Бог с ним! -- думал я, зачем нам мешать ему! Наша болтовня, карты, обеды и ужины не дадут ему никаких воспоминаний о Грузии. Пускай влюбляется! Хоть и смешно, но все же лучше.

Прошло сколько-то дней; после обеда я сидел в клубе и, по обыкновению, читал за-поздалые газеты; человек десять еще сидело за столом; иные еще стучали ножами, другие допивали последние капли кахетинского вина и закуривали папиросы. Вдруг слышу восклицания; смех немножко искусственный, то

есть попросту не совсем чистосердечный смех и расспросы самые приятельские.

-- А! Хвилькин! Где пропал? Откуда? Верховом или в коляске с Мирикризой?.. Правда ли, что ты выиграл китайский халат и четырнадцать умывальников?

На все эти расспросы и возгласы Хвилькин только поглядывал да руки протягивал, не успев стащить перчаток. Поднял кверху свои маленькие брови, сморщил лоб и рот разинул...

-- Постой! -- наконец заговорил он, приходя в себя -- Постой, дружба после, а теперь обедать, я как собака голоден!

-- Да где ты живешь теперь? В Манглисе, или на Белом ключе, или...

-- Не скажу, где живу! Ну... вот, не скажу!

-- Где ты все это время обедал?-- спросил я Хвилькина, усевшись около него, верхом на стуле.

-- На Песках, в гостинице Зальцмана.

-- Неужели обед там лучше?

-- Нет, не лучше; да мне хотелось там обедать, ну, вот я там и обедал; где мне кажется лучше, там и лучше... Не мешай мне есть, я

хочу пить.

Все захохотали, и компания оживилась. Одному из нас, известному под именем Дон-Педро, пришла в голову мысль придраться к какому-нибудь случаю, чтоб поставить бутылку шампанского.

Хвилькин понял его и сказал, что он на новой квартире и что не худо бы выпить; вследствие чего потребовал себе еще порцию говядины.

-- С новосельем! -- закричал Дон-Педро и велел поставить в лед бутылку шампанского, причем один толстенный румяный человек, в золотых очках, залился звонким, насмешливым хохотом.

Обед приходил к концу; лакеи раскрывали ломберные столы; из бильярдной комнаты раздалось первое столкновение костяных шаров; "три и ничего!" -- прокричал маркер; на улице шарманка заиграла какой-то вальс. Хвилькин велел подать другую бутылку шампанского.

Вечером того же дня все мы собирались ехать пить чай за город, в виноградный сад к купцу Бакауру, и стали просить Хвилькина

не отставать от нас.

Хвилькин сказал нам, что так и быть, он потешит нас, что чего другого мы от него не дождемся, а поехать, пожалуй, он поедет!

Мы отправились все вместе, гурьбой; Хвилькина я посадил к себе на дрожки. По дороге подрядил он себе другого извозчика и велел ему за нами же следовать.

-- Ведь я везу тебя! На что же тебе другой извозчик? -- сказал я ему.

-- А пусть едет! Ему делать нечего, так пусть прогуляется, -- отвечал Хвилькин.

VIII

Так как я пишу не повесть, а рассказ, то надеюсь, читатели мои не будут слишком взыскательны и не упрекнут меня за ненужные отступления. Мне диктует память, и я пишу, как пишется, не вдаваясь ни в какие художественные соображения.

-- Милостэ просем! -- сказал нам хозяин сада, снял грузинскую шапку и в знак почтения отнес ее немного в сторону. Хозяин был человек бывалый, помнил старое время и лю-

бил нас. Сам соблюдал все грузинские обычаи, а детей учиться отдал в гимназию. Судя по чертам лица его, нельзя было сомневаться в его смышленности. Улыбнувшись необычайно сладкой улыбкой, он замахал своими откидными рукавами, зашелестел своими шароварами и с видом заботливости, с явным желанием распорядиться, на целые полчаса ушел от нас.

Мы остались полными хозяевами вертограда и разбрелись в тени виноградных куртин отыскивать зрелые ягоды среди еще незрелых, зеленоватых гроздий.

Теплый ветер шелестил разогретыми на солнце виноградными листьями, и мы дышали запахом уже опадающих махровых роз.

Я знал, что недаром от нас ушел хозяин. Принесли большой ковер и разостлали его в тени двух огромных грецких орешников. Положили нам мутаки, то есть подушки, в виде мягких вальков, и мы, из приличия, снявши галстуки, разлеглись, как султаны.

Через полчаса мы опять услышали тот же голос: милостэ просем! -- и хозяин явился в сопровождении огромного подноса со стаканам-

ми разлитого чаю. Каждому из нас дали по чубуку в руки, и мы были счастливы.

Общая болтовня не мешала мне любоваться пурпуром и торжественностью заходящего солнца; уже края его касались вершины гор,*но до берегов Куры еще не достигла широко подвигающаяся лиловая тень вечера. По листовенным верхушкам сада еще бегали золотые искорки; белая гладкая стена небольшой загородной старинной церкви сияла тонко-розовым, нежным, неуловим^о нежным блеском. Прилегая головой к ковру, я видел, как мелькала эта стена за низенькой оградой и как промеж узловатых виноградных лоз ясно вырезывались на ней фигуры наших извозчиков, стоявших в совершенной тени, на луговинке, за калиткой сада. Хвилькин поглядывал на часы да рассказывал разные анекдоты. Все смеялись. Я думал.

Этот нелепый человек в нашей компании совсем другой, совсем не тот, каким, например, я видел его у себя дома, в архалуке, на земляной террасе. Кто, глядя на него, подумает, что он способен влюбляться? А ведь, кажется, весь нараспашку! Или, влюбившись,

он первый понял, что это как-то совсем нейдет к его комическому лицу; и кто знает, быть может, он затем и прилетел сюда, чтоб под новым ясным небом, под другим жарким солнцем искать того, чего не нашел на севере...

Часу в девятом вечера хозяин сада повел нас в маран (здание, где делают и хранят вино); там приказал он садовникам вскрыть еще засыпанный землю, еще девственный кувшин никем еще не возмущенного вина и, по снятии деревянным ковшом пены и заплесневелой накипи, первый погрузил и за наше здоровье духом выпил полную серебряную азарпешу {Азарпеша -- плоскодонная чашка с длинной рукояткой. (Прим. авт.)}. Когда мы все поочередно стали подносить к губам эту круговую грузинскую чашу, оказалось, что Хвилькин исчез из сада. Понял я, для чего он нанял лишнего извозчика, и, не отставая от прочих, порядочно побранил его.

IX

Часов до одиннадцати ночи пировал я в

саду у гостеприимного Бакаурова; в голове моей слегка шумело, когда я возвращался домой; руки мои лениво слушались, когда я повязывал галстук; жаркие мечты, странные предположения далеко отогнали от меня и сон и даже желание поскорей вернуться домой и отдохнуть в постели. С полдороги я отпустил извозчика и, расстегнувши жилет, пошел себе без определенной цели, с горы на гору, по закоулкам старого Тифлиса. Луна закатилась, ночь была темна, ворота, ставни и двери были заперты, небо, мутно-темное, было усыпано звездами; но на юге, в жаркие, душные ночи, звезды как будто уходят выше, подальше от земли и едва мелькают. Наши северные звезды гораздо ярче, но зато наш гиперборейский месяц -- далеко не южный. Я в эту ночь несколько раз принимался его отыскивать. Передо мной с одной стороны поднимались как уголь черные массы стен; с другой открывалось синее воздушное пространство, на котором рисовались очерки труб, кирпичных квадратов и усеченных треугольников. Темная теплая ночь к полуночи стала до того тиха, что я слышал шорох -- но что это было

такое? Ящерицы ли пугливо бегали по трещинам неровных, стародавних стен или женщина тихонько раздевалась и, снимая шелковое платье, сбиралась у родной трубы, на плоской кровле, лечь на пыльный матрац и заснуть под открытым небом. Нервы мои тихо вздрагивали: мне чудилось, кто-то стонал и жарко бредил посреди всеобщего молчания; помню, шагах в десяти от меня, окруженное мраком и таинственностью, светилось какое-то окошечко; помню, розовая занавеска долго дразнила и бесила меня, но почему и отчего? -- не помню.

Вдруг пришла мне в голову мысль... показалось мне, что не далеко до обиталища моего друга -- Хвилькина; смело решил я одолеть все препятствия и удостовериться, спит ли он. Вспомнил я, что он так изменнически покинул нас в саду Бакаурова, и не то рассердился я, не то захотелось мне в эту ночь обнять его и до утра с ним побеседовать. Пускай спит -- не беда, если я разбужу его. С этой мыслью я до тех пор блуждал, лазил, спотыкался, пугал собак и щупал ногами землю, чтоб не провалиться в трубу или не очутить-

ся на чужом дворе, пока действительно не отыскал досок между двух стен, по которым я и взобрался на террасу. Признаюсь, я все еще сомневался, туда ли я лезу, и не без некоторого волнения остановился перед маленькой дверью знакомой комнатки.

-- Хвилькин, дома ли ты? Можно ли мне войти к тебе? -- проговорил я с досадой на самого себя.

Дверь была настежь отворена; передо мной в неясном, красноватом сумраке неподвижно сияло голубоватое пламя свечи.

Никто изнутри не отозвался мне. Верно, спит... подумал я. Войду; если б нельзя было войти, уж конечно, дверь не была бы настежь. Я вошел.

Хвилькин, заложа руки за голову, вытянувшись, лежал на спине, как мертвый, и смотрел в потолок; он был бледен; тень от носа его лежала на лбу в виде треугольника, губы его были плотно сжаты, волосы, в беспорядке поднимаясь кверху, совершенно обнажали широкие, неровные виски его. Я испугался; но, увидавши меня, он сделал гримасу и посмотрел на меня вопросительно. Тут я

убедился, что Хвилькин жив, взял его за руку и спросил, здоров ли он.

-- Здоров. А что?

-- Ну, так пьян.

-- Может быть.

-- Отчего же ты не спишь?

-- Отчего же, братец, ты не спишь?

-- Мне хотелось навестить тебя.

-- Удивительно! Не смеши, пожалуйста.

-- Я сейчас только из сада Бакауровых.

-- Ну, так что ж, что ты из сада Бакауровых!

И он опять посмотрел на меня вопросительно, даже немного рот разинул.

-- Куда ты пропал от нас? Мы тебя везде искали. Верно, спешил на свидание? Вот и платок женский. Ах ты! -- сказал я, поднимая с глиняного полу какой-то шелковый желтенький платочек.

-- Где платок? -- спросил Хвилькин, повернувши голову.

-- А вот, смотри,

-- Покажи.

И он молча, мутными глазами стал его рассматривать, потом тихонько положил его

на стол и задумался.

-- Да что с тобой?

-- Да ничего, братец; спать пора, вот что.

Признаюсь, как ни туманна в эту ночь была горячая голова моя, понятны стали мне и несвоевременность моего посещения, и неуместность любопытства, Я дал себе слово ни о чем его не спрашивать и на прощание попросил извинения, что так некстати пришел мешать ему.

-- Мешать! -- перебил он насмешливым и в то же время сонным голосом. -- Как будто я не могу при тебе заснуть и спать, сколько моей душе угодно. Эх ты, чудак-чудак! Вот, если б ты пришел тому назад два часа, ты бы, может быть, помешал мне сделать глупость, но об этом после. Уж если ты такой любопытный, что мне с тобой делать, когда-нибудь расскажу, посмешу тебя, пожалуй! Прощай!

Мы пожали друг другу руку, и я побрел домой.

На обратном пути темная ночь не имела уже для меня ни малейшей прелести, я только и думал о том, чтоб не сломать себе ноги, и, слава богу, целый пришел домой, бросился

В постель и заснул мертвым сном.

Х

После этого дней пять или шесть некогда мне было посетить добрейшего Михаила Ивановича; да, признаться, мне казалось совестно идти к нему. Что за непростительное любопытство! Если б он желал меня видеть, он бы и сам наконец мог прийти ко мне. Дружба дружбой, а все же не мешает и поцеремониться. Да и какой я друг ему, просто такой же приятель от нечего делать, как и другие.

Сижу я дома, вдруг говорят мне; Али-Аскар пришел.

— Ну, зови его.

Али-Аскар, татарин, малый лет двадцати восьми, ходит в татарском архалуке и в грузинской шапке, ходит, едва-едва переваливаясь с ноги на ногу, плохо говорит по-русски, в нос, и таким медленно-ленивым голосом, как будто слово его стоит червонец и ему жаль его. Али-Аскар хорош собой, не глуп, но туп до невероятности. Ни читать, ни писать не выучился, как я ни бился. У него была на базаре

маленькая лавочка, где можно было купить рахат-лукум или банку инбирного варенья, но Али-Аскар пренебрегал торговлей; ему не хотелось попасть на службу.

Сколько раз приходил он ко мне осведомляться, нет ли места где-нибудь в карантинной страже или нельзя ли ему куда-нибудь попасть в словесные переводчики; уходил же он от меня с заказом или достать мне хороший черешневый чубук без сучков и без заплат, или попросить мать свою, татарку, сварить мне плов. Плов, изготовленный руками его матери, был просто объеденье.

Делать мне было нечего, я велел Али-Аскару садиться на стул и заставил его рассказывать об эриванском землетрясении.

-- По какому же ты случаю был тогда в Эривани?

-- Да-ас, по тому случаю, -- отвечал он мне в нос, -- что я тогда служил вместе с советником.

То есть, подумал я, ты ему трубки чистил.

-- Да-ас, такое было тогда трясенье... Так и начало землю качать; одна стена была у нас -- чуть не упала, тогда я уж успел выбежать, да-

ас! Очень тогда было страшно.

-- Ты испугался?

-- Да-ас, я очень тогда испугался. Я и теперь всю ночь не спал, -- проговорил он после некоторого молчания.

-- Когда теперь?

-- Вот эту ночь, я совсем не спал.

-- Отчего же?

-- Как ночь, так у нас и начинают этикие, очень большие кирпичи летать; даже никто и на кровлях не спит. Нельзя-с, как раз до смерти ушибет. Так окошко и вылетит, а то и об дверь ударится.

-- Кто же это бросает камни-то, я не пойму тебя.

-- Неизвестно-с, -- отвечал он, равнодушно оглядывая стены.

-- Кто-нибудь шалит, или ты врешь?

-- Не-ет-с, зачем врать! Сколько уж ни смотрели, откуда камни летят, никого не видно. Как увидеть? Квартальный даже три ночи не спал -- камни все летят туды-сюды... а бросает бог знает кто, ничего нельзя увидеть, такой страх. Я уж сам даже не спал-с.

-- А ты где живешь?

-- Все там живу, где жил, недалеко от банного мосту, направо.

Я вспомнил, что и Хвилькин там живет, и положил в тот же день пойти к нему и расспросить его, что за камни летают по татарскому кварталу, и, наконец, цел ли он и целы ли у него окошки.

После обеда небольшой дождик прибил городскую пыль, и я отправился.

XI

Хвилькина я не застал дома, но как нельзя лучше видел его соседку. Не только плоская кровля, но и часть глубокого двора с калиткой на другую, неизвестную мне кровлю, с двумя проложенными по ней тропинками была видна с того места, на котором остановился я полюбоваться видами.

Майя стояла от меня в шести шагах, и все остальное исчезло из глаз моих. Признаюсь, Хвилькин без зазрения совести мог влюбиться в такую женщину. По-видимому, ей было около двадцати лет. Ее лицо не было типичным, я не узнал бы в ней армянку, не принял

бы ее за грузинку, но понял бы, однако, что она не русская. Черные глаза ее светились каким-то кротким, задумчивым блеском. Но когда она обернулась и посмотрела вкось, мне показалось -- в ту сторону, куда она бросила взгляд свой, промелькнула неуловимая молния. Вообще, какая-то нега, что-то светлое было разлито по всему существу ее. На руках ее был ребенок; она стояла в двух шагах от своего домика, на чужой кровле, и у какого-то прохожего инвалида торговала детские башмаки. Вероятно, башмаки показались ей слишком дороги, и она отдала их назад. Ребенок кудрявой головкой пугливо припал к плечу ее. Я следил за каждым малейшим ее движением и готов теперь уверять, что ее голос так же нежен, так же музыкален, как и вся она.

Я вспомнил желтый шелковый платочек, и Хвилькин показался мне счастливейшим из смертных.

Я думал: вы, г. Хвилькин, просто неблагодарный смертный!

На кровлю Майи вышла еще какая-то девушка с деревянным лотком на плече. Она

вдруг остановилась, пристально посмотрела мне в лицо и, вероятно, довольная тем, что я не обращаю на нее большого внимания, поставила на солнце лоток, залитый тонким слоем красной пастилы, и на нитку, проведенную от одной палочки до другой, воткнутой между кирпичами, стала развешивать небольшие пучки какой-то зелени. В этой девушке я сейчас узнал армянский тип: низенький лоб, тонкий нос и полные бледные щеки. Я видел ее мельком, совершенно озадаченный красотой Майи.

Вдруг, слышу, кто-то поет:

Лежала Венера!
С ней сын ее играл.

Наконец кто-то внизу хлопнул дверью и побежал-- голова Филата выскочила на поверхность кровли, и наконец весь он появился -- весь как есть -- в какой-то серой куртке и простоволосый.

Он никак не ожидал найти меня и стал как вкопанный.

-- Где твой барин?

-- Барина дома нет,-- отвечал он спустя глаза.

-- Отчего ты нынче весел?

-- Ничего-с. -- И Филат покраснел.

-- Куда же пропал твой барин?

-- Должно быть, пошли-с искать квартиру.

-- Как?

-- Да, они изволили мне говорить, что переезжать хотят.

-- Куда?

-- Не знаю-с...

-- Ты рад?

Филат на это не сказал ни слова, только посмотрел на меня исподлобья своими маленькими карими глазками и тихонько кашлянул.

-- Кланяйся твоему барину, скажи ему, что я был.

-- Только вы одни здесь и бываете, -- бойко заговорил Филат, -- ни один порядочный человек сюда и не заглядывал. Какой прах понесет сюда порядочного человека!

-- Ах, Филат, разве я не порядочный человек, по-твоему?

Филат сконфузился.

-- Прощай, помни только, что в Грузии легко можно сделаться пьяницей; береги сам себя, если только твой добрый барин не убежит тебя.

Я ушел; Филат остался на кровле.

XII

Хорошо не помню, куда именно в этот раз я отправился, не заставши Хвилькина; не помню даже, в тот ли день или на другой день вечером, я встретил его у Московской заставы. Хвилькин был верхом. Никогда еще не видал я его верхом на лошади. Даже думаю, не в первый ли раз от роду он сел в седло -- до такой степени он плохо ездил. По всему Головинскому проспекту, до самой реки Вэры, была бездна гуляющих; дамы катались в небольших колясках, и я видел, как они улыбались во весь рот, улыбались вплоть до самых ушей, всякий раз, когда встречались с Хвилькиным.

-- Хвилькин, -- кликнул я, потому что он не замечал никого и многим не кланялся.

Он подскакал ко мне крупной рысью, причем ноги его потеряли стремена, что, однако же, его нисколько не сконфузило. Правда, он был бледен и, когда остановил свою лошадь, правой рукой вцепился в гриву, а левую протянул ко мне, с своей обычной равнодушной минутой.

-- Ну что, здоров ли? -- спросил он.

-- А ты?

-- Я ничего... здоров.

-- Ну, и я здоров. Ты, однако, не совсем хорошо едешь верхом.

-- Я и сам это знаю. А что?

-- Да так.

-- Я теперь каждый день буду ездить, народ смешить, авось когда-нибудь выучусь.

-- Нынче я видел твою Майю.

-- Ну, не смейся, сделай милость; где ты ее нынче видел?

-- Заезжай ко мне чай пить, я сейчас домой пойду,

-- Да нет, ты скажи мне, где ты ее видел...

-- А вот заезжай ко мне, я расскажу тебе.

-- Так не заеду же, ну... ну... вот не заеду...

Прощай! -- сказал он и, вдевая ноги в стремена,

на, еще раз два пробормотал мне: -- Прощай! -- Потом, подобравши повода, поскакал в га-лоп, по направлению к Эриванской площади. Долго смотрел я, как, подпрыгивая на седле, покачивался он, махал локтями и головой потряхивал.

Воротившись домой позднее десяти часов, я узнал, к величайшей моей досаде, что Хвилькин заходил ко мне. У меня всегда была особенная страсть к оригиналам; я как-то скорей привязываюсь и даже как-то легче привыкаю к ним. Никогда смешное в человеке меня не отталкивает. Напротив, без оригиналов было бы так же скучно в обществе, как в саду, где нет ни одного кривого, на свободе растущего дерева и где каждая ветвь подстрижена садовником. Дружба, так же как и любовь, нередко начинается с простого любопытства; Хвилькин подстрекнул его, и я готов был не шутя подружиться с ним.

XIII

Филат сказал правду. Хвилькин неделю спустя опять перебрался в европейскую часть

города. Мы по-прежнему каждый день стали встречать его в нашем небольшом, нецеремонном обществе. Все, решительно все шло по-старому; тот же зной, те же прогулки за город, те же зеленые столы, те же остроты и анекдоты, которые, сказать по правде, порядочно надоели нам; но делать было нечего! Хвилькин, к досаде его приятелей, стал гораздо реже смешить компанию. Выиграть у него тридцать или сорок рублей, с прикупкой или без прикупки, было гораздо легче, чем, например, допытаться у него, куда и зачем пропал он в июле месяце. Никто, признаться, и не допытывался. В этом отношении Тифлис бесконечно лучше и сноснее тех приятных городов, где нельзя чихнуть без того, чтоб об этом не узнал весь город. Равнодушие к чужим поступкам имеет свою хорошую сторону; оно мешает развиваться сплетням. Хвилькин был прав, когда на вопрос мой: зачем он нанял такую квартиру -- отвечал мне: -- О! приятель! Да тебе-то какое дело, ты-то что?

Время шло. Хвилькин похудел; в нем происходило что-то недоброе; целые ночи стал проводить он за картами -- и проигрывал.

Проигрыш нисколько не сердил его; почтенные любители преферанса не иначе как с уважением стали произносить имя Хвилькина. Ко мне заходил он скучный и усталый. Однажды утром мы сошлись с ним в корпусном саду и уселись на лавочке, около бассейна, в котором лебеди плавают. Перед нами плакучая ива опускала к воде свои длинные белесоватые ветви; за нами тянулась густая куртина, увешанная лиловыми кистями винограда. Я мял в руках пахучие листья грецкого ореха.

-- Ну, что твоя Майя? -- спросил я Хвилькина. -- Ты признался мне, что влюблен в нее.

Хвилькин посмотрел на меня как человек озадаченный, сморщил лоб и задумался.

-- Ну, вон, есть о чем думать! -- сказал я, не зная, что сказать.

-- А почему ты знаешь, о чем я думаю? --

-- Тебя что-то мучит, я это вижу, -- а что такое, господь тебя ведает.

-- У меня, братец ты мой, -- сказал он, снявши шляпу и тоскливо посматривая куда-то в сторону, -- у меня так уж, видно, на роду написано; из всего у меня выходит вздор: из дружбы вздор, из любви вздор, из денег

вздор. Я сам начинаю смотреть на себя, как на вздор. Не думай, пожалуйста, что я влюбился и до сих пор влюблен так себе... для препровождения времени; я готов был на все -- отдать ей все, увезти ее -- даже жениться, хотя бы вы все, сколько вас тут ни есть, стали бы смеяться над моим выбором.

Я, в свою очередь, посмотрел на Хвилькина как человек озадаченный.

-- Ну, что ты на меня так глядишь! Эх, ты! -- сказал он мне, потрянул головой и насмешливо улыбнулся.

Минут пять прошло в обоюдном молчании; потом, мало-помалу, Хвилькин рассказал мне историю любви своей, с явным желанием выставить ее с забавной стороны, несмотря на то, что положение его было далеко не так забавно. Слово в слово я не берусь вам передать рассказ его. Но, во всяком случае, взявшись за перо, я должен вам как-нибудь передать его.

-- Ты, быть может, думаешь, что ее зовут Майя? Да, -- начал Хвилькин, -- как не так! Я сам думал, что Майя, а вышло просто Елена. Да это бы еще ничего, пускай бы себе она бы-

ла Елена, а то скверно, что у ней живет ее племянница, лет шестнадцать, такая пухлая на лицо, ты ее видел, ну, вот, ее-то братец ты мой, и зовут Майя. Знай я грузинский язык -- все бы это было нипочем, ну, смешал имена, не беда,-- а тут, ты сам посуди, мог ли я лично вести переговоры, нужны были посредники... понимаешь. Думал выехать на посредниках!.. Ну, вот, я и завел переговоры, ну и вышел вздор. Влюблен-то я был в Елену, а в любви-то уверял Майю. Что ж ты не смеешься?

-- Погожу, что будет.

-- Ну, хорошо, можешь и погодить, если хочешь; мне самому было не до смеху, тяжело было, да делать нечего! Мои уверения, мои подарки -- все это тайком передавалось неопытной, глупенькой девочке, о которой я и не думал. Чем больше она верила в любовь мою, тем реже появлялась на кровле, и, стало быть, я ничего не мог заметить прежде времени. Мне дали знать, что я любим и чтоб был как можно осторожнее... Предоставляю тебе самому рассуждать, какое впечатление произвело на меня это слово: любим, быть может, в первый раз от роду, любим такой кра-

савицей, какой не случилось мне видеть ни на одной картине в академиях. Я стал от радости щедрее турецкого султана, в какие-нибудь две недели я истратил около четырехсот рублей и... добился наконец свидания.

Так и порывался я уехать от вас из сада Бакауровых, в тот вечер я думал быть счастливейшим из смертных. Не шутя я должен сказать тебе, что моя любовь возвышалась до какого-то исступленного благоговения.

И на щеках Хвилькина показался румянец, он закусил верхнюю губу и только через минуту способен был продолжать рассказ свой в прежнем тоне.

-- Часу в десятом, помнишь, как нарочно, ночь такая темная; одна только тишина ее меня бесила. Я ждал,-- не верилось... я разбил две трубки от нетерпения,-- вздумал, расхаживая, чубуком махать. Часу в десятом, не то в одиннадцатом я отворил дверь и присел на пороге, меня бросало то в жар, то в холод. Наконец мне послышался шорох женского платья. Мне дали знать: пришла! С четверть часа после этого я ждал ее. Майя была на лестнице и не решалась войти... Эти четверть часа по-

казались мне вечностью.

-- Ну, и что же наконец? -- сказал я Хвилькину.

-- Ну, и не та, братец, совсем другая! Чему же ты смеешься?.. Ведь я, согласишься ли ты, я чуть с ума не спятил... Вообрази себе, ну, ты вообрази... что бишь такое я начал тебе рассказывать... ах да, я не знал, что мне и делать... право!

И Хвилькин расставил руки, как бы еще соображая, что ему было делать в этом случае.

-- Как нарочно, в эту ночь ты, нелепый человек, вздумал насмешить меня, пришел, и зачем пришел, шут тебя знает!.. Как нарочно, еще догадало тебя найти у меня этот желтенький платочек; этот желтенький платочек был для меня хуже всякого скорпиона. На все брошенные мною деньги я купил какой-то платочек с головы какой-то глупенькой девочки!..

На другой день рано, часу в пятом, утра, бледный от досады и мучительной бессонницы, вышел я на кровлюдохнуть свежим воздухом и, как нарочно, вижу, стоит Елена (я уж

после узнал, как зовут ее). От роду я не видал такой красавицы! На ней была катиба черные волосы, полузаплетенные, полуразвитые, длинными косами лежали по плечам, жаркая заря освещала ее лицо и кисти рук, сложенных на груди. Заметил ли ты, какие у нее прекрасные руки!..

-- Нет, не заметил...

-- Ну, так я тебе не стану ее описывать. Елена вышла на кровлю, для того чтоб позвать водовоза, который по соседству опоражнивал кожаные мешки свои. \$ -- ну, что мне сказать тебе? -- я обомлел, сердца в себе я не чувствовал, даже не знаю, билось ли оно в эту минуту, я стоял, как преступник, уличенный в преступлении. Она обернулась и стала пристально и строго смотреть мне в глаза. Наконец она многозначительно и насмешливо улыбнулась, махнула рукой водовозу и сошла вниз. Это была немая сцена. Если бы ты смотрел на нас со стороны, ты бы увидел две кровли, из которых на одной стоит Хвилькин, а на другой какая-то женщина, и ничего бы не понял. Из ее улыбки я понял только одно, что... для меня все кончено, что ей известно более,

быть может, чем я сам знаю из всей этой проклятой истории. Все это утро я как сумасшедший обдумывал план, войти к ней в саклю и броситься к ногам ее,-- то-то бы насмешил! Ну, вот, я тебе все сказал! Ты видишь сам, что для тебя тут ничего нет интересного.

Я стал думать о том, как бы мне помочь в этом деле Хвилькину, и не знал, чем помочь.

-- Видишь ли ты ее теперь хоть изредка?

-- Полно смешить! Зачем? Ведь она знает, что я виделся с ее племянницей.

-- Пойдем нынче вечером.

-- Куда?

-- Туда на кровлю.

-- Зачем? Чтоб опять наделать глупостей? Пойдем лучше в клуб. Я хочу завтракать. Мы встали и пошли.

-- Вообрази,-- заговорил он дорогой,-- какой это негостеприимный квартал; я не советую тебе слишком часто ходить туда, особенно ночью; там никто еще из Русских не нанимал квартир, я первый нанял, и нанял за большие деньги. Старый хозяин, из татар, ни за что не хотел расстаться с своим обиталищем... Мое появление в тех местах возбужда-

ло не то ревность, не то подозрение. Часто эти краснобородые лица, с красными, нависшими бровями, осматривали-меня с головы до ног, как бы спрашивая: кто тебя звал сюда, ты зачем здесь поселился? Дня за три до моего оттуда выезда, вечером, кто-то швырнул ко мне на террасу пре-порядочный кусок извести и ранил моего Филата в ногу. Филат был в храбром расположении духа и, подобрав куски, с остервенением стал бросать их во все стороны.

Я вспомнил Али-Аскара и подумал:

-- Всякая нелепость имеет, однако же, свое основание.

Тифлисские сакли

Кто жывал в Тифлисе, тот, конечно, не может не знать одного из самых живописных уголков его. Этот уголок -- Сололакское ущелье, или, просто, Сололаки, некогда одно из предместий небольшой столицы Грузии, теперь небольшой квартал одного из обширнейших губернских городов в России. Незаметно покатое дно этого ущелья с трех сторон замкнуто сплошными каменными утесами, грустного изжелта-пепельного цвета, и подчас, в проливные дожди, служит руслом бурному потоку, ниспадающему с гор мутными каскадами. В глубине ущелья, там, где крутые обрывы как бы раздвигаются для пропуска и стока дождевой воды, на высоте торчит обломок арки; тут был когда-то мост, по которому в незапамятные времена шла дорога и шагали караваны; теперь этой дороги и следу нет, даже и вообразить себе нельзя, чтоб тут когда-нибудь была дорога.

По милости наводнений, почти ежегодных, русло временного потока составляет в

Сололаках главную, или, лучше сказать, единственную улицу, постоянно сухую, хоть и немощеную. В пространстве между гор, слева от этой улицы, вдоль садов тянется колючий плетень, до самого подъема на новую, так называемую Коджорскую дорогу, рваную порохом. Кто бы ни шел, кто бы ни ехал по этой дороге -- далеко видно... А кому случалось идти по ней, тот, конечно, не раз останавливался отдохнуть или полюбоваться противоположной стороной Сололакской улицы, этим живописным беспорядком грузинских и армянских саклей, садов и маленьких двориков, местами ярко освещенных солнцем, местами, словно сетью, покрытых виноградными лозами, из-за которых поднимают верх свои жиденькие пирамидальные тополи. Между этими садами и саклями не ищите переулков: там все идут какие-то темные, фантастические тропинки и ведут вас с одной плоской кровли на другую, с бугра на бугор, промеж виноградных лоз, плетней, каменных стен, уходящих в землю, и дощатых заборов, кое-как сколоченных. Из глубины этого лабиринта, только в двух местах и, как теперь помню,

около одного духана {Духан -- кабак или харчевня. (Прим. авт.)}, может спуститься арба, запряженная буйволами, хоть и не без того, чтоб не задеть колесом бревна или плетня с его колючими перепутанными сучьями. Ишак с перекидными кошелками, лошаденка, прикрывшая ребра свои кожаными мешками, в которых она болтает и развозит воду, понукаемая водовозом, или муша (носильщик), согнувшийся в три погибели, с ношей на сутулых плечах своих, могут пробраться во все дворы, но опять-таки не без того, чтоб не толкнуться о какое-нибудь кривое дерево или не задеть старуху {Говорят, в настоящее время вид Сололак совершенно изменился; описание это относится к концу сороковых годов, к временам наместничества графа Воронцова. (Прим. авт.)}.

II

Было время, сады и дворы сололакских обывателей были так небрежно, или, лучше сказать, до того доверчиво обгорожены, что всякий, кто б ни захотел, мог свободно прохо-

дить по ним. Ни одна дверь не имела замка, ни одна калитка не запиралась ни днем, ни ночью; по всем плетням, столбам, заборам и балкончикам вывешивались на солнце войлоки, чадры, платки и всякая пестрая ветошь, и никто не стерег их. Собаки пугались европейского платья, и я помню даже, как целая стая их с визгом бросилась назад, когда, вдруг, с умыслом развернул я у них под носом зонтик свой; женщины, слыша скрип сапогов, пугливо прятались в темной глубине своих землянок; дети поднимали крик и плач от ужаса, завидев солдатскую фуражку или картуз чиновника... А теперь -- какая перемена! -- женщины не прячутся, а спокойно усаживаются на порогах наблюдать прохожих или, не обращая на них внимания, грудью кормят детей своих; собаки не боятся ни козырьков, ни развернутых зонтиков; дворы со всех сторон прочно загорожены; калитки на ночь приперты деревянными щеколдами, и сады сололакских обывателей перестали быть доступны всякому праздню гуляющему смертному. Так стали заметно изменяться нравы сололакских жителей, да и самый наружный вид Со-

долак, по милости одноэтажных и двухэтажных кирпичных домиков, с окнами на улицу, с явными признаками городской архитектуры, навсегда потерял свою полудикую, первобытную прелесть; но...

III

Не совсем еще потеряла эту полудикую прелесть Магдана, сололакская красавица. Ей с лишком двадцать лет; но еще довольно свежи и нежны черты ее бледно-смуглого, овального личика. Как черный бархат, ее глаза не имеют в себе почти никакого блеска и опущены длинными, кверху загнутыми ресницами. Глаза Магданы темнее самой темной ночи, и потому я совершенно убежден в невозможности найти для них хоть сколько-нибудь, в смысле поэтическом, приличное сравнение. Зубы ее, ровные как подобранный жемчуг, сверкают необычайной белизной своей всякий раз, когда она смеется, а посмеяться под веселый час она большая охотница, особенно когда дешевое грузинское вино заиграет жарким румянцем на щеках ее. Коса у Магданы

не так длинна, как, например, у одной моей знакомой в Гори, то есть далеко не доходит до полу, но густа, черна и на свет отлиывает пурпуром, что, конечно, происходит у нее от обыкновения в бане хиной мыть голову, обыкновения почти общего в Тифлисе между женщинами простого класса. Немного резкое очертание правильных, почти античных губ придает лицу ее выражение чего-то смелого, даже дерзкого; но это выражение совершенно исчезает, когда она весела или просто улыбается... Голос Магданы иногда тих, даже вкрадчиво нежен, иногда, напротив, так же груб, как у разгневанного мальчика.

Зимой Магдана ходит в атласном салопе, с лисьим подкрашенным воротником, а сверх головного грузинского убора покрывается шелковым платочком, у подбородка сводя концы его в узел, осторожно завязанный. Зато летом никто лучше ее не умеет одеть себя в бесчисленные складки белой как снег чадры, и не у многих есть такая славная бархатная катиба, с откидными рукавами, та самая катиба, в которой по праздникам выходит она, подбоченясь, на низенькую кровлю ни-

кам выходит она, подбоченясь, на низенькую кровлю ближайшей сакли потараторить со своими соседками.

Магдана -- зависть всех сололакских женщин -- не только умеет обращаться со своими янтарными четками и с достоинством перебирать их по зернышку, но умеет даже говорить по-русски, даже умеет вязать чулки и каждый день сама два раза ставит самовар, пьет чай и смело заговаривает со всеми ей знакомыми мужчинами. У Магданы в маленьком палисаднике, не боясь ни месячных лучей, ни сплетней, каждый вечер засиживается давно знакомый ей грузин Давид Егорович. Все знают, что Давид Егорович не родня Магдане, даже не кум ее, и, несмотря на это, все соседки питают к ней какое-то безотчетное уважение. Понадобится ли им щепотка соли -- идут к Магдане; нужен ли им кусочек сахара -- идут к Магдане, то есть решаются в таких случаях побеспокоить ее своей просьбой. Но я должен начать с начала, для того чтобы вы сами ясно видели, в какой степени наконец изменились нравы сололакских жителей.

Магдана не помнила ни отца, ни матери. Отец ее, бедный ремесленник, занимался выделкой буйволовых и бараньих шкур, ходил, бывало, с черной заплаткой на левом глазе и умер, воротясь с кулачного боя. Трехлетняя Магдана осталась на руках вдовы его -- женщины постоянно больной желчными припадками. Босиком ходила она в Маркопский монастырь, простудилась и умерла спустя два года после смерти мужа, поручив сестре своей, Шушане, пятилетнюю дочь свою.

Шушана была вдова; старший сын ее, Михака, был женат; младший брат его, Егор, любил кутить и мало вырабатывал. Все они помещались в одной сакле, на самом конце Сололакской улицы, летом спали на земляной кровле, зимой теснились, около мангала {Мангал -- вроде жаровни. (Прим. авт.)}, и нередко маленькую плаксу Магдану выгоняли за дверь; пуще всего доставалось ей за то, что она была охотница до чужих пестренских лоскутиков. Никто ни разу не посадил ее к се-

бе на колени и никто ни разу не приласкал ее. Худенькая, грязненькая, казалось, никому она не была нужна; Михака в особенности за что-то не любил ее. Постоянно угрюмый, он со всеми постоянно ссорился. Бледное, худое, вытянутое лицо его ни в ком не возбуждало симпатии. Из-под черных, прямых, сросшихся бровей его выглядывали жгучие глаза, и в сумерки казалось, одна темная полоса отделяла лоб его от остальной, то есть нижней части лица, холодного и неподвижного. Волосы свои он стриг под гребенку и только у висков оставлял по два небольших завитка; одежда его не отличалась опрятностью; шапки своей он не снимал даже дома, даже и тогда, когда обедал. Что касается до жены его, она совершенно во всем уступала Шушане и как бы терялась в ее присутствии; с утра садилась она кормить грудью своего последнего ребенка, потом копалась в его пеленках, потом по целому получасу вдевала шерсть, в иголку, собираясь штопать персидские носки, боялась мужа, любила слушать сплетни и молча по целым часам улыбалась.

Тетка Шушана жаловала ее больше всех

и нередко, в ее защиту перед сыном, возвышала голос свой. Шушана сама по целым часам любила хранить строгое молчание; лицо этой старухи носило на себе печать постоянного недовольства. Никогда почти она не смеялась; но часто брань ее сопровождалась энергическими жестами. В этом случае Шушана напоминала собой престарелых римлянок. Во всем любила она держаться старины и, вероятно, в молодости была красавицей. Конечно, этого нельзя было бы доказать ее морщинами; на ее забытую красоту намекали рост, правильный профиль и черные, уже коричневой тенью окруженные глаза ее. Не будь у Шушаны родных внучат, быть может, подрастающая Магдана еще нашла бы себе уголок в ее черством сердце; но Шушана не жаловала ее покойной матери и, стало быть, на бедную сироту не могла перенести никакого чувства. Магдана перестала плакать, но зато одичала и нередко одна-одинехонька взбегала на самый верх горы, садилась на камнях, раскаленных солнцем, и сидела там до тех пор, пока Егор или кто другой не найдет ее и не притащит за руку. Магдане стукнуло уже

девять лет -- Магдана стала нужна, а потому и стали чаще бранить ее за своеволие. Когда по субботам Шушана с невесткой отправлялись в баню, Магдана несла за ними узлы с разным тряпьем и до полуночи мылила и полоскала их в серной горячей ванне не хуже тетки. Иногда посылали Магдану за водой к роднику; и -- я не знаю, правда ли -- рассказывают, однажды, нацедив воды в муравленый кувшин, Магдана сама сбросила его с каменной крутизны и, тихонько усмехаясь, воротилась...

Магдана одиннадцати лет так же, как и все сололакские девушки, пряталась от прохожих, одевалась бедно и в будни и в праздник таскала на себе одно и то же полинявшее синее платье; раз в неделю, усевшись на пороге, чесала она свою пыльную голову и небрежно заплетала в косы черные, вьющиеся волосы, любила умываться дождевой водой, но нисколько не подозревала полуразвитой, еще недоконченной, но уже заметной красоты своей.

-- Что нам делать с этой дурой?-- говорила строгая Шушана, перебирая четки, сжимая

тонкие губы и с покровительством посматривая на свою племянницу.--Навязали мы ее себе на руки -- что нам делать? Вишь, как растет! Отдали бы в ученье, да надо платить; а что платить? Стоит ли она этого, неблагодарная!

Так думала тетка, и вот, только что Магдане стукнуло двенадцать лет, решили, что пора ей замуж, нашли какого-то бурдючника на Авлабаре и просватали. Что значит выйти замуж, Магдана не понимала. Выйти замуж -- значит иметь новое платье и новые серьги: так думала она и, ошеломленная, позволяла делать с собой все, что хотели другие.

V

Была знойная, безлунная, синяя ночь в июне месяце. Весь Тифлис, растворив окна и не затворив дверей, тяжело засыпал в напрасном ожидании сквозного ветра; одна только Сололакская улица беспрестанно просыпалась и шевелилась, оглашаемая звуками зурны. На бугорке, в конце ущелья, в сакле Шушаны светился огонек; по смежным с нею

кровлям двигались фонари и перебегали тени. В сакле ждали только жениха, чтобы обручить и отвести Магдану в церковь.

Набеленная, нарумяненная, в чужих серьгах, взятых на один только вечер, как восковая кукла в фольговом венце, Магдана сидела на тахте, поджав ноги, не двигаясь и не поднимая длинных ресниц, непроницаемой тенью осенявших большие, черные, ничего не выражающие глаза ее. В сакле было душно; на сундуках, скамьях и даже на полу сидели сололакские соседки и знакомые ей девушки. Со двора заглядывали в двери черные бараньи шапки, усы, носы, и раздавался говор. Изредка, на возглас какого-нибудь остряка, с улицы отзывался громкий смех. Женщины улыбались, покачивали головами и друг другу сообщали свои замечания. Одна невеста не улыбалась и хранила глубокое, гробовое молчание. Таковой и следовало ей быть по заведенному обычаю. Перед ней, на ковре, стояли свечи и невыгодно с двух сторон освещали ее полудетское, бесчувственное личико.

Долго, часов до одиннадцати ночи, жда-

ли жениха и уже начинали было побаиваться: чего доброго, отказался! Шушана особенно была в беспокойном расположении духа. Мухака же, как нарочно, в этот вечер при всех чуть не до драки поссорился с духанщиком. Но вот, слава богу, жених приехал. В темноте послышался мягкий стук колес; по немощеной улице осторожно поворачивались дрожки. Неистово завизжала зурна, и казалось, барабанная кожа лопнет под уда-Рами колотушки. Тугой, беззвучный стук этого барабана отозвался в горах и окончательно разбудил Сололакскую улицу. Жених взбирался на бугор, переваливаясь с ноги на ногу, и так нерешительно, как будто его сечь хотят. Никогда не видал он своей невесты, точно так же, как и Магдана никогда его не видела. Только что угомонилась зурна, в сакле раздались бряцающие удары в бубен. Невесту подняли с тахты: она должна была плясать; двери отворились, жених попятился, но бурдючники дружно подтолкнули его в спину и, как нарочно, поставили на порог, так что уж ему не было никакой возможности спрятать красное лицо свое.

Жениху было около сорока пяти лет, и лицо его скорее походило на лицо какой-то старухи, с опухшим носом, из-под которого торчали волосы. На его поношенном сутулом теле самая чуха его была уже значительно поношена, и если что его выручало, так это красная канаусовая рубашка, которая, очевидно, была надета в первый раз. Жениха звали Арютюном. Беспечнейший гуляка из гуляк, на этот раз он не знал, куда девать себя. Наконец мешковатый жених принужден был взять невесту за руку и после разных церемоний открыть с ней свадебное шествие.

Опять неистово завизжала зурна и раздались удары колотушки. Магдана как будто хотела что-то сказать, но язык ей не повиновался. Каждый из гостей взял в руки по зажженной свечке, и брачная чета двинулась в путь, сопровождаемая толпой всех тифлисских бурдючников и всеми, кто только хотел примкнуть к процессии. Там, где шла она по улицам, двигалось красное сияние, и все предметы, каждый столб, каждый остановившийся прохожий, все вывески и выступы балконов протягивали от себя длинные тени, сперва в

одну, потом в другую сторону и потом опять погружались в темную гущу ночи.

Резвая Магдана едва передвигала ноги и тяжело дышала; тот, кто шел с ней рядом и кому она должна была отдать жизнь свою, представлялся ей каким-то фантастическим чудовищем неопределенных очертаний. К странному, непонятному ей чувству, которое охладило оконечности ее рук и ног, примешивался суеверный страх погасить брачную свечу, что почла бы она за страшное для себя предзнаменование. Наконец ножка почувствовала каменные ступеньки церкви... Магдана была обвенчана... Как там продолжалась свадьба, с какими именно обрядами и сколько было выпито вина -- не знаю; знаю только, что свадебная процессия пошла из церкви по другому направлению, а именно на Авлабар, в саклю Арютюна-бурдючника.

VI

Для чего женился Арютюн? Этого он и сам не знал. Закадычный друг всех тифлиских, даже сигналахских и телавских бурдюч-

ников, он не мог не внять благоразумному совету их. Приятели же дали ему такой совет, безошибочно предчувствуя, что Арютюн, по случаю свадьбы, прокутит все абазы, только что доставшиеся ему по наследству. У Арютюна был кредит почти во всех духанах, да еще, к довершению полнейшего его благополучия, была у него верховая лошадь с грузинским седлом, за которую давали ему сорок монет; стало быть, не только Арютюн, но и некоторые из числа друзей его на сорок монет всегда могли рассчитывать. Редкий день проходил без того, чтоб Арютюн не угощал кого-нибудь или взаимно не был угощаем. Пил он до охриплости в горле, до бормотанья острот самых неслыханных, до красноты в глазах и вследствие такого обыкновения весьма часто по целым суткам не возвращался домой и не видал Магданы. Итак, Магдана замужем. Медленно проходят дни, не так медленно проходят месяцы; но незаметно, быстро пронесся год ее замужней жизни. Магдана нисколько не раскаивалась, что вышла замуж: уже тетка не могла попрекать ее; у ней был собственный свой угол; мыла она свои собственные,

а не чужие тряпки; могла засиживаться на кровле сколько хотела и даже подчас могла прикрикнуть на своего супруга. Во всяком случае, странна была жизнь ее: кушанья, например, Магдана сама не готовила; Арютюн летом не покупал дров и не нанимал работницы, которая бы могла на базар ходить; Арютюн кормил жену свою, как птичку в клетке, то есть каждый день приносил ей обедать, а сам уходил обедать в лавку, в духан или куда-нибудь за город. Что говорить, как и о чем говорить с женой? Арютюн, от роду не бывавший в женском обществе, никак понять не мог. Обыкновенно весь его разговор с Магданой вертелся около следующих выражений: "Здравствуй!" "Хочешь есть?" "А?" "Вот я вина принес, отведай". "Я сыт". "Прощай!" Вот и все. Магдана не была взыскательна и точно так же мало говорила с ним. Иногда только, просыпаясь ночью, издали, где-нибудь в другом углу, слышала она знакомый храп его.

Была весна. Великий пост приходил к концу. Магдана сбиралась проснуться раньше, на заре, для того чтоб идти к заутрене. Накануне она была в бане, с вечера отложила только что вымытую и выглаженную чадру, в пустой камин поставила кувшин с холодной водой, и, таким образом сделав все необходимые для себя распоряжения, по обыкновению, заснула она крепким сном здоровой, молодой и свежей женщины. Бледный, холодноватый свет повсюду проникающего утра скользил по матовой белизне обнаженного плеча ее. Длинные, опущенные стрелы густых ресниц ее тихонько вздрагивали, потому что медленный колокольный звон начал уже понемногу будить ее... Мужа не было: Арютюн уехал куда-то еще с утра, на своей лошади, и Магдана не ждала его, потому что решила отобедать у какой-то родной сестры своей крестной матери. Магдана привыкла спать одна и на этот раз боялась только, что некому будет разбудить ее.

Вдруг Магдана почувствовала свежий воздух, в саклю отворилась дверь и, покашливая, вошла низенькая старушка.

-- Вай ме! -- сказала Магдана, потягиваясь:
-- Я думала, муж вошел... Что тебе надобно?
Уф! Я проспала заутреню.

И Магдана локтем заслонила от света глаза свои и опять задремала.

Старуха взяла ее за руку.

-- Что тебе?.. Ах, как ты рано!.. по... о... ойдем... Уф! пойдём вместе к заутрене.

Вошедшая старушка, Назо, принадлежала к числу ее безымянных родственниц, то есть, по словам Арютюна, она была ему двоюродной бабушкой; но не один Арютюн -- много было у ней таких, которых называла она своими внучатами. Никто не знал, где живет она чем постоянно питается; некоторые уверяли, что в толпе нищих, несколько раз протягивала она свою руку за подаянием. Летом, с июля до сентября, уходила она куда-то в деревню, к зиме же опять появлялась в Тифлисе, открыв ветрам ничем почти не защищенную, тощую и плоскую грудь свою. Обрывок чьей-то чадры покрывал ее седую, косматую голову. Говорила она глухо, слезливо улыбалась и любила рассказывать, как персияне разграбили дом ее и как вели ее куда-то в

ПЛЕН; но когда это было и где -- старушка не могла решить, Арютюн не один раз, встречая ее где-нибудь на базаре, посылал с ней к жене свой сыр, мацони, рыбу и вино: старушка была послушна, как ребенок. Магдана ее очень хорошо знала, но привыкла видеть ее только в обеденное время и подчас, от скуки, любила дразнить ее.

-- Ну, что ты, Назо? Коли рано, не мешай мне: я еще посплю немного.

И, говоря это, Магдана вытянула над изголовьем руки и хотела повернуться к стене; но в дрожащей руке старухи была какая-то бумажка. Магдана подняла голову, подняла ее со всей массой черных, перепутанных и полурасплетенных кос, быстро раскрыла глаза и спросила;

-- Что это?

-- А вот прислал -- прислал, беспутная голова, -- уехал в Кахетию; десять рублей, говорит: снеси, да не потеряй, говорит, а не то беда твоя... Но что уж мне грозит? Ну, что я?..

-- А! а кто это мне прислал?

-- Да вот, я же говорю тебе! Арютюн прислал, внучек мой, беспутная голова, уехал в

Кахетаю,

И старуха сбивчиво, но по возможности подробно объяснила ей, что муж ее недели на две уехал на Алазан, и так как некогда ему было самому домой зайти, то и посылает ей на расходы красненькую бумажку,

Магдана равнодушно выслушала старуху, зевнула, потом осторожно взяла депозитку, разгладила ее на своем колене и с детским любопытством принялась ее рассматривать.

Отъезд мужа несколько не опечалил и даже на этот раз не рассердил Магдану; уехать, не простясь с ней -- это казалось ей весьма естественным, потому, быть может, что ни разу еще в жизни, или, лучше сказать, в сфере, ее окружающей, не видала она ни трогательной сцены в час разлуки, ни радостных, теплых слез в минуты свидания; гораздо менее естественной показалась ей присылка денег.

Уехать в Кахетию, уйти на базар -- не все ли равно? -- но прислать деньги!..

Десяти рублей у нее в руках никогда еще не было. Десяти рублям внутренно она так обрадовалась, что и муж заочно показался ей

хорошим человеком.

-- Спасибо,-- сказала она, бережно сложила депозитку и, что смешно, потихоньку от старухи, спрятала ее под войлок.

-- Ну, хорошо, Назо! Умница! Дай бог тебе здоровья. Я вот схожу к заутрене. Ты, чай, устала, полежи у меня на тахте, я как раз вернусь; полежи у меня; я, пожалуй, притворю тебя.

-- Хорошо, хорошо,-- пробормотала стоворчивая старуха, младенчески улыбаясь,-- я прилягу; кости у меня болят, так я прилягу, а ты иди.

Магдана вскочила, затворила дверь, умылась, мигом привела в порядок и убрала свою голову, накинула чадру и вышла. Прошла она шагов пять, остановилась и подумала, хорошо ли она спрятала депозитку, не лучше ли ей положить ее в сундук; но сундук не запирается: стало быть, она запрет старуху. А что, если вдруг она и сама забудет, куда спрятала свое богатство, да еще как-нибудь вместе с сором выметет на улицу.

С этой мыслью Магдана воротилась в саклю.

-- Спи, спи; я хочу платок свой найти,-- сказала она старушке, отогнула войлок и удостоверилась, что депозитка все еще лежит на том самом месте, куда она ее засунула.

-- Не пойти ли уж и мне к заутрене?-- промямлила старушка, лежа поперек широкой тахты, посреди разбросанных подушек и скомканного одеяла.

Магдана схватила висячий замок, вышла на улицу и заперла дверь.

VIII

Озадаченная неожиданным получением денег, Магдана всячески старалась припомнить сон, который она видела, и казалось ей, что действительно приснился ей какой-то мальчик с золотой головкой, который щекотал и все завертывал ее в какие-то красненькие лоскутки. Погруженная в розовые мечты и соображения, тихо и задумчиво шла она к заутрене, поднялась, придерживая платье, на монастырскую лестницу и медленно обходила угол старинной церкви, чтоб попасть в ту дверь, куда обыкновенно входят одни только

женщины. Головы молящихся в ограде обернулись, и если бы Магдана не была так занята своими деньгами, то увидала бы она, с каким изумлением один молодой грузин посмотрел ей в лицо и отступил, чтоб дать ей дорогу. Магдана остановилась перед порогом западных дверей и стала перетягивать чадру, чтобы ловчее подобрать ее. Ярко-розовый свет косвенных лучей зари озолотил в это время нижний овал лица ее. Бледный лоб, темные брови и черные глаза ее вместе с поднятыми ресницами ушли в тень накинутой чадры, тогда как рдеющие уста, казалось, дышали всей свежестью весеннего утра. Не заметив ни одного взгляда, брошенного на нее, Магдана набожно перекрестилась, вошла в церковь, и белая чадра ее смешалась там с другими чадрами.

Уста Магданы шептали молитву, а слабая голова была занята полученными деньгами. И нечего говорить, что на обратном пути из монастыря Магдана уже все обдумала; так по крайней мере казалось ей.

Зайдет она к Евтимии, которая живет не так далеко; пошлют они за портным, тот, по-

жалуй, приведет купца, а пожалуй, и сам купит все, что следует; или вот: если пойдут ее соседки в Темный Ряд, она попросит их взять ее с собой, и там надо будет ей купить розового атласу, позументик, два аршина лент и проч. и проч., во всем надо положиться на совет Евтимии; она же когда-то жила у одного александропольского купца, стало быть, она все знает, где что взять и как лучше сделать, чтоб не так было дорого; кое-что надо будет и самой сметать. Ну, что ж! если много будет работы, она кого-нибудь позовет и даже угостит. Надо будет только купить изюму, сарацинского пшена, сыра и масла; да еще надо бы и белил купить к святой неделе.

Вот какую кутерьму подняли десять рублей в голове хорошенькой грузинки, никогда еще не выдавшей денег более четырех абазов или четырех двугривенных.

Бабушка Назо так была огорчена тем, что Магдана заперла ее, что принялась хныкать, похныкала да и заснула. Магдана только что пришла от заутрени, опрокинула кувшин, вскочила на тахту, сброшенной чадрой покрыла спящую старуху и заснула руку под

войлок. "Тут!" -- сказала она, усаживаясь, и принялась вторично думать да передумать, куда ей девать так много денег.

IX

Тетка Шушана узнала стороной, что муж Магданы за каким-то делом ушел в Кахетию, и рассудила, что на другой же день племянница посетит ее и расскажет ей подробно, зачем это Арютюн ушел в Кахетию. В этом она была совершенно уверена. Но вот уж и великий четверток прошел, вот уж и страстная неделя к концу идет, а Магданы все нет как нет. "Уж не больна ли она? -- подумала Шушана.-- Хоть бы ребенка родила; а то и этого-то не дает ей бог! Ну, что, зачем я теперь пойду к ней? Вишь, тащись к ней на гору! У меня своя семья",-- рассуждала Шушана и не ради родственного участия, а просто так, сама не зная почему, каждый день ждала Магдану. Шушана чувствовала потребность наставлять ее во всех случаях жизни и даже изредка ей покровительствовать; с ее же стороны ждалаона по крайней мере вечной благодарности. Шуша-

на рассчитывала, что отлучка мужа непременно заставит упрямую Магдану если не обратиться к ней за каким-нибудь советом, то по крайней мере, приходить, из нужды, обедать к ней. Можете же вообразить, как была она недовольна тем, что Магдана к ней и носу не кажет. И вот послала она к ней внука, старшего сынишку своего Михаки, звать Магдану к себе разговляться после ранней обедни в первый день праздника.

Внук, мальчишка лет семи, напялил на уши грузинскую баранью шапку, которая была вдвое больше головы его, и, на толстом брюшке своем застегнув крючок затаस्कанный ситцевого архалучка, отправился.

-- Ты, пузан, зачем сюда пришел? -- такими словами встретила его Магдана и беленькими своими зубками стиснула только что уколотый палец свой.

Какая-то женщина, вероятно, Евтимия, в пух разряженная, сидела в это время у Магданы и, завидя мальчика, залилась громким хохотом; у ней в руках также была игла, а на коленях -- работа, шелк и нитки.

-- Ну, посмотрите, разве он не пузан?.. Что

тебе? Пузан почесался и, оглядывая потолок, трубу и стены, стал пиццать нараспев:

-- Бабушка Шушана про-о-сит тебя, что-о-б ты непременно пришла к ней пасху есть, по-осле заутрени и велела тебе кланяться...

-- Ну, хорошо; скажи: захочу -- приду, а захочу -- не приду. Ступай!

Мальчик опять напялил шапку на уши, повернулся и вышел, не дождавшись дальнейших объяснений. Он спешил в Сололаки, страшно боясь, что у него братишка утащит бабки, только что выкрашенные в сандальной гуще, на удивленье всем мальчикам Сололакской, а может быть, и Садовой улицы.

Шушана была до того разгневана ответом Магданы, что не хотела на праздниках пускать ее за порог своей сакли.

-- Стоила ли еще она этого, чтоб я посылала к ней! -- ворчала она, накрывшись черным платком и перебирая четки.

Х

Так как Евтимия никакой роли не играет в нашем рассказе, я одно только скажу про

нее, что она не пользовалась хорошей репутацией. Разговоры с ней скорее могли быть вредны, чем полезны для такой неопытной женщины, как Магдана; но кто, если б не Евтимия, кто бы к празднику в такое короткое время помог ей сшить платье из лощеной полосатой холстинки кофейного цвета, гулиспери (нагрудник) из алого атласу да еще сверх того купить все, что следует для головного убора!.. Всю великую ночь до первого звона, при свечах, вдвоем, они работала, и только что запел петух только что ударили на Сионском соборе в колокол Магдана стала одеваться; зеркальце в окованной оправе не выходило из рук ее, и пока Евтимия заплетала в розовые ленты кончики длинной косы ее, Магдана, достав из сундука раковину с белой краской и размазав ее мокрым пальчиком, стала, по наущению своей новой приятельницы, слегка белить себя. Ко второму звону обе они, затушив сальные огарки, в белых чадрах вышли из сакли. В церкви Магдана отыскала бабушку Назо и шепнула ей, чтоб та после ранней обедни вместе с ней зашла к Евтимии разговляться. Магдана имела в виду оставить

у ней ключ от своей сакли и даже хотела упросить ее до приезда мужа погостить у нее.

Бабушка Назо была на все согласна, даже слезливо улыбнулась; и пока Магдана, часу в десятом утра, стоя на перекрестке, поджидала попутчиц, бабушка с ключом в руках направила шаги свои к ее сакле в надежде прилечь и отдохнуть по возможности.

Не нашла себе Магдана попутчиц и, рассердясь, одна решила идти в Сололаки -- навестить родных своих, или, вернее, показать им наряд свой и похвастаться.

По всем церквам звонили в колокола; толпы народа бродили по улицам, в особенности по базарным улицам. Лакеи бежали с запоздалыми куличами. Чиновники и военные, в полной форме, разъезжали с визитами. Ветер вздымал воротники шинелей; пыль неслась и застилала окна магазинов и кондитерских, с выставленными напоказ сахарными яйцами, бисквитными пирогами и картонными игрушками; беспрестанно слышался барабанный бой и военная музыка; в отдаленных кварталах без умолку звучали зурны. В пурнях {Пурня -- хлебопекарня и харчевня в

то же время. (Прим. авт.)) и духанах мелькали желтые черкески, ременные пояса с кинжалами и разного покроя шапки грузинские, лезгинские, черкесские, казацкие и проч. и проч.

Магдана, нарядная как никогда, шла в Сололаки к родным своим. Ветер, взвевая пыль, то облеплял стан ее бесчисленными складками, то раскрывал ярко-розовый атлас ее нагрудника.

Не один торговец, подбоченясь, мрачно заглядывал в лицо Магдане, стоя на пороге притворенной, но не запертой лавки; не один чиновник, в белых перчатках, останавливался и в изумлении смотрел вслед за колыхающейся чадрой ее, придерживая шляпу, готовую вместе с ветром улететь и покатиться кубарем.

Магдана в первый раз шла одна, и так далеко. Ей было и жутко и весело. Шесть-семь лет тому назад на такой подвиг не решилась бы ни одна, подобная ей молодая женщина. В первый раз Магдана поняла, что она красавица, и сама не знала, отчего у нее на душе стало так безгранично весело.

Надо было ожидать, что Магдана будет очень дурно, холодно, а быть может, даже и грубо принята в кругу родных своих, после неуважительных слов ее, присланных ею в ответ на приглашение Шушаны; но свежий, вышитый шелками головной убор ее, алый атлас и золотые галунчики сделали такое сильное впечатление на всех присутствующих в сакле, когда Магдана, веселая и радостная, вошла в нее, что вместо того чтоб напасть на нее за неуважение, тетка Шушана сперва молча с ней похристосовалась, потом сказала ей "садись!" и, очистив ей на тахте место, сама подвинулась в уголок, сжала губы и стала молча рассматривать головной убор ее (личак и тавсакрави). Около полудня собрали обед; и вся семья, вторично разговевшись сыром, творогом и яйцами, отобедала, сидя на тахте. Егор из кувшина, который на этот раз затыкался искусно свернутым сеном, налил женщинам по шкалику красного вина, брату подал азарпешу и проговорил здоровье Магданы, на что все поклонились ей, бормоча

обычное: алла верды!

-- Мадлобели гахловар (то есть очень благодарна вам)! -- отвечала Магдана, кланяясь всей честной компании.

Затем пили за здоровье Шушаны, за здоровье вечно улыбающейся жены Михаки и наконец за здоровье остальных присутствующих, то есть самого Михаки и Егора.

Пузан-мальчишка, вместе с братьями-ребятишками сидел за спиной Шушаны, протягивал руку не хуже других и так усердно грыз кости, что вымазал все лицо свое. Он также выпил шкалик вина за общее здоровье. Замечу, однако ж, что, несмотря на молчаливую важность Шушаны и на постоянную глупую мину зловки, как-то дружнее, как-то с большим уважением в приемах и в голосе провозглашено было здоровье Магданы. Я, как автор, изобличитель чужих помыслов, должен откровенно сказать вам, что у всех у них под разными видами и, лучше сказать, не в одинаковой степени развития мелькала одна и та же мысль, что Магдана вдруг разбогатела. Все терялись в догадках -- как, когда и каким образом? Как бы, кажется, не догадаться, что

Арютюн мог жене своей оставить деньги. Жена Михаки улыбалась двусмысленно и думала, как бы попросить у Магданы займы рублик на пряники или на подметки детям.

Егор ничего не думал и любезничал с Магданой, потому что Магдана хорошела с каждым днем и потому что редко, очень редко случалось ему с ней видеться.

Весь этот день для семьи прошел без шума и спора. Все по какому-то чуду были довольны судьбой своей, что случалось редко, потому что Михака, например, постоянно был недоволен своей сожительницей, а потому и бранил ее при всяком удобном случае.

XII

Настал вечер... О, как бы я желал придраться к случаю, чтобы описать вам великолепный сололакский вечер; но я боюсь забыть мою Магдану где-нибудь на кровле, в тесном кругу мужчин и женщин, собравшихся позевать на пляску сололакских девушек, под звук домашнего, бряцающего бубна,— под этот странный звук, который и без пляски, из-

дали похож на мерный топот,

С закатом солнца улегся ветер. Коротки были сумерки: безлунная темная ночь разлилась по площадям и улицам, по дворам и плоским кровлям поющего, пляшущего, перекликающегося Тифлиса. Сололаки на этот раз угомонились раньше других частей города. Магдана осталась ночевать у родных. Жена Михаки приготавливала ужин. За Егором приходил какой-то товарищ из деревни и увел его. Шушаны также в сакле не было. Но посмотрим, не выцедим ли мы чего-нибудь для нашего рассказа из того крупного разговора, который ведет Шушана за плетнем с какой-то другой старухой, еще совершенно незнакомой моим читателям.

Разговор этот начался энергической бранью Шушаны и вначале сопровождался размахиваньем кулака, потом перешел в более миролюбивый тон и наконец окончился со стороны Шушаны просьбой; в чем состояла эта просьба, сейчас увидим.

Что касается до незнакомой старухи, сначала, как будто вся вылепленная из глины, понурился голову, накрытую большим плат-

ком, а обеими руками облокотись на палку, она не двигалась: первый признак жизни показала она не прежде, как Шушана уже успокоилась. Глухая к угрозам, она была нема; но Шушана стала о чем-то просить ее, и она заговорила.

Содержание разговора, я думаю, будет понятно из гневного начала и миролюбивого конца ее.

-- Что ты тут? Зачем ты тут? А? Чтоб ты и не думала, я тебе говорю, чтоб ты и не думала, чтоб нога твоя не была ни здесь около моей сакли, ни у моей племянницы. Тебя все знают, какая ты! Уехал муж Магданы, так, вишь, ты и выглядываешь. Кто это подослал тебя? А? Мало тебя били на твоём веку! -- восклицала Шушана.

-- Я и не знаю твоей племянницы. Бог с ней, -- проговорила наконец другая старуха после очень долгого и, по-видимому, смиренного молчания.

-- Конечно, Сусанна, муж моей Магданы дурной человек; есть у него жена али нет, ему все равно! -- говорила полушепотом затихающая тетка, сознавая в душе, что гнев ее, как

волна морская, ударился в скалу и ни на волос не покачнул ее.-- Уехал, оставил ее одну и даже моему надзору не поручил, хоть бы сказал: "Так и так, Шушана, еду, присмотри, дескать!" Так нет! А все же она моя племянница! Вот я и хочу знать, откуда у нее такие атласы да позументы? Где ей взять?.. Недаром она такая щедрая да веселая.

-- Уж я этого ничего не знаю, душа ты моя, верь не верь, побожусь как тебе угодно, только ты понапрасну не кори меня...-- отвечала Сусанна, слегка обиженная голосом.

-- Ты, Сусанна, мне только узнай, кто это дал ей денег? Небось был муж, так и платье не имела, а ушел муж, так и платье и все; кому же эти проделки й знать, как не тебе, Сусанна! Пожалуйста, помоги мне: узнай!

-- Ах, шени-череме! {Шени-череме -- выражение приветия или ласки, беспрестанно употребляется в Грузии; слово в слово: твоя болезнь да будет на мне. (Прим. авт.)} Если б я только как-нибудь да через кого-нибудь...

-- Тетка! Где ты? -- слышался за калиткой молодой и звонкий голосок Магданы: -- Хочешь ужинать, а?..

Старухи разошлись. Шушана как ни в чем не бывало пошла к себе домой и уселась на тахте. Магдана говорила:

-- Лягу я спать на том же месте, где еще, помнишь, тетка, скорпион-то укусил меня.

-- Вот слава богу! Уже давно я не вижу их,-- отвечала тетка и на ночь уступила Магдане свой матрац и свою мутаку {Мутака -- круглая подушка. (Прим. авт.)}.

Далеко на скором ходу оставляя палку и потряхивая головой, шла к себе на Горстубань {Горстубань -- часть города. (Прим. авт.)} старуха Сусанна и всю дорогу чему-то усмехалась. Не думала, не гадала, подвернулась тетка и сама наплела ей на свою племянницу. И не знала бы Сусанна, как зовут красавицу, и где живет она, и с кем живет, и в каких находится обстоятельствах,-- ничего бы она не знала да и не ведала, кабы умная, строгая Шушана не выдумала на улице браниться с ней.

И в душе старухи созрел в это время умысел такой же черный, как черна была ночь, скрывающая лукавое выражение губ ее.

Три дня провела Магдана в Сололаках, три ночи ночевала она у родных своих, и не хотелось покинуть ей родного ущелья. На Авлабаре скучно, а в Сололаках -- боже ты мой, сколько разных развлечений! То какой-нибудь полк, сверкая штыками, спускается длинной цепью по извилинам Коджорского пути и потом, стряхнув с себя дорожную пыль и развернув знамена, с музыкой вступает в город; то какой-нибудь деревенский сазандар, в татарской шапке, сойдет с горы, приютится у столба под навесом сололакского духана, и всю ночь раздастся рыдающий, обрывающийся пронзительный крик его, под звуки чунгури, которой металлические струны тихо лепечут в тишине безмятежной улицы; то соседи побранятся за воду, которая по желобу спускается в сады и по очереди наполняет то одну, то другую поливную канавку, потому что не всегда же на всех может достать воды, особенно когда нет дождей; то вдруг зайдет на кровлю какой-нибудь чиновник, с золотыми очками на носу, в круглой соломенной шляпе, и станет, закинув руки за спину, за-

глядывать по саклям. Мало ли, наконец, в Со-
лолаках развлечений, чуждых Авлабару; да и
зачем Магдане спешить туда -- ведь бабушка
Назо может жить там сколько ее душе угодно,
ведь ключ от сакли у Назо,-- так о чем же Маг-
дане и беспокоиться?

Благовестили к вечерне. На дворе весело
шумел весенний, блестящий дождь; облако
не закрывало солнца; дождь прибивал к зем-
ле только что распустившиеся оранжевые
цветки настурций. Бледно-зеленые завитки
или усики виноградных лоз, перевесившись
через плетни и заборы, тихо покачивались и
приятно вздрагивали от каждой капли, кото-
рая орошала их.

Я забыл вам сказать, что целая половина
маленького двора Шушаны была занята ви-
ноградником. Весь же двор был никак не
больше самой обыкновенной комнаты. Около
калитки росло невысокое персиковое Дерево;
оно никогда не давало плодов, только весной
всю тропинку, от калитки до порога сакли,
усыпало белыми лепестками опадающих цве-
тов. Тут было когда-то и другое дерево; но оно
было опрокинуто потоком, ворвавшимся на

двор лет шесть тому назад, совершенно неожиданно: это, конечно, было в очень сильный дождь. Дожди, в которых радужно играет солнце, никого не беспокоят в Грузии. Вот почему и этот весенний дождь нисколько не помешал Шушане вместе с невесткой, сидя на тахте у самой задней стенки, вдвоем штопать одеяло и слушать разговор праздной Магданы с двумя праздными соседками. Дети спали; дверь на двор была отворена; брызги дождя перелетали через порог; забежавшая в саклю чья-то желтенькая собачонка, с двумя черными крапинами вместо бровей, виляя хвостом, косила свою морду, передергивая ушами и закусив губу, умильно поглядывала то на Магдану, то на корку черствого хлеба, которую держала она в приподнятой руке, собираясь подразнить собаку. Вдруг Магдана невольно вздрогнула, и корка из рук ее полетела на пол.

-- Не здесь ли гостит жена бурдючника, Магдана? -- послышался за двором, у самой калитки, мужской незнакомый голос.

-- Вай ме! кто это меня спрашивает? -- с замиранием в сердце, полушепотом произ-

несла Магдана и взглянула на тетку.

Тетка также взглянула на Магдану, сбросила с колен одеяло, проворно встала, пошла к дверям и заслонила спиной своей всех присутствующих в сакле: так, заслыша коршуна, наседка закрывает крыльями цыплят своих.

-- Не тут ли гостит Магдана? -- повторил тот же голос.

-- Кто тут? -- во все горло крикнула Шушана, так что разбудила внучат своих,-- кого тебе тут надобно? Зачем тебе Магдану? А?

В калитку, закинув рукава чухи, вошел грузин лет двадцати трех, красивый мужчина, с застенчивым румянцем во всю щеку, статный, туго перетянутый серебряным поясом, и, сняв мокрую шапку, стал вытряхивать ее.

Шушана так посмотрела на него, с таким гневным выражением, что казалось, вот-вот ряд бранных слов посыплется из негодующих уст ее,

-- Зачем тебе Магдану? А?

-- Извините, пожалуйста,-- отвечал грузин, не совсем спокойным голосом,-- меня просил квартальный, знакомый мой с Авла-

барской части отыскать Магдану Он было хотел сам идти, да я уже ему сказал: сидите, я пойду и все дело устрою...

В сакле в это время была мертвая тишина: все уши были настороже, все глаза были устремлены к дверям.

-- Квартальный! -- прошептала Магдана.

-- Какой квартальный? -- проговорила тетка.

-- Извините, пожалуйста,-- продолжал грузин, -- надо же кому-нибудь распорядиться как следует. В сакле мертвое тело, а нет ни хозяина, ни хозяйки, ни работницы,-- никого нет.

-- Рамбавия {Рамбавия -- что за известие! какая новость! (Прим. авт.)}! мертвое тело?

-- Какое мертвое тело? Господи Иисусе!

И Шушана перекрестилась.

Никакими словами не передать вам, какой испуг изобразило вдруг лицо Магданы -- исчез малейший след малейшего румянца; казалось, вдруг оно. покрылось инеем. Руки упали на колени, и глаза, с выражением тревоги, неподвижно остановились на спокойно сумрачном лице неожиданного вестника, ко-

торого Шушана пригласила в саклю, для необходимых объяснений.

Само собой разумеется, что начались распросы. Грузин некоторое время был в таком смущении, что, казалось, сам забыл, для чего пришел и какую принес рамбавию. Долго Шушана не могла понять его и, сама не зная за что, принялась бранить бедную Магдану. Наконец испуг Магданы разрешился крупными слезами, слезы так и бежали, так и капали... Она, в свою очередь, стала роптать на родных, зачем они ее удерживали и не пускали домой, как будто возможно было им удерживать ее, если б она сама действительно захотела домой уйти от них!

Соседки также принялись толковать, и вот с быстротой молнии по всему соседству разнеслась молва; все узнали, что бабушка Назо умерла и мертвая лежит на Авлабаре, в пустой сакле Арютюна-бурдючника. "Что б это значило? Нет ли тут чего-нибудь такого, чего еще никто не знает?" -- подумали некоторые досужие головы, придерживая досужий язык свой до другого более удобного времени. Разумеется, многие сбежались в саклю Шуша-

ны, кто с расспросами, кто с советами, а кто просто для того только, чтоб постоять да послушать. Дождь же прошел: стало быть, в своих норах никому не сиделось.

Грузин, принесший новость, уселся на скамейку, покинутую женой Михаки, около деревянной закрытой люльки, и так же, как и все, посреди голосов, толков, слез и оханья, не слышал он, как около него пицал и жалобно плакал грудной ребенок. С мрачной задумчивостью посматривал он на лицо испуганной и плачущей Магданы. Видя, что никто почти не обращает на него внимания, он вынул из-за пазухи кисет и набил себе маленькую лезгинскую трубочку, потом, пошарив около себя, достал где-то серную спичку, мазнул ею по стене, зажег, закурил и опять молча стал на всех посматривать.

Наконец Шушана узнала, что его зовут Давидом Егорычем, что он служит где-то писцом в конторе и что, стало быть, ему можно верить.

-- Что теперь делать? Ай! Ай! Что теперь мне делать? Какая вдруг беда! --говорила Магдана, скрестя пальцы и раскачивая головой с

видом совершенного отчаяния.

Некоторые пожилые, опытные женщины вызвались сами идти на Авлабар провожать Магдану; тетка Шушана также стала собираться; но Магдана упрямилась, говорила, что она боится мертвых, что у нее мужа нет, что у нее никого нет и что она ничего не знает.

-- Оставьте меня, Христа ради,-- говорила она,-- пошлите за Михакой, за Егором: пусть они распоряжаются.

Стали просить Давида Егорыча сходить на базар и сделать такую милость -- найти и привести Михаку.

Давид Егорыч встал, надел шапку, медным шпиньком выковырил трубочку, продул ее, положил в карман архалука и вышел.

Ни Михаки, ни Егора на базаре не оказалось: оба, вишь, ушли куда-то в гости; сколько ни искал их Давид, не мог найти.

Так прошло довольно много времени, и уже только вечером решилась Магдана идти домой, сопровождаемая теткой, двумя соседками и Давидом Егорычем, который шел возле них, не говоря ни слова, одну руку положая за пазуху, а другую заложив за спину.

В Тифлисе во всех открытых мастерских... то есть как открытых? Если, например, вам угодно подойти к портному, остановитесь перед его мастерской на тротуаре, и вот вы уже стоите около тех самых подмостков, на которых сидят работники, кто с ножницами, кто с утюгом, а кто и просто с куском сыра. Откидные длинные рукава этих ремесленников -- Шапошников, слесарей, оружейников, портных и сапожников, с утра уже висят таким образом, что когда вы проходите по узкому тротуару, то задеваете за них и они болтаются. Я сказал: открытых, то есть не забранных еще досками, как это делается на ночь. Итак, в Тифлисе, во всех открытых мастерских, духанах, курнях и лавках, по всему протяжении Армянской, Базарной улицы и по всему Майдану (то есть Татарской площади), по вечерам сидят со свечками. Каждый вечер вся эта улица и весь этот базар издали кажутся иллюминированными: каждый торговец старается как можно больше натывать свеч,

чтоб осветить товар свой; обыкновенно с потолка лавки спускается какой-нибудь железный прут, и на нижнем загнутом конце его или вешается фонарик, или прикрепляется плоская, или же просто такая делается штука, в которую можно вставить сальную свечу. Каждый вечер на этих улицах шумно и многолюдно. В хорошем расположении духа, да еще с железными нервами весело иногда в это время проходить или проехать среди ярко озаренных лиц крикливых торгашей и разноплеменной толпы, освещенной таким образом, что у едущих верхом видны только ноги да стремена, а у нищего, уронившего копейку, блестит затылок. Шум, гам, взвизгивание мальчишек на все возможные голоса, щелканье подков, глухой шум пробегающего стада баранов, побрякивание бубенчиков, когда на вас натывается ишак с перекидными кошелками, или скрип тяжелой, неповоротливой арбы, когда навстречу к вам осторожно, шагом, двигаются черные, ко всему на свете равнодушные буйволы. Все это вечером представляет картину чрезвычайно оригинальную, местами темную, местами фантастиче-

ски освещенную. Часто по этой Базарной улице проезда нет, особенно как пойдут верблюды или сопрутся обозы, пришедшие с Нижегородской ярмарки... И по этой-то шумной, веселой улице должна была проходить печальная Магдана.

Тишиной, мраком и уединением со всех сторон повеяло на нее, когда, пройдя Базарный мост, против Метеха {Метех -- замок на береговой скале реки Куры. Там есть старинная церковь и острог. (Прим. авт.)}, по тропинке взобралась она на гору и повернула в закоулок, где была ее низкая сакля.

Все шли молча. Давид Егорыч с фонарем шел впереди и старался Магдане освещать дорогу. Бог его знает, где это он достал фонарь: вышел из Сололак без фонаря, а тут появился фонарь, да еще складной, бумажный!

Где это по дороге он успел захватить его -- неизвестно. Никто из женщин даже и не поблагодарил его за такую предусмотрительность: некогда им было думать о благодарности. Тишиной и уединением приветствовал их тот кривой и узкий закоулок, где жила Магдана; но не прошли они двадцати шагов,

чей-то жалобный вой поразил их невольным ужасом. Сердце Магданы сжалось. Шушана спросила шепотом: "Не собака ли это воет? Посмотри!" Дверь в саклю Магданы была настежь отворена и в темноте ночи освещенная тусклым светом выгоревшей плошки одна во всем закоулке светилась и была заметна. На темной кровле, у трубы, съезжившись, сидело какое-то существо и потихоньку выло нестерпимо заунывным голосом. Трудно было понять, кто это -- мужчина или женщина.

Конечно, в Тифлисе не обходится ни один покойник без того, чтоб кто-нибудь не повыл над ним, но кому бы, кажется, выть над трупом старухи, бедной, безродной и беспомощной? Кому в целом мире была нужна или дорога она? Бог ведает, кто это приходил повыть над ней! Для всех это осталось неразгаданной загадкой. Когда женщины подошли уже к самой двери, одна из провожатых взглянула на кровлю, но плач затих и у трубы никого уже не было. "Видно, это душа ее сама приходила повыть над своим грешным телом",-- проговорила она некстати, потому что слова ее в ушах Магданы прозвучали несо-

мненной истиной. Магдана остановилась у порога и ни за что не хотела перешагнуть его. Давид Егорыч вошел первый, повесил свой фонарь на крючок подле закоптелого деревянного столба, поправил светильню в площадке, которая горела на земляном полу, и стал уверять женщин, что ничего нет страшного. Женщины вошли, творя молитву-

Мертвая старуха лежала на краю тахты. По всему было видно, что в продолжение дня заходили в саклю и что какой-нибудь добрый человек позаботился о приведении в порядок брэнного тела. Покойница лежала с полуоткрытыми глазами, с тем же тупым и слезливым выражением в лице, с каким привыкли встречать ее, с той только разницей, что к этому выражению примешивалось что-то ребяческое,— оттого ли, что рука смерти сгладила ее морщины, или оттого, что старость привела ее к младенчеству. Тощие, окостеневшие руки ее были скромно сложены; вокруг усопшей уже носился запах смерти.

Будь это родная мать, сестра или друг, близкий сердцу, быть может, не так страшно и странно было бы видеть Магдане этот жал-

кий труп на той самой тахте, где каждый день она обедала, где каждую ночь спала она; но старуха, с которой ничего и никогда не было у ней общего,— старуха, которой даже родство с мужем было какое-то неопределенное,— старуха, которой появление никогда не приносило ей ни печали, ни радости, вдруг, мертвая, по какому-то ей одному известному праву занимает чужую саклю, чужое ложе, чужое изголовье; да и отчего же, наконец, умерла она? Не то удар ее доконал, не то объелась она, не то умерла с голоду. И эта неизвестность бессознательным страхом обдавала душу Магданы, одаренной от природы довольно живым, даже замысловатым воображением и раздражительными нервами. В этих чертах еще не развившегося характера Магдана далеко выступала из общего, холодного типа грузинских женщин. Быть может, желчь и болезненность ее матери имели на нее влияние; быть может... но мало ли что может быть и мало ли на свете исключений.

-- Пожалуйста, уж не беспокойтесь! -- заговорил наконец их молчаливый спутник, которого мы и будем звать Давидом Егорычем или просто как случится.-- Уж, пожалуйста, себя не тревожьте: сделайте такую милость, идите ночевать в Сололаки и уж ни о чем не думайте; я сейчас распоряджусь: пошлю за одним старичком и велю ему псалтырь читать. У меня брат есть, муж моей сестры -- священник; он для меня все сделает. Уж я... только будьте спокойны... идите себе и спите... и уж не думайте!

Магдана на все эти речи, полные несомненного участия, низко кланялась и каждый поклон свой сопровождала грустным "спасибо".

-- Спасибо вам, Давид Егорыч, -- говорила она тихим голосом,-- хотя я и не знаю вас, Давид Егорыч!

Шушана также начала благодарить, соседки принялись за то же самое, и Давид Егорыч не знал, что уж и отвечать ему на такие благодарности.

-- Уж вы мне только дайте ключ от сакли, чтоб я мог... я уж все сделаю... все будет у меня

как следует... Ничего у вас не пропадет, даже лягу спать, ночью здесь, чтоб только... главное -- не беспокойтесь!

Так убеждал их Давид Егорыч и, казалось, был чему-то душевно рад: тому ли, что ему судьбой послан случай познакомиться с красавицей, тому ли, что наконец развязавшийся язык его убедил Магдану возложить на него всю свою надежду, поручить ему все добро свое и воротиться в Сололаки.

Усталая, совершенно обессиленная длинным путем и душевными тревогами, только что Магдана успела воротиться в Сололаки в саклю тетки Шушаны, как, не раздевшись, бросилась на тюфяк и заснула крепким сном. В полночь не то ветер, который вдруг поднялся и загудел в трубе, не то платье с узкими рукавами мешало ей, не то тревожный сон разбудил ее, -- знаю только, что она проснулась, -- проснулась и стала думать. Сначала страшные мысли стали приходить ей в голову: что, если бедная Назо умерла оттого, что она не оставив дома ни куска хлеба, поневоле заставила ее, бедную, каждый час ожидать себя? что, если это действительно душа ее приходи-

ла повить на кровлю, видя, что никто во всем околотке не хочет совершить над ней обряда слез и причитаний? что, если каждую ночь тень старухи будет приходить и пугать ее? Кто знает, быть может, она какая-нибудь колдунья! ведь недаром же говорили ей, будто Назо дала кому-то перстень с таким камнем, на который если посмотришь да пожелаешь детей иметь, то непременно так и случится. Да и где это жила она? куда пропадала? чем питалась?.. Эти вопросы только теперь и пришли ей в голову. Потом Магдана стала думать, что было бы, если б не Давид Егорыч! и что было бы, если б Арютюн не уехал в Кахетию, ведь ничего бы не было.-- умерла бы старуха где-нибудь на стороне, а не в ее сакле... И что это ей вздумалось пустить ее? последнее, что взбрело ей на ум и что всякой другой на ее месте с самого начала пришло бы в голову,-- где ей взять денег на похороны. От десяти рублей остался только полтинник да еще абаз -- итого семь гривен. Что ей делать с этими деньгами? Эта мысль ее встревожила, но далеко не была так страшна, как тень старухи; а потому под утро Магдана стащила с себя

в потемках платье, разула ноги и опять заснула крепким сном.

XVI

По ту сторону Куры, на Авлабаре, в эту самую ночь иные мечты, иные думы тревожили чей-то сон. Давид Егорыч заказал дешевый, нищенский гроб для незнакомой нищей, отужинал у зятя своего, приходского священника, уговорил его принять участие в похоронах и около полуночи, веселый и бодрый, воротился Домой. Чуху свою повесил он на гвоздик, шапку и пояс положил на стол, архалук свернул и засунул себе под изголовье, сам с себя стащил сапоги, лег на какой-то жесткий кожаный диванчик и, закурив свою лезгинскую трубочку, хотел заснуть. Но что это был за дом, в котором обитал Давид Егорыч! Этот дом настолько же похож был на обыкновенный дом, насколько шалаш, сколоченный из досок, похож на баню. Это был дом его матери: вообразите себе маленькую стенку маленькой развалины и знайте, что такая точно стенка, сложенная из квадратных кирпичей

и брусьев на фундаменте из кусков дикого камня, возвышается и, подобно крепости, с двух сторон окружает дворик. Не знаю, есть ли возможность назвать даже маленьким двориком пространство от четырех до пяти квадратных сажен. Это скорее какие-то древние сени с дверью прямо, с дверью влево и лестницей с десятью дощатыми ступеньками наверх. Одна из этих дверей ведет в просторную и сумрачную саклю, где живет сама хозяйка; другая -- налево, замыкает кладовую с кучами луку и свеклы, с кошелкой сморщенного зимовалого винограда, с мешком муки и кадучкой масла. Над кладовой же поднимается кирпичная постройка, очевидно, новейшего времени; она имеет вид светелки и заключается в одной только комнате с камином в углу. Лестница со двора сперва ведет на небольшой балкон, а уж потом в комнату, где и обитает наш Давид Егорыч и где на этот раз мы застаем его лежащим на диване в совершенной темноте, потому что до утренней зари оставалось два часа. В комнате было одно небольшое окошечко, -- даже рама была в него когда-то вставлена; но вот уже лет пять или

шесть, как Давид собирается сходить за стельщиком и все откладывает до будущей зимы, чувствуя в душе, что это совершенно лишнее. Молодое, рослое тело его не постигло простуды: тот же самый ветер, который в эту ночь будил Магдану, судорожно врывался в комнатку Давида и шумел в трубе камина, а он лежал, не затворив дверей, даже не прикрывшись буркой и уж нисколько не замечая тех усилий, с какими этот ветер старался окончательно доломать гнилую раму единственного квадратного окошечка. Младший брат Давида, лет пятнадцати, спал на войлоке под балконом, и, когда ветер стихал, разгуливая где-то вдали или где-нибудь по соседству подметая кровли, Давид мог бы очень хорошо слышать храп его, если бы только в эту ночь в ушах его не раздавался плачущий голосок Магданы.

Тот же самый случай смерти, который доводил Магдану до отчаяния, Давида приводил в восторг. Все события этого дня, начиная с того, как пошел он домой от сестры, и как, идя от сестры, увидел он полицейского в дверях уже давно ему знакомой сакли, и как

остановился он, как стал говорить с знакомым ему квартальным, и как тот спросил: а где же Арютюн? -- Уехал в Кахетию.-- А где же-на его? -- Ушла к родным в Сололаки.-- Так надо за его женой сходить: пускай хоронит. И как он был рад идти за Магданой и как, наконец, хороша, невероятно даже хороша эта Магдана! давно он в церкви видел ее, да все не было случая познакомиться... Одним словом, все события этого дня со всеми малейшими подробностями по несколько раз беспорядочно пересыпались в голове его и долго, долго мешали спать бедному Давиду Егорычу.

XVII

На другой день тетка Шуша на с большим неудовольствием узнала, что у Магданы денег нет. Видно, ничего-то больше и нет, кроме полтинника! Магдана не поняла на этот раз молчаливой тетки и стала просить Михаку дать ей займы сколько может сроком недели на две или до приезда мужа. Михака долго ломался, наконец сказал ей:

-- Чего тебе надобно? Похоронить колду-

нью? Пожалуй, я закажу ей гроб и все сделаю сам, только в руки денег тебе не дам; а что будут стоить мне похороны, ты мне заплатишь через две недели. Хочешь?

-- Как не хотеть!

Магдана согласилась с радостью и, видя такое расположение к себе родных своих, дала себе слово до приезда мужа не возвращаться на Авлабар, даже, если можно, не ходить на вынос тела и ни во что не вмешиваться: пусть распоряжаются! Воровать же в сакле нечего. Да и что за беда! пусть воруют! не ее добро. Зачем муж уехал: сам виноват. Да и что за добро! кому оно надобно? несколько горшков, тарелки, три кувшина, мангал, медный рукомойник, котелок, сковорода, старые сапоги, заржавленный кинжал, дырявая бурка да дырявый войлок! Подушки же, платье и новое одеяло спрятаны у нее в стене, за дверцами, от которых ключ при ней; да к тому же и Давид Егорыч сказал ей, что все будет цело и чтоб она не беспокоилась.

Полиция разрешила на третий день, то есть в пятницу на святой неделе, похоронить старуху. Не стану занимать вас описанием

разного рода мелочей, происходивших наутро того дня, когда из двери Арютюновой сакли на двух полотенцах вытащили гроб, сколоченный из досок и ничем не обитый. Не много любопытных сошлось на вынос, и мало было охотников провожать старуху на кладбище. Давид Егорыч, нецеремонный и уже вовсе не застенчивый с своим братом -- грузинами, все это время то спорил, то рассчитывался, и капли крупного пота покрывали лоб его. Беспреестанно снимал он шапку, вынимал оттуда клетчатый платок и вытирал себе лицо и шею, начиная с затылка. Михака все время тут же присутствовал. На тахте, где лежала покойница, после похорон явился поднос с молоденькой редиской, с соленым грузинским сыром, красными яйцами, икрой и зеленью. Брат Давида Егорыча в салфетке притащил целый десяток теплых чуреков и кувшин вина. Михака выпил за здоровье Давида Егорыча и до тех пор не отставал от него, пока тот не простился со всеми присутствующими, не пожал рук дьячкам и не запер сакли.

-- Дай-ка мне ключ-то: я отнесу его; что тебе ходить! -- сказал Михака Давиду.

Давид слегка поколебался, но отдал ключ и до самого базара проводил Михаку.

"Эхма!-- Думал он.-- Хотел было сам отнести этот ключ и лично вручить его Магдане... Дурак я, что послушался и отдал".

XVIII

Михака в тот же день, часу в пятом после обеда, зашел домой и объявил Магдане, что она должна ему четырнадцать рублей за все расходы.

-- Если хочешь,-- прибавил он,-- можешь завтра же домой идти.

Тут он вынул из кармана ключ от ее сакли, бросил его к ней на колени и, прежде чем Магдана открыла пот, чтобы поблагодарить его за хлопоты, вышел вон, напевая в нос всем известную в Тифлисе уличную песню: мовди-вар, мовди-вар, Соломе (то есть приди ко мне, приди, Соломея)!

Магдана в душе давно была не расположена к Михаке и не пропустила мимо ушей последних слов его: "завтра ты можешь домой идти". Магдана была обидчива, что редко

выражалось в ней потоком слов; напротив, в эти минуты надо было добиваться, отчего так вдруг побледнело лицо ее... Только что вышел Михака, подавленная досада заметно бросила густую тень на побледневшее лицо Магданы. Минут десять просидела она неподвижно с ключом на коленях. Потом она стала собираться домой. Тетка не хотела отпустить ее одну и хотела проводить; но Магдана не отвечала ни слова и продолжала собираться. Тетка надулась. Четырнадцать рублей, истраченных ее сыном, ради бог знает какой мертвой нищей, считала она за величайшее одолжение, сделанное ее сыном Магдане.

"И как же после всего этого,-- думала она,-- Магдане поступать таким образом! не благодарить за хлеб и соль и не уважать такой щедрой и благодетельной семьи своей!"

-- Куда же ты теперь одна идешь? -- крикнула Шушана с порога.

Магдана, затворяя калитку, отвечала ей:

-- Пришла одна и уйду одна. Спасибо!

И вот Магдана с замиранием сердца отпирает дверь своей печальной, безлюдной сакли. Магдана дома. Что ей делать! Все, что

ни попалося ей на глаза: и мужнину бурку, и войлок с тахты, и свое старое платье, и даже подушку, которая была заперта в стене,-- все это повытаскала она вон из сакли -- выветривать; мутаку же, на которой лежала голова старухи, подпихала она под тахту, с тем чтобы уж не раньше как через шесть недель ее оттуда вытащить. Вот уже и вечер. Мутно-красные облака заволокли закат. Где-то в училище, по ту сторону реки, непрерывно-слитным звуком последний прозвонил звонок.

"Боже мой,-- подумала Магдана,-- в каком скучном месте эта проклятая сакля!"

На голых досках, из которых сколочена тахта,-- на досках, не прикрытых на этот раз ни ковром, ни войлоком, уселась Магдана, поджав ножки, завесила глаза платком и стала плакать.

Тонкий запах ладана напомнил ей слезливо улыбающееся, мертвое лицо старухи.

"Как я буду спать на этом самом месте, где лежала покойница? Куда пойду я? Что со мной будет? Боже мой! Боже мой!" -- с отчаянием в душе повторяла Магдана, и когда сдер-

нула с лица платок, невольный страх еще пуще напал на бедную, одинокую, суеверную красавицу.

Красные облака потухли; сквозь широкое отверстие потолка мелькало потемневшее небо; белесоватое пятно лежало посредине земляного пола; темно стало по углам и за столбом, в углублениях старинной сакли.

Магдана отворила дверь, вышла подышать свежим воздухом и около стенки села на камешек. Так на этом камешке думала она просидеть всю ночь до самого света божьего! К Евтимии она не пошла ночевать, потому что у Евтимии никогда нельзя ночевать, и потому еще не хотела Магдана идти к Евтимии, что была на нее сердита и при первой же встрече собиралась бранить ее. Магдана узнала стороной, что это не кто другой, как Евтимия, которая первая, войдя к ней в саклю, увидела труп и, вместо того чтоб дать ей знать о том, пошла всем рассказывать.

Был одиннадцатый час; из-за потемневших облаков мелькали звезды.

Слышит Магдана, кто-то идет. Из-за угла слышались чьи-то тихие, ровные шаги, со-

провожаемые шелестом широких канаусовых шальвар. Тень мужчины в грузинской шапке обрисовалась в темном воздухе. Магдана сделала движение, чтоб встать и удалиться, но голос Давида Егорыча предупредил ее.

-- Доброй ночи, Магдана! -- сказал Давид, снимая шапку.

-- Доброй ночи, Давид Егорыч! -- отозвалась Магдана сильно взволнованным голосом, встала с камешка и поклонилась.

-- Когда же воротится ваш муж, Магдана?

-- Не знаю, Давид Егорыч... Очень, очень я благодарна вам,

-- Э! Что, Магдана!.. Что ж вы не спите?

-- Я одна боюсь, Давид Егорыч.

Давид стал молчать, как бы в ожидании, что еще скажет ему красавица. Грудь его медленно и тяжело дышала, и казалось, в то же время он старался затаить свое дыхание. На его щеках горел огонь. Этого огня никто бы не мог в эту минуту разглядеть, потому что только звезды освещали лицо его.

-- Хотите,-- сказал Давид,-- хотите, то есть... я уже пришлю к вам девку, то есть., служанку сестры моей, которая замужем за свя-

щенником.

-- Неужели ваша сестра замужем за священником?

-- Она уж того, я уж ей велю... она ночует с вами: вам не будет страшно.

Магдана заметно обрадовалась.

-- Я уж не знаю, как и верить вам...-- начала было говорить она и вдруг замолкла.

Впервые Магдана услышала голос искренней, теплой о себе заботливости, и ей не верилось.

-- Кто же вам закупает провизию? Неужели вы завтра сами на базар пойдете?

-- Ну что ж? Сама пойду! Когда был муж дома, он ходил и все покупал, потом вот эта старуха, -- что умерла; а теперь я сама пойду. Что ж делать?

И две крупные слезы покатались из глаз ее. Давид опять стал молчать.

-- Нет, уж этого не будет, чтоб вы сами на базар пошли! Я ваш сосед...-- начал было он говорить, но разговор не клеился, потому что Давид Егорыч, в сущности, был сам застенчив, как красная девушка.-- Доброй ночи, Магдана, -- сказал он наконец, приподнимая шап-

ку.

И вот опять в уединенном закоулке слышался удаляющийся шелест канаусовых шальвар, и опять Магдана села на камешек.

XIX

Ночь была темна по-прежнему; но светлее стало на душе Магданы: вместо мысли о том, что мертвая старуха придет пугать ее, стал занимать ее вопрос: действительно ли Давид Егорыч пришлет к ней служанку? И что это за добрый такой человек! Откуда он взялся? Какая такая счастливая мать родила его? Давид исполнил в точности все, что обещал. Магдана ждала и уже начинала терять надежду, как вдруг -- это было около полуночи -- видит, ходит толстая, высокая девка с фонарем и останавливается, не зная, куда направить шаги свои.

-- Не меня ли ты ищешь?-- спросила ее Магдана.

-- Где тут мне ночевать велят?-- в свою очередь, спросила девка и засмеялась.

-- А кто послал тебя? а?-- спросила Магда-

на и также засмеялась.

Девка была богатырского сложения. Фонарь осветил два красные полушария: это были ее щеки. Тень бедной Назо съежилась бы в маленький темный комочек и улетела бы в трубу, если бы только могла увидеть такую девку.

-- Как зовут тебя?-- спросила Магдана.

-- Э! Как зовут! Дарьей. Зачем это мне здесь ночевать велят?

И она опять засмеялась.

"Нет!-- подумала Магдана.-- Скажи ей, что я боюсь, она и сама, пожалуй, испугается да уйдет..."

-- Да так, мне скучно...

-- Во-от! скучно!

И, никаким образом не объяснив себе, почему это Магдане скучно, Дарья с насмешливо-подозрительной миной влезла в саклю.

На другой день утром, часу в девятом, Магдана сидела на тахте и убирала голову. Дарья ушла прежде, чем она проснулась, и забыла фонарь свой. Магдана встала поздно, потому что ночью долго не могла заснуть: до того толстая Дарья смешила ее каждым словом,

то цинически остря над толщиной своей, то доказывая ей все преимущество толщины, и в то же время рассказывала ей про Давида Егорыча. По всему было видно, что Дарья была не последней руки молодец и гуляка. Она спросила даже у Магданы, нет ли у нее табаку и нельзя ли затянуться трубочкой.

Магдана узнала, что Давид служит и получает жалованье, что у него два брата, из которых старший женат на богатой и служит где-то далеко; о существовании Петербурга Дарья не знала так же, как и Магдана.

Итак, Магдана встала довольно поздно и убирала голову; вдруг дверь в саклю отворилась и вошел человек, совсем незнакомый, малый лет шестнадцати, среднего роста, с цветущим лицом, немного сутулый и на вид простоватый; под мышкой был у него пустой кулек. На плечах его был сюртук с протертыми локтями, а на голове -- грузинская шапка, которую он тотчас же снял и стал около двери в почтительном отдалении, бормоча, что его прислал Давид Егорыч, и очень вежливо извиняясь, что опоздал прийти.

Магдана смутилась и, накинув на плечи

платок, стала благодарить его, кланяться ему и посылать с ним тысячу поклонов Давиду Егорычу.

Юноша мял в руке шапку, глядел немножго исподлобья, добродушно улыбался и также кланялся.

Магдана, не зная, что с ним делать, пригласила его сесть на тахту.

Юноша отказался от этой чести и объяснил, что он прислан с тем только, чтобы узнать, не пошлет ли она его на базар, и не нужно ли ей чего купить.

Магдана торопливо развязала кончик платка, вынула полтинник и попросила его купить ей все, что придет ему в голову.

С последним полтинником Магданы, проворнее птицы, слетал он на базар, купил и принес кусок баранины, два хлеба, десяток картофелин, масла, пучок зелени и щепотку соли, потом спросил у Магданы, где у нее дрова, чтоб развести огонь.

Этот вопрос, очевидно, затруднил ее. На дне какой-то кошелки, в заднем, самом темном углублении сакли, Магдана, перепачкав руки, нашла небольшую кучку угольев; дров

не оказалось.

Юноша, или, лучше, бичо, то есть мальчик, слуга Давида, как начала предполагать Магдана, не удовлетворился угольями: побежал и, не говоря ни слова, притащил с улицы какую-то пыльную доску, с явными следами каблуков и ржавым кинжалом Арютюна изрубил ее в щепы,— одним словом, бичо оказался самым расторопным слугой. Через несколько минут уже над плоской кровлей сакли, из отверстия, вился дымок. Бичо, чтоб вытереть руки, потер ладонь об ладонь, поклонился и вышел. Магдана присела на пол перед пылающими, сухими щелками и стала стряпать: жарила шашлык, пекла картофель и не думала о завтрашнем дне.

XX

На третий день бичо принес ей поднос с готовым кушаньем. Видно, слуга догадался, что у Магдаины ни копейки денег нет.

На четвертый день он явился с тем же, и так продолжалось около недели.

В это время Магдана уже успела узнать,

что бичо, или слуга Давида, есть не кто иной, как родной брат его, обучающийся в семинарии. Дарья также зашла к ней за фонарем. Один только Давид Егорыч как будто боялся переступить заветный для него порог. Боялся ли он сплетней или дожидался, что Магдана как-нибудь сама пригласит его. Угодливость Давида, к чести его, не была расчетом: он был не довольно развит для подобных тонкостей. Это желание чем-нибудь услужить, всего вероятнее, было потребностью доброй души его. Кому не приятно угождать такой красавице, какой, по искреннему убеждению Давида, не было еще на белом свете? Магдана, несмотря на все свое желание видеть, благодарить и говорить с Давидом, два раза вечером, слышав шаги его, невольно пряталась за дверью сакли; конечно, это не было кокетством. Быть может, чувствуя себя слишком обязанной, ей было совестно. Магдана не отдавала себе отчета в своих чувствах, но понимала, что она Давиду нравится, и это льстило ей. Как и во всем, в любви она была неопытна, что, однако ж, не только не мешало, напротив, помогало разыгрываться ее воображению. "Что, ес-

ли,— часто думала она засыпая,— вдруг в глухую полночь он войдет ко мне, как я в темноте узнаю, кто вошел? и что скажу ему?" При этих мыслях ей не спалось, и всякий раз, когда кто проходил по закоулку и за стеной глухо раздавались шаги, сердце в ней пугливо сжималось, и она или пряталась под одеяло, или, притаив дыхание, приподнималась на одной руке и напрягала слух...

Она была одна; закоулок был глухой: дверь ее сакли запиралась висячим замком только снаружи, когда ее дома не было, изнутри же привязывалась ремешком к гвоздику; но этот ремешок был давно оборван. В закоулке, прямо против ее двери, поднимались кирпичные стены недостроенного домика и лежали бревна: стало быть, глаза любопытных соседок не всегда могли наблюдать за ней. Но Давид или был слишком сильно и истинно влюблен, или не знал, что изнутри дверь Магданы не запиралась, или боялся испугать ее. Часто, однако ж, в глубокую ночь садился он на бревна перед дверью заветной сакли и, как больной, лихорадочно прислушивался к малейшему ночному шороху.

Иногда собирался он сказать Магдане о своем намерении посетить ее -- и не мог сказать. Несмотря на мужественные линии смуглого лица, высокий рост и широкие плечи, Давиду было с небольшим двадцать лет; вырос он в благочестивой семье, и судьба спасла его нравственные силы. Давид Егорыч в этом случае был редким исключением: он краснел, как дитя, когда замужняя сестра его, разведав, куда это на целую ночь посылал он Дарью, начинала трунить над ним, приставая к нему с расспросами:

-- Ну что, братец, делает твоя Магдана? Здорова ли твоя Магдана? Сколько раз ты нынче к ней заглядывал?

"Счастье еще мое, -- думал про себя Давид, покуривая трубочку, -- что сестра не знает, как я посылаю к Магдане брата вместо слуги и откуда добываю ей кушанье".

XXI

Несмотря на всю чистоту отношений Магданы и услужливого Давида Егоровича, в Сололаках уже прошел неясный слух о тесной

связи их. Михака собирался поймать Давида врасплох и где-нибудь с товарищами поколотить его; тетка жаловалась на плохие времена.

-- Что теперь за народ! -- говорила она, перебирая четки и сердито потупившись, -- бывало, как выдадут замуж, так не только года три или четыре не глядишь на посторонних, -- избегаешь встречи и ни слова не отвечаешь родному брату мужа; бывало, стыд и срам когда тесть увидит невестку с непокрытой головой! Мало того: сколько было таких счастливых мужей, с которыми жены, по целому году, кроме "да или нет", ничего и говорить не смели; а теперь! Что это такое! Меня моя бабушка чуть было не прокляла за то, что я попробовала есть ложкой, а не руками. Матери наши до старости лет не знали, что такое лавки и что там продается... И так далее.

Подслушать жалобы Шушаны, по случаю знакомства ее племянницы с Давидом, значило в самой живой и поразительной картине представить себе нравы старого времени.

Само собою разумеется, что Шушане стало небезызвестно, что Давид небогат и что

пятнадцатью рублями ежемесячного жалования нельзя содержать мать, брата да еще Магдану. Вследствие чего она глубоко от всей души стала презирать свою племянницу.

-- погоди,-- говорила она,-- не разбогатеешь! Еще придешь ко мне да поклонись, неблагодарная!

Магдана знала или, может быть, только предполагала, что тетка на нее сердится; но не знала, за что именно, да и знать не хотела. Все эти дни, конечно, она не вспомнила бы о сололакских своих родных, если б Михака два раза не заходил к ней с грубым требованием возврата денег. Магдану то бесило, что еще и срок-то платежа не вышел, и вот, в одно праздничное утро, мы застаем ее в самом жалком расположении духа.

Прошло уже с лишком две недели, а об ее муже не было никакого известия. Каждую минуту она ждала его. Приезжай, Арютюн,-- быть может, впервые во всю жизнь свою она бы обрадовалась его возвращению.

"Боже мой! что я буду делать, -- думала она, -- если еще пройдет месяц, а муж не воротится?"

Михака как нож к горлу пристаёт: "подай да подай мои четырнадцать рублей", а у Магданы давно уже нет ни копейки!

Обедать на чужой счет было ей страшно совестно.

"Боже мой! -- продолжала думать Магдана, ломая руки, -- за что он обо мне так заботится? чем я это заслужила? Хоть бы он за это позволил себе поцевать меня. Неужели я такая каменная, что не могу чувствовать благодарности? Долго ли это так продолжится? И что будет, если мне перестанут обед носить? Я умру с голоду!"

Магдана накрыла лицо платком, чтоб самой не видать, как плачут и какие слезы роняют черные глаза ее! Неподвижно и долго таким образом просидела она на тахте; нетерпеливо ждала полуденного выстрела из пушки и придумывала, что сказать брату Давида Егорыча, который все это время так исправно, ровно в полдень, приносил ей кушанье. На этот раз ей даже хотелось попросить его сказать Давиду:

-- Что ж он!.. не грех ли?.. Хоть бы на минуточку зашел к Магдане. Магдана хочет по-

советоваться с ним, хочет спросить, нельзя ли хоть кого-нибудь послать в Кахетию, и если нельзя... то... почему бы Давиду Егорычу хоть-изредка не навещать ее?..

Но время хоть и казалось медленным для скучающей Магданы, однако ж быстро пролетело над Тифлисом и давно уж миновал полдень, передвинув часовую стрелку. На Штабе уже било три часа.

Как нарочно, никто не отворил еще дверей Магданиной сакли, не пришел просто-душно улыбающийся юноша и, по обыкновению, в грязной салфетке не принес ей блюда с кушаньем.

-- Вот, нынче никто далее ко мне и заглянуть не хочет! -- сказала Магдана. -- Вот как! Видят наконец, что не целый же век кормить меня.

И она, рыдая, чувствовала, что не имеет права не только требовать, -- не имеет права желать такого внимания.

Погода была дурная; за дверь сакли невозможно было выглянуть: на целый день, с утра, солнце заволокли туманы, шел дождь и сырой ветер прохватывал до костей. По за-

коулку шлепали ногами одни только каменщики, выпачканные известкой.

Магдана утерла слезы; но от этого не легче стало на душе ее. Мысль, что даже Давид Егорыч позабыл о ней, была невыносима. Тяжко было ей смотреть на божий свет своими заплаканными глазками. В этом грустном молчаливом одиночестве чего-чего не приходило ей в голову. То хотелось ей наняться где-нибудь в работницы и мыть белье, то уйти куда-нибудь в деревню, то подать на мужа просьбу: "так и так, дескать, ушел, не кормит и не одевает!"

XXII

Бедная голодная Магдана не умела спокойно обдумать своего положения и не могла без ропота покориться судьбе своей: одним словом, она волновалась, а не мыслила. Но, читатели, посудите сами: в ком она могла найти ту нравственную опору, которой ей самой недоставало?

Когда она была ребенком, тетка Шушана не слишком ли явно тяготилась ею и, стало

быть, не могла научить ее сносить горе терпеливо и без ропота. Михака (не заплативший, ни гроша за похороны Назо) начал уже притеснять ее: к нему ли обратится она за помощью? Евтимия, бог знает откуда, из каких рук и за что получает деньги: она ли придет и чему-нибудь доброму научит?..

Все это было так; но такого рода размышлений не было в неразвитой голове Магданы: она сама не знала, на что ей жаловаться, а жаловалась; наконец ничего лучшего не могла она придумать, как лечь спать и, если можно, проспять до следующего утра. Вдруг, только что прилегла она, слышит, кто-то тихонько постучался в дверь.

Магдана встрепенулась, даже как будто испугалась. Брат Давида, в качестве слуги, никогда не имел похвальной догадки стучаться к ней, а всегда почти отворял ее саклю ногой или коленом.

– Кто же это? Неужели опять ненавистный Михака пришел за деньгами? Уже не Арютюн ли из Кахетии! но с какой стати хозяину стучаться в незапертую дверь своей родной берлоги? Боже мой! кто там? Не Давид ли

Егорыч?

И при этой мысли Магдана вспыхнула и нетвердым голосом, но громко сказала:

-- Войди!

Увы! не статный грузин, с карими задумчивыми глазами, отворил дверь и вошел; вошла старуха Сусанна -- та самая Сусанна, которую, помните, принималась было бранить догадливая Шушана, встретив ее в Сололаках, около своей сакли, и даже ночью, по какому-то особенному свойственному ей чутью, узнав ее...

Магдана встречала ее, но ни разу не обратила на нее внимания, -- быть может, слышала о ней, но при встрече не могла назвать ее по имени.

Постараюсь вкратце, для пущего уразумения предстоящих сцен, как-нибудь нарисовать портрет Сусанны.

Сусанна была тифлисская уроженка; но к какому именно племени могла принадлежать она -- это было для всех покрыто мраком неизвестности. Русским она говорила, что она грузинка, а армян и грузин уверяла, что она русская.

Одевалась она так, как обыкновенно одеваются наши торговки, сидящие с лотками на базарах, и зимой, в грязь, надевала даже сапоги; ей было около пятидесяти лет, хотя на вид казалось ей не больше сорока -- так мало было морщин на скуластом, как будто прилизанном лице ее. Продолговатый, тупой, здоровый нос ее и такой же подбородок придавали всей нижней части лица ее грубое, деревянное выражение. Узкие губы свои она любила съезживать, не то с видом притворной грусти, не то с видом затаенной радости. Вся она глядела такой тихонькой, даже благочестивой скромницей. Сусанна недаром большой кашемировый, полинялый платок свой так замысловато набрасывала на голову, что серые, узенькие глаза ее с желтоватыми белками были постоянно в тени. Сусанна, несмотря на лета свои, проворно передвигала ноги и также на ходу проворно переставляла палку, особенно если шла куда-нибудь с целью и не хотела, чтоб ее заметили. Голова Сусанны в профиль далеко выходила вперед, и когда Она стояла, облокотясь на палку, то казалась горбатой. У нее был претонкий слух; но часто

она не слышала, когда ее во все горло кликали, и проходила мимо, тряся головой сильнее обыкновенного, так как будто бы никто и не зовет ее. Женщины низшего класса во всем доверялись ей; они знали, что Сусанна молчалива, как могила, и что никакими угрозами нельзя было от нее добиться правды, даже если б вздумали давать ей деньги. Она, быть может, и призналась бы, что солгала; но в ее сознании была бы точно такая же ложь, только более правдоподобная и, стало быть, более опасная. Ложь ее простиралась на все и на всех. Например, Евтимия живет на Авлабаре; спросите ее;

-- Где живет Евтимия? -- В Алтиллерийской слободке, -- скажет вам Сусанна и тут же уверит вас, что никакой нет Евтимии, что есть Магдана, которая сама себя иногда называет Евтимиею, а Магдану назовет Пепелой.

И таким образом, вследствие одной привычки, лгала она без всякой очевидной нужды, и лгала на трех языках: по-русски, по-грузински и по-армянски. Сусанна была замужем, но никто так мало не знал ее, как муж, который, правда, мало обращал на нее внима-

ния. Муж ее был старый инвалид и нанимался в окрестностях Тифлиса ходить за ульями и стеречь пчельники. В летние дни никогда его дома не было. Приходил он в Тифлис к обеду и всегда почти заставлял Сусанну дома и одну, посылал ее за вином, за луком и хлебом, обедал с ней, отдавал ей какие случались деньги и ни разу не подумал, что хитрая Сусанна беспрестанно лжет. Наклонность к деньгам доходила у нее до лихорадочной жадности; она копила их тайком от мужа и жаловалась ему на совершенное безденежье для того только, чтоб выманить у него лишний гривенник. Чтоб добыть рубль, она готова была на все, -- знакомилась с лакеями новоприезжих господ и узнавала их наклонности, лечила больных вольнонаемных грузин или имеретин и за них получала то жалованье, которое они не могли или не успели получить с господ своих. Так иногда за грошовые лекарства брала она десятки рублей. Сусанна очень хорошо знала те числа, когда казначеи выдают служащим жалованье, и, не хуже всякого кредитора, умела пользоваться временем... Но довольно! Надеюсь, читатели

поймут, что это была за женщина.

XXIII

Войдя в саклю Магданы, хитрая старуха в недоумении стала оглядываться на все четыре стороны. Глаза Магданы, жаркие и влажные от недавних слез, сердито следили за ее малейшим движением. Наконец Магдана собралась спросить старуху, что ей надобно.

Старуха все еще продолжала с глупой миной оглядывать саклю, как будто не туда зашла, потом посмотрела на Магдану и опустила на пол узел, который держала в руке.

-- Ва! куда я зашла! И не думала, что хозяйка знакомая! Эко дождь-то идет: вся мокрехонька, весь подол хоть выжми; хоть отдохну маленько да повысохну... Э! башмаки-то, гляди ты, какие; все в грязи, и обтереть-то нечем! Слава еще богу, что нашла знакомую... Здравствуй, Магдана! доброго тебе здоровья и всякого благополучия.

Сусанна поклонилась. Магдана молчала.

-- Ну, что твоя старая тетка Шушана делает? Ведь я ж думала, что ты у ней в Сололаках

живешь.

-- Никогда я там и жить не буду! -- отвечала Магдана с неудовольствием.

Лицо старухи показалось ей знакомо. "Вероятно, -- подумала она, -- какая-нибудь сололакская".

Старуха уселась на тахте и развязала узел.

-- Что это ты несешь?-- спросила ее Магдана, еще не выходя из того положения тоски и полудремы, в каком застала ее неожиданная гостья.

-- А вот посмотри, шени-череме; не купишь ли? Дали продавать добрые люди: посмотри, хороши ли вещи-то?

Сусанна вынула и разложила на тахте, около босых ножек Магданы, щегольской то-вар свой. Кто видал наряд и головной убор грузинок, тот поймет, на что годились вещи, принесенные Сусанной. Тут были три куса белым шелком вышитой ткани, для покрывал (личаки), были нагрудники (гулиспери) из ярко-алого бархата; черные атласные полосы, с пестрыми шелковыми звездочками (товсакреви), несколько свертков лент; мел-

кие кружева и красные пояса, с золотыми кистями, вязанные сеткой из сученого шелку,-- пояса, нужные в Грузии настолько же для женщин, насколько и для мужчин.

Магдана сначала смотрела на все эти соблазны с каким-то неестественным апатическим равнодушием, Даже как-то издали на все косилась, потом лениво протянула руку, как будто нехотя перекинула через ладонь одну из вышитых лент, отвела руку в сторону и стала смотреть.

Понемногу пестрый товар стал развлекать ее; наконец она вполголоса стала хватить его, слегка прищелкивая языком и качая головой с видом одобрения.

-- Вот так личак! вот так это личак! -- заговорила Магдана и накинула его себе на голову.

Мало-помалу ею овладел детский восторг.

-- Шени-череме! душенька! позволь мне убрать голову; я сейчас достану зеркальце и посмотрюсь.

-- Э! что тут мять товар,-- сказала Сусанна,-- ты купи, да и щеголяй! Чай, у тебя де-

нег-то куча!

И она искоса посмотрела в лицо Магданы.

-- Откуда же куча?

-- Да, ишь ты, поверю я, что у тебя денег нет! Как не так! Такая красавица, да денег нет!

-- Молчи, пожалуйста, -- с сердцем сказала Магдана, -- я и без тебя знаю, что я красавица; приедет муж, возьму у него денег, тогда приди, и я куплю себе что-нибудь или заставлю его себе купить все, что хочу,-- вот и все.

-- Муж! нашла себе мужа! -- усмехнувшись, сказала старуха и махнула рукой, как будто муж Магданы, в виде комара, стал летать у нее под носом.-- А что, скоро ли его из Метеха-то выпустят?

-- Кого из Метеха?

И Магдана с ужасом подняла на нее томные глаза свои и скрестила пальцы.

-- Как кого?

-- Вай-ме, что ты говоришь: из Метеха! Магдана всплеснула руками, чуть было не вскочила и не измяли узла старухи.

-- А где же он, как не в Метехе? Эка, не

знаю я, что ли?

-- Что ты знаешь? что ты знаешь? Ведь он в Кахетии! Ведь он ушел в Кахетию!

-- А, ну вот молодец, коли ушел в Кахетию.

У Магданы отлегло от сердца.

-- Кто же тебе сказал, что он в Метехе?

-- Да кабы не ушел, -- преспокойно продолжала старуха, укладывая узел, -- кабы не ушел, плохо бы ему было: шутка сказать, в одном духане сто монет задолжал. Дай бог память, никак эдак на шестой неделе поста, не то на страстной, его искала полиция. Ну, я так и думала, что в Метехе. Молодец, что ушел; пусть уж лучше и не приезжает. На него и так, слышать, по одному делу есть подозрение.

-- Какое подозрение?

-- Ну, да уж что ж тут все-то говорить!-- промурлыкала Сусанна.-- Бог с ним! Ведь он мне не враг какой. Слава богу, что в Кахетии. Нешто духанщики и там найдут его, коли не спрячется.

-- Ну, а если найдут, если найдут, что ж они ему сделают?

-- Что сделают? ну что, -- ну, побьют его

до полусмерти, а не то и совсем убьют. А, ва! разве ты не знаешь, что это за народ духанщики? недаром им по ночам духан-то запи- рать велят.

Тревога и беспокойство до такой степени овладели Магданой, что она долго ни слова не могла выговорить.

-- Что мне теперь делать?-- заговорила она, ломая пальцы.-- Один Михака заест меня; утоплюсь в Куре... больше мне делать нечего.

-- Ну, красавица моя, -- сказала Сусанна, увязав узел, -- я пойду: что мне у тебя? Дож- дик-то никак совсем прошел.

-- Остайся! -- сказала Магдана сквозь сле- зы расстроенным голосом.

-- Да я, пожалуй, для тебя, что ты хочешь, готова, -- я, пожалуй; да ведь вот, там, то и се -- у меня тоже муж, такой сердитый.

-- Пожалуйста, посиди; я совсем больна, заболею... умру, никто и знать не будет, и хо- ронить будет некому; ты еще мне скажи что-нибудь; ты, верно, еще что-нибудь знаешь, да не говоришь.

Не так ли ребенок уговаривает свою ня- ню остаться с ним? Магдана действительно

во многих отношениях была ребенок.

-- И! да что мне знать-то! Вот, коли хочешь монет шестьдесят, а может быть, и сто положить в карман,-- Пожалуй, так и быть, я помогу тебе.

-- Пожалуйста, помоги! -- сказала Магдана, сама не зная, что говорить, и с безотчетным увлечением схватила старуху за руку.

Лукавая старуха просидела в сакле Магданы до самых вечереи, и что она там говорила ей -- неизвестно. Знаю только, что старухе удалось уговорить Магдану. Вместе вышли они из сакли, сошли по сырой горе на грязную улицу, сели на извозчичьи дрожки и поехали. Магдана сама не знала, куда везут ее. Солнце в это время расчистило облака и розовым блеском освещало зубцы развалин.

XXIV

Давид Егорыч скоро заметил висячий замок на дверях заветной сакли и долго потом ожидал возвращения Магданы. По целым часам с горы смотрел он на мост, перекинутый через Куру, и прилежно, с тоской на сердце,

рассматривал белые караваны сходящихся и расходящихся женщин. Увы! Магданы не было. Что бы это такое значило? Давид понять не мог. Долго толковал он со своим братом и даже упрекал его: "Вот, видишь, брат, -- говорил он, -- ты не хотел позаботиться -- не отнес ей кушанья!" Брат оправдывался тем, что знакомая пурня была заперта и что в долг ему никто не верит...

Это оправдание несколько не утешило Давида. Он был так огорчен, как будто кто его обидел самым жестоким образом. Внезапное отсутствие Магданы приписал он своему к ней невниманию. Она должна была уйти, бедняжка, потому что он позабыл похлопотать о ней! И эта мысль так мучила Давида, как преступника мучила бы совесть.

В надежде видеть Магдану в Сололаках (где ей и быть, как не в Сололаках!) он надвинул набекрень шапку и пошел туда,-- ходил там целый час, но ни на земляных кровлях, ни в растворенной двери на пороге Шушаниной сакли не видал он знакомого очерка стройной головки с сердитыми глазками и детски добродушной улыбкой. Взлезал он на

гору, откуда вода спускается вниз по деревянному желобу и откуда виден каждый бугор, каждый садик, каждый дворик сололакских обывателей со всеми их горшками, петухами и собаками. Но не видать Магданы... нет ее в Сололаках!

Поздно, когда закатилось солнце, закурив с горя трубочку, спустился он вниз и тихими шагами пошел мимо духана, вдоль Сололакской улицы.

Тут встретился с ним Михака и грубо остановил его.

-- Что ж ты не покупаешь мне вина? -- сказал он ему, глядя исподлобья и иронически улыбаясь.

-- А зачем я стану тебе вино покупать? Ты мне купи, коли хочешь!

-- А! зачем? Небось, гулять с Магданой так твое дело? погоди, приедет Арютюн, намнет он тебе бока, да и ей достанется!

-- Что? -- возразил Давид, сжимая кулак, и лицо его вспыхнуло.

Михака боязливо встретил мрачный взгляд его, Понял, в чем дело, и, не желая затеять драки, как ни в чем не бывало отошел в

сторону.

Эта встреча ничего хорошего не предвещала. Мысль, что Магдану успели уже оклеветать в семейном кругу ее, не могла принести Давиду никакого утешения. Воротясь домой мимо запертой заветной сакли, Давид не спал всю ночь, сбирался поколотить Михаку и все за что-то мысленно бранил себя.

XXV

На другой день утром Давид Егорыч сидел в конторе и чинил перья. Это обычное занятие, несмотря на тупость перочинного ножичка, не могло ни занять, ни развлечь его. Дали ему наконец переписать бумагу. Рука у Давида была довольно четкая, но русская грамота не совсем далась ему; к счастью, в той конторе, где довелось служить ему, никто не нуждался в знаках препинания и никакого различия не замечалось между буквами.

В это несчастное утро Давид ни слова не понимал из всего того, что управляющий ему подсовывал. Вместо того, чтобы написать "на отношение", он написал -- "на отращение". Из

уст начальника ему готовился строгий выговор; но пока бумага дожидалась подписи, Давида уже не было в конторе.

-- Брат! поди сюда! -- кричал он, опрометью сбегая с лестницы.

Брат его шел в семинарию, с тетрадями под мышкой.

-- Брат!

-- Что тебе?

-- Ты из дому?

-- Из дому.

-- Ну, что?

-- Нет, еще не пришла.

-- Висит замок?

-- Висит.

-- Постой! ты нигде не видал ее?

-- Нигде!

-- Хорошо, -- да купи же то, что я тебе говорил, не забудь, пожалуйста!-- авось придет.

-- Хорошо; я, быть может, как-нибудь уйду из класса.

-- Уйди скорей! чего ты там не видал! да поскорей! я буду ждать тебя.

Над лестницей появился сторож: Давида позвали в контору. Начальник его, кончив-

ший курс в тифлисской гимназии, считал себя очень ученым человеком, читал несколько номеров "Библиотеки для чтения", следил за политикой по "Северной пчеле", знал наизусть несколько стихотворений Пушкина, а потому и не мог не заметить ошибки, сделанной Давидом. Давид, опустя голову и заложив руку за пазуху, должен был выслушать порядочную нотацию. К счастью его, начальник был именинник, в хорошем расположении духа, напомажен, и лицо его приятно лоснилось. Нотация кончилась тем, что Давида пригласили на именинный ужин и поручили ему нанять персидского певца Сатара, со всеми его музыкантами.

В этот день все служащие вышли из конторы целым часом ранее.

Были поздние сумерки.

-- Где Михака? -- резким голосом спросила Магдана, неожиданно появившись в Сололаках, на пороге Шушаниной сакли, не снимая чадры и не входя в комнату.

Тетка Шушана и жена Михаки подняли глаза и открыли рты. Только что вдвоем тол-

ковали они о Магдане, потому что толковать-то им было больше Не о чем.

-- Отдайте Михаке деньги,-- сказала Магдана. И четырнадцать целковых брякнули на тахту.

-- Считайте, все ли.

-- Да зайди! что ты стоишь! зайди! -- заговорила озадаченная тетка.

-- Все ли четырнадцать? что, все? ну, мы теперь квиты. Спасибо! прощайте!

Магдана повернулась, поправила на голове чадру и пошла.

Жена Михаки выбежала на бугор, посмотреть, куда и с кем пойдет Магдана.

Магдана шла одна, н грациозно колыхающаяся чадра ее скрылась за поворотом улицы.

-- Господи! Боже мой! -- заговорила тетка,-- В кого она уродилась, что это за выродок! Делает, что хочет, ходит одна, из рук совсем выбилась. Где она достала деньги? Хорошо еще, что этот Давид ей денег дал. Вишь, не захотела даже зайти. Каково! А?

И тетка весь вечер, перебирая четки, негодовала и толковала, толковала и негодо-

XXVI

У аптеки, на углу Эриванской площади, Магдана махнула рукой извозчику, села на дрожки и чадрой закутала лицо свое. Тысячи вечерних огней уже светились по всему протяжении базарных улиц. На мосту, показалось ей, прошел Давид; но она боялась и обернуться для того, чтоб удостовериться. У часовни святого Або Магдана бросила извозчику двугривенный и, запыхавшись, взбежала на гору. Беспреданно чудилось ей, что чьи-то шаги ее преследуют. Ключ от двери ее сакли долго не мог попасть в замочную скважину. Наконец дверь отворилась и жалобно скрипнула. Сакля после комнат, роскошно убранных, показалась ей могилой. Поздно вспомнила Магдана, что у нее нет ни огня, ни серной спички, ни сального огарка, ни даже свечильни в железном ночнике. Ощупью добралась она до своей тахты, локтями оперлась на колени, поникла головой, руками закрыла лицо и стала думать.

"Ах, -- думала она,-- зачем я сюда воротилась? какая теперь будет жизнь моя! Уф! у него, должно быть, много денег: не обманула меня проклятая Сусанна".

Раздевшись в темноте, она легла и думала заснуть спокойно; но впечатления проклятого дня были так новы и так неожиданны, что ей казалось, перед ней прошел какой-то пестрый сон. Ей не верилось, чтоб у нее в платке было завязано несколько червонцев.

Забыла Магдана, как крепко и сладко спала она, когда у нее вовсе не было денег, в ту ночь, когда она собиралась к заутрени. Видно, так было суждено, чтоб столетняя старушка Назо пришла с десятью рублями разбудить ее.

Не спалось Магдане. Где-то вдали на башенных часах пробило полночь. Это была едва ли не первая полночь, которая застала ее с открытыми глазами.

Ее совесть что-то говорила ей,-- но что такое? Магдана не могла отдать себе отчета; точно так же как никому на свете не могла бы она растолковать своей бессонницы. Нужда, в виде старухи Сусанны, толкнула ее на

скользкий и мрачный путь. Если б Магдана была развита, кто знает -- быть может, она оттолкнула бы от себя Сусанну.

Она готова была забыться в дремоте; какой-то страшный сон уже начинал вкрадываться и опутывать ее воображение, как вдруг дикое мяуканье, или, лучше сказать, пронзительный жалобный вой кошек, среди мертвой тишины, раздался у нее под самым ухом; легкий шум скачков и царапанье когтей по непонятной причине вдруг напомнили ей покойницу. Ее слезливая улыбка как будто пронеслась в темноте, над изголовьем. Магдана пугливо подняла голову. Ужас захватил ее дыхание: чья-то рука в эту минуту стала шарить за дверью, и дверь сакли с улицы тихонько стала отворяться. Магдана вскрикнула, черная фигура протянула руку, опять тихонько затворилась дверь, и опять настало мертвое молчание.

-- В последний раз я здесь ночую! -- закрыв глаза, проговорила бедная Магдана и, дрожа всем телом, шепотом стала отмаливаться от нечистой силы.

Наконец усталость и успокоительное пе-

ние петухов мало-помалу погрузили ее в давно желанный, ко всему равнодушный сон.

Даркое солнце позднего тифлисского утра давно уже светило в трубы и бросало косвенные тени от деревянных столбиков, подпирающих навесы над балконами. Был уже десятый час, а головка Магданы, с заспанными глазками, еще ни разу не выглянула в закоулок и ни одной живой души не порадовала своим появлением.

XXVII

У Давида нечиста была совесть. Около осьми порядочных азарпеш вина за ужином у главного конторщика, конечно, не могли свалить его; но в голове его порядочно шумело, когда, часу в первом ночи, возвращался он домой на Авлабар.

Заломя на затылок свою черную баранью шапку и на ходу раскачиваясь, не пропускал он ни одной калитки, мимо которой шел, чтоб не ударить в нее кулаком, и, радостный, отправлялся далее. На Авлабаре близость заветной сакли значительно поубавила в нем

юношеской веселости. Образ Магданы, на время отуманенный винными парами, вдруг явился ему во всем блеске обаятельной красоты своей. Он вспомнил, что ее не было дома двое суток, что уж давно-давно он не видал ее, и, надеюсь, догадливые читатели поймут, чья рука в эту ночь отворила и затворила ту дверь, за которой вскрикнула трусливая Магдана.

Давид проснулся с неловким чувством на душе. Хотел он во всем сознаться Магдане и просить, умолять ее сжалиться над его страданиями.

Когда Магдана выглянула в закоулок, Давид уже сидел на бревнах около сакли и покурил трубочку. Магдана сначала отшатнулась, потом, прикрыв рукавами грудь свою, приветливо и грустно улыбнулась. На голове ее висел желтый платок, соболи бровки лоснились, на щеках рдел румянец жаркого сна, медленного пробуждения и неожиданной встречи. У Давида сердце болезненно сжалось; он встал и судорожно передернул плечами, как бы желая показать себя молодцом и не робеть нисколько.

-- Не видали ли вы тулукчи (то есть водовоза), Давид Егорыч?-- прощепетала Магдана ласковым голосом, вполовину выглядывая из-за полурастворенной двери.

-- Где вы пропадали, Магдана? -- грустно спросил Давид.

-- Как это вам не скучно здесь сидеть на бревнах, Давид Егорыч?

Давид смутился.

-- Мне уж не скучно! -- заговорил он. -- Мне уж ничего! Я тут буду день и ночь сидеть -- вот что!

И Давид улыбнулся той горькой и неопределенно глупой улыбкой, какой обыкновенно улыбается добрый человек в минуту затаенного страдания.

-- Вы были у родных, Магдана?

-- Да... нет... я была... мне было нужно, Давид Егорыч... я была у одной знакомой... мне были нужны деньги, Давид Егорыч.

-- Уж да, конечно, деньги всегда нужно... Бог с вами!.. Зачем вам были нужны деньги, Магдана?

-- Да Михака день и ночь приставал ко мне, как нож к горлу. Вот, видите, когда умер-

ла Назо, он взялся заказать гроб и истратил четырнадцать монет: я обещалась заплатить ему. Что ж мне было делать, Давид Егорыч!

Горькая усмешка в одну минуту слетела с лица Давида; глаза его пристально и задумчиво стали смотреть в глаза красавицы; густой румянец негодования от ушей до самых усов разлился по смуглым щекам его. Казалось, он раздумывал, говорить ли ему или нет.

-- Ну, уж нет, Магдана, -- нет!

И Давид при этом так решительно потрянул головой, что Магдана вздрогнула, быстро опустила и подняла ресницы и, слегка сдвинув брови, робко посмотрела ему в лицо.

-- Нет уж, врет Михака! Я вчера чуть-чуть не поколотил его, а уж поколочу же когда-нибудь... ни копейки не заплатил он за похороны, даже не знал, где я и гроб-то заказал... Да, врет Михака: вы ничего не должны ему, -- да!

-- Как! неужели? -- проговорила Магдана, всплеск нув руками, и солнце знойными лучами осветило грудь ее.

-- Ну, уж даром же вы отдали ему четырнадцать, рублей.

Неопытная Магдана никак не могла вообразить, чтоб ее можно было так просто и легко обманывать; она так была озадачена, что даже гнев и досада не могли скоро вытеснить из души ее чувства, похожего на удивление.

-- Вот каковы мои родные, Давид Егорыч! знают, что у меня ни копейки нет, знают, что если б не вы, я умерла бы с голоду...

Магдана тяжело вздохнула.

-- Дай вам бог, -- продолжала она, -- всякого добра и благополучия за вашу добрую душу... Боже мой! лучше бы я вам отдала эти деньги.

-- Ну уж, не надо мне, -- подхватил Давид и, сам не зная, что ему делать, стал набивать свою трубочку. -- Вы мне ничего не должны. -- И Давид опять горько улыбнулся; признание совсем уже готово было сорваться с языка его. Но Магдана, пораженная мыслью, что Михака обманул ее, забыла все остальное. Тень гнева уже носилась над лицом ее. По глазам ясно можно было видеть, что в эту минуту не о любви помышляет голова ее.

-- Чума меня возьми, -- заговорила она, сдвинув брови, -- если я не возьму этих де-

нег... Так-то они со мной поступают!.. Завтра... нет! нынче, сейчас пойду... Пожалуйста, Давид Егорыч, -- если увидите тулукчи, пошлите его ко мне: у меня воды ни капли нет.

-- Сейчас, Магдана.

-- Зачем я, дура, поспешила отдать им эти деньги! лучше бы я в Куру их бросила, -- говорила Магдана, ходя по сакле, то собираясь плакать, то собираясь умываться и идти в Сололаки бранить обманщика.

XXVIII

В делах любви все зависит от малейшего, часто неуловимо пустого случая. Что, если б два дня тому назад брат Давида, по обыкновению, зашел к Магдане с кушаньем? что, если б в эту ночь воображение Маг даны не было ничем встревожено? что, если б Дави, ни слова на этот раз не сказал Магдане о том, что Михака обманул ее? Не через это ли он лишил себя возможности продолжать начатый разговор, ибо внутренне, бессознательно понял, что уже признание нехстати, что надо идти за водовозом -- и только.

Сама судьба Магданы повела бы ее совсем другим путем, и я бы должен был вам рассказывать другую повесть или вовсе ничего не вышло бы для нашего рассказа, если б, например, Арютюн не уезжал в Кахетию, а тетка Шушана не повстречалась с Сусанной да не начала бранить ее. Боже мой! от каких маленьких случаев зависит иногда судьба всей жизни!

Давид Егорыч рассчитывал наверное увидаться с Магданой вечером, даже дал себе слово без приглашения зайти к ней в саклю, если только Магдана сама не выйдет на кровлю или не сядет в закоулке на камешек. Весь день он был как будто сам не свой, обедал у сестры и только что встал из-за стола, хотел сейчас уйти, но, ради приличия, выпил стаканчик кофе и выкурил трубочку. Все время он сидел как на иголках и ушел не простясь. В душе его был какой-то хаос; то хотел он напиться, чтобы быть смелым до дерзости, то боялся выпить лишней стакан вина. Глаза его были влажны, смуглое лицо горело; походка была как-то медленна и нерешительна. То он думал о Магдане, то собирался сходить

к казначею и, преодолев свою совесть, выпросить у него в счет жалованья рублей десять серебром: ему были нужны деньги для расплаты с пурщиком за те блюда, которые он посылал к Магдане.

От сестры Давид Егорыч пошел на базар, потом к Московской заставе, потом в Сололаки. Там постоял он около сакли, где живет Шушана, и никого не видел; только с соседней кровли собачонка на него полаяла.

"Эх, я, дурак! верно, она давно воротилась домой; станет она теперь у родных сидеть!" -- подумал Давид и пошел на Авлабар.

Увы! на дверях заветной сакли висел замок. Ожидание вечера слилось в душе его с ожиданием Магданы.

"Не может же быть, чтоб она не воротилась! Неужели же она ночует у родных своих?.."

Пришел вечер -- не пришла Магдана, пришла ночь -- не пришла Магдана.

В голове Давида Егорыча в первый раз мелькнуло подозрение. Младший брат его истинно по-братски разделял его беспокойство: часов до одиннадцати ночи несколько раз бе-

гал он посмотреть, не отперта ли наконец сакля Магданы, и даже щупал железный ви- сячий замок, пробуя, действительно ли он за- перт или так висит, для одного только виду, как это часто случается в Грузии.

В комнате Давида на столе стоял поднос с покрытыми тарелками и две бутылки вина; это был ужин, приготовленный для Магданы. Неизвестно, где он вдруг добыл денег; но на этот раз Давид был перетянут простым ре- менным, а уж не серебряным поясом. Нако- нец усталый брат его прилег под балкончи- ком на разостланный войлок и только что успел прилечь, захрапел самым завидным об- разом. Давид Егорыч, напротив, не спал всю ночь: то надевал он сапоги и, постояв на бал- кончике, уходил куда-то из дому, то возвра- щался домой, выколачивал и продувал свою трубочку или неподвижно лежал на своем жестком диванчике, закрыв глаза и расстег- нув грудь, для которой в эту ночь, казалось, мало было воздуха.

Прошло уже около трех недель. Магдана не возвращалась: она исчезла; на дверях ее сакли день и ночь по-прежнему висел все тот же ржавый замок, и никто из соседей не знал, куда ушла она. Говорили, будто какой-то человек в серой шинели и в фуражке с козырьком заходил за ней. Давид, по-видимому, перестал о ней думать; так по крайней мере ему казалось. Мимо ее сакли проходил он мрачный и гордый, заломя набекрень свою черную баранью шапку, одну руку держа за пазухой, а другую заложив за спину. Давид перестал уже сомневаться: в его глазах, для него, Магдана была уже навсегда потерянной женщиной. Раз, как-то случайно, увидел он ее в нижнем окошке какого-то двухэтажного дома. Это было в майский полдень. Давид шел из конторы поздравить своего начальника с новорожденным сыном и на улице остановился послушать шарманщика. Под звуки шарманки девочка лет семи, маленькая жиловка, в коротеньком платьице, пела в нос: "Ты не поверишь, ты не поверишь..." Чья-то рука выбросила из окошка двугривенный. Давид оглянулся -- и остолбенел... Тень Магданы

отошла от окна и скрылась.

Ярко-пунцовая бархатная катиба была на плечах ее; в ушах сверкали дорогие серьги; головной убор ее был вышит блестками.

Давид заметил дом и поздно вечером раза три прошел под незнакомыми окнами. Окна были закрыты спущенными сторами. За сторами был свет; в одном окне, из-за края сторы, видна была зажженная стенная лампа. Дом был с подъездом и крылечком на улицу. Из сеней вышел какой-то низенький старичок, в сюртуке, но без картуза, раскрыл табакерку и, поглядывая вверх, стал с обеих сторон табаком набивать нос свой. Давид принял его за слугу.

-- Сделайте милость, позвольте узнать,-- спросил он старичка,-- не здесь ли живет Магдана?

Человек чихнул и скомканным платком осторожно поводит себе по носу.

-- Что? А! Какая Магдана! Что тебе тут надо? А? -- заговорил он проворно и опять чихнул.

Давид махнул рукой и пошел, сам не зная куда, вдоль по широкой улице...

Статуя весны

Рассказ

Кто думает, что понять ребенка гораздо легче, чем человека взрослого, тот немного ошибается. Знаете ли вы, например, что между детьми несравненно больше истинных, настоящих оригиналов, чем между взрослыми?.. Но, быть может, вы и того не знаете, что теперь не в моде предисловия.

Постараюсь на этот раз рассказать вам несколько дней из жизни одного очень, очень маленького мальчика. Прочтите рассказ мой и скажите по звести, много ли на свете таких чудаков?

Начну с отца.

Отец Илюши, Кирилл Кириллович Вавилонов,-- доктор, давно уже отставший от практики и когда-то с неслыханным рвением занимавшийся составлением разных ученых

статей для каких-то медицинских сборников, которых ни я, ни вы не читали и до которых, стало быть, нам и дела нет.

Было время, когда трудолюбивый Вавилонов из кожи лез, чтоб оставить по себе достойный памятник: писал, не покидая пера; день и ночь писал... Таланты редко бывают прилежнее бездарности. Слог докторских статей отличался шероховатостью, дикими возгласами и той неприятной небрежностью, какую господа авторы, подобные Вавилонову, называют "легкостью пера".

Статьи Вавилонова по большей части были метафизического, психологического, философско-медицинского и редко просто медицинского содержания. Пациенты имели полное право не доверять ему. Вавилонов доказывал, например, что душа наша "есть постоянный зодчий нашего тела"... Иногда, за несомненными истинами и проблесками новой мысли, следовали у него парадоксы самые отчаянные, сравнения самые нелепые и восклицания вроде следующих: "как этого-то не понять наконец?! разве это не ясно, как трижды три -- девять, гг. зоилы!!!" Причем, как изво-

лите видеть, стояли вопросительные крючки и знаки удивления. В журналах того времени досужие рецензенты с умыслом откапывали статьи его и вдоволь над ними тешились. Как теперь помню, в одном из повременных изданий, вот какими словами начинается разбор какой-то статьи его: "Знаете ли вы, господа, что человеческое тело разделяется на четыре этажа? Знаете ли вы, например, что ваши руки, столько же нужные сердцу, сколько и уму, помещаются где -- как вы думаете? между третьим и четвертым этажом! О, если вы этого не знаете, прочтите статью К. К. Вавилонова; поблагодарите господина К. К. Вавилонова за такое удивительное открытие! В каком-то этаже человеческого тела обитает мозг четырехэтажного господина Вавилонова? Читайте и невольно на память приходит вавилонское столпотворение. Чего-чего не нагромоздил сей муж в этой удивительной статье своей!.."

Такие отзывы внутренне бесили бедного вдовца, доброго Кирилла Кирилловича, вообразившего себя единственным во всей России, по своей части, популярным теоретиком.

Все, чего добился он, это -- некоторой известности на самое короткое время, известности, которая, так сказать, совершенно его уничтожила. Страсть к авторству, вспыхнувшая в нем уже в годах зрелого мужества, сначала поссорила его со всеми его знакомыми, потом прославила его бездарным писакой, наконец, заставила его поселиться в одной из самых отдаленных частей города.

Дом, в котором обитает Вавилонов, четырехэтажный и снаружи не оштукатуренный, имеет ту особенность, что издали похож на какую-то фабрику. У ворот его прибита вывеска: "Модный каретник Белкин". Этот модный каретник занимается починкою ломовых телег, делает гвозди, кует извозчичьих лошадей и целый день коптит небольшую пристройку к дому, называемую кузницей.

Увы! в последнее время во всем квартале только этот каретник и знает, что Вавилонов -- доктор. А когда-то Кирилл Кириллович думал пользоваться европейской репутацией, был за границей и, в ожидании будущих благ, женился на хорошенькой немочке, дочери какого-то бедного мюнхенского живописца.

Квартира Вавилонова состоит из четырех комнат и кухни. Окна этой квартиры с одной стороны глядят в переулок, редко посещаемый экипажами, с другой стороны... но с другой стороны в квартире Вавилонова одно только окно, да и то из кухни; оно обращено во двор, обнесенный дощатым забором, на какие-то огороды и на бесконечную панораму отдаленных кровел, усеянных трубами, из-за которых, как из-за темной, невысокой тучи, в ясные дни сияет золотой купол Исакия.

Вавилонов живет процентами с капитала, положенного в банк еще дедом его, живет скромно и уютно, не зная ни нужды, ни роскоши. По утрам пьет кофе, курит рижские сигары, табачной золой чистит зубы и нередко надевает нечищенные сапоги, потому что кухарка Домна и горничная Августа, шведка с белыми бровями и водянисто-голубыми глазами, девушка усердная и простодушная, составляют всю прислугу почтенного отставного доктора. Ему около сорока восьми лет; волосы его, темные с проседью и коротко остриженные, так беспорядочно торчат на висках и на затылке, что напоминают собою ниву, из-

битую градом, или измятую только что пробежавшим табуном.

Если хотите видеть Вавилонова, взойдите по лестнице в третий этаж и позвоните. Знайте только, что болезненный звук разбитого колокольчика, прикрепленного к темному потолку передней, заставив доктора положить перо в сторону, спугнет с дивана маленького сына его, Илюшу: ребенок убежит и спрячется, как зайчик, который услышал выстрел, раздавшийся по лесу.

Илюше было шесть лет и несколько месяцев. Занимаясь воспитанием сына своего, Вавилонов сам учил его по-немецки и первым правилам арифметики. Он учил сына, когда ему вздумается: до обеда, после обеда, вечером, иногда три раза в неделю, иногда ни разу. Чтоб дать вам понятие об этих уроках, приведу в пример один из них.

-- Илюша! -- раздается из кабинета голос Кирилла Кирилловича.

Доктор сидит в своих рабочих креслах, положив локти на стол, обеими руками подпирая голову и зажмурившись.

Илюша входит торопливо и не без неко-

торого волнения; голос отца имеет на него магическое действие.

-- Задачу сделал -- а? -- отрывисто спрашивает его отец, не поворачивая к нему измятой головы своей.

-- Да,-- отвечает мальчик едва слышным шепотом.

Минуты три проходит в обоюдном молчании. Наконец Кирилл Кириллович оборачивает к ребенку пасмурно-темное лицо свое и, не отнимая от стола локтей, из-под руки, покрасневшим глазом заглядывает в грифельную доску. Илюша держит ее в горизонтальном положении и в то же время не без любопытства поглядывает на кончик сигары, положенный на крышечку песочницы и сквозь пепел пускающей кверху тончайшую нить голубого дыма.

-- Сделал задачу? -- повторяет отец, снимая локти и всей ладонью проводя по лицу своему, как бы отирая с него следы лет и людской неблагодарности.

Илюша отдает ему свою доску и грифель. Урок начинается проверкой умножения или деления, после чего, задав Илюше задачу, с

небольшим количеством цифр, Кирилл Кириллович начинает экзаменовать его из немецких вокабул.

-- Как стол по-немецки?

-- Тиш,-- отвечает мальчик, продолжая наблюдать голубой дымок потухающей сигары или осматривая череп, лежащий на бюро, череп с темными-впадинами вместо глаз и трещинами вместо носа.

-- А книга как?

-- Дас бух,

-- Хорошо, молодец! Ну, а-а... (доктор в эту минуту думает о чем-то другом),-- а свеча как?

-- Свечки не было,-- отвечает мальчик.

-- Свечки не было, ну, а что ж еще было! Все знает -- а? молодец! Воскресенье как?

-- Зонтаг.

-- Умница. Ну, подай книгу. Учись, будешь математиком. Ну, теперь урок. Вот тебе: отсюда и досюда -- вот! -- При этом доктор делает на странице небольшую отметку ногтем. Илюша подправляет эту отметку грифелем и удаляется с уверенностью, что уже в этот день отец не позовет его.

Таким образом, все воспитание Илюши

ограничивалось отцовскими уроками. "Впрочем,— думал доктор,— сын мой так еще мал, что нечего серьезно думать о его воспитании". Все свободное время от этих маленьких уроков Илюша оставался на попечении Августы. Августа во всех отношениях была дорогая девушка, хоть получала всего только шесть рублей жалованья в месяц. Назначение ее в доме было: перестилать постели, мести комнаты, снимать паутину, выбивать ковер, лежавший под ногами ученого-доктора, подавать ему умываться, смотреть за бельем, прислуживать за столом, и, наконец, ухаживать за Илюшей, то есть быть чем-то вроде, няньки и спать за ширмами в одной с ним комнате. Все это выполняла она с усердием и, сверх того, была такая страстная охотница стряпать, что нередко появлялась в комнатах с жарким, лоснящимся румянцем на щеках и на лбу, от долгого стояния перед отверстием широкой кухонной печи, или с руками, напудренными мукой, или насквозь продушенная жженым кофе. Из этого сами можете заключить, много ли оставалось у нее времени для того, чтоб заниматься мальчиком,

несмотря на то что она всей теплотой души своей была к нему привязана.

Праздно и уединенно проходили дни Илюши, и он по-своему разнообразил их. По утрам кормил канареек, что составляло для него одно из приятнейших занятий, или пробирался в кухню, которая (необходимо надо заметить) отделялась от его детской одним только темным проходным коридорчиком. Там, усевшись на скамье, молча любовался он пылающими дровами или прислушивался к шуму и треску охватившего их пламени. Иногда кухарка Домна обращалась с ним без всякой церемонии.

-- Что вы тут, в самом деле, уселись? -- говорила она, -- разве это ваше место? Повернуться негде!

Не возражая ни слова, Илюша морщился, покидал скамью и молча удалялся в гостиную (она же и зала), забирался с ногами на старый кожаный диванчик (это было его любимое местечко) и предавался разного рода размышлениям или, по целым часам, не сводя глаз, задумчиво смотрел на гипсовую статую, изображавшую богиню Весну, с цветочным вен-

ком на голове и в фантастической одежде...

Эта статуя, в аршин вышины, стояла в углу на круглом пьедестале. Кириллу Кирилловичу она была подарена еще за границей, в лучшую пору его жизни, именно в первый год его супружества. Кто-то уверил его, что эта статуя изображает богиню здоровья и что такого слепка в России не найдет он ни за какие деньги. Отправляясь на пароходе из Любека в Петербург, он велел уложить ее в особенный ящик, к немалому удовольствию жены своей, которая недаром была дочерью художника и ценила подарки прежних друзей, когда-то посещавших мастерскую отца ее.

Такова была обстановка всей жизни Илюши; у него не было ни одного товарища, мальчика одних с ним лет, который бы прибегал поиграть с ним. О шалостях, свойственных его возрасту, бедный ребенок не имел ни малейшего понятия. В доме почти не слыхать было его присутствия. Самая резвость его была какая-то тихая. Он больше любил забиться куда-нибудь в уголок, и, когда задумывался, большие серые глаза его, с расширенными зрачками, долго оставались неподвижными.

Редко видел он посторонних, еще реже выходил на улицу. Августа была постоянно занята; одного его пускать боялись, да он и сам не пошел бы никуда без Августы. Фигуры кузнецов, прохаживающихся по двору, всегда в преувеличенно-страшном виде рисовались в его воображении. Однажды, проходя по задней лестнице, где-то в четвертом этаже, услышал он бранчивый крик какой-то женщины и плач ребенка. Этого было для него достаточно, чтоб вообразить, что наверху обитают такие злые люди, которым ничего не стоит, повстречавшись с ним, отрезать ему ухо для собственного удовольствия.

Если он был худ и бледен, то это, вероятно, от недостатка движения; если казался сутуловатым -- то потому, что никто ни разу не выпрямил спины его, он же имел привычку приподнимать то правое, то левое плечо и, когда садился, любил облакачиваться на свои худенькие колени. Как мальчика не избалованного дачной жизнью, не тянуло его за город ни весной, ни летом: Илюша довольствовался отворенным окном или раскрытой форточкой, сквозь которую смело просовывал

свою кудрявую головку и, бывало, в сумерки, с какой-то, ему самому непонятной тоской, вслушивался в смутный шум и гул совершенно незнакомого ему города.

Несмотря на это неопределенное чувство грусти, с каждым днем все более и более свыкался он с своим одиночеством, которое было для него вреднее всякой медленной отравы. Голова его искала здоровой, питательной пищи и не находила. Воображение (огонь, с которым и детям играть опасно), развиваясь в нем насчет других способностей, постепенно создало вокруг него тот странный, фантастический и Гофмана достойный мир, которого никто, даже сам великий психолог и философ, подозревать не мог.

Кто объяснит, как это делалось, что мальчик всему, каждой мелочи в доме умел придать какое-то особенное, в зрелом возрасте непонятное, невообразимое значение. Каждая вещь была для него чем-то одушевленным, требующим от него известной степени сочувствия. Стук вбиваемого гвоздя для него был криком несчастного, которому не хочется лезть в стену... Когда Августа вешала сало

свой, он был уверен, что и гвоздь это чувствует и салоп понимает свое положение.

Кто бы мог подумать, что природная наблюдательность, самая заметная и всё-таки никем не замеченная черта в его характере, не только не ослабила, но, так сказать, помогла играть его прихотливой, в высшей степени прихотливой фантазии.

Однажды, поздним вечером, потихоньку, ползком, пробрался он в кабинет своего отца, прижался и притаился, как мышонок, в углу между шкапом с книгами и диваном, на котором на ночь постиралась простыня, клались подушки и одеяло для Кирилла Кирилловича (кабинет его по ночам превращался в спальню). Кирилл Кириллович сидел, по обыкновению, перед лампой с медным колпаком и, наклонив к перу голову, писал... Светлый кружок рисовался на темном потолке, прямо над стеклянной трубкой лампы и ж над широким затылком трудолюбивого доктора.... Илюша долго смотрел на этот кружок, долго наблюдал его... наконец, заметил в середине его неуловимо-быстрое колебание едва заметной тени (следствие поднимающейся

кверху копоты) и уже задал себе вопрос: что это такое делается над головой отца его? уже не крошечные ли это духи вылетают из каждого торчком стоящего на голове доктора волос, в виде вихря, похожего на столб комаров, вьющихся перед закатом солнца над болотной кучкой.

-- Барин,-- произнесла Августа, неожиданно появляясь в полурастворенную дверь.

Илюша прикрылся концом бархатного халата, свесившегося с дивана, и притаил дыхание.

-- А? -- спросил доктор, поднимая голову.

-- Где это наше дитя?.. нигде не видать его.

-- Его здесь нет, не приходил,-- отозвался Кирилл Кириллович.

-- Чудеса! Не найду его, да и только.

-- Как же это?.. Не забежал ли в кухню -- а? Не в сенях ли? Как бы того, смотри, не скатился с лестницы.

-- И не знаю, где, право,-- произнесла Августа, исчезая за дверью.

Минут через пять доктор вышел из кабинета. Вслед за ним, тихо, как котенок, про-

скользнул в темную гостиную Илюша; вскочил на кожаный диванчик, притворился спящим и торжествовал, слушая, как везде ищут его, как отец его идет в кухню, а Августа, со свечей в руках проходя коридорчиком, говорит: "Дитя, куда вы спрятались?" Надо было видеть его радость, когда Августа, открыв его пребывание на диване, так удивилась, что едва не выронила подсвечника из рук.

-- Господи,-- говорила она,-- раза три прошла я мимо вас со свечей, прошла и глядела. Отчего это я вас не заметила? Как будто кто мне в глаза песку насыпал.

-- Я тут был,-- проговорил Илюша, закрывая руками озаренное смехом личико.

-- Ну что, нашла? -- раздался голос Кирилла Кирилловича.

-- Да вот, заснул было на диване, а я его, барин, и не заметила.

-- Что ж он, невидимка, что ли, какая-нибудь? -- бормотал Кирилл Кириллович, уходя в кабинет.

Этот случай подтверждает слова мои, что и самая резвость Илюши была какая-то тихая. Когда Августа, не зная сама, чему так радо ди-

тя ее, укладывала Илюшу спать, он спросил ее:

-- А разве есть такое средство, чтобы сделаться невидимой?

-- Как это можно невидимой быть?

-- А как же папа сказал: "Разве он невидимка?"-- значит, бывают невидимки.

-- А бог их знает, я этого никогда не слышала. Почивайте с богом!

И она сама закутала ноги его в одеяло и ушла, на прощанье поцеловав маленькую ручку своего маленького барина.

Илюша был мальчик не без способностей. Его память не уступала воображению, он знал содержание всех книг, которые побывали в руках его; но свои небольшие уроки учил медленно, вероятно, оттого, что мысли его постоянно были заняты каким-нибудь новым открытием или припоминанием какого-нибудь такого обстоятельства, которое в наши годы, читатель, не имеет значения не только обстоятельства, но и вовсе не имеет ни малейшего значения, одним словом, почитается сущим вздором с нашей точки зрения.

Какого же рода были эти открытия? А вот

паук, едва заметный глазу, опускается с потолка на едва заметной, от малейшего дыхания колеблющейся паутине -- открытие, потому что этот паук занимает его ребяческую голову точно так же, как астронома заняла бы новая планета, едва заметная в телескоп и утвержденная посреди других небесных тел на совершенно незаметном основании, называемом силой тяготения.

Извилистая трещинка на стене около карниза -- новое открытие. Илюша воображает, что эта трещина похожа на профиль медведя в колпаке, и припоминает по этому случаю волнистые слои и темные пятна -- следы бывших сучьев на дверцах старого шкапа с платьем, пятна, которых расположение похоже на глаза, нос и уши какого-то животного, ему еще неизвестного.

Заключите же сами после этого, какое влияние могли иметь на него все те картинки, гравированные и литографированные, которые в черных рамках размещались по стенам гостиной, над диваном, против дивана и между окнами.

Эти картинки были изучены им до мель-

чайших подробностей, поняты, как только способна была понимать их душа ребенка. Он с ними по целым часам мысленно беседовал. Вот Илюша взлетает на стул и предается глубокому созерцанию молодых, прекрасных лиц Джульетты и Ромео; выражение лиц их как бы отражается на детском лице его; он инстинктивно понимает, что этот поцелуй прощальный, горький поцелуй -- и пылкое его воображение, забегая вперед и не довольствуясь настоящим, уже рисует перед ним картину их будущей встречи, и ему снится радость свидания после долгой, долгой разлуки.

На одной гравюре изображен был какой-то разбойник, замахнувшийся на женщину, упавшую к ногам его. Илюша клочком бумаги залепил злое лицо ненавистного ему разбойника.

Таким образом, каждое лицо на этих картинках, за недостатком развлечения, заменяло ему недостаток общества, вносило в душу его новые понятия о том, что делается на свете, и каждое пользовалось известной степенью его симпатии или антипатии.

Но статуя Весны, с своим античным про-

филем, была, так сказать, его маленьким кумиром. К ней гораздо более, чем даже к Августе, лежала душа его. Он сам осторожно сметал с нее пыль, клал конфеты и плоды у ее подножия; и когда канарейка начинала петь, оглашая стены звучной трескотней своего голоса, ему казалось, что эта канарейка для того только и создана, чтобы тешить слух вечно улыбающейся, опустившей руки и грациозно наклоненной гипсовой красавицы.

Была весна, то есть весна петербургская. На дворе, в тени, лежали еще обледеневшие грязные кучи снега, а уж ладонь, приложенная к стеклу окна, обращенного к солнцу, чувствовала теплоту его. С Невы еще подымался пронзительный холод, а уж франты средней руки начали облекаться в летние пальто и летние брюки... Но, бог с ними, и с Невой, и с петербургскими франтами! Илюша воображал Неву океаном, а о франтах имел самое темное, неопределенное понятие. Первый солнечный день, в который Августа выставила в гостиной зимнюю раму и отворила окошко, был для него самым приятным, праздничным, весенним днем. Он не отходил от окна и

был в таком настроении духа, что если б мог или смел, то с радостью отозвался бы на крик петуха, вскочившего на забор по ту сторону улицы. Августа вымыла окна, расставила на них цветы, вполовину опустила тиковые с розовыми полосками шторы и ушла в кухню варить кофе для доктора.

В гостиной остался один Илюша. Он слегка прозяб у окна, уселся на своем любимом диванчике и озирает не роскошную, но довольно пестро убранный комнату. Большая проволочная клетка с веревочным гнездышком, с баночкой воды и двумя канарейками, широколапые кактусы и месячные розы в полном цвету, картинки на стенах, белая статуя Весны, золотой луч солнца на складках одежды и розовый полусвет на устах ее, тишина, весенний воздух и, наконец, довольно приятный шорох, производимый цепкими лапками двух птичек, прыгающих с прутика на прутик,— все это вместе погрузило маленького мечтателя в какое-то сладостное полузабытье. Сперва он облокотился на старую, шитую гарусом, подушку, потом лег и протянулся.

Наконец, глаза его остановились на лице статуи... К ее вечной неподвижной улыбке примешивалось что-то неуловимо живое, как будто и в самом деле уста ее получили способность дышать с появлением весеннего солнца и весенней сырости. Мальчик припал головой к подушке и, то лукаво улыбаясь, то лукаво жмурясь, поглядывал на нее из-под руки, как бы желая убедиться, не перестанет ли улыбаться эта милая головка в те минуты, когда он на нее не смотрит или постоянно улыбается.

Доктор сидел у себя в кабинете, писал и курил; Августа в кухне кипятила сливки.

Вдруг небывалый стук разом перепугал и доктора, и хлопотливую Августу: оба бросились в ту комнату, где был Илюша. Доктор разинул рот и поднял брови; Августа всплеснула руками: статуя Весны была низвергнута с своего пьедестала и весь пол усыпан гипсовыми обломками; возле опрокинутого, с подломленной ножкой стула стоял Илюша, неподвижный, бледный, с опущенными ресницами, как преступник, пойманный на месте преступления.

-- Дитя, дитя, что вы наделали! -- вскричала Августа.

-- Что он наделал? -- заговорил доктор, приводя в движение изумленный рот свой. -- Что он наделал? Разбил мою статую. Весну разбил -- вот он что наделал! Да! Похвалим мы его за это, да! Умник, дескать, молодец, да! Вот он тут какие штуки выделывает!

Илюша с выражением испуга и отчаяния окинул глазами пол, усыпанный обломками.

-- Она у меня еще бы десять лет простояла, кабы не ты; умник, дескать, молодец, дескать; сам, дескать, хвачу чем ни попало! Авось слетит... Как это ты, любезнейший, а?

-- Видно, барин, ей уж так на роду было написано! -- оскалив зубы, проговорила кухарка Домна, которая также появилась в дверях вслед за Августой.

-- Вот не шалил, не шалил, а тут и того...-- пробормотал доктор; нахмурившись, посмотрел на мальчика, на цветы, на диван и ушел в кабинет, притворив за собой дверь.

Это маленькое обстоятельство оторвало его от какой-то очень важной мысли, для которой даже и фраза была на конце пера -- фра-

за, которая -- увы! -- так же вдруг разлетелась вдребезги, как и богиня Весны, опрокинутая мальчиком.

-- Ай, ай, ай! Что вы наделали? -- с чувством непритворного сожаления повторила Августа, присев к полу и собирая в фартук куски статуи.

Илюша, только что вышел отец, бросился на шею к ней и заплакал.

-- Как это вы? -- спросила Августа, одной рукой придерживая концы фартука, а другой поворачивая стул с изломанной ножкой.

Илюша признался, что взлезал на стул.

-- Разве вы не знали, что этот стул давно сломан и что ножка так, для виду только, была приставлена? Разве не при вас я говорила, что надо за столяром послать, а не то клею сварить: я бы и сама ее, проклятую, склеила... Да зачем же вы все лазаете-то, дитя, дитя?

-- Я, Августа...-- начал говорить рыдающий мальчик, -- я, видишь... я хотел только... по... по... по... целовать ее.

-- Какой вы смешной! Что это вам вздумалось? -- засмеявшись, отвечала Августа.

Ее смех на несколько минут заметно

успокоил ребенка.

-- Поди скорей, молоко совсем ушло,-- слышался в дверях голос Домны.

-- Ах, пустите меня, дитя, молоко ушло!

И с этими словами Августа, придерживая фартук, поспешно удалилась в кухню.

Мальчик бросился на диван ничком и плакал до тех пор, пока Августа не пришла накрывать на стол. За столом он почти ничего не ел. Кирилл Кириллович, ковыряя в зубах, спросил: не ушибся ли он? Мальчик отвечал, что не ушибся, хотя и чувствовал небольшую боль в колене. Вечером у доктора были какие-то гости: он пил чай с ромом и горячо спорил. Илюша не выходил из своей комнаты и рано лег спать.

На другой день после этого происшествия, утром, часу в восьмом, когда Илюша шел в кабинет, поздороваться с отцом и проходил гостиную, сердце его болезненно сжалось: на пустом пьедестале, в углу, стоял ручной мойник, вынесенный Августой, и оловянная бритвенная мыльница.

Почувствовал бедный мальчик, что в доме как будто чего-то недостает: недостает су-

щества, давно, с незапамятно ранних, младенческих дней ему знакомого, милого, постоянно ему улыбавшегося и безмятежно-прекрасного. Глубокая грусть запала в душу мальчика. Горько он упрекнул себя -- и слезы опять навернулись у него на глазах, когда с грифелем в руках по обыкновению уселся он на своем любимом месте, в уголку кожаного диванчика. Никакими словами нельзя передать той путаницы, которая происходила на этот раз в его голове. Если б отец позвал его учиться, он услышал бы даже некоторую перемену в голосе ребенка и, быть может, догадался бы, что сын его не совсем здоров.

Перед обедом Илюша ходил из комнаты в комнату, не находя себе места; зашел в кухню, искоса посмотрел на Домну, которая, подпершись обеими руками, хладнокровно смотрела, как пиццит сковорода и как рыба жарится; напоследок, заглянув в задние сени, он очутился на небольшой грязной площадке, около черной лестницы, которая спускалась вниз и шла наверх до самого чердака. Тут, в углу, нашел он гипсовые обломки, вынесенные Августой.

Несмотря на проливной дождь, который в это время шумел на дворе, и ветер, который дул и брызгал в разбитое стекло окна, предназначенного освещать грязную заднюю лестницу, мальчик довольно долго копался в пыльной куче, наконец отыскал часть разбитой руки, схватил ее, принес в свою комнату, вытер своим полотенцем и положил под подушку.

Вдруг совершенно невольно вспомнил он, что голова статуи была цела в то время, когда Августа собирала и клала в фартук своей ее обломки, и не мог понять: куда девалась эта голова, куда исчезла?

Чего бы он не дал, чтоб найти ее!

Несмотря на некоторую очевидность, что головы этой и след простыл, он все-таки еще пробрался в сени и наклонился над кучей гипсовых обломков, вполовину засыпанных сором, вполовину забрызганных. На этот раз в сенях застала его Августа, слезавшая с чердака со своими неглаженными юбками.

Взяв его за руку, холодную как лед, она хотела увести его в комнаты, но Илюша заупрямился.

-- Августа! -- сказал он,-- что хочешь делай, не пойду! Куда ты девала голову Весны? Дай мне ее ради бога; мне ее непременно нужно!

-- Вы, дитя, простудитесь; что вы так в одной рубашке выбегаете! Какую вам еще голову? Голову вашей Весны унесли мальчики, которые наверху живут, приходили и унесли. Я сама ее видела в руках у них. Не стыдно ли вам жалеть о такой дряни?

Действительно ли Августа видела гипсовую голову в руках каких-то мальчиков или выдумала, чтоб отделаться от Илюши -- бог ее ведает.

За обедом доктор, как ни был занят чтением какой-то немецкой газеты, спросил, однако ж, Илюшу: не болен ли он.

-- Нет, не болен,-- отвечал бледный, как воск, мальчик,-- только мне все жаль статуи.

-- Ну, уж, брат, поздно жалеть,-- утирая салфеткой рот свой, заметил Кирилл Кириллович.

Прошел день, настали сумерки. Пожирающее беспокойство все время не покидало ребенка. Он уже успел возненавидеть незнако-

МЫХ мальчиков, похитивших у него драгоценный остаток драгоценного существа. Он все что-то шептал про себя и, когда оставался один, неопределенно смотрел по сторонам, и губы его шевелились. В десять часов вечера по обыкновению он лег в постель: долго, лежа на подушках, смотрел он в темный потолок, через который проходили и перекрещивались две полосы света: одна, яркая, из кухни, другая, тусклая, из кабинета. На верхнем этаже слышно было, как кто-то ходил, что-то передвигал с места на место. "Эк они там возятся!" -- чуть не вслух, с досадой проговорил Илюша. Он вообразил себе этих мальчиков страшнейшими негодьями и думал, что они живут не иначе, как под самой кровлей, где-то около чердака, по соседству с домовыми. Долго не спалось ему; голова его горела. Целую обломок гипсовой руки, он придумывал разные хитрые планы, как вырвать из недостойных рук прекрасную, улыбающуюся... уву! быть может, уж грустную, полуразбитую, но все еще для него дорогую голову. Ничего не мог он выдумать и решился опять прибегнуть к покровительству Августы, то

есть посоветоваться с ней, попросить ее и так далее, Августа в эту минуту находилась в кабинете отца его, постилала постель и взбивала подушки; дверь в кабинет была отворена. Там по обыкновению горела лампа под медным колпаком и освещала бликами лоб, нос и губы ученого-доктора.

В комнату, где лежал Илюша, из-за ширм вошла кухарка Домна. Илюша не ожидал ее и вздрогнул. Домна в одних чулках, прошла мимо его постельки и стала к нему спиной в дверях гостиной.

-- Домна!-- трепетным, нерешительным голосом произнес ребенок, кулачком подпирая свою голову.

-- Что вам надо, барин? -- с легкой досадой отозвалась кухарка.

-- Домна, поди сюда.

-- Ну, что?

-- Отыщи мне голову.

-- Какую вам голову?

-- Сходи, пожалуйста, наверх -- они еще не спят,-- спроси у тех мальчиков: может быть, они отдадут тебе; пожалуйста, Домна!..

Домна, ни слова не отвечая мальчику,

махнула рукой Августе, выходявшей из кабинета, и подала ей какой-то знак: иди, мол, скорей! И вышла.

Августа, притворив за собой двери в гостиную, прошла в кухню, прежде чем Илюша, оскорбленный невниманием Домны, решил позвать ее. В горячей голове его вдруг образовалась странная, непостижимо странная фантазия. Несвоевременный приход кухарки и молчаливый вызов Августы показались ему чем-то таинственным, имевшим какую-то очевидную, хотя и непонятную для него связь с разбитой статуей.

"Хорошо,-- думал он, закрывшись одеялом и уткнув в подушку лицо свое,-- хорошо!-- повторил он шепотом, с каким-то несвойственным ему раздражением.-- Хорошо! Меня не проведут! Думают, что я маленький! Вишь, не понимает, о какой голове я ее спрашивал, как будто я не при ней просил Августу... О, я давно вижу, что эта Домна меня терпеть не может... Хорошо! Я... я узнаю, я все узнаю; зачем она ее тихонько вызвала..."

Ясно, что маленькая голова Илюши была расстроена.

В глубокую полночь, среди совершенной тишины, при виде одного только тускло мерцающего на ширмах пятна, пятна, вероятно, производимого каким-нибудь отдаленным уличным фонарем, Илюша в потемках осторожно спустил на пол свои босые ножки и тихо-тихо прокрался сперва за ширмы, потом в дверь, которая выводила в коридорчик и, как нарочно, на этот раз не была притворена.

В коридорчике было также темно. В перегородке, которая отделяла его от кухни, было маленькое, квадратное со стеклами окошечко. Это окошечко с той стороны не было задернуто занавеской и на противоположную стену отбрасывало светлый четырехугольник, перекрещенный двумя черными линейками. Окошечко это от полу было довольно высоко: Илюша должен был влезть на сундук. На сундуке лежали сложенные старые тюфяки, на которых когда-то умерла мать его. Илюша влез на самый верх и приложил глаза к окошечку. В кухне было светло. На дубовом выскобленном столе стоял подсвечник, в котором пылал, как в плошке, сальный огарок, догоревший до бумаги. Илюша с напряжен-

ным вниманием стал всматриваться... Страшная, мертвая тишина царствовала в целом доме, слышно было, как жужжит где-то муха и бьется по стеклу... "А! отчего ж это они не спят? -- подумал бедный мальчик. Смотрит, около печки, с повязанной головой, сложа на груди свои пухлые руки, неподвижно, как истукан, стоит Домна, как будто видит или собирается видеть что-то не совсем обыкновенное. Августа, также не двигаясь, стоит спиной к окошечку, наклонила голову набок и к чему-то прислушивается. Выпуклые глаза ее устремлены на дверь, выходящую в сени.

-- Полно, спит ли он? -- слышался сдержанный шепот Домны.

-- Спит,-- еще таинственнее отвечает Августа и тихонько делает нетерпеливый знак рукой, чтоб Домна не мешала ей.

Слово спит, произнесенное едва слышным движением губ, поражает мальчика. Сердце его сильно бьется. Он понял, что слово "спит" относится к нему, и испугался... Он бы непременно вскрикнул, чтоб доказать, что не спит, если б тоскливо-упрямое ожидание не приковало его к месту и не сковало языка его.

Все, что он мог сделать, это -- вершка на два отклонить от стекла лицо свое из предосторожности, чтоб эта ненавистная Домна не заметила его.

"Нет, уж подсматрю!-- подумал он.-- Увижу, что такое! Думают обмануть меня, думают, что я маленький... Как бы не так!.."

И вот, весь дрожа, слышит он внизу, по двору как будто прокатилась тяжелая-тяжелая фура... Темные стекла в раме зазвенели... Августа вдруг подняла голову, опрометью бросилась к дверям, настезь отворила их и исчезла в сенях, где в совершенной темноте белелись две-три ступеньки, освещенные косвенным лучом полуночного месяца. Домна не шевелилась по-прежнему; только тень от повязанной головы ее закачалась на кирпичах выбеленной печки.

Сонное, спертое молчание опять воцарилось в кухне и распространилось далеко кругом, быть может, до самой будки на углу улицы... Только и слышно, как кипит сало в пылающей бумажной трубке, в глубине медного подсвечника; только и слышно, как колотится сердце в груди Илюши да стучат жилы в

напряженных висках его.

"Боже мой! Кого они ждут? Кого они ждут?" -- прошептал мальчик. Тысячи самых страшных предположений возникало в голове его. Из отворенной настежь дверь в сени, как из темной пасти, ждал он появления чего-то необычайного... Но, слава богу, на пороге опять показалась Августа.

"Ну, хорошо,-- подумал Илюша,-- кого она на руках держит?.. Уж я... знаю".

Действительно, показалось ему, что Августа несет что-то завернутое в белое, не то в простыню, не то в салфетку... Вот подходит она к скамейке. И тут ребенок уж ничего разглядеть не может; только и видит, что Августа что-то делает, судя по движению локтей ее: не то разворачивает, не то закутывает... Красновато-голубой огонь, пылавший в подсвечнике, заколебался, и по всем углам заволновались тени.

Илюша весь превратился в зрение... смотрит: "Ну, так и есть, так и есть! Вот как,-- подумал он,-- хотели обмануть меня, думали, что я глуп... Как бы не так!.."

И вот видит Илюша, со скамьи, придер-

живаясь за платье Августы, спускается на пол маленькая, необычайно стройная, вся, как алебастр, белая девушка; белы" веноч качается на белой голове ее; платье волнуется мелкими складками; в белых обнаженных руках ее мелькают белые букеты цветов...

Так и есть! Это она... Весна, та самая богиня, которая разбилась вдребезги... Но что такое? Что она делает? Для чего, с какой целью каждое ее движение? Зачем вдруг садится она на краю стола и оборачивает к низенькой свечке свое белое, меланхолическое личико, и какое такое участие во всем этом принимает Августа -- Илюша не может понять, никак не может. Он только смотрит, притаив дыхание, и как будто мураши ползут по спине его... Во сне или наяву все это видит он? Увы! Этот вопрос еще ни разу не пришел ему в голову.

-- Успокойтесь!-- тихим и озабоченным голосом говорит ей Августа, беспрестанно за-слоня широкой темной спиной своей сияющий стан полуобнаженной маленькой богини.

-- Сударыня,-- проговорила Домна, про-

должая стоять у печки, в том же положении...

-- Тс! Тише!-- сказала Августа, приложив палец к губам и взглянув на дверь.

-- Как бы, сударыня, молодой-то барин не увидел вас,-- договорила Домна,-- он такой у нас, прости господи! Все видит.

-- Бог с ним! Бог с ним!-- тихо, как стеклянный бубенчик, впервые залепетал мелодический голосок богини.-- Если б не он, злые мальчишки не играли бы, как мячиком, головой моей,-- толченым кирпичом не румянили бы щек, не проводили бы страшных усов своими гадкими чернилами... Бог с ним! Я любила его! Я любила его! А он разбил, разбил, погубил мою вечную молодость!

Так лепетала белая девушка, и все тише и тише под конец становился этот грустный лепет, эта нестерпимая, сладостно-мучительная жалоба, и самый свет как бы замирал от этих горьких слов ее; голубоватый огонек уже едва держался в глубине медного подсвечника и вздрагивал, белое тело богини, уже в неясных очерках мелькающее, то появлялось, то пропадало, как все предметы, ее окружающие; лицо Домны вытянулось, потемнело и

вместе с фигурой Августы совершенно исчезло посреди густого быстро наступающего мрака; черная, безобразная тень потянулась к квадратному окошечку, и в страшном испуге Илюша спустился на пол; мысли и образы совершенно спутались в закружившейся голове его; он сам не помнил, как, ощутив дверь, сделал шаг и без чувств повалился на что-то мягкое.

-- Господи! Кто это? Что такое? -- вскрикнула Августа, спокойно спавшая на полу за ширмами.

Из груди мальчика вырвался легкий стон, руки испуганной девушки ощутили его горячую голову. Она вскочила, шаркнула по стене серной спичкой и засветила свечу. Сначала подумала она, что дитя ее как-нибудь во сне встал, сонный пришел и повалился у ног ее. Долго боялась она разбудить или испугать его, Долго всматривалась в полузакрытые глаза ребенка и его бледные губы, и тогда только поняла, что Илюша болен, когда решилась поднять его на руки. С трудом перенесла она его на постель и опустила на подушку, из-под которой свалился на пол и стукнул кусок

гипсовой руки.

Илюша был в жару; минут через десять он стал метаться и бредить.

Встревоженная Августа кое-как натащи-ла на себя свое старое платье и отправилась разбудить Кирилла Кирилловича; сперва тихонько постучала в дверь, потом просунула в темный кабинет половину головы своей и сказала: "Барин! А барин!.."

Доктор быстро приподнялся и, не понимая, в чем дело, осторожно проговорил: "Войди сюда!"

-- Барин, ваше дитя совсем умирает: в жару так и мечется... ради бога, встаньте!

Вавилонов вскочил, схватил халат, и слышно было в темноте, как босые пятки его сначала ударились в пол и как потом стал он ногами отыскивать свои туфли.

-- Зажги свечу! Свечу скорей! -- сказал он Августе.

Августа, щуря глаза, принесла свечку и вышла.

Давно уже физиономия почтенного доктора не была так встревожена и давно уже волосы его так страшно не торчали во все сторо-

ны, как в ту минуту, когда он щупал пульс и голову своего Илюши. Ясно, как трижды три -- девять, понял великий психолог, что маленький сынок его лежит в горячке. "Ах ты господи! Этого только недоставало!" -- проговорил он, сморщив лоб и всплеснув руками. В этом восклицании был явный испуг потерять ребенка.

-- Что с Тобой, а?.. А?.. Хочешь пить, а? -- повторял доктор, нагибаясь к сыну.

Илюша несвязано бредил:

"Весна... пук!.. мальчики... не пускайте мальчиков!" -- и так далее.

Не стану вам рассказывать, чем и как лечили бедного Илюшу; скажу только, что после трехнедельной страшной болезни, в продолжение которой Кирилл Кириллович похудел и пожелтел, Илюша выздоровел: да, мои добрые читатели, выздоровел -- я не могу рассчитывать на ваше сочувствие трогательным описанием его кончины -- он выздоровел -- и даже, казалось, надолго потерял совершенно память о том, что было до его болезни. Однажды только, когда Августа, слабого и бледного, вывела его в гостиную, он вспомнил, что

статуи нет, и сказал сам, что это он разбил ее.

-- Что за беда! Папенька хочет заказать новую, еще лучше. Посмотрели бы вы, какие статуйки мужики носят да продают,-- утешала ребенка Августа.

"Как это заказать!"-- подумал Илюша; но слабая голова его не долго трудилась над решением этого странного для него вопроса. Майское солнце светило в окна, канарейки пели; Кирилл Кириллович, прихлебывая кофе, сидел у себя в кабинете и через растворенную дверь косо поглядывал на Августу...

На днях я сам видел Илюшу; я встретил его на Васильевском острове, около Благовещенского моста; белоглазая шведка вела его за руку. Я спросил ее: куда вы?

-- У меня на пароходе брат буфетчик, к нему идем,-- отвечала Августа.

Августа похорошела; Илюша вырос вершка на два, но все такой же худенький и бледный.

Где-то теперь гуляет его фантазия? И что из него выйдет, когда он вырастет? Случайно ли остался он жив или судьба к чему-нибудь порядочному сберегла его? Бедный мальчик!

Что, если когда-нибудь жизнь отмстит тебе за разбитую статую...

Груня

Рассказ

Какая длинная и неуклюжая была у меня комната! Как теперь помню, стены ее были оклеены бумажными обоями, которые местами я отодрал из любопытства, чтоб увидеть, нет ли там еще каких узоров. Старинные обои с наляпанными купидонами, которых существование я открыл под двумя слоями наклеенных цветных бумажек, в особенности доставили мне такое удовольствие, что я замышлял ободрать все свою комнату точно так же, как я ободрал ее около своей кровати. Налево дубовая дверка в диванную, над которой в виде окна просвечивается полукруглое решетчатое отверстие; направо другая дверь - в девичью. Окно глядит на двор. В углу помещается стол с моими книгами; к этому столу высокой спинкой примыкает кровать моя,

покрытая летним одеялом из разноцветных ситцевых квадратиков.

Уже август, а какие жаркие ночи!

Няня. Арина с вечера имеет обыкновение опускать окно и уносить подставку, чтоб я ночью не смел поднимать его: матушка моя боится, чтоб ночной ветер не простудил меня; но в июле я и без подставки мог поднимать нижнюю половину рамы, подпирать ее четырьмя толстыми французскими лексиконами Татищева, продевать голову на двор и, жадно дыша прохладой лунной ночи, прислушиваться к шепотливому бреду двух дремучих, насупившихся лип, помещавшихся между колодезным колесом и решеткой сада.

Утром, когда старик Михалыч приходит будить меня, я тяжело просыпаюсь, медлю одеваться, и недовольные глаза мои глядят на портрет моего прадеда, в красном кафтане, с пудрой на зачесанных волосах и с тростью в руке; счастливый прадед смотрит на меня с пыльной стены и вечно улыбается. В полчаса я должен умыться, богу помолиться, чаю напиться и в школу отправиться.

Мне уже четырнадцать лет, и я не счи-

таю себя ребенком! Я уже не то, чем я был когда-то в старину, когда мне было девять лет. Няня Арина, девушка лет пятидесяти, уже давно перестала мне сопутствовать: я уже давно не даю ей разувать себя. Михалыча я беру в провожатые только по вечерам и потому только, что меня без Михалыча никуда не пускают; но я предчувствую, что и это скоро кончится; конечно, в баню я не пойду один ни за какие сокровища в мире; но я не трус и домовым не верю.

Бывшая моя няня, Арина Трофимовна, по-прежнему любит изразцовую лежанку, которая, по несчастью, находится в моей длинной комнате, а именно в углу, около дверей, ведущих в девичью, и -- что всего досаднее, по-прежнему любит, сморщившись, читать мне наставления.

Матушки я не так боюсь; но дядя мой, который живет у нас,-- боже избави! Не то чтоб он был злой человек, напротив, трудно вообразить себе человека, до такой степени доброго; но когда он выпьет,-- ходит по всему дому, машет трубкой и если не ворчит себе под нос, то непременно, того и гляди, к чему-нибудь

привяжется или так придет, смотрит, покачивается и ничего не говорит.

Матушка так любит его и так деликатна, что, как бы ни велика была ее досада, никак не может сказать ему: "Братец! Зачем вы так много пьете? Соседи смеются, люди теряют уважение..."

До сих пор помню, как, задумавшись, она качает головой и как в передней раскрасневшийся дядя мой распекает кучера за пьянство: "Именно, именно, негодяй! Только и знаешь, что в конюшне берестовые табакерки делать да всякие гадости... Пойдешь да и налижешься! Именно в ежовых руках надо держать тебя. Эх, смотри ты! Как только увижу, что ты там с кем-нибудь пьянствуешь, — смотри!.."

Дяде моему, Селиверсту Семеновичу, кажется, было около пятидесяти трех лет, когда мне было четырнадцать. Рыхлые черные волосы с проседью прикрывают невысокий лоб его; затылок сквозит, лицо слегка тронута оспой; широкий подбородок вечно в двух или трех местах обрезан бритвой.

По утрам, когда я прихожу к нему здоро-

ваться, сторбившись и кряхтя немного, сидит он в креслах, положив под себя подушку, и читает "Московские ведомости", молча прихлебывая чай из простывшей чашки, стоящей перед ним на круглом китайском столике. К вечеру или даже в полдень лицо его совершенно изменяет свое кроткое, доброе выражение; и тогда он уже не может сидеть: у него является потребность ходить из комнаты в комнату.

Кроме небольшого состояния, оставшегося после моего отца, у дяди был еще сенокосный луг около городской межи, верстах в трех или четырех от заставы города,— луг, к счастью, незаложенный; мы жили ни богато, ни бедно. Дядин сенокос также давал доход и возможность содержать пару лошадей. У нас в сарае стояли старая линейка, с ободраным сукном (любимое место ночлега кур, петухов и индюшек), дрожки, городские сани и дядины пошевни. Летом сани, а зимой дрожки стояли с поднятыми кверху оглоблями. Большая дворня, конечно, была бы в тягость нам, если б мы жили в столице, а не в губернском городе, близ большой, судоходной реки и по-

среди бесконечных огородов.

Сено и провизия были нипочем. Одни дрова, сколько я помню, были не слишком дешевы, хотя дом наш был и невелик: в нем было не больше четырех печей; но флигель, состоявший на особых правах, в полном владении повара, прачки, кучера, кучеренка, птичницы и двух стариков с детьми и с внучатами, разделивших его внутренность на многое множество углов и перегородок, поглощал довольно много топлива, выбрасывая его в три трубы, в виде никому не нужного дыма.

Не помню, в какой это был день, помню только, что это было в августе, вскоре после каникул, я обещал одному из моих школьных товарищей, а именно Василию Хохлову, привезти вечером какую-то учебную книгу, которая, как видно, была не по его карману. Матушка согласилась отпустить меня и сказала Палашке, курносой девке, которая за ней ходила: "Вели, Палашка, Ермолаю дрожки закладывать".

Дядя ходил по зале и сердито помахивал волосяным коротеньким чубуком; капли пота облепили лоб и виски его; около бровей появ-

лялись красные пятна -- признак внутреннего негодования; табачная зола сыпалась на пол; губы его двигались; он что-то бормотал, но что такое -- этого никто не знал, да и знать не мог; я только и слышал, как повторил он: "именно, именно!" -- уходя в свою комнату.

-- Кому дрожки? -- вдруг раздался его голос, от которого иногда страшная тоска и беспокойство западали мне на душу.

Несомненно, дядя мой в открытое окошко увидел, что закладывают дрожки. Я испугался мысли, что он велит их раскладывать, и остановился в коридоре.

Через минуту в освещенном конце коридора из дверей кабинета появилась фигура дяди, придавившего большим пальцем табачную золу в трубке и пускающего губами голубую струйку дыма.

Показалось, мне, что он затем и направляет шаги свои по коридору, чтоб зайти в комнату к моей матери и, узнав от нее, зачем закладывают дрожки, отыскать меня и спросить, куда я еду.

В коридоре постоянно были сумерки, особенно если дверь в спальню была затворе-

на; я робко прижался к стенке с какими-то мрачными мыслями, притаюсь между шкафчиком и висевшим салопом.

Проходя мимо, дядя остановился перед шкафчиком, отворил его, налил из графинчика рюмку водки, выпил, как будто дело сделал, и отправился к моей матери,

-- Сестра! -- слышу, говорит он за дверью.

-- Что, братец?

-- А надо завтра будет за вином послать.

-- Помилуйте! Давно ли я налила целую бутыль!

-- Ну, какое бутыль! Много ли? Ну, приходили поздравлять, на лекарство брали, дворня тоже... и тоже...

-- Вы этой водкой только здоровье свое губите!

-- Именно... Я знал, что вы мне это скажете, именно. Это стыдно вам.

Продолжение этого разговора я уже не слышал, потому что на цыпочках с книгой в руках пробрался на Переднее крыльцо и махнул рукой кучеру, досадуя на его медленность.

Домишко, в котором обитал Вася Хохлов,

школьный товарищ мой, находился на краю нашего города в одной из самых безлюдных, мощеных улиц, выходящих в поле, куда чаще всего везли покойников. Прямо против этой улицы загородная кладбищенская церковь поднимала небольшой, пыльно-зеленый купол свой, летом скрывая ограду могил за высокими колосьями, а зимой за снеговыми сугробами.

Вася был у нас в губернской школе первым учеником по списку. Это был "зубрила", каких у нас в классе не было. Трудлюбив он был до невероятности и не по летам серьезен; самые черты лица его были какие-то не детские. Он был бледен, ходил в стоптанных сапогах и смотрел исподлобья; но никто с такой охотой, как он, не снабжал меня своими тетрадями.

Я ехал к нему в первый раз. Выехав за ворота, я привскакнул на дрожжах от радости и улыбнулся.

Я всегда был как-то особенно весел, когда вырывался из дома.

Собор, здание присутственных мест, гимназия, узорные колокольни старинных церк-

вей, холмы и домики -- все было облиито золотистыми лучами сухого, теплого вечера. Солнце садилось в кусты, за последними изгибами реки, исчезающей в отдаленных пространствах луговой стороны, уставленной скирдами сена. Поперек мостовой лежали длинные тени; пыль начинала опадать и, как светлый туман, стояла в воздухе. Целые стада стрижей, как шмели, кружились около церковных крестов, раздражая чистый воздух своим однообразным, пронзительно-приятным зыком.

Не доезжая заставы, мы повернули влево. Со стороны Солдатской слободы неслась какая-то свадебная песня; у кладбищенской часовни стоял старик с кружкой и звенел колокольчиком.

Стадо гусей с гусенятами перебежало нам дорогу, поднимая крик и растопыря крылья. Какой-то мальчишка сидел на заборе и тряс рябину; завидя меня, он высунул язык -- мне стало досадно, и я погрозил ему. Из окна низенького полуразвалившегося домика выглянула нечесаная голова с усами и посмотрела на меня без всякого к моему нежному возра-

ту снисхождения.

По тропинке, около домов, проходила босая баба с коромыслом. Мы спросили ее: где дом Хохлова? Баба не удостоила нас ответа, только повернулась и указала пальцем. Я подъехал к воротам небольшого домика, с улицы обшитого тесом, заглянул в калитку и, удостоверившись, что собака на цепи, вошел на двор.

На ступеньках невысокого крылечка, под навесом, сидела девушка. На голове ее висел клетчатый бумажный платок, завязанный у подбородка. На ней была какая-то кацавейка, накинутая на одно плечо; другое плечо было обнажено, круглилось и грелось на открытом воздухе.

Она сидела, пригорюнившись, на верхней ступеньке; одна нога ее спускалась до самой земли; белый чулок ее выглядывал из-под складок темного платья. Я приостановился, собака загремела цепью и залаяла.

Девушка, заметив меня, не встала с места, не поклонилась, только переменила позу. Нога ее ушла под фартук, плечико спряталось.

-- Кого вам надо? -- протяжно спросила

меня девушка, посмотрев на меня из-под темных ресниц большими серыми глазами.

-- Хохлова-с, Васю, -- сказал я, пораженный хорошеньким личиком.

-- Ступайте, -- сказала девушка и подвинулась к сторонке, чтоб пропустить меня.

Собака продолжала стоять на одном месте и лениво, как бы нехотя, лаяла.

Я вошел в темные, пространные, сквозные сени; вижу -- с другого конца, из сада, глядит на меня подсолнечник. Налево дверь; отворяю -- темно.

Еще дверь -- комната. Какой-то мужчина, лет сорока, худой и нечесаный, приподнялся с дивана и посмотрел на меня вопросительно; потом, запахнув халат, ушел за перегородку. Я остался один и стал оглядываться.

Комната похожа была на горницу деревенского постоялого двора. Тут был и диван, и дубовый стол, и деревянная скамья, и полка в углу с иконами, и до самой печки перегородка со щелями. На стене висели незавидные картинки в деревянных крашеных рамах: тут был и вид какой-то пустыни и "Освобожденная Европа". Два похвальные листа с печатя-

ми и с именем Василия Хохлова: один из приходского, а другой -- из уездного училища, как неоспоримое свидетельство успехов и похвального поведения украшали собой перегородку. Я подошел к ним и стал читать. За перегородкой кто-то тяжело дышал: сильным шепотом разговаривали два голоса.

-- Какой товарищ? -- спросил бабий шепот.

-- Спроси, спроси, я не выйду,-- возразил мужчина. -- Да где Вася-то?

-- А где ему быть-то?

-- Выдь, говорю я тебе, выдь!

-- Ну его совсем!

Дверь отворилась, из-за перегородки вышла толстая, рябая, платком помещански повязанная женщина и, на ходу поклонившись мне, прошла в сени.

-- Вася! А Ва-ася! -- раздался ее голос. -- Подь сюда.

Минуты через две вошел мой Вася в старом сюртуке, но без галстука.

-- А... здравствуй! -- сказал он мне равнодушно, тряхнув стриженной головой, и, словно деревяшку, протянул мне руку.

-- Здравствуй, дружище! -- сказал я весело. -- Ну, что, принес книгу-то?

-- Принес.

-- Ну, хорошо, что принес, спасибо. Пойдем ко мне.

Комната Васи также была за перегородкой, с дверью из передней, если только темное пространство между сеней и главной комнатой можно назвать передней.

-- Спасибо, что принес. Это она, что ли? Кажи-ка, брат, ее. Какая она такая, эта книга-то? Гм! Придется переписывать.

-- Ты лучше купи.

-- Вот еще -- покупать! Зачем?

И он занялся рассматриванием книги, точно как будто я принес ему диковину.

-- Ну что ж ты, садись, коли пришел; ничего, хоть и на кровать садись, коли места нет.

Вася говорил немного отрывисто и отличался какими-то неуклюжими манерами. Вообще сказать, мальчик был неотесанный.

Я уселся на кровать и стал в окно заглядывать. Очень хотелось мне, хоть разок еще взглянуть на хорошенькую девушку, но ее

уже на крыльце не было.

-- Вася, -- спросил я, -- кто такая сидела на крыльце, когда я пришел?

-- Кто сидел! О... на крыльце-то? Кому сидеть? Сестра сидела,-- отвечал он рассеянно, тихо разгибая книгу, проводя ладонью по страницам и что-то соображая,

-- А у тебя есть сестра?

-- Есть.

-- И братья есть?

-- Один есть, в деревне.

-- Что ж он, учится?

-- Нет, не учится, так живет.

-- А отец у тебя есть?

-- Есть отец.

-- И мать есть?

-- И мать... матери у меня нет. А ты мне вот что скажи: как же с книгой-то -- оставишь ты ее у меня, что ли, или возьмешь?

-- Так и быть -- оставлю.

-- О, ну, хорошо, оставь! -- сказал он с расстановкой, все соображая и разглядывая количество страниц.-- Хорошо, оставь; а ты-то как же?

-- Я как-нибудь.

-- Урок-то знаешь ли?

-- Знаю, -- сказал я и покраснел, потому что солгал бессовестнейшим образом.

В десятом часу Вася проводил меня за ворота, и я поехал ужинать.

Целый вечер, пока я не заснул, мне все мерещилась хорошенькая головка сестры моего приятеля; казалось мне, что таких милых лиц я и во сне не видывал. Наяву действительно приходилось мне мало видеть хорошеньких: все знакомые моей матери были по большей части дамы пожилые, с большими ридикюлями в руках, с довольно объемистыми животами и в капотах, иные нюхали табак, иные при встрече с моей матерью восклицали: "Ах, мать моя! Сто лет -- сто зим!" Если у всех этих барынь и были дочери, они к нам не возили их: вероятно, побаивались моего любезного дядюшки, на которого городские сплетницы наплетали то, чего и не было.

На другой день в классе я был вызван учителем и, как говорится, ни в зуб толкнуть.

-- Есть ли у вас книга? -- спросил меня учитель.

-- Есть, -- отвечал я шепотом, смиренно опустив голову.

Вася Хохлов смотрел на меня исподлобья, краснел и дулся,

-- Ступайте, -- сказал мне учитель и поставил прескверный балл в виде обруча.

Хохлов после класса подошел ко мне, шатнул головой и сказал:

-- Что ж ты вчера соврал? Приходи хоть завтра! еще страниц двадцать авось успею переписать, а не то и сам зайду к тебе.

-- Нет, лучше ты не заходи! Я сам приду к тебе, -- сказал я, оглядывая разнокалиберную толпу моих товарищей с затаенным стыдом и с той улыбкой, какие обыкновенно появляются на молоденьких, сконфуженных лицах после маленького несчастья. Сердце мое ныло, самолюбие было оскорблено. Чтоб как-нибудь утешить это самолюбие, я внутренне стал уверять себя, что урок мой не выучен не потому, что я был ленив, и не потому, что я книгу отдал, но не выучил я его с целью, точно так же, как и книгу свою отдал с умыслом, а именно: с тем будто бы умыслом, чтоб придаться к случаю вторично побывать у Васи и

увидеть сестру его.

-- Итак, Вася,-- сказал я, догнав его у ворот, по выходе из школы, -- завтра я постараюсь непременно завернуть к тебе. Кланяйся отцу, да уж и сестре своей кстати кланяйся!

Так начались мои посещения и моя дружба с Васей, которая, сказать по правде, проистекала не совсем из чистого источника, а именно из нелепой фантастической любви моей к сестре его -- Груне. В этом, конечно, я самому себе не признавался, потому что в четырнадцать лет подобное сознание никогда почти не приходит в голову.

Скоро все Хохловы стали смотреть на меня, как на друга Васи. Отец его или не обращал внимания на мое присутствие, или, подпоясавшись, приходил посидеть на кровати сына и молча, с каким-то напряженным участием слушал, бывало, как мы долбим урок или друг друга экзаменуем. Глуп ли был отец его или просто молчалив -- не знаю. Со мной он ни разу не разговаривал, только по целым часам пристально меня рассматривал. На груди он носил какой-то пластырь; одно ухо его было заткнуто шерстью, и белки глаз непри-

ятно поражали меня краснотой своей. Слышал я от кого-то, что он был управляющим на чьей-то фабрике, где, вероятно, и засорил глаза. Незаметно было, чтоб он занимался хозяйством: все справляла его рябая работница, и, полагаю, какая-нибудь дальняя его родственница, потому что он не нанимал ее. Главой семейства казался товарищ мой, Вася, на которого сам отец глядел с каким-то безотчетным уважением. На нем, очевидно, покоились все его надежды в будущем. Кажется, Вася понимал это, а потому и был у нас первым учеником по списку. У Труни летом была своя особенная горенка. Около кухонной стены, из сеней, шла на чердак лестница и заворачивала к ней в светелку. Страшно хотелось мне когда-нибудь заглянуть туда! Редко, очень редко я заставал ее у брата или у отца в комнате: вечно на воздухе, или сидит на крылечке с иглой в руках и работает, или в саду гуляет и грызет тыквенные семечки, или сидит у ворот пригорюнившись и смотрит в поле. Раз я собрался с духом и мимоходом спросил ее:

-- Что вы делаете?

-- Платочки подрубаю.

- Кому платочки?
- Чужим.
- Вы читать умеете?
- Книжки читать умею.
- Кто ж вам книжки дает?
- Да я у нашего жильца беру.
- Какой жилец?
- Постоялец наш.

"Какой это постоялец?" -- подумал я, но отложил нескромный свой вопрос до другого времени.

Груня, несомненно, была старше меня годом или даже двумя годами. Как мне вам описать ее -- не знаю.

Образ этой девушки является передо мною, окруженный каким-то туманным облаком. Помню, она была невысока, ростом невеличка, как выражается одна русская простонародная песня. Глаза у нее темно-серые с блеском, как надломленный свинец. Тонкие собольи бровки, тупой, но прямолинейный носик и губки -- странные губки! Когда она была задумчива, по ним иногда пробегало какое-то судорожное движение. Невольно как-то в эту минуту хотелось спросить ее: что у

тебя на сердце? Цвет лица ее был смугло-бледный; это не была прозрачная смуглота южной красавицы, эта смуглота скорее походила на русский загар, который, однако же, вместо того чтоб окрасить нос и щеки, разлился по лицу ее ровной и нежной тенью.

После этого краткого описания можете сами судить, как я влюбился. Я стал наяву бредить. Мечты мальчика -- те же сны. Вообразилось мне, что я могу быть женихом хорошенькой Груни. В этом возрасте первоначального понимания романов и полного непонимания жизни любовь не есть любовь в том смысле, в каком понимают ее в юности или вообще в позднейшие годы.

Мальчик начинает верить мечтам своим, только что переставая верить в сказочных волшебниц; а потому рассказать эти мечты взрослому то же, что рассказать сны или фантастические несообразности.

Помню, что все тогда казалось мне возможным; казалось возможным всю жизнь до гроба и даже за гробом любить ее; казалось возможным обвенчаться с ней где-нибудь в дремучем лесу, в какой-нибудь уединенной

церкви, Казалось возможным построить для нее великолепные чертоги, окружить ее мириадами цветов и целый день услаждать слух ее удивительной музыкой. Все это действительно было бы удивительно, если б все это могло быть действительно.

Груня, разумеется, не имела ни малейшего подозрения насчет моих романических замыслов. Ничего подобного она, вероятно, и вообразить себе не могла, потому что я почти не говорил с ней ни слова.

То, что взрослый мужчина скрывает из гордости или недоверия, дитя скрывает вследствие безотчетного страха или той застенчивости, которой суждено держать на привязи наши первые инстинкты.

Так ранние весенние цветки любят прятаться в траве, несмотря на то, что увядают раньше других цветов,

Наступила глубокая осень; изредка поросил снег, иногда поднимался ветер, и всю ночь до утра неприятный скрип раздавался в притворенных ставнях. На меня находила бессонница. Помню, раз, в глухую полночь, показалось мне, кто-то постучал по замку в

дверь, которая идет из диванной в гостиную, и потом... слышалось мне, в диванной кто-то как будто комкает и рвет бумагу, осторожно ходит и тихонько тащит из-под стола ковер... Я дрожал при свете лампы, и только мысль о Груне в эти минуты имела спасительную власть направлять в другую сторону мое воображение; мнимые ужасы исчезли перед мнимой страстью. Светлые призраки вставали над моим изголовьем; я задавал себе вопрос: любим ли я? "О да, любим!" -- отвечали мне светлые призраки. Иногда мне представлялись в полумраке картины, полные романической занимательности. Так, например, иногда казалось мне, что я и Груня поехали в челноке кататься на реку; я правлю веслами, хочу пристать к берегу; вдруг поднимается сильный ветер, весла падают из рук и плывут, далеко опережая качающийся, уносимый ветром и волнами челн. И вот пристаем мы к берегу какого-то острова и в изнеможении садимся под деревом. Груня плачет; я целую глаза ее, горячие и влажные от слез. То представлялось мне: вдруг раздается набатный колокол; дом Хохловых горит; Груня,

окруженная дымом и пламенем, задыхаясь, стоит у окна светелки; Вася воет и бегаёт по саду... Я бегу наверх, окруженный крутящимися искрами, и спасаю сестру его от явной смерти.

Много, очень много разных несбыточных фантазий приходило мне в голову, посреди ночной тишины, при однообразном чиликанье запечного сверчка, под шум осеннего ветра.

К Хохловым я не мог уже ходить пешком; нужны были дрожки, нужен был Михалыч, в виде провожатого. Помню дождливый вечер, когда я, весь мокрый, приехал к Васе и уселся у него за перегородкой} помню, как сальный огарок освещал скуластое лицо его, уткнувшееся в книгу, и худенькие пальцы правой руки моей, пишущей что-то под диктовку. Помню, как я вздрогнул, когда вошла к нам Груня и, прищурив полусонные глаза, через плечо мое протянула руку со свечей, тихонько зажгла ее и медленно вышла, загородив ладонью неразгоревшуюся светильню, боясь, чтоб она не потухла, потому что в это время кто-то из сеней отворил дверь и впотьмах не

находил скобки, чтоб сейчас же затворить ее. Это был Михалыч, соскучившийся сидеть на кухне; он пришел звать меня и спросил:

— Скоро ли вы, барин?

— Не мешай! Ты видишь, мы дело делаем,

— отвечал я Михалычу.

Хотя, признаться сказать, с появлением Груни все спуталось, все перемешалось в голове моей; я и сам не помнил, что писала рука моя; я как будто чувствовал еще около головы своей ее наклонившуюся, молодую грудь и протянутую руку. А ночь была "тюрьмы черней"; проливной осенний дождь стучал по стеклам маленького окошечка; дождевая вода с крыши текла по деревянному желобу; подставленный бочонок однообразно гудел за окнами.

Я не знал тогда, в невинности души своей и знать не мог, и подозревать не мог, какая жизнь, какие копеечные расчеты, какая бедность обитали в этом домике, стоявшем на краю города. Несмотря на искривленные столбы ворот и на его ветхую, позеленелую кровлю, в эти счастливые годы домишко Хохловых казался мне счастливым домиком!

Как часто горела голова моя и, бывало, сколько раз мысленно обнимал и жарко целовал я какой-то призрак, называя этот призрак милой Груней и всеми возможными нежными именами, какие только умели произносить тогда детские уста мои. Поцелуй казался мне тогда выше всех наград любви. Невесело стали глядеть глаза мои; я стал гораздо прилежнее, боясь потерять уважение Васи, как брата будущей моей подруги...

Наступила зима. Двойные рамы в наши окна давным-давно уже были вставлены, затрещали печи. Ранние вечера и метели положили страшное препятствие между мною и семейством Хохловых. Мать моя боялась глухих переулков и невольно привила ко мне все свои опасения. Стали мне рассказывать, вероятно, с умыслом, про какого-то, будто бы убитого и зарытого в снег, мальчика...

С наступлением святок наступил для меня период суеверных верований, и как я ни уверял Михалыча, что домовых нет и что это бабьи сказки, однако ж боялся привидений, хоть и не верил сказкам.

Под Новый год я гадал: смотрел в зеркало

и, разумеется, ничего не видел; ходил у избы подслушивать, и все, что ни удавалось подслушать мне, толковал в хорошую сторону, то есть уверял себя, что я и Труня, -- Груня и я, -- созданы друг для друга и друг без друга жить не можем. Однажды в какой-то праздник я проснулся раным-раненько. Солнце еще не всходило, перед иконами горела восковая свечка, топилась печь; на обледенелых стеклах моего окна играло веселое зарево. Арина пришла посидеть на лежанке и повязывала голову.

-- Вот, как нечего тебе делать, не нужно в класс идти, так ты рано встал, а богу не молишься, -- сказала мне старая няня, которая во всем находила случай к замечаниям.

-- Я еще не умывался, -- отвечал я няне, облокотись на комод и стоя на полу в одних чулках, потому что сапоги мои с вечера были унесены Михалычем.

В девичьей в это время горела свеча: Фекла, жена повара, месила тесто для пирогов. Палашка, курносая девка, была в спальне у моей матери. Михалыч еще не приходил.

-- Ну, что? Зачем проснулся? И-их! Спал

бы себе да спал, -- сказала Арина.

-- Да мне не спится, -- отвечал я печальным голосом, не отнимая с комода локтей своих.

-- Отчего тебе не спится?

-- Да так, не спится -- да и только! Разные мысли лезут в голову.

-- Какие мысли... верно, дурные какие-нибудь мысли, коли спать не дают.

-- Нет, не дурные,-- отвечал я наивно,-- а так... оттого, что я влюблен, оттого и лезут...

Слово "влюблен" я проговорил с величайшим усилием, как будто какой-то ужасный смысл заключался в этом слове; я думал, что старуха примет участие во мне, но Арина прыснула со смеху.

-- Чему ты смеешься-то?

-- Да как же тут не смеяться-то?.. Молокосос ты этакий! Влюблен! Да как тебе не стыдно и говорить-то это? И подумать-то? Ну, в кого ты влюблен? да еще и знаешь ли ты, что такое влюбляться-то, бесстыжая твоя голова? Вишь!!-- Тут Арина моя приняла кисло-серьезную мину и сморщилась. "-- Это влюбляться-то учат вас, прости господи! Где ты

этому научился? Вот, право же, скажу маменьке.

-- Не смеешь.

-- Право слово, скажу. С этих лет у тебя такие глупые мысли лезут в голову!

"Э,-- подумал я, затыкая уши,-- дурак же буду я, если стану откровенничать".

Минут через пять в диванной послышался голос моей матери; она что-то приказывала по хозяйству.

-- Пожалуйста, Домна,-- говорила она между прочим,-- вели хоть Ермолаю нынче крыльцо переднее выскоблить: ни на что не похоже! Снегу да грязи -- ступить нельзя! Кто нынче к ранней обедни пошел? Этакой праздник (какой это был праздник -- не помню) до чего довели! Не нашли времени лошадей подковать! Скажи кучеру, как он хочет, чтоб этого не было.

-- Им только бы спать, сударыня! -- отвечала Домна.

-- То-то спать! А что это, никак уж ты встать изволил?-- спросила меня матушка, завидя меня в полурастворенную дверь, и в своем ночном чепце и белой кофте вошла в мою

комнату.

Нянька моя слезла с лежанки.

-- Ну, что ты?-- сказала мне матушка, целуя меня в голову.-- Не стыдно ли тебе без сапог на холодном полу стоять?

Я поцеловал у нее руку, поздоровался и поздравил с праздником.

-- Еще не умывался, а поздравляешь! -- заметила Арина.-- Да что еще! Сказать ли вам, сударыня? Отчего, говорит, по ночам спать не могу -- вы его послушайте-ка!

Я хотел ущипнуть мою бывшую няньку, но покраснел, как рак, и засмеялся притворным смехом. -- Что такое? Отчего это он спать не может?

-- Я, говорит, влюблен, всю ночь, говорит, не спал. Этакой еще, в таких летах, а уж что говорит! Чего от него ждать после этого?

-- Что ты, бредишь? -- спросила меня матушка, посмотрев на меня не без некоторого любопытства, сколько мне помнится.

-- Отчего ж не бредить?-- сказал я, продолжая хохотать,-- я ее морочу. Вы только, мама, не верьте ей. Пусть она верит да от нечего делать наставления мне по утрам прочитывает.

-- Вишь! Обидчик какой! Морочить!-- заговорила няня.-- Какое морочить!

-- Охота вам для этакого дня такие глупости говорить!-- заметила матушка.-- Вели, Арина, самовар поставить: неравно скоро братец от ранней обедни воротится. Он пешком пошел, а никак всю ночь метель была.

-- Такая-то метель была, что и господи!-- сказала нянька.

Матушка вышла.

Арина опять забралась на печку.

-- Фекла, а Фекла!

-- Что-о-о?

-- Барыня велела, самовар чтоб был.

-- Разве я буду самовар ставить? Ты видишь, я дело делаю.

-- А кто ж будет ставить? Не я же, прости господи!

Наши домашние были немножко распущены. Между Феклой и Ариной завязалась маленькая перебранка; но я уж не слыхал ее. В сильнейшей досаде на себя и на свою Арину пробрался я в темную гостиную, забрался там с ногами на диван и сначала долго внутренне сердился и бранил себя, потом опять стал

мечтать и строить воздушные замки.

Недолго сидел я в гостиной, свернувшись калачиком. Из залы отворилась одна половинка дверей, и в овчинном полукафтани, подпоясанный кушаком вошел Михалыч, отложить у болтов затычки; за ним раздался глухой стук постепенно отворявшихся ставень. Смутно-розовое зимнее утро глянуло сквозь морозные в узорах стекла. В гостиной побелело; только по углам да за изразцовой печью с китайскими болванчиками на карнизе все еще как будто шевелились серые остатки ночи. Мне было жаль этой темноты, среди которой как-то приятнее в ушах моих раздавался треск затопленных печей; среди которой, казалось мне, более простора прихотливо увлекательным мечтам моим. Помню, как не хотелось мне покинуть старого дивана. Начался день. Еще бог знает, удастся ли мне увидеть Грунго: я вот слышал, что лошади не подкованы, а мороз чуть ли не тридцать градусов!

Около масленицы, в какое-то воскресенье, воротившись с матушкой от обедни и позавтракав, я попросил Палашку намазать

меня и причесать как можно лучше. Обеими руками принялась она меня помадить, покачивая мою голову во все стороны и, причесав, пустила меня к зеркалу. Оставшись доволен своей физиономией и слыша, что дядя мой чему-то хохочет, стало быть, в хорошем расположении духа, я по коридору направил к нему в кабинет шаги свои.

У него в это время сидел какой-то кум его, большой говорун и весельчак. Шаркнув ногой, я поклонился куму, подошел к дяде и снял с рукава его прильнувшее перышко.

-- Что ты?-- спросил меня дядя.

-- У вас на рукаве было перышко,-- сказал я и, собравшись с духом, вдруг спросил его: -- Позвольте мне выехать! Мне на одну минуту нужно быть у Хохлова.

-- Куда хочешь поезжай, душа моя,-- сказал дядя. Я обрадовался и побежал.

-- Вели заложить мои пошевни! Именно мои пошевни!-- закричал он мне вслед и сам пришел в движение, встал, пошел к передней, отворил дверь и сказал:-- Пошевни заложить парой!

-- Куда ты?-- спросила меня матушка,

встречая меня в коридоре с фуражкой в руке.-- Смотри, первый час, мы в два с половиной обедаем -- не опоздай.

-- Не опоздаю.

-- Именно мои пошевни!-- повторил дядя мой, подмигнув с таким выражением, как будто его пошевни в миллион раз лучше всяких городских саней. Потом, махнув рукой, направил шаги свои к заветному шкафчику.

Был славный морозный день; руки мои зябли без теплых перчаток, но лицо горело. Мне было и жутко и весело; я все думал: что, если Груни дома нет? В соборе только что кончился молебен, и народ шел кучами через площадь; яркая белизна снега резала глаза мои. Ничего не замечая, я глазел по сторонам, мне казалось, все-то на меня смотрят, все-то видят и знают, куда я еду и что я чувствую.

Пошевни остановились у кривостолбых ворот Хохлова; я соскочил и отворил калитку; цепная собака вынырнула из конуры и залаяла было; но, увидав меня, уперла в снег свои передние лапы, опустила морду и потянулась. Это я принял за счастливое для себя предзнаменование.

Вхожу в комнату, где печка топится. Груня сидит перед ней на скамеечке, согнувшись и подперши кулачком свое хорошенькое личико. Отец ее, в бараньем тулупе, нечесаный, лежит на диване, облокотясь на ситцевую подушку. Вася ходит по комнате и, топая ногами, греется; у него в комнате за перегородкой дует с полу, и ноги у него озябли.

-- Вася!-- сказал я, поклонившись Груне и в рассеянности позабыв поклониться отцу ее: -- Вася, я к тебе в гости.-- Мне в эту минуту хотелось поцеловать его, но я удержался. Я замечал, что мои нежности нисколько его не трогали, потому и старался подражать ему в некоторой суровости. Груня глядела на меня во все глаза, как и всякая бы другая стала глядеть на припомаженного и довольного собою мальчика; но глаза ее, беспрестанно мелькая передо мной, как искорки, мешали мне говорить, и я старался не глядеть на девушку; путался, краснел, читал давно известные мне надписи под картинками и, не зная, что еще говорить,-- тал звать Васю прокатиться со мной в моих поевнях.

-- Ну, что ж? Поедем! -- сказал Вася.

-- Вы бы и меня прокатили!-- сказала Груня и улыбнулась; потом половину лица своего закрыла бумажным платком, который покрывал ее темно-русую косу, и стала поглядывать на меня одним только веселеньким глазком своим. Вася приостановился, подумал, слегка потупившись, посмотрел и сказал;

-- А что? коли усядемся, и ее возьмем.

Еще не веря ушам своим, я оглянулся на отца семейства. Он лежал в том же положении и глядел на меня своими красными глазами, с чувством неизъяснимой благодарности.

-- Что ты, Вася, помилуй,-- сказал я, обрадованный.-- Как не быть места! Как не быть! Сани широкие, вчетвером усядемся.

Взгляд отца семейства совершенно преобразил меня: мне вдруг стало так ловко, так весело... в меня вдруг проникло гордое сознание, что целому семейству я имею возможность доставить удовольствие, и моя робость совершенно исчезла. Стал я сам суетиться и во все соваться. Груня надевала на себя шубку на заячьем меху, голову закутала в другой платок, большой, черный, с бахромой, и все

это делалось так проворно, проворно...

Кучеру приказал я въехать на двор, обернуть пошевни и остановиться у крыльца. Я обещал ему гривенник на водку и велел ехать, куда хочет, только бы подальше от нашего дома.

Ермолай кивнул головой в знак согласия. Вышед Вася в ватной фуражке и в теплой шинели. Мы сели, Груню усадили между нами; нечесаный человек в тулупе смотрел на нас в окошко. Ермолай тронул вожжами, и лошади двинулись. Вдруг откуда ни возьмись у самых ворот является человек, одетый не то лакеем, не то барином, в картузе и в бекеше, видный собой, но худощавый, голубые глаза, красивый нос, небольшие усики.

-- Стой! Стой!-- закричал он.-- Куда вы?

Я хотел было отвечать ему, но этот человек испугал меня.

-- Куда это едете?

-- Кататься,-- отвечала ему Груня протяжно, тоненьким голоском,

-- Э, и я с вами,-- решил человек в бекеше.

Я толкнул в спину кучера, но Ермолай, вместо того чтоб погнать лошадей, не понял

меня и остановился.

-- Поезжайте и вы с нами!-- сказала Груня человеку в бекеше. Глазки и губки ее смеялись.

-- Кто такой?-- скажите мне, Груня.

-- Постоялец наш,-- отвечала Груня.

Постоялец вскочил на облучок, уселся около кучера; надвинул картуз, засунул руку в карман бекеша, свесил ноги и закричал: "Пошел! Чего дожидаясь?" Пара откормленных коней подхватила и быстро помчала нас: мы поворотили в поле; снег из-под копыт летел во все стороны, рассыпался по капюшону моей шинели, падал на рукава моей соседки и скатывался под ноги.

Никогда, кажется, не видал я Груню такой веселенькой. Я удивлялся, как ей было не холодно: меховая шубка едва прикрывала ей колени; на ногах ее, кроме башмаков, ничего не было; руки были на открытом воздухе и без перчаток. Я, маменькин сынок, ужасно боялся, что она простудится.

Мне хотелось отдать ей свои калоши и предложить ей варежки; но руки ее были горячее моих, когда мне вздумалось было ото-

греть их своими ладонями.

Полею объехали мы Солдатскую слободу и мимо тюремного замка поворотили к заставе. Постоялец пересел, то есть обернулся к нам лицом и без всякой церемонии ноги мои поместил между колен своих, облеченных в серые из толстого сукна панталоны со штрипками. Он был также, судя по глазам, довольно весел; я даже подозревал: не пьян ли он. Сам не знаю, почему сначала я был внутренне стеснен его присутствием. "Не он ли,-- думал я,-- тот самый, который снабжает Груню книжками? Почем знать, однако ж, быть может, он человек хороший, быть может, даже какой-нибудь ученый человек".

В его пользу уж и то говорило, что Груня сама его пригласила с нами кататься. Мне только не нравилось, что она беспрестанно глядит на него и улыбается, а он сидит да рассказывает; и уж чего-то он тут нам не рассказывал! Завидим ли какой-нибудь домишко, с покривленным балконом, постоялец знает, кто в этом домишке живет, какая барыня и какие у нее причуды; как она своих индюшек опоила водкой и заставила их сидеть на гуси-

ных яйцах; проезжаем другой дом, постоялец рассказывает, какой тут живет купец, и какая у него была дочь, с рыжими волосами, и как он ее выдал замуж за рыжего приказного.

Все эти рассказы, которых я решительно уж не помню, были для меня и новы и смешны, а постоялец врал, ни разу даже и не улыбувшись.

-- Ну-ка, базаром-то качни, любезный! -- заговорил он кучеру.

Кучер не отвечал ни слова; лошади были в пене и дымились.

-- Как его зовут у вас?

-- Кого?

-- А кучера-то вашего, а?

-- Ермолаем.

-- А ну-ка, Ермоша, свистни-ка, любезный! -- сказал неугомонный постоялец и сделал, повернувшись к кучеру, такую мину, что я захохотал.

Вася был серьезен по обыкновению и первый заметил, что лошади устали. Губки и глазки сестры его улыбались по-прежнему. Накатавшись вдоволь, я завез их домой и не стерпел, чтоб не зайти к ним на минуту. По-

стоялец также вошел и предложил мне забежать к нему и затянуться трубочкой.

-- Я недалеко живу,-- сказал он,-- вот мое жильё: налево-то конура собачья, а направо-то моя конура; только окошки в сад, а на двор одна только лестница.

-- В другое время я зайду к вам,-- сказал я снисходительно.

Постоялец посмотрел на меня, покрутил свои усики и отвечал:

-- Ну, хорошо, в другое время!

Вася принялся опять ходить по комнате, притоптывая ногами. Отец его, в своем тулупе, стоял около стола и резал большим ножом ломти ржаного хлеба. В комнате пахло теплыми щами. Рябая работница с тоскливым нетерпением выглядывала из-за дверей перегородки. Груня, сняв платок, сняла башмаки свои, поставила их сушить у заслонки и села на скамеечку, в ожидании обеда. Я простилая, с Васей, бросил последний прощальный взгляд на Груню и вышел. Надевая шинель, я слышал, как Вася сказал постояльцу;

-- Остайся, куда ты?

Остаться у Хохловых я бы не мог ни в ка-

ком случае: я должен был ехать домой; но мне стало больно, зачем Вася не меня попросил остаться, а постояльца, как будто постоялец друг его, а я не друг. Я был еще слишком не развит и не понял самой простой причины. Бедный Вася смотрел на меня, как на богача, потому что у нас были лошади и сани; а в своем постояльце видел такого же, на черном хлебе и кислых щах выращенного, плебея. Я этого решительно не понял, и, когда ехал домой, голова моя была полна грустных размышлений. Постояльца я готов был ненавидеть; Груне я собирался признаться в любви; Васю хотел упрекнуть в холодности.

Было уже с лишком три часа, когда я воротился домой. Вижу, в передней, на ларе Фекла моет и перетирает тарелки. Тут только я вспомнил, что обещал не опоздать к обеду, и не без робости вошел в залу, где еще стукали ложками.

За столом сидели матушка, дядя и еще какая-то гостья, старушка, в высоком старомодном чепчике с лиловыми бантами.

Матушка, едва я вошел, с упреком покачала головой; дядя оглядел меня мутными

глазами: давно уж, несмотря на мое отсутствие, весь обед он бранил меня и ворчал на матушку, как будто она была виновата, что я опоздал к обеду. Надо вам сказать, что дядя с нетерпением ожидал меня, потому что еще в начале второго часа дал слово куму отправить его домой к жене и детям не иначе как на своих же пошевнях. Нетерпение дяди перешло в досаду, а досада в сильный гнев, который и разразился надо мной, как гром небесный, только что он увидал меня.

-- Именно, именно, негодяй! Именно, никуда пускать нельзя! Не давай ему обедать, не давай ему! Не смей! -- сказал он Михалычу, который ставил передо мной прибор.

Я сидел молча, опустя голову, краснел и чувствовал, что дело плохо.

-- Где ты был? -- спросил меня дядя, весь красный, уставив на меня глаза свои.

Он был в таком состоянии, что нелегко было от него отделаться. Я молчал.

-- Где ты был?-- Я тебя спрашиваю.

Я сказал.

-- Врешь!

-- Спросите кучера.

-- Врешь... спро-ошу кучера! Только ты именно, именно, негодяй!

Старуха гостя, как на негодяя, устремила на меня глаза свои.

Матушка поспешила встать из-за стола и сказала!

-- Братец, вставать пора!

Я также поспешил, из приличия, утерев салфеткой голодный рот свой, отодвинуть стул и за- спиной дяди тихонько пробрался в комнату к моей матери; я не знал, где мне сесть, где стать, куда идти.

-- Очень рада, что бранят тебя,-- сказала матушка, притворяясь сердитой,--очень рада! Не я ли тебе говорила, чтоб ты не опоздал... Ну вот, теперь без обеда... кто виноват?

-- Что за беда, что я без обеда, лишь бы вы не сердились. Был у меня голод, да, право, и тот совсем прошел, есть совсем не хочется.

-- Ну, как это можно, чтоб не хотелось есть! -- подхватила Арина, стоя у окна и штопая чулок.-- Как это можно! И-и-их, барин, барин! Пойду-ка я да принесу чего-нибудь, так лучше будет дело-то.

Матушка на это не сказала ни слова, из

чего я заключил, что действительно закусить чего-нибудь не мешало бы.

Вдруг слышу, по коридору поспешными шагами идет дядя мой; ходить так проворно не было у него в обычае; сердце мое забилося тревожным предчувствием. Дверь отворилась, споткнувшись на пороге и весь запыхавшийся, вошел он в комнату, крича:

-- Где он?

Увидал меня, схватил меня за ухо, и ну его драть.

-- Вот... вот... вот... вот, вот тебе, вот тебе, вот!

Зазвенело в ушах моих. Я вскрикнул, залился слезами, кровь прилила мне к лицу, рыдания захватили горло.

-- За что вы его?-- спросила матушка.

-- Негодяй! Именно... вы, сестра... именно ничего не знаете... Его надо в руки взять: отпрашивается в гости и возит каких-то девчат гулять с собой. Именно, именно сейчас мне кучер сказывал. Вот, сами посмотрите, как лошадей изморил... Сами вон взгляните, именно.

И он подвел мать мою к окошку и указал

ей, как по двору кучер лошадей проваживал.

Никогда еще не видал я доброго дяди моего в припадке такого сильного гнева. Наконец высказанное им на мой счет было так низко, так грубо и несправедливо, что я перестал плакать и посмотрел на всех, меня окружающих, как бы спрашивая их, верят ли они словам его? Увы! Мне казалось, что ему все поверили.

Моя нянька разинула рот, начала ахать и уронила клубок с нитками. Матушка стала печальна, гостья посмотрела на меня с негодованием. Я опять заплакал,

-- Каких ты девчат возил? Говори сейчас!
-- крикнул дядя.

-- Не скажу! -- отвечал я резко, -- вы не стойте, не стойте, чтоб я вам отвечал, не стойте!..

С этим словом я рванулся, выбежал в залу, схватил со стола фуражку, надел ее, как сумасшедший, на голову -- и в одном сюртуке очутился за воротами.

Мороз освежил меня и образумил. Были уж сумерки. По тротуару, скрипя по снегу, шагах в десяти от меня, шел наш немецкий учи-

тель. Стало совестно попасться ему в одном сюртуке нараспашку, с заплаканными глазами. Я не знал, что делать: встретиться ли с учителем, или воротиться.

И к счастью и к досаде моей (потому что уже немец-учитель был в четырех шагах), убежали за мной Арина и Михалыч.

-- Куда вы? Куда вы?

-- Подальше от вас, -- отвечал я им под нос раздраженным голосом.

-- Хоть шинель-то наденьте, барин! -- сказал Михалыч.

-- Ах да! Вынеси мне в переднюю шинель.

Я воротился в переднюю и только что переступил порог, нос с носом столкнулся с моим дядюшкой; но или гнев его прошел сам собой, или слова мои его озадачили, или поступок мой испугал его, только с первого же взгляда на него я понял, что припадок гнева его миновал окончательно. Долго покачиваясь и посматривая на меня с каким-то кислым упреком, он стоял и не говорил ни слова.

Я стоял, потупя заплаканные глаза, и дрожал всем телом.

-- Ну, именно, -- говорил дядя тоном дру-

жеского выговора,-- именно, дурак! Что я... тебе... разве... ну, где ухо?.. Кажи! Цело ли ухо?

И дядя мой собирался расхохотаться.

-- Вы не ухо, а меня обидели, -- сказал я, не поднимая глаз, и опять заплакал.

-- Ну, вздор! Ну, где я тебя обидел! Кажи! Где я тебя обидел? Ну, кажи!.. именно, я люблю тебя... именно...

-- Каких девчат я возил катать?.. Разве сестра моего друга девчонка? Разве доставить удовольствие бедному семейству грех? Разве...

И я опять не договорил, залившись слезами и в то же время внутренне торжествуя, потому что чувствовал уже в эту минуту свою победу над доброй душой моего слабого дядюшки.

Тут последовала сцена комически-трогательная. Мой дядя расплакался, охватил мою шею и начал целовать меня.

Сквозь слезы я стал смеяться и, совершенно разнежившись, приложился жаркими губами к той самой руке, которая за минуту чуть-чуть было не оторвала мне ухо.

Михалыч смотрел на эту сцену, посмеи-

ваясь. Арина стала мне опять толковать про обед, но мне было не до обеда: мой аппетит прошел окончательно и возобновился только во время чая, почему я и съел в тот день за вечерним чаем чуть ли не целый хлеб.

Сцена за столом и приключение с ухом нимало, однако ж, не убедили меня в том, что я нисколько еще не похож не только на жениха, но даже далеко не взрослый и что, стало быть, любовь моя не что иное, как одна из тысячи ребяческих химер.

Если б в это время кто-нибудь постарался разочаровать меня,— кто знает?— быть может, я легко бы поддался влиянию дружеской, безобидной насмешки.

Будь я мальчиком большого света, девушка с мещанскими привычками, даже и в этом возрасте, не могла бы мне долго нравиться. Но разочаровать меня было некому. Дома я упорно хранил тайну. Правда, матушка неохотно стала отпускать меня к Хохлову и не раз начинала, заставляя меня за книгами:

-- Ну, вот, это полезнее, чем...

И не договаривала, или:

-- Лучше бы ты урок учил, чем бог знает

какими пустяками набивать себе голову: еще рано.

Что такое рано, -- я ее не спрашивал и как ни в чем не бывало молчал по-прежнему.

Но в годы нашего отрочества, в первую пору понимания романов и пробуждающихся чувств, есть ли возможность не отыскать себе какого-нибудь наперсника? Потребность высказаться давно меня мучила; она-то и заставила меня так проговориться перед старой няней. Скоро я нашел по себе друга, поверенного самых задушевных тайн моих, и, как увидим, я не обманул себя в выборе.

Я проник, что Саша Красильский, один из моих товарищей, вполне поймет состояние души моей, вполне оценит такое верное, такое пламенное сердце. Это был, извольте видеть, предобренький, премечтательный мальчик, у него были кудреватые волосы, голубые задумчивые глазки и птичий носик. Любил он носить сюртучок с перехватом; даже купил ремень, чтоб перетягивать талию. Память у него была плохая, и вечно приходилось ему сидеть в классе с конца десятым, что отчасти благоприятствовало его артистиче-

ским наклонностям: на последней скамье, за тройным рядом спин, куда как удобно было ему рисовать картинки или из почтовой бумаги вырезать голубков. Бывало, придешь к нему на квартиру, вечно застанешь его в изорванном халатике, с засученными рукавами, с кисточкой в руках и раскрашенными губами от беспрестанного облизывания этой кисточки. Непременно, бывало, он кому-нибудь в альбом рисует или сидит в темном углу с гитарой и с чувством поет тоненьким голоском:

Вот, мчится тройка удалая!

Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался,

Наше знакомство началось довольно оригинально. В классе, во время какого-то урока, он через руки других прислал мне записочку. Записочка заключалась следующи-

ми виршами;

Я без друзей, родных, мне милых,
Так одинок, как сирота;
Без равных чувств ко мне любимых,
В душе живет одна мечта...
Я, как цветок, в глуши забытый,
Без теплоты родных лучей,
Осенним холодом убитый,
Угасну посреди степей.

Мне это показалось так хорошо и так чувствительно, что я... Я принялся было отвечать стихами. И в то самое время, когда учитель истории, проводя рукой по лысине и как будто поправляя на голове своей воображаемые волосы, рассказывал нам, как Кир взял Вавилон, я тщетно приискивал в голове своей рифмы и, вместо длинного ответа, успел написать только одну строчку;

Есть у тебя друг, ты не одинок, как сирота...

Так началась наша дружба. Боясь возбу-

дить в Васе Хохлове ревность, я не говорил ему ни слова о том, что нашел себе нового друга... (а Вася, вероятно, и не подумал бы ревновать меня). По дороге в школу частенько стал я забегать к Красильскому, внутренне изумляться его талантам и завидовать, что у него нет ни дяди, ни дядьки, а есть только хозяин да хозяйка, которые живут у него за стеной и которым он платит пятнадцать рублей ассигнациями со столом, с чищением сапогов и с подметаньем комнаты.

Саша Красильский точно так же по вечерам стал навещать меня. У нас в доме все его полюбили. Моя няня Арина, бывало, им не нахвалится. Не прошло недели после нашего знакомства, как уже в одно прекрасное утро я зазвал его в свою комнату, под предлогом показать ему какую-то книгу с гравюрами, и, разлегшись на кровати, признался ему в своей любви к хорошенькой Хохловой, восторженно рассказал ему, как мы познакомились и что это за дивное создание! И что б такое я мог ему тогда рассказывать! Кажется, между мной и Груней решительно ничего не было, а помню, что я что-то такое долго, очень долго

и с жаром рассказывал. Саша пожал мне руку и, в свою очередь, признался мне, что и он страдает, но когда я спросил его: кто она? он улыбнулся и, вместо всякого ответа, засучил себе левый рукав и, живо помню, показал мне на теле вырезанный до крови перочинным ножичком какой-то вензель.

Помню, как я удивлялся, как досадовал на себя, зачем, дескать, и я, дурак, не догадался сделать то же самое.

Итак, мой новый друг, вместо того чтоб вразумить и разочаровать меня, просто пристыдил меня своим вензелем.

-- Люби ее, дружище! Ты счастлив! Ты достоин этого... -- говорил он мне с чувством, потупив голубые задумчивые глаза свои,-- женись на ней и не спрашивай, по ком я тоскую. Когда-нибудь... о да, когда-нибудь я сам тебе все открою...

Можете вообразить, как мне все это приятно было слышать! я был радехонек, что нашел-таки по себе друга и товарища.

"Эх,-- думал я, бывало,-- зачем Хохловы не живут так же близко, как Саша Красильский!" До самой весны мне случалось редко

бывать у них, что, однако ж, нисколько не уменьшило во мне моего к ним нежного расположения; напротив, в свободные часы мне было и не о чем, и не о ком больше мечтать, как только о Груне. Старших по классам уже занимали в это время другие мечты, увлекали другие надежды. Те уже готовились на отъезд в Москву к экзаменам, в университет, быть может, куда так не легко проникнуть и где обитает сама человеческая мудрость, наставница смертных, обложенная фолиантами, на лексиконах восседающая!..

Великий пост приближался к концу: наступила страстная неделя. Помню, как у нас дома делали пасху и какой великолепный кулич накануне праздника принесла нам кума, жена какого-то хлебника. Помню, как Арина, сидя перед печью, красила яйца то в сандале, то в луковой шелухе, от чего деревянной ложкой вынутые яйца из белых делались то красными, то желто-бурыми.

В великую полночь, с первым ударом в колокол, Михалыч пришел разбудить меня; я спросонья посмотрел в темное окно, увидел на колокольне площадки и засуетился. Меня на

дрожках повезли к заутрене.

На другой день я спал часов до десяти. Потом разговелся, напился чаю со сливками и без оглядки побежал к Хохловым. Арине на всякий случай я сказал, что иду поздравить учителя (чтоб не лгать в этом возрасте, поверьте мне, добрые читатели, нужно иметь необычайно умных и осторожных родителей; вспомните то время, когда вы только что впервые почували себя вне надзора: не было ли и с вами чего-нибудь подобного?). Итак, сказав на всякий случай, что я иду поздравить наставников, я чуть было не опрокинул самовар в сенях заветного домика и вошел в комнату, где в углу стоял стол, накрытый скатертью и уставленный тарелками с пасхой, крашеными яйцами и графином водки.

-- Где Вася? -- спросил я работницу, которая сидела на лавке в новом ситцевом с цветными фартуке.

-- А никого дома нету,-- отвечала она, посолив только что облупленное яичко, и встала.

-- А где же они?

Работница взяла с тарелки крашеное

яичко, толстыми руками вытерла себе масляные губы и сказала мне:

-- Христос воскрес! Мы похристосовались.

-- А они у обедни, не приходили, вишь! Должно быть, еще служба не кончилась,-- сказала работница.

-- Где? -- спросил я нетерпеливо, заглянув в окно, выходящее на двор, потому что показалось мне, кто-то идет в комнату.

-- А должно быть, у Кладбищенской,-- отвечала работница и, раскачиваясь, проворно вышла в сени, потому что ей показалось, будто самовар утек.

Я надел фуражку, выбежал за ворота и посмотрел в поле. Праздничный трезвон над могилами отвечал отдаленному гулу соборного колокола. Поздняя обедня только что кончилась. Через поле двигались пестрые кучи народа, выбирая тропинки, просушенные весенним ветром; утреннее солнце светило сквозь белое, тонкое, как флер, облако и само как будто таяло и расплывалось вместе с этим облаком.

Голуби не меньше людей рады были великому празднику и весело кружились над

серыми-серыми кровлями.

Земля местами была суха, местами густая грязь липла к проехавшему колесу и отваливалась скобками. В воздухе было ни тепло, ни холодно. Я пошел навстречу к Хохловым, и почти около самой церкви встретил их.

Отец Васи заходил на могилу жены своей. Встретил я Васю, увидел Груню и сконфузился. Поцеловался я с отцом семейства, который на этот раз был выбрит и причесан. Поцеловался с Васей и отдал ему яйцо, только что полученное мной от работницы. Поцеловался с жильцом, который шел возле Груни, и думал наконец похристосоваться с Груней. От этого-то я и начал с других, чтоб не начинать с нее, предполагая, что буду иметь больше смелости; но, подойдя к Груне, увы! как дурак, я схватил ее за руку и нагнулся. Когда я стал целовать ей руку, она ее отдернула, засмеялась и сказала:

-- Этак-то вы?..

-- А как же? -- хотел я спросить, но, чувствуя, что лицо мое загорелось, не сказал ни слова, поотстал немного и пошел рядом с Васей.

Мне было так странно и так неловко и грустно, что ничего почти на язык не шло. Груня показалась мне такой хорошенькой, что, право, будь у меня в то время ум, я непременно с ума сошел бы: никогда не видел я ее такой нарядной (хотя, признаться сказать, ничего на ней не было особенно нарядного). Шелковый, ярко-малиновый платок, который покрывал ее голову и на затылке, свешиваясь до спины, закрывал ее темно-русые, в две косы заплетенные волосы, был не что иное, как красный фуляровый платок. Правда, не было на ней ни шубки, ни старенькой кацавейки на плечах, и ее холстинковое платье, без сомнения, уж не в первый раз надетое, было стянуто цветной лентой; спереди на этом поясе была стальная пряжка. Жилец был опять в той же неизменной коричневой бекеше; был ли у него под этой бекешей сюртук -- не знаю. Помню только белую манишку и не то новый, не то разглаженный галстух. Он шел возле Груни, не обращая внимания, где грязь, где сухо, и все время вполголоса разговаривал.

-- Вы не забрызгайте мне платье,-- сказала ему Груня, осматривая подол с той сторо-

ны, где шел кавалер ее.

Тут я заметил, что у Груни новые башмаки и что у нее нога гораздо меньше, чем у нашей курносой Пелагеи.

-- А что? Нешто я брызгаю? -- сказал жилец, равнодушно посмотрев на грязные сапоги свои.

Проводив Хохловых до ворот, я, с замирающим сердцем, должен был с ними расстаться, потому что боялся опоздать домой, в особенности к обеду.

Итак, первый день праздника не принес мне той радости, на которую я так давно и так самоуверенно рассчитывал. Все шло не так, как я заранее воображал себе. Думал застать я Груню одну, на крылечке, или подождать ее в сенях у лестницы -- вышло напротив. Думал я ее сконфузить -- вышло напротив, сам сконфузился. Ах! как я бранил себя, поспешая домой, и уж, подобно жильцу, не разбирая, где грязь, где сухо. Не хотелось мне даже зайти к Красильскому, потому что стыдно было сознаться, что я в отчаянии -- не удалось! Жди теперь целый год случая поцеловать ее! Может быть, и не доживешь до следу-

ющей святой недели... умрешь, и она не будет знать, как я люблю ее.

"Этакое несчастье!" -- думал я, вздыхая, и чуть не плакал.

Но судьбе угодно было раньше предполагаемого мною срока, то есть будущей святой недели, в некоторой степени осуществить мечты мои. Слушайте!

Наступил июнь; я похудел, потому что беспрестанно твердил зады, чтобы не срезаться на предстоящем экзамене. Васе помогал я своими книгами. Каждый день, около шести часов вечера, несмотря ни на какие приказания остаться дома, я находил случай улизнуть из дома, уверяя матушку, что дядя мешает мне заниматься и что, если она не станет пускать меня, я на экзаменах провалюсь окончательно и не по своей вине должен буду огорчить ее. Арина и рукой махнула. "Нынче дома нет, завтра дома нет!-- говорила она.-- Стоишь ли ты после этого, чтоб я тебя, дитятку, на ночь поила сливками?" Надо вам сказать, что всякий раз, когда я опаздывал к ужину, я старался не прежде пробраться в свою комнату, как уже уверившись, что дядя по-

ужинал и уже улегся спать; стало быть, нередко возвращался я домой голодный как собака; стакан холодных сливок, подносимый мне Ариной, выпивал я с жадностью и слушал наставления няни, как нельзя лучше олицетворяя собой стих Крылова:

А Васька слушает да ест.

Как ни был я, однако ж, занят, образ Груни беспрестанно мне мерещился. Сидя за книгой над уроком, я вдруг начинал что-нибудь долбить, сто раз повторяя одну и ту же фразу и в то же время решительно о ней не думая. Увы! к светлым мечтам моим уж начинали примешиваться кое-какие тени.

Чем чаще посещал я дом Хохловых, тем подозрительнее становился в глазах моих жилец, несносный жилец, который, как я узнал, был в двух купеческих домах учителем и по-латыни знал не хуже Васи; то казалось мне, что он немножко как будто выпил, а потому, то и дело затягиваясь трубкой, рассказывал так забавно и так равнодушно, какие с ним бывали скверные истории; то казалось

мне, что он волочится за Груней и что Груня недаром иногда за воротами сидит с ним вместе на завалинке, преспокойно доставая из платка его изюм, грецкие орехи, фисташки и прочие сладости. Мучительное чувство ревности начинало уж закрадываться в мое неопытное, ребяческое сердце. Вдобавок я простудился и должен был целые четыре дня пролежать или просидеть у себя в комнате. В эти дни Саша Красильский, как самый преданный мне друг, не покидал меня. Он отчаивался в своих успехах и грустно пророчил, что ему экзамена не выдержать; мучился тем, что это огорчит бедного отца его; говорил: "Как только стукнет мне шестнадцать лет, буду проситься у отца в военную службу, пойду в солдаты". И с свойственной ему мечтательностью уверял меня, что ничего он так не желает, как заслужить мученический венец на поле брани. Кое-как наконец мне стало легче, и в один из воскресных дней, около полудня, в самый жар, надев фуражку, я ушел из дома.

Трепетными шагами вхожу я на двор к Хохловым; на дворе ни души; окошки открыты. Гляжу в окошки -- никого. Вхожу в сени,

смотрю на лестницу, заглядываю в чулан,— и мне становится ясно, что никого дома нет. Груня, думаю себе, вероятно, у себя в светелке; мне хочется войти к ней наверх и спросить ее: дома ли брат ее?.. мне хочется, чтоб она спросила меня: отчего вы так бледны?.. мне хочется сказать ей, как я люблю ее. Прохожу сениями в сад... Оборачиваюсь, поднимаю голову, одной рукой придерживая козырек фуражки, на случай непредвиденного поклона: маленькое окно светелки растворено, беленькая занавеска, ярко освещенная солнцем, отдернулась и колышется под ветром, как будто живая, как будто дышит, как будто милая рука ее тихонько дергает.

Ах, какой был день! как жарко светило солнце, как тихо и сладостно лепетали зеленые листья! как хорошо было в тени цветущей липы! Медом пахло в воздухе, и недаром носились пчелы и порхала белая, желтой пылью посыпанная, бабочка! И в этом бедном садике, посреди этих темных, низеньких, кривых и гнилых заборов, добрая природа так нежно, так хорошо могла улыбнуться мне! Меня любит это золотое солнышко, меня лю-

бит эта мягкая зелень, любит меня все, что ни есть прекрасного у бога на земле и на небе: отчего ж и мне не любить Груни?.. Неужели мне не любить ее оттого только, что она живет в таком бедном домике и только по праздникам пьет чай, и то, быть может, одну только чашку, тогда как я каждый день утром и вечером пью по две чашки с сухарями? Так или почти так думал я, забравшись в кусты малины и оттуда из-за ветвей орешника то осматривая сад, то заглядываясь на окно светелки, то посматривая на небо. В этом саду не было дорожек, были только тропинки, и только около крыльца, да около гряд трава была протоптана. На перекрестке двух тропинок, растянувшись, лежала кошка, нежась на солнце и тихонько шевеля концом пушистого хвоста.

Через грязь, от ставни до забора, была протянута веревка; на ней было развешано белье, разное тряпье и, в том числе, холстинковое платье Груни протягивало книзу невыглаженные рукава свои.

Сколько ни смотрел я в одинокое окно светелки, не видел. Груни. "Нет ее там!" -- по-

думал я и стал любоваться, как дымок вьется над кирпичной трубой кухни, прикрытой сверху дырявым горшком, и как высоко-высоко, словно серебряные звездочки, дрожа и сверкая ровными кругами, летают голуби и как кувыркается падающий с неба турман. Вдруг в сенях послышались шаги, я присел и спрятал голову. Вышла в сад толстая работница, пощупала белье, увидела двух или трех цыплят в горохе и стала выгонять их. "Кш! кш! -- зашумела работница,-- мало вам двора-то, залезут, нелегкая вас возьми! поклевали все! вишь! вот я вас! кш! кш!" И она прогнала их в сени, размахивая на них то руками, то фартуком.

В это самое время, от меня шагах в тридцати, за яблоней, вдруг показалось мне, как будто пронесся раздражительный шепот девушки. Сердце мое вздрогнуло, нервы мои замерли; я стал оглядываться. Окошко, выходящее из флигеля, где обитал жилец, не обратившее ни на минуту моего внимания, как нарочно, первое бросилось в глаза мои. В раме было только четыре стекла; она была поднята и подставлена чубуком. В эту минуту чу-

бук был вынут, и оно захлопнулось. "Груня там!" -- подумал я с ужасом... Бледный, прокрался я кустами, обошел забором, двух шагов не дошел до окна и остановился; от бревчатых стен отраженные лучи солнца сильно припекали мне голову; крапива обожгла мне руку; я ничего не чувствовал. Но не прошло пяти минут, как мне стало и стыдно, и совестно. "Что, если,-- подумал я,-- мне показалось; что, если вдруг она выглянет сверху и вдруг увидит, как я собираюсь подслушивать!" Не зная, что делать и как скрыть мое намерение от посторонних глаз, если б, например, кому-нибудь хоть через забор вздумалось увидеть меня в этом положении, я оборотился лицом к стене и, потупившись, стал бессмысленно колупать и дергать паклю, которой были законопачены щели между бревнами.

Но между флигелем и углом дома, где обитал мой Вася, в сад была калитка. Она была от меня не более как в трех аршинах, и этой-то калитке суждено было окончательно убедить меня, что я не ошибся, то есть, что Груня к жильцу не равнодушна и, стало быть,

меня любить не может. Ясно услышал я шорох платья и тихий, полный легкой досады полушёпот Груни: "Пусти меня! Зачем ты вышел".

Мое детское сердце мучительно вздрогнуло. Стукнула щеколда; за калиткой раздался поцелуй. Я бросился в кусты, споткнулся, чуть не упал и исчез в зелени.

Вижу, калитка отворилась, фигура жильца мелькнула на дворе в тени от крыш и стен, потому что солнце стояло с этой стороны и уже осветило румяное личико Груни; я видел, как медленно перенесла она ноги через высокий порог и, согнувшись, как усталая, присела на пороге; потом посидела на нем минуты две, как бы отдыхая и оглядываясь в обе стороны; наконец встала и пошла в сад. Я пошел к ней навстречу, в тени душистой липы, около забора, мы с ней встретились.

-- Что вы тут поделяваете? -- весело спросила меня девушка, посмотривая вверх, туда, где, меж темных листьев, играло и скользило солнышко.

-- Ах, Груня! Я слышал... видел... вы целуетесь... не грех ли вам? -- проговорил я, как

смерть бледный, прерывающимся голосом.

Судорожное движение едва заметно скользнуло по губам ее. Темно-серые глаза ее расширились и посмотрели на меня бойко и пристально. Я хотел еще что-то сказать ей и собирался с силами, как вдруг она засмеялась, подошла ко мне, обняла меня и сказала:

-- Что за беда? Пожалуй, я и вас поцелую...

У меня потемнело в глазах, и, прежде чем я мигнуть успел, поцелуй девушки загорелся на губах моих. Это было так неожиданно, я был так взволнован, до такой степени непонятное горькое чувство болезненно овладело всем существом моим, что я вдруг заплакал. Слезы в три ручья хлынули из глаз моих. Груня опустила руки и с неописанным изумлением раскрыла ротик. Я горько плакал; моя фуражка слезла на затылок; плечи вздрагивали. Не знаю, на что я был похож в это время.

Я не мог сдвинуться с места, стоял как вкопанный, и глухие рыдания надрывали грудь мою.

-- О чем вы? Что с вами?-- с беспокойством проговорила Груня.

Добрый голос этой девушки успокоитель-

но отозвался в душе моей; сквозь град горячих слез я видел, как стояла она скрестив пальцы и какую жалость в эту минуту изображало бледно-смуглое, встревоженное лицо ее.

-- Что с вами?

Я не отвечал ни слова.

-- Простите меня. Чем я вас обидела, голубчик мой? -- проговорила она полушепотом, как бы готовая снова начать еще жарче, еще сильнее целовать меня.

-- Ничем, ничем, оставьте меня!-- едва проговорил я, щупая карманы и нигде не находя платка.

-- Возьмите мой платок,-- сказала Груня и отдала мне платок свой.

Я машинально, сам не зная, что мне делать, взял платок ее и стал прижимать его к глазам своим...

Воробьи весело в это время чирикали по кустам; солнце змейками и кружками весело играло на притоптанной траве; мне одному было тяжело, невесело; но, утерев глаза, я заметно успокоился; только лицо мое горело красными пятнами; мне совестно было глаза

поднять, стыдно стало слез своих, стыдно, что я обнаружил перед этой девушкой все свое ребячество. "Ах!-- думал я,-- что она теперь обо мне подумает!" Я продолжал утирать глаза платком ее, и одна только утешительная мысль мелькнула в голове моей, это мысль -- что наконец-то она поняла меня, поняла, как я любил ее и как мне горько.

-- Что с вами сделалось, право?..-- сказала Груня, шевельнув своими собольими бровками.

"Ты любишь другого: зачем же ты меня целуешь как куклу или как бессмысленного пятилетнего ребенка?" -- подумал я -- и слезы опять стали зудеть и наворачиваться в глазах моих.

-- Бог с вами!-- сказала Груня,-- я ведь не знала, что вы гордый и неприступный, что с вами даже и пошутить нельзя; что такими пустяками я могу обидеть вас...-- Пожалуйста, не взывайте!..--добавила она с явным упреком и таким досадным голосом, что глаза мои в одну минуту высохли.

Не помню, что я хотел отвечать; но она не дождалась ответа, повернулась и пошла от

меня, общипывая по деревьям листочки. Через несколько минут она уже была в сених, и я слышал, как она сказала работнице: "Анна! посмотри, не пора ли белье снимать!"

О, мои детские чувства! мои первые помыслы! что вы такое, как не первые, молодые побеги семян познания добра и зла?

1855

Дом в деревне

На шестнадцатом году моей жизни я был едва ли умнее, чем в четырнадцать лет. Воображение мое, рано развитое на счет других способностей, также играло главную роль, хотя ум и находил для себя пищу, более приличную моим летам и званию школьника. Я, например, собирал гербарий; у меня был чайный китайский ящик, весь наполненный разными минералами; по целым часам иногда, размышляя, смотрел я на иголку, подвешенную к маленькому магниту, который купил я за двугривенный у товарища,

жившего на хлебах у некоего Плимбуса, учителя натуральной истории. Вообще имел я страсть делать разные маленькие опыты, замышляя быть, со временем, великим естествоиспытателем. Раз заказал я себе какую-то доску, навертел в нее винтов, разделил ее на какие-то градусы, приделал колесо, вырезанное из картона,-- для чего и зачем я ломал себе над этим голову, решительно не могу ни понять, ни даже вспомнить... кажется, хотелось мне изобрести какую-то машину, и я недаром спрашивал у моих знакомых, нет ли у них книги под названием "Механика"? Помню, что я написал начало какой-то повести, в восточном вкусе и слогом Марлинского, от которого в то время я с ума сходил; иногда, в глубине души своей, я льстил себя надеждою написать, со временем, нечто вроде кавказских очерков, для чего, я полагал, стоит мне только отправиться в Финляндию, или на Урал, или куда-нибудь, где есть горы... Иногда вдруг, ни с того, ни с сего, воображалось мне, что в тридцать лет я буду или полководцем, вроде Сципиона, или оратором, вроде Перикла; или таким удивительным фокусником,

что удивлю мир чудесами своего) собственно-го изобретения...

Учился я ни хорошо, ни плохо, то есть то вдруг хорошо, то вдруг плохо... то перескачу на пять, то опять съеду на единицу. Шестнадцатый год был для меня как-то особенно счастлив в отношении к экзаменам.

Бывало, в июне, только что старый, добрый дядя мой, Селиверст Семенович, слышит звонок губернаторской школы или шум шагов торопливыми кучками по домам расходящихся школьников, как уже и появляется на нижней ступеньке переднего крыльца, простоволосый, в летнем сюртуке нараспашку, стоит, трубку сосет, покачивается и ждет; только, бывало, успеешь нос показать в воротах, как уже он и кричит:

-- Ну-у! что-о, брат? сколько?.. а!?

-- Пять,-- отвечаю я ему, протянув руку кверху и растопыривая все пять пальцев.

-- Э! не врешь ли ты? А? двойку, чай, по-лучил, а го-о-во-оришь... Ну, именно, врешь!

-- Право же, пять...

Тут дядя взглядывал на меня своими мутными глазами, с выражением смешанного

торжества и недоверия, потом брал меня за руку и тащил.

-- Ну, пойдем, пойдем сейчас к матери.

-- Сестрица, а сестрица! поздравьте-с: пять! -- провозглашает он на целый дом, через две комнаты, в третьей, завидя край платья или чепец моей матери, вечно спокойной и ничем вслух не восхищавшейся.-- Поздравьте-с, пять по-о-лучил,-- повторял дядя, понижая голос.

-- Ну, хорошо,-- говорила матушка, не покидая работы и только искоса взглянув мне в лицо, сконфуженное таким громогласным поздравлением.

Наглядевшись на меня с торжеством, какого, вероятно, я не стоил и десятой доли, дядя трепал меня по плечу и, со слезами на глазах, отправлялся в коридор, где стоял заветный шкапчик, наливал себе рюмочку водки, зажмуривался и пил.

Летние жары имели странное влияние на моего дядюшку: стоило ему утром выпить две-три рюмки, чтоб уже к одиннадцати часам быть по-вчерашнему, на третьем взводе.

Однажды -- это было незадолго перед Пет-

ровым днем -- мы все трое сидели в зале за ужином. Матушка посматривала на своего братца; дядюшка дремал, ел, пил, опять дремал и бормотал какие-то несвязные речи; Михалыч, как тень, торчал за стулом моей матери, с тарелкой в руке, и задумчиво упирал тупые глаза свои в неподвижное пламя нагоревшей свечки. Я молчал и глядел в открытые окна; по улице, несмотря на поздний вечер, проходили группы гуляющих и заглядывали к нам в окошки; я узнавал отрывочные звуки знакомых голосов. "Эх, самое лучшее время гулять,-- думал я,-- так и тянет". Я ждал, скоро ли подадут пирожное. Вдруг дверь из передней отворилась, вошел лакей и, вместо пирожного, подал письмо моему дядюшке.

-- От кого? -- спросил тот, тяжело приподнимая веки и слегка покачнувшись.

-- Почтальон принес.

-- Ка-а-кой почтальон? -- спросил дядя, опять закрывая глаза.

-- Почтальон-с с почты.

-- А... давай его сюда... что тут? -- заговорил мой дядя, как бы оживая, и, взяв письмо, стал его распечатывать.

-- Что это за повадка носить письма ночью,-- заметила матушка,-- скажи, пожалуйста, почтальону, что письма разносят днем, а не тогда, когда спать ложатся.

-- Э! -- отозвался дядя с гримасой, как бы недовольный замечанием моей матушки, и придвинул свечку. Михалыч протянул щипцы и сощипнул нагар.

Дядя стал глядеть на строки, которые, как видно, плясали у него в глазах и не давались.

-- Именно, именно, скверная рука,-- заговорил он, двинув локтем так, что вилка упала на пол.

-- От кого это? -- спросила матушка.

-- Тьфу! я и читать не стану... че...ерт его знает, что он тут нава-а-раксал...

Дядя смял письмо в руке с сердцем, встал из-за стола и пошел в кабинет свой.

-- Михалыч! -- сказала матушка,-- спроси у Арины грош, отдать почтальону...

Ну, думал я, прочтет он это письмо после дождичка в четверг, и чуть не фыркнул: так смешна казалась мне вся эта сцена с письмом. Я и не догадывался, что это несчастное, измятое письмо послужит для меня началом

НОВЫХ знакомств, НОВЫХ отношений, НОВЫХ уроков в жизни и, стало быть, нового рассказа.

На другой день несчастное письмо было найдено дядей в постели вместе с носками. Он уже собирался было раскурить им трубку, но от нечего делать заглянул в него и прочел. Почерк руки, который с вечера оказался неудобным для прочтения, утром нисколько не затруднил моего дядюшку. Это было письмо от его двоюродного брата Хрустина, с которым он когда-то служил в одном полку. С ним в последнее время он видался редко -- раз в год, не больше, и всякий раз, встретив его на пороге своего кабинета, в каком бы ни был расположении духа, бросался к нему на шею, лобызал, рассказывал ему старые анекдоты, под наитием воспоминаний, вдруг на него нахлынувших, и потом, по его отъезде, забывал о нем так, как будто бы и не было на свете никакого Хрустина.

Вообще, когда проездом через город наш какой-нибудь старый капитан в отставке или помещик, прежний сослуживец или приятель моего дядюшки, лет через десять или

двадцать после разлуки, заезжал к нему, дядя мой сначала не узнавал гостя и, ухватив его за оба плеча, долго всматривался: потом, как бы под влиянием возвратных впечатлений, радуясь, как ребенок, говорил: "Ты, душа моя!.. какими судьбами?" -- и, вероятно, в этот день, пока гость сидел у него в кабинете, на канаве, лишних раз пять или шесть подходил к соблазнительному шкапчику.

Но только что гость, озадаченный таким приемом и даже, быть может, в душе вдоволь насмеявшийся над своим старым другом, некогда умным и скромным, как красная девушка, уезжал, мой дядя опять принимался ходить из комнаты в комнату, махал трубкой, и тогда бог его ведает, чем был занят ум его.

Я бы смело мог сказать, что его прошедшее, все, что было им в жизни пережито, пережито и передумано, навсегда погибло для души его и уже не пробуждало в нем ничего, кроме минутных вспышек радости при виде старых друзей, если бы грусть, которая так заметно тяжело ложилась на все черты лица его по утрам, в минуты непродолжительной трезвости, не была для меня тайной,

тайной для всех, кроме бога.

Тих, грустен, желт и еще в халате был мой дядя, когда на другой день рано утром я вошел к нему поздороваться.

-- Пишет ко мне,-- сказал он, сидя в креслах и потирая одной рукой себе поясницу,-- пишет Хрустин -- кого бы ему рекомендовать... просит прислать ему учителя -- мальчика учить.

-- Не знаю-с, кого бы...-- отвечал я.

-- Кто там у вас это может?..

-- Не знаю-с. А чему учить?

-- Прочти письмо, где бишь я дел его... упало на пол, подними,

Я поднял письмо, и глаза мои прямо упали на следующие строки.

"...Грамматики и арифметики. Кого-нибудь из учеников не слишком дорогого, пятнадцать рублей ассигнациями в месяц я дам, к ярмарке пришлю подводу за ним, кстати, кучер поедет за покупками. Отпусти уж по дружбе и своего племянника погулять на вакации, чем премного меня обяжешь".

Только что я прочел; "отпусти племянника", как вдруг осенила меня счастливая

мысль, и я сказал, что лучше Хохлова Васи нет и не может быть учителя,

-- Я к нему сейчас же пойду и сейчас же уговорю его.

-- Да согласится ли он за пятнадцать?

-- Согласится... только вы-то меня пустите погулять на вакации.

Принесли чай, дядя налил себе в чашку рому из маленького граненого графинчика и, нагибаясь, стал прихлебывать; я также взял чашку и сел на табурет.

Табачный дым голубыми струями вился около редяющих волос моего дяди и тянулся в окно, на двор, озаренный ярким солнцем. На дворе крякала утка и скрипело колодезное колесо. У меня в голове также завертелось какое-то колесо: мысль воспользоваться случаем уехать в деревню начала сильно меня подмывать и подзадоривать. Я опять взял письмо и прочел вслух:

-- "Отпусти уж и племянника погулять на вакации".

-- А на чем ты поедешь? -- спросил дядя.

- А на чем поедет учитель?

-- Учитель я не знаю, на чем поедет.

-- На чем он, на том и я.

-- А ты разве хочешь ехать?

-- Да-с, я... я бы желал-с,-- отвечал я, -- Ну, как хочет мать, это ее дело.

В то же утро я отправился к Хохлову.

"Непременно, во что бы то ни стало поеду, воспользуюсь..." -- говорил я сам с собой, проворно передвигая ноги и воображая себе рощи, хороводы, беготню в горелки и прочие деревенские увеселения на открытом воздухе.

К Хохловым, как кажется, я попал не вовремя. Вася был не в духе; он был мрачен, сердит и, очевидно, с кем-то бранился. Он посмотрел на меня как зверь; глаза его напомнили мне в эту минуту красные белки его почтенного родителя. Родитель был тут же в комнате, но, увидев меня, запахнул халат и ушел за перегородку. Постоялец сидел на лавке, протянув ноги, спиной прислонясь к стене и заложив руки в карманы суконных панталон; он также посмотрел на меня и опустил на грудь голову, нисколько, однако ж, не изменив в лице совершенно равнодушного выражения.

-- Вася,-- сказал я, смущенный всеобщим молчанием,-- что ты? или не узнаешь меня?

-- Что тебе?

-- Я к тебе по делу, пойдем, мне надобно поговорить с тобой по секрету.

Мы вышли в сад, и я сообщил ему предложение моего двоюродного дядюшки.

Вася понурил голову.

-- Что тут думать!-- сказал я,-- решайся.

-- Решусь-то решусь,-- сказал он, глядя куда-то в сторону.

Никогда не видал я его таким рассеянным.

-- Отчего ты нынче не в духе?

-- Отчего? -- перебил он и опять задумался.

-- Что ж мне сказать моему дяде? Он хочет ответ писать.

-- Ну, вот он и подождет ответ-то писать, эх приспичило!

-- Да что ты сердишься-то, я для тебя же...

-- Да что ты торопишь? дай сообразить. Пятнадцать в месяц, а?

-- Ну, да...

-- Ну.....

-- Что ну?

-- Ну, а когда ехать-то?

-- Да вот, на днях прийдет... на днях.

Недалеко до ярмарки-то... кучера, пишет, при-
шлю.

-- Ладно.

-- Итак, ты, дружище, согласен, а? Ты сам
посуди, что мы с тобой здесь будем делать!
все-таки лучше...

-- Ладно, ладно!-- повторил он, два раза
тряхнув стриженной под гребенку, большой
головой.

-- Ну... так едем... решено, значит... теперь
прощай, ты не в духе-

-- Прощай покуда,-- сказал он, пожав мне
руку, и как-то теплее взглянул на меня, веро-
ятно, вместо благодарности.

На обратном пути, в сенях, я встретил
Груню. Она поднималась на лестницу своей
светелки. Один башмак ее, надетый на босую
ногу, свалился, и она, обернувшись, наклони-
лась, чтоб поднять его.

Сердце мое дрогнуло, как будто кто-ни-
будь слегка ущипнул его; я не мог не заме-
тить, что лицо ее было заплакано.

-- Здоровы ли вы? -- спросил я Груню, Она не отвечала и ушла наверх.

"Что это с ними? Уж не этот ли черт, проклятый жилец, насолил им? Плачет! ага, пришла, небось, и ей очередь поплакать",-- зло подумал я, выходя на улицу.

Понимал ли я тогда, что горькие слезы семнадцатилетней девушки не похожи на глупые слезы четырнадцатилетнего мальчика!

* * *

В деревню! ехать в деревню! во что бы то ни стало -- ехать!

Вот что стало день и ночь занимать мою молодую взбалмошную голову; как говорится, загорелось ехать, да и полно. Сначала я полагал, что в дяде моем я найду главное препятствие; вышло напротив: дядя по какому-то чуду не вмешивался. Матушка же сначала и слышать не хотела; ее даже удивила моя просьба: до такой степени она показалась ей ни на чем не основанной, ни с чем не сообразной. Няня Арина также впутывалась в раз-

говор и, разумеется, была на стороне моей матери. Глупый Михалыч также бесил меня...

-- Оставайтесь-ка, барин, лучше дома,-- говорил он.

-- А что мне делать дома?

-- А там-то што? на охоту-то мы, пожалуй, и здесь пойдем -- уток-то, што ли, нет? Эва! пороуху-то мы и здесь достанем...

-- Достанем, достанем,-- отвечал я,-- много ты достанешь!

-- Неужели ты думаешь,-- говорила мне мать,-- что тебе там обрадуются? Ты только обременишь, и больше ничего.

-- А отчего же зовут?

-- Мало ли чего!.. Кто зовет? Хрустин зовет -- там не он главный... Аграфена Степановна... ты еще ее не знаешь, какая она...

-- Какая? ведь она меня не съест; ну, скажите, съест ли она меня?

-- Ну, полно, полно... вздор!

Обыкновенно после таких неприятных разговоров я уходил в сад объедаться черной смородиной или, лежа где-нибудь в куртине, носом к небу, думать, скоро ли я вырасту, уеду в Москву, буду студентом и буду ездить,

куда моей душе угодно.

Никогда еще, кажется, я так не капризничал как в это время. То я считал себя вправе никого не слушаться, то прикидывался ягненком, стараясь всячески угодить моей матери. Спустя неделю после получения письма как-то вечером отправился я к Красильскому -- мне сказали, что он утром забегал ко мне. Утром я был дома, но меня не нашли, я был в саду и, забравшись в непроницаемую чащу калинника, читал Лажечникова "Ледяной дом", роман, только что вышедший из печати... и не слышал, как меня кликали.

Я был вполне убежден, что застаю Красильского дома. Мне хотелось передать ему что-то такое задушевное, что-то такое, чего я теперь, при всей моей опытности, и объяснить не в состоянии. Увы... удар! говорят, Красильского нет.

-- Как нет?

-- Уехал.

-- Куда уехал?

-- К отцу...

-- Так-таки совсем и уехал?

-- Совсем.

Бедняжка не выдержал экзамена и сказал своей хозяйке, что вряд ли он воротится. Перед отъездом подарил он хозяйской дочери картинку своего собственного рисованья и банку помады. Гитару взял с собой, а латинский лексикон, риторику Кошанского и алгебру забыл на окне. Мне же поручил он передать маленькую записочку, в случае, если я зайду к нему.

Эта записочка в продолжение двух месяцев терлась у меня в кармане, и я несколько раз принимался ее перечитывать. Вот она:

"Друг души моей!

Единственный мой друг в мрачной пустыне бытия, называемой жизнью! Вряд ли я успею с тобой проститься и поцеловать тебя в сахарные уста. Внутренний голос говорит мне, что не суждено мне увидеть пышного расцвета твоей юности и, быть может, увяну я где-нибудь в глуши, не испивши сладчайшего нектара... Оставляю тебе на память мой горшок с резедой; береги его, лелей, поливай, ухаживай за ним: он дорог моему сердцу по многим причинам. Я не уступил бы его ни за какие сокровища в мире. Помни это.

Пока ты будешь читать эти строки, дружище мой, бойкая тройка ухарских коней будет мчать меня далеко... далеко...

И колокольчик однозвучный
Навевает на меня любимую мечту,
И горе, спутник неразлучный,
Напомнит деву красоту.

Вот тебе экспромт; прощай, поклонись
твоему дядюшке, твоей матушке, твоей нянюшке,
всем, всем; пиши ко мне в деревню
Тютюкино,*... уезда на имя А. И. К. и не забывай

Сашу Красильского".

Не помню, чтоб когда-нибудь какая-нибудь самая поэтическая страница любой поэмы тронула меня так сильно, как это наивное послание товарища. Я был просто огорчен, я чуть не плакал; пуще всего упрекал себя за то, что уже давно, почти с тех пор, как кончились экзамены, не заходил я к Саше, как будто счел его недостойным своей дружбы после таких несчастных для него экзаменов. Даже

хозяйка, бледная, высокая женщина, повязанная платком по-купчески, стоя на крылечке, была тронута моим отчаянием. С чувством глубочайшей признательности взял я завещанный мне горшок с резедой, надвинул козырек фуражки себе на глаза и пошел из ворот домой, с твердым и злостным намерением на дороге никому не кланяться.

Мрачный, пришел я домой, горшок с резедой поставил у себя в комнате на окне и тут же своим носом в сумерках вынюхал всю пыль, которая была в цветах. Звонкие крики мальчишек, собравшихся у нас на дворе играть, и хохот моего дядюшки вскоре, однако ж, вызвали меня на открытый воздух. Солнце село, и только одно облако с бледно-розовой вершиной стояло над потемневшими кровлями. Все же было не настолько темно, чтобы я не мог заметить тройки чужих лошадей и телеги с охапкой сена, у забора, между кухней и погребом.

-- Это за учителем? -- спросил я дядю.

-- За учителем,-- отвечал он и расхохотался.

Митька полетел на Гараську, не успел пе-

рескочить, сел ему на шею, и оба шлепнулись...

Мне было не до смеху; я пошел домой, прямо в комнату матери... Расположение духа, в котором я находился целый вечер, дало мне полную возможность разжалобить и расстроить ее своими просьбами.

Мать моя была женщина редкой доброты... но в ее любви ко мне была какая-то сдержанность. Никогда она громко меня не хвалила и никогда сразу не соглашалась на мои просьбы... Впрочем, строгость ее ко мне была не строгость, а скорее личина строгости -- я ее, по совести сказать, мало боялся. Придирки дяди, который был весь -- доброта, были для меня во сто раз несноснее, и я гораздо больше боялся их, потому что, бывало, право не знал, куда от них спрятаться: я в гостиную -- и он в гостиную, я в коридор -- и он в коридор, я в сад -- и он.

-- Ну, хорошо, хорошо,-- сказала мне матушка,-- утро вечера мудренее. Арина, вели подать свечу, да опару... надо бы... с вечера...

"Ага... опару,-- подумал я,-- значит, еду",-- и, помолчав немного, я спросил у матери поз-

воление уведомить Хохлова.

Я уж ничего не хотел делать без позволения.

"Вася,— написал я,— лошади за тобой приехали, завтра мы чуть свет выезжаем".

Эту записку я с вечера же послал с Ермолаем-кучером.

Кое-как высидел я ужин, благополучно простился с дядей, молча расцеловал руки у матушки, потом уложил книги, которые давно уже замышлял взять с собой, и наконец улегся.

Долго мне не спалось. В девичьей также не спали. Тонкий запах резеды как будто еще больше способствовал мне уноситься в мир мечтаний. Мысль, что я должен покинуть этот несчастный горшок под надзор Арины или Михалыча, который, вероятно, сдуру, при первом удобном случае, его выкинет, была единственная мысль, которая меня слегка беспокоила; комары также мне надоедали. Вошла Арина. Я притворился спящим. Тихонько подошла она к комоду, выдвинула ящик и стала оттуда выкладывать белье мое... Я очень хорошо понимал, что все это значит,

и торжествовал...

Уткнувшись в подушку носом, я заехал бог знает куда, в какое-то тридешатое царство, и заснул как убитый.

На другой день, едва раскрылись глаза мои, словно молния с громом влетела в мою комнату -- до такой степени испугался я солнечного луча, осветившего столбик моей кровати. "Проспал! -- подумал я и вскочил с постели с быстротой подстреленного зайца.-- Меня не разбудили! Хохлов уехал, конечно!" -- подумал я и, не находя сапогов, босиком отправился на крыльцо посмотреть: уехала ли телега, или еще стоит. Женщина, раздувавшая на заднем крыльце самовар, подумала, что я с ума сошел. Лошади, слава богу, стояли еще на том же месте; но уже было восемь часов, и, стало быть, я все-таки проспал.

Что касается бедного Васи, то он, по моей милости явился к нам на двор чуть ли не с восходом солнца целый час сидел у нас на фундаменте; наконец, видя что и в доме, и в людских, и в конюшне царствует мертвая тишь, что на всем дворе сон повсеместный,

решился войти в переднюю, растолкал Михалыча, спавшего на ларе, оставил у него свой мешок, в котором, кроме белья, тетрадей да свежих огурцов на дорогу, ничего не было, и от нечего делать ушел купаться...

Мы выехали часу в первом пополудни, после сытного завтрака. Почтовая столбовая дорога на десятой версте ушла от нас влево, и мы довольно медленно стали подвигаться вдаль проселками.

Не описываю дороги... и без меня написано много путевых заметок -- да и каких ждать заметок от пятнадцатилетнего мальчика!

Пятьдесят верст мы ехали целый день; часу в десятом вечера, не раньше, под небесами, темными от наплыва дождевых облаков, увидали мы огни, беспрестанно задвигаемые черными массами деревьев, рассеянных где-то не близко, но гораздо ближе, чем хоромы Хрустина.

-- Вон Ока! -- сказал наш сутулый кучер, не поворачивая головы.

-- Где? -- спросил я.

Ответа не было; я устремил взоры свои в потемневшую даль; видел где-то, как будто на

краю низменной долины, огонек, но реки не видал.

Наконец послышался отдаленный лай собак. Мы проехали мельницу, которая, растопырив крылья, темная, в темном поле, стояла одиноко и как будто вслушивалась в шум воды, падающей у плотины возле другой мельницы, не дальше как в полуверсте от нее и, быть может, не дальше как в полуверсте от деревни Хрустина.

Вскоре проехали мы плотину с перекинутым через шлюзы мостиком. Водяная мельница осталась за нами в овраге. Теперь каждый поворот колеса, каждая минута заметно приближала нас к дому, где так добровольно я осудил себя прожить целый месяц, так настойчиво добиваясь этого благополучия. На меня напало нечто вроде робости, чувство, похожее на маленькие душевные спазмы молоденькой неопытной институтки, которую в первый раз везут на бал. Завернувшись в летнюю шинель, я замолк и дико выглядывал из-под козырька моей фуражки. Аграфена Степановна, о которой я что-то такое смутно слышал не совсем доброе, представилась моему

воображению совершенной ведьмой, от которой, быть может, думал я, придется мне в город, к матушке, пешком уйти. Сам Хрустни (которого я видел раза два в кабинете моего дядюшки) также мне представился. Я вспомнил, что это был среднего роста человек, очень скучный и очень толстый, с темным лицом и с двумя черными клочками волос вместо бровей, в широком сюртуке травяного цвета и с толстой цепочкой от часов на широком животе. Сзади голова его казалась тумбой, посаженной в воротник; ходил он медленно, и тогда руки его тяжело висели вниз, как будто они были чугунные. "Скука мне будет в этой трущобе!" -- подумал я и с этой мыслью въехал в широкий, немного покатый двор с каменными воротами.

В темноте, на скрип нашей телеги, подошел какой-то человек без шапки и стал вполголоса разговаривать с нашим кучером; тот вынул ему что-то из-за пазухи, отдал и спросил: к подъезду што ль?

-- Вези их к горенке.

-- К горенке?

-- Вестимо... вчера там для него и постель

поставили...

"Значит,-- подумал я,-- меня не ждали, ждали одного учителя",-- и мне стало неловко, досадно, совестно; но я молчал. Вася также молчал.

-- Для вас, сударь,-- обратился ко мне человек (неизвестно, впрочем, ко мне или к Хохлову),-- Аграфена Степановна комнату велела опростать,-- с приездом имею честь вас поздравить, все ли подобру, по-здорову, сударь?

Кучер поворачивал телегу, которая, как черепаха, Двигалась по двору, а человек без шапки шел с ней Рядом и говорил:

-- У нас только что отслужили, сударь, всенощную -- завтра день рождения нашего барина,-- да и барышня была не так здорова.

"Что это за горенка? -- думал я,-- уж не кладовая ли?" Человек побежал за фонарем и скоро вернулся.

Когда мы вошли в горенку, наш новый слуга, малый лет двадцати пяти с бледным лбом и впалыми щеками, с лихорадочным проворством переставил свечу из фонаря в подсвечник и точно так же проворно перетас-

кал из телеги все наши вещи. Пока они раскладывались да размещались, я как ошпаренный уныло присел на диван и, ни в чем не принимая участия, с любопытством оглядывал нашу горенку: увидав наконец стеклянную дверь, встал и отворил ее. Запах цветов заставил меня жадно вдохнуть свежий воздух; темный сад таинственно шушукал листьями, так что мне показалось, не крапывает ли дождичек.

Барский дом, с высокими чердаками и антресолями, с балконом и четырьмя темнеющими колонками, стал мне в профиль, как только я сделал два или три шага.

Не успел я оглядеться, как за нами пришел посол.

-- Господа,-- сказал он,-- только что сели за ужин, Аграфена Степановна просит вас пожаловать.

Вася посмотрел на меня... я посмотрел на Васю. Мы были в пыли и не причесаны.

-- Что за беда! Пойдем! -- сказал я; даже подумал, что так гораздо лучше, гораздо как-то поэтичнее, если мы войдем в пыли, будем иметь вид путешественников, только что с

дороги... Мне, начитавшемуся переводных романов старой немецкой школы, даже вообразилось, что я странствующий рыцарь и меня приглашают в замок. Каких мыслей не приходит в голову беспечной, благословенной, первой нашей молодости для того, чтобы польстить самолюбию!

Путешественники, то есть я и Вася, пошли по следам нашего путеводителя. И вот, через переднюю, тускло освещенную оплывшим сальным огарком, привел он нас в коридор и отворил дверь налево.

Мы очутились в комнате, где был накрыт стол, горели две свечи в высоких шандалах, стояли лакеи с тарелками и где Хрустин самчетверт сидел за ужином.

В архалуке нараспашку и без галстука, утерев салфеткой рот, тяжело поднялся он со своего места и посмотрел на нас как на гостей, совершенно неожиданных; наконец, еще раз утеревшись салфеткой, сказал, что он рад нас видеть, спросил о здоровье моего дядюшки и отрекомендовал меня какой-то старухе, без сомнения, самой Аграфене Степановне, которая, похлопав глазами, попросила нас

садиться.

Нам подали приборы и придвинули стулья.

Хрустин извинился, что не прислал за нами тарантаса. Старуха извинилась, что, по случаю пятницы, у них постный стол.

Действительно, на столе перед ней было, по выражению одного провинциала, обширное поле горшков. Сама же она была в большом белом чепце и в белом капоте.

Разговор как-то не клеился. Вася сидел красный как рак и на все смотрел исподлобья.

-- Лиза,-- сказала старуха, сделав движение головой, как будто на шее у нее был неловко и туго повязан галстук,-- Лиза, ты никогда прежде не видала наших гостей?

-- Нет-с,-- отвечала ей сидевшая против меня брюнетка, высокая, бледная девушка, с темными волосами, которые в два кольца обогнули ее голову.-- Мне негде было их видеть.

-- Демьян,-- продолжала старуха,-- вели, пожалуйста, Мироновне достать все нужное: простыню, подушки -- постлать на диване в

горенке. Вам все равно, на диване спать или...

-- Все равно-с,-- отвечал я.

-- Так ты, Демьян, все это сейчас же... возьми ключ от сундука у Марьи; Николай, ты, кажется, взял подсвечник? есть ли там свеча? Демьян, этих господ я отдам на твое попечение... ты их нынче возьмешь с рук на руки.

-- С моим-с большим удовольствием,-- мягким басом отвечал ей Демьян, высокий старик слуга в синем сюртуке домашнего сукна, с маленьким лицом, как шапочкой прикрытый волосами, серыми, как лен, и с преблагодушной миной.

Пока я слушал распоряжения старухи, Лиза через стол завела было разговор с Хохловым.

-- Вот это ваш будущий ученик,-- сказала она, положив руку на плечо мальчика лет десяти, сидевшего с ней рядом,-- придется вам с ним помучиться.

Старуха взглянула на него из-под руки, накладывая себе в тарелку каши, и, как только кончила говорить с Демьяном, обратилась к Лизе.

-- Все, моя милая,-- сказала она,-- зависит от учителя, да от умения, да от терпения.

-- У меня ни того, ни другого,-- полушепотом, как бы себе под нос, отвечала девушка и потупилась.

Комната, где мы ужинали, была какая-то кислая на вид и неопрятная. Казалось, она промерзала несколько зим сряду; обои, какого-то неопределенного цвета, отстали от стен и покоробились; мебель была простая, крашеная, старая; на окне стояла клетка с белкой; белка спала, несмотря на стук ножей и вилок. Когда, в промежутках между блюдами и разговором, наступало всеобщее молчание, мне все чудилось, что я слышу в ночной тишине шум падающей воды.

-- Это наш садовник в доску стучит,-- невпопад сказала старуха, заметив, что я во что-то вслушиваюсь.

Мальчик глядел на нас недоумевающими взорами. Он был круглолиц, тупонос, плотен в плечах и, должно быть, глуп; он то глядел на меня, то рассматривал свой палец, завязанный в тряпочку.

-- Вон твой учитель,-- сказала ему стару-

ха, наклоняясь к нему и указав на Васю,-- он добрый, и ты будешь стараться.

Подали подогретые оладьи с медом, и потом, крестясь, все встали.

-- Как тебе нравится моя кухня?-- спросил я Васю, когда мы пришли в свою горенку и, раздевшись с помощью Демьяна, легли -- он на какую-то скрипучую кровать, а я на диван, превращенный в постель с байковым одеялом и подушками.

-- Ничего,-- отвечал он.

-- Ведь недурна?

-- Пожалуй, что и недурна.

-- Вот, влюбись в нее.

-- Что я, дурак, что ли,-- отвечал он, задув свечу.

-- Зачем ты задул?

-- А зачем ей гореть-то?

-- А ну как к нам ночью домовый придет?..

-- Ну, вот, домовый! Экой дитячко! Домовой! И он повернулся, чтоб заснуть.

-- Знаешь, что мне кажется? Эта старуха не любит моей кухни: она ведь, знаешь, от первой жены, а первая-то жена была двою-

родной сестрой моей матери, в старину были коротко знакомы, жили вместе,— начал я говорить в потемках.— А вторую-то жену, говорят, он увез.

-- Кто?

-- Хрустин-то этот, чудовище-то... видел?... сидит и все молчит, увез, говорят, от тетки, а тетка-то, знать, и есть эта самая старуха-то... Видел? стерегла, говорят ее -- старая дева... ни за что замуж не хотела отдавать.

-- А ты почему это знаешь?

-- Мать моя их знает, только ни второй жены, ни Аграфены Степановны никогда не видала. Она, знаешь, боялась меня отпустить-то. Страшно сердита, должно быть, эта Аграфена Степановна.

Так разговаривая, лежал я на своей новой постели... Дождь принялся барабанить по кровле и ровным шумом гудел в саду; перестал и опять принялся. Я задремал, но не мог скоро заснуть, потому что Хохлов стал храпеть -- чего я терпеть не могу,— вероятно, утомленный впечатлениями дня, если только что-нибудь на свете могло утомить этого из дуба и железа сколоченного и нуждой по-

ВИТОГО мальчика.

На другой день, как и следовало ожидать моим читателям, поутру, только что воркованье голубей, писк галчат за угловым карнизом да чиликанье воробьев разбудили меня раньше, чем бы следовало мне проснуться, я побежал осматривать сад, обошел его кругом, нашел его громадным, таинственным и незаметно спустился вниз к калитке... За калиткой, через дорогу, струилась широкая полоса Оки; я видел, как по ту сторону бурлаки тянули барку, видел за баркой противоположный берег, на котором дремучий лес, уходя корнями в желтый песок, казался мне невысоким кустарником, и, быть может, долго бы я стоял, все бы стоял и все бы смотрел, если бы вдруг сначала говор, потом -- шум воды, как бы от передвижения ног, наконец -- всплески и звонкий и щекотливый хохот купающихся неподалеку девушек не потрясли впечатлительных нервов моих, и без того наэлектризованных свежестью зелени и теплотой лучей. Сердце мое так застучало, так забилося, как никогда еще не билось. Я не знал, что мне делать: сойти ли еще пониже по тропинке, ко-

горя вилась по косогору вниз до самой дороги, или убежать, нагнувшись, вдоль плетня, совершенно затканного хмелем, или, наконец, под рябину спрятаться... но некстати проходивший с лейкой садовник заставил меня принять прилично-равнодушный вид, поправить на голове картуз и удалиться.

Я пошел домой, чтобы рассказать Хохлову мои утренние похождения.

Только что появился я в раскрытых настежь дверях нашей горенки, с другого конца появился Демьян.

-- Ну, господа,-- сказал он, почесывая за ухом,-- я, признаться, пришел к вам, того... за сапогами. Ведь вот, извольте видеть, надо бы их почистить.

-- Хорошо, пожалуй; если, впрочем, хочешь, я и башмаки надену, у меня и башмаки есть...

-- Зачем, сударь, башмаки... Вот как бы вакцины, я бы мигом... Погодите маленько, я сбегаю.

Демьян сбежал, то есть ушел и воротился с баночкой ваксы, щетки принес, стащил с нас сапоги и принялся их шаркать, поплевы-

вая то в банку, то на сапоги.

Старик он был разговорчивый, и я с первого же дня подружился с ним.

-- Который же это из вас, господа, учитель-то приехал? Я все смотрю, и вчера это вы сидите рядышком, не разберу никак.

Я указал на Васю.

-- А-а! -- произнес он, поглядывая на Васю.

-- А вы, сударь, погостить приехали?

-- Погостить.

-- Ну, погостите, сударь, погостите! отчего не погостить! Место самое, так сказать, важное,-- ну, и сад большой, и река подошла почитай что вплоть, ну и все-с...

-- Ты, Демьян, скорей нас как-нибудь: нынче такой день, надо поздравить...

-- Еще поздравите-с, успеете, успеете, сударь, поздравить-то... к обедне уехали, к обедне, сударь, к обедне,-- говорил он, продолжая шаркать...-- Шут его знает, что бы это такое значило? Сало, что ль! Не берет, не берет, да и только! -- сказал он, перекосив лицо и поглядывая на сапог Васи...

Я засмеялся; Вася, покраснев, подошел к своему сапогу, взял его в руки, осмотрел его

со всех сторон и, не говоря ни слова, стал его натягивать себе на ногу...

-- Уж я его и так и эдак, отчего бы это, думаю, не берет...-- простодушно повторил Демьян...

Напомадившись и причесавшись, мы пошли в дом. Ни Лизы, ни старухи, ни самого Хрустина, ни даже Андрюши, будущего ученика, не было дома; все они отправились к Николе, версты за четыре, к обедне, в этот день нарочно заказанной. Гостиную подметали; в конце коридора, где-то в задних покоях, мололи кофе. Девушка с остриженной косой убирала из залы станок, в виде маленьких высоких яслей, на которых покоилась подушка с коклюшками. Я подошел к старинным клавикордам, приподнял крышку и постучал пальцем по первой мне под руку попавшейся клавише; но клавиша, глухо стукнув, завязла и не издала никакого звука. Когда в гостиной стали накрывать завтрак, экипаж Хрустиных подъехал к крыльцу, и Демьян, только что поставивший какого-то черномазого парня, вероятно доморощенного башмачника, прибрать свои сапожные колодки да обрезки ко-

жи в ларь,-- отворил двери в сени и таким образом встретил господ своих. Дом зашевелился, зазвенел ключами, заскрипел половицами, но не слышалось в нем ни веселых голосов, ни того шума семейной радости, который так приятно отзывается в ушах всякого, даже болезненно настроенного человека. Все это утро до самого обеда прошло для меня как-то скучно... Хрустни тяжело уселся в гостиную. Стали приезжать соседи -- по большей части люди пожилые в старых, потертых фраках, с вихрями на голове,-- большие охотники до водки, заедаемой пирогом с вязигой, и до сыру, запиваемого мадерой. Завтрак был уничтожен в одну минуту. Вася отправился с своим учеником в сад. Он был очень смешон, серьезен и неловок. Андрюша принялся с ним разговаривать.

-- Это цветет,-- говорил он,-- посмотрите сюда, гвоздика... это, вот, сама бабушка посадила... пахнет... понюхайте, как пахнет..

Хохлов нагибался и нюхал,

-- А это вон наш садовник, что прошел туда, Герасим его зовут; у него есть такие большие ножницы, он так их берет и ветки, чтоб в

лицо не лезли, стрижет.

Хохлов смотрел вслед за удалявшимся садовником,

В таких-то поучительных беседах, без сомнения, прошло для Васи почти все утро до самого обеда.

За обеденным столом, накрытым в зале (не там, где мы ужинали), совершенно неожиданно, без всякого, так сказать, намерения, я таки порядочно клюкнул. Во-первых, вместо квасу, по ошибке, налил себе пива и выпил; потом под шумок (гости ужасно шумели) выпил рюмочки две вишневки; потом, само собой разумеется, должен был за здоровье Хрустана хватить бокал шампанского. Щеки у меня от этого сильно разгорелись, и я стал так бойко поглядывать на всех, в особенности на Лизу, что старуха заметила и, как мне кажется, шепнула соседке своей (помещице двадцати двух душ, у которой она крестила детей) что-то такое на мой счет, чего уж я не понял да и понимать не хотел. Мне все хотелось поздравить с чем-нибудь мою кузину, но я никак в голове своей не мог найти ничего сколько-нибудь удовлетворительного, только

порывался -- так из-за стола и встал, ни с чем не поздравив Лизы, ни с будущим женихом, ни с желанием полнейшего в любви успеха.

После обеда, проглотив чашку кофе и бог знает для чего поцеловав руку у старой Аграфены Степановны, я ушел в сад. Долго ходил я там один-одинешенек, воображая себя будущим героем какой-то замысловато-романической истории; наконец, вспомнив купающихся поутру девушек, прямо отправился на реку, на то самое место, где они раздевались, снял с себя сюртук и лег на песке, согретом лучами жаркого июльского дня, и долго продувал меня тихий ветерок, который, скользя по широкой водяной равнине, приносил с собой всю негу ее спокойно струящейся поверхности; я видел, как одна за другой, медленно качаясь в воздухе, проносились белые чайки, называемые рыболовами; видел, как одна из них, клюнув воду, опять всплыла вверх, держа в носу своем небольшую плотвичку. На далеком изгибе желтеющей отмели, как часовой, стояла цапля; налево, вдоль всего берега, почти у самой дороги, кулики, посвистывая, перебрасывались с места на место. За мной, на

обсыпавшемся крутом берегу, была другая картина: там, где кончался сад, начинались гумна, одноглазый овин, подпертый бревном, стоял на самом краю обрыва и, казалось, от одного моего толчка мог бы покатиться вниз и рассыпаться; я даже и замыслил столкнуть его. За ним, как бы из-под земли, видны мне были верхушки крестьянских изб, коньки и деревянные петушки, стоящие на крышах. Наглядевшись направо, налево, прямо и назад, что мне было очень легко, когда я лежал на брюхо и локтями подпирал голову, набрав с пригоршню раковин и поискав глазами, нет ли где какой окаменелости, я встал, надел сюртук, потом опять его снял, с тем чтоб намочить себе голову, и менее чем в десять минут, с мокрой головой, очутился на балконе, перед целым обществом.

Вася стоял у решетки. Бабушка сидела в креслах. Перед ней был кругленький, на одной трехлапой ножке, столик с тарелками изюму, пряников и грецких орехов. Лиза и с нею новое лицо, какая-то краснощекая, в веснушках девушка, в черном платье, сидели немного поодаль и грызли орехи. Андрюша

поместился на пороге, доставал из шапки какие-то ягоды и ел их.

-- Где это вас бог носил? -- сказала старуха, положив руки на колена, глядя мне прямо в глаза и посмеиваясь.-- Вот вам ничего и не осталось, мы все съели,-- прибавила она, указывая на одну пустую тарелку,-- а где купались?

-- Я не купался,-- отвечал я, стоя без картуза, также немного посмеиваясь и краснея бесовестнейшим образом.

-- По голове вижу, что купались; оно ведь мне все равно,-- только утонете, отец мой, здесь есть такие места, что и дна не достанете... так прямо с берега и окунетесь, как ключиком ко дну. Да и плавать чай не умеете. Плавать-то умеете ли? а?

-- Нет-с, еще не умею...

-- Здесь опасно купаться,-- подхватила вдруг девушка в веснушках, толстененькая подруга Лизы,-- меня однажды рыба так-то укусила...

Лиза засмеялась.

-- Карась до крови укусил,-- продолжала девушка.

-- Какой Герасим? -- спросил Андрюша, оборачиваясь.

Разумеется, за таким вопросом последовал истерический смех обеих барышень; и я сам принялся хохотать. Бабушка, даже и та, перекосив лицо на Андрюшку, сморщилась от позыва к смеху, но разрешилась наставлением, на которое, однако ж, никто не отвечал; наставление заключалось в том, чтоб Андрюша не верил пустякам, что, дескать, караси не кусаются, а жарятся на сковороде.

-- Пойдем, Лиза, в сад -- что мы сидим, как дуры,-- сказала ей гостья, утирая слезы, вызванные смехом.

-- Разгрызи вот только мне этот орех, у тебя зубы здоровые... да не бросай здесь скорлупы: терпеть не могу, когда под ногами трещит.

-- Ну, пойдем... не ворчи, на милость...
Девицы встали.

-- Мы пойдем в сад,-- сказала Лиза бабушке и, проходя мимо меня, дотронулась всей рукой до моей головы,-- купался,-- сказала она мимоходом, и обе стали спускаться с лестницы.

Мне стало досадно, я надулся... Бабушка попотчевала меня изюмом, велела Андрюше принести мне пастилы и ушла.

Не желая ни пастилы, ни изюма, как обиженный, стоял я на балконе подле Васи и смотрел на удаляющихся барышень. Вдруг слышу:

-- Подите-ка сюда! -- издали зовет меня краснощекая гостья и рукой даже машет,-- что вы там надулись?

"Какова,-- подумал я,-- незнакомая, а машет".

Но с этой мыслью двумя скачками очутился я на дорожке, догнал их в аллее и присоединился к ним, радостный и довольный тем, что меня позвали.

-- Как вам не грех,-- начал я,-- обижать меня: еще не знаете меня, а думаете, что я врал. Разве я купался... голову только намочил... эка беда.

-- Эка беда, что вас поклепали,-- возразила Лиза, посматривая на меня с улыбающейся важностью.-- Нас беспрестанно клепят, мы же ничего... сносим. Вот поживите-ка у нас, так и узнаете.

-- Да мне все равно, что там Аграфена...

-- Тс! Что вы? -- перебила меня Лиза, топнув ножкой, с выражением веселой строгости,-- что вы так громко...

Я струсил и обернулся. Гостья захохотала.

-- Да, право же, мне все равно,-- начал я тише,-- лишь бы вы, кузина, не думали обо мне дурно. Мне ваше мнение дорого, кузина.

-- Какая я вам кузина? Седьмая вода на киселе.

-- Так вы отрекаетесь? -- спросил я с чувством, как бы в порыве некоторого изумления.

-- Нет, нет! Зачем отрекаться,-- сказала она, вероятно, смутно поняв, что я мальчик на обиду чувствительный.-- Такой милый кузен, так славно вишневку и шампанское пьет, а я стану отрекаться.

Гостья захохотала пуще прежнего... так и посыпался ее смех... я думаю, даже на балконе бабушка могла бы слышать...

-- Смейтесь! -- сказал я.-- Смейтесь! я не знал, что вы всякую безделицу замечаете.

-- Не я, другие заметили; у нас все видят и все слышат, да будет это вам известно... Вас

надо вымуштровать.

-- Что-с?

-- Вымуштровать.

Таким образом совершенно нечувствительно, вследствие одного беглого разговора, я сошелся с Лизой на самую короткую, нецеремонную ногу; и заметьте, читатель, как она вела разговор: она сразу дала мне понять, чтоб я был осторожнее, значит, сразу поняла мою неопытность и характер настолько пылкий и откровенный, что он мог бы мне наделать кучу неприятностей. Нет, конечно, сомненья, что присутствие веселой Кати, страшной хохотуньи и вдобавок пансионной подруги Лизы, единственной, с которой было ей нескучно, много способствовало нашему сближению: я почувствовал, что можно и не церемониться. И вот, менее чем в полчаса, я в их присутствии стал бойчее, развязнее, чем где-нибудь и когда-нибудь. Высказаться мне было недолго. Мне ужасно хотелось знать, о чем это Лиза и Катя, вдруг пересев от меня на другую скамеечку, стали тихо между собой разговаривать, причем лицо моей кузины, за минуту веселое, сделалось вдруг серьезно и

даже грустно, а лицо румяной Кати приняло даже какое-то озабоченное выражение.

-- Верно, и у вас есть секреты,-- сказал я, проходя мимо их с нетерпеливым намерением опять к ним присоединиться.

-- Еще бы,-- отвечала Лиза,-- не у вас одного будут секреты, и у нас есть.

-- А нельзя ли хоть подслушать? А?

-- Смейте только подслушивать! Много будете знать -- скоро состаритесь. --

Я сел от них во ста шагах на другой скамеечке; я видел, как тень от листьев и золотые пятна света скользили по складкам белого платья моей кухни и как резко эти белые складки отделялись от черной одежды Кати, или Катиш -- как ее называла Лиза. Катиш вынула из кармана какое-то письмецо и, увидав меня, снова опустила его в карман; но, как кажется, Лиза была в нетерпении: по выражению лица ее и движению руки можно было вообразить себе следующую фразу: "Поддай! Какая ты несносная, пусть видит. Нашла кого бояться!.."

Вообразив себе нечто вроде этой фразы, я ушел от них слоняться по саду.

Катиш была соседка, дочь одного старика, по фамилии Вифаилова. Старик был женат на дворянке, у которой было тридцать душ на господской запашке и домишко на краю деревни Хрустиных; сам же он был из духовного звания, но служил и, как говорят, прошел сквозь огонь и медные трубы. Катиш, так же как и Лиза, воспитывалась на Московской улице, у мадам Фляком в доме под вывеской: "Частный пансион для благородных девиц"... Она была нехороша собой, по крайней мере, не на мой вкус. Уездным франтам, напротив, она была по вкусу. Лицо у ней было, как месяц ясный, круглое, мягкое, в веснушках, с небольшим и задорным носиком; зато у ней был веселый, открытый нрав; хохотать и смешить было для нее нечто вроде потребности. Добрая, бойкая была она барышня! Я был не долго с ней знаком, но вспоминаю о ней с большим удовольствием.

Катиш не пришла обедать в день рождения Хрустина, потому что в траурном платье (у ней с полгода тому назад умер брат -- юнкер). "В траурном платье идти неловко, а другие платья разучилась носить -- отвыкла, да,

чего доброго, и не влезут -- толстею,-- говорила она Лизе,-- расползлась, матушка! пора замуж выходить! Ну, что делать, останусь у тебя весь вечер!"

И действительно, она осталась весь вечер; когда роса стала падать и когда каждый поворот в новую аллею, с густолиственным верхом, стал казаться мне то отверстием пещеры, то началом длинного, темного коридора с высоким и неподвижным сводом, а звезды зажглись на небе, мы все, покинув сад, уселись на ступеньках лестницы и сидели до самого ужина, и уж чего-чего не переговорили!

Под конец разговор принял фантастическое направление -- все предания дома как будто ожили... я был самый жадный слушатель, Вася Хохлов -- самый молчаливый...

-- У нас,-- говорила Лиза,-- часто случаются вещи необыкновенные, особенно зимой. Раз,-- на святках это. было дело,-- сижу я у себя в комнате; вдруг на чердаке, над самой головой, как будто кто чугунный шар уронил, так я вся и вздрогнула. Ударилось что-то в потолок и покатилося... слышу -- покатилося... Ду-

маю себе, кому быть на чердаке -- скоро десять часов ночи; кличу девушку: Федосья, говорю, поди, ради бога, возьми хоть Демьяна, только посмотри, что такое на чердаке, не забрался ли кто-нибудь -- там часто у нас белье вешают,-- не унесли бы белья... Ну... пошли на чердак, только что...-- а у нас дверь на чердак прямо из коридорчика, что на антресолях,-- только что Демьян вошел,-- а надо вам сказать, дверь была заперта, значит, войти было некому,-- только вошли, вдруг кто-то как захочет... зафыркает да в ладони хлопает... Федосья моя бросилась вниз... разбила себе в коридоре коленку об Дарьин сундук, прибежала бледная, как смерть... говорить не может, а у Демьяна неизвестно кто свечу задул... говорит, задул кто-то. А кто? Бог его ведает.

-- Ну, что ж Демьян? Чай, и он струсил.

-- Э... что ему -- зажег опять свечу да опять пошел--весь чердак со свечой обошел, такой бесстрашный! Никого нет, только, говорит, из-за трубы рожки какие-то... нет-нет да и высунутся, и высунутся... но, говорит, никого... и что такое это упало над самым потолком, неизвестно. Демьян! да он такой, что ничего

не боится; я с ним готова хоть в лес идти ночью.-- Домовые, говорит, известное дело -- надо же, говорит, и им пошалить, что их бояться-то? да я, говорит, собаки иной раз больше боюсь, чем нечистого,-- вот он какой!

Я почувствовал глубокое уважение к Демьяну,

-- А перед смертью сестры что было!.. Право, и т верится, и страшно рассказывать...

И ее голос как бы замер.

-- Что такое?

-- Ну, и не рассказывай, коли самой страшно!-- заметила Катиш.

-- Нет, рассказывайте; мне хочется все знать...-- сказал я, хотя и чувствовал, что по спине у меня мурашки ходят от таких великолепных историй; чувство ужаса не всегда уничтожает любопытство, напротив, когда мне бывало страшно, я делался вдвое любопытнее.

-- Надо посмотреть,-- сказала Лиза,-- где Андрюша?

-- Он на диване спит! -- отвечал Хохлов.

-- А! верно, завалился за бабушку; ну, хорошо, что спит, а то при нем нельзя всего рас-

сказывать...

Славный был вечер, темный, несмотря на красный месяц, который загорался в просветах дубовой рощи -- я даже думал, не горит ли оwin,-- такой он был красный! Тихий был вечер, хоть и шелестила никаким безветрием недовольная осина, хоть и слышался мне шум падающей воды, тот самый шум, который накануне приводил меня в недоумение,-- я и забыл, что, переезжая плотину, я, неподалеку от деревни, миновал водяную мельницу,

-- Начнем с того,-- вновь заговорила кузина,-- что в доме то и дело трещала мебель, да как трещала! Вдруг как будто кто из пистолета выстрелит... так даже вздрогнешь; ну, да это положим, ничего: весна началась рано, весной всегда мебель трещит... А то вот что было, это было незадолго до смерти Сони... сидим мы за ужином, вдруг слышим, в буфете как будто кто блюдо или тарелки уронил... слышим -- ударилось что-то об пол и разбилось вдребезги... Демьян вышел посмотреть... бабушка рассердилась. Даже папенька сказал: "Какая это там дура посуду бьет?" Что ж вы думаете? в буфете нет ни души. Шкаф заперт

-- и ничего, хоть бы что-нибудь разбилось...
Все целехонько... Такие, право, чудеса!

-- Вы сами слышали? -- Сама слышала.

-- А помнишь, ты рассказывала, помнишь, про белую женщину?-- сказала Катиш.

-- Как не помнить!

-- Какая белая женщина? -- спросил я, невольно оглянувшись, не стоит ли кто в мрачной глубине старого сада.

-- А вы знаете, где стоял гроб покойной Сони? -- перебила меня Катиш, обратив ко мне слабо озаренное месяцем лунообразное лицо свое.

-- Где стоял?

-- Там, где вы спите... в горенке...

И она засмеялась.

Я побледнел.

-- Что вы смеетесь?

-- Ага! Трусите!..

-- Что ж тут веселого?

-- Я когда-нибудь надену простыню да и приду к вам...

-- Я вас убью,-- сказал я серьезно,-- лучше и не приходите, не подвергайте жизнь опасности; что попадется под руку, так и пуцую;

подсвечник -- так подсвечник, палка -- так палку, право!..

-- Вот какой вы вежливый! -- сказала Катищ, но нисколько не рассердилась, приняв слова мои за выражение величайшей трусости.

-- О, если б вы знали мою сестру, так не боялись бы! Бога бы молили, чтоб она пришла! -- заговорила Лиза, и голос ее стал как-то звучнее и певучее.-- Если б вы знали, что это было за существо! Красавица, каких вы и не видели. Такие темные брови дугой, глаза синие, улыбка... помнишь, Катищ, какая была улыбка!..

В эту минуту ночная бабочка стукнулась об стекло, за которым был свет,-- я вздрогнул.

-- Я бы не знала, как благодарить бога,-- продолжала Лиза,-- если б она с того света хоть на одну минутку пришла ко мне... видно, еще не довольно горя и не довольно слез, чтоб она...

-- Полноте там городить всякий вздор,-- слышался из гостиной голос старухи.-- Лиза, узнай поди, скоро ли ужинать?

Лиза встала.

Так или, лучше сказать, почти так прошел этот день. Вечер в особенности оставил во мне впечатление. Я и десятой доли не в состоянии передать вам всех чудес, мною переслушанных, которые будто бы совершались в доме Хрустина; но я был так настроен, что каждое слово попадало в меня, как в натянутую струну, и эта струна дрожала.

Когда с Хохловым, после ужина, проводив Катиш до ее обиталища, мы деревней возвращались в нашу горенку, каждая твякнувшая собака заставляла меня невольно вздрагивать.

Ночь в саду и ночь над рекой была полна каких-то таинственных звуков, и смутных предчувствий чего-то необычайного была полна трусливая душа; я был очень недоволен, очень сердит, когда спокойный Хохлов, по-вчерашнему, задул свечу и по-прежнему отвечал мне, что гореть ей незачем.

"Экая милая у меня кузина-то,-- думал я между прочим,-- да и Хрустин-то какой должен быть добрый человек, хоть и смотрит каким-то медведем... да и старуха-то, что в ней дурного?.. Славно я здесь проживу лето, и не

увиджу, как пройдет, и не увижу!"

Сверх всякого чаяния, на другой день с утра полил дождь. Хохлов после чаю сей же час, в присутствии старухи, занялся Андрюшей. Кузина была скучна и скоро ушла в свою комнату. Я вышел в залу; у окошек девки плели кружева, молча на меня косились, краснели, когда я подходил к ним слишком близко, и проворно перебирали коклюшки. Сам Хрустин сидел в кабинете, я видел в дверь только его широчайшую спину. Николай -- человек, который первый привел нас в горенку, -- мылил еще подбородок: он, как домашний цирюльник и даже фельдшер, собирался брить его. Газет в доме никаких не выписывалось, читать было нечего, вообще о политике не имелось ни малейшего понятия. Новости о рекрутских наборах, падежах, пожарах и даже о назначении нового исправника доходили в барский дом через старосту.

Мне нечего было больше делать, как только уйти к себе в горенку; но одному мне там быть не хотелось... "Кого бы позвать?" -- думал я.

-- Демьян,-- сказал я, проходя переднюю,

которая в будни превращалась в мастерскую башмачника и страшно пахла кожей, салом и клоповником, то есть вениками, развешанными по стене, как запас на зимние месяцы, а может быть, как товар, сбываемый в пользу производителей.-- Демьян,-- сказал я,-- зайди к нам, снеси мои сапоги куда-нибудь посушить... мокры...

Через полчаса Демьян застал меня на кровати вовсе без сапогов и, вероятно, повернувшись, вышел бы, не говоря ни слова, но... я решился не выпускать его... С любопытством посмотрел я ему в глаза, водянисто-серые и полузакрытые неровным разрезом отяжелевших век, с желтыми ресницами,-- подумал: как это могут эти глаза без страха видеть домовых? -- и вероятно, с намерением доказать старику, что все это вздор, суеверие, бабьи сказки... и больше ничего... спросил его, давно ли он живет и служит в доме Хрустиных.

-- Я, сударь, давно-с,-- начал он, осматривая подошвы сапогов моих и улыбаясь...

-- А как давно?

-- Да как бы это вам сказать... давно ли... с... Вот, дом-от, что вы изволите видеть... я уж

был камердинером; уж женат был, сударь; а его еще и не было. На моих глазах и поднялся, при мне и фундамент рыли, а теперь... скоро, почитай, развалится дом-от; столбы, сударь... подгнили... да-с... Вот что, сударь!..

Мое воображение было так глупо настроено, что я испугался. "Ну, как этот дом,-- вздумал я,-- да и в самом деле повалится, да задавит Лизу, шутка ли? столбы какие-то подгнили!"

-- Э, такой ли он был заново-то сударь! -- продолжал Демьян.-- Да не прожить бы ему и сорока годов, кабы не лес -- это я про бревно говорю... Изволили видеть, какое бревно? а то вот зайдите, сударь, где-нибудь с заднего крыльца -- так только, поглядеть зайдите,-- там обшивка-то поободралась маленько. Ведь во какое бревно!

Тут Демьян расставил руки почти на аршин, но сапогов моих все-таки не выронил.

-- Ей-богу, сударь! Снаружи-то, почитай, гнило, а топор не берет: такое-то здоровенное бревно!

Я совершенно успокоился насчет падения дома.

-- Ведь тогда и лес же, сударь, был! Эх, лес был! Бывало, сударь, дерево... стоит... страсть!.. машта корабельная! как есть машта! да и народ-то был... Слыхали ли вы, сударь, отселева на десятой версте, в селе Будилове, на горе, жил Аким Пафнутьевич Пыхин... по фамилии Пыхин, сударь, Аким Пафнутьевич! Чай, и от дяденьки своего слышали (Демьян знавал моего дядюшку).

-- Нет, не слыхал...

-- Как, сударь, не слыхать! каждый мужик знает... спросите только про Пыхина, Акима Пафнутьевича. Последняя баба, сударь, слышала.

-- Что ж он, разбойничал? а?

-- Какое, сударь, с барином-то моим были друзья... помещик был, дворянин, сударь, маленькой такой старичишка, глаза тоже маленькие, так бы вот, кажется, одним махом и сшиб бы...

-- За что?

-- Да так, сударь... низенькой такой был, что, кажись, и не глядел бы; только вот до смерти, до самой то есть глубокой старости, во всю щеку румянец так и горит... Что ж бы

вы думали, сударь? побился он, сударь, об заклад с полицмейстером, что в одну то есть ночь всю шайку, двенадцать человек разбойников, изловит и в суд предоставит... Ну-с, и втроем, сударь, ночью... отправился в лес, в самое то есть ихнее гнездо, сударь!.. Шли они, шли... верст эдак... верст... пятнадцать... лесом, сударь. Пыхин, без дороги все, почитай, тропинки знал. Ну, вдруг, в щелку... изба... Изба, сударь! Огонек через ставень, в щелку... он, сударь, к окошку... Вот, к окошку, сударь...

И Демьян, приложив к щеке сапоги мои, сделаю вид, как будто он вглядывается в окошко.

-- Видит это, ужинают разбойники-то! Ужинают, за столом сидят... Он как вошел, сударь, Аким-то Пафнутьевич, да как гаркнет, да как двинет столом-то, так всех до единого к стене-то и припер.

-- Этого быть не может! -- сказал я.-- Это вздор.

-- Как не может быть!.. Эх! Помилуйте, сударь! Не может быть! Подкову лошадиную ломал, кочергу железную гнул, девять пудов, бывало, подымал, сударь, на плечо подымал,--

а вы говорите -- не может быть. Вы порасспросите-ка, каков он был, Аким-то Пафнутьевич...

И с этим словом Демьян сапоги мои поставил на пол, а сам прислонился спиной к холодной печке и, заложив руку за пазуху, минуты две помолчал.

-- Как этто в первый раз оженили моего барина да с молодой барыней он приехал в этот самый дом -- э-эх, сударь, пировня-то была! Овин, сударь, зажгли... нарочно, сударь, старый овин зажгли, чтоб светлее, знаете, было: ночь-то была темная, снежок шел, так вот, чтоб через Оку-то было посветлее. Ведь у ихнего-то батюшки три тысячи душ было.

-- А теперь?

-- Да теперь!.. что теперь! понятно, что ничего, сударь, триста душ есть, да что в них!

-- Куда ж они девались? Мор, что ли, был? -- спросил я Демьяна в невинности души своей.

-- Мор! Эка вы, сударь! -- возразил он, качнув головой и как бы горячо к сердцу принимая слова мои.-- Какой мор! Помилуйте! Барин-то мой,-- вы што про нас изволите думать? Барин-то мой, Антон-то Ильич, вот в

ефтой самой горнице, сударь, где вы вчерась ужинали, тысяч пятьдесят денег, не успел я мелка в передней обточить, как он, не поморщившись, почитай, целую деревню в чужой карман спустил.

-- Так он был картежник? -- спросил я не без удивления.

-- Да как вам сказать, сударь?.. Не любил ведь, совсем не любил это в карты... Сам, бывало, говорит: никакой охоты нет. Да что ж ты будешь! компания, сударь, была, одолела. Народ такой был, что или картежник, или мертвую чашу пьет. Я его и не виню, сударь, шут их знает, как они подвертывались... Наедут это, бывало, кто на чем; пир, плясовня да песни, прости господи. Цыган это навезут, цыганок... с гитарами. Барыня-то, бывало, Марья Кондратьевна,-- что делать! добрая была покойница, царство ей небесное,-- матушка-то Лизаветы Антоновны, выдет это, бывало, в зал, постоит это, постоит, запереть, чтоб, говорит, не слышно было... ну, и ничего.

Демьян снова поднял мои сапоги; но мне решительно стало жаль расстаться с ним.

Я спросил, любил ли его барин. Этот во-

прос как будто его озадачил, и он отвечал мне на него, с минуту подумавши и, по обыкновению, благодушно улыбаясь:

-- Любил, сударь, больно любил... ну, а вот, как и другая-то наша барыня померла да Аграфена Степановна приехала -- ну... тут я был в загоне, сударь, в загоне, что делать! Такая полоса вышла, сударь... в загоне был...

-- А что?

-- Да что, продать хотели... чуть-чуть, признаться, сударь, не продали... Заводчик Тютюников купить хотел, хороший тоже барин и хорошую цену -- рублей шестьсот никак -- давал, ассигнациями шестьсот, сударь. Я этого, сударь, ничего и не знал... Были мы, сударь, в городе... Тютюников-то и попадись мне в красных рядах. "Здравствуй",-- говорит. "Здравству-те,-- говорю,-- сударь..." -- "Я, -- говорит, Демушка, тебя покупаю".-- "Как так?" -- "Да так,-- говорит,-- что ты испугался? я и господ твоих знаю,-- говорит,-- и тебя, какой ты есть честный человек, все знаю, не пужайся,-- говорит,-- Демушка, тебе у меня будет лучше -- дворецким сделаю,-- говорит,-- и жалованья восемь рублей положу в месяц".-- "Ну-с! -- я го-

ворю,-- что ж, сударь, мне все равно -- служить-то". Так мы тем разговор наш и покончили... он пошел к себе, а я к себе... Иду я домой, сударь, на сердце кошки скребут... больно, знаете... ну, думаю, служил верой-правдой, что делать! Часа два это думал... думал -- что бы это такое значило! не соображу никак. Не утерпел, пошел к барину. Так и так, говорю, Антон Ильич... знаю, мол,-- так и так. Смутился, сударь... вижу -- смутился... губа затряслась... "Никогда,-- говорит,-- я продавать тебя не хотел -- что ты, дурак, врешь..." -- "Как, мол, сударь, никогда? и бумага уж куплена, и Тютюников сам, сударь, и все..." -- "Врешь",-- говорит, а сам сидит да уж и не глядит на меня, совестно, знаете... Тут Аграфена Степановна и подойди; она, сударь, это дело-то обделать тайком хотела. Ну, нешто можно, сударь, живого человека потихоньку продать, так чтоб он ефтова не знал; ну, как же ефто можно, сударь, сами посудите. "Ты,-- говорит,-- Демьян, зачем пришел?" -- "Да так,-- говорю,-- сударыня, ни зачем!" А барин-то помолчал, знаете, да и говорит: "Дурак,-- то есть это я-то, сударь, дурак. Дурак,-- говорит,-- вздумал, что я хочу

продать его". Аграфена-то Степановна и вспыхнула. "Ну,-- говорит,-- Демьян, живи у нас, так и быть, только,-- говорит,-- барышень не смущай -- они и так много себе в голову забрали".

-- Каких барышень? -- спросил я, как-то смутно соображая слова его.

-- Да вот, сударь, Софья Антоновна была, да вот Лизавета Антоновна.

-- Чем же ты их смущал?

-- Да ничем, сударь, не смущал, помилуйте! Какое смущать -- я их и махоньких-то на руках носил -- почитай нянька был, какой смущать! А это она, вот что... знаете!.. Сидит это однажды покойная-то наша барышня, царство ей небесное! Софья-то Антоновна сидит у себя в комнате -- плачет. "Демьян",-- говорит. "Чего изволите, барышня?" Как теперь помню, печка эдак топится; эдак кроватка стоит, лампадка у образа; а эдак-то, у двери, я стою,-- плачет, сударь. "Демьян,-- говорит,-- расскажи мне что-нибудь про маменьку"; ну, я и стал, сударь, рассказывать... вижу, барышня не весела, надо же что-нибудь сказать, сударь! А Лизавета-то Антоновна, гляжу, прижа-

лась в уголочек, сидит на сундуке да и говорит: "Хорошо, Демьян, что ты все это помнишь, а только то нехорошо,-- говорит,-- что папеньке другую жену увез".

-- Кто это сказал?

-- А Лизавета-то Антоновна, сударь. Ведь вишь какая!

-- Ну, так что ж?

-- Да все бы ничего, да только такой грех вышел, что под это-то самое слово и подвернись Аграфена Степановна, ну и рассерчала, сударь... и подвела было...

-- Да неужели это ты, Демьян, увез вторую-то жену... А?

-- Э-эх-ма! увез! ну, как я увезу, помилуйте, барин! Выдумали это бабы; говорят... Демка увез!.. Конечно, сударь, я был причинен... да ведь я ж не знал, что это так выйдет -- сам и до сих пор не пойму, как это дело сделалось; хоть бы и Антон-то Ильич, ведь не молоденькой, сорока семи годов был, сударь, ну, как я ему увезу, помилуйте.

-- Да как же это сделалось? Пожалуйста, расскажи.

-- А вот, извольте видеть, как это сдела-

лось. Как померла у нас первая-то барыня, Марья-то Кондратьевна, барин-то наш и того-с -- такая-то пахондрия на него нашла, что страх, сударь, хошь его обворуй, хоша нагруби ему, все равно, словно кто обошел... Софья-то Антоновна была уже тогда барышня на возрасте, пятнадцатый годок никак ей был; приехала из пансиона. "Папенька,-- говорит,-- папенька! что вы такой скучный",-- говорит. Ничего, сударь мой, не действует... "Ступай,-- говорит,-- тяжело мне глядеть на вас, уеду!" Ну, уеду, да уеду, а сам никуды, в сад даже выходить перестал. То на одном диване полежит, то на другом полежит. Худеть -- не худеет, а из лица такой темный, мрачный стал, страсть! не глядел бы! А тут дела подошли, опека, сударь, долги... то, се... хлопочи, расплачивайся да задаривай. Что тут делать! вижу, барин мой, не ровен час, подпишет такую бумагу на свою шею, сударь мой, что и не расхлебать. Вот я и говорю ему: так и так, сударь, подошла, сударь, осенняя ярмарка в городе, поедемте-ка проветриться; убытку, мол, большого не будет, и вы тем случаем и сстряпчим посоветуетесь, и переговорите на-

счет дел-то ваших, сударь. Ничего, молчит; я ему опять говорю резоны разные -- молчит; но-таки уломал, сударь. "Ну,-- говорит,-- дурак,-- он кого любит, всегда дурак говорит; такой у него манер, сударь.-- Ну,-- говорит,-- вели готовить в дорогу, кстати уж и Лизу в пансион свезем".

Поехали мы; ну, разумеется, Лизавету Антоновну свезли к мадам, а сами живем в номере. Я, сударь, то к тому, то к другому, так и так, говорю, Антон Ильич кланяться велят, приехали, желают, мол, видеть. Ну, сделал свое дело; наехали к нам гости, пошли, сударь, тары-бары, увезли куда-то барина-то маво, а он, как его увезли-то, в ночь шесть тысяч рублей возьми да и выиграй. Ведь эдакая, сударь, судьба! Я уж и говорю... "Батюшка барин, не играйте больше, довольно с нас пока..." -- "Да я,-- говорит,-- дурак, и выиграл-то нехотя, и играть-то,-- говорит,-- совсем не хотел..." А тут и познакомься с ним отставной капитан Иван Касимыч. Познакомься да и полюби его, и уж за что он его полюбил, господь его ведает,-- стал к нам ходить чуть не каждый день... Раз это сидит он у нас да и гово-

рит... "Хочешь,-- говорит,-- жениться на моей сестре? я тебе ее в окно покажу..." Барин-то мой, знаете, рад, что и деньги-то есть, и порассеялся-то он -- ухмыляется, молчит. Ну, думаю... где жениться, год как жену похоронил, да еще жениться: так эти слова-то у меня и прошли, почитай, что и позабыл. Вот... живем мы в номере... день, другой, неделя, сударь, другая -- гости, сударь, начали к нам чаще, толпа, сударь; то ужин с шампанским, то в карты, сударь, и Иван Касимыч тут. Раз это слышу: увезем, да увезем, что, мол, это они такое говорят: увезем? Стою, сударь, у стенки тут же в самой этой комнате и все это соображаю... о чем это у них речь... думаю себе, затеяли господа потешиться, гляди, думаю, али цыганку, али какую актрису притащут -- не разберу, сударь. Раз иду я добежать до лавочки, не то за икрой, не то мадеры бутылку взять, не помню... Иду -- вдруг Иван Касимыч в самых, почитай, воротах стоит на трухтуаре и меня эдак хватъ рукой, "Стой,-- говорит,-- Демьян, -- к вечеру,-- говорит,-- уберись в дорогу и барина,-- говорит,-- уברי и чемоданы, и мешки, чтоб все было готово..." Я говорю: "Су-

дарь, помилуйте, никакого от маво барина приказания нет, а вы говорите: убери".-- "Уж не твое,-- говорит,-- дело!" Ну-с, я к барину; так и так, говорю, а он мне: "Делай,-- говорит,-- дурак, что велят, не твое дело!" Ну, хорошо, сударь. Вижу, что-то там затевается, а понять не могу, а все что-то мне смешно, смех какой-то, сударь, разбирает. Ну-с, сударь, убрались мы в дорогу, кибитка это тройкой... лошади, сударь, свои. Надевай, говорят, овчинный тулуп, то есть я-то, сударь, надевай, да возьми в руки простыню, ты, говорит, будешь у нас купеческим дворником. Что такое!..-- думаю... а самого смех так и разбирает, пуще всего оттого смех, что не разберу ничего... Иди, говорят... так и так, в такой-то дом. Спроси у ворот Аграфену Степановну, а коли скажут "дома", спроси, где баня. А спросят тебя -- зачем тебе баня,-- скажи: я, мол, от купца Гарделева -- баня здесь топится, так я простыню принес. Дали мне, сударь, простыню, а уж вечер -- фонари, сударь, на площади.

-- Демьян! -- послышался голос Николая в дверях.-- Ступай скорей, ищут тебя везде, к барину.

-- Ну, сударь,-- сказал Демьян,-- апосля когда-нибудь доскажу... Николай! Снеси-ка вот сапожки на плиту, они немного обсохнут, да не сожги.

Демьян ушел, я остался с Николаем. Николай был человек совсем другой масти. Повертевшись не больше десяти минут у меня в комнате, он успел уже взманить меня идти на охоту, сказал, что купит у кого-то дрови, но что у него денег нет,-- и таким образом выманил у меня двугривенный.

Рассказы Демьяна, хотя я и слушал их довольно рассеянно, хоть мне и было всего только пятнадцать лет, в некотором смысле пояснили мне характер Хрустина. Смутно мне стала представляться вся жизнь его... Это был вечный невольник людей, его окружающих, и всегда почти дурных людей; нехотя, как бы против своей собственной воли, прокутил и проиграл он почти все свое состояние; ум и страсти его были одержимы постоянной спячкой, и тот, кто их расталкивал, кто будил их к жизни хоть на одно мгновение -- тот владел им, как ребенком, несмотря на эти

страшные кулаки, которые, как кажется, могли бы сразу быка убить. Недаром какой-то Аким Пыхин, богатырь, по рассказам Демьяна, был когда-то в числе друзей его; но как физические, так и нравственные силы Антона Ильича были без всякого, так сказать, употребления... Пыхин ловил разбойников и, как я слышал потом, действительно ходил за ними на охоту, как за зайцами; Хрустин не только разбойников -- не убил бы мухи, если бы даже хлопнушкой вооружить богатырскую длань его. Вероятно, и трусости препорядочная доза была в душе его. Он боялся мостиков, когда ездил в дорогу,-- боялся, что когда-нибудь один из них не снесет его, и он провалится. Боялся собак, и потому на дворе его не было ни одной собаки; ему вообразилось, что каждая собака, взбесившись, может укусить его. Что он был барин добрый и, в сущности, совестливый, несмотря на всю пустоту свою,-- это также невольно как-то сказалось в отрывочных рассказах Демьяна, который и до сих пор мог бы ухаживать за ним, как дядька, если б у него не было няньки. Эта нянька была Аграфена Степановна. Она знала все его

привычки: к двум часам обед был всегда готов; спать ему не мешал никто; кресла, в которых он любил дремать, никто не занимал в то время, когда они нужны были для его тучного, неповоротливого тела. Аграфена Степановна знала, какой ему нужно покупать табак, и сама насыпала его в табакерку, слегка смочив и перетерев его с розовой водой, знала даже, сколько именно цветочков жасмину положить в табак для запаха.

Хрустин был бы покоен и счастлив, как турецкий паша, если б воспоминания и сожаления о потерянном богатстве не грызли сумрачной, немой, никому в доме не доступной души его.

В нем много было странностей.

Он был иногда рассеян. Взять со стола чужую табакерку и зачихнуть ее себе в карман или потерять в саду платок ему ничего не стоило.

Он был скуп на деньги, которые непосредственно ему попадали в карман, но о доходе с имения, который поступал весь в распоряжение Аграфены Степановны, он никогда и не спрашивал, как будто бы и права не

имел получать его.

Весной, почти в одной рубашке и просто-волосый, просиживал он целые ночи на балконе, сидел неподвижно, как истукан, темный, как сама ночь, и готов был до утренней зари слушать, как в саду его заливаются соловьи,— соловьиные песни доставляли ему нечто вроде наслаждения; не напоминали ли они ему первой его жены, двоюродной сестры моей матери, которая, как я слышал, была певица и любила музыку?

Как лирический поэт заслушивается стихов, так он заслушивался пернатых и, вероятно, не без причины ненавидел кошек.

Ловить птиц в саду он строго запрещал, хотя самое строгое запрещение Хрустина в доме значило гораздо менее, чем самое незначительное словцо Аграфены Степановны.

Трудно было понять, кого он в доме любил. Один Демьян был уверен, что он когда-то любил его. Молча косился он на Лизу, молча косился и на Аграфену Степановну, но несомненно было только то, что и Лиза, и Андрюша, и весь дом были вполне предоставлены во власть Аграфены Степановны и что ничто

не спасло бы девушки, если б старуха вздумала как-нибудь погубить ее.

Вообще вопросы о чувствах были самыми неразрешимыми вопросами, если только они касались Хрустина. Говорят, что он весь позеленел и чуть сам не умер с горя, когда умерла у него старшая дочь; а когда, за год до смерти, та с какой-то просьбой, в слезах, приходила к нему в кабинет, то вышла от него без слез, но безнадежно махнула рукой, как бы выражая тем всю невозможность добиться от своего отца того, чего в нем не было... разумной воли. Отец не сказал ей ни да, ни нет, не огорчил и не утешил.

Что касается до Аграфены Степановны -- все, что скажу об ней, будет, конечно, выводом из моих теперешних соображений; я точно так же не умел тогда понимать ее, как не умел вести себя в доме Хрустина, несмотря на предостережения моей кузины...

Начну опять свою собственную историю.

Меньше чем в неделю я познакомился с целым домом -- освоился с ним так, будто бы жил в нем целый год. Не было мальчишки, которого бы я не знал по имени; не было дев-

чонки, которой бы я не подразнил (не унес бы клубка или наперстка), разумеется, в отсутствие Аграфены Степановны. Перед Лизой я всячески кокетничал -- кокетничал прической волос, скрипом сапогов, знанием наизусть многих стихотворений, рассуждениями о том, что такое падающие звезды, и, наконец, я кокетничал перед ней своими чувствами. Раз, после обеда, вынул я из кармана письмо Красильского и сказал ей: -- послушайте, вот письмо, которое я получил от друга перед моим отъездом, письмо, которое меня мучит,-- прочтите его тихонько, потом отдайте мне. Лиза взяла и обещалась прочесть; в ушел в сад -- мечтать.

Если читатели помнят письмо моего милого Саши, то, вероятно, поймут, почему Лиза, прочтя его, не нашла нужным ни таить, ни прятать его от глаз своей почтенной бабушки. В тот же день оно как-то попало на глаза старухе. Аграфена Степановна не без удивления прочла его и спросила Лизу, зачем она принимает от меня письма такого скандального содержания. Лиза отвечала, что она не видит в этом письме ничего скандального,

что оно наивно, даже мило, и больше ничего. Бог знает, что после этого вообразилось Аграфене Степановне. Целых два часа пилила она бедную мою кузину. Когда я вошел, Лиза, расстроенная, вероятно с умыслом, при бабушке, отдала мне это письмо и сказала:

-- Возьмите его, ради бога, в этом письме нет ничего дурного и ничего нет хорошего. Видно только, что ваш друг вас очень любит, что поручает вам то, что ему дорого; только не давайте мне вперед никаких писем.

Я изумился и даже побледнел,-- до такой степени потрясло меня такое неожиданное объяснение. Я никак не мог понять, отчего в голосе моей кузины дрожали слезы и отчего у старухи, когда она стала на меня смотреть, белая широкая оборка на ее чепце стала вдруг качаться так, как будто с ее чепцом лихорадка сделалась. Я был ошеломлен.

-- Это... не делает вам чести,-- сказала мне Аграфена Степановна.

-- Что такое?

-- Что у вас такие дурные, безнравственные приятели.

-- У меня нет безнравственных прияте-

лей.

-- Какая-нибудь полемойка, дрянь какая-нибудь, с позволения сказать, подарила ему какой-нибудь горшок, он и растаял, и разнежился... расстаться не может!.. Что ж вы его, отец мой, с собой не притащили,-- этот горшок-то с резедой. Какая-нибудь полемойка, прости господи!

-- Я не знаю кто! -- сказал я, задыхаясь от внутреннего волнения.-- Но... но... не вам судить. Мне все равно, полемойка или кто другой.

-- Вам все равно! А! Вам все равно! -- подхватила старуха.-- Этого я не знала, отец мой... я думала, что и вы благородный, и друзья у вас благородные. Я, извините, я глупая, может быть, старуха, говорю вам, что думаю, извините!.. я не имею права запрещать вам какие угодно письма, только уж... никаких... никаких писем, пожалуйста, не давайте этой сударыне,-- она указала на Лизу,-- сделайте такую милость; я должна блюсти... должна!.. это, это моя обязанность... Я не сержусь на вас, но...

-- Спасибо, что не сердитесь,-- промычал я сквозь зубы и ушел совершенно растерзан-

ный.

-- Скажите, Антон Ильич,-- после долгого молчания осмелился я обратиться к Хрустину, которого нашел в кабинете за просматриванием в календаре записок, сделанных его рукою.-- Скажите, Антон Ильич, вот письмо, которое я дал прочесть Лизавете Антоновне; за него досталось и ей и мне; стоит ли оно того, чтоб за него так сердилась Аграфена Степановна? пожалуйста, прочтите.

Старик взял мое письмо, с испугом взглянул мне в лицо, прочел его, обернувшись к свету и повернувшись к окну затылком, другой раз прочел, потом подал мне его, как бы с облегченным сердцем, потрепал меня по плечу и, скорчив улыбку, лениво произнес:

-- Гм! повеса!..

Вот все, что сказал Хрустин; но и это меня значительно успокоило. Пуще всего мучило меня то, что я подверг мою кухню таким ужасным неприятностям... "Боже мой, боже мой,-- думал я.-- Зачем она показывала ей это письмо, ведь говорил: не показывайте! неужели я ее опытнее! бедная кухня!".

Тут мне приходили в голову и забавные

мысли; так, например, мысль, что я пострадал за друга, что я заступился за него перед этой старухой, была приятна моему самолюбию. Но напрасно я воображал, что Лиза чуть-чуть не погибла, что Лиза растаяла в слезах и теперь целую неделю будет бояться подойти ко мне. В тот же вечер, как ни в чем не бывало, она ко мне подошла и улыбнулась.

-- Ага! -- сказала она полушепотом,-- досталось вам на орехи!

"Ей же самой досталось, а она еще говорит такие слова, да еще дразнит!" -- подумал я... Видно по всему, что она привыкла... Это, признаюсь, и мне немало придало смелости, так что намерение удалиться из дому показалось мне довольно забавным, не только что несбыточным. Уйти пешком я бы не мог, во-первых, потому, что до города не нашел бы дороги; во-вторых, потому, что струсил бы идти один незнакомыми мне проселками; в-третьих, не решился бы обречь себя усталости, не испытал сил своих, а лошадей, если бы и вздумал уехать, мне бы не дали.

-- Очень нужно тебе было соваться, показывай письмо,-- сказал мне Вася, когда, по

обыкновенно, вечером пришли мы в нашу горенку и я рассказал ему, как и чем навлек я на себя неудовольствие Аграфены Степановны.

-- Кто ж знал, что она такая! -- говорил я.-- Кто ж это знал!

-- Кто знал! Да ты сам знал,-- возразил мне Вася.-- В первую же ночь ты мне говорил, что знаешь. Что же ты теперь ворчишь, когда сам виноват!

-- Да помилуй,-- говорил я,-- прошла целая неделя, все было хорошо! Кто бы мог думать, что она такая!

-- Да ведь это ты только ничего-то не замечаешь,-- возразил мне Хохлов из-под одеяла.

-- Нет, я все замечаю...

-- Ровно ничего.

-- Ну, уж ты... много ты видишь, ни с кем почти не говоришь ни слова, так потому только и хорош.

Эти последние слова сказаны были мною на основании некоторых похвал, которыми как-то при мне вздумала осыпать его Аграфена Степановна...

-- Господа! -- вдруг послышался в окошко мягкий бас Демьяна.-- Господа! спите, что ль?

-- Нет, не спим, что тебе?..

-- Что-то это вас не слышать! Я думал -- спите! Барыня приказала вас спросить, не угодно ли вам будет завтра к обедне -- к обедне... они едут... к обедне.

Я вскочил босиком на пол, подбежал к окну и растворил его:

-- Демьян! Скажи, что мы пешком пойдём, слышишь, пешком; я знаю, к Покрову не так далеко, версты полторы, не больше... мы с тобой дойдем, Демьян.

-- Хорошо, сударь, скажу! -- отвечал нам тот же бас, удаляясь...

На другой день, несмотря на приглашение Аграфены Степановны ехать в линейке, я все-таки остался и сказал, что в церковь намерен пешком идти. День был воскресный, утро было великолепное. Когда линейка тронулась, я остался на крыльце, в ожидании Демьяна, который был в чуланчике и искал на дне какого-то сундука медные деньги -- искал, не находил и ворчал...

-- Шут их знает, куда-то я их засовал! Ре-

бятя, что ль, унесли, нелегкая их возьми!..
право, нелегкая их возьми!..

-- И не приведи господи! Хоть из дому вон. Пожалуйста вы, милый барин, не подходите ко мне, когда она дома. Она такая слухменная, что ужаси! Сидит в гостиной, а слышит, что в девичью рыбу принесли, или спрашивает, кто это вошел в деревню. Такая-то слухменная! право!

-- Поиграйте, поиграйте с ней, сударь! -- слышался сверху из слухового окна голос другой девки, той самой, которая, как кукла с механикой в руках, каждый день в зале сидит за кружевом.-- Она, сударь, все только и бредит, что вами!..

-- Бредит, бредит! -- отвечала мне сверху седая крыса.-- Да что она врет, не слушайте ее, барин, врет она все... А что вы намеренно сделали?..

-- Что я сделал?

-- Вы зачем, милый барин, у Анютки чулок из рук взяли, да сказали: научи, как вязать?

-- Что ж за беда!

-- Досталось ей за это! Синяки такие-то на

руках... ха, ха, ха!..

-- Неужели?..

-- Ну, пойдете, барин,-- сказал Демьян, отыскавши грош,-- придем к Достойной, а не то к шапочному разбору... Пойдете, сударь!..

-- Помолитесь и за нас, грешных,-- пропихнула девушка с чердака, доедая морковку.

-- Вишь куда забралась! Белобрысая! -- сказал Демьян, и мы пошли.

-- Демьян,-- сказал я, вышедши в поле, и, чтоб солнечные лучи не проникали картуза, накрылся белым носовым платком.-- Демьян, как ты думаешь, скоро ли моя кузина, Лиза, замуж выйдет?

-- Да господь ее ведает, скоро ли,-- отвечал Демьян, пыля ногами.

Белые облака разрозненными хлопьями по всему горизонту, не захватывая солнца, тихо плыли, но тени от них довольно быстро скользили по окрестностям; то освещались, то бледнели верхушки деревьев, которые, как зеленые холмы, круглились на желтой черте, обозначающей скат широкого поля; на этой черте кое-где мелькали кички деревенских баб, другой дорогой подвигавшихся вместе с

нами на звон церковного колокола.

-- Был, сударь, у нас жених,-- как бы наду-
мавшись, вдруг начал Демьян, продолжая
смотреть себе под ноги,-- был, сударь, да, вид-
но, богу не угодно.

-- А что?..

-- Да и господь его это знает, отчего б это
он Аграфене Степановне не понравился... Уж
и я, сударь, думаю -- не придумаю. Барышня
как есть на возрасте; ну, и ничего, жених бы
видный был... Так вот нет, сударь! Далече, го-
ворит, живет, не здешней губернии... Сам, су-
дарь, приезжал нарочно и в кабинете с бари-
ном разговаривал... нарочно, сударь! ну, и
экипаж свой. Что ж вы думаете, ночь это бы-
ла. Ведь и ночевать даже не оставила, старая!
уехал в ночь! Сказывали это, будто бы как в
пансионе была барышня-то -- за ней ухажи-
вал. Как бишь его фамилия-то? -- продолжал
Демьян медленным голосом, как бы разгова-
ривал сам с собой,-- вот ведь, пожалуй что и
забыл фамилию-то; нет, не забыл, сударь, не
забыл! Петр Петрович Самоситов... да... да
так... Самоситов, сударь, Самоситов.

Демьян вообще отличался необычайной

способностью помнить, как кого зовут и кого как по батюшке величают. За тридцать лет помнил он, с кем встречался, и каждому соседу мог напомнить имя и отчество его покойной бабушки.

Нечаянно поднятый им разговор заинтересовал меня, как и все, что касалось Лизы.

-- А! так был уж один жених!-- сказал я.-- Ну и что ж, Лизавета-то Антоновна, чай, плакала?

-- Не знаю, сударь, плакала ли. Этого я вам сказать не умею, сударь. Вот покойная Софья Антоновна, царство ей небесное, та бывало, ну та, бывало, льется, как река -- как река, сударь; так, бывало, горемышная, и за стол почитай что дня по два не выходит -- нежная, сударь, чувствительная была барышня! Эх... вон там и могилка ее, сударь.

Демьян ткнул пальцем в воздух, по направлению к церкви.

-- Неужели же у моей кузины не будет женихов? -- сказал я в полнейшей, однако же, уверенности, что на сто верст кругом, нет ни единого, достойного руки ее.

-- Как не быть, сударь. Бог не без милости!

Вот, примерно, Скандинавцев, Сергей Иванович; у самой почитай мельницы усадьба; благородный, сударь, петербургского покроя человек.

Все это говорил Демьян, глядя на землю и не обращая на меня никакого внимания.

-- А что... разве он того... ухаживает, или она в него... А?

-- Этого я также, сударь, не знаю; так только догадываюсь, яко бы... ну, а не знаю. Намедни утром с купанья шла Лизавета Антоновна-то, а он это будто бы с охоты, сударь; ну, почитай садом-то до самого балкона и проводил. Ведь в чужую душу не влезешь, сударь; может быть, и есть какое намерение, а то и так!

Разговаривая таким образом, незаметно прошли мы полторы версты и подошли к ограде сельской церкви, у которой стояло три экипажа: линейка Хрустиных, старинные с фартуками дрожки и чья-то тележка на двух колесах. На крыльце, с крутым всходом на паперть, под кровлей, которая, перегибаясь на железных- столбиках, висела над входом и опускалась на обе стороны, толпился народ:

бабы в высоких кичках, с бисерными подзатыльниками, девки в платках, с золотыми повязками; мужики с взъерошенными волосами и с грязными лысынами нам дали дорогу, и Демьян провел меня до самых клиросов. Я стал подле Васи, за Аграфеной Степановной. Лиза, как очень набожная девушка, молилась усердно, хоть и не постукивала себе в грудь и не качала сокрушенно головой, как Аграфена Степановна. В толпе я узнал Катиш, мою знакомку, в том же черном платье и с тем же румянцем и веснушками на круглом лице. Увидев меня, она насмешливо прищурилась и кивнула мне головой.

Боже мой! Как мне хотелось молиться, усердно молиться за счастье кузины! Как я упрекал себя за рассеянность и праздность мыслей, невольно любуясь ее стройной и белой шейкой! Какой-то Скандинавец беспрестанно приходил мне в голову; среди небольшого количества господ, отличающихся от толпы стриженными волосами и бритыми подбородками, я не раз принимался отыскивать такую физиономию, которая, по моим понятиям, могла бы идти к Скандинавцеву. Думал

ли простодушный Демьян, что слова его затронут во мне и любопытство, и даже что-то вроде ревности, хоть я вовсе не был, как говорится, влюблен; но у мальчиков так же, как и у девиц, всякое чувство имеет свою собственную зависть.

Обедня кончилась.

Катя пригласила меня к себе кофе пить. Аграфена Степановна пригласила ее к себе в линейку.

-- Лиза, что же ты у меня так давно не была?-- сказала Катиш моей кухне.

-- Бабушка не пускает,-- отвечала она вслух.

Я, как вежливый кавалер, всех посадил в экипаж, начиная с Аграфены Степановны.

-- Ну, а вам теперь места нет,-- сказала она мне, усевшись и помигав глазами.-- Не хотел тогда с нами, и теперь идите пешком.

-- Я люблю пешком,-- отвечал я весело, размахивая по воздуху картузом,-- я пешком люблю.

И мне стало грустно, когда линейка двинулась и подняла над полем клубы пыли, ветром относимой в сторону.

"За что,-- думал я,-- попал я вдруг в такую немилость! неужели думает она обо мне так дурно, так дурно, что нельзя хуже и выдумать!"

Чтоб утешиться, я пошел искать развлечения под кровлей веселенькой Кати. Дойдя до края нашей деревни, я увидел ее бревенчатый, соломой крытый домик и вспомнил ее приглашение.

-- Зайдите, сударь! Зайдите!-- сказал Демьян.-- Люди добрые, сударь!

Я вошел в отворенные настежь двери сперва в сени, потом в низенькую переднюю с маленькими висячими часами на стене и с горшком бальзамина на окне и потом в комнату, в которой половина стенки потолка была закутана в сумерки. Ставень одного окна была затворена, и запах какой-то мази неприятно щекотал ноздри того, кто входил туда прямо со свежего воздуха.

Представьте себе толстого, пузатого старика в колпаке, с носом в виде сливы, страждущего какими-то опухолями и одышкой, лежащего на постланном диване и прикрытого частью халатом, частью одеялом, частью

клетчатый носовым платком от мух,-- представьте себе такого больного, который, сняв с лица платок, никем не предупрежденный, увидал перед собой личность, ему совершенно незнакомую. Мы взаимно друг друга испугались, он меня, а я его, наконец, я шаркнул ногой и отрекомендовался. Больной вежливо поднял колпак, приподнялся на подушках и стал извиняться прерывающимся сильным голосом:

-- Извините, по великодушию, не знал, застаете меня -- лежу -- болен...

Я сказал, что меня пригласила к себе Катерина Кузьминишна, сказал, где я с ней познакомился и проч.

-- У обедни, сударь; скоро будет... поврежьте!.. Вот, не встаю почти, разве-разве на минуточку пройду по комнате... Очень обязан... очень обязан... Старик вот лежит... старику скучно, тяжело, духота, окна поднять некому...

Я поднял окно и оттолкнул ставень. В комнате стало светлее.

-- Одолжили, сударь, одолжили! Позвольте покороче познакомиться (он протянул мне

руку, до которой я слегка дотронулся, и сел подле него на стул). Очень рад, сударь! Вижу теперь, с кем имею дело... очень, очень рад, что имею честь с вами познакомиться.

В эту минуту, пошаркивая ногами, толстенная Катя ввалилась в комнату; двери, как я уже сказал, до самой улицы были все настежь.

-- А!-- сказала она, увидав меня и протягивая руку,-- гордец! насилу-то зашли.

Она сняла шляпку и повесила ее подле зеркальца на гвоздик. Зеркальце с полинялыми золотыми гвоздочками на углах темной рамы, с большим, как кажется, удовольствием отразило в себе ее беззаботное личико...

-- Я думал, что вы уже давно здесь,-- сказал я.

-- Да меня завезли туда,-- отвечала Катя.

-- Я боюсь, что я беспокоил вашего папеньку.

-- Одолжили, сударь! -- отозвался больной,-- одолжили. Ка-а-тя! извинись!.. Я... здоров... здоров... а лежу... извинись, Катя! Где мои сапоги? Я, сударь, здоров... сейчас оденусь... сейчас, сударь,-- говорил он, задыхаясь

и нетерпеливо двигаясь всем туловищем своим.

-- Да полно тебе, папа! Что за церемонии? Лежи, сделай милость! Вот... вздумал одеваться... я не знаю, где и сапоги-то твои!-- сказала Катя, с участием подходя к отцу.-- Да я бы и не позвала его, кабы нужно было тебе вставать да одеваться.

-- Катя, Катя, Катя! Ты меня обижаешь,-- простонал старик, ложась на спину и покорно складывая руки.

-- Чем же тебя обижаю? Ну, чем?

Больной опять поднялся.

-- Вот имею честь... рекомендовать... сударь... Утешенье, сударь... добрая девушка, сударь.

Больной опять лег. Катиш спросила меня на ухо, буду ли я кофе пить.

-- Буду,-- сказал я.

И она выкатилась вон из комнаты и через сени отправилась в кухню, где, вероятно, распорядилась насчет кофе, сливок, булок, а минут через пять, облизываясь, принесла оттуда банку с вареньем, в которой торчала чайная ложечка.

-- Натя вам пока варенья,-- сказала она и, зацепив полную ложку, понесла ее прямо ко мне в рот, закапала меня всего и расхохоталась.

-- Катя, оденусь... право оденусь!-- бормотал больной...

-- Пойдемте-ка лучше, чтоб его не беспокоить,-- сказала Катя, подмигнув мне глазом.

И, достав из кармана своего платья какое-то письмо, она, вероятно, нисколько не подозревая во мне опасного мальчика, не спеша спрятала его под чайницу на маленьком стуле. Я успел прочесть на адресе: "Г-ну Скандинавцеву", и спросил ее, покраснев по уши, с кем она перешлет это письмо.

-- А вы его разве знаете?-- спросила она, не смутившись, только внимательно на меня посмотрев.

-- Нет, не знаю.

-- Так почему же вы знаете?..

-- Катя... Катя!-- сказал больной с упреком, повернув голову,-- гость стоит... какая ты! Извините ее сударь... я лежу вот... я не лежал бы, оделся бы... знай я, что такой гость... Катя... бестолковая! Приглашай. Ах, какая же ты!

Бьюсь, сударь, с ней! Бьюсь, каждый день бьюсь! Вот вы уж уходите... не умеет, сударь, принимать; извините, лежу...

Я стал прощаться с больным и осторожно пожал ему руку.

-- Гм! Что? -- произнес он, из-под приподнятого колпака устремив на дочь глаза свои, и когда мы вышли, он воротил ее из передней, и я слышал, как он стал, задыхаясь, говорить ей: -- Нехорошо, Катя, нехорошо! Невежливо! Не годится, Катя... надо знать... уметь... обращение... подумает... Бог знает, что подумают...

Катя не возражала; поцеловала его, поправила ему подушки и вышла на крыльцо.

-- Пойдемте,-- сказала она мне,-- в огород, там есть у забора скамеечка, там будем кофейничать.

-- Да в огороде жарко.

-- Э!.. растаете вы, что ли? жарко! ступайте, я сейчас распоряжусь.

Много болтали мы всякого вздору, когда уселись на скамеечке в небольшом капустном огороде, в тени того же самого домика.

Кухарка принесла нам на подносе кофей-

ник, чашки, сливочник и два ломтя белого домашнего хлеба. Я заговорил о Скандинавцеве, сказал, что этот человек меня интересуется, и услышал от Катиш восторженные похвалы уму его.

-- Обожаемец! Вот как надо называть его, -- сказала она, -- обожаемый!..

-- Ради бога, Катерина Кузьминишна, скажите мне, ради бога, влюблена в него моя кузина или так только?.. Вы поверить себе не можете, какое участие я принимаю во всем, во всем, что до нее касается.

-- Во всем, во всем, во всем, -- передразнила меня Катя, -- то есть ни в чем.

-- Я готов служить ей, помогать--все, что хотите.

-- Ну, положим, что она его любит, ну, чем вы поможете, ребенок вы эдакой? бабушка выдерет вас за уши, вот и все.

-- Ну вот, выдерет! Как она выдерет?

-- А вот эдак, -- сказала она, ухватив меня за ухо и захохотав.

Мы чуть не подрались.

-- Полноте шалить! -- сказал я, -- не шутя говорю вам...

-- Да ведь и я не шутя.

-- Ведь я очень хорошо знаю, что это письмо к Скандинавцеву не от вас.

-- И не от нее.

-- Да ведь уж я знаю.

-- Ну, знаете, так молчите. Пейте-ка лучше кофе. Ну, ловкий человек! Все сливки пролил.

-- Это оттого, то вы...

-- Оттого, что вы баловник... пейте без сливок. Не дам! или уж, так и быть, принесу еще, сидите.

И она побежала с молочником за новыми сливками для меня.

Напившись кофе и наболтавшись вдоволь, к обеду пришел я домой, рассеянный, мечтательный, как будто и в самом деле любовь кузины к незнакомому мне человеку задела меня за живое.

Дни летели, и как ни тяжело мне было присутствие Аграфены Степановны, о своем скором отъезде в город я думал с отчаянием. До отъезда оставалось с небольшим две недели. Никого мне не было так жаль, как Лизы. Ей уже было около девятнадцати лет; строй-

ная, высокая, с белыми, как фарфор, плечами, она мне нравилась, потому что в те годы я не был слишком разборчив: все хорошенькие мне бесконечно нравились. В лице Лизы было какое-то сияние грусти и смелости, кротости, доброты и в то же время какого-то мужества. Когда, бывало, задумчивая, стояла она на балконе и смотрела в сад, от темных бровей ее поднималась вверх морщинка, и тогда ее задумчивость походила на ожидание, смешанное с беспокойством или тайной досадой. Склад ее речей был простой, вовсе незамысловатый разговор ее был не более как разговор провинциальной, от природы не глупой барышни; но ее голос, задушевный, певучий и как бы слегка раздраженный, до сих пор еще звучит в ушах моих. Я, без малейшего сомнения, передал ей, при первом же свидании, мои расспросы о письме и мои предложения. Зная, что самое лучшее время говорить с кухней -- это рано утром, в саду, когда бывало, в сопровождении одной горничной, идет она домой с купанья, распустив по плечам темную, сырую косу или приткнув ее к затылку высоким гребнем, которые тогда только что

выходили из употребления, я стал вставать довольно рано, стал встречать ее на дорожках в саду и, таким образом, однажды имел случай изъяснить ей мое глубокое сожаление о том, что еще ни разу не видал Скандинавцева.

-- Может быть, он завтра будет,-- сказала она.

-- А вы почему знаете?

-- Он... я его недавно видела.

Лиза покраснела; я понял, что она проговорилась, и внутренне был доволен своим вопросом.

Ничто особенно не нарушало обычного течения времени. По утрам Хохлов занимался с Андрюшей, а я с книгой в руках ходил по саду. Хрустин по целому часу брился, Аграфена Степановна задавала девкам уроки, толковала по очереди то с поваром, то с старостой, ходила, звенела ключами, косилась по сторонам и, как мне казалось, прислушивалась к каждому моему движению. Аграфена Степановна, быть может, вовсе не была злой старухой, но эта была женщина неразвитая и с испорченным воображением. До какой степени

все понимала она в превратном виде, это легко заключить из одного того, как поняла она письмо Красильского. Или это была женщина-дипломат, и не любила Лизы, как тетка ее мачехи, и не отдавала ее замуж, боясь, что, рано или поздно, она потребует состояние своей покойной матери в ущерб Андрюши, которого старуха любила почти с материнской нежностью.

Пусть кто хочет решает, сознательно или бессознательно Аграфена Степановна делала кой-какие неприятности, но от решения такого вопроса вовсе не легче было Лизе. Ей дорого стоила самостоятельность! каждый свободный шаг свой она могла считать завоеванием. Я несколько удивляюсь теперь неровности ее характера: то она была весела и, бывало, ни на что не обращает внимания; то, бывало, не говорит со мной, придет утром бледная, с пятнами под глазами, как будто не спала всю ночь, повернется в комнате и уйдет. Без сомнения, мое присутствие придало всему дому несколько жизни, и не только Лиза, я уверен, сам молчаливый Хрустин был расположен ко мне. Лиза находила даже время шу-

тить со мной, то есть оставлять меня в дураках: вздумает, например, для испытания моей дружбы и преданности послать меня после ужина, то есть ночью, в дубовую рощу и в доказательство, что я действительно дойду туда, прикажет мне спугнуть там целую стаю усевшихся на гнезда галок. Пойду, бывало, преодолевая тысячи различных страхов, спугну ворон, усевшихся на гнезда, и сам, испуганный шумом крыльев и криком их, стремглав брошусь назад, прибегу на балкон, и что ж? На балконе -- пусто. Кузина, услав меня, уходит раздеваться, а на другой день утром начнет дразнить меня: что, говорит, трусили! спрятались за первым кустом, да и думаете, что я стану вас дожидаться!

-- Помилуйте, кузина, а галки-то? Разве вы не слышали?

-- Галки спали преспокойно, и никто их не потревожил; и этого-то вы не могли для меня сделать! Трус!

Вскоре, однако ж, после моего утреннего разговора в саду, между завтраком и обедом, я застал в зале новое для меня лицо. Человек среднего роста, лет двадцати семи, или около

сидел на стуле и, поместивши между колен своих морду легавой собаки, одной рукой держал ее за ошейник, а другой щекотал ее за ухом. Возле него, на столе, лежала круглая серая шляпа с широкими полями, хлыст и зеленые перчатки.

-- Пижон! -- сказал он, едва взглянув на меня и едва поклонившись, -- чужой вошел, чужой!

Собака подошла ко мне, понюхала мне ноги, завиляла хвостом и, таким образом, первая со мной познакомилась.

В лице гостя, который даже и не встал при моем появлении, было что-то легавое. Узкие, но густые бакенбарды, казалось, еще более удлинляли продолговатость щек его. Из-за них торчали маленькие уши; серые небольшие глаза смотрели умно и выразительно; усов не было; цвет лица был смуглый и здоровый, несмотря на сухощавость всей фигуры.

-- Вы любите собак? -- спросил он меня.

-- Люблю-с. -- отвечал я рассеянно, всматриваясь в него и думая: "Неужели это Скандинавцев?"

-- А у вас есть собака?

-- У нас есть дворовая собака, -- отвечал я.

-- Эх вы, милостивый государь; дворовая собака разве собака? Вам который год?

-- Мне пятнадцать, скоро шестнадцать.

-- Что же вы так мало выросли?

Я покраснел.

-- А на охоту вы ходите? Впрочем, вам еще рано ходить на охоту; это серьезное занятие.

-- Раз или два раза я был на охоте -- это было в городе, -- я застрелил дикую утку (я солгал: утку застрелил не я, а Михалыч).

-- Это в городе-то? Где же это вы, милостивый государь, в городе утку застрелили? На каланчу она, что ли, села, или на дворе, дворовую?

Я не знал, что и отвечать, -- и досадовал, и краснел, и смеялся.

-- Вы придираетесь к словам! -- сказал я.

-- А вы зачем так неопределенно выражаетесь?

-- Хорошо, что я с вами не знаком.

-- Отчего?

-- Да оттого, что я вижу по всему, что вы

считаете меня ребенком.

-- А разве ребенком быть худо? Вот я не ребенок, -- прибавил он с живостью, -- так мне и жаль, что я уж не ребенок, и хочется, да уж не воротишь. Так-то, милостивый государь, вы нехотя сами себя изобличаете!.. Пижон, иси! выгоните его, пожалуйста, из гостиной: экой дурак! иси! пойдём домой!

Пижон со всех ног прибежал к нему. Я подумал: этот пес верно бы испугал Хрустина, и мне стало жаль, что Антон Ильич пошел в это время постоять около парников; он любил арбузы и вообще следил за их развитием.

-- Скажите, пожалуйста, Лизавете Антоновне, что я ушел. У меня дома обед простынет,-- сказал гость.-- Пижон, куда ты?.. Иси, дурак!

И он действительно ушел, сопровождаемый резвыми прыжками своей собаки.

Озадаченный таким непредвиденным и странным знакомством, я остался в зале, поглядывая то в окошко на двор, то на девушек, тихо постукивавших коклюшками; мне казалось, что они тихо улыбаются. Этот господин с собакой всего только десять минут пого-

ворил со мной и уж успел со всех сторон за-
деть мое самолюбие.

"Неужели это Скандинавцев?" -- думал я,
сидел и думал до тех пор, пока не вошла кузи-
на.

-- А где же Сергей Иванович? -- спросила
она, оглядывая зал, как будто Скандинавцев
мог спрятаться куда-нибудь под стол или в
угол.

-- Ушел, -- сказал я, -- боится, что обед его
простынет.

-- Вечно так. Сумасшедший! Придет и уй-
дет точно феномен какой!

-- Быть может, он и феномен для вас... --
сказал я под нос.

Лиза покраснела, ни слова не отвечала
мне и ушла в коридор.

С этой минуты, как дважды два четыре,
ясно показалось мне, что Лиза равнодушна
к Скандинавцеву. С этой минуты уверенность
в этом росла во мне с каждым днем, и мне бы-
ло только досадно, зачем Лиза не сделает ме-
ня окончательно поверенным задушевных
тайн своих. Неужели Катя более меня достой-
на полного доверия?

Мне даже хотелось видеть их вдвоем, но это было, как видно, очень трудно: во-первых, неизвестно почему Аграфена Степановна считала его дурным человеком (она и меня считала негодным мальчиком), раз как-то даже при мне назвала Скандинавцева табачником. Скандинавцев, вероятно, знал все, понимал всех и по целым месяцам не показывал носу, то есть не являлся на глаза Аграфены Степановны, пропуск кал даже торжественные дни и не забегал ее поздравить; когда же встречался, оправдывался такими причинами, которые скорей могли усыпить, чем разбудить в ней какие бы то ни было подозрения.

Несмотря на все это, раз на моих глазах Лиза и Скандинавцев сошлись и наговорились. Виновником такого свидания был не кто другой, как я... и это случилось вот как.

Лиза иногда уходила погулять, разумеется, не одна, а под присмотром. Насчет прогулок деревня искони дает такие права, против которых не может устоять никакая Аграфена Степановна. Что могла, например сказать эта старуха в ответ на очень простое и естественное желание Лизы идти за грибами (она же

любила грибы так же, как Хрустин любил арбузы). Все что она могла сказать,-- это "ступай и не опаздывай"! в провожатые же снарядили ей домашнюю куму Аксиныю, Андрюшу и Хохлова. Хохлов все более и более приобретал ее любовь и доверенность, потому, во-первых, что был молчалив, как рыба, словечка лишнего не скажет, во-вторых, потому, что учил Андрюшу, или, лучше сказать, бился с ним, как рыба об лед, и не жаловался, не говорил, подобно Лизе, что он глуп, как дерево.

Когда и как они ушли, я не видал, я был в горенке, куда удалился тотчас же после обеда, и сочинял письмо к Красильскому. Мне хотелось это письмо написать как можно кудреватее, хотелось представить ему мое положение между двумя существами, столь друг другу противоположными, а именно, между Лизой и Аграфеной Степановной; первую называл я богиней, вторую -- бабой-ягой. Долго бы еще грыз я перо, придумывая различные сравнения, если б Демьян, которого я еще в передней попросил достать мне сургучика, не пришел ко мне с кусочком сургуча и с печаткой, на которой были вырезаны сердце и

якорь.

-- А наши господа,-- сказал он,-- гулять по-шли.

-- Какие господа?

-- Лизавета Антоновна, Андрей Антоныч с учителем да еще не знаю кто, кажется, Акси-нья-ключница. Кузовочки взяли, сударь, в ореховую, говорят, рощу, за грибами пойдём.

-- Ушли?

-- Ушли, сударь.

-- Ну, и я пойду, авось догоню: письмо я и вечером запечатаю.

И, не расспросив дороги, схватил я кар-туз, взял от собак палку и выбежал.

Не прошло и десяти минут, как я уже был в поле, проворно шагал прямоком и чем дальше шел, тем более убеждался, что кругом не одна роща. Со всех сторон, как бы назло мне, выдвигались их синие широкие полосы. Было уже не ранее шести часов, но еще было довольно жарко; я запыхался; куда идти, спросить было некого. Наконец догнал я ка-кую-то бабу с ребенком.

-- Где,-- закричал я ей во все горло,-- где ореховая роща?

-- А вон! -- откликнулась она, указывая направо,-- а это вон тоже ореховая! -- прибавила она, указав левее.

Я пошел наудачу, проклиная бабу, и вдруг очутился на краю оврага, внизу которого струилась речка; наконец, переводя дух, услышал я шум водяной мельницы и лай собак, увидел невдалеке группу деревьев, несколько изб и тесом крытую кровлю. В страхе заблудиться направил я в ту сторону шага свои, с тем чтоб взять себе толкового провожатого. Скоро остановился я у калитки какого-то палисадника, сквозь зелень которого мелькали бревенчатые стены и окна.

"Верно, это хутор мельника",-- подумал я и крикнул:

-- Эй, нет ли там кого?

В палисаднике залаяла собака.

-- Пижон, тубо! -- слышался мне знакомый голос из-за частых ветвей мелколиственной акации.

-- Пижон! -- закричал я,-- тубо! это я!

Пижон, вспрыгнув на задние лапы, просунул морду сквозь решетку калитки и завертел хвостом.

-- Войдите, войдите! Не бойтесь! -- услышал я тот же голос.

Калитка отворилась, и с трубкой в руках, в халате нараспашку предстал мне сам хозяин.

Это был, без всякого сомнения, Скандинавец.

-- Извините,-- начал я говорить,-- я шел не к вам. Не знаю, где ореховая роща, туда моя кузина пошла за грибами.

-- А давно она пошла?

-- Да уж, я думаю, с час.

-- Погодите, я вас провожу туда.

-- Благодарю вас покорно, очень буду рад, очень рад.

-- Что ж вы не войдете! Войдите! На террасе посидите или хоть ложитесь на траве, а я сейчас оденусь.

Я пошел под дощатый навес террасы, деревянный пол которой был в уровень с дорожками. На террасе стояла кушетка, и на ней лежал широкий лист французской газеты, на столике стояла чашка с кофе и торчал кожаный кисет с табаком.

Я заглянул в комнату, где Скандинавец

стоя повязывал себе на шею летний галстук. Пестро и беспорядочно было в этой комнате; чего там не было! Ружья и ягдташи на оленьих рогах, ковер на полу, ковер на стене у постели, книги на столе, книги под столом, бумаги, письма, краски и даже два ящичка под пыльными стеклами -- один, с минералами, другой с козявками, "пронзенными насквозь",-- это был кабинет человека если не дельного, то уж, наверное, деятельного и многостороннего.

Я бы с радостью остался посидеть в этой комнате, если б не спешил в рощу. Зачем и для чего спешил, я и сам не знал.

-- Я ведь здесь живу, как человек заезжий,-- сказал Скандинавец, надевая первый попавшийся ему под руку зеленый, кожаный, охотничий картуз.-- Я сюда обыкновенно приезжаю только летом на два, на три месяца, отдохнуть да пошляться, а главное для того, чтоб быть чем-нибудь. Здесь я как-то чувствую, что я что-то такое... нечто вроде мелкопоместного помещика и обладателя сей ветхой храмины. В столицах, напротив, я решительно не знаю, что я такое. Только затем сю-

да и приезжаю.

"Да, толкуй себе,-- подумал я,-- знаем, дескать, что тебя влечет сюда -- не надуешь".

-- Ну, милостивый государь, я готов, отправляемся.

Мы вышли, Пижон побежал вперед, делая круги и поднимая радостный лай, на который недружелюбным лаем отозвалась ему собака с мельницы.

-- А признайтесь-ка, молодой человек, признайтесь,-- сказал мне, между прочим, Скандинавцев, косясь на меня из-под зеленого картуза.-- Влюблены в кузину? а? что краснеете, по лицу вижу, что влюблены.

-- Я вижу, что вы охотник дразнить,-- сказал я,-- сами влюблены... а на меня свалить хотите.

-- Ну, и я, и вы,-- сказал он, смеясь и уж несколько не сконфузившись.-- Мы оба; что ж из этого, я ведь вам мешать не буду.

-- Ну, уж нет! я вам ее уступаю, вы можете на ней жениться... а я... Вы лучше меня на свадьбу позовете, я и этому буду очень доволен.

-- Этому доволен! Разве так говорят? Это-

му доволен! Ах вы, милостивый государь, а еще влюблены,

-- Я сказал -- этим доволен, что вы, поми- луйте!

-- А хотите, я сейчас же скажу вашей ку- зине, что вы равнодушны к ней?

-- Уж, пожалуйста, не говорите! Это вздор. Для первого знакомства мы только с вами по- ссоримся, и больше ничего.

Наконец, мы вошли в кусты; вид рощи, скорей осиновой, чем ореховой, мало обратил на себя мое внимание, до такой степени этот Скандинавец овладел им, говоря со мной и не щадя во мне ничего, даже грамматическо- го промаха. Помню только, что кусты были довольны густы и часты, а деревья, длинные и высокие, стояли врозь, как будто поссори- лись и разбрелись. Слой сухих и ржавых ли- стьев, красота и радость прошедшей весны, зашелестел у нас под ногами; мы шли снача- ла молча, потом стали аукаться. Пижон под- нял лай, мы услышали крик испуганного им Андрюши и подошли к нему. "Я больше всех набрал",-- сказал он, показывая на кузовок свой, действительно почти полный: видно,

искать грибы он был способнее, чем учить уроки. Пижон полаял на Хохлова и на Аксицию, и, наконец, напав на следы крота, принялся рыть землю, и, как бы упиваясь благоуханием, совал свой нос в земляную дырку, храпел и потом опять проворно работал лапами.

Лиза сидела на опрокинутом бурей дереве. На голове ее был шелковый алый платок. В руках -- с коротенькими рукавчиками и в перчатках по локоть --дер" жала она синий зонтик и, от нечего делась, вертела им. Кузовок, совершенно пустой, лежал у ног ее на складках платья.

-- Ну, так и есть! -- сказала она с недовольным видом,-- думаю, кто это кричит на весь лес, так что даже страшно!..

Скандинавцев снял картуз, поклонился, попросил у нее ручку поцеловать и сел подле нее так близко, что она немного отодвинулась.

-- Неужели,-- спросил он, улыбаясь и глядя на нее искоса,-- мы так громко кричали?

-- Да как же!.. я думаю, у нас в деревне слышно,-- как бы жалуясь, проговорила Лиза.

-- Ага! -- заметил ей Скандинавец таким тоном, что она, усмехнувшись невольно, отворотилась.

Я отошел от них шагов на тридцать и стал ходить, шаркая ногами, будто ищу грибы.

Сначала разговор их был заметно шуточный. Скандинавец ее как будто чем-то поддразнивал. Лиза смеялась, краснела и по временам, потупив глаза, отворачивала от него лицо свое; наконец, стала слушать его, наклонив голову, и вся превратилась в слух и внимание. Разговор, как видно, принял не шуточное направление. Изредка долетали до меня отрывочные восклицания Лизы... "Да пусть!.. - говорила она.-- Э, стоит думать! Да хоть в огонь".

Мне казалось, я понимал ее, и ребяческой душой глубоко ей сочувствовал.

Мало-помалу удалясь от них, я присоединился к Васе, который, подходя к самым высоким деревьям, смотрел на них как на диковинку: видно, он был в каком-то особенном настроении духа или просто нравился ему блеск вечернего солнца, игравший на осино-

вых верхушках. Бог его знает, что ему нравилось и что не нравилось.

Где-то дятел принялся крепким носом своим стучать по стволу, где-то за кустами раздавался тихий скрип, как стон умирающего. Старая подрубленная береза с легким шумом потянула к нам остатки жиденьких, на одном только суку уцелевших веток. Одно длинное дерево, сломившись, легло на плечо к другому и, казалось, как будто говорило: "Поддержите, братцы,-- падаю".

-- Ау! где вы? -- раздался голос Скандинавцева.

-- Здесь, здесь! -- закричал я.

Из-за кустов показалась Лиза.

-- Пора домой,-- сказала она Хохлову.

-- Прощайте! -- сказал ей Скандинавцев.--

Пижон!-- крикнул он и исчез, прежде чем нашли мы Аксиною, старуху, которая по праздникам любила клюкнуть, а в будни спать,-- но и во сне и наяву ей все мерещились свадьбы. "Уж поплясала бы я, матушка Лизавета Антоновна",-- не раз говорила она, разводя руками. И Лиза любила ее за то, что она, как кума ее, меньше других на нее сплетничала.

Хохлов отыскал Андрюшу, и мы с кухней двинулись. Лиза шла молча, погруженная в глубокую задумчивость, и очнулась, когда мы подошли к гумнам, из-за которых светились озаренные вечерним солнцем трубы и знакомый мне чердак с слуховыми окнами.

-- Положи мне в кузов несколько грибов,-- сказала она Андрюше,-- дома я отдам тебе.

Андрюша уступил ей три гриба.

-- Я вам гнилые дам, а вот эти я не дам,-- сказал он, сортируя грибы и скаля зубы от радости, что его котомка полнее всех.

-- Что вы нынче такой скучный? -- спросила меня Лиза, вполне довольная тремя грибами.

Я увидел, что мы пошли сзади всех, отстали и что никто не может слышать нас.

-- Кузина,-- сказал я с чувством,-- вы думаете, что я не желаю вам счастья.

-- А что?

-- Так.

-- Нет, скажите, что вы думаете?

-- Я думаю, что вы любите, и, быть может...

-- Кого я люблю?

-- Скандинавцева.

-- Ну, да, я люблю его,-- сказала она, подумавши, и улыбнулась.

Никогда я не забуду этой улыбки; я понял после, как она была насмешлива.

Прошло еще сколько-то дней; я так и ждал, что вот-вот матушка пришлет письмо с просьбой дать мне лошадей, то есть, попросту, велит мне приехать. Не хотелось мне так скоро и, быть может, навсегда расстаться с Лизой. Моя дружба к ней и все наши отношения без присутствия старухи, которая не шутя начинала ревновать и подозревать меня, не имели бы и сотой доли того интереса и той привлекательности, почти романической. Я знал, что ей за меня часто достается, что ее бранят за то, будто бы она со мной кокетничает и поблажает мне. Я готов был за нее в огонь и в воду, боялся ее выговора больше, чем Аграфены Степановны; слушая ее речи, я задавал себе тысячи вопросов насчет будущей судьбы ее. Что, если, думал я, Скандинавец приедет свататься, а старуха ему откажет, что станет делать Хрустин? Что, если Хрустин

скажет: это не мое дело, распорядитесь как знаете! Болтовня с Катей также наполняла значительную часть моего свободного времени. Я уже боялся заходить к больному отцу ее, а вызывал ее.

-- Нет ли у вас письмеца к Скандинавцеву? -- говорил я. -- Давайте, я снесу.

-- Теперь нет, а когда будет -- пожалуй.

-- А нет ли у вас варенья?

-- Варенье есть.

-- Нельзя ли в огород принести -- мы его отведаем.

И Катя с хохотом начинала из своих рук кормить меня.

Так шло время. Вдруг я стал замечать, что Лиза переменялась ко мне, и не только ко мне -- вообще переменялась.

Раз как-то я хотел спросить ее на ухо, позволит ли она мне идти к Скандинавцеву? Она мне отвечала вслух так, чтобы слышала бабушка:

-- Что у вас за привычка говорить шепотом, словно вы боитесь; говорите громко, как и все.

И не на мне одном отразилось это стран-

ное, как будто желчное расположение духа: за пустяки какие-то рассердилась она на свою девушку; купаться перестала ходить, и напрасно я звал ее в сад.

-- Зачем в сад? -- отвечала она, стоя на балконе, и вслед за этими словами, как бы назло мне, уходила в задние комнаты.

"Неужели, -- думал я, -- Аграфена Степановна ее испортила?"

В самом лице ее произошла перемена: она похудела в четыре дня так, как будто была больна целую неделю. Напрасно я спрашивал ее: что с ней? здорова ли она? Лиза отвечала с досадой:

-- Разве вы не видите, что я здорова!

Наконец, однажды в сумерки, я застал ее одну в гостиной; она сидела в креслах бледная, как мрамор, и, приподняв брови, смотрела в угол на образ божьей матери, и, быть может, внутренно молилась. Этим образом когда-то благословили покойную ее мать. Когда я молча сел против нее в другое кресло, она опустила глаза и посмотрела мне в лицо с такой сокрушительной грустью, что у меня сердце сжалось и чуть-чуть не покатились

слезы. "Боже мой, -- подумал я, -- что случилось и отчего она в несколько дней переменялась так, что я едва узнаю ее?"

-- Кузина, отчего вы так грустны?

-- Не понимаю, из чего вы это заключаете,-- отвечала она.

-- Не сказал ли он вам, что скоро уедет или что-нибудь...

-- Ну, да, да, оттого! -- проговорила она, быстро обернувшись с тревогой на лице и как будто испугавшись, что меня подслушали!

-- Не спрашивайте меня...-- она встала и заглянула в дверь,-- сделайте милость, не спрашивайте, вы знаете все, и больше нечего знать.

На другой день после такого странного разговора Лиза показалась мне еще страннее: целый день сидела за работой, смеялась надомной, говорила, что придется мне скоро ехать в город.

-- А вы,-- спросил я,-- скоро ли к нам придете?

-- Я не люблю города,-- отвечала она с гримаской,-- что там? пыль, камни, стукотня, избави бог, какая скука!

-- Неужели вам здесь лучше?

-- Несравненно лучше!

Я ушел, кажется, к Кате варенье есть, потом -- это уж было вечером -- нашел в саду Хохлова с Андрюшей, присоединился к ним, отведал, поспели ли яблоки; одно из них зашвырнул, другое покатыл вдоль дорожки. Нагулявшись, почти усталый, шел я вместе с ними домой, то есть на балкон, вдруг навстречу нам Лиза.

-- А! -- сказала она; это "а!" вылетело как будто из больной груди, но лицо ее казалось спокойным.-- Вы куда?

-- Домой, устали.

-- А я так засиделась, целый день сидела, так хочется побегать. Догоните меня.

И с этим словом, как серна, бросилась она в куртину, я за ней, Андрюша также. Но он упал и заохал. Я один в кустах догнал ее, и не знаю, кто кого поймал за руку -- я ее или она меня.

-- Отнесите,-- сказала она, страшно запыхавшись; грудь ее так сильно поднималась, что она едва выговорила: -- Сейчас, к Скандинавцеву!

Бумажка, свернутая и запечатанная облаткой, мигом очутилась в руке моей; я сжал ее.

Поцеловав кузину в плечо, как верный ее раб, и не сказав ей ни слова, я побежал, наткнулся на Андрюшу и остановился, чтоб не показать ему вида, что я бегу с намерением.

-- Что, поймали? -- спросил он.

-- Еще бы? Как раз поймал.

-- Куда ж вы?

-- Да руку обжег крапивой.

-- О! больно обожгли, покажите.

-- Вот еще, показывать!..

-- Андрюша не поймал меня, ему стыдно, -- сказала Лиза, поправляя на голове гребень.

-- Смотри ты! -- сказал мне Хохлов, заложив руку за пазуху.

-- Не твое дело, -- сказал я Хохлову и пошел сперва шагом, потом рысью; чтоб не оглядеть сада, я перелез плетень и очутился на гумне, оглянулся, не видят ли меня из окна дома, юркнул между скирд и вышел на ту дорогу, по которой тому назад недели полторы мы шли из роци. Я не шел -- летел, я не чувствовал усталости и в пять минут уже был на

полдороге к мельницам. Душа моя ликовала, сердце стучало шибко, как будто нечто необычайное случилось. Она удостоила-таки меня своего доверия, поняла-таки наконец, что я могу быть бескорыстно предан ей... да, пусть меня истерзают до полусмерти, если выдам тайну милой Лизы.

Так или почти так восторженно думал я, быстрыми шагами приближаясь к знакомому мне палисаднику.

-- Отоприте, эй, кто там! -- закричал я в калитку.

Пижон залаял. Слава богу, подумал я, он дома: я так боялся, что его дома нет.

Мальчик, одетый казачком, пришел отодвинуть засов и впустил меня.

Я застал Скандинавцева стоящим посреди комнаты с расставленными ногами и в охотничьем картузе. Он как будто пол разглядывал, о чем-то крепко думал.

-- Пойдемте в палисадник,-- сказал я, заметив мальчика, который стоял у дверей,-- мне нужно сказать вам два словечка.

Он с любопытством посмотрел мне в глаза, и мы вышли.

-- Что такое, молодой человек? -- сказал он, обогнув рукой мою голову.

-- Записочка.

-- А! От кого?

-- От кузины,-- шепнул я, вспыхнув.

-- От Лизаветы Антоновны, ну, давайте.

Он взял записку, развернул ее, прочел менее чем в одну секунду и положил в боковой карман.

-- Ну,-- сказал он, подумавши,-- скажите ей, что ее просьба будет исполнена.

-- А вы не напишете?

-- Если можно не писать, так зачем? Ну... а признайтесь,-- прибавил он,-- ведь влюблены в кузину, а? признайтесь!

Подобной шутки в эту минуту я не ожидал от Скандинавцева. "Как,-- подумал я,-- считать меня таким дураком!"

-- Если б я не был к ней равнодушен, я бы не понес к вам ее записочки.

-- Э! да какой же вы мастер отвечать, право, мастер! ай да молодой человек! я от вас не ждал... хотите чаю?

-- Нет-с, не хочу.

-- Да вы еще, кажется, и сердитесь. Вам,

быть может, хочется непременно и от меня отнести записку.

Мне действительно этого сперва хотелось, и я удивляюсь, как Скандинавцев мог так вдруг понять мое желание, даже и во мне то шевельнувшееся бессознательно.

-- Ничего мне не хочется,-- сказал я,-- ничего! Прощайте! Я расскажу ей, как вы принимаете от нее...

-- Что! Договаривайте! Скандинавцев усмехнулся.

-- Что вы вовсе не рады.

-- Чему?

Он опять усмехнулся.

-- Как будто я не знаю. Если б вы видели, как она переменилась, как страдает, это я один... один я вижу. Быть может, ее терзает мысль, что вы скоро уедете,

-- Да кто же вам сказал, что я скоро еду? Я еще целый месяц пробуду здесь. Об этом ей нечего беспокоиться.

-- Вы ее не оставите? Не правда ли? -- начал я говорить сквозь слезы и невольно схватив его за руку, как будто от него в эту минуту зависело решение судьбы Лизы.

Скандинавцев изумился такому с моей стороны движению.

-- Вы добрый мальчик! -- сказал он, подумав и уже совсем не тем голосом, каким говорил со мной за минуту,-- но,-- продолжал он,-- вы меня не знаете, утешьтесь! Кузина ваша, если захочет, будет счастлива.

Я воротился совершенно успокоенный; и кого бы не успокоили последние слова, так утвердительно и с таким достоинством произнесенные? В тот же вечер, после ужина, Лиза вышла на балкон, я за ней.

-- Мне велено передать,-- шепнул я Лизе,-- что все будет исполнено.

Ни слова на это не сказала мне Лиза, только, уходя спать, в дверях балкона пожала мне тихонько руку. Ее рука была холодна, как лед.

-- Он сказал,-- добавил я,-- что вы будете счастливы! Чудный человек!

-- Я простудилась немного,-- сказала Лиза вслух,-- с вечера хочу напиться малины и, чтоб согреться, накроюсь салопом.

-- Простудилась, простудилась, а стоит на сквозном ветру,-- сказала Аграфена Степанов-

на,-- пора спать,-- добавила она, взяв со стола в гостиной свечу, и удалилась в спальню...

Лиза ушла вслед за ней, и дверь за ней затворилась.

Моя ребяческая неопытность много нелепых слез и горя приносила мне, но зато иногда и дарила меня минутами в высшей степени отрадными. Радоваться было нечему, а я заснул весело и весело проснулся, не предчувствуя, что буду плакать.

Хохлов также проснулся, и мы оба не могли понять, отчего Демьян не несет нам сапогов, которые, подобно моему Михалычу, любил он с вечера забирать и до утра уносить в переднюю.

-- Что он нейдет? Черт его знает! -- сказал я с досадой.

-- Знаешь что? -- сказал Вася.

-- Что?

-- А то, что нынче чем свет приходила к нам Аграфена Степановна.

-- Что ты? Со сна тебе, что ли, это показалось?

-- Нет, не показалось, я видел.

-- Что ж она тут делала?

-- Постояла на пороге и ушла.

Бог знает почему это меня беспокоило. Долго я рассуждал, что б это значило? Уж не белая ли женщина приходила к нам?

Пришел наконец Демьян. Лицо его было нехорошо, походка также как будто не его; не говоря ни слова, он опустил сапоги наши на пол.

-- Что случилось? -- спросил я Демьяна.

-- Да что, сударь! -- отвечал он.-- Эх!

И, махнув рукой, он проворно вышел. Его кто-то позвал.

Живо я умылся, без посторонней помощи оделся и вышел на двор. Лицо женщины, перебежавшей в кухню, захлопнувшаяся где-то дверь, чей-то плач в девичьей--все изобличало что-то непонятное: испуг не испуг, беспокойство не беспокойство, что-то такое, что меня сразу охватило каким-то тяжелым предчувствием.

Я вбежал в дом. В передней стояли староста и садовник. В зале мрачный, как ночь, стоял сам Хрустин и, заложив руки за спину, глядел в окно. Так глядел, "как будто наступет страшный суд", по выражению Гамлета.

"Боже мой,-- подумал я с ужасом,-- верно, кухня скончалась".

-- Негде ей потонуть, негде! Это не может быть, незачем ей было этого салоп брать! -- проговорила вдруг вошедшая Аграфена Степановна. Голова ее тряслась, руки делали какие-то странные жесты,

-- Ну, а не потонула, так что ж? -- сказал Хрустин, сурово повернувшись к ней всем туловищем.

-- Что?.. притворщица!.. Ишь как! больной притворилась, покрой ее салопом, больна!.. Что такое это вчера она говорила вам на балконе?-- спросила старуха, устремив на меня серые, лихорадочные глаза свои.-- Я ведь все слышала. Вы ведь были охотник шептаться-то с ней, шептун! Я испугался и побледнел.

-- Что ж вы, батюшка, молчите?

-- Я не знаю, что такое.

-- А то, что с шести часов утра ищет ее весь дом, вся деревня, а ее нет.

-- Она мне вчера говорила,-- сказал я,-- что она больна, больше она мне ничего не говорила.

-- Найдется,-- пробормотал Хрустин,-- а

выйдет замуж, так и слава богу.

-- За какого-нибудь негодяя, сквальгу! Да и кто ее возьмет без приданого! Так шляться будет... вешаться...-- кричала Аграфена Степановна.

Хрустин перекрестился, пошел в кабинет и, как кажется, все предоставил богу и времени.

Первая мысль, которая пришла мне в голову, была та, что бедная Лиза увезена Скандинавцевым. Чтоб убедиться в этом, я во что бы то ни стало намеревался посетить его. Мне казалось странным, отчего в целом доме никто, даже сама Аграфена Степановна, ни разу не произнесли имени Скандинавцева, тогда как он жил не за горами, а Демьян даже и подозревал, что он ухаживает за барышней; это очень меня беспокоило, очень! Демьяна я не мог спросить, потому что он уехал с людьми на лодке для расспроса на барках, на паромах, в мелких деревушках, не видать ли где каких следов? Хохлов что-то такое думал и смотрел на меня с каким-то особенно строгим выражением, но молчал. Горничной Лизы мне бы-

ло жаль больше, чем самого Хрустина... одним словом, мучительный, страшный час пережил я в этом доме, прежде чем решился идти к Скандинавцеву.

К одиннадцати часам утра я не вытерпел и пошел к нему; боялся не застать его, шел нерешительным шагом и боялся, что вот-вот сейчас увидят меня, вернут, начнут опять спрашивать: куда я, зачем и почему?

Калитка в палисадник была отворена (уж не была ли здесь Аграфена Степановна?); я вошел на террасу и осторожно стал отворять дверь в комнату. Пижон зарычал, и это одно уже потрясло мои нервы.

Скандинавцева я застал в постели; он спал непробудным сном, свесив руку, глубокомысленно расширяя ноздри и шевеля бровями. Я сел подле него на стуле. Пижон, закусив губу, из-под стола смотрел мне в лицо и, перекосивши морду, казалось, меня о тем-то спрашивал. Увы! что мог я отвечать ему? Мне стал представляться труп девушки, пойманный рыбаками и , распростертый на песчаном берегу, стало представляться, что этот спокойно спящий юноша -- злодей, виновник

ее погибели, и я... готов был помогать ему! Я заплакал.

Спящий махнул рукой и уронил трубку.

-- Сергей Иваныч! -- сказал я не без усилия над самим собой.

Скандинавцев проснулся, приподнял голову, зевнул и, усмехнувшись, спросил меня: о чем я плачу?

Я встрепенулся и в немногих словах рассказал ему, что случилось.

-- Так неужели утонула? -- спросил он.

-- Ну да, что ж больше! -- отвечал я, утирая слезы.

-- Жаль! Славная была девушка! Эй, Митька, готов ли чай! Да набей-ка трубку!

Мы посмотрели друг на друга -- я с ужасом, он с легкой усмешкой.

-- Эх, как я проспал,-- сказал он, взглянув на часы, висевшие над кроватью на стене, обитой ковром.-- В деревне так не годится спать.

И он встал, надел туфли, халат и раскурил трубку, набитую мальчиком.

-- Так неужели в реку бросилась? -- спросил он снова, затянулся и пустил клуб дыма.

Я уж и отвечать не мог.

-- Успокойтесь, молодой человек,-- сказал он наконец, поглядев на меня раз десять сряду, как бы любуясь моим отчаянием, -- успокойтесь! все хорошо! Никто не утонул! Успокойтесь!

-- Помилуйте, как я могу...

-- Мне говорить вам теперь неловко.-- И он взглянул на дверь, за которой Митька наливал чай.-- Ну, а если вы не разучились читать, а главное, если вы скромный молодой человек, прочтите, я вам дам письмо.

Я взял письмо, вынутое им из шкатулки, и прочел:

"Друг Сергей!

Последняя записка Л. меня и волнует, и радует. На 27 июля, как сказано, я буду в лодке на известном тебе месте в два часа ночи. Сестра моя будет в экипаже, по ту сторону Оки, у пустых хлебных сараев. Матушка моя подождет нас на станции, у знакомого ей станционного смотрителя. Если ночь будет бурна, не жди -- жди в следующую ночь. Если Л. не решится -- бог с ней! Я во второй раз сва-

таться не буду, потому что знаю, это бесполезно. Хрустин же сказал мне, что он рад, стало быть, в чем препятствие? Обнимаю тебя, прощай. Эту записку доставит тебе тот самый отставной актер, с которым ты на охоту ходишь. Распоряжайся и с своей стороны. Я в тебе уверен. До свидания, остаюсь твой друг П. С."

-- Неужели? Самоситов?! -- воскликнул я, не веря глазам своим.

-- Он и есть, а вы почему знаете?

-- Я слышал, скажите... как это? ах, как это странно! Хороший ли он человек? Как бы мне увидеть его? Где же это он ее видел?

-- Он уже четыре года ее любит без памяти. Ваша кузина была в пансионе у мадам Фляком, а эта мадам Фляком была когда-то гувернанткой у его сестры, Марьи Петровны. Марья Петровна познакомилась с Лизой, ну, и брала ее к себе по воскресеньям. Вот и все... а я был его товарищем, знаю его характер и все благородство души его. Они обвенчаются, не спросясь у вашей Аграфены Степановны, и прекрасно сделают...

Что еще скажу я в заключение? Хрустин дня через два узнал от меня все. Сначала он так дико на меня посмотрел, как бы не доверяя словам моим, что я испугался за свою нескромность; но потом таинственно, как соучастник мой, с полустрогим и с полушутливым выражением в лице и в голосе, подозвал меня к себе, погрозил пальцем и сказал: "Смотри, повеса, ничего не говори Аграфене Степановне".

Медный лоб самого низкого сорта

Рассказ несовременный

I

У Христофорского Мокея Трифоныча случилось маленькое несчастье: прачка потеряла носовой платок.

Трофим, нечто вроде дворника и в то же время нечто вроде слуги Мокея Трифоныча, стоял по этому случаю спиной к двери и, надувши губы (и без того толстые), упирал глаза

свои в затылок своего огорченного барина. Скуластое лицо его было покрыто сумраком негодования.

Был поздний час утра.

Барин, сухой и длинный, на длинных йогах, как на жердях, стоял у комода спиной к Трофиму и то из комода на комод, то с комода в комод перекладывал белье свое. На ногах его были узенькие брюки верблюжьего цвета, на спине крест-на-крест рисовались подтяжки, на сухощавой шее, сверх повязанной манишки с высокими стоячими воротничками, не было галстука. Христофорский только что начал одеваться...

Трофим, сутулый и плечистый, был в тулупе и в смазных сапогах, ибо на дворе был еще местами снег, а на улицах грязь, хоть и веяло уже весенним воздухом. Впрочем, Трофим, не боявшийся никаких морозов, почему-то иногда и летом ходил в тулупе, вероятно, потому же, почему и медведи летом не скидают с плеч своих медвежьей шубы.

Барину было около 27 лет; Трофиму под сорок.

Трофим, угрюмый на вид, был в полней-

шем смысле слова неотесанный добряк, много на своем веку испытал всяких невзгод, остерегался и боялся всего на свете, в особенности господ, но одного только не боялся -- не боялся своего нового барина, Мокея Трифонича. Готовый на услуги всем и каждому, он никак не мог угодить одному только Мокею Трифоничу, несмотря на то, что от этого господина зависела, так сказать, вся жизнь его, все его земное пропитание. Мокей Трифонич мог сменить его и найти другого слугу, разумеется, мог это сделать не иначе, как с согласия купца и почетного гражданина Степана Степановича Баканова, у которого нанялся он служить при кладовой, куда приносилась, привозилась и отдавалась на сохранение, за известный процент, всякая движимая собственность. Христофорский обязан был выдавать билеты, вести книги, записывать приход и расход и за все это получал от Баканова: квартиру, состоявшую из одной комнаты с перегородкой, дрова, свечи и 25 рублей месячного жалованья, вдвое больше того, что получал он в казенной палате, где был записан в качестве канцелярского чиновника. Но жалова-

нье Трофиму шло по пяти рублей ежемесячно от того же Баканова. Таким образом, и услуги Трофима ему, Христофорскому, ничего не стоили. Христофорский гордился своим завидным положением.

Пересмотревши все метки и пересчитавши во второй раз все белье свое, Христофорский принялся окончательно его укладывать.

Нет как нет клетчатого фулярового носового платка, подаренного ему купчихой Забираевой, в то еще время, когда он азбуке учил ее сынишку и получал подарки к праздникам, -- нет как нет!

-- Ты мне где хочешь, а подавай платок, -- заговорил Христофорский в нос, не оборачиваясь и продолжая укладывать остальные платки.

-- А где я его возьму, -- отозвался Трофим, ухватившись за скобку двери.

-- Эдак-то вы меня с вашей прачкой-то всего обокрадете...

Трофим вытаращил глаза, молча мотнул раза два головой, очевидно, хотел из лица своего скорчить какую-то гримасу, но гримасы никакой не вышло... Личные мускулы с

непривычки отказали ему в повиновении, только губы с большей энергией выступили вперед и еще больше надулись.

-- А на что мне ваш платок? -- проговорил Трофим.

-- На что! Подарил кому-нибудь, а не то пропил. Знаю я вас -- да-а!

-- Да-а! а кому я носовой платок подарю?

-- А почему я знаю... бабе какой-нибудь... а не то фабричным продал... Мало тут всякой сволочи, почему я знаю!..

При этом Христофорский осторожно задвинул ящик, зазвенел связкой ключей, и комод был заперт.

После этого Христофорскому больше ничего не оставалось делать, как только сесть на стул.

Он гордо сел на стул, расставил свои ноги и обеими руками оперся о свои тощие колена, как бы собираясь экзаменовывать или допрашивать подсудимого.

-- Ну, где ты мне теперь платок возьмешь? А?..-- спросил он Трофима, задумчиво скосивши на сторону длинный, совершенно птичий нос свой, и совершенно спокойным

ГОЛОСОМ.

-- А не знаю, где я вам платок возьму, -- отвечал Трофим, тоже совершенно спокойным голосом.

-- Ну, -- поковыривши в ухе пальцем и не поднимая глаз, сказал Христофорский, -- не знаешь, так и хорошо. Платок этот стоил мне карбованец, то есть рубль серебром, ты уж так и знай.

-- Чего? Ваш платок-то и тридцати копеек не стоит. Горячиться-то не из чего. Да!..

Трофим смутно понял намерение своего барина и явно был задет им за самое живое место, но он ошибался: Христофорский не горячился, он только вытянул ноги и еще ниже опустил глаза.

-- Ты уж так и знай! -- повторил Христофорский, в свою очередь задетый за живое, и на впалых Щеках его, оттененных реденькими баками, выступил румянец.

-- Да чего знать-то!..

-- По-твоему, тридцать копеек, а по-моему, рубль: я за него в городе заплатил рубль, потому что он как есть шелковый, значит, я за него рубль и вычту из твоего жалованья...

Губы Трофима надулись до такой степени, что Дрожали и готовы были лопнуть, глаза его также уставились на Христофорского.

-- Ну, ступай, и нечего тебе тут стоять!..
Ступай!

-- Да что ступай, помилуйте!

-- А за что мне тебя миловать?

-- Да как за что? Я вам сам другой платок куплю. Что вы?..

-- Мне теперь другого не надо, украли так украли, с кем греха не бывает, вычту, да и все тут...

-- Да из чего вычитать-то. А! Разве я потерял его? Уж коли того -- так с прачки и взыскивайте.

-- Ты с прачки и взыскивай. Мне-то что?

-- Да помилуйте!

-- А за что мне тебя миловать!

-- Жалованье-то не от вас идет. Я...

Христофорский окончательно весь покрылся румянцем. Он минуты две водил глазами по полу, как бы не решаясь взглянуть на губы Трофима, очевидно, негодующие. Он только покосился на них и вполголоса отдал приказание набить ему трубку.

Трофим, не переставая глядеть на барина, обошел комнату, достал в углу чубук и стал неистово продувать его.

-- Эдак, сударь, не делают, за двадцатикопеечный платок рубли высчитывать,-- мягким голосом заговорил Трофим, набивая трубку.

-- Ну, ну, не делают! Вас не штрафуй, так и без сапог находишься.

-- Это, сударь, того, выходит...

-- А разве ты не знаешь, -- сказал барин, величаво одной рукой принимая трубку, а другой подбоченившись,-- что от меня зависит завтра же прогнать тебя.

-- Я и сам другое место сыщу.

-- Ну, хорошо, ищи себе, свищи! Хорошо! Ты мне одной своей гармоникой надоел. Вот ты у меня поиграй, попробуй, когда я спать хочу!

-- Поиграю! -- мотнув головой и подавая Христофорскому спичку с огнем, решительно сказал Трофим.-- Ей-богу, поиграю!

-- Не смеешь!

-- Ей-богу!

-- Ну, попробуй...

-- А попробую...

-- А вот только попробуй... Га!.. Как!.. как ты смеешь!.. Как ты мне смеешь так отвечать? А!.. -- воскликнул Христофорский, вскочив со стула, как укушенный, вытянувшись в повелительную позу и приподняв чубук. В узеньких серых глазах его, под двумя закавыками таких же маленьких бровей, сверкнул гнев, верхняя губа ушла под нос, нижняя приподнялась кверху.

-- А, ей-богу же, попробую! -- с легкой дрожью на губах, еще решительнее отвечал Трофим.

-- По... по... пошел вон... болван! скотина! черт! вон пошел!.. -- закричал на него Христофорский, протянувши к двери указательный палец.

Трофим еще раз побожился и вышел вон...

Христофорский с минуту постоял в той же повелительной позе, с приподнятым чубуком, потом прошелся по комнате.

-- Ага, струсил! Видно, я не свой брат! -- подумал он, и стал насасывать чубук, но дыму не оказалось: весь табак с огнем и пеплом

просыпался на пол... Христофорский присел на корточки и стал подбирать его. Тут случилось новое маленькое несчастье. В его помощках оказалось не довольно растяжимости, сзади оборвалась пуговица и покатилась под комод. Христофорский не без труда отыскал ее, заперся, стащил с себя брюки, достал иголку с ниткой и сам пришил костяжку...

Потом он надел халат и целый час ничего не делал, сидел на диване, курил Жуков табак и мечтал.

II

А мечтать -- это было любимым его занятием. Почтенный Мокей Трифоныч был отчасти счастливый смертный.

"Ведь таких умных людей, как я, на свете не много,-- не шутя думал про себя Мокей Трифоныч,-- потому что я все могу... все... стоит только мне захотеть"; тут Христофорский мечтал, что, поступи он на сцену, будет лучше Мочалова и лучше всех актеров; купи красок, натяни холст и начни малевать, выйдет картина не хуже тех, за которые большие

деньги дают; достань лексикон рифм, напишет стихи, да такие, что Пушкина заткнет за пояс, а вздумал волочиться -- беда! никакая мадам не устоит -- будь хоть принцесса... стоит только захотеть!.. Ну, не счастливый ли смертный! и добро бы еще он трудился и что-нибудь пробовал, ничуть: от роду не брал в руки кисти, никогда не выдумал ни одного стиха, и ни одной интриги не сумел свести ни с одной горничной... Откуда же была в нем такая уверенность, это уж бог его знает.

Расскажу в самых коротких словах всю жизнь его: Христофорского Макашу родила сорока лет от роду мелкопоместная харьковская дворянка, тоже Христофорская, и, родивши его, позабыла свое горе. Муж ее, Трифон Трифоныч, прапорщик отставной, умер ровно нехонько за девять месяцев до рождения Мокея Трифоныча. Утешившаяся вдова повезла своего первенца показывать знакомым ей зажиточным помещицам, начиная с кумы, уездной предводительши, и кончая женой отставного поручика; таким образом, младенец Мокей до семилетнего возраста своего путешествовал за хвостом своей маменьки из се-

ла в село, от двора к двору и проживал вместе с нею на хлебах, то у одной благодетельницы, то у другой. Младенца Мокея считали все дурачком: тешиться над ним было у иных деревенских барышен-зубоскалок одним из лучших препровождении времени, но маменька маленького Мокея была в постоянном от него умилении; она, сама того не замечая, отдавала его на всеобщее посмеяние: так, например, не раз она заставляла его при всех петь песню, которой бог знает какой чудак его выучил. Песня эта начиналась словами:

Шильники,
Мыльники,
Обдувалы,
Объедалы!..

Доходила до каких-то не совсем правильных выражений и кончалась выразительным восклицанием: "бу!.."

При этом "бу!" Макаша надувал щеки и кончал песню, клюнувшись носом вперед, при всеобщем хохоте. Маменька была больше всех в восторге, особенно, когда вслед за по-

техой давали ее сынишке орехов или пряников.

Макаша любил орехи и пряники, но маменька учила его не все съесть, а прятать и копить до поры до времени. Мальчик, убежавший от азбуки, как от чумы, слушался своей маменьки и учился бережливости.

Как он добился или, лучше сказать, как добились от него, чтоб он выучился грамоте, это рассказывать -- длинная история: тух дело не обошлось, во-первых, без ума предводительши, которая на целую зиму оставила его у себя, как крестника; во-вторых, не обошлось без немца, который учил детей ее по-русски, и, наконец, в-третьих, не обошлось без розог, которыми он сёк Макашу в поощрение своих прочих воспитанников.

Но не одни розги его выучили, что розги! розгами он даже хвастался. "Э! девки, -- говорил он, входя в девичью. -- Как меня отодрали! у! никого так не драли!..". Нет, больше всего глупые внушения его матери помогли ему...

-- Ючись, гаюбчик! -- говорила она, картавя и заливаясь слезами, -- ючись! выючишься,

генерал будешь... а не выючишься и генералом, никогда ни ни -- никогда во веки веков не будешь!

Макаше очень хотелось быть генералом, и он в грехом пополам нет, нет, да что-нибудь и выучит...

Наконец, 11-ти лет поступил он в 1-й класс гимназии, а 17-ти лет был выключен из пятого класса за неспособностью. Семнадцати лет Христофорский уже не был дурачком, он был уже взрослым болваном, и трудно понять, отчего был в пренебрежении у всех своих товарищей, от того ли, что он ко всем лез и всем надоедал страшно, от того ли, что хвастался всем, чем не только можно, но чем, кажется, и не можно хвастаться -- своим развратом, хвастался тем, что маменька его боится, или, например, тем, что он однажды, до такой степени щипал какую-то кухарку, что та его прибила, чуть ухватом его в зубы не ударила, и тому подобное. Были и такие товарищи, которых хвастовство Христофорского потешало. Впрочем, бывали и такие минуты у Христофорского, когда он, рассказывая что-нибудь, вдруг краснел и обнаруживал смущение.

Исключение из гимназии было страшным ударом для его самолюбия. Он побожился, что через год или два поступит в университет и всех обгонит: он достал все нужные для этого книги, много тетрадей переписал сам своей рукой и потом изредка, лежа у себя на квартире, кое-что перечитывал, но какое это было чтение! Он отдыхал после каждой страницы, воображал, что все знает, и курил трубку.

С треском провалившись на вступительном университетском экзамене в Харькове, Христофорский опять пришел в сильное смущение. "Это все вздор!-- сказал он про себя,-- меня не надуешь! Я знаю не хуже других, все прочел... Нет! я им докажу!.. Я не глупее их! Черти!" И вот, в одно прекрасное утро решил он и выкинул такую штуку, что не всякий и поверит: не простившись с матерью, как некогда Ломоносов из Архангельска, Христофорский из Харькова отправился с подводами -- да, чуть не пешком -- в Москву, с намерением учиться, вполне убежденный, что его с распростертыми объятиями примут в медицинскую академию (тогда еще была в Москве

медицинская академия).

Кое-что почитавши, в особенности повторивши латинские склонения, Христофорский смело явился в Москве: на экзаменах, говорят, смелость города берет,— увы! Христофорскому и на этот раз не посчастливилось, так сказать, с бою взять студентское звание. Он черт знает, что отвечал; отвечал, что Полтавская битва была при Иване Грозном; отвечал, что земля сжата под экватором жарким поясом; отвечал, что Пушкин будто бы написал "Душеньку" Богдановича, одним словом, всех смешил, но отходил от экзаменаторов с уверенностью, что ответил великолепно. Этому, конечно, не поверят читатели, тем более, что Христофорский после всякого экзамена был часа два красен, как рак, и все потел. Неужели же, спросят меня, он не сознавал своего невежества? Не сердиты ли вы на него, г. автор? но автор, несмотря на то, что кровь бросалась в лицо Христофорскому, видел на губах его такую самодовольную, такую неизменно самоуверенную улыбку, что скорее готов вообразить себе Христофорского полупомешанным, чем сознающим свое тупоумие и

крайнюю умственную несостоятельность; доказательством этому может служить и то, что Христофорский не себя обвинял, а профессоров, которые будто бы нарочно хотели сбить его, и задавали ему самые трудные вопросы, такие, каких и на билетах нет, да не только на билетах, но даже и в книгах нет. Итак, чем смеяться, лучше пожалеть о Христофорском. После неудачных экзаменов он остался в Москве с одним только двугривенным и чуть не умер с голоду, но кривая и тут его вынесла. Сначала он примостился к какому-то студенту Н-ко, старому харьковскому знакомцу, с которым он когда-то в детстве, на каком-то лугу змейки пускал. Студент Н-ко сначала принял в нем участие, но потом не знал, как от него отделаться: Христофорский каждый день с утра стал приходить к нему, в его отсутствие лежать на его кровати, курить его сигары, торчать с самодовольной улыбкой на сходках его товарищей и по временам выпрашивать у них деньги. Последнее извиним ему, потому что он действительно часто голодал или питался одним только чаем, тем более извиним, что такое выпрашивание совершенно пре-

кратилось, когда Н-ко нашел ему урок у купчихи Забираевой, где-то далеко за Москвой-рекой.

-- Слушай, -- сказал ему Н-ко,-- даю тебе этот урок с тем, чтоб только ты никогда больше не приходил ко мне.

Христофорский отвечал, что он постарается.

-- Ты такая деревяшка, -- нецеремонно сказал ему Н-ко на прощание, -- что на тебя, братец ты мой, смотреть противно.

Христофорский не поверил, что он деревяшка, но стал ходить давать уроки, то есть учить азбуке сынишку г-жи Забираевой.

Тут счастье повезло ему. В доме купчихи поверили и тому, что он все науки превзошел, и что все экзамены выдержал, и что маменька его такая помещица, у которой в саду одних яблоков в год собирается возов на двести. Христофорский как будто в рай попал, стал ходить в этот дом и утром, и к обеду, и вечером. Получал еще за это подарки к каждому двенадцатому празднику от самой г-жи Забираевой и, наконец, вообразил себе, что она, то есть сама г-жа Забираева Акулина Фе-

доровна, женщина уже довольно пожилая, вдова солидная и богомольная, влюблена в него без памяти и что она прочит его себе в мужья. "Это неизбежно", -- думал про себя Христофорский,

-- Я скоро буду очень богат, -- сказал он студенту Н-ко, когда нечаянно столкнулся с ним на Тверском бульваре.

-- А что, разве наследство скоро получишь?

-- Нет, не наследство! -- задумчиво возразил Христофорский, как бы озадаченный новой для него мыслью: "А ну, как я и взаправду получу наследство?"

-- Так что же, коли не наследство?

-- Наследство еще я не скоро получу,-- сказал Христофорский, -- нет! а вот что я тебе скажу: одна богатая влюблена в меня.

-- В тебя! Ах ты чучело! -- сказал Н-ко и пошел своей дорогой, заломя шапку набекрень и не протянув даже руки счастливому смертному.

Говорят, будто люди с сильным воображением бывают обыкновенно люди очень умные; если это так, то Христофорский был

умнее, чем мы с вами, добрые читатели, ибо воображал себя постоянно героем какого-то, хоть и мелкого и даже пошлого мира. Но твердо ходил он в этом мире на ходулях своего самолюбия. Вполне обладая медным лбом, самым завидным из всех ныне существующих, он смело мог рассчитывать на блистательную карьеру. Но иногда этот медный лоб и звенел, ударившись в какой-нибудь рожон, и далеко звенел. Таким рожном совершенно для него неожиданно явилась вдруг добрейшая купчиха Забираева.

Раз, на масленице, после блинов с икрой, семги, хересу и других душеспасительных снадобий, Христофорский подсел к Авдотье Федоровне, потер руки и спросил ее, знает ли она, что он уже чиновник, что ему, наконец, удалось поступить в казенную палату на службу царю и отечеству.

-- Ну, дай бог! Дай бог! -- сказала купчиха Забираева, преодолевая сладкую дремоту и улыбаясь приветливо.

-- Теперь бы мне и жениться не мешало бы,-- сказал Христофорский, подбоченившись и улыбаясь двусмысленно.

-- А кто те мешает, отец мой, коли охота есть; только было бы чем жену содержать.

-- Да у моей невесты есть дом, состояние, лабаз на Полянке.

-- Ну, дай бог! Дай бог! А кто она такая, коли не секрет? -- спросила купчиха не без любопытства, но совершенно спокойным голосом, даже собиралась зевнуть.

-- Кто моя невеста? Гм! Вы! -- брякнул ей Христофорский и покраснел, как рак.

Хозяйка вытаращила на него глаза.

-- Что ты это...-- начала было она и не договорила, испугалась; ей вообразилось, что Христофорский с ума сошел. "Чего доброго еще какого-нибудь скандалу наделает"...

Встала она, вышла, не говоря ни слова, и заперлась, в образной, даже к обеду боялась выйти и вышла не прежде, как удостоверилась, что Христофорский, просидевши целый час у окна в зале, ушел.

На другой день Христофорский через лавочника получил от г-жи Забираевой пятнадцать рублей, и от уроков ему отказано.

-- А! Понимаю! -- сказал себе под нос Христофорский, проводив лавочника, плотного

парня, с синим отливом на румяных щеках.

Но что в эту минуту понимал Христофорский, это осталось покрыто мраком неизвестности.

III

В казенной палате стал он заниматься перепиской бумаг за очень ничтожное жалованье. Рука у него была хороша, совершенно писарская; букву за букву выставлял он довольно медленно, но зато красиво. Ему давали переписывать отчеты. Нужда имела влияние на некоторые стороны его характера: он сделался гораздо трудолюбивее и даже как будто трусливее, лицо его все более и более стало выражать нечто вроде конфуза. Он уже перестал высказывать вслух свои гордые надежды, намерения и предположения, но не отстал от своей привычки надоедать своим никому не нужным присутствием. Стоило ему забраться в чей-нибудь дом хоть на 10 минут, чтоб обратиться надолго в постоянно-го посетителя, особливо если в этом доме пекут пироги, подают кофе и есть хоть тень то-

го радушия, которым когда-то отличалась Москва. В иных семействах ни крестом, ни пестом нельзя было от него отделаться. Квартиру нанимал он на Плющихе у какой-то прачки, платил ей три рубля в месяц... Вообще природная бережливость, даже скупость помогли ему не тратить в месяц более 10 рублей, и в несчастные для него дни, то есть когда ему некуда было идти обедать, он отправлялся на толкучку и там с лотков наедался всякой дряни... разумеется, это делалось в припадках такого волчьего аппетита, который на волосок граничит от настоящего голода.

Год шел за годом, судьба Христофорского не улучшалась; знакомых было у него множество, но никто на уроки не хотел рекомендовать его; изредка давали ему кое-что переписывать и платили; он не отказывался ни от какой платы и работал.

Судьба, наконец, над ним сжалилась. Услыхал он где-то мельком, что есть очень богатый купец и почетный гражданин Баканов, который что-то сочиняет. Христофорскому пришла в голову счастливая мысль: он обхо-

дил многое множество лавок, расспрашивая, где живет Баканов, и так как язык может даже до Киева довести, то и довел его этот язык до хоро́м купца Баканова.

Счастливая мысль натолкнула на счастливый случай. У Баканова была именинница дочь Саша, и Баканов только что был осыпан ее мягкими теплыми поцелуями за бриллиантовую брошку, которую нашла она, проснувшись, на своем туалетном столике. Поцелуи взрослых дочек имеют магическую силу разглаживать морщины на челе их пожилых папенок.

В такую-то минуту доложили Баканову, что пришел-де какой-то Христофорский.

-- Кто бишь это такой! Не помню, -- сказал Баканов, -- а пусть войдет, поглядим на Христофорского. Позвать к нам г-на Христофорского!

Уже в самом тоне этого голоса слышалось светлое расположение духа.

Христофорский перешагнул порог в дверях кабинета Баканова (так Юлий Цезарь некогда перешагнул через Рубикон).

"А! -- подумал Баканов, -- верно, просить

на бедность"... У Христофорского хоть и была повязана на шее чистая манишка, но жилет, сюртук и прочее были уже значительно потерты, по крайней мере имели столь же потертый вид, как и лицо его. Длинный же острый нос Христофорского глядел особенно меланхолически, на губах была подозрительная, натянутая улыбка. Но Христофорский, надо отдать ему справедливость, никогда не говорил о своей бедности. Баканов был приятно поражен неожиданной просьбой Христофорского.

-- Я-с, рекомендоваться имею честь, харьковский помещик Христофорский, был студентом, теперь служу в казенной палате и... и... так как вы, я слышал, много сочиняете, литературой занимаетесь, то я пришел к вам, Степан Степаныч, в случае если будете отдавать что-нибудь переписывать, то доставьте мне это удовольствие, ибо я пишу так, как не многие писать могут-с.

-- Гм! Так вы были в университете! Садитесь, пожалуйста, г. Христофорский! У меня действительно много есть кое-чего переписывать, но почему же вы знаете, что я пишу-с?

-- Я слышал, что вы занимаетесь философией.

-- Гм! Это вы от студентов слышали?

-- От студентов,-- проскрипел Христофорский.

-- А вы, ваша какая специальность?

-- Моя специальность? Я также изучал... я изучал литературу, в особенности же историю.

-- Препользительное занятие-с... помните, великолепное определение истории. Гм! История есть поприще, на котором дух человеческий совершает свое развитие,-- сказал Баканов, повторяя только что вычитанную им где-то фразу,-- а изучали ли вы когда-нибудь историю философии?

Христофорский нахмурился и повесил нос.

-- Нет-с... кажется, этот предмет мне не попадался,-- сказал он с некоторым сомнением в голосе.

-- По крайней мере читали ли вы эстетику Гегеля?

Христофорский еще ниже опустил нос, и Баканову показалось, что он обиделся.

"Смешная физиономия!" -- подумал Баканов.

"Вот леший! Экзаменовать меня выдумал!" -- подумал Христофорский.

-- Мало ли что я читал-с! -- сказал Христофорский и даже покраснел с досады. Он всегда краснел, когда ему что-нибудь не нравилось или ставило в неприятное положение.

-- А вот извольте-ка посмотреть, какая у меня библиотека, есть чем позаняться,-- сказал Баканов, указывая рукой на шкапы с книгами.

-- Да, у вас очень хорошая библиотека.

Баканов стал показывать ему книги, в особенности французские, стараясь вовлечь его в ученый разговор, одним словом, покопаться в голове своего гостя, но Христофорский самодовольно улыбался, подбоченивался, оглядывал кабинет и не давал ему копаться в голове своей. Баканов, потолковавши с ним четверть часа о предметах, вызывающих на размышление, стал подозревать, что гость его или действительно глуповат или мазурик.

-- Хорошо-с, я непременно дам вам переписку, непременно, только вот что... приходите ко мне в четверг утром или хоть к обеду;

если хотите впредь получить, то вот вам... сколько вам?.. ну, вот вам шесть рублей за датку... две трехрублевеньких! Довольно?

Христофорский обрадовался и просиял, не умев скрыть своей радости. Баканов подумал: "Он меня надует и не придет в четверг, тем лучше; может быть, он и не мазурик, да есть нечего, шесть рублей ему пригодятся, а переписывать у меня пока еще и нечего. Коли надует, так и слава богу!"

Так с этой мыслью он и раскланялся с Мокеем Трифонычем.

Но Мокей Трифоныч надел в четверг новый галстук и явился к Баканову, как раз к обеду, а именно к двум часам пополудни. Баканов, разумеется, не ждал его.

IV

Но, быть может, вы хотите знать, что за человек этот Баканов.

Это был также феномен своего рода, один из тех немногих купеческих сынков минувшего поколения, которых соблазнила и увлекла слава Николая Полевого. Ему захоте-

лось учиться, но, к сожалению, он начал поздно, а именно не раньше двадцати трех лет и не прежде, как похоронил своего дражайшего родителя, который, кроме псалтыря да Четьи-Минеи, ничего печатного выносить не мог, на всем видел печать антихриста и проклял бы своего Степушку, кабы узнал, что он тайком от него долбит басурманские французские вокабулы.

Жена этого Степушки (он уже был женат) также косо смотрела на его занятия. В книгах она видела только разорение, а во французском языке разврат; но у нее была натура мягкая, довольно податливая, и Степан Степаныч успел настолько перевоспитать ее, что она решилась отдать к французской мадам в пансион одиннадцатилетнюю дочь свою.

Баканов с грехом пополам выучился французскому языку и стал выписывать "Revue des deux Mondes", читал романы только что появившегося на сцену Жоржа Занда, углублялся в Штрауса, изучал социалистов, хотел выработать из себя практического мудреца и выработал средней руки самоучку, удивляющего недорослей всеми модными

словами, фразами и выводами того времени, тревожно-жизненного во Франции. Странно было слышать в устах Баканова, человека той среды, в которой никто почти ничего не читал, в которой Пушкин был бы новостью, а курс словесности профессора Давыдова недосягаемой премудростью, слышать слова: Кант, Гегель, эстетика, абсолютный дух, пролетариат, эмансипация, сенсимонизм и тому подобное.

В дворянском кругу у него почти не было знакомых (он пробавлялся студентами), литераторов он знал лишь по именам и только к Полевому, перед которым благоговел, лично приносил свои неудачные опыты драм, повестей и рассуждений того времени.

Книгопродавцы московские, в особенности Кольчугин, кланялись ему издали и считали за особенное удовольствие бывать у него в гостях.

Что касается до гостинодворских купцов, они знали только, что Баканов капиталист, что у него чайный магазин на Дмитровке, три лавки в гостином ряду, два дома, дача в Сокольниках и несколько сундуков с серебря-

ной посудой. Про его же начитанность говорили, как про такое дело, за которое накажет его бог, или смотрели на его занятие, как на явное сумасшествие.

Баканов был не без способностей, но уже решительно без всякого дарования. С трагедий во вкусе Кукольника и романов спустился он на проекты, собирал статистические данные и даже писал большую статью о русской торговле на востоке. Проекты эти были переписываемы, рассылаемы и, разумеется, почти никем не читаемы.

Мы застаем в рассказе нашем купца Баканова, перешагнувшего на пятый десяток, уже не мечтающего о популярности, нажившего геморрой и понявшего, что все его творения или будут оценены отдаленным потомством или никем и, несмотря на это, несколько не разочарованным, не раздражительно-желчным, напротив, таким же, как и был: смирным и благодушным халатником. Жизнь его пошла ровнее, хоть по временам он и либеральничал по-старому; но так как ни либерализм, ни скептицизм, ни даже атеизм Степана Степаныча несколько не мешали ему

есть постное, когда жена его Марья Саввишна и дочь Саша постились, или служить молебны, когда этого требовали домашние соображения, то и семейная жизнь его текла ровно весело отпраздновала серебряную свадьбу и еще тише, еще ровнее понесла его к старости. Ни одна прадедой-екая лампада не потухла в их доме, несмотря на десятки атеистических запрещенных цензурою книг, таившихся в шкапах Баканова, как нечто особенно интересное, как такая кабинетная редкость, которую можно только знатокам показывать.

Торговые дела его пошли немного лучше. Он всю жизнь свою вел их спустя рукава, но сама судьба берегла Баканова; у него, во-первых, были такие удивительные приказчики, что если подчас и надували его, то надували по мелочам, по-христиански надували, а это не последнее счастье; во-вторых, у него была жена Марья Саввишна, удивительная женщина! Бывало, зимой, в трескучие морозы, завезет дочь свою в пансион, а сама в теплых сапогах, в лисьем салопе, в капоре отправляется в город, прямо в лавку под No 85, и усядется там, как наседка, где-нибудь в дальнем угол-

ке, за чайным столиком и до самых вечереи, так пьет чай, что инда от нее пар валит; иногда пересматривает, перевернет счетные книги, иногда потчует калачами сидельцев, иногда шутит с ними, иногда ворчит: "Дураки! отбываете посетителей, никакой сноровки нет, никакого поведения!" Сидельцы, парни богобоязненные, молча ее выслушивали и подобострастно ей прислуживали. Купцы, соседи по лавкам, не раз тыкали Марьей Саввишной прямо в нос своим расфранченными женами. "Вот,-- говорили они,-- Марья Саввишна --клад жена, лучше всякой бухгалтерии, а вы что? Вы черт знает, что такое!" В хозяйство Баканов также не вмешивался, уверенный, что все будет в свое время по милости Марьи Саввишны: и кулебяки, и блины, и настойки, и наливки, и соленые огурцы, и моченая брусника, и квас, и мед -- словом, все, без чего Баканов и дня бы не прожил, несмотря на всю свою философию. Он сам иногда острит, приступая к какому-нибудь очень сытному завтраку. "А что,-- говорил он,-- кабы у немцев была такая физика, не пошла бы им в голову метафизика". Вообще Баканов почему-то счи-

гал себя остряком и подчас любил даже ка-
ламбурить.

Дочь его Александра Степановна была
также девка добрая, и, когда он говорил ей на
неслыханном французском языке:

-- Э бьен, коман аве ву дорми?

Она старалась понимать его и отвечала:

-- Tres bien, rara {Очень хорошо, папа
(фр.)}.

-- Аве ву лю сет роман ке же ву донне?

-- Quel roman {Какой роман? (фр.)}? а, да!
да! я начала его читать.

Александра Степановна была далеко не
так прытка, как ее отец в юности, и читать
много не любила. Читала же больше по доб-
роте своего сердца, для того, чтобы доставить
удовольствие своему папеньке. Папенька же
воображал, что он ее развивает, и это льстило
его самолюбию.

V

Итак, Христофорский в четверг явился к
Баканову... Баканов чуть было не сказал ему:
"Ну кто ж вас знал, что вы придете!"... Пошел

поискать у себя в бюро, нет ли чего-нибудь дать ему переписать... порылся у себя в тетрадях и ничего не нашел. "Ну,-- сказал он,-- в другое время, извините, а благо пришли к обеду, то не хотите ли сперва червячка заморить, чем бог послал. Водку-то пьете ли?"

-- А коли желудочная, то выпью,-- сказал Христофорский.

-- Ну-с, пойдете в столовую.

И, запахнувши халат свой, Баканов через ряд комнат, богато, но без вкуса убранных, провел своего гостя в столовую.

К обеду явилась хозяйка дома, Марья Савишна, в чепце и капоте, дочь ее Саша, или мадемуазель Александрии, как называл ее отец, да еще низенький, коренастый, краснощекий, словно из дерева выточенный, старичок --приказчик из чайного магазина.

Сели за стол, хозяйка разливала суп. Горничная прислуживала. Старичок-приказчик вертел плотно стриженной головой, как будто хотел вывернуть ее из тесного галстуха... Александрина оглядывала Христофорского, находя его похожим на оципанную птицу. Христофорский сначала сидел вытянувшись,

как цапля, потом мало-помалу расшевелился, налил из графина квасу в стакан Александры Степановны. Спросил Марью Саввишну, часто ли она бывает у обедни? сказал, что, когда он был маленьким, то всегда ходил сам на клирос и пел, что у него тогда был дискант, но что теперь дискантом он уже петь не может, потому что у него бас, и довольно хороший бас, но что басом петь он еще не пробовал.

Марья Саввишна посоветовала ему по-пробовать.

-- Когда-нибудь попробую, -- сказал Христофорский.

Баканов опять было завел разговор о книгах, но неудачно: Христофорский отделивался, говоря, что он очень занят службой и что хотя читать его единственное удовольствие, но что он очень занят.

-- А сколько примерно вы получаете жалованья? -- спросил Баканов.

Христофорский покраснел и потупился.

-- Восемь с полтиной, -- процедил он сквозь зубы и как-то в нос; потом, как бы спохватившись, что сказал правду, пуще покраснел и еще ниже потупился.

Присутствующие за столом все, кроме чайного приказчика, заметили смущение бедного Христофорского и почувствовали к нему нечто вроде сострадания; Александра Степановна в особенности поглядела на него с участием. Она была не хороша собой, но большие серые глаза ее светились добротой и глядели ласково. Христофорский, в свою очередь, заметил устремленный на него взгляд девушки, и подумал: "Гм! Я ей нравлюсь... прекрасная девушка!" Все помолчали.

-- Маловато, -- сказал Баканов, -- на орехи не хватит.

-- Я орехов никогда не ем, -- сказал Христофорский с чувством достоинства.

-- А вот мы вас после обеда попотчуем...

И действительно, не прошло и четверти часа после обеда и не успел Христофорский в кабинете хозяина трубку выкурить, как та же самая горничная, что прислуживала за столом, явилась с подносом, на котором стояли: тарелка с миндалем, тарелка с пастилой, тарелка с пряниками и тарелка с грецкими орехами. Христофорский взял всего понемножку...

Когда в сумерки он решился расстаться с диваном и проститься с Бакановым (у него, как видно, стало уже проявляться нечто вроде такта), Баканов попросил его в свободное время заходить к нему без церемонии и обещал ему найти работу.

-- Мне надо непременно что-нибудь работать, -- сказал Христофорский, -- я могу уроки давать и готовить к экзаменам, -- это я все могу...

Баканов хоть и не слишком поверил в его всемогущество, но обещал кое-что для него сделать и проводил его до передней.

Пока Христофорский шагал по набережной Москвы-реки, собираясь после сытного обеда к Александровскому саду послушать музыку, в кабинете Баканова произошел следующий разговор:

-- А ведь... этот... как его, Христофорский-то... того, глуповат, хоть и неказист...-- сказал Баканов.

-- На лбу не написано, -- сказал старичок с тем выражением невольного сожаления, с каким обыкновенно говорят люди о предметах, недоступных их пониманию.

-- А что, не предложить ли ему место при моей кладовой, чай, рад будет...

-- При кладовой... нечего сказать, придумали.

-- Ну да... что ж такое? что он дворянин-то! Эка беда!

-- Беды нет, да и находки нет.

-- Так от чего же?

-- Да вы, батюшка, Степан Степаныч, лучше сядьте у окошечка, да и глядите, кто первый пройдет, того и кликнете, да и поручите ему исправлять всякие должности...

-- Ну, что вы говорите, всякий, кто пройдет; ну, а если пройдет генерал-губернатор?

-- Ну и...-- приказчик запнулся и покраснел.-- Я не о генерале-губернаторе речь веду... Какая статья генерал-губернатору по нашей улице ходить... чего он тут не видел, помилосердствуйте! Я говорю, первый голыш, коли пройдет -- голыш!

-- Ну голыш, а если этот голыш -- честный человек?

-- А если мазурик?

-- А если честный?

-- Ах ты, господи ты боже мой! Честный!

Да много ли честных-то, помилосердствуйте, Степан Степаныч! Ба-а-тюшка!! Один, другой, да и обчелся: из тысячи, с пальцем девяти не приберешь. Где вы это нашли, чтобы голяк честный был?

-- А к чему же после этого пронциательность-то? Так вы думаете, я и не увижу? Да я на одну физиономию взгляну и все сразу увижу: ведь вот узнал же, что недалек...

-- Да у него и физиономии-то нет, помилуйте.

-- Ну, как нет, у всякого человека есть физиономия.

-- Ну, так вы всякого и позовите, и доверьтесь, и душу свою раскройте, и сундук отприте, и поверенным сделайте, и в приказчики произведите...--заговорил старичок, разгорячась, как уголек, на который дуют; он стоял перед Бакановым, сложа на брюшке своем маленькие, старенькие руки, приподнявши плечи, и при каждом слове кивая головой.

Баканову было очень приятно, что он раздражил своего пестуна; он принялся ему противоречить и противоречил до тех пор, пока старичок не плюнул в сторону и не за-

молчал.

А когда он замолчал, то Баканов совершенно с ним согласился и позвал его играть в преферанс, сам третьей с Марьей Саввишной.

Старичок мигом утих, вынул большую круглую табакерку, со скрипом отворил ее, громко понюхал, потихоньку крякнул и пошел, утираясь синим платком, за ломберный стол в другую комнату.

VI

Нечего распространяться о том, как Христофорский сперва редко, а потом все чаще и чаще стал навещать Бакановых. Они же в то лето оставались в Москве у Красных ворот, потому что, изволите видеть, дачу в Сокольниках, свою собственную дачу, Марья Саввишна решила одной своей дальней родственнице за хорошую цену внаймы отдать; ну, а в другую чужую дачу переезжать ей не хотелось, особенно жаль было покинуть городской сад, куда после обеда выносили тюфяки, клали подушки и куда вся честная компания (у Бакановых вечно обедали гости) вы-

ходила полежать под тенью деревьев, покурить, пить зельтерскую воду, иногда и шампанское. Гости снимали там сюртуки и даже галстуки по примеру хозяина, что случалось нередко и в дамском обществе, но дамы или уходили в другой угол сада, или и сами не церемонились. В саду были скамейки, дорожки, цветники с желтенькими цветочками, все больше из роду ноготков да настурций; красные пионы цвели на славу. Малины было много. Из-за темных высоких заборов выглядывали сады соседей; там также иногда слышались голоса, особенно вечером, когда дворовые девушки в горелки играют. В заборах были, разумеется, и щелки, к которым охотники подглядывать смело могли, присев на корточки, приставлять глаза свои, -- словом, сад был московский, хороший сад. Но, как бы мне ни приятно было его описывать, я должен не упускать из виду Христофорского, хоть, может быть, личность его и не слишком интересует моих читателей.

Давно Христофорский не проводил так хорошо своего времени; он даже как будто пополнил, покрылся лоском. В каком-то поэти-

ческом настроении он себя чувствовал, когда в тиши гостеприимного сада возлегал на кончике ковра, за спиной самого Баканова, особенно если Баканов кликал свою Александрину и она являлась в белом платице, полненькая, слегка загорелая, и, наклонившись, подносила гостям корзинку с душистой клубникой; Христофорский без зазрения совести глядел на нее страстными глазами, и таким образом нередко приводил ее в смущение.

Но что за девушка была эта Александра Степановна?

Я должен вам сказать, господа, что она была хорошая девушка.

Она была бы недурна собой, если б на круглом изжелта-бледном лице ее был поменьше рот да подлиннее нос и если б около этого небольшого, словно припухшего носика не было бородавки. Если бы вы закрыли всю нижнюю часть лица ее, вы нашли бы, что у Александры Степановы такие глаза, каких немного, большие водянисто-серые, с длинными загнутыми вверх ресницами, добрые, ласковые. Нижняя же часть лица ее, к сожалению, слишком смахивала на бритый подбор-

родок ее белобрысого папеньки. Если взять в расчет недавно отцом ее отпразднованную серебряную свадьбу, надо полагать, что Александра Степановна была уже солидных лет, была невестой, достигшей самой высокой степени девственной зрелости; сама Александра Степановна давно уже считала себя старой девушкой, и, что всего невероятнее, воображала себя таким уродом, что не любила смотреться в зеркало.

Еще в детстве одна тетушка, подозревавшая в ней склонности к кокетству, потому что она часто глядела в окошко, напела ей про ее уродливость, и, что невероятно, но это так, сознание, что она дурна, что никогда, никому она не нравилась, что никто ее не полюбит, до такой степени сроднилось с ней, что она потеряла всякую надежду выйти замуж, "Уж, стало быть, я плоха,-- думала эта девушка, -- если, при моем состоянии, никто еще, хоть бы на смех, никто за меня не посватался!" Эти мысли придавали ей нечто горько-меланхолическое, и она не раз казалась даже хорошенькой, стоя в сумерки у окна и всем лицом своим задумчиво обратившись к

полному, за синим стеклом мерцающему месяцу.

Чем старше становилась Александра Степановна, тем более убеждалась в том, что она несимпатичная, никому не нужная девушка; ни у кого и речи не было о ее замужестве, а между тем она очень хорошо знала, что в кругу ее родных и знакомых -- та была влюблена, другая кокетничала и возбуждала такие страсти, что хоть пожарной трубой заливай; та готовилась под венец, та давно уже была замужем и в 20 лет так уже разнежилась, так раскисла, что еле-еле говорит, еле ногами двигает, одним словом, никого житейский роман не обошел, всех зацепил, а одну ее обошел, одну ее зацепить было не за что. Сколько чужих секретов она знала, скольким помогала по доброте души своей и тайно завидовала. Конечно, этого она никому не высказывала... это была тайна, горьким осадком улегшаяся на дне души ее и только по временам возмущаемая.

Заключите сами из того, могла ли Александра Степановна не заметить, что Христорский смотрит на нее не так, как другие, так

глядит, как будто и в самом деле она ему ужасно нравится.

"Неужто нравлюсь!..-- думала она.-- Вот новости! до сих пор, с малолетства, ни одному еще мужчине не нравилась -- вдруг приглянулась? Скажите, пожалуйста!"

И с этой мыслью входила она в сад и потчевала Христофорского -- то ягодами, то пряниками, то орехами.

Мало-помалу Христофорский решился на комплименты.

-- Как жаль, -- сказал он ей, -- что у вас нет розанов.

-- А вам хочется, чтоб были розы? Были у нас, да пропали.

-- Очень жаль, что нет, все бы видели, что вы лучше всяких розанов.

Александра Степановна покраснела и отошла: этот пошлый комплимент ей понравился.

"Ведь вот же, -- подумала она, -- нравлюсь же и я кому-нибудь, хоть Христофорскому, да ведь понравилась же... Говорят, глуп; ну, положим, глуп, ну, а если я уж так родилась, что только дураку и могу понравиться, что ж мне

делать? Глуп... ну да ведь не глупее же меня... Дурак! плох, ну да ведь не хуже же меня... Будь он умнее, да лучше, может быть, и смотреть бы на меня не стал".

Христофорский был уже вполне убежден, что она только о нем и думает, и на этот раз не совсем ошибался, к сожалению.

VII

Но каким образом Христофорский попал на службу к Баканову? Это случилось очень просто: Баканов как-то осенью проговорился.

-- Без людей, как без рук, -- сказал он кому-то при Христофорском, -- есть у меня кладовая... ну, вот, куда еще всякую громоздкую движимость складывают на сбереженье... Чай, знаете? около Мясницких ворот... ну, да как же это вы не знаете? в доме моей жены, что ей достался после дяди, не Алексея Петровича, а Петра Петровича... Еще там такая вывеска на голубом поле золотыми буквами... Дом на дворе... Ну, вот тот самый, про который, помните, говорите, будто никто не нанимает, потому что там, вишь, черти по ночам

возьмется... Действительно, не нанимали... Ну, я сделал кладовую... и ничего-с, черти унялись. Только вот беда: не найду человека, который принял бы эту кладовую под свое ведение... У меня теперь там лавочки чередуются... Неудобно -- надо записывать, билеты выдавать; надо, одним словом, там быть, по крайней мере, до двух часов пополудни. Ну, а они уходят, те не застают... Это подрыв... Я бы и двадцати пяти рублей в месяц не пожалел... дал бы... и квартиру бы дал... и все. А то еще, чего доброго, раскрадут, так еще процесс наживешь... Просто, беда! Ищу такого человека, который бы...

Тут Баканов, обратившись к другим гостям, объяснил, какого он ищет человека и какие будут его обязанности.

Христофорский в это время сидел в углу и молчал. Начала речи он не расслышал, потому что мимо двери прошла Александра Степановна, заглянула в комнату, мимоходом на него взглянула и скрылась. Но конец речи он очень хорошо понял, и ушел домой с бьющимся сердцем. Всю ночь мерещились ему 25 рублей, квартира, дрова, прислуга и просто не

давали ему спать. В эту же ночь, как нарочно, в его собственной квартире воняло каким-то кислым мылом, а за перегородкой пищал хозяйский ребенок.

На другой день, рано утром, явился Христофорский к Баканову.

-- Что это вы, ни свет, ни заря?-- спросил его Баканов, утираясь полотенцем, ибо он только что встал и умылся.

-- Я согласен-с, -- брякнул ему Христофорский.

-- Что такое? -- Баканов раскрыл рот и опустил полотенце, поддерживая его обеими ладонями. В его рыхлых, светлых бакенбардах еще дрожали капли воды; белая, рыхлая шея и розовая грудь были раскрыты, шелковый, коротенький халат висел на его плечах, как ряса.

-- Я думал всю ночь, сообразил и согласен,-- повторил Христофорский.

Воображению Баканова представилось что-то смешное; он готов был по обыкновению засмеяться, но Христофорский объяснил ему напрямик, что он согласен взять место при его кладовой, что это место несколько не

помешает ему и в казенной палате получать жалованье, потому что, во-первых, переписывать казенные бумаги он будет и вечером, а во-вторых, потому, что и столоначальник его Сидоренко, Яков Михайлыч, его очень любит и не будет ему ни в чем препятствовать.

Христофорский таким уверенным тоном высказал свое согласие, что решительно озадачил Баканова. Ему уж действительно показалось, что он о чем-то просил Христофорского.

-- Гм! Так вы на это согласны, -- промычал он, отходя к окну и уж окончательно вытерши свою физиономию, -- ну-с мы об этом с вами подумаем.

-- Я, ничего... Я только пришел... так сказать, счел своей обязанностью объявить вам, что я согласен, так как вы хотели давно найти мне работу и так как сама судьба к тому ведет, чтоб я был полезен вам.

-- Хорошо, хорошо! Утро вечера мудренее, или, лучше сказать, вечер утра мудренее, потому что теперь утро, а утром я занят, у меня всегда по утрам есть занятия, приходите вечером.

-- Покорно вас благодарю-с... Очень благодарен вам, -- сказал Христофорский с сияющим лицом.

Баканов, по уходе его, выпил стакан чаю и начал философствовать.

-- Хоть он и того...-- Баканов повертел у себя надо лбом указательным пальцем.-- Хоть и того, а не промах. Надо же и глупости жить на земле, и для дураков есть работа. Ну, какой образованный пойдет ко мне в кладовую за двадцать пять рублей, когда, на что лавочки, и тех иногда одурь берет. Нет, природа знает, что делает, надо только пользу извлекать из этой природы, и если глупость Христофорского на что-нибудь годится, надо и ее к чему-нибудь приспособить. Чем же он глупее каких-нибудь паров, а эти пары работают же! К тому же и то сказать, дай я это место Христофорскому, он будет доволен-предоволен вместо восьми рублей получать целых двадцать пять; ну, а другому дай хоть сто рублей, так он счастлив не будет. Отчего же мне не осчастливить человека, тем паче, что он не вор и не пьяница. Значит, имеет все шансы на то, чтоб жить трудами рук своих.

Согласитесь, читатель, что все это отчасти очень гуманная философия. Значит, недаром же у Баканова была такая библиотека. У других есть и не такие книгохранилища, и все-таки в голове нет и десятой доли бакановской философии.

VIII

Таким образом, Христофорскому удалось обеспечить на целую, зиму свое существование, променять грязный угол свой на довольно чистую и уютную комнату. К первому сентября он уже был на новом месте. Один из приказчиков Баканова передал ему все счета, список вещам, отданным в кладовую на сохранение, с пометою, когда получены, от кого приняты, на сколько времени и под каким номером; книгу с выданными и невиданными печатными билетами, книгу для записывания получаемых денег, книгу просроченным вещам и тому подобное.

Все это осмотрел Христофорский и, надо отдать ему справедливость, очень хорошо понял, чего от него требуют. В комнате у него

была изразцовая печь, кровать, стол, маленький диванчик, несколько стульев, конторка, комод и медный таз с умывальным кувшином на окне. Все это Христофорский привел в порядок; на стол поставил свой ящик и по бокам два подсвечника, табачницу и коробочку со спичками; на окне поместил два своих чубука, один длинный, другой короткий; в комод уложил все белье свое и даже все свое платье, на комод поместил бритвенницу и зеркальце, прибил гвоздь для шинели и для фуражки, велел Трофиму вычистить медный позеленелый таз и послал его к Баканову спросить, нет ли у него каких-нибудь ширмочек. Ему хотелось от глаз посетителей загородить постель свою, на которой красовалась ситцевая подушка и старое стеганое одеяло, весьма невзрачное. Баканов обещал достать ему ширмы.

На другой день Христофорский велел исправить замки в комод и приделать изнутри задвижку. Чуть ли еще не впервые от роду Христофорский так распорядился и видел у себя под начальством дворника, сторожа и, наконец, Трофима, которому, кроме должно-

сти сторожа, Баканов приказал чистить Христофорскому сапоги, ставить ему самовар и подавать умываться.

Из его комнаты шла еще дверь в бывший кабинет бывшего хозяина и потом в другие комнаты, превращенные в кладовые; дверь эта была заперта, и Христофорскому целых две ночи чудилось, что за этой дверью кто-то шевелится и шарит. Это, конечно, были мыши. Внизу под лестницей жил Трофим и, как мы уже знаем, имел обыкновение упражняться в музыке: играл иногда от скуки на своей гармонике. Наверху был высокий чердак, и там по ночам носились иногда какие-то звуки. Это, конечно, был ветер. Христофорский слышал, что в доме этом нечисто, ждал ночью появления чертей и лежал на спине, выставив из-под одеяла чуткий нос, насторожая уши и хлопая глазами до тех пор, пока дремота окончательно не одолевала их. Так прошло, две-три ночи, после чего, убедившись, что ничего страшного нет и что черти его не трогают, Христофорский стал спать по-прежнему.

Имея в виду, без больших хлопот, полу-

чать в месяц двадцать пять рублей от Баканова да восемь рублей в палате, итого тридцать три рубля в месяц, Христофорский почувствовал, что счастье ему улыбнулось.

И вот какого рода последствия произошли от такого счастья.

Христофорский превратился в барина. Превратившись в барина, он вообразил, что делает великую честь Баканову, согласившись занять у него такое место, которое скорее прилично какому-нибудь мелкотравчатому купцу или отставному писарю. "Баканов это, конечно, будет ценить", -- думал Христофорский.

Чтобы всем показать, что он не простой смертный, он стал спесиво и величаво обращаться со своими новыми подчиненными. Трофима стал приучать набивать себе трубки и подавать себе огонь, и сначала совершенно оседлал этого медведя, хотя этот медведь почему-то думал, что Христофорский не барин, а просто какой-то приказный, что, будь он барин, у него не было бы такой скверной подушки и такого истасканного одеяла.

Потом Христофорский положил себе за

правило копить деньги и дрожать над каждой копейкой. Нужда, преследующая его столько лет, развила в нем какую-то лихорадочную любовь к пятакам, грошам и копейкам. Он почти во всем себе отказывал; только от чаю, да от Жукова табаку отучить себя никак не мог. Любимой мечтой его стало накопить триста рублей, сшить себе новые брюки, модный фрак, повязать на шею хорошенький галстучек и пленить какую-нибудь богачиху. Таким образом, цель накопить деньги хоть и проистекала в нем от любви к деньгам, но представлялась ему чем-то вроде средства к достижению другой, уже совершенно мечтательной цели.

От Мясницких ворот до Красных не слишком далеко, если взять в расчет, что "Москва дистанция огромного размера" и что на чужой счет питаться гораздо выгоднее, чем тратить свое жалованье, то и немудрено прийти к заключению, что всю зиму Христофорский не оставлял Бакановых своим посещением. Дело свое он вел недурно, то есть аккуратно, даже переписал начисто какую-то старую счетную книгу, для чего, и сам Бака-

нов понять не мог. Впрочем, Баканов был им доволен; но странно, чем более Христофорский важничал, тем менее Баканов обращал на него внимания, иногда он вовсе не замечал его присутствия, иногда, считая его совершенно домашним, говорил ему: "Этакой ты, братец!" -- или довольно фамильярно над ним подтрунивал. Александра Степановна все более и более привыкала к его невзрачной птичьей физиономии, к его маленьким глазам, устремленным на нее исподтишка с выражением страсти, к его скрипучему голосу и, главное, воображала, что это для нее он так часто, чуть не каждый день, ходит к ним. Иногда, когда Христофорский садился у них в кресла, вытянувши ноги, повесивши нос и, вероятно, ни о чем не думая, она подходила к нему и говорила смеясь: "Перестаньте думать!" Христофорский иногда говорил, что он хотел быть медиком, говорил, что у него было много врагов и ему помешали сделать эту карьеру, что мать его, помещица, умерла и что он сам не знает, что после нее осталось, потому что связан был ужасными обстоятельствами и не мог, никак не мог из Москвы вы-

ехать; что одна богатая его любила, но он не любил, и тому подобный вздор. Вот это Христофорский говорил, не пускаясь ни в какие подробности, а так, все какими-то намеками. Вообще он, как калач тертый и уже достаточно жизнью наученный, понял, что казаться несчастным человеком, гонимым судьбой, всего выгоднее в сердобольном доме Баканова.

Марья Саввишна, привыкшая в доме своем видеть всякого сорта людей, была довольна отрицательными качествами Христофорского, то есть что он не мот, по трактирам не шляется, не пьянствует, и, полагая, что он нужный человек для Степана Степаныча, выносила его частые посещения без малейшего ропота; иногда говорила ему "ты": "ну уж, пожалуйста, ты не суйся, когда тебя не спрашивают!", иногда "вы", "пора бы вам, батюшка мой, и восвояси, мы спать хотим". Не было у ней к Христофорскому ни симпатии, ни особенного нерасположения; что же касается до прислуги в доме Баканова, она терпеть не могла нашего почтенного Мокея Трифоныча, в особенности ключница Улита, кума Трофи-

ма. Трофим жил когда-то водовозом при дворе Баканова и имел дружеские связи со всей его дворней. Бывало, нет-нет, да и зайдет к куме напиться с морозу чайку вприкуску. Пьет, бывало, чай, стоя у лежанки в девичьей, пьет — молчит, дует в блюдечко, да нет-нет и заговорит о Христофорском ни к селу ни к городу. "Вишь, боится, что я у него табак выкурю, запирает, невидаль какая, табак. Я махорку курю, не видел я его табаку!"

Потом помолчит-помолчит да и брякнет: "Сахар тоже, куски считает, боится, сахаром его облакомлюсь".

Потом опять нальет себе полное блюдечко, дует, глядит куда-нибудь в угол печки и опять ни к селу ни к городу:

-- Что это за барин, так, название только одно, что барин!

-- Аль больно строг? -- спросит кто-нибудь из дворовых.

-- Да-а! Хочет, чтоб без ваксы сапоги были зеркалом. Нет, шалишь! Не будут они тебе зеркалом, коли ваксы нет. Все собирается сам из какой-то сажки сделать, да и щетки-то порядочной нет, свою потребляю, ей-богу, свою!

Такие толки, конечно, никого из дворовых Баканова, избалованных подачками да подарками, не располагали в пользу Христофорского.

Некоторые из более частых гостей Баканова, а именно, один доктор, Захар Иваныч, большой шутник и даже мастер играть на гитаре, которую летом брал всегда с собой за город, отправляясь на пикник с компанией, скоро заметил, что Христофорский ухаживает за Александрой Степановной, и явно над этим тешился. Молодой купчик Куляпкин, племянник Марьи Саввишны, также немало трунил над ним.

Александра Степановна, по-видимому, сама смеялась, но когда оставалась одна или после ужина уходила в свою комнату, то думала: "Вот, в кои-то веки полюбил меня человек, и того-то на смех поднимают! как будто досада берет их, что я приглянулась, а ведь, кажется, кому какое дело, ни один из них за мной не ухаживает, только так, язык чешут. Господи! и что им завидовать! Ведь меня за него не выдадут. Он ведь и сам не станет за меня свататься. Он глуп, а, вишь, они умны,

да что мне от их ума-то, ни тепло, ни холодно! Нашли себе потеху, вишь, умники! делать-то им больше нечего! Ах, мать Пресвятая Богородица, не успела состариться, а уж глядят на меня, как на старую девку, какого-то старого генерала в женихи сулят!"

Христофорскому же были нипочем, как к стене горох, все эти шуточки, он даже был рад, что на него обращают внимание, хоть иногда и казался обиженным, но это казалось только потому, что лицо его, краснея само собой, принимало какое-то жалкое, сконфуженное выражение.

Между тем Христофорский стал брать у Баканова книги из его библиотеки.

-- Каких же вам? -- спросил его Баканов.

-- Каких-нибудь, я все люблю читать.

-- Ну, читали вы роман такой-то?..

-- Не помню, кажется, не читал, дайте!

Христофорский брал роман, приносил его домой и клал на стол. Иногда, в свободные минуты, раскрывал книгу, где попало, прочитывал несколько страниц, иногда несколько строк и успокаивался, клал книгу на место и думал: "Как это было бы хорошо, если б этот

роман я сам сочинил, это было бы очень хорошо!"...

Через неделю относил он этот роман к Баканову, благодарил его, брал другое какое-нибудь сочинение и опять клал у себя на стол.

Таким точно образом в продолжение зимы он перебрал и перечитал множество книг у Баканова, и ни одной из них не зачитал, к великому удовольствию хозяина.

-- Я хочу прочесть у вас всю библиотеку,-- говорил он Баканову.

-- Ну, не скоро вы ее перечтете всю.

-- Непременно, всю перечту, вот увидите,-- утверждал коварно Христофорский, обозревая шкафы.

-- Ну, а хотите, я вам дам логику Бахмана, попробуйте-ка прочесть в одну неделю да понять.

-- Ну это, конечно, должна быть скучная книга, логика, но я ничего не хочу пропускать, Степан Степаныч.

Степан Степаныч в наивности души своей удивился рвению Мокея Трифоныча, хоть и был уверен, что он серьезной книги нико-

гда не поймет, как следует.

Так прошла зима без особенных приключений, кое-какие приключения начались именно с того дня, как случилось у Христофорского маленькое несчастье: прачка потеряла платок. Вспомним начало и пойдём далее.

IX

- Христофорский аккуратно в известное число получал деньги на жалованье сторожей, состоящих при кладовой, и в том числе 5 рублей для Трофима. Но странно, получа эти деньги от Баканова, он не тотчас отдавал их кому следует, а дня два, три, иногда даже и дольше держал их у себя в шкатулке. Для чего он это делал, господь его ведаёт. Когда прачка потеряла платок и проч., жалованье Трофима было у него в кармане. Христофорский, решившись наказать своего слугу рублевым штрафом, полагал, что он вправе это сделать, потому что, никогда сам не покупавши фуляровых платков, он вообразил, что платок его, действительно, стоит не меньше рубля и что

он поступит великодушно, если не возьмет за него двух рублей.

Но Христофорский почему-то стал трусить своего губастого слуги: уж слишком дерзко тот стал пялить на него глаза свои. "Черт его знает,— думал Христофорский,— что у него на уме. Недаром он все с какими, то подозрительными фигурами за воротами разговаривает".

На другой или на третий день после описанного мной разговора с Трофимом Христофорский пошел в лавочку, купил четвертку Жукова, разменял на мелочь пятирублевую ассигнацию, отсчитал четыре рубля и, когда возвращался домой, сунул эти деньги в руку Трофиму, который попался ему в воротах. "Жалованье", -- сказал он ему отрывисто и как ни в чем не бывало вошел в свою комнату.

Трофим, скривя губы, положил деньги (серебро и медь) на ладонь, поглядел на них и немедленно опустил их в боковой карман нанковых, засаленных шаровар.

Трудно было бы судить по лицу его, догадался ли он, что рубля недостает, или не догадался.

Пошел Трофим к знакомому кваснику, выпил стаканище квасу, и на его прилавке стал пересчитывать свои деньги, пересчитал и, как ошеломленный, выпучил глаза, потом почесал затылок, но не сказал ни слова, даже не выругал Христофорского.

Христофорский же целых четыре часа сидел у себя на диванчике с трубкой в зубах и ждал появления слуги своего с требованием доплатить ему рубль. Давно он так много не курил. Дым так и ходил вокруг него волнами, но Трофим не являлся до самой ночи; на ночь же пришел, по обыкновению, взять сапоги, взял их и, не сказав ни слова, даже не оглянувшись на барина, вышел.

Это удивило Христофорского. Он подошел к двери и запер ее задвижкой. Потом он снял халат, разделся, лег в постель и уже стал засыпать, как вдруг вскочил.

-- А что, если,-- вдруг пришло ему в голову,-- а что, если этот Трофим ночью возьмет его сапоги, да и продаст за рубль, что тогда?

"Я его тогда! ну что я тогда буду делать? а?"

И вот, озабоченный этой мыслью, он уже

надел халат и туфли, собираясь спуститься вниз, удостовериться, дома ли Трофим, и, пока еще время, выручить сапоги свои. Он уже отпер двери, как вдруг услышал ненавистные ему звуки гармонии. Это убедило его, что Трофим дома и не думает о сапогах его, иначе бы не играл на гармонике. Встревоженные мысли его приняли другое направление. "А! Это он назло мне играет! Чтоб я спать не мог, это он мне назло! Скотина! Нет уж, будь я не я, а уж я его выживу, разбойника!"

Трофим, действительно, должно быть, назло, всю ночь наявливал на своем инструменте и выводил такие жалобные ноты, что даже собака не утерпела и начала выть.

Пришло утро.

Сапоги Христофорского не пропали, но досада на Трофима также не пропала в мелочной душе Христофорского, и когда тот, по обыкновению, дую в трубу и осыпаясь трескучими искрами, принес к нему самовар, он сказал ему. "А ты, скотина, вчера опять играл на гармонике. Вот только ты поиграй в другой раз!"

Трофим на это только головой мотнул.

Самовар закипел, и волна пара окатила скуластое лицо его. Сделав свое дело, Трофим молча вышел.

На другую ночь Трофим вышел на двор, сел на скамейку, около лестницы. Подле него села какая-то баба (видно, в гости пришла к нему). Ночь была сырая, но тихая и теплая, Москва кругом шумела, как море. Собаки опять начали жалобно выть, Трофим, прижавшись к бабе, опять заиграл на гармонике. Был уже двенадцатый час ночи, Христофорский не спал, он переписывал в тетрадку какие-то стишки для Александры Степановны и выходил из себя: Трофим играл на гармонике.

На другой день утром у Баканова завтракали: приказчик из чайного магазина, доктор и Христофорский. Христофорский пришел раньше всех и передал Александре Степановне тетрадку, которая начиналась стихами Державина:

Хоть все теперь в природе дремлет,

Одна моя любовь не спит;
Твои движенья, вздохи внемлет
И только на тебя глядит.
Приметь мои ты разговоры,
Помысль о мне наедине.
Брось на меня приятны взоры
И нежностью ответствуй мне.

Под этим стихотворением, составляющим как бы предисловие к другим не менее конфетным стишкам, не было подписано имени Державина. Очень может быть, что Христофорскому хотелось, чтобы стихи его казались собственным его произведением. Он же был убежден, что стихи эти окончательно подействуют, в самое сердце поразят предмет его страсти или, лучше сказать, предмет "его корыстной, расчетливой фантазии.

У дураков свой расчет. Дуракам счастье, говорит русская пословица.

Александра Степановна села у окошка и стала читать стихи.

Христофорский, лися перед Марьей Савишной, был даже как-то особенно весел.

Стали разрезать кулебяку. Гости, подра-

жая хозяйину, выпили по рюмке забористой водки: доктор выпил, опрокинувши назад свою голову, старичок приказчик выпил, приподнявши только брови, Христофорский выпил, как будто только из приличия и поморщился. Все закусили, хозяйка сама подавала гостям тарелки с дымящимися кусками удивительно вкусного и жирного пирога, в соседней комнате шипел самовар, там готовился кофе.

Доктор увидел у Александры Степановны стихи Христофорского и стал их у нее выпрашивать; Александра Степановна не давала их.

-- Это вы сами сочинили стихи? -- спросил доктор Христофорского.

-- Очень может быть, что это и я сочинил,-- с достоинством отвечал Христофорский.

-- Что же, это стишки амурные, разумеется! Ха, ха, ха! Степан Степаныч, поди-ка, брат, сюда: что ты там рассказываешь, попроси-ка Мокея Трифоныча нам какие-нибудь стишки прочесть.

-- А вы думаете, я не умею стихов писать?

-- Он все умеет,-- отозвался Баканов.

-- А на канате плясать вы умеете? -- спросил доктор Христофорского, заливаясь смехом.

Вдруг Христофорский пощупал у себя в кармане, побледнел, поставил на стол тарелку с недоеденным пирогом и, не говоря ни слова, вышел.

Всех это изумило, кроме старичка приказчика, который всегда имел невозмутимо смиренный вид, до тех пор, пока кто-нибудь его самого не затрагивал.

Разумеется, Александра Степановна более всех изумилась мгновенному исчезновению Христофорского.

-- Он обиделся, -- сказала ома, с неудовольствием поглядевши на доктора.

Доктор поймал этот взгляд и сказал:

-- Да пускай обижается.

-- Что же это поднимать на смех человека, который ничего дурного не делает! Вы всегда над ним смеетесь.

-- Да коли он смешон!? а вы что за него заступаетесь?

Александра Степановна вспыхнула. Док-

тор поглядел на нее с лукавой миной и добавил:

-- Ведь это образчик дураков.

-- Дураков на свете нет,-- отозвался Баканов.

-- Как нет?

-- Да так же, что нет!

-- Это вы так думаете?

-- Пушкин так думал. Он всю жизнь свою искал настоящего дурака и никак найти не мог. Он сам это говорил однажды в присутствии Николая Алексеевича.

-- Какого Николая Алексеевича?

-- Ну, да у нас один Николай Алексеевич! Я о Полевом говорю: будто вы и не знаете!

-- Так, по-вашему, Христофорский умен? Ха, ха, ха!.. Удивительный вы человек, после этого! А пирог у вас отличный, Марья Савишна, честь вам и слава,-- сказал доктор.

Прежде чем кончился завтрак у Баканова, Христофорский, запыхавшись, добежал до своей квартиры.-- Где Трофим? -- спросил он дворника, который отпер ему калитку.

-- Сейчас тут был,-- отвечал дворник.

Быстрее молнии Христофорский взбежал

по лестнице. Так и есть! ключ в замке, и замок не заперт! Мысль, что Трофим обокрал его, разом охватила все существо его, он чуть было не закричал: караул. Войдя в комнату, он оглядел ее, бросился под подушку за ключом, отпер комод, пощупал старую фуфайку, в рукаве которой были деньги, вынул их, сосчитал, все было цело. Христофорский перевел дух и успокоился.

"Хорошо, что я рано пришел,— подумал он,— как это я не запер двери! Вот был бы с носом-то, кабы меня всего обокрали; хорошо еще, что хватился вовремя".

Посидевши на диване да пожалевши о пироге, вспомнил он об обеде и вышел.

Заперши дверь, он спустился с лестницы. Ему пришло в голову удостовериться, дома ли Трофим. Он заглянул к нему в каморку. Трофима не было. На столе, рядом с сальным огарком, воткнутом в железный подсвечник, лежала гармоника; она первая бросилась ему в глаза, блестя своими серебристыми клапанами. Христофорский схватил ее, спрятал под шинель и опять поднялся по лестнице. Видит: дверь на чердак отперта; он тихонько притво-

рил ее и, убедившись, что и на чердаке Трофима нет, забросил его гармонику в темный угол за кирпичную стенку, которая шла к дымовой трубе и отделяла большое сорное пространство, не освещенное никаким слуховым окном.

Сделавши это великое дело, Христофорский сошел на двор; лицо его было так красно, как будто он только что был в бане и парился.

-- Никто меня не спрашивал?-- спросил он дворника.

-- Никто!

-- А Прокофий где?

-- Прокофий!

-- Ну да! Черт ты эдакий, Прокофий?

-- Да он тут был. Вон и Трофим идет.

Трофим шел с заднего двора и нес на спине охапку дров, согнувшись в три погибели.

Христофорский, не дождавшись его, быстро вышел на улицу.

Заметно, что подвиг, совершенный им, не только радовал его, но и смущал. Ему не хотелось, чтобы Трофим заподозрил его в похищении гармоники.

Вечер, то есть сумерки застали Христофорского у Бакановых; опишу весь этот вечер, чтобы показать вам, как обыкновенно стали проходить вечера нашего ученого, нашего многодумного купца Баканова.

Баканов сам-третей сидел за ломберным столом в маленькой комнате, около залы, и играл в преферанс. Он сидел по обыкновению в халате, который он торопливо и как-то машинально запахивал у себя на груди всякий раз, когда приходилось ему сдавать карты. Он сидел на диванчике, сторбившись, лениво загребал пальцами сданные ему карты, и когда приводил их на своих руках в порядок, подбирая масть к масти, умильно перекашивал лицо свое то в ту, то в другую сторону. "Эка мерзость! эка! эк его! -- говорил он, если карты были плохи, или говорил: "Куплю" -- и брал прикупку с видом коварного сомнения, поглядывая на руки играющих.

Против него сидел старичок -- приказчик из чайного магазина. Этот смиренный и ти-

хонький на вид человек играл с лихорадочным волнением, прятал карты под стол, беспрестанно оглядывался, хохотал и выпускал разные смешные восклицания, когда игра была на его стороне, и как-то ершился, когда проигрывал, делался молчалив и подозрителен.

Третий сидел за столом направо от Баканова, отражая в большом зеркале стриженный высокий затылок свой; это был, по-видимому, немец, и играл с таким глубокомыслием в лице, как будто решал какую-то трудную математическую задачу. Он беспрестанно ошибался, но видел свои ошибки и только рот раскрывал, как бы от великого изумления, когда Баканов, прищелкнув пальцами, подскочивши на своем диванчике и тряхнувшись всем своим туловищем, выхватывал карту и поражал его.

Старичок ремизился, был красен, как свекла, и, по своей привычке вертеть головой, не мог не заметить, что за ним сидит Христофорский и смотрит ему в карты.

Давно уже он косился на Христофорского, наконец не вытерпел.

-- Пожалуйста, пожалуйста, батюшка,-- заговорил он,-- не сидите у меня под рукой, сделайте такое ваше одолжение.

-- Да что он тебе? Мешает, что ли? -- возразил Баканов.

-- Я вам, кажется, совсем не мешаю,-- с достоинством отозвался Христофорский.

-- Не могу-с, я не могу-с! Вы меня извините, батюшка, Степан Степаныч. А играть я не могу-с! Что хотите со мной делайте, когда в карты заглядывают, да замечания разные делают, да сбивают, не могу-с! это как вам угодно-с.

И старичок положил на стол карты.

-- Да что ты, помилуй, чем он тебе мешает? Разве он тебе замечания делает?

-- Я знаю, что он замечания никакого не делает, а воля ваша-с, Степан Степаныч, мешает, не могу-с.

-- Чем я мешаю, что такое вы говорите? -- вступился за себя Христофорский.-- Я могу не только вас, могу кого хотите научить в преферанс играть.

-- Не-е-ет-с! Нет, уж извините! Нет, мне таких учителей не надо-с. Нет, бог с вами! По-

милосердуйте!

И старичок сделал движение, в котором заключалось явное намерение совершенно бросить игру и удалиться.

— Мокей Трифоныч, отойди, братец, сядь вот там, или поди, никак в гостиной моченые яблоки, а не то бруснику подали. Да скажи Марье, чтобы мелко подавала.

Христофорский встал и гордо посмотрел в плешь старика приказчика.

В сумерках, в зале встретила с ним Александра Степановна и подала ему выглаженный, сложенный и даже вспырыснутый духами шелковый носовой платок.

Христофорский сконфузился: это был тот самый платок, за который он распек и оштрафовал Трофима.

Александра Степановна стояла и, казалось, любовалась его смущением.

Он взял ее пухленькую ручку и подобострастно вlepил в нее три поцелуя, из которых последний был из числа самых горячих.

Так как Александра Степановна, по-видимому, была очень рада изъявлению его благодарности, то Христофорский окончательно

бы впился и губами и носом в ее руку, и добрейшая Александра Степановна не решилась бы вырывать ее у своего тайного и несчастного обожателя, но послышался голос Баканова:

-- Александрии?!

-- Что, папа? Перестаньте, Мокей Трифонович... Не за что, не за что... Что вам, папа?

-- Вели-ка, пожалуйста, кваску подать, смерть что-то пить хочется, да уж и свечей пора.

-- Истинно, что пора,-- отозвался приказчик, уже успокоенный.

-- Да скоро ли там чай?

-- Сейчас, папа!

И Христофорский, вслед за Александриной, последовал в гостиную.

В гостиной он застал Марью Саввишну; она сидела в креслах и разматывала шерсть; моток был распялен на спине другого кресла, стоящего к ней задом.

У окна стояли закрытые пяльцы Александры Степановны.

-- За что это изволили вы благодарить ее? -- спросила хозяйка Христофорского.

-- Мой платок-с, носовой, я забыл совер-

шенно случайным образом, мой шелковый платок они изволили вымыть и даже выгладить.

-- Не сама мыла, не сама выгладила,-- отозвалась девушка.

Христофорский усмехнулся в нос.

-- Все равно я должен благодарить, что вы о нем беспокоились, тем более, что я никак не ожидал.

Александра Степановна скрылась, Христофорский сел возле Марьи Саввишны. Марья Саввишна не церемонилась с теми, к кому привыкла, и, не говоря ни слова, перенесла на его руки моток; Христофорский растянул его, и так как в доме Баканова ему не в первый раз случалось так служить хозяйке дома,-- продолжал улыбаться.

-- Я что-то хотел вам сказать, Марья Саввишна,-- начал он, отводя с мотком руки в сторону.

-- Ну говори, коли хотел сказать, да руки-то держи выше. Эх! и этого-то не умеешь сделать, ну куда ты после этого!..

-- Я очень недоволен Трофимом, Марья Саввишна. Марья Саввишна продолжала мо-

Тать.

-- Это мошенник,-- прогнусил Христофорский, отводя моток в правую сторону -- я очень боюсь, что он меня...-- продолжал Христофорский и отвел моток в левую сторону,-- когда-нибудь обокрадет или что-нибудь делает. Хочу просить, дайте мне кого-нибудь другого.

-- Ну какого еще тебе другого,-- сказала Марья Саввишна, наматывая клубок свой,-- он у нас всякую службу справлял, и я, окромя усердия, никогда ничего за ним не видала, ни воровства, ни пьянства. Нешто он у вас как-нибудь испортился. Господь его ведает.

-- Он удивительно как испортился,-- отвечал Христофорский, поглядывая, скоро ли кончится проклятый моток.

-- Ну, скажите об этом Степану Степанычу.

-- Я непременно об этом, при случае, хочу сказать Степану Степанычу (моток пошел направо). Ибо я ничего не могу делать по вечерам (моток пошел налево), даже спать не могу. Сядет за дверью (моток пошел направо) и начнет играть на гармонике. Собаки (моток

пошел налево) -- собаки выть начнут (моток пришел к концу, к немалому удовольствию Христофорского) -- собаки начнут выть, а кому же это приятно, когда собака воет. Это дурная примета, это, как вы хотите, а примета! Я ж не люблю, когда я что-нибудь приказываю, и меня не слушают.

Марья Саввишна непременно бы приняла участие в Христофорском, если б то нерасположение, которое возбуждал он в ее домашних, незаметным образом не сообщилось и ей и не заставило ее относиться к словам и поступкам Христофорского с некоторым предубеждением. Она почему-то уже не совсем ему верила и не совсем была довольна им, хотя, в сущности, и не могла бы ни к чему придраться, как бы ни разбирала его поведение.

Разговор о Трофиме, конечно, продолжался бы, если бы в передней, а потом в зале, не слышался скрип сапогов, сопровождаемый шелестом женского платья.

"Кого бог несет?" -- подумала Марья Саввишна; вошли гости. Это были: Куляпкин, молодой, лет 22 купчик, одетый по последней

моде, завитой, с необычайно развязными манерами, и сестра его Паша -- девушка лет осьмнадцати, с плутовскими карими глазками.

-- Здравствуйте, здравствуйте!-- весело отозвался Куляпкин, размахивая шляпой. -- Вашу ручку, почтенная тетушка Марья Савишна. А где Александра Степановна? Здравствуйте, вашу ручку,-- начал было он, подходя к Христофорскому, но отшатнулся, и сделал гримасу, и сказал: -- ай! чуть было за даму, Мирикризу Кирбитьевну вас не принял. Фу ты, канальство!.. Какая непростительная рассеянность! Велите подать свечи, Марья Савишна! -- Все засмеялись -- даже Христофорский.

Внесли свечи.

-- А где же Степан Степаныч? Ну, верно, что-нибудь эдакое сочиняет,-- продолжал неугомонный Куляпкин, повертывая в воздухе пальцами,-- это хорошее препровождение времени. Я бы с удовольствием отдал свой старый халат за счастье быть сочинителем... Сестра, рассказывай, где мы с тобой сию минуту были.

-- Да что рассказывать? есть что рассказывать? нигде не были,-- отвечала Паша немного охрипшим голосом.

-- Нет, это я расскажу, надо вам сказать, что у сестры моей была соболья муфточка, вдруг у нас с нею очутилась кунья. Ну вот мы и поехали с ней в магазин совершить новое превращение, кунья опять превратилась в соболью... и зачем, кажется, брать с собой муфту, когда весна!

-- Да ведь я же брала переменить подкладку... Ты все врешь, да к тому же ты, верно, забыл, какой был холод -- так руки зябли, что ужас. Пойдем, Саша. Экой мой братец -- врешь, чуть-чуть меня не выдал.

-- А что?

-- Как ты не понимаешь! Экая невинность! Разве я тебе не говорила про моего Костю?.. Ну вот... всякий раз, как приеду в их магазин, всякий раз по забывчивости и обмениваемся муфтами. Он такой душка, такой милый!.. первый эту шутку выдумал. Подложить муфту, по цвету точно моя, ну, я возьму будто нечаянно и, разумеется, сейчас же найду в ней записку: понимаешь, как это просто. А

ты, неужели ты все еще ни в кого не влюблена, невинность!

Александра Степановна покраснела, тревожно поглядела на мать, скользнула взглядом по лицу Христофорского и отвечала:

-- Ни в кого!..

-- Так-таки ни в кого?

-- Мое время прошло,-- шепотом отвечала Александра Степановна.

-- Ах, какая старуха!-- чуть не вслух воскликнула молоденькая Куляпкина.

Пока происходил этот интимный разговор, Куляпкин подсел к Христофорскому, Мария разносила чай, ром и сливки; за ней мальчик носил корзинки с кренделями и печеньями. В зале же, уже освещенной двумя свечками, слышался голос старичка приказчика.

-- Нет! Не-е-ет-с! Эдак, батюшка, не играют, эдак-с не играют! -- и голос Баканова, который, по-видимому, его всячески успокаивал.

Но пока горячится краснощекий старичок, скажу несколько слов о молодом Куляпкине, хоть он и не играет никакой роли в мо-

ем рассказе, или лучше сказать, постоянно бывая у Баканова и видя Христофорского, играл одну и ту же роль очень тонкого задираны и насмешника.

Куляпкин принадлежал к тому разряду молоденьких купчиков, которые как будто положили себе за правило во всем резко отличаться от своих почтенных батюшек (очень может быть, что такого рода сынки бывали и в дворянском роде при Петре и Екатерине первой) -- отличаться во всем, кроме образования: он поражал всех своей подвижностью, юркостью, франтовством совершенно особенного рода, думал, что светскость заключается в развязности, и в своем кругу довел эту развязность до последней степени нецеремонности; в гостях он то бросался на диван, то вертелся на креслах, то, разговорившись, быстро наклонял свою голову к плечу какой-нибудь полногрудой собеседницы, вертел руками у себя под носом, умел вдруг и неожиданно на какую-нибудь Любу или Надю покосить глаза или подмигнуть, слегка скривя улыбающийся рот. И, можете представить, все это в нем чрезвычайно нравилось в то-

гдашнем женском купеческом обществе. За ним еще водилась одна особенность: он прислушивался ко всевозможным странным, своеобразным купеческим выражениям и сыпал ими как бы на смех своему почтенному сословию; у него же, несмотря на все его недостатки, была память, наблюдательность и при этом постоянная охота над кем-нибудь трунить или кого-нибудь передразнивать, он мастер был рассказывать и про Наполеондру, и про турецкую принцессу, у которой во всю щеку лицо, а под носом румянец.

Как бы назло патриархальности, преловко волочась за хорошенькими купчихами, он рассказывал сестре своей о своих успехах, посвящал ее в тайны любовных интриг своих и, таким образом, являл собой пример редкого братолюбия, а сестра его, Паша, только что вышедшая из пансиона, несмотря на то, что осуждала резкие манеры своего братца, была не только дружна с ним, но уже и настолько опытна, чтобы помогать ему, требуя, разумеется, и от него такой же, в подобных случаях, братской помощи.

О молодых Куляпкиных больше, как ка-

жется, и распространяться незачем, послушаем лучше разговор в гостиной Бакановых.

-- А что? -- мешая в стакане с чаем ложечкой, спрашивает Куляпкин,-- если только это не нескромный вопрос, скоро ли г. Христофорский напишет стишки, которые, как кажется, обещал Александре Степановне.

Христофорский усмехается.

-- А разве он пишет стихи? -- спрашивает Паша Куляпкина.

-- Это пустяки стихи писать,-- говорит Христофорский.

-- А как вы думаете, кто лучше умеет стихи писать, Пушкин или Булгарин?

-- Это пустяки стихи писать,-- повторяет Христофорский, избегая ответа,-- ибо стоит только хорошенько приняться.

Паша Куляпкина фыркает.

Марья Саввишна смотрит на Христофорского так, как бы желает сказать: экой детина уродился, все умеет делать!..

Александра Степановна сидит, немного потупившись.

-- Ну, чему вы смеетесь, чему вы смеетесь,-- возражает Куляпкин на смех сестры

своей.-- Неужели уж так-таки, кроме Пушкина, у нас никто и писать не в состоянии? Я убежден, и совершенно убеждаюсь, что, влюбись в кого-нибудь г. Христофорский, храм сердца его раскроется, и оттуда польются стихи, да такие стихи, что вы растаете.

Христофорский молчит и покрывается румянцем; он не знает, как понимать ему слова Куляпкина.

-- Не правда ли, Саша,-- говорит Паша на ухо Александре Степановне, -- Христофорский глуп.

-- Может быть... Впрочем, он нарочно так прикидывается, чтобы смешить, иногда он очень рассудителен, -- отвечает шепотом Александра Степановна и смеется, чтобы скрыть свое смущение.-- "Боже мой,-- думает она,-- нет-то ни одного человека, который бы над ним не тешился! Нужно же терпение, чтобы все это выносить! Впрочем, слава богу, он обидчив, это я заметила".

-- Что вы тут толкуете? -- спрашивает Степан Степаныч, входя в комнату и подпоясываясь.-- Ты тут вечно, как приедешь, начнешь плести турусы на колесах.

-- Что вы, дядюшка, помилуйте! -- возражает Куляпкин. -- Какие турысы! Мы говорим о поэзии, о по-э-зи-и! Какие же это турысы?

-- Сам ничего не смыслишь, а туда же! Ну, что ты смыслишь в поэзии?

Христофорский усмехается, Куляпкин складывает руки и обращается к Баканову.

-- А вы так думаете, что я не смыслю?

-- Так-таки и думаю.

-- И вы... вы это думаете?

-- Ну, да, думаю.

-- И это вы не шутя думаете?

-- Не шутя. Что пристал!

-- Не шутя... а, чему же вы смеетесь? Ведь вот сейчас и видно, что шутите. Эх вы, поговорил бы я с вами, да вот чай несут. Мокей Трифоныч, почтеннейший, позвольте мне в ваш стакан немножко ромку подлить, -- и, не ожидая ответа, он бухнул в стакан Христофорского порядочную дозу коньяку.

Христофорский сконфузился, даже вспыхнул.

-- Я с ромом чай никогда не пью,-- сказал он,-- я даже со сливками никогда не пью.

И он поставил свой стакан обратно на

поднос улыбающейся горничной.

-- Пойдем, Паша, в залу,-- сказала Александра Степановна,-- да, ради бога, вызови сейчас как-нибудь Мокея Трифоныча. Твой брат уж очень вольничает, того гляди опять выйдет история.

-- Неужели за такие пустяки?

-- Пожалуйста, вызови.

-- Мокей Трифоныч, подите-ка сюда! -- сказала Паша.

Христофорский вскочил и вышел за ними в залу.

-- Где вы достали такого дурака? -- заговорил Куляпкин вполголоса.

-- Ну, да ведь не всем, же быть такими умниками, как ты, -- отвечал Баканов.

-- Опять, опять шутки, почтеннейший Степан Степаныч.

В зале же происходил следующий разговор:

-- Вы зачем нынче утром ушли, даже пирога не доели -- и вдруг ушли! Как это вам не стыдно!

Христофорский хотел было откровенно сказать на это, что он забыл в замке ключ, ис-

пугался, что Трофим или кто другой его обокрадет, и побежал домой, но Александра Степановна, не дождавшись его ответа, продолжала:

-- Доктор пошутил, а уж вы сейчас и обиделись. Конечно, и ему так дерзко и так глупо шутить не следует, всякий благородный человек может за такие вещи обидеться!

-- Да...-- сказал озадаченный ее словами и как бы просветленный ими Христофорский.-- Доктор всегда меня обижает, я мог бы сам ему ответить, но предпочитаю лучше уходить; я, действительно, Александра Степановна, был очень обижен, ушел оттого, что доктор, так сказать, позволяет себе; я этого не люблю, потому что всегда был в хорошем обществе, и если доктор опять придет, я опять уйду.

В эту минуту дверь из передней отворилась, и вошел доктор.

Христофорский остановился как вкопанный, даже рот разинул, он был и сам не рад последним словам своим, но они были сказаны, и он смутно понял, что делать нечего. Ему надо уйти, чтобы показаться чем-то особенным в глазах Александры Степановны;

Доктор подошел к барышням и стал с ними любезничать, взял Пашу Куляпкину за пульс и сказал: -- ого!

Паша начала с ним кокетничать, Христофорский взял со стола свою фуражку, вышел в переднюю и, надевши там калоши, вышел на улицу.

Доктор не обратил на это ни малейшего внимания.

Александра Степановна почему-то осталась довольна поступком Христофорского. Она вообще не любила, чтоб он был у них при Куляпкиных.

В 9 часов вечера, когда вышел Христофорский от Бакановых, было уже темно на улице.

Христофорский, отойдя несколько шагов от ворот, остановился. Долго стоял он, как столб, немножко на сторону нагнувши голову -- очевидно, что он размышлял. Воротиться ему или идти домой? Влюблена в него или не влюблена Александра Степановна? Тут он вынул из бокового кармана шелковый платок, отданный ему Александрой Степановной, приложил его к носу -- и убеждение, что он

любим безумно, любим пламенно, проникло до мозга костей его. Куда же идти? еще рано, -- зайду к моему сослуживцу Стуколкину -- он даст мне совет, что мне делать в этом случае. Он дока и поможет мне -- непременно поможет.

Так он решил и отправился к Сухаревой башне искать квартиру Стуколкина; он же раз был у него с бумагами -- стало быть, найти можно, только если не переехал.

Стуколкин был дома; он сначала взбесился на свою горничную (она же и кухарка), зачем она впустила к нему Христофорского, даже не вытерпел: оставил гостя у себя в спальне (она же и кабинет) и пошел на кухню, нашел там свою горничную и вытаращил на нее глаза свои. Потом стиснул зубы, ущипнул ее за руку и пробормотал: "Ты опять не доложила, ты опять, опять! Вот, погоди ты, что я с тобой за это сделаю!" -- Бледная, получахоточная горничная с ужасом и мольбой посмотрела в грозные очи своего барина, на его си-не-багровый нос, на его белые зубы, на все мясистое, разгневанное лицо его -- и не смела оправдываться.

Пригрозивши своей горничной, Стуколкин, отдуваясь, обратно вошел в свой кабинет.

-- Зная все ваше ко мне расположение, истинно родственное расположение,-- начал говорить ему Христофорский,-- я зашел к вам, Осип Осипович, поговорить с вами.

Стуколкин надел на голову ермолку, сел против него у стола и стал на него смотреть с выражением неприязненного выжидания. "Вот попробуй-ка только ты у меня денег попросить, шельмец ты эдакий, дам я тебе денег, -- думал он, -- дам я тебе родственное расположение!".

-- Зная ваше родственное ко мне расположение,-- продолжал гнусить Христофорский с таким невозмутимым спокойствием, как будто был вполне убежден в глубокой симпатии к себе Стуколкина,-- я решился прибегнуть к вам за помощью.

Стуколкин пригнул голову, как бы вслушиваясь, и, поглядевши на него исподлобья, спросил:

-- А позвольте спросить, за какой это помощью в десятом часу ночи вы изволили ко

мне пожаловать?

-- Вы, по доброте вашего сердца, я уверен, мне поможете.

"Я те помогу -- черт ты эдакой!" -- подумал про себя Стуколкин. Он был страшно зол на своего посетителя, ибо расположен был остаться дома и любезничать со своей горничной. Не приди Христофорский, была бы сцена самая нежная.

-- Дайте мне совет, Осип Осипович.

-- А! Совет! Гм! а какой это совет? -- позвольте вас спросить.

-- Да вот какой. В меня-с влюблена одна купеческая дочка: как вы советуете, написать ли ей прежде письмо или прямо идти к ее отцу и свататься,-- хоть я и уверен, что он с радостью за меня отдаст дочь свою... Только, так как я знаю, что вы ,в этих делах человек опытный, так сказать, всегда в этих делах успех имеете, то я и пришел с вами поговорить, если только вы не рассердитесь.

Выслушавши до конца Христофорского и узнавши из слов его, что Баканов чуть-чуть не миллионер, что у него одна дочь и что дочь эта без ума от Христофорского, Стукол-

кин почесал у себя затылок, сдвинул ермолку на сторону и подумал: "Чем черт не шутит! чего доброго, пожалуй, выкинет такую штуку, что женится, будет богат и наплюет на нас на всех прежде, чем мы на него наплюем. Вот ты и знай!" На широком лице его показалась улыбка; суровые глаза навывкате покрылись влагой и поглядели на Христофорского действительно с какой-то родственной нежностью, хоть и мелькало в них нечто вроде скрытого недоверия.

-- Вы,-- начал Стуколкин, упирая в него глаза свои и в то же время снисходительно улыбаясь,-- вы не врите, потому что я никому шутить с собой не позволю.

Христофорский почувствовал в себе силу глаз его и нежность улыбки, он покраснел и побожился, что не шутит.

Стуколкин закусил губу и замолчал.

-- Валяйте сплеча, куйте железо, пока оно горячо: это главное, не робейте, толцйте и отверзится,-- начал он голосом, не допускающим возражения,-- сначала пишите к ней и у нее просите согласие. Нежным же эдаким вздохам, намекам, да там эдаким всяким лю-

безностям не верьте! Все это вздор! Судя по всему, что вы мне говорили, она уже не молодая и не совсем красивая, рада будет этому случаю,-- ну, и куйте железо, пишите к ней,-- и вот, когда получите ее собственное согласие, тогда идите к ее папеньке и... когда женились, и когда... Гм! Я, хотите, кстати вам и письмо сочиню, такое письмо, что, верьте вы богу, она с ума сойдет. Только я не философ, вы это знаете -- за письмо я возьму с вас взяточку,-- я ж вам так дело обделаю, что вы будете человек богатый и далеко пойдете.

-- Я тогда, Осип Осипович, тысячи не пожалею: что мне тогда тысяча! -- И Христофорскому действительно представилось, что тысяча вздор, если только у него будут сотни тысяч -- и в то же время какой-то бесенок нашептывал ему на ухо: обещаю хоть четыре тысячи, ведь к присяге не приведут тебя -- можешь и надуть.

-- Тысяча, гм! Не мало ли? Впрочем, если вы такой скупой,-- пожалуй, идет: по рукам! -- сказал Стуколкин.

-- Если поможете, по рукам! -- сказал Христофорский.

-- Я вам сочиню письмо, вы его перепишите, и...

Тут Стуколкин, как человек быстрой проницательности, смекнул, что может сейчас же испытать, не врет ли Христофорский.

-- Вы его перепишите, мы его запечатаем. Вы напишите адрес, и завтра чуть свет я сам снесу его и отдам горничной или попрошу дворника передать его барышне, разумеется, за это я заплачу дворнику, ну да уж это мое дело.

-- Я, пожалуй... я на все согласен... Осип Осипыч. "Не врет!" -- подумал Стуколкин,-- ну-с; теперь я начну сочинять письмо, а вы посидите. Вон сядьте на этот диван. Это у меня и диван и постель. Я вам после когда-нибудь покажу, как это я устроил.

-- А нет ли у вас чего покурить?

-- Была где-то тут папироска, только черт ее знает, кто ее взял. Я сам, знаете, не курю; голова с табаку у меня кружится; крови много, знаете; боюсь, когда-нибудь кондрашка хватит. Ну да теперь не о том речь... Кондрашка так кондрашка! А вот мы теперь такую вам цидулку сочиним, что...

Стуколкин сел к своему письменному столу; ермолка слезла ему на затылок; широкий, мясистый лоб его, озаренный свечкой, пришел в волнообразное движение. В бумаге и перьях у Стуколкина недостатка не было, нужно было думать об одном --с чего начать? И вот стал он припоминать все любовные записки, которые он когда-то писывал, перехватывал или получал,-- а получал он их немало с Кузнецкого моста, с Трубы и Плющихи, и недаром в казенной палате считали его чем-то вроде Дон Жуана. Об его похождениях знал даже столоначальник Яков Михайлыч, добродушнейший из добродушнейших смертных.

Пока Христофорский сидел, вытянувши ноги, и мечтал, Стуколкин, коренастый и жилистый, сгорбился над четвертушкой казенной бумаги и писал:

"Александра Степановна!

Мое сердце не лжет; и если только вы не коварное существо -- вы меня любите. Знайте, божество мое, что я люблю вас так же безумно и пламенно. Решаюсь просить руки вашей.

Да или нет? Вознесите меня на высоту райского неземного счастья или погрузите меня в бездну отчаяния. Если вы согласны пить со мной чашу жизни, я на днях явлюсь к вашему батюшке (слово "батюшка" Стуколкин вымарал и написал сверху "родителю"), к вашему родителю, и буду просить его подтвердить ваше согласие и осчастливить меня вашей рукой. В ваших руках жизнь моя и смерть, ибо с тех пор, как я увидел вас, я лишился сна, аппетита, и только брежу вами. Ты мой ангел, мой идеал, моя богиня. Пленный вами, падаю к вашим ногам и говорю вам: сжальтесь над несчастным и разрешите мои тяжкие сомнения. Теряю рассудок мой и жду услышать ваш ответ, лично или письменно. Остаюсь
ваш навеки
Мокей Христофорский".

Подбирая не без труда все эти фразы, Стуколкин сам над ними мысленно тешился, он был глубоко убежден, что, кроме этих фраз, ничего не нужно для того, чтобы заставить сердце любой московской девицы забить тревогу, загореться и сжалиться. И что, не будь

он Осип Стуколкин, никогда бы Христофорский не сумел пустить в ход такого зажига- тельного брандера. "Глуповат! сильно глупо- ват!" -- думал про него Стуколкин. Впрочем, заключил он мысль свою:-- "видно, еще не очень глуп, что пришел ко мне за помощью".

-- Ну, что-с?-- спросил Христофорский.

Стуколкин молча перечел черновое пись- мо и посмотрел на Христофорского, потом опять взглянул на письмо и потом опять на Христофорского.

-- Написали?

-- Гм! Слушайте.

Стуколкин оглянулся на дверь, поправил на голове ермолку и стал читать таинствен- ным голосом: "Александра Степановна!

Мое сердце не лжет, и если вы не ковар- ное существо-- вы меня любите". Хорошо так начать?

-- Это очень будет хорошо,-- согласился Христофорский, щуря от удовольствия глаза свои.

-- Не врет! -- подумал Стуколкин и дочел все письмо.

Христофорский остался совершенно до-

волен им, сел на место Стуколкина и начал переписывать на почтовой бумаге его. В это время Стуколкин ему услуживал, подвигал к нему чернильницу, спрашивал, хорошо ли перо, не надо ли починить, указывал, где лежат облатки, даже не утерпел сам взять коробочку с облатками и выбрал из них самую красивую, розовую, с каемкой. Одним словом, к будущему богачу он невольно почувствовал родственное расположение.

Когда письмо было переписано, запечатано и надписано, Христофорский рассыпался в благодарностях, просил Стуколкина сохранить тайну, и проч. и проч.

-- Уж надейтесь на меня, как на каменную стену,-- сказал Стуколкин.

-- Я это очень знаю и ценю,-- сказал Христофорский.

Наконец, Стуколкин, шлепая туфлями, проводил его чуть не до ворот.

Христофорский исчез во мраке ночи, а Стуколкин, воротившись в свою спальню, принялся на чем свет стоит ругать Христофорского. "Ну кто бы мог подумать, что эдакий дурак... это эдакому свинье такое счастье!

Ни кожи, ни рожи! Да еще и сам письма сочинить не может. Тьфу! А ведь женится! Ну, и она хороша -- эта Александра Степановна! Ну, для чего она за него выйдет?.. Для того, чтоб за нос его водить. Да я у него отобью ее, вот только попробуй он -- женись! Ей-богу, не будь я Стуколкин, если я не отобью у него эту Александру Степановну, и не будь я Стуколкин, если она не озолотит меня! Малашка, стели постель. Покажи, где я тебя ущипнул?

Малаша, глядя ему в глаза и как бы не смея ему противоречить, бледная, обнажила бледную руку.

Стуколкин припал губами к ущипанному месту, и затем всю ее привлек к себе своими широкими лапами.

Она -- чужих господ девушка -- не имела сил ни возражать ему, ни сопротивляться.

XII

За час до полуночи воротился Христофорский домой.

Люди такого громадного ума и таких гениальных способностей, как Мокей Трифо-

ныч, редко бывают рассеянны, но сцепление маленьких приключений совершенно свернуло ему голову. Спрятанная гармоника к война с Трофимом, найденный платок, за который и деньги уже вычтены, и опять-таки война с Трофимом, Александра Степановна, ее несомненная страсть к нему, и война с доктором, неожиданное появление доктора в зале у Бакановых и его собственное исчезновение из этой залы, для него самого неожиданная способность обижаться, открытая в нем Александрой Степановной, и опять-таки доктор, о котором он и не думал и которому пришлось вдруг показать свою ненависть, уйти и даже отказаться от ужина, -- все это вместе взятое сделало его до того рассеянным, что он из передней Бакановых унес чужие калоши, и именно калоши Куляпкина. Все время калоши эти жали ему ноги, а он думал, что у него новые сапоги и еще не разносились,

Стуколкин, его соучастие, письмо к Александре Степановне, все это еще более расшевелило мозги его и увеличило рассеянность. Он не заметил, кто ему отпер калитку, не спросил, дома ли Трофим, машинально под-

нялся на лестницу, снял шинель, сбросил ка-лоши, зажег свечу, заперся и стал раздевать-ся.

Раздевшись, он выкурил трубку, потом осмотрел на своих ногах мозоли, наконец, лег и собрался заснуть, перебирая в голове всякую всячину. Так ветошник перебирает со-бранные им тряпки и любит на красивые лоскутья, бог весть каким ветром занесенные на улицу, с той только разницей, что ветош-ник не рядится в свои тряпки, а Христофор-ский с самоуслаждением наряжался в них и воображал себя героем,

В эффekte письма он не сомневался, не сомневался, что Александра Степановна бу-дет очень рада его предложению, и уже вооб-ражал себя едущим в коляске: подле сидит жена его в салопе, а у него бобровый ворот-ник подпирает уши. "Будет великолепно!" -- думал Христофорский.

"Зачем только я связался с этим Стукол-киным?" -- продолжал думать Христофорский, но тут, конечно, ему следовало бы сознаться в маленькой подлости. Ему хотелось перед сво-им начальством похвастаться своими успеха-

ми, своим намерением и тем будущим, которое может ожидать его; но как ни был иногда подловат Христофорский, он этого не признавал, напротив, считал себя гордецом первой степени.

"Как жаль, -- думал он, -- что я предоставил Стуколкину право написать ей письмо. Напиши я сам, было бы гораздо красноречивее, кто ж лучше меня может написать! Но... что же делать! я должен был доставить это удовольствие помощнику нашего столоначальника. Он такой сердитый, что я очень рад, что он принял во мне такое горячее участие!"

К часу ночи он стал засыпать, но все еще с боку на бок поворачивался, и так упирал ноги в задок кровати, что она трещала.

Счастливого смертного уже бог Морфей принимал в свои объятия!..

Вдруг он вздрогнул, упираясь руками в матрац, поднял голову и перекосил по направлению к двери нос свой.

Кто-то входил на лестницу и шарил руками.

Христофорскому вдруг вообразился Тро-

фим (недаром у него было такое злое лицо), Трофим с топором, Трофим с мошенниками, готовыми на все, и бог знает, что ему вообразилось. Он страшно струсил. В дверь кто-то постучал, потрогал ручку замка и опять постучал. Христофорский замер.

-- Барин! -- послышался глухой голос, -- отоприте...

Христофорский вскочил с постели, стал искать спичек и не нашел.

-- Отомкните! -- послышалось за дверьми...

Голос Трофима послышался в ушах Христофорского.

-- Кто там?! -- во все горло заорал Христофорский, да так заорал, что у него самого встали дыбом волосы.

Три удара в дверь кулаком.

-- Отоприте... надо... я... жду...

-- Караул! -- заревел Христофорский. В ушах у него звенело, сердце билось...

-- Ну! -- послышалось за дверью, и опять кто-то стал спускаться с лестницы. Послышался чей-то говор внизу. Чьи-то шаги по двору, лай собаки, стук какого-то экипажа на

мостовой за воротами. И опять все стало тихо, только собака все еще ворчала и по временам лаяла.

"Это он не один приходил... это он с мошенниками... что если б дверь-то я не запер...-- думал Христофорский, тихонько подходя к двери и щупая задвижку...-- Это он все за гармонику... это он все за то, что я за платок вычел... подлец!.. Нет, я пистолет выпрошу у Баканова, что это за житье! Убить хотят... что это за анафемство!.. Ну уж... постой же, если так... если..."

Приложив ухо к двери, Христофорский с полчаса не двигался с места.

Наконец, когда собака затихла, а петух запел, он воротился в постель и перекрестился. "Трофим меня хотел убить, это ясно", -- думал он, засыпая.

"Это ясно, он хотел убить меня!" -- думал он, просыпаясь на другой день раньше обыкновенного...

XIII

А Трофим и дома не ночевал... Исчезнове-

ние гармоник огорчило его гораздо сильнее, чем вычет рубля из жалованья. Он знал, что приходил барин, и знал, что, пока он ходил за дровами, никого на дворе не было: это его штуки, догадался Трофим, и напала на него злость и досада великая. Рассердился Трофим. Не хочу же ему служить, черт он эдакий! Прости господи! Не хочу, плевать мне на их жалованье, пойду к Степану Степанычу, просто скажу, так и так, не хочу служить...

И пошел он с этой мыслью к Степану Степанычу, да дорогой вспомнил свою солдатку и отправился к ней куда-то к Крымскому броду. У солдатки нашел он маленькую трехгодовалую дочку в жару, чуть не при смерти, и, забывая все на свете, несчастный Трофим остался у ее тряпичной колыбели. Он то брал ребенка на руки, то качал его, то закутывал его ножки в дырявое стеганое одеяльце.

Так прошел весь вечер, и так прошла половина ночи. Солдатка дала Трофиму поужинать, поднесла ему стакан водки и уговорила его ночевать. Трофим остался ночевать, но проснулся на заре, и ушел от солдатки прежде, чем та успела за водой сходить: Тро-

Фим вспомнил, что дома надо ему вычистить сапоги Христофорскому и поставить самовар. Привычка, или, лучше сказать, врожденный инстинкт долга, заставили его спешить домой на послуги к тому самому Христофорскому, которого накануне он бранил всеми употребительными и в печати неупотребительными словами. "Еще успею с ним развязаться! -- утешал себя Трофим, шел и ворчал себе под нос.-- Да-а! Ты со мной расквитайся, не то деньги подай, не то струмент (гармонику свою он называл струментом), Струмент мне подай, не ты за нее деньги платил, вот что... растакой ты сякой!.." И тому подобное...

Когда Трофим пришел домой, Христофорский был уже на ногах и ходил по кладовой, обозревая, все ли цело.

Христофорский узнал, что Трофима нет, что камора его заперта, и его ночные подозрения превратились в несомненную уверенность; он уже думал, что Трофим бежал и что он, Христофорский, обо всем этом обязан дать знать полиции, как вдруг, проходя нижние сени, он совершенно неожиданно застал Трофима под лестницей. Трофим преспокойно

ставил самовар.

Христофорский остановился, сначала струсил, потом вытянулся и подбоченился.

-- А где ты был ночью? -- спросил он Трофима.

-- В Москве был,-- спокойно отвечал Трофим, не поворачивая спины.

-- Где ты был? Я тебя спрашиваю!

-- Ходил место искать.

-- Места искать! Нет, я тебя в полицию. Ты зачем ко мне ночью стучал, зачем в двери ломился? А?..

-- Может, кто и стучал, почему я знаю. А вот вы куда струмент-то мой дели? Вот что...

Христофорский вспылil: будущий богач не вынес, не мог вынести такого оскорбления, он схватил Трофима за воротник его чуйки и стал его дубасить.

Трофим был в десять раз сильнее Христофорского; не выносил своего барина и еще более был на него зол, но, несмотря на то, что даже губы его дрожали от негодования, он, не разгибая спины, позволил себя дубасить Христофорскому.

-- Вы не смеете меня трогать... вы!.. я еще

не вам служу, еще руки у вас коротки...-- шумел Трофим.

А Христофорский продолжал, что есть силы, давать ему подзатыльники.

-- Я сейчас напишу записку Баканову, что ты хотел ночью обокрасть меня.

-- Я сам сейчас пойду... скажу, что вы меня обокрали, сейчас пойду.-- Трофим, только что перестали его бить, разгорячился, расхотелся не меньше Христофорского, уронил самоварную трубу, схватил шапку и вышел, размахивая сжатыми кулаками.

Прошло полчаса, у Христофорского еще и кровь не успела успокоиться, еще глупое лицо его было красно, как гребень индейского петуха, как уже пришлось ему вполне разочароваться насчет своей ночной смелости, в минуту явной опасности быть убитым и оскорбленным.

Только что Христофорский стал мечтать о том, что Александра Степановна нынче же с матерью отправятся к Иверской и отслужат молебен за то, что небесные силы заступились за такое, как он, сокровище, явился перед ним, как лист перед травой, кучер от Ку-

ляпкина и объяснил ему, что Куляпкин, узнавши о перемене калош, по дороге от Бакановых на Тверскую заехал с сестрой к нему, Христофорскому, и велел кучеру достучаться и взять у него калоши, так как они рано утром ему могут понадобится, а калоши Христофорского сваливаются с ног и до того растоптаны, что и ходить в них совестно.

Передавая все это, кучер ухмылялся во всю свою кучерскую бороду. Доказательство у него было в руках -- калоши Христофорского.

Христофорский силился улыбаться, щурил глаза, извинялся, сказал, что Трофима не было дома, и что он боялся отворить дверь, так как по соседству много воровства, наконец, пошел за калошами Куляпкина, осмотрел их со всех сторон и, можете себе вообразить, достал из жилета двугривенный и дал кучеру на водку. Последнее обстоятельство красноречивее всего говорит, до какой степени Христофорский, несмотря на свой медный лоб, был сконфужен. Он смутно понял, что из всего этого может выйти какая-нибудь история, ибо Трофим, несомненно, побежал на него жаловаться Баканову, и в какой день! в

тот самый день, когда его любовная записка к Александре Степановне должна решить его участь...

"Гм! как только отделаюсь, -- решил Христофорский, закуривая трубку, -- сам пойду к Баканову и расскажу ему, что Трофим... что... мне от этого скота житья нет, что он вывел меня из терпения... Гм!.. Надо будет сказать, что он и святого выведет из терпения".

XIV

Трофим на этот раз не шутя пришел жаловаться к Баканову, но не застал его дома; хозяин с утра уехал хлопотать по коммерческим делам. Трофим зашел на кухню, напился там квасу, потом отправился в Девичью чай пить и всей дворне пожаловался на Христофорского. От дворни жалоба его какими-то путями, через горничных, дошла и до Марьи Саввишны. Все узнали о диком нраве и драчливости Мокея Трифоныча, узнали о пропавшем платке и о пропавшей гармонике.

-- Вот, приди-ка он сюда, сударик, мы ему намылим голову,-- говорила Марья Саввиш-

на.-- Экой фофан!

-- Что такое? -- спросила Александра Степановна; она дурно спала ночь. Ложась в постель, перечла стихи, переписанные для нее Христофорским, долго потом молилась, потом долго думала; под глазами у нее были темные тени.

-- Дерется, фофан эдакий! У нас и в купеческом быту этого не было. Нашел отец твой эдакое сокровище! Трофима, который жил у нас три года, словечка не слышал, вдруг ни за что ни про что приколотил, разбойник эдакий.

-- За что?

-- Да вот поди ты, спрашивай, за что. Да я бы на месте Степана Степаныча прогнала его. Вот что!

Александра Степановна, не говоря ни слова, вышла, и, бледная, очутилась в девичьей. Битый Трофим в своем зипуне стоял у лежанки и уже вприкуску пил чай, поддерживая на толстых растопыренных пальцах дымящееся блюдечко. Расспрашивать его при свидетелях Александре Степановне стало известно. Она ото всех скрывала страсть свою и

ни перед кем никогда не обнаружила своего участия к Христофорскому. К этой скрытности еще с детства приучила ее ее тетушка, которая до последнего издыхания своего пилила ее за нескромность и ветреность. Ей иногда казалось, что тень этой тетушки и до сих пор следит за ней и пилит ее.

Она обвела глазами горничных, как бы прислушиваясь к толкам, и, когда все замолчали, судорожно улыбнулась и спросила:

-- Говорят, кто-то прибил Трофима: за что это?

В этом вопросе всем почудилось, что барышня принимает в Трофиме живейшее участие, и со всех сторон начались рассказы: нянька начала с того, что Христофорский озорник и прощельга; горничная сказала -- за платок; ключница -- за то, вишь, что домовой его ночью душить приходит; наконец, кто-то еще сказал: ну, что за беда! Был хмелен, да не выспался.

Последнее замечание отозвалось очевидной клеветой и недоброжелательством в ушах огорченной Александры Степановны; она знала, что Христофорский ничего не пьет.

Это возмутило ее до глубины сердца; все клевета, подсказало ей тайное чувство. Женщины всегда оправдывают тех, кто им нравится, или даже тех, кому они нравятся.

-- Кто же это лез ночью к твоему барину: что за домовой? -- спросили Трофима.

-- А почему я знаю? Кому лезть!

-- Может быть, ты за чем-нибудь?

-- Да я... помилуйте: я и дома-то всю ночь не был,-- откровенно ляпнул Трофим,-- я еще вчера ходил новое место искать. Вот что.

-- А! Так ты не ночевал!.. А!.. Вот что? Так поделом же тебе,-- сказала Александра Степановна горячо, повернулась и, разгневанная, вышла вон из девичьей.

"Всегда так, -- думала она, садясь за пядьцы,-- не разберут и обвиняют. Этот болван не ночевал дома, а тот, может быть, только пальцем его тронул, и вот... такая история! Что он за ангел, чтоб и не сердиться, точно он не человек!"

Так, вышивая в пядьцах почти что до самого обеда, продолжала размышлять Александра Степановна и была не в духе. Бедная Александра Степановна! В этот день ждала ли

она сюрприза! Все, чего она могла ожидать,-- это что придет Мокей Трифоныч и посмотрит на нее так, как еще никто из смертных не глядел в ее ясные очи; ей будет мысленно жаль его, и она скажет ему два-три утешительных слова; скажет: вас бранят, но хорошо вы сделали, что побили Трофима, я бы сама его приколотила до смерти.

Вот до чего додумалась эта добрейшая в мире девушка, ни разу в жизнь свою не убившая мухи. Но... читатель сам может догадаться, какого рода сюрприз ожидал ее. За час до обеда Марья Саввишна позвала ее в спальню.

-- Зачем это? -- спросила она горничную.

-- Не знаю-с,-- отвечала Марья,-- какое-то письмо.

-- Какое там письмо, очень мне нужно! Александра Степановна накрыла пяльцы и с недовольным видом отправилась к матери.

Мать свою застала она сидящей у окна под образом с письмом в руке и с вытаращенными на нее глазами.

-- Поди-ка сюда, мать моя!-- сказала она... помолчав.

-- Ну, что еще?

-- Марья, стол накрывать ступай, -- сказала она любопытной горничной, -- поди-ка сюда, это к тебе письмо подбросили?

-- Почему я знаю: вы получили!

-- Ах ты бессовестная, бесстыжие глаза твои, какого жениха нашла!

Девушка вздрогнула, с недоумением поглядела на мать и побледнела: сердце ее забилося, оно смутно подсказало ей, кто этот, который пожелал руки ее.

-- Какого я жениха нашла? -- спросила она с тем же недоумением.

-- Дурака безмозглого, озорника, драчуна такого, что во всей Москве хуже нет, вот кого ты нашла! Прочти, мать моя... На, прочти, коли не слепа; вот, гляди!.. Читай!

Девушка робко взяла письмо и стала читать, щеки ее ярко вспыхнули, казалось, она вдруг все поняла и ударилась в слезы, бросилась лицом на брачное ложе своих родителей и стала плакать.

Марья Саввишна, как вы уже могли заметить, читатель, была женщина неглупая, у нее был такт и было сердце; ее поразили неожиданные слезы дочери, она подумала,

что оскорбила дочь свою, что Саша плачет от злости на Христофорского, что этот дурак жестоко обидел ее, приславши ей такое письмо с таким предложением. Долго не унималась Александра Степановна. Письмо выпало из ее рук и лежало на ковре, Марья Саввишна подняла его и спрятала к себе в карман, чтоб оно, проклятое, и на глаза не попало ее Сашеньке.

Наплакавшись, Александра Степановна встала и хотела сейчас же выйти, но, подойдя к дверям, остановилась и полуобернулась к своей растроганной матери.

-- Маменька! -- сказала она.-- Пожалуйста, не говорите ничего папеньке, никому не говорите, я сама ему скажу, если надо, сама. Я не хочу, не хочу, чтоб это кто-нибудь знал, не хочу!

-- Ну, ну! Не скажу, не скажу,-- начала утешать ее Марья Саввишна,-- да и зачем это, стоит ли говорить! Мало ли дураков на свете, никому не закажешь.

-- Ну да-с! Конечно, дурак, но и дураку спасибо за то, что он... что он один полюбил меня...

Последние слова Александра Степановна произнесла с усилием, слезы опять навернулись в ее глазах, и она с опухшим носиком ушла к себе в комнату.

А в это самое время на другом конце дома Степан Степаныч выслушивал жалобу Трофима, которого привели к нему в кабинет через коридор и переднюю, а вслед за Трофимом в зале случайно появился Христофорский и, услышавши голос своего слуги, остановился, вытянул лицо, насторожил уши и стал подслушивать... что такое говорит Баканов, а Баканов, усталый и измученный, только что воротившийся, говорил Трофиму:

-- А зачем ты ему сдачи не дал! Эх! Глуп же ты, братец. Он тебя, а ты бы его, ну и были бы квиты.

Христофорский, услышавши такую мораль, постоял с минуту и, рассудив, что он пришел не вовремя, незаметно скрылся из залы и так же незаметно вышел из дому.

Его сильно озадачили слова Баканова; он никак не мог переварить их. "Черт знает какое невежество! Вот что значит необразованность!" Гордость заговорила в его мелкопо-

местно-дворянском сердце. Никогда еще лицо его не казалось таким измятым, никогда еще глаза его не глядели так мрачно и так тупо на проходящих и едущих по улице.

-- А я только что был у вас, -- сказал Христофорскому знакомый голос, и чья-то рука тяжело легла ему на плечо.

Это был Стуколкин.

-- Я ходил прогуляться, -- сказал Христофорский.

-- Ну, что?

-- Ничего. А вы разве отнесли письмо?

-- А вы сомневаетесь, а?

-- Неужели же отнесли?

-- Гм! А как вы смее сомневаться? -- И Стуколкин посмотрел на него свирепо и с недоверием.

-- Я очень, напротив, благодарен вам..

-- Нет, вы скажите, вы меня вчера, может быть, морочили. А? Может быть, и девицы такой нет?

-- Ей-богу, Осип Осипыч, я...

-- Что ей-богу?

-- Ей-богу, все есть, и если вы отдали письмо, то как вы думаете, дошло оно или не

дошло?

-- А почему бы ему не дойти, если я сам отнес его и отдал кучеру?, три рубля ему дал на водку. За вами три рубля серебром, вы этого не забываете, и когда я принимаю в ком-нибудь участие, то я не шучу. Понимаете вы меня?

-- Я уверен, Осип Осипыч.

-- Что вы уверены?

-- Уверен в вашем истинно родственном ко мне расположении.

-- Ну, то-то же.

-- И уверен, что девушка эта до безумия влюблена в меня и что никакие препятствия...

-- А разве есть препятствия? Как же вы мне вчера сказали, что никаких препятствий...

-- Очень может быть, что и никаких препятствий... Вы курите?

-- Нет, не курю.

-- А я хотел предложить вам Жукова трубку, если вы ко мне зайдете, то...

-- Это еще будет, это еще впереди, мой любезнейший, зайду к вам я еще, не раз и не два

зайду, ждите меня через три дня. А где ваша квартира? А! Здесь! Как же это к вам вход-то -- со двора? А! вижу, вижу теперь. Слушайте: через три дня вы мне, как отцу родному, должны все сказать и не солгать ни на волос, ни, ни... Боже вас избави! А то вы, пожалуй, вчера мне наврали с три короба, ну, не наживите себе беды. Я на вас начальству донесу... только за жалованьем и являетесь в конце месяца.

-- Неужели вы мне не верите, Осип Осипыч! -- сказал Христофорский и повесил нос.

-- Ну, хорошо, верю, -- снисходительно отвечал Стуколкин, подозрительно взглянув на поникший нос Христофорского, -- погляжу, как вы на миллионе женитесь, погляжу, прощайте.

И Христофорский, с чувством пожавши красную, покрытую волосами руку Стуколкина, расстался с ним.

XV

Пришла ночь; вслед за ней, не спеша, и Степан Степаныч пришел в спальню к своей

Марье Саввишне.

При свете неугасимой лампадки он начал раздеваться и заметил, что подруга его жизни глядит во все глаза, не спит, как будто дожидается его так, как дожидалась когда-то в медовый месяц.

-- Аль больна? -- спросил он жену. -- Что болит?

-- Больна не больна, а ты вот ложись, и, как ляжешь, я тебе новость скажу.

-- Какую? -- не без удивления спросил Степан Степаныч и даже приостановился; спальный сапог так и остался у него в руке. Он вообразил, что его или надули, или обокрали приказчики, или какой-нибудь вышел такой необычный скандал, что Марье Саввишне не терпится, чтоб не передать его со всеми подробностями.

-- Какую новость?

-- А вот ложись...

Степан Степаныч снял халат, обошел массивное брачное ложе, лег подле своей супруги и уперся подбородком в дебелое плечо ее.

-- Ну, вот, лег, матушка ты моя! Ну, какая

тут у тебя новость? -- заговорил он заигрывая.
-- Ничто не ново под луной.

-- За Сашу жених сватается,-- помолчав, сказала Марья Саввишна.

Баканов сел на постели, как человек, готовящийся говорить о таком деле, при котором спать или дремать не следует.

-- Али сваха опять наврала? -- спросил он.

-- Нет, не сваха.

-- Ну, так что ж, почему же Александрине и не выйти замуж, девка в соку; надо судить по-человечески: коли сама замужем, и другим не мешай.

-- А ты не бойсь не помешаешь?

-- Ну вот! Я что за помеха! Да за кого хочет, за того пусть и выходит, был бы человек, был бы...

Тут Степан Степаныч собрался чихнуть и стал искать платок, но чихнул без платка.

-- Значит, правду говорю, -- сказал он.

Жена сунула ему в руку свой платок и сказала; "На здоровье".

-- Ну, кто же это сватается?

-- Ну, отгадай; за тем и говорю, чтоб сам догадывался, коли ты умный человек.

-- Уж не доктор ли?..

-- Нет, куда тебе... променяет он свою ак-
терку на жену.

-- Ну, Косаткин?

-- Нет.

-- Гм! Может быть, от Башлыкова или от
Позументовых -- у них сыновья на возрасте.

-- То-то, что во веки веков не отгадаешь.
Что тебя томить! Вот сам прочти, авось дога-
даешься.

Марья Саввишна подала ему записку
Христофорского и потом зажгла свечу и поме-
стила ее между собой и мужем, придерживая
подсвечник обнаженной рукой. Таким обра-
зом, устроилась картина ночного семейного
совещания.

Степан Степаныч стал читать, дочел до
подписи и опять стал читать; брови его при
этом выразительно двигались, губы ушли в
рот, натянутая кожа гладко выбритого подбор-
родка лоснилась, но ни особенного беспокой-
ства, ни гнева, ни даже особенной, прилич-
ной случаю, досады не изобразило лицо его.
Наконец, он слегка иронически засмеялся.

-- Хе, хе! Эдакий дурачина! Какую галима-

тью напорол! Александрина читала?

-- Читала.

Тут Марья Саввишна задула свечу и перенесла ее на ночной столик:

-- Ну что, смеялась, чай?

-- Да, хорошо кабы смеялась -- плакала чуть не до истерики. Что с ней было, и сама не знаю.

-- Так она плакала?

-- Я ж тебе толком говорю.

-- Гм! Я что-то не заметил.

-- Да ты, батюшка мой, никогда ничего не замечаешь.

И Марья Саввишна, в миллионный раз со дня своего супружества, задала ему маленький нагоняй. Она всегда по ночам потихоньку мылила ему голову, как обыкновенно поступают все умные жены, ибо ночью, что ни скажи -- все шито-крыто.

-- Нечего и замечать,-- оправдывался муж-философ, -- этот болваниссимус сдуру вообразил, что дочь моя влюблена в него. Вот и все. Мало чего он не воображает: ха, ха, ха! Он дурак, и стихи, говорит, пишет и в карты лучше всех играет, и все может сделать. Он, чего

доброе, вообразит скоро, что у него апельсины на носу растут. Он просто находится в легком умопомешательстве. Вот и все. Я давно это вижу и снисхожу... Ему вечно бог знает что мерещится. Вон нынче Трофима поутру прибил: представилось, что тот ночью к нему в двери стучал. Черт знает что!

-- Не поминай черта, нехристь ты этакой!

-- Да поневоле тут и черта помянешь. Дело вздор, просто плевое дело, смеяться надо. Что с него спрашивать? Как есть дурачина.

-- А если Саша сама влюблена в него?

-- Ну, так она дура. Вот тебе и все. Влюблена! Ну, помилуй, что ты говоришь, ну, не глупа ли ты, матушка! Пришла тебе в голову такая фантазия! Тьфу! Только бабам и приходят в голову такие фантазии.

И Степан Степаныч, пользуясь ночной темнотой, в свою очередь, немного помылил голову своей супруге.

-- Не стоит об этом говорить, -- заключил он, -- и ему ничего не надо говорить, как будто никакой записки и не было, и не получали. Так и скажем, что ничего не получали. Ты так и Александрине скажи, слышишь?

Жена отозвалась на это, что эту шутку она еще раньше его придумала, и показала вид, что хочет спать.

Муж также показал вид, что хочет спать, и, приняв положение более удобное для спанья, слегка толкнулся спиной в спину своей благоверной, но, несмотря на это самое удобное для спанья положение, долго не мог заснуть; беспрестанно в мозгу его бродили фразы из письма Христофорского; он шевелил губами и думал: "Ах, ты черт! Appetit потерял! Ест, как акула, за двоих ест! Скажите, пожалуйста! Какой несчастный! Appetit... ха, ха, ха! "В ваших руках жизнь и смерть моя"... Прямо из какой-то книжки, каналья, выписал. Господи ты боже мой! Родятся же такие дураки на свет!"

Так размышлял отец. Иные, совершенно иные мысли лезли в голову его дочери. Она также не спала. Ей было досадно, больно, что она не оставила при себе письма Христофорского. Она была полна жажды опять у себя, наедине, перечесть его. Она ничего не помнила из того, что прочитала; помнила только, что он ее любит и просит руки ее. Она сама

сочиняла за него тысячи страстных фраз и думала, что все эти фразы прочла в письме его. Одним словом, она сама себе сочинила или переделала письмо Христофорского, и оно казалось ей таким нежным, таким деликатным, полным такого неисходного горя и таких бескорыстно-благородных намерений. Кто не знает, что разумеют девушки под словами бескорыстно-благородное намерение? Это намерение взять их с душой и телом в свое полное, беспардонное и пожизненное обладание. Что ж всего невероятнее, это то, что известная нам с вами, читатель, физиономия Мокея Христофорского представлялась ей в сиянии красоты неописанной. Ей хотелось целовать его в голову, и в глаза, и в губы. Поневоле вспомнишь Шекспира и его Титанию, обнимающую ослиную голову.

XVI

Когда на другой день утром Александра Степановна принесла в кабинет к своему папа чистое полотенце (ибо Степан Степаныч всегда умывался и одевался у себя в кабинете

за ширмами, где у него и стоял умывальный с машиной столик), он мельком, но пристально посмотрел на дочь свою и почему-то нашел, что лицо у нее скучное.

-- Отчего ты такая скучная? С левой ноги встала, а?

Александра Степановна также мельком и также пристально посмотрела на своего папеньку.

-- Да чему же радоваться? Никакой нет радости.

-- А вот в мае на дачу съедем, там будет веселее.

-- Мне все равно.

-- Ну какое же все равно... не все равно. Лер пюр е ля боте де ля натюр, с пуртан ля променад, се тре бьен пур ля санте.

-- Я и так здорова, зачем мне здоровье.

-- Ах ты, разочарованная! Ну, поцелуй меня и ступай, я буду одеваться.

"Да, она чем-то огорчена. Верно, это баба моя принялась бранить да пилить, как всегда она это делает, а чем она виновата?" -- подумал Баканов, когда вышла дочь.

"Он все знает, иначе не заметил бы, что я

скучная... -- подумала дочь, воротившись к самовару и заваривая чай.-- Маменька проболталась. Ну да мне все равно... я ни на кого смотреть не стану, я не ребенок, у нее свой ум, а у меня свой. Они умные, а я глупая, а если глупая, так и не жди от меня ничего умного".

Но прошло два дня, и Александра Степановна могла бы совершенно убедиться, что отец ее ничего не знает -- о письме не было и помину, -- если б Степан Стег паныч не вмел себе в обязанность и за столом и за чаем трунить над Христофорским. Обедал Куляпкин и рассказывал, как он заезжал за калошами и как Христофорский, дурак, "караул" кричал на всю улицу, и рассказывал это так смешно, что даже серьезная Марья Саввишна смеялась.

"А! теперь вижу, -- думала Александра Степановна, -- не только папка, но и Куляпка знает, иначе они не выдумывали бы на Христофорского таких глупостей. Ишь как тешатся! Как хохочут! Это они нарочно... Ну, если Куляпкины знают, значит, вся Москва знает. Так-то мама сохраняет мои секреты... хорошо

же!"

Степан Степаныч, в свою очередь, сделался проницателен. Он увидел, наконец, что, когда речь идет о Христофорском и когда все смеются, у его дочери лицо делается таким холодным, таким неестественно-спокойным, что как будто она глуха и ничего не слышит.

"Э! -- думал Степан Степаныч, и нечто вроде беспокойства стало закрадываться в его душу.-- Черт знает, что у ней на уме! Не попробовать ли отказать Христофорскому от дому и сказать ей: что она скажет?"

Но Баканов на это не решался: он обещал жене своей ничем не обнаружить перед дочерью, что он знает о глупой записке Христофорского; к тому же это значило бы записке этой придать значение, а этого-то ему и не хотелось.

XVII

Христофорский же, как нарочно, не являлся; он, во-первых, был обижен тем, что Баканов поставил его на одну доску с Трофимом, во-вторых, ожидал по городской почте

ответа от Александры Степановны. По утрам, запуганный угрозой Стуколкина он отправлялся в палату, вечером сидел дома. Где же он обедал? Бог его знает! Может быть, навещал своих старых знакомых, у которых давно не был, и нечаянно попадал к ним прямо к обеду, может быть, закусывал в трактире.

Если Александра Степановна воображала, что Куляпкины все знают, то она ошибалась, как ошибаются все влюбленные. Куляпкины ничего не знали, только палата, где служил Христофорский, знала о сватовстве Христофорского, и так как наши чиновники одарены особенно развитым воображением, то и вообразили себе целый роман, и Христофорский, до сих пор существо совершенно для них ничтожное, как будущий миллионер, вдруг стал для них героем или субъектом, достойным особенного внимания.

Стуколкин по секрету сказал своему столоничальнику: Христофорский на богачихе какой-то женится, говорит, денег куры не клюют; я этому дураку помогать хочу.

Столоничальник сообщил о том же советнику, и пошли эти слухи и рассыпались по

всем столам, принимая всевозможные оттенки и толкования.

Когда Христофорский неожиданно явился в палату и сел на свое место, он уже заметил некоторую перемену в обращении; все на него как-то странно оглянулись, как будто он какая невидаль; один только Стуколкин не обратил на него внимания, только через полчаса упорного молчания он пригнул к нему мясистое лицо свое и спросил вполголоса:

-- Ну, как дела?

-- Все хорошо идет, -- покрасневши отвечал Христофорский.

Ему показалось, что скажи он "неизвестно", или "плохо", или "Бог знает, как дела идут", Стуколкин, только что кончится присутствие, догонит его на лестнице и непременно, самым безобразным образом, при всех побьет его.

-- Ну, что пришли?! -- сказал Христофорскому дружелюбно столоначальник его, добрейший Яков Михайлович Стороженко. -- Как будто мы без вас и не можем, -- и при этом ласково поглядел на покрасневшее лицо его, -- вот разве эту бумажонку перебелите, да и ее,

пожалуй, Прохоров переписшет. Еще успеете послужить...-- добавил он, как будто перед ним торчал не Христофорский, а маленький мальчик, только что кончивший курс гимназии.

-- Нет, пусть ходит,-- заметил Стуколкин, разглядывая какую-то подпись на какой-то бумаге, -- беден, так служи.

Христофорский переписал бумагу и сел, откинувшись на спинку казенного стула, как будто какой граф или такой человек, которому сам черт не брат.

Это еще больше внушило к нему некоторое уважение.

-- Ишь ты, черт, какую штуку удерет, коли на миллионе-то женится... Чего доброго, в губернаторы или в откупщики полезет. Нашлась же дура!.. эдакое счастье! -- завидовали мелкие чиновники-юноши из кантонистов и пришибленные старички, продолжая выводить строку за строкой, пригибать к столу голову, и одним только левым глазом коситься на кончик пера, а правый глаз держать наготове, чтоб успеть встать, если выйдет сам из-за стеклянной двери, за которой блестит зер-

цало, и откуда могут появиться всякого рода регалии.

Какой-то, даже очень важный, чиновник с орденом, из другого отделения, проходя в тесном пространстве между стеной, забрызганной чернилами, и столами, столкнулся с другим, не менее важным, чиновником без ордена, но зато с большим, выпятившимся брюхом, и вместо того, чтоб извиниться или попросить табачку, шепнул ему что-то на ухо и заставил его оглянуться на Христофорского.

Одним словом, Христофорский и не подозревал, как он шумит, и не воображал, до какой степени его сослуживцы занялись судьбой его. Они на другой же день узнали, кто такой купец Баканов, каких лет его дочь, какой капитал у него в обороте, сколько долгов, на сколько тысяч лежит товару, и решили, что хотя у Баканова далеко нет еще миллиона, но что он купец богатый и не на одну сотню тысяч имеет состояние. Вследствие таких толков, из какого-то темного угла, по городской почте, шло анонимное письмо к Степану Степанычу Баканову, в котором Христофорский описывался черными красками и изъясля-

лась готовность найти для его дочери жениха более достойного.

Но обратимся к чему-нибудь другому. Ну хоть к Трофиму. Если палата была удивлена Христофорский, то Трофим еще более был удивлен словами Баканова: "Не спускать Христофорскому". Ему показалось, что Баканов над ним тешится. "Эх! не в добрый час пришел!" -- думал он, уходя домой и почесывая затылок. С тех пор все было тихо и мирно в квартире Христофорского. Христофорский ни слова не говорил Трофиму, Трофим также два дня не говорил со своим барином. Но на третий, утром, когда принес самовар, поставил его на стол и стал уходить, но вдруг обернулся и сказал:

-- Барин!

Христофорский посмотрел на него исподлобья.

-- А барин!

-- Что тебе?

-- Что ж это, так все и будет?

-- Что тебе?

-- Как что! Значит, так моему струменту и пропадать?

-- Какому инструменту?

-- Вы мне скажите, куда вы его дели? Что ж это? Нешто другой покупать? Вы и так наказали, из жалованья целого рубля недодали.

-- Гм! Разве я тебе не все жалованье выдал?

-- А как же?!-- и Трофим посмотрел на него вопросительно, а в то же время с упреком самого свирепого качества.

-- Я, кажется, тебе все выдал.

-- То-то все, а еще барин прозываешься...

Трофим, очевидно, собирался грубить, губы его надувались. Христофорский это почувствовал.

-- Гм! Если не все, значит, обчелся, ты зачем мне не сказал, что не все, я бы отдал!

-- Ну отдайте.

-- Ну и отдам, что ж ты стоишь, отдам, говорят тебе, придешь завтра, ну и получишь... Сколько я тебе недодал?

-- Сами знаете...

-- Ну и отдам, пошел!

-- А инструмент?

-- Я и знать не знаю и ведать не ведаю...

Трофим постоял, поглядел, подумал, по-

вернулся и вышел. Христофорский посидел, посидел, да и стал ходить по комнате. Он все эти дни был не в духе, то собирался идти к Банановым, то не решался. Самолюбие стало развиваться в нем и мешало. Это доказывает, что при известной обстановке иногда меняются характеры. Медный лоб Христофорского припомнил, вероятно, все свои неудачи в прошлом и по инстинкту стал осторожнее. Накануне заходил к нему Стуколкин (не вытерпел, зашел раньше трех дней) и стал стучаться. Христофорский был дома и не отпер, слышал, как Стуколкин за дверью ругал его всякими словами, и все-таки не отпер...

Что ему делать? Ответа нет как нет -- он сделался нерешительным, даже отчасти раскаялся, что послал письмо.

При первой удаче, самой маленькой удаче, я уверен -- и вы, читатель, уверены -- у Христофорского исчезнут и эта нерешительность и это раскаяние.

Чтобы узнать наконец, как идут дела, получено ли письмо, или Стуколкин и не думал отдавать его, или оно не дошло по назначению. "Ах, если не дошло!.." -- невольно подумал.

мал он и, скрепя сердце, отправился к Бакановым.

Баканов, получив анонимное письмо, был страшно зол на Христофорского. "Верно, дурак похвастался прежде времени",-- подумал он, но письма этого не показал ни жене, ни дочери, чтоб не тревожить их; ему казалось, что все это прошло и кануло в реку Лету, что Христофорский сам поймет, что он глуп, или будет молчать, если обращаться с ним по-прежнему и не подавать никакого вида.

-- Где пропадали? -- спросил он Христофорского ни холодно, ни ласково...

-- Был не совсем здоров, Степан Степаныч!

-- Чем это ты хворал, батюшка,-- заговорила Марья Саввишна,-- не головой ли?

-- Точно, что у меня все голова болела, прилив знаете, все кружилась. Также озноб был...

Баканов чему-то засмеялся. Поглядел на дочь и ушел заниматься в свою комнату.

Марья Саввишна продолжала что-то работать, Александра Степановна также как ни в чем не бывало сидела за пяльцами и шила.

Марья Саввишна, верная своей тактике, и виду не подавала Христофорскому, что она знает о его предложении.

-- Вы на меня не сердитесь, Марья Саввишна? -- спросил ее Христофорский. У Александры Степановны дрогнула рука, она побледнела и низко, к самой канве, наклонила свою голову.

-- А за что это?.. Кажется, не за что...

-- А за то, что я так давно у вас не был.

-- Как же, очень сержусь! Не видала тебя, такое сокровище! -- отвечала Марья Саввишна, тряхнувши животом от невольного позыва к смеху.

-- Если б я не был болен, я бы давно у вас был. Вы на меня, ради бога, не сердитесь за это.

"Экой дурачина!" -- подумала Марья Саввишна, едва сдерживая смех.

"Экая простая, добрая душа! -- подумала Александра Степановна, -- думает, что на него мы сердимся".

Христофорский, поговоривши с Марьей Саввишной, пошел поговорить со Степаном Степанычем, но нашел его за чтением "Мос-

ковских ведомостей", и, не желая мешать ему, сам себе продул один из стоявших в углу черешневых чубуков и набил трубку. Видя, что все как будто по-прежнему, он убедился, что о письме его никто, кроме дочери, не знает, или что оно вовсе не было послано, и совершенно успокоился.

Успокоившись на этот счет, он стал ходить к Бакановым по-прежнему, чуть ли не каждый день. Александра Степановна была постоянно при матери и почти ничего не говорила с ним. На расспросы Марьи Саввишны, она отвечала: "Ей-богу же он ничего такого не говорит мне, даже не намекает; очень может быть, что и письмо-то написал не он, а кто-нибудь, так, ради шутки, мало ли на свете забавников!"

Родители успокоились. Утром, в какой-то четверг, Марья Саввишна уехала в лавку, муж ее отправился на биржу, Александра Степановна, в одной распашонке, была в зале, поливала цветы в горшках и думала о том, о чем она постоянно думала,— о Христофорском. И вдруг вошел Христофорский! Александра Степановна испугалась и водой обли-

да себе платье.

Христофорский также почему-то сильно сконфузился.

-- Как вы меня испугали! -- сказала Александра Степановна.

-- Разве никого дома нет? -- спросил Христофорский.

-- Никого...

-- Получили вы мое письмо?..

Александра Степановна вместо да вздохнула и кивнула ему головой.

-- Итак, могу ли я надеяться и просить вашей руки?

Александра Степановна с испугом оглянулась на дверь пустого кабинета, потом на дверь пустой гостиной.

-- Разве... разве вы меня очень любите?..

-- Можете ли вы сомневаться, до какой степени я люблю вас, как я в вас жестоко влюблен?.. Я так в вас влюблен, Александра Степановна, что умру, если вы мне откажете!

-- Говорят, вы скупой и злой. За что вы прибили Трофима?..

-- Он с утра до ночи грубит мне, Александра Степановна, даже спать не дает -- уве-

ряю вас... Если бы не вы... Я бы совсем с ума сошел... Я человек небогатый, но я дворянского происхождения, и всегда был в хороших домах, все меня любили, все... и неужели вы меня не любите?..

-- Пойдемте в гостиную, признавайтесь во всем! -- сказала Александра Степановна. Ей хотелось более нежной, более страстной сцены. Ей хотелось даже ободрить его, придать ему больше смелости.

Когда они вошли в гостиную, она стала у печки, он стал против нее и взял ее за руку.

-- Нет, нет, -- говорила она, задыхаясь, -- вы меня не любите.

-- Как же мне не любить вас!

-- Любите меня больше всего на свете, больше денег? -- больше...

Христофорский, не зная, что еще говорить и как еще уверять, обнял ее и поцеловал.

Александра Степановна вспыхнула, хотела вырваться, но рванулась, и остановилась, голова ее склонилась к его плечу, и она... стала порывисто и тихо говорить ему: "Мокей Трифоныч... Мне ничего не надо, кроме ва-

шей любви, ничего, ни вашего ума, ни вашего дворянства, я люблю вас, и ночи не сплю, и все об вас думаю. Я ни за кого не пойду замуж. Кто меня любит, тот и будет моим мужем... да говорите же! Ах, нас могут увидеть... отодвиньтесь, дайте я сяду -- сядьте на этом кресле. Говорите же, в последний раз, очень вы меня любите?"

-- Ей-богу же люблю, Александра Степановна!

-- Ну так сватайтесь -- я согласна.

Христофорский, как вежливый кавалер, хотел взять у нее ручку и поцеловать, но вошла горничная Марья и не без подозрительного изумления посмотрела на красные щечки и красные ушки своей скромной барышни.

Христофорский встал, раскланялся и ушел, радостный и сияющий. Мог ли кто думать (он сам всегда думал), что такой дурак может возбуждать столько страсти!

Теперь на что ни решится Христофорский, не обманувшись в любви этой девушки; он тем сильнее убедился, что и все прочее, на что он надеется, не уйдет от него, не минует

рук его. Дома он остался ненадолго, только трубочку выкурил, и пошел в палату. День был, как нарочно, светлый, теплый; в палате даже одно окно было настежь отворено, и даже какой-то молоденький чиновник из студентов сидел на нем и глядел на двор, куда приводили арестантов.

Христофорский занял свой стул. Стуколкин по-прежнему не обращал на него никакого внимания; он только покосился на него и продолжал писать,

Так прошло минут десять.

-- Дайте ему, Яков Михайлыч, что-нибудь хоть переписать,-- сказал Стуколкин, обращаясь с недовольным лицом к своему столоначальнику,-- терпеть не могу, когда тут сидят за одним столом и ничего не делают.

-- Экая вы горячка! -- проговорил ему в ответ Яков Михайлыч, -- не успел человек прийти.

-- Да помилуйте, эдак и я перестану ходить... Это черт знает что такое! Да и что он за птица! Я не отдыхаю, когда прихожу, а он... это черт знает что...

Христофорский обиделся (стал очень

обидчив), но молчал.

Яков Михайлыч не знал, что и заключить из поведения Стуколкина. "Экая горячка! Готов наделать и мне неприятностей!" -- продолжал он думать, сочиняя отношение в какую-то провиантскую комиссию.

Христофорский по-прежнему молчал и сидел без дела.

Яков Михайлыч встал и пошел куда-то за справками.

-- Ну, теперь все дело в шляпе, согласие получено,-- сказал Христофорский на ухо Стуколкину как бы для того, чтобы озадачить его и наказать за дурное обращение.

Стуколкин продолжал писать, но физиономия его значительно смягчилась, наконец он покосился на Христофорского и сказал:

-- Я на вас, милостивый государь, зол. -- За что?

-- А как вы смели не принять меня, разве я не знаю, что вы были дома?

-- Да я не знал, что это вы, и я не мог отворить, потому что, знаете, такой был случай: я никого принять не мог.

-- А! Понимаю: так вы, кроме того, что у

вас богатая невеста есть, еще разные шуры-муры с девчонками заводите... это мы доведем до сведения. Гм, только вы наперед знайте, уж это вы так и знайте,-- приду, постучусь, нет ответа, двери вышибу, видите, какой кулак! А? Что вы на это скажете? Вы, однако, не уходите без меня.

-- Я никуда не уйду.

-- Ну то-то же.

Часу в пятом уехал председатель, и все стали расходиться. Стуколкин также стал выходить, не выпуская из виду Христофорского, и как только тот надел фуражку, спустился вместе с ним на площадку по каменной лестнице.

-- Так дело-то, значит, с моей легкой руки, на лад идет? А?..-- заговорил Стуколкин. -- А что вы думаете, кто вам помог, а? Да я, знаете ли вы, какое я письмо написал для вас? Самому себе никогда таких писем не писал! Я вам так сочинил это письмо, что никакая,-- вон видите, монашка идет к Иверской, получи она такую цидулку, и она не устояла бы. Понимаете ли вы теперь, что значит моя мощь?

-- Что ж мудреного письмо написать: я не только письмо, и стихи с рифмой недавно послал моей невесте своего собственного сочинения,-- возражал Христофорский довольно небрежно, к немалому удивлению своего нового приятеля.

"Ах, свинья!" -- подумал приятель.

-- А зачем же вы прибегали ко мне за помощью, ночью, разбудили меня, помешали мне, если вы сами все можете? А? Я вас спрашиваю, зачем? За кого же вы меня принимаете, смеяться, что ли, вы надо мной вздумали!

-- Я действительно просил вас, Осип Осипыч, потому что вы человек опытный.

-- А, вот что. Опытный! Так вы, стало быть, сознаете, что я опытнее вас и могу быть во всех случаях жизни полезен вам?

-- Это я очень понимаю,-- проскрипел Христофорский.

-- Ну, не стану с вами ссориться, не стану... Если письмо мое подействовало и вам не отказано в руке этой мадемуазели, вы должны сейчас же угостить меня, -- пойдем к Печкину.

Христофорский этого никак не ожидал...

Он стал отнекиваться, божиться, что у него в кармане денег ни копейки нет.

-- Нынче ни копейки, завтра ни копейки, а послезавтра тысячи, сотни тысяч. Фу, дьявол вас побери, какое счастье! Пойдем же к Печкину, закажем обед и кутнем, выпьем на ты -- я... хочу с вами на ты,-- потому что вижу, что вы человек хороший. Идем.

-- Я ничего не пью,-- сказал Христофорский.

-- Я сам ничего не пью. Идем.

-- Да право же, Осип Осипыч, у меня ни копейки с собой.

-- Ничего! Вы думаете, что у меня денег нет? Я займы поверю на угощение! Сколько вам? Десять -- так десять, двадцать -- так двадцать, будто у нас денег нет! Когда-нибудь отдадите мне с процентами,-- и Стуколкин на ходу раскрыл свой бумажник.

Христофорский покосил свой нос на чужой бумажник. "Что ж,-- подумал он, -- возьму у него десять, когда-нибудь отдам".

-- Ну, на это я, так и быть, согласен -- сказал он,-- десять дайте.

-- А вот погодите, здесь на ветру не дам,

войдем.

И они вошли при трубных звуках органа в дымную атмосферу печкинского трактира.

Вовсе не интересно знать, как ели и пили Христофорский и Стуколкин. Скажу только, что Христофорский отказался от водки, но не устоял от пива. Пиво он любил, но побаивался Стуколкина и не хотел опьянеть в его присутствии, не устоял же оттого, что день был жаркий и у него пересохло в горле. Чем больше он пил пиво, тем больше поддавался внушениям Стуколкина, и по его настоянию под вечер, часу в восьмом, спросил бутылку шампанского; бутылку эту они распили, чокаясь бокалами, и выпили на "ты". Стуколкин хвастался своими победами над женщинами и много рассказывал Христофорскому, что он человек опасный и решительный. Но тот ничего не рассказывал, даже, подивитесь, читатель, утаил от своего нового друга утренний поцелуй. Счастье многих делает откровенными, но многих и скрытными. Христофорский решительно поумнел на два вершка с тех пор, как воображаемое им стало отчасти превращаться в действительность. Ничто, казалось,

не поссорит новых друзей, но вышло иначе.

Половой подал счет. В итоге оказалось девять рублей тридцать пять копеек. Стуколкин подал этот счет Христофорскому. Христофорский бессмысленно посмотрел на него; у него двоилось в глазах; он даже улыбнулся.

-- Кто же заплатит? -- спросил Стуколкин.

Христофорский закрыл глаза, вытянул ноги, подбоченился и не отвечал.

-- Ты ведь, кажется, пригласил меня,-- сказал Стуколкин,-- можешь платить, так плати, а не то...

-- Я не могу,-- сказал Христофорский.

-- Ну, займи у меня. Ведь ты хотел у меня десять рублей занять.

-- Когда?..

-- А вот, как мы с тобой шли сюда.

-- Не помню.

-- Ну, не помнишь, так плати.

Стуколкин был не пьян, но красен, как сафьян, и глаза его с особенной пронизательностью останавливались на лице Христофорского.

Христофорский пошарил у себя в жилетном кармане, нашел пятиалтынный и торже-

ственно положил на стол.

-- Бери за пиво,-- сказал он половому.

Половой поглядел на обоих, взял пятиалтынный и спросил Стуколкина:

-- Значит, вы, сударь, остальные заплатите?

Этот вопрос окончательно задел за живое Стуколкина. Он встал и подошел к Христофорскому.

-- Ну, послушай ты,-- сказал он, стараясь не рассердить его,-- я, так и быть, дам тебе займы десять рублей, чтоб ты расплатился. Так и быть, дам, разумеется, с процентами; иначе будет скандал: ты заказывал, и тебя не выпустят. Вот тебе деньги, пиши расписку. Половой, дай чернильницу.

Половой принес бумаги и чернильницу. Стуколкин написал расписку и дал перо Христофорскому, чтобы тот подписал ее.

В расписке, вместо десяти, было написано пятьдесят рублей; Стуколкин был уверен, что полупьяный Христофорский подпишет все, что ему вздумается, и что ему, когда он женится, будет плевое дело отдать вместо десяти пятьдесят рублей.

Но Христофорский не был настолько пьян, чтоб даться в обман. Что касается денег, у него было побольше характера, чем у Стуколкина. Он сам был бы не прочь надуть его и решительно отказался подписывать.

-- Не надуешь! -- говорил он.

-- Как ты смеешь так говорить? Вспомни, сколько ты у меня занял.

-- Ничего не занял, -- отвечал Христофорский и закрыл глаза, притворяясь более пьяным, чем он был на самом деле.

Мелкая хитрость равнялась в нем его тупоумию. Сила характера равнялась самоуверенности, что он всех умнее.

-- Послушай ты, подлец! Если ты не заплатишь денег или не подпишешь расписки, я морду побью тебе, -- шипел ему на ухо Стуколкин, -- слышишь, я до полусмерти избью тебя.

-- Хорошо, согласен, -- сказал Христофорский, притворяясь, что хочется спать, -- хорошо, завтра... приходи завтра. Теперь оставь меня -- я пьян.

В Христофорском не менее, чем в сердце Стуколкина, разгоралось тайное желание: пу-

стит в ход кулаки и ладони.

Но птицеобразный Христофорский трусил, воображая, что зверообразный Стуколкин его сильнее и, чего доброго, наставит фонари, изуродует красоту его. Он положил руки на стол и уткнул в них свой длинный нос, решаясь лучше пожертвовать несколькими клочками волос из своего затылка.

Стуколкин непременно бы сделал скандал, то есть при всех исколотил бы его, если бы, во-первых, был пьян (от четырех бутылок пива и одной шампанского он пьян и быть не мог), и если бы, во-вторых, не понимал, что будущий богач, чего доброго, не тем, так другим отомстит ему. "Теперь еще и нету у него ничего,— думал он,— а уж столоначальник начинает перед ним подличать, а что, когда будет? тогда ему, чего доброго, и председатель станет руку протягивать да о здоровье осведомляться". Злости его не было границ, но буйная воля вошла в границы; он смутно понял, что как ни глуп Христофорский, но третий калач, и что угрозой или кулаками от него ни копейки не вытянешь. К тому же Стуколкин дорожил местом на службе и любил

деспотизм свой упражнять с глазу на глаз, а не среди почтенной публики. Он видел, что на них и так уже не одни половые стали обращать внимание. Скрепя сердце, заплатил он девять рублей с копейками и первый вышел из трактира.

Только что он исчез, Христофорский почувствовал облегчение и, подняв голову, перешел в другое отделение, сел в уголке и целый час не решался выйти на улицу. Стуколкин стал являться в его воображении чем-то вроде облагороженного Трофима, и если он мог побить последнего, то первый очень легко может побить его, в свою очередь.

XVIII

Можете сами представить, в каком необычном расположении духа вышел Христофорский из трактира Печкина. Голова его была мутна; на улице, переходя с тротуара на тротуар, он то гордо усмехался, как бы радуясь, что не дал Стуколкину надуть себя, то робко оглядывался и ускорял шаги.

Когда он пришел домой, заперся и лег

спать, образ Александры Степановны раза два возникал перед ним из хаоса каких-то полусонных, несвязных мыслей; ему уже казалось, что Александра Степановна давным-давно жена его, и что он сердится на нее за то, что она заплатила Стуколкину десять рублей. "Ты обещал, -- говорит Александра Степановна". -- "Он хотел меня надуть, -- возражает засыпающий Христофорский". -- "Ты хотел его угостить". -- "Нет, он меня, а не я его тащил в трактир. Смотри, вон он тебя одним кулаком убьет... караул!..." -- и Христофорский чуть не закричал. Ему приснилось, что его дубасит Стуколкин. Но мало ли бывает всяких грез и мечтаний! Все это очень естественно. Наконец Христофорский совсем заснул и даже захрапел; и это естественно, но что вы скажете, читатель, как вы объясните его пробуждение? Это было в час ночи. Прилила ли кровь к его ушам, кошки ли праздновали свадьбу, ветер ли свистел в открытую вьюшку, только Христофорский проснулся в ужасе. На чердаке, почти над самой его кроватью, играла гармоника. Да еще как играла! Сначала какие-то дикие дьявольски-жалобные звуки, тянулись,

обрывались и опять тянулись. Христофорский сел на кровать и стал креститься. Потом вдруг заиграла, засвистела такая песня, что "трепак" не "трепак", "во лузях" не "во лузях". Черт знает что! По потолку что-то застучало, затопало. Христофорскому показалось, что там идет такая пляска, такая возня, что страх! У него и лицо перекосилось от ужаса. Кое-как нащупал он рукой спичку и мазнул по стене, спичка вспыхнула, гармоника затихла, зато в окно со двора глянула какая-то красная рожа и высунула огненный язык. Христофорский уронил спичку и опять остался впотьмах. Тут он закрыл глаза, положил подушку на голову и до рассвета дрожал, как в лихорадке.

Читатели уже знают, что Христофорский был трус порядочный. Все это могло ему почудиться, потому, быть может, что в мозгу его еще бродили пары шампанского.

"Черт знает, что это такое было! -- подумал он, продирая глаза часу в десятом утра.-- Нет, здесь не чисто,-- заключил он, надевая халат,-- надо поскорей жениться, да и... гм! а может быть, это перед моей свадьбой так домовый распотешился".

Он отпер дверь, подошел к зеркалу и увидел, что лицо его как будто осунулось. Пришел Трофим с рукомойником.

-- Ты ничего нынче ночью не слышал?-- спросил его Христофорский.

-- Чего? Ничего не слышал -- али кто выживает?

-- Ты... ты ночью не играл на гармонике?

-- Я! А где я ее возьму? Вот куплю новую, ребята обещались поддержанную за двугривенный достать.

-- Так ты не играл? А?

Трофим поглядел на своего барина.

-- Ну, так это черти играли.

-- Черти! Как черти!-- Трофим осклабился и опять поглядел на барина.

-- Сходи на чердак, там поищи, не занесли кто туда твоей гармоники,-- там нынче ночью такая была возня да пляс, что... это, должно быть, перед свадьбой, как ты думаешь?

-- Я давно знаю, что выживает,-- отвечал Трофим, приподнимая рукомойник над протянувшимся к тазу ладонями барина.

Христофорский взял мыло. Он с некоторых пор мыл мылом не только руки, но и ли-

цо.

-- А что?..

-- Да так: дверьми стучат,-- а вы нешто на чердак струмент-то мой забросили? А?

-- А я не помню. Что ж ты стоишь -- лей!

-- То-то оно... того, значит,-- проговорил Трофим, плеснув ему на руки.

Христофорский молча умылся и стал полотенцем вытирать лицо свое. Трофим молча вышел.

Ночной страх скоро совершенно испарился из головы Христофорского. Он отдал приказание дворнику стоять у калитки и, если кто придет к нему, сказывать, что, дескать, Мокей Трифоныч ушел и не скоро воротится, а сам сначала вычистил свой сюртук, потом достал лучшую манишку, выстриг свой острый подбородок, причесал свои рыхлые баки, оделся и, живо представив себе вчерашнюю сцену в гостиной с Александрой Степановной, направил шаги свои к дому Баканова.

Не без смущения, но довольно развязно вошел он к нему в кабинет.

Баканов сидел в халате за конторкой; перед ним стояли два сидельца -- один со счета-

ми, другой с аршином за пазухой; Баканов что-то записывал, словом, был занят. Утренний визит Христофорского, и в тот именно час, когда, по своим занятиям, он не должен отлучаться от кладовой, наконец, примазанный, приглаженный, лоснящийся вид его не понравился Баканову; он едва кивнул ему головой и даже слегка поморщился.

Христофорский, не желая мешать, отошел в уголок, набил трубку, уселся и стал покуривать; смотря на лицо его, кажется, в эту минуту никто бы в мире не подумал, что он собирается свататься: Христофорский курил, пускал дым и преспокойно дожидался, скоро ли уйдут сидельцы; наконец, они низко поклонились, встряхнули волосами и вышли, один придерживая счеты, чтоб не слишком размахивались, другой положа руку за пазуху. Христофорский затянулся дымом, встал, вытянулся, поставил трубку в угол и подошел к Степану Степановичу. В эту минуту лицо его покрылось краской.

-- Я к вам по делу,-- сказал он.

Баканов посмотрел на него из-под руки и сказал:

-- Я теперь занят.

-- Я-с к вам, Степан Степаныч, с великой просьбой.

-- С какой?-- нехотя спросил его Баканов. Он уже понял, о чем сейчас брякнет ему этот ранний гость.

И Христофорский действительно брякнул:

-- Я пришел-с, Степан Степаныч, просить руки вашей дочери.

На лице Баканова, в особенности на местах, где были следы золотухи, выступили розовые пятна, но по обыкновению своему он попробовал засмеяться.

-- Вы просите руки моей дочери!..

-- Да-с, потому что очень влюблен в нее. Надеюсь, что я...

-- Ну-с...

-- Я от чистого сердца говорю, Степан Степаныч.

-- Ну-с... Вы знаете, я не стесняю ничьей воли -- это не мое дело! Что еще скажет дочь моя. Думаю, любезнейший, что она не пойдет за вас.

-- Александра Степановна согласна-с. Она

сама вчера сказала мне, что она меня очень любит и согласна, Степан Степаныч; иначе я никак бы не смел...

Баканов, у которого уже вертелась в голове мысль сделать из сватовства Христофорского смешную сценку, чтоб потом рассказывать об этом в роде забавного анекдота, до того был озадачен словами Христофорского, что изменился в лице и сказал, невольно возвышая голос:

-- Этому я не верю... это ваша фантазия... или она шутила или... Я допрошу ее... я спрошу у ней... поговорю... Приходите в другое время, ну, хоть завтра, около... нет, в воскресенье утром, я буду свободен. Теперь я занят. Прощайте-с. Без церемонии, прошу вас до воскресенья не бывать у нас.

Христофорский возмутился духом.

-- По крайней мере, Степан Степаныч, я ухожу с надеждой, так как мои намерения самые благородные,-- сказал он как-то в нос, как будто обидевшись.

-- Я хорошо понимаю ваши намерения, и надеюсь сколько душе вашей угодно,-- отвечал Баканов, также как будто обидевшись.

-- Прощайте.

Христофорский вышел.

Баканов посидел на том же месте, потом встал, отправился в переднюю узнать, ушел ли Христофорский. Убедившись, что его и след простыл, он запахнул халат и пошел в комнату своей дочери.

-- Ну, Александрин?

-- Что, пап_а_?

-- Прикажете поздравить вас?

Александра Степановна вздрогнула и побледнела.

-- Прекрасного жениха нашли, даже согласие свое ему объявили! Имею честь вас поздравить, Александра Степановна.

-- Что хотите, то и делайте со мной,-- задыхаясь, проговорила Александра Степановна,-- я виновата. Он один меня любит, и я... я поклялась, что буду его женой.

И Александра Степановна заплакала.

Не стану подробно рассказывать о том, как наконец явилась Марья Саввишна и узнала, в чем дело; что говорил отец, что говорила мать. Дочь плакала и на все их упреки и усвоещеванья отвечала: "Так угодно богу; я дала

слово". Разговор этот, кажется, перешел все тоны, от шепота до решительных и громких наставлений Марьи Саввишны: выкинуть этого дурака из головы, потому что мало того что он дурак, но и озорник не последней степени.

Что ж мудреного, что весь дом узнал о сватовстве Христофорского? По всему дому пошло шушуканье. Александра Степановна продолжала хныкать, и что ей ни говорили, в каком уродливом и смешном виде ни представляли ей личность Христофорского -- ничего не могли сделать с Александрой Степановной. Такого упорства воли до сих пор в ней никто и подозревать не мог. Наконец Степан Степаныч и рукой махнул. "Ну, пусть выходит,-- заговорил он.-- Не нам жить с дураком, а ей. Любовь зла, влюбится и в козла, говорит русская пословица. Что ты будешь делать? Тут, кажется, и рассуждать-то долго не о чем. Ну, дура нашла дурака, ну и с богом! Не насильно же девку в дому держать, когда ей вон из дому хочется. Ну и пусть! Оставь ее, Марья Саввишна. Поговорили, ну и довольно. Пора и нам честь знать. Поздравляю вас с же-

нихом, Александра Степановна",-- заключил он не без горечи и ушел в свой кабинет желчный и расстроенный.

XIX

Мы знаем уже, как неблагосклонно смотрела дворня Бакановых на нашего Христофорского. Начались во всем доме суды да пересуды, толки да оханья, хотя отец и мать и унялись в надежде, что если отложить свадьбу на год, то в год много воды утечет. Улита, кума Трофима, и горничная Маша решились не давать покоя бедной барышне; одна пришла к ней с разными рассказами о гнусном нраве и проделках Христофорского, другая пришла сказать, что она простая девка, а позволила бы себя скорее удавить, чем вышла бы замуж за Мокея Трифоныча. Но Александра Степановна, у которой очень скоро высохли слезы, так на них крикнула, так топнула ножкой, что Улита ушла браниться в кухню и там целый день бранилась, а Маша забралась в чулан и вышла оттуда с заплаканными глазами. Марья Саввишна чутко следила за всем, что

делается и о чем говорится в доме, и не вытерпела: под воскресенье ночью в последний раз решила поговорить со своей дочерью. Она застала ее на молитве перед образом и стала подле нее молиться.

Минут через десять Александра Степановна обернулась к ней за благословением; Марья Саввишна перекрестила ее и сказала: "Ты, Саша, теперь не плачешь, видишь, что мы тебе не препятствуем, отец твой не хочет, чтоб мы тебе препятствовали. Ведь ты уж не маленькая, можешь сама, свой ум-разум и имеешь, так поговорим же с тобой по-дружески. Завтра этот фофан, прости господи, придет за ответом, и уже немного осталось времени".

"К чему все эти толки",-- подумала дочь и сказала:

-- Будемте толковать,-- и обняла мать свою.

Минуты две они постояли во взаимных объятиях, прислонившись друг к другу своими головами, потом горячо поцеловались и сели рядом на кровати, обе в юбках и обе простоволосые; но при свете лампы дочь каза-

лась трепетной жертвой, мать -- суровой старухой с насупленными бровями; один край кисейного полога прикрыл белую кацавейку матери, другой -- полное девственное плечико от слез да молитв еще не успевшей поху- деть девушки.

-- Ну скажи ты мне, друг ты мой сердеч- ный,-- начала мать,-- еще раз скажи, чем этот фофан успел так причаровать тебя? Ни кожи, ни рожи! Да еще и дурак-человек вдобавок.

-- Куда уж мне за красотой гнаться! голу- бушка маменька!

-- Ну, так что же, что в нем такого особен- ного?, только глуп, до того, мать моя, глуп, что все-то делают из него посмешище.

-- Я знаю, что он недалек,-- сказала дочь, опустя голову.

-- И при этом еще дурной человек, самого скверного нрава, скаред.

-- Ну, я с этим не согласна. Вы говорите, дурной человек, ну докажите -- докажите, голу- бушка маменька, что такого дурного он сде- лал?..

Мать на минуту затруднилась в ответе, это не ускользнуло от внимания дочери.

-- Докажите! Нельзя же заверять -- дурной, злой, а почему дурной, почему злой?

-- Спроси Трофима,

-- Не хочу я его спрашивать,-- с горячностью перебила дочь.-- Мокей Трифонич любит порядок, он строг и, может быть, поколотит его, но за что поколотит? За то, что тот дома не ночевал! он мне сам сказал, что не ночевал дома! Что, если б наша Маша пропала на целую ночь, что бы вы сказали? Да еще нагрубила вам вдобавок? Может быть, и вы не утерпели бы, за что же винить Христофорского? Папенькина кладовая у него на руках: что ж будет, если сторожа будут пропадать по целым ночам, посудите сами, голубушка маменька! Нет, вы мне скажите, не перебивайте меня, скажите, пьяница он, или нет? Нет, ну картежник? -- и того нет, ну, мот, последние деньги на пустяки тратит? Нет; я слышала, что он так экономен, что и жалованья своего не проживает -- ну, осудите ли вы за это бедного человека?

-- Да, он любит жить на чужой счет, это правда! вот что правда, то правда! он и сватается-то за тебя для того, чтобы и не так еще

пожить на твой счет, на твои денежки.

-- А другие, маменька, разве лучше? Разве отставной полковник Топоков не выспрашивал, сколько у меня состояния? Хорошо, что он папе не понравился, а то так бы меня за него и отдали. Кто меня по любви возьмет, коли я такая уродилась, что ничего нет хорошего! Хотел посвататься купец Полтинников, приехал, посмотрел, осмотрел, да прямо из нашего дома и отправился к Верочке Салатовой, осмеял меня, охаял, да и сделал ей в тот же вечер предложение. Так-то, голубушка маменька! Верьте мне, что Христофорский по простоте своей не способен пускаться на хитрости; по скупости своей не проживет моего состояния, а что он любит меня, это, мама, я давно заметила, еще прошлого года осенью заметила! тогда я не чаяла, не думала, что он возьмет такую, можно сказать, смелость, станет за меня свататься; видно, что сильно любит, коли на такую штуку пустился.

-- Ну, тебя не переговоришь,-- вздохнув, сказала Марья Саввишна,-- я сама людей знаю, и знаю, что твой Мокей, про себя разумею, еще и не на такие штуки способен; у

него лоб, не то что медный, а деревянный лоб, не ушибется, лезет сдуру, куда попало, авось что-нибудь да и будет! Так-то, мать ты моя, вспомнишь ты мои слова, да поздно будет! Мы тебе не препятствуем, бог с тобой, коли ты нас на такого дурака меняешь! -- и Марья Саввишна прослезилась и поднесла к глазам своим кончик своей распашонки. Она не играла роли, она действительно прослезилась, действительно ей было горько.

Александра Степановна вздохнула и опять повесила голову; но в самом наклоне головы ее высказывалось такое упрямство, которое мы выражаем в словах: "Видно, так уж судьбе угодно!"

В это самое время в кабинете Баканова разыгрывалась сцена с приказчиком чайного магазина, но чтоб описать ее, обратимся к началу вечера.

Баканов ни по мягкости своего характера, ни по образу мыслей своих не мог быть самодуром; вот почему в то время в среде московского купечества он чуть было не прослыл дураком, а, чего доброго, в глазах многих из числа моих читателей покажется лицом чуть

не идеальным и в мире купечества никогда не виданным. Баканов чуть не заболел при мысли, что дочь его будет замужем за Христофорским. Ему даже представлялось, что вся Москва будет хохотать и что на свадьбу эту сойдется народу видимо-невидимо, чтоб только подивиться такому диву дивному. Он думал наконец: "Ну, умри я, или, упаси боже! умрет Марья Саввишна, все дела мои, все наши капиталы перейдут в руки этому болвану, ну что он с ними сделает? Как он с ними управится! Просто как ни посмотри, с какой стороны ни примерь, жених не подходящий".

Вот о чем думал он и в пятницу и в субботу и чем больше думал, тем более уединялся, чувствовал себя нездоровым, расстроенным, но не запер своей дочери, не приходил с ней ругаться, не грозил ей своим проклятием или лишением наследства, одним словом, поступал действительно или как дурак, по мнению тогдашнего купечества, или как идеалист, по мнению тех, кто изучал это сословие в главных, более резких чертах его.

Но Баканов был не глуп и задал себе задачу найти возможность самым благовидным

манером отделаться от притязаний Христофорского и не прослыть тираном в глазах дочери.

Вечером, напившись чаю у себя в кабинете, он сел за конторку и стал писать письмо; потом поднял крышку, достал две пачки ассигнаций, ровно две тысячи, положил их в пакет, запечатал, подписал: "г-ну Христофорскому от Баканова", и обернулся.

В кабинет его вошел старичок приказчик.

-- Вот кстати пришли! Я было хотел только за вами послать,-- сказал ему Баканов.

Старичок смиренно остановился поодаль, сложил руки, покорно повесил голову и опустил глаза.

-- Завтра поутру, около осьми часов, отнесите этот пакет с деньгами к Христофорскому.

-- Дошел до меня пустой слух, батюшка Степан Степаныч, будто дочка ваша изволит в законный брак вступить. Видно, правда, коли на расход жениху денежки посылать изволите,-- проговорил старичок, глядя в землю, тихим, даже отчасти плачевным голосом.

-- Эх, правда, Иван Прохорыч, правда!

-- Ну, коли правда...

-- Что ж мне с ней делать! Хочет выйти за него да и только; не моя воля.

Старичок вдруг оживился.

-- Господи помилуй! -- заговорил он, крестясь.-- А чья же воля, коли не отцовская! Помилосердуйте, батюшка, Степан Степаныч! Побойтесь владыки всевышнего. Это... это вы в ваших-то бусурманских книжках понавычитали? У отца над дочерью воли нет! Ах вы, святители-чудотворцы! Впервой слышу я. Да я бы, Степан Степаныч, да я бы плеть завел, как бы из моей воли да мое родное детище вышло! Да где ж это слыхано, чтоб за такого, так сказать, ничего не стоящего человека, да такая невеста, с таким капиталом... Ба-а-тюшка, Степан Степаныч! Да мы ей, стоит клич кликнуть, мы ей такого жениха предоставим, что тебе генерал! Такого, что у самого денег куры не клюют; в каретах, на атласных подушках с кистями ездит. Помилосердуйте, батюшка!

-- Ну, что вы тут пристали! "Помилосердуйте", "помилосердуйте", как будто я сам не знаю. Девке не шестнадцать лет, давно совер-

шеннолетняя, у самой глаза не на затылке, может видеть. Отнесите это письмо к этому дураку.

-- Не понесу, Степан Степаныч! Убейте вы меня на месте, вот сейчас провалюсь я... не пойду я к этому голышу.

-- Не пойдете? Ну, что делать!

-- И на свадьбу не пойду, Степан Степаныч!

Тут старичок во все глаза стал смотреть на Баканова, и лицо его заметно приняло угрожающее выражение.

Степан Степаныч стал ходить по комнате, но не об отказе старика он думал. Нет! Он ходил и думал: "А что, как Христофорский не примет этих денег, что, если завтра сам воротит их назад и явится за ответом? Ну, что, если какой-нибудь умный человек надоумит его это сделать! Ведь он, чего доброго, еще сыграет через это в глазах Александры Степановны. Господи! Хвастунишка, глуп, туп, ничего не знает и драчун, ни "фуа, ни луа", заключил он мысль свою по-французски. К кому относились эти милые выражения, кажется, незачем договаривать.

Так думал Баканов; и вдруг услышал, как что-то шлепнулось, как будто из шкапа книга выскочила и упала, обернулся, видит,-- не книга упала, а старик-приказчик шлепнулся на колени.

-- Ба-а-а-тюшка, Степан Степаныч! Не отдавай ты за этого прихвостня дочь свою, не посылай ты ему денег, вору эдакому... не губи ты себя, ба-а-а-тюшка! -- взмолился старик со слезами на глазах.

-- Ах, Иван Прохорыч, вы меня взбесите! Что я, маленький что ли? На коленки стали. Думаете, я сам дурак, не знаю, что делаю.

Старичок вскочил с колен и страшно вспылил, кровь заметно бросилась ему в голову.

-- Ну да! Да, дурак! Дурак вы, Степан Степаныч! Плевать мне на вас, не пойду я к нему, не пойду, хоть повесьте. Да и к вам не пойду, вот что! Пфу!

-- Ну, разгорячились! Куда вы?

Старичок обернулся в дверях.

-- Отпустите меня с богом домой, Степан Степаныч!

-- Ну, бог с вами, ступайте! Приходите

завтра, поговорим и дело как-нибудь обработаем, так что... очень может быть, что и ничего не будет.

-- Так уйти, Степан Степаныч?

-- Да ведь вы не хотите относить моего письма?

-- Не хочу, Степан Степаныч.

-- Ну, так уходите!

Старичок ушел. Степан Степаныч положил пакет на стол с тем, чтоб завтра утром с кем-нибудь из сидельцев отправить его к Христофорскому,

На это письмо он надеялся, как на единственное свое спасение.

XX

Наступило воскресенье -- день роковой для Александры Степановны, роковой для Мокея Трифоныча. Александра Степановна не сомневалась уже, что Христофорскому не откажут. Мокей Трифоныч сильно сомневался... "Вижу, что этот купчина не благоволит ко мне,-- думал он,-- ну, а не благоволит, значит, мое дело не выгорит: еще, чего доброго, ее

запрут, а меня в три шеи. Это будет очень неприятно... черт меня дернул так рано свататься; надо было бы прежде всего, как это умные люди делают, соблазнить ее, а потом уже и того -- жениться, а я пошел свататься", -- и Христофорский сильно был не в духе.

Обстоятельства шлифуют людей. Христофорский заметно стал шлифоваться, то есть получил возможность быть иногда собой недовольным, чего за ним прежде никогда почти не водилось.

В воскресенье проснулся Христофорский не раньше обыкновенного и взглянул в окно; в окне было мутно, пасмурно, утро было дождливое; тем не менее Христофорский стал собираться к обедне, даже думал отслужить сначала молебен, а потом уж и отправиться к Бакановым.

Трофим принес самовар; он положительно не верил, что Христофорский женится на Александре Степановне, и, когда ему об этом говорили, он только глупо улыбался и махал руками, как бы отмахивался от такой несообразной новости.

Христофорский напился чаю, закурил

трубку и стал мечтать; в это время отворилась дверь и в комнату вошел какой-то круглолицый парень, стриженный в кружок, подал ему пакет и остановился у двери.

Христофорский мигом почувствовал, что под пакетом пачка денег; мурашки забегали у него по спине, лицо покрылось румянцем, нос и губы выразили в одно и то же время и вопрос, и знак удивленья.

Распечатанный пакет, кроме денег, заключал в себе следующее письмо:

"Милостивый государь
Мокей Трифоныч!

Так как я в настоящее время ничего почти не могу дать за моей дочерью, ибо капитал ее находится в обороте, и вряд ли раньше смерти она может получить его, то я и решаюсь предложить вам все, что у меня нашлось в эту минуту, а именно 2000 рублей с тем, чтоб вы отказались от ваших притязаний на руку моей дочери и оставили нас в покое. Если же вы на это не согласны, то немедленно прошу вас деньги эти мне воротить с посланным, которому приказано дожидаться от вас

ответа. Остаюсь готовый к услугам
Степан Баканов".

Христофорский прочел и минуты две или три оставался совершенно неподвижным, точно на него столбняк нашел.

-- Подожди ответа внизу,-- сказал он посланному.

-- Прикажете внизу подождать-с?-- повторил сиделец и вышел.

Христофорский запер за ним дверь и стал считать деньги.

Такой суммы никогда еще не было в руках его. Доживши до 28-ми лет, он мог скопить всего только семьдесят пять рублей. Чего он ни измышлял для того только, чтоб лишний рубль приложить к своему капиталу; он дрожал над каждой копеечкой, и вдруг судьба посылает ему две тысячи! и за что посылает! за вздор, за то только, что он счастливо поволочился за купеческой дочкой. Ему предлагают или отказаться от этих денег, или продолжать волочиться; предлагают поменять верное на неверное.

Какой хаос, какая путаница, какой сум-

бур поднялся в мозгах нашего почтенного Мокея Трифоныча! Пальцы его дрожали, в третий раз пересчитывая упавшее ему с неба сокровище, щеки горели, губы странно улыбались.

"А что, если он хочет меня надуть,-- думал Христофорский,-- хочет двумя тысячами от меня отделаться!"

"А что, если пошлю я ему назад эти деньги, а потом все-таки, пожалуй, с носом буду: и деньги потеряю и Александра Степановна не выйдет за меня против воли своих родителей? Что тогда? Сперва отложат свадьбу, как это раз сделали с одним моим знакомым офицером, а потом придерутся к чему-нибудь, да и того -- откажут".

"Что ж я теперь буду делать? Гм! две тысячи, шутка сказать, две тысячи! да я на две тысячи так оденусь, так щегольну, что за меня и другая богатая невеста пойдет, тем более, что я такой человек, что мне стоит только приударить!.. или нет... другой такой не найдешь... А ну-ка он и в самом деле в затруднительных обстоятельствах, может быть, вдруг обанкротился? мало ли бывает таких случа-

ев..."

"Нет!.. лучше синицу в руки, чем журавля. Ну, как я пошлю к нему назад две тысячи, когда он мне их дарит! Нельзя... Просто нельзя... что ж--я-ему напишу?.."

"Милостивый государь
Степан Степаныч!

Душевно благодарен вам за те присланные мне сейчас деньги две тысячи, которые я получил".

Написавши это, Христофорский мысленно вообразил себе лицо Баканова в ту минуту, когда он посватался за дочь его, лицо, не предвещавшее ему ничего доброго,-- и стал писать дальше...

"Я хотел нынче сам быть у вас за ответом; но вы не хотите этого. Я дворянин и не связываюсь, исполню ваше желание, принимаю на память ваш подарок, надеюсь не беспокоить больше вашу особу ничем, тем более, что я знаю себе цену и никогда нигде не пропаду".

Тут Христофорский остановился и, решительно не зная, что еще написать, заключил

письмо свое следующей официальной -- вежливой фразой:

"Примите уверение в моем совершенном почтении и преданности.

Христофорский".

Остановимся на этом письме и поспешим заключить рассказ наш более нравоописательный, нежели занимательный. Степан Степаныч получил письмо Христофорского в тот же день и в тот же день объявил Александре Степановне, что жених променял ее на две тысячи.

Александра Степановна не сказала на это ни слова, страшно побледнела и ушла в свою комнату. С этой минуты она глубоко возненавидела своего родителя.

"Он не должен был искушать его",-- думала бедная девушка.

Христофорский нисколько от этого не потерял в глазах ее. "Он видел,-- думала она,-- что от него хотят отбояриться деньгами, и так как он очень бедный человек, то скрепя сердце и решился отретироваться".

Марья Саввишна стала изо всех сил хло-

потать о том, чтоб выдать замуж дочь свою, но, хотя и находились женихи, Александра Степановна как бы назло ей не хотела идти замуж. "Я скоро умру, у меня грудь болит, я вся больна, для чего мне замуж",-- и действительно она похудела.

Степан Степаныч по-прежнему торговал, по-прежнему играл в преферанс, но в минуты раздумья сжимал пальцами нижнюю губу, и думал: "Черт знает, что хорошо, что дурно! Радовался я, что отделался от Христофорского, и вот вижу с тех пор, что дочь на себя не похожа. За этим дураком она была бы, может быть, счастливее; хоть бы надувала его, хоть бы ссорилась, все жизнь была бы... может быть, и то, что от дурака-то мне бы умного внука бог послал, и это бывает... Черт знает: что тут хорошо, что дурно!..".

Так философствовал Степан Степаныч и всячески старался помириться со своей дочерью.

Она была к нему почтительна, но холодна, спокойно сносила намеки и насмешки родных и знакомых на счет любви ее к Христофорскому и отказывалась от всяких раз-

влечений, от театров, пикников, вечеринок. Стала ужасно упрямой и капризной старой девушкой.

Христофорский, вскоре уволенный от занимаемой им должности при кладовой, долго, упорно держался даровой квартиры и переехал на другую квартиру только тогда, когда пришли плотники ее переделывать.

Он не пропал. Счастье, в которое он верил, стало служить ему.

В палате прежде всего стал носиться слух, что купец миллионер не отказал ему, а сказал: "Я очень рад отдать за вас дочь свою, только дослужитесь до столоначальника". Этот слух и необычайное усердие, с каким он стал служить, помогли ему. Года через два он уже был сам столоначальником. Стуколкин сначала воевал с ним, требовал с него денег, разглашал про него, что он и скотина и мерзавец, наконец, присмирел; только перестал отвечать ему, когда тот о чем-нибудь его спрашивал.

Прошло еще лет пять, Христофорский стал еще опытнее и, по совету одного обязательного чиновника, женился на содержанке

какого-то богача, разумеется, для того только, чтобы дать свое имя ее детям. С женой своей он выезжал кататься под качели, иногда сопровождал ее в театр, но не смел и носу показать в ее спальню. Он получал от нее нечто вроде жалованья, копил деньги и был очень доволен судьбой своей, даже гордился своим положением.

В 1847 году я слышал, не знаю, правда ли, что Христофорский был уже переведен на порядочное место в какой-то губернский город. Гордо ходил он с орденом на шее и по-прежнему считал себя самым умным человеком в целом городе. Не знаю, правда ли?

1862

Рассказ вдовы

Эта вдова была очень странная молоденькая дама. Я постоянно встречал ее в трауре. Встретиться с ней было нетрудно, потому что она не чуждалась общества; но где бы она ни была, как бы ярко ни горели свечи, как бы радостно ни звучали клавиши под пальцами заезжего артиста, как бы горячо ни спорили при ней молодые люди, редко изменялось выражение лица ее, тихо-грустное и глубоко-сердечное. У блондинок с светлыми глазами и с волосами мягкими, как пух, никогда не видел я строгого лица -- а у нее лицо было до такой степени честное, что казалось строгим; лоб у нее был не высок, не широк и не узок -- это был очень стройный лоб, с выпуклостями над бровями, которые едва заметно и оттеняли их; голубые жилки сквозили на висках; на ее бледных античных губках, как на устах Минервы, изредка появлялась горькая улыбка. Я любил наблюдать за ней издали: когда, бывало, в сумерки, или где-нибудь в уголке, сидит она одна и свесит голову, я замечал, губы ее слегка шевелились; но молилась она

или беседовала сама с собой -- господь ее ве-
дает! Никогда не жаловалась она на скуку и
никому не навязывала своих воспоминаний.
Сначала пробовали ее рассеять, потом остави-
ли в покое; у нее не было ни отца, ни матери,
зато было бесчисленное множество родных,
принадлежащих к фамилиям московских
аристократов. Одна из ее родственниц, пожи-
лая, разбитная, светская дама, советовала мне
поволочиться за интересной вдовушкой. Я от-
вечал, что этого никогда не будет, а между
тем, признаюсь, давно уже, незаметно для
других, за ней ухаживал. Сначала мне хоте-
лось как-нибудь, чем-нибудь рассмешить ее -
не удалось: галантерейный вздор ее не тро-
гал. Стал я говорить о природе, об искусстве,
вообще о таких предметах, на которых
нетрудно практиковаться в красноречии, оза-
дачивать своим или чужим умом, увлекаться
и увлекать. Она молча слушала меня, даже,
смею сказать, вслушивалась в мои слова; но
становилась еще серьезнее или, закрываясь
платком, начинала зевать. Я усомнился в ее
уме и стал рассчитывать исключительно на
ее сердце.

Одно лето вместе с тетюшкой, с дядюшкой и кузинами, пожилыми девами, проводила она близ Москвы, а именно в Сокольниках. Там, в те блаженные дни моей юности, я часто бывал у них. Дядя ее, широколицый, лысый, приземистый старичок, редко был вне своего халата; страстно любил певчих птиц, держал соловьев; по утрам сам чистил клетки и насыпал корм; и так как на дворе была голубятня, то и голуби пользовались благосклонностью его превосходительства (он был действительный статский в отставке); носил очки и когда глядел на клетку или следил за полетом голубя, стоял, раскрывши рот и заложив одну руку за пазуху. Облекаясь в сюртук или фрак, он украшался всеми имеющимися у него орденами, был гостеприимен, не читал новых книг и любил толковать о политике. Жена его была похожа на него до безобразия, также носила очки и также раскрывала рот, когда к ней в гостиную входили гости. Дочки были большие хозяйки или, лучше сказать, рукодельницы, что нисколько не мешало им выезжать в большой свет, любить цветы, читать Филарета и слыть богатыми невестами.

Вся семья была необычайно строгих правил, набожная, простая и нецеремонная. У их племянницы Марьи Игнатьевны (вдову звали Марьей Игнатьевной) была своя комната наверху, куда никто не входил, не постучавшись сначала в дверь. Я никогда не был в ее комнате, видел только лестницу наверх да лампадку, которая всю ночь, бывало, светила в ее маленьком окошечке.

Однажды вечером, около семи или осьми часов, я застал Марью Игнатьевну на том же месте, где я всего чаще встречал ее одну, а именно в роще, на скамейке, неподалеку от земляного вала, из-за которого видна была крыша ее светелки и угол голубятни. По черному платью, белым рукавчикам, бледному личику я всегда издали узнавал ее. На этот раз я подошел к ней не без сердечного трепета.

-- Я не мешаю вашим размышлениям,-- сказал я, как Дон-Жуан в "Каменном госте" Пушкина,-- или вам все равно, быть в обществе или без общества,

-- Это правда, мне все равно,-- отвечала она своим детским голосом.

-- Знаете ли, что мне странно в вас: вы все о чем-то думаете, а, между тем, вы вовсе не рассеянны. О! вы всегда слышите все, что говорят.

-- А разве вы думали, что я глухая?

-- Нет... я этого вовсе не думаю, хоть вы и не отвечали мне на один вопрос.

-- На какой?.. А, да!!-- и она задумалась.

-- Помните? я спросил вас...

-- Да... вы спросили меня: буду ли я любить вас, если вы меня полюбите.

Я покраснел, как красная девушка; я никак не ожидал от нее такого спокойного повторения слов моих, никак не вообразил себе, чтобы она могла произнести их без всякого даже скрытого волнения, даже румянца не выступило на щеках, даже ресницы не опустились, выражение лица ее осталось по-прежнему спокойно задумчивым.

-- Меня все бранят,-- сказала она,-- что я до сих пор не скидаю черного платья, неужели вы думаете, что это я делаю из кокетства?

-- Нет.

-- Ну, быть может, вы полагаете -- из экономии, чтоб не шить лишних платьев?

-- Нет, я и этого вовсе не думаю.

-- Что ж вы думаете?..

Я хотел что-то сказать, но нашел это "что-то" неуместным и промолчал.

-- Если я не скидаю траура, значит, помню того, по ком я ношу его, значит, я еще люблю. Пусть даже это будет тень -- призрак -- мечта.

Последние слова произнесла она так, как будто я уже возражаю ей, не без раздражения в голосе; руки приподнялись, в глазах пробежала искра.

-- Ваш призрак,-- сказал я не без горечи,-- и не поймет вас, и не будет вам сочувствовать, а любить мечту -- это даже преступление. Вправе ли вы так рано похоронить ваше сердце?

-- Сам себя никто не хоронит: хоронят другие.

Ответ не глуп, подумал я про себя, и заговорил, слегка дотронувшись до ее нежной и худой руки:

-- Ну так воскресните! вострепешитесь! оживите!

Она молчала. Я ждал...

-- А как вы думаете, муж мой слышит теперь наш разговор или нет?-- спросила она, потупившись.

-- Я уверен, что нет,-- отвечал я, засмеявшись. Мне показалось в эту минуту, что она шутит.

-- А почему вы так уверены? -- спросила она, посмотревши мне в глаза с вопрошающим недоумением.

-- Неужели вы не шутя думаете, что тень или душа вашего мужа ревнует к вам? Оставьте живое живым...

-- Я знаю, что он не ревнует... Я не этого хочу.

"Чего она, глупая, хочет?" -- подумал я.

-- Думайте, что я глупа,-- продолжала она спокойно.-- Можете даже подумать, что я немножко помешана.

Меня ошеломила эта пронизательность; невольно пришло мне в голову замечание какого-то доктора, что сумасшедшие отличаются иногда необыкновенной пронизательностью.

-- Когда муж мой был жив,-- сказала Марья Игнатьевна,-- он ничему и никому не ве-

рил, я хочу, чтоб он хоть теперь чему-нибудь да верил. Понимаете?

-- Не понимаю...

-- Разве вы не знаете, что...

-- Что?

-- Вы не верите... ну, хоть вертящимся столам?

-- Что они вертятся, это я вижу, а отчего вертятся -- я еще не знаю, знаю только, что в этом нет ничего сверхъестественного и что быть его не может в естестве, т. е. в природе.

-- Я и сама не вижу в этом ничего сверхъестественного. Сообщение душ -- это, вероятно, в законах природы, которой мы также не знаем...

-- А! я и не знал, что вы такой мистик!

-- А, вот видите, надо прежде узнать и уже потом любить,-- проговорила она с живостью, положа указательный палец правой руки на ладонь левой.-- В том-то наша и беда, что мы не зная любим.

-- Помилуйте,-- сказал я,-- что ж это за любовь, которая все видит и все знает. Я могу любить вас со всеми слабостями и даже дурными сторонами вашего характера, тем бо-

лее, что любовь не отталкивает некоторых наших странностей, а напротив, охотно уживается с ними, любит их прощать и проч. и проч.

Она задумалась...

-- Быть может, вы и правы,-- начала она медленно, как бы не решаясь сознаться, что я прав,-- раз уж я была наказана такою любовью. Только месяц была я замужем -- месяц страданий!-- и я готова не только простить, рада воротить этот страшный месяц...

Я знал, что она была замужем не более шести недель... но, заинтересованный разговором меланхолической вдовушки, мне захотелось мало-помалу заставить ее рассказать мне историю любви своей. Женщины, рассказывая о давно потухшей страсти или о слезах, пролитых ими над прахом их возлюбленных, так иногда странно настраивают свою душу, что готовы полюбить вторично и именно того, кому они все это рассказывают. Марья Игнатьевна была исключением, но ведь кто ж знал, что наткнушь на исключение... Я начал с того, что воскликнул с самым наивным изумлением:

-- Неужели только месяц!

-- Да...

-- Один только медовый месяц! Скажите, вас принудили выйти замуж или вы сами вышли?

Такими вопросами мало-помалу я довел ее до рассказа, который в кратких словах и передаю вам, но вряд ли передам вам эту мягкость ее голоса, эту живую непоследовательность речи. Сначала она только отвечала мне и то не совсем охотно; под конец говорила так, как будто меня тут вовсе не было, говорила, глядя то на красные вечерние облака, то в глубину темной сосновой рощи, которая с каждым часом становилась глуше и безлюднее. Признаюсь вам, я никогда не думал, чтоб женщина в здравом уме могла что-либо рассказывать, забывая слушателя.

Так говорила она между прочим:

-- По принуждению...-- нет! Я не могла выйти по принуждению. Меня любили, баловали, глядели на меня, как на родную дочь. Ах, как меня баловали! Я сама захотела -- и меня послушались. Моего жениха никто не знал, он свалился, как с неба; родные, у кото-

рых я жила, конечно, старались, прежде чем дали слово, узнать, что это за человек, но в Москве его также никто не знал. Все последнее время он был за границей, учился и разъезжал. Он был далеко не беден, у него было даже порядочное состояние и большие связи в тех кружках, куда мы очень редко ездили. Графиня К. была его теткой. Богачи Ипатовы были также ему сродни. Он готовился быть профессором, но был человеком светским, вел рассеянную жизнь, такую, знаете, какую ведут артисты. Одна наша знакомая была с ним очень дружна и приходила в восторг от его заграничных писем. Кузен мой, Саша Л....., был также от него без ума; он-то и ввел его в наш патриархальный круг. Когда он был у нас в первый раз... не знаю, что и сказать вам! это было накануне летнего Николы -- мы тогда жили на Арбате -- он приехал к нам после всеношной; я ничего не знала и спокойно разливала чай в соседней комнате. В гостиной были гости; я услышала новый, незнакомый в нашем доме, голос, и сама не знаю... чего я испугалась: сердце мое так забилося, так сильно забилося! Я отвернула кран самовара и стала

вслушиваться. Переполнила чайник и чуть не обварила себе пальцы. Потом я вошла в гостиную, присела и отошла в уголок. Петя позвал меня и упросил меня сесть к ним поближе. В голосе гостя была какая-то дивно певучая струна, от которой все лицо мое горело. Я почувствовала неловкость... мне и уйти хотелось и хотелось остаться. Все с жадностью слушали его, так говорил он умно, так был остер и мил, бледное истомленное лицо его казалось мне самым живым лицом из тысячи лиц, которые я видела, и улыбка у него была волшебная, и блеск его темных глаз казался таким золотым, таким добрым и ласковым! Он стал чаще ездить к нам, и я скоро с ним познакомилась. Сначала я дичилась. Мне казалось, что он смеется надо мной. Думала, боже мой! -- все меня обманывает, все -- и его голос обманывает, и слово, и каждый взгляд!.. Я не только никого не любила, я даже не понимала романов, где описывались страсти; в доме шутя звали меня монашенкой, у меня была мечта в какой-нибудь пустыни кончить мою молодость. Как же это могло случиться, что я влюбилась. Мы, разговаривая, постепен-

но и незаметно признавались друг другу. Он стал склонять меня на тайное свидание в саду... я пришла в ужас; помню, отошла от него к дверям, остановилась на пороге и отрицательно покачала головой. Всю ночь, однако ж, снилось мне, что я иду к нему в сад... несколько раз просыпалась и опять засыпала, и опять мне чудилось, что я иду к нему... На другой день, вечером, я узнала, что он у дяди просил руки моей. О, как глубока, как искренна была моя радость! Все узнали, что я влюблена, и повесили голову. Домашним стало жаль со мной расстаться, стариков пугала неизвестность. Хотели на целый год отсрочить свадьбу. Но Алтаев не хотел ни денег, ни приданого, это всем нравилось, всех убедило -- и недели через три решили: быть нашей свадьбе. Странны казались мне иногда слова моего милого, но тогда я мало вникала в их значение; так, раз говорил он: не могу надивиться живучести моего сердца, откуда вдруг -- опять -- любовь! Я люблю вас глубоко и свято и боюсь -- эта свадьба -- эта брачная жизнь помешает мне любить вас... Я приписывала этой невольной застенчивости, в которой

мужчины редко признаются. К браку я готовилась, как к великому таинству; он был грустен и мрачен накануне свадьбы. "Ну вот, господа,— говорил он своим старым товарищам,— и я, как отравленный Сократ, приношу жертву Эскулапу". В церкви, когда кончилось венчание, подошла к нему с поздравлением крестная мать его, какая-то очень пожилая, сутуловатая дама с седыми пуклями. "Надеюсь, мой милый,— сказала она,— ты теперь не станешь делать глупостей".— "Ох! да,— отвечал он, держа меня за руку,— это моя последняя, самая непростительная глупость!" Я с испугом взглянула ему в лицо. Но он был весел, шутил, острил, смеялся, и я успокоилась. Я все до мельчайших подробностей помню, что было в этот вечер, как мы приехали на его квартиру, как пили шампанское и с какими лицами мои старики прощались со мной в передней, как потом Александр, жених мой, часу в десятом, куда-то уехал с шафером. Я осталась одна с Лизаветой, женой нашего дворецкого, она должна была раздеть меня... Новость комнат, убранство спальни, все это меня и радовало, и пугало, и волновало... Я пере-

оделась, сняла с головы подвенечные белые цветы, села в кресла, складывала охолодевшие пальцы, рассматривала венчальное кольцо мое, как бы недоумевающая, точно ли я замужем, не сон ли это и как это могло случиться? Ждала его, боялась, что он приедет, и опять ждала. Пришла полночь, я дремала от усталости, просыпалась в испуге, вставала и с лихорадкой в сердце ходила по комнате. Лизавета отворяла дверь, дивилась, ахала – куда пропал жених мой, даже начинала бранить его... уговаривала меня лечь спать, а я Христом богом умоляла ее оставить меня в покое. Около двух часов пополуночи я вздрогнула: прогремел экипаж, и раздался звонок. Веселый, во фраке и в белом галстуке, вошел он в спальню.

-- Ах, Мари! -- сказал он, целуя меня.-- Как тебе не грех беспокоиться и ожидать меня... поступай всегда так, как ты поступала и прежде.

-- Прежде мне некого было ждать,-- отвечала я.

-- А я, вообрази, вздумал играть на биллиарде и заигрался.

Признаюсь вам, я вспыхнула и надула губы... "Как! -- думала я.-- В такой день играть до двух часов ночи на бильярде, забыть невесту, все забыть!" О, если б он вздумал оправдываться, я бы расплакалась... но, слава богу, он даже и не извинился. Я только хотела сказать ему: "не вы ли сказали в церкви, что брак -- это ваша последняя глупость,-- зачем же вы их продолжаете делать?" -- но у меня и на это не достало духу, я только закрыла лицо обеими руками и потом, когда он отвел их, посмотрела на него с упреком; он понял взгляд мой и стал мне говорить о бесконечности, об искренности и глубине любви своей. О! как чудно, сладко звучал его голос. Я всему поверила и все забыла, мы сидели почти до рассвета, мои пальцы блуждали в завитках волос его, когда ко мне на грудь склонял он свою темно-курчавую голову. Был уже день, когда он заснул у себя в кабинете на диване, утащивши с кровати одну подушку. Я также спала крепко и невозмутимо и встала очень поздно. В это утро приезжал ко мне дядя мой с подарком, глупая Лизавета в сенях рассказала ему все. Играть на бильярде, в такую

ночь, показалось старику превосходящим меру всякого вероятия. Муж мой вдруг представился воображению его негодяем, мерзавцем первой степени, как убитый, воротился он в семью свою. "Погубили мы нашу Машу", -- сказал он. В этот же день, после обеда, утирая пот, он подступил к мужу моему с легким выговором, его ободрило уже и то обстоятельство, что муж мой за семейным столом не напился пьян, был со всеми любезен, словом, вел себя как всегда.

Александр нахмурился и отвечал:

-- А! это мое дело! Не судите, да не судимы будете! -- Бедный дядя совершенно сконфузился, но тот вдруг захохотал, дружески положил ему на плечо руки и сказал:

-- А помните, милый Иван Петрович, вы рассказывали, как вы однажды с какой-то барыней до трех часов ночи в дурачки играли. А?..

-- Да ведь это не в первую же ночь!

-- А чем первая хуже или лучше десятой?

-- Эх, молодое поколение! -- сказал старик, усмехаясь, и отошел, шевеля на лбу своим морщинами.

К вечеру и дядя, и тетя были о муже моем опять самого высокого мнения, а он весь вечер пресерьезно над ними тешился, браня неопытную молодежь и куря фимиам осторожной и благоразумной старости. О! кто знал моего Александра, тот знал и то, что многие люди в руках его были воск, из которого он лепил все, что ему угодно. Не оттого ли все искали его дружбы, даже те, которые не могли его терпеть и бранили его за глаза... Доктора в особенности его любили. А за что?.. Бог его знает. Странно, если лекарь поспорит с лекарем, того и гляди, что побранятся или возненавидят друг друга насмерть, а он, бывало, и спорит, и горячится и -- ничего! Или все эти лекаря знали, что ему не долго жить. Бедный, бедный мой Александр!..

Прошел один беспокойный день, пришла ночь. Рано утром, когда загорелась заря и засветились узорные гардины в окнах, я проснулась и отвела рукой полог, чтоб еще посмотреть на него при свете раннего утра. Боже мой! как я испугалась! Я хотела закричать и не могла: дыхание сперлось в груди моей. Возле меня на подушках лежал мерт-

вещ, да... совсем мертвец! Мертвенная бледность покрывала лицо его, черными полукружиями лежали длинные ресницы на двух потемневших впадинах. Я ухватилась за его руку, рука показалась мне холодной! Я вскочила, как безумная, я хотела кричать на весь дом, надевала туфли и искала колокольчика... Потом я бросилась к нему, приподняла его голову и громко, с подавленным криком, стала звать его. Он проснулся, развел руки и спросил меня:

-- Что с тобой, Мари?

Я долго не могла прийти в себя, долго еще сердце мое волновалось, и я тяжело дышала.

-- Что с тобою, Александр? ты болен?

-- Нет.

-- Отчего же это?

-- Что? я не чувствую себя ни хуже, ни лучше, а ты спала?

-- Да, я спала.

Я не хотела пугать его, он припал к моему плечу и опять заснул, я опять опустила занавес. Он спал, но я уже не могла заснуть; когда я закрывала глаза, мне все мерещилось

мертвое выражение лица его. Я смутно поняла, я угадала женским сердцем, как много он жил, как много страдал и наслаждался, как много прожито и как мало осталось на долю моего бедного сердца. Что-то подсказывало мне, что ему не долго жить. Бледная, шатаясь, встала я с постели часу в десятом утра; по мостовой уже стучали экипажи. Села я за туалетный столик и не помню, видела ли я на этот раз в зеркале лицо свое, когда девушка убирала мои волосы. Потом вдруг приехали ко мне кузины с великолепными букетами. Чудные были розы -- где вы теперь!.. Помню, мы принялись расставлять их в моей уборной. Совесть признаться: я была не очень рада гостям моим, хотя и целовала их, хоть они и не мешали мне одеваться; когда они уехали, я накинула на плечо мантилью, надела лучшие браслеты и вошла в кабинет Александра. Он читал какую-то книгу, мы поздоровались, щуря глаза, он спросил: о чем мы так смеялись? Я хотела поцеловать его, бросилась к нему на шею и горько заплакала. Долго я рыдала, горячие слезы, как ручьи, заливали грудь его. С участием, с изумлением, почти с

испугом он стал спрашивать: что значат эти слезы? Я не могла открыть того, что как свинец легло мне на сердце -- нет, нет, не могла! это было бы свыше сил моих, да и что я могла бы сказать ему? Внутренний голос разве говорит тем языком, который всем понятен? Слезы мои приписал он расстройству нервов; я скоро поддалась обаянию его ласкающего голоса. Он, -- да, он был увлекателен в минуты искренней, глубокой нежности, к чувствам его всегда почти примешивалась какая-то поэтическая мысль или грусть, хотя это и недолго продолжалось: он вспыхивал и потухал. Первые дни прошли, и я была довольно счастлива. Мы переехали на дачу, наняли большую избу, около Волынкова, убрали ее со вкусом и так были рады воздуху, солнцу, зелени и нашей широкой террасе, выходящей на небольшой лужок, покрытый кусточками.

Ну вот, мы так и зажили на вольном воздухе! И, кажется, все было так хорошо! "Я давно хотел уединиться,-- говорил мой бедный муж,-- надоели мне эти родственники... надоели обеды, надоели просвирни, московские умники и восторженные литераторши! Неуже-

ли здесь кто-нибудь найдет меня?" И вот муж мой принялся курить, читать и писать свою "Историю Венеции". Но, видно, слишком долгое уединение было не в его характере. Поехал он в Москву и привез к себе на вечер с полдюжины приятелей. Ночью при лунном свете затеялась жженка; пили и громко смеялись. Половина гостей ночевала в сенном сарае. Скоро все узнали, где мы живем, и стали навещать нас. Помню, какой-то Дусов, преуморительный! -- пешком, без перчаток, приходил к нам обедать. Это был маленький, оципаный молодой человек с измятой шляпой, в форменном фраке и коротеньких брюках. Он был очень беден и очень умен, память у него была большая. Александр любил его за цинизм откровенности. Дусов часто заливал себе за галстук и едва держался на службе; помню, как сам он рассказывал про себя, как нашли его ночью на улице и подняли, как потом он очнулся утром за решеткой, в полицейском доме, как его оттуда с какой-то пьяной бабой повели к допросу перед зеркало, как хотели привязать его на веревочку и отвести домой, как собачонку, как он

умилостивил пристава и какое тот ему прочел родительское наставление... Все это рассказывал он без всякой желчи, как о самом приятном событии в жизни. Помню, как я его стыдила и как он пил херес за мое здоровье. Знакомые мужа моего были все большие чудачки, и всякий по-своему за мной ухаживал. Так прошли первые дни. О, кто воротит мне эти дни безмолвных, но жгучих радостей и тайных тревог. Были минуты, когда я была так несчастна, так глубоко взволнована, как будто туман колыхался вокруг меня, а в этом тумане были дикие звери. Клянусь, я не слышала от мужа ни одного резкого слова, и клянусь, я предпочла бы брань и даже побои... лишь бы... Я... знаете, я не понимала ни его, ни тех, кто приходил к нему, а мне хотелось понимать... Разговоры их были слишком для меня мудреные. Случалось, издали, слышать мне и такие восклицания: "Добродетельная женщина! Что может быть хуже добродетельной женщины?" Я не умела спорить, но помню, что и я спорила. Муж дал мне, pour la bonne bouche {на закуску (фр.)}, читать роман "Лукреция Флориани". Он защищал эту жал-

кую женщину, я сердилась, нападала и на него, и на Лукрецию. Так прошло дней восемь, десять, быть может больше, быть может меньше, я дней не считала, замечала только, как эти дни стогнали свет и улыбку с лица моего мужа. Он, кажется, постоянно внутренне сердился на то, что женат, хоть, может быть, и горячо любил меня. "Люди,-- говорил он,-- сами налагают на себя цепи; кто их не чувствует, тот их и не носит". Он старался их не чувствовать, он хотел глядеть на меня только как на свою возлюбленную.

Я хорошо бы сделала, если б сумела не казаться женой его, но я его не понимала; он был странен, я была молода.

Раз, утром после завтрака, лег он на диван и положил свою голову ко мне на колени; я, вот этими руками, поддерживала эту драгоценную, эту милую для меня ношу! Он обернулся ко мне скучное лицо. Я хотела наклониться, чтобы поцеловать его, но... он скрестил пальцы и стал читать плачевно, протяжным голосом:

И глаза ее все те же.

Что приветно так глядели,
И уста ее все те же,
Что любовью пламенели.

Ах! я уж и не помню этих проклятых стихов...

Отчего ж в ее объятьях
Мне так нестерпимо скучно...

Так, кажется, он кончил -- да... кажется, так!.. только я очень хорошо помню, что было слово нестерпимо.

Неужели он думал, что я не пойму, что в эту минуту проходило по душе его? Давно ли такая любовь -- и уже нестерпимо! Боже мой! я хотела встать и уйти... мне стало жаль его, стало горько и больно за себя. Я только откинулась на спинку дивана и глубоко задумалась. Долго мы молчали, наконец, я спросила, чьи это стихи?

-- Гейне. Это мой перевод; я когда-то, во дни юности, упражнялся в поэзии. А знаешь ли, что это за птица, Гейне?

-- Нет,-- отвечала я, глядя в окно.

-- Жаль; слушай, я еще прочту тебе.

И он по-немецки прочитал несколько стихотворений, одно другого тоскливее и тяжелее.

-- Неужели,-- решила я спросить,-- ты... тебе скучно со мной?

-- Не знаю, может быть, без тебя мне было бы еще скучнее.

-- Если скучно, ступай от меня прочь или пиши свою историю.

-- Если я и напишу ее, напечатать будет нельзя. Для кого ж, моя милая, писать ее? Ведь не для того же, чтоб твои будущие дети из листов моей тетради вырезали себе лошадок.

Завязался длинный разговор...

Горячее и дольше, чем когда-нибудь, после этого разговора я, отходя ко сну, молилась богу. Горела лампадка перед благословенным образом, я стояла на коленях. Как тень, незаметно, вошел он в комнату, разделся и лег. Я просила бога продлить любовь его, научить меня, что делать, чтобы угодить ему.

Пока я молилась, он, облокотясь на подушку, не сводил с меня глаз -- он наблюдал

за мной.

-- Мари! -- сказал он наконец.-- О чем и кому ты молишься?

И вот, сидя на постели, как бы размышляя сам с собой, худой и бледный, стал он говорить, говорить... Впервые такие речи коснулись ушей моих. Бессмысленно оглядела я комнату и встала. Нечто похожее на отчаяние шевельнулось в груди моей.

Когда я легла, долго не могла заснуть: огненная рука давила мозг мой. Он молчал. Моя лампада горела тускло.

Добрый, простой, часто любезный, без выговоров, без упреков, он терзал меня; я страдала за него, за его сердце, за его душу, за все бренное существо его.

-- Верь,-- говорила я,-- что я буду вечно любить тебя, потому что должна любить.

-- Кто навязал тебе такой долг? и что есть вечного? Разве не может случиться, что ты полюбишь другого?

-- Нет,-- не может.

-- А если это случится?

-- Никогда,-- сказала я, вставая,-- никогда этого не может случиться. Постой! неужели

ты способен еще полюбить другую больше, сильнее, чем законную жену свою!

-- Не сердись, законная жена! и не ревнуй к будущему. Ведь я еще сам не знаю, буду ли я любить кого-нибудь, это только может быть, а что может быть, за то я не отвечаю.

-- А кто же отвечает? Кто?

-- Природа, которая так создала нас, или -- никто.

-- Что же после этого... любовь... и это кольцо?

-- Все это ничего,-- проговорил он с небрежной миной, не подозревая, какой удар наносит он моему спокойствию; вся моя будущность предстала мне в виде хаоса без основания, без цели, без утешения, без надежды здесь, без надежды -- там. О! сколько раз мне хотелось плакать, хотелось уверить себя, что муж мой шутит. Без нарушения наружного согласия между нами завязалась тайная борьба, от которой, бессильная, я падала перед ним, таким же бессильным, как и я, но спокойным и уверенным в своих непонятных мне теориях. Пустой звук делал он из любви, хаос из жизни. "Новая жизнь еще не созда-

лась,— говорил он,— оттого и мрак, и хаос..." Раз вздумал он мне пресерьезно доказывать, что я вовсе не люблю его, что это просто магнетизм и электричество. Я уже и возражать перестала, мне даже казалось, что я начинаю верить всему, каждому его слову. Я уже готова была отказаться от всех дорогих мне убеждений, лишь бы сохранить любовь его. Что, кроме любви, могло быть между нами общего? что иное могло надолго, если не навсегда, связать нас? Как утопающая, я хваталась за каждую соломинку; то боялась слишком от него удалиться, то боялась излишним усердием надоест ему. Видит бог, какие страшные прожила я дни и ночи.

Когда он был не в духе, хмурил брови или казался таким сердитым, я не могла быть веселой и, стало быть, ничем не могла разве-селить его. Когда он был очень весел, ему хотелось шума, друзей, остроумия и рассказов, может быть, и забавных, но не всегда для меня приятных, и, право, если б была возможность, в эти минуты он нанимал бы музыку. Однажды утром я нашла его в такой тревоге, что испугалась. Он сказал, что видел дурной сон;

я ему не поверила, потому что дурным снам, так же как и дурным приметам, он не верил. Он сказал, что поедет в Москву. Я сказала: поезжай. Пошли узнать, нет ли извозчика. Я послала, и через полчаса привели нам дрожки. "Жди меня, моя милая, к обеду",-- сказал он и уехал,-- зачем? -- я его не спросила, а самой себе я задавала этот вопрос целый день... К обеду (мы всегда обедали около четырех часов) явился Дусов. До шести часов мы не сели за стол. Дусов был голоден, как собака; я напоила его кофе. За обедом я почти ничего не ела -- муж не являлся; я не знала, что с ним, и стала верить, что не к добру был сон его.

-- Как вы думаете,-- спросила я Дусова,-- отчего не едет муж мой?

-- А могут быть разные причины, Марья Игнатьевна,-- отвечал он, согнувшись, как котенок, и под столом потирая руки.

-- Какие же причины?

-- Да разные бывают причины. Он мог встретиться с предметом какой-нибудь потухшей страсти и увлечься.

-- Увлечься! чем? --- спросила я.

-- Ну, чем -- воспоминанием, конечно!

И он так засмеялся, что в эту минуту мне хотелось прибить его.

-- А может быть, и то,-- продолжал он,-- что пригласили его старые приятели в какой-нибудь Троицкий или Печкин, закусить того-другого, ну, совестно же отказываться.

-- Ну-с, а еще что может быть? Все говорите.

-- О, да мало-ли что, Марья Игнатьевна, он мог в это время броситься в Москву-реку, чтоб спасти утопающего, и теперь, очень может быть, сушит платье перед печкой у какой-нибудь калашницы.

-- Полноте,-- сказала я с досадой,-- неужели вы думаете, муж мой бросится спасать утопающих?

-- А вы думаете, нет? непременно бросится.

-- Неправда, он ради меня побережет себя и не захочет потонуть, спасая бог знает кого.

-- Как бог знает кого! -- сказал он.-- Что вы? Человек, хоть и свинья подчас, а все-таки человек... Видите-с, Марья Игнатьевна, муж-то ваш добрее, чем вы, для него все люди суть люди, даже и я человек, а уж, кажись, на что

пьяница!

-- Да... я желаю, чтоб он был истинным христианином.

-- А не желаете, чтоб он за брата душу свою положил.

-- Послушайте,-- сказала я, бледнея,-- если: с мужем случилось несчастье и вы не хотите...

Я вдруг вообразила, что Дусов хочет постепенно приготовить меня к удару. Если бы он не расхохотался и не подавился бы вдобавок, я бы упала в обморок.

Он скомканным платком утер свое крошечное лицо и проговорил наконец, что до сих пор ни о каком несчастье до него сведений не дошло.

-- Ведь я сама не рада,-- сказала я, вставая из-за стола,-- что меня так беспокоит его отсутствие.

-- Я это очень понимаю,-- сказал Дусов,-- я сам нынче встал не в духе и очень беспокоился; вчера потерял манишку,-- думаю себе: ну, в присутствие,-- куда ни шло, застегнусь,-- а вот как же я пойду обедать? -- и проч.

Все это, все эти разговоры я очень помню,

потому что душой и сердцем принимала в них участие. Я люблю так же рыться в моих воспоминаниях, как другие любят читать рассказы. Из той атмосферы, которой я дышала до моего замужества, я вдруг перешла в другую жизнь, в мир таких слов и поступков, к которым надо привыкать, чтоб они не казались преувеличенно странными. Да простит мне бог, если я ошибаюсь! Вечером я и Дусов пошли к часовне, откуда видна была проселочная дорога из Москвы. Только что мы вышли, вдруг идет к нам навстречу высокая, очень красивая дама. На ней была турецкая шаль, соломенная шляпка, голубые перчатки, браслеты и уж я не знаю, чего на ней не было. Из-под шляпки выбивались два густых черных локона, черные глаза щурились от солнца. В лучах вечера она была блистательна.

-- Не знаете ли,-- спросила она по-французски,-- где живет Александр Алтаев?

-- Мой муж? вот где он живет,-- отвечала я, указывая пальцем на домик наш.

-- Ах! вы жена его! я очень рада случаю с вами познакомиться,-- проговорила она, осматривая меня с ног до головы.-- Я давно

знакома с вашим мужем, он был всегда одним из первых друзей моих. Могу ли я его теперь видеть? -- и проч. и проч.

-- Нет, его нет дома,-- отвечала я холодно.

-- Когда же я могу?..-- продолжала она, смотря мне прямо в глаза.

-- Он, верно, всегда будет очень рад вас видеть. Он теперь в Москве,-- говорила я, теребясь.

-- Как вы любезны!-- сказала дама.-- Скажите ему... что у него был один старинный друг, а именно Лизавета Сергеевна Фильд, и скажите... что я -- если только я не помешаю вам,-- на днях же постараюсь увидеть его. Прощайте.

Она пошла своей дорогой, мы своей.

-- Вы не знаете,-- спросила я Дусова,-- кто эта женщина?

Он отозвался, что не знает. Ее появление меня заинтриговало. Я не знала, как понять слова "неизменный друг" в устах посторонней женщины. Да и кто, думала я, смеет быть неизменным другом моего мужа, кроме жены?

Издали узнала я моего Александра, его се-

рое летнее пальто, его шляпу. Издали, пока он ехал, я, стоя на дороге, махала ему платком. Когда у часовни он сошел с дрожек, я бросилась обнимать его. Клянусь, я была так рада, так рада, что все забыла, даже забыла эту ненавистную Лизавету Фильд. Он улыбался очень любезно, но... что говорить! Я почти убедилась, что он разлюбил меня. Молча шла я домой с ним под руку. Он уговаривал Дусова догнать извозчика и давал ему рубль на дорогу. Бедный Дусов не согласился взять рубль, хоть это ему и очень хотелось.

-- Нет,-- говорил он,-- я люблю ночью пешком ходить.

-- А кладбище? -- сказал муж.

-- А что мне кладбище! -- сказал Дусов.

-- Если я умру, придешь ли ты ко мне ночью на могилу? -- спросил муж.

-- Приду со штофом водки и напьюсь,-- отвечал Дусов.

-- Хорошо,-- сказал муж.

Чтоб прекратить этот разговор, я сказала Александру, что его искала какая-то женщина, Елизавета Фильд.

-- Неужели! Боже мой! Какая досада, что я

не видел ее! Как я рад, как я рад, что она в Москве,— начал радоваться муж мой. Да, я видела, как он радовался, и горько стало мне, что, не выдавшись целый день, он не обрадовался жене своей. Дусов ушел в Москву пешком. Мы пришли домой часу в девятом вечера. В роще пели соловьи; мы при свете месяца сели на террасе слушать их. Но не соловьиные песни звучали в душе моей. По обыкновению умно и просто говорил он со мной до поздней ночи, говорил много о здании всей природы, о чудесах неба и земли, о бесконечности вселенной, об отдаленности звезд... но что мне было за дело до его ума: ум его не грел меня, от него я чувствовала легкую дрожь, и только. Я говорила ему: да... да... ты прав... или молча глядела на звезды, а на глазах у меня были слезы.

-- Помню я ночи,— говорил Александр слабым голосом,— ночи на озере Четырех кантонов; Лизавета Сергеевна тогда была со мной, была моложе, а стало быть, и лучше, и чище сердцем. Мы плыли в лодке в тени лесистой мрачной скалы и видели вдали огоньки и серебряные, легкие облака над темной

массой прибрежных садов и проч. и проч. Лизавета Сергеевна пела, так пела, как никогда не пела,-- и проч. и проч. Я не могу вам передать тех картин, которые, как будто назло мне, так ярко рисовались в его памяти... Тут он простодушно рассказал мне историю, всю жизнь этой Лизаветы Сергеевны. Она была нечто вроде Лукреции Флориани... И эта женщина, думала я, смеет называть другом моего Александра!

-- Она,-- сказала я нерешительно,-- она говорит, что ты один из первых друзей ее.

-- Правда,-- сказал он,-- это правда! О, это редкая женщина! душа, каких немного... Из тонких и чутких нерв соткала ее природа. Я давно не видел ее. Очень может быть, что и она взвизгивает, а не поет. Я ее очень люблю и очень буду рад ей.

-- Ты ее очень -- любишь? -- спросила я помолчав.

-- Ведь я сказал тебе, что очень,-- произнес он, возвысив голос, и посмотрел на меня так, как будто вдруг, разом отгадал мои мысли.

-- Не пора ли спать,-- сказала я и вышла.

Он остался на галерее (кажется, эту галерею я назвала террасой, но это была вовсе не терраса, а просто деревянный, широкий балкон с двумя или тремя ступеньками вниз).

Опять горячо и долго молилась я в спальне, прежде чем легла и задула свечку, и опять не могла заснуть. Неровными шагами ходил по балкону муж мой. Я ждала -- и слушала шаги его. Прошел час, прошло два, и не знаю, сколько прошло времени, я не могла спать, я все ждала его. Я хотела у самого биения сердца его допроситься тайны, любит он меня или уже не любит. Мое ожидание, наконец, перешло в лихорадочное беспокойство, хоть я и слышала близко, под самым окном, шаги его. Я ощупью на спальном столике нашла часы и подавила пружинку -- прозвенело час и три четверти. Ах, как еще не поздно и какая длинная ночь!.. Я тихо встала; в темноте надела пеньюар, нашла свои туфли, накинула на голову платок, тихонько отворила дверь и вышла в сени,-- вышла в сени и отворила другую дверь... Что именно я хотела сказать ему, не помню; но мне так хотелось что-то сказать ему,-- а его уже не было! Все было пусто и ти-

хо в месячных лучах. О, знаете ли вы, какое мучение любить! Я бы дала полжизни, чтоб в эту минуту он был со мной -- а зачем и почему именно в эту минуту! -- кто поймет, кто решит капризы женского сердца!.. Я облокотилась на деревянную решетку; прохладный воздух не освежал меня, на соседнем дворе выла собака, роса тускло блестела на траве, роща выходила из какого-то мутного облака... И он ушел в такую сырую ночь, по такой мокрой траве и так легко одетый!, он, который на ночь так редко забывал опускать окошки!.. Куда же он ушел? зачем? неужели я так страшна, что он бежит от меня даже ночью? Уж не госпожа ли Фильд назначила ему в эту ночь свидание? Мои фантазии до того разыгрались, приходили в голову такие грустные мысли, что слезы сами собой текли по щекам. Я плакала и ждала,-- ждала и тихо плакала. Не раньше, как показалась белая заря и зачиликали воробьи в кустах, а туман потянулся к небу, с распухшими глазами я покинула балкон и ничком бросилась на смятую постель. Наконец, бог послал мне силы,-- я решилась: пусть, думаю, он делает, что хочет, не любит,

скучает или не верит мне, я поклялась быть его женой и буду молча любить... молча помогать ему, а когда умру -- я была уверена, что умру скоро,-- такая боль была у меня в груди -- пусть он почувствует, что ему не достает кого-то,-- и проч. и проч.

Утром часу в девятом явился он домой; я была уже одета и сидела за самоваром. Где он был, я его не спросила. Я даже с притворным равнодушием посмотрела на измятое, бледное лицо его, беспорядок его волос и спросила: не хочет ли он чаю.

-- Очень рад, дай! -- сказал он и протянул мне руку.

-- Перемени сапоги, они сыры, ты можешь простудиться.

-- Степан!-- закричал он человеку,-- дай другие сапоги.-- И ушел в свою комнату. Напившись чаю, он вздумал раздеться и лечь в постель. Жаркий сон в одну минуту охватил его; лицо опять приняло такой изнеможенный, усталый вид, что стало страшно. Я взяла его за руку и пощупала пульс,-- пульс бился сильно и неровно. Бедный, он не спал всю ночь, думала я. Что вздумалось ему вдруг уй-

ти с балкона, и где он был? и зачем не приходил домой, если он недалеко был? Неподвижно часа два или три сидела я в креслах. День был серый, тучи покрывали все небо. Был уже третий час, когда я оглянулась на постель, глаза его смотрели на меня, я испугалась их выражения: в них была и тоска, и любовь, и смерть, и я не знаю что.

-- Не хочешь ли ты чего-нибудь,-- спросила я,-- не болен ли ты, милый? -- у тебя такие горячие руки.

-- Мари,-- сказал он слабым голосом,-- ты ни разу не спросила меня, где я был ночью.

-- Ах! кажется, я забыла тебя спросить об этом.

-- Боже мой! как хитры самые простые женщины! -- сказал он с досадой.-- Ведь я знаю, тебя целый день мучил этот вопрос. Не правда ли?

-- Ты знаешь все, зачем же ты спрашиваешь?

-- Я очень рад, что ты меня не спросила. Если б ты стала меня спрашивать, я бы не сказал тебе.

-- Как хочешь. Я не имею права.

-- Я был в Москве.

-- В Москве?

-- Да, и знаешь ли что? В эту ночь у меня родился сын. Я ужасно устал и душой и телом.

Я так была поражена, что не могла бы встать, если б вздумала, не могла бы говорить, если б захотела говорить. Думаю, что я страшно побледнела, потому что он хотел продолжать, но посмотрел на меня и остановился.

-- Мари,-- сказал он, наконец, лежа на спине и оглядывая потолок,-- неужели такие простые, обыкновенные вещи могут ужасать тебя!..-- Я отвечала, что меня ужасает все безнравственное.-- Стало быть, я не могу ужасать. Видишь,-- сказал он,-- мне вдруг в эту ночь пришло в голову, что там, в городе, быть может, нужна моя забота, быть может даже помощь, и я, усталый, опять туда отправился. Мое сердце ничему не покоряется, но я ему покоряюсь. Если оно ошиблось и вынудило меня сделать тебя женой моей, как я ни боролся, а, все-таки, уступил ему... Если я и виноват, то не перед тобой, душа моя Мари, а виноват перед той женщиной, которая так

страдала. Любить ее больше я не могу, но заботиться о ней обязан до тех пор, пока она мне сама не скажет, что ей забот моих не нужно.

Я сказала на это, что презираю женщину, которая принимает помощь от такого человека, который уже разлюбил ее.

-- Я пять месяцев ее не видел, Мари, она очень хорошо знает, что я разлюбил ее, знает, что я женат, но ты не можешь себе представить, как она была рада, что я ее вспомнил, что я не забыл ее, и, право, она бы умерла в эту ночь, если б я не похлопотал отыскать ей доктора.

-- Не говори мне ничего, ради Христа!-- силилась я сказать. Он закрыл глаза и казался спящим. Я ожила только к вечеру, когда мой муж, собравшись ехать в Москву, сел на диван в ожидании извозчика. Я увидела, что он в жару, глаза его очень мутны, что он болен, совсем болен. Я все забыла, стала перед ним на колени и упросила его не ехать б город.

-- Ты еще любишь меня?-- спросил он с нежностью. О! я помню, как он к голове моей приложил свою горячую щеку и остался. Всю

ночь он был в жару без памяти и бредил. Я послала за доктором. Доктор З. сказал мне, что это ничего, простуда, расстройство нервов, и прописал лекарство, но вид его был очень озабочен, когда он держал его за руку. Я почти не спала всю ночь; утром голове его стало легче. Он призвал Степана, спросил бумаги, перо и книгу, на коленях написал какую-то записочку и велел отнести ее в город по адресу. Я не спрашивала его, к кому он так долго пишет, я только читала в чертах лица его скорбь невыразимую. Когда Степан вышел из комнаты, я была уже в сенях и сказала ему: сходи, пожалуйста, прежде чем поедешь в город, и купи мне кринку сливок, а записку дай мне, а то ты ее потеряешь. Когда принесешь молоко, тогда я тебе отдам ее и ты получишь на извозчика. Оставшись одна, я прочла адрес, записка была адресована к Елизавете Сергеевне. "Какими судьбами муж мой узнал ее адрес и от кого? -- думала я, -- и неужели в прошедшую ночь он уже успел отыскать ее?" Я отклеила облатку, сердце мое сильно трепетало и билось, как будто я решилась на великое преступление: записка была

по-французски: я пробежала ее в одну минуту, и все фразы мигом спутались в голове моей. "Милый друг, Лнзавета Сергеевна,-- писал муж мой,-- на днях я умру. Этого я не говорю жене моей, потому что она ребенок. Я так ее люблю, что боюсь тревожить ее прежде времени. Пожалуйста, когда меня не будет, навстите мать моего ребенка" -- и проч. и проч.

Помню, что я, читая, ничего не помнила; дальше говорилось о каких-то деньгах, но что, как, почему и отчего?-- я не могла понять. Запечатавши записку облаткой того же цвета, я пошла сама навстречу Степану, который сливок не нашел, дала ему денег, велела ему с запиской ехать в город, а обратно на дороге, непременно, захватить того же доктора. Муж мой сидел на постели, когда я вошла; голова его свесилась на грудь, курчавые волосы торчали. Я слышала, как он два раза глухо повторил: бессмертие! бессмертие! Он был еще в памяти; я боялась заплакать,-- он бы догадался, что я прочла письмо его. Он позвал меня, но я убежала в кухню, села на лавку и стала всхлипывать. Нет! быть не может,-- утешала я сама себя,-- кто сказал, что он умрет! как мог

он писать? И в то же время, сама не знаю почему, внутренний голос говорил мне, что он прав и что не обманывало меня мое предчувствие. Стараясь быть бодрой и спокойной, я провела ужасный день. Ночь была еще ужаснее: Александр все время разговаривал с каким-то невидимым стариком и спрашивал меня:

-- Мари! слышишь ли ты, что он говорит? он уверяет меня, что моя душа явится к тебе, когда я умру. Ах, Мари! Мари!..

Помню, до утра я сидела у ног его и, по временам, держала его за руку. В бреду он часто называл меня по имени, но уже не узнавал меня,-- я для него была призрак... Мне кажется, что в эту ночь и он, освещенный лампой, представлялся мне чем-то таким... не похожим на образ живого человека; лицо его, мертвенно бледное, казалось мне, расплылось бы, как дым, если бы пахнул на него ветер.

Его последнее -- последнее слово было "приду к тебе", это слово пролепетал он между бредом и последним вздохом, и вот это слово -- беспрестанно, беспрестанно отзывается в

ушах моих. Я не могу, да и не хочу забыть его -- я верю, что, если я замолю грехи его,-- он придет ко мне, он будет вестником блаженства и загробного свидания. Отчего он умер? -- господь его ведаёт! доктор сказал, что у него была просто простудная горячка, но что он не перенес ее, потому что организм его был... надломлен... Много жил, слишком уж много!..-- сказал мне доктор. Да и мне в какие-нибудь шесть недель пришлось пережить столько же, сколько иные переживают в продолжение многих и многих лет, и, право, с меня этого довольно... Эти немногие дни будут наполнять всю жизнь мою.

Ну, вот все, что я помню, и все, что я знаю... Пора домой, который час? Ну да, меня будут ждать к чаю. Проводите меня; и что это мне вздумалось вам рассказывать? какое вам до меня дело?!

-- Теперь я немножко понимаю вас,-- сказал я, подавая ей руку.

Она встала, мы пошли, и оба были задумчивы.

-- Гм! Понимаете!.. ну скажите, как же вы меня понимаете?

Этот вопрос меня озадачил; не хотелось мне ей отвечать...

-- Понимаю,-- сказал я,-- что вы, во-первых, суеверны, во-вторых, были бы очень несчастны, если бы муж ваш остался жить до сегодня. Вы ни вашим прошлым, ни вашим воспитанием не были нисколько подготовлены к тому, чтоб жить под одной кровлей с таким человеком, каким, судя по вашим словам, оказывается ваш покойный сожитель. Вы не умели понимать его и были бестактны. В нем же, несмотря на доброту его, было нечто такое... как бы вам выразить? -- нечто разъедающее спокойную жизнь и обычное человеческое счастье. В наше переходное время попадают и не такие еще личности... Вспоминайте о нем, но не фантазируйте. Неужели в такие годы вы отречетесь и от любви, и от жизни, и...

-- Как!-- перебила она меня с каким-то нервным движением, которое отозвалось в руке моей.-- Вы думаете, что я могу еще любить, т. е. думать о замужестве! Вы хотите, чтоб, стоя под венцом, я увидела тень моего мужа и умерла бы от ужаса...

-- И, полноте! никакая тень не пришла бы вас тревожить...

-- И вы в этом уверены?

-- Уверен...

-- На это я вам одно скажу. Душа, которая верует,-- тайна для того, кто ничему не верит. Прощайте...

Рука ее выскользнула из руки моей, и, обдав меня загадочным взглядом, она вошла в калитку нанятой ими дачи. На дворе в халате стоял старик, ее родственник, и заметно с беспокойством поджидал ее. Мне же не хотелось на этот раз попадаться на глаза родным ее: меня непременно зазвали бы чай пить, слушать старые сплетни, иносказательные намеки и тонкие наставления.

Было уже темно, когда я возвращался домой; мне было грустно, меня занимал вопрос, могу ли я вылечить эту барыню, могу ли я отрезвить ее, могу ли -- рано или поздно -- заставить ее полюбить меня...

И кто знает, быть может, мне бы и удалось кой-что... Недаром же она так доверчиво рассказала мне свои страдания и свои иллюзии; но я был ветрен, новая жизненная волна,

новая неожиданная страсть отвлекла меня от этой странной, мистической вдовушки, и я навсегда потерял ее из виду...

КОММЕНТАРИИ

Свою деятельность прозаика Полонский начал в печальную пору царствования Николая I, в начале пятидесятых годов, когда особенно свирепствовала цензура. "Писать в последние годы царствования Николая I было невозможно,— вспоминал Полонский; мои невинные повести: "Статуя Весны", "Груня" и др. были цензурой запрещены..." ("Литературно-художественный кружок им. Я. П. Полонского за 1905--1906--1907 гг.", СПб., 1908, с. 17).

Из современников Полонского, пожалуй, единственным, кто искренне ценил прозу поэта (хотя и в меньшей степени, чем его лирику), был И. С. Тургенев, считая лучшим его произведением роман "Признания Сергея Чалыгина". Но, по словам Тургенева, Полонский "уже до признаний Чалыгина показал, что умеет так же хорошо писать прозой, как и

стихами. Стоит только вспомнить его "Тифлиссские сакли", его "Груню".

Почти все представленные в настоящем издании повести и рассказы автобиографичны. Повести "Груня" и "Дом в деревне" -- своего рода маленькая диалогия, повествующая о жизни подростка в 14 и 15 лет, где много почерпнуто Полонским из своего отрочества. Автобиографичны и кавказские повести "Квартира в татарском квартале" и "Тифлиссские сакли" -- о последней Полонский вспоминал: "В Тифлис приезжал В. Ф. Тимм (издатель "Художественного листка") <...> Он хотел срисовать самую красивую женщину в Тифлисе -- и я дал ему возможность срисовать ту армянку, которую я описал в рассказе "Тифлиссские сакли", которая долго была близка мне и которая страшно измучила меня не столько физически, сколько нравственно. Она была "прекрасна как ангел небесный, как демон коварна и зла". Ее звали Софья Гулгаз. Я уже выучился <...> рисовать, <...> но книга с рисунками, а в том числе и с портретом Софьи пропала <...> Молодость и жизнь этой Софьи (под именем Магданы <...>) описана мною так

правдиво, что слухи об этом рассказе дошли до моей бывшей возлюбленной -- и она <...> просила <...> передать мне, что грех мне и стыдно так жестоко осмеять ее! Но кто еще раз прочтет мои "Тифлисские сакли", тот, конечно, увидит, что я и не думал ее осмеивать <...> Рассказ "Тифлисские сакли" я не мог продолжить, потому что цензура в это время моего пребывания в Петербурге не допускала существования любовниц, содержания и тому подобное. Жива ли теперь эта поразительная красавица Софья Гулгаз..." (Я. П. Полонский. Стихотворения. Л., 1935, с. 652--653. Библиотека поэта. Большая серия). "Тифлисские сакли" впервые были опубликованы в "Современнике", 1853, No 7. В 1859 году они были напечатаны в "Русском слове", No 4.

В 1862 году была опубликована небольшая повесть Полонского "Медный лоб", которая раскрыла новую грань таланта автора -- его несомненное сатирическое дарование. Друг Полонского, взыскательный и искушенный читатель Е. А. Штакеншнейдер, записала в своем дневнике: "Небольшая забавная вещь -- война барина с лакеем <...>

Или ему этот род лучше удается, или его проза окрепла как-то, стала гораздо лучше..." (Е. А. Штакеншнейдер. "Дневники и записки". Academia. М., 1934, с. 314).

В. Фридлянд

МЕМОУАРЫ

СТАРИНА И МОЕ ДЕТСТВО

И -- Не мода писать свои воспоминания
меня искушает, не ей уступаю я, а тем, кто
этого желает и просит.

Вообще, писать свои воспоминания -- это
или очень легко, или очень трудно. Человеку
старому не легко быть верным оценщиком
того, что происходило в его детстве или в его
бесшабашной юности.

Разочарованный едва ли беспристрастно
отнесется к тому, что когда-то имело на него
чарующее влияние, а человек, переставший
верить, едва ли и поймет, что происходило в
душе его, когда он верил. Необходимо хоть
немножко прежнего ума, прежнего сердца,
прежней веры для того, чтобы в семьдесят
лет дать себе отчет о том, как думалось, как
чувствовалось и верилось в эти былые, наве-
гда утраченные годы.

Ничего нет легче, как сочинить свои вос-
поминания, особенно в такие годы, когда:

Иных уж нет, а те далече...

когда некому уже проверить автора -- насколько он врет и насколько справедливо относится к людям или событиям прошлого.

Таких воспоминаний не мало появилось в нашей текущей журналистике. Не верьте тем из них, где авторы выводят на сцену все более или менее известные, громкие имена, а сами постоянно прячутся за кулисами, -- ни где, ни одним словом не проговариваясь насчет старых грешков своих, точно пресерьезно внушают вам: вот вам факты и лица, судите их, и до меня лично вам никакого дела нет...

Или не верьте воспоминаниям, где авторы (а тем паче авторши) приводят длинные разговоры, которых будто бы они были свидетелями тому назад лет тридцать или сорок. Все эти разговоры не только сочиняются и освещаются так, как угодно их осветить, смотря по симпатии или антипатии к тем лицам или к тем знаменитостям, какие выводятся на сцену. Не верьте и мне, если я буду приводить вам из моего далекого прошлого целые

разговоры с кем бы то ни было, если они тотчас же не были кем-нибудь записаны; да если бы они и были записаны, в них не будет доставать главного -- тона.

Можете ли вы, не будучи сами артистом, передать тон, то есть всю красоту или весь смысл музыкальной пьесы, сочиненной гением? Вспомните Фрейшица, разыгранного перстами робких учениц или, добавлю, учениц, которые смело барабанят чужую пьесу в уверенности, что так и следует играть ее, а между тем сам автор в их игре не узнал бы своего произведения.

Таковы иногда и записанные разговоры, если только тот, кто их записывал, не стоит на одном умственном уровне с тем лицом, которое он выводит на сцену.

Вот, думает иной автор (или авторша), я беру вам личность такого-то. Вы находите его великим, умным, чуть не гениальным, а поглядите-ка, как я его раскусил (или раскусила), и какой он от этого стал маленький. Думал ли он, что я во всех отношениях его умнее и нравственнее? Он этого не думал, напротив -- он почему-то на меня не обращал

никакого внимания. Ну, так вот же ему! Читайте и удивляйтесь!

И действительно, иной простодушный читатель читает, верит, пожимает плечами и даже не подозревает, как легко писать такие воспоминания.

II

На этот раз я решаюсь описать только мое раннее детство, не окруженное никакими знаменитостями, и знаменательное только в одном отношении,— оно было окружено такой стариной или такими бытовыми картинками, о которых в наше время не многие старики помнят и не многие записывают. Знаменитый сатирик наш, Салтыков (Щедрин), был едва ли не из числа последних могокан, которые уходили в эту старину и рисовали нам нравы той крепостной эпохи, которая, так сказать, ушла навсегда из-под ног молодых поколений, ныне выступивших на поприще русской жизни. Но рассказы Щедрина — это уже художественные произведения в сатирическом тоне. Я не буду рассчитывать ни на художественность, ни на сатиру. Мало то-

го, я нахожу для себя невозможным то, что было невозможно для меня, как для ребенка, то есть понимание характеров или лиц, окружавших колыбель мою.

Ребенок любит или не любит, свыкается с чем-либо или дичится, страдает или радуется -- наблюдает по-своему; но едва ли дает себе отчет -- почему и за что именно он любит мать свою, или -- что за люди: его нянька, горничная, лакей, кучер и проч. и проч. И всё же первые чувства и впечатления незаметно влияют и на будущий склад его характера, и на всю последующую жизнь его. Так, я уверен, что если бы в ребячестве своем я кого-нибудь ненавидел, это бы отозвалось в душе моей и в юные годы, и в моей преклонной старости, и на всех моих произведениях.

Никто не может быть свидетелем нашего раннего детства, если под словом "детство" разуместь внутренний мир ребенка, или те силы, из которых слагается весь будущий нравственный строй, или склад его ума, или, короче сказать, черты его индивидуальности.

Кто может об этом говорить, как не тот, кто сам был этим самым ребенком и не ли-

шен способности мысленно пережить этот далекий возраст, от которого не осталось уже на земле ни одного свидетеля.

Эта способность легко утрачивается, и если я еще сохранил ее, то разве только потому, что мне в лучшие годы жизни случилось не раз оглядываться на мое счастливое детство и находить в нем тот материал, из которого лепил я такие фигуры, как Илюша в рассказе "Статуя Весны" или как маленький герой в рассказах "Груня", "Дом в деревне", "Признания Сергея Чалыгина" и др.

Большую часть этих детских и полудетских рассказов я писал поневоле, так как, прибывши в Петербург с Кавказа, в начале пятидесятых годов, без всяких средств к жизни, я попал в разгар таких цензурных тисков, что писать о взрослых людях было весьма затруднительно. Цензура была строга до абсурда, до полнейшего непонимания того значения, которое должна иметь литература, или до явного непризнания в ней какого бы то ни было значения.

В эти тяжелые годы я усиливался брать сюжеты самые невинные, но и это не помога-

ло!.. Поверит ли кто-нибудь в наше время, что даже такие рассказы, как "Статуя Весны" и "Груня", были запрещены тогдашней цензурой. Первый из предположения цензора, что ребенок, глядя на статуэтку, вероятно, имел дурные эротические помыслы, а второй -- из предположения, что я под словом школа разумел гимназию!..

Но, видно, нет худа без добра: все эти неудачные попытки литературным трудом заработать себе кусок насущного хлеба помогли мне развить такую память по отношению к моему детству, что, мне кажется, я помню его лучше, то есть яснее и отчетливее, чем то, что было со мной на прошлой неделе.

Я, конечно, не могу не сознаться, что память моя ограничена, что она часто никак не может отдать себе отчета, что было прежде, что после; года же, числа, имена как-то особенно не ладят с ней, и что, стало быть, мои воспоминания будут, во-первых, не чем иным, как проблеском того, что особенно на меня влияло, раздражало, радовало, пугало или смущало, и, во-вторых, они если и будут иметь какой-нибудь интерес, то прежде всего

интерес психологический и затем бытовой.

III

Я, конечно, не мог бы вам сказать, когда и где я родился, если б об этом не сказали мне другие и если бы на это событие не было указания в моем метрическом свидетельстве.

Я родился в Рязани, на Певческой улице, в доме какого-то соборного певчего Чернева (или Чернова?). Я едва помню, как нянька моя, раз гуляя со мной, указала мне на этот домик, обшитый тесом, в три или четыре окна на улицу, и сказала, что я тут родился. Что значит родиться -- я не знал, да, кажется, и знать не желал. Я только понял, что тут прежде жила мать моя, что мы теперь живем в другом доме, и, может быть, думал, что попробуй Матрена оставить меня одного -- я домой ни за что не найду дороги, не буду знать, куда идти, и что со мной тогда будет?

Тогда Рязань казалась мне большим, очень большим городом, таким, что заблудиться в нем ничего не стоит. Все тогда казалось мне большим: и наша маленькая зала, и наш двор, и сад, не говорю уже о том чувстве

необъятного простора, которым дышал я, когда меня водили за город.

Официально записан я родившимся 7 декабря 1819 года, но так как я родился ранее полуночи в вечер николина дня, то и решено было праздновать день моего рождения 6 декабря, а не 7-го, когда мне дали имя и впервые внесли его в приходскую книгу. Крестная мать моя и родная тетка по матери Вера Яковлевна Кафтырева не раз рассказывала, как она и ее сестры в николин день узнали на балу у генерал-губернатора Балашева о моем рождении, тотчас же покинули бал и в бальных платьях приехали ночью поздравить мать мою. Знаю и то, что родная бабушка моя, Александра Богдановна, прислала моей матери сундучок, обтянутый красным сафьяном и обитый железом (или жостью), с разными принадлежностями вроде свивальников, одеял, нагрудников и прочего. Все это было или вязано или стегано по атласу и обшито кружевами. Хорошо тому жить, кому бабушка ворожит, говорит русская пословица; но если я родился при бабушке, то, к сожалению, когда вырос, жил без всякой ворожбы каких бы то

ни было бабушек. Бабушкин сундучок с горбатой крышкой я живо помню, так как в детстве не раз на нем сиживал.

С чего начинается наше самосознание -- этого никто не помнит, и я не помню, полагаю только, что у всех оно начинается с того момента, когда мы перестаем путаться в красках и очертаниях и начинаем кое-что наблюдать и запоминать, иначе сказать, с того момента, когда наше "я" и "не я" положит начало двум отдельным мирам: внутреннему и внешнему, душевному и материальному. Посмотрите, как каждый полугодовалый ребенок любит все ощупывать. Этим путем он идет к сознанию, что все, что он видит, не он, что он вещь другая, не мать и не те люди, которые его окружают, а сам по себе, нечто особенное и всем владеющее, ибо и мать его, и стол, и стул, и кровать -- все это его, вместе с ним, и не может быть отнято.

Вот источник первых проявлений воли или каприза. Я не забыл, как я ревел и выходил из себя, увидавши, что нянька брата моего Мити дала ему в руки какое-то выдвигающее зеркальце, а мне ничего не дали. Матери не

было дома, а я так надсаживался, так надрылся, так был несчастлив, что и моя нянька, которая, вероятно, была сама еще девчонкой (хотя и казалась мне большой), вынуждена была побежать на базар и купить мне такое же точно грошовое зеркальце в бумажном красном футлярчике, с оттиснутым посередине цветком. Отчего вдруг вспомнил я это с такой ясностью, что, кажется, это было вчера?

Оглядываясь и все оглядывая, я стал помнить себя в квартире на Жандармской улице (или переулке), которая шла от Московской улицы близ заставы и упиралась в поле с проселком к кладбищенской церкви св. Лазаря. Дом, где мы жили, был едва ли не третий от загородной межи или канавки, заросшей бурьяном. Перед нашими окнами, выходящими на улицу, тянулись только конюшни с маленькими окошечками над стойлами. Одно окно из девичьей выходило на огород и на соседний флигелек, а окно из детской выходило на двор с собачьей конурой, где жил Орелка и лаял, когда мы летом проходили в калитку сада. В саду направо была куртинка, обставленная высокими липами, и баня, а налево были

гряды с бобами, горохом, капустой и иными овощами. Дорожка, которая шла от калитки, перекрещивала другую дорожку. Налево росли вишни, направо колючие кустики крыжовника и виден был покачнувшийся дощатый забор соседей.

Я помню баню, потому что там нас мыли девки в белых рубашках; мыло попадало нам в глаза, и мы орали и барахтались; а дорожку я помню потому, что я раз нашел там в кустах пустое гнездышко и каждое утро ходил навещать его в ожидании, что в нем появятся птички,-- да еще потому, что я там рыл какую-то ямку; зачем-то наливал в эту ямку воду из лейки и никак не мог понять, куда уходит вода -- льешь, льешь и никак не нальешь, не успеешь притащить новую лейку -- и что же: только одна грязь на дне, а воды ни капли. Разве можно забыть такие неудачи и неприятности!

В это мифическое время моего существования я помню еще, как раз, в отсутствие моих родителей, моя Матрена взяла меня на руки и побежала к заставе на Московскую улицу. Едва мы успели туда прибежать, как за-

стучали барабаны, толпа народа задвигалась и побежала с криками за какой-то коляской, за которой неслись еще какие-то экипажи и в пыли мелькали, должно быть, султаны на шляпах. Я хоть и таращил глаза, но не только не подозревал, что это был въезд императора Александра I в Рязань, не подозревал даже, что есть на свете императоры; знал только, что есть мама, Матрена, кучер Федор, лакей Трофим, горничная Улита, братнина няня Дуня -- и с меня этого было весьма достаточно.

В каком году Александр Павлович был проездом в Рязань, об этом всякий может справиться, если это в данном случае почему-либо нужно. Я же думаю, что такая справка вовсе не нужна для моих воспоминаний.

IV

Через пустой огород из окна нашей девичьей видно было квадратное окошечко соседнего флигеля. Там была какая-то лотерея... Быть может, дворовые что-нибудь разыгрывали между собою и по соседству -- к нашим засылали с грошовыми билетами. Что такое лотерея? -- я не имел не малейшего понятия. И

вот, когда настал вечер, я сел у окна в девичьей и смотрел с напряженным вниманием в окошко соседей. Теперь в этом окошке я бы ровно ничего не увидел, кроме света на занавеске, заслоняемого тенями людей, собравшихся в горнице, а тогда... тогда мне виделось, что там пересыпается золото и происходят какие-то таинства. Я был и трусом настолько же, насколько и фантазером, но фантазером я был поневоле: тогда, во дни моего раннего младенчества, стоило мне только в сумерки или при свече поглядеть в темный угол комнаты, как уже эта темнота тотчас же начинала шевелиться, свертываться в клубок под карнизом у самого потолка, а внизу у самого пола то раздвигаться, то суживаться. Стоило мне в постели закрыть ресницы или посмотреть на темный полог, как уже перед глазами моими плыли маленькие звездочки или тянулись узоры постоянно очень мелкие и симметрические (в виде "глазок и лапок" по выражению приятной дамы, выведенной в "Мертвых душах" Гоголя). Стоило уткнуть нос в подушку, чтоб видеть огненные пятна в виде каких-то неопределенных расплывающихся-

ся фигур; иногда эти пятна сверкали точно фейерверк, и я не только сам ими любовался - я уверил моих братьев, когда они подросли, что стоит забраться в темную комнату, чтоб увидеть, как там плавают светящиеся духи,-- и случилось, по моей милости просыпались они рано утром, пока еще не отворяли ставней, и вместе со мной забирались в темную гостиную на диван.

В этом, конечно, нет ничего особенного -- каждый взрослый может увидеть то же самое, если в темноте, закрыв глаза, сосредоточить на них все свое внимание, иначе сказать, мысленно будет смотреть в собственные глаза свои, и ему может показаться, что световые пятна (фосфены) проходят в темноте, беспрестанно видоизменяя свои неопределенно-мутные очертания, особенно, если он потерет глаза рукой или слегка подавит их. Мне даже теперь, в моей старости, случалось наблюдать, и я заметил, что когда у меня свежа голова, пятна эти проплывают справа налево и слева направо; когда болит голова -- они поднимаются вверх одни за другими; при сильной усталости или в лихорадочном со-

стоянии -- дробятся, форма их теряет мягкость очертаний и неуловима, не поддается никакому наблюдению. Если не ошибаюсь, эти светящиеся пятна не что иное, как движение крови в сомкнутых веках или какой-нибудь влаги в самом глазе; движение это возбуждает теплоту и, может быть, вызывает в мозгу световое ощущение.

Зачем же я припоминаю то, что несколько не относится к детству? Но если, будучи ребенком, я в этом видел какую-то игру или занимательное для себя зрелище, то ясно, что я смотрел на это, как ребенок, и при этом несомненно фантазировал. К тому же и то сказать -- детские глаза, еще не притуплённые чтением или внимательностью к труду, гораздо восприимчивее и, вероятно, этого рода феномены происходят в них гораздо резче, ярче или рельефнее, чем в ином позднем возрасте.

Помню -- меня еще брали на руки (стало быть, лет мне было немного), когда однажды вечером, только что сонного уложили меня в кроватку, покрытую узорным ситцевым пологом, как я раскрыл глаза и увидел у ног моих нечто ужасное, что-то вроде косматой, мерт-

вой головы... Я закричал страшным криком. В тихой детской еще горела свеча, и мать моя еще не ушла в свою спальню. Она тотчас бросилась ко мне, распахнула полог и взяла меня на руки. Я кричал: мертвая голова! мертвая голова! Насилу меня успокоили, подняли при мне одеяло, подушки, показали мне, что ничего нет, что мне это померещилось. Помню, как долго я не решался вернуться в свою постель и как нянька моя шепнула моей матери: "Сглазили". Затем она пошла, принесла деревянную чашку с водой и с плавающими по ней угольками. Меня "умыли с уголька". "Умыть с уголька" -- это техническое выражение всех нянек, которые верят, что ребенка можно сглазить.

Было ли это наяву (в галлюцинации) или во сне -- конечно, я этого не знаю; но в эти мифические годы моего существования в моей детской, облепленной лубочными картинками, весьма возможно, что я сны мои нередко принимал за действительность.

Раз, когда я уже подросток, при мне кто-то заговорил о луне, и я вдруг вспомнил, что на старой квартире (в Жандармском переулке),

вечером, когда уже смеркалось и когда матери моей не было дома, Матрена и Трофим притащили из сеней в залу лестницу, затем в потолке подняли доску и полезли на чердак луну смотреть, луну, которая будто бы раздвоилась или... уж я не знаю, что такое с ней сделалось; но сделалось что-то такое, что надо было на нее смотреть не иначе, как с чердака. Припомнивши это, я пресерьезно стал допрашивать мою няньку, что это было такое? Что было с луной и зачем она из залы лазила на чердак? Конечно, нянька моя стала уверять меня, что этого никогда не было, да и быть не могло. "Ну, вот,--думал я,-- не шутя, сам своими собственными глазами видел, и вдруг говорят мне, что этого никогда не было!"

Иногда же сны заставляли меня горько и неутешно плакать.

Так, однажды я видел во сне, будто к нам на квартиру зашла Смерть в виде старушки. Я тотчас же понял, что она пришла с тем, чтобы убить мать мою, а милая маменька, чтобы не пугать меня, притворяется спокойной и всячески старается как-нибудь, куда-нибудь удалить меня. И вот страшная, хотя на вид и доб-

родушная, старушка затворилась с моей матерью в ее спальне, а меня няня взяла за руку, насильно вывела на двор, дала в руки узелок, посадила рядом с кучером на высокие козлы какой-то кареты, а сама, с моими меньшими братьями и с няней Дуняшей, села в карету, и все мы куда-то поехали, кажется к бабушке, у которой была уже эта самая старушка и уже отрубила ей голову. Во сне я плакал, сидя на козлах, плакал, когда проснулся, и плакал, когда рассказывал сон мой моей матери.

Если ребяческие сны мои были так ярки, что до сих пор не изгладились из моей памяти, то что же мудреного, что некоторые из них казались мне, ребенку, чем-то происшедшим наяву, чем-то таким, чему я был свидетелем.

Полагаю, что родился я сильно золотушным и болезненным. Сказывали мне, что вся голова моя была покрыта струпьями и очистилась только после прорезывания зубов. Влияло ли это обстоятельство на мою раннюю впечатлительность и пугливо настроенное воображение -- не знаю.

Не помню, с какого именно года моего

младенчества,— кажется незадолго до того, как я стал учиться грамоте,— иногда в полусне я ощущал нечто такое, чего уже никогда потом в жизни моей не повторялось. Ощущение это невыразимо — это был страх и в то же время высочайшее наслаждение. Мне казалось, что какая-то сила связывает меня в какой-то студенистый узел и начинает меня вытягивать; тянет и тянет,— я становлюсь все тоньше и тоньше, боюсь, что вот-вот еще немного, и я оборвусь. Но при этом страхе и замирании сердца я тотчас же просыпался, покрытый потом, и не понимал, что такое со мной происходило. Было ли это болезненным или нормальным ощущением? Оно было не часто, но постоянно одно и то же,— и, если не ошибаюсь, позднее семи лет я не ощущал ничего подобного. Конечно, интересно знать, было ли с другими в детстве нечто похожее на то, что я сейчас рассказал, и рассказал впервые, ибо в то время я, ребенок, никому не мог передать того, чего я сам понять не мог.

V

Однажды мать моя очень была удивлена,

когда я сказал ей, что помню белую карету, в которой возили меня к бабушке. Теперь я совершенно забыл о ней, но не забыл другой кареты -- зеленой, четырехместной или скорее шестиместной -- так она была объемиста. Запрягали ее цугом в четыре лошади, с фореитором, лазали в нее по трем откинутым, складным ступенькам; ступеньки эти, звякая, опускал и поднимал лакей в потертой ливрее и в большой треугольной шляпе,--лакей, который соскакивал с высоких запяток для того, чтобы отворить или захлопнуть каретную дверцу. Внутри карета была обита желтым сатфьяном, кисти были шелковые, серые. Каждое воскресенье и каждый праздник карета эта появлялась у нас на дворе, около десяти часов утра и ожидала нас. Если была зима -- меня закутывали, натягивали на ноги белые, лохматые, вязанные из пуху и шерсти, сапоги до колен, и вместе с другими возили меня к бабушке, у которой был собственный дом на углу Дворянской улицы. Когда я не хотел так тепло одеваться, мне говорили, что мои ножные пальцы были уже отморожены. Я этого не помню, помню только, что они иногда

очень пухли, очень зудели и что их мазали каким-то жиром.

VI

Бабушка моя была урожденная Умская, одна из побочных дочерей графа Разумовского (какого, не знаю). Звали ее Александрой Богдановной (это не значит, что отец ее был Богдан). Одиннадцати или двенадцати лет вышла она замуж за Якова Осиповича Кафтырева, родного племянника генерал-аншефа Петра Олица, лифляндского помещика и рыцаря, в юности участвовавшего в чесменском бою и силача необыкновенного. О его силе рассказывали мне вещи невероятные: рассказывали, будто бы этот Олиц мало того, что мог через кровлю сарая перебрасывать двухпудовые гири, мог, втыкая свои пальцы в дула солдатских ружей и вытянув руки, поднимать их и на отвесе горизонтально держать и даже качать их. Рассказывали, что никогда он не бывал болен и умер только потому, что, упавши с лошади, о камень разбил свою грудь. Деда своего я уже в живых не застал, но видел портрет его, в мундире с красными от-

воротами и с напудренной косой, с черным, должно быть, тафтяным, подвязанным под нее мешочком. Слышал я, что в молодости он был у дяди своего адъютантом и играл на флейте (складную флейту его я видел в старой кладовой). Умер же он в чине действительно статского советника, состоя на службе советником или председателем какой-то рязанской палаты.

Дед мой и жена его были очень богаты, но разорил их процесс с племянником Федором Михайловичем Тургеневым, по поводу села Хамбушева, принадлежавшего брату моей бабушки. Братец этот занял у сестры 100000 с тем, чтобы завещать ей все свое состояние. Состояние это оттягал Тургенев, подсунувши Умскому другое, им самим составленное завещание, предварительно напоив его и подкупив его любовницу. Процесс этот длился около двадцати лет и кончился тем, что на сенатском докладе этого дела Александр I сделал надпись: "Кафтырев прав по совести, а Тургенев -- по закону". Закон перетянул, и благосостояние Кафтыревых было значительно поколеблено. Род же Кафтыревых

происходит от татарского мирзы, когда-то владетельного хана Кафы,-- теперешней Феодосии. Вероятно, хан этот взят был в плен еще при царе Борисе, обжился в Москве, принял православие и записан в разрядной дворянской книге под фамилией Кафтырева.

У бабушки моей было восемнадцать человек детей, но большая часть из них умерла от оспы; не без следов на лице ускользнули от оспы и остались в живых: сыновья -- Димитрий и Александр Яковлевичи и пять дочерей: Вера, Анна, Наталья, Евлампия и Ольга. Из них две первых не были замужем -- Наталья была замужем за отцом моим, Петром Григорьевичем Полонским, Евлампия -- за Т. П. Плюсковым, Ольга за Панкратьевым. У Натальи Яковлевны Полонской я был старшим сыном; через год родился брат мой Дмитрий, через два года брат Григорий, через три года Александр. Затем был еще Николай (умерший в младенчестве), затем Петр, Павел и дочь Александра. Кажется, довольно и этого, чтоб в кратких словах очертить мое происхождение и упомянуть о моих братьях, которые позднее будут играть не малую роль в мо-

VII

Когда всех нас привозили в дом бабушки, я шел с ней здороваться в ее спальную, которой она уже не покидала ни днем ни ночью. Широкая двухспальная кровать старухи стояла в нише и была занавешена белыми занавесками, обшитыми бахромой,— и когда она не спала, обе занавески были откинуты, образуя над головой ее род палатки. Весь день, перед столиком, сидела она на кровати, опустив ноги на скамеечку. На ее столике помню я то старый часослов, то хлопущку от мух, то несколько блюдечек с мелкими камешками, по большей части находимыми в утином желудке. Все эти камешки бабушка моя любила сортировать по их величине и цвету, и каждый сорт всыпала в особенный, ею надписываемый, мешочек. Для чего она это делала? Мечтала ли она, что из этих камешков можно будет сделать мозаику или облепить стенки небольшого баульчика? Не знаю. Иногда для меня, ее любимого внука, на этом столике появлялась китайская штучка, которую я назы-

вал "чашечка в чашечку",-- и действительно, вся штука состояла в том, что в одну чашку вкладывалась другая, в другую третья и так далее. Это была неподдельная и очень старинная китайская вещица. Таких китайских вещей у бабушки были целые сундуки. Они достались ей тоже от какого-то брата, состоявшего при посольстве в Китае. (Вообще при Екатерине II все Умские были в большом почете, все были богаты и на виду.) Иногда же совершенно другой сюрприз готовила нам эта бабушка: она нанизывала на нитки в разные цвета крашеный горох и эти длинные бусы дарила нам.

Однажды, получив такой подарок, я ушел в залу и стал кружиться; нитка с горохом вертелась кругом меня колесом, а я был точно ось пущенной в ход вертушки. Мне очень понравилось такое быстрое на одном месте кружение; меня стали останавливать -- я не слушался; но бабушка меня не останавливала, она сказала только, что от такого кружения у меня мозги вытекут. Я испугался за свои мозги и присмирел, даже руками не раз щупал голову -- нет ли трещины и целы ли мозги!

Целый день меня тревожили слова бабушки: я им верил; ибо в те счастливые годы я всему верил, что бы ни сказали мне.

Деревянный дом моей бабушки (до ее кончины) в наше время показался бы чем-то вроде антика или чем-то вроде любопытной редкости (если бы такие дома можно было хранить за стеклом в музеях со всеми их обывателями или хоть с чучелами из этих обывателей). Не успела умереть бабушка, как уже все в этом доме изменилось, и дом потерял уже первобытный характер свой; и теперь (я видел его в 1881 году, в мой приезд в Рязань) он был снаружи почти такой же, но уже с пристройкой сеней, выходящих на улицу. Сада же, который увидал я с бывшего моста (теперь насыпанного вала, близ гимназии, по Воскресенской улице), я совсем не узнал, в таком он запущении. Там, где были высокие старые липы и куртины с яблонями, грушами и вишневыми деревьями, стояла какая-то изба посреди гряд с капустой; где были цветники и непролазные кусты малины -- там на веревках было белье развешано. Так все меняется, и, к сожалению, не всегда к лучшему.

Постараюсь пером моим заменить музей и показать вам дом моей бабушки со всеми его жильцами и деталями.

Через деревянное крыльцо и небольшие, зимой холодные, а летом пыльные сени направо была дверь в переднюю. Эта передняя была полна лакеями. Тут был и Логин, с сергою в ухе, бывший парикмахер, когда-то выучивший меня плести ягдташи, и Федька-сапожник, и высокий рябой Матвей, и камердинер дяди моего, Павел. И эта передняя была отчасти их спальней, отчасти мастерской, так как все они более или менее были башмачники и сапожники. Тут вечно пахло сапожным варом, клоповником, ваксой, салом... Ко всему этому все принюхались, никто не находил это странным, тем более, что такие же точно передние были во многих барских домах, в особенности в деревенских усадьбах у старосветских помещиков. Из передней шла дверь в небольшую залу. В этой зале вся семья и мы по праздникам обедали и ужинали. Обедали в час пополудни, ужинали в девять часов вечера. Пол в этой зале был некрашенный; потолок обит холстом, выкрашенным в белую краску;

посредине висела люстра из хрусталиков, а пыльная холстина местами отставала от потолка и казалась неплотно прибитым и выпятившимся книзу парусом.

Стены были оклеены обоями, из-под которых, по местам, живописно выглядывали узоры старых обоев (что мне особенно нравилось).

Во время обеда и ужина за моим дядей и за каждой из моих теток стояло навытяжку по лакею с тарелкой, а вдоль стены с окном на двор от самого угла стояли кадки с целой рощей померанцев, лимонов и лавров. В особенности памятно мне круглое лавровое деревцо, которое было на аршин выше моей головы. Эти деревья, перенесенные когда-то из старой, развалившейся оранжереи, мне потому памятны, что зимой по вечерам я за ними прятался, так что в зале, освещенной только одною масляною стенною лампой, меня не было видно.

В гостиной на полу лежал тканый ковер с широкой каймой, на которой узор изображал каких-то белых гусей с приподнятыми крыльями, вперемежку с желтыми лирами. Зер-

кальная рама в простенках между окошек, кресла, овальный стол перед диваном и самый диван -- все было довольно массивно и из цельного красного дерева, одни только клавикорды не казались массивными. В одном углу стояли английские столовые часы с курантами или молоточками, которые каждый час перед боем ударяли в металлические чаши разной величины и звонко играли старинные менуэты; в другом углу была изразцовая печь с карнизом, на котором стояло два китайских, из белого фарфора, болванчика; под этими болванчиками ставили иногда курительные свечи (монашенки), и тогда от них очень хорошо пахло.

За гостиной шли двери с маленькою прорезной дырочкой, в которую из спальни можно было подглядывать, кто приехал и кто вошел в гостиную.

Спальня бабушки была постоянно сумрачна, так как два низких окна, выходящие на улицу, вечно были завешены спущенными гардинами, зато мягко было ступать, пол был обит войлоком и грубым зеленым сукном. Прямо против двери висели портре-

ты моего деда и моей бабушки, еще далеко не такой старой, в тюлевом чепце, завязанном у подбородка лиловыми лентами, в турецкой шали, и, если не ошибаюсь, с ридикюлем в руке. Тут было немало комодов и сундуков, прикрытых коврами; налево была кровать, помещавшаяся в нише с задней дверкою; с одной стороны этой ниши шел проход в девичью и темное пространство по другую сторону ниши, до самого потолка заваленное сундуками, сундучками, коробками, мешками и, если не ошибаюсь, запасными перинами. Тут же за дверкой прямо с постели можно было спускаться на пол. У прохода в девичью постоянно на полу или на низенькой скамеечке, с чулком в руке, сидела босая девчонка. В те времена такие девчонки у барынь играли роль электрического звонка, проведенного в кухню или людскую, их посылали звать кого нужно. Помню, незадолго до смерти бабушки, в этом проходе появилась новая, привезенная из деревни девочка, Вера, красивая голубоглазая блондинка, и с таким благородным, задумчивым личиком, что я, шести лет, уже был не совсем равнодушен к ней. (Она жила

не долго и умерла в заутреню в первый день пасхи.)

Из девичьей шла дверь в небольшие сени с лестницей на чердак, на заднее крыльцо, и холодное зимой, насквозь промороженное господское отделение. В тех же сенях была постоянно запертая дверь в пристройку, где была кладовая.

Девичья была что-то невероятное для нашего времени. Вся она была разделена на углы; почти что в каждом угле были образа и лампадки, сундуки, складные войлоки и подушки. Тут жила и Лизавета, впоследствии любовница моего дяди, и горничная тетки Веры Яковлевны -- Мавра, и горничная тетки Анны Яковлевны -- Прасковья, и та, которая постоянно на заднем крыльце ставила самовар и чадила -- Афимья, и еще какое-то странное существо, нечто вроде Квазимодо в юбке, эта в доме не имела никакого дела, ее никто не звал, никто не заставлял работать, это был урод,-- какой-то обрубок с большой головой, с глазами навывкате, с толстыми губами, с опухлыми и как бы отеками пальцами. Она никогда почти ни с кем не говорила, никогда не

смеялась и не плакала, только тяжело дышала, ворочалась и копалась в голове своей; как ее звали -- ке помню. Ночью, проходя по этой девичьей, легко было наступить на кого-нибудь. Все спали на полу, на постланных войлоках. Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна -- высокая, строгая и богомольная, нянька моей матери, и наши няньки и лакеи -- все спали на войлоках, разостланных если не на полу, то на ларе или на сундуке.

Из девичьей налево шел коридор, из которого шли три двери: в комнату, к моим теткам, в кабинет, к моему дяде, и в залу, не считая двери в небольшой чуланчик, куда Константиновна ставила горшки свои и где лежали поломанные вещи очень старого происхождения. Тетки спали в кроватях под белыми занавесками, Константиновна на полу; со стен глядели портреты моего прадеда, моей прабабки и родного дяди моего, дяди Петра Олица. Кроме этого последнего портрета, писанного в 1772 году, который до сих пор в синей ленте, с тростью в руке, глядит на меня,

и, как кажется, глядит довольно доброжелательно, все остальные портреты сгорели в Рязани, в конце 70-х годов, в квартире двоюродных сестер моих Плюсковых. Так никогда уже больше не увижу я моих предков, которых глаза были так живо написаны, что в детстве они смущали меня, ибо следили за мной, куда бы я ни шел в их присутствии.

Но кабинет дяди Александра Яковлевича, часто по целым месяцам запертый в его отсутствие, был для меня самая знаменитейшая, самая поучительная комната. Когда я подрос и уже умел читать, я часто выпрашивал ключик от дверей этого кабинета, там выбирал себе любую книгу и читал, забравшись с ногами на диван. Весь этот кабинет был и музей и библиотека. Слева от входа во всю стену стоял шкаф в два этажа с откидной доской посередине. За стеклами было множество книг, а на нижней полке, на горке, лежали медали, древние монеты, минералы, раковины, печати, куски кораллов и проч. и проч.

По обеим сторонам этого шкапа с передвижными со стеклами дверками висели шведские ружья, персидский в зеленых нож-

нах кинжал, китайские ножи, старинные пистолеты, шпаги, чубуки, ягдташи и патронташи. Горка между двух окон, выходящих на двор, тоже была уставлена китайскими вещами и редкостями, а на комодѣ была целая гора переводных романов Ратклиф, Дюкредюминеля, Лафонтена, Мадам Жанлис, Вальтер Скотта и других. На перегородке, за которой спал мой дядя, висели планы столичных городов, рисунок первого появившегося на свете парохода и копии с разных старинных картин (небольшого размера) голландской школы, переведенные на стекло и сзади раскрашенные. Картина масляными красками была только одна над входной дверью, изображала она лисицу, которая тащит петуха; был ли это оригинал или искусная копия -- не знаю.

В этом же кабинете помню я воздушное огниво и огниво в виде пистолета на ножках. Дядя мой постоянно курил трубку, носил при себе трут и кремь. Запах трута особенно мне памятен; теперешние спички пахнут фосфором и постоянно напоминают мне, что время огнива и трута также кануло в вечность, как и мое младенчество.

По ту сторону ворот тянулась изба с двумя крыльцами -- там была кухня. Кушанья к столу носили через двор. Там жили дворецкий с женой, жена Логина с дочерьми, жена Павла с дочерьми, повар, кучер, фореитор, садовник, птичница и другие. Редко бывал я в этой избе; но все же бывал, и помню, как я пробирался там мимо перегородок и цветных занавесок. Сколько было всех дворовых у моей бабушки -- не помню, но полагаю, что вместе с девчонками, пастухом и косцами, которые приходили из деревень, не менее шестидесяти человек. И все это надо было кормить и одевать... что все было... жалованья не получал никто, даже никто и не воображал себе, что можно получать какое-то жалованье!

Вот тот дом, где я в детстве проводил каждое воскресенье. Мама моя была очень любима своими сестрами и охотно посещала их и старуху мать не только по воскресеньям, но иногда и в будни.

В этот же день возили меня слушать все-нощную, молебны, а когда я подрос и стал го-веть, часы и вечерню, так как бабушка моя уже в церковь не выезжала, а призывала при-

ходских священников. Накануне больших праздников весь дом с вечера наполнялся запахом ладана, везде у образов горели свечи и лампадки, а образов было так много, что на страстной неделе в комнату теток вносили длинный стол, на котором и они сами, и их горничные снимали с образов серебряные ризы, мыли их и с помощью щеточек чистили их толченым мелом. Помню, какое это было продолжительное, хлопотливое и лично для меня приятное занятие.

Кроме дворовых бывали в доме и приживалки. Помню одну старуху, которая помещалась как бы на полатях, в каком-то отверстии над дверью комнаты моих теток. Не было ли это помещение, на которое лазили из коридора и которое было открыто и видно из комнаты? Смутно я помню эту старуху, сидящую наверху и расчесывающую свои волосы большим деревянным гребнем, каким лен расчесывают перед тем, как начинают прядь нитки. Помню, что она заваривала чай у себя в горшочке и пила его с медом. Но другая старуха, у которой была своя, покривившаяся, с дырявой крышей, хатка посреди города на углу

Воскресенской и Введенской улиц, старуха, которая приходила только гостить на два, на три дня,— не раз занимала мое ребяческое воображение тем, что рассказывала мне, как она умирала, три дня была в царствии небесном, видела бесов, рай, престолы, богородицу, ангелов и как ей было сказано три слова с тем, чтобы она никому в жизни не поверила их, никому не поведала, и как она через три дня воскресла. Кто-то мне говорил, что старуха эта действительно обмирала, то есть около трех суток лежала в обмороке.

Если вы спросите меня, как я относился к такого рода рассказам,— вместо ответа на этот вопрос я вам только скажу одно, что когда была гроза и я в окно ночью смотрел на молнию, я воображал, что это трескается свод неба и что сквозь эту трещинку на одно мгновение просвечивает царствие божие,— и было очень мне досадно, что в эту мгновенно появляющуюся и закрывающуюся трещинку я никак, никак не мог разглядеть ни рая, ни ангелов. А чтоб пояснить вам, почему мне тогда приходили в голову такие фантазии, скажу вам, что в нашем доме о законах природы ни-

кто ни разу мне не говорил. Бабушка, тетки, а может быть, и мать моя о физике не имели никакого понятия. Отец мой был тоже человек малообразованный. Дядя, конечно, был просвещеннее всех, но, вернувшись из Петербурга, он учил меня ползать, сам ползал со мной по ковру, хохотал, сочинял мне песни на языке, им самим выдуманном и нигде не существующем, иногда потчевал меня конфетой или пряником и никогда ни о чем не рассуждал. Старший брат его, Дмитрий Кафтырев, был еще просвещеннее; к сожалению, он в Рязань никогда не заглядывал, постоянно жил в Петербурге. Как жил -- не знаю; знаю только, что издал две брошюры: одну о Сибири, другую о водяных путях сообщения в России, и один перевод из Вальтер Скотта, перевод прозаической поэмы: "Дева Локкатринского озера".

Бабушка моя получила свое воспитание, надо полагать, в конце царствования Елизаветы, то есть выучилась только читать и писать; у нее были целые тетради записанных ее рукою народных загадок. Почерк был старинный, крупный и наполовину славянски-

ми буквами -- так помню, буква "я" писалась так, как она печатается в Библии, на церковно-славянском языке.

Барыня она была характерная и своеобразная,-- старая барыня старого века. То беседовала она с нищими, которые в лохмотьях и босиком приходили к ней в спальную; она помогала им, иногда лечила их. Припоминаю, как лечила она одну слепую старуху; дала ей кусок сахару и оловянную тарелку (?) и велела ей тереть эту тарелку куском сахара, и когда на тарелке покажется порошок, смочить его водой и прикладывать к больным глазам. От простуды и от ушибов давала какую-то жевневскую мазь домашнего приготовления. Но это благодушие вовсе не мешало ей ворчать и ругательски ругать свою посыльную девчонку, если она уйдет не вовремя, или спутает нитки, или спустит спицу и не довяжет чулка. Кажется, она и на колени ее ставила... а впрочем, все это было так давно, что многого я не помню.

Из деревни Смолеевки (Рязанской губернии, Рижского уезда), куда ездил хозяйничать дядя мой Александр Яковлевич, каждое лето

пригоняли к бабушке на двор целое стадо баранов; из более отдаленных деревень -- Лозынино, Костолыгино, Артемьево (Калязинского уезда, Тверской губернии), да еще из какой-то симбирской деревни не раз приезжали почтенные, лысые, бородатые старосты, привозили целые мешки пряников, пух, сушеные грибы, каленые орехи и холсты.

Иногда в пасмурной спальне моей бабушки заставал я такую сцену: на суконном полу лежали кучами свертки холста, между ними, поджавши ноги, с железным аршином сидела Афимья и мерила каждый сверток, произнося вслух: один аршин, два аршина; помню, когда доходила она до тридцати, то говорила: двадцать десять, затем тридцать десять, сорок десять. Кто записывал счет, сама ли бабушка или одна из двух дочерей ее -- не помню. Продавать холст или что бы то ни было из барского дома в то время сочли бы за великий срам, это бы означало крайнюю степень нужды или обнищанья. Ясно, что все, получаемое из деревень, а в том числе и холсты, большею частью раздавалось дворовым, ибо нужно же было чем-нибудь кормить и

одевать такую ораву.

Вечерний чай пили мы после вечерен в пять часов пополудни (раньше, чем теперь мы садимся за обед). Когда, бывало, в гостиной, прозвонив менуэт свой, часы били десять, все говорили: "Ах, как поздно! Пора спать!" Едва ли даже и гости засиживались позднее десяти часов, так как оставаться ужинать в чужом доме не было в обыкновении. Только приживалки, заезжие родственники да холостяки бесприютные, сумевшие в доме стать на короткую ногу с хозяином, могли садиться за ужин.

Чай разливала Дарья, жена толстого и желтолицеого дворецкого (самовар ставили на лежанку в комнате моих теток). Дарья же разливала и послеобеденный кофе. Она же была и кума моя (так как я еще в ребячестве крестил дочь ее). В качестве кумы, на масленице в прощенный день, она приносила мне фунт изюму или фунт фиников. Она же иногда в зимние вечера рассказывала мне такие сказки, что я помирал со смеху, и, наконец, она же, когда я был уже гимназистом, зазывала меня в свой чулан и там поила меня кофеом,

моим любимым в то время напитком.

Нечего говорить, что как в доме бабушки, так и у нас соблюдались все посты и что в великий пост и на страстной неделе мы не видали ничего скоромного. "Какое обширное поле горшков!" -- воскликнул однажды какой-то тогдашний остряк, увидавши обеденный стол, заставленный постным кушаньем. Горшков у нас было немного, но все же то были горшки, а не суповая чаша, сковороды, а не блюда. Мы не замечали в то время, чтоб от постной пищи подводило у нас животы или портились желудки, как это часто замечают теперешние постники... Но -- что же мудреного! Во дни моего детства о подделках пищи никто не имел ни малейшего понятия. Химия еще не процветала, и у нас продавалось настоящее ореховое масло, настоящий мед, ничем не подмешанный, и квас был домашний, и колодезная вода была чиста, как кристалл. Святая неделя в доме бабушки проходила без всяких особенностей, только мы ездили к Кафтыревым чуть ли не ежедневно и вместе с детьми дворовых, в зале на разостланном ковре с лубка, согнутого в виде желоба, ката-

ли яйца; но святки сильно пахли стариной. Тогда в этой же самой зале, по вечерам, при свете двух сальных свечей и одной масляной стенной лампы, собиралась вся женская прислуга (кроме старух) и хором голосила подблюдные песни. Бабушка, сидя на своей постели, надушив одеколоном руки, раскладывала пасьянс. Моя мать, ее сестры и кто-нибудь из гостей играли в бостон в гостиной, где на овальном столе стояло варенье, пастила, моченые яблоки, брусника и всякого рода сласти. Из залы я перебегал в гостиную, из гостиной в залу. От варенья -- к святочным песням; каждая песня заканчивалась припевом:

Кому вынется, тому сбудется.

Сла-а-а-а-ва!!

При этом, соблюдая очередь, подносили и мне тарелку, завязанную салфеткой и звякающую от встряхиванья; я протягивал руку и вынимал из-под салфетки чье-нибудь кольцо или ключик, чья была вещь, тому было и пророчество. И я нес эту вещь в гостиную или в спальную к бабушке и объявлял: вам вышло:

"Уж как звал кот кошурку в печурку спать", или -- вам вышло: "Уж как шел кузнец из кузницы". Иногда выходило, что моя восьмидесятилетняя бабушка непременно должна будет выйти замуж, и это нисколько не казалось мне смешным или диким! О том, когда можно или не можно жениться или выходить замуж, я не имел никакого понятия, думал иногда, что и меня, мальчугана, могут женить -- чего доброго!

Когда проходили святки и зимние вечера начинались все еще с трех-четырех часов пополудни, не раз мне случалось в той же бабушкиной зале участвовать в хороводах, которые водили все собравшиеся туда дворовые. Иногда затевались воистину деревенские игры. Сколько раз, бывало, сидел я на полу вместе с Катьками, Машками и Николашками и вместе с ними тянул: "А мы просо сеяли, сеяли!", а другой ряд сидящих перебивал нас: "А мы просо вытопчем, вытопчем!"

Все это я очень любил и едва ли не все эти народные песни знал наизусть; но не странно ли: когда в доме бабушки случались свадьбы и в ушах моих раздавалось: "Вино-

град в саду растет" или иные песни, в которые, по обычаю, вплетали имена холостых людей или девиц -- я затыкал уши, убегал и прятался. До того мне делалось противно и гадко, что не знал, куда деваться!.. Чем это объяснить? Вдумываясь в такую странность, можно подыскать только одно объяснение: вероятно, я верил, что если эти и свои и чужие девки, назло мне, упоминают в своих песнях мое имя, то этим явно изобличают свое намерение женить меня (!!!). А я мечтал уже о пустынножительстве, мечтал добиться святости и, быть может, в глубине души своей носил уже смутный облик того ангела, которому поверял я

И мысли, детскому доступные уму,
И сердцу детскому доступные желанья!

VIII

Вот каков тому шестьдесят лет был дом моей бабушки. От него веяло далекой стариной даже в то время. Каким бы антиком показался он в восьмидесятых годах нашего столетия, если бы каким-либо чудом можно было

воссоздать его. Кто удостоил или удостоит прочтением первый том моего романа "Записки Сергея Чалыгина", тот заметит, как я много был обязан дому моей бабушки. Не ее ли дворовых, не исключая Логина с дочерьми и старухи Константиновны, целиком перенес я в иные условия -- в другую, петербургскую обстановку.

Множество дворовых, когда-то окружавших наше детство, давало больше пищи для наблюдательности, больше времени на то, чтобы вглядываться или изучать их характеры, они не мелькали, как теперешняя прислуга с неизвестным прошлым и с нашим равнодушием к их будущей участи. Не с изучения ли крепостных дворовых началась натуральная школа нашей литературы... Ведь то, что иногда скрывалось от старших, не скрывалось от глаз и ушей ребенка... Это или развращало и притупляло, или, напротив... учило создавать типы -- вроде гоголевского Селифана, Осипа, Петрушки -- или развивало, уча любить, страдать и ненавидеть.

Если мрачные стороны крепостничества не возмущали моего детства, то не потому ли,

что дом моей бабушки и моя мать были как бы исключением -- я же описываю такое раннее детство, когда не только мысль о рабстве, самое слово это не приходило мне в голову. Юность познакомила меня с нуждой и с тогдашними крепостными порядками и с вопиющими злоупотреблениями этих маленьких царьков, которые владели душами. Но я еще и не касаюсь моей юности -- это совсем, совсем иная история! Не одна моя жизнь шла скачками; но не будь этих скачков, мы и не ушли бы от прошлого на такое расстояние, что если бы наши дети и отцы ожили -- они не поняли бы нас... и, быть может, сами пожелали бы опять умереть, чтобы не слушать нас. Смеею думать, что и для будущих поколений наша жизнь покажется непонятной и даже дикою... Таков прогресс... Если вырастет зло, то и добро настолько же вырастет, чтоб бороться с ним,-- и арена для такой борьбы будет все шире и шире. Идеи так же цветут и дают плоды и семена, как и всякое растение. Но каков бы ни был плод, между ним и корнями, скрытыми под землей, даже сучьями и ветвями, будет великая разница. Такой про-

гресс неизбежен, хотя бы гениальный граф Л. Н. Толстой и отрицал его.

Но -- вернусь к моим рязанским воспоминаниям.

Сколько раз мы ни нанимали в Рязани квартиры, мы за целый отдельный дом с садом платили в год не более ста рублей ассигнациями, то есть не более двадцати пяти рублей серебром. Вероятно, та же дешевизна позволяла нам иметь свои сани и дрожки, своих лошадей и содержать около шести человек прислуги.

Шизнь наша была тихая и смирная. Мать моя была олицетворенная любовь и кротость. Я ни разу не слышал от нее ни одного бранного слова. Прислуга ее не боялась. Только отец мой, Петр Григорьевич, высокий худощавый брюнет, был несколько сух сердцем и вспыльчив. Однажды при мне в девичью пришла Анна, жена кучера, и о чем-то стала назойливо спорить с моей матерью. Вдруг из спальни как вихрь вылетел мой отец в халате нараспашку и дал со всего маху такую пощечину Анне, что та вылетела за дверь в сени и тотчас как бы стушеввалась. Мать моя побледне-

ла. Отец стал оправдываться. Это были едва ли не единственные побои, какие я видел в детстве.

Живо помню, как я, походивши по комнатам, отправился к себе в детскую и стал расспрашивать свою Матрену, что такое было и за что мой папенька прибил Анну? Но Матрена вместо ответа боязно указала мне на мою кроватку, завешенную пологом. Там, согнувшись в три погибели, спал или притворился спящим мой отец. Почему он на этот раз не пошел спать на свою постель, а забрался в мою -- не знаю.

Мать моя страстно любила своего мужа, и даже няньки наши замечали, как она тосковала, когда он надолго уезжал от нас. Говорят, что *les extremes se rencontrent* {крайности сходятся (фр.)}, и это едва ли не одна из тех житейских истин, которые подсказаны долгим наблюдением и испытаниями, вынесенными сердцем.

Мать моя любила читать и читала все, что попадало ей под руку. Любила стихи и с ранних лет записывала тогдашние романсы, песни и стихотворения. Таких песен накопи-

лось у ней не мало толстых тетрадей. Отец стихов не любил, и я думаю -- имею основание думать,-- не понимал их. Русская литература его не занимала. Если он с похвалой отзывался о Карамзине, Жуковском и Дмитриеве, то очевидно только потому, что у них был большой чин и что наши государи их жаловали. Мать моя была со мной ласкова и предупредительна. Отец любил меня, но если бы мне вздумалось поцеловать его -- непременно бы отстранил меня рукой и сказал: ступай! В одном невозможно было бы и врагу упрекнуть его -- это в подкупности или во взятках. Он был честен до педантизма. Во время турецкой войны в начале царствования Николая I отец мой служил в провиантской комиссии, т. е. в интендантстве. Года два прожил он в Молдавии и на Дунае. Раз на него подали донос вел. кн. Константину Павловичу. Тот сгоряча велел сказать моему отцу, что он завтра его повесит. Выслушавши это, отец мой спокойно лег спать: он был уверен, что на другой день он будет оправдан, ибо все счета были верны и ни копейки не было украдено или утрачено. Вернувшись в Рязань к жене,

он привез ей в подарок турецкую шаль, турецкий чубук для моего дяди, мне детское тульское ружье, две каких-то литографии и пустой кошелек.

Родился он в Малороссии. Отец его был отставной казацкий капитан и обитал в своей собственной хате в городе Нежине. Вот что я, между прочим, читаю в копии одной бумаги, выданной отцу моему от Рязанского дворянского депутатского собрания в 1834 году, августа 24 дня.

"Дворянские депутаты рассматривали предъявленные при прошении от титулярного советника Петра Григорьевича сына Полонского подлинную грамоту, данную в октябре месяце 1796 г. из Новгородско-Северского депутатского собрания отцу его, дворянину, Григорию Иосифову сыну Полонскому, две копии за свидетельством -- первую из малороссийского Черниговского дворянского депутатского собрания 1807 года июля 12-го, с определения, последовавшего о внесении рода его в дворянскую родословную книгу, -- а вторую со списка формулярного о службе его, просителя, за подписанием правителя канце-

лярии г. рязанского генерал-губернатора, по коим просит написать его в ту же часть дворянской родословной здешней губернии книги", и т. д. и т. д.

Период без запятых так длинен, что, выписывая его, я не вижу ему конца и должен ограничиться этим извлечением.

Что же мудреного, что, родившись в уездном городишке Нежине, в конце прошлого века, отец мой не мог получить никакого образования, не знал ни одного европейского языка. Неизвестно, где выучился он читать и писать красивым почерком. Между тогдашними сослуживцами он не был, однако же, из числа последних по своему развитию, напротив, считался между ними человеком весьма грамотным и всякое дело смекающим. Как попал отец мой на службу в Рязань, после того как он с 1808 г., января 25-го, служил в разных местах, тоже неизвестно, да я думаю, и неинтересно.

Заключаю из герба нашего, что предки моего деда были поляками, ибо описание его начинается такими словами (списываю с соблюдением тогдашней орфографии):

"В книге полской короны гербовника автора Немецкаго вътомъ 3-мъ настраницъ 65 напечатано тако... Имѣетъ быть нащитъ в лазоревом полъ звѣзда въ новомъсечіи неполная въ верхъ рогами обращенная, въ срединѣ оной луны звѣзда о шести рогахъ, нашьлемъ павлинный хфостъ накоторомъ также луна какъ и нащиту..." и так далее.

Все это (и происхождение, и чины, и герб) было совершенно чуждо моему детскому мирозерцанию. Довольно бойкий и резвый мальчуган дома и в доме бабушки, я сторонился чужих, и помню, как я раз постыдно бежал из какого-то сада, куда, по приказанию матери, завела меня моя вечная спутница, Матрена. Только что увидел я там мать мою, окруженную хозяйкою и гостями, только что в глазах моих запестрели их платья и зонтики, я сначала уперся, а потом повернул назад, и уже никто бы не уговорил меня вернуться к той скамье, где сидело дамское общество и где, как кажется, кто-то варил варенье. Я помню, что до самых ворот дома нашего нянька не переставала за такую трусость стыдить меня.

С моей матерью была в приятельских отношениях одна барыня и помещица, постоянно живущая в своей усадьбе, где-то недалеко от Рязани,— Варвара Михайловна Леонова. У ней была большая семья, большой дом, барский сад и даже фортепиано, под аккомпанемент которого когда-то пели: "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан" или "В небе чисто, в небе ясно, в небе звездочка горит"...

Леонова часто за покупками ездила в Рязань и с большим своим ридикюлем постоянно заезжала к моей матери. К ней я настолько привык, что не противился, когда мать моя раза два в лето, собравшись в деревню к Леоновым, брала меня с собой и, разумеется, не одного, а с Матреной. У Леоновых я сошелся с каким-то мальчиком, может быть, с меньшим сыном самой Варвары Михайловны. После обеда в саду мы оба стали сажать в грядку (подле самого фундамента дома нами вырытую) какой-то кустик. Грядка эта, разрыхленная и с комьями, почему-то сильно мне не нравилась.

Не успевал мальчик уходить за чем-нибудь, за водой или за граблями, как я тотчас

же ее приминал ногами, искусно лавируя, чтоб не задеть посаженного кустика. Мальчик сердился и опять разрыхлял грядку, а я опять ее сверху притаптывал. Кончилось тем, что мальчик при мне пожаловался на меня какой-то хорошенькой барышне, с зелеными лентами, до пояса перекрещенными спереди и сзади. Вероятно, это была старшая его сестрица. Сестрица эта не сказала мне ни слова, только поглядела на меня, но в этом взгляде я прочел: ишь, скверный мальчишка! Это он назло так делает!..

По чистой совести я делал это не назло, а просто потому, что притоптанную грядку находил гораздо красивее. Слезы навернулись у меня на глазах, я подбежал к няньке и сказал: уйдем! И пошли мы по какой-то уединенной аллее, усеянной желтыми, осенними листьями, дошли до изгороди и остановились. День был серенький, тихий и теплый. За изгородью шло неровное, волнистое поле, кой-где чернелись кусты и зеленели верхушки березовой рощицы. Пахло сеном и смолой. За кустами пестрело медленно подвигающееся стадо, и где-то недалеко звучала пастушеская

свирель.

Весь этот пейзаж давно бы исчез из моей памяти, если бы не эта свирель. Вот с тех пор прошло с лишком шестьдесят лет, почти что целая жизнь прошла; сколько впечатлений прожито, сколько дум передумано, сколько горя переиспытано, а звук этой свирели до сих пор говорит душе моей. Что говорит? Не знаю... может быть, просто напоминает мне мою детскую восприимчивость и подсказывает мне: твое "я" и теперь все то же! Не верь тем мудрецам, которые говорят тебе, что твое "я" изменилось, что оно может меняться и даже двоиться. Не верь, это нелепость! Окружность может и увеличиваться, и неправильно расширяться, и получать иную окраску,— будет меняться длина радиусов, но центр их всегда останется один и тот же, а к этому-то центру всего ближе те далекие впечатления, которые наполняли собой первую очерченную вокруг него линию. Вот почему они так ясны и так памятны. Круговая линия твоей жизни так расширилась, так стали длинны радиусы и так далеко ушли от этого "я", от этого центра, что все разглядеть и все запом-

нить ему нет уже никакой возможности. Вот почему все, что было в детстве, для тебя ближе и памятнее, чем то, что было на прошлой неделе.

IX

В наши дни, когда какие-нибудь жонглеры посещают провинциальный город, о дне и месте их представления афиши разносят по домам почтальоны или нанятые посыльные; в дни моего детства афиши эти развозились и разбрасывались по городу самими жонглерами.

Помню, раз летом мы сидели за обедом, как вдруг на улице зазвучали трубы и послышался топот коней. Я бросился к окну, и никогда не забуду того впечатления, которое вынес я при виде каких-то фантастических рыцарей в шлемах, с развевающимися перьями и гордо едущих на статных лошадях с побрякивающими уздечками, красивых женщин в трико телесного цвета, в одежде каких-то богинь, с венчиками на головах, и амура с колчаном и подвязанными крыльями на маленькой лошадке. Передо мной тихим шагом вер-

хом и на дамских седлах ехали не то люди, не то полубоги. Едва ли я могу передать вам то чувство, ныне мне уже непонятное, с каким я глядел на это зрелище. Так как звуки трубы или рога заставляли дворовых выбегать за ворота, то клоун в колпаке с погремушками подъезжал к воротам, протягивал руку и передавал афишку кому-нибудь из дворовых. Сопровождаемые мальчишками, заезжие гости проезжали и заворачивали в другую улицу. Афишки переходили от людей к господам, разглядывались, прочитывались и, если на них были оттиснуты какие-нибудь лубочные рисунки, нередко судьба предназначала им красоваться на крышке внутри какого-нибудь сундука крепостного рядом с узорным кружком от помадной банки.

Такие появления жонглеров, конечно, были не часты. Мне кажется, в детстве не более двух раз я видел их. Затем они исчезли. Я слышал, что появление их на улицах, по жалобе какого-то архиерея, было запрещено в начале царствования Николая, и, вероятно, было запрещено по причине якобы соблазна и дурного влияния на народ. Но русский на-

род искони привык наряжаться на святках, и появление ряженных едва ли могло смущать его; даже наши суеверные старухи смотрели на это как на обычай заезжих скоморохов, смотрели, не крестясь от дьявольского наваждения и не отплевываясь. А на детей, ничего не видавших, кроме физиономий дворовых с прорванными локтями, кроме полупьяных приказных во фризовых шинелях, да кроме пузатых кучеров,— такое зрелище, несомненно, было первым толчком к развитию эстетического чувства.

Забегу немного вперед, чтоб не возвращаться к жонглерам. Я уже был несколько старше, когда меня привели на какой-то двор, уставленный скамьями и стульями перед ареной, загороженной досками, и увидел я скачку на лошадях, прыжки через обручи, пляску на канате под музыку (полковую), лазанье на шесты и богатырскую игру с чугунными пудовыми гирями. Мерная, самоуверенная, в высшей степени пластически-красивая пляска на натянутом канате, похожая на полет, на подъем, и легкое прикосновение к канату мускульного и в то же время как бы воздушного

тела -- производили во мне невыразимо радостное удивление. Как ребенок, я даже и вообразить себе не мог, что эти женщины, эти мужчины и этот ребенок были такие же люди, как и мы. Все они, думал я, появились из каких-то неведомых мне прекрасных стран, и, в доказательство, в какой степени было сильно мое впечатление, я скажу одно: я до сих пор помню, как звали того, кто плясал на канате, -- фамилия его была Дункель. Мало того, когда, год спустя, я услышал, что Дункеля и его семью где-то на дороге ограбили и чуть ли не убили, я так сокрушался, как будто это были мне родные, близкие люди!..

Прозаической, закулисной, часто неприглядной стороны всех этих представлений я, конечно, даже и не подозревал. Замечу здесь только одно (я не помню, чтоб кто-нибудь сделал такое наблюдение): после всякого появления таких жонглеров в губернских и уездных городах в детях усиливается страсть к гимнастическим упражнениям, и иногда до такой степени, что это становится опасным. Был и такой случай, что, нагнав себя на ловкость жонглеров, один ребенок вздумал пройтись

по балюстраде лестницы, упал и разбился... Лично на меня жонглеры произвели такое же впечатление: в саду между деревьями протянулась веревка, через которую я стал кувыраться; только попытка ходить на руках, помню, не удавалась мне. А в простом народе я замечал иногда то, чего положительно я теперь уже не вижу. Это необыкновенно ловкое уменье после пляски вприсядку вылетать из комнаты колесом, то есть, расставив руки и ноги, боком перекувыркиваться в воздухе, быстро опираясь в пол то пятками, то ладонями.

Такую пляску и такое вылетанье из комнаты колесом я видел на свадьбе старшей дочери хозяина нашей второй (памятной мне) квартиры в доме купца Гордеева. На этой свадьбе я был вместе с матерью. (Мы жили тогда на Воскресенской улице; наша семья в деревянном доме, хозяева в каменном двухэтажном флигеле с лестницею на двор.) Я с матерью сидел за парадным круглым столом, рядом с невестой. Стол был накрыт скатертью и уставлен всевозможными сладостями, нам подавали чай, мед, и обсахаренные крендели. У

дверей толпа женщин орала свадебные песни; из передней, под звук балалайки, вылетали парни и девки; пол трещал под каблуками плясуна, который бил ими дробь, точно в барабан стучал, вертелся и приседал и под конец укатывался колесом в переднюю. Эту свадьбу я не забываю по двум причинам. Хозяйский сын, может быть, годом или двумя меня старше, увел меня в другую комнату и показал мне лубочное изображение какого-то страшного людоеда; этот людоед не скоро вышел у меня из головы -- так он напугал меня. Свадьба же была нарушена быстро пробежавшим слухом, что где-то пожар. Все пришло в волнение. Все выскочили на крыльцо. Я тоже с матерью очутился на ступеньках лестницы. Помню холодноватую ночь и блеск зарева: на Симеоновском рынке, близ церкви Симеона Столпника, горела какая-то лавчонка. Звук набатного колокола доносился до нашего слуха. Церковь была недалеко и стояла на небольшом возвышении. Что было дальше -- не помню.

Домик Гордеева, куда мы переехали, был не велик. Я помню только переднюю в виде коридорчика с дверью налево в девичью, направо -- в детскую окнами на двор и затем в другую детскую окнами на улицу; прямо дверь в гостиную, из которой налево шла спальня моей матери, сообщающаяся с девичьей,-- вот и все. Нас, детей, уже было четверо; на этой квартире, если не ошибаюсь, родилось еще двое: Александра и Николай.

Полагаю, что на этой квартире мы жили не менее четырех лет. Сначала я помню в ней моего отца и те большие листы, которые он по циркулю разлиневывал и потом в клетки что-то вписывал своим красивым мелким почерком; это была служебная работа и производилась в гостиной на ломберном раскрытом столе.

При отце, помню, спал я у себя в детской в откидной шифоньерке. Моя кровать была похожа на шкаф, который на ночь отпирался сверху и превращался в откидную постель на двух разгибающихся ножках. С этой постели помню я раз стоны и надтреснутый голос моего заболевшего брата Александра; помню, как

он бредил, как прикладывали к икрам его табачные листы, намазанные медом, и как я за него молился. Мне уже был седьмой или восьмой год, и я знал наизусть кой-какие молитвы. С этой же постели, помню, я не раз вслушивался в шум проливного дождя и при блеске молнии боялся всемирного потопа. Няня Матрена сказывала мне, что я не раз сонный садился на кровать, размахивал руками и бормотал то "Отче наш", то "Богородицу", то с кем-то разговаривал. Если я и не был лунатиком, то весьма возможно, что полнолуние оказывало на меня некоторое влияние. Впрочем, я такой был нервный ребенок, что мог сонный привставать и сидеть на кровати и без всякого полнолуния.

Брат Александр, любимый мой брат, на этот раз выздоровел; самый же меньшей, Николай, умер. Я помню его белое с черными бровками младенческое личико с закрытыми глазами и пятнышками на опущенных мертвых веках с черными ресницами. Помню, как мне было жаль его и жаль его кормилицы, которую я выучил читать "Отче наш" и "Верую". Каким способом удалось мне это -- не пони-

маю. Думаю, что деревенская безграмотная баба заучивала в день не более двух-трех слов и что ученье продолжалось целые месяцы не столько по моей, сколько по ее собственной охоте. Я же в этот блаженный период моей жизни сам в молитвах многого не понимал; так, например, слово "чаю" постоянно вводило меня в искушение; что такое "чаю"? Какой тут может быть "чай"?! В последний год нашего житья у Гордеева я уже не помню присутствия моего отца. После турецкой войны он получил место в интендантстве и уехал в Динабург. Помню же я это потому, что спал уже не в своей откидной шифоньерке, а рядом с матерью на ее широкой двухспальной кровати из красного дерева с столбиками и точеными шариками по углам.

Тут я помню, как в зимние долгие вечера я, лежа, дожидался своей матери, уехавшей к сестрам, то есть в дом к моей бабушке, как прислушивался, не скрипят ли полозья, не отворяют ли ворот. Помню, как мать моя, по обыкновению, долго не спала и при свете одной сальной свечи на постели читала романы из библиотеки моего дяди. Раз я упробил

ее читать вслух и выслушал с большим вниманием какое-то приключение в замке с подземельями у каких-то рыцарей. Мозг мой долго потом работал, и образы не давали мне спать.

Тут я должен вспомнить и один мой дурной, некрасивый поступок, который, я, конечно, мог бы и скрыть, если бы не решил ничего не скрывать из того, что я вспомню.

Раз перед какими-то праздниками, может быть, перед рождеством, я лег спать. Мне не спалось; мать лежала рядом и читала... Вдруг за дверью я услышал голоса нашей женской прислуги, а в их числе и голос моей няньки, плеск льющейся воды и вообще что-то не совсем обычное. Несомненно, что наша девичья с позволения моей матери в этот вечер была превращена в баню (там же была и печь, а может быть, и котел с горячей водой). Я смутно вообразил себе, что там купаются; меня взяло любопытство. Я попросился у матери выйти в коридор и босиком через гостиную прошел в переднюю. Затем я быстро растворил дверь в девичью и увидел залитый водою пол... Няньки подняли крик... Я поглядел

на них, засмеялся и пошел обратно через гостиную в спальную.

Помню, как это неприятно подействовало на мать мою. Она сделала мне выговор, но не сердилась. Я чувствовал только, что я чем-то огорчил ее, но, признаться сказать, мне во все не было стыдно. Я был так еще невинен в глубине души своей, что это смешное зрелище не имело для меня никакого влияния. В эти года я не имел ни малейшего понятия о том, о чем грезят взрослые отроки или безусые юноши, наслушавшиеся всего от своих школьных товарищей. Я в этом поступке своем видел только повод для себя дразнить мою Матрену и Дуню, няньку моего брата Мити, дразнить тем, что я видел их... и я дразнил их, и они меня стыдили и в то же время фыркали от смеха.

Не знаю, было ли бы лучше, если бы за это детское озорничество меня прибили или высекли. Я бы тогда, конечно, вообразил себе, что я совершил какое-то великое преступление, и стал бы допытываться, ломать себе голову -- в чем же состоит это преступление? почему няньки могут нас раздевать и мыть

нас в бане, а мы не можем смотреть, как они сами моются? Думаю, что мать моя поступила очень хорошо, удовлетворившись легким выговором и ничем не смутив моей совести. Она глубоко верила моей невинности, а стало быть, и поступок мой приписала только неуместному детскому любопытству.

Едва ли это был не единственный исключительный случай. Да и зачем это было нужно, когда в Рязани я не помню ни одной квартиры без саду и бани? Не произошло ли это оттого, что баня была уже кем-нибудь занята или оттого, что у нас не хватило дров натопить ее?

XI

Не могу забыть и не могу не смеяться, что даже в те младенческие годы всякая женская красота или даже миловидность производила на меня особенное впечатление, как бы влекла к себе. Конечно, это не была любовь,— это было только инстинктивное, изменчивое и неустойчивое влечение... Маша, меньшая дочка нашего хозяина, наивная девочка лет девяти, неволько привлекала меня

своей резвой и шаловливой милотой. Я бегал с ней по саду и только при ней позволял себе ходить на верхнюю дорожку, где нам, жильцам, по условию с хозяином, гулять не позволялось. Дорожка эта для детей была очень соблазнительна: там густо росли малина, вишни и красная смородина. Все лето одна ягода заменяла другую, и, чтоб не рвать их мимоходом, нужна была большая сдержанность... Все здоровые дети -- большие сластены, но не все так влюбчивы или привязчивы. В хозяйский сад мы могли проходить не иначе, как через сарай с сквозными воротами. В затворенных воротах, идущих в сад, была калитка с очень высоким порогом. В сарае стояли хозяйские и наши экипажи -- дрожки и пошевни; там пахло сбруей, навозом и сеном и было летом прохладно и пасмурно. До сих пор помню, как я вдруг как-то затих и съежился, когда маленькая Маша перелезла через порог калитки, влезла ко мне в пошевни и нежилась на сене. Няньки смотрели на нас, как на детей, и мы не боялись их; но тятенька этой милой девочки был строг и, если б увидал ее у нас в сарае, ей бы непременно досталось.

В то наивно-блаженное время ни одна мечта моя не заходила дальше того, что видели глаза, а глаза видели бледное личико, как лен светло-русую косу, серые невинные глаза и улыбку с ямочками на подбородке.

Рос я не по годам, а по часам, но часто хворал; в особенности мучительны были головные боли. Иногда на ночь мне повязывали голову платком с мятым мякишем ржаного хлеба, слегка смоченного мятным квасом; иногда давали мне в воде какие-то росные капли. Случались и перемежающиеся лихорадки. Тогда еще не было придумано аптеками никаких облаток для хинина и прочих гадостей, никаких капсулей, и мне не раз хотелось оттолкнуть и разлить по часам предлагаемую мне горечь. При этом соблюдалась особенная диета: не позволялось есть ничего соленого, ничего копченого и ничего молочного, что еще больше располагало к худобе, и я был худ, как щепка.

Однажды, больной, днем, лежал я на постели моей матери. Мать сидела у окна и что-то шила; за высокой спинкой кровати мне было не видать ее. Я закрыл глаза и услышал,

что из девичьей в спальню прошла какая-то чужая старуха и, вероятно, вообразивши, что я сплю, стала полусшепотом говорить моей матери: "Ох, матушка! Не хочется вас огорчать, а не жилец он у вас, не жилец на белом свете!.. Не долго ему остается на белом свете жить!.."

Я тотчас же понял, что речь идет обо мне, и сердце мое болезненно сжалось.

Когда незнакомая мне старушка ушла, я не вытерпел, повернулся и застонал, но не от боли, а от прилива страха за жизнь свою.

Подошла мать; тотчас же смекнула, что я слышал весь разговор и что это меня встревожило. Не помню, что она говорила, вероятно, старалась утешить, тогда как я прощался с ней и повторял: знаю, что я скоро умру... знаю, знаю!

Этот случай укоренил во мне мою трусливую мнительность. Я стал преувеличивать свои недуги и иногда по целым часам находился в меланхолическом настроении. Помню, мне не хотелось думать о смерти, и я всячески старался чем-нибудь развлекать себя.

Раз у бабушки в доме летним вечером я

вышел на переднее крыльцо, увидел лакеев и сидящего на ступеньках старого парикмахера Логина, страстного охотника читать старые романы и готового через каждые два-три месяца вновь перечитывать читанное, так как все им читанное совершенно вылетало из головы его.

Увидел я этого Логина и говорю ему: положи на ступеньку пальцы -- я покажу тебе фокус. Он мне поверил и протянул два пальца. Я вдруг одной ногой наступил на них и перескочил с крыльца на двор. Дворовые захотали. Мне тоже сделалось несколько веселее, и я стал прыгать и бегать по двору. Думал ли кто-нибудь в эту минуту, что я своим озорничеством лечил себя от мысли, что я чахну и что смерть у меня за спиной... Дескать, какая же тут смерть, когда я еще способен на такие глупые и резвые выходки! Но или Логин был терпелив, или я был довольно легок -- не помню, чтоб он жаловался, что я отдал ему пальцы. Помнится мне даже, что он сам смеялся. Ишь, дескать, молокосос, как он меня надул -- какую штуку выкинул! А подкладка этой штуки, повторяю, была мысль о смерти

и желание ей назло подурачиться.

Единственный сынишка нашего хозяина -- тот, который на свадьбе сестры своей пугал меня изображением людоеда, был по части мнительности диаметрально мне противоположен. Я боялся проглотить дробишку, попадающуюся в застреленной и поданной на стол дичи; а он ел все, что ему попадалось под руку: незрелые яблоки, мел, грифель; раз при мне откусил кусочек от плитки акварельной зеленой краски и стал грызть его, как бы презирая мои предостережения на счет ядовитости яри или зеленого цвета. Этот мальчик скоро умер -- оттого ли, что все ел, или просто оттого, что был чахоточный. Его хоронили, когда я был уже гимназистом и жил в другой части города.

XII

Когда мне перевалило за семь лет, я уже умел читать и писать и читал все, что попадалось мне под руку. А попадались мне под руку всё старые, иногда очень старые книги, в кожаных переплетах -- с высохшими клопами между страниц. Издание времен Екатерины --

комедии Плавильщикова, и особенно память на "Русалка" -- волшебное представление с превращениями и куплетами. Вот, если не ошибаюсь, начало одного куплета:

Мужчины на свете
Как мухи к нам льнут,
Имея в предмете,
Чтоб нас обмануть.

Иногда попадались и новые, по тому времени, издания, вроде "Достопамятностей России" (с картинками), и тогдашнее "Живописное обозрение". Первые прочитанные мною стихи уже побуждали меня подражать им. Чаще всего в тогдашних изданиях попадались стихи Карамзина и князя Долгорукова.

На стихи память у меня была отличная, восьми-девяти лет я знал уже наизусть лучшие басни Крылова, все сказки Дмитриева, монологи из комедий Княжнина и кое-что из трагедий Озерова. Читал я стихи вслух, и кому же? Моей няньке и всей безграмотной дворне, которая, как мне тогда казалось, слушала меня с большим удовольствием, даже

ахала от удовольствия! Одна только богомольная няня моей матери, старуха лет восьмидесяти -- Константиновна была так сурова, что не внимала мне.

Семилетний мальчик, я, конечно, должен был говеть, так как уже миновал официальный срок моего младенчества.

Говенье происходило в доме Кафтыревых. Там совершались все службы, кроме обеден. Мать моя рано утром ездила к своим сестрам слушать часы, и меня брала с собой. Однажды почему-то ей не захотелось будить меня, и она уехала одна. Когда я проснулся и узнал, что мать моя уже уехала, я плакал от такой обиды и долго не мог утешиться.

Но что читал дьячок, в церкви ли, в зале ли у бабушки -- я ничего не понимал, кроме "Господи помилуй!". Это непонимание несколько не мешало моему религиозному настроению, а это настроение не мешало лени стоять и ждать, скоро ли все кончится и скоро ли в гостиной я заберусь на диван с ногами или пойду в кабинет дяди и буду смотреть, как он высекает огонь и закуривает свою большую пенковую трубку с волосяным

чубуком, который гнется.

Когда я шел на исповедь, мне подсказывали грехи мои, так как я никак бы не мог сообразить, в чем именно я особенно грешен. Не помню, ездила ли моя бабушка причащаться в приходскую церковь (к Николе Дворянскому) или причащалась она дома, как старуха, которой было уже около восьмидесяти лет от роду.

Тогда казалось мне, что все всегда так было и всегда так будет, и в голову не приходило, что бабушка моя скоро,— прежде, чем мы переедем на другую квартиру,— переселится в вечность, что я буду держать свечу на похоронах ее и что, когда ее поднимут в тяжелом гробу и понесут из залы, между дворовыми, столпившимися у дверей передней, поднимется такой вой и плач, что я побледнею и с ужасом убегу в пустую комнату моих теток, вместо того, чтоб участвовать в шествии за погребальной колесницей.

Припоминаю, что о смерти моей бабушки Александры Богдановны было как бы некое предсказание.

С Кафтыревыми, а равно и с моей мате-

рью была очень дружна одна старушка, какая-то Екатерина Ивановна Гашевская, очень почтенная и добродетельная особа. Я не знаю о ее происхождении. Знаю только, что жила она одна на антресолях, в доме Воскресенского диакона или священника. В деревянном доме, где жила она, летом у открытого окошка постоянно сидел кто-то в рясе и чай пил. Чтоб зайти к Гашевской, надо было из сеней (или из передней) подняться по очень узенькой и темной лестнице и, мимо сундуков и развешанных на стене салопов и капотов, пройти к ней в комнату, и когда, после обеда, мы заходили к ней, она угощала нас кофеем, моим любимым тогда напитком, до такой степени любимым, что кума моя Дарья, зная мою слабость, иногда, подмигивая, заводила меня в свой чулан и там на сундуке поила меня кофеем... Но я боюсь увлечься в сторону и позабуду сказать, что эта самая Гашевская, незадолго до смерти моей бабушки, видела во сне, будто бы она стоит в церкви на панихиде и слышит, как диакон с амвона за упокой поминает имя новопреставленной боярыни Александры, потом -- имя Екатерины и затем

третье имя, которого она не хотела сказать ни моим теткам, ни моей матери. Сон этот действительно оказался пророческим: за смертью бабушки моей, Александры, последовала смерть самой Гашевской, Екатерины, и затем смерть моей матери, Натальи. Вот то третье имя, которое никому не хотела открыть Гашевская.

XIII

На похоронах моей бабушки были и новые для меня лица. Низенькая, кругленькая, черноглазая старушка Анна Васильевна Клементьева, жена только что прибывшего в Рязань нового почтмейстера, и ее племянница Анна Николаевна (фамилии не помню), молодая вдова, блондинка, веселая, милая и всегда к лицу одетая дамочка.

Еще при жизни бабушки Клементьевы раза два или три были у моих теток и затем стали приезжать к ним каждую неделю. Обе они, и старушка Клементьева, и ее племянница, были такие простые и сердечные, что сойтись с ними было немудрено. Они же и не аристократничали, как другие рязанские да-

мы, и не были такими чудачками, как, например, генеральша Анцыферова, у которой карета была похожа на Ноев ковчег, а лошади были такими заморенными клячами, что жалко было смотреть на них, когда она в большие праздники ездила по рязанской мостовой с визитами.

Я помню, как-то раз старушка Клементьева приехала к моим теткам в особенно веселом настроении духа. Она была в восторге от своего старика.

-- Вообразите,-- говорила она,-- потребовал, чтоб ему подали Евангелие! вообразите!!

Чтоб понять радость старухи, надо заметить, что старик Клементьев почему-то считался вольтерянцем и что жена его постоянно сокрушалась при мысли, что муж ее безбожник. В то время достаточно было носить в уме своем сотую долю того, что носит теперешняя молодежь, чтоб прослыть человеком погибшим, то есть безбожником.

Когда я говорю: "я помню", это не значит, что это случилось или говорилось непременно при мне; это просто значит, что такое составилось мнение и, так как я был любопы-

тен, дошло до моего слуха и произвело такое впечатление, которое почему-то осталось... Припоминая о чем-либо, мне легко спутать говоренное при мне или выслушанное от других.

Когда я бывал у Клементьевых и когда из задней двери в залу выходил к нам высокий, сутулый, похожий на Державина старик, в длиннополом сюртуке или в чем-то похожем на халат, я глядел на него как на человека, которого сатана непременно утащит в ад, если он не покается. Суров и несловоохотлив был этот Клементьев. Его побаивались и жена и племянница; одна только внучка его, дочь Анны Николаевны, хорошенькая девятилетняя девочка, его любимица и баловница, не боялась его и, когда по вечерам сидел он, обложенный книгами, смело входила в его комнату. Эту девочку звали Наденькой, и эта девочка была моим идеалом. Насколько может быть влюблен ребенок, настолько я был влюблен в нее. И если я умел в юности моей танцевать,-- я ей обязан этим умением. Только она да зависть, что меньшей брат мой и другие дети с ней танцуют, а я -- нет, застави-

ли меня преодолеть мое упорное намерение никогда не заниматься такими бесовскими делами, как танцы...

Когда в назначенные дни мать моя брала меня и брата к Клементьевым (жили они во втором этаже над почтой в казенной, почтамтской квартире), и там, под звуки скрипки, какая-то мадам, несомненно пожилая, оставшая танцовщица, начинала ставить детей сначала в позицию, потом учила разным па, потом экосезу и вальсу, я сидел в углу и только смотрел исподлобья на такие упражнения.

Но если любовь когда-то погубила Трюю, то что же мудреного, если она мало-помалу сломила мое упрямство.

Я тоже стал танцевать, только ради того, чтоб иметь право рукой своей прикоснуться к руке этого воплощенного херувима с голубыми глазами и с золотистыми локонами.

После смерти моей бабушки мы какими-то судьбами очутились на другой квартире, хозяином которой был булочник, бывший крепостной моей бабушки, отпущенный ею на волю. У этого булочника (кажется, его звали Абрамом) были два дома: один каменный,

двухэтажный, с лавкой внизу, на углу Астраханской и Введенской улицы, другой же деревянный и одноэтажный, которого фасад и крылечко, с лесенкой направо и с лесенкой налево, выходил на Введенскую улицу. Задние окна этого дома из спальни глядели в сад, а из нашей детской на двор, на кухню и на задний фасад того дома, где обитал старый булочник с женой, с сыновьями и с дочерью Любой.

В этой квартире помню я себя сидящим и рисующим пылающее сердце, пронзенное стрелой. Рисую я на квадратном кусочке какой-то плотной бумаги, держу кисть и беру краску с бумажки, густо, в виде овального кружка покрытой лоснящимся слоем бакана (такие бумажки тогда продавались, и при их помощи можно было и рисовать сердца, и румяниться). Кончив свой рисунок, несомненно заимствованный из какого-нибудь старинного альбома с шарадами, я понес его в спальню матери, где сидела Анна Николаевна, маменька Наденьки.

Пылающее сердце было тщательно завернуто в маленький пакетик и передано гостье

с тем, чтобы она отвезла его своей хорошенькой дочке.

-- Передайте Наде,-- сказал я и вышел.

Затем я услышал их сдержанный хохот... Это меня несколько покорибило... Я смекнул, что пакетик был развернут и сокровенное чувство мое обнаружено. Было ли передано мое оригинальное послание -- не знаю, я об этом уж ни у кого не спрашивал, да полагаю, что и спрашивать было конфузно.

И не этот ли конфуз удержал в моей памяти такое, в высшей степени пустое и неинтересное событие. Но если тут и был какой-нибудь конфуз, он ничего не значит перед тем конфузом, который выпал мне на долю в сорока верстах от Рязани у наших двоюродных Плюсковых, в их деревне Острая Лука.

Летом, в разгаре самого лета, Плюсковы -- Тимофей Петрович и Евлампия Яковлевна, прислали за нами свою крытую шестиместную коляску, запряженную четверней. Лошади переночевали на дворе у Кафтыревых, и на другой день мы поехали: две тетки, моя мать, я и -- что могло быть радостнее и пре-

краснее! -- Наденька и ее мать. Целый день высочайшего эстетического наслаждения, целый день сладкой тревоги и боязни каким-нибудь глупым словом или резким движением оскорбить или обеспокоить мое маленькое божество, такое свежее, милое и нарядно-воздушное!! Я был на седьмом небе.

Не доказывает ли детская любовь, что можно любить, не имея ни малейшего ни о чем понятия? Дети, которые рано все знают, так же, как и развращенные старики, любить не могут,-- это мое личное наблюдение. Воистину платонически любить могут только или дети, или беспомощные старики накануне смерти. Их потухающий взгляд иногда с упоением созерцает молодую красоту и боится потерять ее из виду, хотя они и знают, что красота эта никогда им не принадлежала и никогда уже принадлежать не может. В жизни их песенка спета, но в душе их еще звучит проснувшееся эхо младенческой чистой любви. Но у этой младенческой любви бывают и смешные стороны.

Приехавши к Плюсковым, я тотчас же на целый вечер побежал в сад с моими кузена-

ми, кухнями и Надей. Значит, все мы порядочно набегались и рано легли спать. Мальчиков уложили на антресолях в комнате с балконом в сад и двумя окнами; уложили на полу, постлавши кому матрас, кому перину и всех снабдивши подушками и одеялами. Этого добра у старых помещиков было такое изобилие, что и полдюжины гостей, внезапно наехавших на усадьбу и оставшихся ночевать, не сконфузили бы хозяев -- у всех бы нашлись и подушки и одеяла.

На другой день утром никто не разбудил меня, все ушли вниз чай пить, а я все еще спал, как убитый.

Вдруг я очнулся и вскинул голову. В комнату вбежали мои кузины, тоже еще очень маленькие девочки, и вместе с ними Наденька.

Можете вообразить мой ужас, когда они стали надо мной смеяться, а она, мало того что звонко захохотала, ухватилась за мое одеяло и стала его стаскивать. Я тоже за него уцепился, не давал с себя стащить его и кричал: убирайтесь, убирайтесь! Боже мой, как мне было стыдно и в каком я был отчаянии!

Они убежали; я вскочил, запер на щеколду дверь на лестницу и стал наскоро обуваться и одеваться...

XIV

Не имею ни малейшего намерения из моей ребяческой любви сделать идиллию или рассказ, прикрашенный фантазией. Задача моих воспоминаний слишком далека от того, чтоб пускаться в сочинительство, и если все, что пишу я по желанию немногих, многим кажется неинтересно или незанимательно, то ничто не мешает им закрыть эти страницы и поискать других. Мне же иногда и самому совестно, что мое личное, интимное, мне одному дорогое, я навязываю другим, как будто у каждого нет точно таких же воспоминаний или как будто детство мое достойно особенного внимания. Чтоб загладить невольную вину мою, остается одно: как можно проще и искренне относиться к самому себе, не стараться поэтизировать то, что кажется поэтическим только по летучести милых воспоминаний и подогретого старческого воображения.

Чем кончилась первая младенческая любовь моя -- скажу позднее, тем более что чувство мое было с перерывами -- то исчезало, то снова выплывало и выносило меня на высоту какого-то восторженно-благоговейного созерцания, делало меня немым и робким в присутствии веселой и беззаботной девочки, в отсутствии же заставляло меня мечтать о ней так, как девочки пяти лет мечтают о красивой кукле, виденной ими в магазине, и мысленно целуют ее, как живую. Куклу можно купить и подарить и мечты превратить в действительность; но от моих мечтаний действительность была дальше облаков, дальше, чем звезды небесные.

Но каковы бы ни были эти первоначальные наивные мечты, иные воспоминания беспрестанно ст меня заслоняют их.

Раз, в присутствии Наденьки, в доме нашем совершилось ужасное приключение. Я уже говорил, что племянница Клементьева, молодая вдовушка, была очень живая и веселая дама. Немудрено, что ей пришло в голову на святках уговорить мать мою нарядиться, надеть маску и поехать интриговать Кафты-

ревых, то есть сестер моей матери. Тогдашние вечера начинались рано (не позднее пяти-шести часов, то есть к вечернему чаю). Мать моя и Анна Николаевна отправились наряженными и, вероятно, не из нашего дома, так как я не видал ни Анны Николаевны, в мужском наряде, ни матери моей, в костюме отшельника. Появление их у Кафтыревых произвело некоторое забавное впечатление -- сначала их не узнали, так как в этом святочном маскараде, вероятно, участвовали и другие знакомые, и даже многие из числа дворовых. Затем часу в девятом вечера мать моя вернулась домой вместе с Анной Николаевной, которая уже в собственном своем костюме заехала к нам за своей дочерью. Обе они прошли в спальную. Мать моя сняла с себя льняную бороду и широкий с широкими рукавами темный костюм отшельника и велела своей горничной куда-нибудь прибрать его. Горничная на время положила его в детской на одну из наших кроватей и ушла.

В детской не было никого из прислуги -- мы были одни, а с нами и Наденька. Мы играли. Вдруг брат мой Григорий нашел бороду и

коленкоровый костюм отшельника. Не прошло и десяти минут, как мы уже видели его с подвязанной бородой, под капишоном и в широком одеянии, которое тащилось за ним, как хвост, так как было ему не по росту. Мы прыгали и смеялись... Вдруг брат мой Гриша подошел к низенькому столику, на котором горела свеча. В одно мгновение льняная борода его вспыхнула... Не успели мы ахнуть, как он уже катался по полу, охваченный пламенем. Наденька спряталась куда-то в угол, я закричал, и так страшно закричал, что, несмотря на двойные рамы, в кухне со двора услышали мой крик. Из гостиной прибежала мать и ее гостя. Все бросились тушить и обрывать пылающий костюм, капишон и крепко привязанную бороду. Я видел только клуб дыма и искры. К счастью, недалеко была вода в кувшине -- огонь погасили, брата подняли и понесли. Еще слава богу, что ни у кого из женщин, бросившихся руками тушить огонь, не загорелось платье! Это было бы великое несчастье... Бедного Гришу отнесли в спальную на кровать матери, его раздели и послали за доктором. Обжоги были значительны

на лице, на шее и на руках, но не смертельны. Месяца через два брат мой так поправился, что уже встал с постели. Только следы от ожогов долго еще не сходили с лица его. Мать моя все это время неотлучно была при нем, мало спала, много молилась. Она была убеждена, что бог наказал ее за непозволительную ветренность.

Все это было в отсутствие моего отца,-- но турецкая кампания кончилась, и он вернулся. Кто не знает, как много значит в детстве лишний год, как длинно кажется время и как легко отвыкают дети от тех, которые на несколько лет покидают их? Раз, проснувшись утром, я узнал, что папа мой приехал. Это известие меня более поразило, чем обрадовало. Когда, одевшись, я вошел в спальную к матери и увидал его еще в постели, мне показался он черным от загара и худым. Мать моя, напротив, казалась моложе и наряднее: несмотря на раннее утро, на ней была уже какая-то шаль и волосы были тщательно причесаны. Эта кокетливая перемена в костюме моей матери и даже румянец на ее щеках не укрылись от детских глаз моих. Где служил и был

отец мой и какие он привез нам подарки -- об этом уже было сказано, добавлю только, что Трофим, слуга, который был с ним в походах, хвастался, что он был в Мандавалахии -- в Мандавалахской губернии. Хорошая губерния! Много табаку, и тоже виноград растет... Только как была чума, то все наши вещи были сожжены в карантине, много добра пропало... Он так смешно произносил слово "Мандавалахия", что мы не раз заставляли повторить его. Этот Трофим был уже женат на горничной Улите, и у него был сын Николка и две девчонки. Помню, что с тех пор, как он вернулся, уже не няньки мыли нас в бане, а он -- Трофим. Матрена же по-прежнему проводила меня по утрам к мадам Тюрберт, у которой я учился по-французски.

XV

После смерти моей бабушки дом ее принял другую физиономию. Стены оклеили новыми обоями. В кабинете дяди сделали деревянную перегородку вместо холстинных рам, за которыми стояла кровать его. Спальная моей бабушки совсем преобразилась: исчезла

вековая ниша и все, что было за этой нишей, только щелка в дверях, ведущая в гостиную для подглядывания, осталась в том же нетронутом виде. Несомненно, все недвижимое имущество моей бабушки было заложено в ломбард. Старший сын ее и родной дядя мой, постоянно проживавший в Петербурге, Дмитрий Яковлевич Кафтырев, отказался от симбирского имения около шестисот душ, испугавшись долгов, на нем лежащих, и предложил его брату Александру, но и тот отказался; так оно и пошло на продажу с молотка. Дяде Александру Яковлевичу досталось село Смолеевка, в Ряжском уезде Рязанской губернии; теткам Вере и Анне деревни Артемьево и Костолыгино (в Тверской губернии); моей матери -- сельцо Лозынино (в той же губернии в Калязинском уезде).

Знаю, что все эти подробности никому не интересны. Кому какое дело, чем кто владел тому назад полвека или какие проедал доходы? Скажу только, что доходы моей матери и теток были весьма незначительны.

Конечно, никто еще из нас не чувствовал недостатка, так как жизнь была дешева. Из

Смолеевки пастух пригонял баранов -- а из дальних деревень по-прежнему шли мороженые туши, поросята, мука, крупа, медь, толкно, грибы, пряники, холст и проч. и проч. Но и тетки мои, и мать моя для того, чтобы избавиться от ломбарда, должны были везти в Москву продавать бриллианты, доставшиеся им от моей бабушки. Сколько мне помнится, дележ домашнего скарба, в особенности меховых вещей, прошел не без спора. По крайней мере, я помню, что отец мой чего-то не хотел уступать или что-то такое ему не хотели уступить, он ворчал, но все эти споры или препирательства не доходили до ссор, и все наши семейные отношения оставались такими же, какими были и до смерти бабушки.

Доставшееся нам сельцо Лозынино, конечно, возбудило в отце моем желание поглядеть на это сельцо и заняться хозяйством. И вот, в одно прекрасное утро, мы сели в кибитку и на перекладных направили путь свой на Москву, добраться до которой было далеко не так легко и скоро, как в наше, железными дорогами сокращенное, путевое время. Потому ли, что я был старший сын, или потому, что

чуткая мать понимала, как страстно я был привязан к ней, я всюду -- даже на богомолье, сопровождал ее с моей неизменной нянею Матреной. Так поехали мы вчетвером и в Москву, остановились в доме какой-то купчихи Деминой, недалеко от Сухаревой башни в переулке за Спасскими казармами. Что за особа была эта Демина (вдова), в каких таких отношениях она была к семейству Кафтыревых, почему она принимала, или, лучше сказать, считала за долг принимать у себя в доме семью мою -- покрыто мраком неизвестности. Меня это интересовало гораздо меньше, чем бассейн, полный воды, чистой как кристалл, проведенный из Мытищ на один из этажей Сухаревой башни, куда меня водили, или те картинки с карикатурами на Наполеона, которые украшали ту угловатую комнату, где в гостях у Деминой, на тюфяках, посланных на полу, ночевали мы.

Простясь с Деминой, разумеется, после закуски, пирога и кофе, в той же крытой кибитке через Троицко-Сергиевскую лавру двинулись мы за сорок верст от лавры в наше Лозынино. Помню, как долго и скучно тащились

мы непроходимыми болотами, по бесконечным ухабистым гатям, окруженным кочками, тростниками, мелким лозняком и зажорами. Позднее узнал я, что русло реки Дубны извиляется посреди этих самых болот, бесплодных и непроходимых. На их окраине -- или на черте весеннего разлива Дубны, на отлогой возвышенности, за несколько верст, увидали мы березовую рощу, что росла не далее, как в 200 сажнях от нашей усадьбы.

XVI

Усадьба наша состояла из начатой постройки бревенчатого дома, или сруба с прорезанными окнами, почти что доведенного под кровлю. Кругом этого сруба лежали бревна и щепки. На дворе был старый небольшой флигелек, где, судя по всему, жил человек, привыкший к некоторой роскоши, но кто именно: мой ли дед или кто-нибудь из бар-помещиков времен Екатерины?

Во флигеле было всего только две небольшие комнатки и передняя, оклеенные когда-то очень яркими и не дешевыми французскими обоями; в одном простенке висело

небольшое венецианское зеркало в старинной золоченой рококо раме, а на стенах были под стеклами сохранившиеся офорты -- изображения каких-то английских полководцев и государственных людей в костюмах 16-го и начала 17-го столетия. В обеих комнатках было по два небольших окошечка. В передней расположилась наша Матрена. Для моего отца и матери сколотили кровать и поставили ее в первой же комнатке, направо от входа. Тут же была и моя спальная (я спал на диване, подпертый стульями). Следующая вторая комната была нашей столовой.

Что же дальше?

Дальше я помню, что, ложась спать, я иногда не скоро засыпал и слушал, как отец мой, лежа на постели, опершись на подушку, а головой склоняясь к столику, с сальной свечой и неизбежными щипцами для нагара, -- читал вслух моей матери "Историю Российского государства" Карамзина. Читал, как будто в руках его был Псалтырь или Священное писание, и сквозь дремоту мне слышалось беспрестанно повторяемое имя царя Иоанна и рассказы об его грозных и страшных каз-

нях. Иногда отец мой вполголоса делал свои замечания: замечал, что Карамзин слишком смел; что про царей так писать не следует, "нельзя", что надо даже удивляться, как все это позволено.

Помню, что когда наступила жатва, я уходил в недалекое от нас поле. Отец мой считал снопы (не в этом ли и состояли все его хозяйственные хлопоты?), а я, если день был сильно ветреный, бегал как сумасшедший, растопырив руки, и махал ими, как крыльями, воображая, что они меня поднимут на воздух и я улечу (не были ли это самые поэтические минуты во дни моего деревенского пребывания в Лозынине?).

Припоминая такую завидную глупость, смею думать, что я был еще очень молод и наивен, но -- не странно ли,-- даже в эти наивные, ребяческие годы стоило мне увидеть хоть сколько-нибудь смазливое женское личико, и я вдруг становился ниже травы -- тише воды и уже не позволял себе никакого дурачества.

Двор наш, широкий и заросший травой, был окружен небольшими постройками, ста-

рыми сараями, кладовой и амбаром. Помню, как староста подбирал ключи от одной из дверей и долго подобрать не мог. Когда, наконец, кладовая была отперта, стали выносить из нее сундуки и всякий хлам. Из всего вынесенного на божий свет больше всего мне памятен сундук с старинными допетровским почерком исписанными свитками. Как ни был я глуп, догадывался, что они были писаны еще при московских царях, и как ни был умен, не понимал, на что все это нужно, и к их сохранению не обнаружил никакого поползновения. Так все эти свитки и погибли: остались ли они лежать и догнивать в той же кладовой или они пошли на оклейку зимних рам -- не знаю. Несомненно, что и отец мой, учившийся в Нежине на медные деньги, так же как и я, ребенок, не понимал их значения, а мать моя, хоть и была гораздо образованнее моего папа, смотрела на все его глазами и с ним не спорила. Из числа грошовых драгоценностей, вынесенных из кладовой, едва ли не более, чем пожелтевшие документы, привлекли мое внимание сломанные стенные часы. Я ими овладел и, изучая их таинственный

для меня механизм, так звенел, задевая за молоток, который когда-то бил часы, что надоел этим звоном отцу, и он прогнал меня изучать механизм часов куда-нибудь подальше от флигеля. Живо помню небольшой сад, который примыкал к двору. Двор был четырехугольный, и пруд, уже подернутый зеленью и окруженный со всех сторон в два ряда посаженными липами и березами, был такой же четырехугольный.

Когда я бродил по нашему запущенному саду и подходил к плетню, ко мне подбегали крестьянские мальчики, и я с ними знакомился, иногда перелезал к ним через плетень, и помню -- один из них не раз брал меня к себе верхом на плечи и пускался вместе со мною скакать галопом по щебню, вокруг недостроенного дома. Иногда мы играли в лошадки, и у меня была целая четверка босоногих коней. Мальчишки, которые со дня рождения своего не видали никакой господской ферулы, обращались со мной запанибрата. Один из них, рыжий и веселый, показывал мне язык или по-дружески бил меня по плечу. Меня как бы тянуло к ним и в то же время

конфузило или коробило их такое вольное со мной обращение. Во мне просыпался барченок, требующий по отношению к своей личности как бы некоторой субординации или уважения. Конечно, это чувство, которое не раз закрадывалось в мою душу, я ничем не обнаруживал, так как оно было инстинктивно, и я сам не знал -- хорошее ли это чувство или дурное. Во всяком случае, оно было прощительно для мальчугана, выросшего среди крепостных и даже на себе не раз испытывшего их рабское растлевающее подбострастие. Разве Николка, сын Трофима, мог так вольно, так по-братски со мной обращаться? Разве отец, мать, даже нянька не отодрали бы его за ухо, если бы он осмелился высунуть мне язык или хлопать меня по плечу!

Так, во имя психологической правды, я сознаюсь, что, возясь с крестьянскими мальчуганами, я не раз морщился от того, что во все не внушал им ни малейшего уважения. Каяться в этом я не стану, потому что и теперь я потерял бы всякое уважение прислуги, если бы посадил ее у себя в кабинете. Не видел я прислуги, сидящей рядом со мной за

обеденным столом, ни у Некрасова, ни у Чернышевского, ни даже у графа Л. Н. Толстого. Это не значит, чтобы они были спесивы; это значит только, что жизнь говорит одно, а теория или идеалы равенства -- другое. На почве воспитания, одинаковости умственного развития и таланта мы, слава богу, уже давно потеряли всякую сословную спесь. Князь Одоевский и прасол Кольцов могли сходиться и обедать за одним столом, как равный с равным. Только интересы науки, искусства и политики сближают людей всевозможных сословий. Всякое другое равенство до сих пор оказываться эфемерным. У каждого лакея есть своя спесь, и он сам не сядет за стол нанимающего его барина, хотя бы тот и приглашал его,-- не сядет и потому, что ему гораздо веселее обедать в своей компании с людьми одинаковых с ним понятий. Так истинное равенство только и зиждется на одинаковости воспитания, на возможности обмена идей и взаимного понимания.

В сороковых годах, за Кавказом, в Гурии, в Имеретии, я сам видел, как люди, подающие кушанья, садились обедать за один и тот

же стол со своими помещиками, и это, конечно, происходило не от их либерализма и не от высоты их развития, а потому, что оба они, и слуга и барин, думали, например, что облака не что иное, как морские губки, поднимающиеся с моря, а дождь не что иное, как ветер, который выжимает их. Они одинаково были невежественны, одинаковы по нравам и воспитанию; но их равенство тотчас же нарушалось, когда барин кончал курс в университете, а его прислуга оставалась такою же безграмотной. Дети разных сословий легче всего сходятся, как равные с равными, когда интересы игры сближают их. Интересы игры сблизили меня в Лозынине и с крестьянскими босяками мальчуганами; но вероятно, даже и в том возрасте, во мне пробуждались уже и другие интересы, которые и затрагивали во мне сознание какого-то превосходства над теми, кто с таким ребяческим усердием на своей спине возил меня. Пусть это было и дурное чувство, но я не хочу скрывать его и очень рад, что память мне сохранила много из того, что происходило в тайниках души моей, как дурного, так и хорошего.

XVII

Да простят мне читатели всякого рода отступления, особенно отступления такого рода, которые требуют обстоятельного анализа, а не поверхностного изложения личного мнения. Если же я их не вычеркиваю, то ради того только, чтоб мои воспоминания не утомили вас своим однообразно-повествовательным тоном.

Тогдашние наши провинции (то есть тому назад с лишком полвека) были битком набиты как крупными, так и мелкими -- небогатыми владельцами земли и крестьян. Все они знали друг друга, ссорились, мирились, волочили за соседками, охотились, пьянствовали или, порыскавши по Европе, бесплодно мечтали о новых порядках. Наше Лозынино со всех сторон было окружено помещичьими усадьбами. Направо шел проселок к усадьбе некоего Баранова, налево в усадьбы г.г. Бешенцевых и Палибиных. Это были наши ближайшие соседи. Но усадьба Барановых была пуста, так как сам барин раз поехал в лес и в лесу убит своими крестьянами, а наследники

его были еще в отсутствии. Чаще всего приходилось нам ездить к Бешенцевым и Палибиным.

Сам Бешенцев был уездным исправником; у него была жена, пожилая, в нравственном отношении безукоризненная женщина и мать многочисленного семейства. Я застал у ней немало количество дочек. Меньшая из них, Маша, была одних лет со мною; Анна была несколько старше. Я помню ее удивительно тонкий профиль, и были минуты, когда мне было досадно, что она не обращает на меня ни малейшего внимания. Предчувствовал я, что лет через пятнадцать или семнадцать эта Анюта будет играть не малую роль в моей жизни, что я буду звать ее сестрой и что она, как жоржзандистка, послужит прототипом для характера Эвиной в моем романе "Дешевый город". Но об этом еще речь впереди, я был еще ребенком, молоденькая Анна, будущая эмансипированная дама, вправе была не обращать на мое присутствие ни малейшего внимания. У Бешенцевых был и сынок, Миша, едва ли не единственный, белокурый мальчик лет пяти, у которого была страсть

подражать попам, у себя в детской петь по-церковному и махать самодельным игрушечным кадиллом... Матери его такая игра вовсе не нравилась... Ей казалось, что он не долговечен и сам себе как бы пророчит отпевание.

Сам Бешенцев, как кажется, вполне оправдывал свою фамилию: его боялись; он был горяч и вспыльчив. Но я, конечно, не могу знать, насколько он был честен и полезен на месте своего служения.

Раз мы приехали к Бешенцевым к обеду. Помню в их зале длинный стол и по крайней мере человек тридцать обедающих. Между гостями мы застали какого-то старого проезжего генерала. Генерал сидел около хозяйки и жаловался на отвратительные пути сообщения,-- на ухабы, на мосты и прочь, и проч., а Бешенцев беспрестанно вставал из-за стола и всячески старался ему угодить и угостить его превосходительство. Не был ли этот генерал послан на ревизию... С ним был не то писец -- не то лакей,-- играющий роль его дядьки. И что же? Хозяин не решился ни отослать его в людскую, ни посадить с собой за стол, а велел ему накрыть особенный столик в углу той же

залы -- и ему подносили те же кушанья, как и нам,-- и тем же шампанским наполняли бокал его. Это не могло не обратить моего внимания. Ни раньше, ни позже я не помню такого курьеза.

Палибины жили недалеко от Бешенцевых. Я мог бегать из одной усадьбы в другую и нередко бегал от Бешенцевых к Палибиной, так как подружился с ее старшим сынком Николаем, и от Палибиной бегал к Бешенцевым, так как их Машенька очень, очень мне нравилась, такая была интересная, живая, веселая девочка.

Раз мать моя и наши соседи собрались в березовую нашу рощу (от которой теперь, как говорят, и следу нет), собрались грибы искать. Роща была еще так густа и тениста, что я и Маша Бешенцева -- мы оба потеряли своих родителей. Бросились направо, налево, кричали -- и никак не могли найти всей честной компании. Эге! сказал я, не пошли ли они к нам в Лозынино чай пить; кажется, все хотели сегодня собраться у нас! И вот, недолго думая, мы по межам через поле побежали в Лозынино, перелезли через плетень и вбежали в наш

флигель. Нас встретила Матрена и, удивленная, сказала, что никого нет. Что же оставалось делать, как не бежать назад по тому же направлению? Девочка и хохотала, и чуть не плакала. Не успели мы войти в рощу, как нам навстречу показались наши матери и вся компания. Старуха Бешенцева строго опросила свою дочь, и мне пришлось слышать, как ее стыдили и делали ей выговор, точно она совершила какой-то проступок, неприличный, недостойный сколько-нибудь порядочной девочки. Я же на наш побег из рощи смотрел, как на какое-то в высшей степени интересное, романическое приключение.

У Палибиных, несмотря на летнее время, бывали и танцевальные вечера под музыку одного или двух скрипачей. Танцевали и большие и дети, при открытых окнах, и, разумеется, не позднее десяти -- одиннадцати часов вечера все расходились. В то непросвещенное время я не помню ни карточных столов, ни танцев всю ночь до рассвета, ни постоянного бренчанья фортепьяно (хотя фортепьяно и водилось в каждом помещичьем доме). Этим я не могу сказать, чтобы не было во-

обще карточной игры или гульбы до рассвета, но хочу только сказать, что это не было до такой степени повсеместно, как в наше просвещенное время. Играли в карты только по страсти к картам, а не ради приятного про-
вождения времени от скуки и пустоты душевной. Проигрывали и выигрывали целые состояния, а не рубли и копейки, как в наше время. Гуляли по ночам кутилы или мечтатели, но не помещичьи семьи, из которых выходили полезные деятели на разных поприщах службы. Так, двое сыновей вдовы Палибиной, как я слышал, были впоследствии не последними инженерами и много на своем веку поработали.

Посередине проселочной дороги, по которой мы ездили к Бешенцевым, стоял овин. Раз ночью он почему-то загорелся. Наши люди увидели зарево и разбудили нас. Я наскоро оделся и побежал. Помню сбегающийся народ, какого-то скачущего по дороге всадника (не станового ли?), суматоху, бочку с водой, которую откуда-то привезли и которая несколько не помешала овину стореть до основания.

Это тоже было необыкновенное происшествие, о котором по возвращении в Рязань я всем любил рассказывать не без пафоса и, быть может, не без поэтических преувеличений.

XVIII

На обратном пути через Москву я помню только, что мы были в Кремле и видели то место, куда упал когда-то Царь-колокол. Колокол этот был в яме, точно в могиле. Яма эта сверху была заделана досками с окошечком или отверстием посредине. Я, став на колени, нагнулся, заглянул в эту яму и ничего не видал, кроме какого-то металлического тусклого отблеска на дне. Заходили мы и в старый Александровский кремлевский дворец, ныне уже не существующий. Не знаю, был ли это тот самый дворец, из окон которого Наполеон глядел на пожар Москвы, или он был построен после 1812 года? Меня водили из комнаты в комнату, и я ничего не помню, кроме больших копий, сделанных сепией с картин религиозного содержания, и между ними копию с "Рождества" Корреджио. Припоминаю я это и

сам сомневаюсь, как могли быть во дворце не оригиналы, а копии, да еще нарисованные одной коричневой сепией. (Впрочем, не были ли это копии, сделанные одной из великих княжон, сестер Александра I.)

Осенью мы вернулись в Рязань на свою квартиру и застали в ней некую Аграфену Ивановну, которая, по просьбе матери моей, жила у нас и надзирала за детьми (моими братьями). Кто такая была эта Аграфена Ивановна -- не знаю. Помню только ее голос и ее круглое, слегка рябоватое и уже не молодое лицо, круглые очки, отороченный сборками тюлевый чепчик старого фасона и чулок со стальными спицами в руках с короткими и мягкими пальцами. Вероятно, это была одна из городских кумушек, давно знакомая моей матери. Она и мне была симпатична, и я любил, когда она приходила к нам. Но, заметьте, припоминая мое детство, я не помню около нас ни одной немки, ни одной польки, ни одной француженки. Даже учительница французского языка, мадам Тюрберт, была чистокровная русская. Оттого ли это, что я рос в провинции, или оттого, что мы были не на-

столько богаты, чтоб выписывать иностранцев и иностранок? Последствием такого чисто русского воспитания было то, что в юности я не мог говорить ни на одном иностранном языке и заговорил по-французски не раньше моего пребывания в Париже (1858--59 гг.). Обязан ли я этим чистоте русского языка в моих посильных литературных произведениях -- я не могу сказать, так как французское воспитание Пушкина, а затем и Тютчева несколько не мешало им проникаться духом русского языка, знать его в совершенстве и пользоваться его неисчерпаемыми богатствами. Быть может, и то, что этому их знанию способствовала деревня, постоянно русская, несменяемая прислуга и в особенности русские няньки, нередко на всю жизнь занимающие в сердце бывших детей место наравне с самыми близкими родными их.

В Рязани на первое время по приезде мать моя часто посещала сестер своих, и там опять я встретился с Наденькой. Пока я был в деревне, я совершенно забывал о ее существовании. Деревенские впечатления как бы затушевывали образ хорошенькой девочки; а она

лет до двенадцати действительно была хороша, как херувим, не вербный, а настоящий -- такой, каким его изображала кисть великих итальянских художников. Помню прелестный, почти фарфоровый цвет лица с тончайшим румянцем и голубыми жилками, большие голубые искристые глаза и массу русых локонов, ниспадающих на ее белые плечики. И вот, когда опять я увидел ее сидящей рядом со мной на диване в той комнате, где умерла моя бабушка, я онемел, оцепенел от избытка того охватившего меня чувства, которое нельзя назвать ни страстью, ни даже любовью, а скорей благоговейным, дух захватывающим волнением. Я не смел ни заговорить громко, ни двинуться... А она смеялась, расспрашивала меня, брала меня за руку. Но не долго, не более года продолжалось такое мое настроение. Впрочем, прежде, чем перейду я не только к моему совершенному охлаждению к этому херувиму, но и к чувству, похожему на ненависть, расскажу, какое меня постигло горе.

Мы переехали на другую квартиру, с Введенской улицы на Дворянскую, в дом приход-

ского дьячка Якова. По-прежнему в доме было не более шести комнат: передняя, небольшая зала, гостиная, спальная моей матери, детская и девичья, или людская; по-прежнему кухня помещалась на дворе в отдельном строении (я не помню в Рязани ни одной квартиры с кухней рядом с комнатами или в том же самом доме, где мы квартировали). Мать моя была беременна восьмым ребенком, но мы, дети, как кажется, мало обращали на это внимание. Раз весной вечером в залу, где мы играли, входит Гаретовская (жена учителя гимназии, постоянная повивальная бабушка при родах моей матери) и говорит нам: дети, не шумите, мама ваша очень больна. Хоть нам и не верилось, так как мама с нами обедала, но все же мы притихли и пошли спать. Не помню, в котором часу пополуночи кто-то стал будить меня. Раскрываю глаза -- в детской горит свеча; ребенок, сестра моя, сидит на своей постельке и испуганными глазами смотрит в сумрак слабо освещенной комнаты; надомною стоит няня, совсем одетая, со слезами на глазах... "Вставай! -- говорит она,-- мама твоя помирает, иди проститься с ней..." Меня

охватило ужасом, я вскочил с постели и как был босиком, в одной рубашке, бросился в спальную моей матери. Там я застал Гаретовскую, отца и моих теток. Мать мою в сидячем положении поддерживали под руки; глаза были закрыты, нижняя челюсть отвисла, и рот был как бы раскрыт, но это не выражало собой ни ее крика, ни ее удивления,-- это выражало что-то особенное -- смерть. Меня не допустили броситься и обнять ее; я упал на колени перед образом и стал молиться... Я стал просить бога о том, чтобы он воскресил мать мою. Вся эта сцена была отчасти воспроизведена мною в романе "Признания Сергея Чалыгина", хотя мать Чалыгина несколько, ни на волос, не похожа была на мать мою. Ее смерть тоже обрисована иначе, так как мать моя умерла от родов (в эту ночь родился младший брат мой Павел), а госпожа Чалыгина от простуды и душевных потрясений. В этом романе обстановка тоже совершенно иная, ибо действие происходит в Петербурге, в конце царствования Александра I. Когда я начал печатать этот роман в "Литературной библиотеке", одна газета уверяла публику,

что я начал свою автобиографию, что очень польстило моему авторскому самолюбию. Все в романе этом сочинено, кроме наблюдения над своим собственным развитием в детстве и кроме анализа чувств, действительно мною в детстве испытанных.

Мать мою похоронили в Ольговом монастыре в двенадцати верстах от Рязани по столбовой Астраханской дороге. Почему почтовую дорогу на Орел и Воронеж называли тогда Астраханской, так же как и заставу города, так же как и улицу, которая вела к этой заставе,-- не знаю.

Ни о моих слезах, ни о моем отчаянии я говорить не стану... Скажу только, что страшно пугало и тревожило мое воображение -- это мысль, что мать моя была похоронена живая, так как я еще накануне похорон видел на ее щеках румянец. Эта мысль была так ужасна, что не давала мне спать, и я старался не думать.

XIX

Все почти иначе пошло после смерти моей матери. Отец мой был еще с нами и, по

обыкновенно, не говоря ни слова, ходил из угла в угол. Большая двухспальная кровать стала нашим ложем, так как в детской поместилась кормилица с новорожденным Павлом, сестра моя... и брат мой Петр, которому, я полагаю, не было еще четырех лет. Прошло лето, прошла зима. В эту зиму уже не было у нас и в помине тех игр, которые затевали мы на старой квартире. Здесь кстати упомяну я и об этих играх. Мы, старшие братья, уговаривались в продолжении целой недели копить всякого рода сласти, даже просили давать нам чай вприкуску и прятали в карманы куски сахара. Мало того, мы собирали огарки от восковых свеч у образов и тоже прятали, и вот, когда наступало воскресенье и когда наши няньки уходили к заутрени, я просыпался, и у нас, в одной из кроватей устраивался пир, угощение и освещение восковыми огарками. При этом я рассказывал братьям моим волшебные сказки. Задняя стенка моей кровати очень была похожа на дверку; я уверял их, что за этой дверкой живет волшебник, описывал им его черты, его дочерей и мои похождения. Что такое я им рассказывал, хоть

убейте, не могу себе даже представить, но, должно быть, все это было настолько занимательно, что все не только меня слушали, но и верили мне. Подушка была нашим столом, все мы сидели вокруг, поджавши ноги, и не только лакомились, даже пили какое-то нами самими изобретенное вино (помню, как одну склянку с таким вином мы велели Николке вынести на мороз, как он забыл нам принести ее, как наше питье превратилось в куски льда и как склянка при этом лопнула). Одного я не могу припомнить, куда и как прикрепляли мы зажженные огарки. Мы были так глупы, что и не подозревали, как были опасны наши затеи: мы не только могли испортить наши желудки, поедая натошак конфеты, финики, сахар и всякую всячину, мы могли нашими огарками поджечь полог и произвести пожар. К счастью, мать раз нечаянно рано утром зашла к нам в детскую, увидела наше пиршество и запретила навсегда такого рода нелепое воскресное времяпровождение.

Все подобные вышеизложенные пиршества уже не приходили мне в голову с тех пор, как мы лишились матери. Я помню целые ча-

сы унынья, жажду уйти в монастырь или в лес -- спастись, и затем нечто вроде сомнения... Как! иногда я думал: неужели во мне и настолько нет веры, что я не мог моею горячей молитвой воскресить мать мою?!

Чтение давно уже было моим любимым занятием. В это время я читал какой-то старинный сборник рассказов, повестей и стихотворений, напечатанный в два столбца и озаглавленный -- не помню именно как озаглавленный. Напишу, если справлюсь в публичной библиотеке.

Наступила новая весна. Отец мой готовился в дальний путь -- за Кавказ на службу. Тетка Вера и Анна Яковлевна Кафтыревы, в отсутствие отца, принимали нас на свое попечение. Мы должны были переселиться в их, бывший бабушкин дом, на той же Дворянской улице. Перед своим отъездом отец отдал меня в первый класс четырехклассной рязанской гимназии. Потом он уехал. К теткам мы еще не перебрались и жили на той же квартире под надзором Матрены или, лучше сказать, без всякого надзора.

Тут у меня завелось новое знакомство, и

это заметно стало развлекать меня. Между нашей квартирой и соседним домом был пустой закоулок с следами двух гряд, заросших травой и притоптанных людьми, которые тут развешивали белье свое. У забора росли две вербы; на закоулок этот из соседнего дома выходило окошко. В этом окошке стало появляться личико мальчика, бледного, худенького, с остреньким носиком и веселыми глазками. Я стал через заднее крыльцо выбегать и с ним разговаривать. Раз я зарядил порохом детское шведской работы охотничье ружьецо, пришел в закоулок и спросил соседа, можно ли стрелять. Он засмеялся и сказал: стреляйте... Я выстрелил в забор. В окне за мальчиком появилось новое лицо, смугло-красное, как медь, четырехугольное, с отвислым подбородком и выпуклыми глазами. Это был отец мальчика, старик Кублицкий, вдовец-помещик и порядочный пьянчуга. Узнавши, что это я выстрелил, он стал пугать меня полицией, стыдить и мне жестоко выговаривать. Я, конечно, верил, что за мой выстрел меня, чего доброго, могут взять в полицию, и внутренне встревожился, но, слава богу, на улице не

было ни души, а тем паче не обреталось ни одного буточника, ни одного квартального. От Матрены, однако ж, мне тоже досталось порядком.

Раз я зашел в сад и чрез плетень познакомился с соседним мальчиком Мишей. Он мне очень понравился. Я перелез к нему в другой сад чрез низенький дощатый заборик и тотчас же поступил в его армию. У него была сабля, у меня ружье, у его слуги-мальчика палка и барабан -- все, что нужно для маршировки, команды и воинственных замыслов.

Но и литературные вкусы, и любовь к чтению тоже отчасти сближали нас. Раз я прочитал ему стихи свои, которые начинались так:

Природа-мать нежна,
Моря, небеса,
Луга ароматны,
Поля и леса.

Дальше не помню. Эти стишки очень понравились Мише, и он за это дал прочесть мне стихи своего двоюродного брата -- тоже

Кублицкого. Это был какой-то набор слов, но и в этом наборе слов я старался подметить нечто и желал познакомиться с автором.

XX

Чтоб познакомиться с автором, надо было ехать в деревню к родному дяде Миши Кублицкого, и эту поездку он обещал мне устроить, то есть выхлопотать у отца позволение взять лошадей и небольшие крытые дрожки. Кажется мне, что по поводу этой поездки я и заходил на двор к Кублицким и видел отца его, похаживавшего по двору и в халате нараспашку распекавшего крепостных людей и покуривающего коротенькую трубочку. Старик картавил, как бы сюсюкал, беспрестанно сплевывал в сторону и, посмеиваясь, выставлял наружу свои кривые, до черноты закоптелые зубы. Почему-то старик, несмотря на мой выстрел, благоволил ко мне и, как мне помнится, только при мне дал Мише согласие на нашу поездку (деревня была от Рязани неподалеку).

Никогда не забуду я этой поездки. Дядю Миши застали мы в зале за длинным семей-

ным обеденным столом. Он был тоже в халате, лицо у него было обрюзглое и покрытое седой щетиной. Он ел за троих. В комнате сильно пахло щами и чиненным кашей бараньим боком. Мишин дядя посадил нас за стол и ворчал и посмеивался в одно и то же время. Семья его (а в том числе и юный черноглазый поэт, испитой отрок лет четырнадцати) сидели молча. Слышалось только чавканье да стук ножей и вилок. По углам залы стояли на коленках босоногие грязные мальчишки; лакеи, подающие кушанья, были с продранными локтями. Вся эта сцена, достойная щедринской сатиры, показалась мне омерзительной. В особенности сцена, когда хозяин за обедом подозвал одного из мальчишек и стал кормить его оплеухами. Я ждал конца нашей трапезы, как узник -- свободы. Даже знакомиться с поэтом прошла у меня всякая охота. Кажется мне, что после обеда мы скоро уехали...

Миша посмеивался над дядей.

-- Что делать, братец мой,-- говорил он,-- свинья-то он свинья! Из свиней свинья... ну, да что же делать!..

Я дал себе слово никогда не ездить в деревню к дяде Миши Кублицкого.

Если бы мне суждено было быть сатириком, я бы из моей поездки вынес немало наблюдений и подробности не ускользнули бы от моего внимания. Но я был слишком, так сказать, субъективен для того, чтобы останавливаться на темных или грязных сторонах действительности. Только то, что влекло меня, скорее всего запечатлевалось в моей, к сожалению, односторонней памяти. Какие-нибудь жонглеры -- тех я помню лучше, чем тысячи таких нравственных уродов, каким показался мне Мишин дядя и каких немало встречал я на жизненном пути своем.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мы предлагаем читателю воспоминания Полонского в том порядке, в каком отражены в них этапы его долгой жизни -- от детства к гимназическим и университетским годам и, наконец, к летним месяцам 1881 года, когда поэт жил в имении И. С. Тургенева Спаское-Лутовиново и записал свои беседы с ним. В русской печати конца XIX века они по-

являлись в ином порядке -- в том, в каком были написаны. Самые ранние публикуемые мемуары -- "И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину" -- относятся к последнему периоду жизни и самого поэта, вот почему ими завершается раздел воспоминаний, да и книга в целом.

Воспоминаний о времени, протекшем после университетских лет до 1881 года, когда Полонский гостил у Тургенева, Полонский не публиковал. Этот пропуск отчасти восполнен в неопубликованных мемуарах, сохранившихся в архиве Полонского ("Кой-что из моего былого" // Рукописный отдел ИРЛИ АН СССР), в публикации отрывков из воспоминаний (Голос минувшего. 1919. No 1), а также в его дневнике, частично напечатанном в том же журнале (1918. No 1--4; полностью дневник с записями 1856--1860 годов хранится в ЦГАЛИ СССР). Интерес представляют также напечатанные в "Голосе минувшего" (1917. No 11--12) воспоминания А. О. Смирновой-Россет, когда-то фрейлины, "черноокой Росети", которой посвящали свои стихи и Пушкин, и Жуковский, и Вяземский, -- воспоминания эти за-

писаны Полонским во время бесед с А. О. Смирновой, в семье которой он служил гувернером в 1856--1857 годах. Мемуарный материал есть также в статье Полонского "К биографии Н. В. Успенского" (Исторический вестник. 1898. No 4) и -- в меньшей степени -- в статье "Л. А. Мей как человек и писатель" (Русский вестник. 1896. No 9).

Старина и мое детство

Воспоминания опубликованы в "Русском вестнике" (1890, NoNo 2, 6 и 1891, No 5). Воспоминания эти написаны по просьбе редактора "Русского вестника" Ф. Н. Берга. "...Сознаюсь, как трудно даже прозой все это описывать, не впадая в фальшивую ноту",-- писал Полонский А. В. Жиркевичу 17 мая 1890 года (Письма Я. П. Полонского к А. В. Жиркевичу / Публикация И. А. Покровской // Русская литература. 1970. No 2. С. 130).

Как и в художественной прозе, Полонский-мемуарист в психологических наблюдениях широко пользуется литературными цитатами, явными и скрытыми, особенно из произведений любимого им Пушкина.

"Иных уж нет, а те далече..." -- строка из восьмой главы "Евгения Онегина".

"Или разыгранный Фрейшиц / Перстами робких учениц..." -- строки из третьей главы "Евгения Онегина".

Обращаясь к описанию своего детства, проведенного в провинциальном городе крепостнической России, Полонский вспоминает Салтыкова (Щедрина), его "рассказы", написанные в "сатирическом тоне", в которых были отражены нравы крепостной эпохи -- здесь он имеет в виду в основном "Пошехонскую старину" (1887--1889). Само слово "старина" в заглавии воспоминаний Полонского, возможно, навеяно этим произведением.

Таинственные узоры, которые грезились поэту в детские годы при ночной темноте, сравниваются с "глазками и лапками" на материи, причем Полонский прямо ссылается на речь героини "Мертвых душ" Гоголя (у Гоголя, в IX главе, это "просто приятная дама").

Описывая дом своей бабушки А. В. Кафтыревой, жившей при Екатерине II (именно тогда, по указу 1778 года, город Переяс-

лавль-Рязанский стал называться Рязанью), Полонский называет писателей, романы которых горой лежали на ее комодe. В их числе были: Анна Радклиф (1764--1823), писавшая в жанре "готического романа", построенного на раскрытии "ужасной тайны"; Ф.-Г. Дюкре-Дюменель (1761--1819), автор нравоучительных сентиментальных повестей и романов; А. Лафонтен (1759--1831), плодовитый романист, автор мелодраматических произведений на "семейные" сюжеты (именно его имел в виду Пушкин в главе четвертой "Евгения Онегина", уподобляя домашнюю жизнь "ряду уютительных картин" и роману "во вкусе Лафонтена"); мадам Жанлис (М.-Ф. Дюкре де Сент-Обен, 1746--1830) -- очень популярная писательница, автор увлекательных романов из светской жизни.

При описании дворовых мемуарист вспоминает "типы -- вроде гоголевского Селифана, Осипа, Петрушки". Это кучер Селифан и лакей Чичикова Петрушка в "Мертвых душах", лакей Хлестакова Осип в "Ревизоре".

Полонский сохранил в памяти первые прочитанные им книги. Из менее известных произведений это комедии П. А. Плавильщикова (1760--1830); волшебная сказка "Русалка"; стихи князя И. М. Долгорукого (1764--1823, в тексте у Полонского: Долгоруков, надо: Долгорукий) , подражавшего Карамзину; сказки И. И. Дмитриева (1760--1837) -- очевидно, "Филемон и Бавкида", "Модная жена", "Воздушные башни" (вошли в Сочинения И. И. Дмитриева. Т. 2. М., 1810).

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

(Н*ачало грамотности и гимназия)*
И

Год восшествия на престол императора Николая I был чуть ли не первым годом, когда я стал учиться грамоте. Купили мне азбуку с лубочными картинками и, вероятно, в числе учеников, заканчивающих учебу свое в Рязанской семинарии, нашли учителя.

К моему немалому успокоению, первый учитель мой, Иван Васильевич Волков, был нрава веселого, очень ласковый и, сколько

мне помнится, начал с того, что притворно удивился, как это я, такой маленький мальчуган, знаю уже названия букв: "Аз", "Буки", "Веди", "Глаголь", "Добро" и т. д.

Я скоро перестал его бояться и так любил, что с нетерпением дожидался той минуты, когда он появится. Уроки наши происходили в гостиной. Я сидел на диване, а Иван Васильевич возле меня на краю большого овального стола. Иногда тут присутствовала и мать моя, очень довольная моими успехами и моею мало-помалу развивающеюся бойкостью.

Классной комнаты для детей, я думаю, не было во всей Рязани, даже в богатых домах. Но почему я начал учиться не в детской? А потому, полагаю, что в детскую надо было проходить или через заднее крыльцо, или через спальню моей матери. Допустить то или другое для юного семинариста, ставшего моим наставником, было не в нравах тогдашнего времени.

О преподавании азбуки по звуковому методу тогда еще и вопроса не было. Учили по старине. Старинное название букв, ныне все-

ми забытое, может быть, имело в себе некоторую силу действовать на воображение. Сужу по себе и, может быть, ошибаюсь. Для меня, шестилетнего ребенка, каждая буква была чем-то живым, выхва ченным из жизни.

Стоять "Фертом" (ф) значило стоять подбоченившись. Поставить на странице большой "Херь" (х) значило ее похерить. Чтобы был "Покой" (п), надо сверху накрыться; а иногда "Покой" (п) казался мне чем-то вроде ворот или дверки с перекладиной наверху, тогда как "Нашь" (н) был перегороден по самой серединке, чтобы к нашим никто пройти не мог.

Современная звуковая метода тем хороша, что действует на ум, каждое слово разлагает на гласные и согласные и указывает на их разницу в произношении. А, б, в, г... гораздо проще и, так сказать, рациональнее, чем Аз, Буки, Веди... но современная метода уже ни одною лишнею поговоркой не уснастит русской народной речи. "Это еще Буки", "Он Мыслете пишет", "Ижица -- розга близится" и т. п.

Если б Пушкин не учился так же, как я,

ему и в голову не могло бы прийти сравнение виселицы с Глаголем. А в моем "Кузнечике":

Знал он "Твердо" (т) "Слово" (с) и не верил в "Буки" (б) прямо вытекает из старинного произношения русских букв, и всякий русский поймет эту фразу, даже и не подозревая, что это каламбур.

Но всему свое время, и там, где старое преподавание не сумело отстоять себя, не следует к нему возвращаться, а там, где оно еще крепко держится, не следует порицать его.

Первые стихи, которые я затвердил наизусть с восторгом и наслаждением и потом долго забыть не мог, были стишки, помещенные в конце моей азбуки:

Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но и в стуже
Нам не хуже,
В зимний холод
Всякий молод.

Это были в то время стишки такие же неизбежные для каждой азбуки, как и

Науки юношей питают,
Отраду в старость подают.

Затем помню себя уже на новой квартире (в доме купца Гордеева на Воскресенской улице) и нового учителя -- плотного, долбоного семинариста с серыми, выпуклыми глазами, которые всякий раз, когда он краснел, почему-то щурились. Он учил меня и подраставшего брата грамматике, арифметике и священной истории. Мы уже и склоняли, и спрягали, и делали уже задачи на первые четыре правила. Прежний же учитель мой Иван Васильевич, вышедши из семинарии, поступил на службу в Рязанскую полицию, и я не раз потом встречал его в форме квартального надзирателя. Новый учитель, если не ошибаюсь, готовился быть дьяконом и, странное дело -- он, кажется, был не глуп, а все-таки однажды позволил нам ввести его в обман, и чем бы вы думали? -- гортанным гуденьем, которое как-то умели мы делать, не раскрывая рта и не показывая ни малейшего вида, что это делаем мы, подражая звону или гуденью да-

лекого колокола. Он вытянулся и стал прислушиваться. "Я говею,-- сказал он,-- мне пора... Никак к часам звонят". И ушел раньше времени, к немалому нашему удовольствию. Это я живо помню, так как я и до сих пор не могу понять, как можно было так ловко горлом подражать далекому гуденью благовеста и как можно было не догадываться, что это наша хитрость, а вовсе не благовест. Этот учитель -- прототип моего Глаголевского (в романе "Признания Чалыгина"). Не раз, в отсутствие моей матери, рассказывал он нашим нянькам разные легенды о святых, иногда приносил нам стихи про Венеру, Амура и прочих богов, шествующих куда-то в виде маскарадной процессии, и стихи про сатану, ад и проч.-- ужасающие диковины.

Все это не без впечатлений проходило по душе моей. В ранние годы моего детства я уже собирался бежать в пустыню, вырыть пещеру и в ней спастись. В особенности мне приятно было вообразить себя летящим в Иерусалим верхом на черте. "Господи!--думал я,-- как это будет поразительно, если я вдруг войду, и все, в особенности няня, увидят вокруг головы мо-

ей сияние!" Помнится мне, иногда по вечерам я забирался в угол, заставлял себя стульями и, спрятавшись ото всех, молился.

Учиться по-французски я начал еще при матери. Учить меня взялась жена учителя французского языка при тогдашней четырехклассной Рязанской гимназии, Александра Петровна Тюрберт.

Я сначала был ее единственным учеником, потом еще было двое, из которых один был по фамилии Ржевский. Все были приходящие. В то время я выходил из дому не иначе, как сопровождаемый нянькой Матреной, моей неразлучной спутницей по пустынным улицам г. Рязани, редко оглашаемым стуком экипажей. Иногда, например, вдоль улицы видишь поутру два-три человека, булочника да еще кучку мальчишек, бегущих в приходское училище,-- и затем ни души.

Рязанская гимназия в это время была еще на старом месте, на Астраханской улице, близ моста. Это было одним из самых видных каменных зданий в Рязани.

При гимназии были два двора: один большой квадратный двор, другой -- задний,

где я помню только какие-то сараи и ретирадные места. При входе на двор, направо, был задний фасад гимназии; прямо через двор двухэтажный деревянный флигель, где жил директор; налево длинная изба для сторожей, и в самом углу по диагонали стоял небольшой домик с двумя низенькими крыльцами под навесом.

И этот домик мне особенно памятен. С одной стороны его, вдоль окон, шел небольшой цветник, а с другой (за квартирой учителя Ставрова) шел обрыв или холмистый берег, спускающийся к Лыбеди. Тут были разбросаны дорожки, кусты, клумбы и даже, как кажется, была небольшая беседка. Мне редко удавалось заходить в этот садик, и при этом я должен добавить, что и садик, и гористый берег, и все, что я видел, казалось мне в сильно преувеличенном виде: обширнее, выше, привольнее, чем на самом деле.

К Александре Петровне Тюрберт я являлся по утрам и оставался при ней около двух часов, с 9 утра до 11, иногда до 12 часов.

Метод учения был самый простой и бесхитростный. Выучили читать, и тотчас же

стали задавать несколько французских слов для домашнего зазубривания.

Тут впервые я пришел в отчаяние от своей памяти.

Все мною читанное по-русски или слышанное: сказки и былины -- я, бывало, передавал с таким одушевлением и такими подробностями моей матери, что удивлял ее. Я знал уже наизусть множество стихов, по большей части старых русских романсов и песен, записанных рукой моей матери. У нее были целые тома этих рукописных сборников, этих народных песен и тогдашних модных романсов вроде "Звук унылый фортепяно", "Кинареечка любезна", "Я в пустыню удаляюсь", "Среди долины ровный" и проч. -- словом, весь репертуар этих, ныне забытых, песен, вся эта салонная старина с детства была уже известна мне и -- можете себе вообразить! -- очень мне нравилась.

Но вот задали мне выучить три французских слова: Dieu, Dieu le fils и Dieu le Saint Esprit {Бог, Бог-Сын... Бог-Дух Святой (фр.)}, и эти три слова долбил я весь день, весь вечер и часть ночи, лежа в постели рядом с матерью.

В особенности последнее слово казалось мне совершенно неодолимым, так как беспрестанно ускользало из моей памяти.

Всякому способному к языкам мальчику все это покажется смешно и невероятно. Но это было именно так, как я пишу, ибо я вовсе не намерен хвастаться тем, чего не было. При первой же пробе изучить иностранные языки я оказался бездарнейшим из бездарнейших и должен в этом сознаться. Конечно, у меня хватило настолько самолюбия и настойчивости, что кладовая для иностранных слов в мозгу моем значительно раздвинулась. Но, как бы то ни было, я никогда без некоторой зависти не мог слышать, как иным стоит только раз прочесть 30--40 слов на каком хотите языке, и все они сразу укладываются в мозгу и остаются там навсегда к услугам владельца.

Упомянуть же о степени моих способностей необходимо потому, что я описываю годы своего ученья.

Ученье по-французски состояло сначала в заучивании слов, потом разговоров, в диктовке и писании французских спряжений на

заданные глаголы. Никаких объяснений -- ни этимологических, ни синтаксических -- не было. Все это я сам должен был узнать из практики. Практика же постоянно была одна и та же: диалоги, диктовка и писание спряжений по всем наклонениям и временам. За все это ставились отметки в небольшой тетрадке в осьмушку:

-- Parfaitement bien, tres bien, bien, assez bien, mal и tres mal {Превосходно, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, плохо, очень плохо (фр.)}.

Теперь перейду к домашней характеристике. Помню, что, когда я в первый раз вернулся с урока домой, мать подарила мне деревянное яйцо, облитое воском и облепленное разноцветным бисером... Боже мой! Какою драгоценностью показался мне этот подарок! Это было в глазах моих таким сокровищем, что я долго не знал, куда мне и положить его, где прятать и как сохранять!

Учить уроки помогала мне мать: она знала по-французски, хотя и не говорила, по той простой причине, что и говорить было не с кем. Вообще в тогдашней Рязани я не слышал

вокруг себя -- ни дома, ни у родных, ни в гостях -- ни немецкого, ни французского говора. Даже у немца-доктора Григориуса в семье говорили только по-русски. Так тогдашняя Рязань отстала от моды и так в некотором отношении была непохожа на наши столичные города. Конечно, это продолжалось недолго. Воспитанницы Смольного монастыря, возвращаясь в свои рязанские семьи, скоро принесли с собой французский язык, а затем кое-где появилась и рождественская елка. По крайней мере, до 6-го класса гимназии я не видал ни одной подобной елки, даже понятия не имел о том, что это за штука.

Мадам Тюрберт была русская по происхождению. Это была женщина красивая, строгая, очень домовитая и всю семью свою держала в страхе и повиновении.

У нее были два сына и дочь, Софья Антоновна. Сыновья Александр и Петр уже были гимназистами. Дочь шестнадцати или семнадцати лет была очень милая, очень добрая бледнолицая девушка с тонким, несколько французским профилем и карими глазами. Это не мешало почтенной моей учительнице

иногда таскать ее за косу. Сыновья тоже ее побаивались. Я тоже ликовал душой, когда Александра Петровна почему-либо не могла со мной заниматься и поручала своей Софи выслушать мой урок, продиктовать или задать спряжение. Это необыкновенное счастье случалось со мною чаще всего накануне больших праздников, когда Александра Петровна отправлялась в баню или уходила в кухню печь куличи к пасхе или пряники к рождеству. Я по-детски очень любил эту Софи и уж знал наперед, что у нее не хватит духу поставить мне дурную отметку в журнале или пожаловаться на меня своей матери.

Эта Софи была так добра, что иногда позволяла мне отворять свой шкаф и рыться в нем. Что было на верхних полках этого шкафа -- я не помню; но на двух нижних помещались ее тетрадки и книги, все больше учебные; были, однако, и такие, которые привлекали меня своими картинками; так, между ними помню я большую, в четверть листа (in quarto), книгу, под заглавием "Животный мир, или Картины природы". Не помню заглавия, но до сих пор помню какого-то извиваю-

щегося змея, окрашенного в зеленовато-желтый цвет; да еще помню французскую книжку с повестью для детей под заглавием "Croque-Mitaine {"Пугало" (фр.)} ". Этот Крок-Митень, человек очень злой и безжалостный к детям, которых отдавали ему на исправление, сильно тревожил мое ребяческое воображение. Однажды, кажется, в отсутствие Софи, я раскрыл ее шкапик, присел к полу и, перебирая книги, нашел тетрадку, небольшую, в восьмую долю листа, рукописную, с оглавлением "Братья-разбойники". Я стал читать:

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,

.....

Удалых шайка собиралась и пр.

Пораженный увлекательностью и новизной стихов, я все забыл. Это было мое первое знакомство с Пушкиным. Пушкин в те далекие годы считался поэтом не вполне приличным. Молодежи в руки не давали стихов его. Но запрещенный плод казался дороже, как бы оправдывая стихи самого Пушкина:

Запретный плод нам подавай,
А без того нам рай не в рай.

По рукам гимназистов ходило немало рукописных поэм Пушкина. Так, не в печати, а в рукописных тетрадках впервые удалось мне прочесть и "Графа Нулина", и "Евгения Онегина", и не ранее, как я уже сам был гимназистом, и нередко в классах читал посторонние книги, когда на черной доске чертили мелом задачу или когда был я уверен, что меня уже не вызовут.

Припоминая об участии молоденькой Софи в моих французских уроках, не могу не сказать, чем все это кончилось.

Однажды я сидел в зале за уроком. Александра Петровна Тюрберт только что успела при мне причесать свои густые волнистые волосы, сидя у окна перед складным зеркалом (любой дьякон позавидовал бы изобилию темных волос ее), как вдруг в залу вошел с озабоченной миной директор (Николай Николаевич Семенов, недавно еще вступивший в свою должность, человек еще холостой и не

старый), вошел и, проговорив несколько французских фраз, сказал ей, что желает говорить с нею наедине.

Александра Петровна встала и, поморщившись, пошла с ним в среднюю комнату, которая отделяла залу от комнатки ее дочери.

Что они говорили, конечно, я не слыхал, да и не слушал. Как вдруг послышался вопль -- вопль, который испугал меня. Я тотчас же догадался, что Софи вылетела из своей комнаты, упала перед ними на колена и стала рыдать.

Что она бормотала сквозь слезы -- не знаю. Помню только, что мать стала за что-то стыдить и упрекать ее, но при этом голос ее был тих, и вообще она была гораздо сдержаннее, чем это бывало в такие минуты, когда она гневалась...

Кажется мне, что в это утро я кое-как дописал свои спряжения, что за мной пришла Матрена и я ушел домой без всякой отметки...

Затем я около недели не ходил на урок французского языка. Не помню, кто дал нам знать, что Софи опасно больна и что болезнь ее заразительна.

Говорили, что Софи на другой же день после описанной мною сцены заболела горячей. Через неделю ее не стало -- она умерла в беспомощности.

Какая душевная буря так внезапно и так страшно потрясла ее?

Я не был на ее похоронах; но весь этот день тосковал, не находил себе места.

Когда я подросток, я всячески старался объяснить себе, что бы такое мог говорить директор моей учительнице. Думал, что милая Софи, вероятно, была в кого-нибудь влюблена, или что директор застал ее в саду на свидании, -- думал, что ее переписка была перехвачена и он счел своею обязанностью предупредить мать. Был даже слух, что директор сам был неравнодушен к Софи и намерен был за нее свататься. Но, конечно, все это только догадки. Я привожу только факт, который оставил на мне сильное впечатление.

II

Мне, я думаю, было не более 11 лет, когда умерла мать моя. Здесь нехотят описывать обстоятельства, сопровождавшие смерть ее. Я

взялся для педагогического журнала "Русская Школа" рассказать только мои школьные годы или мои личные воспоминания о тогдашних преподавателях. Сожалею, что при этом память иногда изменяет мне, в особенности годы и имена не даются ей.

После смерти моей матери отец мой собирался в дальний путь на службу и отдал меня в гимназию. Директор Н. Н. Семенов единолично экзаменовал меня, и плохо сделанная задача с десятичными числами не помешала ему принять меня; ни о каких баллах или отметках даже и речи не было. Вскоре после отъезда отца моего я, братья и сестра переехали в дом моих родных теток Кафтыревых.

Император Николай I, проезжая через Рязань, посетил гимназию в ее старом помещении. Говорили, что при встрече с директором он воскликнул: "Ба! и ты, Семенов, попал в ученые!.." Я помню, это было или поздно осенью, или зимой. Меня разбудили утром, в седьмом часу, при свечах я одевался по форме, и еще не рассвело, когда я прибежал в гимназию. Государь приехал к нам рано, ка-

жется, не позднее 10 часов. В окно глядело тусклое утро, в классах было пасмурно.

Вид молодого государя, на приветствие которого мы отвечали: "Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!" -- произвел на меня глубокое впечатление. Точно полу-бог, что-то вроде Марса и Аполлона, олицетворение красоты и могущества, прошло перед моими глазами.

Помню, что мы не сбегали вниз на лестницу провожать его, а оставались на своих местах, сидели смирно и не шумели до тех пор, пока крики "ура!" на улице не подсказали нам, что государь сел в экипаж и уехал.

Я лучше начинаю помнить с тех пор, когда гимназия наша, уже семиклассная, перекочевала в дом, пожертвованный ей Н. Г. Рюминым, сыном рязанского откупщика, который, вероятно, добивался и добился звания попечителя Рязанской гимназии.

Но прежде чем приступлю я к очерку моих наставников, скажу несколько слов о тогдашних порядках в гимназии.

Утром классы начинались с 9 часов и кончались в полдень. После обеда с 2 часов и

до 5-ти. Далеко по городу разносился призывный звонок со двора гимназии; был еще и другой звонок в виде колокольчика из-под дуги, в который звонил сторож, прохаживаясь между классами в начале и конце каждого урока (то же, что и теперь). В старой гимназии перед учителем стоял столик на небольшом возвышении; в новой гимназии -- кафедра. В каждом классе был надзиратель (из учеников). Он сидел первым на первой скамье; на следующих скамьях до самой задней стены сидели тоже первыми с правой стороны помощники надзирателя. Все они были выбираемы или самим директором, или инспектором, и выбор этот вовсе не зависел от баллов или от успехов. Так, у того стола, где я очутился, помощником был Кильхен (очень красивый мальчик) только потому, что директор знал семью его и, так сказать, был уверен в его благовоспитанности.

Как надзиратель, так и его помощники обязаны были наблюдать за своими товарищами в то время, когда ожидался учитель. Нарушающих тишину и порядок они должны были записывать, и эти рапортчики подавать

или вошедшему учителю, или инспектору. Иногда на эти рапортчики не обращалось никакого внимания, иногда инспектор вызывал виноватых, читал им нотацию и ставил в угол.

Каждые полгода совершалась пересадка по счету баллов; но эта пересадка не касалась ни надзирателя, ни его помощников, хотя бы они по баллам своим и были понижены, они оставались на тех же местах.

Во время класса тот, кому нужно было выйти, поднимал руку и, получивши дозволение, бежал на задний двор. Иногда в трескучий двадцатипятиградусный мороз бегали мы туда без шинелей и возвращались как ни в чем не бывало. Ретирадные места не отличались своею опрятностью, и все дощатые стены их были покрыты разными надписями -- мелом, углем и чем попало -- самого скабрёзного свойства. Никто никогда туда не заходил; только раз гимназическое начальство пришло в великий конфуз, когда кто-то из прибывших ревизоров пожелал освидетельствовать и это, всеми заброшенное, из барочных досок сколоченное помещение. Нечего и

говорить о том, что о теперешних ватерклозетах во всей не только Рязани, но и в Москве никто не имел ни малейшего понятия.

Надзиратель самого старшего, седьмого, класса назывался уже старшиной и был, так сказать, надзирателем над учениками всей гимназии. Помню, как в рекреацию проходил он по всем классам, а иногда и не один, а со своими ассистентами, которые шли за ним, как адъютанты за генералом. Как нельзя лучше я помню повелительное лицо, поступь и осанку одного старшины К., перед которым мы расступались, прекращали драку и усаживались на места... Боже мой! какое это было лицо!.. Это был полководец, чем-то вроде Наполеона. Я тогда так и воображал себе, что он будет великим человеком. Но К. обманул мои надежды: он, как кажется, всю жизнь свою провел в московском клубе и всю душу свою отдал картам. Так ли ему повиновались тузы, короли и валеты, как мы -- для меня покрыто мраком неизвестности.

В гимназию, как и теперь, принимали детей всех сословий, кроме крепостного. Я не помню ни одного мальчика, который был бы

сыном лакея, кучера или повара. Ни один помещик того времени или барин не мог бы этого допустить по своим воззрениям. Что касается до нас, учеников, то между нами не было никакого сословного антагонизма. Дворяне сходились с мещанскими и купеческими детьми, иногда дружились, и так как мальчики низших сословий, в особенности самые бедные, нередко отличались своею памятью и прилежанием, случалось, что беднейшие из них брали на время учебные книжки у дворянских сынков, а дворянские сынки ездили к ним в их домишки готовить уроки или готовиться к экзаменам. Товарищество, вообще, было недурное, хотя жалобу на товарища никто не считал чем-то вопиющим или достойным порицания. Помню, один из учеников зажил у другого старинные серебряные часы. Как тот ни добивался от него возврата этих часов, ничего не добился и пожаловался инспектору Ляликову. На другой день часы были возвращены. Ляликов был прекрасный инспектор, строгий, умный и справедливый. Его и боялись, и уважали. Каждое слово его, несколько резкое, имело для нас воспитатель-

ное значение. Как теперь помню, он уверял нас и, разумеется, с авторитетом, не допускающим ни малейшего возражения, что слово "болярин" происходит от глагола "болеть", то есть только тот и болярин, кто болеет душой по своему отечеству. Он был, между прочим, великий истолкователь известной формулы -- православия, самодержавия и народности. Он был среднего роста, широкоплеч, черноволос, рябоват, с пронизательными черными глазами и таким голосом, к которому трудно прибрать эпитет; в нем была и сила и, так сказать, участливая холодность. Со всеми он был одинаков: у Ляликова не было ни любимчиков, ни антипатий; улыбки или смеха я не помню на лице его, но не помню и злости. Словом, это был человек, созданный для инспекторства. Ни на каком другом месте нельзя бы было и вообразить его. На все обращал он свое внимание: на волосы, на чистоту рук и ногтей, на неряшливое платье. Я помню, в то время, когда я уже кончал гимназию, по приказанию ли свыше или по своему собственному побуждению, он внезапно (иногда довольно поздно вечером) появлялся в квар-

тире того или другого ученика (хотя бы он жил и у родителей). Раз он меня застал у товарища Платонова (мещанина), осмотрел книги, какие у нас на столе, сказал, что в комнате душно, что ее нужно проветривать. Думаю, что не только ученики, но и отцы их и матери побаивались Ляликова, — ведь он мог застать у них и раскупоренный штоф водки, и пьяную компанию; хорошо еще, если при этом сынок их не будет присутствовать, а будет сидеть за перегородкой или у себя в светелке; а что, если и он будет тут же, в той же самой компании?! Ни тогда, когда я был учеником, ни после я не помню, чтобы кто-нибудь мог упрекнуть его в каком-нибудь безнравственном поступке, или в глупости, или даже в напрасной придирке. Не помню, был ли он женат и были ли у него дети? — может быть, и были; но в его квартире все было тихо и невозмутимо. В своем кабинете он постоянно сидел за книгой или за тогдашними журналами. Низки были окна его квартиры, но, проходя мимо, я не видал ни разу под ее сводами ни ломберного стола, озаренного двумя свечами, ни гостей.

Когда позднее, приезжая летом из Москвы, я студентом навестил его, он был очень вежлив, но говорил со мной так, как бы я и не выходил из гимназии.

Учитель математики Ставров был тоже своего рода феномен.

Когда входил он в класс, водворялась мертвая тишина. Высокий, худой, чахоточно-бледный, на тонких ногах, в узких брюках и постоянно в одном и том же черном фраке, почти что три четверти урока, а иногда и весь урок, ни на кого не глядя, он ходил по классу от одной стены до другой. У него были черные злые глаза, и горе тому ученику, на которого он бы уставился смотреть, так как за этим он бы непременно за вихры оттрепал его. Он жил в том же домике, на дворе старой гимназии, где жили и Тюрберты. Летом в открытые окна я не раз видал, как и дома он точно так же беспрерывно ходил из угла в угол. О чем он тогда думал? Господь его ведает! В классе он никогда не садился ни на стул, ни на кафедру. Если кого-нибудь вызывал он к доске делать задачу, то не иначе, как кивком головы или мимоходом, манием своего

длинного, худого пальца. Заслыша звонок, он отмечал в геометрии новую задачу или в физике новую страницу для выучки.

Ни у кого не было так легко ничего не знать и прекрасно отвечать уроки, как у этого Ставрова. Ученик, вызванный к доске, мог до самого конца вырисовывать мелом круг, стирать его и опять вырисовывать, словом, медлить,-- или делать задачу по записочке, переданной ему кем-либо из товарищей. Ставров никогда не оборачивался. Бывало, из физики я так отвечал ему урок свой: держась обеими руками за раскрытую книгу, я приподнимал ее, когда он проходил мимо, и за его спиной читал по книге то, что следует, слово в слово. И все так делали, и он ни разу этого не заметил. Раз я был виновником его гнева и трепки одного из моих сотоварищей. Бог знает, почему вдруг вздумалось мне как бы скандировать шаги его, повторяя за каждым его шагом:

Ходи браво,
Ходи -- ну!
Ну, ну, ну, ну, ну!

Ходи браво...

Ходи -- ну!

Это подслушал мой сосед, поляк Дембинский, сын рязанского почтмейстера, и, едва удерживая смех свой, стал за мной повторять "ходи браво". Смех постепенно сообщился всему классу. Я сам чуть не умер со смеху. Один из нас не утерпел и фыркнул. Ставров дрогнул, вытянулся, как журавль, подошел к фыркнувшему и вцепился в его волосы. "Ты чему, негодяй, ты чему, мерзавец, смеешься, а! Как ты смеешь смеяться, а?" Ставров бледнел от гнева, и глаза его сверкали, как угли.

Странный был это учитель. Казалось бы, при таком преподавании математики из нас никто бы не знал ее, но призванные к ней, как, например, Ершов, и после такого ученья, в университете заявил себя таким сильным математиком, что я не раз во дни моего студенчества слышал, что им гордится профессор Перевощикова и что ему прочат кафедру высшей алгебры. Был ли он потом где-нибудь профессором -- не знаю.

Знаю только про себя, что когда Ставров

стушевался (а может быть, и умер) и когда из Москвы явился новый учитель Егоров, я не был готов понимать его. Явились новые учебники (Перевощикова) и новый метод преподавания. Он сам первый выходил к доске и с мелом в руке пояснял и писал те формулы, которые мы должны были запомнить.

Я был одним из самых плохих учеников, хотя и умел решать уравнения 1-й и 2-й степени, но меня выручала физическая география. Егоров стал читать ее пространно и вдаваясь в астрономию. Он читал этот предмет, как читают лекции, и вместо того, чтобы спрашивать урок, задавал нам письменную работу, то есть мы должны были написать все выслушанное и на просмотр подавать ему. Его заметно удивляло, что мои записки были самые полные. Этот предмет интересовал меня, к тому же в библиотеке дяди нашлась одна книга, довольно подробно излагающая науку о звездах; правда, книга старинного покроя, но все же я мог при ее посредстве пополнять мои сведения. Чертить же карты сравнительной величины солнца и планет, их расстояния, фазисы луны, орбиты комет и т. п. было для

меня наслаждением. И не странно ли? Я забыл тройное правило, я бы не мог сделать ни одной сколько-нибудь сложной арифметической задачи, а понимал параллаксы, умел вычислять высоту треугольника по двум данным угла и из математической географии постоянно получал полный балл пять.

Между предметами гимназического преподавания была и естественная история, то есть краткая минералогия, ботаника и зоология. Предмет этот как-то появился и затем исчез. Может быть, после гимназической реформы он был устранен. Но так как я, вероятно, вступил в гимназию еще за год или за два до реформы, то помню одного чудака учителя, пожилого, темнолицего, с торчащими вокруг головы темными волосами, в очках и в классе сосущего не то леденец, не то лакрицу от кашля. Очень хорошо помню его серьезную темную физиономию и не помню его фамилии. Кажется, его фамилия была Воздвиженский; но это только кажется... в этом я не уверен... Заглавия книги с разрисованными таблицами в конце, которая служила нам руководством, я также не помню. Но раз я подал

учителю тетрадку с своими собственными рисунками минералов и показал ему тетрадь с сухими цветами и травами, которые я собирал и вставлял в прорезы бумаги, и с тех пор заслужил его особое расположение. Он пригласил меня к себе в воскресенье, и когда я пришел к нему, принес мне какую-то книгу с рисунками, приготовил мне краски и кисти и заставил меня срисовывать, как теперь помню, фонтан минеральной воды, выбивавшийся из-под земли в виде кипятка.

Моя попытка срисовать такой рисунок оказалась ниже всякой критики. Он сам взял кисть и стал поправлять.

Затем я еще раз или два был у него и что-то рассматривал, не то раковины, не то окаменелости, и что-то прочитывал по его рекомендации; но что именно -- не помню.

Он немного тратил слов, был порывисто-лаконичен, несколько даже грубоват; но почему-то очень любил меня. Если ему вообразалось, что я со временем сделаюсь отчаянным натуралистом, то, к сожалению, я не оправдал надежд его.

Всеобщую историю сначала читал у нас

некто Тарасов, старик седой и плешивый, круглолицый, с большим и мягким подбородком (всегда, конечно, выбритым); старик такой добродушный, что никто его не боялся. Весь класс как-то сдержанно гудел, когда он садился на свое учительское место и начинал преподавать. Думаю, что еще никто таким сказочным тоном не читал историю.

-- Ну вот,-- говорил он, приглаживая ладонью остатки волос своих, загнутых в виде тоненьких прядей с висков и затылка на лоснящуюся середину лысины,-- поехал Колумб открывать Америку. Ну вот, сел на корабль и поехал... Ехал, ехал -- много дней прошло -- не видать земли... Ну вот, что делать? -- не видать, да и только... Матросы бунтуют... дескать, вези нас назад, не то мы все погибнем... Что прикажете?.. Ну вот и говорит им Колумб: повремените маленько, коли через трое суток земля не покажется -- делайте со мною что хотите. А не прошло и суток, как с палубы раздался крик: "Земля, земля!"... Ну, значит, радость,-- кто богу молится от радости, кто к ногам Колумба припадает, руки его целуют.

Вот в каком роде преподавал нам старик

всеобщую историю.

Я в это время возымел привычку в классе жевать бумагу. Заметил это Тарасов, и раз, прерывая рассказ свой, приговорил:

-- А подайте Полонскому клочок сена, а то, что это он все жвачку свою жует.

Весь класс загудел от смеха. Я покраснел, как рак, и перестал жевать бумагу.

Но с переездом гимназии в другое помещение, кроме Егорова, появился и новый учитель истории. Это был некто Панютин, человек уже далеко не молодой, болезненный, с синеватыми жилками и сильною желтизной под большими выпуклыми глазами, и без ноги. Он ходил на костылях и на деревяшке. Когда мы его ожидали, далеко было слышно, как стучит в пол деревянная нога его. Отчего он был хром и имел такой жалостный вид -- этот вопрос никому из нас не приходил в голову. Весьма вероятно, что Панютин был просто образованный человек, бедный раненый офицер в отставке и получил место учителя истории не столько ради его сведений, сколько ради его беспомощного положения по протекции, -- тогда это случалось.

Но каких бы он ни был сведений, преподавание истории пошло совершенно иначе, так как, заметно, он знал свой предмет и занимался им. Конечно, уроки задавались по книге, но рассказы его были серьезнее, так сказать, более походили на историю, чем рассказы почтеннейшего Тарасова. Он так же, как и Егоров, задавал нам темы для писанья. Раз я подал ему одно сочинение, которое почему-то заканчивалось восклицанием: "И будет прахом прах!" По какому поводу, каким логическим путем я дошел до такого восклицания -- ей-ей, не помню, не только не помню, но даже и вообразить себе не могу; помню только, что этой фразой я сильно огорчил Панютина. "Ах!-- жаловался он мне,-- что это вы такое написали?! Помилуйте!.. Прах! -- почему же прах? Откуда вам пришло это в голову! Зачем такое разочарование, помилуйте!!"

И право, слушая его, мне было совестно и стыдно, что написал я такую неподходящую, дикую фразу. Уж не было ли это сочинение на тему: что такое история, и не показалось ли мне, что современная нам историческая жизнь народов когда-нибудь дождетя участи

древних, полузабытых восточных царств, лежащих в развалинах, и что вся наша земная жизнь через тысячелетия окажется прахом. Не помню. Помню только одно: своим ранним пессимизмом я огорчил Панютина как человека нервного, впечатлительного и несомненно идеалиста.

К чести его я должен сказать, что мое нелепое сочинение нисколько мне не повредило. Он продолжал относиться ко мне с прежнею добротой и прежним вниманием. Теперь в гимназии за такое сочинение наверно поставили бы единицу без всяких жалостных слов. Но Панютин, к счастью моему, за такие эксперименты никаких баллов никому не ставил. Может быть, он просто задавал свои темы только для того, чтобы лучше уловить нравственную физиономию учеников и степень их умственного развития. Словом, поступал не как ученый, а как человек просто гуманный и образованный.

Пространный катехизис Филарета стал преподавать нам старший священник церкви "Николы Дворянского", отец Стефан. Уроки его почти ничем не отличались, но это был

такой красавец, каких я редко встречал на веку своем, и у него был такой приятный тембр голоса, что его заслушивались, когда в церкви он читал Евангелие или пел молитвы своим тенором. Его походка, его темные вьющиеся волосы, его щегольская ряса, его манеры, его улыбка -- все изобличало в нем что-то в высшей степени уравновешенное. Между всеми рязанскими попами он был джентльмен в полном смысле этого слова. Во всей его натуре была какая-то своеобразная, неуловимая гармония. Любой художник почел бы за великое счастье списать с головы его голову пророка или апостола. Но тогда в Рязани не было никаких художников, а о фотографии даже и не гадал никто. Прихожане не только любили отца Стефана -- гордились им. Я тоже был его прихожанином и в то же время учеником по гимназии.

Раз, в 5-м классе, он задал всему классу вопрос, отчего бедному Лазарю не дозволено было с лона Авраамова сойти в ад и облегчить участь богатого Лазаря, который взывал к нему? Все молчали. "Ну, что вы скажете?" -- спросил он меня. Я ответил наудачу: "Если бы

всем святым дозволил бог помогать грешным, все бы они сошли в ад помогать им, и правосудие божие было бы нарушено".

Отец Стефан выслушал ответ мой, подошел к кафедре, где лежала книга для записывания разных учительских заметок, и написал, что я ответом своим доказал ему свое остроумие (или что-то в этом роде). Цела ли эта книга? И вообще, что такое писалось в этой книге? Кем она была заведена? Был ли какой-нибудь результат от такого нововведения? Не помню. Я бы и теперь забыл о ней, если б отец Стефан не польстил моему самолюбию. Может быть, книга эта была придумана самим директором, а потом раздумана. В 7-м, последнем, классе я уже не помню такой книги. Но при Семенове было время каких-то внезапных выдумок или педагогических фантазий.

Раз он вошел к нам в 5-й класс и обратился к нам с такою речью: "А умеете ли вы, господа, хорошо говорить? Я задам вам тему, и вы тотчас начнете говорить, но так, чтоб это было складно и даже красиво. Попов, начните говорить на тему: "ученье -- свет, неученье --

тъма". Попов был одним из первых учеников, но оказался плохим импровизатором речей. Никем из нас директор не остался доволен; но, как кажется, не шутя хотел заставить нас упражняться в красноречии, точно он предчувствовал, что мы доживем до адвокатских, застольных и юбилейных речей. Но в то время и из этой попытки ровно ничего не вышло — никакого красноречия!

Вскоре после выхода моего из гимназии отец Стефан заболел тифом и умер во цвете лет своих. Чуть ли не вся Рязань была у него на похоронах, и не было такой барыни, не было такой нищей старухи, которая бы в этот день не плакала. Это был человек, который никому не старался нравиться и всем нравился. Неотразимо привлекательная была библейская, молодая красота его, звучный голос, величавая простота, легкая, почти неслышная походка, не скажу и ум, потому что не нужно было иметь много ума, чтобы в то время казаться умным в глазах рязанского обывателя.

Ни древние, ни новые языки не процветали в то время в Рязанской гимназии.

Учитель немецкого языка Бок, серьезный и солидный немец, превосходно говоривший по-русски, задавал нам по главе из немецкой этимологии или из синтаксиса. В 6-м классе он заставлял нас выучивать наизусть баллады Шиллера; в 7-м классе давал переводить с русского на немецкий или перелагать немецкие стихи на немецкую прозу. В классе он по двое вызывал к кафедре и спрашивал урок.

Все его уважали, боялись, но плохо учились. Кто раньше не знал немецкого языка или не обладал замечательной памятью, ничему не выучился в гимназии.

Этот Бок был семейный человек и жил у нас по соседству.

Кажется, у Бока были взрослые дочери, из которых одна бежала и вышла за кого-то замуж -- такие были тогда в Рязани слухи, и я не ручаюсь за их достоверность. Бок был человек мыслящий и, как кажется, глубоко презирал тогдашнюю крепостную Россию. Помню, как он язвительно хохотал, когда при нем зашла речь о какой-то реформе. "Возможно ли чего-либо подобного ждать для России?.. Ха, ха, ха!" Еще помню одно его выражение:

"Россия -- орел, который так наклевался всякой всячины, что у него от этого живот заболит. Есть такое пророчество -- это не я говорю..."

Вот все, что я помню об этом строгом и прямодушном немце.

Антон Тюрберт, у жены которого я брал уроки французского языка, скоро уехал в Москву или Петербург с женой своей. У него в Рязани умер и меньший сын его Петр; остался только старший -- Александр, который в это время, быть может, уже кончал свое ученье в Московском университете, а может быть, уже и кончил. Вероятно, старики не хотели жить с ним врозь: Александр остался у них единственным. Тюрберта впоследствии заменило новое лицо, некто Барбе -- француз, не успевший еще выучиться по-русски. Это был маленький, подвижный, средних лет человек, не бледный, а белый как молоко, с черными блестящими глазками, по характеру добрый, но подозрительный и не столько вспыльчивый, сколько раздражительный. Ничего не стоило заставить его смеяться, и пустяками можно было рассердить его. Он приехал в Ря-

зань с семьей, и ему была отведена квартира в здании старой гимназии (там же, где были квартиры и прочих учителей). Прежде всего Барбе стал исправлять наш выговор. Сначала мы читали вслух Телемака, а потом того же Телемака стали петь. Весь класс хором должен был читать одно и то же, растягивая каждый слог, с перерывами, то есть начиная новый слог не иначе, как по мановению руки учителя, который стоял посреди класса, точно дирижер, и в такт махал рукой.

Можете сами вообразить, как далеко было слышно, когда все мы, человек 30--40, разом выкликивали: "Ca-li-psy ne rouvait..." {"Калипсо не могла..." (фр.)} или другую фразу.

Барбе был уверен, что он тут-то и поймает на месте преступления того из нас, который не умеет выговаривать по-французски, как следует, и действительно, он вдруг оставивал хор и нападал на того или другого ученика, крича: "Э! ты, голубчик, стой, стой! Ты что тут-там. Repetez... leur! leur! leur! {"Повтори... их! их! их! (фр.)} Э, я все слышу... тут-там". Это "тут-там" он почему-то употреблял беспрестанно, особенно когда горячился.

Добившись от виноватого настоящего произношения "leur", он опять начинал дирижировать, махая рукой, сгибаясь и распрямляясь, и прислушиваясь, и исподлобья поглядывая то направо, то налево, то на самую заднюю скамейку.

Не знаю, в какой степени это было полезно, но это было оригинально. В соседних классах так и раздавался этот членораздельный хоровой крик; так уж все и знали, что это Барбе урок дает.

Вся задача тогдашнего преподавания языков была только в том, чтобы мы понимали то, что читаем по-латыни, по-немецки или по-французски; о выговоре мало заботились, и никогда не упражняли нас в переводе с русского языка на латинский, немецкий или французский. Барбе, я думаю, первый принялся за выговор. Недаром мы вышли из гимназии, не имея никакого понятия об истории французской литературы: много-много, что мы знали о Расине, о Лафонтене, да кое-что о Вольтере. Конечно, кого интересовала французская литература и кто мог читать по-французски, благодаря домашнему воспитанию,

тот знал гораздо больше того, что у нас успевали узнать, переводя Телемака на язык, почти что непонятный нашему учителю, то есть на русский.

Вне классов, на улице или у себя на квартире Барбе был очень любезен, даже весел, иногда даже, говоря с каким-нибудь учеником, лукаво ему подмигивал. Но в гимназии, оттого ли, что многого он не понимал, ему воображалось, что его не уважают или над ним смеются, и вот что раз случилось: между нашими классами и залом были и пустые комнаты, и переходы, вроде коротеньких коридоров. В одном из этих проходов топилась печка. В рекреацию товарищ мой Кильхен, уже юноша очень серьезный и порядочно самолюбивый, проходя мимо печки, взял в руки железную кочергу и не заметил, что в это время проходил Барбе. Барбе шел к нам в класс, увидал его с кочергой и убежал.

Поднялась история. Только что приехал директор, Барбе пожаловался ему, что Кильхен, ученик 6-го класса, хотел ударить его кочергой.

Директор Семенов появился у нас в клас-

се разгневанный донельзя. Он кричал на Кильхена и на весь класс; он грозил нам, что всех отдаст под красную шапку, то есть в солдаты (что тогда считалось чем-то вроде уголовного наказания). Кильхен оправдывался.

-- Нет! Э! нет! -- горячился Барбе.-- Нет, тут-там держал ти кочерга? Держал?!

-- Держал,-- признавался Кильхен.

-- А, держал! А зачем держал?

-- Пробовал, тяжела ли она.

-- А зачем пробовал?

-- Да не затем, конечно, чтоб вас бить. Ничего такого и в голову мне не приходило.

Не помню всей сцены до конца. Знаю только, что директор утих, Барбе успокоился. Кильхен нехотя перед ним извинился за то, что так неумышленно причинил ему такое великое беспокойство, и затем все пошло по старому.

Спрашивается: мог ли бы нас в то время директор отдать под красную шапку? Мы верили, что мог бы, если бы захотел: пожаловался бы на нас министру, министр доложил бы царю, а царь мог бы наказать нас, если бы мы действительно вздумали поколотить учи-

теля. Но никому, кроме подозрительного и трусливого Барбе, не могла бы и в голову прийти такая напраслина. Думаю, что сам директор скоро понял, что со стороны Барбе это было не что иное, как простое недоразумение.

Что сказать еще о Барбе -- не помню. Давно это было...

III

Припоминая своих гимназических учителей, я вовсе не имею претензии изобразить их такими, какими они были в действительности, или уяснить, почему именно учили нас так, а не иначе. В моих воспоминаниях я не творец и не художник, а только собиратель того, что мелькает в моей памяти. В ней, конечно, осталось немного, а то, что осталось, не изгладилось из моих воспоминаний только потому, что не раз приходилось мне припоминать то, что казалось мне или очень дурным, или очень хорошим, или то, что в мои школьные годы иовторялось часто, как, например, вечные прогулки учителя Ставрова в классе от стены до стены, или то, что сильно

меня поразило, как, например, странный случай с Софи и неожиданная смерть ее.

Вот еще учитель рисования К. И. Босс. Я до сих пор, спустя более полувека, не забыл ни лица его, ни фигуры, ни голоса: это был уже пожилой человек, почти старик, сероглазый блондин, с несколько отвислыми щеками, толстенький, на двух проворных ногах; не забыл, что звук "э!" слышался довольно часто, когда он говорил. Это "э!" в устах его было и вопросительною, и отрицательною, и пренебрежительною, и выражающею нетерпеливую досаду частицей речи. Я никогда не видел его ни улыбающимся, ни смеющимся -- он не шутил.

Сам Босс никогда ничего не рисовал, но у него был порядочный глазомер. Известно, что в юности своей был он ламповщиком -- золотил лампы и чертил на них узоры (вероятно, по жести) и раз так угодил своим мастерством рязанскому генерал-губернатору Балашову, что тот тотчас же рекомендовал его гимназическому начальству, которое, конечно, не смело отказать такой особе и зачислило его в гимназию в качестве учителя рисова-

ния.

В своей казенной небольшой квартире, в самом нижнем этаже старой гимназии, с дверью со двора и состоящей только из двух маленьких комнаток (исключая перегородки, за которою стояла кровать его), он содержал и маленькую школу рисования, и маленькую лавочку. У него, помнится мне, постоянно встречал я двух учеников, двух не то мещанских, не то крепостных мальчиков, отданных ему на выучку.

И он учил своих мальчиков так, как никто теперь учить не умеет. Он сначала выучивал их владеть циркулем, чертить круги и решетки, потом тотчас же давал срисовывать очерки голов, рук и ног, и за малейшую их ошибку в контуре или неправильности бил их беспощадно. Они боялись его, как черта, и мало-помалу, из страха трепки, выучивались делать хорошие копии карандашом и акварелью. Мы, гимназисты, обязаны были брать у него оригинал (какую-нибудь литографированную голову, наклеенную на папку), покупать бумагу, карандаши, резины, растушевки и клей для наклеивания подмоченной бумаги

на доску. Иной лавочки или магазина, где бы можно было все это приобрести, мы не знали, да, может быть, и не было такой лавки во всей Рязани, где бы продавались черные итальянские карандаши или рисовальная бумага. Стало быть, за это торгашество и нет причины строго осуждать почтенного Босса. Вероятно, жалованье его было мизерное, и нужно было поневоле и учить крепостных мальчишек писать копии с картин да плохие портреты, и заниматься торговлей.

Еще ранее моего поступления в гимназию мать моя, видя мою охоту к рисованию, пригласила Босса и затем стала по воскресеньям посылать к нему учиться, но, увидя, что я дальше линий и кругов не подвигаюсь и что без побоев никаких успехов не будет, велела мне отнести Боссу 10 рублей ассигнациями и перестать ходить к нему.

Кто знает, быть может, это прекращение уроков было не по нутру почтенному немцу, и, когда я поступил в гимназию, он этого не забыл.

Несмотря на всю мою любовь и охоту к рисованию, Босс нисколько не поощрял меня

-- задавал мне очень трудные, штрихами оттушеванные головы и требовал, чтобы все было и верно, и хорошо.

Чтоб не делать абриса на глаз, все мы, прежде чем наклеить бумагу, клали ее на рисунок так, чтобы она не сдвигалась, и, быстро отворачивая край бумаги, чертили на ней абрис подложенного под нее рисунка. Очень ловко мы эту штуку проделывали; смятая бумага тотчас же вытягивалась, высыхая на доске. Рисовать же мы должны были дома, а в классе только продолжать свою тушевку. Многие из моих сотоварищей были великие мастера передавать тушевку перекрещенными линиями, снимать хлебом слишком темные пятна и зарисовывать слишком светлые блики; но никто из них от этих упражнений не сделался рисовальщиком. Один Боклевский, который вышел из гимназии гораздо раньше, чем я, в зрелые года свои проявил талант свой -- типами Гоголя.

Однажды мне довелось срисовывать голову старика в шапке, -- голову, которую почему-то мы называли головой Мазепы. Во время урока Босс подошел ко мне, заглянул в рису-

нок и стал кричать на меня за то, что я, будто бы, нацарапал в тушевке. Я сказал ему, что я не виноват, что попался такой черный карандаш, который не чертит, а царапает. Босс так взбесился, что ударил меня по лицу. Я вскрикнул и заплакал.

Я еще продолжал плакать, как директор вошел в класс. Увидя меня плачущим, он что-то спросил Босса;

Босс что-то вполголоса отвечал ему. "На колени!" -- сказал директор; я стал на колени. Директор вышел.

Пришедши домой, я, разумеется, не скрывал моего горя; это был первый удар, который я получил со дня моего рождения -- никогда никто не бил меня, я даже не знал, что такое розга... Можете же вообразить, как этот удар потряс меня.

С тех пор прошел месяц, а может быть, и два месяца. Вдруг в одно воскресное утро докладывают моей тетке (и моей крестной матери) Вере Яковлевне Кафтыревой, что приехал Семенов. Он у нас никогда не был, и это несколько удивило нас.

Тетка вышла к нему в гостиную.

-- Скажите, пожалуйста,-- начал директор,-- вы на меня жаловались?

-- Никогда,-- отвечала Кафтырева.

-- Что же это значит??

И Семенов признался ей, что от министра просвещения он получил строжайший выговор за дурное обращение учителя Босса с учениками гимназии.

Как это произошло? -- я долго понять не мог. Помню только, что этот выговор из-за меня сильно взволновал меня. Я не радовался; напротив, мне было больно.

Оказалось, что тетка моя писала к отцу, который в это время по службе своей был в Одессе. Письмо с почты с известием о поступке г. Босса и моем отречении от рисования случайно было отнесено и подано моему отцу не на его квартире, а в гостях, где он играл в карты; между играющими был и какой-то граф Витте. Увидя, что письмо, прочитанное отцом моим, его расстроило, граф спросил его: что случилось? -- и тот рассказал ему мой случай с Боссом. Ни слова не говоря моему отцу, граф Витте написал об этом министру (если не ошибаюсь, графу Уварову). Министр

прислал выговор Семенову. Вот как все это просто произошло и какой это подняло переполох в нашей гимназии.

С тех пор до самого выхода моего из гимназии Босс ни разу не подошел ко мне в классе; напротив, как-то торопливо пробежал мимо и заглядывал в доски к другим ученикам. Я совершенно перестал рисовать и часто сидел в классе рисования с закрытою доской, ровно ничего не делая. Очень возможно, что я и поневоле не мог рисовать. Видя, что учитель даже и смотреть на меня не хочет, я, конечно, не имел духу идти к нему на квартиру и покупать у него материалы: бумагу, карандаши и проч.

Тут я должен заметить, что, когда при гимназии основался пансион, Босс едва ли не сделался при этом пансионе экономом и главным смотрителем. Я не раз видел, как вел он попарно учеников в столовую и как он на них покрикивал. Я слышал, что ученики были им довольны, что некоторые его любили и что в пансионе как кормление учеников, так и экипировка были весьма удовлетворительны.

Значит, и Босс имел в себе некоторые до-

стоинства,— умолчать об этом было бы несправедливо.

С кем в гимназии проходил я латинскую грамматику -- совершенно улетучилось из моей памяти. Помню, как я заучивал склонения и спряжения, и не помню, кому отвечал уроки. Не потому ли это, что при моем поступлении в гимназию учителя латинского языка не было и уроки этого языка приходил к нам в класс задавать кто-нибудь из числа других преподавателей? Не Тарасов ли, учитель истории? Но когда раз, вернувшись с вакации в Рязань, мы, в конце августа, очутились в новом здании с помещением для пансионеров и с классами, на которых еще лежала печать барских хором,— дорогие обои, золоченые багеты, двери из дуба или красного дерева с бронзовыми ручками и проч., и проч.,— стали появляться и новые учителя: В. и вслед за ним Яновский, преподаватели латинского языка, Н., учитель греческого языка, и Н. В. Титов, преподаватель словесности.

Из них только Яновский и Титов играли некоторую роль в моем развитии. Вот почему я и помню имена их. От остальных только ли-

ца, фигура и голос сохранились в моих воспоминаниях, и сохранились с такою ясностью, что, кажется, я мог бы нарисовать их, если бы умел.

Вообразите себе невысокого пожилого человека, черноволосого, с худым бледным лицом, со свинцовыми тенями на щеках и подбородке и с небольшими, робко выглядывающими черными глазками. Вообразите тип несколько еврейский, но духовного звания и, если не ошибаюсь, кончившего курс в духовной академии. Его голос, его походка, робкие взгляды исподлобья и детская улыбка -- все показывало в нем человека нервного, сильно чем-то расстроенного, почти помешанного. Таков был В. Он был очень религиозен, каждое воскресенье можно было видеть его в церкви, у задней стены, стоящим на коленях и закрывающим лицо свое шапкой. Наши дворовые знали его и не могли не замечать его в углу церкви, когда он от всех прятал лицо свое. Бледные губы его иногда шевелились, точно он молча с кем-то невидимым разговаривал. Я и даже младший брат мой скоро сошлись с ним на совершенно прия-

тельскую ногу. Иногда он приглашал нас к себе вечером чай пить и умолял остаться ночевать. Я раза два ночевал у него за перегородкой, а он не спал и боялся огонь гасить. На мой вопрос: чего он боится? -- он сознавался, что по ночам он слышит треск и ему кажется, что стены рухнут и его задавят.

Хоть он и превосходно знал по-латыни, но не латынь его занимала, а еврейский язык. Он постоянно читал еврейских пророков. Еврейские стихи приводили его в восторженное умиление. Он, захлебываясь, не раз говорил мне, что тут каждое двустипие включает в себе и мотив, и аккомпанемент к нему, точно на инструменте играют две руки, из которых левая берет аккорды и только усиливает впечатление, пополняет звуки, извлекаемые правой рукой.

Насколько справедливо это замечание -- не могу судить.

Вообще человек он был очень странный, какой-то фантастический. Он и в классах вел себя своеобразно, часто вдавался в фантазматическую и по-своему объяснял явления природы. Так, раз он, таинственно улыбаясь, разъ-

яснил нам, почему бог дал такую-то шерсть зайцу, такую-то медведю, такую-то лисице. Все же учение заключалось в писании на доске мелом какой-нибудь латинской буквы, в переводе ее и разборе этимологическом или синтаксическом. Затем строк 10 переводили мы из Цезаря.

Дурных баллов он никому не ставил. Когда он был в классе -- я не помню, чтоб был шум или какие-нибудь шалости. Он был интересен, как человек какой-то особенный, как какой-то схимник во фраке. Все знали, что он постоянно постится и что едва ли женщины имеют для него какое бы то ни было значение -- он на них не обращал ни малейшего внимания.

В. был у нас не долго -- два года или полтора, не более. Лет через 6 или 7 я встретил его в Москве около Заиконоспасского монастыря. Он был в очень потертом сюртуке, лицо его показалось мне опухлым, от него пахло водкой. Я узнал его и заговорил с ним. Он исподлобья вглядывался в меня и что-то припоминал; в это время монастырский послушник, который сопровождал его, толкал его

под руку и куда-то торопил... Чем кончилась жизнь этого не совсем мне понятного человека? -- не ведаю.

Я уже был в последних классах, когда появился у нас другой учитель латинского языка, некто Яновский.

Это был человек, диаметрально противоположный В. Толстенький, большеголовый, с лысиной, рябоватый, с носом в виде сливы, всегда веселый, живой, очень образованный и, несмотря на то, что он смотрел маленьким Фальстафом, идеалист и эстетик.

Возвращаясь домой из гимназии, он тотчас облакался в бухарский халат и прикрывал свою лысину ермолкой. Я часто заставлял его именно в таком виде, но он не церемонился.

Как учитель, он был дорогой для меня человек: он первый осмыслил свое преподавание, первый показал нам, почему именно латинский язык необходим для нас; он первый заставил нас подозревать, какие поэтические красоты и какие совершенства скрываются в римских классиках. Мы стали переводить и Цицерона, и Горация, и Тита Ливия, и Virgi-

лия. В поэтах он обращал внимание на размер стиха и на особенности этого размера, на меткость эпитетов, на сжатость формы, на силу некоторых выражений, ставших афоризмами. Всем этим он сам восхищался, а потому и сообщал нам свой восторг. Я чуть не плакал, сознавая, до какой степени я мало еще знаю по-латыни. Я стал брать уроки у благовещенского священника, к которому ездил по вечерам, и доставалось же мне от него! Но он был не только недоволен мной -- он был недоволен вообще упадком латыни в семинариях. "Так ли мы знали в наше время!" -- говорил он. Глаза у него были серые, строгие, борода редкая, рыжеватая. Так, только с помощью посторонних уроков я мог порядочно учиться у Яновского, и, спасибо ему, он обращал на меня особенное внимание и ценил мое запоздалое рвение.

Иногда в городском саду он сажал меня возле себя на скамейку, спрашивал, что я читаю, не написал ли еще каких-нибудь стихов, и восхищался стихами Бенедиктова. Бенедиктов был в великой славе. Каждое вновь появляющееся его стихотворение тотчас же заучи-

валось наизусть. Он всех подкупал новизной размеров и звучностью стиха. Звуки эти действительно были новы и не напоминали собой ни Пушкина, ни Баратынского. К сожалению, по большей части это были только звуки; но тогда никто не думал о содержании и не анализировал того, что нравилось. Пушкин отходил на задний план; про него даже студенты говорили, что он выдохся, что даже рифмы ему изменили (немногие понимали силу и красоту белых стихов его). Про "Песни западных славян" говорили, что эти песни ниже всякой критики.

Яновский, классик Яновский, и тот поклонился Бенедиктову! Я стал ему подражать и очень благодарен судьбе за такое подражание. Оно научило меня искать гармонического сочетания слов или подслушать такие звуки, каких я и не подозревал. Забытый нами Бенедиктов конструкцией стихов своих, вероятно, и на Лермонтова произвел некоторое влияние. Так, например, его "Дары Терека" по своему тону напоминают стих Бенедиктова.

Несколько иначе относился к этому поэту наш новый учитель словесности -- Нико-

лай Васильевич Титов. Он находил его так же, как и Марлинского, вычурным.

Титов кончил курс в Московском университете и, как фаворит известного профессора литературы И. И. Давидова (некоторые уверяли, побочный сын его), был прислан к нам в Рязань в качестве учителя и, если не ошибаюсь, стал фаворитом и нашего директора. Это был красивый молодой человек, высокий, блондин, стройный, живой, всегда одетый по последней моде, светский по своим манерам; словом, не только между нашими рязанскими учителями, между всею рязанскою молодежью он казался денди и привлек к себе всеобщее внимание; все стали приглашать его: не было бала, не было вечера, где бы не было Титова. В него влюблялись, на него засматривались и побаивались его остроумия. Слышал я, что и он был неравнодушен к одной княжне К-ой. Жениться на ней ему не удалось -- родители на брак не соглашались. Будь он офицер, была бы еще некоторая возможность; но княжне стать учительшей -- невозможно! Как мне кажется, это не очень мучило Титова. Мне передавали в одном доме, будто он ска-

зал: "Не признайся я самому себе, что я влюблен, никакой бы любви и не было..." Недаром, когда Титов появился в Рязани, я воображал, что вот точь-в-точь такой был Евгений Онегин Пушкина.

Нашел ли меня Титов в 5-м классе -- не помню, знаю только, что в 6-м и 7-м классах гимназии он уже был моим любимым учителем и, смею сказать, я стал любимым учеником его. Титов терпеть не мог зубрил. "Они головой трясут, когда отвечают, а кто головой трясет, наверно, дурак",-- замечал он. Титов любил самостоятельность. Я не мог не казаться ему развитее других, потому что все читал, что относится к словесности или к литературе: и лекции Давидова, и Плаксина, и Глаголева, и даже отчасти Востокова, то есть изучал не одну риторику Кошанского, которая была нашим учебником. Титов любил, когда я к нему заходил и иногда читал ему свои подражания Бенедиктову. Чаще всего я встречал у него Яновского. Они и смеялись, когда я им что-нибудь свое читал, и рукоплескали мне. Быть может, я их смешил своею наивностью и пленял их своим чистосердечием.

Однажды, когда я уходил от них, Яновский сказал мне, что он до тех пор меня не отпустит, пока я не скажу ему по-латыни какого-нибудь приветствия. Не помню, что мне пришло в голову, какой-то латинский афоризм, который я тотчас же и произнес, и тотчас же пустился бежать, сопровождаемый криками "браво!" и хохотом.

Титов не раз стыдил меня за грамматические ошибки в моих сочинениях (я был на них великий мастер и не скоро научился машинально писать -- где е, где ?). Но эти ошибки не имели никакого влияния на мои баллы: я постоянно по словесности получал 5 (в настоящее время я получал бы единицы и не поступил бы в университет).

Чтение посторонних книг не раз меня выручало в гимназии. Когда я был в шестом классе, в Рязань прислан был Министерством просвещения профессор Надеждин ревизовать гимназию. Во всех классах Надеждин оставался по целым часам и делал пробные экзамены. Нас экзаменовал он из древней истории, и мне пришлось отвечать ему о египетских фараонах, о религии и нравах егип-

тян. Я вспомнил все, что прочел в одном из томов когда-то пресловутого Ролленя, два раза переведенного пресловутым Тредьяковским, и изложил Надеждину историю Египта с такими анекдотическими подробностями, что получил 5 и особенную благодарность от директора. Откуда я все это взял? -- спрашивали меня товарищи.-- Ничего этого в нашем учебнике нет.-- Я, разумеется, не скрывался, что меня выручил старый Роллень, без всякой критики изложивший в своей истории все басни, все, что только было известно о Египте (по Геродоту и иным источникам).

Перед проездом через Рязань наследника-цесаревича Александра Николаевича (почившего императора Александра II) директор Семенов позвал меня и поручил мне написать приветственные стихи, так чтобы один куплет можно было проговорить изустно, а другой пропеть на голос: "Боже, Царя храни!"

Я охотно взялся за это дело и порядочно над этими стихами помучился.

В то время у нас завелись свои певчие; учить нас приходил какой-то регент (не соборный ли дьякон?). Уроки происходили в пу-

стой, без всякой мебели комнате старой, нами покинутой гимназии. Я тоже хотел учиться петь. Но голос мой, очевидно, был никуда не годен; меня допускали к ученью только по моей неотступной просьбе. Скоро наш гимназический хор стал появляться на клиросе нашей приходской церкви "Николы Дворянского". Каждое воскресенье мы пели за обедней. Между нами лучшим басом был единственный писарь, состоящий при нашей гимназической канцелярии. Лучшим дискантом -- друг мой, Александр Красницкий. У него был удивительный голос. Когда он пел, дамы и девицы, стоявшие в церкви, переглядывались -- дескать, откуда такое чудо! Я гордился им настолько же, насколько и любил его. (Под именем Красинского я упомянул о нем в рассказе "Груня" и отчасти в рассказе "Дом в деревне").

Этому-то хору и поручено было петь стихи мои, то есть те два куплета, которые были написаны на голос "Боже, Царя храни!".

Когда приехал наследник-цесаревич, ни чтения стихов, ни пения не состоялось. Должно быть, на это не последовало разрешения. Посещая наш класс, Его Высочество оставался

недолго -- прослушал только чтение по-французски одного из моих товарищей Ржевского. Французский учитель был бледен от волнения и потом долго восторгался красотой цесаревича.

Вечером того же дня дворянство давало бал августейшему гостю, бал в Рюминой роще, на даче у Н. Г. Рюмина. Я собрался идти в эту рощу смотреть иллюминацию, глядеть в окна и слушать роговую музыку; но только что я вышел за ворота, встретил сторожа, который сообщил мне приказание немедленно явиться к директору. Меня это озадачило. Зачем, думаю, я понадобился?!

Директор в то время жил уже не на дворе старой гимназии, а рядом с ней, через улицу, в большом деревянном доме.

Когда я вошел в переднюю, мне указали на лестницу в коридоре и сказали: "Ступайте наверх".

Наверху, то есть на антресолях, было, как кажется, две комнаты. В первой из них, пустой, я остановился. В другой слышались голоса -- там были, очевидно, гости и стоял дым от трубок. Кто-то доложил о моем приходе. И

вот, вижу я, выходит ко мне высокий, полный, несколько сутулый, мне совершенно незнакомый господин... Этот господин был Василий Андреевич Жуковский. Он сказал мне, что стихи мои ему очень понравились, что наследник благодарит меня и жалует меня золотыми часами.

На другой день отъезда наследника-цесаревича в актовой зале новой гимназии был молебен в присутствии всех учителей и всех классов, потом прочтена была какая-то бумага с упоминанием моей фамилии и затем был мне вручен футляр с небольшими золотыми часами, покрытыми эмалированными цветами, по большей части незабудками.

Чтобы вполне воссоздать со всеми подробностями это нежданное мною событие, нужно немало бумаги и времени. Скажу только, что высочайшая награда обратила на меня внимание всей Рязани. Я был недоволен своими стихами, а рязанские барыни распустили слух, что это не я сам их сочинил, а мои тетеньки (!). Вскоре после отъезда наследника я был приглашен на обед к рязанскому предводителю дворянства, а затем на обед к пред-

седателю казенной палаты Княжевичу, брату бывшего министра финансов. От архиепископа Евгения прислана была мне печатная проповедь с надписью: "Пииту Полонскому. А. Евгений".

Перейдя в 7-й класс, я был сделан старшиной, то есть надзирателем за всеми учениками гимназии, и, несмотря на это, я не помню со стороны моих товарищей ни малейшего проявления вражды или зависти. Как старшина, я, конечно, не был похож на великого человека, каким казался мне тот старшина, которого застал я при моем поступлении в гимназию. Говорят, скромность паче гордости; если это справедливо, то, не хвастаясь, могу сказать, что сходя в нижний этаж, где помещались 1-й и 2-й классы и по крайней мере сотня мальчиков, я постоянно был окружаем улыбающимися шалунами и водворял тишину после звонка, до прихода учителя, во все не строгостью, а тем, что меня любили. При этом (ничего не скрывая) считаю нужным сообщить, что, как старшина, я иногда злоупотреблял в свою пользу своим правом удаляться из своего класса во время рекреа-

ции; когда я плохо знал урок и боялся, что меня вызовут и спросят, я медлил возвращаться в свой класс: я знал, что если по списку вызовут меня, а меня не окажется, то вызовут кого-нибудь другого. Я это вспоминаю только потому, что меня за это мучила совесть. Никто тогда и не подозревал моей хитрости, так же как и теперь никто не толкал меня на это признание. Но, почему я знаю, может, оно и пригодится какому-нибудь педагогу в доказательство, как было безнравственно и нерационально назначать в надзиратели одного из учеников гимназии. Я привожу только факты, но с педагогами спорить не буду.

Вот еще один факт, которого до сих пор я забыть не могу -- до такой степени он тогда взволновал меня. Раз меня призывает Ляликов, инспектор, и говорит: "Вы знаете, где живет отец Слаутинского?" -- "Близ церкви Бориса и Глеба в собственном доме".-- "Ступайте к отцу и скажите ему, что сын его исключен из гимназии".

Хотя Слаутинский и был ниже классом, хоть я и мало знал его, но такое поручение сильно меня огорошило. Я должен был испол-

нить роль бумаги или письменного извещения самого неприятного содержания. Тяжело мне было поехать в дом для того, чтобы поразить старого отца. У меня дрожали колена, когда толстый, рыхлый старик, с водянистыми выпуклыми глазами, седой и лысый, в халате вышел ко мне в переднюю, не подозревая, зачем я пришел к нему. Заикаясь, я передал ему, что мне было велено. Несчастный отец весь задрожал и стал плакаться на судьбу свою.

Степан Тимофеевич Слаутинский, впоследствии замечательно даровитый повестователь, был исключен из гимназии не за лень, не за шалость, а за свои амуры. Говорят, что на него жаловался отец одной девушки, и, вероятно, недаром: я не раз видел Слаутинского по вечерам, стоящего на тротуаре и разговаривающего с какою-то девушкой в окно. Не успели его исключить, как он уже увез ее и на ней женился.

Впоследствии с Слаутинским мы были приятели, почти друзья. У меня немало его писем. Всю свою жизнь до старости он оставался человеком страстно увлекающимся и

женщинами, и картами, и поэзией, и даже службой. В то же время он был и практическим дельцом, и горячим патриотом, и правдивым повествователем. Его воспоминания, помещенные в "Историческом Вестнике", по моему мнению, могут быть поставлены на ряду с "Семейною хроникой" С. Аксакова, но, как кажется, публика, никем не руководимая, на эти записки, полные драматизма и бытовых картин старого крепостного времени, не обратила никакого внимания.

Хорошо ли поступил со мной Ляликов, давая такое поручение -- пусть об этом судят гг. педагоги. Конечно, у инспектора была своя (тогдашняя) точка зрения, да, видно, и тогдашнюю канцелярию, состоящую при гимназии, не заставляли много писать. Очевидно, что для Ляликова я был то же, что теперешняя бумага за номером, под казенною печатью; а что происходило в душе моей -- этого он, конечно, и подозревать не мог.

Случалось, что, по болезни, у нас в классе не было учителя. Тогда приходил к нам Ляликов, приносил с собой какой-нибудь русский журнал того времени, приказывал читать ту

статью, которую он отметил, и уходил. Когда он уходил, кто-нибудь из нас читал статью вслух. Мы слушали, и не знаю, как другие, про себя же скажу, я мало понимал из того, что читалось: статьи ли, выбираемые Ляликовым, были написаны тяжелым и неудобопонятным языком, или я был еще недостаточно развит для того, чтобы понимать их. Едва ли, впрочем, и другие понимали, так как лучшие из учеников нашего класса иногда приходили ко мне просить растолковать им урок из логики Бахмана. Значит, я, плохой ученик, мог легче понимать то, что ставило их в тупик, и это льстило моему самолюбию гораздо больше, чем приглашения на обеды к рязанским сановникам.

Я был еще в гимназии, когда прочел в "Молве" известие о смерти А. С. Пушкина. Помню черную каемку в газете и слова: "Закапилось солнце нашей поэзии -- Пушкина не стало". Все современники Пушкина (за исключением Каченовского и ему подобных) увлекались его стихами, в особенности его "Бахчисарайским фонтаном" и "Полтавой", но никто еще не дорос до понимания его значе-

ния в нашей литературе. Белинский, первый поклонившийся Пушкину как великому художнику, еще только что начинал свое поприще.

Я ничего не написал об учителе греческого языка. Греческий язык стал вводиться в нашей гимназии года за 2 или за 3 до моего выхода. Как нельзя лучше помню учителя греческого языка: плотного и рябого, человека очень доброго, сильно размахивающего руками, сильно щурящегося, задающего нам греческие склонения и спряжения и заставляющего нас учить наизусть стихи Гомера. Но я не помню его фамилии. О моей памяти или способности к языкам я уже сообщал вам; из этого заключайте сами, долго ли все греческое держалось в голове моей.

На медаль перед выпуском нам задано было сочинение: разбор оды "Фелица" Державина. Не помню, что я написал, видел только где-то тетрадь свою, поданную в совет, с надписью инспектора "Concordia cordis et oris" {Союз чувства и слова (лат.)}. Медали же, как кажется, никто из нас не получил. Полагаю, что и тема эта -- "Разбор оды Державина" --

была не из удачных -- давала слишком мало материала.

Физическое развитие, которым в наше время так справедливо озабочено Министерство народного просвещения, не входило в планы тогдашней гимназии. Я, по природе худой, безмускульный, длинный мальчик, беспрестанно страдающий от головных и зубных болей, если и окреп физически, то этим обязан я был отчасти самому себе, отчасти тому, что каждое лето на вакацию ездил в деревню своей тетки, Евлампии Яковлевны Плюсковой (Острая Лука Спасского уезда), и много там бегал и лазил с своими двоюродными братьями; отчасти дяде своему, которому вздумалось учить нас верховой езде. Помню, как на одном потнике, без седла, верхом на каретной лошади, гонял меня на корде отставной солдат-гусар и как он хлопал бичом, иногда задевая меня по ноге, так что я чуть не кричал от боли. И наконец, моим прогулкам верхом за городом, когда я выучился хорошо ездить. Так, я помню, не раз случалось мне по воскресеньям, весной, скакать за 12 верст от Рязани в Ольгов монастырь, на могилу моей

матери.

Вот что помогло мне укрепить мои физические силы, за неимением гимнастики.

Но была ли она особенно нужна в то время, когда ученье никого почти не утомляло, даже мне было по плечу, несмотря на мои незавидные способности? Тогда не требовали от ученика, чтобы он во всем преуспевал одинаково. Так, между гимназистами моего времени был и наш будущий ученый Александр Николаевич Попов, но едва ли он хорошо знал по-гречески. Так, между нами был Ершов, будущий математик, любимый студент Перевощикова, но едва ли Ершов был словесником. Так, Вадим Иванович Васильев, ныне здравствующий, сотоварищ мой по гимназии, едва ли бы математиком, но зато до сих пор он говорит свободно по-латыни и не далее, как года два тому назад, в Лондоне беседовал с знаменитым Гладстоном о греческих классиках.

Теперь же на разнообразие способностей не обращается никакого внимания. Теперь я бы не мог и кончить гимназического курса уже потому, что был великий мастер на грам-

матические ошибки. Я и теперь делаю их по рассеянности и сам исправляю их, перечитывая то, что написано. Иногда не только знаки препинания -- целые слоги выскакивают из слов или пропускаются, когда мысль обгоняет перо. За эти ошибки в мое время не раз меня и Титов высмеивал, но за это баллов мне не сбавлял, и когда я поступил в Московский университет студентом, получив 1 за алгебру, и написал ему письмо, извещая его и Яновского, что из словесности на экзаменах в Москве я получил 5, а из латыни 3, он и Яновский радовались так, как будто я был родной их сын, за участь которого они сильно беспокоились.

ПРИМЕЧАНИЯ

Школьные годы

(Начало грамотности и гимназия)

Эти воспоминания при жизни Полонского были напечатаны дважды: впервые -- в петербургском журнале "Русская школа" (1890. NoNo 1 и 2. С. 75--94 и 6--19) и -- повторно -- в Трудах Рязанской ученой архивной комиссии за 1890 год (Рязань. No 5 и 6. С. 59--68 и 85-91).

Начало воспоминаний о гимназических годах развивает рассказ о первых прочитанных книгах и упоминания мадам Тюрберт, обучавшей Полонского французскому языку, в главах XII и XIV "Старины и моего детства".

Полонский сожалеет о замене звуковым методом (то есть по непосредственному звуковому значению букв: а, б, в и т. д.) старинного метода обучения чтению -- по славянским названиям букв (то есть: аз, буки, веди и т. д.). Замена эта произошла приблизительно с середины XIX века. Ко времени написания этих воспоминаний в России произошло также некоторое упрощение грамматических форм письма (так называемая реформа Я. К. Грота, сформулированная в его труде "Русское правописание". Спб., 1885). Поэтому вопрос, поднятый Полонским, несмотря на чисто поэтическую мотивировку сожаления (утрата образности), представлял интерес для читателей такого серьезного педагогического журнала, каким была "Русская школа". По Гроту, кстати, было сохранено написание букв ижица, фита, ять, что вызывало недовольство

многих учителей, так как их употребление не было регламентировано и представляло трудности для преподавания.

Полонский вспоминает, что Пушкин сравнивал виселицу с глаголом. Сравнение это -- из стихотворения "Альфонс садится на коня...":

"Кругом пустыня, дичь и голь...
А впереди торчит глаголь.
И на глаголе том два тела
Висят."

Воспоминания "Школьные годы" чрезвычайно богаты подробностями быта провинциальной гимназии, отдельными интересными фактами. Так, Полонский описывает посещение Рязанской гимназии в 1837 году поэтом В. А. Жуковским в качестве воспитателя цесаревича, будущего Александра II (поэт всю жизнь гордился тем, что Жуковскому понравились его стихи, сочиненные по этому случаю). Приезжал для ревизии гимназии в начале 1830-х годов и профессор Московского университета, уроженец Рязанской губернии Н. И. Надеж-

дин.

Оду М. В. Ломоносова 1747 года на восшествие на престол Елизаветы Петровны Полонский цитирует неточно. Надо:

"Науки юношей питают,
Отраду старым подают."

Рассказывая о чтении гимназистами произведений Пушкина, ходивших в рукописях, Полонский не совсем точно приводит строки.

"Запретный плод вам подавай;
А без того вам рай не в рай," --

так в "Евгении Онегине" (восьмая глава).

По воспоминаниям Полонского видно, как сложно было отношение публики к поэзии Пушкина в начале 1830-х годов, даже тогда, когда стихи и поэмы его читались с опаской -- и не по печатным изданиям, а по спискам, распространявшимся тайно. Выл момент, когда "звучные" стихи Бенедиктова оттесняли в сознании молодого поколения пушкинскую поэзию.

Некролог Пушкина был напечатан не в "Молве", как пишет Полонский, а в "Литературных прибавлениях" к "Русскому инвалиду" (1837. 30 янв.) и начинался так: "Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!" (автор -- В. Ф. Одоевский).

В характеристике инспектора гимназии Ляликова Полонский держится объективного тона, но наблюдения его выдают тип монархиста, рьяно служившего "на благо отечества". Формула "православие, самодержавие, народность", которую растолковывал гимназистам этот "человек, созданный для инспекторства", была провозглашена в 1832 году, то есть в самом начале обучения Полонского в гимназии, товарищем министра народного образования С. С. Уваровым (ставшим через год министром). В докладе Николаю I, толкуя смысл этой формулы, он писал, что в ней -- "последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества". Отсюда и старание инспектора всеми средствами, пусть фальсификацией этимологии

слова "болярин", проповедовать защиту отечества.

Учитель французского языка Барбе заставлял гимназистов хором читать начало романа Фенелона (1652--1715) "Приключения Телемака" (1699): "Калипсо не могла утешиться после отъезда Улисса". Для своего философско-политического романа Фенелон воспользовался сюжетом из античной мифологии -- о том, как нимфа Калипсо продержала Одиссея (Улисса) в своем прекрасном гроте семь лет, но не сумела заставить его забыть родину и отпустила домой.

Среди трудов французского историка Шарля Роллена (1661--1741) -- десяти томная "Древняя история об египтянах, о карфагенянах, об ассирианах, о вавилонянах, о мидянах, о персах, о македонянах и о греках" (русский перевод. Спб., 1749--1762), фундаментальный труд "Римская история от создания Рима до битвы актийския..." в шестнадцати томах (Спб., 1761--1767), переведенный В. К. Тредиаковским; а также книга "Роллень для юноше-

ства, или Начертание древней истории..." в трех частях (М., 1822), которую имеет в виду Полонский.

В воспоминаниях упоминается гимназист, учившийся в Рязани одновременно с Полонским, "будущий ученый": это Александр Николаевич Попов (1820--1877), историк, славянофил, член-корреспондент Петербургской Академии наук.

МОИ СТУДЕНЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

И Отъезд из Рязани.-- Бабушка Екатерина Богдановна Воронцова.-- Товарищи: Аполлон Григорьев и Фет.-- М. Ф. Орлов и декабристы.-- Первая встреча с И. С. Тургеневым.-- Мочалов.

В 1839 или годом раньше (не помню уже в точности) я отправился на ямской телеге из Рязани в Москву держать экзамен для поступ-

ления в Московский университет и ехал на одних и тех же лошадях около двух суток. В Москве смутно припоминается мне какой-то постоянный двор за Яузой и затем мое перемещение на Собачью площадку, в собственный дом моей двоюродной бабушки Екатерины Богдановны Воронцовой.

Там отвели мне в мезонине, по соседству с кладовой с домашними припасами, две комнаты, и я перенес туда мой чемодан и мою подушку. Старуха Воронцова была одною из типических представительниц тех барынь, которые помнили еще времена Екатерины II, и, еле грамотная, доживала она век свой, окруженная крепостной челядью и приживалками, с которыми судачила, иногда играла в дурачки и беспрестанно, даже по ночам, просыпаясь, упивалась чаем. Сиднем сидела она у себя дома вечно на одном и том же месте, душилась одеколоном, нюхала табак, ничем не интересовалась, кроме домашних передряг; вооружаясь хлопущкой, била мух, капризничала, щипала девок или посмеивалась. Трудно было мне ей угодить, тем более что она была когда-то в ссоре с сестрой своей, моей род-

ной бабушкой Александрой Богдановной Кафтыревой. К моему счастью, племянник ее, наследник всего ее имущества, некто Ф. М. Тургенев, ловко вкравшийся в ее доверие, не нашел во мне ничего опасного, понял, что я не стану с ним тягаться или претендовать на наследство, и считал за лишнее на меня наговаривать или ссорить меня со старухой.

На экзаменах, в большой белой зале с белыми колоннами, в новом университетском здании, соседом моим по скамье был не кто иной, как Аполлон Александрович Григорьев. Тогда он был еще свежим, весьма благообразным юношей с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какою-то тонко розлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией. Я тотчас же с ним заговорил, и мы сошлись. Он признался мне, что пишет стихи; я признался, что пишу драму (совершенно мною позабытую) под заглавием: "Вадим Новгородский, сын Марфы Посадницы". Григорьев жил за Москвой-рекой в переулке у Спаса в Наливках. Жил он у своих родителей, которые не раз приглашали меня к себе обедать. А Фет, студент того же

университета, был их постоянным сожителем, и комната его в мезонине была рядом с комнатой молодого Григорьева. Афоня и Аполлоша были друзьями. Помню, что в то время Фет еще восхищался не только Языковым, но и стихотворениями Бенедиктова, читал Гейне и Гете, так как немецкий язык был в совершенстве знаком ему (покойная мать его была немкой еврейского происхождения). Я уже чуял в нем истинного поэта и не раз отдавал ему на суд свои студенческие стихотворения, и досадно мне вспомнить, что я отдавал их на суд не одному Фету, но и своим товарищам и всем, кого ни встречал, и при малейшем осуждении или невыгодном замечании рвал их. Почему-то мне, крайне наивному юноше, казалось, что если стихи не совсем нравятся, то это и значит, что они никуда не годны. Раз профессор словесности И. И. Давыдов, которому отдал я на просмотр одно из моих стихотворений под заглавием "Душа", совершенно для меня неожиданно, во всеуслышание, прочел его на своей лекции перед большим сборищем студентов, наполнявших не аудиторию, а зал, который превра-

щался в аудиторию, когда студенты не одного факультета, а двух или трех собирались слушать одну и ту же лекцию. Я был и озадачен, и сконфужен публичным похвальным отзывом этого, далеко не всеми любимого, профессора. Какие же были последствия? После лекции окружила меня толпа студентов, и некто Малиновский, недоучившийся проповедник новых философских идей Гегеля, а потому и влиятельный, стал стыдить и уличать меня в подражании Кольцову. Кроме размера, как мне помнится, тут не было никакого подражания; но для меня и этого уже было достаточно, чтобы истребить и навсегда забыть эту небольшую лирическую пьесу, и она канула в Лету.

Вскоре после этого не совсем приятного для меня события в мою комнату вошел рослый красавец, студент, некто Орлов. Это был единственный сын всем тогда известного М. Ф. Орлова, за свое знакомство и дружбу с декабристами осужденного жить в Москве безвыездно, того самого Орлова, который двадцати пяти лет был уже генералом и участвовал в Бородинском бою, которому в 1814 году Па-

риж передал городские ключи и брат которого, граф Алексей Орлов, был таким близким человеком императору Николаю. Вошедшего ко мне студента я видел уже на публичной лекции Погодина стоящим у двери, так как все места была заняты публикой, и, не зная его фамилии, невольно любовался им. Думал ли я, что этот самый Орлов первый посетит меня и пригласит к себе на квартиру с тем, чтобы представить меня отцу и матери (урожденной Раевской), которые, прочтя мое стихотворение "Душа", сами пожелали со мною познакомиться? С тех пор в доме у Орловых я стал как бы домашним человеком, то есть мог приходить во всякое время и даже ночевать у их сына на постланном для меня диване. Старик Орлов так полюбил меня, что не раз по вечерам, когда я прощался с ним, благословлял меня. Вся тогдашняя московская знать, вся московская интеллигенция как бы льнула к изгнаннику Орлову; его обаятельная личность всех к себе привлекала; когда-то, будучи военным, он старался в полку своем уничтожить наказание палками. Недаром же и Пушкин почтил его своим послани-

ем. Можете вообразить сами, как это расширило круг моего знакомства. Там, в этом доме, впервые встретил я и Хомякова, и профессора Грановского, только что приехавшего из Германии, и Чаадаева, и даже молодого Ив. Серг. Тургенева, который, прочитав в записной книжке моего приятеля Ник. Мих. Орлова какое-то мое стихотворение, назвал его маленьким поэтическим перлом. Кого не подкупят такие отзывы, особливо в такие молодые годы! Я стал навещать Тургенева, не как писателя, а как молодого ученого, который (по слухам) приехал в Москву из Берлина с тем, чтобы в университете занять кафедру философии. Ему, вероятно, и не верилось, что философия была запретным плодом и преследовалась, как нечто вредное и совершенно лишнее для нашего общества.

Добавлю к этому, что и на поэзию косилось наше университетское начальство, и когда я стал в "Москвитяине" помещать стихи свои, я никогда не подписывал своей фамилии. Но шила в мешке не утаишь.

Мои шуточные стихотворения, приводимые Фетом в своих воспоминаниях, очевидно,

не нравились нашему доброму, нежно любимому инспектору, и Нахимов (Платон Степанович или Флаконт Стаканыч, как шутя называли его студенты) стал сбавлять мне балл за поведение (то есть вместо 5 стал ставить 4).

Пока моя бабушка была жива, я был обеспечен, но и тогда денег у меня не было, я ходил в университет пешком и зимой в самые сильные морозы в одной студенческой шинели и без галош. Я считал себя уже богачом, если у меня в жилетном кармане заводился двугривенный; по обыкновению, я тратил эти деньги на чашку кофе в ближайшей кондитерской; в то время не было ни одной кофейной, ни одной кондитерской, где бы не получались все лучшие журналы и газеты, которых не было и в помине у моей бабушки, -- "Отечественные записки", "Московский наблюдатель", "Пантеон" и "Библиотека для чтения", -- и я по целым часам читал все, что в то время могло интересоваться меня.

Помню, как электризовали меня горячие статьи Белинского об игре Мочалова. Более всего славился он в роли Гамлета. Перевод этой трагедии, сделанный Н. Полевым, я знал

наизусть. Это был перевод далеко не подстрочный, но очень сценичный. Даже лишние стихи, которых нет в подлиннике, как, например:

Взгляни, как все печально и уныло,
Как будто наступает страшный суд,—

были поразительно сильны в устах вдохновенного актера. Часто посещать театр я, однако, не мог по недостатку средств и Мочалова в роли Гамлета видел только один раз: видел со всеми достоинствами и недостатками игры его. Когда на сцене происходит игра заезжих актеров и когда Гамлету становится очевидным, какое страшное влияние производит на душу преступного короля повторенное на сцене убийство отца его, Гамлет во время этого представления сидит у ног Офелии, и, как только взволнованный король уходит в сопровождении всех своих придворных, он вскакивает, одним или двумя прыжками перебегает на авансцену и с диким, злорадным хохотом восклицает: "Оленя ранили стрелой!" Все это было бы очень смешно у

другого актера, но Мочалов так был страшен в эту минуту, что у меня волосы стали дыбом, и вся зрительная зала безмолвствовала, потрясенная силой такого необузданного чувства. Повторяю, такая игра, если бы она не была гениальна, была бы достойна всеобщего осмеяния. Последнее действие прошло вяло, и Мочалов был уже неузнаваем. Это был уже не тот Мочалов, который с такой горечью объяснялся с своей матерью и заколол подслушивавшего их Полония.

II

Кружок Станкевича.-- Д. А. Ровинский и его сестра Мария Александровна.-- Смерть бабушки.-- Скитание по квартирам.

О Белинском впервые услышал я от Николая Александровича Ровинского, который еженедельно посещал меня. Ровинский был близок к кружку Станкевича, и для меня, наивно верующего, выросшего среди богомольной и патриархальной семьи, был чем-то вроде тургеневского Рудина, был первым, который навел меня на иные вопросы, не давал мне спать по ночам; я с ним горячо спорил,

но не мог не сознавать его влияния. Ровинский был невысокого роста, худощавый молодой человек лет под тридцать, большой добряк, нигде не служил и был как бы в пренебрежении в родной семье; с Ровинским познакомил меня отец мой, который прибыл в Москву и поселился со мной на антресолях в одной и той же комнате: отец мой, Петр Григорьевич, был вдовцом и после смерти старика Ровинского, бывшего когда-то московским полицмейстером, стал считаться женихом его старшей дочери, Марии Александровны. В семье Ровинских принимали меня, как родного. Мария Александровна обладала удивительным голосом и в особенности превосходно пела:

Не шуми ты, рожь,
Спелым колосом.

Елена Александровна была прелестной и постоянно задумчивой молодой девушкой; роман жизни ее был таков, что, когда перед поступлением своим в монастырь она исповедовалась, игумен, который ее исповедовал,

прослезился. Мать была расчетлива и холодна к своим детям, за исключением младшего Дмитрия, который в это время был еще правоведем и только на святки приезжал из Петербурга в Москву. Этого сына своего Ровинская обожала, да и сам Дмитрий Александрович, будущий деятель, юрист, сенатор, собиратель редких гравюр и издатель дорогостоящих любочных картинок, гравированных портретов замечательных русских людей и гравюр Рембрандта, отличался в свои юные годы таким независимым характером, так был всегда энергичен и настойчив, что даже сильная характером мать поневоле преклонялась перед ним. Упомяну еще о поездке, затеянной Ровинской в Ростов-монастырь к мощам Димитрия Ростовского, к Переяславскому озеру, затеянной, как мне кажется, для того, чтоб еще больше сблизить с отцом моим старшую дочь свою М. А. Непонятна мне мечта ее непременно видеть отца моего своим зятем; но вместо сближения поездка эта послужила только предлогом к разрыву: отец мой отказался от своего намерения, и из всех Ровинских по-прежнему заходил ко мне, в своем старом

сюртуке и в худых сапогах, только тот же вечно философствовавший Николай Александрович.

Он хотел познакомить меня с Белинским, но успел только познакомить меня с Иваном Петровичем Ключниковым, другом Белинского и учителем истории Юрия Самарина. Что такое был Ключников, вам может подсказать стихотворный недоконченный роман мой "Свежее предание". Тут он был мною выведен под именем Камкова, и, конечно, не фактическая жизнь играет тут главную роль, а характер и настроение Камкова. Как я слышал, сам Ключников, доживший до глубокой старости где-то в Харьковской губернии, в этом романе узнал себя. Так я слышал от учителя русской словесности -- Н. Старова, который посещал старого учителя в его уездной глуши и очень любил его. Стихотворение:

Мне уж скоро тридцать лет,
А меня никто не любит...--

принадлежало перу Ключникова. Он под своими стихами подписывал букву ?. В то

время по рукам ходило послание его к Мочалову -- упрек, смело брошенный ему в лицо за все его безобразия, несовместные с его гениальным сценическим талантом; оно было в первый раз напечатано, кажется, лет пятнадцать тому назад и в "Русской старине". Но, конечно, не как поэт, а как эстетик и мыслитель, глубоко понимавший и ценивший Пушкина, как знаток поэтического искусства, он не мог своими беседами не влиять на меня.

Когда из университета я приходил домой к обеду, я нередко заставал за обеденным столом, за который никогда не садилась моя бабушка, одну коренастую старуху, московскую немку, набеленную и нарумяненную, с намазанными бровями, и не мог иногда от души не хохотать над ней. Она была убеждена, что в университете учат меня колдовству и чернокнижию, что я могу вызывать чертей, которые по ночам не дают ей покоя; она боялась раков, крестила свою тарелку и подальше от меня отодвигала свой прибор. Это была одна из приживалок моей бабушки. Она то пропадала, то жила в доме по целым месяцам. Смешон был рассказ ее о том, как в 1812 году при

французах она оставалась в Москве и как хотелось над ней французские солдаты, когда она, в ответ на их заигрывания с нею, показывала им язык. Вообще в доме моей бабушки немало было курьезов.

Наконец бабушка моя опасно заболела и собралась умирать. Раз, заглянув в ее комнату накануне ее смерти, я увидел ее, и никогда не забыть мне этой умирающей старухи: она с ужасом оглядывалась по сторонам и, спуская с постели голые, дряблые ноги, порывалась бежать, точно видела собственными глазами наступающую смерть и все ее ужасы.

Пришлось мне покинуть насиженное место, и где, где я тогда в Москве не жывал! Раз, помню, нанял я какую-то каморку за чайным магазином на Дмитровке и чуть было не умер от угара; жил вместе с братом М. Н. Каткова, с Мефодием, и у него встречал ворчливую старуху -- мать их. Жил у француза Гуэ, фабриковавшего русское шампанское, на Кузнецком мосту; жил на Тверской в меблированной комнате у какой-то немки, вместе с медицинским студентом Блен де Балю, где впервые сошелся с Ратынским, большим охотником до

стихов. Он был моим соседом и часто заходил ко мне. Выручали меня грошовые уроки не дороже пятидесяти копеек за урок, но просить о присылке денег из Рязани мне было известно.

III

Университетская жизнь.-- Редкин.-- Полежаев.-- Герцен.-- Мещерские.-- Стихотворение "Арарат".-- Село Лотошино.

В мое время в университете не было ни сходов, ни землячеств, ни каких бы то ни было тайных обществ или союзов; все это в наше время было немыслимо, несмотря на то, что полиция не имела права ни входить в университет, ни арестовать студента. И все это нисколько не доказывает, что в то время Московский университет был чужд всякого умственного брожения, всякого идеала. Напротив, мы все были идеалистами, то есть мечтали об освобождении крестьян: крепостное право отживало свой век, Россия нуждалась в реформах, и когда на престол взошел гуманнейший Александр II, где нашел он наилучших для себя помощников по уничтоже-

нию рабства и преобразованию судов, как не в среде моих тогдашних университетских товарищей? История оправдала наши молодые стремления. К сожалению, в то время никто не мог ни печатно, ни даже изустно вслух высказывать ни надежд своих, ни соображений по поводу предстоявших реформ. Брожение умов было глухое, тайное, тогда как при большей гласности оно могло бы стать подготовительным и освобождение крестьян не застало бы, так сказать, врасплох наше русское, в особенности провинциальное общество. В университете партий не было, но всякий понял бы ироническую замечку нашего любимого профессора энциклопедии права П. Г. Редкина: "У нас людей продают, как дрова", и в то же время всякий понял и сочувственно отнесся бы к студенту К. Д. Кавелину, когда он говорил, что употребил с лишком полгода на то, чтобы прочесть и понять одно только предисловие к философии Гегеля. Я застал еще в университете кой-какие предания о том, что когда-то было в стенах его до приезда новых профессоров, сумевших поселить в молодежи любовь к науке. В мое время во время лекций

я слышал только скрип перьев и ни малейшего шума. Некоторые из лекций, в особенности лекции Петра Григорьевича Редкина, который читал нам энциклопедию права, до такой степени возбуждали нас, что, несмотря на запрещение, молодежь рукоплескала профессору, когда он заканчивал свою лекцию.

Не так было в те времена, когда профессора не имели на студентов ни малейшего влияния. Иногда зимой, когда лекции читались при свечах и лампах, вдруг все потухало, и аудитория погружалась в полный мрак. Школьные затеи были довольно часты. Так, иногда вдруг из отверстий, где помещались чернильницы, поднимались кверху зажженные восковые свечи, к немалому ужасу и удивлению профессоров. Вспоминали при мне как-то о Полежаеве. Рассказывали, что Полежаев отдал на рассмотрение какому-то профессору свои стихи. Возвращая эти стихи автору, профессор сказал: "Полежаев, от твоих стихов кабаком пахнет".-- "И немудрено,-- отвечал Полежаев,-- они целых две недели лежали у вас!"

Из числа славянофилов, в том смысле,

как понимали их Хомяков и Аксаков, я помню одного только Валуева, студента, подававшего большие надежды и рано погибшего от чахотки. Я уже тогда думал то, что и писал позднее в "Свежем предании":

...Пока

Наш мужичок без языка,
Славянофильство невозможно,
И преждевременно, и ложно.

Однажды у писателя А. Ф. Вельтмана встретил я очень красивого молодого человека с таким интеллигентным лицом, что в его уме нельзя было сомневаться. Мы были втроем, и, между прочим, я с большими похвалами отозвался о статье Герцена, напечатанной под заглавием: "Дилетантизм в науке". Они засмеялись. "А вот перед вами и сам Герцен -- автор этой статьи",-- сказал мне Вельтман. Тогда никто и не предчувствовал заграничных статей этого самого Герцена.

В начале одного лета отправился я на вакансии в Волоколамский уезд (Моск. губ.) в село Лотошино, к князю В. И. Мещерскому, по

рекомендации Орлова, учить грамматике младших сыновей его (Ивана, Николая и Бориса).

Князь Мещерский и княгиня Наталия Борисовна, жена его, и единственная дочь, княжна Елена принадлежали к самому высшему московскому обществу. В зимнее время жили они в собственном доме, близ Страстного монастыря; много гостей и родственников, приезжавших из Петербурга, посещало их гостиную. Мещерские были сродни Карамзиным, и молодые Карамзины, сыновья знаменитого историка, останавливались у них во флигеле.

В их усадьбе застал я гувернера и учителя немецкого языка И. Б. Клепфера, еще далеко не старого немца, воспитанного на немецких классиках: Шиллере и Гете. Он переписывался с женой своей, оставшейся где-то в Пруссии, то есть посылал ей целые тетради и получал от нее рассуждения о второй части "Фауста"; помню, что, с помощью ученого Клепфера, я переводил лирические стихотворения Шиллера и Гете. Одно из тогдашних моих стихотворений -- "Арарат" было отвезе-

но в Москву и появилось на страницах "Москвитянина" в 1841 году. "Москвитянин" был тогда единственным московским журналом. "Наблюдатель" же по недостатку средств прекратил свое существование. Он был, как видно, далеко не по плечу тогдашней публике за его попользование философствовать. Помню, как остряк Д. Т. Ленский, актер, когда-то всем известный, автор водевилей, искусный куплетист и переводчик Беранже, в кофейной Бажанова взял в руку пустую бутылку выпитого шампанского и сказал:

В смысле так не философском,
С чем тебя сравнию я?
В "Наблюдателе" московском --
Философская статья!

В эту кофейню заходил я также читать журналы и встречал там Щепкина, Живокини, молодого Садовского и др. Белинский, кажется, уже уехал тогда в Петербург и стал участвовать в "Отечественных записках" Краевского.

Я совершенно забыл о существовании

стихотворения "Арарат" и только на днях получил его из Москвы от Льва Ивановича Поливанова, причем прочел и вовсе не пожалел, что оно не вошло в общее собрание моих стихотворений. Вот вам небольшой образчик:

Стою я, неприкосновенный,
Уже пятидесятый век;
Но вот от Запада, надменный,
Пришел властитель человек,
Потомок праведного Ноя --
Везде: в краях полярных зим,
В странах тропического зноя,
Природа рабствует пред ним.
Не верит он моим преданьям;
Науке веру покорив,
Весь предан мертвым изысканьям,
Неутомим и горделив.
Он не почтил моей святыни;
Достиг, презрев мертвящий хлад,
Венца.-- "Я без венца отныне",--
Сказал -- и рухнул Арарат...
И с древних стен Эчмиадзина,
С дороги, где протянут вал,
И с плоской кровли армянина

Кричали: "Арарат упал!.."
Казак на лошади крестился;
Черкес коня остановлял;
Еврей испуганно молился,
Смотря, как легкий пар клубился
Там, где гигант вчера стоял.
И суеверно толковала
Разноплеменная страна;
И безотчетных дум полна,
Народам что-то предрекала...

И откуда я взял, что Арарат рухнул, после того, как нашлись смельчаки, которые взобрались на его вершину! Прочел ли я об этом где-нибудь или только слышал? Во всяком случае, факт этот не заслуживает доверия, и все стихотворение построено на фантазии, ничем не проверенной.

Во время пребывания у князей Мещерских редко получал я письма, но одно из них, из Москвы, огорчило и потрясло меня: некто студент медицинского факультета Малич, греческого происхождения, писал мне на клочке бумаги, что остался без квартиры, ночует на бульварных скамейках и, умирая с го-

лоду, гложет кости скелетов. Я немедленно послал ему все мое месячное жалованье, около пятидесяти рублей, и послал нарочно через руки одного близкого мне знакомого богатого человека Геннади, также греческого происхождения, чтоб он, получив эти деньги, выдал их М--чу (которому он протезировал) собственноручно; этим поступком мне хотелось уязвить его. Не доказывает ли это, что в те наивные годы моей юности я был гораздо лучше или добрее, чем во дни моего многоопытного мужества и суровой старости?

Приближалась осень, но дни стояли теплые. 26-го августа был именинный день княгини: с утра приезжали соседи поздравлять ее. Был большой обеденный стол, наступил темный вечер, перед домом -- на широкой зеленой площадке, переполненной группами мужиков, баб и ребятишек, зажгли фейерверк, и вдруг одна ракета, вместо того, чтоб полететь вверх, полетела в сторону по направлению к деревне, зарылась в солому и подожгла кровлю. Через полчаса пылала почти что вся правая сторона деревни; народ бросился спасать свои пожитки; слыша-

лись стоны и вопли женщин; на пожаре распоряжался князь Борис Васильевич, старший сын хозяина. Застучали топоры, откуда-то прискакали какие-то пожарные с двумя трубами. Я видел, как обносили икону, и, когда возвращался в дом, меня поражала пустота ярко освещенных комнат; только одна княгиня, взволнованная, бледная, стояла на балконе. К утру пожар затих; дымились только обугленные остатки изб да торчали закоптелые печи. Князь обещал крестьянам на свой счет поставить новые каменные избы и сдержал свое слово. Вскоре после этого страшного события Клепфер и я с моими учениками выехали в Москву, но не прошло и двух недель, как они были обратно вызваны в Лотошино на панихиду или на похороны их матери: княгиня не вынесла такого потрясения, заболела горячкой и умерла.

IV

Графиня Растопчина и К. К. Павлова.-- А. И. Тургенев и А. Ф. Вельтман.-- Ап. Григорьев и Фет.-- Ю. Самарин.-- Лермонтов.

В Москве я поселился на время в доме

Мещерских; и тут впервые встретил я поэтессу графиню Растопчину. Она была еще молодая, очень мила и красива. Меня попросили прочесть ей мое стихотворение "Ангел", и я прочел его.

Из числа моих стихотворений наибольший успех выпал на долю моей фантазии "Солнце и Месяц", приуроченной к детскому возрасту: его заучивали наизусть, в особенности дети. Другая русская поэтесса, Каролина Карловна Павлова (урожденная Яниш), тоже знала его наизусть. Память ее была замечательная, и голова ее была чем-то вроде поэтической хрестоматии, не одних русских стихов, но и французских, и немецких, и английских. Муж ее, Н. Ф. Павлов, когда-то крепостной человек, вышел в люди тоже благодаря своим далеко не дюжинным способностям, конечно, женился он по расчету, так как девица Яниш была очень богата, но не хороша собой и старообразна. Книжка, изданная Павловым под заглавием "Три повести", имела успех благодаря своей тенденции или тонкому намеку на ненормальность и безвыходность положения для всякого сколько-нибудь

способного человека, состоящего в полном рабстве и зависимости от господ своих. У Павловых впервые встретился я с Юрием Самаринным. Он был очень молод и смешил хозяйку; но я не смеялся, так как не понимал его и не знал, кого он так мастерски передразнивает. Самарин среди дам и светского общества был далеко не таков, каким я встречал его в обществе Хомякова, Погодина, Грановского, Чаадаева и др. Тогда как Конст. Аксаков, наоборот, где бы он ни был, был постоянно один и тот же: горячо стоял за свои убеждения и был беспощаден. Не могу забыть, как в гостиной Ховриной он провозгласил, что брак не должен быть по любви и как я мысленно не соглашался с ним. У Павловых же впервые познакомился я с Ал. Ив. Тургеневым, редким гостем, которому дозволено было побывать в Москве. Он постоянно жил в Париже, куда отправился незадолго до восшествия на престол Николая I, и был заподозрен в сношении с декабристами.

В гостиную Павловых вошел он в шерстяном шарфе (дело было зимою). Это был старик, высокого роста, заметно привыкший ко

всякому обществу; приехал он к Павловой спросить ее, когда он может прочесть ей отрывки из воспоминаний Шатобриана, которые, по его завещанию, не могли быть напечатаны раньше известного срока (не помню какого) после смерти его. Тургенев списал их в доме г-жи Рекамье и рукопись привез в Москву; он остался пить чай и был очень интересен; он был так любезен, что в своих санях довез меня до моей квартиры. С тех пор я уже и не видал его, и черты лица его давно уже стусеивались в моей памяти.

Наиболее выдающимся стихотворением Н. Ф. Павлова был романс, когда-то положенный на музыку:

Не называй ее небесной
И от земли не отрывай.

Замечательно, что многие из числа тогдашних литераторов, вовсе не слывшие за поэтов, обмолвились превосходными стихотворениями. Вся Россия знала и пела:

Что затуманилась зоренька ясная,

Пала на землю росой.

И весьма немногие знали, что автором этого стихотворения был Вельтман. Песня эта была кем-то переведена в Крыму на татарский язык; и татары считали ее своей народной песней.

А. Ф. Вельтман был уже пожилым человеком, с небольшой лысиной и проседью в волосах; настолько же умный, насколько и добрый, он занимал место директора Оружейной палаты. Как знаток и любитель редких древностей и как человек образованный, он знал все славянские языки, изучал историю Богемии, но едва ли был славянофилом. Я во всякое время мог заходить к нему, и если он был занят за своим письменным столом, я с книгою в руках садился на диван и безмолвствовал.

Казенная квартира его была велика, и тихо было у него в доме; он жил со своею молоденькой дочерью. Мне было досадно, что эта милая девушка была далеко не из тех, которые могли бы пробуждать мечты мои; влюбиться в нее не помогала даже моя фантазия,

но в это время я никого не любил и чувствовал пустоту в своем сердце; ходить же с пустым сердцем было для меня скучно. Я предпочел бы страдать. Странно, в провинциальной Рязани, когда я был еще гимназистом, немало встречал я замечательных красавиц и ни одной в Москве! Миловиднее всех была Елена Александровна Ровинская, блондинка с отпечатком на лице какой-то меланхолии и тайного страдания, точно какую-то рану носила она в душе своей.

Мое стихотворение "Пришли и стали те-ни ночи" было написано мной в такое время, когда я был еще целомудрен, как Иосиф. Фантазия, подсказывая мне только то, что могло бы быть, подсказала мне и это стихотворение; оно было послано мною Белинскому и напечатано им в "Отечественных записках"; это было второе уже стихотворение в этом журнале; первое же было: "Священный благовест торжественно звучит".

Быть может, вы спросите меня, что давали мне мои стихотворения? Ровно ничего -- ни одной копейки; мне даже и в голову не приходила мысль о гонораре; вывшей награ-

дой для меня было самоудовлетворение или похвала таких товарищей, как Фет и Григорьев. Помню, Григорьев не раз повторял мне какие-то два стиха мои:

Дунет ветер, черный локон
Ляжет по ветру.-- Пора!

Но откуда это? Я беспрестанно терял и забывал стихи свои. Вот что еще я помню об Ап. Алекс. Григорьеве.

Он любил музыку, но дурно играл на рояле и так же, как и все мы, восхищался Мейербером. Адский вальс из "Роберта-Дьявола" в полном смысле слова потрясал Григорьева. Родители его охотно отпускали его в театр, куда он ездил в сопровождении Фета, но не к товарищам. Старушка, мать его, держала его как бы на привязи; он никуда не выезжал без ее соизволения. У меня бывал он редко и оставался у меня обыкновенно только до девяти часов вечера; на дворе или за воротами постоянно ожидали его пошевни, и никогда я не мог уговорить его остаться у меня дольше. "Нельзя",-- говорил он, спешил проститься и

уезжал.

Что касается до его внутренней жизни, то в первые дни нашего знакомства он нередко приходил в отчаяние от стихов своих, записывал свои философские воззрения и давал мне их читать. Это была какая-то смесь метафизики и мистицизма. Перед праздниками ходил он в церковь к всенощной, и раз, когда он, вставши на колена, до самого пола преклонил свою голову, он услышал над самым ухом шепот Фета, который, пробравшись в церковь незаметно, встал рядом с ним на колена, также опустил свою голову и стал издеваться над ним, как Мефистофель.

Григорьев глубоко верил в поэтический талант своего приятеля, завидовал ему и приходил в восторг от лирических его стихотворений. Но юный Фет, который, бывало, говорил мне: "К чему искать сюжета для стихов; сюжеты эти на каждом шагу,— брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты",— все же иногда выходил из своей роли и писал очень резкие куплетцы, подсказываемые злобой дня.

Рядом сомнений можно прийти к отрицанию, но самое сомнение еще не есть отрицание. Раз в университете встретился со мною Аполлон Григорьев и спросил меня: "Ты сомневаешься?" -- "Да",-- отвечал я. "И ты страдаешь?" -- "Нет".-- "Ну, так ты глуп",-- промолвил он и отошел в сторону. Это нисколько меня не обидело. Я был искренен и сказал правду; мои сомнения были еще не настолько глубоки и сознательны, чтоб доводить меня до отчаяния. К тому же я был рассеян, меня развлекали новые встречи, занимали задачи искусства, восхищал Лермонтов, который сразу овладел всеми умами.

Я мало встречал людей, которые не преклонялись бы перед силою его поэтического гения. Тургенев, прочитав "Героя нашего времени", при мне называл книгу эту новым откровением. К. Д. Кавелин -- наш известный юрист и будущий профессор, наизусть заучивал стихи его. "Вот человек, -- говорил он о Лермонтове с восторгом,-- вот человек, который на всю Россию тоску нагнал". Ю. Самарин говорил о Лермонтове: "Неужели он до сих пор еще не сознает своего великого призва-

ния?"

О смерти Лермонтова узнал я в Лотошине -- у князей Мещерских; я был и поражен, и огорчен этой великой потерей, не для меня только, но и для всей России. Но если Лермонтов был глубоко искренен, когда писал: "И скучно, и грустно, и некому руку подать" -- я бы лгал на самого себя и на других, если бы вздумал написать что-нибудь подобное.

V

Помещик Мосолов.-- В. И. Классовский.-- Писемский.-- Д. Л. Крюков.

При переходе из первого курса на второй я летом отправился на родину, в Рязань. Но у моих теток Кафтыревых я уже не мог ужиться. Они казались мне хоть и добрыми, но глупыми и суеверными. Откровенно говорить с ними уже было невозможно: в каждом слове моем они заподозрили бы ересь или безнравственность. Я воспользовался приглашением помещика Мосолова и в тарантасе, который он прислал за мной, отправился к нему в имение; у него, в новом доме, учителем детей его был на это лето некто В. И. Классовский.

Это был знаток древних языков. Он немало путешествовал, в особенности по Италии, много читал и знал; голова его была целая энциклопедия; мастер он был говорить и ясно, весело передавал каждую мысль свою. В Петербурге он давал уроки наследнику-цесаревичу и детям великой княгини Марии Николаевны; с раннего утра до поздней ночи ездил он по урокам, и недешево платили ему, так как, за недостатком времени, даже людям богатым ему приходилось отказывать. Несомненно, что к Мосолову решился он ехать только за тем, чтобы отдохнуть в деревне от многотрудной, холостой своей жизни. О чем, о чем не писал он и не печатал, начиная с грамматики и кончая его афоризмами о женщинах? Одни его комментарии к латинским классикам -- труд немаловажный. И что же? Имя этого человека прошло бесследно, точно его и не было.

От Мосолова (если не ошибаюсь) я отправился к своему товарищу по гимназии студенту Барятинскому, который жил в имении зятя своего, князя Барятинского. Очень хорош был собой Барятинский, но красота сестры

его, княгини, была поразительна. Это была очень простая и милая женщина; добрая улыбка не сходила с лица ее; я и прежде, в Рязани, слышал о ней, но никогда не видал. У Барятинских застал я директора рязанской гимназии Н. Семенова, который, кажется, затем и поехал к ним, чтоб полюбоваться на красоту хозяйки. На нее смотрел я с затаенным, почти религиозным благоговением. Можно восторженно смотреть на Сикстинскую Мадонну, но разве возможно влюбиться в нее или за ней ухаживать? Странная судьба постигла всю их семью: в один год умерли ее дети; затем умерла она, и добрый князь, муж ее, не в силах был пережить ее. У Барятинских провел я не более, как дня три или четыре. Товарищ мой увез меня верст за тридцать к людям, мне совершенно незнакомым. Приехали мы незадолго до ужина, и вот что я помню: ужин был во флигеле, чтоб говор и шум гостей не беспокоил хозяйку-помещицу. Во время ужина около стола ходил шут в бумажном колпаке и смешил гостей своими прибаутками. У меня разболелась голова, и я ушел спать в отведенную мне комнату. Ночью разбудили меня зву-

ки гитары: сын хозяйки, курчавый молодой человек лет около тридцати, артистически владел гитарою. Я не вытерпел, оделся и присоединился к другим гостям, чтоб слушать удивительную игру его. Но и его судьба тоже была достойна удивления: у одного из своих соседей он похитил дочь и, страстно влюбленный, повенчался с ней. Но не прошел еще и медовый месяц, как жену его похитил ее отец и стал держать ее под таким караулом, что не было возможности молодому мужу даже и повидаться с ней. Вот какие были тогда нравы!

Осенью к началу лекций вернулся я в Москву и остановился в небольшой квартире некоего М. Е. Кублицкого, товарища моего детства, тоже окончившего курс в рязанской гимназии.

Вспомнилось мне мое пребывание у Кублицкого, и потянулись другие воспоминания. Припоминается мне, что Писемский был в одно время со мною в университете, но товарищем моим не был. Встречались мы редко. Это был небольшого роста молодой человек с испитым лицом и темными, пронизательными

глазами. В последний раз, проходя через чей-то двор, видел я его в раскрытое окно, среди студентов, игравших в карты. Вероятно, это была его квартира, так как он сидел в каком-то тулупе, с взъерошенными волосами и с длинным чубуком в руке. Писемский рассказывал потом, будто бы я, подойдя к окну, воскликнул: "Что это вы сидите в комнате: ночь лимоном и лавром пахнет". Полагаю, что этой шуткой он хотел в то время охарактеризовать меня. В то время бывал у меня и еще один студент-филолог, некто Студицкий. Он был в то же время и математиком. Раз приносил он мне какие-то вычисления, доказавшие ему возможность делать золото. Уверенность его в этом была непоколебима. Он уже приступил к практическому выполнению своей задачи и уверял меня, что хоть он и получил крупицу чистого золота, но что досталась ему она не дешево. Он указывал мне даже на опустелый аристократический дом на Пречистенке, уверяя меня, что он его купит, перестроит и роскошно отделает. Звал меня жить с собой. Все это казалось мне воздушными замками, но я все же не мог ему не

сочувствовать. Это был высокий, мешковатый, небрежно одетый студент, постоянно восторженный. Он все отыскивал новые поэтические дарования и в особенности хвалил мне некоего Карелина, пророча ему блистательную будущность. Он написал о Пушкине статейку, которая и была когда-то мной переписана, и читал мне с восторгом перевод некоего Н. Ш. из Байрона. Перевод этот так же, как и стихотворение Карелина, были помещены в сборнике "Подземные ключи".

Помню я и еще одного студента, которого занимали богословские вопросы и который, как кажется, собирался поступить в монахи. Профессором богословия был у нас священник университетской церкви Тарновский, человек строгий, на вид гордый и недоступный. И что же? Однажды не успел он кончить лекции, как вышеупомянутый студент стал перед его кафедрой и попросил позволения сделать замечания насчет его лекции. Тарновский изумился, но позволил ему возражать себе. Минут двадцать продолжался этот курьезный диспут. Помню худое, постное лицо этого студента, но, к сожалению, забыл его

фамилию.

В мое время студенты должны были сами записывать и приводить дома в порядок выслушанные ими лекции. Для этой работы был у меня товарищ, тоже бывший гимназист рязанской гимназии, некто Мартынов. Мы сидели рядом, и, если я не поспевал за словами профессора, я толкал его локтем, и он продолжал записывать дальше. На первом курсе с особенным интересом посещал я лекции профессора древней истории Д. Л. Крюкова. Он начал свою историю с древнейших времен Китая, указывая на особенности первобытного китайского мирозерцания. Станным казалось мне, что китайцы, перечисляя стихии, вслед за землей упоминали горы. Крюков читал блистательно; это был один из талантливейших наших ученых. Он нас увлекал; недаром и Фет почтил его стихотворением под заглавием: "Памяти Д. Л. Крюкова". Но увы! лекции эти скоро должны были прекратиться. Он заболел неизлечимой и страшной болезнью: размягчением мозга. Раз я встретил его на улице: он был страшно бледен, и его вели под руку.

Нисколько не жалуясь на то, что в Москве не было у меня ни семейного очага, ни постоянной квартиры и ничего, кроме дорожного старого чемодана. Были студенты, которые испытывали не только бедность, но и нищету; они жили в окрестностях Москвы и в университет ходили по очереди, так как у двоих была одна только пара сапог. Что за беда, что я жил где придется. Жил я и с Барятинским, и в одной из трех небольших чистеньких комнаток у князя Мансырева, и где-то в переулке близ Остоженки, и у г-на Брок, всем тогда в Москве известного акушера, брата министра финансов, в подвальной комнатке, платя сестре его, Генриетте Федоровне, за квартиру и стол пятнадцать рублей ассигнациями в месяц. Но судьба, которая рано познакомила меня с нуждой, одарила меня другим благом -- друзьями, о которых умолчать было бы великою неблагодарностью к их памяти. Ни молодой Орлов -- добрый малый, но часто бестактный, который невольно иногда оскорблял меня, да и самому себе вредил своей бестактностью; ни Барятинский, ни мой рязанский сосед и товарищ детства Кублиц-

кий, ни князь Мансырев -- не были в числе друзей моих.

VI

Студенческий сборник "Подземные ключи".-- Чиновничья карьера.-- Любовь.-- "Дяды" Мицкевича.-- Сомнения.-- Поэма "Страшный суд".

Князь Мансырев студентом не был; он был смугл, черноволос, как цыган, и приземист; он чуждался света, был молчалив, никогда не высказывался и жил просто, даже бедно, несмотря на свое состояние. Одно, что он любил, это -- литературу; он был прирожденный эстетик; если не ошибаюсь, он писал стихи, но никому не читал их; он сошелся со мной потому, что задумал издать студенческий сборник, который и вышел под заглавием (мною придуманным) "Подземные ключи"; там под буквою П были и мои еще крайне незрелые стихотворения. Между ними было помещено и начало какой-то испанской драмы под заглавием "Ханизаро".

В это же время моей настольной книгой была "Les livres sacres de l'orient" {Священные

книги Востока (фр.).}. Там был и Коран Магомета, но с Кораном я был знаком и раньше по переводу с английского языка, сделанному чуть ли не при Екатерине II, с примечаниями и толкованиями почти что на каждой странице. Эпитет всепревозмогающий заимствовал я из этого перевода. Вполне убежденный, что Магомет не был шарлатаном, а человеком, искренне поверившим в свои галлюцинации, я затеял драматическую поэму "Магомет", где действующими лицами были между прочим, кроме Магомета, Абу-Талерб, который дал ему оплеуху, Омар, племянник его Али, Кадишо и Айша. До сих пор где-то сохранилось у меня начало этого произведения, отрывки же из него вошли в полное собрание моих стихотворений: "Из Корана" и "Монолог Магомета".

-- Ты не напишешь трагедии,-- сказал мне князь Мансырев.

-- Почему?

-- Да потому, что ты сановник, для драмы нужен другой темперамент.

-- Может быть,-- отвечал я,-- но почему я сановник?

-- Такое у тебя лицо.

Не помню, какое было у меня тогда лицо, казался ли я румяным или только загорелым от ветра и солнца, но, как бы то ни было, князь Мансырев был прав: темперамент играет большую роль в том направлении, какое выпадает на долю писателя...

Мансырев и не думал о том, чтоб поступить на службу в качестве чиновника; таков же был и Кублицкий, таков же был и князь В. А. Черкасский. До тех пор, пока не предложили ему место в комиссии по устройству освобожденных крестьян от крепостной зависимости, Черкасский не состоял на службе. Мечтать о служебной карьере или заседать вместе с героями, выведенными Гоголем, вовсе не составляло отличительной черты тогдашнего интеллигентного молодого поколения. Об обязательной военной службе не было еще и помину, и тот, кто владел хоть какими-нибудь средствами, не думал ни о чинах, ни о наградах. Таких мечтаний не было и у меня, несмотря на то, что я и сам не знал, чем я буду жить и какова моя будущность. Как часто в то время, если только не обедал я у кого-нибудь из числа моих знакомых, я в трак-

тире Печкина проедал двадцать копеек, заказывая себе подовой пирожок, политый чем-то вроде бульона. Случалось иногда и совсем не обедать, довольствуясь чаем и пятикопеечным калачом.

В любви у меня не было счастья, потому ли, что я глупел и терялся, когда любил, или потому, что не было и повода платить мне взаимностью: я был далеко не красавец, очень беден и вдобавок имел глупую привычку стихи писать; но были у меня преданные друзья, до самого гроба сохранившие ко мне привязанность. Таковы были студент математического факультета Игнатий Уманец и Сергей Воробьевский. К сожалению, взвешивая свои способности в университете, я не мог поступить на филологический факультет; на изучение иностранных языков у меня не хватало памяти. Я поступил в юристы и на юридическом факультете вместо четырех лет пробыл в нем пять. На целый год отстал от Григорьева и очутился среди иных товарищей, между которыми были князь Черкасский, Есипов и Ратынский. Моим любимым профессором был П. Г. Редкин. Философская

подкладка энциклопедии права, которую он читал на первых курсах, в особенности была для меня привлекательна. Охотно слушал я и историю средних веков у Грановского, и историю русского права у Ф. Л. Морошкина. Но что не давалось мне, это -- римское право; оно положительно было не про меня писано. Я не умел долбить, а многотомные лекции Крылова нужно было знать чуть не наизусть, так как из них, как из математической формулы, ничего нельзя было выпустить. При переходе с третьего курса на четвертый Крылов поставил мне двойку. Я прекратил экзамены и, сконфуженный, уехал в Рязань. В последние годы моего пребывания в университете мне было и не до того, чтоб углубляться в пандекты или читать Кодекс Юстиниана. Что-то недоброе стало скопляться в душе моей; происходила страшная умственная и нравственная ломка. Я стал сомневаться в своем собственном существовании. Действительно ли существуют люди, солнце и звезды, все, что я вижу и слышу, или все это только снится мне? Помню, какое потрясающее впечатление произвело на меня лирическое стихотво-

рение в "Дзядях" Мицкевича, где говорится о ничтожности нашего земного бытия, среди безначального прошлого и бесконечного будущего, и как ничтожно наше время в сравнении с вечностью. В это переходное время моего умственного развития я стал писать нечто вроде поэмы, рисуя замирающую жизнь на нашей планете и вымирание пресыщенного человечества. Гордое и когда-то самонадеянное, все это человечество с ума сошло, обезумело и в этом безумии, полное болезненных галлюцинаций, слышит трубные звуки архангелов и видит страшный суд. Я не мог всего этого дописать, мало того, я старался всячески забыть мое произведение. Меня стали преследовать и как бы жечь мозг мой собственные стихи мои, и я боялся с ума сойти. Раз ночью, в полузабытьи, мне казалось, что душа моя отделилась от тела и я вижу свой собственный труп. Очнувшись под утро, я увидел: около моей постели на стуле горит свеча,— я забыл на ночь потушить ее. Наконец я решил отправиться к профессору анатомии Севрюкову, застал его дома и откровенно сознался ему, что боюсь с ума сойти. Он

стал меня успокаивать и сказал мне: "Не беспокойтесь, тот, кто боится с ума сойти, с ума не сходит". И затем прописал мне какие-то успокоительные капли. Ап. Григорьеву я почему-то ни слова не сказал о состоянии души моей и принял твердое намерение найти выход, так или иначе разрешить те вопросы, которые в то время возникали в голове моей, или постараться забыть их,— заняться чтением более серьезных книг и вместе с Игнатием Уманцем по-прежнему следить за всем, что появляется нового и хорошего в русской литературе. Помню, как вместе с ним читал я в каком-то журнале перевод Сушкова драмы Шекспира "Буря" и как Калибан, это животное в уродливом человеческом виде, смешил нас. В моих отношениях к Уманцу ничего не было сентиментального. Родился он в Крыму, где между татар провел свое детство. Это был, как говорится, душа-человек, честный, прямой и непритязательный. Ни он меня не называл своим другом, ни я его. Но по какому-то странному сродству душ, в котором сомневался Лермонтов, Уманца влекло ко мне, меня к нему, и мы еженедельно по нескольку раз ви-

делись. Он был гораздо практичнее, благоразумнее, чем я; но никогда я не слышал от него наставительного тона. Иногда только шутя и как бы намеками, с большим тактом предостерегал он меня от увлечений, и я не говорил ему о своей нелепой поэме "Страшный суд" (я так трусил моего собственного произведения, что не хотел и вспоминать о нем). Не говорил я и о том, какие мысли иногда мешали мне спать, по милости моей нервной впечатлительности. Мне все казалось, что человек с здравым смыслом непременно осмеет меня, как фантазера или психопата. Но след тех испытанных мною нравственных потрясений остался на стихах моих. Я был вполне искренен, когда писал:

И я сын времени, и я
Был на дороге бытия
Встречаем демоном сомненья.
И я, страдая, проклинал
И, отрицая провиденье,
Как благодати ожидал
Последнего ожесточенья.
Мне было жаль волшебных снов

Отрадных, детских упований
И мне завещанных преданий
От простодушных стариков.

и. т. д.

В таком же роде были стихотворения: "Кумир", "К N. N." и др. Все это были мои студенческие произведения, и -- знаю -- им сочувствовали. Вспомните рассказ Тургенева о Белинском, который воскликнул: "Не понимаю, как можно есть и пить, если не решен еще вопрос: есть ли бог или нет его". Таково было поколение, которое впервые было заинтересовано немецкой философией, быть может, по милости молодых профессоров, которые только что вернулись из Берлина, где благоговейно слушали лекции Гегеля и проникались его идеями настолько, насколько они их понимали. И толковали их, может быть, и по-своему, но все же толковали.

VII

Московские салоны.-- Гоголь.-- Как изданы были "Гаммы".-- Популярность графа Строганова.-- Первый успех.

В то время московское общество имело немало салонов, где собиралась вся тогдашняя интеллигенция, где никогда не играли в карты, а вместо музыки и пения дамы не без интереса слушали толки и споры. Такие салоны помню я и у княгини Ан. М. Голицыной, урожденной Толстой, у Ховриной, у Орловых, у Елагиных и даже у баронессы Шеппинг, мужа которой обессмертил Пушкин в своем послании к Чаадаеву:

Ради бога

Гони ты Шейпинга от нашего порога.

И у каждого салона были свои особенности. Так, например, Кетчер, который никогда не надевал фрака и не расставался с своей коротенькой трубочкой, который, по словам Тургенева, не перевел, а перепер Шекспира на язык родных осин и о котором писал Герцен в своих воспоминаниях "Былое и думы",--появлялся только у Ховриных. Знаменитого актера Щепкина, превосходно читавшего комедии Гоголя, чаще всего можно было встретить у баронессы Шеппинг; Хомякова и

Самарина -- у княгини Голицыной; Жуковско-го, когда он приезжал в Москву,-- у Елагиных. Там часто бывал и Гоголь, но не там я его видел, а видел его только раз в жизни у профессора Ст. П. Шевырева, на его именинном вечере. Я застал Гоголя в кабинете лежащим на диване; он весь вечер не проронил ни единого слова. На все и всех глядел он сквозь пальцы, прикрывая ими лицо свое. Около него ходили и двигались гости, и никто не решался обратиться к нему с каким-нибудь вопросом. Это был маленький божок, перед которым благоговели. Не всегда Гоголь был таким. Не раз рассказывали мне, как в интимном обществе он был весел, много говорил и всех смешил до упада. Но мне не привелось даже и слышать его голоса. У Елагиных поклонялись и поэту Языкову, как сама хозяйка Евдокия Петровна, так и сыновья ее, у которых с утра до поздней ночи толпились студенты, пили в стаканах разносимый чай и курили. У них впервые познакомился я с Ал. Бакуниным, будущим профессором одесского лицея. Я тоже любил Языкова, но нигде не встречал его. По болезни ног своих, он никуда не выезжал; ле-

том жил на даче, если не ошибаюсь, где-то за Петербургской заставой. Перед этой дачей по праздникам играл оркестр музыки, им самим нанимаемый. Но когда мне случилось проходить мимо этой дачи и остановиться в толпе прохожих, чтоб слушать музыку, я и на балконе не видал его. Об А. Н. Майкове еще не было слышно.

Я не знаю и не имел времени справиться, не вышли ли в свет мои "Гаммы" раньше, чем первое собрание его стихотворений. Кстати, скажу несколько слов о моем издании. Не мне первому пришло в голову собрать мои стихотворения, а Щепкину, сыну великого актера, блистательно окончившему курс по математическому факультету. Он жил у барона Шеппинга, в качестве воспитателя и наставника их единственного сына.

-- Все это надо собрать и издать,-- сказал он мне.-- Соберите все, что вы написали, и приносите.

-- А на какие деньги буду я это издавать? -- возразил я.

-- А издадим по подписке.

-- Как по подписке?

-- Да так, соберем сто подписчиков по рублю за экземпляр и издадим.

Долго и нелегко велась эта подписка. Даже в Английском клубе, как я слышал, нелегко расставались с рублем, ради каких-то стишков, те господа, которым проиграть несколько тысяч в карты ничего не стоило. Но, как бы то ни было, денег собрано было настолько, что издать мои "Гаммы" нашлась возможность, и они вышли в свет почти в тот день, когда я кончил мои последние, выпускные экзамены. Помню, как на чугунной лестнице, ведущей в нашу аудиторию, встретил я всеми уважаемого и любимого нашего попечителя, графа Строганова, и поднес ему книжку моих стихотворений. Он сделал удивленное лицо, взял книжку и не сказал ни слова. Мы любили графа Г. С. Строганова за то, во-первых, что во всех университетских делах принимал он самое горячее, сердечное участие. Не раз на своих костылях приходил он во время лекций то к одному, то к другому профессору, садился на заднюю скамью и до конца выслушивал лекции. Он сам желал, чтоб при встречах с ним не было никаких це-

ремоний, и все ограничивалось только тем, что студенты вставали, когда он приходил. Во-вторых, мы любили его потому, что он терпеть не мог вмешательства полиции в студенческие проказы и шалости. Она могла только дать знать университетскому начальству то, что заметила, а судить и взыскивать предоставлялось только одному университетскому начальству. В-третьих, мы любили его за его заступничество за Крылова. В то время профессора были и цензорами. Крылов цензуровал чью-то книгу под заглавием: "Кавказские проделки" и пропустил ее, а в этой книге между прочим было сказано, что на Кавказе повышают людей не за их боевые заслуги, а за связи в Петербурге или по протекции. И сыр-бор загорелся. Донесли об этом дерзновении императору Николаю. Он тотчас же повелел вызвать в Петербург профессора Крылова и судить его. И что же? Вместо Крылова поспекал в Петербург сам граф Строганов. Явился к государю и отстоял Крылова как одного из лучших московских профессоров, которому нет и времени прочитывать всякий печатный вздор. Кажется, все ограничилось тем,

что Крылов получил выговор и преспокойно остался в Москве читать свое римское право.

Похвальный отзыв о моих "Гаммах" появился в том же году в критическом отделе на столбцах журнала "Отечественные записки". Это был журнал передовой и влиятельный. Для меня самого было чем-то вроде ошеломляющей неожиданности это громкое признание моего поэтического таланта. В глубине души своей я почувствовал то же самое, что чувствует бедняк, который узнал, что на лотерейный билет свой выиграл целое состояние. И немало хорошего, но немало и дурного посеяло это в душе моей. Во всяком случае, этот отзыв упрочивал за мною место, которое никто не может избрать по своей собственной прихоти и на которое наталкивает нас только природа или нечто нам врожденное, нам с детства присущее.

"Поздравляю,— сказал мне, добродушно улыбаясь, Вельтман.— Но вот что я скажу вам... Верьте мне,— как бы вы сами ни были даровиты и талантливы, вас никто в толпе не заметит или заметят очень немногие, если только другие не поднимут вас".

Эти слова его до сих пор остались у меня в памяти, и я все больше и больше удостоверяюсь в их справедливости. Недаром же и народная пословица говорит, что один в поле не воин. Полагали, да и теперь еще думают и печатают, что статья обо мне принадлежала перу Белинского, что это он так благосклонно приветствовал мое вступление на литературное поприще. И так как Белинский в то время был уже известен, как строгий и беспощадный критик, ратующий во имя истинной поэзии как искусства, и в других газетах взапуски принялись меня расхваливать. А какой-то фельетонист "Русского инвалида" при этом случае перепечатал чуть ли не всю мою книжку в своей фельетонной критике. Но статью обо мне писал вовсе не Белинский, а П. Н. Кудрявцев, который в это время готовился защищать свою диссертацию на степень магистра и уже имел в виду кафедру всеобщей истории. До сих пор еще не утратило своего значения сочинение его под заглавием "Римские женщины". Оно впервые было напечатано в "Пропилеях", периодически выходивших в свет, посвященных классической древности и

издаваемых Леонтьевым.

Статья о моих "Гаммах" не осталась без влияния на мои отношения к знакомым; некоторые из них очевидно были ею озадачены и огорчены.

Вспоминаю, например, студента К.,-- о котором упоминает и Фет, говоря, что один из моих товарищей, а именно Жихарев, ставил мне в пример стихи его и знал наизусть отрывки из его поэмы, очень плохой, как по вялости стиха, так и по содержанию. С этим К. я был лично знаком и даже навещал его. И что же? После статьи в "Отечественных записках", встретившись со мною на Тверском бульваре, он бросился в сторону и скрылся, чтоб не пожать мне руки и не заговорить со мною. Некто Х. (в эту минуту никак не могу вспомнить его фамилии), когда услышал от одной знакомой мне дамы, Змеевой, отзыв о стихах моих, вскрикнул, как ужаленный: "Да что же это такое? Неужели вы хотите, чтоб и я признавал его поэтом!" С этим Х. лет семь или восемь спустя встретился я в Петербурге в Императорской публичной библиотеке, где он состоял на службе, и он отнесся ко мне не

только благосклонно, но и с предупредительным вниманием.

Зато С. В. Воробьевский, когда, после статьи в "Отечественных записках", я зашел к нему, бросился обнимать меня, был так радостен и светел, что мне казалось, что он во сто раз больше рад и счастлив моему первому успеху, чем я сам.

VIII

Сережа Воробьевский.— Идеализм.— Дом Постниковой.— Переселение в Одессу.

Личность этого Сережи Воробьевского настолько оригинальна, что я не могу отказать себе в удовольствии кое-что рассказать о нем. В Москве, около Никитских ворот, против церкви Вознесения, был одноэтажный деревянный дом, серый с белыми ставнями. Дом этот принадлежал доктору Воробьевскому. Он уже был стар, когда я с ним познакомился; среднего роста, на широких плечах носил он большую голову с большими оттопыренными ушами, круглое, выбритое лицо его казалось как бы обрюзглым, но, когда он был весел, что случалось редко, он был не только

со мной приветлив, когда я приходил к нему, но, как говорится, в душу лез. Во всей его фигуре и в его выговоре было что-то хохлацкое. Он уже не занимался практикою, но из ханжества, а не из любви к ближнему, лечил бедных, даже нищих с улицы, которые каждое утро наполняли его переднюю. Нигде в других домах не встречал я такой неряшливости, как в этом доме. Маленький кабинет доктора был его спальней и его библиотекой. Комната эта особенно отличалась своим беспорядком и пылью. Вообще на внешность не обращалось никакого внимания. Он жил с женою, двумя дочерьми, из которых младшая, Евгения, была еще ребенком. Младшие сыновья его еще где-то учились, редко выходили из задних комнат, и я почти что никогда не видел их; старшего же сына, Сережу, постоянно встречал или за перегородкой -- с одним окном, около передней, где больным перевязывали раны и язвы под его наблюдением, или в гостиной за фортепиано.

У этого Сережи была замечательная память, он шутя выучивался понимать иностранные языки и, помимо древних языков,

знал почти что все европейские. Стоило ему глазами пробежать сотни иностранных слов, чтоб они навсегда врезались в его памяти. Что ж мудреного, что в гимназии постоянно он был первым учеником и в университете оказался одним из лучших студентов. Но недолго пришлось ему быть в университете. Однажды, испуганный и бледный, входит он к отцу и говорит ему: "Папа! Ради бога, запрети ты ездить по Никитской; разве ты не знаешь, что эта Никитская у меня в голове". Понял старый доктор, что сын его говорит, как помешанный. Пришлось взять его из университета и лечить. Так как это сумасшествие было тихое и не всегда проявлялось, Сережа лечился дома, и отец придумал ему занятие. И уж не знаю, взял ли он для него учителя музыки или сын его знал уже ноты раньше своего поступления в университет,— знаю только, что он стал играть и в два-три года сделался артистом. Пальцы его приобрели силу и поразительную беглость. Технических трудностей уже для него не существовало. Проиграть наизусть концертную пьесу Листа ему уже ничего не стоило.

Удивительная память и тут его не оставляла; он помнил, что было разыграно по нотам, и играл на память без малейшей ошибки. Приходить и слушать игру его было для меня великим наслаждением. Он же играл без устали и всегда готов был отдаться своей вдохновенной игре. Музыка его вылечила. Он совершенно освободился от своих диких мыслей. Осталось только одно: он боялся проезжать через площади. И позднее никогда никто не мог уговорить его поехать по железной дороге. Чуждый света, прямодушный и доверчивый, он соглашался иногда ехать со мною к моим знакомым и поражать их игрой своей. Как ребенок, был он наивен и самоотверженно послушен. Иногда отец свистом призывал его к себе в кабинет и заставлял читать себе Четьи-Минеи, псалмы, или акафисты, по старым книгам в кожаных переплетах, с страницами, закапанными воском,— и он читал. Посылал ли отец его в переднюю принимать и допрашивать больных,— он шел допрашивать больных и вместо отца прописывал им рецепты. Полагаю, что и тут помогала ему его необыкновенная память. Раз я зашел к нему

вечером, под какой-то праздник. Я попросил его сыграть мне одну из любимых пьес Бетховена; он стал играть. Вдруг отворилась дверь, и в гостиную явилась старуха, в каком-то грязном капоте, растрепанная и гневная, может быть, старая нянька: "Что ты делаешь, греховодник! -- крикнула она на него.-- Звонят ко всенощной, на молитву зовут, а ты тут бренчать вздумал,-- опомнись!" -- И Сережа, улыбаясь, тотчас же закрыл фортепиано и, обернувшись ко мне, конфузливо, но без малейшей досады в голосе, сказал: "Видно, нельзя,-- уж такое у нас положение".

Так же, как и я, Воробьевский никогда не играл ни в карты, ни в шахматы и никогда ни с кем не спорил, так как все спорщики были или невеждами и обскурантами, или гораздо его учение и развитее. Больше всего интересовали его лучшие художественные произведения иностранных литератур, в особенности немецкой. Если бы он не был ни на что другое способен, как только долбить и долбить, Нибур не увлекал бы его своими широкими взглядами на историю и не могли бы нравиться ему отрывочные произведения Жан-

Поля Рихтера,-- эти в своем роде стихотворения в прозе,-- и он не находил бы в них глубины или опозитизированной философии.

Как все это старо для 90-х годов или для тех новых поколений, которых удовлетворяет модная сушь и которые видят в одних социальных теориях и мечтах все свое спасение! Но все, что старо в наше время, было так все еще ново для общества 40-х годов, общества, пробуждавшегося для умственной деятельности, анализа, понимания искусств и в бескорыстной мечте, не в одних естественных науках, жаждавшего найти себе умственное и нравственное удовлетворение. Я, признаюсь, бесовестно пользовался теми способностями и знаниями языков Воробьевского, в которых мне было отказано. Если б я сказал ему: выучить по-арабски или по-санскритски, чтоб ты мог передать мне отрывки из Корана или "Магабгараты",-- он в несколько месяцев выучился бы этим языкам, чтоб только исполнить мое желание. Когда после каникул я возвращался в Москву и заходил к нему, он трепетал и визгливо смеялся от радости, как будто лучшие минуты в его жизни дарил я ему

моим присутствием. Байрон высоко ценил собаку за ее верность и привязанность к своему хозяину. Он ставил эти качества ее в пример людям, в которых ничего, кроме эгоизма, не видел. Сережа Воробьевский -- скажу, не преувеличивая,-- любил меня или был ко мне привязан, как собака к своему хозяину, хоть я и не кормил его. Может быть, это и смешно, но у меня никогда не хватило бы духа осмеять его; и добро бы он был еще мальчик, но ему было уже около двадцати пяти или двадцати шести лет. Однажды, после моего долгого отсутствия, я спросил у него, не был ли он у Генриетты Федоровны Брок (сестры министра финансов). Она жила в Москве, как я уже сказал, с своим братом Федором Федоровичем Броком, домашним врачом в семье Орловых, с своей воспитанницей Серафимой. "Я никогда у них не буду,-- отвечал мне Сережа,-- не буду оттого, что она вас бранит, говорит, что вы не умеете вести себя в обществе, слишком много о себе думаете и что ваши манеры ей очень не нравятся".

Почему именно в своих воспоминаниях я говорю о Воробьевском подробнее, чем о дру-

гих? Конечно, не потому, что он любил меня, а потому, что никогда во всю жизнь мою не встречал я человека такой чистой и светлой души, который никогда о себе не думал, не гордился никакими своими преимуществами, ни способностями, ни талантом; никогда ими не хвастался и, будучи артистом и даже композитором далеко не дюжинным, ни разу не подумал о том, какие из этого могут произойти выгоды, и никогда ни с кем себя не сравнивал, и никому не завидовал. Как он был бесконечно счастлив, когда ему удалось найти себе место где-то в оркестре Большого театра, когда Лист давал свой концерт и когда все до единого места, до самого райка, были заняты. "Это бог, это величайший из музыкантов",-- говорил он, млея от восторга. А эти восторги и для меня были заразительны.

Такие люди и тогда были редки, а теперь их в скитах монастырских не скоро отыщешь. Хорошо быть таким идеалистом, каким был Воробьевский. Среди самой неприглядной обстановки -- предрассудков и семейного деспотизма -- он был счастливее многих людей богатых и вполне независимых. Был ли он либе-

ралом или консерватором? Нет, так как он откликнулся бы на все высокое, прекрасное, в каком бы лагере он ни нашел его.

Еще припоминаю одну личность -- это был мой однофамилец Андрей Полонский. Поступив в студенты, он тотчас же со мною познакомился, стал звать меня к себе, в калужскую деревню, уверял меня, что сестры его -- красавицы и что они могут вдохновить меня. Это был рослый молодой человек, с румянцем во всю щеку и в золотых очках. Почему-то наш инспектор, Нахимов, особенно благоволил к нему (может быть, по знакомству с отцом его). Лично я никаких симпатий к нему не чувствовал, даже почему-то не доверял словам его. Только раз по просьбе я зашел к нему в такое время, когда к нему приезжал отец его из провинции на несколько дней. Помню, как этот старик сразу меня озадачил, сказавши, что Лермонтов никуда не годный писатель. "Сами посудите,-- говорил он,-- что это такое?"

Люблю отчизну я, но странною любовью;
Не победит ее рассудок мой.

Кого это не победит? Странную любовь или отчизну? Нет, далеко еще нам до Корнеля или Расина". Вот по каким образцам выучился смотреть он на поэзию. У сына же его, как кажется, не было на этот предмет никакого своего мнения. Прошло не более года, как я перестал встречать его в университете. Он женился на старшей дочери бывшей содержательницы одного женского пансиона и вышел из университета. Познакомившись с семейством доктора Постникова, я узнал, что он недолго пожил с женой своей.

В доме Постниковых я, по выходе из университета, бывал чуть ли не каждый день. Это был один из тех московских домов, двери которых были раскрыты для всех, искренно полюбивших эту семью: образованную и гостеприимную. Были тогда еще живы и родители Постникова, и никто не мог без улыбки говорить о них. Старуха была все еще влюблена в своего старого мужа и, когда он уходил, сильно о нем беспокоилась и выходила на крыльцо поджидать его. Сестры его были уже невестами, и Мар. Мих. Полонская посели-

лась у них, как у близких родных своих. Тогда же на целые дни приходила и сестра ее. Страстная, недюжинная по уму и насмешливо-остроумная, она всю массу своих поклонников раз при мне назвала своим зверинцем. "А если так,— заметил я,— я никогда не буду в их числе, уверяю вас". С тех пор она употребляла все свои старания, чтоб во что бы то ни стало влюбить меня. Помню летние лунные ночи, когда в саду оставались мы вдвоем; она говорила со мной так загадочно и, не упоминая ни слова о любви, дразнила меня одними намеками.

Помню, как однажды ночью, в густой тени от деревьев, я зажег спичку, будто бы для того, чтобы закурить сигару, а на самом деле, чтобы на миг осветить лицо ее, всех и каждого поражающее красотой своей.

Весь этот маленький роман кончился тем, что я послушался Уманца и задумал вместе с старшим братом его, служившим по таможенному ведомству, уехать в Одессу. Дело уже дошло до того, что у меня вскружилась голова. Увлечь девушку было не в моих правилах, а жениться на ней я не мог, так как и

она была бедна, и я был беден. На поэтические же труды мои я не мог рассчитывать: мои "Гаммы", несмотря на благоприятный для них отзыв газет и журналов, не приносили мне ни малейшей выгоды. Их или не покупали, или книгопродавцы умышленно говорили мне, что никто не покупает их в надежде, что я продам их по пяти копеек за экземпляр. "Гаммы" остались на руках у московских книгопродавцев, преимущественно же у Кольчугина. Я покинул Москву на много лет и не спрашивал, что случилось с моим изданием, может быть, растерял и квитанции; по крайней мере, я ничего не могу о них припомнить (а что его покупали, доказывает то, что оно давно уже стало библиографической редкостью). Я еще не служил и не желал служить. Лучшие товарищи мои по гимназии, поступившие в московскую гражданскую палату, открыто говорили мне: "У нас все берут и живут взятками; на службе вы не удержитесь, если не захотите с волками по-волчьи выть!" К тому же замечу, что то поколение, к которому я принадлежал, боялось брачных цепей и семейной жизни так же, как и Печо-

рин -- герой нашего времени. Да и мог ли я думать о женитьбе, когда, вышедши из университета и нуждаясь в партикулярном платье, я вынужден был продать золотые часы свои, полученные мною в дар в то время, когда я был еще в шестом классе в рязанской гимназии.

Чем же заключить мне мои студенческие воспоминания? Учился я как бы порывами, и мое настойчивое прилежание нередко сменялось ленью и рассеяньем. Нужда отчасти принесла мне немало пользы: закалила слабый, семейной жизнью избалованный характер мой; заставила меня приноровляться к людям и равнодушно относиться к их недоброжелательству. Я верил в дружбу и пользовался полным доверием и расположением немногих друзей своих. Я был влюбчив, но на свою наружность редко обращал внимание. Нередко выходил из дому, позабывая причесать голову или вычистить ногти. Случалось, что по рассеянности я без галстука появлялся в гостях у своих товарищей.

Постоянно имея под рукой преданных

мне друзей, я не без сожаления припоминаю, что во времена моего студенчества ни одного друга, благотворно влиявшего на мое нравственное и умственное развитие, не встретил я среди множества знакомых мне дам и девушек. Многие скажут, что этого быть не может. Я и сам это знаю; как семья не без уродов, так и прекрасный пол не без созданий, достойных всякой любви, веры и уважения. Были, конечно, счастливцы, которые встречали их. Но я во времена моего студенчества не был из их числа, а стало быть, не могу и хвастаться тем, чего не было.

ПРИМЕЧАНИЯ

Мои студенческие воспоминания

"Мои студенческие воспоминания" опубликованы через полтора месяца после смерти Полонского в Ежемесячных литературных приложениях к журналу "Нива" (1898, дек. С. 642--687). В примечании от редакции говорилось о том, что в воспоминаниях есть богатый материал, характеризующий, в частности, лиц, сыгравших видную роль в русской жизни и литературе, и особо отмечалось: "На-

конец, они [воспоминания.-- Ред.] доставляют то высокое удовлетворение, которое испытывает человек, когда вступает в общение с идеально-настроенною душою: чувством доброты и человечности, задушевностью и благородством стремлений, которыми проникнуты стихотворения покойного поэта, веет и от каждой строки его прекрасных воспоминаний".

С Полонским вместе учились: А. А. Григорьев (1822--1864); А. А. Фет (1820--1892), Н. М. Орлов, сын декабриста М. Ф. Орлова (1788--1842). Упоминается также брат М. Ф. Орлова -- генерал А. Ф. Орлов, принимавший участие в подавлении декабрьского восстания (ему-то, а не декабристу, Пушкин посвятил еще в 1819 Роду стихотворение "Орлову", не предполагая, какой смысл получат в 1825 году его слова, что русский генерал не бесславит себя "презренной палкой палача").

В связи с впечатлениями Полонского от игры великого трагического актёра П. С. Мочалова (1800--1848) в Малом театре он вспоминает статью Белинского: "Гамлет", драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета" (печата-

лась в 1838 году в газете "Северная пчела" и журнале "Московский наблюдатель"),

В главе второй Полонский вспоминает об участниках кружка Станкевича; О них подробно см.: Манн Ю. В кружке Станкевича: Историко-литературный очерк. М., 1983. Поэт Ключников И. П. (1811--1895), с которым особенно подружился Полонский, был впоследствии выведен в его романе в стихах "Свежее предание", носящем мемуарный характер (1862), под именем Камкова. Для нравственной атмосферы философского кружка, возглавлявшегося поэтом и философом Н. В. Станкевичем, в высшей степени характерны строки Полонского о Камкове:

"Все понимал: и жизнь и век,
Зло и добро -- был добр и тонок;
Но -- был невзрослый человек.

.....

Он по летам своим был сверстник
Белинскому.-- Станкевич был
Его любимец и наперсник.
К нему он часто заходил
То сумрачный, то окрыленный

Надеждами, и говорил --
И говорил, как озаренный..."

Стихотворения Ключникова см. в кн.:
Поэты кружка Н. В. Станкевича. М.; Л., 1964. С.
487--544 (публикация С. И. Машинского).

Сведения о многочисленных лицах, упо-
минаемых в "Моих студенческих воспомина-
ниях)), см. в примечаниях И. Б. Мушиной к
ним (Полонский Я. П. Сочинения. Т. II. М.,
1986. С. 457--462).

Мой дядя и кое-что из его рассказов

В Ряжском уезде Рязанской губернии
есть сельцо Смолеевка. Оно когда-то,
как родовое имение, принадлежало родному
дяде моему Александру Яковлевичу Кафтыре-
ву. В сороковых годах, за год до выхода моего
из Московского университета, во время кани-
кул летом провел я чуть ли не целый месяц в
его деревенском доме, с окнами и балконом

на выгон, с бутылками разных настоек на окнах, с охотничьими ружьями в спальне и с запахом клоповника и онуч в сенях и в передней.

Дядя этот носил меня когда-то на руках и учил меня ползать, когда я был ребенком (так как, говорят, я стал ходить не умея ползать), любил меня как родного сына--и конечно был так рад моему приезду, что уже не бранил меня за длинные волосы.

Жил он почти также, как и многие тогдашние помещики, состарившиеся холостяками: не только перед обедом, но и перед чаем, и перед завтраком, и перед ужином водку пил, но бранил старосту за пьянство, и читал встречным крестьянам уроки трезвости. Держал при себе крепостную девицу в качестве хозяйки дома и каждое воскресенье не только ходил к обедне, но и пел на клиросе или, вернее сказать, завывал, вторя деревенским дьячкам. Это пение невольно возбуждало улыбку: мой старый дядя не имел ни слуха, ни голоса. Дома, целый день не выпускал он изо рта коротенького, волосяного чубучка с большою пенковою трубкой, с серебряным

колпачком и такую же ковырлялкою. Но, не смотря на странности, Александр Яковлевич был и гуманнее и образованнее своих соседей: редкий день чего-нибудь не читал, мог читать по-немецки и по-французски, ежегодно выписывал календарь и подписывался на Московские Ведомости. В Рязани, в доме теток моих, на Дворянской улице, у него были своя библиотека и небольшое собрание медалей, редких монет, раковин и минералов. В молодости своей он был военным, бывал и в Питере, и в Москве, и в Казани, и на Кавказе. Добрый и доверчивый, он, по видимому, легко сходилась с людьми всех возрастов и состояний; но жениться не мог, потому что во всю жизнь свою не имел духу ни признаться в любви, ни решиться за кого-нибудь посвататься. Уже в пожилых годах, судьба свела его с одною из горничных его покойной матери {Александры Богдановны Кафтыревой, урожденной Умской, дочери графа Алексея Григорьевича Разумовскаго.} Лизаветой, и он до конца жизни своей не расставался с нею. Набожные до фанатизма и до брезгливости целомудренные сестры его Вера и Анна, состав-

рившиеся девицами, никогда не могли простить ему этой связи и смотрели на Елисавету как на лукавую и коварную девку, которая, будто бы, для того чтобы приколдовать его и забрать в свои руки, приучила его водку пить. Но я был еще слишком юн и доверчив, чтобы подозревать разные ехидства в этой женщине. Я смотрел на нее как на няньку моего дяди; и она была искренно, как родная, рада мне, когда я, в телеге, прикатил в Смолеевку.

В Смолеевке я застал дядю своего уже не задолго до его кончины: он уже не ездил с ружьем на охоту, и даже белый, легавый пес его "Пижон" был не страшен, когда, залезая под обеденный стол, ворчал и хватал меня за ноги. Он также был накануне своей кончины. Дядя мой, в это время, сильно страдал грыжей и часто жаловался на боль в пояснице. Не могу, при этом удобном случае, не рассказать, как он нажил себе эту грыжу. Она не была для него недугом наследственными, он схватил ее, спасая жизнь сестры своей Натальи Яковлевны Полонской, моей матери. Вот как это случилось.

Почему и от чего, не помню, на руках у

незамужних теток моих в Рязани оставалась дочка замужней сестры их Евлампии Яковлевны Плюсковой (двухлетний или трехлетний ребенок); и не знаю почему именно, мать моя вместе с дядей взялись отвезти эту маленькую племянницу к ее матери в деревню "Острые Луки", верстах в 10-ти от Спаска, где муж Плюсковой был в это время дворянским предводителем. Деревня Острыя Луки (или Острая Лука) летом была в 40 верстах от Рязани; зимою же путь к ней шел по реке Оке (по льду) и был короче. Была масленица, и еще стояли зимние морозы, когда они выехали и вероятно так рассчитали, чтобы засветло добраться до усадьбы Плюсковых. Но в конце пути кучер сбился с дороги, не нашел подъёма с Оки на берег, понадеялся на русское "авось", повернул тройку к берегу, хлестнул вожжами, и лошади по грудь провалились в снежный сугроб, а кибитка завязла. Дядя и мать мои, со спящим ребенком на руках, кое-как вылезли из под снега и взобрались на берег. "Эге", сказал дядя, "да мы не далеко; вот это крышка виднеется: это их дом, а это сад их. Пойдем!" Они двинулись по снегу, но не

успели пройти и четверти часа, как уже началась метель, и наступили непроглядные сумерки. Даже обратный путь к кибитке был потерян. В стороне мелькнул огонек. "Эге", сказал дядя, "мы скоро дойдем: это у Плюсковых огонек. Посиди здесь; ты устала, а я дойду и пришлю к тебе лошадей". Мать моя села у опушки какого-то леса, плотнее закутала, спавшую на руках ее девочку, в глубокий снег погрузила ноги свои, чтоб не отморозить их, и преспокойно решила сидеть и ждать, уверенная, что вот-вот сейчас пришлют за ней сани или пошевни. Дядя пошел на огонек и, осаждаемый собаками, пришел не в усадьбу, а на мельницу, верстах в двух от усадьбы, построенную при впадении в Оку какого-то ручья или реки "Истья", если не ошибаюсь. У мельника в избе, в эту ночь, справлялась масленица; были гости, все были пьяны, орали и пели песни. Никто ничего не понял из того, что стал рассказывать им дядя мой. Он был им как снег на голову или нечто в роде оборотня. "С нами сила крестная! ты отколева, любезный?" спрашивали моего дядю подгулявшие приятели мельника. "С какой сторо-

ны пришел? Сказывай! Э, брат, с эфтой стороны и дороги нет, что ты. Какой след оттелева тебе с Рязани ехать. Ишь ты, умен! Не-е... Не хочешь ли сивухи шкалик?" Как ни умолял мой дядя о помощи, что он ни говорил им, каких денег ни сулил, они толком не поняли и не захотели ночью идти помогать ему, да и не могли бы помочь, потому что ноги их и без того плохо слушались. Не зная что делать, с отчаянья, дядя мой один, ночью, пустился отыскивать усадьбу Плюсковых. Он догадался, что мать моя не у сада, а в лесу; не на берегу реки Истья, а над Окой. В ужасе за нее, прямоком, на удачу, блуждая, проваливаясь в снег, перелезая какие-то плетни, усталый, измученный добрался он к двум часам по полуночи до деревни Острые Луки, пробрался садом к заколоченному балкону дома, стал стучаться, кричать, обошел на крыльцо и опять стал стучаться; но долго никто не решался пускать его, так как лакеи не узнавали его охрипшего голоса. Наконец-то проснулся весь дом; проснулись Плюсковы и пришли в ужас.

"Ступайте скорей, ищите сестру Наташу, там где-то в лесу, за мельницей". Вот все, что

мог, страшно запыхавшись, проговорить несчастный дядя, и повалился на диван как мертвый. Его раздели и стали оттирать теплой водкой, а между тем на ноги подняли чуть не всю деревню, велели оседлать лошадей, зажгли фонари. Окна дома, особливо антресольные, осветили зажженными свечками; словом, иллюминировали весь дом, чтоб он был виден издали, и всех послали на поиски. Бедная мать моя найдена была, уже на рассвете, полузастывшая от холода и, к счастью, не съеденная волками. Она уже начинала засыпать, когда услышала голоса, которые аукались. В доме к сестре довели ее на фореиторском седле. "Я ехала в салопе, точно рыцарь в епанче", говорила мне мать моя. Наши няньки ахали и охали и даже утирали слезы, когда слушали рассказ ее. Мне было уже около 8-ми лет, и это не совсем обыкновенное приключение с моею матерью сильно потрясло меня. Приключение это не обошлось без примеси фантастического. Люди, посланные на поиски, рассказывали друг другу шепотом, что во веки веков не найти бы им барыни, коли бы не какой-то неведомый старичок, который

попался им на встречу, протянул палец, сказал им: "там ищите" и исчез. Они поехали и нашли.

И так, вот с которых пор у дяди моего, с натуги, стали появляться признаки грыжи. Но извините, если я отклонился в сторону. Я имел в виду передать вам кой-какие рассказы моего дядюшки, записанные мною со слов его, в то единственное лето, когда я гостил у него в Смолеевке.

Переписывая вам эти рассказы без всяких прикрас и объяснений, не знаю, насколько они будут интересны для ваших читателей; не отвечаю и за их полнейшую достоверность; но что от них пахнет Русской стариной -- это несомненно. Вот эти рассказы.

Был, в царствование Павла, в Казани, генерал-губернатор князь Мещерский. Он был и глух и слеп. У него был племянник, фамилия его Овцин. Бывало, Мещерский выедет на смотр вместе с своим племянником, который был у него адъютантом. Ну вот Овцин тотчас же и подъедет к капитану, да и спросит его: "Что! угостишь меня Шампанским?" -- Нет. -- "Ну вот увидишь, что будет!" Как только нач-

нется, бывало, церемониальный марш, Овцин и подъедет к генерал-губернатору да и говорит ему на ухо: Дядюшка, гадко! скверно! Тот и начнет кричать: "Государь мой, глаз не видит, ухо не слышит, а знаю, что скверно, гадко, мерзко!" и начнет всех пушить. Вот, после смотра, подъедет Овцин к капитану и говорит: "Бутылки Шампанского пожалел, а теперь что, брат?"

Этот Овцин был большой проказник. Была в Казани распланировка улиц. Вот племянник и повезет генерал-губернатора по городу и начнет его водить; заведет его, например, в какую-нибудь землянку или лачугу, назначенную к сломке, куда не согнувшись и пройти нельзя, а Мещерский князь и кричит: Мошенник! куда ты меня завел! Я-то пролезу, да чин-то мой не пролезет!...

У князя Мещерского, как у генерал-губернатора, в торжественные дни, по обыкновению того времени, ставились во время обеда на стол разные казенные серебряные сервизы, для парада, часто пустые. Вот Овцин, бывало, наловит воробьев и напустит их везде и в чаши, и в соусники, и накроет крышками.

Во время стола и попросит кого либо из гостей поднять крышки. Воробьи начнут летать по зале, а Мецкерский кричит: Александр! Мошенник! Хоть бы дядю-то твоего пожалел!

Вот краткая биография Овцина. Овцин служил в провиантском штате. Вот однажды, когда воцарился Павел, Овцин с своим товарищем, другим офицером, и заведи такую речь: что нам здесь доброго дожидаться, денег казенных у нас много; возьмем да и удерем за границу. Их подслушали. Донесли Павлу. Вдруг строгий приказ: схватить их обоих и отправить в Петербург. Привезли их в Петербург и посадили под арест в доме генерал-губернатора, откуда им уйти было никак невозможно, так как заперли их на четвертом этаже. Вот Овцин и говорит своему товарищу: "Эх, брат, плохо нам; я уже решился броситься из окошка. Одной смерти не миновать, а двум не бывать: от Государя же вышла сентенция казнить нас обоих яко изменников отечества". -- Ну так и я брошусь, отвечал товарищ. -- "Ну бросайся, сказал Овцин; ты сперва, а я за тобою". Тот бросился и разбился вдребезги. Овцин же и не подумал за ним последовать.

Доложите, говорит, Государю, что я имею кое-что нужное сообщить Его Императорскому Величеству. Павел велел позвать его. "Государь, сказал Овцин; мы подпили и пьяные сказали глупость, которой бы никогда не сделали. До нас дошли слухи, что ты Бог знает что такое; страх такой напустили об тебе. Мой товарищ, с испуга, бросился в окошко; а я понадеялся на твою милость, не захотел умереть".

Павел, выслушав его, велел посадить его только в крепость. Но не больше месяца просидел он в этой крепости и назначен был в Казань, прокурором. Император позвал его и говорит: Ну, смотри же, вперед не шали.

В Казани Овцин женился на Мосоловой, дочери одного заводчика и взял за женою немало денег; потом был запутан в какое-то дело и попался под суд.

На престол взошел император Александр. Овцин и подает новому Государю проект об управлении иностранными исповеданиями в России, где между прочим говорит: "Государь! У меня связаны руки, я запутан в одном деле, которое почти меня не касается, а

то я мог бы быть полезен и тебе и Отечеству". Александр велел ему явиться на лицо. Овцин перед своим отъездом из Казани приходит к тестю своему, Ивану Антоновичу Мосолову, обедать. После обеда отводит его в кабинет и говорит, что должен поговорить с ним по секрету. Приходят в кабинет. Овцин запирает дверь и просит у тестя десять тысяч. Тот говорит: "Помилуй, где мне взять; тебе я и так много дал за дочь". -- "Ну!" говорит Овцин, и вынимает два пистолета. "Если вы не дадите десяти тысяч, мне ехать к Государю не с чем, и я вот что сделаю: сперва застрелю вас, потом матушку Марью Ивановну, потом братца Николая Ивановича, потом всех ваших наследников, а потом и себя застрелю. Для чего вам беречь деньги, когда никого не будет"?

Тесть испугался и дал ему десять тысяч; Овцин же, выходя из кабинета, сказал: "Дурак я, что не попросил двадцати тысяч; он бы испугался и дал бы, да еще пожалуй и обчелся бы со страху".

С тех пор Мосолов не велел Овцину показываться себе на глаза и так его боялся, что на своем медном заводе в Вятке приставил ка-

раул и когда приезжала к нему дочь его, то осматривали экипаж, не спрятался ли куда-нибудь Овцин.

Мосолов был скуп и имел много странностей. Его любимая поговорка была: Бог даст; вперед увидим! Когда он собирался угощать кого-нибудь чаем, то кричал: "Эй, человек, чаю самовар!" Когда ему нужно было говорить с женой, то он всегда обращался к ней: Матушка Марья Ивановна, мне нужно с вами переговорить; прошу пожаловать со мною в укромное местечко.

Овцин же явился в Петербург к Государю и так ему понравился, что был сделан прокурором нового управления по делам иностранных исповеданий. В 1805 году, когда открылась война, Овцин попросился у Государя за границу. Ему дали паспорт. Приехал он в Саксонию, назвался графом Овциным, живет там в одном трактире, ничего не делает, ест да пьет, и уже задолжал рублей с пятьсот. Случилось Государю проезжать по Саксонии, остановиться у самого этого трактира и приказать дать себе напиток. Выходит трактирщик Немец и начинает хвастаться, что у него

живет некто Русский граф Овцин. Государь и говорит: нет, говорит, у меня таких графов; позвать его. Овцин подошел к коляске Государя, солгал, что укрывается от Французов, не знает куда даваться, хочет в Россию, но никак не может. Кончилось тем, что Государь позволил ему сесть на козлы, рядом с кучером Ильею Ивановичем. Трактирщик хотел было напомнить Овцину о долге, но тот показал ему только кулак и уехал. Сидя на козлах, Овцин попросил у Государя позволения Русские песни петь; Государь позволил.

По приезде в Россию, Овцин назначен был вице-губернатором в Москву, где генерал-губернатором был граф Гудович. Гудович ненавидел Овцина и написал Государю, что если Овцин будет в Москве вице-губернатором, то он подаст в отставку. Вследствие сего Овцин был снова отозван в Петербург, где ему и было обещано место губернатора.

Между тем, в ожидании этого места, он пишет в Москву к одному из своих приятелей... Письмо это попало Гудовичу; он тотчас же и отправил его к Государю на прочтение. Ждет-ждет Овцин места, не выходит ему

это место. Князь Голицин, Александр Николаевич, напоминает о нем Государю; но Государь позвал Голицина в свой кабинет и показал ему письмо Овчина. Голицин отступился. Затем Овчину велено было в 24 часа выехать из Петербурга и выезжать из Москвы и из того места, где будет проезжать Государь Император. Жизнь его кончилась тем, что в 1813-м году он поступил в гусарский полк, куда был принят майором и за границей умер горячкою.

Вот еще записанный рассказ о Федоре Федоровиче Орлове.

Федор Федорович Орлов был высокого роста, ходил на деревяшке, одна нога его была им потеряна в Бородинском сражении, говорил немного пискливым голосом, силы были необыкновенной и был ужасный гуляка.

В 182... (дядя мой не вспомнил года и добавил: кажется в 25-м году) Орлов жил в Ярославле, где родной сестры его муж, Безобразов, был губернатором.

Однажды идет он по улице, видит в одном домике: купец с семейством и поп сидят

под окошком и чай пьют. Он остановился под окошком, попросил позволения войти и напиться чаю в такой прекрасной компании. Купец с радостью изъявил ему свое согласие (так как весь город Орлова знал); и вот он вошел к ним, уселся, долго дружелюбно беседовал, потом вдруг обратился к попу. Батюшка, говорит, у меня есть к вам просьба. -- А что? -- Да вот, я хочу попросить вас, чтобы вы сняли рясу. -- Поп удивился. -- Сделайте милость, батюшка, снимите; я хочу ее примирить, хочу посмотреть, пристанет ли она ко мне, или нет. Поп долго не соглашался, наконец согласился, Федор Федорович надел на себя рясу, схватил поповскую шапку да и был таков.

Идет Федор Федорович в рясе по улице. Едет бочка с вином. Он сел верхом на бочку, и таким образом, на винной бочке, в поповской рясе, прокатился по всему городу.

А то вот еще что.

26 Августа Орлов был в гостях у одного своего приятеля, где был прокурор Б., тоже его приятель. Сидели они долго, до 12-ти часов ночи. Б. ушел домой, а Орлов остался.

Вдруг вспомнил он, что это день Бородинской битвы, день, который Федор Федорович ежегодно праздновал. Ну, как хочешь, пошли за Шампанским, сказал он хозяину дома. Да теперь ночь, Где же взять Шампанского? -- Как хочешь: в этот день я не могу жить без Шампанского.

Послали доставать Шампанского. Достали.

-- Ну, теперь пойдем к Б., пусть и он с нами выпьет; а если спит, разбудим.

Б. действительно был уже дома, разделся и лег спать с своей метрессой. Вдруг слышит, стучатся в дверь. Кто там? -- Мы. Нынче 26-е Августа, день Бородинской битвы: вставай пить Шампанское.

-- Не хочу.

-- Отворись!

Б. не хотел отворить двери и стал ругаться. Орлов не выдержал: схватил свой костыль, вышиб двери, вошел в комнату, поймал Б. за рубашку и стальным прутом стал по голой спине стегать его. К счастью, рубашка оборвалась, и Б. убежал.

Рассказывая все это, дядя мой заливался,

по истине, детским хохотом. Мы же, старики нашего времени, так смеяться уже не можем.

Я. П. Полонский о Ф. М. Достоевском

Фрагменты из дневника Я. П. Полонского 1870-х гг. были напечатаны в историко-литературном сборнике "На чужой стороне", выходявшем под редакцией С. П. Мельгунова при ближайшем участии Е. А. Ляцкого и В. А. Мякотина (Берлин; Прага, 1925. Сб. 5. С. 41--51). Ранее в 4-м сборнике (Берлин, 1924) были напечатаны другие фрагменты дневника поэта ("Дневник. -- Россия в 1876 году". С. 88--101). Редакция сопроводила вторую публикацию следующим примечанием: "Копия, с которой мы печатаем отрывки дневников Я. П. Полонского, написана рукой его жены Жозефины Антоновны. По-видимому, некоторые места текста переписчица поняла неверно" (С. 41). Редакция ошиблась, озаглавив публи-

кацию "Из дневников Я. П. Полонского в 1878 г.". Только первая запись (8 августа) 1878 г. -- своеобразная горестная увертюра к дневниковым записям за сентябрь 1876 г. Последняя запись -- 30 сентября, содержащая сочувственный отклик на только что доставленный Полонскому сентябрьский выпуск "Дневника писателя", самый "политизированный" выпуск "Дневника", почти всецело посвященный восточному вопросу.

1876 год вообще прошел для Полонского под знаком "Дневника писателя" Достоевского. Большое впечатление на поэта произвел первый (январский) выпуск "Дневника писателя". 4 февраля он писал Достоевскому; "В Вашем дневнике есть одно достоинство, которое, чего доброго, не понравится нашей читающей публике: в нем есть ум и серьезность <...> читая дневник Ваш, я волей-неволей должен был почувствовать, что мы с Вами дети одного и того же поколения, так что если бы мы разглядели те нравственные нити, которые связуют нас, мы не поддались бы тому духу розни или нравственного распада, который нет-нет да и подскажет на ухо: видеть-

ся хорошо, а не видаться еще лучше" (Из архива Достоевского. Письма русских писателей. М.; Пг., 1923. С. 75).

Достоевский в тот же день откликнулся на добрые слова Полонского, поблагодарив за письмо. Позднее Достоевский подарил ему вышедший отдельной книгой "Дневник писателя" за 1876 г. с надписью:

Якову Петровичу
Полонскому
дорогому поэту
от автора.

Из дневников Я. П. Полонского 1878 г.

8 августа. Прошло с лишком два года с тех пор, как эта тетрадь ушла из моих мыслей, была мною позабыта и только неделю появилась, чтобы напомнить мне о своем существовании.

Много воды утекло с тех пор.

Одна война была пережита, были блистательные победы, доведшие нас до стен Константинополя и, наконец, вся эта величе-

ственная поэма, в которой проявился дух России, продолжалось опять тупоумие, продажность, пошлость и суетное тщеславие, все это кончилось Берлинским Конгрессом, позором России, и все, что мы, все русские, чувствовали и чувствуем, высказалось в знаменитой речи И. Аксакова, за что он и потерял свое место, получил высочайший выговор и сослан. В это время ранен Трепов и оправдали Засулич, а на днях совершилось новое преступление: убит Мезенцев, генерал, начальник третьего отделения. Подробности этого события всякий может прочесть в газетах... Не стоит записывать предположенья про убийцу, могут и не оправдаться впоследствии.

Но вчера -- вчера вечером прислали мне на просмотр выписку из высочайше одобренного журнала особого совещания по вопросу о причинах, препятствующих положить предел усиливающейся противоправительственной агитации и мерах, какие полезно было бы принять к ее ослаблению.

Записка, конечно, составлена нашими государственными людьми, и, когда я читал ее, я думал, что ее составили дети под руковод-

ством своих гувернеров, до такой степени она пуста и несостоятельна.

Наши государственные люди видят вред в распространении образования в России и, чтобы убить социализм, придумывают средства ограничить число учащихся, т.е. хотят подлить масла в огонь! О слепцы!.. о, маленькие люди, которые хотят остановить поток идей в силу всеокрушающего времени!..

15 сентября. Нынче утром вдруг попался мне на глаза один номер, а именно 23 декабря 1862 года, издававшийся когда-то И. Аксаковым. Я ухватился за него, как за случайную архивную находку, и стал читать.

И чем более читал я, тем более проникался не только грустью -- злостью на наше недалеконвидное, глухое, близорукое правительство.

Давно уже, по его милости, Аксаков прекратил свою деятельность как журналиста. Давно уже по приказанию наших властей закрылся у России этот глаз, пристально наблюдающий за врагами России -- Австрией и поляками. -- Один этот номер, -- едва ли наполняющий No "Дня", показался мне совершен-

ством, до такой степени много в нем фактов, имеющих живую связь с настоящими событиями на Востоке, даже говорится о восстании герцеговинцев и посылке турецкого войска в Боснию и о подкупах и интригах Австрии.

17 сентября. Виделся в Комитете с нашим 70-летним стариком Есиповым. Он только что вернулся из Сербии, куда ездил на лето не столько из любопытства, сколько по любви своей к вопросам о славянах. Вот, между прочим, что я от него слышал. В Белгороде всюду на дорогах в вагонах и в гостиницах господствует немецкий язык.

Русского языка сербы не знают. Австрийские газеты в кафе получают массами, и все сведения о России почерпаются из враждебной нам австрийской прессы. Русские газеты можно было видеть только в русском консульстве или у некоторых русских.

19 сентября. Был у Победоносцева, К. П., застал у него англичанина, туриста, некоего M-r Alexander -- впервые посетившего Москву и приехавшего в Россию. Ему очень нравится Петербург, и когда я сказал ему о наших мостовых, он ответил, что готов подрядиться до-

ставить в Петербург для мостовой камень из Шотландии, где на севере будто бы климат не лучше нашего и где эти мостовые в городах удивительно как долго сохраняются. К. П. Победоносцев повез этого туриста в Славянский Комитет -- зачем и для чего не знаю.

Брошюра Гладстона в один день раскупалась в Лондоне в количестве 40 000 экземпляров, переведенная на русский язык -- была задержана русской цензурой, но кое-как прошла и на днях появится в продаже -- о войне ничего не известно.

Воротившись домой, я застал дома Григоровича, Д. В.

Что наговорил он в этот вечер, того не упишешь и на ста листах, -- но вот главная суть разговора или высказанных им мыслей и фактов.

1. Победы сербов, если только действительные слухи о победе Черняева достоверны, рано или поздно поднимут все магомеданское население Турции и доведут его до ярости, до исступления. Опять началась резня христиан и жесточайшие их истязанья. -- Это дойдет до того, что поневоле Европа должна

будет вступить, и мы введем в Турцию войска свои.

2. Если будет война с Австрией -- мы, как бы ни была она вооруженной, в один месяц ее расколотим -- так что только пыль столбом пойдет -- почему, а потому, что

3. Вся Россия -- все от гвардии до последнего мужика изныли от тоски и скуки. Каждый теперь рвется куда-нибудь -- лишь бы не умереть от нравственного и всяческого застоя. Так война эта будет одна из самых отчаянных, так как в России 80 миллионов. Она такая сила, что не расшибленной Австрии с ней бороться, а

4. Россия дошла до такого предела чудовищного беспорядка, всяких гадостей и мерзостей, что дальше идти ей некуда. Скоро жить будет в ней невозможно, будут или бунты или война -- нет другого исхода.

5. Не найдешь места в правительственном мире, нет чиновника, способного на то дело, к которому он призван. Ни одного дельного министра -- все они окружены плутами и ворами. Ничтожество и бездеятельность по протекции получают места и назначения.

Как пример нелепости Григорович рассказывает следующее:

В Москве строят новый Музей. Чтобы его построить, отыскивали старинное здание, где жил царь Годунов, -- здание, которое само по себе стоит музея, как уцелевшая древность. Чтобы отыскать эту драгоценность, потребовалось 200 000. Такой музей будет стоить слишком миллион. Кроме того, на Пречистенке уже занят дом, громадный дом (кажется, Нарышкина) чиновниками, которые будут состоять при этом будущем музее, -- все они уже имеют квартиры и получают жалованье.

Григорович знаком с некоторыми из них и говорит, что эти будущие представители музея ничего не знают, какой это будет музей, для чего? что в нем будет? и вообще о древностях и искусстве не имеют никакого понятия. Все это протеже разных директоров департаментов -- тунеядцы и больше ничего.

6. Высочайшие повеления не исполняются, можно видеть в каждом селе, в каждой деревне. По высочайшему повелению изба от избы должна отстоять не ближе 3 1/2 саж., а пространство между ними должно быть уса-

жено деревьями. Это мудрое распоряжение против пожаров нигде не приводится в исполнение.

Вот бы кого нужно было казнить. Вот для кого нужны были палки Петра Великого, а не на этих несчастных молодых людей, обвиняемых черт знает в каких несбыточных замыслах.

Много отвратительного до невероятности рассказывал он о нашем морском министерстве. Пруссия на 170 миллионов (или около этого) создала 20 броненосных судов. Россия на 250 миллионов в то же время создала два броненосца, которые оказались негодными. Куда девались эти миллионы -- украдены, а чтобы лучше красть, вот что делали. Велят, например, строить броненосное судно. Когда оно готово, в. к. К. {Великий князь Константин Николаевич.} приказывает сделать из него двухбашенный миноносец. Когда готов двухбашенный миноносец, приказывают ломать и сделать пловучую батарею. Затем из пловучей батареи опять двухбашенный миноносец. На эти перестройки из казны, конечно, идут миллионы, и сотни тысяч перепада-

ют в карманы администраторов.

Это так отвратительно, что не верится. На днях, сказал мне Григорович, виделся он с одним из придворных Анничкова дворца -- и когда он говорил с ним о печальном положении России, придворный сказал ему: Вот подождите, Александр III все возьмет в ежовые руки и все подтянет. Что же он сделает? -- спрашивает его Григорович. Он стеснит теперешнюю свободу.

Хорошее пророчество, нечего сказать.

У нас все беспорядки, все злоупотребления, все гадости происходят оттого, что все честное и мыслящее пикнуть не смеет, оттого что свободы у нас и не привычны, никто не чувствует себя свободным, а нам угрожают не карою суда, а стеснением свободы. По мнению Григоровича, для России еще нужна палка Петра 1-го и его железная воля, но не для стеснения свободы, а для обуздания чиновников и дворцового произвола, разграбление казны, тунеядство -- бездарности, неповиновение законам, повальное пьянство и невежество.

Правда ли, говорит <нрзб>, что есть места

в России, где у крестьянина, от уплаты пода-тей, на годовичное его продовольствие остается в кармане 90 копеек!! и что будто наши кре-стьяне платят почти что 100 процентов с того дохода, который они получают с земли. Это требует проверки.

В иных уездах, где фабрики, все крестьян-ство во власти кулаков, все задолжало оно им, развращено, спилось и разорено в конец. Не пройдет 20 лет, как уже в России, т.е. с кре-стьян, правительству собирать будет нечего (если управление не переменится).

21 сентября. Вчера слышал, будто бы на маневрах под Варшавой князь Горчаков, наш канцлер, и Милютин, наш военный министр, повздорили. Князь, говоря с ним, употребил следующую фразу -- весьма глупую: "Как вы хотите, чтобы я, как дипломат, поступал так, как следует, когда у меня на руках две гири, одна гиря -- военное министерство, а другая -- министерство финансов".

Милютин пошел на днях к нему и сказал: "Я прошу вас никогда того не говорить, так как я, если будет угодно Государю, могу вы-ставить немедленно 2 000 000 войска".

Это все возможно, только петербургские умные люди не верят в возможность быстрой мобилизации нашей армии -- у нас нет ни средств, ни порядка, ни достаточного количества честных людей. Будь у нас сам гр. Мольтке, и тот у нас на месте военного министра ничего бы не сделал потому, что не смел бы требовать отчета, ни распоряжаться там, где войсками заведуют великие князья Михаил и Николай Николаевичи.

Невольно при этом приходит в голову: возможно ли предать у нас гласности и ответственности за злоупотребления или хоть изобличение этих злоупотреблений, если в будущем на всех высших постах в России будут члены царской фамилии?

Завтра придется показать Комитету цензуры иностранной следующее место в газете "The American Register" (No 141): "Жалованье, которое получают различные монархи в Европе, следующее: Александр II -- 9 152 000 или 25 000 в день. Абдул-Азис 9 000 000 или 18 000 в день. Франц-Иосиф 4 000 000 или 10 050 в день. Фридрих-Вильгельм II -- 3 000 000 или 8200 в день. Виктор-Эммануил 2 400 000 или

6840 в день. Виктория 2 200 000 или 6270 в день. Леопольд 600 000 или 1643 в день. И все это кроме дюжины дворцов, с которых не берется никакой пошлины".

Кажется мне, что вычисление не совсем верно, если ежедневное жалование помножить на количество дней в году, то общая сумма выйдет меньше, здесь показаны только круглые числа и почти все увеличены. Так, если 25 000 помножить на 366 дней (беру високосный год), то выйдет 8 900 000, а не 9 150 000.

Потом при этом невольно приходит в голову, что самые бедные государства и как более запутанные в своих финансовых операциях (почти банкроты) -- это Турция и Россия, у которых дворы стоят с лишком в 4 раза дороже, чем двор королевы Виктории, тогда как Англия страна самая богатая.

25 сентября. Носятся слухи об отставке министра финансов Рейтерна. Дай Бог! Но кого назначат на его место. Непременен ли какой-нибудь туза действительного тайного или пролазу. Шамшин значит товарищем министра финансов -- умеет только соблюдать

экономии, далее этого он не идет. Про (пропуск у самого Полонского. -- Б. Т.) говорят, что у него прекрасный голос, что он человек способный, но взяточник -- и т.д. и т.д. Я повторяю только то, что говорит общество.

Нынче в день Сергия я был у одного именника. Доставалось же там министру финансов. Вот что я, на лету, о нем слышал. Это не министр, это был скорее маклер. Он был помещан на биржевых спекуляциях. Он ни на волос не подвинул вперед ни русской торговли, ни русской промышленности. По его милости у нас нет торговых портов в Черном море, так как он отказал в постройке их англичанам, которые брались на свой счет, без выпуска облигаций, приступить к постройке портов, на очень выгодных условиях. Теперешняя постройка портов Поти идет из рук вон плохо и уже стоит миллионы. Ведя у нас лишние и непроизводительные расходы -- отопление одних казенных домов в Петербурге, где живут чиновники, стоит 600 000, двор поглощает не только эти 9 000 000, которые отпускаются от казны, но и те миллионы, которые получают из удельного ведомства.

Удивительно, говорит гость, -- у нас в России печатные статьи, как бы ни были умно и толково они написаны по разным финансовым и промышленным вопросам, не только не влияют, напротив, правительство все делает как бы наперекор им. И через влиятельных жидов легче действовать на правительство, чем русскими книгами и журналами.

Говорили, что единственная финансовая голова в России -- это какой-то Гирс, но он давно уже устранен из министерства финансов и теперь сенатором. Но положение дел так плохо, что на обсуждение их решились обратиться к этому Гирсу и вызвали его в Государственный Совет -- насколько все это правда, не знаю.

Был у Рождественского, который тоже именинник. Он служил в министерстве народного просвещения, кажется, в качестве окружного инспектора народных школ.

Слышал от него, что в Петербурге в настоящее время всего только 18 однокурсных народных школ, 18, тогда как для Петербурга нужно их по крайней мере 200. Если взять только 15 на школьный возраст (от 9 до 11

лет) с количеством детей простого звания, то и для них по расчету нужно 170 школ.

Деньги есть, но --

В 1869 году Дума предлагала министру просвещения разрешить ей устройство народных школ на суммы, которые пожертвованы городу на разные общественные заведения -- их около миллиона. Министерство не ответило. В 1872 году городская дума предлагала 75 000 р. на устройство 30 школ с тем, чтобы они находились под ведением Училищного совета от города. Министерство не ответило.

Теперь только вопрос этот поднят и чем решится? неизвестно.

Учитель народных школ получает всего только 14 р. в месяц жалованья. На это жить нет возможности, поэтому решено им давать частные уроки по 1,50 в месяц с ученика. Плохих учеников набирается много, и они могут жить, и это ведет к разным злоупотреблениям.

Учителя пренебрегают казенными уроками и берегут силы свои для уроков частных, как наиболее выгодных.

Шел также разговор о бразильском императоре. Он очень интересовался первоначальными народными школами, особенно для девочек. Но народных школ для девочек на весь Петербург только 2, и тех нельзя было показать, потому что они не устроены. Бразильский император изъявил желание быть в Смольном институте, в 11 часов утра наш министр явился к нему, чтобы сопровождать его в институт. Оказалось, что он был там в 9 часов утра и вернулся.

Но грустно, что император Бразилии для наших властей есть личность почти идеальная, что не ему у нас, а нам у него надо поучиться!

Нынче летом в Павловске на музыке кто-то похвалил при мне вел. кн. Константина за его простоту и его непритязательное поведение в публике, среди гуляющих.

Да, ответили на это, спасибо ему, но наш великий князь принуждает себя быть простым, он играет роль, тогда как бразильский император прост по своей природе и по воспитанию, он не играет никакой роли. Он таков на самом деле.

Как Крымская война подняла подол России и показала нам ее раны и болячки, так и восточный вопрос в наше время. Он не ограничивается толками... о славянах, он наталкивает русское общество на то, чтобы осмотреться, -- и мы видим такие вокруг себя мерзости, что не удивляемся тому, что войны наш государь объявить не решается.

Везде воровство, везде лесть и предательство.

Довольно уже одного факта: броненосец "Петр Великий" вместо железных ушел в море с деревянными башнями, которые стоили тоже страшно дорого и которые на смотре были показаны государю как железные. Его обманули.

Вчера я слышал немало умных речей по этому поводу от полковника Смирнова, профессора географии в военно-учебных заведениях. У него, очевидно, есть связи в военном министерстве, и он много знает.

Везде воровство, это правда, и нет возможности при теперешних порядках это зло исправить. Из его воспитанников некоторые служат в контрольном отделении военного

ведомства, они еще не испорчены и их возмущают цены, которые ставит Адмиралтейство, которое берет заказы; например, последнему заказывается чугунная доска аршина в два, с круглым по середине отверстием. За это цена 600 рубл. Как думаете? Может ли это быть. Начинает справляться с ценами материала и заработной платой, оказывается, что такая доска стоит никак не более 60 или 70 рублей -- делает запрос.

Адмиралтейство отвечает, что иначе оно не может работать, что для доски нужно сделать сперва форму, что эта форма может работать или треснуть, тогда нужно другую форму, и другая форма может лопнуть, затем, если доска выйдет неудачно, надо переливать несколько раз, и так выведут, такие цены поставят, что действительно доска в 60 рублей будет стоить 600.

Заказаны у нас гильзы на миллион рублей с лишком, и что ж? Миллион этот для казны пропал: гильзы оказались негодными. Для ружейных гильз, надо сказать, требуется самая лучшая латунь, и деньги получены за самую лучшую, деньги пошли в карман, а ла-

тунь поставлена самого низшего качества, которая не выдерживает и одного выстрела.

По бумагам и официальным отчетам, Керчь давно уже вооружена. Оказалось, что нет никакого вооружения. Нужно теперь только вооружать. Опять деньги, т.е. миллионы, шли не на Керчь, а в карманы разных генералов или высокостоящих лиц.

И так всегда и повсюду. Военное министерство завалено никуда не годным оружием или никуда не годными гильзами.

Известно, что шоссе одна верста на ровном месте стоит около 2000 р. не более. Недавно потребовали 10 000 на версту, и дали, ясно, что 8000 с версты попадут в карманы строителей.

Как после этого осуждать какого-нибудь мелкого воришку и сажать его в тюрьму, когда у нас великих государственных воров награждают орденами, чинами и дают им лучшие места.

27 сентября. Писал письмо к И. С. Тургеневу в ответ на его записку. Я писал ему, между прочим, следующее:

"Явись теперь у нас в народе нечто вроде

Петра Пустынника с крестом в руках, чего доброго для России или настал бы век крестовых походов, или у нас такого Петра Пустынника посадят в полицию, и крестовых походов не будет...

Восточный вопрос в Крымскую войну раскрыл нам всю нашу мерзость, и тот же восточный вопрос в настоящее время точно так же заворачивает подол России и указывает нам на ее язвы.

Уже за одно это спасибо восточному вопросу. Если и не будет победы, то это волей-неволей наведет у нас всех и каждого на кое-какие размышления. Так суждено нам развиваться нравственно и политически по милости этого восточного вопроса.

И сокрушаюсь, ибо сознаю, что и спустя 20 лет после Крымской войны мы все еще не достойны освободительного дела. Ни умственно, ни нравственно еще не доросли до того, чтобы решить эту трудную задачу -- восточный вопрос. Как видно, для того, чтобы решить его, нужна нам воистину святая Русь, а не та, которая "в судах черна неправдой черной".

28 сентября. Войной пахнет сам воздух, но будет война или не будет -- это еще вопрос, не решенный государем. Наследник отослан к государю в Ливадию. Министр финансов тоже. Одним словом, цвет нашей администрации в настоящее время в Крыму. Как-то все эти лица -- и в том числе наш посланник в Турции Игнатьев -- решат.

Жаль, сказало мне на днях одно из ближайших лиц к наследнику, а именно К. П. Победоносцев, жаль, что наши правительственные лица далеко ниже того, что требуют от нас обстоятельства...

30 сентября. Нынче у фотографа Захарова встретил вдову Лосеву. Муж ее был моряк -- адмирал. Я когда-то знал его: это был бодрый, горячий, старый истинный патриот, служака и враг всякой лжи и неправды. Помню, с каким негодованием рассказывал он мне, что в. к. Константин послал чертежи одной новоизобретенной в России пушки (необыкновенной силы) Вильгельму Прусскому, т.е. дяденьке. По части артиллерии Лосев был знаток, под его непосредственным надзором совершалась проба пушек, и он ежедневно ездил

на Волково поле. Все чертежи и журналы составлялись под его ведомством на самом месте стрельбы.

И вот вдова Лосева рассказывает мне, что этот замечательно честный моряк и служака, при составлении новых морских штатов, был обойден, мало того, ему назначили в начальники Шварца, бывшего его подчиненного во время кругосветного плавания. Это так его потрясло, что он впал в какое-то болезненное умственное расстройство, и затем он тремя параличами был сведен в могилу. Он говорил постоянно, что он нуль, что он пустил по миру свою семью, что он забыл, что он не честолюбец, и просил только какого-нибудь более покойного места, чем то, которое вынуждало его каждый день ездить за 10 верст на Винево. В этом ему было отказано.

Во время болезни раз только посетил его граф Бутенев, и так как болезнь его была чисто нравственная, то Бутенев обманул его (по просьбе жены), сказал, что в. к. Константин очень им интересуется и спрашивает о нем. Это развязало язык Лосеву, он заговорил. Но в сущности, в. к. окончательно забыл о его су-

ществовании.

"Боже мой! -- говорила вдова, -- умрет какая-нибудь танцовщица, на ее похоронах великий князь. Заболей она, высокие особы посещают ее, а заболеет или умри патриот, честный служака, никто и знать его не хочет!"

Сию минуту прочел только что полученный "Дневник писателя" за сентябрь 1876 г;

Спасибо Достоевскому, в его писанье много такого, что выливается прямо из глубины русского чувства и русской мысли. Дай Бог, чтобы у него было побольше чтецов. Все это очень скучно, говорила мне про "Дневник" одна барышня, даже не совсем кисейная. Что же скажут кисейные барышни, которым попадет в руки этот дневник, они его и читать не станут. Ну и хорошо, Россия держится не кисейными барышнями.

И. С. ТУРГЕНЕВ У СЕБЯ В ЕГО ПОСЛЕДНИЙ ПРИЕЗД НА РОДИНУ

Когда торжественно хоронили Ф. М. Достоевского, когда целый лес венков сопровождал гроб его и народ запружал все улицы, один бедный молодой человек, забитый нуждой и обстоятельствами, проходя мимо, повернул ко мне бледное, но уже сияющее лицо и сказал: "Ну, теперь я вижу, что жить еще стоит".

Вообразите, что это "жить еще стоит" подумал не он один, а тысячи, десятки тысяч присутствовавших... и вы не ошибетесь. Никто этого не высказывал, но все были так настроены, что -- жить стоит. Общество, которое казалось всем таким разъединенным, безучастным, таким холодным... Чуть не мертвым -- вдруг оказалось повсеместно одним и тем же, живым, чувствующим, способным горевать так искренно, благодарить так открыто и прославлять так пышно и так торже-

ственно, значит -- стоит жить -- стоит заботиться о своем таланте, стоит трудиться... добиваться чести и славы... так как настойчивый труд, талант и русская слава -- не сон и не болтовня знакомых.

Смерть Тургенева как писателя во всех несомненно русских породила ту скорбь, которую смело можно назвать национальной, то общее чувство, тот нравственный порыв, без которых немислимо ни одно общество, непрочно ни одно государство. Там, где нет ни национальных радостей, ни национально-го горя, -- нет и нации живой и спасительно самоуверенной, таи полнейшее равнодушие ко всему, что не мы и не наш личный интерес, -- признак или неосмысленного ребячества, или той старческой апатии, которая предшествует разложению обществ и падению государств.

Народ же, из недр которого вырастают таланты и гении, изобретатели и создатели, непобедим, и в этом смысле слова наука и литература для врага, каков бы ни был он, сильнее пушек. То, что мы называем сохранившимися следами времени, есть не что иное, как

следы человеческой мысли ее воплощений: Тургенев прошел небесследно.

Но кто в Тургеневе потерял не только знаменитого родного писателя, но и друга, тот никогда не забудет, как много потерял он, насколько стал он беднее и беспомощнее.

Недавно мы хоронили Тургенева; но со дня его кончины и до сегодня, из всего того, что было о нем писано, из всех печатных статей и воспоминаний можно уже составить не один печатный том убористой печати. Я один не присоединил к этому тому ни одной страницы, и многие меня за это упрекают. Но если бы я вздумал вызвать в памяти своей все, что касается Ивана Сергеевича, я бы растерялся в моих воспоминаниях; к тому же я далеко не из числа тех счастливцев, которые могут смело рассчитывать на точность и ясность своих воспоминаний; все, на чем я еще могу остановиться -- это попытаться изобразить Ивана Сергеевича таковым, каким был он в последний год его пребывания на своей родине -- в селе Спасском-Лутовинове (Мценского уезда, Орловской губернии) летом 1881 года, так как это лето провел я под одною с ним

кровлей, и провел не как гость, а как брат, захавший на побывку к родному старшему брату.

Но вот вопрос: все ли писать или умалчивать? Если писать все, если изобразить будничного Тургенева, или описать его таким, каким он был, а не казался,— кто знает, какие нарекания заслужу я, как нескромный друг, который о друге своем выбалтывает все, что о нем знает дурного и хорошего, и кому же выбалтывает? Публике! -- где так много и старых врагов, и юных задира, готовых тотчас же закричать: извольте видеть, какой он был изнеженный сибарит и барин! Или: какой он был аристократ или -- какой он был пустой и бесхарактерный! -- как он сам себе противоречил!.. и тому подобное...

Но разве я должен, разве я могу по совести писать о Тургеневе только для того, чтобы обелять его перед врагами или угождать друзьям его. Я просто должен быть правдив, не боясь правотой своей ни оскорбить тени того, которому я никогда не лгал, ни сам оскорбиться насмешкой, как бы ядовита ни была она. Я уверен, что даже сквозь облик буднич-

ного Тургенева, со всеми его мелкими слабостями и недостатками, будет просвечивать и его великий ум и его великое сердце. Предваряю только, что мои воспоминания будут очень отрывочны и по большей части будут состоять из рассказов и разговоров самого Тургенева.

II

От 15-го февраля 1881 года получил я письмо, в котором Иван Сергеевич Тургенев совершенно для меня неожиданно писал следующее:

..."Я велел отделать заново свой дом в деревне -- во-1-х) потому, что в нем нельзя было уже жить, а во-2-х) потому, что я намерен был пригласить тебя вместе с семейством твоим, провести там целое лето, так как помещенье у меня за глаза! И ныне повторяю я это приглашение <...> Впрочем, мы обо всем этом переговорим в Петербурге -- но уже отныне я считаю тебя и твоих своими гостями <...>

В Петербурге я пробуду недели три, четыре -- и к Николину дню -- 9-го мая -- полагаю быть в деревне. Вместе мы все тогда и отпра-

вима".

Это меня несколько озадачило. Я отвечал, что если можно будет выехать (не окажется препятствий), я очень буду рад пожить с ним в деревне...

Затем, от 30-го марта, И. С. известил меня, что он выезжает через неделю, и добавлял: "а там мы все вместе махнем в деревню!"

Но скоро сказка сказывается, нескоро дело делается. Никогда еще Иван Сергеевич из Парижа не выезжал в тот день, в который он намеревался выехать -- беспрестанно его что-нибудь задерживало. Очень на это жаловался наш общий приятель, покойный Николай Владимирович Ханыков.

Раз он стоворился с Тургеневым ехать вместе куда-то на воды. Назначили день и час выезда. Ханыков заезжает за ним и за его чемоданами, но Тургенев упрасивает его подождать, так как он никак не может выехать, а сам назначает день выезда. Но когда в назначенный срок, по дороге на станцию железной дороги, заезжает за ним Ханыков, он застаёт Тургенева за письменным столом и как бы в отчаянии, что он никак не может ехать, так

как Харламов еще не кончил его портрета, и что необходимо дать ему еще один сеанс, а когда это будет -- он никак не знает. Так Ханыков и махнул рукой -- уехал без Тургенева.

Я знал, что я дождусь его не через неделю, как он писал, а разве через месяц, и не ошибся.

В Петербурге мы виделись с Иваном Сергеевичем почти ежедневно, и я помню, как в одно прекрасное утро он, посмеиваясь, передал мне воображаемую им сцену, какая будто бы ожидает нас у него в деревне: будем мы, говорил он, сидеть поутру на балконе и преспокойно пить чай, и вдруг увидим, что к балкону от церкви по саду приближается толпа спасских мужичков. Все, по обыкновению, снимают шапки, кланяются и на мой вопрос: ну, братцы, что вам нужно?

-- Уж ты на нас не прогневайся, батюшка, не посетуй...-- отвечают.-- Барин ты добрый, и очень мы тобой довольны, а все-таки, хошь не хошь, а приходится тебя, да уж кстати вот и его (указывая на меня) повесить.-- Как?! -- Да так уж, указ такой вышел, батюшка! А мы уж и веревочку припасли... Да ты помолись...

Что ж! мы ведь не злодеи какие-нибудь... тоже, чай, люди-человеки... можем и повременить маленько... и т. д.

Рассказывал ли это Тургенев просто потому, что ему пришла такая фантазия (а каких болезненных, чуть не горячечных фантазий не приходило в голову людям после страшного злодеяния 1-го марта!..), или просто Иван Сергеевич хотел испытать, насколько я ему поверю, и если поверю, решусь ли ехать с ним в его Спасское.

Этот рассказ или вымысел так полюбился самому Ивану Сергеевичу, что он многим повторял его с разными вариациями, даже где-то в вагоне по железной дороге рассказал кому-то в виде только что виденного им странного сна. (Так, в виде сна, рассказанного самим Тургеневым, вымысел этот и был напечатан в газетах.)

Рассказывать в разных домах или разным лицам одно и то же -- есть обычная привычка всех талантливых рассказчиков, и в этом нет ничего странного. Это то же, что делает любой музыкант, играя всюду и всем желающим его слушать свою новую музыкаль-

ную фантазию; это то же, что делает и Горбунов -- один из наших первоклассных рассказчиков. Не на каждый же день изобретать что-нибудь новое, для того, чтобы тешить нам ум или тревожить сонное воображение...

Выехать из Петербурга в Спасское я мог не ранее конца июня, т. е. гораздо позднее, чем выехали Тургенев и затем жена моя и дети. Тургенева проездом застал я в Москве, куда он вернулся, проводивши в Спасское мою семью.

Я нашел его на квартире И. П. Маслова, в доме удельного ведомства, на Пречистенском бульваре.

У него было какое-то дело и, если не ошибаюсь, дело по случаю завещания брата его, Николая Сергеевича, который из 800 000 руб. сам обещал завещать ему 100 000 руб., но завещал только тысяч двадцать с небольшим или около того. Все остальное: капитал, имение и все свое движимое Николай Тургенев передал племяннице своей покойной жены -- Маляревской.

Я знаю, что Иван Сергеевич виделся в Москве с Маляревским -- отцом и опекуном

наследницы, и тот сказал ему: "Вы, Иван Сергеевич, не удивляйтесь, что братец ваш завещал вам всего только 20 000 руб., по-моему, так и этого-то слишком еще для вас много!" - "Ну,-- отвечал ему на это Тургенев,-- на этот счет позвольте мне думать иначе".

О судьбе, жизни и последних днях брата своего Иван Сергеевич не раз передавал мне немало разных подробностей, весьма интересных с психологической точки зрения; но я не считаю нужным включать это в свои теперешние воспоминания, замечу только, что все, что Ивану Сергеевичу казалось странным и достойным сожаления в брате, отразилось и на нем, на его собственной судьбе, особенно в последний год земной его жизни. Так же, как и брат, он уже не имел своей собственной воли и, как больное слабое дитя, покорялся тем, кто окружал его.

В Москве я пробыл двое суток и ночевал в той же квартире Маслова, который, как благодушный хозяин, предложил мне диванную и просил не церемониться.

Тургенев узнал, что я на третий день выезжаю, и послал телеграмму к своему управ-

ляющему в Спасское о высылке для меня экипажа в Мценск, к 10 часам вечера. Я спешил видеть мою семью и как можно скорее, пользуясь долгими, светлыми днями, начал писать с натуры масляными красками.

III

Какой-то английский лорд сказал Тургеневу, когда тот гостил у него в замке: у меня правило -- доставлять гостям своим елико возможный комфорт и затем об них не заботиться, давая им полную свободу. И Тургенев, вполне соглашаясь с лордом, сказал, что и он будет по отношению к гостям своим держаться того же похвального правила. Однако ж Тургенев начал с того, что стал об нас и хлопотать, и заботиться. Велел цветным войлоком обить ту стену, к которой примыкала моя кровать, хотя я и уверял его, что стена эта хоть и наружная, но сухая, по крайней мере не обнаруживает сырости. С молотком в руках ходил он по комнатам и вбивал гвозди. "Нет ли еще где вколотить?" -- спрашивал он, оглядывая углы и соображая, достаточно ли гвоздей... Очевидно, занятие это доставляло

ему немалое удовольствие.

Мы ложились рано и вставали не поздно. Тургенев просыпался раньше всех, уходил смотреть вновь строившиеся конюшни или бродил по саду, или, стоя на террасе, кормил белым хлебом воробьев... Затем отправлялся в свою туалетную: это была очень маленькая, квадратная каморка, окно которой с матовыми стеклами, выходя на двор, пропускало свет через дверь в коридор, тоже сквозь матовые стекла. Там стоял умывальный столик, зеркало и разные туалетные принадлежности.

Конечно, у пушкинского Евгения Онегина было гораздо более этих принадлежностей, и тот недаром выходил из уборной "подобно ветреной Венере".

Тургенев же был очень чистоплотен -- ежедневно менял фуфайку, белье и весь вытирался губкой -- одеколоном с водой или туалетным уксусом. Что касается до прически волос, то, если не ошибаюсь, это была довольно длинная история. Не раз случалось мне ночевать с Тургеневым в гостиницах в одном с ним номере, а случалось это по большей ча-

сти летом, когда я приезжал к нему с дачи и нередко ожидал его позднего возвращения из гостей, или накануне его отъезда за границу, так как накануне днем трудно было застать его.

Итак, ничего нет мудреного, что Тургенев не раз при мне совершал свой утренний туалет и при мне чесал свои волосы.

Раз он был очень доволен, что процедура эта повергает меня как бы в некоторое изумление.

"Видишь,-- говорил он, весело поглядывая на меня своими вечно товарищескими, добрыми глазами,-- я беру эту щетку... теперь я начинаю чесать ею вправо: раз, два, три... и так до пятидесяти раз; теперь начну чесать влево, и тоже до пятидесяти... Ну вот, теперь со щеткою кончено... Беру этот гребень,-- им я должен до ста раз пройтись по волосам... Чему ты удивляешься? Постой, это еще не все... Погоди, погоди!.. За этим гребнем есть еще другой -- с частыми зубьями..."

И уж не знаю, шутя или не шутя, Иван Сергеевич уверял меня, что он ежедневно проделывает точно такую же операцию.

"Ни одной соринки, ни одной пылинки не должно быть у меня в волосах,-- говорил он, уже одеваясь.-- Причесываться -- это страсть моя, это у меня с детства. Когда мать моя еще "носила меня под сердцем", на нее, ни с того ни с сего, вдруг напала мания всех причесывать. Призывала горничных, сама расчесывала им косы и сама заплетала. Раз, в Москве, с улицы позвала она какого-то инвалида-солдата, должно быть, нищего. (Воображаю себе, в каком порядке была его шевелюра!) -- усадила его за свой туалет, вычесала, причесала, напмадила, дала ему денег и отпустила... Может быть, эта мания и перешла ко мне от матери".

При этом замечу кстати: Тургенев был уверен, что темя его с детства не совсем заросло и что мозг его, на том месте, где небольшая впадина, сверху прикрыт одною кожей.

"Когда я еще был в пансионе, школьником,-- говорил он мне в Спасском,-- всякий раз, когда кто-нибудь из товарищей пальцем тыкал мне в темя, со мной делалась дурнота или головокружение, и так как детский возраст не знает жалости, то иные нарочно при-

давливали мне темя и заставляли меня чуть не падать в обморок..."

Тургенев, конечно, не совсем на этот счет ошибался: врачи, которые исследовали его после смерти, нашли, что черепная кость его очень тонка и, весьма вероятно, на темени она была еще тоньше,-- так тонка, что подавалась или вдавливалась при сильном нажатии, особенно в раннем, отроческом возрасте.

Аккуратность Тургенева не уступала его чистоплотности и точно так же могла обходиться без всякой прислуги, как и одеванье.

Раз он ночью вспомнил, что, ложась спать, позабыл на место положить свои ножницы: тотчас же зажег свечу, встал и тогда только вернулся в свою постель, когда все уже на письменном столе его лежало как следует. Иначе он и писать не мог.

Не могу при этом не вспомнить, как в Спасском Тургенев, точно нянька, приводил в порядок детские разбросанные вещи: найдет ли фуражку, забытую на стуле,-- тотчас повесит на вешалку; найдет ли зонтик -- тотчас поставит в угол. Мало этого, иногда в наше отсутствие, заходя к нам в комнату, все приво-

дил в порядок, без всякой ворчливости; убрал стол и платья вешал на гвоздики.

Подметив это, мы сами сделались аккуратнее и заботились о том, чтобы все было в отменном порядке.

Многим это покажется мелким и не стоящим внимания; но, кто знает, может быть фраза "ни одной соринки в волосах" обуславливала другую фразу, которую мог бы сказать Тургенев: "ни одного ненужного словца, ни одной лишней подробности в моих рассказах". В личности человеческой нередко великие, всем явные достоинства тесно связаны с мелочами и даже недостатками.

Тургенев был мнителен: туманный Альбион и морские путешествия заставили его надеть фуфайку во избежание простуды, и по примеру англичан летом носил он шелковую, зимой -- шерстяную.

Раз я ему посоветовал носить шерстяные фуфайки не на теле, а сверх ночной рубашки.

Тургенев, подняв брови, поглядел на меня вопросительно и сказал:

-- А это было бы так же полезно, как если бы воробей пролетел у тебя над головой.

-- То есть не было бы достаточно тепло? Ну, в таком случае, надевай две фуфайки.

-- А это было бы так же полезно, как если бы два воробья пролетели у тебя над головой.

И затем Тургенев стал мне доказывать, почему именно шерсть полезно носить именно на теле, как это и делают все путешествующие англичане, и не столько зимой, сколько летом, в самое жаркое время.

Этот в сущности пустой разговор я привожу только ради забавной оригинальности его возражений. Неожиданные, иногда очень смешные сравнения были присущи его самой простой обыденной речи и невольно запомнились.

К утреннему чаю, в столовую или на террасу, около 9 часов, Тургенев являлся, по большей части, в очень хорошем настроении духа и уж, конечно, без единой соринки в седых, но еще густых и красивых волосах, несмотря на то, что уже глубокие морщины бороздили подвижное, выразительное лицо его.

IV

Кто бывал в усадьбе Ивана Сергеевича,

тот, конечно, не мог не заметить в его столовой около десятка портретов старого письма, в старых позолоченных и мухами засиженных рамах. От них веяло матушкой-старинной -- временами Екатерины и Павла. Несомненно, все они, эти портреты, участвовали в творчестве Ивана Сергеевича -- с детства глаза их следили за ним, и в зрелые годы, как образы, промелькнули в его повестях и рассказах. Все эти портреты до сих пор живо рисуются в моей памяти, до такой степени все они типичны. Тут был и какой-то сенатор, обшитый галунами и в звездах, осыпанных камнями. "Невообразимый, патентованный дурак", по мнению Ивана Сергеевича, и глядел он на нас из своей рамы, слегка кривя рот от сдержанного самодовольства и упирая в меня свои карие глазки, ничего не выражавшие, кроме любопытства узнать: какой у меня чин и что я такое? Тут была и та красавица, которую при встрече похвалил за красоту сам граф Орлов-Чесменский; она глядела уже пожилой, набеленной, наруганной кокеткой, с напудренными буклями и висела на стене рядом с своим супругом, должно быть, боль-

шим меланхоликом, с большими воловьими глазами навывкате.

Тут был и старый скряга -- Лутовинов, и сын его, в котором сразу узнавал я того самого героя, которого Иван Сергеевич вывел в своем рассказе "Три портрета" под именем Василия Ивановича Лучинова. (Несомненно, что художник, который писал с него, был далеко не из числа дюжинных.) "Вообразите молодого человека, лет 30, в зеленом мундире Екатерининских времен, с красными отворотами" (так начал его описывать Тургенев), и я добавлю: -- Вообразите себе сильного брюнета, что в особенности заметно по его гладко выбритому и все-таки иссера-сизому подбородку, бледного, но не болезненно-бледного, а так, как бледнеют от затаенной злобы, скуластого и круглолицего, вообще же очень собой недурного молодого человека, и знайте, что если бы вы и не читали рассказа "Три портрета", взглядевшись в его лицо, вы не могли бы не почувствовать, что к этому молодцеватому барину нельзя относиться иначе, как с некоторым за себя опасением, до такой степени его тонкая улыбка не гармонирует с холодом

черных пронизательных глаз и с его вопро- сительно приподнятыми круглыми бровями. Глядя на такое лицо, трудно угадать, что по- следует за этим взглядом, за этой улыбкой! -- ударит ли он вас тростью, или наилюбезней- шим образом протянет руку. Недалеко от это- го портрета, на другой стенке, был портрет бледной и тоже черноглазой девушки -- это был портрет сестры его... Иван Сергеевич в своем рассказе ничего о ней не говорит, а вы- водит на сцену и отдает на жертву его беспо- койной праздности Ольгу -- воспитанницу старых Лучиновых. Вообще, как ни страшен по своей зверской бессовестности герой, вы- веденный Иваном Сергеевичем, он, как автор, все-таки значительно смягчил черты той необузданности, какою отличался действи- тельно живший прототип его, Лутовинов. Так, раз, приглашенный каким-то купцом на свадьбу, он в ту же ночь через окно насильно увез новобрачную, прежде чем жених, только что с нею повенчанный, вошел к ней в спаль- ню: конечно, он увез ее с помощью своих кре- постных и своего камердинера француза Бру- сие, того самого, о котором Иван Сергеевич

упоминает в рассказе "Три портрета", называя его ловким и смышленным малым. Другой рассказ об этом Лутовинове такого свойства, что лучше и не упоминать о нем, до такой степени он безобразен и возмутителен.

Между столовой и кабинетом была небольшая комнатка с стеклянной дверью на террасу; в этой комнатке висел портрет брата Ивана Сергеевича -- Николая Сергеевича, писанный с него, когда он был еще молодым человеком.

Я слышал от Ивана Сергеевича, что брат его, в ранней своей молодости, боялся женского общества, но был умен, начитан и по временам, среди коротких знакомых, блистал остроумием.

Я никогда не видал его; знаю только, что когда, будучи студентом в Москве, я зашел к Ивану Сергеевичу на квартиру и читал ему какое-то очень восторженное стихотворение, брат его стоял за дверью и помирал со смеху... (это я слышал от самого Ивана Сергеевича).

В Спасском Иван Сергеевич немало мне говорил о своем брате по поводу его женитьбы, его семейной жизни и о последних днях

его; но -- пусть об этом рассказывает кто-нибудь другой,-- здесь же упомяну только следующие слова матери обоих Тургеневых, слова, которые, во-первых, доказывают ее проницательность, а во-вторых, и тем еще замечательны, что Тургенев вполне разделял выраженное в этих словах мнение своей покойной матери: "Жаль мне вас,-- говорила им мать,-- вы пропадете, не будете счастливы, потому что оба вы однолюбцы" (иначе сказать, всю свою жизнь будете привязаны к одной и той же юбке).

В кабинете Тургенева висел портрет отца его, тоже писанный с него в молодые годы. Он глядит еще юношей лет 26, хорош собой, и -- странно -- несмотря на удивительные темно-синие глаза, смелые и мужественные, так и кажется, что это не мужчина, а дама или даже камелия, наряженная в белый конногвардейский мундир и в галстух, который, без всякого узелка или бантика, обматывает ее белую лебединую шею и так высок, что слегка подпирает ей подбородок. Взгляд какой-то русалочный -- светлый и загадочный, чувственные губы и едва заметная усмешка.

Иван Сергеевич раз только говорил со мною о своем отце и, казалось, во многом ему завидовал.

"Отец мой был великий ловец перед господом,-- говорил он словами Библии, сказанными о Нимвроде.-- Раз одна барыня, уже пожилая, честная и прямодушная, вспоминая об отце моем, которого она знала в молодости, проговорила, что однажды, оставшись с ним наедине, она, прежде чем успела что-нибудь сказать или подумать, как уже была в его власти... Он действовал на женщин как магнит. Был ласково-настойчив и всегда достигал того, чего никогда нельзя достичь, не зная сердца женщины".

Вероятно, таким же оставался он и в свои пожилые годы. Вспомните рассказ Ивана Сергеевича "Первая любовь" и ту поэтическую, умную княжну, которая полюбила джентльмена -- пожилого отца его.

V

Очень жаль, что в коллекции всех портретов, виденных мною в деревенском доме Ивана Сергеевича, не было портрета его мате-

ри. Это тоже была в своем роде женщина интересная. Тип русской всевластной и представительной помещицы, строгой до жестокости,-- женщины, погруженной в свои домашние мелочи, несмотря на прирожденный ее ум и пронизательность. Многочисленная прислуга и приживалки составляли двор ее, и все боялись, все из страха повиновались ей. Иван Сергеевич помнил, как она наказала и послала на поселение двух парней за то только, что, работая в саду, они, вероятно, по рассеянности, не поклонились ей.

"Вот у этого окна,-- говорил мне Иван Сергеевич,-- сидела моя мать; было лето и окно было отворено, и я был свидетелем, как эти ссылаемые в Сибирь накануне ссылки подходили к окну с обнаженными, понурыми головами, для того, чтобы ей откланяться и проститься с ней. Это было уже после того, как сгорел наш большой дом".

Но не одной прислуге доставалось, и не одни крестьяне боялись ее и ее управляющих. Мать Ивана Сергеевича точно так же строго относилась и к сыновьям своим, когда они были мальчиками и в Спасском жили под

надзором беспрестанно сменяемых гувернеров, и у разных иностранцев учились быть полуиностранцами.

"Драли меня,— говорил Иван Сергеевич,— за всякие пустяки, чуть не каждый день... Раз одна приживалка, уже старая, бог ее знает, что она за мной подглядела, донесла на меня моей матери. Мать, без всякого суда и расправы, тотчас же начала меня сечь,— секла собственными руками и на все мои мольбы сказать, за что меня так наказывают, приговаривала: сам знаешь, сам должен знать, сам догадайся, сам догадайся, за что я секу тебя!

На другой день, когда я объявил, что решительно не понимаю, за что меня секли,— меня высекли во второй раз и сказали, что будут каждый день сечь, до тех пор, пока я сам не сознаюсь в моем великом преступлении. Я был в таком страхе, в таком ужасе, что ночью решил бежать. Я уже встал, потихоньку оделся и в потемках пробирался коридором в сени. Не знаю сам, куда я хотел бежать, только чувствовал, что надо убежать и убежать так, чтобы не нашли, и что это единственное мое спасение. Я крался как вор, тяжело дыша

и вздрагивая. Как вдруг в коридоре появилась зажженная свечка, и я, к ужасу моему, увидел, что ко мне кто-то приближается -- это был немец, учитель мой; он поймал меня за руку, очень удивился и стал меня допрашивать.-- Я хочу бежать,-- сказал я и залился слезами.-- Как, куда бежать? -- Куда глаза глядят.-- Зачем? -- А затем, что меня секут, и я не знаю, за что секут.-- Не знаете? -- Клянусь богом, не знаю.-- Ну, ну, пойдете... пойдете.

Тут добрый старик обласкал меня, обнял и дал мне слово, что уже больше наказывать меня не будут.

На другой день утром он постучался в комнату моей матери и о чем-то долго с ней наедине беседовал. Меня оставили в покое".

-- Ну, а твой отец? -- спросил я,-- ведь он еще был жив; отчего же он за тебя не заступился?

-- Нет, не заступился, напротив, был убежден, что меня секут за дело. Когда я после экзекуции, вечером, распухший и заплаканный, пришел с ним прощаться и ручку целовать, он с укоризной на меня поглядел, вздохнул и проговорил: -- Хорош, брат, нечего ска-

зять, хорош! Рано же, брат, научился ты заниматься такой мерзостью.

-- Ну, что же ты на это?

-- Да ничего! Его слова еще пуще меня напугали и спутали. Вопрос, какой мерзостью я занимаюсь, мучил меня всю ночь, так что я заснуть не мог. Да, в ежовых рукавицах меня держали, и матери моей я боялся, как огня. Раз только за обедом я насмешил ее. Кто-то завел речь о том, как зовут дьявола; никто не мог сказать -- зовут ли его Вельзевулом, или Сатаною, или еще как-нибудь иначе.

-- Я знаю, как зовут,-- сказал я -- и сам испугался.

-- Ну, если знаешь, говори,--отозвалась мать.

-- Его зовут "Мем".

-- Как! повтори, повтори!

-- Мем.

-- Это кто тебе сказал, откуда ты это выдумал?

-- Я не выдумал, я это слышу каждое воскресенье у обедни.

-- Как так у обедни?!

-- А во время обедни выходит дьякон и го-

ворит: вон, Мем! Я так и понял, что он из церкви вон выгоняет дьявола и что зовут его Мем.

"Удивляюсь, как меня за это не высекли; но, как ребенок, я на этот раз был совершенно искренен -- просто не понял славянского слова "вонмем" и толковал его по-своему. Мать улыбнулась, все стали хохотать, и мое вмешательство в разговор старших прошло для меня благополучно".

Говоря о портретах, упомяну кстати, что в следующем 1882 году я из Спасского писал к больному Тургеневу, прося у него позволения снять с этих портретов фотографические снимки, но на это не получил никакого ответа. В том же 1882 году портреты эти стали по ночам срываться и с треском падали на пол (кажется, три портрета оборвали свои старые веревки и повалились). Это всеми людьми в доме сочтено было за дурное предзнаменование.

VI

Красивый усадебный дом Ивана Сергеевича был почти весь заново отделан (полы

были выкрашены, стены оклеены новыми обоями). Комнат в доме было 13 внизу и две на антресолях, балкон один наверху и две крытые террасы внизу, ступеньками в сад на юго-восток и юго-запад. Дом стоял на месте прежнего флигеля или ткацкой, где когда-то ткали ковры, холсты и домашние сукна (ткачей и ткачих, значит, было немало). Когда-то флигель этот составлял как бы крыло старого господского, тоже деревянного дома и соединен был с ним каменной и доныне уцелевшей полукруглой галереей; другой такой же флигель, где, по преданию, жили крепостные музыканты, сгорел вместе с домом, в котором было до 40 комнат и зало в два света с хорами. Всех углов и переходов в этом родительском ковчеге не знал и сам дитя-Тургенев, может быть, даже и не смел всюду проникать и всюду заглядывать.

Стоит только вообразить себе, сколько двуногих существ там жило на господском иждивении, усердствовало, подслушивало, шушукалось, сплетничало, мстило и интриговало, молодело и старилось! Сколько поверий, преданий, сказок, прибауток, пословиц,

прозвищ говорилось и выслушивалось! Сколько гаданий, суеверных страхов, мелких страстей и всяких иных ощущений волновало и разнообразило этот крепостной мирок, это маленькое государство -- стоит только вообразить себе, чтоб тотчас же невольно подумать: сколько пищи или материала давал этот дом для наблюдательности и памяти впечатлительного ребенка, будущего писателя!

И вот, прежде чем писатель этот успел состариться, как уже все это исчезло, поросло быльем... *Sic transit gloria mundi...* {Так проходит мирская слава (лат).} От барских хором не осталось даже фундамента -- дом сгорел дотла, каменная галерея превратилась в кухню с комнатой для старого слуги; много вещей дорогих и редких погибло вместе со старыми хорами. Отец и мать Ивана Сергеевича немало путешествовали по всей Европе, и в Спасское целые обозы шли с вещами, накопленными в Париже и в разных промышленных центрах Германии, Швейцарии и Италии. Уцелело только серебро, бриллиантовые дамские вещи, дорогие блонды {Шелковое

кружево (от фр. blonde).}, образ Нерукотворного Спаса, кое-какая мебель и несколько портретов. Все, что было спасено, было перенесено в уцелевший флигель, куда вдовствующая мать Ивана Сергеевича перешла жить, превратив старую ткацкую в небольшой (сравнительно) господский домик.

Из числа лиц, прикосновенных так или иначе к штату старой барыни, осталось в живых каких-нибудь два-три старика, доживающих век свой в богадельне, устроенной Иваном Сергеевичем для инвалидов крепостничества; да еще Захар, бывший камердинер Ивана Сергеевича, уже дряхлеющий, болезненный, бледный и кривой {с бельмом на глазу величиной с орех). Он обитает в спасском доме с женою и младшей дочерью.

Этот Захар всякий раз, когда на лето приезжал Иван Сергеевич в Спасское, продолжал по доброй воле, по чувству старой привязанности, ему прислуживать.

Старуха-мать Ивана Сергеевича умерла, лежа на широком и мягком диване, который, вскоре после ее смерти, был вынесен в сарай и, заброшенный, гнил между всяким хламом

и старыми экипажами. Ивана Сергеевича не было в это время в Спасском. В его отсутствие в дом к нему заехала жена его брата Николая, забрала с собой все серебро, все драгоценности его покойной матери и увезла их. Когда вернулся Тургенев, он не нашел в своем хозяйстве ни одной серебряной столовой ложки и должен был всем обзавестись сызнова, что, конечно, ему недешево стоило. Он знал, что его *belle soeur* {невестка, жена брата (фр.).} не имела никакого права посягать на наследство его матери, но и пальцем не шевельнул для того, чтобы вернуть хоть что-нибудь,— оттого ли, что не хотел ссориться с братом, который, может быть, и не знал о поступке своей жены, или просто оттого, что никогда не был жаден и, как человек, от всяких нужд обеспеченный, предпочитал покой суетливым препирательствам ради каких бы то ни было материальных выгод. Тургенев же никогда не рассчитывал вперед: так, например, он сам подверг себя всяческим неудобствам, раздав десятки десятин прежним дворовым, в их числе и одному врачу, состарившемуся в доме его матери. Он раздарил эти земли не где-

нибудь на окраинах своего владения, а рядом со своею усадьбою, так что новые землевладельцы стали со всех сторон теснить его.

У врача-вдовца был один сын, учившийся в одном из специальных учебных заведений. В этом молодом человеке Тургенев принимал самое горячее участие и старался всячески помирить с ним отца, который без всякого повода вообразил себе, что сын его нигилист, и всю землю и домик свой, подаренные ему Иваном Сергеевичем, как бы назло ему, завещал своей любовнице -- простой деревенской бабе, которая, может быть, и поддерживала в старике нерасположение к его законному наследнику. Так этот молодой человек, способный, честный и трудолюбивый, и остался ни с чем; новая же землевладелица, разумеется, тотчас же прекратила всякие сношения с домом Ивана Сергеевича, тотчас же окопалась и загородила прежние пути или тропинки к окрестным прудам и полянам. Раз Иван Сергеевич, рано поутру, пошел отыскивать свой любимый колодезь, чтобы напиться из него чистой, как кристалл, воды, и вернулся не в духе: он видел этот колодезь и

никак не мог пройти к нему. К счастью, колодезь этот очутился в границах земли, подаренной Захару. Захар тотчас же посоветовал управляющему Н. А. Щепкину через топкое место построить песчаные мостки с перильцами и, таким образом, дать возможность Ивану Сергеевичу ходить к колодцу: опускать в него бадью и пить на здоровье здоровую воду. От этой воды Иван Сергеевич был в восторге: он говорил, что в целом мире нет такой воды, велел доставлять ее к обеду и всех нас ею потчевал. И действительно -- вода была во всех отношениях превосходная...

Захар тем оправдывался, что загородил все пути к колодцу, что крестьяне спасские зимой, когда не хватало топлива, не только стали вырубать около него посаженные деревья, но и самый сруб колодезя стали ломать и разносить.

Кроме даровой раздачи земли, Ивану Сергеевичу недешево обходились выдаваемые им пенсии. Если бы он не имел дохода от своих сочинений, ни денег или капитала от продажи других имений, он доходами с одного Спасского не мог бы и существовать. Я слы-

шал, что Иван Сергеевич одних пенсий раздавал ежегодно до 8000 рублей. Об этом в точности всего легче справиться у его арендатора и управляющего его гг. Щепкиных.

VII

На месте старого сторевшего дома была уже зеленая луговина, испещренная небольшими цветниками, кустами боярышника и дорожками. Луговина эта расстилалась перед юго-восточной террасой дома и перед крыльцом, ведущим в переднюю. На ней росли молодые ели, кедры, дубы, яблони; дорожки направо вели к церковной ограде, к сельской школе и воротам; налево -- в дремучий сад, расположенный чуть ли не на 30 десятинах или около. Там тянулись липовые, сросшиеся вершинами аллеи, и, вместо прежних дорожек, по сторонам вились тропинки. Только вдоль пруда, по его холмистому берегу, шла дорожка, сохранившая следы щебня и песку, но уже засоренная и кое-где размытая дождевыми потоками. Одна из аллей, самая длинная и прямая, как стрела, вела к пруду. Пруд был тоже длинный, хотя и не очень широкий:

он был глубок и от изобилия ключей очень холоден. Только около берега, на мелких местах, в жаркие летние дни, вода его, несколько подогретая солнцем, давала возможность купаться не без удовольствия.

Бог знает, сколько лет пруд этот не был вычищен, но никогда не зацветал так, как обыкновенно цветут все пруды. Ветер свободно морщил его поверхность, и в тихие дни глинистые холмы и деревья явственно отражались в нем.

В пруде водились караси и ужи. Во всех спасских прудах (а их немало) водятся эти ужи, и я не раз видел, как на поверхности струй быстро движутся и сверкают на солнце желтые, как золото, головки их. Но вообще ужи в Спасском и его окрестностях стали заметно выводиться. Захар сказывал мне, что в прежние годы они ползали по всему саду, и нельзя было десяти шагов пройти без того, чтоб не видеть ужей; теперь же, при всем моем желании видеть их на земле или в траве, я, во все мое пребывание в Спасском, видел не более двух ужей. Сильные ли морозы без снега стубили их, хищные ли птицы раскле-

вали, или сами они куда-нибудь перекочевали -- неизвестно. Я слышал и такое мнение, что там, где начинают заводиться казули -- змеи уже ядовитые -- ужи пропадают.

В старом саду была и старая оранжерея с иерсиками, и парники с дынями и арбузами, и огород, и гряды с клубникой, и густой малинник, и куртинки, засаженные вишнями и крыжовником, и неистребимое количество черной и красной смородины. Все съедомое группировалось около оранжерей, перед старыми соснами (которые все посохли в нынешнем 1883 году, как бы сокрушаясь о болезни и смерти своего старого хозяина).

Это было любимое место для детей, так как с июня по сентябрь предлагало им даровое лакомство. На это же место то и дело делали набеги и дети новых соседей, одаренных Тургеневым землею. На это Тургенев несколько не досадовал, но садовник и сторож беспрестанно ловили их на месте преступления.

У огорода, под елями, был рогожный шалаш; я срисовал его и пейзаж подарил Ивану Сергеевичу.

VIII

Лето в 1881 году в Спасском не очень ভালовало нас -- были серые, дождливые и даже холодные дни, и Иван Сергеевич часто роптал на погоду.

-- Вот ты тут и живи! -- говаривал он, поглядывая на небо, с утра обложенное дождливыми тучами.

Но в хорошие, ясные дни, утром, я уходил куда-нибудь с палитрой и мольбертом, а Тургенев и семья моя блуждали по саду. Иногда и вечером, после обеда, Тургенев не отставал от нас. Сад навел его на множество воспоминаний. То припоминал он о какой-то театральной сцене, еще при жизни его отца сколоченной под деревьями, где во дни его детства разыгрывались разные пьесы, несомненно на французском языке, и где собирались гости; смутно помнил он, как горели площадки, как мелькали разноцветные фонарики и как звучала доморощенная музыка.

То указывал мне на то место, по которому крался он на свое первое свидание, в темную-претемную ночь, и подробно, мастерски

рассказывал, как он перелезал через канавы, как падал в крапиву, как дрожал, как в лихорадке, и по меже -- "вон по той меже" -- пробирался в темную, пустую хату. И это было недалеко от той плотины, где дворовые и мужики, после смерти старика Лутовинова, не раз видели, как прогуливается и охает по ночам тень его. Люди, которых боятся при жизни, иногда пугают людей и по смерти.

То говорил: "Вот моя самая любимая скамеечка -- она стара, ее почему-то еще не успели вырубить. А ты заметил, что у меня в саду каждое лето ставят новые скамейки; те, которые ты видишь, наверное зимой будут вырублены: крестьяне ухищряются таскать их к себе на топливо, и уж с этим ничего не поделаешь".

Однажды, это было в одной из дальних окраин сада, на полугоре, заросшей кустами и осинами, в виду проселка и бревенчатого мостика, перекинутого через овражек, дети мои искали грибов и лакомились земляникой; я шел рядом с Тургеневым.

-- Ну-ка, дети,-- сказал он,-- кто из вас найдет пещеру,-- здесь, близко от нас, есть вход в

пещеру.

И дети побежали искать пещеру. Долго мы не находили пещеры, наконец, нашли овражек, вроде провалившейся могилы, кирпичи и какую-то дыру, которая углублялась в землю и чернелась под корнями густо разросшейся дикой малины. На мой вопрос: что же это такое? Иван Сергеевич ничего не мог мне рассказать наверное, так как существование этой пещеры относится к древнейшей истории села Лутовинова. На мое же предположение: нет ли тут какого зарытого клада? Иван Сергеевич отозвался, что на поиски клада было уже немало охотников, что они уже туда лазали и ничего не нашли.

Иногда, по утрам, мы все расходились по саду, куда глаза глядят, и забирались далеко - кто на пруд, кто на клубничные гряды и, забывая часы, опаздывали то к завтраку, то к обеду, то к вечернему чаю. И, чтоб всех сзывать вовремя, Иван Сергеевич велел купить во Мценске небольшой колокол. Мы его повесили между столбиками, на краю террасы. Минут за 10 до обеда или до чая Захар или кто-нибудь из детей начинал звонить, но сад

был так велик, что внизу, у пруда, звуки его едва были слышны. Иногда звон повторялся два, три, иногда четыре раза, прежде чем мы все -- я, жена моя, дети и репетитор моего старшего сына -- студент Медицинской Академии Коцын, собирались на террасу к обеду или самовару.

Одно из великих достоинств Спасского -- это то, что там нет комаров; мух весьма достаточное количество, ночных бабочек и всякой насекомой мелюзги тоже весьма достаточно, -- и ни единого комара. Чему это приписать -- не знаю.

К нашему столу обыкновенно являлись гости с заднего двора -- две большие собаки, одна гладкая, очень смелая и вертлявая, другая шершавая, дикообразная и недоверчивая.

Почти весь июнь, до 27-го числа, в Спасском мы были одни, т. е. я и мое семейство, -- никто еще в Спасское не заглядывал; но разве возможно скучать в обществе Ивана Сергеевича.

Весь июнь Тургенев был в самом веселом настроении духа -- был здоров, говорлив, и даже песни спасских крестьянок, которые по

найму работали в саду и, возвращаясь домой с граблями на плечах, хором орали песни, радовали его до глубины души. При этом не могу не заметить, что, судя по летним нарядам спасских баб, никак нельзя заключить о их бедности, а судя по лицам и голосам -- о их нуждах и голодании.

"Когда у меня в Спасском гостил английский писатель Рольстон,-- говорил Тургенев,-- он, слушая эти горластые песни и видя этих баб, работающих, пляшущих и дующих водку, заключил, что в России запаса физических сил в народе -- непочатый край.

Но вот история! С Рольстоном мы ходили по избам, где он рассматривал каждый предмет и записывал у себя в книжечке его название; крестьяне вообразили, что он делает им перепись и хочет их переманить к себе, в Англию; долго они ждали, когда же их туда перевезут, и не вытерпели: пришли ко мне толпой и говорят: а когда же это мы в Англию перекочуем? Барин, что приезжал за нами, нам очень понравился -- должно быть, добрый; мы за ним охотно, со всей душой, куда хошь... А что он приезжал звать нас в английскую зем-

лю -- это мы знаем. Верить ли ты,-- заключил Иван Сергеевич,-- что мне большого труда стоило их урезонить и доказать всю несбыточность их нелепой фантазии".

IX

Лето в России так коротко и так незаметно проходит, что сидеть да макать перо в чернильницу в то время, как поют птицы, пахнет сеном или цветами и наступают теплые, прозрачно-розовые сумерки, для меня было всегда тяжело и незавлекательно; но Тургенев в это время писал "Песнь торжествующей любви", то утром между прогулкой и завтраком, то вечером после чая. Никто тогда из нас не заходил к нему в кабинет и не заговаривал с ним. Я не знал еще, что он такое пишет. Однажды он пришел в ту комнату, которую мы почему-то называли "казино", и, увидевши меня за мольбертом, попросил сочинить ему стиха четыре, но таких, чтоб они были и бессмысленны, и в то же время загадочны. Я удивился.

-- Это зачем?

-- Да уж так, мне это нужно для моего од-

ного рассказа.

Я стал придумывать стихи, что-то придумал, но Иван Сергеевич остался недоволен. Да и что бы я мог придумать, не зная, для каких художественных соображений нужны стихи и в каком тоне (а тон тут главное). Через несколько дней Тургенев прочел мне:

"Месяц стал, как круглый щит,
Как змея, река блестит,
Друг проснулся, недруг спит --
Ястреб курочку когтит. Помогай!.."

-- Ну что, хорошо? -- спросил он.

-- Должно быть, хорошо, хоть я и не понимаю, зачем тебе это нужно?

Тургенев, довольный, удалился в кабинет свой.

Вышеупомянутые стихи каждый может прочесть в рассказе "Песнь торжествующей любви" -- это те самые стихи, которые бормочет Муций в ответ на расспросы смущенного Фабия.

У себя в комнате нашел я пустую, непочатую тетрадку и, не надеясь на память, задумал

мал иногда вносить в нее кое-какие заметки.
Так я записал:

"В одной плясовой народной песне Тульской губернии следующий припев:

Две метелки,
Два снопа,
Грабли да лопата!"

"Крестьяне Мценского уезда говорят: "крох наля" вместо "вокруг аналя".

Я и не думал, что тетрадь эта вся будет наполнена чем-то вроде отрывочного дневника (по большей части без чисел) и что она-то именно и поможет мне написать эти воспоминания. (Но разве я мог знать, что переживу Тургенева!)

Началось с того, что я записал экспромт, который сложился в уме Ивана Сергеевича после одной очень долгой и горячей беседы.

Не обладая громадной памятью, приводить здесь наши долгие беседы или споры, если они тотчас же не были записаны, значит заведомо лгать на себя и лгать на Тургенева. Но экспромт все-таки требует некоторых по-

яснений.

Философские убеждения Тургенева и направление ума его имели характер более или менее положительный и под конец жизни его носили на себе отпечаток пессимизма. Хоть он и был в юности поклонником Гегеля, отвлеченные понятия, философские термины давно уже были ему не по сердцу. Он терпеть не мог допытываться до таких истин, которые, по его мнению, были непостижимы.-- "Да и есть ли еще на свете непостижимые истины?" -- Так, например, он любил слово: "природа" и часто употреблял его и терпеть не мог слова "материя"; просто не хотел признавать в нем никакого особенного содержания или особенного оттенка того же понятия о природе.

-- Я не видел, -- спорил он, -- и ты не видал материи -- на кой же ляд я буду задумываться над этим словом.

И так как в этом не сходились наши воззрения, я отстаивал слова: "материя", "сущность", "абсолютная истина" и проч., и проч.

Повторять теперь все, что я именно говорил Ивану Сергеевичу, значит, написать уже

не то, что я говорил, а стенографически никто нашего разговора не записывал. Добавлю только следующее: когда появился в печати рассказ Тургенева "Собака", рассказ, им самим слышанный от очевидца, им со слов его записанный и уже затем обработанный,— наша критика напала на него, как на страшного и опасного мистика. На "Собаку" стали появляться пародии. Рассказы его "Призраки" и "Странная история" тоже многих заставляли предполагать, что Тургенев сам верит в таинственные, необъяснимые явления; но ничего не может быть ошибочнее такого мнения о Тургеневе.

-- Ничего нет страшнее,— говорил он однажды,— страшнее мысли, что ничего нет страшного, все обыкновенно. И это-то самое обыкновенное, самое ежедневное и есть самое страшное. Не привидение страшно, а страшно ничтожество нашей жизни...

Х

На другой или на третий день Иван Сергеевич рассказал мне следующую очень простую и не для многих интересную историю:

-- Однажды в зной,-- начал он,-- с мужиком отправился я в лес на охоту. Ружья у нас была кремневые и забивались пыжами. Вылетел вальдшнеп; я выстрелил; затем, спустя минут десять, зарядил снова ружье свое, пошел дальше и что же вижу? На том месте, где упал пыж, загорелся сухой мох; вижу -- валит дым и огонь охватывает сучья. Что делать? Пока я ломал голову, как погасить огонь, который всему лесу угрожал пожаром, дым стал валить сильнее и сильнее,-- и что, ты думаешь, я придумал?

-- Не знаю. Послал за водой?

-- Куда! Воды на версту кругом ни капли.

-- Ну, стал засыпать сырой землей?

-- Невозможно! Откуда добыть сырой земли,-- место было не болотное. Но, по счастью, был со мной охотничий нож, и -- что же, ты думаешь, я придумал?

-- Не знаю.

-- Угадай.

-- И угадать не могу.

-- Я велел тотчас же ломать древесные сучья (лес же бы хвойный). Сам тоже принялся срезать ветви, и место, охваченное огнем, мы

завалили свежими ветвями, а затем огонь затоптали, наступая на ветки. Долго мы возились, но огонь все-таки погасили.-- Эх! -- заговорил мой мужик,-- время-то мы только потеряли; сколько бы вальдшнепов наколотили. Охота же была вам тут возиться! -- Как! да ведь этак весь лес мог бы сгореть!..-- А пуццай его сторел бы. Ведь не ваш он, лес-то,-- чужой!

-- Да что! -- заключил Иван Сергеевич,-- русскому человеку не только чужого, подчас и своего не жаль.

XI

Иван Сергеевич не раз в воскресные дни заходил в свою церковь к обедне и не мог не заметить, что в церкви стоят старухи, дряхлые старики да бабы с грудными детьми и ни одного мужика, ни одного взрослого парня.

В разъяснение этого факта вот что я слышал от священника.

-- Ни православных праздников, ни воскресных дней крестьяне наши не справляют, а выдумывают свои собственные праздники, и таких праздников у них в год до пятидесяти. В эти праздники они пропивают все, что

только возможно, приучают не только девок, но и малолетних детей водку пить. Проповедей не слушают, на половину не платят требы и думают, что стоит им только пожаловаться на священника -- его тотчас же переведут в другой приход. И они правы, ибо в правдивости их не сомневается и архиерей. Без суда и допроса переводят нас, священников, с насиженного места на другое, так что и заниматься хозяйством охоты нет, ибо ничего в нашем быту нет прочного.

-- А есть раскольники?

-- Нет, в наших местах этого не замечается.

-- А как идет грамотность?

-- Во всем Спасском не наберешь и двух грамотных, а таких, чтоб писать могли -- ни единого! В сельской школе нет ни одной девочки, мальчики -- и те на папиросы рвут свои азбуки и очень скоро забывают грамоту.

Но я должен сказать правду -- крестьяне недолюбливали своего священника и ему не верили.

Иван Сергеевич, напротив, сколько я мог заметить, пользовался их благорасположени-

ем, и даже, что очень редко, их откровенностью. Много бы он мог сделать для своих крестьян, если бы чужбина не отняла его от нас. В свой последний приезд в Россию и в следующий 1882 год, когда он в Спасское писал к жене моей, видно, как начинал он заботиться и о своей богадельне, и о своей школе, и даже о здоровье крестьян. Для школы им была рекомендована одна учительница, которая, как слышал я, в последнее время даже девочек приохотила учиться грамоте. Для того, чтоб крестьяне не оставались без медицинской помощи, он велел выдавать 200 руб. в год тому из мценских врачей, кто возьмется заезжать в Спасское и заходить к больным.

Во все наше пребывание в Спасском, и Тургенев, и я были очень рады, что наш репетитор Коцын бескорыстно и горячо взялся за лечение крестьян, и с таким успехом, и такое вдруг заслужил их доверие, что каждое утро, в известные часы, ехали и ползли к нему больные. Пустая летом школа превратилась в приемную больных и в аптеку. К террасе не раз приходили старики, старухи и бабы с детьми, чтобы узнать, когда им можно будет

видеть лекаря. Иногда, в пустых болезнях, крестьянам и детям их помогала жена моя; иногда мне приходилось защищать больных от собак и провожать их до школы, где они и садились на крылечко ожидать Коцына. Иногда с Коцыным на беговых дрожках я заезжал в избы и раз видел девушку, лет 14-ти, которая внезапно заболела в поле на покосе. Ее уже причащали, читали над ней отходную и готовили к смерти. Коцын взялся ее вылечить. Когда мы вошли, девушка лежала в темной, душной избе, со светыющимися щелями в стенах. Пол был земляной, с ямой от бывшего погреба. Кругом дощатой постели и по углам помещались мешки, клетушки, запертый сундук и висело точило в берестовом футляре. Больная была в грязной рубашке; ей было легче. Скоро она совершенно оправилась и через неделю уже работала. И немало было таких случаев.

Слава о нашем студенте-лекаре прошла и в другие деревни, и к Тургеневу в усадьбу стали приводить больных верст за 15, за 20.

Коцын, еврей по происхождению, даже с богатых мужиков, когда они ему совали в ру-

ку деньги, ничего не брал, да к тому же это был, очевидно, медик по призванию. Вне уроков, и утром, и за обеденным столом, и вечером за чаем, он только и говорил, что о своих больных -- никакого иного разговора у него с нами или с Тургеневым и не было.

Однажды за обедом Тургенев сказал Кочыну:

"Разные бывают врачи; я знал одного уездного врача; раз с его больным случился обморок; "за доктором, скорей за доктором!" -- кричал этот уездный врач, которого вся практика заключалась по большей части в освидетельствовании мертвых тел. А то один помещик лечил крестьян. Его и спрашивают, знает ли он медицину? -- Нет, отвечал он,-- я лечу не по медицине, а по филантропии... Раз он прописал одному мужику вымазаться дегтем и напитокя меду -- через несколько дней узнает от жены больного, что ему легче. Ох! Только уж трудновато ему было, бедному... как вымазался он медом-то, от мух и отбою не было... да и деготь-то показался ему не вкусен... Уж не оттого ли он и выздоровел, что сделал наоборот?" -- иронически заметил Иван Серге-

евич.

Итак, если одно из самых невежественных, безграмотных селений могло предпочесть лекаря знахарям и колдунам, то не зависит ли это от личности самого лекаря, и не напрасны ли жалобы иных из числа уездных эскулапов, что крестьяне у них не хотят лечиться?

То же самое можно сказать и про школу, и про церковь. У народа самого грубого есть чутье, которое никогда его не обманывает. Горячее, искреннее слово никогда не проходит даром. Всякое дело тогда только и свято, когда человеческая душа вошла в него.

Жаль, что Ивану Сергеевичу не суждено было вернуться в Спасское, многое предполагал он сделать, и -- лучше поздно, чем никогда.

Судя по всему, что рассказывал Тургенев о русских крестьянах, он был далеко от них не в восторге; но Иван Сергеевич судил о народе только по тем образчикам, которые встречал он у себя в Спасском, да в степных имениях Орловской и Тульской губерний. Он никогда по России не путешествовал, он не

знал и сотой доли всей России и только по необычайной своей проницательности многое в ней угадывал; но ничто его так не приводило в негодование, как модная мысль, что мы должны учиться у народа. -- Учить его, -- говорил он, -- это я понимаю, а учиться! чему учиться?! -- Русский простой мужик, -- уже позднее говорил мне Тургенев, -- вовсе не так и жалостлив, как его описывают, да и не может он никого так любить, потому что он и к самому себе равнодушен. На его месте, всякий -- и француз, и немец, и испанец, и всякий был бы безжалостен. Я помню, однажды, на охоте -- я и мужик со мной охотились, -- подошли к оврагу, поросшему кустами. Страшный был овраг. Вдруг слышу: в овраге кто-то кричит и плачет, -- голос ребяческий. Я тотчас же бросился разыскивать, кто кричит; но в то время, как мы спускались, с противоположной стороны оврага, заметили мы, к тому же месту спускается другой мужик. Мы приостановились и видим, как этот мужик вывел из оврага какого-то мальчика. -- Ишь, отец за им пришел! -- заметил мой спутник. Мы вернулись, я его спрашиваю: -- Почему же ты зна-

ешь, что это его отец? -- А то кто же? нешто кроме отца кто-нибудь пошел бы? да ни за что... ни в жизнь! -- И это правда; мой проводник -- тот бы на крик не пошел.

Я заметил Ивану Сергеевичу, что и этот случай обобщать не следует.

-- Удивительно! -- продолжал Тургенев,-- в России все наоборот, все не так, как за границей. Там чем плодороднее почва, тем богаче жители, а у нас -- чем она плодороднее, тем они беднее, а чем хуже, тем богаче. Там, чем добрее, щедрее и честнее владелец, тем более его уважают, ценят и любят; здесь же, напротив, чем он лучше -- тем ему хуже, и тем недружелюбнее, тем подозрительнее к нему относятся.

Недаром для Ивана Сергеевича, по его собственному признанию, русский народ был чем-то вроде сфинкса или загадки.

XII

Всякий раз, когда Иван Сергеевич приезжал в свое родное пепелище, для крестьян и баб он устраивал праздник в своем саду, на площадке перед террасой. На этот раз поче-

му-то праздник этот откладывался -- потому ли, что ожидали окончания сенокоса и работ в саду, или по причине дурной погоды. Иван же Сергеевич очень часто находился в страхе за свои ноги -- он все боялся подагры, берегся сырости и подозрительно следил за всяким ощущением в пальцах то одной, то другой ноги, так как такие ощущения были иногда зловещными признаками наступающей болезни. Раз, около часа пополудни, я зачитался и еще не спал. Крутом была тишина, слышно было только, как жужжали и стукались в потолок шальные мухи, как вдруг резко раздался звук церковного колокола. Я дрогнул и поднял голову. Начался звон, неровный, беспорядочный звон. Не оставалось никакого сомнения, что это набат. Не мы ли горим, подумал я. Не наверху ли, где спит мой сын, что-нибудь загорелось? Я и жена моя наскоро оделись; дети спали. В доме послышались шаги и шорох. Заглянув на двор, я через сад прошел к воротам. Церковный сторож стоял у колокольни, уже освещенный заревом, и дергал за веревку. Увидавши меня, он перестал звонить и указал мне на красный дым, который

поднимался над темными соломенными крышами села, в полверсте от усадьбы.-- Это горит Спасское,-- сказал мне сторож. Я пошел назад, чтоб разбудить Тургенева, но в спаль-ной я уже застал его, за ширмами, на ногах и уже одевающимся. На ночном столике горела свеча, и на Иване Сергеевиче, как говорится, лица не было.-- Ну,-- сказал он, махнув сокру-шенно рукой,-- сгорит вся деревня дотла, как есть, вся дотла сгорит!

Он уже одевал пальто и шапку, не спеша, но хмурясь и как бы отчаиваясь.

Я стал его уговаривать.

-- Иван, пожалуйста, вспомни, что у тебя болела сегодня нога; не ходи, ночь сырая, хо-лодная... Берегись подагры. Не ходи!

-- Как можно,-- отозвался он.-- Обязан ид-ти... Обязан! Надо!

-- Да ведь ты простудишься!

-- А что же делать!! Сгорит все село дотла, дотла сгорит! -- повторил он уже совсем ста-риковским голосом, потряхивая головой и спускаясь с террасы.

Я пошел провожать его.

-- Нет,-- сказал он,-- ты останься, у тебя

больное колено и к тому же дом пуст -- никого нет, хоть шаром покати.

Я до околицы проводил его, узнал, что горит не село, а кабак за селом, и вернулся.

Кабак этот стоял на краю деревни, саженьях в тридцати от крайней избы, по ту сторону проселочной дороги, на чужой земле.

Безветрие спасло Спасское.

Слышал я потом, что крестьяне, как бы любуясь, обступили пылающий кабак, но и не думали тушить его. Кабак сторел. Кабатчик, отважно спасая свое добро, получил немалое количество обжогов. Я видел, как на другой день ходил он по пожарищу и затем, присев на обгорелое бревно, тряпками стал перевязывать свои обжоги. Никакого при этом страдания от боли не выражало темное и суровое, но еще молодое лицо его.

Крестьяне знали, что вместе с кабаком сторели все ими заложенные вещи, и радовались, что у кабатчика сторела вся его выручка. Кажется, они ошиблись. Конечно, кабатчик уверял всех, что все у него погорело, и на другой день пришел к Ивану Сергеевичу просить его помощи.

Иван Сергеевич дал ему 25 рублей.

Но и эта ничтожная помощь крестьянам не понравилась.

-- За что 25 рублей! Не за то ли уж, что он нас спаивал да капиталы наживал; он и теперь нас богаче -- не пропадет! -- говорили мужики.

Точно он был главный виновник их пьянства и разоренья, а не они сами, не их собственная воля.

Затем они приходили просить Ивана Сергеевича так распорядиться, чтоб у них кабака больше не было.

Иван Сергеевич обещался им все сделать, что только он будет в силах.

-- У вас будет не кабак, а часовня, -- решил он, -- а на основании закона близ часовни {Вид этой часовни был помещен в "Ниве". 1883. No 42.} нового кабака начальство не дозволит выстроить.

Иван Сергеевич был прав, что загорись не кабак, а село -- все бы село выгорело дотла: в Спасском и в заводе не было пожарной трубы и бочек, да и пруды от села не так близки, чтобы можно было успешно добывать воду и

тушить пожар.

И все мне казалось, живи Иван Сергеевич в России -- в селе Спасском были бы и пожарные трубы, и бочки, разумеется, если бы кто-нибудь на это намекнул Ивану Сергеевичу. На всякое добро, на всякую жертву он был готов, как человек щедрый и любящий; но едва ли в нем самом была какая-нибудь инициатива, или позыв на ту или другую практическую деятельность (помимо деятельности литературной).

XIII

Через несколько дней после пожара состоялся деревенский праздник. Жена моя должна была ехать в Мценск для закупки лент, бус, платков, серег и т. п. Управляющий поехал за вином, пряниками, орехами, леденцами и прочими лакомствами.

К 7 часам вечера толпа уже стояла перед террасой: мужики без шапок, бабы и девки нарядные и пестрые, как раскрашенные картинки, кое-где позолоченные сусальным золотом. Начались песни и пляски. В пении мужики не принимали никакого участия, они

по очереди подходили к ведру или чану с водой, черпали ее стеклянной кружечкой и, запрокидывая голову, выпивали. Только один пришлый мужик, в красной рубашке, и пел, и плясал, и кланялся, и подмигивал, и присвистывал. Помню -- он спел какую-то сатирическую веселую песню на господ, и очень сожалею, что не записал ее. На террасе гостей было мало, было только семейство арендатора А. М. Щепкина и управляющий именем сын его Н. А. с супругой.

Лакомство раздавалось тоже по очереди, -- мальчишки подставляли свои шапки, старухи -- платки, бабы и девки -- фартуки.

Раздавая картинки и азбуки, закупленные мною в Питере, я был удивлен, как нашлось много на них охотников, даже девочки полезли на террасу с протянутыми руками.

-- А ты будешь учиться грамоте? -- спросил я одну из девочек, лет 11-ти.

-- Ни! -- она замотала головой, жестом дав мне понять, что -- ни за что на свете, и отошла. Зачем же ей была нужна азбука?

За мужиками к водке подходили бабы и девки, за ними дети, начиная с 5-летнего воз-

раста, если еще не моложе. Сами матери под-
водили их.

Чем же кончился праздник?

Ропотом крестьян, что вина было мало --
всего только два чана (сколько было в них ве-
дер -- не помню). Они просили послать еще за
вином. Управляющий стал их стыдить и уго-
варивать.-- И рад бы,-- говорил он,-- Иван Сер-
геевич, послать за вином, да куда! В Мценск
далеко, а кабак, сами знаете, сгорел. Куда же
мы за вином пошлем!

К 10 часам вечера все уже было тихо.
Несколько пьяных ночевало в саду, под куста-
ми, в куртинах. Тем все и кончилось.

Ивана Сергеевича больше всего занимал
тип пришлого мужика в красной рубашке,
черноволосого, с живыми, быстрыми, малень-
кими глазами, веселого плясуна и любезника.

-- Ты что думаешь? -- говорил мне о нем
Тургенев,-- в случае какого-нибудь беспоряд-
ка, бунта или грабежа, он был бы всех беспо-
щаднее, был бы одним из первых, даром, что
он так юлил и кланялся. Ему очень хотелось,
чтоб ты дал ему рубль или хоть двугривен-
ный, а между тем, слышал, какую он про бар-

ские причуды песню пел? Это, брат, тип!

Я спросил Тургенева, зачем он не приказал мужикам надеть шапки?

-- Нельзя,-- сказал Тургенев.-- Верь ты мне, что нельзя! Я народ этот знаю, меня же осмеют и осудят. Не принято это у них. Другое дело, если бы они эти шапки надели сами, тогда и я был бы рад.-- И то уже меня радует,-- говорил он в другой раз, сидя с нами в коляске, когда мы катались, -- что поклон мужицкий стал уже далеко не тот поклон, каким он был при моей матери. Сейчас видно, что кланяются добровольно -- дескать, почтение оказываем; а тогда от каждого поклона так и разило рабским страхом и подобострастием. Видно, Федот -- да не тот!

XIV

"Есть люди,-- между прочим говорил Тургенев,-- которые беспрестанно говорят: я это предвидел! Другие говорят: я это предчувствовал! Третьи: бьюсь об заклад.

Был некто судья Z, тот беспрестанно говорил, что бы ни случилось: вообразите, я это предвидел! Вот однажды одного барина, с ко-

торым он тяжбу вел, до такой степени раздражил он своей болтовней, что тот, не говоря худого слова, подошел к нему сзади, да и дал ему такой подзатыльник, что тот инда со стула свалился. Свалившись, он тотчас же закричал: а! я это предвидел! Затем поднялся крик, шум, брань и угрозы притянуть обидчика к суду.

-- Не можете вы судить меня,-- возразил обидчик,-- вы сами судья и судиться со мной должны не здесь, а в другой губернии, у другого судьи; туда подавайте жалобу, а я скажу, что вы мой удар предвидели: сами, при свидетелях в этом сознались. А если предвидели, то почему же вы не приняли никаких мер и меня не остановили?

А некто N беспрестанно держал пари. Однажды видит он прохожего и говорит: -- Я уверен, что его зовут Иваном, бьюсь об заклад, что Иваном.-- Поспорили. Ну вот, чтобы доказать, что он не ошибся, да и ошибаться не может, догоняет он прохожего и спрашивает его: -- Извините, ради бога, как вас зовут? Не Иваном ли? Я, надо вам сказать, сейчас пари держал, что вас зовут Иваном.-- Прохожий

господин обернулся, поглядел на него, да и говорит: -- Вот если вы будете держать пари, что вы дурак, то сколько бы вы ни держали пари - всегда выиграете.

Сказавши это, прохожий преспокойно удалился от озадаченного таким ответом вопрошателя".

Для таких анекдотов Тургенев был источником неисчерпаемый, и, разумеется, в этих воспоминаниях я пишу только то, что мною было мимоходом наскоро записано. Все же здесь рассказанное, очевидно, происходило до 27-го июня, так как под вышеизложенными анекдотами в моей тетради стоит число 27.

XV

27-го июня, утром, Тургенев и жена моя поехали в Мценск на станцию, и затем по железной дороге отправились в Орел, во-1-х, за покупками: диван, на котором умерла мать Тургенева, найденный в сарае, оказался еще годным на то, чтоб его обить новой материей; стало быть, нужно было внести его в комнату, поставить на предназначенное ему место, из-

мерить и поехать в город за материей.

Биллиард в библиотеке был бы еще очень годен для игры: и шары, и кии были целы; но лузы были прорваны -- нужно было купить зеленые шнурки и сплести новые мешки для луз.

И наконец, самое главное: Коцын донес, что нужны ему кое-какие медикаменты и оспенная материя. У крестьянских детей нужно было прививать оспу и нечем. Иван Сергеевич поехал в Орел добывать оспенную материю.

Он и жена моя вернулись из Орла в тот же день к вечеру, и никогда не забыть мне, как Тургенев рассказывал нам за чаем и на другой день за обедом о своих орловских похождениях. Как был он у одной повивальной бабушки, потом у каких-то девиц -- грязных и стриженных и, наконец, в самое жаркое время дня, после обеда, в каком-то приюте, где застал всех сонными -- девушку лет восемнадцати, спящую на диване в одной рубашке, отца ее -- спящего за перегородкой, мать -- спящую за ширмами, собаку -- под столом; как разбудил он девушку, как она испугалась,

побежала и как испугала отца, как отец испугал жену и как собака, проснувшись, нехотя и лениво залаяла.

Конечно, рассказ этот, подробностей которого я не помню, был в некоторой степени разукрашен творческой и живой фантазией рассказчика. Но, боже мой, как он был комично забавен и как мы все хохотали.

В тот же день, 27-го числа, к 12 часам ночи, в Спасское прикатил Дмитрий Васильевич Григорович. Мы дожидались его в столовой, усадили за самовар и пробеседовали чуть ли не до 2-х часов пополуночи. Все были в самом веселом, даже можно сказать, в восторженном настроении духа.

XVI

Дмитрий Васильевич Григорович на другой же день обошел весь дом, часть сада и, казалось, всем был доволен. Уютно, чисто, просторно -- все, что нужно.

Ему же было и весело вспомнить, что здесь, в Спасском, он уже не впервые; что слишком 20 лет тому назад он приезжал сюда к опальному Тургеневу, еще бодрому и моло-

дому. Здесь когда-то застал он и ядовитого эстетика В. П. Боткина, и флегматического на вид, даровитого Дружинина, Колбасина и многих других. Здесь когда-то, в саду, разлегшись в тени под деревьями, они разучивали роли из комедии "Школа гостеприимства", ими всеми сообща состряпанной; а комедия эта была -- веселый фарс, и фарс этот не только рассмешил, но и привел в неслыханное недоумение всех собравшихся из окрестностей смотреть, как играют литераторы. И грустно было думать, что из всех действующих лиц уже немного осталось действующими на этом свете... что много с тех пор воды утекло, что самый дом уже не тот и что даже трудно узнать, что теперешняя столовая с портретами и есть именно та самая комната, где были устроены подмости и где представлялась доморощенная пьеса с комической смертью всех действующих лиц повальню...

При этом надо заметить, что к приезду Григоровича бильярд был уже с новыми лузами и что библиотека приводилась в порядок при помощи того же студента Медицинской Академии Коцына. Коцыну вообрази-

лось, что весь русский отдел этой библиотеки можно разобрать, внести в каталог и по местам расставить в какие-нибудь два дня; но оказалось на деле, что и в две недели едва ли возможно совершить эту процедуру. Тургенев сам принимал участие в приведении в порядок своей библиотеки и очень сокрушался, что некоторые из очень дорогих изданий, очевидно, были украдены кем-нибудь из стародавних гостей, по русскому обычаю думающих, что зажилить или увезти книгу не значит украсть ее -- а просто увезти или зажилить. Ведь похищают же невест и чужих жен, и это за воровство никем не почитается... Так, не находил Тургенев одного редкого издания Овидия, с гравюрами прошлого, XVIII столетия.

Приезд Дм. Вас. Григоровича в Спасское положил начало постепенному наплыву и других гостей, о которых в свою очередь будет упомянуто.

Прежде всех (при Дм. Вас. Григоровиче) в Спасском появилась какая-то девушка, еще очень молодая. Если не ошибаюсь, это была одна из сомневающихся и колеблющихся...

чему ей верить и куда идти -- по следам ли нигилизма, путем огульного отрицания, или кое-что признать и пристать к какой-нибудь либеральной партии, одна из тех, убеждениями которых управляет не наука, а случай. Я не помню ее фамилии. Она приезжала исповедовать Тургеневу свой образ мыслей или свое недомыслие, хотя, по-видимому, и не была коротко знакома с хозяином.

Тургенев, по обыкновению, был с ней любезен, но сдержанно. Григорович был беспощаден, и, что всего удивительнее, она не только на него не сердилась,-- ей заметно нравилось, что так нецеремонно и так энергически-грубо низводил он с пьедестала тот идеал эманципированной девицы, которому она поклонялась. Тургенев же при нас, за чайным столом, вечером, заявлял, что у него ничего нет общего с анархистами или террористами, что он никогда им не сочувствовал и не сочувствует, что насилия и политические убийства никогда не достигают своей цели, напротив, вызывают долгую реакцию, останавливают естественный рост народов и отравляют общественный организм подозрительностью

и напряженным чувством опасливого самосохранения; что в участи тех, которые у нас так бесплодно погибают, нет даже ничего истинно-трагического. И, развивая теорию трагического, Иван Сергеевич, между прочим, привел в пример Антигону Софокла.

-- Вот это,-- сказал он,-- трагическая героиня! Она права, потому что весь народ, точно так же, как и она, считает святым делом то дело, которое она совершила (погребла убитого брата). А в то же время тот же народ и Креона, которому поручил он власть, считает правым, если тот требует точного исполнения своих законов. Значит, и Креон прав, когда казнит Антигону, нарушившую закон. Эта коллизия двух идей, двух прав, двух равнозаконных побуждений и есть то, что мы называем трагическим. Из этой коллизии вытекает высшая нравственная правда, и эта-то правда всею своею тяжестью обрушивается на то лицо, которое торжествует. Но можно ли сказать, что то учение или та мечта, за которую погибают у нас, есть правда, признаваемая народом и даже большинством русского общества?

Здесь я передаю не самые слова Ивана Сергеевича, а суть его мыслей, вслух им высказанных. А что именно это он нам высказывал, я могу сослаться и на Григоровича, и на ту, которая вынуждала его говорить так, а не иначе.

Пробывши в Спасском дня три или четыре, девица эта уехала. И так как ей непременно хотелось держаться каких-нибудь принципов, и так как в нигилизме она разочаровалась,— она, прощаясь, сказала Тургеневу, что будет опортюнисткой.

-- Ну, это уж все-таки лучше! -- ответил ей Тургенев.

XVII

Тургенев когда-то лично знал покойного писателя, князя Влад. Фед. Одоевского и высоко ценил его. Я, пишущий эти строки, в 1858 году, незадолго до его кончины, встретился с князем за границею -- в Веймаре. Он тотчас же догадался, что я болен, стал навещать меня в гостинице и начал по-своему, гомеопатией, безуспешно лечить меня. Кажется, достаточно было один день провести с

этим человеком, чтоб навсегда полюбить его. Но свет глумился над его рассеянностью,-- не понимая, что такая рассеянность есть сосредоточенность на какой-нибудь новой мысли, на какой-нибудь задаче или гипотезе.

Посреди своего обширного кабинета, заставленного и заваленного книгами, рукописями, нотами и запыленными инструментами, князь Одоевский, в своем халате и не всегда гладко причесанный, многим казался или чудаком, или чем-то вроде русского Фауста. Для великосветских денди и барынь были смешны и его разговоры, и его ученость. Даже иные журналисты и те над ним иногда заочно тешились. И это как нельзя лучше выразилось в юмористических стихах Соболевского, которые, по счастью, сохранились в памяти Ивана Сергеевича. Припомнив их, Тургенев несколько раз повторял их вслух и читал не без удовольствия.

Это было в дождливый день, не то 29-го, не то 30-го июня. "Случилось раз",--читал Иван Сергеевич, стараясь читать как можно серьезнее, но придавая комический оттенок своему лицу и повышению своего голоса:

"Случилось раз, во время оно,
Что с дерева упал комар,
И вот уж в комитет ученый
Тебя зовут, князь Вольдемар.
Услышав этот дивный казус,
Зарывшись в книгах, ты открыл,
Что в Роттердаме жил Эразмус,
Который в парике ходил.
Одушевясь таким примером,
Ты тотчас сам надел парик
И, с свойственным тебе манером,
Главой таинственно поник.
"Хотя в известном отношеньи,--
Так начал ты,-- комар есть тварь,
Но, в музыкальном рассужденьи,
Комар есть в сущности -- звонарь,
И если он паденьем в поле
Не причинил себе вреда,--
Предать сей казус божьей воле
И тварь избавить от суда!"

Затем Тургенев стал припоминать и свои старые эпиграммы на своих старых приятелей. Из них лично для меня почти ни одной

не было неизвестной. Я, признаюсь, не был их поклонником, никогда не ставил их в ряду с эпиграммами Пушкина и не мог бы ни припомнить, ни записать их при помощи автора.

Все эти эпиграммы относились еще ко временам той задорной молодости, которая подчас, для острого словца, не пощадит ни матери, ни отца. Эпиграммы, тогда сочиненные Тургеневым, по большей части относились к лицам, которых он любил и с которыми охотно проводил время.

-- Но что же? -- говорил Тургенев,-- ведь никто же на эти эпиграммы не сердился, кроме Арапетова; тот только один так обиделся, что на много лет перестал со мной кланяться. А Дружинин, например, первый смеялся, когда я прочел ему:

"Дружинин корчит европейца.
Как ошибается бедняк!
Он труп русского гвардейца,
Одетый в английский пиджак".

А вот эпиграмма на Кетчера:

"Вот еще светило мира!
Кетчер, друг шипучих вин;
Перепер он нам Шекспира
На язык родных осин".

На Н-ко:

"Исполненный ненужных слов
И мыслей, ставших общим местом,
Он красноречья пресным тестом
Всю землю вымазать готов..."

То же на одного московского профессора
К.:

"Он хлыщ, но как он тих и скромн,
Высок и в то же время томен,
Как старой девы билъе-ду;
Но, возвышаясь постепенно,
Давно стал скучен несравненно,
Педант, вареный на меду".

На В. П. Боткина была большая эпиграмма, пародия на пушкинское стихотворение "Анчар"; но Тургенев тщетно старался ее при-

помнить, и только один куплет промелькнул в его памяти:

"К нему читатель не спешит,
И журналист его боится,
Панаев сдуру набежит
И, корчась в муках, дале мчится..."

Совершенною для меня новостью была только эпиграмма, написанная Тургеневым еще в сороковых годах на Ф. Достоевского, после повести его "Бедные люди". Я никогда прежде не слыхал этой эпиграммы. В ней нет ничего особенно обидного, соль ее далеко не едкая; но Достоевский, уже и в то время болезненный, был не из числа тех юношей, которые, прочтя эпиграмму, отнеслись бы к ней шутя, как Дружинин, или бы охотно ему за нее простили, как Кетчер.

Достоевский мог совершенно впоследствии забыть эту эпиграмму, но семя вражды, глухое и бессознательное, осталось в нем.

Да и трудно было молодому Достоевскому не вообразить себе, что эпиграмма Тургенева не выросла на почве самой ядовитой за-

ВИСТИ.

Но кто знал хорошо Тургенева, тот, конечно, поймет, что в нем не было ни на каплю литературной зависти и что в этом случае эпиграмма была вызвана тем ранним самомнением, которое обнаруживал Достоевский и которого был так чужд Тургенев. Иван Сергеевич постоянно ставил себя ниже Пушкина, ниже Гоголя и даже ниже Лермонтова...

Вот эта эпиграмма:

"Рыцарь горестной фигуры!
Достоевский, юный пыщ;
На носу литературы
Ты вскочил, как яркий прыщ,
Хоть ты новый литератор,
Но в восторг уж всех поверг.
Тебя хвалит Император,
Уважает Лейхтенберг".

Достоевский, конечно, был несколько не виноват в том, что повесть его "Бедные люди" читалась при дворе и читалась в такое время, когда к литературе и тогдашним литераторам сановные люди относились свысока или с

снисходительным презрением.

-- Да, -- говорил Тургенев, -- все это были грехи задорной юности моей, а о своих молодых грехах иногда не мешает и вспомнить: ах, уже не вернешь. Кажется, что может быть проще истины: "молодости вернуть нельзя". Кто этого не знает! А между тем для меня нет ничего страшнее этой простой истины; она гораздо страшнее, чем ад, описанный Дантом в его "Divina Comedia" {Божественная комедия (ит.)}. Для меня в непреложности законов природы есть нечто самое ужасное, так как я никакой цели, ни злой, ни благой, не вижу в них.

XVIII

Так прибытие Григоровича придало нашим беседам несколько литературный оттенок.

Вскоре после эпиграмм, когда мы втроем сидели в казино с овальным столом из карельской березы, а небо хмурилось и не пускало нас в сад; когда зеленые бочки по углам дома были переполнены дождевой водой, а перед террасой, на площадке, стояли лужи,--

мы то сидели, то прохаживались в тесном пространстве небольшой комнаты и беседовали, не замечая погоды.

Тургенев рассказывал нам содержание одной пришедшей ему в голову фантастической повести.

Вот это содержание.

Муж ненавидит жену, убивает ее на дороге и прячет в лесу ее труп... приходит в город, заходит в гостиницу и заказывает кофе.-- Для вас одного или для двоих? -- спрашивает кельнер. Это его поражает. На улице попадают ему знакомые, которые кланяются ему и кланяются еще кому-то. Словом, все видят жену его, кроме его. Он чувствует ее присутствие около себя, оно тяготит его мучит, преследует, но он ничего не видит.

Мало-помалу он доходит до такого состояния, что заклинает жену свою появиться, показаться ему. Он становится даже на колени перед чем-то невидимым, не зная, где оно, и - тщетно! Затем он является в суд и говорит, что он убийца. Ему не верят, он доказывает. Перед казнью он видит призрак жены и примиряется с судьбой своей. Тургенев развивал

эту мысль несколько подробнее.

-- Мне решительно это не нравится,-- заявил Дм. Вас. Григорович.-- Психологически необъяснимо -- почему жену видит не он, а другие?

Тургенев, как кажется, совершенно согласился с ним, по крайней мере не возразил ему. Но разве преступнику не могло казаться, что все, кроме него, видят жену его? Разве кельнер не мог предположить, что он пришел вдвоем с товарищем, что товарищ его отстал, но тотчас же присядет к тому же столику и будет также пить кофе. Разве преступник не мог вопроса кельнера: "для двоих?" -- иначе понять, иначе растолковать себе? Слова эти разве не могли послужить началом его галлюцинаций?

Затем зашел разговор о том, как пишутся или создаются повести. Так Тургенев сознавался нам, что он не может продолжать писать, если не доволен фразой или местом, которое не удалось ему. Другие на это не обращают внимания, пишут всё, с начала до конца, вчерне; потом постепенно отделяют по частям, иногда с начала, иногда с конца. Так

писал Диккенс. Одни пишут отрывками и потом сводят их. Другие сами не знают, что выйдет из лица, неожиданно появившегося в романе или повести; иногда лицо это вдруг так ярко обрисовывается в воображении, что, заслоняя другие лица, делается первенствующим. Так часто случалось с Григоровичем, по его собственному признанию.

На упреки Тургеневу, зачем он перестал писать и что напрасно он говорит, что талант может выписаться,— Тургенев оправдывался тем, что уже в писании он не находит никакого особенного удовольствия.

-- Препрежний зуд прошел. Это то же, что мужское бессилие. Очень прискорбно, что оно есть, но что же делать! Ничего не поделаешь! Вот недавно,— продолжал он,— начал я повесть: "Старые голубки". Написал несколько строк и дальше не мог; а сюжет мне очень нравился, и я глубоко, со всех сторон его обдумал.

-- Рассказывай, какой сюжет? -- спросил я Тургенева.

-- А вот какой. У некоего старика, управляющего имением, живет приезжий сын, мо-

лодой человек. К нему приехал товарищ его, тоже молодой. Народ веселый и бесшабашный: обо всем зря сложились у них понятия, обо всем они судят и рядят, так сказать, безапелляционно; на женщин глядят легкомысленно и даже несколько цинично. В это же время в усадьбе поселяется старый помещик с женой, оба уже не молодые, хотя жена и моложе. Старик только что женился на той, которую любил в молодости. Молодые люди потешаются над амурами стариков: начинают за ними подсматривать, бьются об заклад... Наконец, сын управляющего шутя начинает волочиться за пожилой помещицей, и что же замечает к своему немалому удивлению? -- что любовь этих пожилых людей бесконечно сильнее и глубже, чем та любовь, которую он когда-то знал и наблюдал в знакомых ему женщинах. Это его озадачивает. Мало-помалу он влюбляется в пожилую жену старого помещика, и увы! -- безнадежно. С разбитым сердцем уезжает неосторожный, любопытный юноша. И пари он проиграл, и проиграл прежний мир души своей. Любовь уже перестала казаться ему прежней шалостью или

чем-то вроде веселого препровождения времени.-- Вот главное содержание,-- и это была бы одна из самых трудных по исполнению повестей моих, так как ничего нет легче, как в таком сюжете переступить черту, отделяющую серьезное от смешного и пошлого, и ничего нет труднее, как изобразить любовь 50-летнего старика, достойного уважения, и изобразить так, чтоб это не было ни тривиально, ни сентиментально, а действовало бы на вас всю глубиной своей простоты и правды. Да, господа, это очень трудный сюжет...

Но на большой террасе раздался звон призывного колокола, и все мы пошли в столовую обедать.

XIX

И за обедом, и после обеда, вечером, Иван Сергеевич был говорлив и интересен по обыкновению.

Вот что я помню из того, что в этот день говорилось:

"Да,-- говорил Тургенев,-- смешное для одного народа вовсе не смешно для другого и наоборот. То, что смешит француза, англича-

нин выслушает равнодушно, даже не улыбнется; и то, отчего англичанин расхохочется, французу вовсе не покажется смешным

Так, например, известный писатель Мери́ме знал по-русски и читал мне стихотворение Пушкина, которого он был великим поклонником:

"Над Невою резво вьются
Флаги пестрые судов..."

И я не смеялся, хотя француз каждое слово произносил по-своему. Вообще дурной выговор и чужой язык нисколько не смешат русского человека. А раз Теккерей упросил меня прочесть ему что-нибудь по-русски. Я стал наизусть читать ему одно из самых музыкальных по стиху стихотворений Пушкина, и что же? Не успел я и десяти стихов прочесть, как Теккерей покатился от неудержимого смеха, так стал хохотать, что сконфузил своих дочерей. Звуки чужого языка были для него смешны.

Раз я был у Карлейля. Надо вам сказать, что никто так не поражал меня своим обра-

зом мыслей, как этот Карлейль. Беспрекословное повиновение считал он лучшим качеством человека и говорил мне, что всякое слепо повинующееся своему монарху государство он считает лучше и счастливее Англии с ее свободой и конституцией. На мой вопрос, какого английского поэта он считает выше всех, он мне назвал одну посредственность, какого-то несчастного лирика, жившего в конце XVIII столетия, а о Байроне отозвался с пренебрежением. Затем он уверял меня, что Диккенс для англичан не имеет никакого значения, а нравится только иностранцам. Словом, много наговорил мне нелепостей непостижимых. Но когда я рассказал ему, что глаза мои страдают иногда темными пятнами -- *mouches volantes* {Летающие мушки, черные точки перед глазами (фр.).} -- и что однажды, на охоте, вдруг показалось мне, что что-то серое пробежало по лугу; я подумал: заяц, поднял ружье и непременно бы выстрелил, если бы сам не догадался, что это в глазу темная подвижная точка ввела меня в заблуждение.

Выслушав это, Карлейль немного подумал и вдруг стал хохотать и долго никак не

мог удержаться от хохота.-- Чего он смеется? Я сначала понять не мог -- ничего смешного в моем рассказе я даже не подозревал.

-- Ха-ха-ха! -- завопил он, наконец,-- в свою собственную *mouches volantes* стрелять! в точку... в глазу... Ха-ха-ха!

Тут только я догадался, чем я так рассмешил его. Ни русский, ни француз, ни немец ничего бы смешного не нашли в этом случае.

То же можно сказать и про театр. Кривляка-актер, которого каждый немец и француз готовы освистать, забросать яблоками печеными, английскую толпу может привести в восторг неслыханный.

Взгляд на нравственность тоже у каждого народа различный. То, что для русского возмутительно,-- для француза не только не возмутительно, но достойно всякого сочувствия, и наоборот,--возмутительное для француза несколько не смутит русского человека.

Раз, в Париже, давали одну пьесу (Тургенев назвал пьесу, но я не помню этого названия). Я, Флобер и другие из числа французских писателей собрались на эту пьесу взглянуть, так как она немало наделала шума: нра-

вилась она и журналистам, и публике. Мы по-шли, взяли места рядом и поместились в пар-тере.

Какое же увидел я действие? А вот ка-кое... У одного негодяя была жена и двое де-тей -- сын и дочь. Негодяй муж не только про-кутил все состояние жены, но на каждом ша-гу оскорблял ее, чуть не бил. Наконец потре-бовал развода -- *separation de corps et de biens* {раздела имущества между супругами (фр.).} (что, впрочем, нисколько не дает жене права выйти вторично замуж). Он остается в Пари-же кутить; она с детьми, на последние сред-ства, уезжает, если не ошибаюсь, в Швейца-рию. Там знакомится она с одним господином и, полюбив его, сходится с ним и почти что всю жизнь свою до старости считается его же-ной. Оба счастливы -- он трудится и заботится не только о ней, но и о ее детях: он их кормит, одевает, обувает, воспитывает. Они также смотрят на него как на родного отца и выраст-ают в той мысли, что они его дети. Наконец, сын становится взрослым юношей, сестра -- девушкой-невестой. В это время состарив-шийся настоящий муж узнает стороной, что

жена его получает большое наследство. Проведав об этом, старый развратник, бесчестный и подлый во всех отношениях, задумывает из расчета опять сойтись с женой и с этой целью инкогнито приезжает в тот город, где живет брошенная им мать его детей.

Прежде всего он знакомится с сыном и открывает ему, что он отец его. Сыну же и в голову не приходит спросить: отчего же, если он законный отец, он не жил с его матерью, и если он и сестра его -- его дети, то отчего, в продолжение стольких лет, он ни разу о них не позаботился? Он просто начинает мысленно упрекать свою мать и ненавидеть того, кто один дал ей покой и на свои средства воспитал его и сестру, как родных детей своих. И вот происходит следующая сцена. На сцене брат и сестра. Входит воспитавший их, друг их матери, и, по обыкновению здороваясь, как всегда, хочет прикоснуться губами к голове девушки, на которую с детства он привык смотреть, как на родную дочь.

В эту минуту молодой человек хватается его за руку и отбрасывает его в сторону от сестры.

-- Не осмеливайтесь прикасаться к сестре моей! -- выражает его негодующее, гневное лицо.-- Вы не имеете никакого права так фамильярно обходиться с ней!

И весь театр рукоплещет, все в восторге, не от игры актера, а от такого благородного, прекрасного поступка молодого человека. Вижу, Флобер тоже хлопает с явным сочувствием к тому, что происходит на сцене.

Когда мы вышли из театра, Флобер и все другие французы стали мне доказывать, что поступок молодого человека достоин всяческой похвалы и что поступок этот высоко-нравственный, так как чувство, которое сказалось в нем, поддерживает семейный принцип, или то, что называется: *honneur de la famille* {Честь семьи (фр.)}.

И вот чуть ли не всю ночь я с ними спорил и доказывал противное, доказывал, что поступок этот омерзительный, что в нем нет главного чувства -- чувства справедливости, что если бы такая пьеса появилась на русской сцене -- автора не только ошिकाки, стали бы презирать, как человека, проповедующего неправду и безнравственность. Но, как я ни

спорил, что ни говорил,— они остались при своем мнении. Так мы и порешили, что русский и французский взгляд на то, что нравственно и безнравственно, что хорошо и дурно -- не один и тот же".

Тут, кстати, припоминаю и рассказ Тургенева о том, как в одном высокоинтеллигентном французском обществе, где были одни мужчины, зашел разговор о женщинах. Разговор этот был настолько циничен, что я не могу здесь повторить его -- разве намекну. Они говорили, что у каждой женщины в некотором отношении есть своя особенная физиономия.

-- Я этого не знаю,— сказал Тургенев,— никогда этого не наблюдал.

Тогда один из присутствующих, а именно Альфонс Доде, наклонился к его уху и сказал ему полупшепотом:

-- Никогда, *mon cher*, вы в этом не признавайтесь, иначе вы покажетесь просто смешным,— насмешите всех.

Как один этот анекдот рисует нравы французского буржуазного общества! По мнению наиболее образованных людей, не зная

утонченностей разврата,— значит, людей смешить.

XX

2-го июля, вечером, Григорович и я покинули Спасское, опоздали на последний поезд и должны были переночевать во Мценске. На другой день, к вечеру, мы уже были в Москве. За сим на несколько дней я отправился на свою родину, в Рязань, где я не был лет около 30-ти. Дорожные встречи, разговоры в вагонах, Рязань, тот дом, где я жил после смерти моей матери, и тот сад, когда-то густой и тенистый, летний приют моего отрочества, а теперь -- неприглядный, крапивою заросший огород, с развешанным бельем по веревкам и покривившейся баней -- все это принадлежит к области моих личных воспоминаний, и стало быть, выходит из границ той задачи, которую я предположил себе. Разве об одном приходится упомянуть: в Рязани, от одной выдающейся особы, далеко не дюжинной, я выслушал самые ожесточенные нападки на Ивана Сергеевича Тургенева -- как на гордеца, ретрограда и фата. Даже как о литераторе и худож-

нике отозвались о нем с глубоким презрением. Все, дескать, у него ложь, ложь и ложь, а его "Отцы и дети" -- это самое лживое, самое вредное произведение. Но доставалось на орехи не одному Тургеневу; Пушкин тоже был на самом дурном счету как сладенький певец ручек и ножек.

Так интеллигенция милой моей родины оказалась ничуть не выше несчастной и давно уже забытой критики Антоновича о Тургеневе, или Писарева о Пушкине; но все это было любопытно.

7-го июля я уже вернулся в Спасское, точно в родное, давно насиженное гнездо, к неизменно доброму и менее чем когда-нибудь заботящемуся о своей литературной славе Тургеневу.

В мое отсутствие Тургенев продолжал рассказывать детям моим свои послеобеденные сказочки, которые он, так сказать, импровизировал. Первая сказка, при мне им придуманная, не займет и страницы печатной, так она была мала и так похожа на одно из его стихотворений в прозе. Вот она:

"Капля жизни"

У одного бедного мальчика заболели отец и мать; мальчик не знал, чем им помочь, и сокрушался.

Однажды кто-то и говорит ему: есть одна пещера, и в этой пещере ежегодно в известный день на своде появляется капля, капля чудодейственной живой воды, и кто эту каплю проглотит, тот может исцелять не только недуги телесные, но и душевные немощи.

Скоро ли, долго ли, неизвестно, только мальчик отыскал эту пещеру и проник в нее. Она была каменная, с каменным растрескавшимся сводом.

Оглядевшись, он пришел в ужас -- вокруг себя увидел он множество гадов самого разнообразного вида, с злыми глазами, страшных и отвратительных. Но делать было нечего, он стал ждать. Долго ждал он. Наконец, видит: на своде появилось что-то мокрое, что-то вроде блестящей слизи, и вот понемногу стала наворачиваться капля, чистая, как слеза, и прозрачная. Казалось, вот-вот она набухнет и упадет. Но едва только появилась капля, как уже все гады потянулись к ней и раскрыли

свои пасти. Но капля, готовая капнуть, опять ушла.

Нечего делать, надо было опять ждать, ждать и ждать.

И вдруг снова увидел он, что мимо него, чуть не касаясь щек его, потянулись кверху змеи, и гады разинули пасть свою. На мальчика нашел страх -- вот-вот, он думал, все эти твари бросятся на меня, вонзят в меня свои жала и задушат меня; но он справился с своим ужасом, тоже потянулся кверху, и -- о чудо! Капля живой воды капнула ему прямо в раскрытый рот. Гады зашипели, подняли свист, но тотчас же посторонились от него, как от счастливца, и только злые глаза их поглядели на него с завистью.

Мальчик недаром проглотил эту каплю -- он стал знать все, что только доступно человеческому пониманию, он проник в тайны человеческого организма и не только излечил своих родителей, стал могуществен, богат, и слава о нем далеко прошла по свету".

-- И только-то? -- спросили дети.

-- А чего же вам еще? -- возразил Тургенев, -- ну, на этот раз с вас довольно. Завтра

начну вам рассказывать длинную сказку, только дайте подумать.

XXI

Дня через два или три началась новая сказка... что еще раз доказывало, до какой степени фантазия Тургенева была еще свежа и неистоцима.

Сказка эта, после понюшки табаку (Ив. Серг. не расставался с табакеркой), рассказывалась как бы по главам: сегодня одна глава, завтра другая и в разное время -- иногда после обеда, когда подавали кофе, иногда вечером.

Напишу только то, что я слышал своими ушами и, разумеется, без всяких промежутков во времени. Замечу только, что последняя слышанная мною сцена уже рассказывалась при графе Льве Николаевиче Толстом и очень его смешила.

Вот эта сказка в сокращенном виде и без конца.

"Самознайка

Жили-были два мальчика -- два брата. Один из них был самоуверен и нерассудителен, другой -- рассудительно-мнителен. Первого из них звали Самознайкой, так как он ни над чем не задумывался и постоянно восклицал: о! это я знаю... это я знаю! Другого мы будем называть просто -- Рассудительный. Это же были не настоящие их имена, а прозвища. В окрестностях, где жили мальчики, был старый, густой и заброшенный сад, и сказали им, что в этом саду есть пещера и что тот, кто найдет ее и проникнет, получит клад; но, чтоб войти в нее, надо произнести два слова и чтоб каждое слово состояло из трех слогов.

Самознайка и говорит брату:

-- Пещера?! Какая пещера?! О, я знаю, я ее видел, я сейчас же пойду и найду ее.

Пошел, долго искал, страшно устал и ничего не нашел.

Рассудительный, напротив, стал мало-помалу расспрашивать старых людей, и один дряхлый, очень дряхлый садовник указал ему спрятанную в зелени голубую дверку.

-- Вот тут пещера,-- сказал он.

-- Ну, так и есть, я знал, что голубая двер-

ка,-- заметил Самознайка, когда брат рассказал ему о своем открытии.-- Я это знал, я мимо нее проходил... и тотчас же пойду, скажу два слова и войду в нее.

Побежал, наговорил кучу трехсложных по паре слов; но дверка не отворилась.

Вслед за ним пошел Рассудительный и сказал: пе-ще-ра, от-во-рись!

И она отворилась. И вошел он в сумрачный грот и видит: в гроте сидит зеленая женщина или фея. Очень удивился.

Зеленая фея приняла его недружелюбно; он ясно видел, что она на него зла и что ей досадно.

-- Ну, хорошо,-- сказала она,-- я отдам тебе клад, только с уговором -- возьми съешь это зеленое яблоко, я хочу тебя им угостить.

Рассудительный подумал, подумал и не взял этого яблока. Ведь она, рассуждал он, меня приняла недружелюбно, из каких же благ она станет угощать меня?

-- Нет,-- сказал он,-- я лучше приду в другое время.

Не взял у нее яблока и ушел. Рассказал об этом брату.

-- Ай, какой же ты, как тебе не стыдно! -- стал стыдить его брат,-- феи всегда угощают яблоками, я это слышал... я это знаю...

И тотчас же побежал в пещеру.

-- Пещера, отворись!

Пещера отворилась. Самознайка смело вошел и, увидевши зеленую женщину, тотчас же взял яблоко и стал есть его. Съел и вдруг чувствует, что формы его меняются, что все делается меньше, меньше и меньше...

Фея превратила его в ящерицу.

2

Рассудительный долго ждал брата и не дождался. Он знал, что брат побежал в пещеру, и пошел искать его.

-- Где мой брат? -- спрашивает он зеленую женщину.

-- Не знаю,-- отвечает ему зеленая женщина. Он поглядел ей в глаза и усомнился.

-- Ну, я до тех пор не выйду, пока ты мне не скажешь, где мой брат.

Зеленая женщина знала, что, если человеческое существо в ее гроте пробудет с ней два часа, она пропала -- она должна будет

уступить все свои сокровища и исчезнуть. Но до двух часов еще оставалось немало времени, и она упрямилась.

Вдруг видит Рассудительный, что одна из ящериц подбегает к нему, поднимает свою голову, глядит ему в глаза, прижимает к себе свои передние лапки и даже, показалось ему, старается перекреститься...

"Уж не это ли мой брат!" -- подумал Рассудительный.

-- Не уйду,-- сказал он решительно,-- пока не увижу брата.

Время шло. Делать было нечего, фея произнесла какие-то кабалистические слова и дотронулась до ящерицы своим жезлом.

И вдруг эта ящерица стала пухнуть, пухнуть, расти, расти... вдруг шкурка ее лопнула, и выскочил из нее Самознайка.

-- Вот и я! -- воскликнул он, как ни в чем не бывало.

Зеленая же фея, чтоб как-нибудь избавиться от посещений их, предложила Рассудительному взять у ней на довольно большую сумму золота и серебра, с тем только, чтоб он уже больше не посещал ее.

Рассудительный не был жаден -- взял деньги и поделился с братом.

Получив деньги, Самознайка тотчас же отправился путешествовать.

Где-то на дороге заехал он в гостиницу, велел подать себе самый дорогой обед и главное -- устриц, о которых он слышал, как о лакомом блюде, и о котором не имел никакого понятия.

-- Прикажете вскрыть? -- спрашивает его слуга.

-- Вскрыть! какой вздор! Подайте мне их в целости; я не желаю, чтоб их вскрывали.

Ему приносят устрицы в раковинах. Он начинает их грызть и никак не может. Все смеются.

-- Тьфу! Какие старые устрицы вы мне подали! -- говорит Самознайка.

И уезжает, сопровождаемый хохотом всей трактирной прислуги.

Долго ли, коротко ли путешествовал наш Самознайка -- неизвестно; известно только, что он порастранжирил все свои деньги и наконец заехал в какое-то очень далекое и очень своеобразное государство. Тут узнал он,

что царь хочет в саду своем построить павильон и выбирает для этого самых лучших архитекторов.

Самознайка тоже является к царю и уверяет его, что строить он умеет так, как никто, и что выстроит он ему не павильон, а чудо.

Царь, пораженный его молодостью, поручает ему постройку.

Строит, строит Самознайка и удивляет всех архитекторов -- все у него валится, а крыша покрывается картонной бумагой.

Наконец, архитекторы докладывают царю, что Самознайка не только взялся не за свое дело, но не знает даже таблицы умножения.

Повели Самознайку на допрос. После допроса Самознайка сказал царю, что он все знает, но что в государстве совсем не та арифметика и что там, у него, в его отечестве, считают совершенно иначе.

Оставили его достраивать павильон.

Пришел сам царь и видит, что павильон оклеен бумагой и покрыт картоном. Царь так рассердился, что Самознайка осмелился обмануть его, что тотчас же велел его засадить в

тюрьму.

(NB. Здесь небольшой пропуск о том, как Рассудительный, узнавши, что брат его в тюрьме, решается ехать и во что бы то ни стало спасти его. Как он подкупает стражу и уговаривается с Самознайкой бежать из города. Все им удастся как нельзя лучше, но Самознайка уверяет брата, что он очень хорошо знает, какой дан караулам пароль и лозунг, и так забирается на заставе при выходе из города, что его ловят, опять сажают в тюрьму, по приказанию царя судят и присуждают к спринцовочной казни, изобретенной только в этом государстве и всегда совершаемой в присутствии всего двора).

3

Давно уже Самознайка слышал об этой спринцовочной казни, и так как не раз видел в аптеках разные спринцовки,-- думал, что эта казнь больше ничего, как потеха.

-- Ну, думает,-- что за беда, что будут в меня брызгать... Все это пустяки, все вздор -- эта казнь!

И очень храбрился он в своем заточении.

Наступил, наконец, и день самой казни. За ним пришли, Самознайка вдруг испугался - стал плакать и рваться.

Но как он ни плакал, как ни вырывался из рук, привели его в огромную залу, наполненную высшими представителями правосудия и придворными.

Царь сидел и смотрел на приготовления.

Самознайку раздели и посадили на возвышении, спиной к открытому окну.

Против скамьи, куда посадили Самознайку, стояла колоссальная спринцовка, поршень которой натягивался посредством особенного механизма с пружинами.

Спринцовку эту одним передним концом погрузили в огромный чан и поршнем стали натягивать воду. Наконец, поршень вытянули, закрепили и трубку стали нацеливать на Самознайку, который был бледен, как смерть, и весь дрожал от страха.

-- Пущай! -- крикнул царь.

И вдруг из спринцовки, с шумом, точно выстрел, вылетела широкая струя холодной воды. Струя эта была так сильна, что Самознайка не мог удержаться и, подхваченный

силою воды, вылетел вместе с нею в открытое настежь окошко.

4

За окошком был царский фруктовый сад, где было множество вишен. Вишни эти были только что собраны и лежали на земле, в виде громадных куч.

К счастью для Самознайки, он, вылетев из окошка, упал и ткнулся именно в одну из этих вишневых куч и тотчас же весь зарылся в ягодах.

Царь немедленно приказал во что бы то ни стало, живого или мертвого, отыскать его. Но сколько ни искали его в саду, никто нигде не мог отыскать его.

Царь очень рассердился, топнул ногой и объявил, что он всех судей, всех сторожей и даже жен и дочерей их подвергнет точно такой же спринцовочной казни.

Но все поиски оказались тщетными. Придворные трепетали за участь своих родных и знакомых.

В это время в городе оказался Рассудительный. Следя за участью брата и узнавши

от придворных, что брат его пропал, точно улетел, что он, вероятно, какой-нибудь колдун и что беда, большая беда всем, если не найдут его,-- Рассудительный подумал и отправился к царю.

-- Так и так,-- говорит,-- позвольте мне отыскать Самознайку -- может быть, я и найду его.

-- Хорошо,-- говорит царь,-- ступай, ищи, и беда твоя, если ты мне не найдешь его.

Рассудительный взял с собой кое-кого из прислужников, пошел осматривать сад и подошел к тому окошку, из которого вылетел несчастный брат его.

-- Брат, где ты? откликнись! -- кричит Рассудительный.

Молчание.

-- Самознайка! где ты?.. подай голос!

Ни гугу.

Самознайка, наевшись вишен, сидел в своей куче и не подавал голоса.

-- Хорошо же! -- подумал Рассудительный и завел разговор с своими провожатыми.

-- А что, братцы,-- спросил он,-- знаете вы, сколько частей света?

Те подумали и отозвались незнанием.

-- А я знаю! -- пропищал чей-то голос из вишневой кучи. Самознайка не вытерпел, чтоб не показать своего знания, и выдал себя. Его тотчас же нашли, вытащили из кучи, всего выпачканного в вишневом соку, с сизыми губами и полным животиком.

Рассудительный не дал Самознайке ни вымыться, ни оправиться и, не без умысла, в таком виде повел его к царю,-- он знал, что царь расхохочется. И действительно, царь расхохотался и уже готов был Самознайку простить и пустить на все четыре стороны.

-- Ха, ха, ха! -- хохотал он.-- Хорош. Хорош ты, клистирный архитектор!.. Ну, а разве ты знаешь, сколько частей света?

-- Знаю-с,-- смело и весело отвечал Самознайка.

-- Ну, сколько же, по-твоему?

-- Шесть,-- отвечал Самознайка.-- Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия.

-- Тут только пять, какая же шестая? Самознайка задумался. Надо же что-нибудь ответить,-- подумал он. Но какая же шестая?

-- Какая шестая?! -- сказал он не без неко-

торой наглости,-- а шестая часть света -- это География.

-- Не слышал я о такой части света,-- сказал царь,-- а если есть такая часть света, то я дам тебе солдат в провожатые, велю держать тебя на цепи, чтоб ты не убежал; а ты садись верхом и поезжай в эту Географию, покажи им шестую часть света и привези мне оттуда фруктов -- я хочу знать, какие фрукты растут в Географии".

Неудержимый смех всех присутствующих сопровождал этот рассказ -- и если он оказался вовсе не смешон под пером моим, значит, я не могу так забавно рассказывать, как Тургенев.

В числе слушателей этого отрывка был на этот раз и граф Лев. Ник. Толстой -- он также смеялся.

Что случилось далее с героем рассказа -- Самознайкой, я не знаю. Приезд желанных гостей сделал то, что Тургеневу некогда было продолжать рассказ свой, а когда стал он продолжать его, меня уже не было: я был в Петербурге.

Правда, дети мои, вернувшись из Спас-

ского, старались передать мне конец этой сказки, но мне показалось, что все то, что они припомнили, не стоит записывать: выходила какая-то путаная и очень сложная история.

Замечу только, что отношения Тургенева к детям были самые нежно-заботливые, отеческие. Не раз он экзаменовал их и не раз приводил им в пример бедных крестьянских мальчиков, если замечал в них какой-нибудь каприз, недовольство или нетерпение. Самые сказки о "Живой капле" и "Самознайке" в устах его имели педагогическую цель; он рассказывал их не просто ради приятного проведения времени, и, смею думать, сказки эти оставляли кое-какие следы в уме детей: по крайней мере старший сын далеко уже не так часто говорил, что он знает то или это, до того прозвище Самознайки показалось ему обидным.

Что касается до того, были ли эти рассказы вполне оригинальными, или Тургенев их откуда-нибудь заимствовал -- не знаю. Велика была начитанность Тургенева, велика была его память, и не мне решать этот вопрос.

Дети вообще любили Тургенева и обра-

щались с ним иногда без всякой церемонии, готовы были теребить его и за нос, и за бороду, и всегда он им что-нибудь рассказывал.

Так, однажды лежал он на диване, о котором я уже не раз упоминал, на диване, уже обитом новой материей и помещенном против выходной двери на террасу, под портретом Николая Сергеевича Тургенева,-- на диване, который назвал он Самсоном. Тургенев любил на нем дремать, уверяя, что диван этот клонит его ко сну всякий раз, когда он на него приляжет, а потому он и есть Самсон.

Итак, однажды дети не давали ему дремать, а он рассказывал им, какой чудесный он видел сон.

-- Какой же сон? рассказывайте, какой сон?

-- А будто бы я лежу на большущей перине, а вы и много, много детей держат эту перину за края и тихонько ее приподнимают и покачивают. И так мне приятно, я лежу, точно на облаке, и покачиваюсь, и будто бы все должны меня слушаться, а кто не слушается, тому я тотчас же отрубая голову...

-- Неправда, неправда!.. Это вы должны

нас слушаться! Ишь вы какой!

И подобные восклицания, сопровождаемые смехом, заметно радуют добрейшего из людей -- Ивана Сергеевича...

XXII

На другой день после моего возвращения в Спасское, а именно 8-го июля, в среду, Тургенев получил телеграмму от Л. Н. Толстого с уведомлением, что в Мценск он прибудет в 10 часов вечера, в четверг.

Тургенев распорядился о высылке во Мценск лошадей на следующий же день, или в четверг, как значилось в телеграмме.

В этот же день после чая мы скоро разошлись по своим комнатам. Я сел к столу, придвинул свечу и, записывая свои дорожные впечатления, незаметно просидел до 1-го часа пополудни. Вдруг, слышу, на дворе кто-то свистнул, и затем чьи-то шаги и лай собаки. Я поглядел в окно и в безлунном мраке, с черными признаками чего-то похожего на кусты, ничего разглядеть не мог.

Я опять сел писать и опять слышу, кто-то мимо дома прошел по саду. Прислушиваюсь --

топот лошади. Удивляюсь и недоумеваю. Затем в доме послышался чей-то неясный голос. Я подумал -- это бредит кто-нибудь из детей моих. Иду в детскую -- опять слышу голос, но уже явственный, и узнаю голос Ивана Сергеевича. "Что за черт! уж не воры ли забрались к нему!" Иду в потемках через весь дом и отворяю двери в ту комнату, откуда идет дверь на террасу, а направо дверь в кабинет Ивана Сергеевича. Вижу -- горит свеча и какой-то мужик, в блузе, подпоясанный ремнем, седой и смуглый, рассчитывается с другим мужиком. Всматриваюсь и не узнаю. Мужик поднимает голову, глядит на меня вопросительно и первый подает голос: это вы, Полонский? Тут только я признал в нем графа Л. Н. Толстого.

Мы горячо обнялись и поцеловались.

Оказалось, что граф спутал дни,-- принял среду за четверг и послал такую телеграмму, которая вовсе не обязывала Ивана Сергеевича посылать за ним экипаж вместо четверга в среду. Граф, по железной дороге приехав во Мценск, разумеется, не нашел тургеневских лошадей и нанял ямщика свезти его в Спас-

ское. Ямщик долго ночью плутал и только к часу ночи кое-как добрался до Спасского.

Тургенев тоже еще не ложился спать и писал. Удивление и радость его -- видеть графа у себя -- была самая искренняя.

В столовой появился самовар и закуска... Беседа наша продолжалась до 3-х часов пополуночи.

С лишком двадцать лет прошло с тех пор, как в Баден-Бадене я виделся с графом, и несколько не удивительно, что сразу не мог узнать его. Лета не только наружно, но и нравственно значительно изменили графа. Я никогда в молодые годы не видел его таким мягким, внимательным и добрым и, что всего непостижимее, таким уступчивым. Все время, пока он был в Спасском, я не слышал ни разу, чтобы он спорил. Если он с чем-нибудь и не соглашался -- он молчал, как бы из снисхожденья. Так опроститься, как граф, можно не иначе, как много переживши, много передумавши. Я видел его как бы перерожденным, проникнутым иною верою, иною любовью.

На другой день его приезда очень смешной анекдот случился с Иваном Сергеевичем. За час до обеда ему доложили, что повар пьян и что обеда готовить некому. Сначала это его озадачило... Нельзя же было гостя оставить без обеда! И вот Иван Сергеевич сам вызывается идти и стряпать. Потирая руки, говорит он, как он будет резать морковь и рубить котлеты. Вот уже он отправляется в кухню; но Захар, одноглазый, как Аргус, и таинственно молчаливый, но не глухой... тотчас же останавливает порыв своего бывшего барина и делает ему строгий выговор. Это не ваше дело, говорит; уходите... обед мы и без вас состряпаем... И Тургенев тотчас же послушно возвращается в наше общество.

Так кулинарный талант почтенного Ивана Сергеевича и остался для потомства покрытым мраком неизвестности...

Я не вправе передавать здесь наших бесед с графом Л. Н., но смею уверить, что в них ничего не было такого, что принято в обществе называть нецензурными разговорами. Мы только узнали подробности, как граф Л. Н. Толстой ходил пешком на богомолье в Опти-

ну пустынь, в простом крестьянском платье и в такой же обуви. То, что он говорил о пустыни, я тоже не имею права передавать. Скажу только, что рассказ его был интересен и любопытен в высшей степени; в особенности любопытен психический анализ, или характеристический очерк двух оптинских пустыльников, или схимников.

Граф был и у раскольников. Воздыханцы, которых гонят, обнаружили к графу такое недоверие, что и говорить с ним не стали. Видел граф и одну раскольничью богородицу, и в ее работнице нашел, к немалому своему изумлению, очень подвижную, грациозную и поэтическую девушку, бледно-худощавую, с маленькими белыми руками и тонкими пальцами.

На преследование раскола граф, если не ошибаюсь, смотрит как на дело, противное духу народному... В расколе он видит исканье ближайших путей к тому христианству, которое утратилось, а на заблуждающихся смотрит отеческими глазами, как, по его мнению, должно смотреть и наше правительство. Что касается до положения нашего крестьянства,

граф полагает, что крепостное право было школой, которая приучила его к терпению. Но что, если все пойдет по-старому, через 25 лет 9/10 народа не будет знать, чем кормить своих детей.

Граф никому из нас не навязывал своего образа мыслей и спокойно выслушивал возражения Ивана Сергеевича. Одним словом, это был уже не тот граф, каким я когда-то, в молодости, знавал его.

В Спасском он пробыл не более двух суток и уехал, торопясь в свои самарские имения к тому времени, как начнется жатва.

XXIII

Только что уехал граф Толстой, в Спасское приехала М. Г. Савина. Иван Сергеевич давно уже перестал ожидать ее, даже бился со мной об заклад, что она не приедет.

Пусть многоуважаемая артистка когда-нибудь сама опишет свое пребывание в гостях у Ивана Сергеевича. Я только кое-что здесь напомним ей.

Погода с ее приездом изменилась к лучшему, но 16-го июля, когда мы обедали на тер-

расе, налетела буря с дождем и громом, мгновенно брызгами окатила весь стол, и, когда мы поспешили в комнаты, стекла из дверей посыпались осколками. С трудом обед наш был перенесен в столовую. На другой день, 17-го июля, я праздновал день нашей свадьбы. За обедом Иван Сергеевич говорил спич, разливал шампанское, со всеми чокался и всех целовал.

Марья Гавриловна как-то раз сказала нам, что никакому любовному письму она никогда не верила и не поверит, что в таких письмах она видит только фразы, фразы и фразы.

И вот что на это сказал ей Тургенев:

"Однажды к матери моей приехала одна барыня, которая потеряла сына, и так глупо, так неестественно рассказывала о своем горе, так фразисто, что меня коробило. Она показала мне ломающейся притворщицей, которая вовсе ничего не чувствует и приехала только для того, чтоб возбудить наше к ней сожаление. Я и моя мать внутренно ее осуждали и над ней смеялись.

И что же?

Эта барыня так сильно чувствовала свое горе, что через неделю сошла с ума, бросилась в пруд и утопилась.

Итак, нельзя знать, каким фразам верить, каким не верить. Иногда и правда облекается в подозрительно неестественные фразы".

Для Марьи Гавриловны Иван Сергеевич на пруде Захара, где была купальня, велел устроить деревянную площадку или просто небольшое возвышение, так как место около купальни было слишком мелко и так как Савина купалась не иначе как в костюме и любила бросаться в глубину, плавая, как наяда.

17-го июля Иван Сергеевич, ради своей милой гостыи, к вечеру, велел позвать деревенских баб и девок и задал им точно такой же праздник, с вином и подарками, какой был дан им по случаю его приезда. Баб и девок собралось около 70 душ, и опять начались песни и пляски.

Казалось, артистка наша, глядя на них, училась. Невольно иногда повторяла их напевы и движения и под конец так развеселилась, что чуть не плясала.

-- Ишь, расходилась цыганская кровь! --
сказал мне про нее Тургенев.

Но он и сам был так весел, что готов был отплясывать; он, который, конечно, во всякое другое время не вынес бы моей плохой игры на пьянино, тут сам заставил меня играть танцы. Увы! плясовые песни еще кое-как удавались мне, полька тоже кое-как сошла с рук, но мазурка не давалась.

-- Играй! -- кричал мне Тургенев,-- как хочешь, как знаешь, валяй! Мазурку валяй! Лишь была бы какая-нибудь музыка... Ну, раз, два, три... ударение на раз... ну, ну!..

И вечер до чая прошел в том, что все присутствующие, в том числе и сам хозяин, плясали и танцевали кто во что горазд.

Не помню, в другое время или в этот же день, поздно вечером, Иван Сергеевич у себя в кабинете в первый раз прочитал нам с Савиной рассказ свой "Песнь торжествующей любви". На дам рассказ этот произвел сильное впечатление. Я был от него в восторге, но, признаюсь, никак не ожидал, что эта "Песнь" будет иметь успех в нашей публике. Так и сказал Тургеневу. Очень рад, что мое пророче-

ство не сбылось: значит, художественное чутье публики стало гораздо откровеннее.

На другой день, 18-го июля, Марья Гавриловна, вместе с своей горничной, села в коляску и навсегда покинула Спасское.

Были дни, когда мы все так друг друга смешили и так хохотали, что Тургенев раз, шутя, сказал: мы точно оба сумасшедшие, и дом мой -- дом сумасшедших.

Но все же мы не постоянно были вместе: меня занимали мои пейзажи, его -- письма и вообще кабинетные занятия. По вечерам иногда мы играли в шахматы. Тургенев был искусный шахматист, теоретически и практически изучил эту игру и хоть давно уже не играл, но мог уступить мне королеву и все-таки выигрывал.

Письмо из Парижа несколько его встревожило (признаться, потревожило и нас). М-те Виардо писала ему, что ее в нос укусила муха, что нос ее распух и что она ходит, перевязавши платком лицо. В письме она прислала и рисунок пером, изображающий профиль с перевязанным носом.

-- Если это ядовитая муха и заразила кровь, то это опасно... Я должен ехать во Францию,-- проговорил Тургенев.

-- Все бросить: и твое Спасское, и нас, и твои занятия -- и ехать?!

-- Все бросить... и ехать!

Началось перебрасывание телеграмм из Спасского в Буживаль, из Буживаля в Спасское.

Слава богу, ехать оказалось ненужным: опухоль носа стала проходить, и не предвиделось никакой опасности.

Но что значила эта тревога перед той, которая еще ожидала нас. Тургенев прочел в газетах, что в Брянске холера, и -- прощай веселость, остроты, смех, и проч., и проч.! Бледный, позеленелый пришел ко мне Тургенев и говорит:

-- Ну, теперь я не живу, теперь я толькодвигающаяся, несчастная машина.

Оказалось, что слово "холера" на Тургенева производит нечто вроде паники, поглощает все его мысли, делает его почти помешанным.

Но, несколько успокоенный тем, что это,

во-первых, еще очень от нас далеко, а во-вторых, может быть еще и ложное известие, Тургенев поехал в свои ефремовские владения, был у своего арендатора и к 22-му июля вернулся ночью с расстроенным желудком.

На другой день он был еще туда-сюда, читал мне придуманную им на дороге сатиру. За обедом ничего не ел, и затем, к вечеру, опять напал на него страх. Он не спал всю ночь и ни о чем, кроме холеры, не думал.

-- Странный ты человек, Иван,-- говорил я ему,-- ведь холера, если она и есть, в 300-х верстах от нас.

-- Это все равно...-- отвечал он как бы расслабленным голосом,-- хотя бы в Индии... Запала в меня эта мысль, попало это слово на язык, и -- кончено! Первое, что я начинаю чувствовать, это судороги в икрах, точно там кто-нибудь на клавишах играет. Как я могу это остановить -- не могу, а это разливает по всему телу тоску и томление невыразимое. Начинает сосать под ложечкой, я ночи не сплю, со мной делаются обмирания... и затем расстраивается желудок. Мысль, что меня вот-вот захватит холера, ни на минуту не пе-

рестает меня сверлить, и что бы я ни думал, о чем бы ни говорил, как бы ни казался спокоен, в мозгу постоянно вертится: холера, холера, холера... Я, как сумасшедший, даже олицетворяю ее; она мне представляется в виде какой-то гнилой, желто-зеленой, вонючей старухи. Когда в Париже была холера, я чувствовал ее запах: она пахнет какою-то сыростью, грибами и старым, давно покинутым дурным местом. И я боюсь, боюсь, боюсь... И не страшное ли дело, я боюсь не смерти, а именно холеры... Я не боюсь никакой другой болезни, никакой другой эпидемии: ни оспы, ни тифа, ни даже чумы... Одолеть же этот холерный страх -- вне моей воли. Тут я бессилен. Это также странно, как странно то, что известный герой кавказский Слепцов боялся паука; если в комнате его появлялся паук, с ним делалось дурно. Другие боятся мышей, иные -- лягушек. Белинский не мог видеть не только змеи, но ничего извивающегося.

-- Да,-- возразил я,-- но как скоро у них не было на глазах ни паука, ни змеи, ни лягушки -- они были спокойны.

-- Это нельзя сравнить: против того, дру-

гого и третьего -- в вашей власти взять предосторожности, можно сделать так, что паук в комнате будет невозможен. Против всего можно принять меры, а какие меры могу принять я против возможности заболеть холерой? -- никаких. Ты говоришь, что это малодушие. Справедливо, но что же делать?

XXIV

Новая телеграмма, что в Брянске холера увеличивается и что недостает врачей, окончательно повергла Тургенева в панику. Он уже ни о чем не мог говорить, кроме холеры и тех ощущений в теле, которые он преувеличивал и принимал за признаки начинающейся болезни.

Я посоветовал ему съездить в Москву и рассеяться.

-- Это нисколько не поможет,-- сказал он.

Самый вид его сделался какой-то растерянный -- он как бы обрюзг и осунулся.

Иногда только, оживленный нашим присутствием, он как бы и сам оживлялся и начинал рассказывать, но все-таки рассказывать такие анекдоты, суть которых все-таки была --

- холера.

Так, например, рассказывал он, что одному холерному слуга его стал растирать ноги. Больной взглянул на ноги, увидел, что они почернели, и так испугался, что мгновенно умер; а ноги-то у него почернели оттого, что слуга стал их растирать сапожной ваксяной щеткой.

А один прусский офицер заболел холерой и брошен был товарищами на какой-то станции. Через час на ту же станцию прибыла компания других офицеров. Стали они ужинать и пить шампанское. Увидели, что в углу на полу лежит тоже какой-то офицер и стонет. Это нисколько их не сконфузило. Умиравший приподнялся и попросил перед смертью дать ему шампанского. Ему дали целую, только что откупоренную бутылку. Тот ее и выдул. Заснул, вспотел и на другой день проснулся здоровым.

Только спустя неделю, когда даже и в Брянске не оказалось уже ни одного холерного, Иван Сергеевич успокоился, мог опять спорить, говорить и читать.

В своих спорах со мной Иван Сергеевич

постоянно обнаруживал крайне безотрадное, пессимистическое мирозерцание. Никак не мог он помириться с тем равнодушием, какое оказывает природа -- им так горячо любимая природа -- к человеческому горю или к счастью, иначе сказать, ни в чем человеческом не принимает участия. Человек выше природы, потому что создал веру, искусство, науку, но из природы выйти не может -- он ее продукт, ее окончательный вывод. Он хватается за все, чтоб только спастись от этого безучастного холода, от этого равнодушия природы и от сознания своего ничтожества перед ее все-созидающим и всепожирающим могуществом. Что бы мы ни делали, все наши мысли, чувства, дела, даже подвиги будут забыты. Какая же цель этой человеческой жизни?

Впрочем, от таких тяжелых мыслей был недалек переход и к веселым картинкам, которые подносят нам римские писатели и французские классики прошлого столетия. Тургенев забыл по-гречески, но латинские книги читал еще легко и свободно.

Ему очень нравилось выражение Бекона: *ars est homo additus naturae* -- искусство есть

человек, добавленный к природе, и выражение Паскаля: люди не могли дать силы праву и дали силе право.

Иногда он вслух читал или заставлял меня читать монологи из Корнеля, Мольера и других. Иногда сравнивал наши русские переводы с подлинниками, и проч., и проч.

Старый французский поэт 18-го столетия, отысканный им в своей библиотеке -- Жан-Батист Руссо, иногда несказанно забавлял его своими коротенькими рассказами в стихах о католических священниках и исповедниках. Дурная погода поневоле заставляла Ивана Сергеевича Тургенева зарываться в книгах. Кроме книг, газеты ежедневно приходили к нам; но нельзя сказать, чтобы мы охотно читали их... Однажды (если не ошибаюсь, 2-го августа) Тургенев прочел в "Новом Времени" известие, что он пишет детские повести, а я у него гощу в деревне.

-- А что,-- сказал я шутя,-- если напечатают, что я дою гвоздь, а ты добиваешься меда из ржавой подковы.

-- Нет,-- возразил он со смехом,-- ты доишь гвоздь, а я держу шайку.

Дожди в такое время, когда созрела рожь и пора была жать ее, не раз заставляли Тургенева сокрушаться. "И есть хлеб, и нет хлеба! -- восклицал он.-- Каждый такой день в России приносит ей миллионные убытки!"

Или, чувствуя, как его пробирает холод, Тургенев говорил как бы в отчаянии: "Ну, разве можно жить в таком климате? Нет уже и в помине тех тропических орловских жаров, которые я помню".

Увы! точно такое же лето, в 1882 году, больной, провел он в своем Буживале во Франции. Там такие же были постоянные дожди и такие же холода, тогда как у него, в Спасском, лето было ясное и постоянно жаркое.

Раз на Ивана Сергеевича утром напала какая-то странная тоска.

-- Вот такая же точно тоска,-- сказал он,-- напала на меня однажды в Париже -- не знал я, что мне делать, куда мне деваться. Сажу я у себя дома да гляжу на стору, а стору были раскрашены, разные были на них фигуры, узорные, очень пестрые. Вдруг пришла мне в голову мысль. Снял я стору, оторвал раскра-

шенную материю и сделал себе из нее длинный -- аршина в полтора -- колпак. Горничные помогли мне,-- подложили каркас, подкладку, и, когда колпак был готов, я надел его себе на голову, стал носом в угол и стою... Веришь ли, тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец, мне стало весело.

-- А сколько тогда было лет тебе?

-- Да этак около 29-ти. Но я это и теперь иногда делаю. Колпак этот я берегу -- он у меня цел. Мне даже очень жаль, что я его сюда с собой не взял.

-- А если бы кто-нибудь тебя увидел в этом дурацком положении?

-- И видели, но я на это не обращал внимания, скажу даже -- мне было это приятно.

В тот же день, как происходил этот разговор, за обедом, Тургенев сказал мне:

-- Вообрази следующий рассказ. И как бы Свифт им воспользовался! О Свифт! это великий человек, я высоко ценю его! Вообрази себе следующее:

"На нашу планету, бог знает откуда, попала какая-то странная книга: ни материи, из

какой она сделана, ни букв, ничего понять нельзя. Наконец, наши ученые с большим трудом нашли способ разобрать ее и узнали, что книга эта занесена и попала к нам с другой какой-то планеты, и -- разобрали в ней следующее:

Общество на той, нам неведомой планете стало почему-то хандрить, словом, на него нашло какое-то тяжелое, мучительное настроение, и вот один из тамошних профессоров, чтоб рассеять его или утешить, стал с ним беседовать.

-- Представьте себе,-- говорил он,-- что есть планеты, для жителей которой никогда не появляется из облаков рука божества, никогда их не благословляет и никогда не ограждает их.

-- Не можем Себе этого и представить,-- говорят ему обитатели той планеты.-- Зачем вы нам это говорите? Это невозможно, так как без этого и жить нельзя.

-- Я сам думаю, что жить нельзя; но представьте себе следующее: есть планета, где люди умирают не так, как у нас, ровно через 100 лет, в глубокой старости, а умирают во все

возрасты, начиная с детства.

-- Какой вздор! Может ли это быть! Этого даже мы и представить себе не можем. Это был бы вечный страх и опасение за жизнь свою и за жизнь нам близких. Это неестественно, а стало быть, такой планеты и быть не может.

-- Или представьте себе, что есть планета, на которой является вождь, покоряет народы, и все пред ним преклоняются, и в руках его власть, от которой зависит не только судьба, но и жизнь каждого...

-- Ну, уж это сказки!.. Как вам не грех говорить нам, точно детям, такие несообразности.

-- О! я сам знаю, что это невозможно, что это несообразно; но неужели же нет у вас воображения и вы себе не можете этого представить?

-- Даже и представить себе этого не можем.

-- Ну, положим, однако же, хоть следующее: неужели невозможна такая планета, где почва вовсе не составляет питательной пищи, где люди иногда с великим трудом долж-

ны добывать себе кусок хлеба?

-- Ах, какой вы говорите вздор! Как вам не стыдно... Ну, может ли это быть, чтоб сама почва не питала жителей или не годилась бы в пищу! Чем бы они питались? Это было бы великое горе и несчастье; но, к счастью, это неестественно, это вне законов природы!.. А потому молчите или убирайтесь, мы вовсе не желаем слушать вас.

-- О! я знаю, что все, что я говорил вам, и невозможно, и неестественно, но я только просил вас представить себе эту невозможность как нечто возможное или как нечто естественное, для того только, чтобы вы не хандрили и были довольны тем, что дает нам наша жизнь,-- жизнь, конечно, еще далекая от того, чтоб быть совершенной. Я думал, что, представляя себе нечто ужасное, вы легче помиритесь со своей судьбой.

-- Ах,-- отвечало все общество этому профессору,-- не нужно нам ваших выдумок, говорите серьезнее..."

Такова была фантазия Ивана Сергеевича. Фантазия эта, признаюсь, произвела тяжелое впечатление. Удивляюсь, почему И. С. ее не

обработал и не поместил в числе своих стихотворений в прозе.

Я еще в Спасском читал их, когда он переписывал их в тетрадь с черным переплетом и, по словам его, не предназначал для печати. Но мало ли что приходило в голову Ивану Сергеевичу, не все же ему было записывать и затем печатать.

Как подумаешь, какие требования от жизни ставил Тургенев,— и невольно поймешь, почему иногда находила на него тоска, и отчего такая неэстетическая болезнь, как холера, до глубины души возмущала его и приводила в ужас.

XXV

Но то, что для Тургенева было бы фантазией, для других было действительностью, такую же несомненной, как день есть день, а ночь есть ночь.

Как-то я зашел к священнику*** и застал у него старика, отца его, тоже священника, но уже заштатного.

От них впервые услышал я о том, что такое "залом", какую роль он играет в деревен-

ской жизни. Как этот залом (нечто вроде кукулы или чучелы из колосьев на корню) неизвестно каким злым недругом свивается или сплетается на чьей-нибудь полосе и какими страшными последствиями отзывается на хозяевах той самой полосы или поля.

-- Как же этому не верить,-- говорили они,-- когда сами мы свидетели!.. Да... Действие залома очевидно,-- сказал заштатный священник, человек пожилой, седой и почтенный.-- Было одно зажиточное и благочестивое семейство крестьянское. Вдруг у них в поле появился колдовской залом. Пришел ко мне старший сын из семьи и стал просить помочь ему (т. е. выйти в поле, прочесть молитву по требнику и залом сжечь). Я усомнился, подумал -- не вздор ли все это; в поле не пошел, отслужил в церкви молебен с водосвятием, дал ему святой воды, чтоб залом этот покропить. И что же-с? Семейство это погибло -- трое молодых парней удавилось, женщина с ума сошла, дети их выросли идиотами, и теперь еще один ходит зимой босиком по морозу, как юродивый: никакого хозяйства нельзя поручить ему.

А сын его -- отец*** -- рассказал следующее:

-- Из нашей семинарии один ученик, уже взрослый,-- Иваном Данилычем его звали,-- вернулся к отцу в деревню. Ну-с, вернулся. Ему обрадовались. Разумеется, с дороги надо чайку попить. Стали чай пить; вечер, окошки отперты. Вдруг, видят, в одном окне стоит кто-то, с виду человек -- мужичок какой-то, и зовет: Иван Данилыч! Иван Данилыч! Все это видели, все это слышали. Иван вышел -- это приезжий-то. Ну-с, вышел и видит: человек стоит, зовет его; он к нему, а он от ево... дальше и дальше. Иван Данилыч стал уже и приостанавливаться, а тот все жалобнее зовет его: за мной! иди... иди за мной, иди! -- Нет,-- думает Иван,-- куда же это я? -- Перекрестился. Не успел он перекреститься, как человек этот, точно его вихрем метануло -- сажень на сто отлетел, а все зовет и все жалостнее и жалостнее: иди же, иди, иди! Иван Данилыч вернулся домой, рассказал -- все подивились. На другой вечер опять то же самое-с, на третий то же-с. Собрались в хату к священнику разные его знакомые. Сидят, ждут. Пришел вечер,

опять этот самый мужичок под окошком, опять выкликает Ивана Данилыча... Посоветовали ему не выходить из избы. Стал человек за окном плакаться, жал обиться... потом сердиться, повалился наземь, ругаться стал, кричать, охать, стонать. Что делать?! Дали Ивану Данилычу евангелие в руки и крест. Вышел он на крыльцо с крестом и евангелием, и все мы за ним вышли, и все видели, как этот непонятный человек мигом отлетел сажень на сто... Иван Данилыч за ним, вышел за деревню. Тот идет издали впереди и все зовет его. Наконец, подошли к болоту. Иван Данилыч остановился... Долго тот его звал, наконец, вспыхнул, как свеча, и погас. Ну, слушайте-с: на следующий вечер он опять явился... Что тут делать?! Дали знать архиерею. Нарядили следствие, и все видели, и народ, и судебный следователь, и священник, и весь причт, и крестьяне, все видели: хотят подойти -- он отходит. Сделали облаву, хотят поймать -- не тут-то было, мигом появился позади облавы, все зовет за собой Ивана Данилыча. Так все дошли за ним до болота, там он вспыхнул, как свеча, и погас,-- пропал без сле-

да. Архирею все это донесли. Архирей велел отслужить панихиду.

-- По ком же панихиду? -- спросил я,-- ведь не знали же вы, что за человек.

-- А есть такая панихида, называется: вселенская. Когда она бывает? -- спросил рассказчик своего отца, заштатного священника.

-- А бывает она в Дмитров день, в память убиенных при Дмитрии Донском, на татарском побоище.

-- Ну-с, отслужили вселенскую панихиду -- тем все и кончилось. Об этом тоже было положено архирею, он не знал, что ему и подумать, и решил, что это верно какой-нибудь грешник утонул в болоте и погиб без отпевания. И что же-с? Ведь с той самой панихиды он так и перестал являться. Расспрашивали стариков, не пропал ли кто, не вспомнят ли кого, чтоб кто утонул в том болоте. Думали, думали,-- ничего не припомнили. Ну-те-ка-с, что вы на это скажете? Ведь это было у всех на глазах. Вот и отец мой тут был. Как же все это понять-то? Спрашивали и ученых и много об этом толковали, по ни до чего не дотолковались.

Что же я мог сказать им? Не мог же я думать, что они все это сочинили,-- рассказы их очевидно были проникнуты верой и искренностью неподдельной. Да и какая цель была бы им меня морочить??

Все это я передал слово в слово Ивану Сергеевичу -- он рассердился...

-- Что они говорят про "залом"!.. Я сам ходил смотреть на такой залом,--крестьяне повели меня,-- я его разорил, вышелушил из него зерна и при них эти зерна съел, к немалому их ужасу, -- думали, что я тут же почернею и умру... не почернел и не умер.

-- Темнота, суеверие и легкоеверие,-- сказал он с досадой,-- это три пальца на одной руке,-- где один, там другой, там и третий.

XXVI

Чем хуже была погода, тем долее засиживались мы по вечерам и тем позднее вставали. Однажды ночью, когда я уже собрался лечь спать, а жена моя писала письмо, к нам в дверь постучался Иван Сергеевич.

С выражением не то испуга, не то удивленья, вошел он к нам в своей коричневой курт-

ке и говорит: что за чудо! стучится ко мне в окно какая-то птичка, так и бьется в стекло. Что делать?

Жена моя пошла с ним в его кабинет и минут через пять приносит в руках своих маленькую птичку, гораздо меньше воробья, с черными, очень умными глазками. Птичка эта тотчас же влетела в комнату, как только открыли окошко; сначала не давалась в руки, но потом, когда ее поймали, очень скоро успокоилась, только поворачивала головку и поглядывала то на Тургенева, то на жену мою. Какая это птичка -- Тургенев не мог сказать; он знал только, что птички эти появляются в Спасском перед осенью. Он уже видел их несколько в цветниках на тычинках перед террасой, и, как он заметил, это пророчило раннюю осень.

Птичку посадили в корзинку, и она уселась в ней точно в собственном своем гнездышке, не обнаруживая ни беспокойства, ни недоверия. Корзинку с птичкой отнесли в пустую Савину комнату (так стали мы называть ту комнату, где ночевала М. Г. Савина) и поставили на окно. На другой день, утром, когда

проснулись дети, корзинка эта была вынесена на террасу, и гостья-птичка выпущена на свободу. Помню, как она взвилась, полетела по направлению к церкви и потонула в сыром утреннем воздухе.

-- Вот полетела на волю,-- сказал Тургенев,-- а какой-нибудь копчик или ястреб скогтит ее и съест.

В этом посещении птички Иван Сергеевич готов был видеть нечто таинственное.

-- Впрочем,-- сказал он,-- все так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному и всегда сопровождается пустяками.

XXVII

Чем ближе подходило время к августу, тем все более и более какая-то меланхолическая грустная струнка звучала в душе и словах Ивана Сергеевича. Почему-то он был убежден, что умрет 2-го октября того же года (не потому ли, что 1881 год по сумме цифр совпадал с 1818 годом, когда он родился).

-- Ни за что бы я не желал быть похороненным,-- говорил он,-- на нашем спасском

кладбище, в родовом нашем склепе. Раз я там был и никогда не забуду того страшного впечатления, которое оттуда вынес -- сырость, гниль, паутина, мокрицы, спертый могильный воздух... Брр!..

Да если бы Иван Сергеевич и желал быть похороненным в этом склепе, едва ли бы это было возможно: склеп помещался под полом каменной часовни; часовня эта с фронтонами, колонками и круглым куполом, издали похожая на павильон, уже полуразрушена; железные двери ее заржавели, карнизы обвалились, штукатурка местами обнажила кирпич, крест на куполе нагнулся, точно хочет убежать.

Мне хотелось проникнуть в эту усыпальницу, но Иван Сергеевич меня туда не пустил.

-- Там, того гляди, на тебя что-нибудь обрушится... Не ходи!

С этой часовни я сделал мой первый этюд в Спасском -- я писал с натуры издали, с верхнего балкона, в очень дурную, пасмурную погоду и неудачно -- первый блин вышел комом. Но рисунок часовни этой (так же как и дома), сделанный с фотографии, можно ви-

деть и в журнале "Нива", в No 42, 1883 г.

Около часовни растут деревья, кое-где еще торчат памятники в виде каменных покочнувшихся столбиков и виднеются плиты, заросшие травой и бурьяном. Это старое господское кладбище, на котором уже никого более не хоронят.

На одном из памятников этого покинутого кладбища Иван Сергеевич припомнил следующую эпитафию:

"Бог Ангелов считал,
Одного не доставало,
И смертная стрела
На Лизаньку упала."

"Эта эпитафия,-- сказал мне Ив. Серг. (когда мы с ним гуляли),-- эта эпитафия была начертана на одном из камней, под которым была погребена девочка, дочь жившего или гостившего у нас когда-то архитектора (может быть, тогда, когда еще строили или отделяли наш старый сгоревший дом).

Когда я был еще мальчиком, я часто забегал и на кладбище. Раз, помню, через нашу

деревню проходил какой-то полк; это было еще в царствование Николая; дорога шла около самого кладбища; я был там и смотрел на проходивших солдат. Был июль -- день был знойный. Вижу, к памятнику подходит какой-то старый, старый капитан, кивер в виде ведерка в чехле, штаны в сапогах, на голенищах следы засохшей грязи, седые усы и пыль, - пыль по самые брови. Усталый, сторбленный, увидел он надпись на камне и стал медленно читать:

Бог Ангелов считал...--

прочел, плюнул, выругался самой что ни на есть площадной руганью и пошел дальше. Помню, как это меня озадачило... Но разве в этой ругани не сказалась вся жизнь его -- бедная, скучная, тяжелая, бессмысленная и безотрадная... И то сказать -- если мужику, которого только что высекли в волостном правлении или который только что вернулся верст за двадцать в свою семью, брюзгливую и злую от того, что есть нечего, начать читать стихотворение Пушкина или Тютчева,-- если

бы он даже и понял их, непременно бы плюнул и выругался... До стихов ли, в особенности нежных, человеку, забитому нуждой и всякими житейскими невзгодами".

XXVIII

22-го июля мы ходили с Иваном Сергеевичем в ореховую рощу (что за поповским прудом). Дорога была неровная, так что я, при помощи палки, не без труда спускался в рытвины и из них выкарабкивался.

С Ив. Сергеевичем мы говорили о женщинах, и мне пришлось на этот раз не соглашаться с ним. Он уверял меня, что женщинам чужда справедливость, что справедливыми они быть не могут, что это не их добродетель.

-- Только заметь,-- добавил он, как бы оправдываясь,-- я говорю не о правде, а о справедливости. Правда доступна и женщинам, правда,-- но не справедливость.

-- Одна француженка,-- продолжал он,-- которую я невольно изобличил в ее ошибке или несправедливости, назвала меня невежей и варваром. И я с ней совершенно согласен, так как перед женщиной тем ты уже

неправ, что правда не на ее, а на твоей стороне.

На это я отвечал, что я не побоюсь названия варвара и почту за долг любой красавице в глаза сказать, что она врет -- если только она врет (разумеется, не выходя из границ вежливости, без всякой резкости или грубости).

Но Тургенев на этот счет продолжал смотреть по-своему -- с французской точки зрения, и мне было досадно. В этом его взгляде на женщин он как бы оправдывал свою к ним слабость и их неограниченную власть над ним.

Вернувшись домой после завтрака, я спросил Ив. Сю, читал ли он английского поэта Свинборна и что он о нем думает.

-- В нем есть сила, но сила раздражающая; есть огонь, но нет той художественной формы, той меры, которая любой, самый горячий лиризм должна в узде держать. Он нравится, как яркий демагог и революционер. Но он не народен. За ним бегут, как иногда бегут на скандал. Его читают и любят молодые, горячие головы. Лично я никогда не встречал

его.

-- А нового французского беллетриста Мопассана (Guy de Maupassant)?

-- Этого я немного знаю, он -- приятель Зола, и от Зола я слыхал о нем... Но если Мопассан развратен, как Казакова, то Свинборн -- как маркиз де Сад -- он распутен, как испуганный, как помешанный.

XXIX

Тургенев стал перечитывать романы Л. Н. Толстого и от многих страниц приходил в восторг.

29-го июля, вечером, вдруг послышался звон почтового колокольчика, затем топот лошадей, стук щебня и -- кто-то подъехал к террасе.

Тургенев никого не ждал и очень обрадовался, когда вошла в гостиную одна ему знакомая девушка, Л-ая. Проездом в деревню к брату она заехала на один день в Спасское, чтоб повидаться с Ив. С, с которым была в переписке и которого очень любила.

Тургенев всегда более или менее оживал

в дамском обществе, особенно если встречал в нем ум, красоту и образованность.

Л-ая была очень мила и образованна.

В кабинет, где мы все разместились, Захар принес чай. Завязалась беседа. Говорили о музыке. Тургенев полагал, что музыка в России пока то же, что литература до Пушкина, т. е. не стала еще нашей потребностью, нашим, так сказать, насущным хлебом, и проч., и проч. Говорил, что из прежних русских композиторов он высоко ставит Глинку, а из новейших всем другим предпочитает Чайковского; был уверен, что в России не найдется и 20 человек, которые бы свободно могли читать ноты (что, конечно, несправедливо).

Потом говорили о графе Л. Н. Толстом.

На другой день, утром, Тургенев вынес к нам роман "Война и мир" и мастерски прочел нам вслух из первой части (глава XVIII), как мимо Багратиона шли в сражение с французами два батальона 6-го егерского полка:

"Они еще не поровнялись с Багратионом, а уже слышен был тяжелый, грузный шаг, отбиваемый в ногу (всею) массой людей"...

Тургенев дочел всю эту главу до конца с

видимым увлечением и, когда кончил, сказал, поднимая голову:

-- Выше этого описания я ничего не знаю ни в одной из европейских литератур. Вот это -- описание! Вот как должно описывать!..

Все невольно согласились с Иваном Сергеевичем, и Тургенев -- точно какой клад нашел -- все еще радостно доказывал нам, до какой степени хорошо это описание.

31-го июля, утром, Л-ая уехала, снабженная пледом, склянкой с марсалой и жареными цыплятами. В это время сырые, лохматые тучи бродили по небу, угрожая дождем и бурей. Проселки были плохи, мосты едва держались, овраги и колеи были размыты.

-- А что, если,-- за обедом сказал Ив. С.,-- если мы получим от Л-ой такую телеграмму. "Опрокинули -- одна нога отшиблена, а ребро переломлено, еле жива, а впрочем, благополучно доехала"...

-- Ну,-- сказал я,-- в таком случае ты непременно должен будешь поехать навестить ее, и вдруг с тобой на дороге случится то же самое: тебя опрокинут, ты переломишь руку, расшибешь нос, еле живой приедешь к

ней, останешься там, пока не выздоровеешь, за тобой будут ухаживать, ты влюбишься и посватаешься.

-- И пошлю телеграмму. "Я женюсь, пришлите револьвер". А знаешь ли, -- продолжал он,-- какая самая неправдоподобная телеграмма могла бы быть послана от каждого из нас двоих?

-- Какая?

-- "Сегодня вступаю в должность министра народного просвещения".

-- Да, это было бы неправдоподобно,-- засмеялся я.

Следующие дни Тургенев перечитывал роман гр. Толстого "Анна Каренина".

XXX

Но, удивляясь графу Л. Н. Толстому и высоко ценя его как бытового писателя и как великий талант, Тургенев все-таки иногда смотрел на него с своей нравственно-эстетической точки зрения, иначе сказать, мерою своего понимания людей мерил его понимание и оставался не всегда доволен.

Так, например, перечитывая роман "Анна Каренина", Тургенев никак не мог понять, отчего граф Толстой так очевидно пристрастен к Левину, тогда как этот Левин для него, Тургенева, антипатичен донельзя. И разумеется, Тургенев был в этом случае недоволен вовсе не недостатком творчества в авторе, а тем, что, по его мнению, этот первенствующий герой романа, Левин, хуже Вронского, хуже Облонского -- эгоист и себялюбец в высшей степени. За что же автор за ним так ухаживает?

-- Неужели же,-- говорил мне Тургенев,-- ты хоть одну минуту мог подумать, что Левин влюблен или любит Кити, или что Левин вообще может любить кого-нибудь? Нет, любовь есть одна из тех страстей, которая надламывает наше "я", заставляет как бы забывать о себе и о своих интересах. Левин же, узнавши, что он любим и счастлив, не перестает носиться с своим собственным "я", ухаживает за собой. Ему кажется, что даже извозчики и те как-то особенно, с особенным уважением и охотой, предлагают ему свои услуги. Он злится, когда его поздравляют люди, близкие к Ки-

ти. Он ни на минуту не перестает быть эгоистом и носитя с собой до того, что воображает себя чем-то особенным. Психологически все это очень верно (хотя я и не люблю психологических подробностей и тонкостей в романе), но все эти подробности доказывают, что Левин эгоист до мозга костей, и, понятно, почему на женщин он смотрит, как на существ, созданных только для хозяйственных и семейных забот и дрязг. Говорят, что сам автор похож на этого Левина -- это едва ли! Все может быть -- это только одна из сторон его характера, всецело перешедшая в характер Левина и в нем художественно обработанная. Но я все-таки не понимаю, чему тут сочувствовать?!

-- Не одна любовь,-- продолжал Тургенев,-- всякая сильная страсть, религиозная, политическая, общественная, даже страсть к науке, надламывает наш эгоизм. Фанатики идеи, часто нелепой и безрассудной, тоже не жалеют головы своей. Такова и любовь...

Долго еще на эту тему говорил Тургенев, но всего я не помню, а потому не довожу до конца моей беседы.

Будь все время сухая, теплая погода, может быть, нам и не пришлось бы так часто сходиться с Иваном Сергеевичем и так часто беседовать: хорошая погода, может быть, и потянула бы нас в разные стороны.

Но 1-го августа, например, было так сыро и холодно, что Тургенев пришел ко мне и говорит:

-- Ну, брат, я с сегодняшнего дня буду природу называть хавроньей, и везде, вместо слова "природа", ставить слово: "хавронья". попадетя книга под заглавием: "Бог и природа" -- буду читать: "Бог и хавронья".

-- Лучше уж попросту назови ее свиньей, и вместо слов: "на лоне природы" пиши -- "на лоне свиньи"...

-- Да... надо только эту свинью в руки взять,-- задумавшись произнес Тургенев.

-- Да как же ты ее в руки возьмешь?

-- Да так, как взяли ее французы: заставили ее расти, цвести и плоды приносить... В этом-то и задача культуры -- уметь победить природу и заставить ее служить себе... Из хавроньи сделать кормилицу, так сказать, приурочить ее к человеку и его потребностям.

Кажется мне, что на это я сказал ему:

-- Ну, брат, наша русская природа не из таких, чтоб можно было так же легко, как французам, запречь ее и поехать. Нам нужно в двадцать раз больше ума и силы воли, чтоб заставить ее так же расти, цвести и плоды приносить, иначе сказать, вполне вознаграждать того, кто над нею работает.

-- То-то и есть! Весь вопрос в том -- будет ли Васька Буслаев на это способен?

-- Васька Буслаев?

-- Да... Читал ли ты былинку о Ваське Буслаеве? Васька этот -- тип русского народа... Я высоко ставлю эту поэму... Тот, кому она пришла в голову -- живи он в наше время, был бы величайшим из русских поэтов.

И Тургенев стал анализировать характер и подвиги Васьки Буслаева, этого в своем роде нигилиста, которому все нипочем...

Нашим крайним славянофилам едва ли бы понравился этот анализ Тургенева.

XXXI

2-го августа природа как будто испугалась, что Тургенев станет называть ее хавро-

ншей,-- появилось немножко солнца, немножко голубого неба и немножко летнего тепла.

Но Тургенев по-прежнему хандрил. Перед обедом прилег на диван перед овальным столом из карельской березы, сложил руки и после долгого, долгого молчания сказал мне:

-- Можешь ли ты пятью буквами предъ-
явить характер мой?

Я сказал, что не могу.

-- Попробуй, определи всего меня пятью буквами. Но я решительно не знал, что ему ответить.

-- Скажи -- "трусь", и это будет справедли-
во.

Я стал не соглашаться, так как в жизни его несомненно были дни и минуты, которые доказывали противное. Но Тургенев стоял на том, что он трус и что у него ни на копейку воли нет.

-- Да и какой ждать от меня силы воли, когда до сих пор даже череп мой срастись не мог. Не мешало бы мне завещать его в музей Академии... Чего тут ждать, когда на самом темени провал. Приложи ладонь -- и ты сам увидишь. Ох, плохо, плохо!

-- Что плохо?

-- Жить плохо, пора умирать!

Эту последнюю фразу Тургенев часто повторял себе под нос в последние дни своего пребывания в Спасском.

-- Самое лучшее, Иван, -- сказал я, ощутив его голову, на которой действительно была впадина, незаметная под волосами, -- самое лучшее, пойдем и на бильярде сыграем партию.

-- Пойдем! -- мелковато приподнимаясь, сказал Тургенев.

Иван Сергеевич играл на бильярде ни хорошо, ни худо, так, как по большей части играют люди, для которых бильярд не составляет профессии. У нас с ним шансы были равные; но когда играл Тургенев, он, как человек впечатлительный, всею душою предавался игре -- приходил в комическое отчаяние от неудачи, не скрывал досады, видя успех противника, и никогда не играл молча или серьезно, как настоящий патентованный игрок. Проигравши партию, он тотчас же собирался мстить, жестоко мстить, и если выигрывал следующую партию -- торжествовал.

В немногие хорошие дни, когда ветер по-дувал с востока, теплый и мягкий, а пестрые, тупые крылья низко перелетавших сорок мелькали на солнце, Тургенев просыпался рано и уходил к пруду посидеть на своей любимой скамеечке. Раз проснулся он до зари и, как поэт, передавал мне свои впечатления того, что он видел и слышал: какие птицы проснулись раньше, до восхода солнца, какие голоса подавали, как перекликались и как постепенно все эти птичьи напевы сливались в один хор, ни с чем не сравнимый, непередаваемый никакою человеческой музыкой... Если бы было возможно повторить слово в слово то, что говорил Тургенев, вы бы прочли одно из самых поэтических описаний -- так глубоко он чувствовал природу и так был рад, что в кои-то веки, на ранней заре, в чудесную погоду, был свидетелем ее пробуждения...

Иногда после обеда все мы ездили кататься и заезжали в лес; собирали грибы и рвали еще неспелые орехи. Тургенев не отставал от детей.

Эти прогулки несомненно благотворно влияли на его одинокую, часто унылую ду-

шу -- он и за границей не позабывал о них. Вот что зимой 1882 года, собираясь в феврале приехать в Россию, писал он в маленьком письме к моей маленькой дочери:

"Летом мы будем опять в Спасском и будем опять ходить в лес и кричать: что я вижу! Какой прелестный подберезник! "

Затем летом 1882 года к ней же писал он в Спасское:

"Как бы я был рад ходить с тобой, как в прошлом году, по роще и отыскивать прелестные подберезники! С большим удовольствием рассказал бы тебе сказку и послал бы тебе одну главу; но голова моя настоящий пустой бочонок, из которого вылило все вино, и стоит он кверху дном, так что и новое вино в него набраться не может... Если же поправлюсь, то напишу тебе сказку -- именно о пустом бочонке".

Так и 2-го августа с прогулки вернулись мы, когда уже погасла заря, на темном небе загорались звезды, а по горизонту бегали зарницы...

Вернувшись в дом, Тургенев тотчас же взял свечу и пошел посмотреть на барометр --

увы! барометр падал. Тургенев не поверил барометру...

На другой день 3-го августа, утром, он собирался выехать в Тулу, и ему не хотелось верить в возможность дурной погоды. Но не обманул барометр -- ночью небо покрылось тучами, зашумел дождь, и раскаты грома разбудили нас

XXXII

3-го августа все мы встали довольно рано; Иван Сергеевич должен был ехать в Тулу; жена моя должна была налить ему чай. Как раб привычки, Тургенев любил, чтобы чай продолжала разливать непременно она, а не Захар. (Чай он пил крепкий и очень сладкий.) В это утро он отправлялся в Тулу крестить сына у Ар-вых. И зачем он дал слово крестить, и зачем поехал, бог его знает!..

Ехать ему сильно не хотелось; во всех движеньях его при отъезде чувствовалось, что он движется не по своей воле.

Проводив Тургенева, я еще сидел за чайным столом и читал газеты, как вдруг, совершенно неожиданно, появился гость -- гость

этот был Ник. Вас. Гербель.

Пришлось нам без хозяина напоить его чаем и предложить закуску.

Гербель очень сожалел, что не застал Ив. Серг. и что даже, встретившись с ним по дороге из Мценска, не догадался, что в закрытой коляске сидит Тургенев.

Глядя на бледное, осунувшееся лицо Николая Васильевича, я вспомнил, что он был отчаянно болен -- каким-то страшным расстройством нервов, повлиявшим на мозг. Сначала Гербель говорил здраво, но нервно и с какою-то необычной для него торопливостью. Затем вдруг, с дрожью в голосе, стал он рассказывать, как он чуть было не побил какого-то офицера, за то что тот осмелился сказать при нем: "Напрасно мы освободили Болгарию!"

Рассказывая этот случай, Гербель горячился все более и более, стуча кулаком по столу и задыхаясь от негодования:

-- Подлецы! Ни патриотизма, ни чести, ничего в них нет! Ничего!.. Слышать я не могу! До чего... до какого безобразия дошла Россия! Не-ет, не-ет... Я собственноручно готов за-

душить, убить каждого нигилиста, каждого равнодушного к таким злодеяниям... Не-ет! порядочные, честные люди так не думают.

И все более и более горячился он, хотя я и не возражал ему. Этот голос, это лицо показались мне подозрительными. Я всячески старался переменить разговор и спросил его, что он теперь переводит.

Гербель тотчас заговорил другим тоном. Сказал, что он привез с собой новый перевод из Байрона и привез с тем, чтоб я его выслушал.

Я повел его в сад и сел с ним под липами на одну из скамеек. (Старые липы эти были недалеко от дома расположены в виде круга.) Это место мы почему-то называли беседкой -- место было тенистое, хотя мы и не искали тени, так как после ночной грозы день был пасмурный.

Гербель вынул тетрадь и стал читать мне "Небо и земля", драматическую поэму Байрона, прося заметить ему, какие стихи, по моему, неудачны.

Там были и хорошие стихи, и плохие, но я молчал и слушал.

Гербель читал с таким чувством, что вдруг приостановился и заплакал.

-- Понимаете,-- говорил он, -- что тут выражено! Какая тут глубина, какая страшная... мысль и какая сила!

Не успел Гербель кончить чтения, как на террасе издали показалась фигура Ив. Серг. Тургенева. Глазам не верилось.

-- Смотрите, Николай Васильевич,-- сказал я,-- неужели это идет к нам Тургенев?

И действительно, это был Тургенев. Он опоздал на поезд, послал в Тулу телеграмму и вернулся.

Гербель очень был рад такому случаю. В присутствии Тургенева, за завтраком, он стал гораздо спокойнее и с восторгом рассказывал о селе Сергееве, о князьях Гагариных и их образцовой больнице для крестьян, такой больнице, какой и за границей нет. Звал он меня ехать с ним, обещал меня познакомить с Гагариным, потом повести меня к себе в деревню и показать мне свой сад.

После завтрака Гербель стал сильно дремать. Я предложил ему выспаться и отвел в комнату, где гостила Савина и где стояла

убранная постель за ширмами и было все, что нужно для покоя и комфорта.

Когда я вернулся к Тургеневу, он значительно поглядел на меня и проговорил, помахивая указательным пальцем:

– Больше шести недель не даю ему... и если ты хочешь с ним ехать, то это безумие.

Гербель уехал в 7 часов вечера на Бастыево. В тот же вечер, к 9 часам, Тургенев отправился во Мценск, чтобы ехать в Тулу.

XXXIII

Несмотря на то, что следующий день, 4-го августа, был день очень хороший и дети могли бегать по саду, а старики греться на солнце, мы скучали, мы чувствовали, что нам недостает Тургенева.

5-го августа, с утра, ветер подул северо-западный, стало холодно, сыро и пасмурно, но барометр начал подниматься.

Тургенев вернулся из Тулы в 4 часа пополудни.

Слухи о холерных случаях в Орле и Харькове опять его растревожили. У Ар-х ночью он заболел расстройством желудка, потому

что на станции съел два пирожка, и можете сами вообразить, как боялся он этой гнилой, желто-зеленой, вонючей старухи -- холеры.

Вернувшись, он уже ничего не ел за обедом. Несчастный желудок его был едва ли не чувствительнее к пище, чем слух его к музыке: малейшая фальшь -- и он уже страдал, малейшая невоздержанность или капля несвежего масла -- и он уже был расстроен.

Дни мои в Спасском приходили к концу, и, странное дело, эти дни довольно смутно рисуются в моей памяти. Судя по моей тетради, я и записывать перестал все касающееся до рассказов и разговорных, мимолетных суждений Тургенева. Скажу только, что в эти дни Ив. Серг. беспрестанно изобретал разные французские фразы и говорил мне: "Ну-ка, переведи... попробуй!"

Я находил это для себя очень полезным (по пословице -- век живи, век учись).

-- Например,-- говорил Тургенев,-- как ты переведешь "Vous m'en direz tant." -- "En egard a votre pere".-- "Tete-beche".-- "Ah! que nenni!" -- "Vous allez vider le plancher".-- "Il rit jaune et fila

doux" {"Вот увидите".-- "Из уважения к Вашему отцу".-- "Дубовая голова".-- "Ну уж нет!" -- "Сейчас Вы уберетесь вон".-- "Он принужденно засмеялся и потихоньку скрылся" (фр.).-- Малоупотребительные идиомы и сочиненные Тургеневым обороты речи. Точных соответствий им в русском языке нет.}

Как знаток живописи и любитель картин, Иван Сергеевич, между прочим, объяснил мне, что значит, если про картину говорят: "C'est voulu" или "Poncif". Он находил, что слова эти непереводимы, и первое из них значит, что картина написана не без умышленной тенденции. Второе -- что картина изображает собою общее место, отсутствие всего смелого и оригинального, и ничего нет обиднее, если про картину говорят: "C'est ponsif",-- это слово окончательно убивает произведение, это для парижанина хуже, чем плохо или "слабо".

Помню, как мне трудно было передать смысл фразы: "vous me la faites a l'oseille". "Oseille" значит щавель, и, вероятно, в старину говорилось: "omelette a l'oseille". Нужно при этом вспомнить басню, как журавля лисица

угощает яичницей на сковородке, чтоб фразу эту перевести словами: "Вы со мной плутуете".

Этого еще мало. Тургенев сочинил для меня целое письмо по-французски, для того, чтобы я перевел его, т. е, поломал себе голову, отыскивая точь-в-точь подходящие русские выражения, т. е. не отступая ни на волос от смысла французской фразы.

Многим знатокам французского языка, конечно, это неинтересно; но подлинник этого письма (черновой брульон) у меня сохранился, и я решаюсь для любопытных переписать его, вот оно:

Mon cher Moncieur!

Votre lettre en egard a notre situation respective ne pouvait mieux tomber; tout vient a point a qui sait attendre et ce n'est pas la une affaire qu'on puisse traiter par le menu. Mais je ne veux suivre vos conseils que sous benefice d'inventaire. Apres tous, il n'y a pas peril en la demeure et dans l'action de M. NN. je ne vois guere de quoi fouetter un chat. Je n'en saurais demordre sans vouloir pourtant fournir caution bourgeoise. Donnant-donnant; Il у а

certainement du tirage dans nos affaires, mais a quoi bon y meler le tiers et la quart et -- n'etait (que) le desir de sortir du petrin. J'accepterais volontiers tout ce passe-droit qui me met la bride au cou. Libre a vous de me morigener. Quant a moi, je dis: donnant -- donnant {Приблизительный перевод:

"Милостивый государь!

Ваше письмо -- принимая во внимание наше обоюдное положение -- не могло придти более удачно; все приходит вовремя для того, кто умеет ждать, и здесь -- не то дело, которое можно было бы рассматривать по мелочам. Но я хочу следовать Вашим советам, лишь имея перед собой явные доказательства. Вдобавок время терпит, и в поступке г. Н. Н. я почти не вижу оснований, чтобы хоть как-нибудь его наказывать. Я не стал бы от этого отступаться, не желая однако -давать твердое ручательство. Услуга за услугу. Есть, конечно, в наших делах доля розыгрыша, но к чему мешивать сюда всех и -- было бы .Тишь желание выйти из затруднения. Я охотно согласился бы на эту льготу, которая предоставляет мне полную свободу действий. Вам вольно

меня журить. Что касается меня, то я говорю: „услуга за услугу“ (фр.).} и т. д.

Если Тургенев полагал, что это им сочиненное по-французски письмо нелегко перевести по-русски, соблюдая все оттенки подлинника, значит, по части трудности хорошего перевода письмо это, так сказать, классическое.

XXXIV

Перед моим отъездом из Спасского опять стали появляться гости.

В проливной дождь приехал и вылез из ямской кибитки П. В. Шейн. Затем приехал князь Мещерский, тот самый, который был при Ив. Серг. в Париже, в день и час его страдальческой смерти.

Об этих гостях сказать мне нечего. Первого из них Тургенев знал только по репутации, как собирателя русских и белорусских песен. Второго он знал еще в Париже.

Я уже собрался покинуть Спасское. Тургенев тоже был на отлете -- надо было ехать во Францию.

-- Осиротеет там мой бедный нос, осиро-

теет! -- говорил Тургенев.-- Там уже нельзя будет к нему подносить табакерку или табачком угощать его... кончено!

Зная, с каким удовольствием, а может быть и не без пользы, нюхает Ив. Серг. табак и как трудно отвыкать от такой привычки, я спросил: почему же в Париже он должен будет перестать нюхать?

-- Нельзя,-- отвечает он.-- Там дамы мои не разрешают мне...

-- Ну, ты нюхай в их отсутствие.

-- И этого нельзя: подойдут -- услышат запах...

И Тургенев прочел мне при этом им сочиненное французское четверостишие по поводу своего носа, сиротеющего без табакерки... Очень сожалею, что не записал этого насмешливо-грустного, придуманного им четверостишия. Любой французский автор вклеил бы его в свой водевиль или в либретто для комической оперы.

Перед своим отъездом он даже стал нюхать табак как можно реже, чтобы постепенно от этого отучить себя, и, наконец, тяжело вздохнув, отдал свою табакерку моей жене.

О том, как живется ему в Париже и в каких отношениях он стоит к г-же Виардо, Иван Сергеевич постоянно умалчивал. Да никто из нас и не решался его об этом расспрашивать; мы только молча удивлялись, как мог он так подчиняться французскому сухому и узкому режиму, он -- такой гостеприимный и свободлюбивый. Но чужая душа -- потемки, и я никогда не позволял себе быть судьей его.

С приездом князя Мещерского вечера наши -- последние вечера в Спасском -- оживились музыкой, иногда пением.

Я и забыл сказать, что Тургенев не раз припоминал себе тот невыразимый восторг, в какой когда-то повергло его художественное исполнение г-жой Виардо лучших ее ролей. Он припоминал каждое ее движение, каждый шаг, даже то впечатление ужаса, которое производила она не только на партер, даже на оперных хористов и хористок. Раз, при Д. В. Григоровиче, он так увлекся своими оперными воспоминаниями, что встал и, жестикулируя, начал петь какую-то арию.

Теперь ни красивая игра князя Мещерского, ни пение госпожи Щ., ничто уже не

могло вполне удовлетворять его. Все это только терпеливо выносилось им как любезным хозяином, и только.

Однажды пришли ему сказать, что спасение мужики пригнали к нему в сад целый табун лошадей (и я видел сам, как паслись эти лошади на куртинах между деревьями) .

Тургеневу было это не особенно приятно, он подошел ко мне и говорит:

-- Велел я садовнику и сторожу табун этот выгнать, и что же, ты думаешь, отвечали ему мужики? -- Попробуй кто-нибудь выгнать -- мы за это и морду свернем! Вот ты тут и действуй! -- расставя руки, произнес Тургенев.

И оба мы рассмеялись. Действительно, никакого действия нельзя было придумать.

XXXV

Перед самым моим отъездом, в саду, наедине, Тургенев рассказал мне содержание еще придуманной им повестушки, под заглавием "Дикарка".

Смутно я помню его рассказ, но главную суть его могу рассказать в нескольких словах.

В уездном городке живут две старухи,

при них племянница -- девушка-дикарка, не потому чтоб она дичилась людей, а потому, что эксцентрична и своевольна, и игрива в высшей степени, делает все, что ей ни вздумается. Благочестивые тетки терпеть ее не могут, вся привязанность их сосредоточена на одном коте, которого они вырастили. Откормленный кот этот был постоянно при них и был предметом их заботливого за ним ухода. В доме их живет постоялец -- молодой человек, офицер, вышедший в отставку, очень честный, простой и смиренный малый, очень добрый и благоразумный. Мало-помалу жилец и племянница друг в друга влюбляются, хотя об этом и не говорят. Его шокируют ее шалости, даже ее нецеремонное с ним обращение ему не нравится; он ее беспрестанно журит. Она становится несколько сдержаннее, ибо любит его и уверена, что будет женой его. Вдруг у ее теток пропадает кот, а через два или три дня кота находят убитым в их огороде или в каком-то овраге. Подозрение старух падает на племянницу. Жилец тоже выслушивает их жалобы на своевольную девушку и тоже убеждается, что по всем при-

знакам это дело рук ее. Это его и огорчает, и возмущает. И вот, когда девушка приходит к нему в комнату, он начинает читать ей нотацію, что она не только не умеет вести себя -- она злая, если позволяет себе такие жестокости.

-- Ведь это вы убили кошку? Сознайтесь!

-- Да, это я ее убила! -- отвечает ему страшно побледневшая девушка.

Она все ему могла простить, но он поверил клевете -- и этого она никогда не простит ему.

С тех пор она избегает жильца, смеется над ним и выходит замуж за посватавшегося за нее чиновника в такую минуту, когда страсть к ней вырастает в нем до боли, особенно после того, как раскрылось, кто убил кота, и выяснилось, до какой степени своевольная девушка несколько не причастна к этому делу.

Конечно, сюжет этот, обработанный Иваном Сергеевичем, не уступил бы другим его повестям и рассказам, но ничего бы не прибавил к его литературной славе. Влюбленных и в то же время рефлектирующих, нерешитель-

ных молодых людей немало уже выведено было на сцену (даже самим Иваном Сергеевичем).

Рассказы эти доказывают только, что голова Ивана Сергеевича постоянно работала над разными сюжетами... и что будь здоров он и проживи еще хоть лет 10, русская публика прочла бы немало превосходных рассказов, вроде "Песнь торжествующей любви" или "Клара Милич", а может быть, и дождалась бы нового общественного романа с новым нам современным героем. Ив. Серг. думал все чаще и чаще, как бы ему опять водвориться в России, иначе сказать, отвыкнуть от Франции и от французов, которых он не раз называл копеечниками.

Простившись со своим старым другом и с его усадьбой, я один, без семьи, через Москву уехал в Питер.

Мне остается добавить к этому только две главы, из которых в одной скажу несколько слов о спасских крестьянах, а в другой -- о последнем пребывании Тургенева в Петербурге, где он остановился на обратном пути во Францию.

XXXVI

Кто блуждал по проселкам обширной деревенской России, тот должен иногда сознаваться, что среди всяческой степной дичи, безграмотности, пьянства и неурядицы встречаются иногда такие оазисы, которые изумляют. Вдруг нападешь на такую сельскую школу, где не только есть самое необходимое, но и роскошь -- географические карты, глобус, электрические машинки, компас и т. п., куда не только ближайшие крестьяне охотно посылают учиться детей своих -- мальчиков и девочек, но даже из окрестных сел и деревень, верст за десять, за двадцать, везут ребят своих и на зиму нанимают им в избах углы неподалеку от школы, и где школа переполнена. Или вдруг встретишь необычную трезвость, трудолюбие, взаимную помощь, довольство и даже некоторую степень образованности. Или наткнешься на образцовую пасеку, с тысячами ульев и откуда не только пудами вывозят мед и воск на продажу, но и изучают пчел, знают все, что о них было писано и печатано. Или заедешь в село, где кре-

стьянки продадут вам такой букет из живых садовых дорогих цветов, что вы невольно перенесетесь мыслью в столицу, или глазам своим не поверите. Словом, всякого рода на святой Руси есть оазисы. Расцветут они и приумножатся, или разорит их подозрительное невежество, заодно с рутинной, да с придирчивым произволом тех Черненьких, которыми Чичиков так насмешил генерала Бетрищева? Неизвестно... Ничего об этом не говорят философские таблицы Пушкина, которые через 500 лет, не раньше, пророчат нам разлив родного просвещения.

Спасское-Лутовиново -- родина Ив. Серг., не принадлежит к числу таких оазисов. Они никогда не возникают сами собой, они требуют ухода, постоянной заботливости честных русских энергических тружеников и той практической смекалки или того здравого смысла, который умеет обходить все препятствия и пользоваться благоприятным стечением обстоятельств.

Никто из нас, гостивших в Спасском, конечно, не пожалуется на спасских крестьян. Дом Ивана Сергеевича был почти что без вся-

кой охраны, особливо днем... Часто в хорошую погоду, когда все мы расходились, стоял он пустой, с открытыми окнами и дверями. Ничего не стоило, проходя мимо окна; протянуть только руку, чтоб взять любую вещь и никто бы этого не заметил. Самые двери, выходящие на террасу, иногда по ночам стояли с разбитыми стеклами, и отпереть их тоже ничего не стоило. Прислуга, Захар и семья его помещались за кухней, далеко от парадных комнат; даже звонка и того не было, чтоб кого-нибудь позвать; ни двор, ни сад не были огорожены. И что же? -- За два лета, проведенные в Спасском, ни при Тургеневе, ни в его отсутствие, ничего не было унесено, ничего не было украдено.

Но, если верить постоянным обитателям Спасского и священникам, крестьяне будто бы и за грех не почитают воровать и тащить все съедобное и все, что может идти им на топливо. Им нипочем увезти стог сена или скирд с барского поля, или обить еще незрелые зеленые фрукты, или забраться ночью в парники и похитить арбузы, или, как мы уже знаем, зимой вырубить в саду все скамейки.

Полагают люди опытные, что крестьяне и сад вырубали бы, если бы не боялись ответственности.

Вообще о чужой собственности в спасских крестьянах самое смутное понятие. Раз священник увидел, что мужик на чужое, еще не сжатое поле загнал своих лошадей. Он стал его усовещевать.

-- А что,-- отвечал ему мужик,-- аль тебе жаль? Ну, коли жаль, так ты свой хлеб отдай ему (т. е. тому, чье поле он вытаптывал).

Знаю, как этому порадуются те из наших теоретиков, которые и не стоят за собственность; но спасский мужик, да и вообще степной мужик -- такой консерватор, каких мало: он не любит и с трудом выносит все новое. Постройте ему кирпичный с трубами и тесовой крышей дом -- он не пойдет в него жить и упрямо останется в своей курной избе с земляным полом, под соломенной кровлей. Тот, кто по-своему переиначивает его жизнь, для него хуже злого барина, хуже всякого начальства. Он не терпит никакого вмешательства в свой быт, в свои обычаи и в свои вековые привычки.

Иван Сергеевич слышал, как тульские мужики ругали помещика Ш-на за то, что он у себя на сараях поставил остроконечные высокие крыши (чтоб снег зимой не держался на них, а скатывался).

-- Бога в том нет,-- ворчали мужики,-- -кто такие крыши строит... убить его мало... Чертовы эти крыши -- вот что!..

-- А как же,-- спросил я Ивана Сергеевича,-- выносят они паровые молвилки и веялки?

-- Они видят их несомненную пользу и, главное, пригляделись к ним, но зато,-- продолжал Тургенев,-- как же они и торжествуют и радуются, если машина сломается: радостному говору и толкам конца нет. Напротив, они хмурятся, если все идет хорошо и без всяких остановок.

У крестьян Ивана Сергеевича по 3 1/2 десятины на душу надела. Но, как говорят, и в урожайные годы зимой они голодают.

Тотчас после уборки и молотбы хлеба в Спасском начинаются пиры и свадьбы. И эти пьяные пиры, и эти пьяные свадьбы съедают много денег. Чтоб добыть деньги, продается

хлеб, и, везя его в город на продажу, мужики приговаривают: прощай, голубчик, прощай, кормилец, когда-нибудь мы тебя выкупим. И точно выкупают, когда будущей весной или летом приходится им туго, и, конечно, они покупают хлеб гораздо дороже, чем продали.

Несмотря на всю свою радость, что сгорел кабак, спасские крестьяне того же года, осенью, за два ведра водки простили кабатчику долг, 50 рублей арендных денег, хотя сами нуждались в деньгах и не заплатили своих недоимок.

Крестьянские девушки рано выходят замуж. Смеются над теми, которые в 18--19 лет еще не замужем. Раз в Спасской церкви венчали высокую рябую, очень некрасивую, пожилую девку с малорослым, бледным и худеньким парнем. Он так испуганно и злостно поглядывал на будущую спутницу своей жизни, что за него было грустно. Невеста, засидевшаяся в девках, была из богатой семьи, а жених -- приемыш. Его брали в мужья только потому, что ей взять было некого, а он женился только потому, что жениться его заставили те, кто кормил его.

В 1880 году Иван Сергеевич подарил своим крестьянам на поправку изб 2 десятины строевого леса и был очень огорчен, когда в 1881 году узнал, что вырубленный лес мужики продали, а деньги пропили.

В 1882 году он опять подарил им десятину лесу, когда я писал к нему, что крестьяне меньше стали пить и очень в лесе нуждаются. В особенности зимой тяжело. Дети беспрестанно мрут от дурной пищи. Зимой в селе, -- кто бы мог это думать! -- стакан молока стоит 5 коп., а иногда молока ни за какие деньги и достать нельзя. О больных мною сказано выше; добавлю только, что слышал.

Есть целые уезды, где все крестьяне, целые семьи их, заражены сифилисом и вымирают, так как никто не лечит их, да и лечить некому. Один земский врач и землевладелец говорил мне на железной дороге в вагоне: "Ох! тяжело жить в деревне! Желаете помочь и видишь, что нет никаких сил оказать помощь. Ужасно! Мне случалось входить в избы, где все поголовно лежали в тифе, и не было никого, кто бы не только мог им лекарства дать, -- напиток воды подать было некому".

Это совершенно то же, что заметил и Коцын, разыскав в Спасском в пустой избе одиноко умирающую в горячке женщину.

А недалеко, в селе Сергиеве -- для крестьянина больница и кровати с кисейными от мух занавесками, и сама княгиня Гагарина ухаживает за больными и сама перевязывает раны их... Оазис!

Спасское-Лутовиново не принадлежало к числу таких оазисов -- вот и все, что я могу сказать в заключение.

В мое отсутствие к Тургеневу приезжал его племянник, тоже Тургенев, тогда еще студент Московского университета; Шейн тоже еще оставался. Если не ошибаюсь, Иван Сергеевич, прежде чем покинуть родное гнездо свое, был уже на закладке часовни, которую строил во имя Александра Невского. По крайней мере, я слышал, что в ту же осень 1881 года каменная часовня эта уже строилась.

XXXVII

Через две недели, в конце августа, Тургенев из Спасского переехал в Петербург и торопился, очень торопился в Париж, хотя ему ту-

да и не хотелось ехать.

Он остановился наверху в Европейской гостинице. Заставать его дома было трудно. Обыкновенно я заходил к нему рано утром чай пить.

На другой день его приезда я и А. В. Топоров обедали с ним у "Донона", в садике. Тургенев был здоров и очень весел, говорил стихи, вспоминал о Спасском и уверял, что скоро, может быть к новому 1882 году, мы его опять увидим; говорил о живописи, о немецкой и французской школах: последнюю он ставил выше первой, особенно по части пейзажей. Потом, в конце обеда, мы чокались и пили за здоровье друг друга и -- не предвидели, что мы уже никогда друг с другом не увидимся.

На другой день Тургенев нехотя вторично должен был ехать в Царское Село к Г-ину, чтобы через его содействие хлопотать б пенсии для одного бедного труженика. К 4-м часам он вернулся. Я пришел к нему в номер часа за два до его выезда за границу.

Он встретил меня следующими словами:

-- Скажи по совести, что бы ты подумал о человеке, который едет в город для того, чтоб

сделать одно нужное, необходимое для него дело; думает об этом всю дорогу; а приехавши, совершенно об этом забывает -- ездит по гостям, да по разным поручениям, хлопочет о других и вспоминает о деле только тогда, когда ему надо выехать?

Я не понял, о ком это он говорил, и шутя сказал ему. ну, это какой-то Степка-растрепка.

-- Ну, так этот Степка-растрепка -- я. Вообрази, я с тем и ехал сюда, чтоб побывать у Гинцбурга и справиться -- есть ли у меня какой-нибудь документ в доказательство того, что в конторе находится моих 40 000 р., и если нет, то чтоб он дал мне на эти деньги квитанцию,-- и совсем забыл.

И тут он заторопился, чтоб в один час успеть быть в конторе у Гинцбурга и вернуться в гостиницу за своим чемоданом.

Я дождался его возвращения. Он вернулся усталый, но уже совершенно успокоенный.

Надо было опять спешить, чтобы ехать на станцию железной дороги.

Мы крепко обнялись и поцеловались.

Это было наше последнее расставание.

Топоров сел с ним в карету, чтоб прово-

дить его до станции. Я остался.

ПРИМЕЧАНИЯ

И. С. Тургенев у себя в его последний приезд на родину

С редакционным подзаголовком: "Из воспоминаний Я. П. Полонского" эти мемуары печатались в журнале "Нива". 1884. Но 1--8. При жизни Полонского они вошли также в его книгу: "Повести и рассказы". Спб., 1895, изданную в качестве прибавления к Полному собранию сочинений Полонского (1886), т. II. Известен перевод на немецкий язык: Turgenjew in seinem Heim. Von J. P. Polonsky. В кн.: Das Ende. Die letzte Dichtung I. S. Turgenjews, ubersetzt aus-dem Russischen von D-r H. Roskoschny. Leipzig, S. 27-112 (без года).

Известие о смерти Тургенева застало Полонского в Одессе, откуда он откликнулся на нее в письме к А. С. Суворину от 3 сентября 1883 года: "В руках моих значительный материал для биографии Ивана Сергеевича и для уяснения этой в высшей степени замечательной личности <...> На днях выезжаю я в Петербург, в надежде застать похороны моего

последнего друга и, быть может, последнего ценителя и критика литературных трудов моих. Только не ждите от меня никаких речей, никаких славословий! Это не по моей части... До моих личных чувств к покойному никому дела нет -- и скорбь моя от его утраты не нуждается в том, чтобы публично проявлять себя" (Письма русских писателей к А. С. Суворину. Л., 1927. С. 139--140).

В "Моих студенческих воспоминаниях" Полонский писал, что познакомился с И. С. Тургеневым в доме М. Ф. Орлова. Тургенев тогда прочитал в записной книжке Николая Орлова "какое-то" стихотворение Полонского, назвал его "маленьким поэтическим перлом". Это стало поводом для сближения двух гостей орловского гостеприимного дома, и дружба Полонского с Тургеневым длилась более сорока лет, с 1842 года до самой смерти Тургенева; столько же длилась их переписка.

В публикуемых воспоминаниях Полонский пишет, что лето 1881 года, когда Тургенев в последний раз приезжал на родину, он провел с ним под одной кровлей, "и провел не как гость, а как брат, захавший на побывку к

родному старшему брату". Это не преувеличение. Вряд ли можно назвать другого близкого Тургеневу человека, с которым у него была бы такая потребность откровенно излить свою душу, не приукрашивая ничем своих слабостей и страданий. Тургенев написал Полонскому более 160 писем, все они опубликованы в Полном собрании сочинений и писем И. С. Тургенева, письма Полонского сохранились не полностью -- около 30, и опубликованы они в разных изданиях -- в восьмом томе сборника "Звенья" (М.: Гослитмузей, 1950); в томе 73, книге 2-й "Литературного наследства": "Из парижского архива И. С. Тургенева". М., 1964. Переписка эта богата сведениями о творчестве самого Тургенева, о произведениях Полонского, за сложными и драматическими отношениями которого с русской критикой Тургенев пристально следил, о явлениях общественной и литературной жизни. По сравнению с перепиской мемуары Полонского бедны материалами о его собственных переживаниях, о его работе. Он не принадлежал к тем мемуаристам, которые при описании своих встреч с историческими лицами писа-

ли больше о себе, чем о них. Зато "предмет" его воспоминаний сверкает всеми гранями своей личности и своего таланта.

Видимо, Полонский в это лето 1881 года и не пытался особенно заниматься литературной работой "для себя". Он мало писал стихов, много рисовал (сделал в Спасском 13 этюдов маслом), ходил по имению на костылях с своим этюдником (см. подробнее: Фонякова Н. Н. Спасское-Лутовиново в этюдах Полонского // Лит. наследство Т. 76. М., 1976. С. 605--630). Главным для него было -- записать за Тургеневым все его афоризмы, импровизации, шутки, описать времяпрепровождение его в это последнее пребывание у себя дома, в России.

Среди многочисленных лиц, упоминаемых в воспоминаниях Полонского, были и гости Тургенева. Ночной визит Толстого -- одна из самых ярких сюжетных зарисовок в этих мемуарах. После этой ночи Толстой записал в дневнике: "Милый Полонский, спокойно занятый живописью и писанием, не осуждающий и бедный -- спокойный. Тургенев боится имени Бога, а признает его. Но тоже наивно-спокойный. В роскоши, праздности жиз-

ни" (Толстой Л. Н. Поли, собр. соч.: В 90 т. Т. 49. М.: Гослитиздат, 1952. С. 51).

В главе четвертой Полонский неточно цитирует тургеневские строки о Василии Лучинове в рассказе "Три портрета": "Его считали одним из блистательных молодых людей начала царствования Екатерины <...> Вообразите себе человека, одаренного необыкновенной силой воли..." (Тургенев И. С. Поли. собр. соч. и писем: В 30 т. Сочинения. Т. 4. М., 1980. С. 86).

В главе семнадцатой Полонский приводит литературные эпиграммы 1840--1850-х годов.

Эпиграмма С. А. Соболевского на В. Ф. Одоевского была к тому времени широко известна в литературных кругах и с небольшими разночтениями была уже дважды напечатана в "Русском архиве" (1878. No 5. С. 56-57 и 1880. No 10. С. 296).

Пять эпиграмм Тургенева -- на критика А. В. Дружинина, переводчика Н. Х. Кетчера, профессора Петербургского университета и цензора А. В. Никитенко (в тексте: Н-ко), про-

фессора Московского университета П. Н. Кудрявцева (К.), критика В. П. Боткина -- стали известны благодаря публикации воспоминаний Полонского в "Ниве" (в записи Д. В. Григоровича эти эпиграммы были напечатаны только в 1900 году). Вошли в Полное собр. соч. и писем Тургенева. Т. 12. М., 1986. С. 308 (текст эпиграммы на П. Н. Кудрявцева Полонский записал не полностью).

Эпиграмма на Ф. М. Достоевского считается написанной Тургеневым совместно с Некрасовым под заглавием "Послание Белинского к Достоевскому", 1846 (см.: Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем: В 15 т. Худож. произведения. Т. 1. Л., 1981. С. 423--424).

Рассказ "Старые голубки" (глава восемнадцатая), уже начатый Тургеневым в рукописи, см. в Полном собр. соч.: В 30 т. Сочинения. Т. 11. М., 1983. С. 242 -- 244; сюжет рассказа об убийце жены лишь намечен в автографе большой повести, не имеющей названия (см. т. 11. С. 494 и т. 12. (С. 798). М., 1986.

В главе девятнадцатой речь идет о стихо-

творении Пушкина (которое читал Тургеневу вслух Мериме): "Пир Петра Первого" ("Над Невою резво вьются...").

Кроме "Капли жизни" и "Самознайки", рассказанных Тургеневым детям Полонского (главы двадцатая и двадцать первая), им было написано стихотворение, рукопись которого сохранилась: "Жил-был некакий мальчишка..." (Тургенев И. С. Сочинения. Т. 12. С. 314–315). Оно обращено к старшему сыну Полонского Александру, давшему повод для сюжета "Самознайки".